

Яныбай
Хамматов



ЗОЛОТО
СОБИРАЕТСЯ
КРУПНИЦАМИ

АКМАН—
ТОКМАН





Яныбай Хамматов

**ЗОЛОТО
СОБИРАЕТСЯ
КРУПИЩАМИ**



**АКМАН-
ТОКМАН**

РОМАНЫ

*Авторизованный перевод с башкирского
Е. Мальцева*

**Советский писатель
Москва 1975**

Романы башкирского писателя Яныбая Хамматова «Золото собирается крупичками» и «Акман-Токман» — произведения об исторических судьбах башкирского народа.

В основу романа «Золото собирается крупичками» положены события, происходившие в Башкирии в период борьбы с царизмом. Писатель показывает рост революционного сознания рабочих и крестьян, будущих бойцов революции.

«Акман-Токман» является продолжением предыдущего романа. В нем автор повествует о том, в каких невероятно сложных условиях проходила революция в горных районах Башкирии. Возвратившийся после Февральской революции 1917 года в родные края большевик Хисматулла собирает вокруг себя наиболее стойких, убежденных борцов за народное дело.



ЗОЛОТО
СОБИРАЕТСЯ
КРУПИЦАМИ



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

I

Они гнали телят через пестрый, веселый от солнечных бликов лес.

Впереди степенно вышагивал Хайретдин, а мальчишка бежал сзади, припрыгивая и пощелкивая длинным витым кнутом, подгоняя телят, чтобы они не разбредались и не отставали.

Лес звенел от птичьих голосов, нависал пышными гроздьями сочной листвы, шелестел травой под ногами, пьянил дурманным запахом цветов и хвои. Птицы вспархивали с нижних веток, стоило Хайретдину приблизиться, стремительно перечеркивали небо над поляной, затихали где-то в чаще, но едва Хайретдин появлялся в ее зеленоватом сумраке, как они поднимали неистовый галдеж, словно поджидали его и теперь радостно приветствовали, и дружно, всей стаей, снимаясь, провожали дальше.

Сколько раз на своем веку бывал Хайретдин в лесу, но всякий раз будто вступал под его зеленый тенистый навес впервые и дивился всему, как малый ребенок. Вроде и вчера, и неделю назад так же светило солнышко, и лес поднимался навстречу смуглыми стволами, и пели птицы, и тянуло из

глубины духом нагретой смолы, но сегодня все виделось и слышалось внове, и душа отзывалась на любой пустяк, мимо которого проходил раньше не замечая. На широких листьях дрожали и перекачивались литые капли росы, точно боялись расплескать жгуче горевшее в самой сердцевине крохотное огненное солнце, летали от цветка к цветку полосатые бабочки, угрожающе прогудел над ухом мохнатый, оранжево-черный шмель, зарылся в белую пахучую кашку. Где-то далеко-далеко, может быть на опушке леса, отсчитывала кому-то положенные годы кукушка. Хайретдин даже замедлил шаг, чтобы послушать, как размеренно и бесстрастно падали в тишину эти не принадлежащие ему годы...

Но все спутал и перебил дятел. Сверху, словно сдуло их ветром, посыпались кусочки сухой коры, и Хайретдин не сразу разглядел черноголового дровосека, спрятавшегося в густой кроне. Но вот он взлетел, прошумел в ветвях и устроился где-то рядом — видно, не нашел на прежнем месте ничего, и теперь, пробуя на звук новую пустоту, часто застучал своим клювом — тук-тук-тук!

Хайретдин поднял голову, чтобы найти трудолюбивую птицу, и увидел ее на суку высохшей, одиноко стоявшей на поляне сосны, но долго не мог стоять так, задравши голову, потому что голова начинала кружиться и слишком ярким было небо над поляной, ярким до боли в глазах...

На поляне они сошлись — Хайретдин и его маленький сын, передохнули. Удивительно хорошо было сегодня дышать — глубоко и отраднo, словно пил Хайретдин родниковой свежести воду, пил и не мог насытиться, утолить до конца свою жажду. Слава аллаху, создавшему этот мир, что он дает ему эту радость, это счастье — видеть, слышать, дышать, любоваться каждой живой травинкой, каждой букашкой...

Хайретдин не спеша стянул шапку, вытер рукавом рубахи пот с лысины.

— Паси здесь, Гайзулла! И место веселое — далеко видать, телят из глаз не потеряешь, и трава славная — вроде еще никто не пас тут скотину...

— А ты? — мальчик смотрел на отца и еще не верил, что тот сейчас уйдет и оставит его здесь одного.

— Я пойду на свою деляну и доколю вчерашние дранки!

— Тогда давай и телят погоним туда!

— Нет, сынок! Трава там худая и от реки далеко... А не напоишь скотину в срок, Хажисултан-бай душу из нас вытрясет...

— А откуда он узнает? — Мальчик рассмеялся. — Он за нами следом не шел!

— Шел, сынок, шел! У бая и в лесу есть свои глаза и уши...

Мальчик опустил голову, уже понимая, что отца ему не уговорить, но из какого-то упрямства твердил свое:

— А мы напоим их в полдень, когда солнце встанет вот тут! — Гайзулла показал кнутом в небо над поляной. — Не подохнут!

— Грех так говорить! Скотина нас кормит, мы без нее давно пропали бы, а ты, дурачок, забыл, что аллах может наказать тебя за такие слова! — Хайретдина уже злило бестолковое своеволие сына. — Там вода далеко, и нечего телят гонять попусту! ..

Он вдруг замолчал, точно пораженный неожиданной догадкой.

— Ты, случаем, не боишься ли, Гайзулла?

Мальчик вскинул на отца черные глаза, мгновение смотрел, как бы не решаясь — признаться ему или нет, потом ресницы его дрогнули, и он тихо сказал:

— Боюсь, атай...¹

Хайретдин деланно громко рассмеялся, похлопал сына по худенькой спине:

— Ай, дурачок, дурачок! Да кто тебя тронет? Зверя тут нету, а человека бояться не надо! ..

— Не знаю. — Гайзулла говорил правду, потому что на самом деле не ведал, что его пугало в лесу.

— Я буду стучать топором, как вон тот дятел, услышишь! Да и телята рядом с тобой — как-никак живые души! .. А когда солнце поднимется прямо над головой, прибежишь ко мне чай пить — ладно?

Хайретдин заткнул топор за пояс, помахал рукой и, не оглядываясь, зашагал в глубину леса.

Мальчик долго прислушивался к шагам отца, пока они не растаяли, потом огляделся. Телята разбрелись вокруг и щипали траву. Было тихо и светло, пригревало солнце, и Гайзулла лег навзничь в траву и лежал, глядя в просторное небо, на птиц, перелетавших поляну, долго следил за красной божьей коровкой, ползшей по травянистому стебельку, и за зеленоватой, как слетевший с дерева листик, бабочкой — она порхала над ним, пока не выбрала себе цветок и не сложила вместе крылышки. Постукивал на сосне дятел, отдыхал, видно притомясь от нелегкой работы, снова начинал долбить — у него, наверное, тоже была семья, как у отца Гайзуллы, и всех надо было кормить. Глухо доносились тупые удары топора...

Когда солнце коснулось верхушек сосен, Гайзулла собрал рассыпавшихся по лесу телят и погнал их к реке. Она была в каких-нибудь ста шагах, прямо за мелколесьем, бежала сквозь лес — зеленая от обступивших ее деревьев, почти бесшумная. Только подойдя к берегу, можно было услышать,

¹ Отец.

как она журчит, разговаривает и напевает, обмывая сплывшие в нее ветки и подмытые коряжины.

Телята звучно посасывали воду, отрывались на миг от бегущей струи, мычали неведомо почему, и Гайзулла подумал, что это они кличут своих потерянных где-то матерей, такая жалоба и тоска слышались в утробном их реве. Отмычав и выслушав ответное эхо, которое гулко катилось по лесу, телята опять припадали к воде, тянули ее с тягучими всхлипываниями, роняя с губ тяжелые горошины капель.

Напоив телят, Гайзулла выгнал их на травянистый пригорок, постреливая, как заправский пастух, кнутом, сбивая стадо в кучу. Теперь он мог что-нибудь придумать для себя, пока они после реки навалятся на молодую траву и будут выщипывать ее старательно, до былинки.

Закатав выше колен штаны, Гайзулла присел на корточки и начал шарить под камнями и ближними коряжинами, выуживая из-под корней скользких налимов. Но рыба не давалась — стоило нащупать ее липкие бока и ухватить, как она дергалась и вырывалась из рук. Он поймал только одного маленького и черного, как головастик, налима, но и того пожалел и отпустил. Налим поначалу притворялся мертвым, а потом метнулся в глубину и пропал.

Тогда Гайзулла нашел себе новое дело. Набрав с пригоршню плоских камешков, он запускал их над водой, чтобы они скользили и рождали на поверхности кружок за кружком. Тут он вспомнил, как это делали ребята постарше его, и, следя, сколько раз подпрыгивает камешек, радостно кричал:

— Аха! Три... четыре... пять невест!.. — и, выбрав камень покрупнее, похожий на лепешку, бросал что есть силы. — Семь... восемь... десять невест! Совсем как у бая!.. Аха, какой я богатый!..

Он так увлекся, что забыл на время и про телят и про стук отцовского топора, тем более что каждый камешек выписывал на воде свои узоры, как бы собирая на поверхности серебристые мониста из круглых денежек.

Он не заметил, когда попал ему в руки блестящий желтоватый камень, не такой плоский, как хотелось бы, и собирался его выбросить, потому что он не выбил бы на воде и трех кружков, но повременил и начал его разглядывать. Камень не был похож ни на один из тех обычных камней, которые он запускал. Он был тяжелее других и напоминал какую-то игрушку. Гайзулла повертел камень в руках и засмеялся. Постой, да ведь это же козел! Самый настоящий козел! Вот эти два заостренных конца — рога, под ними вытянутая морда с белым клинышком бороды, и весь он ровно в клочьях свалывшейся шерсти от налишшего белесого песка, а завершал сходство куцый обрубок хвоста. Просто трудно поверить, что вода,

перекатывая и промывая его долгие годы, вылепила почти живого козленка.

Но почему камень такой тяжелый, как костяная бабка, налитая свинцом? Может быть, под песком и камнем скрывается что-то другое? Гайзулла нашел другой камень поострее и ударил по козленку, но с него лишь осыпался затвердевший песок, а на боку остались две блестящие, как надрез, вмятинки. Попробовал Гайзулла камень зубами, но чуть не сломал передний зуб и вовремя одумался.

В это мгновение и пришла к нему счастливая, бросившая его в радостный озноб мысль — а что, если это самородок? Ну, да, настоящий самородок, который иногда находят удачливые старатели в здешних местах! Он вспомнил рассказы приискового знакомого Хисматуллы о необыкновенных находках, сделавших таких людей сразу богатыми, и его залихорадило от волнения.

Камень жег ему руки, он перекладывал его из ладони в ладонь и не знал, что ему делать, — то ли кричать и прыгать от радости, охватившей душу, то ли бросить телят и бежать к отцу, то ли быстро зарыть камень в потайном месте, чтобы никто не увидел, не сглазил, не отобрал. Мысли его путались, спина и руки стали потными и липкими, а он по-прежнему топтался на одном месте, потерянный и беспомощный, прижимая свое сокровище к груди. Слава аллаху, он всех сегодня сделает счастливыми — и отца, и мать, и сестренку! В один миг он наделил всех дорогими подарками. Матери купил новое платье с оборками, отцу красивую рубашу и штаны, сестрам по расшитому узорам камзолу, не забыл и себя, обрядившись в новые бумазейные штаны, точь-в-точь такие, как у сына Хажисултана-бая. А если еще останутся деньги — тогда конфет, много конфет, чтобы все угощались и хвалили его! Да что там конфеты и разные сладости, когда он может за этот самородок привести на двор корову! А может быть, и не одну корову, а целую отару овец, и станет настоящим баем, совсем как Хажисултан-бай, а то гляди и побогаче!

Он то пугливо озирался вокруг, то перебрасывал из руки в руку, как горячую картофелину, тяжелый камень. Он уже всеми силами души верил, что это самородок, и, если бы ему сейчас сказали, что он обманулся, он бы умер на месте.

— Гай-зул-ла-а! — как сквозь сон и забытие донеслось до его слуха, и он не сразу догадался, что его зовет отец, что солнце уже давно висит над поляной, что телята разбрелись по лесу, и он сам забыл обо всем на свете, ошалев от свалившегося счастья.

Он и не подумал собирать телят, а бросился напрямик через чащобу, спотыкаясь и падая, не чувствуя, как хлещут по лицу ветви, как сбиваются в кровь босые ноги. Скорее! Скорее!

Туда, где вьется на опушке сизый дымок. Он зацепил штаниной за сучок, и штанина затрещала, распоролась чуть не пополам и трепалась теперь вокруг ноги, как юбка, но Гайзулла даже не вскрикнул, не пожалел ни о чем, хотя в другое время заплакал и испугался бы — и оттого, что порвал единственные штаны, и оттого, что за это получит от отца нагоняй. Но тут словно сам шайтан кидал его грудью на колючие кусты, и он бежал, не боясь, что выколет глаза или сломает ногу, — лишь бы добежать, пока не выскочит из груди бешено бьющееся сердце.

— Локотэ! Локотэ! ¹ — как в беспамятстве бормотал он. — Слава аллаху! Слава аллаху! Мы будем богатыми! Я не буду больше пасти байских телят! Я буду спать сколько захочу, спать и есть вволю! .. Локотэ! Локотэ!

Он не помнил, как очутился на опушке, около костра, остановился как вкопанный и, словно не веря своим глазам, смотрел, как отец, стоя на корточках, бросал щепотью чай в пузатый чайник и морщился от дыма.

— Это ты, Гайзулла? — спросил Хайретдин еще не видя сына. — Зачем так бегаешь, дурачок? Сердце болеть будет..

Гайзулла по-прежнему стоял, как немой, и не знал, что сказать отцу, точно от этой радостной вести ему могло быть плохо.

— Ты что молчишь, Гайзулла? Устал, сынок?

— Нет!.. Я нашел золото! Посмотри, отец!.. Золото!..

Хайретдин не спеша обернулся, вытер кулаком слезящиеся глаза, взял из рук сына камень, и его точно пружиной подняло с травы. Он задел рукой чайник, опрокинул его, и от травы пошел густой пар.

— Ты где это взял? — Голос отца чуть дрожал, хотя он старался ничем не выдать своей тревоги.

— Там, на берегу, — Гайзулла махнул рукой в сторону леса. — Я бросал камни, он попался мне сам в руку...

— Я думаю, что это медь... Откуда тут быть золоту...

В лесу хрустнула ветка — к костру кто-то шел, и Хайретдин торопливо сунул камень в берестяной короб, захлопнул крышку и снова взялся за чайник.

— Ассалямагалейкум!²

— Вагалейкумассалям!

Хайретдин услышал хриплый, чужой, но чем-то знакомый голос, ответил на приветствие, но для виду приложил ладонь ко лбу, вглядываясь в подошедшего человека.

— Что-то не признаю сразу...

¹ Заклинание от греха.

² Приветствие.

— Да это же Нигматулла-агай! ¹ — крикнул Гайзулла.

Но и тут отец не удивился внезапному появлению постоянного человека, повесил на обгоревшую рогульку чайник, подбросил веток в огонь и только тогда выпрямился.

— Глаза слабеют стали, — как бы извиняясь, сказал он и теперь уже более внимательно посмотрел на рослого, плечистого человека, стоявшего около костра. — Как поживаешь, кустым?²

Он по обычаю протянул гостю обе руки, молча погладил бородку, собирая ее в кулак, и все не спускал глаз с односельчанина.

— Давно не видал тебя, браток... Вон ты какой стал высокий и сильный! Вымахал с целое дерево! Кто от земли вверх растет, а кто уже к земле гнется...

Гость, видимо, никуда не спешил — неторопливо свернул сигарку, присел на корточки к костру, выдернул веточку с раскаленным огненным наконечником, прикурил от него и жадно затянулся дымом, прикрывая от наслаждения быстрые рысьи глаза с белесыми ресницами.

— Где побывал? Что повидал? — как бы вежливости ради спросил Хайретдин.

— Земля большая, ее всю ногами не исходишь, — ответил Нигматулла. — В день не расскажешь, что видел... А домой всегда тянет.

— Это верно, — согласился Хайретдин. — Лучше дома ничего нет на свете...

Говорить вроде было не о чем, и все же Хайретдин еще раз поинтересовался:

— Слышал я, в степных краях побывал... Что там хорошего? Хорошо ли живут там люди?

— Люди мрут как мухи. — Нигматулла сплюнул. — Лучше не видеть их жизни...

— В степи сеют хлеб. Почему же людям там плохо?

— Земля родит мало, вот и голодают! — Нигматулла говорил так, будто злился на кого-то. — Если бы на реке Кэжэн не нашли золото, вы бы тоже тут животы подвели! Вы на золото смотреть не хотите, проклинаете тех, кто с ним связывается, а без него давно бы все подошли! Одно спасенье, что рядом роют...

О золоте Хайретдину не хотелось ни говорить, ни спорить. Он проявил положенное внимание к гостю и мог спокойно приниматься за работу.

— Гайзулла! Наливай в кружку чай! — сказал он. — В узелке кусок хлеба!..

¹ Обращение к старшему, брату, родственнику.

² Младший брат, племянник.

Подняв с земли топор, он подошел к поваленному дереву, широко расставил над ним ноги и стал обтесывать его, сдирая жесткую кору.

Нигматулла чуть надвинул на лоб грязную войлочную шляпу, чтобы солнце не било в глаза, и, пуская сквозь желтые прокуренные зубы табачный дым, спокойно наблюдал за ровными и расчетливыми движениями старика.

Хайретдин работал так, будто на него никто не смотрел. Обухом топора он вколотил покрепче клинья, раньше вбитые в бревно, потом рядом с ними вогнал другие, пошире, ударил легонько, будто пересчитывая их; бревно затрещало, поддалось, потом внутри у него точно что-то лопнуло, и оно расколосось пополам. Освободив каждую половину бревна от сердцевины, он расколол их на двенадцать частей, и все это играючи, словно щепал лучину от полена. Надрубив конец каждой части, он просовывал в образовавшуюся трещину палец и свободно отди-
рал дранку. Отбросив ее в сторону, он принимался за новую. Пахло свежей смолой и еще чем-то, напоминавшим запах выдохшейся бутылки от самогона...

— Ловко ты с ними! — не сдержал своего удивления Нигматулла. — Сколько в нем аршин?

— Около восьми будет...

— А сколько дранок в чурбаке?

— Смотря какой чурбак...

— Ну, если вот этот?

— Этот? — Хайретдин провел ладонью по лбу. — Если этой сосне лет пятьсот с небольшим...

— Пятьсот? Откуда ты знаешь?

— Это проще простого... Видишь вот этот пень? Каждое кольцо на нем — год... Если не лень, сосчитай, пятьсот и будет. А я на глаз прикидываю, привык уже...

— А получаешь ты со штуки или с сотни?

— Как уж договоримся! Сейчас цена упала — приходится рядиться, как на базаре... иной бы рад покрыть крышу дранкой, да сам ходит весь в дырках и заплатках! У такого и тряпок нету, чтобы щели заткнуть, когда дождь прямо в дом льет — знай только ведра подставляй!

— Да, видать, не прибыльное у тебя дело, Хайретдин-агай. — Нигматулла покачал головой, вздохнул. — Жилы из тебя тянет, а достатка не приносит! На таких заработках далеко не уедешь — можно и ноги протянуть...

— Да работы я не боюсь! — Хайретдин выпрямился, смахнул со лба ладонью гроздь пота. — Только бы покупали дранку, а прожить можно! Слава аллаху! У других и такого ремесла нету, чтобы жену и детей кормить. Мне грех жаловаться...

— Работа дураков любит! — Нигматулла рассмеялся, но тут же оборвал смех, нахмурился. — Живешь, как чурбан в ле-

су, а все, кому не лень, с тебя дранки колют... Эх, темнота! Небось тебе их жалко даже, тех, у кого карман от денег лопається?

— Мне чужого не надо... Зачем гневить аллаха и терзать свою душу злой ненавистью? Каждому свое...

— Ну ладно! — Нигматулла махнул рукой. — Стучишь, как дятел, все одно и то же, другой песни не знаешь!.. А ежели я, допустим, разбогатею завтра, — можем мы породниться? У тебя дочь выросла, я человек свободный. Отдашь ее за меня? А от моего богатства и тебе кусок отломится...

Гайзулла вскочил с травы и сделал шаг к отцу, словно желая предупредить его от опрометчивого ответа, но глаза его наткнулись на острый, в насмешливом прищуре, взгляд Нигматуллы, и он остановился.

— Ты бы шел, Гайзулла, к своим телятам! — Нигматулла прикрыл левый глаз веком, покосился на мальчика. — Зачем тебе слушать, о чем говорят старшие?

Прежде чем послушаться чужого человека, Гайзулла оглянулся на отца. Может быть, ему и не нужно повиноваться воле человека, вызвавшего у него неосознанное чувство неприязни и вражды. Зачем он сюда явился? Чем он хочет смутить отца и уговорить его на что-то такое, о чем не говорят при всех? И неужели отец отдаст ему Нафису? Да она скорее умрет, чем станет женой этого злодея и вора!..

— Погуляй, Гайзулла! — тихо сказал Хайретдин. — Пособирай ягоды — тут их много... Не надо знать секреты старших. Придет время, и ты от своих секретов составишься...

Хайретдину не хотелось говорить сыну этих слов, но он не хотел, чтобы люди осуждали его и считали, что в его семье не уважают старших.

Не успел мальчишка прощуршать ногами по траве и забраться на развесистую березу, недалеко от костра, как Нигматулла придвинулся поближе, и Хайретдину ударил в нос запах самогона.

— Помоги мне, агай, получишь свою долю — не пожалеешь...

Хайретдин сразу понял, что Нигматулла не зря заявился сюда, и без этого намека было ясно, чего он добивался, однако не вспылал, не разгневался, как это, может быть, сделал бы другой. Зачем злить и без того злого человека? Ведь Нигматулла на все способен. Четыре года назад он не пожалел родного отца и увел из его дома единственную корову, продал ее на базаре и потом как в воду канул. И совсем недавно снова объявился, но не один, а с таким же пропащим человеком, как он сам, и вот они рыскали, как два голодных волка, по округе и брали все, что плохо лежало...

— Не пойму я, кустым, о каком деле ты хлопочешь? — Хайретдин почесал редкую бородку, поднял на Нигматуллу пустые глаза: — Я человек старый, мне бы со своими делами справиться. . .

— Экой ты пень! — Нигматулла в сердцах сплюнул. — Твоя голова не должна болеть, что это за дело... Дашь хотя бы лошадь на ночь, в гости мне съездить, и за это свое получишь!

— Нет, кустым. . . Сроду я никакого греха не брал на душу и под старость буду слушать аллаха! . . И ты бы побоялся его гнева.

— Хватит тебе кудахтать, старик! — Нигматулла резко отодвинулся, как бы нехотя поднялся. — По-доброму предлагаю — не пожалей потом. . .

— Не позорь меня, кустым. . . Я тебе не указчик, как жить, но и ты не неволь меня. . .

И как бы дав знать, что говорить им больше не о чем, Хайретдин взял топор, подошел к бревну и сильным ударом вогнал его в дерево.

— Значит, нет? — еще раз спросил Нигматулла, уже стоя в тени сосны и сужая темные глаза в узкие щелки.

Старик не ответил, застучал топором, и Нигматулла, сплюнув окурок в траву, пошел, ломая сухой валежник.

Хайретдин подождал, когда стихнут в лесу его шаги, затоптал дымивший окурок — от него, не ровен час, и весь лес может запылывать в такую сухмень, и негромко окликнул сына. Мальчик стал быстро спускаться с березы, и старик услышал, как затрещала распарываемая штанина.

— Опять на сучок напоролся, поганец? — закричал Хайретдин. — Слезай, слезай, я тебя сейчас угощу на славу! Да будь ты хоть сыном бая, на тебя и тогда штанов не напасешься! . .

Гайзулла знал, что слова отца останутся только угрозой, и не боялся, что тот выпорет его. Сколько мальчик помнит себя, он еще ни разу не наказал его, но ему было стыдно и неловко самому и жаль порванных штанов. Теперь, когда обе штанины болтались и сверкали голые коленки, он вовсе походил на девчонку в юбке.

Однако огорчался он не долго, потому что отец и сам забыл о своих словах, едва Гайзулла подошел к костру. Видимо, все время, пока здесь сидел чужой человек, Хайретдин и его сын думали о берестяном коробе, где лежал самородок.

Оглянувшись по сторонам, Хайретдин вынул тяжелый камень, покатал на ладони. . .

— Это золото, атай? — Мальчик приоткрыл рот и смотрел на отца не дыша.

— Золото,— тихо ответил Хайретдин и снова испуганно замер, прислушиваясь к шорохам леса, птичьим голосам.

— Ай, какой я богатый! — крикнул Гайзулла. — Ай, какой я...

Отец рывком прижал его к себе и прихлопнул рукою рот.

— Ты с ума сошел, сынок! Молчи, молчи!.. Это не счастье ты нашел, беду позвал в наш дом!

Мальчик весь дрожал, еще ничего не понимая, но страх отца передался ему, и он чуть не плакал, глядя на бледное, смятое испугом лицо отца.

— Золото приносит счастье только богатым, — шептал Хайретдин, глядя узкие плечи сына. — Бедным надо забыть о золоте, оно всех нас убьет — и тебя, и меня, и мать, и сестру... Хозяин горы нам никогда не простит, что мы позарились на его богатство... Ты забыл, что он сделал с нашим односельчанином? Забыл?

Нет, не только Гайзулла, все от мала до велика знали эту страшную историю о человеке, который однажды перестал слушать, не поверил, что нельзя обмануть хозяина горы, и попытался обойти свою худую жизнь стороной. Он долго терпел и голод и холод, не знал, чем кормить жену и детей, и, наверное, помутился бы умом, если бы весной приплыли старатели не позвали его с собой мыть золото. Он оказался очень удачливым старателем, да и голова, видимо, работала у него неплохо, но только скоро он придумал мыть золото по-своему и стал работать на особицу. Он дал волю весенней воде и пустил ее так, что она сильной струей промывала песок, держала своим напором доски, прижатые к отвалам, и делала то, чего не смогли бы делать и несколько десятков старателей. К нему пришел настоящий фарт, и он работал, как одержимый, бутаря, промывая один старый отвал за отвалом. Он разбогател легко, как в сказке, и начал жить на широкую ногу — построил новый дом, и не дом, а целые хоромы, завел стадо коров, отару овец, стал носить расшитые камзолы, украшенные серебром. Золото ослепило его, он становился все жаднее и злее и уже не видел нужды и горя тех, кто жил с ним рядом. Он забыл о молитве и страхе, но злой дух, живший в горе, не забыл его, и пришел час, когда хозяин горы разгневался на него и наслал тяжелую хворь. Поначалу он простудился, долго лежал. Начал подниматься на ноги, но тут новая болезнь свалила его, и он уже не поднялся, а легко нажитое богатство стало таять и скоро пошло прахом. Не успели вырыть одну могилу, как скоро копали рядом другую — для жены, потом для старшего сына. И когда невестка осталась одна в огромном доме и бродила по его пустым комнатам, как помешанная, нагрянуло последнее возмездие — в одну темную ветреную ночь дом запылал со всех сторон, и было страшно к нему подступиться, и люди стояли вокруг и не смели бороться с горным духом, который вставал косматым заревом над деревней и ненасытно пожирал то, что

еще недавно казалось вечным. В огне сгорела и невестка, и ее дети, и все, что было накоплено за целые годы,— ничего не оставил хозяин горы никому, все забрал обратно. Долгое время деревня жила под страхом этой мести, ждала кары, люди стороной обходили черный скелет обгоревшего дома, а старухи по вечерам заставляли детей шептать молитвы и просить аллаха о милости и защите...

Хайретдин завернул самородок в грязную тряпку и протянул его сыну:

— Возьми, Гайзулла...

— Зачем?

Ему казалось, что тяжелый камень жжет его пальцы, прожигает их насквозь.

— Где нашел, туда и отнеси, сынок... Брось так, чтобы никто не видел.

— Но почему другие не бросают золото, а прячут? Почему его ищут повсюду?

— И отцы наши, и деды нас учили — бегите от золота, не берите его в руки, хозяин горы может разгневаться даже за одно то, что этот камень стронули с места... А если богатые узнают, что тут есть золото, мы все погибнем... Тут все изроют, вырубят лес, высушат реки, уничтожат покосы... и немало крови прольется от всего этого. Там, где золото, там и кровь.

Сжав в кулаке самородок, Гайзулла смотрел на отца и теперь уже думал об одном — как бы незаметно подкрасться к тому месту, где он нашел этот злополучный камень, и оставить его там, куда положил его хозяин горы.

— Телята, наверное, разбегались, мне одному не собрать их...

— Опять боишься, дурачок? — Хайретдин подошел к сыну, положил на его плечо теплую руку. — Иди, иди, никто тебя не тронет! Никому в голову не придет, что в этой тряпке у тебя дорогой камень. Ничего, сам взял — сам и положи на место...

— Да, да, — тихо согласился Гайзулла.

Конечно, хозяин горы видел только его, когда он нашел этот самородок, — пусть и теперь он видит его одного, когда он будет возвращать ему то, что взял.

— Я посмотрю бортъ — не поселились ли там пчелы, и догоню тебя, — сказал отец. — А телята далеко от речки не уйдут...

Гайзулла от поляны свернул по тропинке к оврагу, окунулся в его прохладу и, прислушиваясь к пробивающемуся сквозь шелест листвы плеску воды, скоро выбрал к речке. Она обязательно приведет его к телятам. Он наткнулся на густые кусты смородины, усыпанные еще не созревшими ягодами, набил ими

полный рот и долго жевал, морщась и даже весь передергиваясь от терпкого острого сока. Ух, до чего кисло! Аж челюсти сводит!

Речка бежала через лес, поигрывая на перекатах желтым песком, весело болтая о чем-то, но на этот раз Гайзулла не стал ее долго слушать. Он шел, отводя одной рукой колючие ветки, а в другой сжимая до боли в пальцах шершавый узелок.

Когда он бежал к отцу, лес был его другом, а сейчас он будто тоже знал, куда и зачем спешит Гайзулла, и следил за каждым его шагом. Все, мимо чего Гайзулла прошел бы раньше не замечая, теперь было полно особого смысла. Он чуть не наступил на ужа, переползавшего тропинку, отскочил в испуге и долго стоял, слушая, как бьется в ключицы сердце. Он не знал, хорошая это примета или дурная, но шел теперь, осторожно оглядываясь по сторонам, глядя во все глаза. Шевельнется ли ветка, вспорхнет ли птица, прошумит ли ветер в верхушках деревьев, всплеснет ли рыба в речке — он, боясь что-то пропустить, напрягался, чтобы заранее предупредить желание хозяина горы, угадать, чего тот хочет от него. На старом пне, облепленном бледными грибами, нежилась на солнце зеленая ящерица, она уставилась на Гайзулла черной бисеринкой глаза, но не юркнула, как обычно, в траву, как будто знала, что сейчас никто не тронет и не вспугнет ее. Гайзулла тихо прошел мимо и вдруг почувствовал, что по ноге его, под разорванной штаниной, ползет что-то длинное и холодное. Он остановился, страхась притронуться к ноге, и движение зыбкой змейки замерло. Но стоило ему сделать два шага, как опять что-то поползло по телу, и Гайзулла залихорадило от предчувствия чего-то ужасного, что надвигалось на него. Обмирая от страха, он стянул штаны и ничего не обнаружил на ноге. Лоб его покрылся потом. Он прошептал на всякий случай молитву, чтобы уберечь себя от напасти и злого духа, и тут заметил, что в заплатке штанов застряла травинка — она-то, видно, и щекотала ногу. Он облегченно вздохнул и зашагал быстрее, стараясь держаться тропинки, бежавшей вдоль речки, но когда наконец выбрался к знакомому обрыву, наверху которого паслись его телята, увидел на берегу одинокую горбившуюся фигуру. Гайзулла попятился было в кусты, но человек заметил его и крикнул:

— Эй, малай! Ты не встречал тут человека с черной бородой?

Гайзулла только теперь увидел, что это все тот же Нигматулла, и ему сразу стало легче, хотя было и непонятно, чего он тут торчит на берегу.

— Это ты, Гайзулла? — рассмеялся Нигматулла. — Это твои, выходит, телята?

— Нет, Хажисултана-бая, — осмелев, ответил Гайзулла.

— Ха! Ха! А я-то, дурень, думал, что это вы с отцом так разбогатели, что завели целое стадо! — не унимаясь, похохатывал Нигматулла. — Тогда еще лучше! Давай одного теленка нарежем и наедемся вволю! У бая их вон сколько — он, наверное, давно считать перестал и не заметит пропажи!

Гайзулла, конечно, понимал, что Нигматулла шутит и на самом деле не собирается отбирать у бая теленка — тот живо найдет на него управу, но бродяга все скалил свои прокуренные зубы и уговаривал:

— Выберем теленочка поменьше, чтобы не так обидно было баю, если он не найдет его в стаде!.. Мясо съедим, а шкуру куда денем?

— А за шкуру Хажисултан-бай снимет твою шкуру! — неожиданно дерзко, сам не зная почему, сказал Гайзулла.

Он тут же пожалел о своих словах, потому что Нигматулла свел к переносью густые брови, изогнувшиеся навстречу друг другу, как две мохнатые гусеницы, и циркнул сквозь зубы.

— Кто тебя учил так говорить с человеком старше тебя? — В голосе Нигматуллы послышалась угроза. — Сам щенок, а лаешь уже, как большая собака! Лучше бы пас своих телят, а то убежал к отцу и забыл, у кого работаешь! Вот скажу баю, как ты бросаешь его телят, а сам бегаешь по лесу, он тебя по головке не погладит!..

Гайзулла испугался, что бродяга исполнит свою угрозу и тогда бай прогонит его. А может быть, это издевался над ним не Нигматулла, а сам хозяин горы, принявший его облик?

— Ладно, не смотри на меня волчонком! — неожиданно подался Нигматулла. — Как-никак нам скоро придется породниться... Вот разбогатею немного и вашу Нафису в жены себе возьму! А для тебя у меня всегда будут сладости! На вот, возьми! — Он запустил руку в карман и вытащил горсть леденцов.

Гайзулла вспыхнул, хотел было промолчать, но это было выше его сил, и он крикнул:

— Не пойдет за тебя Нафиса, и отец не отдаст ее тебе! И мать не отдаст! И я не отдам! И не надо мне ничего!

— Ах, вот ты как заговорил, волчонок! — Нигматулла поднялся, упер руки в бока и с удивлением поглядел на мальчика. — Чем же я хуже других людей?

— Ты хуже!

— Говори!

— Ты сын вора! — уже как в беспамятстве кричал Гайзулла. — И сам вор!..

— Повтори! Повтори, что ты сказал! — бешено выкатив глаза, побагровев, заорал Нигматулла и схватил мальчика за горло. — Я тебе покажу сына вора! Я тебе...

Он хрипел и задыхался от ярости, а мальчик бился в его руках и дико вопил на весь лес, пока бродяга не зажал ему ладонью рот и не скрутил назад руки.

Гайзулла, почти теряя сознание, подумал, что это не рука бродяги душит его, а железные руки хозяина горы, что это его глаза горят звериным огнем, а из-под верхней вздернутой губы, как клыки, торчат грязные зубы. Гайзулла хотел крикнуть, молить о пощаде — не губи меня, хозяин горы, я не знал, что это камень твой, он где-то упал здесь и валяется в траве, я не нарочно, я отдам его тебе, — но не мог выдавить ни одного слова. Потом он увидел у самого рта пахнущую потом и карамелью липкую руку и что есть силы впечился в нее зубами.

— А-а-а! — вскрикнул Нигматулла, на мгновение выпустил мальчика из рук, но не успел тот сделать и шага, как он сильным ударом сшиб его на землю.

— Отец! .. Отец! — обезумев от страха, закричал мальчик.

Он пополз, быстро перебирая руками, в густую траву, но новый удар опрокинул его на спину, и ему показалось, что солнце ослепило его, а стоявшая рядом сосна рухнула на него и накрыла плотной темнотой. . .

— Что ты делаешь, бандюга?

Нигматулла отпрянул в кусты, но, узнав голос своего товарища, пришел в себя.

— Ты же убил его, дурак! — зло выговаривал подскочивший бородач. — Чем помешал тебе этот мальчишка?

Нигматулла стоял бледный и дышал тяжело, как загнанная лошадь.

— Я сам не помню. . . — хрипло выдохнул он. — Этот звереныш обозвал меня вором! . .

— Ты сам зверь — посмотри на себя!

— Ты лучше скажи, Кулсубай, где ты пропадал? — сурово оборвал Нигматулла.

Кулсубай присел на корточки перед мальчиком, стал вытирать подолом рубахи его окровавленное лицо, но в глубине леса слышались чьи-то голоса, хруст веток, и он выпрямился.

— Пойдем, а то нам несдобровать! — Нигматулла потянул его за рукав.

Кулсубай вздохнул и, не говоря больше ни слова, зашагал в лес следом за товарищем. . .

Они уже не видели, как выбежал на поляну Хайретдин и за ним еще двое мужиков. Едва старик увидел лежавшего в траве сына, как ноги его подкосились, он упал на колени и закричал в голос:

— Гайзулла! Боже мой! .. Сыночек! .. Да кто же это тебя?

Мальчик зашевелился и, не открывая глаз, испуганно забормотал, как во сне:

— Не убивай меня! Не убивай!.. Я отдал тебе все, хозяин горы!.. Не убивай!

Хайретдин заплакал, слезы брызнули из глаз, смочили бороду, падали на залитое кровью, распухшее лицо сына.

— О аллах! Чем прогневил я тебя? Чем прогневил тебя мой мальчик?..

Он причитал и раскачивался, как на молитве, горе его было безутешным. Два мужика, стоявшие рядом, подождали, когда он выплачет свои обиды, потом один из них, высокий, сутулый, опиравшийся на суковатую палку, сказал:

— Хайретдин-агай, перестань! Не забывай, что ты мужчина! И нужно быстро сладить носилки из веток и нести сына домой!

— А я бы сразу показал его курээз! — сказал низенький и рябой. — Знахарь найдет снадобье и вылечит Гайзулла!..

— Где твой топор? — спросил высокий. — Я буду рубить ветки...

Он огляделся, увидел в траве топориче, нагнулся, чтобы взять его, но вместо топора поднял тряпичный узелок.

— Что ты там нашел? — спросил рябой.

— Какой-то камень, — ответил высокий и вдруг, развернув сунул узелок в карман.

— Покажи, покажи, не прячь!

— Да чего ты привязался! На что тебе этот камень?

— А если это деньги — тогда на троих!

Голоса спорщиков доходили до Хайретдина глухо, как сквозь вату, пока он наконец не догадался, о чем они кричат.

— Неужели вы не видите, что сделали с моим сыном из-за этого самородка? Вы тоже хотите, чтобы аллах покарал вас?

Он не успел договорить, как рябой бросился на высокого, и оба они повалились на землю. Они ругались, хватали друг друга за горло, рвали с треском рубахи.

— Вы сошли с ума!.. Выродки! Свиньи! — кричал Хайретдин. — Вы забыли про аллаха!..

Самородок переходил из рук в руки, и тот, кто завладел им, пытался убежать, но не делал и трех шагов, как другой сбивал его с ног, и они снова, хрипя и задыхаясь, катались по траве. Но вот самородок, выбитый ударом ноги, отскочил в сторону, упал прямо возле мальчика, и Хайретдин схватил его.

— Камень нашел Гайзулла! — закричал он. — И вы не получите его!.. Я завтра же отнесу его Галиахмету-баю... Бедному мусульманину золото ни к чему! Посмотрите на себя — вы забыли, что вы люди, что у вас есть жены и дети!..

Мужики поднялись и стояли перед ним в разорванной одежде, с окровавленными носами и пристыженно слушали его.

— Ты сам очумел, старик! — прохрипел сутулый. — Разве мало Галиахмету-баю того, что у него есть? Разве наши дети не хотят есть досыта и ходить не в лохмотьях?

— Они хотят есть и ходить чисто, — степенно отвечал Хайретдин. — Но они должны добыть это трудом и потом...

— Ну что ж, — мрачно протянул рябой. — Никому так никому... Добром ведь мы не разделимся... Пускай бай еще больше растолстеет, а мы проживем и так...

Хайретдин связал веревкой ветки, настелил на две длинные палки, осторожно уложил мальчика, сунув ему под голову чепмень, они бережно подняли носилки и тихо пошли через сумеречный лес.

Но едва миновали поляну и вышли на опушку леса, как Хайретдин вспомнил о телятах и чуть не застонал:

— О аллах!.. И как это выскочило у меня из головы? Я совсем потерял ум!.. Бай не простит нам до конца жизни, если пропадет хотя бы один теленок!.. Несите Гайзуллу домой, а я побегу собирать стадо!..

Он положил самородок в карман, сунул за пояс топор и побрел обратно в темнеющий лес.

Пала вечерняя роса, и трава хлестала по ногам, хлюпала, как вода. Смолкли птицы, лес насупился, испуганными тенями заматались среди деревьев летучие мыши, тонко и нудно завыли комары.

Хайретдин шел в глубину леса, не испытывая страха, равнодушный к тому, что может случиться с ним, думал о мальчике, и душа его болела и болела, не утихая...

II

Нигматулла бежал за товарищем, задыхаясь и обливаясь потом. Но тот вышагивал, не разбирая тропинки, лез напролом через кусты, не передыхая, не останавливаясь.

— Постой, куда ты несешься?

— На блины к теще! — не оглядываясь, бросил Кулсубай.

— Давай переведем дух! — просил Нигматулла. — Как раз место удобное — отсюда с пригорка всех увидим, а нас никто...

Кулсубай наконец остановился, обвел взглядом погружавшуюся в сумерки рощу и опустился на землю, лег, опрокинувшись навзничь. В темнеющей глубине неба плыли рассеянные хлопья облаков, высыпали первые робкие звезды.

Некоторое время оба молчали, потом Нигматулла заерзал, подвинулся в сторону; слышно было, как он шуршит ветками.

— Может быть, ты сходишь и поглядишь, что там делается, — неуверенно проговорил он.

— А сам труса празднуешь? Поджилки трясутся? — Кулсубай положил голову поудобнее, потянулся. — Нет уж, заварил кашу — сам и расхлебывай!

Обеспокоенный каким-то шумом, Нигматулла поднялся, долго и напряженно вслушивался.

— Там драка! Погляди! Себя не жалеют, прямо насмерть сцепились... Из-за чего бы?

— А тебе уж не терпится, если люди где друг другу горло перегрызают? У самого кулаки чешутся?.. Мало тебе, что мальчишку ни за что ни про что покалечил...

— Дался тебе этот сопляк!.. Заживет все на нем, как на щенке... Да и кто он тебе — сын или брат, что ты жалеть его начал?

— Молокосос ты еще, Нигматулла... Вырос, а ума не вынес!.. А если бы у тебя сын был и его так изувечили, что бы ты сказал? Ребенка избить — много сил и храбрости не надо!..

— Ладно, замолчи! — раздраженно крикнул Нигматулла. — Привязался, впился, как клещ, не отдерешь!.. Дай послушать!

С далекой поляны сквозь устоявшуюся вечернюю тишину доносились неразборчивые крики.

— Кажется, делают что-то... Нет, я схожу погляжу, — не вытерпел Нигматулла. — Подождешь? Я мигом!.. Может, клад нашли?..

— Иди, иди, понюхай, чем там пахнет! — насмешливо протянул Кулсубай. — Без тебя они не сумеют все поделить поровну!..

Нигматуллы долго не было. Шум на поляне утих, загустели сумерки. У Кулсубая уже стали слипаться глаза, когда поблизости затрещал валежник и, как кошка, упала серая войлочная шляпа.

— Эх, прозевали!.. — Нигматулла повалился рядом с Кулсубаем и уперся кулаками в землю.

— Что, без тебя обошлись? — весело рассмеялся Кулсубай. — Ай-яй-яй! Как же так? Неужто даже и дыры от камзола не досталось?

— Брось шутки шутить! — Узкие глаза Нигматуллы сверкнули, как лезвие сабли, лицо исказила злобная гримаса. — У мальчишки в тряпке золото было!

— И много там было золота?

— Самородок! Больше овечьей головы!

— Ну да? Вот так-так! Как же ты такого большого ягненка не приметил? Ах, да, я ведь и забыл, у тебя что-то глаза к старости плохо видеть стали!

— Не веришь? Так пойди сам спроси!

— Да откуда у малайки столько золота?

— Нашел, наверное, где-то тут, пока своих телят пас...

— Да-а, крупный куш мы проворонили с тобой! — Кулсу-

бай встал, прошелся, разминая ноги.— Надо бы приласкать мальчишку, а ты его чуть на тот свет не отправил... Нашел с кем связаться, дурная башка!

— Хватит меня на чурки распиливать, и без тебя тошно! — Нигматулла пососал большой палец правой руки, подул на него, сунул под мышку.— Наверно, до кости прокусил, паршивец,— мочи нет, как болит...

— Они еще там или ушли? — спросил Кулсубай.

— Понесли мальчишку домой...

— Может, пугнем их и отберем самородок?

— Держи карман шире!.. Он не один там, с ним какие-то мужики из аула...

Кулсубай сломал смородиновую ветку и начал нервно и быстро ощипывать с нее листья.

— Если кусок во рту, его уже не вырвешь,— пусть тот, кто его схватил, и глотает!.. Но ведь там, где мальчишка нашел этот кусок, может, и другой лежит, а?.. Где нашла одна овечка, там и все стадо должно быть!..

— Мальчишка, видать, без памяти, а старик слова не скажет — сам напугался до смерти и других перепугает на год вперед!

— По-хорошему надо, не как ты...

— Не как я, не как я! Чего ты ко мне привязался? Может, ты у нас и видишь сквозь тряпку, как курээ, а у меня пока что с глазами все так, как у людей!

— Ладно, Нигмат, что зря ссориться! Все одно теперь дело пропащее... — Кулсубай вздохнул.— Жрать хочу, сил нет. У отца твоего небось мясо-то припрятано?

— Мне теперь туда лучше и носа не совать. Если Хайретдинов щенок скажет, что я его прибил...

— Да кто об этом подумает! А если подумает, золото ведь нашел не старик, а мальчишка? Ну, значит, и досталось ему от албасты, а ты тут ни при чем! Если кто спросит, так и говори — я не я и вина не моя... Понял? То-то! Почему бы хозяину горы не походить денек-другой в твоей шкуре, а?

— Ну, раз так!.. — Нигматулла с удовольствием рассмеялся.

В лесу становилось светлее от луны, поднимавшейся над верхушками сосен, поляны будто затянул голубоватый туман. Плыл меж стволов призрачный дым, как кружево, просвечивали ветки над головой, засветилась в лесных сумерках береза, случайно оказавшаяся рядом с черными елями. Они задевали ветки, сыпались сверху капли росы, вспыхивали светлячками и гасли, но Нигматулла и Кулсубай ничего не замечали, голод гнал их вперед, на запах дыма и жилья, где они могли чем-нибудь поживиться...

На краю деревни они наткнулись на крупного барана, спавшего в тени ивового частокола. Должно быть, он заблудился и лег там, где застала его ночь. Издали он походил на серый, чуть светивший в темноте большой круглый валун.

— Только тихо, не всполоши всю деревню, — предупредил Кулсубай. — Заходи с другой стороны. . .

Они подкрались к барану, и не успел тот вскочить на ноги, как они зажали его, и Нигматулла быстро выхватил из кармана нож. Баран испуганно проблеял, но тут же захлебнулся кровью. Они навалились на него и держали до тех пор, пока он не перестал дергаться и не обмяк.

— Теперь живо! — скомандовал Нигматулла. — Берись за задние ноги и подальше отсюда! . .

— Не бойся, хозяин барана спит — может, пятый сон видит. . . Разве что от запаха мяса проснется!

Они снова углубились в лес и краем опушки вышли к речке. Красавица Кэжэн тихо всплескивала в своих берегах, играла лунными бликами.

Связав барану ноги ремнем и повесив его на сук дерева, Нигматулла стал свежевать его, ловкими и рассчитанными движениями отделяя шкуру.

— Разводи костер! — приказал он Кулсубаю. — Поищи ямку поглубже. . .

Они отделили заднюю часть освежеванного барана, остальное мясо завернули в шкуру, уложили его на дно ямы, забросали землей и развели на ней большой огонь.

Кулсубай, глотавший все время голодную слюну, насадил баранью голову на две заостренные палки и начал поджаривать ее над костром. Запахло паленой шерстью, в огонь, шипя, падали капли жира. Прикрывая от жара лицо локтем, Кулсубай отрезал кусок недожаренного мяса и жевал — торопливо и жадно.

— Правду отец говорил — краденое мясо всегда вкуснее! — Нигматулла засмеялся, присел к костру. — Хватит прожаривать — в брюхе все переварится. . .

Он сел, побрякивая от удовольствия, обсасывая косточки, не вытирая стекавший по пальцам жир. Мясо пахло едким дымком.

— Алла, как хорошо, что ты послал нам молодого, а не старого барашка! . . — насмешливо поднял глаза к небу Нигматулла.

Наевшись, они долго лежали в ленивой полудреме, глядя на угасающий костер. Быстро меркли угли, последние искры сверкали в темноте, как красные глаза рыси. . .

Всю ночь они мерзли, тесно прижимаясь спинами друг к другу, съежившись около куста. Перед рассветом они уже не

могли лежать — до того стало холодно, что надо было прыгать на одном месте или бегать, чтобы немного согреться.

— Огонь, что ли, развести,— пробормотал, стуча зубами, Нигматулла.— Скоро льдом покроюсь. Что это нынче лето такое холодное?

— Нельзя, скоро люди поднимутся,— сонно ответил Кулсубай и потянулся.

— Если узнают про барана, нам несдобровать.

— Прямо противно глядеть на то, как ты трясешься! Будто на небе, а не на земле живешь, своих законов не знаешь! На охоте никогда не был?

— Ну, был. . . При чем тут охота?

— Закон такой, неписанный: убьешь волчат — жди для себя беды. И тут такой: увидел краденое — молчи, а то и с твоей скотиной то же самое будет!

Туман рассеивался долго, поднимаясь от земли полупрозрачными клочьями и медленно всплывая вверх, к вершинам сосен. Внизу, в лощине он растекался голубоватым молоком, из него торчали лишь ветки кустарника, а травы вовсе не было видно.

Раскидали угли потухшего костра, вытащили завернутое в шкуру мясо, но не успели расположиться, отрезать по пресному кусочку, как в глубине леса послышался глухой топот, и бродяги закидали костер ветками, притаились за кустами.

Всадник вынырнул из тумана неожиданно, как из воды, и Кулсубай узнал его раньше, чем Нигматулла.

— Это же твой отец! . . Зови его к костру — пусть будет нашим гостем. . . Хажигали-агай!

— Молчи! — Нигматулла стиснул руку товарища. — Обойдемся без него. . . У него свои дела, у нас — свои. . .

Хажигали, хотя и не видел их за кустами, видимо, понял, что впереди кто-то есть, иначе лошадь не запрядала бы так ушами, не забеспокоилась. Он придержал поводья, взгляделся в глубину леса, потрогал свисавшие по обе стороны седла тяжелые мешки и свернул в сторону.

— Хитер, собака! — не то с осуждением, не то с восхищением сказал Нигматулла.— Мне вчера врал, что дранки поедет рубить, а сам какие-то мешки везет. . .

— Мало ты знаешь своего отца! — Кулсубай загадочно усмехнулся. — У него особый нюх на то, что плохо лежит.. А уж если кому вздумает мстить, то берегись! Корову последнюю уведет со двора, зарежет, не пожалеет. . . А вот зачем ты пошел по его дорожке, скажи на милость!

— Говоришь так, будто сам святой.— Нигматулла злорадно расхохотался. — Смешно тебя слушать!.. Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!..

— Мне уж деваться теперь некуда, а ты молодой и здоровый! — Лицо Кулсубая было задумчиво и серьезно.— Во мне

это как зараза!.. Я в твои годы не то что украсть, а соврать людям боялся! И вот дожил — ни дома, ни родных и близких, ни черта! Хоть волком вой... Помирать буду — никто воды не даст...

— Ну до смерти тебе еще далеко! — по-прежнему посмеивался Нигматулла. — Накопишь денег и за них все получишь — и доброту и воду...

— Ничего ты не понимаешь, сосунок! — Кулсубай в сердцах махнул рукой. — Пойдем хоть глаза промоем, чтоб на людей походить!

Он спустился к берегу, опустил на корточки, зачерпнул пригоршней воду, плеснул в лицо и стал быстро до красноты растирать его, светлые капли застряли, как осколки стекла, и поблескивали в бровях и бороде. Нигматулла тоже присел на берегу, опустил пальцы в воду, но тут же выдернул и поднялся.

— Ничего, мне сегодня не жениться — могу погулять немывтым!

— Вот ты говоришь — до смерти далеко, — возвращаясь к тому, о чем они говорили, вспомнил Кулсубай. — Мне всего тридцать пять стукнуло, а погляди — все лицо у меня в морщинах, как у старика!.. И душа вся в ранах — ни одного живого места нет!

Они снова развернули шкуру, мясо уже остыло, казалось еще более пресным и почерствевшим.

— Я без отца и матери остался, когда мне восемь лет было, — Кулсубай опять заговорил о том, что сегодня не давало, видно, ему покоя. — Отвели меня, сироту, к богачу... Был в нашей округе такой — изверг и кровопийца! С фонарем по белу свету будешь искать — не найдешь такого! Гонял меня с утра до ночи, когда мальчишкой был, а потом подрос, он вовсе за человека меня не считал...

— Чего же ты терпел? Взял бы и убежал! Не на привязи же он тебя держал!

Кулсубай ответил не сразу, вытер руки о траву, не торопясь закурил, и Нигматулла подумал было, что он уже забыл, о чем шел разговор, но товарищ словно очнулся, и в голосе его зазвучали укор и жалоба.

— В том-то и беда, что я был на привязи, покрепче всякой цепи!.. И пес с нее сорвется, если ему хозяин не по душе, а человек и подавно, но тут сам я себя привязал и шагу не мог ступить в сторону... Дочка у мироеда была — Машей звали! Вот из-за нее и терпел все...

— А она?

— Да и она ко мне душой повернулась, без меня жить не хотела!..

— Грех это!.. Она же русская, крещеная, а ты мусульманин, башкир...

— Пустые слова говоришь, Нигмат... Легче тебе жить оттого, что Хажисултан-бай и Галиахмет-бай мусульмане? Отломят они тебе кусок от своего богатства? Разевай рот шире!.. Последние портки с тебя сдерут и на мороз выгонят, корки хлеба пожалеют!.. Я тоже раньше так думал — грех, а потом один русский открыл мне глаза. Грех для тех, у кого ничего нет, а у кого все есть, — для тех никакого греха не было и никогда не будет... Это Михаил мне все разъяснил, тот русский...

Туман рассеялся, первые лучи солнца просачивались сквозь листву, в ветвях начинали посвистывать птицы.

— Агай, а как же с той русской? Отступился ты от нее?

— Из-за нее-то и вся моя жизнь сломалась... — Кулсубай вздохнул, привалился спиной к березе, полузакрыв глаза. — Иногда подумаю: да со мной ли все это было — и не верю... Отец ей побогаче жениха нашел, когда увидел, что дочь его на голодранца заглядывается... Сговорились мы с ней бежать, когда она с женихом кататься поедет. Остановил я жеребца, схватил за узду, повис и говорю по-хорошему — слазь, мол, барин, ты себе другую найдешь, а мне без Маши не жить!.. Ну он, известное дело, осерчал, заорал, что есть мочи — вон, басурманская морда! И по глазам меня, плеткой! Тут я не стерпел и башкой его об дерево, он и притих...

— Поймали вас? — Нигматулла слушал товарища с полуоткрытым ртом, почти не дыша.

— Поймали, да не сразу... До осени мы в лесу жили, как звери, в землянке... К зиме в татарскую деревню явились. Маша в нашу веру перешла, Муслимой ее назвали... Но не долго нам пожить пришлось вместе — кто-то донес, и одной ночью меня скрутили — и в Сибирь на каторгу...

— А Машу отец забрал?

— Сослал ее отец куда-то не то в монастырь, не то ей нового мужа нашел — с тех пор следа не найду!..

— Неужели и концы не найти?

— Вот и ищу, как с каторги пришел... Потянул тут за одну веревочку — похоже, знает что-то человек, да помалкивает или не хочет задарма рисковать...

— А давай его припугнем...

— Нет, тут нужно подход иметь... Я и золотом его поминал — намою, мол, все до золотника отдам!..

— А он что? Не мычит, не телится? Пристрелить его, собаку, и пусть ему на том свете шайтан песню поет...

— Горяч ты больно, Нигмат!.. Вот как с этим бараном! — Кулсубай отпихнул от себя шкуру с остатками мяса и костей. — Пока голод за горло брал — ни о чем не думал, лишь

бы набить живот и успокоиться... А сейчас смотреть на мясо не могу — кусок в горле застревает!..

— Обожрался, вот тебя и мутит...

— Нет, от совести меня мутит... Если бы я знал, что этот баран от байской отары отбился, мне не жалко, а что, если мы у бедного человека последнее отобрали?

— Ну пошел кишки на кулак мотать! — Нигматулла нахмурился, отбросил жирную кость, провел кулаком по влажным губам. — А самородок кто вчера хотел отобрать? Не ты, что ли?

— Это я из-за Маши. — Кулсубай низко опустил голову. — Да и все равно, старик сказал, что отдаст его баю... Так уж лучше нам, чем в эту бочку без дна!..

Он говорил, казалось, больше убеждая самого себя, чем Нигматуллу, глядя куда-то поверх головы товарища на маленькую рыжую сосну, выбежавшую к речке и застывшую на обрыве. Лицо его с нечесаной, спутанной бородой словно покрывала пыль, оно было мрачным и изможденным, под глубоко запавшими глазами лежала синева. Он зябко ежился, прикрывая полами худенького казакина просвечивающие сквозь драные штанины голые колени.

— Мне тут зимовать нельзя, — устало выдохнул Кулсубай. — Ни кола ни двора... Кому я здесь нужен? Врагов полные карманы, а друзья все в дырки провалились...

— Куда же ты тогда?

— Пойду к русским! Может, помогут мне Машу отыскать — они все же грамотные люди, не то что мы — чурки с глазами... Да и надоело жить и трястись от страха!.. Последний раз я с тобой ворованное мясо ел! Завязал я с этим делом, все!

— Не зарекайся! — Нигматулла засмеялся. — И не захочешь, да руки сами потянутся взять чужое...

— А ты не бери, силой тебя никто не заставляет! Лучше обманывать, чем воровать, — говорил мне один старик... Лучше руку протянуть и милостыню попросить, чем каждый раз свою совесть грязью забрасывать!..

Нигматулла сжал было кулаки, но сдержался. Слова Кулсубая, как ножом, резанули по сердцу, он отвернулся. «Думаешь, так легко от этого избавиться, Кулсубай? Думаешь, это так просто, когда отец твой вор, и братья воры, и вся деревня знает это, и даже если ты бросил, все равно скажут — это он украл? Только нет дураков, такого никто не скажет в лицо ни мне, ни отцу, ни братьям. Кому хочется лишиться скотины? Ты прав, отец мстит так за любую обиду... А разве я не помогал отцу, когда был еще малаем? Разве не помогали ему братья? Эх, да если уж на то пошло, я раз двадцать хотел бросить! И не смог... Душа тоскует, руки сами к чужому тянутся! Да и не я

один, братья тоже... Ты ведь знаешь, яблоко от яблони недалеко падает. Никуда не уйти мне от своей яблони, нет, Кулсубай, не уйти...»

Всякий раз, когда Нигматулле говорили, что он сын вора и сам вор, он готов был броситься с кулаками на обидчика, но сейчас перед ним стоял тоже вор, не желавший больше брать чужое добро, и он чувствовал себя бессильным.

— Ну как знаешь,— проговорил он, кривя в усмешке губы и вприщур разглядывая Кулсубая, как бы не узнавая его.— А то нам вдвоем было бы сподручно работать...

Кулсубай нагнулся, завязал лапти, потуже затянул пояс и выпрямился.

— Возьми на память, может, пригодится.— Нигматулла сунул руку в карман и вынул блестящий желтый камешек.

— Что это?

— Это медь, но сойдет за золото.— Нигматулла протянул камешек товарищу.— Отдай тому человеку, который знает про твою Машу... Может, поверят?

Кулсубай повертел камешек на ладони, потом вернул его обратно.

— Кто сам хитрее других — его на кривой кобыле не объедешь! А если он увидит, что я обмануть его хотел, меня снова за решетку упрячут!.. Нет, лучше уж по-честному!.. Спасибо, и не поминай лихом!..

Они простились на опушке леса, и Нигматулла чувствовал себя так, как будто на этот раз обокрали его самого.

III

С той минуты, когда Галиахмет-бай услышал, что старый Хайретдин нашел где-то самородок, он не знал покоя. Несколько раз он начинал собираться, чтобы идти к старику и расспросить его о новом золотом месте, но что-то удерживало его. Еще не было случая, чтобы самородки уплывали из его рук, и, может быть, стоило не торопиться, разузнать обо всем стороной и лишь тогда разговаривать с Хайретдином.

Чтобы не испортить дело, Галиахмет-бай не хотел обнаруживать свой явный интерес, но ждать долго тоже было выше его сил, и он наконец не выдержал. Он решил сходить в контору и послать на разведку своего управляющего, но едва вышел из дому, как услышал гул на площади, а через минуту увидел старого Хайретдина. За ним, в надежде на легкое угощение, гурьбой шли старатели. Галиахмет-бай видел их возбужденные, темные от загара и грязи лица, серые потные рубахи, перепачканные глиной шапки и штаны. Издали толпа казалась черно-желтой, крикливой, хотя пока нельзя было разобрать ни одного голоса — катился ровный глухой гул,

Галиахмет-бай молча стоял у ворот, опираясь на красную дорожную трость, увитую серебристыми змейками, расшитая бархатная тюбетейка его тоже была украшена серебром, стрелками сверкали по камзолу серебристые нити. Под узким ремешком выпирало небольшое брюшко, обтянутое атласной рубахой. Опираясь на трость, он чуть скособочился, отчего острая козлиная бородка его торчала немного вбок. В неподвижной и грузной фигуре бая, казалось, жили только глаза — маленькие, плутоватые, широко посаженные на скуластом, тяжело обрюзгшем лице. Они быстро пробежали по толпе, от одного лица к другому и замерли на Хайретдине. . .

Заметив этот пристальный взгляд, старик ускорил шаги, поднял над головой небольшой сверток и крикнул:

— Локотэ! Локотэ!

Старатели, шедшие следом, нестройно подхватили:

— Хазина! . . Хазина! ¹

Из дверей соседних балаганов и землянок выбегали женщины, ребятишки, толпа росла. Самые смелые из них помчались впереди Хайретдина, выкрикивая на разные голоса:

— Локотэ! Хазина! . .

Не доходя десяти шагов до бая, старатели стянули с голов шапки и остановились. Галиахмет-бай неожиданно выпрямился и стукнул тростью об землю.

— Чего галдите? Небось золота на рубль, а крику на всю тысячу! . . Почему бездельничаете? Разве сегодня праздник? . .

Толпа притихла, ребятишки испуганно ткнули носы в материнские подола, старатели потупили головы, недоуменно переглянулись. Что случилось с Галиахметом-баем? Ему принесли золото, а он, вместо того чтобы радоваться, лает на всех, как собака. . .

Хайретдин вытер шапкой потное лицо и медленно опустился на колени.

— Мы отдаем то, что принадлежит по праву тебе одному!

Узелок дрожал в узловатых руках старика. Бай презрительно отвернулся.

— Галиахмет-бай. . . Платок, конечно, грязный, как наша земля, из которой мы вышли и в которую уйдем, но посмотри, что я завернул в эту тряпку. . .

— Развяжи сам! — бай ткнул тростью в узелок.

Это был старый французский платок, неизвестно как очутившийся у старика, но когда Хайретдин развернул его концы, Галиахмет-бай почувствовал, как спину его охватил радостный озноб. Он сразу понял, что перед ним настоящий самородок, но для виду еще притворился, пробовал самородок на зуб, недовольно щурился, причмокивал губами.

¹ Клад, сокровище.

— Ладно, ладно! Посмотрим!.. Может быть, этот камень блестит только сверху!.. Я дам его на пробу!..

Он сунул камень за пазуху и снова обернулся к толпе. Он понимал, что не может обидеть и оттолкнуть людей, ждавших, когда им поднесут по стакану водки. Они должны уйти отсюда, довольные своим хозяином и благодетелем, и, оглядывая медленным взглядом эти осунувшиеся, будто в рыжей копоти лица, он знал, что сказать изнуренным тяжелой работой старателям, каждому стоявшему здесь.

— Я люблю вас, как отец любит своих сыновей,— тихо начал он, поглаживая свою острую бородку.— Разве отец всегда ласков с детьми? Разве он не ругает и не наказывает их, когда в том есть нужда? Но после этого отец любит их не меньше, а еще больше... Вы для меня, как для нашего великого царя, дети.— Он поднял руку над головой и растопырил толстые короткие пальцы: — Вот пять пальцев. Какой ни укуси — придет боль... Вы все дороги мне, какими бы ни были — маленькими или большими пальцами... Ваше горе — мое горе, ваша радость — моя радость... Но помните — я болею за вас, так и вы болейте за меня и будьте благодарны, что я день и ночь молюсь за вас и думаю, чтоб вам было лучше на этом свете и на том... Сегодня вы принесли в мой дом радость, и я хочу, чтоб и вам было хорошо!.. Я угощу вас на славу! И пусть ни один из вас потом не скажет, что Галиахмет жадный... Не успеете сказать «ах», как бочка с водкой будет перед вами!..

Старатели загудели, а те из них, которые стояли, не смея шелохнуться от боязни, теперь осмелели, радостно загалдели, а кто-то из злоязыких даже начал напештывать и посмеиваться:

— Сразу почуял, как золотом запахло!..

— Живо за пазуху упрятал!..

— Губа не дура, язык не лепатка — знает, где сладко!..

— Да тише вы, черти... Услышит — и не видать вам угощения, как своих ушей...

Они смотрели, как уходил в контору бай, в красных своих сапожках, переваливаясь, как откормленный гусь. Не прошло и нескольких минут, как два байских работника выкатили из ворот бочку.

— Станови-ись! — зычно закричал один из работников, размахивая над головой березовым половником. — Бай угощает вас от всего сердца!.. Подходите по очереди и не давите друг друга — достанется всем!.. — Он отыскал в толпе Хайретдина и кивнул ему: — Тебя бай к себе зовет на угощение!.. Иди, иди! Не каждому выпадает такая честь!

Гомон все усиливался, вокруг бочки толпились старатели, задрав головы, выпивали до дна половник, вытирали подолами губы, быстро хмелели, садились на землю и затягивали песни.

Иные, похитрее, старались пробиться к бочке второй раз, но удавалось не всем — работник бил половником по затылку и отгонял прочь. Площадь гудела.

— Вы говорите — бай скупой, жадюга, а он вон какой молодец! — выкрикивал рослый кудрявый парень, крутившийся около бочки. — Целую бочку не пожалел!.. А надо будет — и другую выкатит!

— Брось, Хисматулла! — увещевал его другой, уже пьяный голос. — За эту бочку он из нас десять бочек крови высосет... Он, браток, как тот паук — все в свою паутину тащит...

— Пошевеливайся! — орал работник. — Развязали языки, неблагодарные! Вам бы только хлебнуть, а там никого не пощадите! Выходит, водка для языка, а не для ноздрей! — Он поднес половник к лицу, понюхал. — Хороша! А ну, кто еще не отпробовал? Ты, Хисматулла?

Парень подошел к бочке одним из первых, однако не релся пить, потому что еще ни разу не пробовал водки, но сейчас, побоявшись, что старатели засмеют его, крепко зажмурился и опрокинул в себя половник. Он тут же закашлялся, поцёрхнувшись, и схватился руками за вспыхнувшее горло, но сзади уже теснила толпа, кто-то сильно толкнул его в спину, и Хисматулла, вылетев из очереди, схватился за ворота. Отерев слезы, выступившие на глазах, он отошел в сторону, голова его тихо закружилась, в желудке стало тепло.

Недалеко на траве кучкой расселись старатели, и Хисматулла прибил к ним. Ему вдруг стало очень весело, захотелось говорить и петь, но здесь тоже кто-то ругал бая, и Хисматулла потянул за рукав немолодого сутулого старателя с угрюмым лицом:

— Ты зачем такие слова говоришь? Так ты платишь за добро?

— Вот молокосос! — одернул его назад старатель. — Ты что, поглупел от одного половника? Нашелся защитник!

— Дай ему разок по шее, чтоб он слюни не распускал!

— Не связывайся, он еще недоумок!..

Мимо старателей проходила молодая женщина, и сутулый попросил ее:

— Гульямал! Забери этого сосунка!.. А то он нам все веселье испортит...

Но Хисматулла, увидев женщину, сам рванулся к ней, замахал бестолково руками.

— Гульямал-енга, ты не за мной тут следишь? Не за мной по пятам ходишь? — заплетающимся языком спросил он.

— Больно мне интересно посмотреть за тобой! — Гульямал рассмеялась. — Ты взрослый и красивый мужчина, а я бедная вдова, жена твоего брата! Пристало ли мне за тобой доглядывать!

Она взяла молодого деверя под руку и повела. Хисматулла шел, покачиваясь, часто упираясь и не желая идти дальше, но после уговоров опять шагал, бормоча что-то себе под нос.

— А откуда ты взялась, Гульямал? Кто тебя послал? — все продолжал выпытывать он, но тут же забывал, о чем спрашивал. — Давай споем что-нибудь, а?

Из распахнутых дверей кабака, куда теперь перекинулась вся гульба, вырвалась песня, и Хисматулла подхватил ее протяжный и заунывный мотив:

Опять поднимаюсь я таежной горой,
Пушу у березки коня —
Как рано увянет подснежник живой,
Так жизнь увядает моя...¹

Это была старинная башкирская песня, полная светлой тоски и сожаления о несбывшемся счастье, она всегда сжимала сердце Хисматуллы, и он готов был плакать, когда слышал ее. Вот и сейчас, стояло им отойти от поселка, как он опустился на траву и заплакал.

— Может быть, и мне вместе с тобой пореветь? — спросила Гульямал и рассмеялась.

— Тише, Гульямал!.. Тише! Не дай бог, услышит мулла — плохо мне будет... .

— Ты еще и муллы боишься?

— А ты никого не боишься, что ли? Как стала вдовой, так все тебе нипочем?.. Разве ты не слышала, как мулла вчера побил сына Ягуды-агая, что живет на самом краю деревни? Ударил палкой и ухо до крови обтрепал, — ты, говорит, своим криком шайтана зовешь!.. А ты думаешь, наверное, раз я выпил, то и ум потерял? Не-е-ет, я все помню... Раз бай угощал — я не мог отказаться, верно? А теперь тихо!.. Да и мать заругается, если узнает!..

— Может, ты не мужчина вовсе, а баба? — Гульямал расхохоталась прямо в лицо парню. — Тогда где же твоя юбка?.. Иди я тебя приласкаю!

Она хотела обнять Хисматуллу, но парень освободился от ее рук, и до самой деревни они шли молча, не проронив больше ни слова.

IV

Увидев на пороге Хайретдина, бай молча показал ему на стул.

Но старик остался стоять в дверях, прислонясь к косяку и теребя в руках шапку-ушанку. Он несмело заглядывал

¹ Перевод песен в книге Н. Мальцевой.

в комнату и дивился тому, что видели его глаза. Мягкие кожаные сиденья, на стенах красивые ковры с летящими на них птицами, а на полу, под ногами, ковер, похожий на мох, словно усыпанный живыми цветами. У большого окна, за которым синело небо и качались деревья, держался на львиных лапах огромный стол, с массивной литой чернильницей и хрустальным стаканом, из которого веером торчали разноцветные кандашки.

— Ну что ж ты? Проходи, — сказал Галиахмет-бай.

Хайретдин никогда не бывал в такой богатой комнате и так сробел, что страшился переступить порог и ступить своими пыльными лаптями по ковру и крапленному в золотистый цвет полу. Пол так блестел, что в него можно было смотреться, как в зеркало.

— Я лучше тут постою, — тихо сказал Хайретдин. — Запачкаю здесь все...

— Запачкаешь — есть кому вымыть! Не бойся!..

Его сместила и забавляла робость старика, не привыкшего видеть такую роскошь, и, по правде, даже было немного приятно, что он сумел поразить его своим жильем.

— Ты, господин-бай, скажи мне, зачем меня позвал, я послушаю и пойду домой... Сын у меня болеет, и старуха зажда-лась! Отпусти, если нет ко мне особого дела, — я гулять не привык...

— Мусульманину грех разговаривать стоя, — бай приветливо улыбался, ему по душе был этот смиренный и послушный старик. — Садись, будешь моим гостем... Сейчас принесут самовар, чаю с тобой попьем...

Еще не до конца веря своим ушам, Хайретдин осторожно двинулся в лаптях по скользкому, как лед, полу, добрался до стула, присел на его краешек, подвернул немного ковер, чтобы не касаться его ногами. Хоть и красиво было тут, в этих хоромах, но вместе с тем и тревожно и боязно чего-то, словно он вошел туда, где ему не положено быть со дня своего рождения. Но ослушаться бая старик не смел.

А Галиахмет-бай, развалясь в кресле, продолжал ласково улыбаться, поглаживать бородку и смотреть на старика с таким участием, что Хайретдину казалось, что перед ним совсем другой человек, не тот, что кричал на старателей у ворот, вскидывал над головой короткие и толстые пальцы, брызгал от гнева слюной. Теперь это был спокойный и добрый мусульманин, тихий, семьянин и щедрый хозяин, зазававший к себе гостя, и гостю тоже не пристало вести себя диковато и боязливо, как забежавшей с улицы собаке...

Но вот Галиахмет-бай вытянул из нагрудного карманчика часы на золотой цепочке, приложил их к уху, послушал, как они играют и вызванивают, щелкнул крышкой, спрятал часы

и хлопнул в ладоши. И в ту же минуту открылась дверь и в комнату вошла молодая женщина в темном платье и белом переднике и, чуть покачиваясь, не боясь поскользнуться, пронесла на вытянутых руках широкий поднос с бутылкой и двумя рюмками. Она накрыла белоснежной скатертью низкий столик, поставила на нем бутылку, рюмки, тарелку с ломтиками мяса и той же плавной поступью удалилась. Бай проводил ее потеплевшими глазами до самых дверей.

— Что ж, агай... Если тебе некогда ждать, пока закипит самовар, давай тогда опрокинем по одной!

Галиахмет-бай держался с Хайретдином по-соседски, как будто они были ровней друг другу, и старик поборол свою робость, взял в руки хрупкую из синего тонкого стекла рюмку. Только бы не выскользнула из негнущихся пальцев эта дорогая безделица и не разбилась вдребезги.

«И зачем он налил мне в такой наперсток,— подумал старик.— Было бы куда спокойнее и легче пить из простой чашки!»

Однако после первого же глотка, опалившего гортань, Хайретдин почувствовал себя свободнее и смелее. Ровно сидел он не в гостях у бая за полированным столом, в увешанной коврами комнате, а у себя в избе, с кем-то из своей родни и тянул одну рюмку за другой, и уже хмельно кружилась голова и просилась на язык песня.

Когда на столе очутилась вторая бутылка, старик расхрабрился до того, что взял сам граненый стакан от графина и палил в него водки.

— Я темный человек, Галиахмет-бай,— шаря руками по груди и с трудом подыскивая слова, заговорил он.— Не осуждай меня... Спасибо, что не побрезговал бедным мусульманином и посадил его рядом с собой за стол... Правильно я говорю? Если не так, ты останавливай меня— у меня дырявый рот, и из него могут выпасть даже зубы, а не то что худые слова!.. А золото— на что оно мне? Плевать я хотел на золото!.. Нам, бедным, оно не впрок пойдет... А тебе оно нужнее, чем нам, и, видно, так хочет аллах!.. Но почему он не услышал моей молитвы, когда я просил его за сына?

Он уронил голову на грудь и заплакал — тягуче и нудно, как ребенок, всхлипывая и размазывая кулаком слезы по лицу. Выпив, старик совсем ослабел. Да и кто знал, кроме него самого, что за один день он, может быть, постарел на несколько лет? Оборки его лаптей развязались, из-под серых холщовых штанин спускались измазанные глиной портянки, огрубевшие, потрескавшиеся от работы руки так дрожали, что еле удерживали на коленях черную засаленную шапку. Старик плакал, как у себя дома, не стыдась бая, не заботясь, что слезы капают

на бороду, и он смахивал их ладошкой на желтый сияющий пол.

— Отпусти меня, Галиахмет-бай,— ныл он.— Сын у меня лежит и в себя не приходит — покалечил его злой дух... Погубил проклятый самородок... Не послушал меня, вот и поплатился!..

Он провел рукой по бритой голове, стогняя с лысины муху, нахлобучил шапку, шумно высморкался в подол рубахи и встал.

— Погоди, погоди, кто кого погубил?

— Прости меня, старика, и сам не знаю, чего болтаю...

Хайретдин вовремя остановил себя и теперь быстро трезвел, уже страдая, что сказал лишнее.

— Может, меня кто погубить грозился? Говори! — допытывался Галиахмет-бай, нервно поигрывая золотой цепочкой от часов.

Он снова усадил старика на стул, прошелся в мягких красных сапожках по ковру, придвинул кожаное кресло и втиснулся в него со своим большим, как пухлая подушка, животом, застегнул на все пуговицы расшитый бисером камзол.

— Ты не бойся, Хайретдин,— тихо говорил он, следя теперь за каждым движением старика.— Я как отец тебе, как брат... Мы люди одной веры...

— Налей-ка, Галиахмет-бай, еще немного,— попросил Хайретдин.— А то сердце горит — нет сил терпеть...

Он залпом выпил целый стакан и, не став закусывать, вытер рукавом мокрые губы и пошел к двери на плохо слушающихся ног.

— Постой, старик! — Бай вскочил, вынул из нагрудного кармана ключ, отпер ящик стола и достал несколько хрустящих бумажек. — Я у тебя в большом долгу... Прими это от меня!

— Нет! Нет! — Хайретдин затряс головой.— Денег я не возьму! Я отдал тебе золото так, чтобы хозяин горы не сердился на сына.

Он нарочно говорил громко, чтобы злой дух, если он находился где-нибудь поблизости, хорошо слышал его.

— Золото не мое — оно случайно в мои руки попало, и я отдал его тебе не за деньги! Оно твое, и ты распоряжайся им, как хочешь!..

— Может быть, думаешь, я обманываю тебя? — обиженно спросил бай.— Твой самородок потянул три с половиной фунта! В нем больше камня, чем золота!..

— Мне все равно, сколько он весит! Он твой, тебе лучше знать, на что он тебе нужен!..

Хайретдин снова двинулся к выходу, но Галиахмет-бай преградил ему путь.

— Послушай, старик... Давай по-хорошему, по-доброму...

Я ничего не пожалею для тебя и твоей семьи — скажи только, где ты нашел этот камень?

— Не знаю... Я его не находил!..

Он опять чуть не прикусил свой болтливый язык, но Галиахмет-бай и так не поверил ему и затрясся от смеха.

— Ну и шутник ты!.. Он что же, самородок, сам тебе в руки прыгнул? Как кошка?.. Не морочь мне голову! Или ты сам собираешься открыть место и разбогатеть?

Теперь Хайретдин уже совсем протрезвел и жалел, что принес баю самородок.

«Ах, старый дурень,— подумал он, холодея от страха перед тем, что могло обрушиться на его сына, на него самого, на весь его род.— Ведь стоило мне сейчас сказать, что самородок нашел Гайзулла, и хозяин горы не пощадил бы никого!»

Видно, недаром Хайретдин видел нынешней ночью огонь во сне — не иначе как хозяин горы предостерегал его от новой глупости! И зачем нужно было тащиться к баю, всполошить весь поселок — не лучше ли было бросить этот проклятый камень в речку — и дело с концом! Неужели аллах навсегда лишил его разума, если он не додумался сам, что ему делать!

— Ну что молчишь, старик? — Голос бая был гневен. — Может быть, ты задумал обвести меня вокруг пальца? Ха! Ха!.. Лучше не хитри со мной, говори начистоту, и я не пожалею для тебя ничего — лошадь купишь, корову, новый дом построишь... Слышишь?

— Ладно, так и быть, скажу. — Старик опустил голову, потому что ему трудно было бы говорить неправду и смотреть человеку в глаза. — Самородок я нашел на берегу Кэжэн, недалеко от хутора Кундуза...

— Ты правду мне говоришь? — Галиахмет-бай ухватился за подол рубахи старика. — Смотри, аллах накажет тебя, если ты солгал!.. Значит, у хутора Кундуза?

Лицо бая было красным, пот блестел на щеках и стекал, как жир с жареного куска баранины.

— Если место добычливое — озолочу!.. А за самородок, считай, мы с тобой в расчете...

— Как? — испуганно вскрикнул Хайретдин. — Но я же не брал твоих денег!

— Да, ты не брал моих денег! — повторил бай и отступил от старика, важно сложив руки на груди, приосанившись. — Но разве тебе мало того, что ты сидишь со мной за одним столом и тебя угощает Галиахмет-бай?.. Разве не я велел выкатить бочку вина, чтобы весь поселок пил и гулял?.. Вот и считай, что за самородок ты получил сполна!..

— Аллах свидетель! Я не держал твои деньги в руках! — оробев, но по-прежнему настаивая на своем, говорил Хайретдин. — Зачем ты говоришь неправду?

— Старик! — Галиахмет-бай нежданно повысил голос, и этот голос хлестнул Хайретдина, как плетка по лицу. — Ты, наверное, забыл, в чьем доме ты говоришь свои слова? Открой глаза пошире и посмотри, кто стоит рядом с тобой!.. Не я ли был твоим благодетелем все годы? Не я ли выручал тебя из беды, когда твои дети голодали и ты приходил ко мне за мукой?

— Господин бай, — понурив голову, отвечал Хайретдин. — Я темный, неученый человек, и я не все понимаю из твоих слов, но буду всегда молиться за тебя, и дети, и жена моя — все мы будем просить аллаха, чтобы он даровал тебе долгие годы жизни... Но я хорошо помню, что ты не давал мне никаких денег... Мы не рассчитывались с тобой за самородок — я только отдал тебе его, и все... И я не хочу, чтобы ты давал мне деньги — они могут лишь погубить бедного человека... Я хочу, чтобы мой Гайзулла был здоров...

Он еще что-то бормотал про себя, но бай уже не слушал его, он устал от этой старческой болтовни, упрямства и непонятливости.

— Ладно, тогда приложи свою руку на бумаге. — Галиахмет-бай взял со стола белый лист и ткнул тупым ногтем. — Вот поставь тут свой знак, поставь дамгу...

— А что написано на этой бумаге? Прочитай, — попросил старик.

— Хорошо, слушай... Тут сказано, что ты дал мне свой самородок как подарок, что тебе не нужно за него никаких денег... Я буду спокоен, если такая бумага будет лежать у меня в столе. Я буду знать, что ты не передумаешь и не станешь кричать на всех перекрестках, что бай ограбил тебя и не заплатил за твое золото...

После злого духа и аллаха Хайретдин больше всего на свете боялся всяких бумаг и испытывал страх даже тогда, когда нужно было поставить крестик или приложить палец. Точно он оставлял на память шайтану что-то такое, чего шайтану не положено было знать.

— Ну так и быть, покажи, где ставить дамгу.

Он послунил языком кончик карандаша и, придерживая дыхание, склонился над листом. Ему было бы легче перевернуть бревно или наколоть с него дранок, чем вывести дамгу — знак, похожий на перевернутый кверху полумесяц. Но вот он с облегчением вздохнул и выпрямился. Но тут же снова пристально взгляделся в бумагу и, заметив на левом краю дамги каплю присохшей глины, хотел было убрать ее.

Но Галиахмет-бай не дал ему даже прикоснуться к бумаге, быстро смахнул ее в открытый ящик стола и щелкнул ключом.

— Ну вот теперь мы квиты! — потирая руки, сказал бай и засмеялся: — Не грех и выпить за это!..

Он налил себе красного вина, а старику полстакана водки.

— За удачу!

— Значит, я не брал у тебя деньги и ничего тебе не продавал — так, Галиахмет-бай?

— Да, так... Я взял у тебя то, что полагалось мне...

Хайретдин медленно, не торопясь, выпил водку, вытер рот, поставил стакан на стол. Он снова чувствовал себя хорошо, страх, обуревавший его, пропал, и он мог теперь уже тревожиться за другого человека.

— Скажи, Галиахмет-бай, а сам ты не боишься хозяина горы?

— Я боюсь его, как и все... — Бай ещё немного подумал и досказал: — Но я знаю молитву против него, и он каждый раз отступает от меня...

— Тогда пусть хранит тебя аллах! — Старик поклонился и пошел к порогу, но в дверях еще раз обернулся: — Мир дому твоему!

— И ты не поминай меня худым словом!... И помни — если найду на том месте, о котором ты сказал, хорошие залежи — я не забуду о тебе!.. Не поскуплюсь для тебя!.. Беда постучится в твои ворота — тоже приходи, я хорошего человека всегда поддержу!..

Он проводил Хайретдина до дверей, старик сунул было ему руку на прощанье, но рука его повисла в воздухе, потому что бай уже повернулся спиной и пошел к столу.

Он подождал, когда стихнут шаги старика, задернул занавеси на окнах, открыл ящик стола, взял в руки самородок, положил его на чистый лист бумаги, и, почти не дыша, смотрел на него...

Он уже забыл, когда приходила к нему удача, сама, не спросясь, когда он и пальцем не пошевелил для того, чтобы на него свалилось такое богатство. Почаще бы аллах посылал к нему глупых стариков с подобными подарками! Тогда можно жить, не боясь никого, — ни шайтана, ни самого хозяина горы. Тот, у кого много золота, может справиться со всеми злыми духами на земле и умиловить всех богов в другом мире. Лишь бы не иссякал и тек в руки золотой песок, не протекал сквозь пальцы...

Золотоносными жилами на берегах Юргашты, Кырака и Езема в незапамятные времена еще овладел прадед Галиахмет-бая, всесильный и всевластный Габдурахман-бай. О нем до сих пор ходили легенды, передавались из рода в род, и Галиахмет-бай с детских лет помнит, как его бабушка, радостно хихикая и потирая сухие ручки, рассказывала о том, как Габдурахман-бай обхитрил тут всех. За чашкой вина он уговорил местных богатеев продать ему за бесценок клочок земли, величиной

в несколько бычьих шкур. Вроде посмеялись, но дело скрепили бумагой и печатями, и скоро все ахнули, когда Габдурахман-бай, разрезав бычьи шкуры на тонкие, как волосок, ремни, опоясал ими большие земли. По бумаге ли выходило, что он не отступил от буквы, или народ прибавил что от себя, но земля, выторгованная задарма, скоро разрослась, и на деда Галиахмета-бая уже работали тысячи людей. По берегам Юргашты, текшей у подножья древнего Урала, вырастали поселки, курились дымки, потом поселки хирели, их бросали и уходили на новые месторождения, а землянки и бараки глушила крапива и лебеда. И как могильные курганы, сторожили эти покинутые селенья желтые горы отвалов, горы пустой отработанной породы, из которых, как и из людей, было выжато все. . .

Отец Галиахмета-бая тоже переезжал с места на место, строил себе дом за домом, но сыну его такая кочевая жизнь пришлась уже не по душе. Галиахмет-бай построил в Оренбурге каменный дом, жил на широкую ногу, поручив вести все свои дела управляющему. А когда наезжал на прииск, как вот нынче, то превращал свой приезд в праздник для всех, не скупился на водку для старателей, принимал местную знать — Хажисултана-бая, муллу Гилмана, старосту Мухаррама. Но принимал, не приближая к себе, а чтобышний раз внушить им, что они должны почитать за честь, что он зовет их в свой дом и угощает, милостиво выслушивал их заискивающие медоточивые речи, брал подарки, иногда даже делал исключение для Хажисултана-бая и шел к нему в гости, и тот, не разгибая спины, кланялся, не знал, куда посадить дорогого гостя, чем улестить и угодить.

В последние годы, после того как Галиахмет-бай открыл в девятьсот восьмом году новый прииск и здесь вырос целый поселок, он стал чаще наведываться сюда — золота добывалось все меньше, и это тревожило его по-настоящему, не давало ни дня покоя. Он скупил по дешевке старые, заброшенные шахты, принадлежащие когда-то немецким компаниям, вел усиленные поиски новых месторождений, рыскал по всем берегам Юргашты, однако удача обходила его стороной. . .

И вот сегодня будто второе солнце заглянуло в окна его кабинета и пронзило его острой радостью. Солнце было маленьким, оно лежало на чистом листе бумаги, и от него нельзя было оторвать глаз.

«Неужели я нашел наконец то, о чем мечтал многие годы? — думал Галиахмет-бай и, отойдя от стола, издали смотрел на самородок, еще не веря до конца в нежданно свалившееся счастье.— Не мог же этот камень упасть с неба? Он наверняка был окружен такими же своими братьями и сестрами, и нужно поскорее найти всех его родственников!»

Услышав стук в дверь, он, как кошка, в три прыжка оказался около стола, убрал самородок, положил ключ в карман и лишь потом тихо отозвался:

— Да, да! Войдите!

Это был Аркадий Васильевич, его управляющий, — старая и хитрая лиса, которому он мало доверял, как и другим своим служащим, не всегда чистым на руку, но без которого пока не мог обойтись. Управляющий знал свое дело, а это со счета нельзя никогда сбрасывать.

Аркадий Васильевич входил всегда как-то боком, держа руки за спиной, и эта кособокая манера была не по душе баю, но изменить походку своего управляющего он был не в силах. Даже когда он стоял у стола, казалось, он что-то прячет за спиной, в своих руках. Он был тучноват, грузен, но одет подчеркнуто по-городскому — в ладно, по фигуре сшитый темно-синий костюм, свежую белую рубашку с посверкивающей золотой булавкой в черном галстуке. Волосы его, редкие, едва прикрывавшие лысину, были как будто не причесаны, а прилизаны коровьим языком, и концы их вихрились у висков.

— Ну, что узнал нового? — насупясь, спросил Галиахмет-бай. — Этот старый ишак так ничего и не сказал, где он нашел золото!

Управляющий снял с мясистого носа пенсне на шнурке, помахал в воздухе стеклышками.

— Самородок нашел не он, а его сын...

Галиахмет-бай привскочил в кресле, будто его ущипнули за мягкое место.

— Так вот почему он молот тут про своего сына, а у меня все это мимо ушей...

— Мальчишка показал свою находку отцу, а тот испугался и велел ему отнести и бросить этот камень на то место, где он его поднял... А по дороге на мальчишку напал кто-то и избил до полусмерти... Может быть, кто-то хотел отнять самородок, но вряд ли, поскольку самородок не пропал...

— Как ты думаешь — это золото с нового места?

— Там, где мы моем, такие самородки не попадались никогда...

— Так, так. — Галиахмет-бай не усидел в кресле, встал и прошелся по мягкому ковру. — Значит, мы можем напасть на новую жилу? Не мог же кто-то потерять на берегу такой дорогой камешек?

Управляющий спокойно следил за суетливыми и нервными движениями хозяина, понимая, что того охватывает алчное и жадное чувство при мысли о новом золотом песке, который может хлынуть в его карманы, но не разделял его радости — какая ему выгода, что Галиахмет-бай станет еще богаче, чем был? Может быть, он лишь повысит немного его жалованье,

и только... Но ответил ему, как и подобало человеку, честно служившему своему хозяину:

— Здесь золота край непочатый — его нужно лишь искать... Я сколько раз убеждал вас, что нужно усилить разведку, но вы не хотите тратиться... Так из-за крошек можно проворонить целый караван...

— Я просто не верил, что оно лежит рядом, прямо у нас под носом... Ты думаешь, что это лежит на земле щепка, поднял ее, а под нею золотой слиток!

— Но если мы даже нападём на жилу и откроем новое месторождение, нам будет трудно набрать рабочих... Народ тут суеверный и дикий... Все боятся хозяина горы, злых духов!

— Ну и пусть боятся!.. Отару пугливых овец можно вести куда угодно, лишь бы был умный вожак...

— И все-таки они скорее пойдут рубить дранку, чем работать на наш прииск...

— Ничего! — Галиахмет-бай довольно потирал руки, глаза его лихорадочно поблескивали. — Найди мне золото, а приманку мы придумаем... И сытые мухи садятся на мед!

Он взял со стола бумагу и протянул ее управляющему.

— Вот тебе талисман, Аркадий Васильевич!..

— Невероятно! — пробежав глазами бумагу, прошептал управляющий. — Сам, без всяких уговоров, отказался от саморodka?.. Я же говорил вам — дикий народ...

— Да, народ темный, но у народа есть душа, — сказал бай и многозначительно помолчал. — И с ним нужно обращаться поласковее... народ любит, когда его хвалят... Он за одно это горы для тебя своротит... Его злом и строгостью не возьмешь!

— Вы хотите сказать, что я излишне жесток и требователен? — обидчиво вскинулся управляющий. — Разве я стараюсь для себя?

— Я ничего такого не сказал! — бай пожал плечами. — Мои уши не слышали никаких худых слов!.. Ты не зря получаешь свои деньги!.. Откроешь новое место — я щедро одарю тебя!.. Я это к тому, что не всегда нужно идти напролом там, где можно обойти стороной... Я бы начал с того, что поговорил бы с мальчиком Хайретдина, раз он нашел этот самородок...

— Он еще без сознания... У него сломана рука и нога!..

— Тогда срочно пошли за доктором в Оренбург!.. Мало одного — привези двух, трех, но пусть они вылечат мальчишку!.. Денег не жалеи!.. Сейчас мы можем потерять целый новый прииск! А теперь ступай — я сегодня очень устал... Завтра я тоже уеду в город, буду ждать от тебя только хорошие и добрые вести — понял?

— Слушаюсь,— управляющий, бесшумно ступая по ковру, удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.

Галиахмет-бай снова щелкнул ключом и вынул самородок. Усталости и сонливости как не бывало — он смотрел на тускло поблескивающий камень и думал, что может смотреть так часами, как всегда испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение. Даже любовь женщины не приносила ему столько радости, сколько давали эти минуты, делавшие его сильнее всех...

V

Бедняки рано ложатся спать, потому что у них нет керосина. Если же и найдется немного, то не станет бедняк жечь керосин понапрасну.

А к богачам поздно приходит сон, ведь у них всегда есть керосин и всегда есть деньги, на которые можно сразу купить большую бутылку керосину, чтобы жечь его сколько душе угодно!

Поселок тонул во тьме. Лишь в середине его горели желтые прямоугольники байских окон. Они бросали свет на мечеть с торчащим минаретом, на ближние крыши, образуя ярко освещенный круг, и от этого круга только чернее казалась темнота на краю деревни, гуще собирались тени в глубине дворов, у плетней, обмазанных глиной.

Хисматулла так и не осмелился пройти мимо мечети и, миновав крайние дома, задворками вышел к своему саманному, крытому дерном домику. Голова его болела, во рту было сухо и горько, руки дрожали. Стараясь не шуметь, он открыл дверь, но, не сделав и двух шагов, наткнулся на старый самовар, стоявший у стены. Самовар упал набок и загремел. Тут же в переднем углу, где лежала на нарах мать, послышался стон.

— Ты что, заболела?

— Как ты долго сегодня, сынок... Я уж лежу и думаю: может, случилось что? Людей теперь много всяких на дорогах...

Хисматулла покраснел, помолчал с минуту, радуясь, что в темноте мать не увидит его лица.

— Ты заболела?

— Хажисултан-бай зарезал лошадь на мясо, и Хуппиниса велела мне вымыть внутренности. Может, надорвалась от тяжести... — Мать застонала от боли. — Алла, ой, алла! Так болит, моченьки моей нет...

— Зачем ты пошла туда? Ты же еще вчера жаловалась, что болит спина!

— А как же не ходить? Зажги огонь, поешь, сынок. Там лапша для тебя стоит, поищи, в деревянной миске.

— Чувал растопить?

— Не надо зря тратить дрова, зима скоро. Там лучинки на очаге, вот и зажги...

Хисматулла, вода руками как слепой, нашел лучину и стал рыться в золе, отыскивая горящий уголек. В темноте сверкнула крохотная искорка. Хисматулла осторожно подложил угли, встал на оба колена и принялся раздувать. Но угли были плохие, из гнилого дерева, они никак не разгорались, и снова голова у него неприятно закружилась, в висках заломило. В наступившей тишине радостно заверещал сверчок.

— Если не горит, не мучайся. Там, на карнизе, есть еще шесть спичек, возьми одну.— Сайдеямал вздохнула: — Если аллах будет милостив к нам, даст еще...

Хисматулла поджег спичкой тоненькую лучинку. Когда один конец ее сгорел и обуглился, он перевернул лучинку другим концом. Темнота отступила в углы, землянка залилась слабым светом.

Теперь можно было разглядеть деревянные нары, где лежала на кошме больная мать, небеленый чувал, очаг и земляной пол. Потолок почернел от дыма, окно, затянутое брюшиной, и в полдень не пропускало много света, а в ночной темноте сливалось со стенами.

Хисматулла достал чашку с лапшой и принялся за еду. Дым лучины ел глаза.

— Лапша вкусная?

— Да,— Хисматулла, не донеся ложку до рта, положил ее обратно в миску. — Ты опять не ела? Даже не попробовала?

— Ешь, сынок, ешь. Я не голодная...

— Нет, я же знаю, что голодная, всегда ты так! На, доешь хоть, что осталось,— Хисматулла встал и отнес чашку матери.— Ну, хоть немного...

Мать попробовала лапшу и подвинула миску сыну.

— Ты же не наелся. Не думай обо мне, я дома, мне гораздо меньше надо, а ты работаешь. Вправду хорошая лапша? Это Гульямал принесла. Ой, алла, опять этот живот! О-ой, за что мне такая напасть?.. Видно, уж недолго осталось мучаться на этом свете...

Сайдеямал задумалась и примолкла. Всю жизнь прожила она в этом доме, и каждая вещь здесь напоминала ей мужа и молодость. Правда, раньше, при муже, все было иначе — каждый день, весело потрескивая, горел огонь в чувале, у огня сушились мокрые каты и маленькие детские лапти — сабата, в котле булькала похлебка. Раз в неделю Хуснутдин приезжал с выгона, где пас байских лошадей, и Сайдеямал старалась пораньше окончить стирку и развесить на изгороди платья

Хуппинисы, первой жены бая, и ее красивые, расшитые цветным шелком рубашки, чтобы подольше побыть с мужем. В субботу, чуть на дороге слышался конский топот, четыре черные головки, четыре пары черных, как уголь, глазенок, четыре пары босых загорелых ног — четверо ее сыновей выскакивали из дому и мчались к воротам:

— Атай! Атай!

Муж нарочито медленно слезал с лошади, оглядывал двор и вдруг хватал того из сыновей, который стоял поближе, и подбрасывал высоко в воздух: «Аха...»

Кто мог думать, что несчастье так скоро придет в ее дом? Все ночи, пока Хуснутдин метался в бреду на нарах, Сайдеямал не спала — то прикладывала мокрую тряпку к его горячей голове, то подавала питье, но не прошло и недели, как мулла пришел читать над мужем погребальную молитву...

Оставшись с четырьмя ребятишками, мал мала меньше, Сайдеямал познала всю горькую тяжесть нужды. Она работала втрое больше прежнего и не гнушалась, как раньше, объедками с байского стола, но голод не пощадил ее детей. Она проводила на кладбище двоих, третьего, уже взрослого и женатого, и, может быть, поэтому так боялась за последнего, самого младшего, который был теперь ее надеждой и утешением и единственной радостью на старости лет.

— Что буду отвечать на том свете? — тихо проговорила Сайдеямал. — Никому я не делала зла, два ангела за моими плечами скажут это. Ты ведь знаешь, сынок, что тот, который на левом плече, записывает все мои плохие дела, а тот, который на правом, — все хорошие? Так у того ангела, что на моем левом плече, еще не было работы с тех пор, как я живу...

— Знаю, знаю. — Хисматулла поставил пустую миску у очага и вернулся к матери. — А ты слышала, что случилось с Хайретдином?

— А что? Что с ним? — заволновалась мать. — Да пошлет аллах ему побольше здоровья!

— Его сын нашел самородок с баранью голову! А Хайретдин-агай взял и отнес его Галиахмету-баю!

— А что ему было делать?

— Если б это я нашел золото, уж я бы знал, что делать! Построил бы дом, завел корову, лошадь, а тебя, эсей, одел бы с головы до ног и посадил у окна, а в окно бы поставил стекло, и больше ты у меня и пальцем не шевельнула бы!

— Ну, ты придумашь! — рассмеялась Сайдеямал. — Уж лучше отдал бы его на калым, а я — да я бы умерла от скуки без работы! Расскажи-ка лучше, что дал бай Хайретдину-бабаю за такой большой самородок?

— Не знаю, что дал бай Хайретдину, а всем старателям он на радостях целую бочку водки поставил!

— И ты тоже пил?

— А как же? Раз все, значит, и я...

— Ох, сынок, сынок, зачем ты сделал это? — расстроилась Сайдеямал. — Никогда не позволял себе такого твой покойный отец, он был настоящий мусульманин, а мусульманину грех пить вино и курить табак!..

— Бай сам мусульманин, а пьет. Говорят, весь коран знает наизубок. Разве стал бы он пить, если это грех?

— Бай если и пьет, то сделанное из чистого меда. Если меда нет, пьет бузу. А буза — это та же самая пища, все равно что лекарство. В этом греха нет...

Давным-давно догорела лучинка на очаге, и в доме опять стало темно. От земляного пола несло холодом и сыростью. Большая муха, при свете надоедливо бившаяся от одной стены к другой, в темноте успокоилась. Лишь сверчок, ни на что не обращая внимания, все так же радостно верещал за чувалом. Хисматулла поежился.

— Если пить — грех, эсей, почему мулла не запретит продавать водку в кабаке? — раздумчиво спросил он. — Там же каждый день пьют и дерутся, про песни и говорить нечего! Однако мулла не заглянул ни разу!

— Что ты говоришь, сынок?! — Сайдеямал в отчаянии схватила за голову. — О, алла, прости моего неразумного сына! Про муллу даже думать такое стыдно! Ох, чуяло мое сердце, что не надо тебе работать на прииске, и мулла говорил — смотри, женщина, как бы твой сын не разбаловался... Видно, скоро конец света, если ты говоришь так про муллу!

За дверью слышались легкие быстрые шаги, и, нагибая голову под притолокой, в избу вбежала Гульямал.

— Иди сюда, Гульямал, иди сюда, моя умница. — Старуха обернулась к снохе. — Спасибо тебе за лапшу...

— Я пришла узнать, как ты, каенбикэ?¹ Помогло ли то, что я принесла от муллы?

— Да, я весь день полоскала эту бумажку в воде и пила, только от этого и полегчало, теперь совсем редко схватывает, слава аллаху! Хорошо, что ты родню не забываешь.

— Я ваша сноха, и я не должна быть неблагодарной, — Гульямал повернулась к Хисматулле: — Тогда я пойду!.. На улице темно... Проводи меня.

— Сюда шла — не боялась? Вот и обратно так же пойдешь. Я спать хочу.

— Тогда я беспокоилась за твою мать и шла со своим беспокойством вдвоем, а теперь пойду одна. Вдруг кто-нибудь захочет меня испугать?

¹ Старшая сестра мужа, свекровь.

— Как же, тебя испугаешь! — хмыкнул Хисматулла. — Ты скорее сама любого шайтана испугаешь!

— Проводи, сынок, как же так? — попросила Сайдеямал. — Проводи, ведь она женщина...

Чтобы не огорчать мать, Хисматулла ощупью нашел на нарах шапку и вышел.

На улице было светлее, чем в доме. Звезды вдоль и поперек рассыпались по черному, глубокому небу. Некоторые из них, на мгновение ярко вспыхнув, скатывались в сторону и гасли, оставляя за собой искрящийся белый свет.

«Как золотой песок, — подумал Хисматулла. — Мне бы несколько таких зернышек». И, увидев опять падающую звезду, прошептал скороговоркой:

— Семь звезд упадет, семь раз скажу, семь грехов скину...

— Звезды считаешь? — Гульямал тихонько подошла к Хисматулле сзади и прижалась всем телом к его спине. Руки у нее дрожали. Хисматулла резко высвободился.

Гульямал стояла перед ним, и раскосые темные глаза ее влажно блестели. Тяжелые волосы выбились из-под платка. Полные губы улыбались, чуть вздрагивая и обнажая сверкающую полоску зубов. Темный смуглый румянец горел на щеках. Только сейчас Хисматулла заметил, что она успела переодеться в новый белый чекмень, отделанный красным сукном и цветным бисером; чекмень распахнулся, и были видны два ряда стеклянных бус, яркая, в цветах, сорочка; в вырезе ее смутно белела грудь.

— Стыда у тебя нет, — сказал Хисматулла и отвернулся.

— Может, и нет, а все равно твоей Нафисе со мной не сравниться. Молока захочу — корова есть, поехать куда — лошадь, все свое и в полном достатке. Думаешь, кроме тебя, мне не найти больше никого? Да за такой, как я, каждый пойдет — только помани! Просто не хочу, чтобы чужие моим добром пользовались. А что у твоей Нафисы есть? Ничего, кроме вшей! Не забывай, за нее еще и калым платить надо!

— Не кричи так! Что о тебе подумают?

— А мне все равно! Пусть что угодно думают, я не ворую, чужое не беру, а свое взять хочу. Не заставляй себе долго кланяться, а то у меня уж спина устала... Ну, идем, что ли? — Гульямал шагнула вперед.

— Отстань, — сердито сказал Хисматулла и попятился. — Не подходи!

— Тебе добра желают, а ты... — рассердилась Гульямал. — Захочешь, да поздно будет! Смотри, вчера Хажисултан-бай у Хайретдина последнюю лошадь отобрал, как бы тебя там вместо этой лошади в телегу не запрягли!

Не ответив, Хисматулла перемахнул через забор.

— Эй, погоди! Как же я одна...

Он не обернулся, уходил, все убыстряя шаг. Светало. По ту сторону реки Кэжэн выступали из тумана силуэты высоких деревьев, легкий ветер прилетал от Карматау, шелестел травами, доносил горьковатый запах полыни.

Голова уже не болела, но возвращаться домой не хотелось. Хисматулла долго бродил вдоль Кэжэн, опустив голову и поддавая ногой мелкие камешки. Он то приближался к реке, то уходил от нее, не замечая, что мокрые от росы ноги сами несут его к знакомому дому, на крыше которого растет сорняк. Он очнулся, только очутившись в густой крапиве перед низенькой изгородью.

«Алла, спятил я, что ли? Что мне делать здесь спозаранку? Еще и коров не доили», — подумал Хисматулла и повернул было обратно, но громкие голоса в доме заставили его насторожиться. Он перелез через плетень и, крадучись, прошел через двор к окну. Провертев ножом маленькую дырочку в брюшине, он приник к ней, стараясь, чтобы тень его не падала на окно.

Чувал, видно, только что растопили — поставленные в нем стоймя поленья долго чадили, пока не разгорелись, не затрещали и не стали постреливать, разбрасывая горсти белых и голубых искр.

Черные тени встревоженно метались по избе вслед за бородатым человеком в тюбетейке. Казакин его был распахнут, он вскидывал длинные мосластые руки над головой; точно корявые ветки дерева, что-то бормотал, но слов его не было слышно.

«Знахаря позвали, курээ», — догадался Хисматулла и одеревенел от напряжения.

Фатхия, жена Хайретдина, накрывшись темным платком, сидела в углу с двумя дочерьми, а сам Хайретдин носился по избе, размахивая ременной плеткой. И лишь пристально вглядевшись, можно было разглядеть скорчившегося на нарах Гайзуллу. Хрипло дыша, старик крутился, как одержимый, около нар и вдруг, точно заметив и проследив кого-то, с силой хлестал плеткой по вороху тряпья. Он старался не задеть большого сына, но каждый раз, когда удар со свистом ложился где-то рядом, мальчик испуганно вскрикивал.

— Не бойся! Не бойся! — донесся до Хисматуллы иступленный шепот курээ. — Нечистый дух албасты совсем рядом! Он щекочет твоему сыну пятки... Ударь!

Плетка снова защелкала, поднимая пыль.

— Теперь он спрятался под нары, — говорил курээ. — Убери отсюда две доски и хлестни посильнее!..

Знахарь выхватил лучину из чувала, нагнулся и осветил хилым огоньком под нарами, а Хайретдин стал не глядя бить плеткой в чуть расступившуюся темень. Мальчик заметался, застонал на кошме, и курээ крикнул:

— Не давай ему передышки! Гони из избы! Гони! Албасты теряет уже свою силу! ..

Хайретдин бегал от стены к стене и хлестал плеткой то в угол, около чувала, то по перине, лежавшей на полу. Даже отсюда, от окна, было видно, что он измотался, вспотел, рубаха на его спине заголялась, обнажая худые ребра.

— Вот он к двери побежал! — приказывал курээ. — Откройте кто-нибудь дверь! Живее!

Скинув с лица платок, бросилась с нар Нафиса, ударом ноги распахнула дверь.

— Вон, нечистый дух! Вон! — кричал знахарь. — И чтоб никогда ты не входил в этот дом! .. Слава аллаху!

Курээ опустился на нары, сложил руки на груди, а старик осел прямо на пол, тяжело, хрипло дыша. Он бессильно раскинул руки, посидел так минуту-другую, вытер рукавом заливавший глаза пот, кряхтя, поднялся и подошел к нарам, где лежал сын. Он наклонился над ним, прислушиваясь к его дыханию.

— Он теперь спать будет, — сказал курээ. — Ему стало легче.

Фатхия тоже спустилась с нар и начала прибирать разбросанные где попало вещи. Она поманила Нафису, чтоб что-то сказать ей, и дочь, взяв деревянную бадейку, вышла за дверь.

Хисматулла оторвался от окна, в три прыжка очутился рядом с крылечком.

— Нафиса! ..

— Хисматулла? ..

И хотя он позвал ее шепотом, ей показалось, что он крикнул так, что его услышали в доме.

— Зачем ты здесь? Уходи! Уходи! — быстро заговорила она. — Если отец увидит тебя, будет беда! ..

— Но я пришел к тебе, Нафиса. . .

— Разве я могу уйти, когда у нас такое несчастье? В моего брата вселился албасты. . . Мы еле выгнали его. . . Хажисултанбай отобрал у нас вчера кобылу — его теленок свалился в шахту, а Гайзулла недоглядел. . . А телку мы сами для курээ зарезали, теперь одна коза да овцы остались. . .

Она тихо заплакала, зажав рот ладонью, а Хисматулла стоял рядом, и сердце его рвалось от боли и от того, что он был бессилен чем-то помочь ей. Да и что могут значить слова, когда свалилось такое горе?

— Я буду бродить около вашего дома, — сказал он. — Если надо — ты покричи меня, а я сделаю, что смогу. . .

— Нет! Нет! — Нафиса испуганно отшатнулась. — Курээзэ накличет на нас еще больше несчастья!.. Он выгнал албасты, он может позвать его обратно!.. Жди меня у Балхизы-инэй!... Я прибегу туда...

VI

Огонь в чувале не бушевал, не плевался на земляной пол яркими брызгами, а лишь облизывал черные головешки красными, начинающими синеть языками.

Прибрав в доме, Фатхия поставила перед курээзэ большую деревянную чашку, наполненную доверху пахучим, сочившимся от жира мясом.

Курээзэ ел медленно, тяжело двигая челюстями, изредка закрывая глаза и причмокивая от удовольствия. Лицо его блестело от пота, в черной и растрепанной, как веник, бороде застывали капли жира. Он облизывал тонкие пальцы, запивал мясо крепким бульоном и, наконец насытившись, привалился спиной к стене, вытянул ноги и рыгнул.

— Слава всемогущему аллаху, — подняв глаза к потолку, проговорил он. — Поддай-ка мне вот ту щепку...

Старик взял лучинку с шестка, курээзэ отщипнул от нее тонкую палочку и долго ковырялся в зубах, обнажив красные десны.

Фатхия поставила на скатерть самовар, и курээзэ пил чашку за чашкой, шумно отдуваясь, пыхтя, морща нос с бисеринками пота.

Гайзулла начал вдруг что-то бормотать во сне, бредить, и Хайретдин снова бросился к нему. Курээзэ тоже подошел к мальчику, стал что-то нашептывать и сплевывать через левое плечо. Потом положил в головы мальчика топор, а в ногах нож. Достав из кармана клочок бумаги, он разорвал его на две части, написал на них что-то карандашом и прилепил бумажки над дверной притолокой и у окна.

— Это чтобы албасты не вернулись, — пояснил он с важностью. — Вот еще, сунь ему под мышки бэтэу. — Курээзэ протянул Хайретдину треугольный амулет и поправил на мальчике бешмет. — Какие синяки под глазами... Я говорю, чуть не погубил ты сына. Хорошо еще, что лицо цело. Может быть, тут и не албасты виноват, а горный дух... Разозлился, наверное, что золото стронули с места. Смотри, старик, как бы не случилось большей беды, ведь ты не вернул хозяину горы золото...

Хайретдин побледнел и стал нервно дергать без того редкую бородку.

¹ Тетка.

— Ну, да ничего,— продолжал курээ,— мое дыхание лучше, чем дыхание самого ишана Хээрэта. Вот увидишь, месяца через три-четыре мальчик будет бегать как ни в чем не бывало, если будет на то воля аллаха!

— Аминь, да сбудутся твои слова! Последнюю козу не пожалел бы, вынес на гору и принес бы в жертву, а мясо отдал нищим, только бы поправился сын! Один ведь он у меня...

— Не беспокойся! Поправится! Мой отец еще и не таких бесов изгонял!

Курээ сел, посмотрел на Фатхию, которая, не поднимая головы, пряталась в углу, на маленькое тусклое окошко. В одном углу брюшина прорвалась, и заходящее солнце ярко светило в маленькую дырочку.

— Эх, жизнь! Оглянуться не успеешь, как день уже убежал за гору, а вечер высовывает голову из речки. . . — проворчал курээ.

— Мать, не поставить ли самовар? Что-то пояс ослабел,— сказал старик жене.

Фатхия положила пряжу Нафисы к себе в подол.

— Пойди поставь, да долго не возись,— велела она дочери.

Нафиса вышла в сени, прикрывая лицо кончиком платка.

Курээ оторвал задумчивый взгляд от окна и опять повернулся к старику:

— Ты слышал, как Султан, дед Давлеткужи-бабая, женился на албасты? Так вот, мой покойный дед тоже был очень грамотный и образованный, вроде меня. Встречает он как-то этого Султана и видит, что высох человек, пожелтел, только кожа да кости остались. «Ай-хай, сосед, плохи твои дела, не албасты ли к тебе пристал?» — говорит мой дед, а уж он-то в таких делах еще лучше меня разбирался. Ну, Султан отпирался сначала, а потом и рассказал все без утайки. — Курээ почесал в бороде, глаза его хитро заблестели. — А дело было так: как-то пришел Султан из деревни к себе на хутор — а жил он тогда один, скот пас, — пришел и видит, сидит в его дворе женщина в русском зипуне и рысней шапке. Посмотрела на Султана и бежать — юрк в дом! Султан за ней, а в комнате пусто, вроде нет никого. Искал, искал, наконец нашел ее за чувалом. Тут стала она умолять: «Разрешить мне у тебя остаться, только чтобы никто об этом слухом не слыхал». Посмотрел Султан — отчего не разрешить? Женщина красивая, и по хозяйству поможет. И стали они жить вместе. В доме полный достаток, всегда чисто прибрано, чувал побелен, и каждый день баранья похлебка, а женщина еще и вышивать умеет, и шить — спила ему десять рубашек, и два новых камзола, и тулуп, а откуда материя брала — неизвестно. . .

— Как та змея, что тоже в девушку превращалась,— вставил Хайретдин, вспомнив старую легенду.

— То само по себе, а это само по себе. Ты слушай! Пожили они немного, она и говорит: «Поедем посмотрим мои родные места». Посадила его на себя, велела закрыть глаза и полетела. И летели, видать, над скалами, так что все ноги камнями ободрал до крови. Открыл Султан глаза и видит — все блестит от золота, не найдешь ни черного, ни белого камня, ни земли, ни песка — сплошь вместо камней чистые самородки валяются! А кругом молодые девушки, стройные, как твоя Нафиса, в бархатных халатах и камзолах, расшитых золотом, красиво так расшитых цветами, птицами разными, и даже монисты сплошь из золотых монет. Смотрит Султан, аж глазам больно от блеска, а жена ему наказывает: «Ты здесь постой, я пойду мать навещу. Только смотри, без меня на золото не зарься, на девушек не заглядывайся, а то плохо будет» — и ушла. Вот и думает Султан: «Если взять один, совсем маленький кусочек, никто и не заметит». Только наклонился, руку протянул, а духи как зашумят, как забегают — кто, мол, крадет наше золото? Отдернул Султан руку, побежал к девушкам, схватил за руку самую красивую и поцеловал. А та сразу побледнела и упала. Окружили ее духи, кричат: «В нее бес с земли вселился!» — подняли на руки и увели.

— Как же они его не растерзали? — испуганно спросил Хайретдин.

— Разве ты видел албасты, что мучил твоего сына? Так и они не видят тех, кто с земли. Только очень грамотный и сведущий человек может их увидеть, да и то если знает язык пайтанов. Ну и вот... Закололи они барана, принесли жертву и позвали своих мулл читать молитвы над девушкой. И пока те читали, семь потов, семь кож с Султана сошло. А как начал читать самый главный, одноглазый мулла, стал бедняга против воли к потолку подскакивать и о притолоку ударяться — наконец, упал и не помнил себя...

На другой день нашла его жена без памяти среди навоза и мусора. Унесла к себе, вылечила, посадила на спину и отвезла опять на хутор. Стали они жить дальше... — Курээз внезапно прервал рассказ и обратился к Хайретдину: — Твоя жена еще не трогала внутренностей телки?

— Нет, ты же не велел.

— Правильно. Смотри, чтобы к внутренностям не прикасалась чья рука. — Курээз произнес молитву «бисмилла» и принялся не спеша пить чай. Чашка с трещиной, которую ему подали, была стянута металлическим ободком.

Из углов комнаты медленно надвигалась темнота. Тараканы, днем сидевшие в щелях, забегали теперь, шурша, по стенам и полу.

— А как же вылечился дед Давлеткужи-бабая? — стараясь не показать любопытства, спросил Хайретдин.

— Можно, если постараться.— Курэээ дожевал хлеб, по-чмокал губами и поставил чашку на поднос.— Мой дед как лечить знал, он и надоумил Султана. Я тоже знаю. . .

— И ты можешь сказать мне?

— Конечно. Султан перестал трогать жену. И словечка ей больше не сказал. Она с ним заговаривает, спрашивает: «В чем дело?», плачет, а он молчит, будто воды в рот набрал. Тогда она слетала опять на родину и привезла ему золота. Много золота. А Султан и не смотрит на него, как будто это не золото, а простой камень. И по-прежнему до жены пальцем не дотрагивается. Рассердилась албасты и разбросала золото горстями, как раз по нашим местам. Вот как появилось у нас золото, вот почему оно нам беды приносит. . .

— А потом что с ней было?

— Никак не могла успокоиться, годами рыдала у Кармату. Слыхал, как там шумит река? Это голос албасты. Хотела было вернуться после этого домой, да свои не пустили ее обратно, разозлились, что взяла золото. Вот и поселилась она со своими детьми у нас в горах, чтобы стеречь сокровища и мстить людям за свою обиду. Каждому, кто руку к золоту протянет, ее мести не миновать, вот и сына твоего покалечила. . .

— Как сказка,— шепнула младшая, Зульфия.

— Тихо там! — прикрикнул Хайретдин.— Сколько вам говорить, что, когда разговаривают мужчины, ухо девушки должно быть накрыто платком, а рот замазан глиной?! Мать,— повернулся он к Фатхия,— ты бы отправила их куда-нибудь!

Нафиса вспыхнула. Весь день она не могла осмелиться попросить мать отпустить ее, а теперь все получалось само собой. Сердце ее часто заколотилось.

— Эсей, можно, мы с Зульфией сходим к Балхизе-инэй?

— Идите, только чтобы долго не ходили!

— Сегодня можно отпустить их и на большее время,— вмешался в разговор курэээ.— Нехорошо девушкам следить за делами мужчин, аллах рассердится на них.

— Эсей, я не хочу к Балхизе-инэй, пусть Нафиса сама, без меня,— захныкала Зульфия.

Девочке очень хотелось посмотреть, что будут делать отец и курэээ. Фатхия подтолкнула младшую дочь к дверям:

— Ай, как не стыдно быть такой любопытной? Разве ты не слышала, что сказал отец? Идите! — И добавила уже на пороге: — И ты, Зульфия, ни на шаг не отходи от сестры.

Дождавшись, когда дочери ушли, Хайретдин спросил:

— А человек по имени Давлеткужи-бабай жив еще? Где он?

— Может, жив, а может, нет.— Курэээ громко отхлебнул из чашки и прищурился.

В казане что-то громко булькало. В доме вкусно пахло мясом. Фатхия подложила дров, огонь в очаге горел ровно и спокойно, языки его вылизывали дно казана, как корова новорожденного телянка.

Сложив ладони таким движением, будто хотел удержать свет, идущий от чувала, курээ опять помолился и поднялся с подушек. Пройдя несколько шагов, он склонился над большим медным тазом, в котором были сложены внутренности телки, опустил на колени, пошептал, взял кусочек кишки и, разорвав его на две части, приложил к лицу больного мальчика.

Гайзулла вздрогнул и застонал. Лицо его при свете огня было бледно и заострено, под глазами легли глубокие синие круги, губы запеклись. С тех пор как его принесли домой, мальчик ни разу не очнулся и лежал с закрытыми глазами, по временам вскрикивая и что-то бормоча.

Курээ повернулся к Хайретдину:

— А теперь иди и закопай внутренности на том месте, где Гайзулла нашел золото.

— Но я же не знаю места!

— Нужно отнести все это духу вместо золота, без этого мои молитвы не помогут ему.— Курээ посмотрел на мальчика.— Да, совсем плох, бедный... Жалко, что ты не знаешь места. Что ж, коли так, мне здесь делать больше нечего, я пошел.— И с обиженным видом курээ двинулся к дверям.

— Подожди, ишан-хазрэт, подожди! — закричал старик, забегая вперед. Он не знал религиозного сана курээ, но по тому, что рассказывал ему гость, решил назвать его самым высоким именем. — Клянусь аллахом, я не знаю этого места, пусть лопнет мой живот, если я вру! Выпью целую чашку крови, съем целую чашку соли, если я обманываю тебя! Истинная правда, ишан-хазрэт...

Курээ молча смотрел на старика.

— Не уходи, ишан-хазрэт, помоги сыну! Я тебе верю, как самому себе, хоть ты и недавно у нас в деревне! Валлахи-биллахи, я не знаю места! Вылечи моего мальчика, сделай что можешь, умоляю тебя! — Хайретдин чуть не плакал.

Курээ понял, что старик не лжет, но не изменил выражения лица. Молча надел галоши поверх мягких кожаных сапог, смахнул золу с шестка и с важным видом выложил из кармана горсть мелких камешков, отсчитал сорок один и начал гадать.

Тррр! — камешки рассыпались по шестку с сухим треском. Они падали и разбегались, как живые. Одни легли кучкой, другие напоминали фигуру человека. Курээ внимательно вглядывался в эти рисунки, качал головой, не глядя на старика. А Хайретдин закрыл глаза и молился про себя.

Трррр! — снова послышался сухой треск падающих камеш-

ков. Хайретдин открыл глаза. Теперь камешки легли иначе и были похожи на женщину с палкой и горбом. . .

Кончив гадать, курээ завернул камешки в тряпку и опять положил их в карман.

— А ты и на самом деле ничего не знал. Ну да ладно. Камни сказали мне, что Гайзулла нашел самородок недалеко от того места, где ты рубишь дранки.

— Валлахи-биллахи, нет бога кроме аллаха! — радостно вскричал Хайретдин. — Как ты прозорлив, ишан-хазрэт!

Он хотел сказать еще что-то, но курээ остановил его кивком головы.

— Знаю, знаю, что ты хочешь сказать. Я говорю, камни и без тебя все мне рассказали. Молчи. Даже если запугивать будут, все равно никому не говори, в какой стороне было золото. Никто, кроме тебя и меня, не должен знать об этом! Если не послушаешься меня, расскажешь хоть одному человеку, будь то бай или даже мулла, — плохо будет и тебе, и всем твоим. Сын умрёт, жена умрет, дочери умрут, и сам ты умрешь. Весь твой род истребит албасты, если скажешь хоть слово! А это все, — курээ кивнул на таз с внутренностями, — пойдешь и закопаешь на том самом месте. Только не сейчас, а когда все спать лягут, понял?

— Но ведь я не знаю точного места, — испуганно посмотрел Хайретдин.

— Ничего. Ты же знаешь, в какой это стороне?

— Так, на глазок. . .

— Где-нибудь там и закопай. Не беспокойся, дух найдет твой подарок. Только когда будешь копать, скажи: «Вместо взятого богатства».

— А если не найдет?

— Найдет. Старайся только ближе к тому месту. — Курээ щелкнул языком: — Чем ближе положишь, тем скорее поправится мальчик.

Хайретдин сел на сосновый чурбан возле шестка. «Что будет с моим сыном? — думал старик. — Что будет с Гайзуллой, если дух не найдет внутренностей? Вот я сижу, и ничего у меня не болит, хотя я совсем старик, а мой мальчик стонет и мечется на нарах, не открывая глаз. Алла, как без этой ветки зацветет дерево моего рода? Я зарою внутренности в землю и скажу албасты: «Возьми это вместо взятого богатства, вместо твоего камня, хозяин горы. Хажисултан-бай отнял у меня последнюю лошадь, а телку я зарезал для курээ. Это внутренности моей последней телки. Возьми их, больше у меня нет ничего, что бы я мог дать тебе. Но если тебе мало этого, возьми меня. Возьми меня вместо сына, оставь моего мальчика». Я скажу так и зарою внутренности у реки, сделаю все, как надо, но вдруг это будет не там, и дух не найдет моего прино-

шения? Что тогда станет с моим мальчиком? Что станет с моим родом?.. О алла, за что, за что ты меня наказал?»

Дрова под очагом и в чувале догорали. Пламя вспыхивало на красных углях. Фатхия безмолвно сидела в переднем углу, не вмешиваясь в разговор мужчин.

— Ну, я пошел,— сказал курээ.— Поздно уже, а мне еще в двух домах сегодня надо показаться. Завтра опять приду, проведу твоего сына!..

— Да пошлет тебе аллах здоровья, ишан-хазрэт!

Однако, выйдя от Хайретдина, курээ вовсе не стал торопиться, а обогнув дом Хажисултана-бая, вышел на окраину деревни и спрятался в густом кустарнике у дороги. Скоро мимо него побрел человек с мешком. Курээ вылез из кустарника и, прячась за деревьями; пошел следом за ним.

VII

Как голодный волк, рыскал Нигматулла по лесу в поисках нового золотого места, облазил на коленях берег Кэжэн, где он повстречал сына Хайретдина, но все было тщетно. Он сумел намыть щепотку-другую золотого песка. Баранина давно кончилась, шкуру Нигматулла бросил в овраге. Почти два дня в рту у него не было крошки хлеба.

«У жилья всегда есть чем поживиться. В случае чего, не стыдно и к отцу явиться»,— решил Нигматулла и спустился в деревню.

Было раннее утро. Дойдя до мечети, он остановился посреди улицы, не зная, куда идти дальше, и тут увидел человека, шедшего ему навстречу. Человек шел, слегка поддавшись вперед. Через плечи его была перекинута веревка, на веревке болтались каты¹.

— Эй, Шарифулла-агай, куда ходил спозаранку?

— Лошадей своих искал, кардаш. Так и не нашел, а ведь я совсем недалеко спутал их. Роса нынче сильная, весь промок.— Шарифулла посмотрел на свои холщовые, мокрые до колен штаны.

Нигматулла тоже оглядел их. Плохие штаны, старые. Да и вообще вид не ахти — между пальцами босых ног торчит трава, на рубаше — огромная заплата, а из-под нее, словно цепь от часов, свисает грязная веревка. Малахай потемнел от пота и стерся по краям.

— А я к тебе, агай...

Шарифулла вопросительно поглядел на Нигматуллу, и кося глаза его, казалось, от этого еще больше закосили.

— Дело есть. Айда в дом, там скажу.

Шарифулла, переваливаясь, зашагал за Нигматуллой.

¹ Обувь.

У ворот они остановились, словно Шарифулла не знал еще, впускать ему непрошеного гостя в дом или повременить, потом толкнул ногой ворота и вошел во двор.

Выбрав самое солнечное место, он не торопясь развесил сушить свои сапоги и портянки поближе к сеним, затем, не снимая, отжал мокрые штаны.

Нигматулла нетерпеливо следил за ним глазами.

— Что ты так копаешься?

— А как же! Сапоги надо беречь. Я всегда так поступаю. Сапоги только в гости надеваю, по будним дням не треплю. А то не успеешь оглянуться, а они уже сгнили.

— Ничего, Шарифулла-агай, ты богатый, можешь себе новую пару купить!

— Могу-то могу, а какой с того прок, если я буду каждый год сапоги менять? Вот эту пару знаешь сколько я уже ношу? И смотри — они как новенькие. Не будешь беречь и копейки считать — ничего в хозяйстве не прибавится. Слава аллаху, пока я ни в чем не нуждаюсь. Две лошади, корова, скоро кобыла ожеребится — тогда будет еще лошадь. . .

Шарифулла мечтал иметь свой табун и ради этого отказывал себе во всем — голодал, одевался хуже всех в деревне, лишь бы прикупить еще одну лошадь.

— Я проголодался, покорми меня, — сказал Нигматулла и, не ожидая приглашения, распахнул дверь. В ведре тут же загремел ковшик. Половицы были сильно расшатаны и, когда кто-нибудь входил в дом, ковшик бился о стенки ведра.

Хауда, увидев в окно, что муж кого-то ведет, нацепила на босые ноги башмаки, одернула подол платья, накинула на волосы платок и, завязав его под подбородком, стала поспешно прибирать в доме. Большие серебряные монеты, вплетенные в косу, при каждом движении ударялись друг о друга и звенели. Не успел Нигматулла открыть дверь, как Хауда поправила дерюгу на нарах и бросила подушки на коврики, грудой сложенные у стены.

— Здравствуй, энга!

— Здравствуй, — негромко ответила Хауда. Голос у нее был мягкий, теплый. Гости редко заходили в дом Шарифуллы, и, застеснявшись, женщина закрыла лицо платком.

Нигматулла огляделся по сторонам.

— А вы и в самом деле неплохо живете, стол и стулья завели. Ого, даже стекло вместо брюшины!

— Слава аллаху, не хуже, чем в байских домах, — ответил Шарифулла. — Мать, налей-ка нам кислого молока.

Хауда налила в чашку катык, взболтала ложкой и поставила на нары между гостем и мужем.

— Угощайся. — Шарифулла попробовал катык: — Пресноват немного, но ничего.

— С каких это пор катык едят без хлеба?

Хауда опять покраснела.

— Взяла я в долг фунт ржи, да смолоть не успела, — робко сказала она. — Ручка у нашего жернова сломалась. Вот я и толку рожь в ступе, хоть суп с крупой сварю. . .

— Ну и богатство у вас, однако! Верно про тебя судачат, агай: «Шарифулла с голоду еле ноги таскает, жена его за уши от земли поднимает». Как же так? Лошади есть — ты пешком ходишь, башмаки есть — босиком плепаешь, деньги есть — без хлеба ешь! Ну ладно, как говорится, угощают — пей и воду. Попьем хоть кислого молока в «байском» доме. — Нигматулла хихикнул и придвинулся ближе к чашке.

— Погоди смеяться. Смеется тот, кто смеется последний, — обиделся Шарифулла.

— Смейся не смейся, а пока дела твои плохи. — Нигматулла повертел в руках крашеную деревянную ложку: — Аллах, где вы такую достали? Не иначе как с того света. Этой ложкой только клин ведьме в затылок забивать. Я не ведьма. Такой ложкой есть не буду. Другой нет?

— Нет, — буркнул Шарифулла. — Корот есть.

Хауда залезла в широкую посудину, висящую на деревянном крючке, вытащила жесткий, покрытый плесенью кружок сухого творога и положила перед мужем. Шарифулла ножом разрезал корот на маленькие кусочки и предложил гостю. Нигматулла взял один кусочек и положил его в рот. Обросшее щетиной лицо его тут же исказилось.

— Кислее не могли найти?

— Обижайся не обижайся, а угощать тебя больше печем.

— Ну что ж, видно, придется мне тебе помочь.

Нигматулла сдвинул шапку на лоб. Вытащил кисет. Свернул папироску.

Горький серый дым пополз по стене к потолку, Хауда прикрыла нос кончиком платка.

— Очень хочешь разбогатеть, агай?

Шарифулла не ответил.

— Я спрашиваю, разбогатеть хочешь?

— Слава аллаху и за то, что есть. Мне хватает.

— Ха, разве это богатство? Я спрашиваю, хочешь ли ты быть таким же богатым, как Хажисултан-бай? — Нигматулла понизил голос до шепота: — Только тебе скажу. Место нашел. Столько золота — всему миру хватило бы!

Шарифулла продолжал молча смотреть в окно. Видя, что слова не действуют, Нигматулла вытащил из кармана казакина мешочек, развязал его и высыпал на ладонь блестящие желтые кусочки.

— Видал?

— Что? — Шарифулла недоверчиво скосил глаза.

— Золото никогда не видел, что ли?

— Видел. Ну и что?

— Продаю. Купи.

— Что я с ним делать буду?

— Ха, нашел над чем голову ломать! Да продашь. Я же с тебя и полцены не запрошу, только потому и продаю так дешево, что деньги нужны во как, — Нигматулла провел ладонью по шее, — позарез. Если б не это, сам бы продал за настоящую цену!

— А почему мне? Я ж ни цены ему не знаю, ни толку... Нет, продай уж кому-нибудь другому.

— Какой тебе еще толк? Богатство само в руки лезет, а ты отказываешься!

Шарифулла задумался.

— Не берешь? Ну смотри, дело твое. Да и некогда мне тут с тобой разговоры вести, надо скорей компанию собирать — золото мыть. Не купишь — найду другого, с руками оторвет.

Нигматулла встал и пошел к двери.

— Погоди, кустым. — Шарифулла заколебался. Его и пугала мысль о том, что он может лишиться годами накопленных денег, и манила возможность легкого обогащения. Он представил себе табун лошадей. Стройные кони с длинными гривами, чуткие нервные лошади с пышущими ноздрями, тонконогие нежные жеребята... «Чей это табун?» — «Шарифуллы-бая!» — отвечает пастух. А почему «табун»? Может быть, табуны? Не один, не два, а пять, десять, много табунов! Если дело выгорит, так оно и будет, а если нет...

— Ну, мать, что будем делать?

— Не знаю, отец...

— Так я и думал, что ты ответишь «не знаю». — Хозяин махнул рукой: — Женщинам что? Ты хоть разорвись, а им и горя мало! Беззаботная баба...

— И у меня есть забота, — неловко улыбнувшись, сказала Хауда.

— Целыми днями дома сидишь, какая у тебя забота?

— Все думаю, когда наш сын подрастет, на ноги встанет...

— Нашла о чем горевать! Дерево само растет вверх, никто не горюет — когда оно вырастет. Если ты такая хорошая мать, присматривала бы получше за дочерью. Невеста уже, как бы не начала баловать...

— Я уж и так ее вчера совсем заругала.

— Ну-ну, мать, как же ты ее ругала?

— Говорила, слушайся, Гульбостан, слушайся...

Нигматулла, с любопытством ожидавший, чем кончится спор, громко засмеялся.

— Какая ты сердитая, оказывается! Все «слушайся» да «слушайся»... Ха-ха-ха! — И, посмеявшись вдоволь над робкой

женщиной, спрятавшейся от смущения за занавеску, снова повернулся к Шарифулле: — Ну так как?

— Что будем делать, мать?

Шарифулла жалко и потерянно улыбался жене. У него было такое чувство, словно он шел по краю глубокого оврага, над пропастью, и стоило ему сделать одно неосторожное движение, и он окажется внизу.

— Что ж ты молчишь? Где твой язык, которым ты с утра до вечера облизываешь свою дочь?

Хауда долго не отвечала, потом неожиданно вспылила:

— Если ты трус, то не спрашивай, как тебе поступить, у своей жены! Разве умный мужчина советуется с женщиной? Много ты у меня спрашивал, когда копил свои деньги?

— Ну ладно, покричала — и хватит! — Шарифулла властным жестом оборвал жену. — А то соседи подумают, что в нашем доме нет хозяина!.. Иди к своим горшкам, я обойдусь без тебя!

Хауда покорно отошла к чувалу, а Шарифулла почесал пятерней затылок.

— Значит, так... Сколько вот этот большой кусок?

— Ты хочешь знать, сколько он весит? Фунта два, не меньше. Если есть безмен — давай проверим...

— Нет, я говорю — сколько стоит?

— Маленький кусок — сто рублей, а вот этот крупный самородок — пятьсот...

— Да ты в своем уме? — Шарифулла вытаращил глаза и с минуту стоял с полуоткрытым ртом. — Ты смеешься надо мной? Где же мне взять такие деньги? Если я даже отдам в придачу всех вшей, то и тогда мне не набрать столько!..

— Сразу видать, какой ты серый человек!.. Если бы ты хоть немного в этом деле разбирался, то понял, что за такой самородок ты взял бы не меньше шестисот рублей...

— А почему ты сам не выручишь за него шестьсот?

— Опять двадцать пять! — Нигматулла развел руками, как бы поражаясь чужой бестолковости. — Мне деньги сейчас нужны, позарез! А если не торопиться, то я бы за этот кусок и побольше выторговал...

— Конечно, зная можно рисковать... А вдруг ты меня обведешь вокруг пальца — и ищи ветра в поле?

Нигматулла посуровел в лице, сдвинул косматые брови.

— Тебе, дураку, счастье суют в руки, а ты упираешься, как баран, которого резать ведут... Думаешь, если в нашем роду были воры и обманщики, то и я такой?.. Как хочешь, я силой тебя заставлять не буду, даже обиду забуду, что ты меня за вора считаешь!..

— Постой! — Шарифулла ухватил гостя за рукав. — Может, покажем твое золото знающему человеку?..

— Хочешь, чтобы я золотого места лишился? Нет, так дело не пойдет. Я и так жалею, что лишнего тебе наговорил... Но смотри, пикнешь одно слово — пеняй на себя! Голову сниму — понял?

— Все понял, кустым, все понял, — Шарифулла испуганно закивал, приложил руки к груди. — И я и енга будем молчать, как рыбы... Ну, допустим, возьму я твое золото, что я буду с ним делать?

— Чудак человек!.. Подвернется покупатель, и сбудешь по хорошей цене!.. А пока, если уж на то пошло, я дам тебе немного рассыпного золота — можешь проверить, что я тебя не обманываю. А дней через семь принесу самородок...

Шарифулла окунул пальцы в матерчатый мешочек, захватил щепотку золотых песчинок, высыпал на бумажку.

— Спрячь хорошенько, это золото с того самого места, что я нашел... Если ты дашь мне деньги для оборота, я, может быть, тогда и тебя в пай возьму...

— А хозяина горы там нету? — спросил Шарифулла, и голос его понизился до шепота. — А то как бы и с нами не получилось, как с Хайретдином...

— А что с ним? — спокойно поинтересовался Нигматулла, точно впервые слышал об этом.

Шарифулла с жаром начал рассказывать о том, о чем давно знала вся деревня.

— Из мальчишки выгнали албасты, но он не поправился. Старик отвез его в Оренбург — говорят, там получше есть знахарь... В один день разорился, стал нищим — ни лошади, ни телки... Одной охотой семью кормит...

— Да, албасты надо опасаться и обходить стороной... Но тебе бояться нечего — не ты золото нашел, а я, — значит, мне первому и ответ держать... А я и от нечистого духа откуплюсь!.. Давай неси задаток, и я побегу!

— Какой задаток?

— А ты думаешь, я дал тебе золото просто так, чтоб ты его нюхал и меня вспоминал? Я тоже не такой простак, чтобы одному слову верить! Неси, неси, не упирайся... Теперь мы с тобой одной веревкой связаны.

VIII

Сайдеямал поставила тяжелую плетеную корзину с бельем на камни и тут же устало опустилась на песок. Стертые до красноты, опухшие от долгой стирки руки дрожали и горели огнем. Чтобы унять жар, она приложила ладони к мокрому и прохладному песку и сидела так, наслаждаясь охватившим душу покоем, расслабленная и тихая, и, полузакрыв глаза,

слушала, как играет и плещется у ее ног беспокойная Кэжэн.

Это она с виду такая тихоня, эта речка, что порою кажется, что она вовсе и не течет, а лениво нежится, но если хорошенько всмотреться, то поймешь, что она очень веселая и быстрая и вся светится и переливается солнечными блестками. А если открыть глаза пошире, то увидишь на том берегу тоненькую березу. Она всегда застенчива, как невеста, и стоит, не отрывается от зеркала воды, смотрится в него, не наглядится, как будто не верит, что она так хороша и молода, и каждый листик на ней трепещет и звенит, будто это и не листья вовсе, а мониста из золотых монет. Ветер иногда срывает одну монетку, бросает ее в речку, и Кэжэн несет ее неведомо куда, чтобы где-то и в другом месте увидели чьи-то глаза эту красоту...

Когда-то и сама Сайдеямал была, как эта березка, беззаботна и весела, но теперь даже трудно поверить, что она была молодой и красивой, что ею любовались все. Любовались до тех пор, пока бай не надругался над нею. Но и потом, когда к ней пришла любовь и дети и душевные раны ее затянулись, как ожоги на молодом теле, она была счастлива и готова была одарить своим счастьем всех, кто был обделен и обездолен. Она приходила на помощь каждому, как могла утешала, отдавала все, что имела, но годы, и нужда, и ушедшие один за другим в могилу и муж и трое детей, казалось, навсегда лишили ее радости. Теперь она жила давно не своей жизнью, а жизнью сына, с тревогой всматриваясь в его лицо, стояло ему появиться в доме, искала на нем следы радости или печали. Но часто его лицо не говорило ей ни о чем, и Сайдеямал терялась и пугалась, словно таилось за этой замкнутостью что-то неведомое и опасное и для сына, и для нее самой...

Выбрав место почище, где вода не была такой мутной, Сайдеямал подоткнула подол, забрела по колено в речку и стала полоскать белье. Оно лежало ворохом на камне, а чистое, отжав, она бросала снова в корзину. Рукам от холодной воды сразу полегчало, после отдыха не так болела спина, и Сайдеямал сильными рывками била мокрым полотном по воде, струя вытягивала по течению белоснежные полотнища, за ними сочились голубоватые мыльные полосы, похожие на разлившееся в реке молоко.

«Все было бы хорошо, если бы он не скрывал, что у него на душе, — думала она, привычными и размеренными движениями разворачивая тяжелые жгуты белья. — Ворочается на своей постели и вздыхает, как старик. Может, кто-то уже поселился в его сердце, а он не сознается ни той, которая заняла свое место, ни своей родной матери. Молчит, и все. А молчание ложится на сердце как камень — его просто так не сбросишь, не столкнешь. Но если у него есть кто-то на примете, почему

он не собирает калым? Почему не бережлив? Где же он найдет невесту, чтобы ее отдал без калыма?»

Текла мимо река, обмывая босые ноги, но думы не иссякали, а словно прибавлялись от тревоги.

Но вот она бросила последний отжатый комок белья, вытерла подолом вспотевшее лицо, хотела было еще присесть и отдохнуть, но солнце уже спешило спрятаться за Карматау, и надо было торопиться. Нужно было еще засветло развесить белье байских жен, дорогое белье из белого батиста, развесить, ничего не повредив, не оставив на рубашках и сорочках случайного пятнышка. Тогда беды не оберешься — и мало дадут за работу, а то и вовсе откажут и уже нельзя будет брать белье в стирку и прирабатывать что-то к заработку сына. А ведь на одни его деньги не проживешь.

Она не заметила, как вернулся Хисматулла и уже вешала последние вещи на веревку, когда увидела его понуро сидевшим на пороге.

— Встань сейчас же, Хисмат! — сказала Сайдеямал. — Ты что забыл? Кто сидит на пороге, тот никогда не разбогатеет...

Сын поднял голову, усмехнулся, и глаза у него были усталые и печальные.

— Мы никогда не будем богатыми, мать, — тихо сказал он и поднялся. — Хлеб у нас есть?

— Новую квашню я не заводила — соскребла со стенок и замесила лепешку, чтоб завтрашнему хлебу дорогу не перебивать, да пошлет нам его аллах!

В землянке уже начинало темнеть, синие тени ложились на чужал, собирались в углах.

Сайдеямал налила в измятый медный самовар воды, бросила в трубу несколько лучинок и кусочек подожженной березовой коры, пустившей черную ленту дыма. Около ручки самовар протекал, и она залепила смолой крохотную дырочку, сквозь которую сочилась вода. Опустившись на колени, она до слез дула в трубу, в поддувало, пока не разгорелись лучинки и можно было насыпать на них сверху две горсти угля. Самовар быстро потеплел и скоро зашел — тоненько и плаксиво.

Сайдеямал подгрела к одной стенке чужала золу, вынула щипцами хлебец величиной с чайное блюдце, отломил половину и протянула сыну. Завернув другую половишку в чистую тряпку, она хотела было спрятать ее в кадку, но, взглянув на Хисматулла, на его перепачканные глиной штаны и лапти, на худое загорелое лицо с ввалившимися щеками, отломил еще четвертинку и отдала сыну. Она могла бы отломить кусочек — для себя, но подавила это желание.

Когда сын немного насытился, она робко спросила:

— Ты почему такой хмурый, Хисмат?.. Что с тобой?

— Ничего, мама,— устал, наверно.— Он помолчал, словно не решаясь сказать о том, что томило его душу, потом порылся в кармане, достал скрученный в узелок платок.— Эти два рубля я получил за золото, намыл за две недели... Отнеси их Хайретдину-бабаю... У старика большое несчастье...

— А как мы сами будем жить, сынок?— голос Сайдеямал дрогнул.— Если ты о себе не думаешь, так хоть меня пожалеешь... Я скоро и стирать не смогу, совсем износилась, сил нет... Посмотри!— она вытянула вперед красные, разбухшие в суставах руки со скрюченными, подагрическими пальцами.— Этим рукам только осталось внука понянчить, но я, видно, не дождусь... А ты, вместо того чтобы деньги на калым собирать, последние отдаешь чужим людям...

— Хайретдину сейчас хуже, чем нам... и ты сама говорила, что надо помогать людям, когда они в большой беде!

— А люди говорят, что Галиахмет-бай дал старику пятьдесят рублей за самородок...

— Эсей, это неправда!.. Если бы у него были деньги, разве бы морил он семью голодом?..

— Конечно, грех говорить о человеке пустые слова,— согласилась мать.— Ведь аллах слышит все дурное, что сходит с нашего языка...

Она понимала, что у сына и так беспокойно на душе, и не стоило зря тревожить и ранить его. Так ведут себя молодые люди, когда к ним приходит любовь,— то задумчивы, то смятенны, то говорливы, то замкнуты — как внешние ручки по весне, когда в них играет солнце и они шало мечутся по улице, по овражкам, то расцветая бликами, то бездумно падая с высоты, то ласково журча у самого плетня. Какие только думы не являются в эту горячую пору, такая неутоленная нежность омывает волнами молодое сердце. Кто же поселился в сердце Хисмата? О ком он думает и тоскует, не смыкая ночью своих глаз?

— К нам, кажется, бежит Зульфия, дочка Хайретдина,— сказала Сайдеямал.— Я всегда узнаю ее по походке и по тому, как стучат ее пятки... Вот ты сам и отдай ей два рубля...

Они встретили девочку у входа, и мать сразу догадалась, что Зульфия прибежала не к ней одолжить щепотку соли или несколько спичек, потому что девочка, тяжело дыша, остановилась и глядела на Хисматуллу.

— Я пойду погляжу белье,— сказала Сайдеямал.— Может быть, какие-то вещи уже подсохли...

Она вышла во двор, сняла с веревки самотканое платье первой жены бая Хуппинисы и, разложив его на гладком, отполированном до блеска конце бревна, стала легонько поколачивать его деревянным вальком. Она поворачивала его на разные стороны, била размеренно и привычно, зная, что после

каждого удара платье становится мягче. Иначе Хуппиниса вернет его обратно, едва потрогав материю на ощупь.

Что-то тайлось в этом приходе маленькой девочки такое, что и пугало ее и радовало, и Сайдеямал терялась в догадках.

За Карматау садилось вечернее, уставшее за день солнце, оно было еще раскаленным и ярким, но успело растратить свою силу утром, полное буйства и озорства, и днем, когда горело ровно и постоянно, теперь оно расплескивало остывшие лучи на багровую от заката гору, на верхушки леса, стоявшего стеной за деревней, исходило густыми золотистыми каплями меда, падая в речку Кэжэн.

Оно вспыхнуло и словно подожгло светлое платье Зульфии, когда она выскочила из землянки и побежала к поселку, босые ноги ее мелькали, будто облитые красным загаром. Она становилась все меньше: уже не было видно, как нескладно машет она руками, только бились за спиной, плескались темные волосы, и грязные ноги казались обутыми в каты при свете заходящего солнца...

Сайдеямал замерла, увидев на пороге землянки сына. В его лице было что-то такое, что заставило ее не только замереть, но и испугаться, хотя оно было спокойным и ясным. Но это было лицо человека, решившегося на что-то серьезное и важное в своей жизни.

— Ты отдал ей деньги, Хисмат? — наконец, не выдержав долгого молчания, спросила она.

— Нет, мама... — он устало вздохнул. — Разве этими грошами поможешь?..

— А зачем прибегала Зульфия?

Она сама не знала, как вырвался у нее этот возглас, ведь она не хотела тревожить сына, и пожалела, что не выдержала и спросила о том, о чем он должен был сказать сам, если бы наступила пора. Но Хисматулла несколько не удивился вопросу матери, а словно ждал его и был доволен, что наконец может высказать то, о чем все равно нельзя было умолчать.

— Я думаю свататься, мама...

— Свататься? Но, Хисмат...

— погоди, мама, — он закрыл глаза и сжал зубы, точно ему было не под силу говорить. — Ты сама мне сказала, что тебе уже тяжело одной... Так вот... Тебе будет еще тяжелее, и ты должна потерпеть, если я твой сын и ты любишь меня...

— О чем ты, Хисмат?.. Может, ты заболел?

— Нет, нет... Ты только слушай... Тебе придется пожить немного одной, но я буду помогать...

Сайдеямал не все поняла из слов сына, ей стало страшно и за него, и за себя, но больше за него, потому что он был молод и безрассуден, как все в его годы, когда играет беспечная кровь в теле и голова не подчиняется обычным житейским

доводам. Он мог совершить сейчас самый опасный шаг в своей жизни и потом будет расплачиваться за него до конца дней.

— Но кого же ты хочешь сватать, сынок?— Голос ее дрожал, и в глазах стояли слезы.— У тебя нет даже хороших штанов, не то что калыма...

— Я на калым заработаю, отдам потом...— Хисматулла говорил обо всем так, как будто обдумывал это целый год и лишь сейчас поверял ей то, что давно созрело в его душе.— Я не всегда буду нищим, мама... Я стану богатым, вот увидишь!..

— Но к кому же ты собираешься посылать сватов, сынок?

Хисматулла взглянул на нее, как бы поражаясь ее неведению и наивности, словно мать и так давно должна была знать имя той единственной девушки, которая владела его сердцем.

— Я хочу жениться на Нафисе, эсей...

Сайдеямал отшатнулась, точно ее ударили или резко оттолкнули.

— Ты в своем уме, Хисмат?! Неужели аллах лишил тебя рассудка? О, горе мне!..— Она уже не плакала, а смотрела на сына горячими глазами.— Ты разве не слышал, что твою Нафису уже просватали сегодня? Об этом знает вся деревня!.. Хажисултан-бай заслал к ней сватов, и родители дали свое согласие!.. О чем же ты думаешь?

— Я все знаю, эсей.— Голос сына был ровен и полон силы.— Конечно, я мог бы все сделать раньше... но я жалел Хайретдина и не мог идти к нему с пустыми руками... А сейчас я пойду...

Он поднялся, и Сайдеямал ухватила его за руки:

— Не делай ничего дурного, мой сын!.. Аллах не пощадит нас, и люди проклянут...

— Не бойся, эсей... Я ничего не сделаю такого, что замарало бы наше имя...

Сайдеямал молча опустила на нары, и Хисматулла видел, как бьется на шее матери тоненькая голубая жилка, точно просилась на волю. Он положил руку на плечо матери, постоял так, не говоря больше ни слова, и вышел.

Над деревней плыла в облаках полная луна, в землянках и избах светились лишь редкие огоньки.

Хисматулла обогнул огороды и выбрался к крутому берегу реки. Кэжэн отсюда открывалась вся, обнажая по откосам сухую желтую глину, темная вода плескалась вниз, под обрывом, и качала на своей зыби большую луну, похожую на ярко начищенный медный таз.

Был на исходе август, и низкое, усыпанное звездами небо бороздили светлые следы падающих звезд.

Хисматулла долго стоял на берегу и, когда срывалась новал звезда, загадывал про себя:

— Я женюсь на Нафисе... Нафиса будет моя...

Ему казалось, что звезда каждый раз гасла быстрее, чем он успевал вышептать до конца свое желание.

Легкий шорох за спиной заставил его вздрогнуть, и он рванулся навстречу Нафисе. Она шла по краю обрыва, как слепая, не понимая, что любой неосторожный шаг бросит ее вниз, на самое дно. Боясь испугать ее, он застыл на месте и ждал, когда она подойдет.

— Нафиса...

Она остановилась в двух шагах от него, как бы удивляясь, что видит его здесь, и молча смотрела на него.

— Что ж ты молчишь, Нафиса? Что с тобой?

Она протянула к нему руки, как бы не видя его, и, припав к его груди, затряслась от плача.

— Не надо, не плачь,— тихо уговаривал Хисматулла, хотя сам еле сдерживался, чтобы не разреветься.— Я не отдам тебя никому, слышишь? Не отдам!..

Он бережно прижимал ее к себе, гладил ее волосы и говорил, говорил, лишь бы она перестала плакать, лишь бы перестали дрожать ее плечи.

— Лучше мне не дожить бы до этого дня,— сквозь слезы, сдавленно и обжигающе шептала Нафиса.— Лучше бы меня задушили, когда я была маленькая!.. Утопили, как котенка!

— Тихе, тихе...

— Пусть! Пусть!.. Мне все равно! — с иступленным отчаянием выговаривала Нафиса.— Я готова принять позор, как дочка Каенсафы-енги, чем быть проданной за пятьдесят рублей!..

Лицо ее было мокро от слез, но она не вытирала их и все плакала и плакала, пока не обессилела.

Хисматулла обнял ее, тихо повел вдоль берега, усадил на траву за кустом, и они долго сидели так, прижавшись друг к другу, и молчали.

От реки тянуло сыростью, запахом глины, вода поблескивала внизу и ловила в своем отражении звезды. Откуда-то налетал ветер, и темный тальник у воды начинал тревожно шелестеть, потом все стихало, и было слышно, как лают в деревне собаки, как всплескивает в глубокой заводи рыба.

— Никто не сможет разлучить нас, Нафиса, слышишь? Никто! — говорил Хисматулла.— Один человек, который бежал из Сибири, говорил, что бедные не имеют права быть красивыми... Но это неправда!.. Ты красивая, и мы оба бедные, но мы будем счастливыми!

— Но как же ты справишься с баем? Он отыщет нас везде, хоть мы убежим на край света!.. У него деньги, и за деньги он найдет нас даже под землей!..

— Все равно я не боюсь...

— Я боюсь, Хисмат!.. Ай, алла! Чем я провинилась перед тобой? Ты же знаешь, что у меня на душе нет ни капли греха!..

— Дай сюда твою руку, — Хисматулла приложил руку де-вушки к своей груди. — Ты слышишь, как оно стучит?.. Это твоё сердце, и оно никогда не обманет!.. Я завтра пойду на хутор Байгужи и найду там подходящее место... Мы убежим!

— Нас покарает аллах...

— Не мы первые, не мы последние... А люди посудачат и забудут!

— А никак? Кто осветит нашу жизнь?

— Никах мы прочитаем в любой деревне, и аллах простит нас!

— Мне страшно, Хисмат...

— Я скоро вернусь!.. Может быть, я наймусь на хуторе в работники, и тогда мы не пропадем... Я забегу сейчас к матери, скажу ей и пойду!..

— А ты успеешь, Хисмат? — Нафиса снова стала дрожать, точно ее бил озноб. — Я боюсь за тебя, за себя...

— Ты только жди и будь готова, когда я подам тебе знак — попяла?

— Да, да!.. Пусть поможет тебе алла!

Они расстались у края обрыва, когда уже истончалась и таяла луна, а за рекой начало линять небо — приближался рассвет, и легкий прозрачный туман затягивал реку. Они уходили друг от друга и через каждые три-четыре шага оглядывались, махали рукой и снова шли, и так до тех пор, пока не свернули в деревню, не пропали за поворотом.

IX

Давно не было у Фатхии такой тревожной ночи. Она то забывалась в легкой дреме на минуту-другую, то ворочалась с боку на бок на старенькой кошме, перекладывала подушку, то шептала молитвы, то долго лежала с открытыми глазами и думала обо всем, что не давало ей покоя последние дни.

Рядом, закутавшись в рогожку, посапывала ее младшая, Зульфия, и Фатхия изредка протягивала руку и получше прикрывала дочь, спавшую тоже беспокойно, словно ей снился какой-то страшный сон. Старшую она с вечера отпустила к старушке Балхизе, чтобы Нафиса немного развеялась, пришла в себя от всего, что так неожиданно изменило всю ее жизнь.

Утром, едва Хайретдин вышел вслед за сватами Хажисултапа-бая, чтобы проводить их до ворот, как Нафиса выскочила из-за занавески, где сидела, обмерев от страха, и повалилась ей в ноги, закричала в голос, как по мертвому:

— Эсей! Эсей!.. Я все слышала!.. Я не хочу!.. Я не стану женой бая!.. Я лучше умру!.. Не продавай меня, эсей!.. Не позорь меня!.. Не продавай!..

Фатхия растерялась. Ее испугало все — и этот крик, полный отчаяния и боли, точно крик подстреленной птицы, и то, что в любое мгновение мог войти Хайретдин, и тогда не миновать тяжелого скандала. Она подхватила дочь под руки и, вся дрожа, стала быстро напештывать ей нежные слова, утешать, только бы она затихла, только бы успокоилась.

— Перестань, доченька!.. О чем ты говоришь? Опомнись!.. Разве мы с отцом враги тебе!.. Дитя мое!..

Но Нафиса плакала и обнимала мать за ноги, молила, как о пощаде:

— Вы хотите моей смерти!.. Я не пойду за бая!.. Зачем вы губите меня? Зачем?

Фатхия усадила дочь рядом, смахивала ладонью с ее щек слезы, а сама смотрела на дверь и продолжала уговаривать:

— Ты наслушалась чужих слов и не веришь матери!.. А мы с отцом хотим тебе добра и счастья!.. Ни одна девушка в деревне не отказалась бы от такого жениха!.. Годы твои подошли — тебе скоро будет шестнадцать!.. И жених твой не так уж стар: для мужчины шестьдесят лет — половина жизни!.. Не уходи от своей удачи — она стучится к тебе в дверь!.. Хажисултан-бай и работать тебе не позволит, и оденет тебя во все новое, белую шубу купит, монисты подарит — станешь самой богатой и самой счастливой во всей деревне!..

— На что мне его шуба, эсей!.. Я буду у него четвертой женой — они замучают меня, загрызут — и бай, и его старые жены!..

— Не кричи!.. Отец услышит!.. — просила Фатхия. — И выброси из головы эти черные мысли!.. Новой жене всегда будет почет и уважение... А если ты родишь баю сына — он будет носить тебя на руках, а жены не посмеют сказать ни одного худого слова!.. Вытри глаза и будь умницей!..

— Все равно я не пойду за него, хоть убейте — не пойду! — трясла головой Нафиса и повторяла в каком-то оцепенении и упорстве. — Ты же сама мне говорила, как он бил раньше свою первую жену Хуппинису!..

У Фатхии невольно сжалось сердце, она впервые и пожалела дочь и разозлилась на себя за то, что когда-то рассказывала ей лишнее про Хажисултана-бая и его жен.

— Жизнь, как дорога, никогда не бывает ровной, — тихо заговорила она, приглаживая растрепанные волосы Нафисы. — В каждой семье бывают ссоры, и если ты будешь разумной женой и поведешь себя, как нужно, бай не поднимет на тебя руку... Когда Хажисултан-бай был молодой и горячий — он часто гневался, а сейчас он в силе и славе, и кровь уже не так

бросается ему в голову... И подумай о нас, не только о себе... Гайзулла лежит, и неизвестно, когда он встанет на ноги, в доме пусто, мы заняли у всех, у кого можно было занять... Скотины больше нет...

— Знаю, эсей, знаю,— словно смиряясь, отвечала Нафиса, но тут же снова в голосе ее прорывалась боль и обида.— Лучшее петлю на шею, чем идти за немилого!..

Фатхия вспоминала в который раз все, что сказала дочери, все, что отвечала ей Нафиса, но от этих дум на сердце не становилось легче. Она понимала дочь, и ей было больно видеть, как Нафиса убивалась и плакала, однако упрямство дочери начинало и раздражать и даже злить ее. Неужели она такая глупая, что готова отказаться от того, о чем будет жалеть потом всю жизнь? Конечно, лучше выйти замуж за молодого, красивого и любимого, чем за старого, но разве бедняки могут сами выбирать свою судьбу? Тут им не поможет даже аллах!

Сама Фатхия хлебнула горя такой мерой, что хватило бы и на десятерых. Восьми лет осталась без отца и матери, мыкалась по чужим углам, то ходила в няньках, то в прислугах, а потом вышла замуж за такого же горемыку и бедняка, тоже росшего сиротой всю жизнь. Правда, с Хайретдином они жили душа в душу, на него грех сердиться — он себя не жалел для семьи, для детей, заботился о ней и берег ее. И хотя жили они в постоянной нужде, но не обижали друг друга. И не случилось несчастья с Гайзуллой, может, жизнь полегчала бы, дети подросли и все наладилось бы. Но и теперь аллах не оставлял их и послал им такого богатого зятя — самого богатого в Сакмаеве, все завидуют им, и только Нафиса упрямится и показывает свой норов. Ну да ладно, с кем этого не бывало в молодости — покричит, поплачет, а потом выйдет замуж, будет смеяться...

Было еще темно, но в дверную щель уже сочился свет. Ей не хотелось вставать — тело было разбитым и усталым, голова тяжелой и мутной, но руки привычно отбросили одеяло, и Фатхия поднялась. Она надела свое единственное, выстиранное еще с вечера платье, разожгла чужал, но не стала дожидаться, когда разгорятся дрова, и вышла во двор.

Она сама не знала, что томило ее, но ей было невмоготу сидеть дома. Она снова вспомнила, как соседка на днях рассказывала ей, что в деревне болтают, что будто бы Нафиса и Хисматулла дали клятву друг другу, вспомнила, как рассердилась и в сердцах крикнула соседке, что «пустая молва может убить человека», что «аллах не прощает тех, у кого язык больше, чем ум», но сейчас тревожилась — мало ли чего не бывает в жизни, и не зря, видно, дошел до соседки этот слух...

Дочь могла задержаться у Балхизы-инэй, было еще рано, и, может быть, Нафисе снится зоровой, чуткий сон, но Фатхия уже не в силах была больше ждать. Она накинула на голову

казакин и пошла дочери навстречу, если та, конечно, поднимется чуть свет и сама поспешит домой.

На дворе только начинало сереть. Посреди улицы лежали кучками козы, коровы и овцы Хажисултана-бая, которых пригнали с вечерней пастбы. Они лениво жевали жвачку и, когда Фатхия проходила мимо, все разом поворачивали головы, но не вскакивали, не желая покидать нагретых за ночь мест. Во дворе Балхизы тоже лежали козы, одна из них загораживала вход. Фатхия оттолкнула ее, коза нехотя поднялась и уступила дорогу. Окунувшись в густую темень избы, Фатхия позвала:

— Балхиза-инэй! Нафиса!

Никто не отозвался. Удивившись, Фатхия пошарила рукой на шестке, нашла лучину и засветила ее. Тут же откуда-то из-за чувала выскочила большая лохматая кошка и бросилась к дверям. Фатхия подошла к нарам, где, поджав ноги, как девочка, спала на козлиной шкуре старая Балхиза.

— Балхиза-инэй, проснись, проснись,— она тронула ее за плечо. — Ты не видала моей Нафисы?

Балхиза даже не пошевелилась. Фатхия поднесла лучину к ее желтому, сморщенному лицу и увидела открывшийся беззубый рот, ввалившиеся глубоко глаза. Руки и ноги Балхизы ооченели.

Фатхию обдало холодом. «Какое несчастье! Когда же она скончалась? И где Нафиса? Уж не случилось ли чего с ней?»

Фатхия подняла лучину выше и оглядела дом. Пол был замусорен и давно не метен, передняя часть намазаного чувала обрушилась, рядом с ним валялись на полу пустая деревянная чашка и кумган; потолок, словно собираясь вот-вот обрушиться, тяжело прогнулся в одном углу.

«Во всем доме даже для милостыни ни одной вещи не найдется,— подумала Фатхия,— а ведь нужны деньги, чтобы устроить поминание на третий, седьмой и сороковый день... И Гилман-мулла не станет без денег читать погребальную молитву, а одолжить некому»...

Фатхия взглянула опять на нары, и то ли странно как-то мигнула в этот момент лучина, то ли еще что, но ей показалось, что высохшее левое веко инэй дрогнуло. Фатхия покрылась холодным потом. Внезапно звонкий, дробный топот козьих копытцев послышался за домом,— Фатхия вздрогнула: не шайтан ли это несется? Не оп ли лежал, притворившись козой, у дверей и уступил ей дорогу?!

— Прочь, прочь, нечистая сила! — крикнула Фатхия дрожащим голосом и, читая молитвы, выбежала из дому. В доме что-то упало и покатилося по полу.

Скотина все так же спокойно лежала на земле, но лишь Фатхия пошла медленнее, как сзади слышались чьи-то тяжелые шаги. Она обернулась — улица была пуста. Так она, то

прибавляя, то убавляя шаг, оглядываясь и призывая аллаха, с колотящимся сердцем дошла до дому.

Нафиса задумчиво сидела у окна, сложив руки на коленях. Она, видимо, только что вернулась, и Фатхия с облегчением вздохнула.

— Где ты была, доченька?

Нафиса бросилась к матери и прижалась лицом к ее плечу.

— Мама, не ругай меня!.. Я была не у Балхизы-инэй... Я увидела Хисматуллу... Мы сидели у реки...

Фатхия оттолкнула дочь, схватила коромысло и ударила Нафису по плечу, плача и дрожа от гнева.

— Бессовестная! Ты так платишь матери за то, что день и ночь о тебе думает?..

Она сама удивилась тому, как страх перед нечистой силой, еще несколько минут тому назад живший в ней, обратился в жгучую ярость и обрушился на дочь. Она готова была кричать, выть, бить ее слепо и безжалостно, не слушая умоляющий голос Нафисы.

— Эсей!.. Эсей!.. Нас никто не видел!.. Я не сделала ничего плохого!.. Эсей!

— Ты опозорила себя и нас! — Фатхия оторвалась от дочери, села на сосновый чурбан, застонала, закачалась из стороны в сторону. — Ой, алла, алла, как нам теперь показаться на глаза людям?.. И зачем я отпустила тебя? О, позор на мою седую голову...

— Мама!.. Mamочка!.. Пожалей меня!.. Не отдавай меня баю!.. Мы с Хисматуллой будем всю жизнь работать на вас... Не губите меня!.. Мы соберем большой калым!..

— Молчи, дурочка!.. Ты теперь от меня ни на шаг не отойдешь и никогда своего нищего Хисматуллу не увидишь!

Послышались неторопливые шаркающие шаги, и Фатхия, не видя, кто шел, уже знала, что это Хайретдин.

— Иди за занавеску, и чтобы я больше не слышала ни твоих слез, ни твоих жалоб! — Фатхия выпрямилась, набросила на голову платок, чтобы он скрывал ее заплаканные глаза. — Я отцу ничего не скажу, он и так еле живой... Не хватало, чтобы он еще заботился о твоей чести!..

Нафиса закрыла лицо руками, занавеска качнулась и замерла, за нею было так тихо, что можно было подумать, что там никого нет.

«Теперь не буду спускать с нее глаз, — размышляла Фатхия. — Молодость безрассудна!.. Она бросится и в огонь и в воду, если за нею недоглядеть!.. Когда буду уходить из дому, придется закрывать в подвале или на замок в сарае... Потом сама спасибо скажет, что мать была строга и держала ее за косы, чтобы уберечь от глупого поступка!»

Хайретдин вошел не спеша, повесил старый красный кушак на деревянный крюк возле дверей, подтянул и прибил попрочнее телячью брюшину, которой было затянута узкое окно, бегло оглядел чужал и нары.

— Ты бы обмазала чужал, мать, скоро гости будут, — тихо сказал он.

— Кого позвал?

— С калымом должны прийти: лошадь приведут, корову, в дом — новый занавес, а тебе лисью шубу жених обещал... И свадьбу всю на себя берет — корову отдает на угощение. Сразу видно, что хорошего рода. Слава аллаху, наконец-то он вспомнил о нашей нужде — теперь будет чем и за Гайзуллу заплатить! Да и о Нафисе больше не станет забот — и сыта, и обута, и одета! Верно, мать?

— Верно, верно, отец, пристроили мы ее. Слава аллаху, она у нас хорошая девушка, небалованная, и честь свою сберегла. Дай ей аллах счастья! — Фатхия отвернулась и заплакала.

— Ну, что запричитала, будто навек с ней расстаешься? — смущенно тронул ее за плечо Хайретдин. — Тут будет жить, под боком, хоть каждый день навещай... Может, и ума поднаберется: как-никак жених — человек ученый, весь коран прочитал, настоящий мусульманин...

Хайретдин сел на нары и задумался.

Х

Сарай был старый, щелястый, в каждую щель пробивалось солнце, и оттого казалось, что он весь был насквозь проколот золотистыми острыми кинжалами.

Едва слышав конский топот или чьи-нибудь шаги, Нафиса вскакивала, прищипывая одним глазом к первой попавшейся трещине, напрягала слух.

— Сюда, сюда! Я здесь, меня в сарае заперли!

Ей хотелось крикнуть об этом, и девушка сдерживала себя, боясь, что ее услышат.

Сквозь щель нельзя было разглядеть даже двор, и она видела то тропинку, ведущую от калитки, то угол ворот, то стену забора. Пробегали белые куры, за ними, рокоча, вприпрыжку скакал петух, чертя крылом по земле, и потом снова наступала тишина, и тишина эта казалась Нафисе невыносимой. «Аллах мой! Где же ты, Хисмат? Почему ты не торопишься? Почему ты не спасаешь меня?»

Она то принималась ходить по сараю, разглядывая белые от помета налеты для кур, то следила за лениво крутившимися в солнечных потоках пылинками, то вдруг начинала плакать — неудержимо, навзрыд, захлебываясь слезами.

Проплакав до полудня, она так устала от слез, что не заметила, как уснула, — сидя, прислонившись к сучковатой стене сарая. Солнце заглянуло в щель над дверью и коснулось ее лица тонким золотистым лучом, в котором лениво плавали легкие пылинки. Нафиса вздохнула и улибнулась, не открывая глаз.

Во сне она сразу очутилась среди своих подружек — нарядная и счастливая, потому что Хисматулла давно уже выплатил калым за нее, и скоро он должен был показаться верхом на коне в конце улицы, чтобы навестить ее, как жених. Наступают ранние сумерки, самое лучшее время, когда можно спрятать невесту, а жених обязан во что бы то ни стало отыскать ее. И вот уже слышится глухой, будто по днищу пустой бочки, перестук копыт, кричат мальчишки, сидящие на заборе верхом: «Жених едет! Жених!» — и Нафиса бросается с подружками в огород, к невысокой копне сена, падает в ее дурманную духоту, а подружки заваливают ее сверху большими охапками травы. «Иди сюда, Хисмат!» — мысленно зовет она его, не чувствуя, что сено колет ей лицо и руки. Но Хисмат, сойдя с коня и бросив поводья свату, кружится где-то по двору, гремит досками в сарае, а подружки, не сдерживаясь, смеются, и Нафисе становится жаль его. Ну зачем они его так мучают. Или он не может одарить их подарками, чтобы они навели его на след? Ведь для мужчины считается позором, если он не сумеет отыскать свою невесту! «Я здесь, Хисмат! Милый! Я здесь!» — шепчет Нафиса, вся переполненная нежностью, и лаской, и тревогой. И вот, точно услышав ее зов, Хисмат скрипит калиткой, бежит по огороду, и сердце его стучит в лад его бегу. Вот он останавливается в двух шагах, она слышит, как он прерывисто дышит, потом руки его торопливо обшаривают копну, и тут Нафиса не выдерживает, вырывается из душного плена травы, бежит между грядок, выскакивает во двор, а оттуда уже за ворота на широкую улицу. Ветер свистит в ее ушах, горят огнем щеки, слезы выкатываются из глаз, но она бежит что есть силы, теперь уже не щадя своего нареченного — он должен, обязан догнать ее на виду у всех, и Хисмат догоняет ее, его сильные руки падают ей на плечи, он подхватывает ее, задыхающуюся, счастливую, и несет обратно к дому. У дверей толпятся подружки, родичи, две женщины держат, натянув у входа, разноцветную полосу ситца, и Хисмат, вырвав ситец, становится на яркий лоскут обеими ногами, с треском рвет его на куски. . . На какое-то время их оставляют одних, он опускается на край нар, а она, присев, стягивает с него сапоги. Он хочет обнять ее, но она отстраняет его руки, увертывается от поцелуев. Тогда, чтобы соблюсти до конца все обычаи, он роется в кармане, протягивает ей на ладони серебряную монетку, и она сама прижимается к нему, ищет губами его губы. . .

И вот уже гудит от свадебного гомона вся изба, а гости все идут и идут... Уже прочли никах, и ее с Хисматуллой отвели за занавеску, и они сидят там, словно напуганные шумом, и, как маленькие, держатся за руки и улыбаются друг другу... Хватит ли денег, чтобы угостить всех? Наверное, хватит, иначе зачем бы отец приглашал столько гостей?.. А что это опять за топот? Аха, это скажут навстречу гостям парни с улицы Кыдар. Они должны на лету срывать с гостей шапки, а гости бежать следом за ними, и свадьба звенит, смеется, кажется, она может обойтись и без жениха с невестой, потому что людям весело и без них... Вот женщины несут к столу колбасу — казылык. Значит, отец зарезал лошадь, чтобы угостить всех таким лакомством!.. Свадьба Нафисы похожа на свадьбы ее подруг, на которых она гуляла, но сейчас ей кажется, что лучше свадьбы не было, чем ее свадьба, без устали поет кураист, кто-то мечется в танце по кругу, и до боли в глазах блестят монисты на груди... И наступает час разлуки с родным домом, и Нафиса рыдает на груди матери и сквозь слезы поет песню, которую пели и другие девушки на свадьбах, расставаясь с родными и близкими, но ей снова кажется, что песня эта рождена для нее одной, так щемящи ее слова, такая жалоба слышится в ее напеве.

Была ли пеленка моя бела,
Когда пеленали меня?
Неужто лишняя я была,
Когда продавали меня?

В доме отца уместилась бы я
На нарах, на крайней доске!
Нелюбимому продал отец меня,
И теперь я умру в тоске...

Подружки тоже не хотят, чтобы она уезжала от них, покидала их навсегда. И начинается последняя потеха — они связывают веревкой ее постель, на нее сажают молодую, и завязывается веселая борьба — подружки не отдают ее, а нанятые женихом женщины отнимают постель, стараются распутать тугой узел. Жених выкупает веревку, четыре подружки поднимают над ее головой платок и начинают так плакать, так реветь, что Нафиса снова плачет вместе со всеми, потому что нет сил не отозваться на эти раздирающие душу вопли и стоны... Потом она одаривает подружек, теток — кому отдает полотенце, вышитое ею самой, кому нитку, кому лоскуток, и подружки ведут ее к телеге. Она для виду куражится, словно ей тоже неведомо, что покидать родительский дом, и, чтобы утешить ее, отец что-то дарит ей на прощанье. И вот телега трогается, под плачи и причитания, трясут гривами кони, гудят по сухой дорожке колеса, а Хисмат едет впереди, верхом на гнедом иноходце,

торопит его легкими ударами каблуков, оглядывается на нее...

Телегу будто подбрасывает па глубоком ухабе, и Нафиса просыпается.. Был уж вечер, и закатное солнце сочилось кровавыми каплями в полумглу сарая.

Лязгнул замок, заскрежетал ржавый ключ, и Нафиса бросилась к двери.

— Я здесь, Хисмат!..

— Не кричи, это я,— ответил ей низкий, чуть надтреснутый голос, и Нафиса вздрогнула, узнав Ханифу — старуху соседку.

— Тебя послал Хисмат, да? — поборов первый приступ страха, забормотала Нафиса.— Ты принесла весть от него, Ханифа-енга?

— Не шуми, говорю,— голос старухи был непонятно суров.— Вот, одевайся...

Она развязала большой узел и разложила перед онемевшей Нафисой длинное узорчатое платье, отделанный зеленым сукном и серебряными монетами жилин, который нужно было надеть поверх платья, сапожки, серьги и дорогой нагрудник, украшенный коралловыми бусами.

— Это кто тебе все дал? — испуганно спросила Нафиса.— Зачем ты мне принесла такой наряд?

— Разве у тебя нет своего ума, чтоб догадаться? — старуха усмехнулась.— Живо одевайся! Мулла уже пришел читать никах!..

— Не буду! Не пойду! — крикнула Нафиса и рванулась назад, в глубину сарая.— Лучше умру, чем стану женой бая!.. Лучше повешусь вот тут...

Она еще что-то выкрикивала в беспамятстве и слепой непависти, но слова ее словно падали в пустоту глубокого колодца и глохли, не долетев до дна.

— Не упрямыся, как глупая овца! — спокойно и тихо возразила старуха.— Думаешь, я любила своего жениха, когда меня выдавали? Тринадцать лет мне было — девчонка сопливая, что я понимала. А вышла — и прижилась... Как будто отец будет кого спрашивать — хотим мы идти замуж или нет?.. Не дурачься, не отворачивайся от своего счастья!.. Нацепи сережки — смотри, как блестят!.. Сколько девушек в деревне завидуют тебе, а ты свой характер показываешь.

— Все равно не хочу!.. Не хочу!

Дверь распахнулась, и в сарай мелкими пажками вбежала нарядно одетая Фатхия. Мать выглядела помолодевшей и красивой, и, взглянув в ее счастливое, полное радостного возбуждения лицо, Нафиса поняла, что судьба ее решена и, что бы она ни говорила, о чем бы ни просила, никто не захочет ее слушать.

— Ну, что ты стоишь? — крикнула Фатхия. — Не надоело тебе еще плакать? Так можно и глаза выплакать... Живое одевайся!

Она набросила на голову дочери платье, и Нафиса покори-лась сильным и уверенным рукам матери. Всегда такие нежные и добрые, целительные, когда вытирали с ее детских щек набежавшие слезы, сейчас эти руки грубо вертели ее то в одну, то в другую сторону, рывками застегивали на спине нагрудник, хватали за мягкие мочки ушей, вдевая серьги.

— Мама, в последний раз прошу — не губите меня! — сквозь слезы выпештывала Нафиса. — Неужели я так надоела родной матери и отцу, что они выгонят меня замуж за старика?

— Не болтай попусту! — Фатхия подтолкнула ее. — Лучше бы думала о том, как не опозорить отца и мать... Не бегала бы по ночам, так и в сарай бы не посадили! Сама виновата!..

— Но ты же говорила, что никак послезавтра!.. Кто вас торопит?..

— Зять торопит! Закрой рот, и чтоб я больше не слышала твоих глупых слов!

— Не буду я жить с этим старым ишаком! — опять затрясла головой Нафиса. — Не буду!

Мать схватила ее за руку, и Нафисе показалось, что она ударит ее по щеке, но Фатхия лишь потащила ее силой из сарая. Ханифа-енга тянула ее за другую руку, и так, задыхаясь и сопя, они втолкнули ее в двери.

И Нафиса замерла и притихла, увидев полный людей дом, муллу Гилмана, сидевшего на нарах с кораном в руке, и разодетого Хажисултана-бая, склонившего бритую голову в черной бархатной тюбетейке, украшенной серебряным шитьем. Он был в богатом камзоле, надетом поверх белой рубахи, в широких холщовых штанах и ситыке. Это длилось одно мгновение, когда она задержала свой скользкий взгляд на нем, но она увидела красное угрюмое лицо, похожее на кусок сырого мяса, лоснящийся от жира и пота нос, блуждавшую на губах довольную улыбку, и ее чуть не стошнило.

Она судорожно глотнула воздух и обвела взглядом чудом преобразившийся дом. Справа за занавесом была женская половина, в передней, слева, где стояли и сидели мужчины, возвышался сундук, на котором горою лежали подушки, перины, одеяло. Через балки свешивались пестрые ленты ситца, тканые полотенца, за чувалом были развешаны седла, стремяна, хомуты, уздечки, ременные вожжи, от них попахивало лошадиным по́том и чистым дегтем.

Но, пожалуй, больше всего удивилась Нафиса отцу — он был тоже принаряжен, как и положено человеку, выдающему

замуж свою дочь, по сейчас лицо его, обычно угрюмое и озабоченное, сияло довольством и радостью. Было видно, что он гордился тем, что выбор Хажисултана-бая, самого богатого человека в деревне, пал на его дочь, на его дом, и ему явно хотелось не ударить лицом в грязь, показать, что он тоже не лыком шит, что он сумеет принять в своем доме и такого редкого жениха, и всех гостей. Пусть завидуют те, кому надлежит завидовать, ведь не каждому в жизни выпадает такая доля — иметь зятем самого бая!

Хайретдин взял дочь за руку и провел ее вперед, чтобы все видели невесту, — не на каждой улице встретишь такую красавицу. А если и встретишь, то остановишься, пораженный, и будешь глядеть ей вслед и потом еще долго будешь помнить взгляд ее черных глаз из-под тенистых ресниц, и затаенную улыбку, и гибкую походку, и тихий звон монист...

Мулла провел рукой по бороде, точно вид красивой девушки лишил его на мгновение дара речи, потом оглядел собравшихся и повернулся к хозяину дома:

— Отдаешь ли ты в жены дочь свою Нафису за Хажисултана, сына Валиахмета?

Нафисе казалось, что она оглохла, — слова муллы донеслись как бы издалека и словно касались не ее, а кого-то другого.

— Отдаю, — чуть помедлив для приличия, степенно ответил Хайретдин.

Мулла подобострастно улыбнулся Хажисулану-баю, наклонил голову:

— Берешь ты дочь Хайретдина, Нафису, в жены?

— Беру! — кратко бросил Хажисулан-бай.

Теперь мулла окинул взглядом невесту:

— А ты, красавица Нафиса, пойдешь ли в жены к Хажисулану, сыну Валиахмета?

Глухота вдруг исчезла, хотя Нафиса стояла ни жива ни мертва.

— Нет! — надрывно, сквозь слезы, крикнула она и пошатнулась.

Отец схватил ее за плечи, испуганно замахал рукой:

— Она согласна! Согласна!.. Какой девушке хочется покидать дом, где отец и мать так любили и холили ее!.. Она плачет, потому что не желает разлучаться с нами!.. Она будет хорошей женой Хажисултана, сына Валиахмета!..

Мулла развернул коран, полистал страницы, что-то читал, чуть шевеля губами, голос его звучал монотонно и нудно, потом он напутствовал новобрачных, чтобы они жили в мире и согласии, до глубокой старости, родили детей, и да смилостивится и да поможет им во всем всемогущий аллах...

Нафиса опять ничего не слышала, ничего не соображала, чувствуя себя связанной по рукам и ногам. Теперь, когда со-

вершился пиках, она не вправе изменить волю аллаха, она находится под его покровительством и защитой и под властью своего мужа Хажисултана-бая. Ты опоздал, Хисмат, опоздал павсегда, и сделал меня и себя несчастными на всю жизнь. О горе нам, бедным!

После никаха мать увела ее за занавеску, и Нафиса сидела там, то бездумно глядя на затянутое брюшиной окно, то принимаясь тихо плакать.

А в доме продолжалась свадебная кутерьма. Хайретдин зарезал полученную в калым телку, поднялся чад и дым и шум, и один за другим пошли гости, и отец с матерью встречали их у ворот и вели в дом.

Мужчины, раздевшись, проходили в переднюю часть дома, а женщины останавливались у дверей и, разувшись, усаживались вокруг расстеленной на нарах скатерти, закрывшись разноцветными платками и стараясь не смотреть туда, где располагались мужчины.

Каждая хотела одеться для такого праздника получше—где же еще можно показать свои наряды, как не на свадьбе?

Одной из последних явилась в дом Гульямал, и женщины стали ревниво перешептываться и разглядывать ее так, словно давно не видели ее или видели вообще впервые. И всегда-то эта веселая и ветреная вдовушка оденется ярче и наряднее всех. Где только достает она себе такую одежду? Неужели покупает все в городе?

Поверх красного с крупными белыми цветами платья она надела камзол, обшитый золотым позументом и украшенный множеством серебряных монет, и в косах ленты с монетами! Она и в будние дни одета, как на свадьбе, а сегодня, кажется, сама себя превзошла. Вон как глядят на нее мужчины!

Действительно, как только Гульямал вошла, все мужчины повернули головы к женской половине, один Хажисултан-бай не обращал на Гульямал никакого внимания. Женщины шептались.

Хайретдин ухаживал за гостями, помогал мужчинам снимать обувь, предлагал сесть на нары, застеленные войлоком. Только самый молодой из гостей, Усман, застыдился, когда руки Хайретдина протянулись к его катам, присел на корточки и покраснел, как девушка. Конечно, полагается оказывать гостям почет и уважение, но когда старик снимает обувь молодому парню — это как-то неловко, стыдно! Взрослые рассмеялись, а Усман отошел и сел на краешке нар, чуть не плача от стыда и досады на самого себя.

Разув и усадив мужчин, Хайретдин взял кумган, медный таз и опять обошел всех. Гости, не вставая, вымыли руки подогретой водой, вытерли полотенцем и расселись поудобнее. Хайретдин передал кумган, таз и полотенце на женскую половину,

где хлопотала Фатхия, и вытащил из-за чувала бочонок самогона.

— Э, бочонок идет, бочонок! — весело закричали гости.

— Да пошлет аллах еще десять таких же!

— Эх, веселись!

Бочонок поставили посреди скатерти и пустили по кругу деревянную чашку с медовкой. Когда чашка обошла первый круг, гости оживились и заговорили громче. Хайретдин шутил и смеялся с гостями, забыв об усталости и о том, что он не спал как следует уже три дня, занятый приготовлениями к свадьбе. Он обращался то к одному, то к другому и всем говорил:

— Пейте, дорогие гости, пейте! Кушайте, дорогие гости, кушайте! — и протягивал чашки с казылык и бузой.

Усман, так и не севший поудобней, робко отклонил чашку:

— Я не могу, агай, так много, не заставляй меня. . .

Но парня тут же оборвали:

— Пей! Разве не знаешь, гость — это ишак хозяина!

— Что ж это за свадьба, если никто под нары не свалится!

Гости тянулись руками к большой чашке с горячим мясом, стараясь выбрать кусок пожирнее. Съев его и облизав жир с пальцев, они тянулись за новым и, наконец насытившись, стали по обычаю угощать друг друга. Хайретдин, смеясь, тоже взял кусок, повернулся к соседу и положил мясо ему в рот:

— Глотай, глотай! Не проглотить — за пазуху суну!

— Эй, бай угощает, а староста не ест! Надо дать и старосте! — Один из гостей взял кусок побольше и подошел с ним к Мухарраму: — Глотай, начальник!

— Дай я сам, — протянул руку староста.

— Ну уж нет! Дудки! Или ты из рук бедняка брезгуешь? Не бойся, я сегодня ради праздника руки с мылом помыл! На свадьбе все равны, глотай! Если староста не будет соблюдать обычаев, кто поверит, что они и в самом деле нужны?

— Не надо, Киньябулат, не ссорь, не серди людей, — потянул его за рукав Хайретдин.

— Кто ссорит? И не думаю. Я просто веселюсь на свадьбе твоей дочери! — Он снова поднес мясо ко рту Мухаррама. — Небось знал, к кому в гости идет, пусть и ест из наших рук, как полагается! Нечего в стороне сидеть, только других своим видом заразит, и никакой свадьбы не получится. . .

Мухаррам, морщась, открыл рот, но кусок мяса был такой большой и Киньябулат так старательно толкал его, что староста чуть не подавился и хотел было проглотить его, не разжевывая, чтобы скорее отвязаться от насмешника, но Киньябулат потянул за тонкую жилку, и мясо вылетело обратно.

— погоди, прожуй сначала! — захохотал Киньябулат. Вместе с ним хохотали и гости. Староста побагровел и хотел

было что-то сказать, но посмотрел на Хажисултана и сдержался.

Лица гостей были уже красны от выпитого, гомон и шум стояли в доме. Киньябулат огляделся, весело подмигнул и зашел громким, зычным голосом:

Проходил я по тропинке, видел пень замшелый,—
Оказалось, перепелка — порх — и улетела!
Как же в эту птичку раньше с лету не стрелял я?
Как сестру своей невесты не поцеловал я?

Гости подхватили вразнобой, но с веселым вызовом и азартом:

Эй, эй, гоп-гоп-лэй, не поцеловал я!

Седой музыкант, продув курай, вплеп голос своей дудочки в общую песню, подмигивая, покачивая головой, подергивая плечами. Но едва песня пошла на убыль, как кураист заиграл что-то щемяще-грустное, и Нафисе казалось, что дудочка поет ее голосом, жалуется и стонет.

Как лениво течет по равнине вода,
Речка наша Кэжэн... Гоп-эл-лэй!
Так пусть горе мое уплывет навсегда
От головушки бедной моей...

Тихие нежные звуки то обрывались, то грустили, переливаясь в сухом и гладком стебле курая, то пробивались булькающими звуками, точно родник через песок.

Гости пригорюнились и притихли, и Хайретдин забеспокоился, что старик может навести на всех тоску и испортить свадьбу, но тут его выручил сосед — лукавый и добродушный Файзрахман. Он вышел на середину комнаты и недовольно топнул ногой.

— Да что вы приуныли? Ведь не кого-нибудь, самого Хажисултана-бая женим! Что ж тут плакаться? Заводи плясую!

Кураист подул в курай, смочил поочередно отверстия, прокашлялся и, наконец взяв толстый конец в зубы, заиграл что-то веселое. Пальцы музыканта пробежали по инструменту, как ветер по траве, невозможно было уследить за их плавным и нетерпеливым разбегом.

Тяжело ступая, Файзрахман двинулся с места и, засучивая на ходу рукава, не спеша сделал круг по комнате.

— Хай, хай, хай! Куда это пошел наш Файзрахман? Да, видно, на Кэжэнский завод направился... Хай, хай!

Но танцор горячился все больше и больше, кружился все быстрее, полы его расстегнутого камзола взлетали вверх, ноги дробно отбивали такт вслед за кураистом. Приплясывая, он

подошел к Усману и остановился перед молодым парнем, приглашая его продолжать:

— Айда, айда, Усман, не подкачай!

Усман покраснел, но, пересилив смущение, вышел на середину комнаты, окинул всех взглядом, как бы спрашивая: можно ли начать танец? Положив руки на пояс и склонив голову набок, он начал танец, не сходя с места, лениво, как бы все еще отказываясь играть, передернул плечами раз, другой, перебирая ногами, как норовистая лошадь, и вдруг сорвался с места, завертелся по комнате в бешеной пляске. Вскидывая курчавую голову, хлопая ладонями по коленям, поднимаясь на цыпочки, он выговаривал: «Ст-ст-ст-ст! Сестра ма-аленькая...»

Гости, с одобрением следившие за танцем, тоже приговаривали плясовую частушку: «Это чей же брат? Это чей же кай-неш?»

После мужчин заставили плясать Гульямал. Молодая женщина долго отказывалась, не двигалась, закутавшись в платок, но товарки уже подталкивали ее, подбадривали: «Иди, иди! Будто сроду мужчин не видела! Можешь и с закрытым лицом плясать!»

Гульямал нерешительно встала и пошла по кругу робко, не отнимая платка от лица, но скоро осмелела, затрясла кистями рук, затопала каблучками по полу и, пройдя еще пару кругов, закружилась на одном месте, прищелкивая пальцами, словно держала в руках веретено и пряла. Мужчины хлопали в ладони и кричали ей что-то, но Гульямал как будто не слышала их — щеки ее покраснелись, глаза заблестели, и видно было, что она отдалась танцу целиком и безраздельно, забыв, где она и что с нею. Красное платье Гульямал хлопало, обвиваясь вокруг стройных ног, монеты в косах звенели, переливаясь тяжелым блеском, золотой позумент, как змейка, вился по камзолу, и змейками выбивались из-под платка ручейки растрепавшихся волос...

Женщины тоже сначала хлопали, но скоро перестали и глядели уже сердито и недовольно, переговариваясь и судача между собой.

— Чего это она так вертится?

— Сама же ее уговаривала, так что же злишься?

— Все лицо открыто! Даже приличий соблюсти не умеет!

— Ха, что ей еще делать? Своего похоронила, вот и думает, как бы теперь чужого подцепить!

— Она такая, чуть муж умер, не успели поминальную молитву прочесть, а она уже любовника стала искать! Я зашла к ней, а она сидит, закрылась руками, будто плачет, а сама в это время из-под пальцев за мужчинами, что пришли тело покойного омыwać, подсматривает!

— И не говори, она сроду стыда не знала!

— Да она сама к ним лезет и муллы не боится, какой уж тут стыд! Ничего, еще накажет ее, аллах...

Но когда Гульямал, запыхавшись и покрасневшись от быстрого танца, села на свое место, женщины умолкли и, как ни в чем не бывало, потянулись к чашке с лапшой. Мужчины тоже приступили к еде. Если лапша попадалась слипшаяся, гости посмеивались над хозяйкой. Кураист, которому достался такой кусочек, тут же сочинил частушку:

Как у Фатхия у нашей
Из лапши подали кашу,
Слиплась комом вся лапша,
Но и такая хороша!

Фатхия, возившаяся у казана, услышав песню, застыдилась и закрыла лицо платком, а Хайретдин стал еще усерднее потчевать гостей, желая выручить жену из неловкого положения:

— Кушайте, дорогие гости, кушайте! Пейте, дорогие гости, пейте!

— Куда ж дальше? У меня уже в глазах двоится! — засмеялся кураист.

— Кушайте, не брезгуйте угощением моего богатого зятя и моей дочери, да пошлет им аллах много здоровья! — продолжал уговаривать Хайретдин и, встав с места, по обычаю с песней поднес свою чашку с бузой соседу — ведь Файзрахман не пьет ничего, кроме бузы.

Гости смеялись, свадьба гудела разноголосисто, и до боли странной казалась изредка прорывавшаяся сквозь гомон и гул жалоба курая — точно тосковала, просила о чем-то, словно живая, томившаяся в неволе душа.

Скоро мать увела еле державшуюся на ногах Нафису в сарай, постелила ей там, и гости даже не заметили, что невесты уже нет на свадьбе — они пели, плясали, спорили о чем-то и снова пели. У них была своя жизнь, и им не было дела до чужой свадьбы...

Без невесты, однако, долго не усидел на свадьбе и жених — Хажисултан-бай. Он поднялся и боком начал пробираться к выходу, но на пути его стенкой встали подружки Нафисы, закричали:

— Не пустим! Не пустим!.. Откупись, жених!

Хажисултан притворился, что не хочет платить, потом выхватил из кармана горсть монет и рассыпал их в протянутые ладони. Девушки довольно засмеялись и разомкнули круг...

Хажисултан-бай вышел на пустой, полный ночной прохлады двор, постоял, прислушиваясь к лаю собак на деревне, потом, бесшумно ступая, вошел в сарай, закрыл на щеколду дверь.

— Кто там? Ты, енга?

Голос Нафисы был полон пугливой дрожи, и дрожь эта отозвалась в сердце бая гулко, как брошенный в колодец камень. Шаря руками в воздухе, он пошел на этот голос, и Нафиса крикнула:

— Почему ты молчишь, енга?

— Это я, голубка моя,—зашептал Хажисултан-бай, робко и просяще, сам удивляясь силе возникшего в нем желания и боязни испугнуть эту не знающую еще страсти юную душу. — Не шуми, не надо смущать покой чужих людей... Ты моя жена, данная мне аллахом, и тебе не следует страшиться своего мужа и греха... Я не дам никому тебя в обиду...

Нафиса омертвела, натянула на грудь одеяло, со страхом следя, как Хажисултан нащупал на чурбаке лампу без стекла, поджег спичкой фитиль, руки его мелко тряслись, и тень от этих рук упала на стену сарая и закачалась на ней — лохматая, как тень вставшего на дыбы медведя.

— Ма-а-ма!.. — в слепом отчаянии закричала Нафиса. — Эсей!

— Ты сама скоро станешь матерью. — Дыша винным перегаром, Хажисултан придвинулся к ней, и рука его, сухая и горячая, коснулась ее деревенешей и холодной руки. — Грех звать в такое время ту, что родила тебя...

В доме пло веселье, все тонуло в шуме и свисте и пьяных голосах, и Нафиса поняла, что никто не придет к ней на помощь, она окаменела от ужаса, голова ее закружилась, и она уже плохо понимала, что происходит с нею. Может быть, она заболела, и ей снится этот кошмарный и страшный сон? Она бы поверила в это, если бы не песня, вырвавшаяся вдруг из дома:

Той, что улетела из отцовского гнезда,
Нет возврата, нет возврата никогда...

Хажисултан-бай дунул на огонь, сарай погрузился в темноту, но фитиль еще красновато тлел, и тогда бай снял этот красноватый нагар двумя пальцами, и в лицо Нафисе ударил тяжелый, удушливый запах вина и пота.

Она хотела крикнуть еще раз, но мокрые губы закрыли ей рот, и она задохнулась от омерзения и страха...

ХІ

Утром Хажисултан перевез молодую жену к себе. И хотя по старинному обычаю зять должен был неделю ночевать в доме тестя, Хайретдин не посмел перечить баю. Неделю или месяц проживет Нафиса еще в родном доме, какая теперь разница? Никах прочтен, калым получен, она теперь отрезанный

ломоть. Да на новом месте и привыкнет, может, скорее. Зять богатый, порядочный, из хорошего рода, не каждому выпадает такое счастье. Оно само пришло в дом, никто не искал его. Да и родство такое нет-нет и пригодится потом, еще и Гайзулла не оперился, а свои люди в помощи не откажут. Многие ведь хотели бы с баем посидеть, поговорить о том о сем, на деревню вместе за беседой показаться, а Хайретдину он — зять!

Но как ни старался оправдать себя старик, перед глазами его то и дело вставало бледное, заплаканное, с синевой под глазами лицо дочери, которую он только что проводил к зятю, и нехорошо было на сердце, тянуло что-то, тревожило, хотя спроси — что, Хайретдин и сам бы не смог ответить.

Свадьба продолжалась еще весь день и вечер, гости все не утихали, пели, плясали, и Хайретдин, угощая их, забылся и немного успокоился. Когда зашло солнце, он зажег по углам лучины и несколько сальных свечей, подбадривал танцоров криками, пил бузу, ел мясо и вместе со всеми пел до рассвета протяжные песни, и даже сам начинал первым, чтобы развлечь гостей. Пальцы кураиста бегали по инструменту все так же стремительно, он был неутомим и, казалось, совсем не хотел отдохнуть, хотя не спал уже второй день. Хайретдин наполнил чашку медовкой и поднес музыканту:

В небе высоко сияет луна,
Реку Кэжэн освещает она,
Где бы ты ни был, друга рука
Будет махать тебе издалека...

Не успел он допеть, как с улицы ворвался шум, и тишину наступавшего утра всколыхнул вдруг отчаянный, полный мольбы крик:

— Спааа-а-си-и-те-е!

Гости испуганно переглянулись, а те, что уснули, положив головы на стол, пробудились, не понимая ничего спросонок. Кричала женщина, но голос ее, метавшийся и, казалось, как пламя, уже зажегший всю деревню, тушился басовитыми голосами мужиков.

— Наверно, кто-то жену свою учит, — Хайретдин покачал головой. — Пейте и ешьте, дорогие гости! Разве мы не видели, как муж жену колотит?

Но тут, хлопбытнув дверь, в дом вбежала младшая, Зульфия, и Хайретдин бросился ей навстречу:

— Что с тобой? Кто обидел тебя?

Зульфия часто дышала, обводила гостей невидящими глазами и от волнения не могла выговорить ни слова. Но наконец она увидела отца и закричала, дрожа и плача:

— Отец! Нафису убивают! .. Спаси ее! Спаси! ..

— Кто убивает? Что ты мелешь?

— Убивают! Убивают! — вне себя, выкрикивала Зульфия. — Там, на улице! ..

Хайретдин ударом ноги распахнул дверь, бросился из дому, за ним выскочили гости, побежали по улице — туда, откуда неслись крики и куда сбегались со всех сторон разбуженные криками люди. Кто-то из соседей перехватил на пути Хайретдина, попытался удержать:

— Остановись, старик! .. Они и тебя не пощадят! ..

Но Хайретдин, не слушая, оторвал от себя руки соседа и врехался в толпу, где несколько рослых парней спокойно и равнодушно, на глазах у всех, избивали лежавшего на земле человека — пинали его сапогами, топтали, хлестали плетками. Человек уже не подавал голоса, он только прятал от ударов лицо, но ему не давали прикрыться и, отбросив на спину, били упрямо и зло, точно исполняли работу. Хайретдин, протолкнувшись ближе, с трудом узнал по окровавленному и вымазанному грязью лицу Хисматуллу.

— Остановитесь, бандиты! — крикнул он. — Что вы делаете?

Он рванулся в круг, пытаюсь помочь сбитому на землю человеку, но тут толпа расступилась, и старик увидел Хажисултана, который, как мешок, волочил за косы Нафису. Бросив ее к ногам отца, он заорал, выкатывая налитые кровью глаза:

— Кто хочет покрыть позор этих прелюбодеев? Кто, я спрашиваю? Кто? .. Пусть выходит по одному и скажет, что я не прав, что я забыл законы предков и поступаю не так, как велел аллах?

Нафиса лежала бездыханно, закрыв глаза, лицо ее было тоже в крови и ссадинах, перепачкано в глине и земле.

— Бросьте эту неверную к ее псу! — Хажисултан-бай плюнул в запрокинутое лицо Нафисы, и никто не решился стереть этот плевок с ее щеки. — Хотела сука спать с этим кобелем — теперь пускай лежит с ним рядом! ..

Парни послушно схватили за ноги Хисматуллу и подтащили к Нафисе.

— Бейте неверных, опозоривших нашу деревню! Наши обычаи и законы! — кричал белый от бешенства Хажисултан. — Покажите этой суке, как бегать от мужа! .. И дайте еще хорошенько этому русскому прихвостню — он с ними дружбу водит! .. Он продал нашу веру!

Уже нельзя было понять, кто кого бьет, кто кого защищает, все смешалось в кучу, потонуло в злобных выкриках и столах.

Однако парни Хажисултана-бая отбили Нафису и Хисматуллу от гостей, подняли их на ноги, привязали к конскому хвосту и, подталкивая их в спины, повели вслед за лошадью по улице.

Хайретдин обезумел от горя — он пытался протолкаться ближе к дочери, плакал, кричал, но кто-то все время оттаскивал его в сторону.

Не пройдя и двадцати шагов, Хисматулла упал, поволокся по земле, но парни стали пинать его, чтобы он поднялся:

— Встань, проклятый! Встань!

Хисматулла полз бессильно по земле, ноги его болтались, как неживые, на лбу и губах запеклась кровь, рубаха висела на нем клочьями. Нафиса шла, спотыкаясь, рядом — босая, раскосмаченная, пытаясь окровавленными руками прикрыть грудь и живот, но парни, хохоча, рвали на ней платье, чтобы люди видели голое тело неверной.

— Зачем вы их мучаете? — не выдержав, закричал кто-то из толпы. — Аллах не простит вам!

— Кто защищает неверного — тот сам неверный!! — огрызнулся один из парней.

— Собаке собачья смерть! — поддержал другой.

— Вам жалко тех, кто продал свою веру? — сплюнул толстый человек, приходивший сватать Нафису. — Да я своими руками задушил бы эту падаль!

Собрав последние силы, Хайретдин прорвался к нему, запричитал:

— Сват, ну что дурного сделала тебе моя дочь?

— Другой на твоём месте от стыда бы сквозь землю провалился! — Сват что есть силы хлестнул черемуховым прутом по спине Нафисы. — Кто вырастил это отродье?

— Не трогай ее! Аллах покарает тебя! — Хайретдин оттолкнул с силой свата. — Руки у тебя отсохнут!

— У самого отсохнут, старая ворона! — Длинный, как жердь, парень оттер плечом Хайретдина. — Не каркай и убираться отсюда, пока цел!..

— Да что ты с ним разговариваешь? — крикнул его товарищ, мордастый и конопатый. — Дай ему по рылу, чтоб отвалился!.. Мало что дочь распутную вырастил, так еще защищать вздумал!..

Словно подбодренный этими криками, сват развернулся и ударил Хайретдина в грудь:

— Позор на твою голову! Позор!

Кто-то толкнул старика в спину, и он упал на колени, уперся руками в землю, новый удар опрокинул его навзничь, он раскинул руки, слабо вскрикнул от боли, и чуть не вся толпа прошла по нему, давя его руки и ноги, плюя ему в лицо. Кровь теплой струйкой потекла по его щеке, смочила бороду, кровь была в виски, шумела в голове, и сквозь эти волны и гул он услышал голос муллы:

— Слушайте, правоверные! Слушайте, мусульмане! Непроста оказались среди нас неверные, гоните их прочь от

себя!.. Видите, как их зараза переходит на нас и позорит нашу честь!.. Хисматулла и года не поработал с русскими, а взялся похитить законную жену мусульманина! А эта грязная девка, которой Хажисултан-бай оказал такой почет!.. Вместо того чтобы целовать ему ноги, почитать его как благодетеля и данного аллахом мужа, она променяла честь на бесчестье, променяла уважаемого человека на какого-то голодранца... Хажисултан еще милостиво поступил — только выгнал вон из дома, а другой разорвал бы ее на куски и бросил доедать собакам!..

Толпа, хрипло и тяжело дыша, слушала своего муллу, стоявшего на пригорке в белой чалме. Он поднимал соединенные вместе ладони к рябому лицу, потом вскидывал их над головой и точно заклинал всех:

— Пусть всемилостивый аллах оградит нас от наших врагов! Пусть это будет для вас уроком жизни, мусульмане!

В толпе кто-то чихнул, и мулла строго посмотрел на человека, осмелившегося прервать его речь таким недостойным способом, однако лишь сдвинул седые брови к переносью и продолжал назидательно и поучительно, словно не говорил, а читал вслух коран:

— По шарияту с законной жены дозволено содрать семь шкур, если в том будет надобность, ибо всем известно, что то место, по которому ударит муж, даже в аду не горит. Известно также, что жена, если ее не бьет муж и не учит, как положено, становится плохой и нерадивой, ибо в нее вселяется бес!.. Вот глядите на этих неверных, преступивших закон шарията!..

Толпа сдвинулась и повернулась к двум полуизувеченным, полуживым, еле стоявшим на ногах, привязанным к конскому хвосту.

— Пусть в нашем роду не будет таких!.. Чтобы все видели и все запомнили, проведите этих неверных по трем улицам... Иначе нам никогда не смыть позора и бесчестья, павшего на наши головы! Да поможет нам всемогущий аллах!

Толпа загудела, слышались угрожающие и злые голоса:

— Это все от золота!.. От него вся беда!

— Если мусульманин свяжется с русским — это даром не кончится, не пройдет!

— Народ распустился!.. Стыд и грех позабыл!.. Бая не признают! Дети отца не почитают, отец за детьми не смотрит!

— Если не очиститься от неверных — все прахом пойдет...

— Вызовем гнев аллаха — конец света наступит...

Толпа отхлынула, покатилась, затопала дальше по улицам, а Хайретдин остался лежать на земле. Однако старику мнилось, что он еще окружен со всех сторон злобными и мстительными людьми, желающими его смерти и смерти его дочери.

Голова шла кругом, он несколько раз пытался подняться и сесть, но силы тут же оставляли его, и он опять валился на землю, и красные пятна плыли перед глазами, и он проваливался, падал в темноту. Когда он пришел в себя, над ним кто-то стоял.

— Нафиса,— позвал он разбитыми губами, но даже не услышал своего голоса, так он был слаб и тих.

— Это я, отец...

Фатхия опустилась на колени перед мужем, приподняла его голову, и Хайретдин застонал, и от этого стога старухе стало так горько и больно, что она не выдержала и заплакала, не обращая внимания на стоявшего рядом курэзэ.

Если бы не курэзэ, она не смогла бы даже донести старика домой. Он куда-то сбегал за тележкой, и они отвезли Хайретдина, потом принесли подобранную на улице Нафису.

На дочь было страшно смотреть. Лохмотья, оставшиеся от свадебного платья, больше уже не прикрывали тела, покрытого синяками, кровоподтеками и грязью, красными полосами от плетей. Непонятно было, почему она еще была жива. Она была без сознания и то лежала, затрудненно, со свистом, дыша, то начинала метаться в бреду и кричать:

— Иди сюда, Хисмат... Я здесь!.. Они заперли меня в сарае!.. Неужели ты стыдишься меня?.. Мы же будем мужем и женой!.. Убежим от всех!.. Убежим!.. Мама!.. Эсей!.. Не отдавай меня за старика, а то я умру... Не губи меня, мама!.. Они идут сюда, Хисмат! Спаси меня!.. Они замучают, убьют нас!.. Мама!

Фатхия сбивалась с ног, бросаясь то к безмолвно лежавшему старику, то к метавшейся в бреду дочери. Она без конца меняла мокрые полотенца на лбу Хайретдина, поила дочь, читала про себя молитвы или, вдруг обессилев, опускалась на пол посреди комнаты и безутешно и долго плакала. Слез уже не было, а только рвался из груди тихий стон, судорожные всхлипы сотрясали ее худое тело, а если наползала тяжелая и крутая слеза и скатывалась по морщинистой щеке, то Фатхия казалось, что это уже не слеза, а черная кровь капля за каплей сочится из ее глаз и ползет по воспаленному лицу...

XII

Какие бы страдания ни выпадали на долю человека, раны на молодом заживают быстрее, чем на старом, будь то раны души или тела. Даже на молодом дереве сломанная ветка затягивается смолой и выбрасывает свежие побеги, а на старом сохнет и отмирает.

Нафиса, несмотря на все увечья, поправлялась, а старому Хайретдину день ото дня становилось все хуже. Он не жаловался, не стонал, лежал тихо, с закрытыми глазами, или молча и долго глядел в потолок, словно силился что-то рассмотреть такое, чего ему не удавалось увидеть за целую жизнь. Иногда он кивком головы подзывал Фатхию и шевелил бледными губами:

— Как наша доченька?

— Все хорошо, отец,— отвечала Фатхия.— Она скоро встанет на ноги и будет помогать мне в доме...

— Ты бы присела, отдохнула немного, а то сама свалишься, пропадем мы тогда...

— Ни о чем не думай, отец... Были бы только мы все живы и здоровы... Не мучайся, набирайся сил...

Но силы покидали Хайретдина, он слабел с каждым днем, не мог двинуть поясницей, а потом уж ни рукой, ни ногой— лежал покойно и недвижно и уже не окликал жену, чтобы спросить ее о чем-то.

Фатхия не находила себе места. Несколько раз она бегала к мулле, упрашивала его, чтобы он почитал над больными молитвы, но тот наотрез отказывался.

— В твоего старика и блудливую дочь вселилась нечистая сила — ее не выживешь никакой молитвой...

Наконец она умолила его, и он согласился, но при условии, что Фатхия отведет на его двор козу. Фатхия согласилась, но на другой день пришли слуги Хажисултана-бая и забрали всю скотину и все добро, отданное на калым, увели на веревке и блявшую козу.

Узнав, что старой женщине нечем платить за службу, мулла не явился, и тогда Фатхия побежала к курэзэ. Все-таки он не такой упрямый и тоже может читать коран — может быть, аллах смилостивится, и нечистая сила отступит.

Курэзэ не заставил себя ждать — пришел в тот же день, хотя и знал, что ему в этом бедном доме нечем будет пожить. Мало того, он принес с собой большой каравай хлеба и отрезал каждому по ломтю. Потом уселся на нары, поджал под себя ноги и, слегка покачиваясь, стал бормотать молитву за молитвой, изредка сплевывая.

Оставив курэзэ около больных, Фатхия бегала к знакомым старухам, пытала их про разные травы и снадобья и уговорила одну добрую старуху помочь ей. Они дождались темноты и, взяв Зульфию, стали бродить по деревне, стучась в каждый дом и протягивая перед дверью коврик. Пряча лицо и меняя голос, старуха скороговоркой частила:

Черви, желуди, вины, бубны!

Круг прорублю, мать проведу, сестру выведу!

Дай для отца кусок мяса...

Люди, слышав ее голос, не выходили из дому, а тоже протягивали в темноте руку и бросали в ковшик крошки хлеба, щепотку соли или муки. Иная рука плескала в ковшик чашку молока.

Набрав почти целый ковшик, старуха Кузейнэп-эбей замесила все подаяния, как тесто, и намазала этим тестом поясницу старика. Затем она вымыла дверную ручку и, согрев эту воду, заставила больного выпить ее.

Хайретдин покорно подчинился всему, не роптал, не жаловался, положил свою горячую и сухую руку на руку жены, и она, связанная этим движением, не отняла своей руки и сидела так до рассвета, пока не почувствовала, что рука старика похолодела. Она не заметила, когда он перестал дышать, когда он умер, — так тихо отошла в другой мир его незлобивая душа. . . . Казалось, он не умер, а просто забылся целительным и спокойным сном, после которого люди поднимаются здоровыми. И Фатхия долго сидела, глядя на осунувшееся, с темными ямками глазниц лицо мужа, и ей чудилось, что если посидеть подольше, то он откроет глаза и позовет ее. . . .

В день похорон вернулся из оренбургской больницы Гайзулла. Он открыл дверь и, сильно прихрамывая, бросился к нарам, где лежал отец, — соседи уже предупредили его о несчастье. Голодный, заплаканный, измученный долгой дорогой мальчик весь день не отходил от отца, не отрывал взгляда от его темных, больших рук. Иногда сквозь слезы ему казалось, что грудь отца под ветхой материей то поднимается, то опускается, словно Хайретдин начинает дышать, тогда Гайзулла отступал и молился, он просил аллаха совершить чудо и вернуть ему отца. . . . Прямо в лицо покойному Гайзулла не смотрел, боялся. Раньше такое живое и родное, теперь оно стало голубовато-бледным, холодным и чужим, как будто не принадлежало уже отцу, подбородок оброс седыми волосами, а губы сжаты так плотно, как никогда при жизни.

На нарах у стены лежала Нафиса, а рядом с ней примостились женщины, шьющие саван. Фатхия, обессиленная от горя, сидела у печи, опустив голову и сложив руки на коленях. В стороне тихо шептались курээ и плотник Хаким, который пришел обмыть покойника.

— Ты у нас живешь уже давно, — говорил Хаким, — а мы даже имени твоего не знаем. . . .

— Разве это так важно? — отвечал курээ. — Вы же все равно зовете меня к больным, а раз зовете — значит, мои заговоры помогают. . . .

— Правду говоришь, — поглаживая бородку, продолжал Хаким, — твое дыхание лечит. Но сегодня к тебе другая просьба. Мулла, видно, не приедет, он ведь знает, что жена покойного

не сможет ему заплатить... Могила готова. Может, сам прочтешь поминальную молитву?

Курээ закашлялся и заерзал на месте. До сих пор он действительно занимался только больными, а погребальные обряды совершал Гилман-мулла, и с этой просьбой обратились к нему впервые. Он оглядел дом и увидел, что все смотрят на него, ожидая ответа. Курээ отвел глаза:

— Я говорю, горло побаливает, так что громко читать не смогу. Ну что ж, прочитаю хоть шепотом, если мулла не придет...

— А дойдет ли твоя молитва до аллаха, если шепотом?

— Дойдет, дойдет... — успокоил курээ. — Когда молитва от души, она всегда доходит...

Он провел по лицу сложенными ладонями и хотел было подсесть к покойнику, но дверь отворилась, и в дом ввалился Гилман-мулла. Поставив свою полосатую палку у двери, скинул галоши с сапожков, уселся в изголовье покойного, сложив ноги крест-накрест, и стал громко читать, поправляя на выбритой голове пеструю тюбетейку, часто дыша и вытирая затылок подолом камзола. Он так торопился, что слова молитвы сливались у него в одно длинное тягучее нытье.

Когда мулла, отдуваясь, кончил читать, Фатхия принесла ему оставшиеся от мужа вещи — каты с суконными голенищами, камзол, который Хайретдин надевал только по большим праздникам, единственные, еще с молодых лет береженные сапожки, холщовую рубаху. Мулла тщательно разглядел каждую вещь, сложил их в узел, а холщовую рубаху с потертым воротником отбросил.

— С паршивой овцы хоть шерсти клок! — сказал он недовольно. — Небось припрятали, что получше. За взрослого покойника другие бы телку дали, а не такое, к примеру, барахло! Бестолковый человек, как жил, так и умер... Ему и телку дай, и овцу — все пропадет, сам на себя беду кликал и детей губил. Даже байское добро не пошло впрок! И дочь вашу шайтан попутал, и сына нечистая сила завлекла — что же это творится на свете?

Фатхия опустила голову. Курээ посмотрел на нее, откашлялся и сказал:

— Я говорю, мулла, не грех ли говорить так о покойном?

Гилман не ответил, даже не взглянул в его сторону. Он торопливо подобрал рубаху, которую сначала отшвырнул, засунул узел себе за пазуху, так что под камзолом вздулось большое пузо, и, пробормотав что-то, собрался уходить. У дверей он оглянулся и бросил:

— Если ты такой ловкий, курээ, то и сам на кладбище молитву прочитаешь. А я не хочу читать молитву для грешного человека!

Хайретдина завернули в саван, вынесли из дома и положили на арбу, устланную липовой корой. Арба двинулась, люди пошли вслед за нею. Вместе со всеми пошел и Гайзулла, опираясь на палку и подгибая покалеченную ногу. Он сильно вытянулся за этот год, но был очень худ и бледен.

Кладбище находилось на самом краю деревни, в березняке.

Когда арба уже почти подъехала к нему, Гайзулла остановился.

Еще мальчиком он боялся кладбища, даже близко к нему не подходил, а сегодня оно показалось ему еще более страшным и таинственным. Казалось, невидимые духи охраняют вход в него, летают в воздухе, шевеля желтые листья березок, стоят у каждого камня и ждут только, когда он войдет, чтобы причинить ему зло. Арба ушла вперед, а Гайзулла все стоял и шептал единственную молитву, которую знал: «Всевышний аллах, огради меня от нечистой силы». Но и молитва не помогла ему, так как мальчик не знал арабского языка и шептал непонятные, но запомнившиеся слова, не понимая их смысла. Когда арба скрылась в березняке, за невысокими белыми стволами, Гайзулла понял, что все кончено и с этой минуты он никогда больше не увидит отца, не пойдет с ним в лес, не услышит родного теплого голоса. Горло его будто сжала чья-то рука. Сдерживавшийся на людях, он прижал теперь руки к лицу и заплакал громко, со всхлипами и завываниями, причитая и сжимая в ладонях голову. Вытирая слезы, он захромал обратно к дому, где оставались Зульфия и больная Нафиса, страшась даже подумать о том, как они будут жить без отца. Сквозь слезы смотрел он на дорогу, на высящуюся над площадью мечеть, но все расплывалось в слезах, и, как ни крепился, плакал все громче.

Весь этот день и пасмурное, серое небо, раскинувшееся над равниной, и оголенный березняк, и самый воздух, горький воздух поздней осени, напоминали ему об утрате. Вот уже показались полусгнившие, покосившиеся ворота родного дома...

Мальчик шел по дороге, подпрыгивая при ходьбе и припадая на одну ногу, как птица с перебитым крылом.

XIII

Целую неделю после неудачной женитьбы Хажисултан-бай не знал, на ком сорвать злость. Он вставал по утрам недовольный, с опухшим лицом и, одевшись, снова ложился на подушки и жадно прислушивался ко всему, что происходило в доме. Чуть слышался какой-нибудь шум, он хватал лежавшую рядом

тяжелую витую плетъ с костяной ручкой и готов был броситься на каждого, кто нарушил тишину.

— Собаки! Слуги шайтана! — кричал он. — Мало вам того, что меня опозорили на весь белый свет, вы даже и здесь не хотите дать мне покоя!

Хушпиниса и остальные его жены ходили тише воды ниже травы, стараясь не попадаться на глаза баю, но Хажисултан, наслушавшись тишины и еще более разозлившись оттого, что никто не перечит ему, сам вставал и шел на женскую половину, поигрывая плеткой и ухмыляясь, подходил то к одной, то к другой жене.

— Что, притихли? Что задумали, а? Может, и вам тоже с Хисматуллой прогуляться захотелось?

— Что ты, что ты, отец, — отвечала за всех Хушпиниса. — Не сердись на нас, мы ни в чем не виноваты. . .

— А ты молчи, старая хрычовка, у тебя уж от глаз одни дырки остались! У-у! — и он замахивался плетью.

На третий день бай послал обратно за выкупом и сам вышел во двор поглядеть, все ли принесли. Увидев козу, он одобритительно кивнул головой:

— Так, так. . . Значит, ничего у них больше не осталось? Это хорошо, сам аллах наказывает их за мой позор! А Нафиса лежит? Ну, слава аллаху, теперь я могу отдохнуть спокойно. . .

Но в взяв обратно калым, Хажисултан не успокоился. Злоба бродила в нем, как молодое вино в бочонке, ища только маленькой щелочки, чтобы выбиться наружу отравной пенной струей. И скоро такая щелочка нашлась. . .

Выйдя очередной раз во двор в поисках хоть какого-нибудь виновника, Хажисултан глянул поверх крепкого, сильно обмазанного глиной плетня и увидел Сайдеямал, полоскавшую белье. Старуха присела на корточки спиной к байскому дому, и видно было, как ей тяжело подыматься, чтобы положить выжатое белье на камень.

— Так, — грозно сказал Хажисултан и важно зашагал к реке.

Тень бая упала на песок, Сайдеямал обернулась и застыла, держа в высохших руках мокрую рубашку. Бай молчал, не отрывая колючего, напряженного взгляда от худого ее лица. В тишине плеснула посреди реки рыба, пустив по воде расходящиеся круги. Стайка мальков мельтешилась в воде у самого берега и щекотала старой женщине щиколотки. Сайдеямал переступила с ноги на ногу и, только тут вспомнив, что ноги ее босые, застыдилась, шагнула за корзину с бельем. Бай смачно сплюнул сквозь зубы и, не отрывая взгляда от Сайдеямал, надменно процедил:

— Чтоб я тебя здесь больше не видел, старый огрызок, поганка нечестивая! Не для тебя тут речка течет, а для мель-

ницы. Мельница моя, значит, и речка моя, поняла? Стирай свои драные штаны на Юргашты!

— Не гони, ради аллаха,— прошептала Сайдеямал,— дай умереть там, где жила... Я ж не себе, а твоему дому белье стираю, да и дышать-то мне не так много осталось, куда я пойду на старости лет? Мы с Хуснутдином всю жизнь на тебя спины гнули, и всегда ты был доволен нашей работой — скажи, что не так?.. Если ты отнимешь у меня последний кусок хлеба — мы умрем... Не гони нас!

Она смахнула ладошкой слезы со щек и умоляюще смотрела снизу вверх на Хажисултана-бая.

— Все равно я твоего ублюдка в остроге сгною — пусть только на ноги встанет!.. Лучше не проси!

— Он не виноват, клянусь аллахом!.. Нафиса сама прибежала к нам и сгубила его!.. Он и так еле дышит, может, еще и жить не будет — кто же лежачего добывает?

Сайдеямал опустилась на колени и поползла к баю, упала ему в ноги:

— Не губи нас, пожалей!

— Не подходи, безобразная! Не прикасайся ко мне!.. Не показывай мне свои гнилые зубы!..

Он поднял ногу и толкнул носком сапога в грудь женщины. Сайдеямал упала навзничь и отчаянно, в голос зарыдала. Но плача, почти не видя Хажисултана сквозь наплывы слез, она вдруг почувствовала такую непомерную, туманившую рассудок ненависть, что не смогла сдержатъ себя и закричала, выплескивая весь скопившийся гнев:

— Убей меня, собака! Убей! — Она плевала на бая, и он все дальше отступал от нее, дивясь слепой ярости и злобе, которые охватили эту покорную и слабую душу. — Я все равно старая, и мне не жить, но и тебя я опозорю на всю жизнь, что люди забудут твое имя и станут плевать на твой дом!.. Ты забыл, кто обесчестил меня? Кто сломал всю мою жизнь? Забыл?.. Будь ты трижды проклят!

Хажисултан-бай воровато оглядывался по сторонам, боясь, что слова неразумной женщины услышат другие, хотя бы вон те кумушки, что сошлись на пригорке у амбарчика и настороженно поглядывают в их сторону. Нет, этот огонь нужно было забросать чем угодно, лишь бы он не запылал во всю силу, затоптать, усмирить...

— Не ори, слышишь? — Голос его одновременно был и достаточно суров и достаточно милостив. — Так и быть, оставайся, где жила, и работай, как работала... И Хисмата твоего не трону — пусть только не попадается мне на глаза!..

Оставив притихшую заплаканную старуху на берегу, он повернулся и, тяжело ступая, пошел к дому. Сидевшие на

пригорке женщины, завидев его, вскочили и спрятались за амбар. Проходя мимо, он для острстки щелкнул плеткой!

— Чего язык чешете? Дома делать нечего?

Весь сжигаемый злобой, он вошел во двор, ходил из одного конца в другой и все никак не мог успокоиться, прийти в себя.

«Ничего, мой час еще придет, и вы вспомните обо мне! — думал он. — Доберусь я и до этого щенка и этой старой суки! .. Тех, кто слишком много знает, нужно всегда убирать с дороги, иначе самому спокойно не жить».

Сайдеямал так состарилась после смерти мужа, что мысли о прошлом давно не посещали Хажисултана-бая, и вот, оказывается, обида, как огонь, может тлеть долгие годы и потом вспыхнуть и опалить. Но от этого жара ему стало не душно, а скорее холодно и муторно. И сейчас, когда возвратившийся страх снова сковал его голову и наполнил холодом душу, он вспомнил вдруг те будто освещенные солнцем годы, когда он был молод и впервые познал, что такое любовь...

Однажды утром он зашел на женскую половину и увидел у матери незнакомую девушку, которая пришла к ним обменять ягоды на хлеб. На нежных розовых щеках ее были ямочки; когда девушка улыбалась, ямочки становились глубже, и в одной из них исчезала черная, маленькая, как точка, родинка; глаза, прикрытые тонкими голубоватыми веками, удивленно мерцали сквозь длинные темные ресницы, отбрасывая на щеки стрельчатую тень; выцветшее платье не скрывало стройной и хрупкой фигурки, материя натягивалась на груди и лучами расходилась в стороны. Девушка почти все время смотрела в пол, лишь изредка вскидывая глаза на его мать и неловко пряча в складках платья тонкие смуглые руки. Получив за ягоды хлеб, она сунула его под мышку и, попрощавшись, тихо вышла из комнаты. Хажисултан, которому было тогда двадцать лет, нагнал ее у ворот и загородил дорогу. Девушка пугливо попятилась.

— Ты что, боишься меня? — улыбаясь, спросил Хажисултан. — Не бойся, я сын женщины, что сейчас дала тебе хлеб...

— Я не боюсь, — прошептала девушка, глядя в землю и продолжая пятиться. Она покраснела от смущения и от этого стала еще красивее.

— Чья ты дочь, девушка?

— Мамина... Пусти меня, агай! Тетя ждет меня, она рассердится, — чуть не плача, проговорила девушка. Она на мгновение вскинула глаза, и у Хажисултана опять сжалось сердце от того, как сверкнули ее удивленные нежные глаза в черных ресницах.

Двое слуг, стоящих во дворе, начали пересмеиваться между собой, но Хажисултан не добился больше от девушки ни единого слова и вынужден был отпустить ее. Дня три-четыре она не

появлялась у них в доме, и Хажисултан был сам не свой. Почти все время он просиживал у матери, но узнал только, что девушку зовут Сайдеямал, что она сирота и приехала в Сакма-ево к троюродной сестре.

«Сайдеямал, Сай-де-ямалл...» — шептал про себя Хажисултан. Это имя казалось юноше песней, и, повторяя его на все лады, он слышал то дыхание ветра, то журчание чистой воды в ручье, то звон весенних капель, что падают с веток в лесу, то стук копыт по дороге... Он думал, что никогда больше не встретит девушки лучше и красивее этой. Видя, что сын мало ест, плохо спит и целыми днями говорит о бедной девушке, мать сама привела ее в дом и, дав с собой полкаравая хлеба, палила в чашку кислого молока и сметаны.

— Садись, — уговаривала она, — Расскажи мне, как живешь, или просто чаю попей... А то ко мне ведь такие молоденькие девушки, как ты, даже и не заглядывают, одни старухи ходят...

Сайдеямал так обрадовалась щедрости и доброте этой почти незнакомой ей женщины, что не знала, чем отблагодарить ее. Скромно сидя на краешке нар и поджимая под себя ноги с огромными, не по мерке, лаптями, она пила крепкий чай и все время улыбалась, не в силах сдержать своей приветливости и доброты. Глаза ее засветились, щеки вспыхнули от радости и смущения, косы, переплетенные простыми лентами, вились по плечам с тяжелым, почти синим блеском и оттягивали назад маленькую головку на гордо посаженной шее. «А ведь и в самом деле хороша, а я и не видела, пока сын не рассмотрел», — подумала старуха, наливая девушке вторую чашку. Сайдеямал вскинула глаза и улыбнулась. Черная, маленькая, как точка, родинка тотчас скрылась в ямке на щеке.

— Эней, уже черника поспела, на горе за осенним домом так много — хоть корзинами собирай! Мы завтра хотим пойти. Пирог с черникой ох какие вкусные! Я их больше всего люблю... Соберу ведро черники, половину обязательно вам принесу, — пообещала Сайдеямал.

Когда девушка ушла, Хажисултан вышел из соседней комнаты, где посадила его мать.

— Эсей, я тоже, пожалуй, пойду за черникой!

Мать улыбнулась, хитро прищурив глаза:

— Разве я тебя держу? Иди, пожалуйста! Было бы у меня время, я и сама пошла бы... — ответила она.

Утром на улице Кызыр шумной стайкой собрались женщины, девушки и старухи. Все были с ведрами и корзинами, все улыбались, и солнце светило всюю, щедро заливая светом площадь, отдаваясь яркими бликами на боках ведра, что несла Сайдеямал.

Хажисултан издали следил за ней глазами, но, опасаясь мужских насмешек, близко не подходил, а стоял в кругу молодых парней. Но едва женщины отправились в путь, как парни, опередив их, вперегонки побежали к горе.

Не успели они пройти мимо осенней стоянки, заросшей высокой крапивой и полынью, как солнце скрылось за тучами, ветер подул сильнее, и скоро сильный косой дождь, словно сорвавшись с привязи, хлынул на дорогу, ручьями побежал по оврагу. Запыленные, изнывавшие от жары березки у дороги закивали головами в зеленых платках, зашуршали листвой. Внезапно, ослепив глаза и разорвав небо пополам, сверкнула молния, и тут же над головой величественно пророкотал гром. Дождь полил еще сильнее, и ребята, быстро добежав до леса, укрылись под большим деревом. Самые маленькие из них при каждом ударе грома закрывали глаза и, шепча спасительное «бисмилла», еще теснее прижимались к старшим.

Хажисултан тоже встал под деревом, но удары грома не пугали его, одна мысль не оставляла юношу, преследовала и даже бежала иногда впереди него. Он оглядывался по сторонам, пытаясь рассмотреть, где укрылись девушки, но за блестящей косой полосой дождя ничего нельзя было разглядеть...

Наконец дождь стал утихать, и вдруг солнце выглянуло сквозь тучу, осветив умытый сияющей зеленью лес. Влажно и пьяняще горько запахла земля, листья, отряхиваясь, сбрасывали вниз гроздь блестящих капель, и после всего того шума, который принес с собой ливень, вдруг пришла необычная торжественная тишина. Было слышно только, как внизу, под обрывом, ударяясь о камни, бурлит Юргашты, которой дождь прибавил силы и смелости. Ребята снимали мокрые, прилипшие к телу рубахи, выжимали их, смеясь и брызгая друг на друга водой, и опять надевали на себя. Медленно передвигаясь по лесу, они скоро пришли к горе Куртмале и разбрелись кто куда в густой липовой роще. Свежевымытые крупные ягоды черники отливали в траве голубовато-черным и сине-черным блеском, они были щедро рассыпаны то там, то тут, и даже не надо было ходить, чтобы набрать побольше ягод,— просто сесть и брать, сколько желает душа.

Наевшись черники, Хажисултан шутя рассыпал несколько корзинок у ребят помладше, когда заметил между деревьями Сайдеямал. Девушка сидела на корточках возле кустов, окруживших высокую липу, и старательно собирала ягоды. Хажисултан подошел к ней и высыпал в ведро горсть черники.

— Помочь тебе?

Девушка вскочила, но Хажисултан, как и в первый раз, заступил ей дорогу. Сайдеямал потушила глаза и тут же вспыхнула вся, до корней волос.

— Не надо, агай, пусти меня. . . — прошептала она.

Хажисултан весело подмигнул ей, взял ведро за ручку и понес. Сайдеямал еле попевала за ним в своих огромных лаптях, говоря на ходу и не осмеливаясь схватить парня за рукав:

— Агай, агай, отдай ведро! Я сама понесу!

— Ничего, — отвечал Хажисултан, не обращая внимания на слова девушки, и шагал все быстрее.

Сайдеямал замолчала, но вдруг, оглядевшись, заметила, что они идут к оврагу, заросшему высокой, до колена, травой.

— Агай! — робко сказала она. — Куда ты идешь? Девушки ведь пошли навстречу. . .

Хажисултан остановился, поставил ведро на землю и подошел к девушке. Не зная, что сказать, он отломил ветку растущего рядом смородинового куста и подал ее Сайдеямал:

— На, ешь. . .

Сайдеямал взяла ветку, но есть не стала и продолжала стоять неподвижно, опустив глаза. Хажисултан взял девушку за локти и на мгновение привлек к себе, почувствовав упругость маленьких грудей и мягкость живота. Сайдеямал испуганно забижалась в его руках, заплакала:

— Отпусти, агай! Оставь меня, отпусти!

— Не бойся, не бойся, — непослушными, дрожащими губами шептал ей Хажисултан. — Я тебя в жены возьму, ты моя, слышишь? — Он силой посадил девушку на поваленное дерево и все крепче прижимал ее к себе.

— Ради аллаха, пусти, пусти! — кричала Сайдеямал.

Но Хажисултан уже не слышал ее, жадными руками он рванул платье девушки и прижался губами к ее губам. . .

На следующий день троюродная сестра Сайдеямал пришла к матери Хажисултана. Она плакала и грозила опозорить парня перед всем селением. Мать Хажисултана испугалась, что об этом узнают родители Хуппинисы, уже просватанной за парня, и пожелала уладить дело миром — вскоре Сайдеямал выдали за Хуснутдина. Оба, и муж и жена, продолжали работать на Хажисултана и его родителей, — старухе не хотелось отпускать работающих людей из большого хозяйства. . .

Но не это беспокоило сейчас постаревшего, обрюзгшего бая. «В молодости каких грехов не бывает, — думал он. — Да и Сайдеямал уже старуха, никто и не вспомнит о ее девичьей чести, а если и вспомнит, сказать не посмеет!»

Он шагал по комнате из угла в угол и пытался припомнить, что говорила ему на берегу Сайдеямал. «Знает или нет?» — одна эта мысль, как червь в коре гнилого старого дерева, сидела в нем и точила, точила его. . .

Когда умерла мать и Хажисултан стал один справляться с хозяйством, он скоро понял, что небольшое наследство, оставленное отцом, мешает ему развернуться во всю силу.

«Разве это богатство — десять лошадей и четыре коровы? — размышлял он. — Будешь всегда сытый, и только! Нужно завести табун лошадей, стадо коров и овец, стать богаче всех баев в округе, богаче самого Галиахмета! Вот тогда будет жизнь, тогда все что захочешь станет твоим и ничьим больше... И жены, сколько хочешь жен будут ласкать тебя и исполнять любую твою прихоть!»

Он думал об этом дни и ночи, но ничего не смог придумать, пока счастливый случай не позволил ему встать над всеми, кроме Галиахмета-бая. И как это ему удалось, не знал никто, кроме покойного мужа Сайдеямал — честного и тихого Хуснутдина...

Этого человека Хажисултан уважал и одновременно немного побаивался. Сдержанный, молчаливый Хуснутдин всегда делал все, что ему велели, а когда разговаривал с баем, то обычно смотрел куда-то в сторону. Эта привычка подчиненного ему человека раздражала и злила Хажисултана, но он мирился с ней и ни разу не выказал ему свое недовольство. Он даже старался задобрить его, расположить, словно чувствовал какую-то вину перед ним, хотя, по совести говоря, никогда не жалел, что надругался над Сайдеямал, теперешней женой Хуснутдина. Как правило, он во все поездки брал его с собой, потому что Хуснутдин казался ему самым надежным человеком, несмотря на эту постоянную скрытую неприязнь, разделявшую их.

Так, однажды он взял его и на Верхнеуральский базар... (И было это в тот день, который потом круто изменил всю его жизнь.)

Стоял август, жаркий и душный день, казалось, так накалил землю, что и вечером она еще дымилась, и дробился в густом пряном воздухе далекий горизонт, и опускающееся солнце было похоже на красный уголь в чувале. Они остановились у реки, чтобы напоить лошадь, и решили заночевать тут же, на траве. Хажисултан достал из мешка бутыл с бузой и, выпив, налил и протянул чашку Хуснутдину, разжигавшему костер. Хуснутдин глотнул раза два и, поставив чашку на землю, стал прилаживать над разгоравшимся огнем толстый раздвоенный сук, чтобы повесить на нем чайник. Скоро вода вскипела, и они до ночи пили крепкий чай, мешая его с самогоном и закусывая холодной колбасой из конины. Хуснутдин подбросил веток в костер, огонь, шипя, медленно пополз по сложенному крест-накрест хворосту и вдруг вспыхнул, ярко осветив сидящих, раздвинув темные стены деревьев, вздымая красные языки, похожие на ковыли, вслед за кольцами дыма к темному, усыпанному звездами небу.

Хуснутдин лег на спину и подложил руки под голову. Звезды подмигивали ему, особенно одна, больше и ярче других,

и Хуснутдин улыбался. В траве, как бы сожалея о уходящем лете, неугомонно верещали кузнечики. Выше, у реки, тревожно кричала ночная птица: «Сак! Сак, сак!»

— Эх, жизнь,— вздохнул Хуснутдин.— Кабы узнать, что там, впереди...

Налетевший ветер качнул пламя, повернул и придавил поднимающийся вверх дым, зашуршал листьями ольхи на берегу и так же внезапно стих.

— Тебе что, не нравится мой хлеб? — обиженно возразил Хажисултан.— Или жена твоя умерла? Так вздыхаешь, будто тяжелей и горше, чем у тебя, и беды не бывает...

— Я доволен тем, что аллах послал, я не об этом,— опять вздохнул Хуснутдин.— Это все птица... Все кричит свое «сак-сак», я и разволновался, мать покойную вспомнил... Она мне часто эту сказку рассказывала, знаешь?

— Ну, говори!

— Жила одна вдова с двумя сыновьями, а они все рассердились и дрались друг с другом, тогда она прокляла их и сказала: будьте птицами сак и сук, летите из родного гнезда и ищите друг друга по всему белому свету — и кричите напрасно, зовите один другого... Вот с тех пор и летают эти птицы, старший, Сак, рассказывают, умер, а младший все зовет его.— Хуснутдин приподнял голову и прислушался к голосу птицы, неумоимо взывавшей в чаще. — Слышишь? Сак-сак-сак. Мать ругала нас с братом за то, что деремса, а теперь ушел Халфетдин на службу и не вернулся, а я, как птица, все жду и жду его...

— Не дури себе голову,— Хажисултан хмыкнул.— Кто-то придумал, а ты всему веришь...

— А как же не верить, если так было и если я сам так чувствую...

Хажисултан больше не отвечал, притворился спящим, бредни Хуснутдина не занимали его, он думал о своем — о тех людях, которых он приметил еще на просеке и которые расположились на отдых где-то поблизости...

Хуснутдин подбросил еще веток в костер и, подложив под голову круглое полено, улегся под арбой и вскоре, устав, видимо, от долгой дороги и жаркого дня, тоже захрапел.

Тогда Хажисултан осторожно, боясь хрустнуть веткой, поднялся с земли, распутал фыркающую в кустах лошадь. «Тише, тише», — шептал он, поглаживая шею лошади. Он вывел ее к тропе, вскочил верхом и стал спускаться по пологому склону к реке. Перейдя брод реку, он слез, привязал лошадь в тени раскидистого тополя и, раздвигая заросли чигилия, двинулся в ту сторону, откуда, просачиваясь сквозь гущу тьмы, робко мигал огонек костра. Он скоро увидел арбу с поднятыми вверх оглоблями и в свете костра три скорчившиеся фигуры.

По-видимому, двое спали, а третий сидел, склонив голову, и дремал, полуобняв ружье. Хажисултан вынул из-за пояса топорик и, сжав зубами нож, пополз к начинающему слабеть костру. Колени его дрожали, а сердце стучало так, что стук его, казалось, должен был слышать сидящий у костра часовой. Преодолев десяток-другой шагов, Хажисултан замер, чтобы немного отдышаться, потом снова пополз, оглушаемый ударами крови в висках и тяжело, как в силке, толкавшимся сердцем. В последнюю минуту он подумал, что можно еще вернуться, но темная, не подчиняющаяся рассудку сила бросила его вперед, и он со всего размаха ударил обухом топорика караульщика. Тот свалился замертво. В два прыжка Хажисултан очутился около второго, лежавшего к костру спиной, и опустил топорик на него, и второй не вскрикнул, а лишь захрипел и вытянулся, разогнул колени. Третий проснулся, видимо разбуженный шумом, спросонок схватился за пистолет на боку, но не успел даже впиться в рукоятку, как Хажисултан занес над ним нож и воткнул его в горло. Человек слабо охнул, точно всхлипнул, и опрокинулся навзничь. . .

Хрипло дыша, Хажисултан оглядел поляну, мирно хрустевшую сеном лошадь около арбы, не торопясь обшарил карманы убитых, собрал и запихал в мешок все вещи и хотел было идти обратно, но тут слышались шаги, и он отскочил в сторону, готовый убить любого, кто появится у костра. Когда на поляне показался Хуснутдин, он спрятал топор и тоже вышел на свет.

— Зачем ты пришел сюда, кто тебя звал? — сердито крикнул он.

— Я спал, проснулся, а тебя нет, — ответил Хуснутдин. — Вот и пошел поглядеть, не случилось ли с тобой беды. — Но тут же, заметив валяющихся на траве убитых, вскрикнул и в страхе попятился.

— Стой! Куда? Ни с места! — приказал Хажисултан и, видя, что Хуснутдин не двигается, добавил: — Не отходи от меня, а то и сам умрешь! Видно, воры, что этих убили, здесь неподалеку. . .

Хуснутдин узнал среди убитых кассира, который часто хаживал в гости к Хажисултану и еще позавчера останавливался проездом в байском доме.

— Вишь, как получилось, — сказал он, стараясь не глядеть на убитого. — И смеялся, и водку пил еще совсем недавно, а сегодня уже сырая земля ему постелью стала. . . Надо скорее сказать людям. . . Идем, хозяин, а то и вправду, может, близко они ходят!

— Не твое это дело! — грубо оборвал его Хажисултан. — В тюрьму захотел? В городе разбираться не станут, кто убил да когда, возьмут и посадят за решетку! Что тогда будет делать твоя жена, чем прокормятся дети? Об этом лучше подумай да

живее поворачивайся, надо еще эти мешки к нашей арбе отнести!..

Они наскоро запрягли лошадь и, не дожидаясь рассвета, поехали прочь от реки. Хажисултан сам правил лошастью. Он долго пеглял по лесу, замечая следы, и наконец выбрался к старым приискам. Там, в заброшенном шурфе, закопали они мешки и одежду Хажисултана, забрызганную кровью.

— Надо спрятать от воров, — объяснял Хажисултан, когда они возвращались кружным путем обратно в селение. — К себе в дом я не могу возить деньги, запятнанные кровью... Вдруг это приносит несчастье?

Хуснутдин молчал и не глядел на хозяина, сидя в арбе прямо, покачивался в такт лошадиной рыси, дергал изредка поводья. Смуглое лицо его было непроницаемо, как маска, а Хажисултан с тревогой вглядывался в него. Утром они остановились, чтобы выпить чаю. Хажисултан опять достал из мешка бутылку с водкой и, выпив, вновь наполнил чашку для Хуснутдина. Наливая ему, он незаметно открыл перстень на среднем пальце правой руки и высыпал порошок из него в чашку.

— На выпей!

— Мне не хочется... — пробормотал Хуснутдин.

— Пей, тебе говорят! Или захотел лишиться работы в моем доме? — сдвинул брови Хажисултан.

Хуснутдин опрокинул чашку в рот. Самогон обжег ему горло, на минуту ему показалось, что питье горше, чем обычно. «От бессонной ночи», — подумал он и, отерев губы рукавом, поставил чашку на землю.

Выпив чай, запрягли и выехали на дорогу. Хажисултан внимательно присматривался к работнику. «Неужели не подействовало? — думал он. — Там же на троих хватило бы!» Но лицо Хуснутдина было все так же непроницаемо. Только перед въездом в деревню он внезапно побледнел, выпустил из рук поводья и схватился за живот. Когда они подъезжали к воротам Хажисултана, Хуснутдин уже совсем обессилел. Во дворе к арбе подбежала Сайдеямал. Хажисултан бросил ей поводья.

— Пришлось вернуться. Видишь, муж твой заболел в дороге? И зачем я взял его с собой?

Несколько дней он почти не выходил со двора, прислушиваясь к тому, что говорят люди, и когда наконец услышал о смерти Хуснутдина, облегченно вздохнул. Однако совершенно спокойным оставаться он не мог, ни на минуту страх не оставлял его. «Сказал Хуснутдин жене или не сказал?» — эта мысль не давала ему покоя. Казалось, не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра из города приедут люди в форме и увезут его в тюрьму. Он стал разговаривать во сне и, боясь проговориться, выгнал жен в другую комнату, даже во сне мерещились ему всякие ужасы — то вставал, хрипя, с земли

убитый им кассир, то топор сам собой начинал летать за ним по комнате, ударяясь о стены... Не выдержав напряжения, Хажисултан свалился в лихорадке, провалился в жару около месяца...

Болезнь излечила его от навязчивого, липкого страха, но после пынешнего разговора с Сайдеямал бая снова охватили сомнения. Устав от томительных мыслей и бесполезной ходьбы из угла в угол, Хажисултан прилег на подушки, закрыл глаза...

Внезапно в сенях послышался стук кованых сапог и громкий разговор. Увидев в дверях незнакомого полицейского офицера, Хажисултан чуть не лишился чувств. Рот его свело судорогой, холодный пот выступил на лбу и спине, левую руку задергало. Стараясь успокоиться и принять нормальный вид, он поднес к губам чашку с бузой, однако не мог выпить и капли. Зубы стучали о край чашки, а руки не слушались и дрожали, расплескивая водку на штаны и одеяло.

Заикаясь, он предложил офицеру пройти в комнаты, но так и не смог подать ему руки. Полицейский удивленно посмотрел на бледное лицо хозяина.

— Ты, видать, заболел, папаша,—сказал он.— А я к тебе по важному делу.

«Пропал,—мелькнуло в голове Хажисултана.— О, ч-черт, и зачем я сделал все это, хватило бы и десяти лошадей! Дурак, продал свое спокойствие! Любую цену дал бы за него сейчас...» Он приготовился рассказать обо всем, что так тщательно скрывал все эти годы, опустил голову и выговорил с трудом:

— Я виноват...

— Что ты, папаша, никто не виноват,—перебил его офицер и подмигнул.— С женами только так и надо обращаться, иначе бояться не будут... А не будут бояться, того и гляди, совсем распустятся... В этом деле я уже разобрался и с муллой поговорил, так что все законно, по шариату вашему. Старик-то скончался? Вот шайтан! Впрочем, и так уже пожил долго на свете, покоитил небо...— Офицер мигнул шедшему с ним уряднику, урядник вышел, а офицер покрутил усы, топорщившиеся над верхней губой, и подсел к хозяину.— Я к тебе, папаша, совсем по другому делу... Деньги, видишь ли, нужны, не одолжишь мне рублей триста пятьдесят?

— И только? Больше ничего?

— А чего ж еще? — офицер покрутил ус.

Хажисултан вздохнул, как будто гора с плеч свалилась. Сразу перестали дрожать руки, на щеках появился румянец. Он хлопнул офицера по плечу:

— Триста пятьдесят, говоришь, а? Двадцать! И ни копейки больше. И то только ради того, что ты человек хороший... Эй, чаю!

Хажисултан оставил офицера у себя и пьянствовал с ним два дня подряд, каждый день радуясь и благодаря аллаха за счастливое спасение. На третий день он посадил еле стоящего на ногах полицейского в тарантас и, проводив его до Кэжэнского завода, вернулся обратно.

XIV.

Между горами Карматау, Кэзум и Бишитэк, там, где сливаются реки Кэжэн и Юргашты, лежит сельцо Сакмаево. Слева, по краю крутого яра, извиваясь, журча и капризная, как молодая красавица, которую силой выдают замуж, течет чистая, прозрачная Кэжэн. А справа, с высоких гор, размытая на пути глинистые глыбы, проходя через сотни старательских вальгердов¹ и желобов, устало катит воды мутная, желтая Юргашты; она идет на поклон к Кэжэн, пытается схватить ее за серебристые рукава, за голубые косы. Вот догнала Юргашты капризную невесту, прижала к себе, и они уже вместе текут на запад, неторопливо, спокойно и ясно, как добрые супруги, но это уже дальше, а здесь, у подножия Кэзум, вьется улица Арьяк, а правее — улица Кызыр, которую потихоньку зовут в деревне «печеный зад». И виной этому странному прозвищу стал Хажисултан-бай.

Давно, когда был он еще не так стар, рассердился Хажисултан на своих жен и, желая испугать их, сел в чупал, прямо на горящие угли. Но жены вместо того, чтобы взять его за руки и стащить с углей, как обычно, закрыли дверь и ушли! Целую неделю лежал Хажисултан в постели и криком кричал от боли, а когда встал, задал своим женам такую трепку, что и сейчас еще, наверное, помнят! А улицу так и зовут с тех пор — «печеный зад»...

Став настоящим богачом, Хажисултан не уехал в город, как делали это другие, а остался там, где жили его отец и дед, на земле предков, но, чтобы показать свою власть и могущество, выстроил новый дом, по тем временам — целые хоромы, в три комнаты, прорубил в доме окна: одно окно в сторону Мекки, чтобы видна была мечеть, а два других — во двор, по левую сторону от ворот поставил каменную лавку с железными дверями и ставнями, чуть подальше — большую клеть, а напротив — сарай для скота. Позаботился и о двух взрослых своих сыновьях, каждому подарил по дому. Только самого любимого, младшего сына оставил при себе, отдал ему в своем доме комнату, а еще одну — трем своим женам.

¹ Приспособление для промывки песка.

Однако, показав всей деревне, как он богат, Хажисултан не был вполне доволен своим положением. «У всех по пять, шесть детей, а у меня, богача, всего три сына! — думал он. — Разве будет меня уважать и почитать так, как это подобает, если у меня меньше сыновей, чем у последнего бедняка в деревне?»

Старшая жена, которую сватали Хажисултану еще его родители, подарила ему двух сыновей, средняя — одного, а третья, Гульмадина, и одного не сумела родить. Ей было всего двадцать пять лет, но Хажисултан даже и за жену ее не считал.

— Что ты за жена? — говорил он. — Жена должна родить мужу десять сыновей, если хочет, чтобы ее уважали! А ты, бесплодная, мне не нужна. Ты как пустой кошелёк, в котором никогда не будет даже мелкой монеты, — зачем мне такой? Нет, теперь я женюсь на дочери бедняка, уж она-то постарается родить мне по крайней мере четырех сыновей!

Теперь Хажисултан не заговаривал больше о плодovitости бедняков, но всю злобу, закипавшую в нем при мысли о неудачной женитьбе, срывал на других женах. Проводив офицера, он не раздеваясь плюхнулся на подушки и тут же уснул, захрапав на весь дом. Проснулся он только к обеду, раздраженный и разбитый, с ломотой в пояснице, неприятным вкусом во рту и тяжелой от ночной попойки головой. Он облизнул сухие, горячие губы кончиком языка, потянулся за чашкой и, не найдя ее, крикнул:

— Жены! Эй! Да что вы, провалились, что ли?

В тот же миг все три женщины испуганно встали на пороге. Старшая, Хуппиниса, подошла ближе:

— Что, отец?

— Дура! Не видишь, что ли? — Хажисултан приподнял ногу.

Женщины, спеша, стали снимать с него обувь, но, видно, слишком поторопились, потянули впопыхах за обе ноги, и грузное, обмякшее тело Хажисултана наполовину съехало с подушек. Хажисултан забултыхал ногами, побагровел и, схватив за волосы Гульмадину, пнул ее ногой в живот.

— Разжирили, кобылы бесплодные! На убой, что ли, я вас держу? Даже снять обувь не можете, дармоедки! Не радуйтесь, все равно возьму четвертую жену, и пятую, и шестую! Пошли вон!

Но лишь только жены скрылись за дверью, он опять закричал:

— Эй, куда пошли, тупоголовые? Не видите разве, что я голоден? Есть мне!

Хуппиниса принесла кипящий, дышащий паром самовар, который с утра стоял у нее наготове, в женской половине. Хуппиниса лучше других изучила характер мужа и всегда уга-

дывала, что ему понадобится. Она была старшей женой Хажисултана, и первые годы они жили хорошо и дружно. Хуппиниса ухаживала за свекром и свекровью, хлопотала по дому, всегда была приветлива и добра. Но это продолжалось недолго. Родители Хажисултана умерли, и в доме все изменилось. С каждым днем Хажисултан становился все более мрачным, все чаще грубил ей, напивался, в одиночестве сидя на подушках, и однажды, несмотря на крики и мольбы жены, взял с подстилки двух пушистых, мягких, дрожащих, слепых еще котят и бросил в горящий чувал. С тех пор Хуппиниса покорно делала все, что он велел, не покладая рук работала по хозяйству, ухаживала за ним — снимала обувь, когда он, пьяный и тяжелый, без сил валился на постель, приходя неизвестно откуда в позднее ночное время, мыла ему ноги теплой водой, вытирала мягким полотенцем, без ропота приняла его женитьбу на второй, а потом и на третьей жене, но делала все это как бы во сне, одними руками, а не сердцем, и точно так же все оскорбительные его слова и побои проходили мимо нее, оставляя синяки на теле, но не в душе. Когда Хажисултана не было дома, в редкие свободные минуты она старалась уединиться и часто сидела за сараем, между забором и сложенными в поленницу дровами, в тоскливом недоумении спрашивала себя, на что уходит ее жизнь. Где-то легкое, понятное, простое и милое сердцу ощущение, которое раньше переполняло ее до краев, морщило в улыбке губы, радостно отзывалось в сердце и шуршаньем листьев над головой, и криком птиц, и спокойным, вечным движением плывущей вдаль Кэжэн, и сухими, желтыми ладонями старенькой матери, — всей ее жизнью, всем молодым, упругим дыханием, каждой жилкой в теле! За сараем остро пахло смолой и сырым деревом, тень старой березы лежала у ног, покорно и умиротворенно, как верная собака, небо над головой было пронзительно сине и ярко до боли в глазах, и Хуппиниса плакала, не отирая слез, иногда даже не замечая их, и томило душу от горького сожаления об ушедшей молодости и радости, легкого дыхания счастья. Она прижимала руки к груди и вздыхала глубоко, так, что воздух, казалось, заполнял ее всю и она вдруг становилась легче, но тут кто-нибудь снова кричал: «Хуппиниса-инэй! Эй, хозяйка!» — и она вставала, поднималась медленно с травы, как бы опять засыпая, замораживаясь, и шла во двор, в дом, и начиналась жизнь без воли сердца, от веретена к побоям, от самовара к тканью, от изнуряющей работы к нарам, в подушку головой, в подушку, на которой никогда не снились ей сны — ни плохие, ни хорошие. Иногда, правда, ей хотелось что-то сделать, крикнуть во весь голос, убежать, даже ударить мужа, но Хуппиниса успокаивала себя тем, что это шайтан схватил ее за язык и шепчет на ухо худые мысли, ведь сказано в шарияте:

«Противоречить мужу — дело шайтана!» Вот и сейчас она покорно поставила самовар у ног мужа и встала рядом, готовая услужить ему, — жена не может сесть, пока муж не насытится. . .

Хажисултан надел тюбетейку и подсел ближе к скатерти. Не глядя на жену, он произнес шепотом «бисмилла» и стал пить с блюдечка, громко всасывая чай толстыми, вытянутыми в трубочку губами, кряхтя и отдуваясь. Хуппиниса видела его шею, побагровевшую от натуги, и оплывшие, жирно блестящие глаза, и две глубокие, ленивые, в щелочках, как у кота, складки на щеках, и покрытую капельками пота круглую лысину, в которой отражалось, перекатываясь, пятно солнечного света. . .

«Неужели и я стала такой же безобразной? — подумала Хуппиниса. — Нужно бы у Гульмадины зеркальце попросить посмотреть. . .» При ярком дневном свете Хажисултан и в самом деле выглядел настолько отталкивающе, что хотелось отвернуться от него, и неожиданно Хуппинисе вспомнилось, каким он был раньше, тогда, в ее ушедшей, далекой, невозвратной молодости, каким свежим было его лицо, как лукаво блестяли иногда глаза, как сидел на нем новый, только что спитый камзол. . . Воспоминания, одно за другим, теснились в голове, обгоняя друг друга, — и Хуппиниса вдруг ясно, как будто это было вчера, увидела свою шумную свадьбу, и первую ночь, когда они остались вдвоем, и тишину, наступившую после ухода гостей. . . «Раньше он не был такой скупой, — подумала Хуппиниса. — И расходы по свадьбе взял на себя, и калым заплатил большой, и на выкуп не скупился, всех одарил, хотя и не был так богат, ребятишкам — деньги, а девочкам — браслеты и сережки. . .» Она вспомнила солнечный, такой же, как сегодня, день, когда должна была переехать от родителей в дом мужа, и подружек, что увели ее в березняк, чтобы получить побольше подарков от жениха, их молодые смеющиеся лица, и влажный весенний воздух, и облака, белоснежными стадами кочующие в голубом небе, и скоро приблизившихся к березняку парней во главе с Хажисултаном, и как он уговаривал: «Ну хватит, не мучайте! Сколько стоит ваш аркан?» А потом — его сильные, загорелые руки, которые вместе с арканом поднимают ее в березняке, к ветвям и небу, так что она плывет над землей, и опускают на мягкую кошму тарантаса, и кто-то из подруг кричит: «Будь счастлива!», а потом все бегут за тарантасом, а Хажисултан скачет впереди на стройном вороном жеребце, и пыль летит из-под копыт жеребца на тарантас, на кошму, на свадебное платье. . .

Прежде чем войти в дом, Хуппиниса разорвала материю, натянутую у порога и встала на подушку, а войдя, склонила колени перед свекром и свекровью и стала раздавать золовкам нитки, колечки и серебряные монеты для украшения, а брать-

ям мужа — кисеты. Дети поменьше, толпясь вокруг нее, кричали, протягивая руки: «И мне, енга! Ты меня забыла!», а потом, по обычаю, передававшемуся из поколения в поколение, с котомыслом и ведрами повели невесту к реке за водой. Дойдя до Кэжэн с берегами, заросшими ольхой и черемухой, Хуппиниса бросила в воду монеты и прошептала: «Прими от меня, аллах:..» Шедшие следом ребятишки, в чем были, с визгом и шумом полезли в воду...

— Что глазеешь, окаменела, что ли? Налей, чаю!

Хуппиниса вздрогнула от громкого окрика, засуетилась, захлопотала у самовара, наливая чай, а руки ее почему-то дрожали, и внутри, в груди, тоже дрожало что-то — неотвязно, щемяще, тоскливо... Хажисултан поймал чайнику, плавающую у края чашки, и, разжевав ее, положил под мышку.

— Добро и хлеб будут, пусть пошлет аллах! Уфф! Напился... Долго же вы меня морили, прежде чем подать мне еду! У, бесплодные, и покормить толком не умеете, все с жиру, жиру беситесь! — Он опрокинул чашку вверх дном, чашка запрыгала и звякнула.

— Отец, чашка «пей-пей» говорит, может, налить еще? — спросила Хуппиниса.

— Я не гость здесь, а хозяин! Сам знаю, пить мне или не пить... Мой дом, мой чай.

Хуппиниса, стараясь не шуметь, собрала посуду и вышла на женскую половину. Молодые жены тотчас подошли к ней.

— Ну как, не очень злой?

— Притих вроде. Ну, давайте попьем быстренько чаю — и за работу, а то слишком много вы на меня навалили — и шить, и ткать, и обед готовить... Стара уж стала, не успеваю, и Сайдеямал так много, как раньше, не может делать, хоть бы вы что помогли!

— Нет уж, ты старшая жена, ты и делай, — передернула плечами Шахарбану.

Молодые жены вынесли перину и уселись во дворе, в тени, а Хуппиниса поправила огонь под казаном, где варилось мясо, и, взяв подойник, пошла доить корову. Горечь не уходила, перехватывала горло жгутом, и Хуппинисе хотелось сесть на землю и заплакать навзрыд, не обращая внимания на чужих, в голос, как плачут маленькие дети...

XV

Купив у Нигматуллы золото, Шарифулла был вне себя от счастья. В тот же день он побежал к соседу, чтобы поделиться с ним своей радостью. «Только чтобы никто не знал, — шепотом предупредил он. — Иначе... ты знаешь, какие порядки

«в семье Хажигали!» Но сосед не удержался, и через неделю новость узнали все. Слухи о том, что Шарифулла почти за бесценок приобрел золото, вспыхивали то здесь, то там, и люди даже здоровались с Шарифуллой не так, как раньше, за просто и дружески, а склоняли головы почтительно, как перед баем.

Слыша разговоры о том, что Шарифулла разбогател, Нигматулла встревожился. «Может, и вправду это золото? — думал он. — Я ведь нашел его около шахты... Не хватало только еще самого себя окопачить!» И, недолго думая, решил еще раз зайти к Шарифулле.

Поеживаясь от утреннего мороза, он прошел мимо мечети, подпрыгивая и поддавая ногой мелкие камешки, мимо большого дуба, корни которого были усыпаны упавшими, гладкими, продолговатыми шариками желудей, и наконец, чувствуя, как околенили ноги, вошел во двор знакомого дома. Стукнув два раза в дверь, он решительно отворил ее и шагнул в сени. Звякнул в ведре ковшик, в доме послышалось шлепанье босых ног, зазвенели ударяющиеся друг об друга монеты. «За занавеску прячется», — подумал Нигматулла и толкнул вторую дверь.

Шарифулла с опухшим, заспанным лицом сидел на нарах, опустив ноги вниз, и неторопливо натягивал каты. Увидев Нигматуллу, он улыбнулся.

— Заходи, заходи, гостем будешь, — ласково сказал он. — Ты по делу или просто так?

— По делу, — буркнул Нигматулла.

Шарифулла повернулся к занавеске, за которой слышалась тихая возня и звяканье монет:

— Эй, мать! Чаю нам поставь, что ты так долго? Помни, когда муж спустил одну ногу на пол, жена уже должна быть одета с ног до головы, иначе не будет в доме порядка!

— Некогда мне с тобой чай распивать, — Нигматулла полез в карман и достал туго набитый кисет. — Вот твои деньги. Гони обратно самородок!

— Боже! Ты спятил, что ли? — Шарифулла выпустил из рук каты, и они мягко шлепнулись на пол, глаза его закосили так, что казалось, вот-вот сойдутся у переносицы.

— Конечно, спятил, если отдал тебе столько золота за бесценок! Гони обратно, у меня другой покупатель есть, пожирней тебя!

— Ну уж нет, — Шарифулла поднял каты с пола и опять стал натягивать их. — Так дела не делаются. Ты продал — я купил, какие теперь могут быть разговоры. Да и золота твоего у меня больше нету, я уже продал его... — Он наконец обулся и, встав, притопнул ногой. — Так что зря ты ходил по такому морозу...

— Это мы сейчас посмотрим, зря или не зря,— спокойно отозвался Нигматулла и, подойдя к нарам, крепко схватил Шарифулла за горло обеими руками.— Ну? Где золото?

— Я продал, продал! — прохрипел Шарифулла, лицо его стало красным от натуги. Он силился оторвать от себя руки Нигматуллы, но тот сжимал ему горло все теснее и теснее. Из-за занавески выбежала одетая Хауда. Не смея вмешиваться, она, дрожа, стояла у стены, глядя испуганными округлившимися глазами и теребя в руках цветастый передник.

— Я скажу! Отпусти... — выдавил Шарифулла.

Нигматулла разжал руки и ухмыльнулся:

— То-то! Ну, давай скорее, что глазна-то выкатил? Думаешь, я тут до вечера сидеть буду?

— Постой, кустым, не спеши, может, миром уладим? — сказал Шарифулла, держась рукой за покрасневшее горло.— Сколько тебе обещали добавить за самородок?

— Перекупить хочешь? — Нигматулла почесал подбородок и задумался. «Черт, а если это не золото? — мелькнуло у него в голове.— Ладно, надо вытянуть из скряги все, что потянется, а то как бы все же себя не надуть!»

Он присел на нары, заложил ногу на ногу и, свернув сигарку, задымил спокойно и неторопливо.

— Сам посуди, я тебе отдал за половину цены, а мне предлагают столько, сколько дал ты, и еще половину этого... — начал он.— Ну, конечно, у тебя таких денег нет... Но договориться можно. Не обязательно платить деньгами, можем поменяться. Ну, к примеру, если ты отдашь мне еще лошадь, то мы с тобой будем в расчете... Впрочем, нет, — сказал он тут же, заметив, что при слове «лошадь» Шарифулла беспокойно заерзал на нарах.— Лошадь — это мало. Конечно, ты мне не чужой человек, хоть и родство у нас дальнее, я должен с этим считаться... Не знаю, как и быть! Там мне обещали отдать деньгами...

— Но ведь мы и в самом деле не чужие тебе. Пойми, если я отдам тебе лошадь, у меня почти ничего не останется... — жалобно заметил Шарифулла.

— Ну ладно,— согласился Нигматулла.— Так и быть. Идем за лошадью, только выбирать я сам буду.

Нигматулла выбрал молодую гнедую кобылу, которая недавно ожеребилась. Похлопывая лошадь по гладкой, холеной шее, он вывел ее из сарая и сел верхом. Шарифулла, кося глазами, семенил за ним следом. Сердце его разрывалось от горя.

— Ну, прощай, что ли?

— погоди, дай с ней попрощаюсь,— Шарифулла подошел к лошади и обнял ее за шею. Кобыла, как бы понимая, что происходит, тихо заржала.

— Ишь ты, видать, ты свою лошадь больше, чем жену, любишь. — Нигматулла отбросил в сторону окурок и поднял над головой прут: — Хватит, все равно уже не твоя! Будь здоров, мы в расчете!

Он хлестнул прутом, лошадь с места взяла галопом, и скоро они скрылись из виду. Шарифулла постоял еще немного на дворе, прислушиваясь к стуку копыт, и, вздыхая, пошел в дом. «Надо скорее продать самородок, тогда сразу много лошадей куплю, еще лучше этой», — подумал он.

У нар уже стоял кипевший самовар. Струйка пара, вырвавшись, поднималась к потолку. Хауда хлопотала у скатерти, расставляя посуду.

— Не суетись, мать, — сказал Шарифулла, — я в контору иду, не до чая тут. . .

Он забыл о своих годах, бежал в контору, как мальчишка, вне себя от радости.

Открыв скрипучую дверь на толстой железной петле, Шарифулла увидел небольшую печурку в углу у кассира, сидевшего за столом у окна. На столе аккуратно стопками лежали бумаги и стояла чернильница на черной каменной подставке. Кассир, не поднимая головы от стола, писал что-то, он даже не взглянул на вошедшего.

— Я принес золото, — громко сказал Шарифулла.

Кассир поднял голову, мельком оглядел его, молча взял один кусок и поднес его к раскаленной докрасна железной печке. Ртуть брызнула из камня на огонь. Все так же молча кассир опустил кусок в банку с какой-то жидкостью, тут же на поверхности камня выступил зеленоватый, немного похожий на плесень налет. Кассир поднес банку к глазам, повертел ее в руках и спросил, не глядя на Шарифуллу:

— Где нашел?

— Купил.

— Можешь выбросить. — Кассир вынул камень из кислоты, дал его Шарифулле и, сев за стол, опять углубился в бумаги.

— Как выбросить?! — наконец обрел дар речи Шарифулла.

— Очень просто — взять и выбросить. Зачем тебе медь?

— Что ты, агай, это настоящее золото, я купил его за такую цену! — заволновался Шарифулла. — Если не хочешь дать настоящую цену, отдай хоть то, что я заплатил. . .

— Я же говорю: тебе ясным языком — это не золото, а медь, понял? Нам золото нужно, мы золото покупаем, слышишь? А ты сюда зачем пришел со своей медью? Обмануть меня хотел? Иди отсюда, пока цел, а то я сейчас урядника позову, он тебе пропишет золото! — вскипел кассир. — В тюрьму захотел? А ну, вон отсюда, голытьба! — Он осторожно обмакнул перо в чернильницу и застрочил по бумаге,

Шарифулла постоял немного и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Голова его кружилась, он чувствовал, что вот-вот упадет. На морозе он очнулся и, быстро шагая, направился к дому Хажигали. Хажигали седлал лошадь во дворе. Подойдя сзади, Шарифулла дернул его за рукав.

— Что же это творит твой сын? — начал он, не здороваясь.

— А что такое? — обернувшись, спросил Хажигали. Шарифулла поежился под его колючим недобрым взглядом.

— Он продал мне за большую цену золото, а оказалось, что это медь!

— Ну и что? — Хажигали затянул правую подпругу и зашел к лошади с другой стороны.

— Как что? Ведь это нехорошо! — растерянно проговорил Шарифулла.

— Ну и что? — повторил Хажигали, затянув вторую подпругу и беря лошадь под уздцы.

— Как что? — закричал Шарифулла. — Я тебе говорю, что твой сын обманывает людей, а ты и бровью не поведешь! Разве ведут себя так мусульмане, да еще родня!

Хажигали прыгнул в седло и посмотрел сверху на Шарифулла, как бы оценивая его, затем покачал головой и тронул с места шагом. Шарифулла вцепился в его ногу.

— Поймай! Поймай, ты куда? Почему ты мне ничего не сказал?

— А что я должен тебе сказать? — усмехнулся Хажигали. — Если ты такой дурак, что покупаешь медь вместо золота, при чем тут я? А потом еще неизвестно, кто кого обманул... Откуда я знаю, что ты не врешь? Может, ты пришел наговаривать на сына, а я всему должен верить?

— Хауда тебе подтвердит, Хауда! — горячо забормотал Шарифулла.

— Хауда, Хауда! Что мне твоя Хауда? Твои дела, ты в них и разбирайся! Чего ты ко мне пристал? Пусти ногу! — разозлился Хажигали.

— Но как же так? — чуть не плача, вопил Шарифулла.

— А вот так! — сказал Хажигали и хлестнул коня.

Шарифулла выпустил его ногу, но не успел Хажигали выехать на дорогу, как Шарифулла крикнул вслед, не в силах сдержать кипевшую в нем злобу:

— Вор проклятый! И сын твой вор! Гореть тебе в аду, шайтан неверный!

Хажигали быстро повернул обратно, и лошадиная морда внезапно нос к носу появилась у лица Шарифуллы. Хажигали наклонился.

— Пожалеешь! — свистящим шепотом проговорил он, и в следующее мгновение конь уже мчался по дороге, взрывая копытами мерзлую землю. Хажигали не оглядывался, он как бы

врос в седло, и только видно было, как трепещут рукава его рубахи...

Шарифулла обхватил голову руками. Слезы градом катились по его лицу. Шатаясь, как пьяный, пришел он домой и со стоном повалился на нары.

— Что с тобой? Скажи же! — трясла его за плечи Хауда.

Но Шарифулла только стонал и бормотал в промежутках между стонами:

— Зачем я сказал, зачем? Все, теперь все... Все конечно, Хауда! Я хочу умереть...

На другой же день Шарифулла пожинал плоды своей неосторожности — упала в шахту и подохла единственная его корова, а в огороде между грядками Хауда нашла внутренности и головы кобылы и жеребенка, — Хажигали отомстил.

Не зная, что делать, Шарифулла побежал к старосте. Староста послал его к уряднику. Важно крутя усы, урядник спросил его:

— Кто видел Хажигали? Свидетели есть? Учти, жена в свидетели не годится...

— Нет... — потерянно пробормотал Шарифулла.

— Ну, тогда это дело трудное, много денег возьмет! — И урядник заломил такую цену, что у Шарифуллы даже волосы на голове дыбом встали. Он только покачал головой.

— Тогда нечего и говорить! — презрительно скривил губы урядник. — Лишь от дела отрываешь!

От урядника Шарифулла побежал к Хажисултану-баю. «Все-таки свой, мусульманин, и слово его закон, — думал Шарифулла. — Может, поможет приструнить нечестивцев...» По мере приближения к байскому дому он все замедлял и замедлял шаги, наконец старательно вытер ноги о лежащий у ворот клочок сена, шмыгнул носом и взялся за ручку. Во дворе тут же залаяла собака, слышно было, как она прыгает, ударяя в ворота лапами. Шарифулла в страхе отскочил и хотел было повернуть назад, но тут во дворе скрипнули двери, и женский голос спросил:

— Кто там ходит, собак дразнит?

— Это я, ваш сват, Шарифулла...

Женщина прикрикнула на собаку, которая не переставала злобно лаять и рычать:

— Хакколак, Хакколак, иди сюда! На-на-на! — Собака притихла. — Я держу ее, иди! — крикнула женщина.

Поглядывая на собаку, которая, рыча, ела принесенный хозяйкой суп, Шарифулла прошел по двору и у дверей чуть не столкнулся с хозяином. Не отвечая на приветствие, Хажисултан подошел к Гульмадине и с размаху залепил ей оплеуху.

— Дура! Где твоя голова, кобыла бесхвостая! Кто же собаке из такой чашки дает? Чтоб этой чашки я больше в доме не

видел! Только и знаешь, что пайтана в дом призывать, проклятая!

Гульмадина стояла, низко опустив голову, с горевшей щекой. Собака подняла морду, облизнулась, вытащила из чашки большую кость и, захватив ее передними лапами, стала яростно грызть. Шарифулла, вспомнив, как давно он не ел мяса, глотнул слюну и облизал сухие, потрескавшиеся от мороза губы. Он подумал о том, что лишился добра, которое копил годами, отказывая себе в еде и одежде, и у него тут же тягуче и нудно засосало под ложечкой.

— Я к тебе за советом пришел,—робко начал Шарифулла. — Не откажи помочь...

— Ну, не тани! Чего там? — нетерпеливо передернул плечами Хажисултан.

— Эх, сват, пропал я, совсем пропал, будь проклят этот Нигматулла! — быстро затараторил Шарифулла. — Надул он меня, все отнял, что я имел! Помогли, сват, вернуть добро, на тебя вся надежда! Разве не слышал? Он мне медь вместо золота продал. А Хажигали кобылу с жеребенком зарезал, только головы оставил! И корову в шахту сбросил, будто она сама провалилась!.. Что мне делать?

— Меньше языком трепи,—сердито сказал бай. — Не мое это дело, к старосте иди!

— Ходил, ходил, и к уряднику ходил!..

— И к уряднику? Ничего себе, хорош! Ходит туда, куда и нога мусульманина не ступала! И после этого ты еще у меня совета просишь? На своего брата, мусульманина, жаловаться! Ты б еще к хозяину прииска пошел, косою дурак! — Хажисултан махнул рукой и вошел в дом, хлопнув дверью...

Ссутулившись и часто шмыгая носом, Шарифулла шел по дороге. Он уже подошел к своему дому, как новая мысль одолела его. «Почему и в самом деле не сходить к хозяину прииска? — подумал он. — Мулла, конечно, скажет, что грех... А что делать?» Он постоял у ворот, переминаясь с ноги на ногу, и повернул к прииску. Новая и последняя надежда заставляла сильнее биться сердце, дорога сама бежала под ногами. Поднимаясь в гору, Шарифулла замедлил шаг и огляделся. Оголившийся лес почти просвечивался, сквозь ветви далеко были видны красные глянцевиые плоды шиповника и свешивающиеся большими кистями грозды рябины, над которой кружились запоздалые дрозды. Зазвенел, переливая в горле высокую ноту, свиристель, и в ответ ему бархатным голосом свистнул снегирь. Кое-где еще стояли зеленые дубы, на вершине горы гордо тянулись вверх прямые, как стрелы, сосны. Под ногами щедро лежала листва — красные острые листья осины, удлиненные золотисто-желтые листья березы, вишневые

листья черемухи и оранжевые листья клена, похожие на раскрытые человеческие ладони...

Дойдя до вершины, Шарифулла пошел под гору быстрее, то и дело поглядывая, сколько еще осталось до прииска. Прииск виднелся вдаль на возвышенности, за ним без конца и края тянулся лес, в сизой дымке внизу, у Юргашты, видны были полуразрушенные балаганы и казармы, сотни желтоватых бугорков вырытой земли, разбросанных среди пней по всему течению реки...

У первого же встречного Шарифулла спросил, как ему найти Галиахмета, и был совершенно огорочен, узнав, что тот в городе.

— К управляющему сходи, — посоветовал ему старатель. — Тоже шишка. Сегодня как раз будний день, он наверняка в конторе... Он даже к семье только по выходным ездит, говорит — «служу казне!..». Иди, иди, может и получится что...

Управляющий и в самом деле находился в конторе. Он сидел за столом и подсчитывал, что может у него получиться, если он найдет золотое место и успеет купить землю раньше Галиахмета. Все годы, пока работал на Юргаштинском прииске, Аркадий Васильевич только и мечтал о том, как он сам завладеет прииском. Теперь его мечты наконец обрели почву, — Гайзулла вернулся в Сакмаево, и можно было начинать действовать.

Управляющий поднял голову от бумаг. Цифры получались огромные, никогда еще такая добыча не встречалась у него на пути. «Господи, — думал Аркадий Васильевич, — если такие самородки на поверхности валяются, что же там внутри? Только бы не перехватили!»

В этот момент и постучался к нему Шарифулла.

Управляющий сунул бумагу в стол и повернулся к вошедшему:

— Ну, с чем пришел?

Вид управляющего смутил Шарифуллу — простое платье, на улице от старателя не отличил бы, только вот стекла на носу... Шарифулла не знал, что Аркадий Васильевич всегда одевался на прииске просто и старался в одно и то же время и угодить баю своей исполнительностью, и быть со старателями запанибрата. На прииске многие считали его «своим человеком», не зная, что Аркадий Васильевич действует умело и скрытно, всегда только через своих помощников, и, скрываясь даже перед ними, говорит, разводя руками и делая вид, что он тут ни при чем: «Что делать, таков приказ! Не я его придумал; а Галиахмет-бай» — и таким образом притесняет старателей; может быть, даже больше, чем сам Галиахмет, оставаясь в то же время как бы в стороне. Тактику эту Аркадий Васильевич выработал еще в те времена, когда работал на Кэжэнском заво-

де, и с тех пор придерживался ее всегда, — не кричал на рабочих, старался каждому сказать приветливое слово, поговорить по душам...

Шарифулла откашлялся.

— С просьбой, начальник, обокрали меня...

— Ну-ну...

— Медь вместо золота продали!

— Эх, голуба, да чем же я тебе в таком деле помогу? Тебе с этим в город надо, в полицию... У меня ж и прав-то никаких нету, я здесь не хозяин. Да, вот такие дела... — Аркадий Васильевич потер переносицу. — К уряднику-то ходил?

— Ходил, куда там! Урядник пятьдесят рублей просит, где я их возьму?..

— Ну и люди пошли! Помочь человеку не могут... Эх, был бы я Галиахметом-баем, живо бы тебе помог! А так — скажешь слово поперек, тут тебя и с работы — шварк! Ничем не могу помочь, голуба... Рад бы! А не могу...

Шарифулла, видя, что начальник не гонит его и говорит ласково, продолжал стоять посреди комнаты, с надеждой глядя на управляющего. Аркадий Васильевич выдвинул ящик стола и протянул ему горсть слипшихся леденцов.

— На, хоть детям снеси... Плохи твои дела, плохи. — И, кивнув головой, встал, увидев в окно, что тарантас подан.

Все еще не понимая, что разговор окончен, Шарифулла тупо следил за тем, как управляющий собирает бумаги со стола и запирает их в сейф. Даже когда Аркадий Васильевич вышел, хлопнув его по плечу, он все еще продолжал стоять посреди комнаты, но тут в контору вошла полная женщина с ведром, в котором болталась половая тряпка, и попросила Шарифуллу выйти. Крепко сжимая в кулаке липкие леденцы, он вышел во двор и огляделся.

Больше идти жаловаться было некуда.

XVI

Курээзэ раскопал всю землю около того места, где Хайретдин зарыл внутренности телки, но и следа золота не было видно, и теперь он с нетерпением ждал, когда вернется Гайзулла. Первые дни после похорон мальчик плакал не переставая, он дичился чужого человека и стремился уединиться во дворе, чтобы предаться своим горьким думам. Но через несколько дней подул с севера резкий, пронизывающий насквозь ветер; он комьями швырял наземь листву, гнал пыль по дороге, по утрам трава казалась от инея седой, как голова старого человека, и стало невозможно прятаться во дворе. «Вот, у земли тоже горе, раз она поседела, — думал мальчик, сидя у окна,

затянутого брюшиной. — Умерло лето, и земля по нему тоскует... Может, лето для земли все равно что муж или отец? Или она за меня так убивается, за то, что я сиротой остался...» От этих мыслей слезы навертывались на глаза, Гайзулла отворачивался к стене и вытирал кулаком лицо, стараясь, чтобы чужой мужчина не заметил его слез. Однажды вечером, когда Гайзулла сидел так у стены, курэзэ подошел к нему и обнял за плечи.

— Ну что, браток? Опять мокрый нос? — ласково спросил он.

— Ничего не мокрый, — сдерживаясь, проговорил мальчик, но от ласкового голоса курэзэ, от того, что похоже с отцом взял его за плечи этот большой человек с черной бородой, что-то вдруг словно растаяло в нем, и, уткнувшись в широкую грудь курэзэ, мальчик заплакал, всхлипывая и бормоча:

— Как же? Без отца? .. Я не могу... Мама и сестры голодные, а я...

Курэзэ гладил его по голове и шептал:

— Ну, что ты, не надо... Я говорю, не изводи себя. Никто не может сказать, когда придет его последний час. Думаешь, ты один такой несчастный? Все бедняки такие... Я говорю, живые не могут уйти вместе с мертвыми, значит, надо терпеть. Может, еще все переменится... Давай-ка вместе подумаем, как нам дальше жить... Я бы взял тебя с собой, да на кого тогда мать и сестер оставить? Хотя ты и так им не в помощь с такой-то ногой!

Мальчик постепенно затих у него на груди, успокоился и задремал. Курэзэ осторожно придерживал его голову, и от того ли, как тепло и доверчиво дышал, уткнувшись в него, этот чужой ему ребенок, от того ли, как обмякли во сне его худенькие беспомощные руки, горячая волна нежности вдруг поднялась к горлу. Курэзэ вспомнил разом и свое бесприютное одиночество, и скитальческую сиротскую жизнь, все беды и обиды. Гайзулла безмятежно посапывал носом, и курэзэ боялся пошевелиться, чтобы не тревожить сон мальчика, который вдруг стал ему роднее всех людей на свете.

«Сыночек», — тихо, чтобы не слышала Фатхия, прошептал курэзэ на ухо мальчику. Гайзулла вздохнул во сне и, протянув руку, обнял курэзэ за шею. «Возьму с собой, — решил курэзэ. — Все равно он здесь ничего не сделает, а матери поможем как-нибудь...» В эту минуту он и думать забыл о золоте. Горе этих простых людей и мальчик, лежавший у него на коленях, — все это стало ему таким близким, как будто случилось с его семьей. Он осторожно поднял Гайзулла, переложил его на нары и лег рядом, все еще чувствуя на груди прикосновение вихрастой мальчишеской головы с тонкой голубой жилкой на бледном виске.

Утром, чуть только выпили чай, дверь распахнулась, и в дом, запыхавшись от быстрой ходьбы, покраснев от мороза, шагнул Нигматулла. Он постоял немного, привыкая к сумраку комнаты, и, заметив курэзэ, который сидел, положив руку на плечо мальчика, громко расхохотался.

— Ой, умру от смеха! — держась руками за живот, захлебываясь, сказал он. — Так это ты и есть курэзэ? Ха-ха-ха! Ну и плут же ты, Кулсубай!.. — Видно было, что он никак не в силах остановиться, и каждый новый знак, что подавал ему курэзэ, казалось, только больше распалял его. Длинные, желтые, похожие на лошадиные, зубы Нигматуллы обнажились, глаза сощурились, и сжавшийся в комок при его появлении Гайзулла чуть не вскрикнул от страха, узнав гостя.

— Я говорю, хватит! — Яростно сжав кулаки, курэзэ вскочил с места и двинулся навстречу Нигматулле, который сразу прекратил смеяться и попятился к чувалу.

— Все, агай, все, — примирительно забормотал он. — Я же не знал, что ты курэзэ... Давай поговорим по-хорошему, дело есть. — Он подмигнул и вышел во двор. Курэзэ последовал за ним.

— Что же ты делаешь? — зло зашептал Кулсубай, как только они вышли во двор. — Ух, отрезал бы я тебе язык поганый!

— Ну, прости, не сердись, Кулсубай-агай, — оправдывался Нигматулла. — Откуда же я мог знать? А вообще-то ты для этой роли как раз подходишь! — Он оглядел курэзэ с головы до ног и прищелкнул языком: — Здорово сработано!

— Ладно, ладно, говори, чего надо! — прервал его Кулсубай. — Сам хорош! Вон Шарифулла из-за тебя, как безумный, по деревне носится — ведь всю жизнь не ел человек, копил, а ты что с ним сделал?

— Я ж не крал. — Нигматулла рассмеялся: — Я ему предлагал даже деньги назад, можно сказать, в карман совал, да он не согласился и деньги вернул, и лошадь еще дал в придачу!..

— Хоть половину верни, жалко человека...

— Какая разница? Не я, так другой его надул бы... Брось, агай, о себе лучше подумай. Я тут на днях у прииска был, там зимогоров¹ развелось — страсть! За крупинку золота глотку друг другу перегрызть готовы! Наше время такое — или ты съешь, или тебя со всеми потрохами, а я не хочу, чтобы меня надували, понял? Мне дай только развернуться — заживу, как бай, есть и пить вволю буду, жену красивую заведу, а таких, как Хажисултан, и на порог тогда не пущу, пусть, если хочет, идет ко мне в собаки, во дворе служить, на прохожих лаять! А чтоб так оно и было, знаешь, сколько мне денег надо? —

¹ Одно из прозвищ сезонных старателей.

Нигматулла помолчал.— Одному промышлять плохо, идем опять со мной, ты же здесь только зря время тратишь! А еще говорил, что Машу найти хочешь... Дело такое, пойдешь со мной — она в твоих руках.

Услышав имя жены, Кулсубай изменился в лице, слезы навернулись ему на глаза. Пока он жил у Хайретдина, горести и заботы этой семьи заставили его не думать о своих бедах, и теперь Нигматулла внезапно коснулся самого больного его места, отчего все внутри у него больно заныло.

— Покаешься, агай,— небрежно сказал Нигматулла.— Если греха боишься, тогда, конечно, ладно, сиди тут, сопли женские утирай. Мне, грешнику, такое не подходит, все равно никто не скажет, что я хороший. Говорят ведь: съел волк или не съел, а губа все равно в крови! А я не хочу, чтобы только в крови, мне бы еще барана съесть... Не хочешь идти со мной, хоть помоги тогда... Хорошо поживимся, и тебе для Машки хватит...

— Чем же я могу тебе помочь?

— Ты здесь давно живешь, они тебя знают, верят тебе, вот и расспроси мальчишку, где он золото нашел. Все равно ведь без пользы в земле лежит и лежит. А узнаешь, мы с тобой его промоем — и поровну. Конечно, мальчишка разболтать может... Да его, чтобы не трепал языком, потом в удобном месте — кэх! — и все дела! — Нигматулла провел по шее ребром ладони и сплюнул.

— Ты это что мне предлагаешь? — нахмурился Кулсубай.— Я говорю, я еще не дошел до того, чтобы на живую душу руку поднимать!

— Ишь какой ты невинный стал... Забыл, что ли, что мне рассказывал, когда за Кэжэн мясо ели? Сынка-то богатого, что хотел твою Машу взять, пристукнул, а? Смотрю я, память у тебя что-то короче стала!

Кулсубай покраснел и, опустив голову, буркнул:

— То другое дело...

— Почему же другое? Разве душа у него мертвая была, но живая? — с издевкой возразил Нигматулла.

— Ребенок, невинный еще совсем, как можно сравнивать? Да и не виноват ни в чем... И так из-за тебя калекой остался!

— А что же делать, если без этого не проживешь? Я же сказал — или ты съешь, или тебя слопают, выбора нету! Конечно, руку поднимать не обязательно, верно ты говоришь, что грех. Но разве не может он, к примеру, в шахту свалиться? У нас их тут кругом хоть пруд пруди — упал случайно, и нету его, а?

У Кулсубая защемило сердце. Он вспомнил, как мальчик заснул вчера у него на руках, как доверчиво, беззащитно прильнулся к его груди, и вскинул голову.

— Пока я жив, и он со мной жить будет! — решительно сказал он. — Я говорю, не допущу я такого! А посмеешь что-нибудь сделать, и тебя не пожалею, понял?

Нигматулла тут же принял обиженный вид.

— Что ты, агай, да я нарочно, испытать тебя хотел... Разве я зверь? Да ты сам вспомни, я же никогда руки на мусульманина не поднимал! А насчет золота стоит все же с ним поговорить, и сами намоем, и мальчишке поможем — ему ведь еще сестер и мать кормить надо...

— Вот это другой разговор, — смягчился Кулсубай. — Лучше добром к человеку, тогда и он к тебе добром обернется...

Нигматулла вынул из кармана три рубля:

— На, дай ему, и денег еще пообещай...

Сговорившись отдать Гайзулле пятую часть того, что намоют, они вошли в дом. Гайзулла по-прежнему сидел у окна, бросая на Нигматуллу испуганные и ненавидящие взгляды. Кулсубай подошел к нему и тихо заговорил.

Издали Нигматулла видел, как мальчик отрицательно качает головой. Съеженный, испуганный, как бы готовый каждую минуту вскочить и убежать, Гайзулла был похож на одичавшую кошку. Чтобы не мешать разговору, Нигматулла отошел подальше, к нарам, где спала Нафиса. Девушка лежала на боку, подложив руку под голову. Одна коса упала с нар и свешивалась до самого пола. «Красивая, — подумал Нигматулла, глядя на нее. — Хажисултан хоть и старик, а губа у него не дура! Эх, жаль, что не девка, взял бы ее». В это время Кулсубай окликнул его и, когда Нигматулла обернулся, подмигнул, указав глазами на дверь. Нигматулла нехотя вышел во двор. Но и после того, как он ушел, мальчик продолжал молчать и коситься на дверь.

Кулсубай обратился к Фатхия, только что пришедшей от соседей:

— Агай, скажи Гайзулле, зачем он меня боится? Я ничего, кроме добра, ему не хочу...

Фатхия погладила сына по голове:

— Ну, чего ты? Знаешь, сколько агай принес нам в дом добра? Без него мы совсем пропали бы! Не бойся агая, сынок, он хороший... Брить бы тебя пора, нехорошо ходишь. — Она еще раз провела ладонью по голове сына и опять ушла к чувалу. Мальчик подсел ближе к курээ, обхватил руками его голову и стал шептать ему на ухо. Курээ кивал головой.

— Агай, забыла тебя спросить, — заговорила опять Фатхия. — Что нужно от нас этому Нигматулле? Иду сейчас, смотри, а он в сенях стоит...

— Молодой, видно, нашу Зульфию высматривает, — отшутился Кулсубай.

Гайзулла тем временем оживился и говорил уже громко, не скрываясь, он то и дело хватал курэзэ за руку и даже покраснел от возбуждения. Когда он кончил говорить, Кулсубай встал и поставил у нар самовар.

— Чайку, что ли, апай? — сказал он, обращаясь к Фатхия. — И Нафисе надо дать, она утром не пила. . .

Пока он возился с самоваром, мальчик выскользнул за дверь, вдруг там послышался шум упавшего ведра и какая-то возня. Кулсубай подбежал к двери, распахнул ее и оцепенел от неожиданности: Нигматулла держал мальчика за горло и говорил ему что-то сквозь стиснутые зубы. За спиной Кулсубая вскрикнула Фатхия. С минуту стоявший столбом Кулсубай очнулся от крика женщины, схватил Нигматуллу за плечи, приподнял и швырнул его на пол.

— Ты что? Совсем стыд потерял? — бешено закричал он.

— У тебя научился! — Нигматулла поднялся с пола, не зная, куда девать душившую его злобу.

Кулсубай схватил его за руки и вывернул их назад.

— Знаем, что ты за курэзэ! — прошипел, извиваясь, Нигматулла. — Попомнишь у меня! Я тебе за все заплачу, шельма бородатая!

На улице послышался звук колокольчика, и в дом вбежала запыхавшаяся Зульфия.

— Мама, к нам солдаты едут! — закричала она еще с порога.

При слове «солдаты» Кулсубай, вздрогнув, выпустил своего противника, и Нигматулла тотчас скрылся.

В дом вошли управляющий прииском и черноусый урядник в сдвинутой набекрень папахе.

Аркадий Васильевич огляделся, поздоровался и, подойдя к Фатхия, протянул ей сверток:

— На-ко, хозяйшшка, здесь гостинцы твоим ребятишкам.

И управляющий улыбнулся, как бы немного смущаясь, стыдясь собственной доброты. Стекла его пенсне незряче блеснули. Видя, что Фатхия не смеет взять подарка, и зная местные нравы, он положил сверток на передние нары и, вынув из кармана конфету в бумажной обертке, протянул ее Гайзулле. Но Гайзулла тоже, как и мать, не двинулся с места, настороженно глядя на управляющего и следя за каждым его движением. Фатхия, прикрыв лицо концом залатанного платка, отвернулась к стене. Управляющий слегка пожал плечами и обернулся к Кулсубаю:

— А ты что здесь делаешь? Родственник?

— Нет, я мальчика лечу. . . — несмело ответил Кулсубай.

— Ну, тогда, раз посторонний, выйди и посиди во дворе. — Аркадий Васильевич потер руки. — Разговор есть.

Но как только Кулсубай приподнялся, Гайзулла бросился и с криком схватил его за руку:

— А-ага-ай, боюсь! Не уходи-и!

— Да что ты, тебя никто не тронет,— успокаивал Кулсубай. Но Гайзулла все теснее прижимался к нему, не сводя с управляющего наполненных слезами глаз.

— Ну, ладно, останься, коли так,— поморщился управляющий.— И ты, хозяйюшка, подсаживайся к нам.— Он достал из портфеля бутылку водки и поставил ее рядом с самоваром на старенькой скатерти с красными узорами.— Выпьем за твоего старика, чтоб земля была ему пухом! Знал я его, хороший был человек, работающий...

Но Фатхия по-прежнему сидела, отвернувшись к стене, боясь заговорить.

— Ну, если надумаешь, сядешь,— сказал Аркадий Васильевич, откупоривая бутылку.— Ты-то, я думаю, не откажешься? — обернулся он к курэзэ.

Кулсубаю очень хотелось выпить, но, стесняясь Фатхии, он стал отказываться.

— Я говорю, грех это...— смущенно говорил он, поглаживая бороду.— Я мусульманин, нам этого нельзя, аллах накажет...

Чувствуя, что Кулсубай отказывается только ради приличия, Аркадий Васильевич стал угощать еще настойчивее:

— Какой там грех! Одна пшеница, чистого сорта! Это ж не самогон какой-нибудь, видишь этикетку? Пей, один вкус, никакого греха!

— Ну, если из пшеницы, тогда вправду...— согласился Кулсубай.— Я говорю, из пшеницы можно и мусульманину! — Он опорожнил до дна чашку с крепким напитком и почти сразу захмелел на пустой желудок. Выпив вторую чашку, он взял со скатерти конфету и протянул ее Гайзулле: — Не бойся, возьми! Вкусная! Видишь, в бумажке, с картинкой!

Заметив, что Кулсубай выпил достаточно, управляющий вынул из кармана какую-то бумагу и обратился к Фатхии:

— Апакай! Тебе муж перед смертью ничего не говорил?

Фатхия, не отвечая, молча пряла шерсть.

— Хайретдин должником умер, хозяину нашему должен остался. Вот его расписка,— он расправил бумагу, сложенную вчетверо.— Старик обещал баю золотое место показать и деньги за это взял, а сам направил нас в другое место... Наша разведка на Кундузском перевале пятнадцать дней пробыла и с пустыми руками вернулась, так что, апакай, придется тебе заплатить убытки, слышишь? Давай говори, где золото нашли, малайке скажи, он знает...

— Да они по-русски не кумекают,— подсказал Кулсубай.— Дай-ка я ей скажу.

Фатхия внимательно выслушала курэзэ и, не оборачиваясь, еле слышно проговорила:

— Не знаю... Старик ничего не говорил. Ты, сынок, ничего не слышал?

— Отец не велел говорить, где золото, хозяин горы рассердится, — сказал Гайзулла, лицо его не по-детски нахмурилось и посуровело.

Кулсубай перевел, и управляющий от души рассмеялся над мальчиком.

— Ну, коли так, то придется нам тебя с собой взять, — сказал он, вдоволь насмеявшись, и позвал урядника.

Урядник твердым шагом подошел к Аркадию Васильевичу и козырнул, уставившись на него, ожидая приказа.

— В контору их, — управляющий показал на Кулсубая. — Его и малайку. Угостить коньяком и конфетами. А ты, хозяйшюшка, за сына не горюй! Покажет, где самородок напел, завтра же привезу обратно!

— Не пойду! Там хозяин горы! — закричал Гайзулла и прижался к Кулсубаю.

Забыв прикрыть лицо перед посторонними мужчинами, Фатхия бросилась к сыну:

— Не пуцу! Лучше вместе умрем! Сыночек, не отда-а-ам!

Управляющий кивнул, и урядник, грозно шевеля усами, вырвал мальчика из рук женщины. Фатхия упала на пол и зарыдала, хватаясь руками за землю. Кулсубай, хорошо понимая, что сопротивляться бесполезно, сам пошел следом за урядником.

У ворот на улице стоял тарантас, запряженный двумя колесными лошадьми серой масти. Как только все уселись, они вихрем вскинулись с места, заскрипели колеса, зазвенели подвешенные к дуге медные колокольчики. Вслед удалявшейся повозке испуленно, как по убитому, кричала мать...

XVII

Выбежав из сеней, Нигматулла увидел урядника и заметался. Урядник стоял спиной, поджидая управляющего, сходящего с тарантаса, и вот-вот должен был обернуться. Судьбу решали короткие доли секунды. Нигматулла быстро огляделся и вдруг заметил у стены старую ступу, на которой в беспорядке лежали лыко и корье...

Аркадий Васильевич и урядник прошли так близко, что Нигматулла мог бы спокойно дотронуться до них, но свесившееся вниз лыко надежно прикрывало его голову сверху, и приехавшие ничего не заметили. Как только папаха урядника скрылась в проеме дверей, Нигматулла лег на землю и быстро

пополз вдоль редкого плетня. Приподняв голову, он увидел тарантас, запряженный двумя лошадьми, и солдат, стоявших рядом. Решившись, Нигматулла схватился за нижнюю жердь, подтянулся, перемахнул через плетень и задворками побежал к оврагу. Сзади кто-то крикнул, и он припустил еще сильнее, всю работу руками и ногами, перепрыгивая через ямы и петляя.

Только добежав до оврага, Нигматулла оглянулся и, увидев, что никто не преследует его, рухнул в траву. Он долго не мог отдышаться и все смотрел в сторону поселка, но постепенно тишина и безлюдье успокоили его. Он вспомнил, что забыл в доме Хайретдиновых свою войлочную шляпу, крепко выругался и по обыкновению сплюнул. «Ч-черт, чего же я мчался, будто мне пятки каленым железом жгли? — сообразил он. — Кулсубай обо мне все равно ничего не скажет, сам в дерьме будет, если о наших делах заикнется! А с Шарифуллой это еще доказать надо, что я ему что-то продавал. . .»

Не торопясь, он зашагал вверх по оврагу к ручейку, журчавшему неподалеку. Напившись, он стряхнул с себя пыль и пошел быстрее, стремясь скорее попасть на то место, о котором слишком неосторожно шептал Гайзулла Кулсубаю.

«Так-то, субчики-голубчики, — злорадно посмеивался Нигматулла. — Пока вы там будете гадать да прикидывать, я столько тут намою золота, что мне на всю жизнь хватит!»

Лес был полон тревожного шуршания опавшей листвы, стволы деревьев в сумерках раскачивались и поскрипывали, и Нигматуллой овладевало смутное беспокойство, оно стискивало сердце, заставляло оглядываться на каждый звук — стук упавшего сучка, резкий порыв ветра, крик птицы. . .

Над лесом ползали тяжелые дымные тучи, верхушки деревьев гудели угрожающе и мрачно, как перед бурей, и каким-то чудом среди этой пасмурной наволочи мигала, прорываясь сквозь копотные наплывы облаков, одинокая звездочка, то появляясь, то исчезая, точно лохматая лапа тучи соскребала ее с неба.

Нигматулла продрог и проголодался, и, чтобы немного согреться, он стал собирать сухие ветки и хотел было уже разжечь костер, когда где-то совсем недалеко взвыла волчица — протяжно и лающе. По спине Нигматуллы побежали мурашки, он привстал и насторожился, чувствуя, что спину сводит от холода.

Вой оборвался, повисла тишина, нарушаемая слабым гудением верхушек, но этот слитный гул, похожий на стон, еще сильнее напугал Нигматуллу. Все дрожало у него внутри, тряслись ноги, не слушались руки. Затаив дыхание, он ждал — не повторится ли этот наводящий ужас вой.

Он снова приготовился было опуститься на корточки и поджечь сухой валежник, когда вой возник рядом, почти за спиной, за ним другой, третий...

Лоб Нигматуллы покрыл холодный и липкий пот. Он встал, попятился к старой березе, прислонился к ней спиной и начал лихорадочно рыться в карманах, точно там можно было обнаружить что-то такое, что могло выручить и спасти его.

Он нашарил в правом кармане коробок спичек, но не сразу понял, что именно спички и могли помочь ему в беде. Выхватив целый пучок спичек, он чиркнул о коробок и при короткой вспышке, озарившей ближние кусты, увидел серую большую собаку, стоявшую в нескольких шагах от него. Она отскочила и пропала в темноте, будто ее и не было, и тогда Нигматулла стал лихорадочно сгребать около себя мусор, сучья, сломанные ветки, опавшую листву.

Юркий огонек, прыгнувший на листья, побежал по веткам, и не успел костер разгореться, как Нигматулла снова увидел собаку. Она выросла как из-под земли на том же самом месте, и свет костра зажег лиловым блеском ее глаза. Она стояла молча, точно замороженная огнем, потом подняла морду и залаяла с глухим подвыванием.

«Может быть, это все-таки собака,— подумал Нигматулла.— Она похожа на собаку Гибата-агая... Волк давно бы бросился на меня и разорвал!»

— Етивал! Етивал! На-на-на... — он протянул руку.

Но зверь рыкнул в ответ, и Нигматулла наконец понял, что перед ним волчица. За нею фосфорически посверкивали из темноты, блуждали глаза других волков, словно стоявших наготове и только ждавших ее прыжка.

— Помоги-и-те-е!.. Помо-о-ги-и-те-е!.. — закричал Нигматулла, и крик его, полный страха и отчаяния, тоже был похож на вой.

Лес вернул ему глухое эхо, но волчьи глаза не пропали, а по-прежнему зеленовато горели из мрака. Волчица напряглась и чуть подалась вперед, но тут Нигматулла выхватил из костра дымящуюся головешку и запустил ее в зверя. Волчица зарычала и отпрыгнула в глубину, за деревья, волки, подступившие к поляне, тоже отошли.

Нигматулла ломал сухие ветки, бросал в огонь и не переставая кричал, звал на помощь. Изредка он выхватывал из костра горящий сучок или ветку и забрасывал подальше, и каждый раз ему чудилось, что волки отступают, а потом снова окружают его тесным кольцом...

Он уже изнемог и обессилел, когда где-то внизу, в овраге, раздался выстрел и покатился по лесу громко и раскатисто. Волчья стая сразу исчезла, точно провалилась сквозь землю, он даже не услышал, как они ушли.

Опять расколол тишину выстрел, но Нигматулла еще не отходил от спасительного огня. Лишь заслышав треск сучьев и тяжелые шаги, он живо затоптал костер и завалился в кусты. Зачем показываться на глаза чужим людям, когда опасность миновала, лучше выждать и посмотреть...

На поляну выбрели два человека с ружьями, огляделись. Они стояли так близко, что Нигматулла слышал, как они запыхались, пока бежали сюда.

— Дымом пахнет,— сказал тот, что был повыше.— Кто-то жег костер, не иначе...

— Дыма без огня не бывает,— рассмеялся второй.— Ведь мы оба слышали, как кто-то кричал, точно его режут...

— Может, почудилось?... Да нет, я не мог ошибиться!.. И потом эта собака, которую мы видели в овраге...

— Я тебе говорю — не собака это, а волк!.. Он, наверное, и нагнал на кого-то страху... Пошли обратно в балаган! Если волки задрали его — мертвый давно уже на том свете, ему даже лучше, чем нам с тобой!..

Они повернули обратно, и, переждав немного, Нигматулла вылез из своего логова, бесшумно двинулся следом за ними.

«Старатели небось счастье свое ищут,— раздумывал он, подгоняемый любопытством и страхом, еще жившим в нем.— Знаю я это счастье зимогорское, дырявое — в один карман кладешь, из другого высыпается. Что намоешь — в один день пропьешь, а утром встанешь с чугунной башкой, и хоть бейся об стенку, хоть плачь, а начинай все сначала!»

Старатели шли медленно, и Нигматулла уже хотел было свернуть на другую дорогу, когда между ними вспыхнул спор, и обрывки бессвязной речи долетели до него с резким порывом ветра: «Ты нашел место?... Больше... Я намыл, стало быть, мое...» Они на минуту остановились, но тут же пошли вперед, уже быстрее, и Нигматулла снова последовал за ними. «Не там ли моют, где я ищу?» — думал он, настороженно прислушиваясь, но ничего больше не мог различить, так как старатели приблизились к водопаду, который ревел впереди, как хищный и злой зверь. Вода Юргашты, бешеным потоком падая со скалы, разбивалась внизу о камни, кипела, пенилась и бурлила в сжимающих ее с двух сторон каменных тисках, и Нигматулла вдруг застыл на минуту, завороченный сумрачным блеском начинающей светлеть от рассвета воды. Обернувшись, он не увидел старателей и понял, что потерял их из виду. «Ч-черт,— сплюнул он.— Только этого еще не хватало!»

Он бросился вниз, потом вверх по реке и, напав наконец на след, больше не отрывал глаз от зимогоров. Лес сильно поредел, и, чтобы не выдать себя, Нигматулла сохранял между собой и старателями довольно большое расстояние. Переждав

минуты две, он переправился вслед за ними через реку по крупному скользкому стволу ольхи, перекинутому с берега на берег, и вышел на узкую тропку, которая привела его к огромной куче желтой, похожей по цвету на коралл глины. Дальше, за кучей, он увидел вырытую в обрыве и укрепленную деревянными подпорками землянку, возле которой в беспорядке лежали кайлы, лопаты, чайник, опрокинутое вверх дном ведро — весь нехитрый старательский скarb. У реки, посреди канавы, был установлен деревянный желоб. Старатели копались возле него, но издали не было видно, чем они занимаются. «Место вроде не то, что у Гайзуллы», — заколебался Нигматулла, но лег и ползком приблизился к зимогорам. Скоро он подполз так близко, что слышал каждое слово.

В это время один из старателей вытащил желоб из песка и встал с колен.

— Зачем это? — поднял голову его товарищ.

— На новом месте наладить надо, — буркнул первый.

— Ай, чего там налаживать? Я с тобой больше не мою! С такими порядками другого себе найди, еще посмотрим, кто с тобой пойдет... Дураков-то нету! Нету, понял? Я сам буду теперь мыть, один, а от этого золота выдели мне долю, и чтобы было как положено!

— Подумай, прежде чем делать то, что говоришь, — с угрозой сказал первый.

— Чего тут думать! От дум голова болит. Гони долю — и дело с концом! — он схватился за кайлу.

Тот, что возился у желоба, не стал больше спорить. Он встал, отряхнулся, отошел в сторону, выкопал в песке ямку и достал мешочек.

— Как делить-то? — спросил он. — Ни безмена нет, ничего!

Старатели расстелили на траве холщовую скатерку и высыпали на нее золото. Каждый недоверчиво глядел на другого. Нигматулла, тоже следивший за ними и видевший кусочки золота, рассыпанные на скатерти, не находил себе места. Порой ему казалось, что он видит все это во сне или рассудок его так помутился, что он уже не понимает, что происходит, но ему хотелось вскочить, вцепиться в глотку этим зимогорам, задушить их и отобрать у них то, что ему было нужнее, чем им. Ведь все равно пропьют они это золото в кабаках, пропьют все, вплоть до старательских шаровар, и золото пойдет дымом, не принеся никому счастья. Может быть, наступил его час, и ему нужно только решиться один раз на рискованный поступок, чтобы потом всю жизнь не быть нищим голодранцем и бродягой! Другого такого случая никогда не будет — или сейчас, или никогда!..

У него пересыхало во рту, он облизывал спекшиеся губы, дышал тяжело, точно нес непомерный груз на своих плечах.

А старатели, будто дразня его, спорили, шумели, ругались и наконец сцепились не на шутку из-за небольшого слитка, похожего на отрубленный палец. Уже нельзя было разобрать слов, они поносили друг друга последними словами, пока тот, что был повыше и попроворнее, не вскочил, не схватил рядом лежавший ломик и что есть силы не стукнул товарища по голове. Товарищ не успел даже крикнуть — как стоял на коленях, так и упал навзничь, и кровь залила его лицо.

Старатель с минуту смотрел на товарища, словно не понимая, что он сделал, потом лицо его исказилось в мучительной гримасе, и, плача, он бросился к лежащему на земле товарищу.

— Сагитулла-агай! Встань, встань, я тебе все отдам! А-а! — Он схватился за голову, потом за плечи лежащего и в отчаянии стал трясти его так, что голова упавшего замоталась бессильно, от плеча к плечу, и малахай сдвинулся на затылок, обнажив короткий ежик жестких черных волос и рваную рану на лбу. Наконец увидев, что все напрасно, старатель опустил руки и заплакал.

Нигматулла нащупал в траве отлетевший в сторону ломик, бесшумно, по-кошачьи, подполз к обезумевшему от горя старателю и ударил его по затылку. Старатель, не охнув, свалился ничком на товарища, раскинув руки, как бы пытаясь обнять его.

Потянув на себя скатерть, Нигматулла стал лихорадочно, трясущимися руками собирать золото, соскребая все в кучу, свернул скатерку в узел и запихал за пазуху.

Лицо его горело, он шатался как пьяный от свалившейся на него удачи, бормотал о чем-то бессвязно, как в бреду:

— Ха! Ха!.. Я богатый!.. Я буду плевать на Хажисултана-бая... Никто не скажет, что я вор!.. Не прощу даже, если станут в ногах ползать! Не прощу!..

В нескольких шагах от костра черной дырой зиял вход в землянку. Оглянувшись по сторонам, Нигматулла вошел внутрь, взял лежавшее на нарах ружье, буханку хлеба и выбежал. Пока не рассвело, он должен подальше уйти от этого места!

Он шел, пробираясь через предрассветный лес, шел, не передыхая, не останавливаясь, в ближнем ручье смыл пятна крови с рук, помочил кусок хлеба в воде, пожевал, сидя на корточках.

Где-то далеко за лесом всходило солнце, лучи его скоро пробились сквозь чащу и легли на розоватые стволы сосен, бросили блики на говорливый ручей, и он будто оживился, побежал быстрее.

Напившись из ладоней, Нигматулла поднялся и зашагал дальше, и теперь он чувствовал себя уже другим человеком—

сильным, уверенным, готовым постоять за себя. Он шел к иной жизни твердым шагом хозяина, как будто за спиной его не было ни зиявшей черным ртом опустевшей землянки, ни двух мертвых тел, лежавших в обнимку на красной траве...

XVIII

В конторе Кулсубаю выставили еще бутылку водки, а перед Гайзуллой положили две коробки конфет. Захмелевший Кулсубай болтал без перебоя. Ему хотелось отплатить за щедрое угощение, он то и дело хватал Аркадия Васильевича за рукав, наклонялся.

— Спасибо, хозяин... Я говорю, вот тут в чем дело-то — Хайретдинка помер, кому на кусок хлеба заработать? Мальчонка-то калека! Вот поможешь им лошадку купить, а мы тебе водото...

Аркадий Васильевич быстро понял, что от мальчика он ничего не добьется, и говорил теперь только с Кулсубаем.

— Хе, может, там и золота нету? Вот на Кундузском перевале целый месяц разведка работала, говорили, золота куча, а ничего не нашли! Как же я тебе поверю? Конечно, если жила богатая, мне ничего не жалко — водка, хлеб, деньги, все будет!

— Едем, хозяин! Раз я сказал, будет золото.

Управляющий налил Кулсубаю еще полстакана водки, дал два рубля и велел закладывать лошадей.

Кроме управляющего, Кулсубая и Гайзуллы в дорогу выехали штейгер Закиров, инженер прииска немец Мордер и около десятка старателей с кайлами и лопатами. Лошади тяжело тащили арбы в гору мимо кладбища, через березняк. Размытая дождем дорога зияла рывтинами, жирно хлюпала вода, а мелкий, надоедливый дождь все накрапывал, накрапывал, и казалось, ему не будет конца. Скоро он припустил еще сильнее, и продрогшие старатели, чтобы согреться, прижались друг к другу, накрылись рогожами. Медленно трясущийся впереди тарантас почти не был виден из-за густой пелены. Постепенно туман поднялся выше, стало свежо. При спуске лошади в первый раз за всю дорогу побежали рысью, и комья грязи, налипшие на колеса, полетели в лицо.

— Че-черт, — стуча зубами, пробормотал один из старателей. — Приспичит, так хоть в пекло беги, в любую погоду...

Добежав до луга, лошади внезапно остановились, и тотчас впереди, почуя что-то, залаяла собака. Гнедая беспокойно заржала, и из-за кустов показалась большая медведица с медвежонком. Увидев людей, она подняла морду, как бы принюхиваясь, оскалилась на лающую собаку, встала на задние лапы,

взревела и вдруг, вприпрыжку перебежав дорогу, скрылась в лесу.

За мостом управляющий повернулся к Кулсубаю и мигнул в сторону мальчишки.

— Здесь? — спросил Кулсубай.

— Нет, вон там, — Гайзулла показал рукой на ложбинку возле оврага.

Лошади остановились. И оттого, что перестали скрипеть колеса, как будто громче стала журчать мутная Юргашты.

— Здесь, вот здесь! — Гайзулла соскочил с арбы и, прихрамывая, пробежал несколько шагов.

— Я говорю, все ты перепутал, — нахмурившись, проговорил Кулсубай.

Он уже протрезвел, и теперь ему было жалко, что он выпил так много и наговорил лишнего. «Заплатит или не заплатит управляющий, — думал он, — это еще куда кривая вывезет! Обещать они умеют... А мы бы сами, малайка помог бы...»

— Да нет же, здесь! — удивленно посмотрел на Кулсубая Гайзулла. — Я здесь играл, а отец на горе дранки колот! Я помню...

— Да что вы его слушаете? — махнул рукой Кулсубай. — Айда, поехали, сам не знает, что говорит.

Мордер, внимательно следивший за ним, хитро улыбнулся:

— Куда нам торопиться? Посмотрим, где мальчик говорит, а вдруг? Да и ночь скоро, темнеет уже...

Управляющий кивнул головой. Старатели выпрягли лошадей и стали сооружать шалаши. Скоро на поляне уже горели два костра, и подвешенные над ними чайники и ведра с супом громко булькали, выплескиваясь на огонь.

Напившись чаю, отправились к ложбине. Управляющий степенно вышагивал впереди, то и дело прилаживая спадающее на нос пенсне в золотой оправе.

— Во что бы то ни стало, — шептал он семенящему рядом штейгеру, — иначе разорение... На этом прииске золото кончается, рабочие все разбежались. Горим... Если не новое место...

Дойдя до ложбины, он сам вскопал лопатой небольшую ямку, отгреб камни, набрал в ковшик песку и, потряс ковшик в воде, стал выбирать руками крупную гальку. Мордер и Кулсубай внимательно следили за его движениями. Управляющий снова потряс ковшик, слил несколько раз воду и, взяв небольшой желтоватый камешек, попробовал его на зуб.

— Да... — сказал он вздыхая, — одни шлихи.

Он повертел еще ковшик, пристально разглядывая двигающиеся по донышку песчинки, вылил остатки воды и песка на землю и поднялся, глядя на неподвижно стоявшего мальчика:

— Что ж ты, парень, а?

Гайзулла, хотя и не понимал, что говорит управляющий, по его глазам и недовольно сморщившемуся лицу сообразил, в чем дело. Он ткнул рукой в ямку, выкопанную в песке:

— Здесь, здесь!

— Мальчик не врет, Аркадий Васильевич, — сказал немец. — Не будем спешить...

Он взял ковшik и приказал штейгеру вскопать на полсажени в глубину. Промыв песок, немец поднес ковшik к глазам и удовлетворенно хмыкнул. На дне ковшika что-то блестело. Управляющий и штейгер подошли ближе. Мордер поклонил палец, взял крохотную крупицу и стал внимательно разглядывать.

— Золото! — вскрикнул Аркадий Васильевич и приказал штейгеру набрать еще песку.

На этот раз на дне ковшika остались две крупинки со спичечную головку. Лицо управляющего просияло. Забыв про Кулсубая и Гайзулла, он бросился опять промывать и, когда после третьей промывки увидел три золотника размером побольше, бросился к Мордеру и стал восторженно трясти его за руки:

— Нашли! Это золото, золото!

Толстый немец важно отдувался и вытирал платком вспотевшее лицо:

— Подождите, Аркадий Васильевич, радоваться еще рано. Вдруг жила небольшая? Может еще так получиться, что, как русские говорят, овчинка выделки не стоит!

— А жила здесь проходит? — посерьезнев, спросил управляющий.

— Трудно сказать, — ответил немец и наморщил лоб. — Может, она только на поверхности, а может, здесь золото совсем случайное, водой принесло... Во всяком случае, если жила здесь, значит, она совсем на поверхности, молодое золото.

— Молодое? — переспросил штейгер. — Это как?

— Молодое, свеженькое, как девушка, которую первый раз сватают! — улыбнулся немец. — Так говорят, когда жила на поверхности. Легкая добыча, убрал верхний слой — и бери! На прежнем-то прииске золотишко старое, глубоко лежит, сами знаете. — Мордер вылил из ковшika песок, ополоснул его, выпрямился и потер поясницу. — Ноет уже... Темно, давайте обратно, разведку завтра продолжим.

При виде приискового начальства старатели, сидевшие вокруг костров, поднялись с мест.

— Ну как, Аркадий Васильевич?

— Хоть один знак нашли? — спрашивали они.

Штейгер скорчил свирепую гримасу:

— Куда нос суете? Сколько бы ни нашли — все наше, вам

ни кусочка не достанется! Может, еще Аркадий Васильевич отчет вам должен давать?

Не смея больше расспрашивать, старатели молча уступили дорогу хозяевам, но, увидев Кулсубай и Гайзулла, плетущихся сзади, тут же окружили их.

— Нашли, нашли, — устало отмахнулся Кулсубай, предупреждая расспросы.

— Много?

— Много, да никому не достанется! — Кулсубай сел возле костра. — Дайте-ка и нам супцу, а то весь день без жратвы. Иди-ка, садись рядом со мной, — указал он Гайзулле. — Что, устал?

Гайзулла кивнул головой.

— Так-то, брат, — продолжал Кулсубай. — Дураком я был, дураком и остался. Так и буду всю жизнь, видно, в дырявых штанах ходить! А они, — Кулсубай мотнул головой в сторону управляющего, — заплатки в жизни своей не увидят!

— Брось, кустым! — весело заметил молодой старатель в большом, не по росту сшитом бешмете. — Если здесь много золота, я смогу жениться, а вот он — семью оденет. Не все плохо на этом свете!

— А я напьюсь так, что и жена домой не дотащит! — крикнул кто-то.

Старатели загомонили:

— Эх, мне бы золота побольше намыть, сидел бы я здесь, черта с два!

— Куда б ты делся! Молчи уж...

— В Америку махнул бы!

— Ха! Чего ты там не видал?

— Дурак! Там, говорят, как в раю, — молочные реки, кисельные берега! И водки, и хлеба, всего полно, набирай карманы и живи в свое удовольствие! Говорят еще...

— Говорят, говорят! — вспыхнул пожилой бородач. — И у вас, говорят, золото с лошадиную голову находят, а приедешь — шиш тебе с маслом! Вот я мою, мою, а семью прокормить не могу! Говорят!..

— Вам, зимогорам, точно от золота проку нет! Сколько бы ни мыли!

— Легко тебе говорить, один ходишь! Заработал, пропил, и горя мало, а у меня семь душ — вот где сидят! — бородач стукнул себя кулаком по шее. — Год уже, как здесь, за сто верст от дома, пешком шел, а толку? Ни гроша в кармане!..

Старатели замолчали. Кулсубай подложил веток, пламя вспыхнуло сильнее и осветило верхушки деревьев, качающиеся от резкого ветра.

— Ложись, Гайзулла, завтра рано вставать.

— Завтра нас отпустят домой, агай?

— Не знаю... Ложись, там видно будет.

Костры угасали, но люди не торопились ложиться. Поляна погружалась в темноту, дальше от нее стоял уже густой ночной мрак, и полная луна, медленно плывущая сквозь голубоватые облака в прорывах между ветками, казалось, не освещала, а лишь оттеняла черноту ночи. В небе дрожали редкие звезды, изредка слышны были далеко на дороге скрип тарантаса и одинокий звук колокольчика.

Луна уже показалась над верхушками, когда Кулсубай прилег на траву рядом с Гайзуллой, подложив под голову старый малахай. Он закрыл глаза и старался уснуть, но у костра все еще шептались. Кулсубай прислушался.

— Ха, если бы я был богатым, со мной и урядник бы считался и начальство! А что у меня за богатство? Во, гляди! Бешмет в глине да дырявые каты! Тут еще штейгер все требует: «Не прячьте золото, не прячьте! Вы мне за него ответите!» Да если я намытого не сдам, я ж с голоду помру, где уж тут прятать! Вот она какая, жизнь!

— Да... — пробасил густой голос, и Кулсубай узнал в нем бородача. — Говорят, везет кому-то а нам — все мимо проходит! Сколько лет уже мою, двух друзей в шахте схоронил, а куда идти? Все думаешь, найду, найду, здесь оно где-то, рядом, прямо нюхом чую! Эх, пропади оно пропадом!..

Кулсубай приподнялся с земли:

— Хватит болтать-то, сами не спите и другим не даете! От разговоров в кармане не прибавится...

Старатели улеглись. «И вправду кажется, вот-вот найдешь, — думал Кулсубай. — А оно все дразнится только! Вот и сейчас показалось и манит, зовет, а что из этого выйдет — неизвестно... Может, разбогатею, а может, так обнищаю, что совсем голозадый ходить буду...»

Он придвинулся ближе к Гайзулле, обнял его за плечи. Мальчик дышал спокойно и ровно, чуть посапывая во сне.

С утра на поляне закипела работа. Разбившись по двое или по трое, старатели копали шурфы. Очень скоро внизу, из-под песка и комьев глины, выступила вода. Постепенно она поднялась по щиколотку, затем по колено, и старатели ругались всю. Ноги styли в холодной воде, и при каждом ударе кайлы мутная желтая вода брызгала во все стороны. Скоро пришлось вычерпывать воду, и стало совсем тяжело работать.

Первые шурфы дали хорошие результаты. Однако по мере удаления вверх и вниз золотая жила терялась. Все меньше и меньше золотых крупинок становилось на дне пробного ковша, вместо песка появилась какая-то беловато-серая порода. В последнем шурфе совсем не оказалось золота. В небольших ямах, вырытых для снятия пробы, тоже ничего не было...

Бородач, работавший в паре с молодым старателем в большом бешмете, отбросил кайлу и стал выжимать на себе размокшую, отяжелевшую одежду.

— Всыпать бы этому мальчишке, спустить штаны и в крапиву голым задом,— сказал молодой.— Пусть вон штейгера обмывает, а мы за что терпеть должны?

Но его никто не поддержал.

— Там, где они показали, есть,— задумчиво сказал бородач,— а если здесь нет, они тут ни при чем. Жила могла и в другую сторону уйти...

— Сколько земли зря выворотили, и все пусто,— молодой сел на землю и устало вытер ладонью лицо, забрызганное грязью.

К шурфу, ежась от холода, подошел Мордер. Подобрал полы плаща, он наклонился и внимательно осмотрел выброшенную навверх породу.

— В тех вон забоях не было? — спросил он, растирая на ладони комочек земли.

— Не было! — буркнул молодой.

— А около реки?

Ему никто не ответил.

— Золото должно быть.— Мордер снял очки, протер их носовым платком и снова надел, затем обернулся и махнул рукой управляющему: — Аркадий Васильевич!

Управляющий был не в духе. Он сердился и на Мордера, и на старателей, и на поганого мальчишку, а больше всего на самого себя за то, что не послушал вчера Кулсубая, который звал их идти дальше. Он подошел к инженеру и, остановившись возле шурфа, толкнул ногой большой ком глины, лежащий сверху.

— Аркадий Васильевич, надо продолжать разведку! — пыхтя, подкатился к нему немец.

— Мордер, ну вы понимаете, что вы говорите? — брезгливо поморщился управляющий.— Если так вести разведку, можно весь Урал изрыть и ничего не найти!

— Зачем же Урал? — обиженно возразил немец.— Золото выше должно быть. Я уверен, что тот самородок, который нашел хромой мальчик, принесло сюда во время наводнения!

— Вы уверены, вы уверены! А я что, по-вашему, вообще ничего не понимаю? Так я вам скажу, у меня тоже свое мнение есть, и оно заключается в следующем — золото не может быть принесено водой, понятно? Вы же знаете, что оно под песком бывает. Если по-вашему, то и вчерашнее золото сюда водой припесло, что ли?

— Нет, согласитесь со мной, Аркадий Васильевич,— перебил управляющего немец.— Если золото, как вы говорите, не

принесло сюда водой, жила будет залегать только на отдельных участках! Если вы думаете, что мальчик вас обманул, дайте расспросим его еще раз...

Немец поманил Гайзулла пальцем и похлопал по колену, как бы подзывая собаку. Гайзулла неуверенно подошел. Лицо у него было худое, потемневшее, он казался сейчас старше своих лет. Немец ласково потрепал мальчика по плечу и, взявшись пухлой рукой за подбородок, приподнял его голову кверху.

— Малайка хороший, малайка сейчас нам все скажет, да? Ну, скажи, где ты нашел самородок, а я тебе сейчас конфету дам!

Гайзулла, не понимая, поглядел на Мордера:

— Мин русса белмейем...

— Да что вы с ним возитесь, Мордер? С ними по-другому надо, они по-доброму не понимают! — вспыхнул управляющий. — Эй, ты! — он повернулся к бородачу. — Передай малайке, что, если он не скажет мне правду, я велю его повесить.

Старатель перевел мальчику слова управляющего. Гайзулла в ужасе посмотрел на Аркадия Васильевича, часто-часто заморгал глазами, перевел глаза на Мордера и заплакал.

— Я же говорил, я здесь нашел... — говорил он, размазывая по щекам грязные слезы. — Я не обманывал!

— Видите, Аркадий Васильевич! — торжествующе сказал немец.

Разведку стали вести выше по течению реки. Первые пробы оказались неудачными, но после того как слили мутную грязь и выбросили камни, на дне ковша остались мелкие металлические песчинки — шлихи, верные спутники золота. Старатели повеселели. Шурф углубили. Неожиданно из-под кайлы одного из старателей вылетел самородок, похожий на деревянную ложку с отбитым черенком.

— Золото! — схватился за голову бородач, стоявший наверху. — Господи, никак в самое гнездо угодили! — и прыгнул вниз. Следом за ним в шурф стали прыгать все остальные, и бежали уже, заслышав крики, из других шурфов.

— Ребята! Ребята! — умолял один из них, прибежавший последним. — Тише, тише! Послушайте меня! Выходите из ямы, уходите все, сейчас же! Да что вы, с ума посходили?! Скажем хозяевам, что там ничего нет, а потом придем и для себя наоем!

Он тяжело дышал и размахивал руками, пытаясь вытащить из ямы хоть одного, но никто не слушал его. Скоро в яме разгорелся спор из-за особенно крупного самородка.

— Я нашел! Я! Отдай! — кричали старатели, выхватывая друг у друга самородок.

— А ну, разойдитесь! — крикнул подоспевший штейгер.

К шурфу уже бежали Мордер и управляющий.

Аркадий Васильевич поглядел сверху на притихших старателей и, неловко взмахнув руками, прыгнул вниз.

Оглядев мрачные, нахмуренные лица людей, он вытащил из кармана чистый платок и прищурился...

— Что же это получается, ребята? Разве вы нашли это золото? А что скажет мне Галиахмет-бай, когда вернется из города? Так, мол, и так, Аркадий Васильевич, надо прииск закрывать, раз нового места не нашли, так, что ли? И меня с работы попрут, и вас! — Он расстелил на земле платок, еще раз оглядел старателей и кивнул головой: — Давайте-ка выкладывайте!

Старатели один за другим выворачивали карманы, подходя к платку, и отходили в сторону.

— Эй, милый, что это ты локти прижал? Ну-ну, что там у тебя за пазухой?

Старатель полез за рубаху, вытащил крупный самородок, из-за которого спорили в яме, и осторожно положил его в общую кучу.

— Вот так, милый, — Аркадий Васильевич покачал головой. — Нехорошо получается... Все положили? Ну, тогда выходите! Да, отойдите же, темно! — крикнул он сердито на людей, сгрудившихся у края ямы.

В забое стало светлее, управляющий подошел к стене ямы и потрогал породу пальцем. В породе были вкраплены яркие желтые блестки золота.

— Кварцевая жила, — заключил он, стараясь скрыть волнение!

— Да, да, — подтвердил сверху Мордер, — я отсюда вижу. А что я вам говорил, Аркадий Васильевич?

— Ну, чудесненько, — улыбнулся управляющий, вылезая из ямы и отряхиваясь. Платок с золотом выпукло торчал у него на боку, оттопыривая карман.

— Ну-ка, ну-ка, покажите, — потянулся Мордер.

— Разве это самородок? Самородочек! — Аркадий Васильевич подбросил кусок золота на ладони. — Глубже надо копать, глубже! Там, видать, еще не такое будет... — Он повернулся к штейгеру: — Выдать всем по бутылке водки!

Разведку вели и ночью, при свете лучин. Перед рассветом старатели немного вздремнули и еще до восхода солнца снова приступили к работе. К вечеру Аркадий Васильевич приказал выдать еще бочку водки, и, получив свою долю, старатели пьянствовали всю ночь.

Аркадий Васильевич был доволен. Разгоряченные водкой, старатели не считали, сколько брали потом в кредит еды и вина. Скоро по прииску раздавались пьяные песни, кто-то

даже подрался. «Еще поколотят,— подумал управляющий.— Нет, лучше я в шалаш не пойду». Он подозвал собаку и по узкой, освещенной бледным светом луны тропинке пошел по берегу реки к шурфам.

XIX

Разведка закончилась только в ноябре. Как и предсказывал Мордер, пласт золота оказался не очень «молодым», но по мере приближения к высокой горе шел все глубже в землю, и скоро глубина шурфов достигла пятнадцати — двадцати аршин. Реку запрудили и на плотине установили вашгерды, в которых промывали породу, подвешенную на подводах. Управляющий оставил на новом участке штейгера, перебрался в контору, построенную в верховье Юргашты, и на работах больше не появлялся. Уехал он неожиданно, и Кулсубай, все ожидавший награды, пришел наутро к штейгеру.

В шалаше, крытом драницей, было сумрачно. Закиров еще не вставал, хотя и проснулся. Услышав шаги, он спросил недовольно:

— Ну, кто там еще?

— Что, не признал? А я за расплатой пришел, тебя ж тут за хозяина оставили!

— Какая еще расплата?

— Известно какая! Золотое место кто показал?

— Ну, ты...

— Вот и плати!

— Ишь ты, хочешь, чтобы тебе за одно и то же дело два раза платили?

— Как два раза?

— Водку пил — пил, мясо жрал — жрал, твой мальчишка одних конфет целый мешок умял, это ведь все тоже денежек стоит, или ты думал, тебя тут даром кормили?

— Ах ты, сволочь! — Кулсубай схватил штейгера за плечо. — Лошадь, корову обещали, душу вытрясу, пока не дашь!

— Да что ты, что ты! — забормотал Закиров. — Свихнулся? Я, что ли, тебе лошадь обещал? Кто обещал, с того и спрашивай!

— Ну, подожди,— погрозил Кулсубай,— поплачешь ты еще у меня, все поплачете, и ты, и управляющий! — и вышел из шалаша.

— А урядник на что? — вслед ему крикнул Закиров.

— Идем, Гайзулла,— сказал Кулсубай стоявшему возле шалаша мальчику. — Разве от них добьешься чего? К вам пойдем, в деревню...

По лесу, утопая в сугробах, они добрались до дороги и пошли в Сакмаево. Голые деревья с головы до пят были убраны сне-

гом, резкий ветер вздымал столбики снежной пыли по укатанной колее.

— Прыгай, дружок, прыгай,— говорил Кулсубай,— а то ноги отморозишь!

Впереди с дерева посыпались хлопья снега, и тут же протяжно крикнула сойка.

— Ну-ка, ну-ка, где она? — сказал, подходя, Кулсубай.

— Вон,— показал рукой Гайзулла,— какая красивая, голубая, с хохолком!

— А как же, птицы все красивые, не то что люди! Если бы наш штейгер в птичку превратился, не птичка была бы, а целая свинья!

Когда впереди показался поселок, Гайзулла и Кулсубай двигались уже еле-еле, лица их покраснели, мальчик едва переступал ногами, и перед воротами Кулсубаю пришлось подхватить его на руки и самому внести в дом. Старенькая Фатхия, увидев их, всплеснула руками и тут же стала хлопотать у чувала...

Уже через неделю Кулсубай понял, что в деревне ему не удержаться, не прожить. Никто больше не звал его, чтобы помочь больному или роженице. «Не иначе как Нигматулла меня охаял»,— думал он.

На следующий день он пошел к Хажисултану-баю, но тот и на порог его не пустил.

— Разве ты не слышал, что говорит про тебя мулла? — крикнул он, не открывая ворот.— Ты продал веру! На том свете тебя ждет ад, ад! Для мусульманина грех даже руку тебе подать!

— А Галиахмет-бай? Ведь и он живет среди русских, почему же его не ругает мулла?

— Про Галиахмета лучше молчи, неверная собака, он тебе не чета! Посмотри на таких же, как ты, с голым задом. На наших сакмаевских — кто из них ходит работать на прииск?

— Кто не ходит, а кто ходит!

— А кто ходит — тот враг, как и ты, таким у меня работы просить нечего! Иди отсюда, пока цел, а то собаку спущу!

После этого случая Кулсубаю и Гайзулле не давали на улице прохода, кидали вслед камни и куски навоза, кричали:

— Чужаки! Русским продались! Уходите отсюда!

Не в силах терпеть это, Кулсубай решил податься на завод.

— Может, Машу найду,— говорил он, собирая свой нехитрый скраб.— По крайней мере хоть на кусок хлеба заработаю. А ты за сына не беспокойся, Фатхия, ему там хорошо будет...

Рано утром они вышли на дорогу. Гайзулла держался за рукав Кулсубая, так как за ночь дорога заледенела и он то и дело падал. Отойдя немного, мальчик оглянулся назад.

Толстая шапка снега покрывала крышу родного дома, из еле видневшейся трубы шел слабый дымок. Постройки двора были разрушены, еще вчера Кулсубай и Гайзулла разломали на доски и распилили последнюю стенку сарая, чтобы было чем старушке топить длинными зимними вечерами чувал.

— Не горюй, дружок, — сказал Кулсубай, видя, как сморщилось лицо мальчика. — Мы же не навсегда уходим, заработаем денег, приедем, еды привезем. Зульфии бусы купим! Знаешь, как мать обрадуется!

К вечеру впереди показалось большое село. В свете заходящего солнца казалось, что оно охвачено со всех сторон ярким пламенем и красный расплавленный круг садится прямо в середину, на крышу одного из домов.

— Что это за деревня? — спросил Гайзулла.

— Это не деревня, это Кэжэнский завод. Видишь, труба длинная, дым идет? Там чугуны варят, за двадцать верст на саях руду привозят. Таких заводов здесь пруд пруди! Ну, что приуныл?

— Нога болит...

— Потерпи, теперь уж немного осталось. Знаешь, сколько у меня на заводе знакомых? У них и переночуем. — И, поглядев на осунувшееся лицо мальчика, добавил: — И поесть нам дадут...

Они остановились у небольшого домика на краю поселка. У крыльца лаяла тощая собака, по очереди поднимая то одну, то другую закоченевшую от стужи лапу. Кулсубай постучался. В сенях что-то зазвенело, и мягкий женский голос спросил по-русски:

— Кто там?

— Это я, Костя! — ответил Кулсубай.

— Какой Костя?

— Не помнишь, Наташа-апай?

— А, Константин! Где ты пропадал? — обрадованно засмеялась светловолосая женщина, открывая им дверь. — Проходите, проходите! Ого, а это кто? Костя, у тебя уже такой большой сын?

— Нет, Наташа-апай, сиротка малай, такой же, как я...

— Ну, идите же, идите! Замерзли небось? Господи, стужа-то какая!

Войдя, Кулсубай снял камзол и подсел к печке. Гайзулла, боясь тронуться с места, так и стоял, прислонившись к дверному косяку. Глаза его удивленно и испуганно пробегали по комнате, то и дело останавливаясь на иконах, висевших в правом углу.

— А ты чего ждешь? — спросила Наташа. Она подошла к мальчику и взяла его за плечи: — Ну? Так и будешь стоять? Давай-ка раздевайся!

Она сама сдернула с него полушубок, и Гайзулла с наслаждением прижался к горячему, белому, пышущему жаром, пахнущему мелом боку печки и притих, продолжая разглядывать комнату — полати, веревки, протянутые для белья, деревянную кровать у стены. «Все не так, как у нас, — подумал он. — Вот если бы вместо кровати были нары, а вместо большой печки маленький чумал, как было бы хорошо, совсем как дома! Нехорошо живут, не по-нашему! И платье у нее без оборок...»

Тем временем Наташа хлопотала у жарко натопленной печи. Скоро она поставила на стол пузатый коричневый горшок, доверху наполненный дымящейся картошкой, тарелку с нарезанными кусочками сала, полкаравая хлеба, налила в граненые стаканы крепкий чай.

— Садитесь, — улыбнулась она Кулсубаю. — Угощайтесь, чем бог послал. Мужик вчера деньги принес, вот и купили муки, сала, а картошка своя, слава богу...

— А где сам-то, Алексей Иванович? — спросил Кулсубай. Он обеими руками держал кружку с горячим чаем и время от времени дул на него.

— Хозяин? Руду на завод возит.

— Давно не видал его. Придет сегодня, нет?

— И-и, куда там! — рассмеялась Наташа. — Он у меня домой только в конце недели приходит! Да вы ешьте, ешьте! — Она посмотрела на Гайзулла, который сидел на лавке, опустив глаза и не притрагиваясь к еде. — А ты чего не ешь? На-ка! — Она положила перед ним несколько картофелин и придвинула ближе тарелку с салом. — Ишь какой худой... Тебя как звать-то?

— Гайзулла, — ответил за мальчика Кулсубай.

— Ох, ну и имечко, у меня язык такое сказать не повернется! Ничего, по-нашему, стало быть, Гриша будешь. Сынок мой года на два, на три постарше был бы, в прошлом году в карьере камнем придавило, царство ему небесное!

Наталья перекрестилась, глаза ее заблестели! Подняв фартук, она крепко вытерла им лицо и, как бы отгоняя горькие мысли, махнула рукой и обернулась к Кулсубаю:

— Ты-то, Константин, как, не женился еще?

— Как же, женился на вашей, на русской, Машей зовут! Богатея дочка... Год в лесу прожили, только вылезли, тут нас цап-царап! — меня в Сибирь, а она где — не знаю...

— Ой, что ты дальше-то делать будешь, горемычная душа?

— А что делать, Наташа-апай, так и живу!

— Оставайся у нас, и мальчонка пусть живет!

— Спасибо, Наташа-апай, помню я твою доброту и как дружно мы все вместе жили, и теперь бы у вас остался, да боюсь! Поймают, по головке не погладят, да и жену найти хочется! Плохо мне без нее... — Кулсубай помолчал. — Эх,

кабы ты знала, до чего надоело бродяжить, так хочется на одном месте пожить, а вот...

— Да про тебя уж и забыли небось.— Наташа подперла щеку рукой и глядела на Кулсубай ласково и жалостно.

— Как же, забыли! У тех, кто каждый день вволю жрет, память в брюхе сидит, никогда ничего не забывают! Мне бы Машу только найти, я б и носу сюда не казал... Уехали бы дальше, на север, жили бы в маленькой деревне, а то и вовсе в лесу бы построились...

Гайзулла уже не слышал, как Кулсубай поднял его от печи и уложил на лавку, он давно спал, разморенный едой и теплом, а Кулсубай и Наташа еще долго разговаривали при свете керосиповой лампы с отбитым стеклянным колпаком. Уже за полночь Кулсубай забрался к Гайзулле на теплую печь, но и там он уснул не сразу, а долго еще думал, ворочался с боку на бок и тяжело вздыхал...

Утром Гайзулла проснулся от шлепанья босых ног по полу. Наташа в белой рубаше, подбитой простым кружевом, с распущенной косой выбежала в сени. Тотчас там звякнул о ведро ковшик, и послышались звуки льющейся воды. Гайзулла перевернулся на другой бок и опять задремал. Сквозь сон мальчик слышал, как встает, потягиваясь, Кулсубай, негромкий разговор, затем чья-то рука легонько потрясла его за плечо.

— Вставай, соня! — весело говорил Кулсубай. — Все на свете проспишь!

Гайзулла открыл глаза. Утреннее солнце заливало избу светом, желтые зайчики прыгали по стенам, по дощатому полу, снег за окном искрился тысячью золотых крупинок. Наташа хлопотала у печи, двигая ухватом. Кулсубай сидел на лавке у окна и натягивал сапоги. Солнце пронизывало его бороду так, что казалось, видна была каждая волосинка. Гайзулла рассмеялся, прыгнул с печи и подбежал к Кулсубаю.

— Агай, мы здесь останемся?

— Нет, дружок, дальше пойдем. А тебе что, понравилось на русской печке спать? — хохотнул Кулсубай.

— Поправилось, — ответил Гайзулла, опуская глаза.

— Ничего, еще наспись! Здесь везде такие, в каждом доме! — Кулсубай натянул сапоги и встал. — Ну, попьем чаю, и айда! Я говорю, пора нам...

Уходя, они долго оглядывались и махали рукой Наташе, которая, провожая их, вышла на крыльцо. Она улыбалась и кричала что-то, но скоро уже не было слышно, что она кричит, а потом дорога свернула, и скрылась за поворотом ласковая, светловолосая женщина в накинутом на плечи полупубке, и маленький домик, и собака, вилявшая хвостом...

От дома к дому, от деревни к деревне ходили хромой мальчик и мужчина с черной бородой. Гайзулла скоро привык к

тому, что каждую ночь спал на новом месте, к тому, что везде их встречали радушно, кормили, оставляли на ночь и часто просили Кулсубай пойти к больному, заговорить боль, прогнать нечистую силу. Обычно Кулсубай оставлял мальчика у хозяев и ходил по деревне сам. В каждом доме спрашивал он о своей жене, но никто не знал о ней, и надежды найти ее становилось все меньше. Кулсубай приуныл, а Гайзулла все сильнее скучал по дому и долгими зимними вечерами, сидя у печки, вспоминал мать, сестер, низенький дом с покосившимися воротами, чувал, отбрасывающий яркие блики на лица сестер и матери, хрупкую березку над могилой отца, знакомые деревенские улицы.

Однажды, когда они выходили из небольшой русской деревушки, их догнала старая женщина в зипуне и валенках. Запыхавшись, еле переведя дух, она схватила Кулсубая за рукав и, еще не в силах сказать что-нибудь, мотнула головой.

— Отдышись, тетушка, — сказал Кулсубай. — Куда торопишься? Я ж от тебя не бегу!

— Ты тот знахарь, что вчера ходил? — прерывистым хриплым голосом заговорила наконец старуха.

— Ну, допустим, я.

— Ох, догнала, слава богу! Дочь у меня старшая захворала, сделай милость, помоги! Я тебе заплачу, чем смогу. . .

Женщина привела их к большому дому с резными наличниками и деревянным подзором вдоль крыши, суетливо распахнула дверь:

— Проходи, проходи! В жару лежит, уже несколько дней. . .

Миновав большие сени, Кулсубай, не раздеваясь, вошел в избу, оставляя за собой талые грязные следы. Больная лежала в углу, на деревянной кровати. У нее было желтое лицо, большие голубые глаза ввалились. Не обращая внимания на вошедших, она негромко и монотонно стонала, положив руки на живот.

— Катерина, лекарь пришел, — шепнула ей старуха.

На лице больной появилась страдальческая улыбка, она повернула голову и поглядела на Кулсубая.

— Где болит? — спросил Кулсубай.

— Здесь, — тихо сказала Катерина и нажала на живот.

— Ясно. Теперь слушай внимательно — мой заговор поможет тебе, только если ты мневеришь, поняла? Если ты хоть чуть-чуть усомнишься, еще хуже заболеешь! Все, кого я лечу, выздоравливают, и ты поправишься, только верь. Я говорю, пока буду читать молитву, думай про себя: «Я поправлюсь, я поправлюсь». Поняла?

— Поняла, — слабо улыбнулась Катерина. — Я тебе верю. . .

— Ну вот и хорошо! — Кулсубай погладил бороду, возвел глаза к потолку и запел, на ходу складывая слова в лад:

Поправляйся, не болей,
Девушка пригожая,
С женкой бедною моей
Ты немного схожая. . .

Знать бы, где она теперь,
Во какой сторонушке,
То ли плачет обо мне,
То ль забыла, женушка?

Раскачайте, раскачайте
Белую березоньку,
Ненаглядной с белых щечек
Оботрите слезоньки. . .

Гайзулла, стоявший у дверей, изумленно посмотрел на Кулсубай.

— Агай, нельзя обманывать, алла тебя накажет! — вдруг вырвалось у него.

Кулсубай даже не обернулся и продолжал напевать, шепча что-то и отплевываясь после каждого куплета. Катерина, глядя на него широко раскрытыми голубыми глазами, сначала вздрагивала, потом порозовела и вздохнула.

Сел бай на коня и поехал в зелена,
Там он с лошади упал и навек в земле пропал!
Раз наелась я овсу во зеленом во лесу
И похвасталась, что вскоре жеребенка понесу!

Гайзулла не выдержал и громко рассмеялся, но Кулсубай, не меняя тона, пропел дальше:

Зря смеешься ты, дружок,
Запри-ка смех свой на замок,
А коль не можешь удержаться —
Иди на улицу смеяться!
Иди отсюда, не мешай,
А то получишь нагоняй!

Гайзулла тут же перестал смеяться и отвернулся к стене, а Кулсубай плюнул еще несколько раз, встал и, глядя на больную, спросил:

— Ну как, полегчало?

— Спасибо, правда стало легче. . . Мама, дай чего-нибудь холодненького, молочка, что ли? — попросила женщина. Старушка облегченно перекрестилась и пошла за молоком.

— Что ж ты делаешь? — недовольно сказал Кулсубай, чуть только они вышли на улицу. — Разве так можно? Чуть не испортил все! Больше никогда так не делай, понял?

— Ты сам, агай, говорил, что обманывать грех. . . — обиженно возразил Гайзулла.

— Так-то оно так. . . — Кулсубай почесал в затылке и некоторое время шел молча, раздумывая. — Только ведь больше

ничем не поможешь... Думаешь, мулла или настоящий ку-реэзэ знают больше меня?

— Все равно плохо.— Гайзулла отвернулся и смотрел теперь куда-то в сторону, лицо у него было нахмурено, губы сжаты, и шагал он решительно, как взрослый, который выговаривает маленькому за какую-то провинность. Кулсубай покраснел.

— Зря ты так говоришь,— опять начал он, откашлявшись.— Ведь эта женщина все равно поправится...

— Как так? — Гайзулла даже остановился и смотрел на Кулсубая недоверчиво, исподлобья.

— А человек так создан, дружок, ему обязательно нужно поверить, чтобы победить болезнь! Я говорю, вот она мне поверила и теперь поправится, ты же видел, ей уже стало лучше!

Гайзулла смотрел все так же недоверчиво.

— Ладно! — махнул рукой Кулсубай.— Подрасти сначала, а потом уж суди, где правда, а где ложь... Давай-ка закусим, что ли? Заморим червячка, я говорю! — Не дожидаясь ответа, он вынул из мешка кусок хлеба и колбасу.— На-ко!

Гайзулла стал с аппетитом есть хлеб.

— Колбасы возьми! — с набитым ртом посоветовал Кулсубай.— Так вкуснее!

— В ней сало свиное, она нечистая,— брезгливо сморщился мальчик.— Грех есть свинину, я сам слышал, как мулла говорил!

— Не говори так, дружок! Еда никогда не бывает грязной! Ты же ешь колбасу из конского сала? Чем же свинья хуже лошади? Все одно — животное... Даже коран разрешает есть сало, если ты голоден. Возьми! — он протянул Гайзулле колбасу.— Одним хлебом сыт не будешь...

Первый кусок Гайзулла проглотил через силу, не прожевав, давясь и все время думая, что это еда грешников. Но уже второй не показался ему таким страшным, и, шагая, он сам не заметил, как съел весь кусок.

— Ну, как? — с интересом спросил Кулсубай.

— Вкусно! — ответил мальчик.— Только ты правду говоришь, что это не грех?

— Не грех, не грех, в еде греха нету! — успокоил его Кулсубай.

Гайзулла улыбался, щеки его порозовели от еды и мороза, черные волосы мальчика отросли с тех пор, как они ушли из деревни, и падали на лоб черным, блестящим чубом. Гайзулла тряхнул головой и вприпрыжку, прихрамывая, побежал дальше.

— Не поскользись! — крикнул Кулсубай.

Гайзулла оглянулся, рассмеялся и побежал еще быстрее, то и дело подскакивая на одной ноге.

Больше месяца Хисматулла не мог прийти в себя. У него была пробита голова и сломаны два ребра, он кашлял кровью и метался на узких нарах. Сайдеямал сбилась с ног, ухаживая за ним, и под конец свалилась сама.

Гульямал настояла, чтобы Хисматулла перенесли к ней в дом. Теперь она уже не бегала, как раньше, в гости к соседкам посудачить о деревенских делах, похудела так, что даже глаза стали больше, посерьезнели. Целыми днями просиживала она возле больного, то прикладывая к его горячей голове мокрое полотенце, то принимая у себя знахарок, чтобы они своими заговорами помогли парню. Даже за водой не ходила, а бежала, боясь хоть на минуту оставить Хисматулла одного! Только однажды она отлучилась надолго со двора, когда ходила просить мулла прийти и почитать молитву над больным.

Выслушав ее, мулла презрительно оглядел с ног до головы.

— Раньше тебе не нужен был мулла, ты звенела косами и смеялась над ним! А теперь ты не нужна мне, красавица! Как ты можешь просить меня, чтобы я шел к человеку, нарушившему коран, продавшему нашу веру русским? Иди, иди от меня, нечистая!

Гульямал опустила голову:

— Я буду каждый день ходить в мечеть и молить за вас аллаха, пожалуйста, придите ко мне! — прошптала она.

— Я же сказал тебе, женщина, в доме неверных и ноги моей не будет! — замахал руками Гилман.

Плача, Гульямал вернулась домой. В тот же вечер у Хисматуллы началась лихорадка. Стуча зубами, он с головой заворачивался в одеяло, и, не зная, чем помочь ему, Гульямал легла рядом на нары и обняла его.

— Почему ты мерзнешь? — говорила она. — Ты же горячий, как печка! Ну, родной мой, что ты дрожишь?

Гульямал прижималась к нему, чтобы согреть его своим теплом. Всю ночь она гладила его, целовала, шптала ласковые слова. К утру Хисматулла уснул, и Гульямал заплакала от жалости и любви к нему, глядя на осунувшееся бледное лицо с испариной на лбу.

С тех пор она уже почти не сходила с нар, лежа рядом с Хисматуллой. Даже когда входила Сайдеямал, Гульямал не обращала на нее внимания, как будто в мире не существовало никого, кроме нее самой и больного Хисматуллы. Парню как будто становилось легче. Он все больше спал и только иногда вскрикивал и терял сознание. Однажды утром открыл глаза и, хотя чувствовал, как он слаб, попытался поднять голову. Увидев в окне ярко блестящий на солнце снег, он бессильно откинулся на подушки.

— Где я?

— Слава аллаху! — Гульямал подошла к нему и радостно улыбнулась. — Ты очнулся!

— Ты, енга?

— Да, ты у меня, твоя мать прихворнула, и я взяла тебя к себе...

— А почему снег? Сколько я лежу? Я ничего не помню...

— Самое главное, что ты пришел в себя! Не беспокойся, ты лежишь уже здесь целый месяц. Сейчас я дам тебе поесть... Хочешь молочка? Вечером придет мать, то-то обрадуется!

— Спасибо. — Хисматулла закрыл глаза и добавил шепотом: — Мне стыдно...

— Дурачок! Я же люблю тебя, кого ты стыдишься?

— Нелегко пришлось тебе со мной...

Гульямал промолчала. По-своему поняв ее молчание, Хисматулла продолжал:

— Ради аллаха, не сердись, ведь я уже пришел в себя и больше не буду тебя беспокоить! Завтра пойду опять на прииск, как только заработаю — за все с тобой расплачусь...

— Эх, кайнеш, кайнеш. — Гульямал закрыла передником лицо и выбежала из дому.

Спустя час пришла Сайдеямал. Увидев, что сын пришел в себя, она так обрадовалась, что заплакала, по-детски всхлипывая, прижалась к его плечу.

— Ну что ты, мама! Ведь все уже хорошо...

— Не буду, не буду, — мать отерла слезы сухонькой ладонью и огляделась: — А где Гульямал?

— Не знаю...

Сайдеямал, хотя и знала, что сыну не нравится Гульямал, лелеяла в душе мысль о том, чтобы сноха и сын жили вместе. Что ни говори, а у Гульямал и скотина есть, и хозяйство, да и молода она еще. Что из того, что вдова? Разве двадцатидвухлетнюю женщину можно считать старухой? Всего на три года старше Хисматуллы... К тому же по обычаю полагается: когда умирает старший брат, младший должен жениться на его жене, а не отдавать ее на сторону! «И собой хороша, и одета лучше всех, чем не жена? Что ему еще падо? И добрая, всегда помочь готова», — думала мать, но, не желая огорчать сына, ничего не сказала ему.

Хисматулла тем временем наблюдал, как она хлопочет в доме — разжигает огонь под казаном, выливает остатки воды из самовара, вытряхивает пепел, вытаскивает из-за чувала комысло.

— Ты что, за водой собралась?

— В ведрах мало для самовара, падо сходить...

Хисматулла поглядел на постаревшую, сгорбленную мать,

на ее худую спину и большие ведра, достающие ей до колен, и скинул ноги с нар:

— Эсей, я сам схожу! Тебе тяжело, — но голова у него тут же закружилась и пол ходуном заходил под ногами.

— С ума сошел! — подхватила его мать. — Разве так можно? Лежи, лежи, поправляйся! — Она вскинула коромысло на плечи: — За водой ходить — бабье дело, сынок. . .

— Я же тебя жалею, мама!

— Не верю я тебе, сынок. . .

— Почему?

— Если бы ты меня жалел, давно уже женился бы!

— Подожди еще немножко, эсей. Знаю, долго ты терпела, да что сделаешь? Даст аллах, Нафиса поправится, вот и приведу ее к нам, и заживем мы втроем припеваючи: вы дома, по хозяйству, а я на прииск ходить буду. . .

— Что ты, сынок! Выброси эти мысли из головы! Один раз взял грех на душу, и хватит, — мать даже в лице изменилась. Она сняла коромысло, поставила ведра и под села к сыну. — И думать забудь о Нафисе! Разве она одна на свете?

— Но почему, мама? Разве Нафиса плохая невестка? Ты же сама хвалила ее. . .

— А разве я сейчас ее ругаю? Но ведь она законная жена Хажисултана-бая!

— После того, что было, Нафиса — не жена ему. . .

— В том-то и дело, сынок, что пока ты болел, все изменилось! Нафиса ждет ребенка, Хажисултан-бай целыми вечерами у них сидит. . .

— Не может этого быть! — У Хисматуллы потемнело в глазах.

— Зачем мне обманывать тебя, сынок?

Хисматулла в бешенстве вскочил с кровати. . .

— Я ему отомщу!

Сайдеямал вцепилась руками в его рубаху:

— Успокойся, сынок, успокойся! Подумай о себе! Если ты поднимешь руку на бая, он не простит тебя, ведь Нафиса ему и вправду жена!

Видя, как волнуется мать, Хисматулла послушно лег в постель и повернулся к стене. Но не прошло и пяти минут, как опять повернулся к Сайдеямал:

— Какое право он имеет ходить к Нафисе?! Ведь он сам опозорил нас!

— Мулла не разводил их, — грустно сказала Сайдеямал. — Ты же знаешь, пока муж не скажет при мулле: «Талак, талак», Нафиса не может идти за тебя. . .

Однако Хисматулла уже не слушал ее. Заметив это, Сайдеямал все же продолжала говорить, надеясь хоть как-то успокоить сына:

— Хажисултан-бай еще пятую жену себе взял, совсем молодую девушку, из соседней деревни, кудаискую...

— У, старый ишак, утроба ненасытная,— Хисматулла закрипел зубами.— Бабий царь!

Желая во что бы то ни стало отвлечь сына, Сайдеямал спросила:

— Гульямал не сказала, куда пошла?

— Нет.

— А ты ее не обидел, случаем?

— Кажется, немножко обидел,— признался Хисматулла.— Сказал, что расплачусь за то, что кормила, вот она и рассердилась...

— Ой, сынок, всегда-то у тебя язык не на привязи! Ведь она к тебе всей душой, жизнь отдать готова, пока ты болел — ни на шаг не отходила, сама не ела, а тебе приберегала, с ложки тебя кормила, пусть даст ей аллах здоровья! Что бы мы делали без нее — не знаю! Как ты мог ее обидеть? Ведь она жена твоего брата!

— Какая она жена? У них и детей-то не было!

— Она в этом не виновата!

— Пусть опять замуж выходит! Ее уже раз десять сватали, а она все хвостом вертит, хиханьки-хаханьки разводит, а жила бы с мужем, и я бы к ней по-другому относился!

— Как ты можешь судить о том, чего не знаешь? Не так уж весело ей живется одной, и не тебе судить о том, что у нее на душе! Сколько люди ни стараются, все равно ничего дурного о ней сказать не могут, хоть к ней и сватаются, и женатые липнут, а она ведет себя так, что комар носа не подточит!

— Что это ты так ее расхвалила? Как сваха! Не за меня ли сватаешь?

— А что? Если и сосватаю, не ошибусь, потому что она нам не чужая, как-никак жена твоего брата!

Хисматулла опять засмеялся:

— Спасибо, эсей, только, кроме Нафисы, мне никого не надо!.. Не люблю я никого, кроме нее, и любить не хочу...

— Вместе жить начнешь, сынок, тогда и любить начнешь, привыкнешь!

— Нет, мама, не заставляй меня жить с Гульямал, не говори об этом!

Мать сходила за водой, вернувшись, молча вытащила из-под нар старый сапог, стала голенищем раздувать огонь в самоваре. Почти сразу из нижних отверстий полетели искры, и самовар затянул свою веселую песенку. Скоро вернулась со двора и Гульямал. Чтобы никто не видел ее заплаканного лица, она взяла веник, подоткнула платье с оборками и стала подметать пол.

— Доченька, попей с нами чаю,— ласково сказала Сайдея-мал. Гульямал покачала головой.— Иди, иди,— продолжала Сайдеямал,— что ты все работаешь да работаешь! Пора и отдохнуть! Садись рядышком, я сама тебе налью... Где твоя чашка?

Гульямал послушно присела на краешке нар и разломил испеченную в золе лепешку. Половину лепешки она положила перед Хисматуллой, а половину еще раз поделила пополам — для себя и Сайдеямал, и каждому дала по кусочку корота.

Пили молча. Хисматулла даже не прихлебывал, как обычно, словно боясь разогнать тишину, паступившую в доме; только плескался разливаемый в чашки кипятком... Сайдеямал посмотрела на сына, перевела взгляд на невестку и не выдержала:

— Что вы молчите? Что за черная кошка между вами пробежала?

Гульямал улыбнулась:

— Хисматулла молчит, что же мне говорить?

— А я думал, это ты язык проглотила,— неловко отшутился Хисматулла.— Ну, раз он на месте, тогда все в порядке...

Напившись чаю, Сайдеямал ушла, а Гульямал принялась хлопотать по дому: вымыла и поставила сушить чашки, сбила масло из собранной за два дня сметаны, развела огонь в чувале, зарезала курицу, выпотрошила ее и опустила в казан... Хисматулла уже спал, а она все продолжала возиться у чувала, тихонько мурлыкая себе под нос и поглядывая на спящего. Наконец, устав, она присела к нему на нары и осторожно, чтобы Хисматулла не проснулся, погладила его по голове, провела ладонью по лицу, вздохнула:

— Почему ты меня не любишь?.. Ну, почему?..

Хисматулла беспокойно заворочался, и она поспешила отойти к своим нарам...

Чуть свет Гульямал снова поднялась и по привычке сразу поглядела в ту сторону, где спал Хисматулла. Нары были пусты. «Ушел...— подумала Гульямал.— Аллах, я же умру без него!» Она поднялась и скорее взялась за работу, чтобы отогнать дурные мысли. Замесила тесто в деревянной кадке, раскатала на доске большие, размером со сковороду, лепешки, затем размещала щипцами в чувале дымящиеся головешки, сгребла угли, положила лепешки на очищенное место и покрыла их горячей золой. Зола, как вода, разлилась по тесту.

— Какая горячая! — удивилась, входя, Сайдеямал.

— Что? — переспросила Гульямал, накладывая сверху угли.

— Говорю, зола у тебя горячая! Когда, бывало, ляжет зола вот так на лепешки, отец Хисматуллы говорил: «Какая горячая!..» — Она помолчала, пригладила платок на голове и спросила опять: — Ты, девка, что, гостей созываешь?

— Нет... — Гульямал вытерла рукавом вспотевшее лицо и

улыбнулась: — На дорогу твоему сыну готовлю, он ведь завтра на прииск собирался?..

— Ну, давай, я тебе хоть помогу,— сказала Сайдеямал.

Они проворно вымыли нары, развели мел в жестяной банке, побелили чувал. Поглядывая на невестку, Сайдеямал видела, как грустно ее лицо.

— А ты не видела на улице своего сына? — вдруг спросила Гульямал.

— Нет. А разве он не сказал тебе, куда идет?

— Что говорить? Я и без того знаю, к Нафисе пошел... — сисясь улыбнуться, сказала Гульямал. — Не может он ее забыть!

— А ты бы заставила... — тихо ответила старушка.

— Значит, вы не против, мама, если б Хисмат на мне женился?

— Конечно, не против! Как ты могла подумать, доченька, что я против? Ведь и по обычаю он должен был это сделать, только вот не так он чтит обычаи дедов, как мне хотелось бы... А уж я сама только и думаю о том, чтоб вы были вместе!

— Правда? — Гульямал счастливо улыбнулась, но тут же лицо ее помрачнело, и она сказала, тяжело вздыхая: — Не любит он меня... Чего я только не делала, мама! И чаем вороже-ным его поила, все равно не подействовало... Уж если кто не любит, ничем не заставишь!

— Чаем? Смотри у меня, еще отравишь его какой-нибудь нечистью! Погоди, дай срок, полюбит,— притворно сердито сказала Сайдеямал и добавила серьезно: — Куда ж он ушел? Темно уже... Может, выйдешь, поглядишь?

Гульямал, будто только этого и ждала, наспех накинула камзол и выскочила из дому. Сайдеямал улыбнулась: «Эх, и я, когда молодая была, вот так же за своим Хуснутдином бежала...» Она вздохнула, вынула из чувала лепешки, ладонью стряхнула с них золу и обтерла тряпкой. В доме вкусно запахло свежеспеченным хлебом. Скоро во дворе послышался скрип снега под чьими-то легкими, быстрыми шагами; вбежала, запыхавшись, Гульямал, и морозом пахнуло из дверей.

— Идет! — сказала Гульямал, торопливо вешая камзол на стену и усаживаясь рядом.

— Где же он был?

— У Хайретдиновых. — Гульямал потеряла красные от мороза щеки, сложила ладони вместе и стала дышать в них, отогревая. — Фатхия-енга его не впустила, сказала, что Хажисултан у них сидит, не то еще что, не разобрала толком, что она там говорила. Она с палкой была и кричала что-то!

— Не ударила? — встревожилась Сайдеямал.

— Нет, грозила только...

Мать вздохнула, и снег во дворе опять заскрипел, на этот

раз под грузными шагами. Хисматулла вошел в дом, опустив голову, и, не раздеваясь, опустился на нары. Гульямал забежала по дому, собирая на стол.

— Почему не раздеваешься или опять куда собрался? Голова болит? — спросила Сайдеямал.

— Да, сейчас пойду, — мрачно ответил Хисматулла.

— Куда? — в один голос спросили мать и Гульямал.

— На прииск.

— Нет, все-таки ты сумасшедший! — сердито сказала мать. — Что это за разговоры? Погляди, что творится на улице — ветер, мороз! Тебя что, гонят отсюда? Так нельзя, сынок, ни меня не уважаешь, ни енгую свою! Смотри, как она старалась, сколько наварила, стол накрыла, мы ведь тебя ждали!

Сайдеямал помогла сыну раздеться и усадила ужинать. После ужина Гульямал приготовила Хисматулле постель, улеглась сама на другом конце нары. Сайдеямал уложили на лавку за чувалом. Гульямал погасила огонь. Все трое молчали, и эта гнетущая тишина, казалось, была так тяжела, что давила на плечи. Перекинувшись несколькими словами, Сайдеямал и Хисматулла снова замолкли и, видимо, уснули, а Гульямал уткнулась в подушку и беззвучно заплакала. «Почему я такая несчастная? — думала она. — Завтра он уйдет, и меня начнет есть тоска. О аллах, помоги мне стерпеть эту муку! Лучше бы он лежал больной у меня на нарах и не помнил себя, тогда я могла бы быть с ним рядом и спать на одних нарах, прижавшись так тесно, как будто мы одно целое! Не могу больше одна, не могу!..

XXI

Добравшись до прииска, Хисматулла сразу отправился к конторе. Стремясь скорее попасть в тепло после долгой, холодной дороги, он рванул дверь, ведущую в коридор, и постучался в комнату, где сидел обычно штейгер. Ему никто не ответил. Хисматулла подергал дверь, она была заперта. Две другие двери тоже были закрыты. Хисматулла вышел на крыльцо и увидел пожилого старателя, понуро сидевшего на ступеньках.

— Ты, браток, чего здесь делаешь? — смерив его взглядом с головы до ног, спросил старатель.

— Так... — неприятно ответил Хисматулла: ему не понравилось, что его так пристально разглядывают.

— Знаю, что так, — старатель усмехнулся. — Дело-то у тебя какое?

— У меня? Мне хозяина надо, на работу хочу наняться! — сказал Хисматулла с вызовом.

Старатель махнул рукой. У него было обросшее жесткой седой щетиной лицо, у губ лежали глубокие, усталые складки,

и Хисматулле стало стыдно, что он так невежливо говорит со старым человеком.

— Я тоже за работой.— Старатель вздохнул и, передернув плечами от холода, затянул потуже пояс поверх телогрейки. Телогрейка была худая, из дыр ее ключьями торчала вата.— Черт знает что здесь у них творится! Никакого порядка... При старом управляющем такого не было!

— Как? — изумился Хисматулла.— А где же этот, как его? Ну, в золотых очках!..

— Аркашка-то? — Старатель скрутил толстую козью ножку, не торопясь разжег ее, закашлялся, поперхнувшись дымом, вытер сухой темной ладонью заблестевшие глаза.— Его уж тут, почитай, с месяц как нету... Не слыхал разве? И хозяин другой, весь прииск у Галиахмета-бая сразу купил, управляющего своего поставил, штейгера сменил, одного только немца оставил...

— А кто же теперь?..

— Управляющий? Накышев, говорят, по фамилии, а штейгер — Сабитов, свой, мусульманин, стало быть. Сам-то я их не видел, да только сдается мне, что мусульмане своих в обиду не дадут, а как ты думаешь?..

— Не знаю... — ответил Хисматулла.

— Да... — продолжал старатель.— Вот прежний-то, Аркашка, в разведку брал, а потом всех сразу и выгнал! С тех пор без работы хожу... Куда зимой идти? В артель не возьмут, а одному мыть — не лето, вишь, амуниция? — Он показал на телогрейку.— Такие дела, хоть бы научиться травой да ветками, как коза, перебиваться, то-то хорошо стало бы! И хлопот себе никаких — ни работы, ни черта!..

— А на новом участке кто хозяином, старый управляющий?

— Как бы не так! Новый, Рамиев, все те земли скупил у Галиахмета еще до того, как золото нашли!

— Как?

— А вот так! Ты сам-то откуда, часом, не из Сакмаева?

— Оттуда...

— Ну, тогда знаешь, стало быть, живет там у вас такой Хайретдин? Он место нашел, а Галиахмет ему за это много денег заплатил...

— Это вранье!

— За что купил, за то и продаю! — вспыхнул старатель.— Что ты меня перебиваешь? Если знаешь сам лучше, может, мне расскажешь? — И добавил уже спокойнее, видя, что Хисматулла покраснел и опустил голову: — Галиахмет у того человека бумагу взял, а старый управляющий хотел новому доказать, что это его земля, понял? Идем сядем, а то в ногах правды нету...

Они стряхнули снег с лежавшего поблизости бревна и сели рядом. Старатель опять свернул козью ножку из старой, пожелтевшей бумаги, высек огонь и закурил.

На дороге показался парень, он шел к конторе, держа что-то в руках, и скоро стало видно, что он несет хомут, уздечку и поперечник.

— Эй, Зинатулла! — окликнул его старатель. — Зазнался? Парень вразвалку подошел к бревну:

— Сайфетдин-агай! А я иду и думаю, кто бы это мог быть?

— В конюхи нанялся?

— За конторскими лошадьми, агай!

— Все поровишь поближе к начальству, — усмехнулся старатель. — Смотри, когда сам начальником будешь, передо мной носа не задирай!

— Зачем смеешься? .. — обиделся конюх.

— Ну, с тобой уж и пошутить нельзя, Зинатулла! Какой ты вспыльчивый. — Сайфетдин рассмеялся. — Давно здесь?

— Порядком уже. . . А ты все на золоте работаешь?

— Да вот пришел, может, дадут работу. Как говорится, у нового хозяина и рубль новый!

— У кого ж ты просишь? Новый-то в Оренбург укатил!

— Когда? — вскочил Сайфетдин.

— Да дня три будет.

— Ах, я дурак! — старатель с досадой хлопнул себя по лбу. — Старый дурень! И хожу, и хожу каждый день, нет того, чтобы спросить! — Он смял и выбросил папироску.

Старые знакомые разговорились. Хисматулла не вмешивался в их разговор, только время от времени вставал и начинал размахивать руками, чтобы согреться. Сайфетдин и Зинатулла говорили о приисковых делах, о ссоре старого хозяина с новым, о том, как уехал старый управляющий. . . Скоро конюх ушел.

— Вишь как! — Сайфетдин обернулся к Хисматулле и хмыкнул. — Мы спины гнули, чтоб золото найти, а Закиров не гнул, а подцепил! Уж как он перед Аркашкой хвостом вилял, всегда на задних лапках: «Аркадий Васильевич, вы! .. Аркадий Васильевич, ах!» — а потом — хват! — и ограбил! Вот, должно быть, Аркаша наплакался! Да он все равно небось в пакладе не остался, что-нибудь да унес за пазухой. . . — Сайфетдин прищурился. — А ты что молчишь, ни слова не скажешь?

— А что говорить? Меня это не касается. . .

— Не касается? Ну-ну! А мороз-то хоть тебя касается? Смотри, как он тебе уши оттрепал, все красные! — хохотнул Сайфетдин. — Пойдем-ка пошукаем в бараках, надо место на ночь найти, не в сугробе же устраиваться. . . Пойдешь со мной утром в старом отвале мыть?

— А как?.. Ведь управляющего нет, кто нам разрешит?

— Ничего, мы пока без разрешения! — усмехнулся Сайфетдин. — Авось раз нет никого, стало быть, и гнать некому! Вставай, а то в сосульку превратишься...

Рано утром Сайфетдин разбудил Хисматуллу, и они пришли к старому отвалу. Сайфетдин сколотил из трех досок желоб, настелил сверху прутья и сказал, не оборачиваясь:

— Вот эти прутья для того, чтобы удержать золото, понял? Вода уносит гальку, камешки, а золото застревает в прутьях, сейчас увидишь. — Он расколотил доской лед, установил у края проруби желоб, закрепил его со всех сторон песком и пустил воду. Вода хлынула в желоб, ударяясь о планки и прутья, брызгая во все стороны. — Это отвал старый, его уже мыли, стало быть, ила тут больше нету, — продолжал Сайфетдин, следя за водой. — Видишь, песок, как крупа, рассыпается? — Он взял на лопату песок и кинул в желоб. Чистая, звенящая маленькими льдинками вода сразу замутилась, потом стала желтой и, наконец, бурой.

Сайфетдин обернулся.

— Слушай, а что это я тебе говорю? — сказал он. — Ты ведь тут небось не в первый раз, а? Ну, говори, мыл уже?

— Приходилось... — смущенно ответил Хисматулла. Ему стало неловко оттого, что он сразу не сказал об этом Сайфетдину, и получалось так, вроде бы он нарочно не сделал этого вовремя, чтобы посмеяться над старателем. Хисматулла покраснел: — Я потому... Я не хотел... Я думал, что нехорошо перебивать! — выпалил он.

— Я так и подумал, — удовлетворенно кивнул головой Сайфетдин. — Прочисти-ка это, посмотрим, как ты умеешь работать! — И он показал на нижний конец желоба, где скопились мелкие камешки.

Хисматулла выбрал их из желоба и выбросил в яму за отвалом. Сайфетдин, следивший за ним, похлопал его по плечу:

— Все правильно! Продолжай...

Скоро лед вырос на черенке лопаты, и она потяжелела. Поверхность желоба тоже покрылась льдом. Лапти набухли от воды, от холодного ветра у Хисматуллы зацепало колени. Но Сайфетдин бросал в желоб лопату за лопатой широкими плавными взмахами, и парню стало стыдно останавливаться, когда пожилой человек еще продолжает работать. Наконец Сайфетдин убавил поток воды, раздвинул прутья и ладонью сгреб песок, оставшийся на дне. Маленькие черные глазки его с надеждой высматривали золото среди гальки, песка и шлихов. Вдруг в середине блеснула, как искорка, желтая крупинка. Негнущимися озябшими пальцами Сайфетдин выловил ее, завернул в тряпицу, положил в карман и опять стал глядеть в желоб, перебирая песок. Затем тяжело вздохнул и поднялся на ноги:

— Зря мучились... Эх, кабы не зима, а лето... Ну да что там, пошли!

— Куда?

— Туда же, куда и вчера...

Они вскинули на плечи лопаты, кайлы и пошли к баракам.

— Артель собрать надо,— говорил по дороге Сайфетдин.— Из таких вот, как мы, из тех, что без работы сидят. Все полегче станет...

К вечеру ударил сильный мороз, и сидеть в заброшенном бараке, где они ночевали вчера, стало невозможно. Сайфетдин и Хисматулла долго искали себе места в теплых бараках, но там была такая теснота и давка, что и сидя нельзя было устроиться спать. Найдя все же барак посвободнее, Сайфетдин лег на земле поближе к печке, так как все нары, тянущиеся вдоль стен, были заняты старателями. Железная печка была вся покрыта сушившимися лаптями, катами и портянками, от них поднимался густой белый пар. В бараке было душно, и горло спирало от неприятного запаха — и грязь, и пот, и еще бог знает что,— все смешалось в тяжелом воздухе. Хисматулла, не найдя места возле печки, повесил лапти на деревянный гвоздь, чтобы стекла вода, напихал в портянки сена и завернул в них ноги. Сайфетдин уже дремал, прикорнув у нар. Хисматулла лег рядом с ним, но не успел и заснуть, как почувствовал сильное жжение в спине — клопы и блохи кишмя кишели в бараке, и Хисматулла около часа вертелся, поворачиваясь с боку на бок, ожесточенно царапая то спину, то ногу. Лежавшие рядом с ним то и дело просыпались от его возни и недовольно ворчали: «Расчесался! Не любишь блох, кати на улицу!» — и Хисматулла пополз по пыльному полу ближе к дверям. У дверей хоть и дуло, но клопы и блохи беспокоили меньше, однако и тут Хисматулла не смог уснуть. Мысли о Нафисе не давали ему покоя...

«Так и не вышла ко мне,— думал он.— И Хажисултан к ней ходит... Мать говорит, греха боится, не может никак нарушить... Как же раньше ничего не боялась? Эх,— стукнул он кулаком в стену,— сам я виноват, что так случилось! Тянул все, тянул, надо было сразу ее увести!.. А теперь, конечно, она думает, что из-за того, что со мной убежать хотела, аллах наказывает ее, ведь так и мулла говорил,— во всем себя винит, наверно! И в том, что отец умер, и в том, что брат из дома ушел с этим курээ... Что же делать? Хоть бы увидеть ее, поговорить!.. Чертова старуха, только и знает, что палкой размахивать! Мало ей того, что нашу жизнь загубила! Не запрети она Нафису в сарае, все могло быть по-другому...»

Хисматулла уснул лишь перед рассветом и скоро был разбужен шумом пробуждающегося барака. Казалось, в бараке стало еще теснее, все толкались, собираясь на работу, наскоро

жевали на ходу сухари из мешочков, переругивались, разбирая каты и лапти. Через час барак опустел, в нем остались только те, у кого не было работы. Они собрались у печки и молча сидели, поворачиваясь к огню то спиной, то боком. Сайфетдин подошел к ним.

— Ребята, может, сходим в старые шахты, попробуем сами мыть? Все равно дела нету...

Старатели молчали. Потом один из них молча показал на свои рваные лапти:

— А с этим что делать? И есть там нечего... Какая работа без еды? Если бы хоть одежда была или тепляк там стоял, тогда другое дело!

— Ну, так идемте к тем, у кого тепляки есть! — предложил Сайфетдин. — Хоть что-то заработаем...

— Мало там таких оборванцев, как мы, толчется! — сказал один из старателей, натягивая на ноги неналезающие лапти. — Если б свой тепляк...

— Зимой всегда про тепляки говорим, а летом забываем, — добавил другой. — Вроде той собаки, которая думает: «Дожить бы до лета, из костей дом построила бы!»

— Чем спорить попусту, айда на шахту! — вмешался Сайфетдин. — Хоть на ту, где осенью рыть начали, вдруг там счастье наше лежит?

— А как подавать? Лошади-то нету, и тачки нет! Земля мерзлая, вода далеко, нет, я не пойду! — заявил тот, что натягивал лапти.

— Нас же много! — возразил Сайфетдин. — Можно и на санках подвозить, шахта неглубокая, да и озеро, по-моему, как следует не замерзло, сделаем прорубь, воду по трубе подведем, — убеждал он.

Скоро четверо старателей поднялись, чтобы идти с ним, пошел и Хисматулла.

Старатели освободили шахту, покрытую сверху жердями, поставили над ней ворот, чтобы поднимать из ямы воду, и приделали корзину. Сайфетдин первым спустился в шахту. Наступила очередь Хисматуллы. Он никогда еще до этого не спускался в шахту и, как только корзина стала погружаться в темноту, почувствовал, что очень боится. Ухватившись за канат обеими руками, он сел в корзину, поднял голову и увидел, как медленно плывет над головой, уменьшаясь, белое пятно света, в котором еще можно было различить серые клочки облаков. Корзина вдруг стала раскачиваться, ударяясь краями о бревенчатый сруб шахты, и Хисматулла сразу вспомнил, как один из старателей наверху посоветовал ему высунуть одну ногу на случай, если корзина зацепится, и тут же перебросил ее через плетеный край. Спустя некоторое время снизу запахло спертым, застоялым воздухом, и корзина стукнулась дном о

землю. Ослабленный канат, скрутившись змейкой, улегся рядом с ней, неожиданно вздрогнул, как живой, подпрыгнул, натянулся и в следующую минуту уже тащил пустую корзину вверх.

В шахте было сыро, но довольно тепло. Глаза Хисматуллы привыкли к темноте, он увидел в стороне от ствола шахты, в одном из забоев, еле заметный огонек и двинулся навстречу. Однако не успел он сделать и двух шагов, как сильно ударился головой о подхват. Искры посыпались у него из глаз, и, вскрикнув, Хисматулла навзничь упал на землю.

— Сильно? — спросил подбежавший Сайфетдин. — Больно ушибся? Где? Прости, забыл предупредить, чтобы ты шел, нагнувшись, не сердись. . .

Хисматулла встал, потирая растущую на лбу шишку:

— Ничего, агай. . . До свадьбы заживет!

— Ну и ладно! Иди за мной, не отставай.

Забой становился все уже, местами они шли, совсем согнувшись. Сайфетдин, подняв свечу, осветил штрек и осмотрел его. Предохранявшие от обвала подхваты из бревен, крепления и огнева¹ от постоянной сырости покрылись грибками и плесенью. Сверху, звеня, монотонно капала вода. Под ногами скользила глина. Дойдя до конца забоя, Сайфетдин поднес к глазам кусок породы и растер его пальцами.

— Остатки кварцевой жилы, — важно сказал он, поглядывая на Хисматуллу. — Такие вот как раз, когда размельчаются, становятся золотым песком. . .

— Откуда ты знаешь, агай?

— Поработаешь с мое на золоте, и не то узнаешь! Я начал, когда тобой еще и в материнской утробе не пахло! Правда, нажиться я на этом деле не смог, хоть земля до сих пор не придавила, и за то спасибо. . . — Сайфетдин взял кайлу, выкопал со дна забоя крупные черные камни и приготовил место для креплений по бокам. Его пальцы проворно и легко скользили по черенку кайлы. Он наполнил корзину породой, запрыгся в тачку и потащил ее по темному забою.

— А я? — крикнул ему вслед Хисматулла.

— Побудь пока тут, — глухо отозвался Сайфетдин.

Вернувшись, он с силой бросил об землю пустую корзину.

— Бери лопату! Пошли! Зря старались! — сказал он.

— А что случилось!

— Не отставай!

Поднявшись наверх, Хисматулла увидел мужчину высокого роста, разбиравшего насос по частям. Мужчина был богато одет и сердито бурчал что-то себе под нос.

¹ Поперечная перекладина на креплениях.

— Кто это? — шепотом спросил Хисматулла у одного из старателей.

— Это его шахта, — ответили ему.

Мужчина сбросил вниз насос и решетку и обернулся к старателям, кучкой стоявшим в стороне.

— Уходите! — крикнул он. — Хотите, чтобы я позвал урядника? Вечно задарма все получить хотите...

Понуро опустив головы, старатели вернулись в барак...

XXII

Отчаявшись получить работу на прииске, Хисматулла решил вместе с другими старателями отправиться в лес. Может быть, он сумеет наняться там и хотя бы какое-то время прокормиться. А то, гляди, и заработает немного и вышлет матери денег...

До деляны, где, по слухам, нужны были пильщики и дровосеки, они шли целый день. И хотя Хисматулла с детских лет любил лес и вроде становился сильнее, стоило ему очутиться в лесной чаще и подышать смолистым ароматом, но сейчас он не испытывал никакой радости и даже оживления. Лес, обступивший дорогу, был сумрачным, чужим, точно его заколдовали злые и недобрые духи. И толстые сосны с надвинутыми на брови снежными шапками, и зябкие осины с редкими черными листьями, и дубы, шелестевшие жестью, и серые низкие облака, проносившиеся, как дым, над верхушками деревьев, — все это было полно тревоги, таило скрытую опасность. Ветер, налетавший с гор, бросал с маху холодные россыпи снега, бил в лицо, и Хисматулла ежился и кутался в негреющее рванье.

Когда вступили на просеку с торчавшими пеньками, ветер утих и посыпал крупными белыми хлопьями ленивый медлительный снег, и все старатели побелели. Идти стало тяжело, и люди, месившие лаптями снег, тихо и беззлобно переругивались, но скоро замолчали, точно хотели поберечь силы, шли размеренно — след в след.

Лишь к вечеру, в сумерках, запахло дымом костров, послышались голоса возчиков, погонявших лошадей, стук топоров, затем, рассекая тишину, рухнуло где-то поблизости дерево, и Хисматулла засмеялся, радуясь, что скоро он будет в тепле, под крышей.

— А кто тут работает? Что за люди? — спросил он.

— Безлошадники, с Кэжэнского завода, — ответил Сайфетдин.

Теперь было уже слышно, как шаркают пилы, с треском валятся деревья, и, хотя Хисматулле окружал тот же лес, ему

казалось, что здесь уже не так холодно, как было в пути. Повалив дерево и очистив его от веток, лесорубы с помощью небольших слег складывали бревна на расчищенную от снега и утоптанную площадку, звали подрядчика, и появлялся маленький человечек в телогрейке, суетливо бегал с аршином, ставил зарубки. Лесорубы делали передышку, дымили махрой, от их разогретых спин струился пар.

— Тут артелями сбиваются, чтоб легче было, — пояснил Сайфетдин. — Но для артели нужна лошадь, а так туда и не суйся... А безлошадники все на своем горбу вывозят...

— Как это? — не понял Хисматулла.

— А вон видишь горку? Доволокут туда, сбросят вниз, а потом впрягаются сами в сани и тащат...

Постояв немного, старатели разошлись кто куда. Хисматулла сунулся было к безлошадникам, но они, окинув его хилую и нескладную фигуру, не приняли его к себе. Бродя по участку, он натолкнулся на паренька, сидевшего на пеньке с пилой в руках.

— Ты один, что ли? — спросил Хисматулла.

— Да ну их, сволочей, — паренек сплюнул. — Как будто я виноват, что еще не вырос...

— А давай мы попробуем с тобой...

— А сдюжишь?

Они утоптали снег под высокой сосной, подрубили ее с одного бока и начали пилить.

Поначалу все шло хорошо и легко — острые зубья пилы вгрызались в дерево, желтые опилки брызгали с двух сторон, но чем пила глубже уходила в древесную мякоть, тем тяжелее было ее тащить. Она часто застревала, гнулась и ныла тупым звуком, но Хисматулла, подражая заправским лесорубам, подбадривая своего напарника, весело покрикивал:

— Тяни живей! Тяни быстрее...

Ему стало жарко от злости и лишних усилий, он остервенело дергал пилу, но чувствовал, что уже выбивается из сил. Осталось допилить совсем немного, когда сосна затрещала угрожающе, качнулась, какое-то время не двигалась, как бы раздумывая — падать или еще повременить, потом, разрубая воздух свистящим ударом, грохнулась в сугроб, подняв облако снежной пыли.

Хисматулла не понял, какая сила отбросила его в сторону, а когда поднялся, отряхивая снег, то увидел своего напарника, побледневшего от страха.

— Ну чего ты?

— Чуть не убило, — просипел тот, словно еще не веря, что он чудом остался жив.

— А пила где?

— Вот,— он поднял и протянул два обломка пилы.— Что теперь будем делать?

Хисматулла чуть не заплакал от обиды, но, взглянув в растерянное и жалкое лицо напарника, сжал зубы, нахмурился:

— Ладно, со всеми бывает, кто впервой... Бери топор!

Они обрубили ветки, очистили от коры ствол и не успели выбрать другое дерево, как стемнело и нужно было идти на ночлег.

В рубленом, барачного вида балагане было тепло и сумрачно. Маленькая железная печка, стоявшая посредине, и освещала балаган и обогревала, но тепло было только тем, кто находился близко около нее. На длинном колене железной трубы, протянувшейся под потолком, уже висели мокрые портянки, от них шел пар, и в воздухе круто замешивался запах пота и давно не стиранных рубаш.

Пристроившись на краешке нар, боясь, как бы его не согнали и с этого места, Хисматулла прислушивался ко всему, приглядывался.

— Говорил я тебе, мусульманин — это мусульманин, он всегда поможет правоверному, — с горячностью утверждал человек с острой козлиной бородкой своему соседу.— Кто оказался прав?

Сосед его сидел к Хисматулле спиной и чинил лапти, но, как только он начал говорить, Хисматулла узнал по голосу Сайфетдина.

— Что ты ко мне пристал? Видишь, я лапти чиню,— отвечал Сайфетдин.— Дело не в мусульманине, а в человеке, понял? Рано еще хвалить! Хваленая девушка на свадьбе воздух портит, слышал? Вон Хажисултан или Галиахмет-бай... Какой мне толк от того, что они правоверные, раз в животе у меня и так и так пусто? Галиахмета хоть тупым ножом режь — кровь не покажется, такой жадный! Чего ж ты этого нового выгораживаешь? Живы будем, поглядим, что за птица этот Рамей, а пока судить без толку...

— Ошибаешься, Сайфетдин-агай! Я его сам видел, он на плохого человека не похож. Улыбнулся мне и сказал: «Никого без работы не оставлю...»

— Ладно, ладно,— отмахнулся Сайфетдин. Он натянул лапоть на колодку, поддел острием кочедыка сплетение, пропустил лыко через отверстие и постучал по этому месту, чтобы расправить строчку.

— Посмотрим еще, кто прав будет! — не унимался человек с козлиной бородкой.

Хисматулла обратился к нему:

— Агай, скажи, о чем спорите?

— Не спорим, а говорим! — раздраженно ответил тот.

— А чего ты задаешься? — спокойно заметил Сайфетдин. — Тебя по-хорошему спрашивают! Знаешь — ответь, а не знаешь — так и скажи, что не знаю, мол, — и пропустил лыко в нрвое отверстие.

— Кто не знает, я?.. — человек с козлиной бородкой задыхнулся. — Да разве есть хоть что-нибудь, чего я не знаю?! Ведь и эти новости вы узнали от меня! Знали вы, что управляющий приехал? Не знали! Знали, что за крепления вдвойне платить будут? Нет!

Однако скоро, сменив гнев на милость, он отвел Хисматуллу в сторону и стал шептать что-то.

— Балаболка! — тихо сказал Сайфетдин. — Язык, как мочало, обтрепался...

Тем временем человек с козлиной бородкой, разойдясь, стал говорить громче:

— Новый управляющий, Гарей Накышев его зовут, запомнил? Так вот, запомни сразу и другое — он свой, мусульманин, хороший человек. Вчера он из Оренбурга приехал, я его встретил, когда крепы отвозил на санках. Он сам меня остановил, за руку поздоровался, говорит: «Салям!» Ей-богу, не вру, зачем мне врать? Сам остановил и поздоровался, рука белая, мягкая, веселый такой, все время смеется! Говорит, как тебя зовут, передай, говорит, своим, что нарубленные крепы я все у вас скуплю и за ценой не постою! Вот какой он, наш новый управляющий! По плечу похлопал, говорит, чем занимаетесь, приходите ко мне, у меня ни один без работы не останется...

— И таких ребят, как я и Мутагар, на работу возьмет? — спросил Хисматулла, указывая на своего напарника.

— А почему нет? Конечно, возьмет! Он свой человек, это сразу видно! А если б не был свой, разве стал бы он с таким, как я, за руку здороваться?

— И у нас купит заготовки? — спросил один из старателей. — Мы много нарубили...

— Купит! Я сам ему скажу, будь уверен!

— А сколько будет платить, не сказал?

— Я и не спрашивал, как можно? Ты что думаешь, если он со мной за руку поздоровался, он от этого таким, как я, стал? Нет, наш начальник — большой человек, самому Рамею близкий, говорят! А уж богаче Раменя никого нет, все прииски у него в руках!...

— Как Хажисултан? — робко спросил Мутагар.

— Что там Хажисултан, ему и Галиахмет-бай в подметки не годится! Тьфу! Все наши баи для него — сор, не больше! У Раменя знаешь сколько добра? Лошади и коровы тысячами, по тысяче в каждом стаде, вот какой он богатый!

— Сам видел? — не отрываясь от работы, насмешливо спросил Сайфетдин.

— Не видел, говорили мне...

— А не видел, так и не брешь! Он же в Оренбурге живет, где там скот держать? У него в руках золото, плевать ему на твоих коров!

— Ну, плевать... У богачей всегда коровы и лошади есть! Какой же без этого богач? — не сдавался человек с козлиной бородкой.

— Какой, какой! Самый обыкновенный!.. — Сайфетдин посмотрел на собеседника и отложил лапти в сторону: — Давай-ка спать, хватит на сегодня!

— Рано еще!

— Ну и что ж, что рано? И вставать завтра тоже рано. — Сайфетдин накинул на себя армяк и растянулся на нарах.

Старатели разбрелись по своим местам. Одна за другой гасли зажженные в глубине барака сальные свечки, кое-где еще шептались, но Хисматулла уснул сразу, будто провалился в темную глубокую яму. Проснулся он внезапно, среди ночи. Люди все еще шептались. Лежа на нарах и прислушиваясь, Хисматулла ловил обрывки этого шепота. Старатели говорили все о том же — о золоте, тяжелой работе, о том, как из рук в руки переходят прииски, и каждый раз еще хуже становится жизнь. От этих разговоров на душе Хисматуллы стало опять тревожно, но усталость была такой, что он опять уснул и проснулся, когда уже рассветало.

— Вставай, Мутагар! — толкнул он лежавшего рядом напарника.

— Еще немножко, подожди, еще чуть-чуть, — забормотал спросонья Мутагар.

— Вставай, вставай! Сайфетдин-агай и другие давно уже ушли на прииск! Давай быстрее закончим на делянке и тоже пойдем в контору, заодно и о цене за крепы сторгуемся. Может, тогда и увезут сами, а то на санках тяжело — не под силу нам будет...

— Ну и сны мне снились! — Мутагар сел, почесывая за пазухой. — Всю ночь одна какая-то чертовщина!

— Ты был как больной, — сказал Хисматулла. — Я даже думал — не простудился ли ты! Или испугался, когда дерево упало, все бормотал и звал кого-то...

— Не помнишь, какое имя я называл? — Мутагар засмеялся: — Может, девчонку звал?

— Да нет, вроде просил у кого-то хлеб.

— И во сне хлеб! — Мутагар вздохнул, улыбка сбежала с его остроногого худого лица. — Когда ешь не досыта, всегда снится хорошая еда.

Когда Хисматулла со своим напарником подошли к делянке, тут уже всюю кипела работа.

Ночью выпал снег, к утру подморозило, дул резкий, пронизывающий ветер, и старатели то и дело прикрывали рукавицами лица, словно боялись, что ветер обожжет щеки.

Туго поскрипывал под полозьями саней снег, фыркали заиндевелые лошади, покрикивали возчики, в морозном воздухе далеко разносился стук топоров и визг пил.

Хисматулла с товарищами выбрали дерево, попрыгали вокруг него на снегу, пытаясь согреться. Мороз перехватывал дыхание.

— Давай! — поднимая топор, сказал Хисматулла. — Поработаем, и нам станет тепло...

Он взмахнул топором, и свежие, пахнущие смолой щепки полетели на снег.

XXIII

Узнав, что новый управляющий за двойную цену скупает намытое в верховьях Юргашты золото, люди хлынули на прииск со всех окрестных деревень.

Едва занимался рассвет, как целые толпы старателей окружали контору — небольшой рубленый дом с крыльцом — и стояли там часами, обросшие, грязные, с мешками за плечами, чайниками, санками, кайлами и лопатами, чтоб получить работу. Вечером они расходились, ночевали в заброшенных землянках, в наскоро сколоченных балаганах, а то и просто в шалашах, у костра. Ни в один теплый барак нельзя было протиснуться и отвоевать там место хотя бы не на нарах, а где-нибудь у стены, чтобы сесть, скрючившись, и скоротать там ночь.

Хисматулла и Мутагар, не расстававшиеся теперь, тыкались то в балаган, то в барак, но их отовсюду гнали, а утром, когда они прибегали к конторе, там уже тянулся огромный, шевелящийся и гудящий хвост очереди. Однако проходили дни, работу получали только редкие счастливики, а на прииск шли все новые и новые толпы искателей счастья и удачи, и он становился похожим на гигантский вокзал, куда прибывали пассажиры, не находившие себе ни пристанища, ни работы. До города было далеко — без малого триста верст; хлеба, который выпекали на месте, не хватало даже для тех, кто уже имел работу, да новый управляющий и не позволял продавать хлеб на сторону, поэтому люди голодали, жили на одной картошке и на принесенных с собой сухарях. Хисматулла и его напарник перебивались подачками и уже еле держались на ногах.

Новый управляющий властвовал на приiske как хотел. Он уволил старых служащих, неугодных ему, на все посты поставил привезенных с собой из города и, пользуясь тем, что люди все прибывали и прибывали на прииск, снизил расценки работающим. А чтобы они не роптали, он не говорил правды тем,

кто каждый день собирался утром у конторы, — они стояли там как угроза. Пусть те, кто работал под землей, в шахтах и на земле, видят, сколько охотников получить работу, и дорожат ею.

Теперь уже никто не расхваливал нового управляющего, в очереди у конторы с утра до вечера гудели рассерженные голоса — люди вспоминали прежнего начальника и не скупилась на слова, когда речь заходила о новом.

— Вот тебе и мусульманин! Вот тебе и правоверный!..

— А еще Аркашку ругали! При нем небось не голодали!

— Эх, та кобыла, что уже подохла, всегда молочная!..

Все начальники один одного стоят — один похитрее, другой покруче, а служат они, как собаки, одному хозяину — золоту!..

Когда исчерпывался один разговор, тут же, легко подожженный, вспыхивал другой.

— Может, лучше на завод податься?

— Не один черт, где спину гнуть — здесь или там?

Однажды, подойдя к конторе, Хисматулла увидел возбужденную толпу, осаждавшую крыльцо. Потом толпа отвалила от крыльца и бросилась к воротам, в открытый двор.

— Что случилось? — спросил Хисматулла у одного старателя с торбой за плечами. Тот стоял, опираясь на суковатую палку, и тоже тянул шею, привставал на носки, чтобы что-то увидеть.

— Да вроде новый управляющий прибыл! Накышев!

Толпа, шумевшая у крыльца и ворот, отхлынула, отступила, на крыльце показался толстый человек в рыжей лисьей шубе и такой же пушистой, красной, как огонь, шапке. Он что-то крикнул, недовольно нахмурился, махнув рукой, и к крыльцу, давя людей, подкатила кошевка, запряженная парой лошадей.

— Начальник! Начальник! — закричали в толпе. — Не томй душу, скажи, чтоб зря мы тут не пропадали, — будет работа ай нет?

— Обносились все!..

— Вшей кормить на нарах нечем!.. Голодаем!..

— Хуже подневольных, выходит!.. Не томи — скажи правду!

Не отвечая, управляющий сбежал с крыльца, сел в кошевку, накрыл ноги меховой полостью, и лошади рванулись, разваливая надвое толпу; кучер гикнул, привставая на козлах, и кошевка умчалась, оставляя позади крутящийся белый вихрь!..

— Накормил всех досыта! — кто-то хрипло рассмеялся. — Зато наш, мусульманин, — подохнуть бы ему!..

— Грех так говорить! Не гневи аллаха!.. Он не царь, чтобы всех нас пригреть и накормить!..

— Ну и жди милостыни от него, а я не буду!.. Пропади оно все пропадом, но ждать больше нету мочи!..

Толпа стала быстро рассасываться, люди расходились по баракам, и скоро на дворе остались только Мутагар и Хисматулла. Они сели рядом на бревно, прижались друг к другу и замерли. Вдруг на дороге показались четыре лошади, игриво бежавшие от проруби; скидывая ноги, они взрывали копытами укатанный снег. Одна из них, карей масти, остановилась недалеко от ворот, легла на снег и стала перекатываться с боку на бок. Но тут щелкнул кнут, и лошадь вскочила, встряхнулась так, что снег, налипший на ее шерсти, полетел на парней. От реки верхом ехал конюх и постреливал кнутом.

— Тебя, случаем, не Хисматуллой зовут?

Хисматулла, узнав конюха, радостно вскочил с места:

— Зинатулла-агай!

Зинатулла спешился, обвязал поводья вокруг лошадиной шеи и подошел к ребятам:

— Без работы?

— Да, Зинатулла-агай...

— А Сайфетдина я устроил, в шахте работает, — важно, точно хвастаясь, сказал Зинатулла. — Попросил сынка управляющего — Давлетхана... Отцов баловень — тот ему ни в чем не отказывает, а мальчишка передо мной заносится, любит показать свою силу...

— Агай, и нам помоги, — стали умолять Хисматулла и Мутагар. — До гроба не забудем!

— Одному, пожалуй, можно, — сказал Зинатулла, взглянув на Хисматулла.

— А я как же? — жалобно спросил Мутагар. — Тогда я совсем пропаду...

— Агай, помоги и ему! — попросил Хисматулла. — Маленький ведь, куда он пойдет?

Зинатулла отвел их в землянку, выстроенную впритык с конюшней, посадил на лавку. В землянке стоял густой запах дегтя, на шестах у печки были сложены для просушки оглобли и мерзлые санные вязки, по стенам на больших деревянных гвоздях висели хомуты, поперечники, узды, вожжи, шлеи, на полу валялись в куче стружек кленовые санные полозья и обручи. Хисматулла и Мутагар с интересом разглядывали все это хозяйство, а Зинатулла тем временем засыпал овса лошадям, растопил докрасна железную печурку и вскипятил чай.

— Садитесь, небось проголодались! — пригласил он, разливая заваренный малиновым листом чай в алюминиевые кружки и разламывая на три части испеченную в золе лепешку.

Неделю не евшие горячего, Хисматулла и Мутагар с жадностью набросились на еду. После чая их быстро разморило, потянуло в сон, и когда конюх, выходявший во двор к лошадям, вернулся, оба уже крепко спали.

Хисматулле удалось устроиться на ночь в бараке, но он так и не смог выспаться вволю. Малейший шум поднимал его на ноги — то крикнет петух, то заворочается кто-то, забормочет со сна, и Хисматулла уже бежал к заколоченному фанерой окну, глядел — не светает ли. Он боялся опоздать на работу.

Но за окном была густая синяя темень, спокойно лежали белые горбы сугробов, шумели верхушками сосны. Так и не дождавшись рассвета, он оделся и вышел на улицу. От мороза потрескивали деревья. У Хисматуллы сразу же схватило уши, он закрыл их ладонями и, подпрыгивая, побежал по тропинке.

То ныряя в темные острые глыбы елей, то вновь скользя между сплетением голых веток, плыла в небе ущербная луна, как ломтик корота, и едва Хисматулла добежал до тепляка, как она показалась в последний раз и стала погружаться, оседать в белую горную шапку медленно, как в воду.

У тепляка никого не было, и Хисматулла снова окоченел до того, что уже и прыжки не помогали. Он забегал вокруг тепляка, размахивая руками и проклиная себя за боязнь.

«Кик! Кик-кик!» — крикнул в отдалении дятел.

«А-а, и тебе, я вижу, несладко! — подумал Хисматулла. — Что ж, у тебя хоть пищи вдоволь, подолбил, отыскал пару жучков — и сиди отдыхай! А нашему брату каково?»

«Кик...» — слабо пискнул дятел и умолк.

«Так-то! — мысленно добавил Хисматулла. — Аллах заботится о птичках больше, чем о нас, одежда у них и на зиму и на лето справлена, бая над ними нету, а если какой сокол к гнездам подлетит, вроде как бы урядник, то ведь его всей стаей отбить можно... А у нас что? И урядник, и Хажисултан, и начальник прииска, и управляющий, и немец, и штейгер, и кого только нету — разве шайтана не хватает, и тот найдется, коли надо!»

— Эй, парень, за кем гонишься, шапку, что ль, украли? Айда, заходи!

Хисматулла очнулся, увидел выглядывавшую из тепляка женщину в черном платке и беловатый дымок над крышей.

«Вот те на! — подумал он. — А я-то решил, что там никого нету!»

Почти вслед за Хисматуллой в тепляк стали одна за другой вбегать женщины. Потирая озябшие руки, они садились у жарко натопленной железной печурки, и скоро возле нее не осталось ни одного свободного места. Хисматулла, не смея подойти к незнакомым людям, жался в углу, грея руки под рубахой и прислушиваясь к тому, о чем говорят женщины. Он еще плохо понимал по-русски и по некоторым знакомым словам старался угадать, о чем шла речь.

Но вот дверь распахнулась, и женщины заулыбались и зашумели громче обычного. Хисматулла обернулся и увидел русского мужчину в ушанке и телогрейке. Он был невысок, но широк в плечах и крепок на вид; под мягким, стершимся козырьком ушанки жмурились от света голубые, как весенние льдинки, глаза. Он снял шапку, хлопнул ею по колену и сказал:

— Ну и холод нонче, бабоньки! Прямо собачий! Дает же февраль жару! Не зря, видать, в старину говорили, что братец февраль еще почище братца января будет, а как встречаются, так февраль пуще злится: «Ну, братец, уж если б мне на твое место пробраться, я б таким дурачком не был, живо напустил бы такого морозу, что рога у коровы сломались бы!»

Он захохотал, и вместе с ним стали смеяться женщины, кто стыдливо, как бы нехотя, а кто во всю мочь, и Хисматулла, хотя и не совсем понял, что было сказано, тоже улыбнулся за компанию. Мужчина присел поближе к печке, достал из кармана кисет и трубкѹ, быстро набил трубку табаком, умял его пальцем и, открыв на секунду железную дверцу печурки, руками выхватил красный уголек. Он ловко перебросил его с ладони на ладонь, чтобы не обжечься, и так же ловко положил уголек сверху на табак; тут же стал сосать трубку, и на Хисматуллу пахнуло горьким табачным дымом. Женщины молча стояли рядом, как бы ожидая, пока трубка раскурится, и, когда мужчина наконец щелчком сбросил уголек на пол и спокойно запыхтел, одна из них, в черном платке, та самая, что позвала Хисматуллу в тепляк, выступила немного вперед и спросила:

— Михаил, мы у тебя тут поспрошать что хотели...

— Ну, ну? — обернулся к ней Михаил.

— Правду говорят али брешут, будто ту шахту Фишера, возле озера, снова открывают?

— Правду, правду, — подхватила бойкая толстенная женщина с круглым лицом и красными, налитыми румянцем щеками. — Я там, девчата, сама вчера была, своими глазами видела, точно говорю — открывают!

— Да погоди ты! — отмахнулась та, что была в черном платке. — Какая ты, право... Не у тебя спрашиваю, у Михаила, всюду суешься, слова не дашь сказать...

Михаил вытряхнул пепел из трубки и прищурился:

— Так, так... Ты, сестренка, договори уж сначала, что видела, интересно...

— Машину большую, больше дома, видела, а людей сколько — не счесть! — радостно затараторила засмущавшаяся было женщина. — Народу, народу, ой! А лошадей! Видели бы вы... И везут ее, а лошади шарахаются, кругом кричат, никто никого не слышит, и штейгер, а машина такая большая, такая большая, ну прямо не знаю!..

— Погоди, погоди, сестренка,— улыбнулся Михаил.— Не торопись, а то что-то и понять нельзя, про что балакаешь. Помедленней говори...

— Чего ж тут не понять? Все понятно! Одна лошадь серая, остальные карей масти, и народу всякого — и наши, и ихние, и штейгер, и чужих полно, а машина не знаю чья — тульская ли, немецкая... И Мордер там был, все смотрел!

— Да что за машина-то?

— А такая, сказывали, пар пускать! А сакмаевские все к мулле кинулись, а мулла как скажет: «Это арба шайтана, арба шайтана!» И всех как ветром сдуло, по домам попрятались, нос боялись высунуть! Я сказала — машина это, а они не верят, бегут со всех ног! А мальчишки еще камнями кидаться стали! И снегом! И лошади даже чуть не понесли!

— Ну, а машину-то куда повезли?

— Да к той шахте, к фишеровской, воду, сказывают, откачивать будут, вместо насоса! Только как она откачает — в толк не возьму! Там же воды чертова прорва, трех насосов мало будет, да и машина, говорят, не новая, стало быть, испортиться может, это сам Мордер сказал, своими ушами слышала!

— Ну что ж,— раздумчиво сказал Михаил.— Уж раз машину привезли, значит, наверняка откроют... Одна надежда, что в самом деле испортится...

Снаружи за стеной загрохотало, и тут же через отверстие на желоб и железную решетку посыпались каменные комья глины. В тепляк шумно ввалился толстый мужик с коротенькими ножками и ручками. Это был ровняльщик. Он с силой бросил в угол лопату и крикнул тоненьким, почти визжащим голосом:

— Опять ласы точите, а работу псу под хвост? Смотрите, кому работа не по нутру, тот ведь здесь долго не задержится!

Женщины засуетились, и места у теплой печки быстро опустели. Из-под моста, через протянутую над железной решеткой вашгерда трубу, яростно плеснулась в деревянный желоб вода и, не сумев пробиться вниз сквозь комья глины, рассыпалась брызгами во все стороны. Женщины встали по обе стороны вашгерда, разминая лопатами куски породы на решетке и выталкивая отделившиеся от глины камни. Порода помельче проходила к головке вашгерда, а от головки к низкому ящику с набитыми на него решетками. Ровняльщик все горячей размахивал коротенькими ручками, кричал то на одну женщину, то на другую, стараясь заглушить тонким голоском и ляг лопат, и шум воды, потом обернулся к спокойно курившему в сторонке Михаилу. Увидев, что Михаил не обращает на него никакого внимания, он подкатился и заорал:

— Тебе что, не вкрутили еще мозги в тех краях? Так еще вкрутят, не сумлевайся! Всех мужиков на прииске с толку

сбил, теперь к бабам пришел смуту сеять? Иди на место, что стоишь?

— Не пищи, побереги горло, а то как бы не охрип,— усмехнулся Михаил, попыхивая трубкой.— Я пока еще на оба уха слышу, не глухой, понял? И заруби себе на носу, если ты своим писком мышиным бабу спугнешь, то в этом никакой твоей заслуги нету, потому как баба на то и пугливая, что не мужиком родилась, а то еще на такую когда-нибудь нарвешься, что и от бабы не поздоровится! Не баба я тебе, а потолковать со мной придет охота — можешь и шепнуть, я доходчивый, нечего зря пасть-то разевать.— Он стряхнул пепел и затаился. Ровняльщик побагровел и хотел было отойти, но Михаил продолжил: — И потом — что это ты вздумал мне указывать? Я и без тебя знаю, когда мне свою работу начинать, мне указчики ни к чему! Так что гребь отсюда, пока цел, ясно? Гребь, гребь! — добавил Михаил, заметив, что ровняльщик не может сдвинуться с места и как будто ищет, что ему ответить.— А то ведь я и помочь могу, когда ноги сами не ходят!..

Ровняльщик быстро отошел и, взяв деревянную мотыгу, стал мешать песок, проходящий с водой через решетку. Михаил постоял еще немного, вытряс пепел из потухшей трубки, усмехнулся и медленно направился к дверям. У дверей он еще раз обернулся и, встретив злобный, насупленный взгляд ровняльщика, вдруг сделал такое движение, будто хочет к нему броситься. Ровняльщик отпрянул, споткнулся об ящик и с грохотом полетел на решетки. Михаил громко рассмеялся и вышел, хлопнув дверью. Женщина в черном платке прыснула в кулак, краснощекая толстуха, зажав рот ладонью и согнувшись пополам, отвернувшись, прислонясь к стене и трясаясь от хохота.

Ровняльщик, чертыхаясь, поднялся с решеток, отряхнулся и тут только заметил неподвижно стоящего в углу парня. Он поманил Хисматуллу пальцем.

— Это тебя, что ли, из конторы прислали? — спросил он, тыча в грудь Хисматулле пальцем.

— Да...

— На какую работу?

— Мне ничего не сказали...

— Так пойдь узнай, нам тут бездельники не нужны! — напыжился ровняльщик, но, увидев, что растерявшийся Хисматулла в самом деле направился к дверям, окликнул его: — Ладно, иди сюда, слушай в оба уха! Снаружи будешь работать, зонт расчищать, — только смотри у меня! — он поднес к лицу Хисматуллы кулак. — Если будешь по его указке работать, в два счета с работы уволю, понял? Совсем совесть потерял, каторжник, взяли на свою голову, а ему хоть бы хны! Станет

с тобой разговоры говорить — не слушай смутьяна, у него разговоры опасные, за них знаешь куда угодить можно?

— Куда? — спросил Хисматулла.

— А вот угодишь, тогда узнаешь! Хватит, иди, некогда мне тут с тобой! — Ровняльщик махнул рукой и тут же с руганью набросился на толстушку: — Живее, живее поворачивайся! Не видишь, что ли, ослепла? Порода-то застряла!

Женщины засуетились, громче заскрежетали лопаты, удаляясь о камни...

Выйдя из тепляка, Хисматулла замерз еще больше, чем ночью. Ил и галька забили деревянный желоб, тянувшийся от тепляка к реке, и, растерянно стоя над ним с лопатой в руках, Хисматулла не знал, что ему делать. Михаил, возивший к отвалу на тачке камни, подошел и тронул его за плечо:

— Что, браток, зубами стучишь? Одежки-то получше нету? — Хисматулла покачал головой. — А сам откуда?

— Сакмаево, — еле выговорил дрожащими губами Хисматулла.

— А работу эту знаешь? Нет? Ну, гляди, лопату нужно держать вот так, а спину вот так наклоняй, а иначе устанешь быстро, к ночи руки-ноги отвалятся... Вот, смотри, как я.

Михаил взял у парня лопату и стал, как ложкой из тарелки, вычерпывать из зонта пустую породу. Движения его были размеренны и вроде бы неторопливы, двумя гребками он наполнил тачку и, поставив лопату, повез тачку по доске к отвалу, ловко опрокинул ее, и камни отлетели далеко в сторону.

— Понял, как надо? — спросил он, снова подавая лопату Хисматулле. — Главное, браток, не тушуйся и с хмырем этим, что в тепляке, не связывайся, держись от него подальше, а приставать станет — построже говори, хочешь, на меня сошлись, а то он у нас любит новеньких поприжать да над бабами покомандовать, а как кулак ему покажешь — тут он хвост поджал!

«Каторжник — это ведь тот, кто людей убивает, — мучительно думал Хисматулла. — За что ж тот его каторжником обзывает? Не похож он на убийцу, приветливый такой, веселый и работает хорошо...» «Смутьян» все больше нравился ему, он покраснел от удовольствия, когда Михаил опять хлопнул его по плечу и сказал:

— Ну, хватит, так спину сломать можно! Идем-ка, к нам в гости обед пришел!

— Кто? — не понял Хисматулла.

— Обед, обед! — весело показал руками Михаил. — Кушать, шамать, хлеб, понял?

Отойдя от вашгерда, женщины расселись возле печки, достали из мешочков полумерзлый хлеб и ели его, макая в соль и запивая кипятком. Ровняльщик, сидя ко всем спиной, выта-

щил из кармана бутылку молока. Хисматулла снова забился в свой угол, стараясь не глядеть на обедающих. Но Михаил подошел к печурке, открыл дверцу, выкатил кочергой черные, полуобгоревшие картофелины и обернулся к нему:

— Иди сюда, чего в угол залез? Картошки хочешь?

— Я уже ел, спасибо,— по-башкирски ответил Хисматулла.

— Да я по-твоему, браток, не кумекаю! — рассмеялся Михаил, перекатывая горячие картофелины с руки на руку.— Иди, иди, поешь, как раз по три картошки с половиной на брата получается!

Михаил разломил картофелину, и вкусный запах защекотал ноздри Хисматуллы. «Какой он, этот русский, самому мало, а мне дает»,— подумал он.

— У меня есть,— сказал он и, делая вид, что тоже ест, поднес ко рту кулак.

— У тебя не так вкусно,— ответил Михаил и шагнул к парню.— Ну-ка, что там у тебя, покажи!

Хисматулла сделал вид, что глотает, и сильно покраснел. Михаил раскрыл его пустую ладонь:

— Съел уже? Да тебе это мало! На такой работе, и чтоб такой малостью насытиться, да мороз еще! — Михаил хитро прищурился: — У тебя что там было, хлеб? Ну, так картошка тебе не помешает, идем, идем! — он потянул парня за рукав.

— Чего пристаешь к мальчишке, какое тебе дело? — злобно крикнул ровняльщик.

— Поговори, поговори у меня! — не оборачиваясь, ответил Михаил.— Я тебе пропишу ижицу!

— Бунтовщик! — сквозь зубы пропишел ровняльщик.

— Ну, долго я тебя уговаривать буду? — не обращая внимания на ровняльщика, спросил Михаил.— Или тебе мулла и картошку есть запретил?

— Я уже поел, честное слово,— опустил голову Хисматулла.— Не уговаривайте меня. . .

— Ну, как хочешь,— махнул рукой Михаил и опять подсел к печке. Хисматулла заметил, как женщины придвигаются поближе к нему.

— А что, бабоньки,— пожеывая, заговорил Михаил.— Слыхали, что в Оренбурге с одной барыней случилось? Забыл только, как звали, мастерскую она там держала, швейную. . .

— Расскажи, расскажи, Михаил,— слышалось со всех сторон.

— Злющая была барынька, страсть! Как что не по ней — сразу руки в ход пускала, мастерицы ее не любили, само собой, но боялись крепко — она и иглой могла уколоть со злости! Как уколот, мастерица в крик, а барынька ей: «Чего ты кричишь, милая? Я, мол, не нарочно тебя уколола, а случайно, с кем не бывает». . .

— Зверство какое,— тихо сказала женщина в черном платке, сидевшая рядом с Михаилом.

— Зверье — ясное дело... Только взяла она себе новенькую работницу, да такую бойкую, что сама не рада стала. Присматривает ей та мастерица платье, как кольнет ее иголкой! Барынька в слезы, а та ручки сложит: «Простите, говорит, Христа ради, нечаянно получилось, больше не буду»,— и опять — хватить ее иголкой!

Женщины рассмеялись. Ровняльщик внимательно прислушивался.

— Ну вот, прогнала она ее, стало быть, а мастерица подговорила там всех товарок, и вот на следующий день то одна ее уколёт, то другая, барынька прямо из кожи лезла, а они все в один голос: «Простите, мол, нечаянно...» Стала она одну за другой их увольнять, пока всех не уволила в тот же день. А они не уходят, у дверей в мастерской толпятся, и вдруг та приходит, бойкая, самая первая, и говорит: «Чего вы на нее смотрите? Это ж не человек, а собака бешеная, зверюга лютая, уж раз мы все от нее уходим, чего нам терять?»

— Неужто избил? — охнула толстуха.

— Куда там, хуже! — смеясь, проговорил Михаил. — Пристрочили!

— Куда?!

— Портьеры там на окнах висели с двух сторон, занавески такие длинные, вот они взяли ее за подол да низами эти занавески и подшили к юбке ейной, так что юбка вся задралась кверху и панталоны с улицы видать! И не вырвешься, потому как с двух сторон пришили, к каждому окну то есть!.. Только к вечеру ее от тех занавесок отпороли, и крику никакого слышно не было, они ей тряпок каких-то, лоскутов в рот понапихали, а руки за спиной связали...

— Ну, дела, — вытирая выступившие от смеха слезы, сказала женщина в черном платке. — Есть же смелые бабы на свете!

— Ты что это? Опять смута? — угрожающе зашипел ровняльщик. — Ты против кого это? Смотри, все доложу!

— Доложи, да смотри в штаны не наложи! — захохотал Михаил. — Мы тут всем скопом такое на тебя наложим, что хуже той барыньки придется, — сунем в вашгерд вместо породы да лопатами разомнем! — Он закашлялся от смеха, достал из кармана платок и приложил руку к груди. Все замолкли.

— Плохо? — участливо спросила женщина в черном платке. — Может, кипятиточку?

Михаил помотал головой и, кашляя в платок, отошел и прислонился к стене.

— Чахотка каторжная, — снова прошипел ровняльщик и, оглядев умолкших женщин, вдруг рывкнул: — Хватит! По места-ам!

— Породы же нету,— сказала толстуха.

— Ну и что же? — ворочая кроличьими покрасневшими глазками, повернулся к ней ровняльщик.

— Забойщики еще отдыхают. . .

— Пусть отдыхают, не ваше дело! — Ровняльщик нагнулся к головке вашгерда. — Пускайте воду! Пока другой работы нет, будем споласкивать!

— Всегда в конце работы споласкивали,— выступила вперед женщина в черном платке.

— Делайте, что велят! — взмахнул короткими ручками ровняльщик. — Хотите, как те мастерицы, прославиться? Так они уж все за решеткой сидят, у тамошнего урядника в ногах валяются!

Женщины неохотно вставали. В вашгерд с шумом побежала вода. Женщина в черном платке обернулась и, заметив, что уже почти все заняли свои места, молча пошла к желобу.

— Убавь воду, оглохла, что ли? — опять закричал ровняльщик. — А ты, Дуська, свечу поближе держи! Да вы что, с ума он вас своими речами свел, я вижу! — Ровняльщик выхватил у толстухи свечу и сам поднял ее над затемненной стороной вашгерда. — Вот так надо, поняла? Словно только что на свет появилась, ей-богу!

Короткой мотыгой он сгреб песчаную породу навстречу воде и, ртутью собрав в ковшик золотые крупинки с головки вашгерда, положил ртуть в тряпку и выжал ее обратно в ковш. Блестящие шарики ртути, соединяясь и увеличиваясь, побежали по дну ковшика. Ровняльщик поднял голову. Женщины молча смотрели на него.

— Чего вылупились? — вскинулся ровняльщик. — Все таращатся, таращатся, думают, себе возьму! Спрячь, спрячь буркалы-то, ишь, зенки, будто десять глаз у нее, а не два!

Ворча и ругаясь, он подошел к печке, присел, положил выжимку на железку и поставил на огонь. Железка накалилась, ртуть, подскакивая, рассыпалась в разные стороны, и на железке осталось одно золото. Ровняльщик взвесил его на самодельных весах, послунял карандаш, записал вес в журнал и, завернув металл в тряпку, сунул его в карман.

За стенкой послышался перестук копыт по бревенчатому мосту, грохот сгружаемой породы.

— Прибавь воды! — заорал ровняльщик, подходя к вашгерду. — Да шевелитесь, шевелитесь, мухи сонные, вам лишь бы от работы отлынивать!

После обеда Хисматулле стало работать еще труднее. В голове шумело, перед глазами поплыли радужные круги. Еле двигаясь, он наполнял тачку за тачкой и тащил их к отвалу, пока не остановился, наконец, на полдороге, не в силах двинуться дальше.

— Ты что, браток? Так нельзя, отдохни,— посоветовал подбежавший Михаил.— Ты еще молодой, береги себя.— Он сильно закашлялся и, схватившись рукой за горло, выдавил с силой: — Не беспокойся, успеем, скоро уже кончится...

Хисматулла слабо махнул рукой и, еле-еле донезя тачку до отвала, опрокинул ее. «Прогонят! — с ужасом думал он.— Только бы выдержать, хоть сегодня...» Подвезя тачку обратно к желобу, он погрузил лопату в воду, подгрел гальку и стал поднимать ее, но руки, как чужие, задрожали, и лопата с плеском плюхнулась обратно в воду. Хисматулла, обессилив, сел, держа лопату за черенок.

— Ты ведь наврал, что обедал,— укоризненно сказал Михаил.— Что ж ты от картошки отказался? Я ж тебе от чистого сердца давал...

Пересиливая себя, Хисматулла молча вытащил лопату с галькой из воды, но, не донеся ее до тачки, уронил на землю и, сев рядом с ней, умоляюще поглядел на Михаила.

— Агай, начальнику не скажи... Не могу я, завтра буду работать, завтра не устану, вот увидишь! — на глаза его навернулись слезы.

— Ты что ж меня, за иуду считаешь? — обиделся Михаил.— Чего ты меня боишься? По мне самому, слава богу, веревка пеньковая плачет, и не только в вашей конторе, но и кой-где еще! А ты — «начальнику не скажи...». — Он опять закашлялся и, чтобы успокоиться, присел возле тепляка на большой круглый камень.— Ишь какой... С ног валится, подыхает, а от помощи отказывается... Так нельзя, браток, рабочий люд помогать друг другу должен! Ну-ка скажи, правильно я догадался — не ел ты сегодня?

— Нет...

— Вот видишь! А ломался... — Михаил вынул из кармана ломоть хлеба и протянул Хисматулле.— На ешь, а я пока за нас двоих повкалываю!

Хисматулла неловко мотнул головой, но Михаил положил на плечо парню большую руку и крепко сжал:

— Ты что, обидеть меня хочешь? Бери без всяких разговоров и головой не качай, еще больше закружится! Понял? А если бы со мной беда случилась, ты что, разве отказался бы мне помочь? Ну, говори, отказался бы? ..

— Не-е-ет,— сконфузившись и покраснев, ответил Хисматулла.

— Так я и думал! За чем же дело стало? — Он сунул хлеб Хисматулле и взялся за лопату.

Хисматулла обмакнул хлеб в воду и начал есть. От первого же глотка в груди у него стало теплее, только руки от волнения задрожали сильнее, но скоро прошло и это. «Дай аллах ему здоровья,— думал Хисматулла,— какой хороший человек,

ведь за этот кусок хлеба столько он тачек, должно быть, перетаскал!»

Он благодарно взглянул на Михаила и, проглотив последний кусок, встал. Быстро темнело, слабый свет из окна тепляка кривым квадратом лег на снег, а работе все не было конца. В темноте вдруг будто сильнее загрохотала сваливаемая порода, громче и визгливее ударялись о железную решетку лопаты. Луна, как желтый кусочек свежего корота, снова показалась над Бишитэк-горой, тени деревьев вытянулись на снегу.

Неожиданно стук лопат в тепляке сменился шумом голосов. Михаил опустил тачку.

— Все,— сказал он, тяжело дыша.— Ты вот что, голодный не ходи, а то ноги живо протянешь. Я возле центральной шахты живу, в землянке. Придешь сегодня ко мне, я тебе дам полкаравая ситного, понял? Отдашь потом, как-нибудь сочтемся. Не сможешь пайти — спроси, там тебе каждый покажет, где я зимую.— Он задохнулся в сильном кашле, схватился обеими руками за грудь, задержал дыхание: — Может, дома меня не будет, так старушка моя наверняка никуда не пойдет, у нее спросишь, понял? — Он снова закашлялся и, махнув рукой, ушел в тепляк.

«Странный человек, этот русский агай,— подумал Хисматулла.— Хозяин вашгерда терпеть его не может, да и Михаил его не любит, а оба русские, одной веры... Зато ко мне Михаил хорошо относится, а ведь я башкир, мусульманин, как же так? Нет, странный он человек, удивительный человек, не такой, как все...»

XXV

Хисматулла все еще стоял у тепляка, не решаясь ни войти, ни двинуться одному по темной дороге, когда работницы одна за другой гурьбой высыпали из дверей. Видно было, что и они измотаны тяжелой работой, не слышно было уже ни смеха, ни разговоров. Михаил вышел одним из последних.

— А я думал, что ты уже ушел,— удивился он.— Что ж у печки перед дорогой не отогрелся? Ах ты, дурья башка, все стесняешься? Ну, идем тогда сразу со мной, прямо сейчас пойдем, и хлеба тебе дам, хозяйка чайку скипитит...

Лапти от мороза стали твердыми и тяжелыми, намокшая одежда заледенела, и Хисматулле хотелось лечь на снег и хоть несколько минут полежать спокойно, но бодро шагавший впереди Михаил, оглядываясь, торопил его:

— Быстрее, браток, прибавь шагу! Времени в обрез — сам понимать должен, завтра опять работа до свету, а меня еще сегодня старатели ждут!

Он не объяснял, почему его ждут старатели, но Хисматулла каждый раз прибавлял шаг, понимая, что Михаил не стал бы торопить его просто так.

Наконец, пройдя мимо кустов, словно от холода прижавшихся к земле, они свернули влево, и впереди показались темные вытянутые, похожие на ящики, бараки. «Хлеб с кипятком», — мелькнуло в голове у еле тащившего ноги Хисматуллы. Эта мысль придала ему сил, и шагать стало легче, как будто он уже поужинал. У входа в землянку Михаил остановился:

— Зайдешь?

— А ты? — неуверенно спросил Хисматулла.

— Понимаешь, какое дело, браток, приходи когда хочешь, только сегодня я с тобой посидеть уже не успею. Но это ничего! Со старушкой моей посидишь, потолкуешь про житье-бытье, чаю напьешься, а? А там, глядишь, попозже и я пойдю...

— Да нет, лучше в другой раз... — сказал Хисматулла.

— Ну и лады! Подожди тогда, сейчас хлеб вынесу. — Михаил скрылся за дверью и почти тут же вышел снова, неся с собой завернутый в чистую белую тряпицу каравай.

— Спасибо, агай, ввек добра твоего не забуду... Как только денег заработаю — отдам!

— Отдашь, когда сможешь, не сможешь сразу — отдашь потом, ясно? Ну, до завтра, браток, иди скорей спать, а то не проснешься утром! — Он протянул Хисматулле руку. — Да не так, так только барыни здороваются и прощаются! Надо руку жать крепко и всей ладонью, чтоб и враг и друг почувствовал — кого надо, поддержит, а кому надо, и сдачи даст! Ну, беги! — Михаил хлопнул парня по плечу и, не оглядываясь, зашагал в сторону.

Хисматулла кое-как добрал до барака, поел и лег. Все тело болело и ныло от усталости, зудели на руках натертые черенком лопаты мозоли, и Хисматулла не успел даже, как обычно, подумать ни о матери, ни о Нафисе, а едва склонил голову — тут же провалился в сон, будто, закрыв глаза, прыгнул с обрыва в темный ночной овраг...

На этот раз он чуть не опоздал на работу и все ждал Михаила, оглядываясь, идя по дороге к тепляку, смотрел на дверь, дожидаясь начала работы, и когда дверь открылась и вместо Михаила вдруг вошел совсем другой человек — длинноволосый, большеухий, с черной космой падающих на лоб волос — испытал такое чувство, будто его обманули. Нового напарника звали Василием, работал он спусти рукава, охая и дыша перегаром, то и дело он садился отдыхать и насмешливо поглядывал на старательно таскающего тачку за тачкой Хисматуллу.

— Эй, парень, надорвешь животик! — вздыхал он. — Вижу, в работе нашей ты не петришь ни бельмеса, а? Не, мне такая

возня не по нутру, я лучше в сторонке посижу да на тебя погляжу...

Хисматулла сердился, но молчал, не смея ему перечить, однако с удивлением заметил, что, как только к двери тепляка кто-нибудь подходил, Василий приподымался и хватал лопату.

И когда, ближе к обеду, из тепляка выскочил ровняльщик, Василий тут же с грохотом и шумом стал наполнять тачку породой, даже не глядя в его сторону. В одну минуту он наполнил тачку с верхом и бегом помчался с ней к отвалу.

Ровняльщик, выкатив кроличьи глаза и подбоченясь, крикнул:

— Вы что тут? Хотите всю округу пустой породой засорить? Только б лодыря гонять! — И, заметив, что Василий уже бежит обратно с пустой тачкой, а Хисматулла так и стоит рядом с желобом, не сделав ни одного движения, крикнул еще громче: — Да ты что, сопляк, оглох? Смотри, тут у вас всего один и работает, а ты стоишь как столб и, может, еще думаешь, тебе за это деньги платить будут?!

— Зачем сердиться, начальник? — тяжело дыша и нагружая новую тачку, обернулся Василий. — Мальчонка еще приучится, так будет не хуже меня гонять! Не сердись, начальник, я его подучу, пока суд да дело!

— Как не сердись, — помягчев, снизил голос ровняльщик. — Дело-то уж к полдню, а он еще до сих пор не проснулся!

— Я работал все время, а он сидел! — в волнении забыв, что ровняльщик не поймет по-башкирски, крикнул Хисматулла.

— Вишь, жалобный какой, прощенья просит! — ухмыльнулся Василий. — Не ругай, начальник, сами были молодые да зеленые, он, может, всю ночь с девкой проваландался, вишь губищи-то разорваны! — и Василий показал на потрескавшиеся от мороза губы Хисматуллы. — Справимся помаленьку, начальник, не гони его, ты ж человек у нас добрый, хороший, такие дела понимаешь...

— В последний раз! — вздохнул ровняльщик. — И чтобы больше не спал на работе, а то живо в контору и — расчет! Какое мне дело до его девки? У меня тоже жена есть! Я ж от этого не клюю носом на работе...

Чуть только дверь за ровняльщиком закрылась, Василий повалился на камень, держась руками за живот и хохоча как безумный.

— Ой, не могу! Вот хозяин так хозяин, всем хозяинам хозяин, ой, надорвусь!

— Ты зачем? .. — не находя слов и все крепче сжимая кулаки, подступил к нему Хисматулла. — Зачем обманул?!

— А ты не ершишься! — оборвав смех и вставая во весь рост, оборвал Василий. — Я пока на тебя зла не держу, только уж

если что не по нутру мне будет, хорошо ли тебе придется, как ты думаешь? Скажу вон начальнику, что ты, мол, работаешь плохо, тебя отсюда — фьюить! — присвистнул он, насмешливо щуря глаза. — Так что, сверчок, знай свой шесток!

Хисматулла потерянно молчал.

— Я ж тебя, дуру, защитил, а ты с кулаками... — с недоуменным сожалением протянул Василий. — Ну, да ничего, пройдет это у тебя, я когда, как ты, зеленый был — тоже ершился больно много, а теперь мне что — бутылку да бабу, а все остальное меня не касается! Вырастешь да ум вынесешь, тоже такой будешь, понял, паря?

Хисматулла молча повернулся и взялся за тачку.

Когда наступило время обеда и работницы опять уселись возле печки, Хисматулла осторожно подошел к женщине в черном платке, которую приметил еще вчера.

— Чего тебе? — спросила она, подняв голову от еды.

— Маша-инэй! — Хисматулла слышал вчера, как звали ее работницы, и теперь подумал, что если назовет ее по имени, так будет лучше. — Маша-инэй, я к тебе...

— А может, к кому другому? Меня не Машаней зовут, а Марьей Николаевной, — не поняла женщина.

— К тебе, — повторил Хисматулла. — Не скажешь, где Михаил-агай, почему не пришел сюда? Заболел?

— А тебе зачем? — недоверчиво спросила женщина.

— Он мне хлеб давал, отдать надо, — все больше путаясь, заговорил Хисматулла. — В гости звал, я вчера не зашел...

— Вот и зайди сегодня! — с вызовом сказала Маша. — Я ему не жена, чтоб по пятам бегать, не знаю, где он, и знать не желаю! Много вас тут...

— Эге, ты, никак, ума набралась? — ехидно спросил из угла ровняльщик.

— Набралась или нет — дело мое! — обернулась к нему Маша. — Не тебе судить, что у меня в середке происходит, мышинная ты душа! — Она с сердцем плюнула и отвернулась к стене. Хисматулла смущенно отошел.

Уже ночью, когда работа кончилась и он подходил к своему барaku, кто-то вдруг сзади тронул его за рукав. Хисматулла испуганно обернулся.

— Не бойся, это я, — сказала Маша, улыбаясь. — Ты к Михаилу зайти хочешь? Не ходи пока, подожди, а то еще и тебе от его беды перепадет!

— У него беда какая? — встревожился Хисматулла.

— Донесли на него, вот что! Может, наш ровняльщик, а может, еще какая поганка нашлась, не знаю... В контору его сегодня вызвали, а что там дальше было — тоже не знаю, узнаю — скажу. А пока не ходи и от ровняльщика нашего

подальше держись, а то уши у него чересчур длинные, понял, паренек?

Хисматулла кивнул головой. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю Михаил так и не появился, Маша не подходила к парню, и скоро он стал забывать о странном русском агае, привык к своей работе, и она уже не казалась ему такой невыносимой, как в первый день. Мысль о Михаиле мелькнула еще раз только тогда, когда он получил первую получку, но, как только Хисматулла вышел из конторы, его окружила толпа подвыпивших старателей, среди которых был и Василий. Заметив напарника, Василий протолкался вперед и, вытянув шею из расстегнутого ворота рубахи, спросил:

— Эй, паря, скажи, ты кто?

— Как кто? — не понимая, переспросил Хисматулла.

— Мужик ты или баба, я тебя спрашиваю? — Василий подмигнул друзьям и рассмеялся. — Ну, чего молчишь? Ой, гляди-те, покраснел, как невеста!

— Чего лезешь? — чуть не со слезами сказал Хисматулла. — Я тебя не трогаю, и ты меня не тронь! Чего ты ко мне пристал?

— А то и пристал, что не знаю до сих пор, кто ты есть — мужик или баба! — глумился Василий, откидывая со лба потный смоляной чуб и залиvisto хохоча. — Не видать что-то, чтоб ты мужик был, хоть и штаны надел, а?

— Это как? — растерялся Хисматулла.

— А так! Водку пьешь? Нет! — Василий торжествующе протянул вперед пятерню и загнул грязный, заскорузлый палец. — Табак куришь? Нет! Может, с девками гуляешь? Так тоже нет! В-четвертых, заработанное в кулаке держишь! Да в придачу краснеешь, как девка! — Василий загнул последний палец и поднял кулак, как бы показывая всем неоспоримое доказательство своей правоты. Какой же ты после этого мужик? Тьфу, срам один!

— В одном бараке живем, а прячешься, — подхватил кто-то.

— Ну тебя, пусти! — рванулся из кольца Хисматулла.

— Шалишь, дружище, у нас и закон ведь такой есть. — Василий положил руку на плечо парню, и его серые, стального цвета глаза впились в Хисматулла. — Поступил на работу, получил первую получку — с товарищами поделись, а то и бог тебя за такую жадность накажет, даже и твой аллах накажет, не то что наш! — Василий звонко щелкнул себя по горлу, выпустив плечо Хисматуллы. — Пей, гуляй и нас не забывай, понял, паря?

— Да что ты на него набросился? — вдруг продвинулся вперед дружок Василия. Он обнял Хисматулла за плечи и тихонько повел его, подталкивая в сторону приискового кабака. —

Что он, маленький, рабочих законов не понимает? Да он нам сейчас всем докажет, какой он мужик, он тебе еще за эту «бабу» такую сдачу даст!..

Поняв, в чем дело, Хисматулла стал вырываться, но руки того, кто его держал, только крепче сжались у него на плечах, давили его к земле.

— Да чего ты петушишься? — добродушно заметил дружок Василия. — Думаешь, мы у тебя деньги отнимем? Ни-ни, я ж тебя угостить веду, за свой счет! Думаешь, я не понимаю, что тебе деньги нужны? — Он вдруг выпустил парня и встал перед ним, улыбаясь, с видом и удивленным и одновременно обиженным. — Ну, если ты, конечно, такой недотрога, тогда иди! Только я ж к тебе по-доброму, по-товарищески, за свой счет!..

Хисматулла в нерешительности остановился.

— Да что ты его уговариваешь? — сердито махнув рукой, крикнул Василий. — Разве он хорошие слова понимает? Одно слово — баба!

— Не надо так, — с укоризной сказал его приятель. — Паренек-то хороший, я вижу, ему только денег жалко... Да ты не бойся, — обернулся он к Хисматулле. — Я ж сказал, за мой счет! — Он улыбнулся и вопросительно поднял глаза. — Идем?

— Ну пошли, — с неохотой отозвался Хисматулла.

В кабаке было дымно и шумно, на непокрытых деревянных столах красными пятнами рдело пролитое вино, под лавкой уже кто-то валялся, звенели стаканы и кружки, и, стараясь обратить на себя внимание остальных, мычал что-то, стоя на лавке и шатаясь, мужичонка в распахнутой телогрейке, с окладистой черной бородой.

Василий, бодаясь, как корова, прошел сквозь толпу к дальнему углу и, сбросив под лавку спавшего, навалился на стол, старателя, обернулся к друзьям:

— Милости прошу к нашему шалашу!

Чуть только уселись вокруг стола, как подошел хозяин, — рыхлый, с бледным, гладко выбритым лицом.

— Чего тебе, Вася? — без улыбки спросил он.

— Водка есть? Ну, тогда четверты!

Скоро хозяин принес еще две четверти, и Хисматулла почувствовал, что быстро пьянеет. Он хотел было отказаться от очередного стакана, но все зашумели: «Пей! Пей» — и он выпил.

Кабак гудел, дым клубами поднимался к потолку и растекался по темным некрашеным доскам. Хисматулла подпер голову кулаками. Дружок Василия ткнул его в бок:

— Тебя как зовут-то? А то пьем, пьем, живем вместе, а имени твоего так и не знаю!..

— Хисматулла меня зовут... .

— Чего грустишь, Сматула? Неужели с такой капли опьянел? Или зазнобу какую вспомнил?

— А что это такое? — удивился Хисматулла.

— Зазноба? Да девушка, ну любимая, как там по-вашему?

— Вспомнил, — признался Хисматулла и опустил голову.

— Хорошая девушка, красивая?

— Какая разница, если ее бай в жены взял!.. — Хисматулла стукнул кулаком по столу, и стоявший рядом стакан подпрыгнул и зазвенел.

— Вот так так! — свистнул собеседник. — Как же ты баю свою девушку отдал?

Хисматулла встал и сжал кулаки.

— Захочу — и назад возьму! — с вызовом глядя кругом, крикнул он. — Прямо сейчас пойду и заберу, а Хажисултана зарежу, видит аллах, зарежу!

— Да сядь, выпьем лучше! Водка, она любое горе глушит! — придвинулся поближе дружок Василия. — Плешь на все, что тебе, баб не хватает? Да я тебе такую отыщу, закачаешься! У тебя деньги-то остались еще? Возьми-ка тогда четверть, да не бойся, я с тобой расплачусь!

— Ну давай, — сказал Хисматулла и полез в карман за деньгами.

Старатели снова опорожнили стаканы. Василий встал и, пошатываясь, перешел к другому столу, вскоре за ним скрылся и его дружок. На их место тотчас подсели другие старатели.

— Зря ты горячку порешь, — сказал сидевший рядом старик. Лицо его густо обросло грязно-седой щетиной, рукава рубахи были похожи на лохмотья. — Нехорошо так долго зло помнить... Знаешь, как старики сказывают: тебя камнем, а ты — куском хлеба! Человека только добром победить можно, а если без конца камень за пазухой держать, это не дело! Не к лицу мусульманину...

— Нет, агай, добром с Хажисултаном не сладишь! — обрадовавшись, что не надо больше подбирать русские слова, заговорил Хисматулла. — Все равно отомщу! Мать мне только жалко, вот что... Совсем она у меня старенькая. — Он уронил голову и заплакал.

— Да брось ты, ты же мужчина! На, держи, выпей, сразу очухаешься! — заговорили сидевшие за столом. — Пей, пока жив, сколько влезет, всякое горе позабудется!

— Да, про завтрашний день один аллах знает... — задумчиво добавил старик. — Сколько жить и долго ли муку эту нести! Наши как мухи дохнут! Сколько их под землей осталось...

— Вчера на третьем горизонте один погиб, — заговорил молчавший до сих пор усач, вертя стакан длинными костлявыми руками. — Да на прошлой неделе шестнадцать человек в

одной шахте засыпало. А этот, что на третьем, дружок мне был. . . Жена осталась, дети мал мала меньше, вчера в контору ходила, а с ней там и разговаривать не стали.

— Чего зря болтаешь? — спросил снова присоединившийся к столу Василий. — Я сам видел, как Накишев ей три рубля дал!

— Тебе бы четверых детей, как бы ты их накормил на трешку? — горестно спросил усач.

— Зато сколько водки купить можно! — весело встречая в разговор, сказал кто-то сзади. — Целая трешница, подумать только!

— Молчи ты, оболтус! — грозно повернулся назад усач, и пьяный старатель пропал, будто сквозь землю провалился.

— Бросьте, ребята, лучше выпьем! — сказал дружок Василия.

За соседним столом громко и не в лад запели:

Песня, как солнца огонь золотистый,
Сердце зажжет у уральских ребят,
Где же поет соловей голосистый?
Песни его над рекой звенят. . .

— Хай-хай, гоп-эл-лэй! — подхватили старатели.

— Жизнь собачья, одна водка тоску глушит! — грохнув стакан об стол, сказал усач. — Зачем тогда и на свет родиться, если радости тебе — ну никакой! . .

— Если пить, да при этом ум не пропить, да денег в кармане куча, то оно конечно, водка — штука хорошая! — заверил опять неведомо откуда возникший старатель, которого прогнал от стола усач. — Вот я пью, а ума не пропиваю, а почему бы мне и не выпить, если монета есть? Богачи вон пьют оттого, что с жиру бесятся, это мне Михаил все давно растолковал, а мы, стало быть, с горя, значит, кто же из нас прав?

Вдруг лицо старателя покачнулось и поплыло куда-то влево, нелепо кривляясь и гримасничая, и это было последнее, что запомнил Хисматулла. . .

Очнулся он утром от холода и ужасной головной боли и попытался сесть. Кругом на грязном полу валялись сваленные скамейки и пьяные старатели, которые не смогли уйти домой вчера вечером. Хисматулла пошарил в кармане и, не найдя ни копейки от вчерашней получки, ужаснулся:

— Что я наделал?

Но тут же его так сильно затошнило, что заботы о матери, о неоплаченных долгах и собственном пропитании сразу забылись.

Еле-еле отработав свои шестнадцать часов, Хисматулла полпелся к себе в барак, голодный, проклиная все на свете. Но не успел пройти мимо кабака, как был подхвачен вчерашним усачом и еще парой знакомых товарищей.

— Смотрите, кто пришел! — закричал с соседнего стола Василий. — Наш петушок пришел! Как, паря, неужто из трезвенников в выпивоху подался?

— Ровняльщик сказал, если завтра не выйдешь, другого возьмут! — хмуро ответил Хисматулла.

— Уж не ты ли ему там наушничал? — привстал Василий, перестав смеяться.

— Кати, кати! — грозно мотнул головой усач. — Мы и сами с усами! Сиди, где сидел, у меня тут весь кабак — друзья да приятели, не трожь парня, тебе говорю, а тронешь — со мной дело поимеешь!

Василий недовольно уселся, видя, что никто не поддерживает его. Усач и Хисматулла сели и заказали водки. Время от времени, ожидая, когда хозяин принесет штоф, Хисматулла радостно оглядывался на Василия, его так и подмывало детское желание показать язык вчерашнему своему мучителю. Хозяин принес водку, и скоро Хисматулла был так же пьян, как вчера...

День за днем закрутились, как спицы в колесе. Каждый раз кто-то из старателей угощал, и Хисматулла метался от работы к кабаку, от кабака к работе, чувствуя, что ему уже не выпутаться из этого неразрывного круга. Однажды он встретил рядом с баракон конюха Зинатулла. Поговорив, они собирались уже разойтись, как вдруг Зинатулла вспомнил:

— Эй, забыл тебе сказать, я ведь в Сакмаеве на той неделе побывал!

— Мать видел? Седенькая такая, маленькая, у бая служит? ..

— Нет, матери твоей вроде не встречал, зато эту вашу сумасшедшую встретил, ах, кабы не тронулась, такая красивая девка была!

— Это ты о ком? — почти догадываясь, хрипло пробормотал Хисматулла.

— Да эта, жена Хажисултана, что от мужа сбежать хотела с каким-то русским! — не зная хорошенько, в чем дело, и не подозревая, какую рану он наносит парню, продолжал конюх. — Нафиса, что ли? Прямо жалко, идет по улице — и ничего перед собой не видит! Одна девка тронулась, другая без присмотра бегаёт, мальчонка, говорят, покалечился и из дома сбежал, отец помер, а мать в том месяце на сук в темноте напоролась и ослепла!

— Как, Фатхия ослепла? — вскрикнул Хисматулла.

— Уж не знаю, как там зовут ее... На оба глаза ослепла, теперь хоть на веревке води! Вот несчастье-то... А мы все говорим — худо да плохо! Нам еще хорошо, а вот им-то уж точно плохо, хуже не бывает... Может, ко мне зайдешь? — улыбнулся Зинатулла.

— Не-ет, в другой раз...

— Ну, я пошел тогда! В следующий раз поеду, могу к матери твоей заглянуть, слышишь? Привет передам!

— Ладно,— машинально сказал Хисматулла, чувствуя, что ноги не держат его, и, едва конюх скрылся за поворотом, сел прямо в сугроб, не чувствуя холода и обхватив обеими руками пылающую голову. «Аллах,— думал он,— так однажды придет кто-нибудь и скажет: «А матери твоей уже в прошлом месяце земля постелью легла», а я так ничего и знать не буду!.. Что же делать, что делать? И для чего я на этом свете? Нельзя же так — только есть, спать, работать, водку пить и опять есть, спать... Так ведь и лошади могут, и любая другая животное, если приучишь! Почему же я должен жить, как они? Нет, нет, все равно ничего не исправлю, все бесполезно... Откуда я знаю, зачем живу? Значит, вот как оно дома-то... Ох, и напьюсь же я сегодня!» Мысли одна за другой сменялись в его голове, и вскоре, встав с сугроба и не в силах унять жгущее в груди горе, он быстрым шагом направился к кабаку, не оглядываясь по сторонам и не замечая, что навстречу ему, улыбаясь, идет Сайфетдин.

Только столкнувшись со стариком нос к носу, он очнулся и пришел в себя.

— Вот ты где, оказывается, то-то я тебя не найду,— все так же улыбаясь, пожал ему руку Сайфетдин.— Все бараки обегал, все землянки обсмотрел, а тебя нет как нет! Ну, думаю, найду-ка я сюда, может, хоть на след нападу, прихожу — и здесь нету. Что, думаю, за наваждение, как в воду канул, дай подожду — а ты тут как тут! Ну да ладно, айда со мной! Об остальном по дороге переговорим...

— Куда?

— Ждет тебя один знакомый. Так мне и сказал — найди его, Сайфетдин, и веди сюда!

— Какой знакомый?

— Ишь, любопытство заело? Ничего, придешь — сам увидишь, кто зовет, для чего зовет...

— Не хочу, устал я,— заупрямился Хисматулла.— Лучше пойдем выпьем, агай, за встречу, я угощаю!

— Погоди, пойдем, что скажу...— потянул его за рукав Сайфетдин.

— Говори здесь, не пойду я дальше.— Пройдя несколько шагов, Хисматулла остановился.— Чего надо, что там за знакомый?

— У меня лично к тебе дела нету,— нахмурился старик.— Михайла тебя звал, вот я и пришел, а уж ходить тебе к нему или нет — воля твоя...

— Михаил? Тот самый, что со мной работал? — обрадовался Хисматулла, но, вспомнив о долге, тут же сник.— Не пойду

я, не могу пойти!.. Я у него в долг хлеб брал, потому, наверно, и зовет, сам видишь — у меня сейчас хлеба нету... Будет получка, тогда и зайду...

Сайфетдин ухватил парня за воротник и поднял правую руку с тяжелым, как гиря, кулаком, но, взглянув на Хисматуллу, отпустил воротник, плюнул и покачал головой:

— Нет, не буду я на старости лет об тебя руки марать! Не думал я, что ты так мелко плаваешь, плюнуть да растереть! Ну, иди обратно в кабак, напивайся там.— Он повернулся спиной и решительно пошел в сторону от барakov.

Хисматулла так и не понял, почему рассердился Сайфетдин, но ему стало неловко и стыдно, что он чем-то обидел старика.

— Агай! Подожди! — кинулся он вслед за Сайфетдином.

— Надумал? Ну шагай! Как житье-то?

— Не знаю... Плохое, наверное... — опустил голову Хисматулла.

— Да уж чего хорошего, вон она как у тебя на лице припечаталась, жизнь твоя, — одни кости да под глазами синяки! — усмехнулся Сайфетдин. — А знаешь, зачем я тебя к Михаилу веду?

— Не знаю...

Сайфетдин оглянулся и, понизив голос, наклонился к самому уху Хисматуллы:

— Ленина изучать...

— А что это такое?

— Ленин? Это большевик, большой, то есть, человек, а славится тем, что богатство у богатых отбирает и бедным поровну раздает...

— Какой он, как Гали-богатырь?

— Э-э, сравнил! Да Ленин его одним мизинцем свалит! Думаешь, зря его все богачи боятся?

— Здорово! — оживился Хисматулла. — Вот бы к нам пришел! Я б тогда Хажисултану первому отомстил... — Он задумался, посмотрел на старика. — Скажи, Сайфетдин-агай, хороший, по-твоему, Михаил?

— Михаил? Очень хороший! Смотри, он хоть и русский, а мусульман тоже защищает, в обиду не дает, всех наших баев ненавидит, а бедняку сам первый руку протянет и из беды вызволит!

— И русских баев тоже ненавидит?

— И русских, всех богачей. Он всегда за бедняков, он за них и на каторге был, и в остроге сидел! Восемь раз, легко сказать! А сколько знает! Что ни спросишь — на все у него ответ есть, и бумагу читает здорово, прямо шпарит без заминки...

Вдали показался накренившийся набок барак, вдруг из-за кустов выскочила одичавшая косматая кошка и метнулась обратно через дорогу. Зеленые глаза ее фосфорически вспыхнули в темноте.

— Агай, повернем обратно! — Хисматулла остановился и потянул товарища за рукав. — Пути не будет...

— Брось дурака валять! — Сайфетдин рассмеялся. — Мы ее сейчас спуганем назад, и дорога будет чистая...

Он ловко, как булочку, слепил снежок из рыхлого снега и, размахнувшись, запустил в темноту и, видимо, попал в кошку, потому что она прыгнула за старую, высохшую березу и закарабкалась наверх.

— Раз она у нас над головой, то дорога свободна! — сказал Сайфетдин. — Айда, парень!..

Но стоило им приблизиться к бараку и Хисматулла увидел притаившегося у стены человека, как опять ему стало не по себе.

«Все равно тут дело нечистое! — подумал он. — Не зря кошка нам дорогу перебегала!»

Длинная тень отделилась от стены, и Хисматулла увидел рядом человека, беспечно насвистывающего незнакомую песенку.

— Эй, братки! Нет ли, случаем, у вас спички?

Он подошел ближе, вглядываясь в их лица, крутя в пальцах папиросу.

— Что ты! — притворно удивился Сайфетдин. — Где ты в наше время спички найдешь! Если хочешь — высеку искру из кремня...

Однако человек не стал прикуривать, а лишь мотнул головой и пошел себе дальше, и Хисматулла понял, что эта таинственность не была случайной.

Сайфетдин тоже ничего не сказал незнакомцу и потянул на себя дверь барака.

Барак был старый, заброшенный, нежилой, и воздух в нем пах землей, мышами и керосином от маленькой лампы без стекла, сучившей к потолку черную нитку копоты. Она стояла на ящике посредине барака, а вокруг него и дальше, на прогнивших нарах, густо сидели старатели.

Хисматулла не сразу узнал Михаила, сидевшего спиной к двери, но вот тот обернулся, улыбнулся парню и, видимо продолжая начатый разговор, стал отвечать кому-то:

— Вот ты говоришь — царь!.. Если бы, дескать, он все знал, все было бы по-другому!.. А он такой же богач, как и все, нужно ему о тебе думать — прямо голова с утра до ночи трещит... Да если хочешь знать — он жаднее всех, потому что богач поменьше свою округу обирает, а царь всю Россию... И ты хочешь, чтоб он твою нужду понял? Да? Держи карман шире!.. Хочешь, чтоб он с бая снял камзол и на тебя надел?

Да любой богач, любой бай ему дороже и ближе, чем мы, голытьба и нищета... И пока он будет стоять над нами — нам житья не будет, не жди!..

— Хорошие цари тоже бывают, и баи хорошие бывают, — возразил рыжебородый пожилой старатель, сидевший около ящика. — Все зависит от того, какой человек...

— Согласен! — Михаил кивнул головой. — Люди разные, но баи все одинаковые... Если он не будет жить грабежом и обманом, он и баем не станет!.. Что ему легче — пожалеть тебя или ограбить до последней нитки? Конечно, ограбить!.. А пожалует тебя — и сам в кармане недосчитается...

— Так уж непременно и ограбит? — спросил рыжебородый. — Меня, к примеру, никто не грабил и не раздевал до нитки... Я свои деньги горбом добываю, а уж сколько заработал — по одежке протягивай ножки, стало быть...

— Но откуда ты знаешь, сколько ты заработал?

— Как откуда? — удивился старатель. — Да из бумаги, на которой ставлю свою подпись...

— И ты думаешь, что на бумаге на самом деле написано, сколько ты заработал? А тебе не приходило в голову, что этой бумажкой тебе глаза заклеивают, чтобы ты ничего не видел и не понимал?

— Ну, это ты брось, — протянул старатель, но было видно, что его задело слова Михаила, и он смотрел на него с нескрываемым интересом и любопытством. — Растолкуй тогда, если знаешь...

— А тут дело проще простого! — Михаил неторопливо свернул сигарку, прикурил от фитиля лампы, закашлялся при первой глубокой затяжке. — Разве кто-нибудь из нас знает, сколько стоит его работа, сколько нужно платить каждому, кто целый день возится в забое, в грязи и обливается потом? Если платить тебе и за рабочую робу, и за то, что ты болеешь, и за то, чтобы на твои гроши семья кормилась, тогда тебе нужно отдать еще такую же половину! А если хозяин отдаст ее тебе — на чем же он тогда будет наживаться? И выходит, что ты и за себя пот льешь, и за него, потому что он присваивает вторую половину твоего заработка — понял?

Старатели загудели, и Хисматулла удивился, как преобразился в эту минуту Михаил. Он, как и все, слушал его, боясь пропустить хотя бы одно слово, слушал, словно пил из горного ручья чистую и прохладную воду и не мог утолить до конца свою жажду. Он глядел на человека, недавно учившего его, как нужно работать, и не узнавал его — тот же выпуклый лоб, широко расставленные голубые глаза, полные весеннего света, и посеребренные преждевременной сединой виски, все было знакомо на этом болезненно-бледном лице, но сейчас оно было иным — красивым и гордым, а сам он казался богатырской

силы человеком, и голос его звучал так, что один звук его волновал и тревожил душу.

— Постой! Постой! — крикнул кто-то из старателей помоложе, точно в эту минуту ему открылось что-то такое, о чем он и не подозревал. — Выходит тогда, что никакого закона нет? Выходит, это разбой среди бела дня?

— Да, — тихо ответил Михаил и откинул рывком прядь чуба со лба. — Законы пишут те, кто стоит над нами, и потом... закон что дышло... Его можно против тебя повернуть, если выгодно, а богач от него откупится...

Старатели заговорили вразнобой, словно были уже не в силах молчать:

— Это точно!.. Ворон ворону глаз не выклюет!

— Перед нашим хозяином урядник на полусогнутых ходит! В рот ему смотрит!

— Ждет, когда что-нибудь ему бросят, как собаке! И чем пожирнее кусок, тем лучше!

Михаил переждал, когда шум пойдет на убыль, но его опередил рыжебородый старатель, поднявшийся вдруг во весь свой могучий рост, так что тень от него легла на половину барака.

— Тогда за чем же дело стало? — спросил он, пожимая широкими плечами. — К ногтю всех богачей, а добро поделить между работягами по справедливости!.. К примеру, взять за шиворот нашего управляющего, штейгера, бая в придачу прихватить...

Опять поднялся гул голосов, и Хисматулла ничего не мог разобрать и понять, пока Михаил не вскинул руку над головой:

— Этим ничего не добьешься! — Голос его звучал глухо, но с такой убежденностью и силой, что Хисматулла привстал на носки, чтобы не только слышать его, но и видеть, а может быть, и поймать его взгляд, чтобы самому стать таким же сильным и мудрым, как этот русский батыр. — Ну, прикончим мы тех, кто нашу кровь пьет, кто измывается над нами, — хозяйских холоуев и цепных собак, допустим, и покрупнее кто попадется, а толк какой? Нагонят сюда солдат, кого расстреляют, кого на каторгу и в тюрьму отправят, да и тем, кто останется, тоже не сладко будет...

— Как же тогда жить? Сидеть и ждать, когда из тебя душу вытрясут? — с каким-то вызовом спросил Сайфетдин. — Если ты грамотный — научи уму-разуму...

Михаил опять наклонился к коптилке, разжег потухшую сигарку, затянулся, помолчал, точно собираясь с мыслями.

— Своих угнетателей мы можем взять за горло только тогда, когда это можно будет сделать сразу, по всей державе, когда весь народ на них поднимется!

— Этого можно и не дожидаться! — мрачновато заметил рыжебородый. — Один из-за малых детей не решится, другой просто в кусты полезет. . .

— Нет, это время придет! — как клятву, произнес Михаил и тоже выпрямился, и тень его слилась с тенью рыжебородого старателя, точно они обнялись. — Сегодня ты понял, завтра другой, а потом уже и всем станет ясно, что так дальше жить невозможно, и вот тогда мы станем такой силой, с какой не сладит ни один царь. . . А поймет народ — поймут и солдаты, и там уже никому несдобровать! . . Потому что сильнее народа ничего нет и быть не может! . .

В бараке стояла напряженная и тугая тишина, готовая взорваться; в этой тишине голос Михаила звучал как гулкий набат, и Хисматулла стоял в тяжело дышавшей толпе и не замечал, что руки его невольно сжимаются в кулаки.

— Мы должны набраться терпения и копить свои силы — здесь, на прииске, в любой деревне, на заводе — и ждать своего часа, и он придет, этот час! . . Золото собирается крупичами, так и мы должны — один к одному, плечо к плечу. . .

«Один к одному, плечо к плечу!» — шепотом повторял про себя Хисматулла, подмываемый непонятной радостью и восторгом, не отрывая горящих глаз от своего недавнего знакомца.

Он ушел из барака так же незаметно, как и пришел сюда, — растаял в темноте. А в своем балагане, забравшись на нары, всю ночь не мог сомкнуть глаз — прямо перед ним горели из мглы глаза Михаила, звучал в ушах его голос, и душа отвечала согласием на каждое его слово. . .

С этого дня Хисматулла обходил стороной кабак, а сразу после работы, наскоро умывшись и перекусив, бежал к заветному бараку, если Михаил собирал старателей и читал им книжки.

Иногда ему казалось, что до встречи с этим русским агаем он ходил по земле, как слепой, с черной повязкой на глазах, и Михаил сорвал ее, и Хисматулла увидел то, что раньше прошло бы мимо него. Он многого еще не понимал и в том, о чем читалось, говорилось, но с каждым днем будто дышал все свободнее, полной грудью. Он повторял про себя новые, доселе не слышанные слова — «партия», «большевики», «революция», не все до конца понимая, но такая сила заключена была в этих таинственных словах, что она заставляла его выпрямляться, точно жаром правды обдавало его сердце, и оно уже стучало в лад с другими сердцами. . .

«Один бы я пропал, — думал Хисматулла. — Как песчинка в карьере, а теперь я сила, или, как говорит Михаил, «я — пролетариат».



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

I

Весь день Хаким рылся на гребне горы, еще покрытом местами снежными шапками сугробов. Наконец, отчаявшись, он со злостью воткнул лопату в землю и крикнул, обернувшись к сыну, копавшемуся рядом, в мелком березняке:

— Бери чайник, идем!

Загит молча повиновался.

Узкая глинистая тропинка сбегала вниз, петляя и извиваясь, ноги скользили, крышка пустого пузатого чайника подскакивала и звенела в руках у Загита, шедшего за отцом. Спускаясь, мальчик поскользнулся и шлепнулся в желтое месиво глины, разбрызгивая скопившуюся в ямках талую воду.

— А, чтоб тебя! — не поворачиваясь, крикнул отец.

Мальчик встал, поднял чайник и снова поспешил за отцом, в скользких местах держась руками за траву. «Ци-фи, ци-фи, ци-фи!» — крикнула сзади синичка. Загит поглядел по сторонам и заметил на ветке ольхи маленькую птичку. Он было остановился, чтобы поглядеть на нее, но почти тотчас Хаким, не слыша за собой шагов сына, обернулся и сказал:

— Ты что, ждешь, чтобы я поднялся и надрал тебе уши? Смотри, до заката один аркан времени остался! — он показал

рукой на солнце, спускавшееся за гору. Действительно, скоро оно уже должно было коснуться края вершины.

Мальчик глубоко вдохнул свежий весенний воздух и двинулся с места. Но на каждом шагу взгляд его приковывала то красиво изогнувшаяся ветка с набухшими, готовыми распуститься почками, то звонко падающие с разлапистых елей капли, то кувыркающиеся в воздухе воробьи... Самый воздух пел о весне, каждый глоток его живительно и жарко бежал по жилам, и на душе становилось радостно и легко, несмотря на то что отец то и дело останавливался и грозил всыпать по первое число, если Загит сейчас же не прибавит шагу.

Внизу, там, где сквозили голые кусты уремы, протяжно и томительно пели русские женщины, их голоса соединялись со звоном ударяющихся о камни лопат, с фырканием лошадей, везущих породу к Юргашты. Облепленные дорожной грязью, хлюпали по глине колеса, скрипели втулки, лошади ступали в желто-серые лужи, поднимая кверху опметья грязи. Сбоку у дороги, чуть не плача, у худой, сивой лошаденки, запряженной в сани, стоял бритоголовый мальчик с кнутом. Лошаденка, несмотря на свой замухрышечный вид, была как будто с норовом: мальчик то хлестал ее кнутом, то понукал вожжами, но та в ответ только била задними копытами по оглобле и передкам саней. Наконец, дернувшись, она сошла с дороги и увязла в глубокой канаве. Побежав, Загит помог мальчику вывести лошадь на дорогу и вирипрыжку помчался за отцом, который, видимо махнув на сына рукой, ушел далеко вперед...

Загит догнал отца уже на опушке. Хаким стоял на гребне горы, заслонившись рукой от солнца, и смотрел на Юргашты. У реки видны были похожие на ряды гробов деревянные желоба, маширты, шахты, разрушенные отвалы. Вокруг желтой горки глины, как муравьи, суетились люди. Мальчик тронул отца за рукав.

— Пришел, черт тебя дер! А чего пришел, спрашивается? — набросился на него Хаким. Загит опустил голову, а когда поднял ее, отец уже шагал впереди.

Внизу, у шахты, стояли несколько старателей. Хаким подошел к ним, мальчик остался в стороне, не решаясь вмешиваться в дела взрослых мужчин.

— Хаким! Хаким пришел! — загомонили старатели, пожимая руку его отцу, и Загиту стало очень приятно, что отца его так хорошо знают.

— Штейгера ищут, — отвечал Хаким, улыбаясь и кивая. — Здесь он?

— Куда ему деться?

— А у нас плохи дела, день ото дня хуже, даже срубы теперь за наш счет в шахтах обновляют!

— Это почему? — удивился Хаким.

— Как же, у новой метлы новые порядки! Имей, говорит, свой инструмент, лошадь, тогда и приходи, а иначе — скатертью дорожка!

— Все запретили — доски, крепы, подхваты! — добавил другой. — Осталось только дышать запретить да воду по грамму выдавать... И плату понизили, дальше некуда!

— Даже старики на заработки двинулись, — проворчал седой, изможденный башкир. — Детей по дороге видел? Как грачи, за телегами бегут, от шахты до уремы! Старший брат у младшего силой кусок глины отнимает и скорей мыть бежит — а вдруг на кусок хлеба намоет? — Он сокрушенно покачал головой: — Голова кругом идет от такой беды... Как кроты живем, кроты и те лучше живут — сами на себя надеются и плевать им на золото! Отцы и деды наши и в земле не рылись, и сыты были, а мы как запряглись в эту шайтанову арбу, так, видать, и помрем...

— Да-а, — протянул Хаким, зная, что словами горю не можешь. — Проклятая жизнь! Пойду я, Сабитова надо найти... — Но, не сделав и двух шагов, он увидел штейгера.

— О-о, кто к нам в гости пожаловал! Ну, здравствуй, здравствуй, старик! Что принес — плохое или хорошее? Места не нашел? — шумно заговорил Сабитов.

— Намучился только... — ответил Хаким, устало махнув рукой. — Из целого воза породы и одной спички золота не получил!

— А на поле Аталгыр был?

— Был, всю шахту облазил и всего четыре знака нашел...

— Тьфу, дурак! — вспылil штейгер. — Два месяца ходил только затем, чтоб сообщить мне, что воз глины четверть спички дает! Значит, ради одного золотника сорок возов промыть надо, так, что ли? И зачем я поверил тебе, попрошайка? Что я теперь Накышеву скажу?

— Зачем оскорбляешь? — вскинул голову Хаким. — Я у тебя не милостыни просил, а взял в долг! Найду золото — и отдам все до последнего грамма, было б только здоровье! Ты сам виноват, что я без лошади и коровы остался...

— С ума сошел старик! — пожал плечами штейгер. — Я ни лошади, ни коровы твоей в глаза не видел!

— Я сам их зарезал, из-за твоих пяти пудов муки, потому что слову твоему поверил... А теперь из-за этого дети голодные сидят. Хоть полпуда дай еще в долг, пожалуйста...

— Верни сначала, что брал!

— Верну, верну, за мной не остается! Есть же хоть у одного из этих тупоголовых счастье, — Хаким показал рукой на стоявшего рядом сына. — Сегодня во сне детский помет видел, это примета верная...

— Ты что, сны свои сюда рассказывать пришел? — прервал его Сабитов.

— Не найду золота, сделаю тебе хомут или сани... расстроенно продолжал Хаким. — А то без еды и сил на работу не хватает... Старею, уже за пятьдесят перевалило! Помоги, начальник, в последний раз прошу!..

— Так уж и стареешь! — усмехнулся штейгер. — Думаешь, не знаю про твои делишки? Для работы — старик, а как молодая баба попадетса — сразу парнем делаешься!

Собравшиеся кругом старатели рассмеялись. Хаким скосил глаза на сына — не поняв, в чем дело, но видя, что все кругом смеются, мальчик тоже начал улыбаться, растягивая полные яркие губы. Хаким гневно схватил Загита за уши и встряхнул его так, что у мальчика потемнело в глазах:

— Собака! Ты что, над отцом смеяться вздумал?!

— А-ай, не надо, я не нарочно! — закричал Загит.

— И что ты за мной шатаешься, что ты за мои штаны вечно держишься, паршивец? Марш домой! — И Хаким на прощанье дал сыну такую затрепину, что тому показалось, будто стоявшие впереди старатели наклонились и перевернулись вместе с землей...

От прииска до деревни было верст семь, и Загит, с малых лет привыкший получать от отца оплеухи и затрепины, уже на полдороге забыл о том, что произошло возле шахты, тем более что надо было еще пройти мимо поросшего густым лесом кладбища, которого он так боялся. В придачу ко всему он вдруг почувствовал, как ему хочется есть и как устали находившиеся за день ноги. Солнце уже зацепилось краем за гору, и мальчик прибавил шагу, чтобы не идти мимо кладбища в сумерки. Чуть только показались могилы, еще покрытые рыхлым снегом, он припустил бегом, шепча: «Бисмилла! Бисмилла!», чтобы отпугнуть злых духов. Лишь когда кладбище осталось позади, он пошел медленнее и, взобравшись на гребень Казумтау, огляделся.

Внизу видны были игрушечные домики Сакмаева, в середине улицы Кызыр высилась мечеть с минаретом, далеко на горизонте тянулись синие хребты Кракатау. Солнце уже закатилось, и темные, мрачные леса на склоне Бишитэк разом будто еще больше загустели и почернели. Повеяло прохладой, на небе слабо зажглись бледные звезды. Курились внизу трубы чувалов, резко торчащие на крышах, черный дым сносил в сторону, и мальчику вдруг показалось, что это ночь вылезает из труб деревенских домов, где она прячется весь день от солнца, чтобы заслонить, застлать землю черной, густой теменью. Ветер подул резче и сильнее, одинокая ель заскрипела, качаясь, и Загит стал, спеша, спускаться вниз, к родному домику,

окруженному редкой изгородью, согнувшемуся и припавшему к земле, как старый больной человек.

Чуть только он вошел во двор, в бревенчатом хлеву протяжно замычала телка. Загит поглядел на крышу хлева. «Совсем мало сена осталось, и двух охапок не будет,— подумал он.— И дрова вчера кончились, чем топить будем?»

На пороге его с шумом окружили дети.

— Агай, агай пришел!

— А где отец?

— Хлеба принесли?

Узнав, что Загит пришел один и не принес с собой никакой еды, они отступили и разошлись по своим углам. Мугуйя только взглянула на мальчика и отвернулась к стене. Загит развесил на проволоке, опоясывающей чужал, окаменевшие от холода лапти и мокрые, скользкие от глины портянки и, укрывшись тулупом, подсел к Гамиле и Султангали. «Когда же они все вырастут? — подумал он, оглядывая комнату.— Вон уже, кажется, и Сахинымал старику Шафику в жены отдал, а детей все не убавляется... Могла бы хоть раз в гости зайти, как-никак старшая сестра, гостинцев бы принесла, у Шафика-агая небось карманы не пустые... Нет, легче было бы, если б отец не брал Мугуйю — она хоть и не злая, а только все равно нет от нее в хозяйстве проку... За три года троих родила да еще и сама слегла! Куда нам столько лишних ртов, нам и своих хватает... Одного младенчика схоронили, правда, но два-то остались, есть просят! А мы с отцом ходи и на всех зарабатывай!..» Все это не раз уже слышал Загит в деревне от стариков, и теперь ему приятно было, что он может рассуждать, как взрослый. Мальчику и невдомек было, что он всего лишь повторяет чужие слова...

Мугуйя запеленала в березовую гнилушку двухмесячную Фарзану, дала ей грудь и уложила спать. Потом вздохнула и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Что-то долго сегодня отца нету...

Фарзана захныкала во сне, Мугуйя подошла к ней и, легонько похлопывая девочку по боку, запела:

Не кричи так жалобно, не кукуй, кукушка,
На высоком дереве, в темном во лесу,
Я была веселая, как и ты, подружка!
А теперь от горя ноги не несу...

Мугуйя провела рукой по краю шестка и всхлипнула. Загит отвернулся. Он понимал, что ничем не может помочь ни мачехе, ни своим сестрам и братьям. Полночи мальчик не спал. Чуть во дворе раздавался шорох, он напрягался, прислушивался — не отец ли идет.

Проснувшись утром, он увидел красное, опухшее от слез лицо мачехи и понял, что отец до сих пор не пришел. «А что,

если я сам? Вдруг мне больше повезет? — подумал мальчик, и что-то будто толкнуло его в самое сердце. — Пойду один и найду целый кусок золота, а если не кусок, то хоть кусочек — все равно можно будет хлеба купить!» — и стал спешно натягивать лапти.

— Куда? — спросил его Султангали.

— Не твое дело! — подражая отцу, крикнул Загит. — Ты что, хочешь, чтобы я надраил тебе уши?

— Возьми меня с собой! — попросил брат.

— Нечего за мной шлаться! Может, ты еще за мои штаны подержаться хочешь? Сиди дома!

Лицо Султангали сморщилось, на глазах показались слезы.

— Всегда без меня да без меня! — жалобно и просительно кривя губы, захныкал он. — Все уходят и уходят, один я все дома сиди да сиди. . .

Загит смутился и ласково тронул брата за плечо:

— Ну, что ты? Разве мужчины плачут! Я тебя потому с собой не беру, что ты замерзнешь. . . погоди, вот наступит лето, вместе за ягодами пойдем! — пообещал он.

— И я, и я! — подбежала Гамиля.

— И тебя возьму, ладно! — согласился Загит. — Только сейчас не мешайте мне, видите, я тороплюсь!

Он натянул лапти и вышел во двор. От холода сразу зацепило колени, заломило спину, но мальчик не обратил на это внимания. Всю дорогу до золотого прииска он повторял: «Я найду золото, я должен найти золото, если я вернусь домой без золота, что будут есть Султангали, Гамиля, Аптрахим? Я должен, должен его найти!» Эти мысли помогали ему идти, и он сам не заметил, как подошел к прииску.

Не обращая внимания на ребят, копавшихся в старых оттаявших отвалах, Загит набрал руками полный таз каменистого песка, усыпавшего прииск и, не зная, что делать дальше, остановился и стал наблюдать за другими. Поняв наконец, в чем дело, он запрудил вешнюю воду, присел на корточки, убрал из таза камни покрупнее и процедил воду. На дне таза осталось много желтых камней. «Слава аллаху, я так и думал, что мне повезет! — радостно подумал мальчик. — Теперь на всю жизнь хватит, неспроста меня тянуло сюда, я знал, что найду!» Он по одному вынимал камни из таза, и пробовал на зубок. Если камень крошился, он отбрасывал его в сторону, руки его дрожали, и сердце стучало быстро-быстро. Не чувствуя боли, он все мешал и мыл глину и песок окоченевшими, красными от холода руками. Желтых камней с шероховатой поверхностью становилось все больше и больше, и Загит уже не мог сдерживать улыбки и только время от времени щипал себя за руку, чтобы убедиться, что это не сон.

— Ты что, глухой? — вдруг резко крикнули у него над головой.

Загит вдрогнул и обернулся. Сзади, присев на корточки, глядел на него худощавый парнишка с черным, спадающим на лоб чубом.

— Ты что? — повторил парнишка. — Пятый раз тебя зову, а ты и ухом не ведешь! Я спрашиваю — что ты здесь делаешь?

— Разве не видно? — важно ответил Загит. — Золото мою!

— Нашел хоть что-нибудь?

Загит с гордостью указал на кучку желтых камешков:

— Вот!

— Что вот? — переспросил парнишка.

— Как что? Золото! — рассердился Загит.

— Это, по-твоему, золото? — незнакомый мальчик присвистнул от удивления. — Самые обыкновенные камни!

— Ка-амни? — растерялся Загит. — Ты точно знаешь?

— Еще бы не точно! — парнишка прищурился. — Я, брат, слов на ветер не бросаю! Если б в самом деле столько золота можно было найти...

Загит чуть не заплакал от обиды и горя. Сразу почувствовал он, как болят руки и ноет спина, как он беспомощен и как еще мал, лицо его покраснело от стыда и гнева на самого себя.

— Зря не мыкайся, тут много не намоешь! — Парнишка встал с корточек, и Загит узнал в нем хромого Гайзулла. — Ты где подачу брал?

— Чего, чего?

— Э, да ты даже не знаешь, что такое подача порода! — высокомерно усмехнулся Гайзулла. — Мы, старатели, покамест подачей такую глину называем, в которой золото найти можно, понял? — Он прищурился, глянул еще раз свысока на все еще сидевшего на корточках Загита и вытащил из-под пояса грязных холщовых штанов матерчатый кисет. — Спички есть? Хотя что я спрашиваю, сразу видеть, что нету. Тебе курить еще нельзя, молод слишком!

Гайзулла вытащил из пришитого к штанине черного кармана огниво и закурил. Едкий дым самосада потянулся вверх. Гайзулла затыкнул, сплюнул, молодцевато подтянул штаны.

— Так ты где эту глину-то брал? — важно спросил он.

— Здесь... — Загит показал рукой под ноги.

Гайзулла хлопнул себя по боку:

— Зде-е-есь? Какое здесь может быть золото? Ты же пустой речной песок промывал, дурья твоя башка!

— Гай-зул-ла-а! — послышался в стороне дрожащий женский голос.

— Мать кричит, — пояснил Гайзулла и тут же откликнулся: — Чего тебе? Заблудилась, что ли? Ни на шаг нельзя отойти! Сиди, я скоро приду! — Он обернулся к Загиту: — Ты чей?

— Хакима, из рода Кызыр...

— А-а, сын Хакима-бабая! Да-да, вспомнил... — Гайзулла задумчиво потер лоб ладонью. — Я к вам ходил как-то, еще мать твоя жива была, к брату твоему ходил...

— К Мухаметкилде?

— Да, к нему, упокойт аллах его душу! — сложил ладони Гайзулла. — А потом мне бес ногу повредил, и я уже не смог к вам ходить...

— Гай-зул-ла-а! — опять послышалось невдалеке.

— Айда со мной! — решительно сказал Гайзулла. — Зря только проторчишь тут, и так вон уже гусиной кожей pokrылся!

Обойдя несколько старых отвалов, мальчики подошли к Фатхии, которая неподвижно сидела на плоском камне. Глаза ее были повязаны черной тряпкой. Гайзулла тронул мать за руку:

— Эсей, дай-ка мне тот хлеб, что остался...

— Ты же только что ел, опять проголодался? — Вытащив из мешочка кусок лепешки, она разломала его пополам, половину протянула Гайзулле, а вторую аккуратно положила в тот же мешочек, затем дрожащими руками собрала крошки с подола и положила их себе в рот.

— Ты его сразу глотаешь, а лучше соси, как я, — посоветовала она. — Так лучше наешься...

— Спасибо, — сказал Загит, все еще держа в руках кусок лепешки, которую молча протянул ему Гайзулла.

— Да что ты на него смотришь? Ешь! — отвернулся тот.

— С кем это ты говоришь? — обеспокоилась Фатхия.

— Это сын Хакима-бабая, тоже пришел золото мыть, — ответил Гайзулла. — Проголодался и замерз. — Он снял с себя старые рукавицы из козьей шерсти и надел их Загиту на ноги. — Покамест согреешься немного...

Загит, дрожа, набросился на хлеб.

— Ты один пришел, сын Хакима? — спросила Фатхия.

— Да...

— Бедненький... — Старуха снова вынула свой мешочек и протянула вторую половину лепешки: — Возьми тогда и это... Сегодня пятница, вот и будет милостыней, помяни покойного отца Гайзуллы!.. Молись аллаху, сынок, и нас в молитве не забудь, пожелай нам найти много золота! Если аллах тебя услышит, куплю тебе новые штаны... Зарок даю, что куплю!

Загит уже откусил было от лепешки, но вспомнил о голодных братьях и сестрах, оставшихся дома.

— Ты что? — удивленно спросил Гайзулла.

Загит втянул голову в плечи.

— Чего боишься? — повторил Гайзулла. — Ешь, ешь, я на тебя не смотрю...

— Можно, я домой отнесу? — робко попросил Загит. — У нас дома все сидят голодные. . .

— Бери, бери! — махнул рукой Гайзулла. — Хлеб твой, что захочешь, то и делай!

Загит сунул хлеб за пазуху и собрался было идти домой, но сидевшая молча Фатхия опять обратилась к нему:

— Сколько знаков ты сегодня намыл, много?

— Зря ты его спрашиваешь, мама, — Гайзулла улыбнулся. — Я говорю, он еще маленький, совсем не знает даже, где золото ищут. . . Ты когда-нибудь золото видел? Знаешь, что такое знак? — спросил он Загита.

— Вчера отец нашел, но он мне не показывает. . . — опустил голову, ответил Загит.

— Я тебе сейчас покажу, — Гайзулла поднял старый, заштопанный французский платок, который лежал возле порожнего мешочка, и, развязав узелок, открыл его перед Загитом. В платке поблескивали мелкие, почти белые крупички.

Загит никогда не думал, что золото собирают такими крохотными песчинками, и, вспомнив, как утром хотел найти кусок величиной хотя бы с кулак, невольно покраснел.

— Золото желтое, мне отец говорил, — шепотом сказал он.

— Это если в куске! — со знанием дела ответил Гайзулла. — Видишь? Это то, что мы с мамой сегодня намыли. . . А если б намыть раз в десять больше, как раз один грамм получится.

— А что такое знак?

— Знак — это одна песчинка, понял? Здесь у меня знаков десять, весит это все около одной спички. А десять спичек весит один грамм. . . — Гайзулла посмотрел на Загита и снова улыбнулся. — Возьми-ка себе один знак, вот этот, маленький. . .

— Ты что, с ума сходишь! — рассердилась Фатхия. — Дай сюда золото!

— Не спорь со мной, мама! Я хозяин! — вспылил Гайзулла. — Смотри, вот рассержусь и все рассыплю!

Фатхия замолчала, только дрожали, лежа на коленях, ее высохшие старые руки.

— Попусту здесь не болтайся, иди домой! — обернулся к Загиту Гайзулла. — А вот станет потеплее, я тебя к себе в помощники возьму, ладно? И будем вместе мыть!

Дома Загит застал отца. Ни на кого не глядя, Хаким приделывал к саням вязки. Глаза его покраснели, лицо опухло, на сына он даже не взглянул. Мальчик осторожно присел у чучала, протянув ноги к огню, и стал наблюдать, как играют рядом на полу дети. Время от времени тихо стонала Мугуйя, лежавшая на нарах и крепко прижимавшая к себе спеленатую дочку.

— Открывай ворота, открывай ворота! — бубнил Султангали, двигая по полу березовые чурки. — Мои кони идут, воронье

мои кони идут! Гамиля, видишь моих лошадей? Когда я вырасту, буду богаче самого Хажисултана-бая! Знаешь, сколько у меня будет лошадей? Запрягу их в сани и поеду по горам! Динь, динь! — закричал мальчик. Сестра вторила ему. Вдруг Султангали быстро обернулся и дернул ее за черную косичку, и тотчас, увидя, что Гамиля собралась зареветь во все горло, зашептал: — Посмотри на Аптрахима, он еще не доел! Возьми у него хлеб и спрячь, брату потом отдадим! — Султангали показал на задремавшего у чувала Загита. Гамиля послушно встала и затопала к младшему брату.

— Дай! — потянула она за хлеб. Но Аптрахим вцепился ручонками в хлеб и громко заревел.

— Зачем трогаешь? — сердито повернулся Хаким. — Ты свою долю получила уже!

— Мы ж только пошутили... — сказал Султангали.

— Я тебе покажу шутки! — вскочил Хаким. — Все безобразия в доме от тебя! — Он хлопнул сына по затылку и снова сел.

Султангали почесал затылок и, как ни в чем не бывало, схватился за чурки, но через минуту поднял голову и поглядел на отца.

— Есть хочу... — жалобно протянул он.

— Сиди смирно! Где я возьму вам столько хлеба? У-у, обжора, и так больше всех ешь! А ты чего лоботрясничает? — повернулся он к старшему сыну, проснувшемуся от крика и тершего кулаками глаза. — Иди сюда! На, руби связку для сaney, учись, пока я жив!

Загит молча взял протянутую отцом молодую черемуховую ветку, уже отесанную топором.

— Если человек ремесло знает, он не пропадет! — продолжал уже спокойнее Хаким. — Думаешь, зря меня лучшим масте-ром в деревне считают? Даже из соседних деревень приходят заказывать и ложки, и чашки, и тазы, и седелки, а то телегу или тарантас — я все сделаю! Будешь стараться, и ты мастером станешь... Знаешь, что в нашем ремесле главное?

— Не-ет... — помотал головой Загит.

— Главное — сердца своего не жалей, даже если ты простую палочку стругаешь! Всего себя в узор вкладывай, каждую щепочку люби, понял? Тогда и люди твоей работой залюбуются...

Загит начал обтесывать черемушину, но топор так и валился у него из рук, глаза слипались сами собой.

— Топорище ближе к топору держи, — посоветовал Хаким, — так удобнее...

Приделав вязки, Загит вынес сани во двор и, собрав оставшиеся на полу щепки, бросил их в чувал.

— Давайте чаю попьем,— устало сказал Хаким.— Мать, ты подынешься?

Но Мугуйя лишь застонала в ответ. Загит расстелил на полу скатерть, и все уселись вокруг нее. Хаким вывалил на поднос дымящуюся картошку, разделил ее поровну между детьми.

— А хлеб? — робко спросила Гамиля.

— Хлеб уже ели сегодня, пусть на завтра останется,— отец тяжело вздохнул.

Раскрошив свою картошку в чай, Загит выпил похлебку и от усталости еле сидел у скатерти. Остальные дети ели картошку с солью и старались растянуть удовольствие.

— Наелись? — по привычке спросил Хаким, когда на скатерти не осталось даже картофельной шелухи. Дети молчали. Хаким помолчал и погладил рыжеватую, с проседью, бородку.— Неблагодарные вы... Не дай бог лишиться и этой еды, что тогда станете делать? Слава аллаху за эту картошку, без нее сейчас как волки были бы! Закрой-ка вьюшку,— приказал он Загиту.— Да не забудь сказать «бисмилла» на пороге, чтобы бес не попутал!

Не обуваясь, Загит выбежал и стал подниматься на чердак по шаткой, приставленной к стене лестнице. «Бисмилла, бисмилла»,— повторял он, влезая на каждую следующую перекладину. В темноте он еле нащупал чугунную вьюшку, закрыл чужал и, дрожа от страха и холода, спустился обратно. Дети уже ставили посуду в передний угол, а Хаким все сидел на том же месте, задумчиво глядя на тлеющие в чужале угольки. Затем обернулся к детям.

— Аптрахим, иди-ка сюда! — позвал он.

Мальчик быстро подбежал и вскарабкался к отцу на колени. Хаким погладил любимого сына по голове, поднял его, уложил на нары рядом с матерью и стал пристраиваться рядом.

— Ложитесь, пока сыты! А то опять есть запросите...

Дети только того и ждали. Гамиля легла в ногах, а Султангали и Загит — в изголовье у родителей, постелив на нары облезлую телячью шкуру и укрывшись старым тулупом. В доме наступила тишина, и тотчас стало слышно, как воет на улице ветер, из окна, затянутого брюшиной, тянет холодом. Где-то па деревне неистово заливалась лаем собака, по стенам ползали, тихо шурша, тараканы, пахло копотью.

— Слышишь, как мыши пищат? — шепнул на ухо брату Султангали.— Как ночь — так пищать начинают, слышишь?

Но Загит уже спал, и только скрипела, качаясь от стены к стене на прибитом к потолку крюке, деревянная люлька с маленькой Фарзаной... ,

II

Мугуйя больше не вставала. Обняв ребенка, она неподвижно лежала на нарах, глядя в одну точку, и даже не стонала больше. Один только раз она ответила мужу на вопрос, почему лежит:

— Смерти жду... Аллах скоро пошлет мне ее.

И поняв, что уговаривать ее бесполезно, Хаким махнул рукой и ушел на прииск. Три дня у детей не было во рту ни крошки, если не считать маленького кусочка лепешки, который принес откуда-то Загит. К концу четвертого дня отец вернулся с пустыми руками и, взглянув на детей, молча взял топор и вышел во двор. Через полчаса он принес зарезанную телку и, так же молча разделив ее, опустил в котел почти половину туши. И хотя всем было жалко, что телку зарезали, но мысль о наваристом мясном бульоне и вкусный запах, идущий от котла, разом подняли настроение. Даже Мугуйя, повернувшись лицом к весело потрескивающему огню, слабо улыбнулась, глядя на рассеявшихся вокруг чувала детей. Сам Хаким забыл сегодня свое верное правило: «Съешь крошку, через час сможешь отщипнуть еще, а если съешь все сразу, то через час и отщипнуть будет нечего!», он вставал и мешал в котле ковшом, и ему казалось, что мясо варится что-то слишком долго. Наконец он снял котел с огня и, вытащив мясо, стал делить: отнес Мугуйе большую чашку с бульоном, положил рядом с собой толстый шейный позвонок, а остальное раздал ребятам.

— Хлеба вы у меня не видите, так хоть мяса нажритесь до отвала! — сказал он.

Султангали первым съел свою долю, дочиста вылизал деревянную чашку, где лежало мясо, и подошел к старшему брату. Загит, с трудом доевший один из двух своих кусков, протянул второй:

— Съешь за меня, Султангали...

— Ешь сам! — крикнул Хаким. — Этому обжоре даже если целую корову скормить, и то мало будет! И как в тебя только влезает? Никогда я тебя сытым не видел! — сердито повернулся он к сыну. — И мяса давал тебе в хорошие времена, сколько душа просит, и хлеба, и топленным молоком поил, а ты все требуешь — дай да дай! Нет, тут дело нечисто — или ты перед едой не молишься как следует, или у тебя в животе шайтан поселился! Надо будет тебя к курээз сводить...

Но, утолив голод, Хаким стал добродушнее, чем обычно, и, кроме того, еда так разморила его, что и ругаться было лень. Он оглядел детей:

— Ну как, наелись?

— Наелись, атай, наелись! — ответили они нестройно.

— Дурное дело оставили?

— Оставили, оставили!
— Ну, тогда помолитесь и ложитесь спать...
— Слава аллаху, пусть он пошлет мне еду, а я буду есть! — сказал Султангали. Загит покачал головой.

По обычаю, братья легли рядом, на краю нар.

— У тебя живот не болит? — озабоченно спросил Загит.

— Не-ет...

— Может, у тебя там в самом деле злой дух?

— Ну тебя! — сердито отвернулся Султангали.

Загит полежал немного молча и снова толкнул брата в бок.

— Султангали, а Султангали?..

— Чего тебе?

— Повернись-ка! Чего скажу...

— Сам только что дразнился, а теперь хочешь, чтобы я с тобой разговаривал... — обиженно засопел Султангали.

— Да чего ты дуешься! У меня самого живот болит, потому я тебя и спрашиваю...

— Дурак ты, хоть ты мне и старший брат! — так и не повернувшись, сказал Султангали. — Я ж тебя подтолкнул, а ты не понял...

— Чего не понял? — удивился Загит.

— Вот я и говорю, что дурак ты, надо было то, что осталось, в рукава спрятать! Вон пощупай, как я свой набил! — он протянул брату рукав старой отцовской шубы, в которой теперь ходил сам.

Загит, нащупав полный рукав, тяжело вздохнул:

— Зачем тебе это?

— Как зачем? Вот проголодаюсь, выну кусок и съем, а у вас к тому времени все уже кончится!

Они долго лежали молча, Загит уже задремал, когда Султангали обнял его за шею и зашептал на ухо:

— Слушай, давай к Хажисултану в амбар за мукой слазим, а? Я один много не унесу...

Загит даже приподнялся от испуга.

— Ты что, свихнулся? Не знаешь разве, что это грех? И что ты все хочешь зло кому-то причинить, кто тебя этому учит?

— Нигматулла-агай... — тотчас ответил Султангали. — А что? Не хочу я голодным сидеть, вот мясо кончится, что тогда есть? Если хочешь знать, Нигматулла-агай...

— Вы что, не наговорились за день, может, мне с вами поговорить? — вскинулся Хаким, которого разбудили голоса ребят.

Братья умолкли. Султангали почти сразу уснул, а Загит еще долго лежал, широко открыв глаза и вглядываясь в темноту. «Надо отцу сказать, — думал мальчик. — А то и в самом деле натворит чего... Или не говорить...»

Перед рассветом он уснул, а когда проснулся, ни отца, ни брата уже не было. «Пойти поискать...» — подумал Загит и, одевшись, вышел на улицу.

Отец во дворе возился с санями, и не успел Загит закрыть за собой дверь дома, как он крикнул ему:

— Беги на скотный двор! Хажисултан-бай сказал, там для тебя работа есть!

— Атай... — несмело начал мальчик, переминаясь с ноги на ногу.

— Беги, беги, без отговорок! Чтоб одна нога здесь, другая там! — отмахнулся отец, и, не смея ему перечить, Загит во всю прыть припустил по дороге.

...Возвращаясь со скотного двора, Загит увидел молодую женщину в черном, которая быстро прошла навстречу ему и даже не прикрыла лица платком. Лицо ее было сосредоточенно и серьезно, глаза смотрели прямо перед собой, но, казалось, не видели Загита, а всматривались во что-то позади него. Загит оглянулся, чтобы посмотреть, что так приковало ее внимание, но не заметил ничего особенного. Пожав плечами, он двинулся дальше, но не успел сделать и нескольких шагов, как из-за поворота прямо на него, подскакивая, вылетел Гайзулла.

— Сестру мою не видел? — тяжело дыша, крикнул он.

— Она в черное одета?

— В черное.

— Значит, видел! Она вон туда пошла, — показал рукой Загит.

— Туда? Тогда все в порядке, слава аллаху, домой побежала. — Он помолчал, переведа дыхание, и продолжал: — На кладбище ходили... Как увидела могилу своего ребенка, повернулась и бежать! Я за ней — ну, думаю, сейчас в колодец бросится! Беда с этими ненормальными...

— Любила, что ли, сына? Отчего он умер? — участливо спросил Загит.

— Да не сын, а дочка, она уже сразу мертвая родилась! — пояснил Гайзулла. — Я сам и схоронил ее, Нафиса тогда и встать не могла, а Хажисултан-бай только пса спустил, когда я к нему пришел, ни гроша не дал и с тех пор к нам в дом ни ногой! Айда пойдем вместе? Я из-за нее и на могилу отца посмотреть не успел, идем, на маму свою поглядишь...

Загит хотя и боялся, но согласился, не желая обидеть друга. Они пошли к кладбищу, прокладывая себе дорогу в мокром снегу.

— Ты не боишься? — спросил Гайзулла. — Когда отец живой был, я тоже ужас как боялся! А теперь привык... Я здесь часто бываю, иногда мать со мной ходит или сестра, но ее я больше с собой не возьму. Как только придет на кладбище,

точно духи в нее вселяются! Не могу за пей бегать, у меня нога устает...

— А отчего твой отец умер? — спросил Загит.

— Мулла говорит, его хозяин горы наказал, оттого что я самородок нашел! Да нет, это давно было, — сказал Гайзулла, заметив, как заблестели глаза товарища. — То золото отец, чтобы от нас беду отвести, бывшему хозяину прииска отдал, Гали-ахмету-баю...

— А-а! — разочарованно протянул мальчик.

— А ты хозяина горы не боишься? Он ведь каждого, кто найдет золото, наказывает! Видишь, что с моей ногой сделал?

— Может, мне то золото, что ты дал, выбросить? — испугался Загит.

— Что ты, за такую ерунду никто тебя не тронет! — рассмеялся Гайзулла. — А знаешь, что делать, если найдешь самородок величиной с лошадиную голову?

— Не-ет...

— Вот и видать, что ты молод покамест, а вот я знаю! Меня один курээз научил, с которым я по белу свету бродил, — надо три раза сказать «локотэ, локотэ», а потом перебросить золото через плечо и сказать: «Лэгнатулла калаулин, каулин, кафрин!»

— А что это значит?

— Это значит, что ты не виноват, что золото нашел, а виноват начальник, который прииски держит! Отец не знал, как надо сказать, вот и погиб... — погрузился Гайзулла.

— А потом можно самородок поднять? И тебе ничего не будет? — переспросил Загит.

— Я говорю, поднимай и делай с ним что хочешь после этого, мне курээз все растолковал про горных духов... Ученый, и по-русски может говорить, знаешь сколько всего у него в голове? Я, пока с ним ходил, тоже немножко по-русски выучился, вот кладбище по-русски «погост» называется...

За разговором мальчики не заметили, как подошли к кладбищу.

— Вон могила моего отца, — Гайзулла подбородком указал на невысокий холмик, с которого клочьями слезал снег. — А матери твоей могила правее, у того куста, видишь?

— Здесь? — пальцем показал Загит.

— Кто тебя учил на могилу пальцем показывать? — рассердился Гайзулла. — Никогда этого не делай больше, если надо — головой кивни, и все, понял?

— Я не знал... — расстроился Загит.

— Ладно, ничего! — смягчился Гайзулла. — Не огорчайся... Пойдем посмотрим на младенчика нашего, видишь, тот дальний холмик? Снегом занесло, еле-еле из-под него глядит...

Ребята долго бродили по кладбищу, разыскивая могилы знакомых и разговаривая. К вечеру Гайзулла заторопился.

— Пошли скорее, а то скоро ангелы придут,— сказал он.— Нехорошо мешать им...

Вернувшись домой, Загит припрятал в рукав половину своей вечерней доли мяса. «Отдам Гайзулле-агаю, вот удивится,— подумал он.— Может, сейчас отнести?»

— Отец, я еще навоз на дворе у бая не дочистил,— сказал он,— не сходить ли?

— Завтра дочистишь, темно уже,— возразил Хаким.— Пока сыт, сиди лучше спокойно, дольше продержишься! — Он задумался, потом повернулся лицом в сторону Мекки и, произнеся молитву, добавил от себя: — Храни нас, аллах, не заставляй нас дойти до такой нужды, чтобы просить под чужими дверями. Много у меня грехов, но что они по сравнению с моей нищетой? Дай мне счастья и долгой жизни, дай счастья моим детям...

После молитвы он уселся поудобнее и заговорил раздумчиво, ни к кому не обращаясь:

— Я богат, я богаче других,— у меня есть коза. Если я захочу есть, у меня есть еда. Когда кончится телятина, аллах пошлет что-нибудь... Главное, чтобы была причина! Сделаешь причину — аллах вдруг пошлет тебе еду, а когда поешь, у тебя появятся силы, чтобы снова найти причину!... — Он поднял голову и посмотрел на Загита.— У нас там в кадushке еще немного муки осталось, да? Так вот — вымой руки и замеси лепешку, пусть старый хлеб не перебивает дороги новому... Завтра праздник, лепешку и козлят отнесем мулле, и это будет наше подаяние к празднику!..

Утром Хаким положил лепешку за пазуху, взял на руки двух козлят и отправился к мулле. Вернулся он скоро, принес обратно козлят и, выложив лепешку, завернул ее в скатерть; ворча:

— Совести у этого Гилмана нету, за шесть душ последнюю козу просит! Я ему говорю: «Что ты с нами делаешь? На шесть душ как раз двух козлят хватит — на четыре души по одной ноге, и на две души — по паре!» А он уперся — и ни в какую! Ну, ничего, подрастут козлята, обойдемся... А что еще делать? Выхода нету! Лишь бы аллах принял наше подношение...

Он привел со двора козу, в последний раз подвел ее к козлятам, чтобы те насытились, и, привязав ее за рога, снова отправился к мулле.

Мугуй тихо заплакала. Слезы катились и катились по ее бледным щекам, и Гамиля, увидев, что мать плачет, тоже стала всхлипывать, пока слезы градом не хлынули из глаз. Поглядев на них, во всю мочь заревел Аптрахим...

Наступил праздник. Чтобы получить подарки и вволю поест, Загит, Султангали и Гамиля вышли на улицу. Султангали и Загит тут же разбежались в разные стороны, а девочка, стояв немного у ворот, увидела бегущую в ее сторону большую черную собаку и спряталась обратно во двор.

Тихие и спокойные обычно, улицы сегодня были полны людей. Загит побежал к мечети, как вдруг кто-то окликнул его сзади:

— Эй, малайка!

Загит обернулся. Посреди улицы стояли несколько мужчин, они шумно спорили о чем-то, один был одет в мундир.

— Иди сюда! — окликнул снова стоявший рядом с ними человек с курчавой каштановой бородкой. — Ну, иди же, не съем я тебя!

Загит несмело подошел. Мужчины разом умолкли при его приближении и с любопытством поглядывали на него.

— Ты что здесь делаешь? — спросил бородатый.

— Иду праздничные угощенья собирать. — удивившись, что незнакомец не знает о том, что сегодня праздник, ответил Загит.

— Скажи уж сразу, что побираешься, милостыню просишь! — усмехнулся человек в мундире.

— Постой! — махнул рукой бородатый и снова повернулся к Загиту: — Давно здесь бегаешь?

— Только что вышел.

— А такой бумаги никто тебе не давал? — Бородатый показал ему листок с черными значками и закорючками.

— Нет, агай, такой я не видел, — с интересом рассматривая бумагу, ответил Загит. — У муллы нашего, говорят, бумага есть, вы к нему зайдите — может, и одолжит вам. . .

— Э, да что там, не знает он ничего! — рассердился человек в мундире. — Пошли дальше!

Загит побежал от дома к дому, но почти везде уже побывало до него много детей, и в некоторых домах, устав от этого нашествия, уже закрыли ворота. Потеряв надежду, Загит понуро возвращался домой, как вдруг его окликнул стоявший у ворот Хажигали.

— Зайди ко мне! Что ты грустишь, дитя мое? Не надо, праздник для того, чтобы люди радовались! — сказал он, ведя мальчика в дом. — Мать, что у тебя там? Давай сюда, а то совсем замерз малай!

Жена Хажигали поставила перед мальчиком чашку с большим куском жирного мяса, и Загит принялся за еду. Капли жира падали в тишине на пол, остывая белыми восковыми пуговками под ногами мальчика. Вспомнив, что отец голоден, Загит хотел положить мяса к себе в мешочек, но Хажигали остановил его:

— Выносить из дома нельзя, сынок, счастье наше унесешь, разве ты не знал? Садись, грешно кушать стоя. . . — Он надел на бритую голову старую, выцветшую тюбетейку, поправил концы висящих усов и, проведя ладонью по худощавому лицу, подсел к мальчику. — Что на улице слышно?

Загит рассказал про незнакомца, показавшего ему бумагу. Хажигали оживился, узкие глаза его заблестели.

— Слышал, слышал. . . Говорят, ее и на заводе разбросали, и на приiske! А знаешь, что там написано?

Мальчик помотал головой, уплетая мясо за обе щеки.

— Там против царя написано, и против богачей, и еще против нашего хозяина! — Хажигали негромко рассмеялся. — Есть же на свете люди с львиным сердцем, ай-яй-яй! Как ты думаешь, кто это мог написать?

— Нашел у кого спрашивать! — не отрывая взгляда от придильного гребня, вмешалась в разговор жена. — Что может знать ребенок. . .

— Молчи, старуха! — цыкнул Хажигали. — У того борода-того котелок варит, знает, у кого спрашивать! Дети всегда больше взрослых знают. . . — Хажигали помолчал и снова беззвучно рассмеялся. — Разве хозяин золота считает деньги? Да он ими самовар растапливает, если тот не вскипает! Вчера, говорят, в гости к Хажисултану приезжал. . . Не знаешь, не уехал еще?

— Видел вчера, как приехали. . . — сказал Загит. — Только их там много было, и все толстые, я не разглядел, какой из них начальник! . .

— Отец дома сидит?

— Дома. . .

— Что делает?

— Ничего. . .

— Та-а-ак. . .

— А что? — Загит поднялся.

— Да нет, ничего, гляди, не рассердился бы отец, что ты так долго ходишь? Иди-ка домой, сынок!

На улице по-прежнему было многолюдно. Вдруг мимо Загита пробежали несколько мальчиков.

— Хозяин золота! Начальник золота! — кричали они.

Народ валом повалил к дому Хажисултана. . .

Почти сразу после этого послышался звон медных колокольчиков, и кошевка, запряженная парой рысаков, как вихрь промчалась мимо Загита.

— Вот это кони! — восхищенно сказал кто-то сзади.

— Говорят, что коренного саврасого ему вчера Хажисултан-бай подарил!

— Не ври, ты что, такой же балаболкой, как Шарифулла, стал? Он же вчера на этом же саврасом приехал!

— Зачем так плохо говоришь обо мне? — спросил подошедший Шарифулла. — Разве я такой уж врун?

Одного его появления было достаточно, чтобы все засмеялись.

— Ба, да ты легок на помине! Как из-под земли вырос! — сказал тот, что сначала назвал его балаболкой. — Чего ж ты удивляешься? Разве зря тебя люди хвастуном зовут? Все только хвалишься да кичишься — разбогатею, разбогатею! А сам по-прежнему в драных лаптях ходишь! — И парень гулко захотал, широко открывая рот и закатывая глаза.

— Не смейся, кустым, не смейся, еще в ножки кланяться придется! — Шарифулла закосил глазами и, высунув кончик языка, облизал потрескавшиеся от холода губы. Слова его вызвали в толпе еще больший смех. — Мое время впереди! — Шарифулла сердито стукнул себя кулаком в грудь. — Дай бог, пока все идет хорошо... Не верите? Тогда смотрите, какую медаль подарил мне вчера большой начальник! — И Шарифулла ткнул пальцем в кружок, вырезанный, видимо, из консервной банки и висевший у него на груди рядом с прочими побрякушками.

— Бедняга, да у тебя не все дома... — участливо присвистнул парень, тихонько отодвигаясь в сторону.

— Большой начальник говорит, что меня тоже начальником поставит. Вот стану начальником и первым делом так Нигматуллу прижму, что своих не узнает! А потом женюсь!

— Ты небось и невесту уже выбрал? — спросили из толпы.

— А как же! — гордо выпятил грудь Шарифулла, и глаза его закосили еще больше. — Присмотрел тут одну, вроде девушка хорошая... Жена — она что обувь, с толком выбирать надо! Купишь плохую — всю жизнь тебе маяться, а если приглядишься получше, найдешь себе какую надо — считай, что годов двадцать у тебя в запасе лежит!

— Кого ж ты отыскал? — спросил тот же голос.

— Никому не скажете? — Шарифулла прикрыл ладонью рот и огляделся. — Нафису Хайретдинову! — Он вдруг хитро и мелко рассмеялся, подпрыгнул, так что зазвенели на облезлом тулупе навешанные побрякушки, и, невнятно вскрикнув, нырнул в толпу, головой пробивая себе дорогу.

III

— Мало ты с людьми говоришь, — сказал как-то Михаил, вернувшись с Кэжэнского завода, — все сторонкой да сторонкой... А если хочешь, чтобы жизнь у нас такая настала, как я рассказывал, сам ее начинай строить, своими руками, понял? Пока что самое главное — разъяснительная работа.

— Разъяснительная? — не понял Хисматулла.

— Ну да! Вот, например, был ты в мечети, слышал, что мулла говорит?

— Был, говорит, что конец света скоро... И тот, кто неверных слушается, в аду гореть будет... Меня в деревню пускать не велел, сказал, что я с шайтаном связался!

— Вот видишь! А ведь люди ему верят! А знаешь, почему верят? Потому что слепые!

— Как слепые?

— А вот так — дальше носа своего не видят, муллу слушают, а нас, тех, кто им добра желает, слушать не хотят... Поэтому мы должны им открыть глаза, всё объяснить и про богачей, и про священников, и про вашего муллу... Вот и ты, Хисмат, сам еще недавно такой же темный был, а теперь уже читаешь. Почему же ты не хочешь товарищам по общей беде помочь? Или ты думаешь, что все само собой, без твоего участия сделается?

— Я хочу, только не знаю, что делать!.. — покраснел Хисматулла.

— А я тебе про то и толкую — больше на людях бывай, говори с каждым, объясняй, что к чему! Те книжки, что я тебе давал, прочел?

— Прочел... Только, агай, непонятно там вот то место, где призрак бродит по земле...

— Призрак? Что ж тут непонятного? Это не то что призрак даже, а вроде как бы слух, понял? Слух такой хорошей жизни, когда все люди равные и нет ни богатых, ни бедных, все пополам! И от нас с тобой зависит, чтобы этот призрак плоть и кровь свою обрел, чтоб он живым человеком стал! И от меня, и от тебя — от каждого, кто хорошей жизни добиться хочет и себе, и соседям, и детям нашим, и внукам, понял? И если ты свою веру в эту новую жизнь положишь, если ты за эту новую жизнь душу свою отдашь, ничего не пожалеешь, если ты другому поможешь понять, какая сила пролетариат, если другой третьему поможет, а за вами и остальные пойдут, вот тогда и призрак этот в живого человека обратится, и новая жизнь начнется — счастливая!

Хисматулла слушал Михаила, как зачарованный. Вот это здорово — если каждый другому поможет, тогда ведь и вправду новая жизнь начнется!

— Завтра тебе первое задание дам, — продолжал Михаил, — а пока поговори со старателями, что они о нашей жизни думают, как к собраниям относятся, понимают ли, о чем мы говорим... А если кто не понимает — растолкуй, что к чему...

— Хорошо, я тогда в кабак зайду, там обычно много после работы народу бывает, — смущаясь, сказал Хисматулла.

— Правильно, — поддержал его Михаил, — сходи, сходи. Только смотри, если ты рюмку-другую не опрокинешь, твои

товарищи, пожалуй, на тебя в обиде будут, а? — Он засмеялся. — Да это ничего! Иногда не грех стаканчик пропустить, главное — вида своего человеческого при этом не терять, верно я говорю?

— Верно... — еще больше смутился Хисматулла, помня свои прежние грехи. — Так я пойду?..

В кабаке Хисматулла не стал ничего заказывать, а присел за свободный стол в углу, прислушиваясь к тому, что говорят старатели. Сейчас ему непонятно было, как это он проводил здесь раньше все свободное время. Дымная, чадная комната, пропитанная запахом пота и вина, прокуренная, душная, с гомоном пьяных голосов, с бессмысленными глазами тех, кто уже выпил больше, чем надо, если и не вызывала в нем теперь дрожи отвращения, то лишь потому, что он пришел сюда по поручению Михаила. Теперь перед ним стояла новая цель, и если этой цели понадобилось, чтобы он пришел сюда, то вот он пришел и будет делать то, что нужно для хорошей жизни.

Хисматулла огляделся. За соседним столом два молодых парня, сидя в обнимку, пели вразброд, не сознавая, что поют неверно, третий сидел рядом с ними на полу, уткнув голову в колени.

Жаворонок, жаворонок, желтая головка,
Что повадился брюшину на окне долбить?
Ты джигит, и я джигит, оба ездим ловко,
Но калыма нет у нас, чтоб жену купить...

Тот парень, что сидел на полу, вдруг вскинул голову, и Хисматулла узнал в нем Мутагара, своего бывшего напарника. Мутагар тоже заметил Хисматуллу, развел руками и бросился к нему:

— Хисматулла-а!

По дороге он споткнулся о край лавки и чуть не растянулся на полу, но подбежавший Хисматулла подхватил его.

— Ты что же это? — растерянно сказал он. — Ты здесь откуда?

— Как откуда? Я здесь... — бессвязно забормотал Мутагар. — Агай, идем к нам, садись, выпей с нами!

Парни, с любопытством глядевшие на Хисматуллу, тоже загомонили:

— Садись, садись, кумыс пить будешь?

— Лучше кислушку! Она медовая, греха меньше!

Хисматулла оглядел их опухшие, красные лица с кругами под глазами и неожиданно, забыв про задание Михаила, сказал:

— Ребята, айда отсюда! Вы же молодые, зачём вы здесь торчите, в этой грязи?

— Брось задаваться! — с гонором ответил рослый, крепко сбитый парень с наголо выбритой головой. — Ты что, угощением нашим брезгуешь?

— Или, может, муллой заделался? — поддакнул второй.

Хисматулла сел, и ему тотчас же плеснули в жестяную кружку самогону. Рослый встал и протянул ему кружку:

Ты джигит, и я джигит, оба ездим ловко,
Но калыма нет у нас, чтоб жену купить...

Хисматулла отхлебнул, горло его обожгло, он вытер губы рукавом и незаметно, пока остальные пили, вылил самогон себе в рукав.

— Вот это по-нашему, по-старательски! — одобрил рослый. — А то сидит не пьет, будто сглазить хочет...

Парни пели песню за песней, пили кружку за кружкой, и рукав Хисматуллы уже был весь мокрый оттого, что он больше не выпил и глотка. Делая вид, что пьет, он внимательно прислушивался к тому, что говорят за соседними столами. Трудно было понять, кто о чем говорит, — один со слезами рассказывал о своей бедности, другой кого-то ругал, третий — хвалил, и Хисматулла уже пожалел, что пришел сюда. Но вот в кабак вошла большая компания старателей. Усевшись, они тут же заказали две четверти. Хисматулла подсел к ним, узнав старого знакомого, усамого старателя, который когда-то защищал его.

— За встречу! — торопливо сказал усач, разливая самогон. — Давненько тебя не видел, где ж ты был, не на Кэжэнском заводе? У меня там друзей полно, по пальцам не сочтешь... Ну, выпьем!

— Я не буду, не хочу, хватит мне, — Хисматулла отвел кружку рукой.

— Как это не будешь? Сегодня грешно не выпить, друг, ведь позавчера у вас, мусульман, праздник был!

— Так то позавчера... — улыбнулся Хисматулла.

— Ну и что? А вчера у нас, русских, праздник был — суббота. Стало быть, сегодня — у всех праздник, общий то есть... Пей, заливай, слезам воли не давай! — Он поднял кружку, подмигнул и, широко открыв рот, опрокинул в себя мутную, отдающую кислым запахом жидкость, зажмурился, крикнул и вытер слезящиеся глаза тыльной стороной ладони. — Так-то вот!

Хисматулла поставил свою пустую кружку на стол и, стараясь показать, что он тоже выпил, крикнул вслед усачу и отер глаза.

— Не одно, так другое, — вдруг сказал усач, придвигаясь ближе к товарищу. — Одна беда в дверь уйдет, а другая уже в окно стучится!

— А что у тебя, опять с дружкой каким несчастье?

— Не-е... Теперь уж я сам в лапы беде попался, в контору меня вчера вызвали, насчет бумаг этих...

— А что за бумаги? — насторожился Хисматулла.

— Да эти, где разное политическое пишут... Главное, что обидно-то, я эту бумагу просто так взял, я ж грамоте не разумею — подумал, козью ножку когда скрутить или что... А они говорят, не скажешь, кто бумагу дал, — уходи, говорят, где хочешь с голоду подыхай, только не в нашей шахте... Кто, говорят, писал, кто тебе дал? А я разве помню, кто? Подбежал малайка какой-то из ваших и прямо в руки сунул — осторожно, говорит, как бы кто не видел! Прочти, говорит, и другому передай... А они говорят, бумага запретная, кто ее писал — тот, говорят, против царя идет...

Неожиданно голову поднял Мутагар. Глаза его были бессмысленны, он пьяно ухмылялся, приглаживая рукой волосы.

— Ты что? — сказал Хисматулла. — Полежи еще, полежи...

— Не-ет, — возразил Мутагар. — Джигит дважды не говорит, сказал, что встаю, — значит, встаю... Сказал, что не буду эту лошадь водить, — и не буду! Разве это лошадь? Сказал, и все... — Он громко икнул и добавил полупшепотом: — И Наташи Ларионовой лошадь не поведу, сказал, и все...

— Какую лошадь? — спросил усач.

— Вот и я говорю, какую лошадь, когда она на четырех ногах не стоит — пятую подавай!

— Да что вы, братцы, о чем вы? Какая лошадь? — испуганно покачал головой Хисматулла.

— Лошадь такая... А ты парень что надо, и по-русски можешь, все неверные так... — голова Мутагара упала на грудь, и он засопел.

— Мы пойдем, — поднимая его с лавки, сказал Хисматулла. — В другой раз поговорим, ладно?..

Во дворе у кабака было, казалось, еще больше народу, чем внутри. Волоча за собой Мутагара, не стоявшего на ногах, Хисматулла дошел до ворот и прислонил пьяного товарища к столбу. Вдруг кто-то сзади крикнул тонким, писклявым голосом:

— Хватит кровь нашу пить, айда в контору!

— Айда, айда! — подхватили пьяные мужики.

— Кто такой этот Накышев, почему он над нами командует? Это наша земля, на ней еще деды наши жили!

Внезапно из толпы вынырнул урядник. Он был без папахи, лицо его было красно и растерянно. Бросаясь то к одному, то к другому старателю, он просительно складывал руки и жалобно взывал:

— Братцы, отдайте, ну кто взял? Ради детей прошу, хоть кто взял, скажите! Мне ж головы не сносить, если узнают! Братцы, не надо так шутить, грешно... Отдайте!

— Что с ним? — спросил Хисматулла.

— Да наган у него отрезали, пока он в кабаке у каждого стола по кружке побирался! — засмеялся кто-то в темноте.

У конторы, куда направилась толпа, послышался звон разбитого стекла, крики. Хисматулла хотел было пойти поглядеть, в чем дело, но в это время Мутагар стал медленно оседать на землю и наконец повалился лицом в грязь.

— Да что ты, вставай! — закричал Хисматулла. Но Мутагар не мог произнести ни одного слова — только ухмылялся и бормотал что-то. Хисматулла взвалил товарища на плечи и потащил его к барaku.

Чуть свет, еще до работы, он примчался к Михаилу, но застал его не в постели, как ожидал, а за столом. Михаил медленно пил с блюдечка горячий чай, отдуваясь и морща нос.

— А, заходи! Какие новости? Садись-ка, чайку выпей, — улыбнулся он и, подставив к самовару большую чашку, налил ее чуть ли не до краев. — А старушка-то моя приболела, вишь... — он кивнул головой на печь с задернутой сверху занавеской. — Лежит второй день, не знаю, что и делать... Да что ж ты все на пороге стоишь? Говорю же тебе — проходи, садись, гостем будешь! Вот так-то оно лучше... Ну, как народ?

Не зная, что ответить, Хисматулла пожал плечами.

— Как народ, спрашиваю, смотрит на то, что мы объясняем?

— Да кто как... Вчера вот окна в конторе выбили, управляющего гнать хотели... А в общем-то мало кто понимает, — сознался Хисматулла. — Один вот из листовки хотел козынь ножки скручивать...

— Понятно, — сказал Михаил и, задумавшись, поглядел в окно.

— Агай... — робко окликнул его Хисматулла. — Мне уже на работу...

— Ну иди, иди, вечером придешь!

— А как же задание?

— А-а, не забыл? — Михаил нагнулся и вытащил из голе-ница сапог два свертка бумаги. — Вот это листовки. Их надо раздать... Здесь все на двух языках написано, на родном языке народ нас лучше поймет... Смотри будь осторожен, маленькая ошибка — и все пропало! На Кэжэнском заводе четверых арестовали, и у нас уже этим занялись, обыски делают. Давай только грамотным людям, чтоб сами прочесть могли, прочтут и другим передадут... И еще вот что, у тебя ребята надежные найдутся?

— Найдутся.

— Скоро еще дам, побольше, вот тогда и ребят своих позови, только прежде каждого проверь! Для такого дела сам понимаешь, какие люди нужны — крепкие, как камень, и чтоб сила в них, душа была — наша, простая, рабочая, одним словом, пролетариат! Понял?

— Понял, — улыбнулся Хисматулла.

В сенях он спрятал пачку листовок под рубашки и вприпрыжку побежал на работу. Всю дорогу ему казалось, что в том месте, где лежат листовки, становится все горячее и горячее, как будто те слова, что были в них, греют своей правдой верней, чем тулуп, и надежней огня в родном чувале. «Дяде Григорию дам, — думал он, — и Маше дам, а еще Мутагара надо к этому делу привлечь. Ничего, что он пьет, исправится, как я! Главное, что душа в нем наша, рабочая».

IV

Старатели пьянствовали, потому что не видели никакого просвета в своей жизни, топили тоску и боль в вине, забывали на время про голод и нужду, а вот почему пил вмертвую управляющий прииском Накышев — понять было не легко.

Вроде все было у человека, чтобы быть довольным жизнью, — и дом в Оренбурге — полная чаша, и карманы набиты деньгами — враз не проживешь и не потратишь, и не малая власть над людьми — можно утолять любое непомерное честолюбие, и погулять мог так, что гул шел на всю округу, покуражиться, не отказывая себе ни в чем, позволяя такие вольности, которые другим сроду не прощались, а ему все сходило с рук.

И однако Накышев пил так, точно завтра должен был наступить конец света — беспробудно, тяжело, крикливо и жадно, будто кому-то напоказ или из желания досадить, пренебрегая всеми советами и предупреждениями хозяина прииска Рамиева. Казалось, его гнетет и гложет что-то, но он боится в этом признаться и близким и самому себе — будто страшная и неведомая болезнь точила его изнутри, и он, чтобы заглушить страх перед нею, одурманивал себя вином.

Людей, окружавших его, и всяких там недовольных он не боялся, он мог спустить с цепи волкодавов, поставить у дверей спальни урядника, чтобы тот охранял его сон, нанять даже особых телохранителей, чтобы в случае чего могли предупредить любую опасность. Но, похоже, на него никто не собирался нападать и покушаться на его драгоценную жизнь. Нет, его грызла непонятная и глухая тоска, подмывала его исподволь, незаметно, как подмывает изо дня в день крутой берег тихая вода, подмывает, пока он не рухнет и не пойдет мутными разводами по течению, не растает совсем. . .

В последнюю поездку он вернулся на прииск не один — прихватил где-то в Оренбурге красивую белокурую женщину, не отпускал ее ни на шаг от себя. Присутствие Зинки, как он называл молодую любовницу, придавало его кутежам особую остроту — он мог вволю насладиться растерянностью своих гостей, которые должны были считаться с его прихотями, а значит, и с Зинкой. Он сажал Зинку при всех к себе на колени, обнимал и тискал ее, а она притворно визжала и смеялась, а гости не знали, куда девать глаза, и нелепо ухмылялись. Ничего, пускай терпят! Они у него все в руках, и нечего им строить из себя чистоплюев! Он за каждым знал «грешки», только он грешил открыто, а они все тайно, заглазно, так что хвастаться им нечем...

Однажды, когда время уже было далеко за полночь и Накышев позволил себя уговорить и увести в спальню, раздеть и уложить в постель, а гости толпились уже в прихожей, радуясь редкому случаю уйти пораньше домой, управляющий неожиданно появился в дверях в нижнем белье и затряс сивой бородкой.

— Эт-эт вы куда? — заикаясь, крикнул он. — Кто тут хозяин? Кто, я спрашиваю? ..

— Поздно, Гарей Шайбекович! — попробовал возражать кто-то из гостей. — И вам нужен покой и отдых! ..

— Я сам знаю, что мне нужно! Нашелся указчик! — заорал Накышев. — Марш в гостиную! И чтоб было весело! .. Вы забыли, какого я рода?

— Дворянского, Гарей Шайбекович! — покорно и вежливо ответил тот, что осмелился советовать управляющему отдохнуть. — Кто же это не знает! ..

— А раз знаешь, то не перечь! Снимай шапку и пляши! .. А не то я обижусь, и тогда вам всем будет худо! .. Слышали?

Он побрел в гостиную, кто-то из слуг набросил на его плечи пестрый халат, и не успел Накышев дойти до заставленного бутылками и закусками стола, как гости вернулись следом за ним и шумно стали рассаживаться, будто они и не собирались никуда уходить, а лишь сейчас и явились на это пиршество.

— Кто слышал про моего дедушку Хатапа? — Накышев ударил себя в волосатую грудь. — Он разговаривал с самим царем! А вы кто такие? Я спрашиваю — кто вы такие? Тьфу! .. Захочу, и вы ноги мне будете целовать... Эй, Сабитов! Я верно говорю?

— Все в точности, Гарей Шайбекович...

К Накышеву подскочил высокий и худощавый мужчина, нагнул в почтительном поклоне свою голову, прикрытую жидкими волосами, потом выпрямился, чуть запрокинул бледное лицо с хищным орлиным носом.

— Не зря вас называют господином, Гарей Шайбекович... Этот титул дворянский вашему роду царь пожаловал!

— Слышали? — Накышев обвел мутными глазами стол, всех сидевших за ним. — Вы должны уважать меня, потому что я ваш хозяин и благодетель... Будет время, я, может, стану богаче самого Рамиева!.. А теперь, как говорят башкиры... Как это?

Накышев, не в силах вспомнить нужное слово, нахмурился, но Сабитов и тут пришел ему на помощь:

— Ударить шапкой!

— Да! Да! — радостно подхватил управляющий. — Пьем, ударив шапкой!..

Завязали бокалы, покатила под стол пустая бутылка, слетела и разбилась вдребезги тарелка, и кто-то наступил на нее, с хрустом давя осколки, и все потонуло в гуле подвыпивших голосов, хмельном смехе женщин.

— Заводи музыку! — приказал Накышев.

Посредине стола водрузили квадратный ящик граммофона с большой полосатой трубой, и в шум кутежа ворвался дрожащий голос певицы:

Слышен звон бубенцов издалика,
Это тройки знакомый разбег...

Сабитов взмахнул руками, и вся компания, кто в лес, кто по дрова, нестройно, но крикливо подхватила:

А вдали расстился широко-о-о...
Белым саваном искристый снег...

Накышев, полуобняв Зинку, покачивался на стуле, сладко жмурился, гнусаво тянул песню. Плыл над потолком слоистый дым табака, лихо стучал каблуками Сабитов.

Управляющий наливал полный стакан водки, опрокидывал в рот, хрустел соленым огурцом, не вытирая мокрых, в рассоле, губ, лез целоваться к Зинке, тыкался носом в завитки около ушей. Зинка взвизгивала, как от щекотки, кричала:

— Ах, оставьте, Гарей Шайбекович!..

— Не ори, дурочка! — Накышев довольно ухмылялся. — Чего же ты не визжишь, когда мы вдвоем остаемся!

— Оставьте ваши вольности!.. Заставляете меня краснеть перед всеми! Нехорошо, Гарей Шайбекович!.. Будьте рыцарем!

— А ты тоже должна уважать меня! — Накышев отпустил Зинку и хлопнул в ладоши: — Иди вместе с кухаркой и свари-те мне яглы!

— Что-о? Что-о? — протянула Зинка.

— Мое любимое блюдо — яглы! Поняла?

Зинка побежала, стуча каблучками, на кухню, но тут же вернулась.

— Повар говорит, что для яглы у него нет жирного мяса!

— Дурак твой повар! Яглы варят совсем не из мяса!.. Так ему и скажи, старому хрычу!.. И пускай поторопится, если ему не надоело у меня работать!

Зинка заметно протрезвела, в ее лице появилось выражение тревожное и пугливое. Она оглядывала лица гостей, замечала их пьяные ухмылки, но ничего не могла понять. Сбегав еще раз на кухню, она привела с собой кухарку — пожилую женщину в черном переднике.

— Ты тоже не знаешь, как готовить яглы? — не унимался Накышев, смешно выставляя свои заячьи губы. — И зачем я только держу вас, дармоедов? Сходите в кабак — пускай там скажут!..

Кухарка двинулась было к дверям, а за нею Зинка, но Накышев вдруг смиростивился и добродушно рассмеялся:

— Не ищите, дурочки... «Яглы» — это по-украински значит — ели и легли... А по-нашему будет — «Ашанык, яттык». Ха, ха!

Раздался оглушительный смех, на глазах у Зинки навернулись слезы, но она тоже решила простить хозяину его беззловонную шутку и, выпив бокал вина, стала смеяться — громко и даже чуть истерично. Потом, уже опьянев, разревелась, и Накышев долго ее успокаивал, гладил по голове.

— А я по правде за вас испугался, Гарей Шайбекович! — подал вдруг голос молодой инженер с Кэжэнского завода в форменной тужурке с поблескивающим на носу пенсне.

— Как это? — не понял управляющий.

— Да вот с этим блюдом! — посмеиваясь, сказал инженер. Дождавшись, когда гости перестанут шуметь, охотливо рассказывал: — У нас был на заводе один мастер, большой мастер шутки шутить. Заставлял часто новеньких рабочих искать в цехе инструменты, которых в природе не существовало...

— А при чем тут я?

— Вот слушайте... Однажды он решил посмеяться над кухаркой и тоже попросил принести ему «яглы». Та не растерялась — собрала гнилые огурцы, капусту прокисшую, отбросы со столов, смешала в чашке — и на стол ему. Мастер побледнел и спрашивает: «Что это такое?» — «То, что просили, — яглы!» — «Яглы так не делается!» — «Нет, именно так оно готовится и стоит у нас два рубля сорок копеек». Видит мастер — деваться некуда. Уплатил, а есть не решается, хотя денег жалко. Попробовал было в рот взять — с души воротит... Тогда он опять зовет кухарку. «Что ты мне подала — это же отраба». — «Сделала, что велели, — сказала кухарка. — Яглы по-нашему выходит — гнилье с помойки!»

Гости опять задохнулись от смеха, но, увидев недовольное лицо Накышева, стали закрывать руками рты.

— Зачем же вы какого-то дурака мастера ставите рядом с нашим уважаемым Гареем Шайбековичем? — нахмурился Сабитов. — Мне так ваша шутка не показалась интересной!

— И мне тоже! И мне! — заговорили вразнобой гости.

Накышев кивал, соглашался со всеми, потом погрозил пальцем молодому инженеру:

— Вы коварный человек!.. Но я не так глуп, как ваш мастер!

Инженер, нервно попыхивая папирской, притушил ее о край тарелки, подошел к управляющему, положил ему руку на плечо:

— Дорогой Гарей Шайбекович!.. Как вы могли подумать? Я только рассказал это шутки ради, чтоб вашим гостям было весело!.. Кому мож^{но} прийти в голову сравнивать вас с каким-то недоумком мастером!.. Простите, если я вас обидел!.. Я, как и все ваши гости, ваш верный друг... Мы же одного поля ягоды — зачем же нам без нужды смеяться друг над другом и мешать каждому вести себя так, как ему хочется!.. Вашу руку, уважаемый Гарей Шайбекович!

— Давай я тебя обниму! — вскричал растроганный Накышев и полез к инженеру целоваться. — Я не такой баран, как ваш мастер, верно! Выпьем, чтоб был мир! Мы свои люди!..

Они обнялись, гости зашумели, обрадовались примирению, подняли бокалы, и гулянка вспыхнула с новой силой. Надрылся граммофон, пела, стараясь перекричать голос певицы, Зинка. Она изредка соскальзывала с колен Накышева, бросалась в объятия Сабитова, и он кружил ее по гостиной.

Накышев уже задремывал, провалился в мягкое кресло, но иногда вдруг на минуту-другую оживал, обводил мутным взглядом пеструю толпу гостей, растягивая в пьяной улыбке губы, потом снова окунался в сон, лицо его деревенело...

Утром он долго не мог развести слипшиеся веки, потянулся к стоявшему около кровати столику, чтобы смочить пересохшее горло, но стоило лишь оторвать голову от подушки, как она загудела, налилась свинцом, и он опять лег и застонал сквозь зубы.

Он повернулся на другой бок, почувствовал мягкое и теплое плечо Зинки, обнял ее, но Зинка спала как убитая и даже не шевельнулась. «Дура баба! — беззлобно и равнодушно подумал он. — Надеется, что я с нею всю жизнь буду кутить! Лисью нубу, вишь, захотела, а за нею браслет. Стану я бросать всякое добро в эту бочку без дна! Хватит и того, что кормлю как на убой!»

Головная боль не проходила, и он решил опохмелиться. Охая и слегка постанывая, точно от этого становилось немного

легче, сполз с кровати, вытащил из шкафика бутылку водки, налил стакан, выпил. И не успел он отдышаться и найти, чем закусить, как услышал торопливый стук в дверь.

— Какого черта в такую рань принесло? — хотел было крикнуть он, но вовремя спохватился, накинул на плечи халат, сунул ноги в мягкие туфли, щелкнул ключом. — Ну кто там?

— Пришел, как велели...

Увидев за дверью Нигматуллу, Накышев нахмурился.

— Я же тебе сказал — приходи, когда темно, а ты?.. Что подумают люди, если увидят, что ты ко мне чуть свет являешься?..

— Я шел так, Гарей Шайбекович, что меня даже мышь не могла заметить, — Нигматулла усмехнулся.

— Ну, что — принес?

— Зачем же сразу так? — Нигматулла снова показал в улыбке желтые, прокуренные зубы, похожие на гнилые пеньки. — Надо договориться о цене, а уж потом приносить...

— У тебя что — ум отшибло или ты вчерашнего дня не помнишь? — хрипло выдохнул Накышев.

— Нет, ум мой пока при мне! — Лицо Нигматуллы скovala настороженная и злая гримаса. — Я в дураках много лет жил, а теперь не желаю... Я человек бедный, и надувать себя не позволю даже вам, Гарей Шайбекович...

Реденькая длинная бородака Накышева затряслась, но, прежде чем он успел что-либо сказать, Нигматулла нагнулся к нему и зашептал вкрадчиво:

— Я у этих малаев покупаю за два семьдесят, так? Продаю вам за грамм по три десять, так? А вы-то ведь сдаете по четыре сорок, стало быть, каждый раз по рубль тридцать в карман себе кладете! Где же справедливость?

— Не хочешь — катись на все четыре стороны! — мрачно ответил управляющий. — Другого за ту же цену найду! А болтать станешь — в Сибирь пойдешь...

— Ну, зачем же так, Гарей Шайбекович? Разве мы и без этого не договоримся? Ведь если вы меня в Сибирь отправите, то вам и самому скоро туда же дорожка ляжет — я ведь тогда молчать не стану, а уж Рамиев, если узнает, какие вы тут дела за его спиной творите, себя в обиду не даст! Мне-то ведь везде одинаково — что Сибирь, что Урал, я где хошь проживу, а вот вам будет непривычно... И жена у вас, говорят, еще молодая, и на сына позор, а уж про вас, Гарей Шайбекович, и говорить печего...

— Ты что, пугать меня вздумал, варнак?¹ — ошетинился управляющий. — Да кто здесь хозяин, ты или я?

¹ Разбойник, вор.

— Вы, Гарей Шайбекович! А я про что говорю? Вот поэтому и надо по справедливости барыш разделить! — Нигматулла прищурился: — Лишние деньги кармана не трут...

— Добавлю по двадцать копеек на грамм,— нехотя проворчал Накышев.

— Пополам, или я отказываюсь! — с обидой в голосе сказал Нигматулла. — А если поймают, дознаются, кого обвинят — вас или меня? Конечно, меня! Вы ж про меня слыхом не слышали, видом не видали, ничего не знали и не ведали! Или вам, может, неприятно, что у вас в кармане лишняя бумажка хрустит?

— Ладно,— угрюмо согласился управляющий. — А теперь иди, и чтоб я тебя днем, при свете, и в глаза не видел! Да еще вот, не забудь, чтоб все-таки не подумали чего — ты обо мне на прииске хорошо не отзывайся, ругни пару раз, это не помешает... А заодно послушай, что обо мне говорят, а то народ нынче у нас порченный пошел, все толки да слухи...

— Вот! — развел руками Нигматулла. — Я ж говорил, что такие умные люди, как мы с вами, Гарей Шайбекович, всегда договорятся! Все, что услышу, скажу. — Он тихонько прикрыл за собой дверь.

«Ладно,— подумал Накышев, снова ложась рядом с Зинкой. — На мою долю хватит. Главное, что денежки не стоят на месте... За золото и Рамиева купить можно, но ему-то я пока так глаза запорошил, что он, видать, совсем слепой сделался, даже не наезжает... А пока не наезжает, золотишко течет себе и течет! Как говорится, заячья шкура год терпит, а я что — хуже зайца?»

Накышев хихикнул и ткнул молодую женщину в бок. Та проговорила что-то невнятно и перевернулась на спину, открыв круглое розовое со сна лицо с двумя родинками на левой щеке.

— Слышь, Зинка? — опять пощекотал ее Накышев и заговорил по-башкирски. — Придет время, и я Рамиева в конюхи найму, в конюхи! Думаешь, зря я с начальством Кэжэнского завода дружбу завел? А уездный судья зря у меня бочку за бочкой выпивает? А какого я коня прокурору подарил? Вот еще Мордера мне отсюда спихнуть и скорей в эту фишеровскую шахту влезть, тогда еще не так золотишко потечет, не ручейком — а речкой!

— Да что ты? — недовольно открыла глаза Зинка. — По-спать не даешь! И что за наказание, господи, с самого Оренбурга ни разу не выспалась! Думаешь, я понимаю, по-каковски ты там бормочешь? — Она потянулась, села на кровати и лениво улыбнулась. — Хотя переводчика поставь, чтоб по ночам возле дежурил, да смотри, чтоб молодойенький был, хорошенький, а то ведь я его тоже слушать не стану...

Управляющий, не поняв, похлопал ее по колену.

— Ничего, тебе мой разговор знать незачем, лишь бы все другое у тебя на месте было...

— Ах ты, старый пень! — разгневанно обернулась к нему Зинка. — Сколько я тут с тобой торчу уже? Посчитай! Где твои браслеты, что обещал? За харч я бы и в городе не с таким, как ты, в постели бы валялась!

Управляющий захохотал, захлебываясь и глотая, так что кадык на его шее мелко запрыгал:

— Какой браслет, о чем ты говоришь? Разве я обещал тебе браслет? Спьяну, наверно, а спьяну не считается...

Зинка схватила его за плечи и затрясла.

— Да ты что говоришь? — крикнула она осевшим, дрожащим голосом. — Давай браслет, а то сейчас соберусь да и уйду!

— Куда?! — еще сильнее закатился от смеха Накышев. — Куда уйдешь, дура? Кругом лес, горы, поняла? Нету тебе здесь никакого транспорта, даже на лошадях сейчас не уедешь, дорога размытая. Да и кто тебя повезет?

— К другому начальнику пойду!

— Здесь других нет, — усмехнулся Накышев. — Я один! Я! Поняла? И пока я здесь хозяин, ты и шагу отсюда не ступишь, я тебе даже дырявого сапога одного не дам, босиком, что ли, побежишь?

— Босиком! .. — Зинка заплакала.

— Ну, разреvelась! Поди-ка лучше сюда...

Зинка с силой оттолкнула его руки:

— Не пойду! На шаг к тебе больше не подойду, ирод ты окаянный, козел старый, сморщенный! Горшок вонючий!

— А не пойдешь, так и есть не получишь, — усмехнулся Накышев, вставая. — Подумай, подумай, пока меня не будет, я пока в контору схожу...

Он тщательно запер двери снаружи и, опустив ключ в кармашек распитого цветным сукном камзола, отправился в контору.

Он сразу послал за Мордером и Сабитовым, сел в кресло и, щелкая круглыми черными костяшками, стал прикидывать на счетах, сколько дохода в год принесет ему Нигматулла, скупая золотой песок у детей, мывших старые отвалы. За этим занятием и застали его инженер и штейгер. Мордер, поздоровавшись, сел у окна, а Сабитов, заметив, что управляющий не в духе, застыл посреди комнаты.

— Гарей Шайбекович, мы пришли, — бесстрастно напомнил немец, поправляя пенсне.

— Вижу, что пришли. — Накышев исподлобья поглядел на Мордера и тут же опустил глаза. — Только что-то ничего не слышу...

— Я осмотрел весь прииск и все высчитал, как вы сказали. — Мордер вытащил из нагрудного кармана блокнот, поднес

его близко к глазам и тут же положил обратно.— Так вот, если мы будем работать такими темпами, как сейчас, золотого запаса хватит лет на семь, восемь, не больше... Надо усилить разведочные работы, о чем я не раз говорил прежнему управляющему...

Инженер докладывал неторопливо, спокойно, иногда вынимая из кармана блокнот и приводя цифры, или, встав и подойдя к карте, лежавшей на столе управляющего, водил по ней пальцем.

Накышев слушал сонно, потом недовольно махнул рукой:

— Это я и сам знаю!.. Стойки, горизонты — на кой черт мне ваш средний водоотлив? Расскажите лучше о той приозерной шахте, бывшей фишеровской! Когда она начнет работать?

— Копера уже поставили, вручную воду откачивают,— Мордер снял пенсне, устало прищурился и снова подошел к карте.— Вот видите уровень воды?

— Я уже сказал, мне ваша болтовня не нужна, Мордер! — вскипел управляющий.— Мне золото нужно, понятно? Золото!

— Гарей Шайбекович, я ведь о нем и говорю... — растерялся немец.

— Так что же вы тянете эту волюнку про копера? Почему я должен сидеть и слушать всю эту чушь?!

— Гарей Шайбекович!..

— Я с тех пор, как родился, Гарей Шайбекович! — отрезал управляющий, и маленький бледный кончик его носа дрогнул на опухшем лице.— Когда начнет работать эта шахта?!

— Ну, пожалуйста, я скажу! — сердито крикнул Мордер.— Даже если мы... Даже если воду откачают настолько, что можно будет работать, все равно нельзя начинать, пока не сменим крепления! — Он покраснел от волнения, уронил пенсне на колени, но тут же поймал их трясущимися, дрожащими руками и снова водрузил на нос.

— А кто вам сказал, что мы будем их менять? Я и копейки на эти крепления не дам! Да вы просто с ума сопли, Мордер! — чуть не рассмеялся ему в лицо Накышев.— Вы что, думаете, что у меня куча денег? Не-ет, ни одного подхвата, ни одного крепления я там не сменяю!

— Как хотите,— сухо сказал Мордер.— Но я, как инженер, без замены старых креплений, да еще с такой породой не могу дать вам согласия на начало работ!

Накышев стукнул кулаком по столу, и белая фарфоровая чернильница, подпрыгнув, полетела вниз, на желтый пол, брызнула осколками, и бледно-лиловой лужицей растеклись на полу чернила.

— Да кто вас спросит, согласны вы или не согласны? Вы что, не знаете, перед кем стоите?!

— Перед управляющим прииска! — немец с вызовом вздернул голову.

— Нет, вы не знаете! — крикнул вдруг Сабитов. — Вы не знаете, перед кем стоите! — Он отвернулся от изумленного Мордера, приложил руку к груди и низко склонил голову перед Накышевым: — Работать с вами, Гарей Шайбекович, большое счастье и честь, я всем так говорю! А вы, Мордер, не цените этого счастья, не понимаете, с кем, можно сказать, за руку здороваетесь! Знаете, кто был дед Гарей Шайбековича? Большие люди, великий род! Так что выбирайте выражения!..

— Простите, не понимаю, какое отношение имеет социальное происхождение к тому, что происходит на шахте! — не сдавался немец. — Я говорю о замене старых креплений, а вы мне о происхождении... Как это говорится? Я — про Фому, а вы — про Ерему!..

— Гарей Шайбекович здесь хозяин! — Сабитов вытянул вверх руку с оттопыренным указательным пальцем, и от этого его высокая худошавая фигура с узкими плечами вдруг стала выглядеть комически. — Я говорю про золото, и Гарей Шайбекович говорит про золото, один вы твердите про какие-то крепления! Кто же здесь тогда хозяин? Может быть, вы? Нет, не вы! А раз не вы — извольте слушать, что Гарей Шайбекович скажет!

— Простите, но если речь идет о нарушении техники безопасности, я не стану слушать ни вас, ни Гарей Шайбековича! — отрезал немец. — Нарушайте, как хотите, только не тогда, когда я работаю на прииске! Хотите открыть шахту без замены креплений — снимите меня с работы, а я нарушать технику безопасности не хочу!

— Вот и прекрасно, договорились, — оживился управляющий. — Мне упрямые инженеры не нужны! Сегодня же сдайте дела Сабитову!

Мордер привстал и недоуменно поглядел на Накышева.

— Идите, идите, — ласково сказал Накышев, — я вас больше не задерживаю. Ну, что же вы? Дверь, можно сказать, открыта!..

Немец покраснел, круто повернулся и быстрым шагом вышел из конторы. Чуть только дверь за ним захлопнулась, Сабитов всплеснул руками:

— Подумать только! Ни стыда у человека, ни совести не осталось! До чего дошел, вас уму-разуму учит! И как вы только таких людей возле себя терпите, Гарей Шайбекович? Уж больно у вас доброе сердце!..

— Это их бывший управляющий распустил, разбаловал! — Накышев еще не остыл от раздражения и злобы. — Ничего, скоро все поймут, с кем имеют дело, я им покажу свою руку!.. Я не какой-то там Аркадий Васильевич, я своего добиваться умею...

Рассаживая по кабинету, он дошел до несгораемого шкафа, повернул ключ со звоном и вынул бутылку спирта, два стакана и моченые яблоки на тарелке.

— Присаживайся, выпьем! — пригласил он. — А то башка раскалывается после вчерашнего...

— Да, вчера мы славно с вами погуляли, — потирая руки, протянул Сабитов, шумно понюхал стакан со спиртом и, закрыв глаза, выпил. — Уф, сердит!

— С новой должностью тебя! — Накышев подержал на свету стакан. — Не забывай моей доброты...

— Век буду помнить, Гарей Шайбекович, — Сабитов низко склонил голову. — Для меня большая честь, что я сижу рядом с таким человеком... Вчера я не очень хорошо понял вас, но мне показалось, что вы говорили, как ваш дед виделся с самим царем?

— Ну, это все знают...

— Конечно, наслышаны, но из ваших уст услышать — это совсем другое дело! Я вообще мало встречал таких людей, как вы...

— Да, наш род не лаптем щи хлебал! — захмелев, отвечал Накышев, довольный, что нашел такого благодарного и понимающего слушателя. — Я же родом из деревни Аккул, рядом с Уфимской губернией...

«Ну, теперь завелся, можно не подталкивать, — посмеиваясь в душе над тем, о чем он слышал уже десятки раз, думал Сабитов. — Хлебом не корми, а дай похвастаться!»

Он слушал управляющего вполуха, в голове у него шумело, но мысль работала четко и ясно. Он уже подсчитывал свои будущие доходы, мечтал, как он начнет жить теперь на более широкую ногу. Накышев вдруг рассмеялся, Сабитов тоже захотел, но, видимо, управляющий догадался, что его собеседник смеется над чем-то другим, не имеющим отношения к его рассказу, и нахмурился.

— Ты чего? — спросил он.

— Как чего? — Сабитов помедлил, но тут же нашелся: — Я просто в восторге от того, что слышу! Шутки сыплются из вас, как из мешка горох!...

— Ну-ну... — Накышев помолчал, потер ладонью морщинистый лоб. — Тогда слушай дальше... Мои родичи хотели, чтобы я учился, а я плюнул на все и махнул в Оренбург! И представь себе, стал человеком! Знаешь, кто моя жена? Дочь Тарзимана-бая! Вот это богач, все может сделать! Он меня и с Рамиевым свел, тут и дело в ход пошло! Знаешь, что теперь мне самое главное? Свой карман наполнить, чтоб денежки туда текли, как речки к морю! Тогда все эти Ахметы, Хазиахметы, Галиахметы от зависти лопнут! Какое у них хозяйство? Ну, десятин двести земли, да сто голов овец, да быков двадцать, да

лошадей тридцать, да батраков десяток, а я их всех с потрохами куплю, понял?

Опьяневший Накышев наклонил голову, и узорчатая тюбетейка свалилась на пол, но управляющий не заметил этого.

— Домой меня води,— приказал он Сабитову заплетающимся языком.

— Может, вы, Гарей Шайбекович, тут пока отдохнете, а я уйду, не буду вас беспокоить. . .

— Ты что? Ты мне скажи, кто тебя человеком сделал?

— Вы, Гарей Шайбекович! . . — Сабитов вскочил и снова вытянулся перед управляющим, худощавый и длинный, как выросшая в тени сосна.

— Что у тебя за душой было? — еще громче и сердитее крикнул Накышев.

— Ничего не было, Гарей Шайбекович! Спасибо вам, без вас совсем пропал бы!

— То-то. . . А про братьев моих двоюродных знаешь, какую они мне подлость устроили? Взяли и разбогатели, из газеты узнал в Оренбурге. . . Я ведь их и знать не хотел, а они разбогатели! Аллах всегда был ко мне немножко несправедлив, но я еще свое возьму, назло им возьму! В нашем деле что самое главное? Кто сумел, тот и съел! Я такой богатый, что мог бы уже старшиной быть или, как дедушка, членом думы! Знаешь, когда я маленький был еще, вроде тебя сопляк, дом мечтал построить, железом крытый, а теперь мне этого мало, мало! Кэжэнские прииски хочу! И Алтынгашские! Все прииски Зауралья мои будут, вот какой я человек!

— Конечно, будут,— увещевал разбушевавшегося управляющего Сабитов.— Спасибо вам за все заботы. . .

— «Спасибо, спасибо»! — вдруг передразнил его Накышев.— На кой мне черт твое спасибо! Я тебя инженером сделал, а где у тебя документы на инженера? Нету! А ты мне— «спасибо». . . Четвертую часть с зарплаты каждый месяц приноси, понял?

— Понял,— разозарованно прошептал Сабитов.

— Род у меня такой,— захихикал управляющий,— дворянский! Денег, стало быть, много надо, а иначе на что я прииски куплю? Сам царь нам дворянский титул пожаловал, мой дед старшиной трех деревень был, царь его кафтаном наградил, золотом расшитый кафтан! А ты мне — «спасибо». . . — все больше обижаясь, бормотал Накышев.— Если б ты видел, какой кафтан! Да разве мой дед его стоил? Я должен был его носить, я! . . Чем он лучше меня? И тебя я, собаку, знаю, насквозь вижу! Пока хвостом виляешь, а захочешь — продашь? Тебе вот столечко воли дай — на голову сядешь!

— Что вы, что вы, Гарей Шайбекович, у меня и в мыслях такого не было! — испугался Сабитов.

— Забудь, что я тут тебе говорил, понял? — Накышев лениво прищурился. — Твое молчание золото... А языком трепать станешь, — язык обрежу и собакам выброшу... Веди меня домой!

Сабитов еле вытащил увязшего в кресле управляющего и, полуобняв, спотыкающимся шагом направился из конторы. На улице он огляделся — не подсматривает ли кто за ними, но улица была тиха и пуста.

Спотыкаясь в темноте, он довел Накышева до дома и обрадовался, столкнувшись в дверях с Зинкой.

— Принимай, хозяйка!

Они вдвоем раздели и уложили управляющего в постель, и, уходя, Сабитов удивлялся тому, что Зинка сидела на краю кровати, как чужая, и смотрела на бледное и потное лицо старика, словно перед нею лежал не живой человек, а покойник...

Накышев проснулся от злобного и отрывистого лая собак, поднялся, шаря вокруг себя руками, но, увидев сидевшую рядом Зинку, позвал:

— Ты чего?

— Ничего... Жду, когда в Оренбург меня отправишь! А не отправишь, я вот тут повешусь!.. — она показала рукой на потолок, где сумрачно, в свете наступающего утра, поблескивала люстра.

— Ладно, не стражай! — Накышев быстро оделся и выскочил во двор.

Во дворе было уже белесо от рассвета, редкие пепельные облака тянулись в небе, кое-где над землянками курились слабые дымки. Накышев пересек двор и постучал в окно конюховки. Минуты через три из конюховки выбежал Зинатулла, на ходу натягивая старый чекмень.

— Что случилось? — крикнул он. — Пожар, что ли?

— Типун тебе на язык! — сердито оборвал его Накышев. — Иди поднимай с постели Сабитова и всех десятников!.. Пускай бегут в контору да поживее поворачиваются!.. Начнем сегодня же работы в той шахте, где нынче установили копер, понял?

— Но там же... — заикнулся было Зинатулла.

— Не твое дело! А вернешься — закладывай вороных, повезешь мою барыню в город! Нечего ей тут делать — погостила, и хватит!..

V

В одну из ночей подуло стужей, завьюжило, и над припском заметался снежный буран. Страшно было показаться на улицу, так все вокруг кипело от ветра, стонали и раскачивались сосны, недолго было заплутаться и погибнуть в этой бурной хмари.

Но, видно, это была последняя злость зимы, потому что сил ее хватило не на много дней. Уже через неделю опять заслезались капли, задымили проталины и, разваливая на части санный путь, стали пробиваться к Юргашты, посверкивая на солнце, веселые и шалые ручейки.

И, вобрав в себя эту беспокойную кровь весны, река разбила ледяной покров и стала крушить льдины, ломать и корежить их и вдруг открылась вся, счастливая, что освободилась от ледяного плена и может дышать свободно и бежать, куда ей вздумается. . .

И люди, радуясь ледоходу, тоже вели себя иначе, чем зимой. К реке потянулись не только мужчины-старатели, но и женщины, и даже дети. Старатели начали сбиваться в артели, чтобы воспользоваться удачной порой и поразмыть породу в старых отвалах. Те, кто был послабее, ждали большой воды и пока промывали валявшуюся возле шахты песчаную глину. Детишки и женщины копошились тут же и помогали, как могли. . .

Лишь один человек на прииске не радовался приходу весны. Это был управляющий Накышев. Он не находил себе места оттого, что никто не шел к нему в контору — старатели весной обходились без него. Он был зол, что прозевал какой-то момент, когда он мог нанять рабочих и платить им по уговору более низкую цену. Теперь нельзя было и помышлять о том, чтобы кто-то пошел в шахту на таких условиях.

Целыми днями он сидел в конторе, тупо глядел, как бредут мимо люди с котомками за плечами, и почти заболел оттого, что ничего не мог поделать с этими оборванцами, которые еще месяца два тому назад толпились с утра до вечера у крыльца конторы и просили дать им хоть какую-нибудь работу.

Сегодня он вызвал к себе главного инженера и, поджидая, смотрел в окно, откуда была видна Юргашты, — она несла на мутновато-желтых волнах последние льдины, и там, где они, скрежеща, наползали друг на друга и крошились, паром висели мельчайшие брызги. По обоим сторонам реки бродили и что-то выискивали старатели.

«Слишком долго я канителюсь с этой немчурой, — думал он. — Мог бы и в январе шахту открыть».

Без стука вошел Сабитов. С тех пор как Накышев назначил его инженером, Сабитов вел себя нагло, уже не вытягивался в струнку при появлении управляющего, хотя и держался с подчеркнутой вежливостью и, приходя в контору, принимал робкий и просительный вид.

— Я что-то не могу понять, для чего я поставил тебя на эту должность? — закричал управляющий, едва Сабитов показался в дверях. — Шахта открыта, а работать в ней, выхо-

дит, некому? Где рабочие, которых ты мне тыщами обещал нанять? Где?

— Сами знаете, Гарей Шайбекович,—Сабитов пожал плечами,—ледоход...

— Я спрашиваю, когда на шахте начнется работа?

Сабитов, как бы признавая свою вину, опустил голову и промолчал.

— Тошнит меня от тебя,—откидываясь в кожаном кресле, устало сказал управляющий.— Даже чернильницей в тебя запустить скучно, на все один и тот же ответ, одна и та же глупая рожа!..

— Это все тот разбойник воду мутит,—оправдывался Сабитов.— Поверьте мне, Гарей Шайбекович, я всеми силами! По всему прииску слухи распускает, что шахта обвалится! Подговаривает, чтоб на работу не выходили, пока мы креплений не заменим...

— Какой разбойник?

— Да каторжник, русский этот, Михаилом его зовут...

— А откуда он это узнал? И почему ты мне раньше ничего об этом не говорил? Вот что, сообщи-ка о нем на Кэжэнский завод, в полицейское управление, а ты,—управляющий кивнул лысоватой головой десятнику, появившемуся в кабинете,—иди вызови урядника! Даром он, что ли, казенный хлеб ест?

Десятник приложил руку к воображаемому козырьку и, повернувшись кругом, быстрым военным шагом вышел из комнаты.

Накышев посмотрел на Сабитова, на жалкое его красное, испуганное лицо. «Бойтся,—удовлетворенно подумал он,—а как же? У меня ведь кулак железный, захочу — и он у меня из главных-то инженеров в конюхи пойдет, а то просто станет павоз со двора убирать! Ничего, зато с такими работать хорошо, только свистни — а он уж тут, хвостом виляет!»

— Садись-ка поближе,—спокойно сказал он.— Ты пока под моим началом работаешь, запомни — старатели сколько бы ни мыли, а золото ихнее все равно к нам в карман ляжет, все дело только в том, сколько ляжет, поэтому нам и шахта фишеровская понадобилась, понял? Если там столько золота, сколько проба показала, то считай, что карманы у нас набиты! А эти губошлепы, что там, возле Юргашты, собрались, мы их всех к ногтю прижмем, не беспокойся! Они ж как мухи — на сладкое летят! Стало быть, пообещать надо, что плату за работу в этой шахте увеличим, да в придачу — большой задаток, понял?

Сабитов кивал головой.

В дверь робко постучали, и в комнату снова зашел десятник. Круглое лицо его было озабоченно.

— Ну, что? — сердито спросил Накышев.

— Урядник сейчас придет, а вот тут еще одно дело... Есть Нигматулла такой, сын Хажигали,— и сын, и отец, вся семья — воры, как говорится, вор на воре сидит и воров погоняет!..

— Ну что ты резину тянешь, выкладывай сразу суть дела! — раздраженно сморщился управляющий.

— Так точно, Гарей Шайбекович! Так вот он у детей золото за бесценок скупает! Стало быть, поперек нашей дороги стоит...

— Ерунда! Какое там золото — мелочь сущая,— негромко проворчал Накишев. — Так вот я тебе и говорю, главный инженер, большой задаток вперед и все такое прочее...

Он повернулся к десятнику:

— А ты пока иди, я сам в этом деле разберусь!.. Будет нам этот ворюга мешать — мы его быстро уберем...

VI

«Смотри-ка,— думал Хисматулла, шагая с лопатой по берегу Юргашты,— еще вчера, кажется, акман-токман¹ опять собирался, вроде бы даже снежок пошел, а нынче-то благодать! Расплакалась наконец Юргашты после зимнего горя...»

Навстречу ему то и дело попадались старатели с веселыми, радостными лицами, они здоровались, щурясь от солнца, улыбались, и Хисматулла сам не мог не улыбнуться в ответ, потому что было уже ясно, что весна пришла окончательно, со всей щедростью своего света и тепла. И скоро будет вокруг шумно от свежей зелени, такой нежно-яркой, что поначалу больно будет глазам смотреть на нее, и небо с каждым днем станет наливаться голубизной, и чернокрылые чибисы пронзительно закричат: «Тиу-ви! Тиу-ви!» И если уже сейчас пылят по мокрому ноздреватому грязному снегу сережки орешника, то скоро зацветет и осина, и на южных склонах глинистых оврагов расцветут желтые корзинки мать-и-мачехи и нежно-голубоватые, матовые подснежники, а там медуница и лиловатые душистые колокольчики волчьего лыка, и затокут тетерева на заре возле опушек и сырых просек, и вылезут из берлоги исхудалые после зимней спячки медведи, и найдется работа всем тем, кто не мог прокормиться зимой!

«Да, теперь уж очередей у конторы не будет,— усмехнувшись, подумал Хисматулла.— Уже и артели собираются, а как начнется настоящее половодье, в шахту и силком не замайнешь!..»

¹ Снежный буран.

Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд — навстречу шел высокий худой мужчина в черном бешмете, с еще более черной бородой. На бешмете у горла не хватало двух пуговиц, и в прорези виден был край рубашки и тонкий шнурок с амулетом. Внимательно глядя, мужчина прошел мимо, и видно было, что хотел поздороваться, но не решился. Хисматулла обернулся. Незнакомец тоже приостановился и смотрел в его сторону.

— Если душа не почувствует, то глаза не увидят, — сказал он, приблизившись. — Лицо-то у тебя, браток, знакомое, только вот не вспомню, где я тебя видел?

— А я тебя узнал сразу, — улыбнувшись, ответил Хисматулла. — Ты ведь курээ?

Кулсубай махнул рукой:

— Какой там курээ — это все так, пока настоящей работы не было... А и я теперь тебя узнал, когда ты засмеялся, тебя, кажется, Хисматуллой кличут?

— Мне про тебя Гайзулла рассказывал, Хайретдинов... — певпопад ответил Хисматулла.

— Гайзулла? Хороший парнишка... — Глаза Кулсубая потеплели. — Стойкий, всю зиму вместе ходили.

— Вы ведь искали кого-то? ..

— Девушку свою искал, это точно, а Гайзулла так со мной ходил, при мне был, — смутившись, сказал Кулсубай.

— Нашел?

— Найти-то нашел, — снова махнув рукой, с горечью ответил Кулсубай, — да только она замужем уже, и дети есть... Вот и приехал обратно сюда, а как увидел все это людское горе, как дети по канавам роются, так и про свое позабыл!.. Аллах!.. Сам маленький, с надерсточек, худенький, в цыпках весь, ручонки красные, нос синий от холода, а весь день до ночи сидит и старый отвал моет! — Глаза его блеснули гневом и возмущением. — Что же это такое, думаю?!.. Чей, говорю, откуда? А он молчит, боится, песок у него намытый отниму, а потом как крикнет: «Уходи, уходи! Это мой отвал!..» — Кулсубай помолчал немного, как будто снова встала перед его глазами эта страшная картина детского горя. — Ну, пришел к нему в землянку, вижу — детей куча мала, и все одни кости да кожа, и мать ихняя, Сара, как щепка тощая... Помнишь Сагитуллу, которого в прошлом году убили? Ну так это его семья. Вот и думаю — все я потерял, и терять мне больше нечего, все равно по земле порожняком болтаюсь, хотел вон сынишку Хайретдинова себе взять, да не вышло... Я говорю, дай, думаю, сделаю хоть раз в жизни доброе дело! С тех пор у них и живу, детишки ко мне привыкли, подружались, куколок им режу, только вот беда у нас случилась... — Голос Кулсубая задрожал, на глазах появились слезы, и взволнованный Хисматулла, чтобы не выказать своего волнения, уставился

в землю. — Сам я во всем виноват, зачем отпустил его одного на завод? Об Адгаме я говорю, старший он у нас был... Сам золото мыть решил, говорит мне: вот, агай, нападую на жилу — и всю семью прокормлю! И утонул вон там, недалеко отсюда...

Хисматулла с ужасом посмотрел на бурлящую, грохочущую Юргашты. Мутная вода с шумом выплескивала на гальку мелкие кусочки льда, подмывала под корни прибрежные деревья, как бы хватаясь за них сильными, темными лапами, и вдруг, закрутившись и вспенившись, хваталась снова за какую-нибудь льдину и, повернув ее, бешено неслась вниз.

— Слышишь, хохочет?.. — тяжело вздохнул Кулсубай. — Ей что, катится и катится, ей все равно, что нет в живых моего мальчика...

Мужчины замолчали, слушая, как шумит вода. Хисматулла так долго глядел, что даже голова у него закружилась, и уже остановилась вода и берега стремительно поплыли вверх, когда Кулсубай тронул его за плечо:

— А ты, браток, далеко направился? Хочешь, ко мне зайди, поговорим... И у меня на душе легче станет!

— Нет, я сегодня к Михаилу иду, давай лучше завтра!

— Завтра меня дома не будет, в новую шахту выхожу, вечером.

— Да ты что! Зачем ты туда идешь? Разве не знаешь, там даже креплений не сменили — все старые, вот-вот обвалятся!

— А что сделаешь? Десятник сказал — не хочешь выходить, верни задаток, что зимой брал, и катись на все четыре стороны! А где я столько денег сразу возьму? И ждать не хочет... Если б я один, как раньше, был, а теперь ведь я человек семейный... Да что там, я говорю, судьба моя такая — завалит так завалит! Ты лучше мне про того русского скажи, к которому ты в гости собираешься, — он ведь возле центральной шахты живет? Все хочу его повидать, да не удается! Очень он мне одного знакомого напоминает, тоже Михаилом звали... Как его увидеть?

— Сейчас не сможет, болеет он... А тебе зачем? Дело, что ли, есть?

— Так, поговорить хочу... — Кулсубай вздохнул. — Может, растолкуете мне, что за времена настали? Мулла и то каждый день вопит, что конец света наступил! Мне-то на его трепотню всегда плевать было, а только я и сам вижу, что неладно, уже никто никого не признает — ни старшего, ни богатого, даже о самом царе черт знает что болтают, вот какая смута! Я и думаю: может, он, русский этот, такой умный, что объяснит!

— Я и сам тебе объяснить могу! — с оттенком превосходства в голосе гордо сказал Хисматулла. — Я тоже раньше не знал ничего, мне Михаил все объяснил...

— Ну, раз можешь, так давай! — обрадовался Кулсубай. — Перво-наперво вот что мне скажи: почему это стали говорить, что богачи нас обворовывают?

— А как же? Точно, обворовывают! И меня, и тебя! Им с нашей зарплаты больше половины идет, понял?

— Как так?

— А вот так, устроились на нашем горбе, а сами и пальцем шевельнуть не хотят, ничего не делают!

— Ну, этот порядок уж сам аллах установил, против бога не пойдешь... — улыбнулся Кулсубай. — А что воруют, не верю я в это! Зачем же им воровать, если у них и так дом — полная чаша? Болтовня все это, распустился народ, вот и про царя тоже говорят, что он вор, а уж царю-то и совсем смешно такие грехи приписывать, он ведь и своих богатств счесть не может, так на что ему, скажем, мой бешмет или наша коза?

— Да как же, — горячо заговорил Хисматулла, перебив Кулсубая. — Ты пойми, они не так воруют, не руками, а похитрее!

— Ногами, что ль? — рассмеялся Кулсубай.

— Да нет, просто они все заодно, понимаешь? А раз царь богатый, и он с остальными богачами заодно! Нас с тобой не защищают, а своих в обиду не дадут, вон и за листовки, и чуть что скажешь — хлоп! — и тебя уже сразу в полицию волокут! Ворон ворону глаза не выклюет, понимаешь?

— Так-то оно так, — нехотя согласился Кулсубай, — только про царя мне что-то не верится... Я ведь везде побывал, и у наших, и у русских, и мулл видел, и с купцами разговаривал, а про царя никогда ничего плохого не слышал. Наоборот, любят все его, говорят, человек хороший, а про помещиков он небось и знать не знает, какие они над народом дела творят...

Хисматулла покраснел. «Вот те на, — подумал он. — Все ходил мечтал, кто бы что у меня спросил, а как спросили совета, так я и объяснить ничего не могу... Как же это у Михаила получается? Вот стыд, а еще думал, что я умный! Правду Михаил говорит, учиться мне надо, вот ведь все чувствую, а сказать не могу, хоть сквозь землю провались...»

— Я завтра приду, — угрюмо сказал он Кулсубаю, — поговорим еще до вечерней смены, а то времени мало... — и пошел к шахте по сырой вязкой глине. Желтые брызги от его шагов разлетались в разные стороны.

«Чего это он, обиделся, что ли? — недоуменно подумал Кулсубай. — Вроде не говорил я ничего такого...»

Не доходя до шахты, Хисматулла повернул с дороги и пошел в гору. Он никак не мог избавиться от тягостного ощущения стыда и собственной глупости и ругал себя почему зря. «Оратор чертов, вчера только последнюю букву в алфавите выучил, а туда же!» — говорил он сам себе, яростно меся

лаптями глину. Обида его росла все больше, пока он не уселся, чтобы передохнуть, на свежесрубленный пенек, еще заваленный с теневой стороны серым поздраватым снегом. Внизу, на перекопанном вдоль и поперек поде, один к одному жалостно ютились старые балаганы, крытые дранкой и корой. Казалось, с началом весны они стали линять, как звери,— такой у них был облезлый и ободранный вид. Издалека, рядом с балаганом, видны были кучи глины и мусора, валялись сломанные черенки от лопат, куски мочала, обломки досок, куски железа и разбухшие от воды старые лапти.

Года два назад еще весь этот склон холма был покрыт густым лесом, а теперь лишь редкие березки беспомощно тянули вверх голые веточки среди пней да чахлые одинокие прутьики торчали из сугробов, сгибаясь под порывами ветра.

Приглядевшись, Хисматулла заметил, что веточки покрылись тяжелыми почками с влажной и туго натянутой темной кожей, набухли соком. А вон у одного из пней притаился подснежник, один из первых,— нежный, чуть золотистый от солнца, он робко покачивал удивленной красивой головкой, стряхивая то и дело капли березового сока, падающего с макушки пня.

Вдруг внутри у парня что-то дрогнуло, и отчетливо, как никогда раньше, он увидел перед собой мягкие, полураскрытые губы Нафисы, ее раскосые глаза с блестящими каплями слез, нежную, напоминающую лепестки кожу щек... Хисматулла закрыл рукой глаза и, еле удерживаясь от горячих, уже набегающих на глаза слез, вспомнил осеннюю холодную ночь, и белое лицо, вкус меда на губах, и звездную, морозную россыпь в огромном чужом небе.

Как будто резче запахло весной; и, открыв глаза, он подумал о том, как удивительно, что даже эти слабые, маленькие прутьики, эти пни, которым никогда не быть снова деревьями, все вокруг жадно хочет жизни, и обновления, и солнца! Ему почудилось, что он слышит, как пьют соки земли тянущиеся ввысь кустики, как растет корень цветка в темной глине вширь и вглубь, как впитывают живое солнечное тепло пухлые коричневые почки, и чуть не задохнулся от нежности и любви к миру, и к этому гребню горы, и к белому цветку у слезящегося пня.

Вдруг что-то больно укололо его в шею. Хисматулла поднял руку, провел ею по загорелому затылку. «Клещ, наверно»,— подумал он, но в ту же минуту опять кольнуло руку возле локтя, и Хисматулла увидел, что по его рукам и штанам ползут маленькие рыжие муравьи. Торопливо поднявшись, он страхнул непрошенных гостей с чекменя и штанов и, оглядевшись, заметил, что позади пня, на котором он сидел, возвышался небольшой муравейник, еще покрытый сверху грязно-желтой

шапкой прошлогодней листвы. Хисматулла отставил свою лопату в сторону и наклонился к нему.

В муравейнике кипела горячая и спешная работа. Торопясь и то и дело натыкаясь друг на друга, муравьи бежали в разные стороны, то вбегая в черные круглые дырочки входов, то снова выбегая оттуда, многие из них тащили кто хвойную иголку, кто дохлую муху. Иногда вдруг некоторые муравьи изменяли свой путь и бросались помочь малосильному перенести муху через преградившую дорогу веточку, но, как только муха была перетащена, снова, суетясь и спеша, убегали прочь...

Хисматулла вспомнил, как рассказывал ему о муравьях Михаил: «Есть у них еще более слабые особи, амазонки. Такие слабые, что даже сами не передвигаются, их другие муравьи носят. Вот они-то как раз и есть хозяева гнезда...» — и подумал с горечью: «И в лесу все так же, как в жизни, — бай и бедняки... Интересно, а урядники у них бывают?»

При мысли о муравьином уряднике Хисматулла повеселел и, шагая дальше сквозь мелкий березняк к шахтам, стал придумывать и дальше — о том, что у муравьиных рабочих свой хозяин прииска, штейгер, инженер, заработная плата...

Выйдя снова к Юргашты, он увидел новый муравейник — над маленькими шахтами, похожими на муравьиные ходы, вращались воротники, у многочисленных желобов, плюзов и машинистов суетились люди, но в этом муравейнике не было порядка, никто не помогал другому, и среди охваченных весенней золотой лихорадкой старателей, бегающих от реки к шахтам и обратно, везущих породу на санках по бурой глине, размахивающих руками усталых, голодных людей скорее можно было увидеть драку из-за хорошего места...

Хисматулла шел по дощатому настилу, и доски под ним прогибались и жалобно скрипели.

— Куда идешь, косоглазый? Куда ты так торопишься, чтоб тебя черти взяли! — услышал он грубый окрик за спиной.

Обернувшись, Хисматулла увидел Хакима, кричавшего на своего сынишку, и, поняв, что кричат не ему, пошел вперед еще быстрее. А еще дальше заметил он Нигматуллу, окруженного со всех сторон детворой, ее теперь было у реки больше, чем раньше. Казалось, ни одной ямки с талой водой, ни одного ручейка свободного не было, — так плотно облепили их черные головы ребятишек, мывших золотоносный песок. Как галки, вертелись они вокруг Нигматуллы, а тот что-то горячо доказывал им, взмахивая длинными руками, часто хохоча, закрывая ладонью глаза от ослепительного весеннего солнца...

Маширт, у которого он работал, был уже перенесен из тепляка на открытое место, и, приближаясь к нему, Хисматулла неожиданно увидел Гульямал, стоявшую с лопатой рядом с русскими женщинами. Издали приметив Хисматуллу и поджи-

дая его, она старалась принять серьезный вид, но губы сами собой расплывались в улыбке, и женщина неудержимо засмеялась, не сводя с парня широко открытых, сияющих глаз.

— Что тебе здесь надо? — негромко и сердито спросил Хисматулла.

— Соскучилась, вот и прибежала, — не переставая улыбаться, ответила Гульямал. — Не сердись...

— Как мать?

Оттого, что Гульямал, не стыдясь посторонних, говорила громко, Хисматулла покраснел и еще больше рассердился, но женщина не замечала этого.

— Вон, под березой, сверток тебе прислала, все ждет тебя, ждет, — продолжала она. — А я совсем сюда пришла, на работу устроилась. Что-то тебя и не узнать, изменился как! Совсем мужчина стал, даже усы растут! Что ж не заехал ни разу?

— Эй, болтать после работы будешь! — крикнул издали ровняльщик. — Посмотри, сколько у тебя породы накопилось!

Гульямал побежала к желобу, а Хисматулла облегченно вздохнул, радуясь, что не надо больше разговаривать с невесткой на виду у всех, пошел к зонту, где уже стоял его напарник.

— Тебя тут один русский спрашивал, — тихо сказал он Хисматулле.

— Тот самый, что ль?

— Угу, — промычал напарник. — Говорил, нужен ты ему срочно.

Михаила не пришлось долго искать, — он сидел на склоне чуть выше дороги, бледный, исхудавший, и, увидев Хисматулла, крикнул:

— Я здесь! Ты что, не работаешь сегодня?

— Я в ночную, — запыхавшись, ответил Хисматулла. — А ты что, у наших был?

— Был-то был, а толку! — вдруг вспыхнул Михаил и, устало махнув рукой, отвернулся. — Ну и тяжелы они на подъем, эти старатели!.. Ни о чем, кроме золота, и слушать не хотят, как сумасшедшие, честное слово! Не успеешь им ничего объяснить, как они снова про свое: «Ты, агай, человек ученый, помоги жилу найти!» Никак не хотят поверить, что настоящую жилу не под землей надо искать, а в жизни!..

Лицо Михаила от волнения пошло красными пятнами, в глазах чуть не блеснули слезы. «Оказывается, и у него неудачи бывают, — удивленно подумал Хисматулла. — Только что же он так из-за чужих людей волнуется, будто это его родные? Не хотят слушать — ну и не надо, им же самим хуже!..»

— Глупо, конечно, так расстраиваться... — вздохнул Михаил. — Тем более что правда — она спокойная, потому что в силе своей уверена, а я горячусь, как мальчишка! Но с другой

стороны, как же не горячиться? Как не срываться? Ведь всей душой помочь хочешь, а до людей не доходит... Как об стенку горох! Об глухую такую стенку! И сам себе бараном кажешься, который лбом в железные ворота стучится... Вот и говорит тебе в душе какая-то струнка: «Да брось ты, Миша, чего ты с ними связался? Построй себе хату, женись, детей заведи, скотину, огород, а то все нервы разорвутся к чертовой матери, помрешь, так и счастья своего не увидишь!» А потом вот сядешь на пенек, остынешь, одумаешься и видишь — нельзя! Если каждый так думать будет, никогда у нас на земле счастливого времени не наступит, все только и будут за свою шкуру трястись, пока рядом соседа убивают! В единстве вся наша сила, браток, в сплоченности, если каждый о себе забудет — вот тут самая жизнь и начнется, понял? Вот и говорю себе — чего это ты, Михаил, разнюнился, как барышня? Подумаешь, слушать не стали, дело ведь не такое, чтоб сразу топором рубить, а сначала надо все темные места в сознании народа осветить огнем правды! Сегодня не послушают — завтра послушают, завтра за свою шкуру побоятся — а послезавтра сами забастуют, вот увидишь!

Хисматулла все с большим изумлением глядел на Михаила. Лицо его, уже спокойное, стало вдруг строго-красивым, будто выровнялись черты лица, выше стал лоб, и слова, которые говорил он, глядя прямо в глаза парню, будто входили ему прямо в душу, вызывая дрожь в спине и затылке.

— Мало еще на прииске сознательных людей, — продолжал Михаил, рубя воздух рукой. — Придется нам пока другую тактику избрать. Завтра, браток, выходим на работу в новую шахту. Выходить будем в разные смены, а завтра соберемся все и подумаем — как нам лучше повести работу, понял?

Хисматулла кивнул головой.

— Да, еще вот что, — Михаил приподнялся с пня. — Ребят своих проверил, можно ли доверять?

— Гайзулла, у которого мать слепая, вполне надежен, если поймает — умрет, а не скажет. Он и листовки раздавал, и по баракам бегал, звал на собрание... А другого мальчишка еще бы испытать не мешало, да и маловат он немного...

— А родители у него кто?

— Мать не родная, а отец — Хаким, плотник, знаете? Он Гайзуллы приятель, Загитом зовут!

— Ну ладно, ты с ним пока прямо не связывайся, а действуй через Гайзуллу, понял?

Широкими, решительными шагами Михаил спустился на дорогу и быстро зашагал к балаганам.

«Оказывается, и такой большой пролетариат, как Михаил, тоже не всегда все гладко говорит, а я ведь только начал, —

подумал Хисматулла, глядя ему вслед. — Значит, потом и у меня тоже получится...»

Но даже сейчас, увидев неудачу Михаила, он ни за что не мог бы рассказать ему о своей. «Пойду к Кулсубаю, — решил он, — попробую еще раз ему объяснить. Ничего, самое главное — огнем правды темное сознание осветить! Настоящую жилу не под землей искать надо, а в жизни!..»

VII

Хисматулла пришел к шахте одним из первых.

На месте вырубленных берез над шахтой стоял большой подъемник, и старатели, пришедшие раньше Хисматуллы, сгрудились перед ним. Хисматулла заметил среди них старика Сайфетдина.

— Ишь ты, постарались! — сказал Сайфетдин. — По три человека спускает, не чета нашим корзинкам!

— Толку-то, — отвечал ему другой. — Все равно вручную, машина-то не работает, позавчера только воду насосами откачали! С тех пор как немец наш уехал, так и встала, — он указал на возвышавшуюся недалеко черную громадину паровой машины. — Назначили Сабитова, прибежал он, раскудахтался — кто испортил, почему стоит, потом внутрь туда полез, руками немного покопался и говорит — дело фиговое, мол, механика надо из Оренбурга! Полез туда рукой снова, а оттуда как паром шуганет, тут же кубарем на землю свалился и без оглядки к себе в контору побежал, а по дороге все за штаны держался, паложил небось со страху-то!

Старатели одобрительно расхохотались.

— Пошли, что ли, — как бывалый шахтер, сказал Хисматулла, стараясь не показать, что не знает, как пользоваться подъемником.

Сайфетдин вошел с ним в клетку, и тотчас барабан закрутился, разматывая толстый стальной канат, и клетка медленно поползла вниз, раскачиваясь и ударяясь о деревянные стены колодца, обросшие мхом и плесенью. Становилось все темнее — казалось, что клетка падает куда-то в холодную бездонную пропасть. Сайфетдин, приподняв лампу, осветил лицо Хисматуллы.

— Как, сердце не дрожит?

— У кого, у меня, что ли? — обиделся Хисматулла. — Я же еще раньше спускался!

— Э, видел я ту мышиную норку, куда ты спускался! — рассмеялся Сайфетдин. — Это же не шахта была, а шурф!

Спускались очень долго, и страх снова сжал сердце Хисматуллы в крепкий кулак, особенно когда капающая сверху вода

потушила лампу Сайфетдипа, и лишь наверху, через копер, можно было увидеть маленькую светлую точку неба. Хисматулле казалось, что наравне с мерно падающим звуком капли слышен беспорядочный стук его сердца.

— Возьми меня за руку, а то упадешь, — вдруг сказал Сайфетдин, и почти тотчас дно клетки грузно ткнулось в землю. В шахте уже стояли несколько старателей и десятник, Ганс, из немцев, бледнокожий, с одутловатым, в складках, лицом. Сайфетдин снова зажег свою лампу, повесил ее на подхват. Тем временем рядом опустилась еще одна клетка, скоро в мрачной шахте стало оживленно. Забойщики топтались у стволов, осматривали стенки штреков, слышно было, как за креплениями что-то отваливается и трещит, лапти вязли в темном месиве глины. Пахло сырой землей и гнилой древесиной.

— Не выдержат крепления, — сказал кто-то.

— Это пусть аллах рассуждает, выдержат или не выдержат, а нам работать надо, — отозвался стоявший рядом Кулсубай.

— Может, Накышев боится, что кто-нибудь из родственников Фишера потребует шахту обратно, потому и креплений не меняет?

— Ну да, его родственники и не знают про эту шахту! Знаешь, как Фишер над ней трясся? Все годы, пока болел, купить у него хотели, а он не продавал, все думал — выздоровеет и на ней разбогатеет!

— А какое нам дело до Фишера, когда его уже на свете нету? Фишеру, что ли, здесь работать? — раздраженно сказал Кулсубай.

— Не каркайт, не каркайт! — заорал вдруг немец-десятник. — Наша без вас знайт! Креп терпит, шахта терпит, и ты терпит — хозяин знайт!

Освещая путь тусклыми дымными лампами, забойщики неторопливо двигались по длинному, как узкий и низкий коридор, проходу.

А Ганс уже остановился возле темных, похожих на норы, узких и длинных забоев.

— Пустой порода туда, богатый сюда клайт, — показывал он на тележку, — клетка другой человек работайт.

— А куда же пустую породу, под ноги? И так тесно! — сказал Кулсубай.

— Не разговаривайт! — побагровел десятник. — Наша понимайт, шагай, работайт, живо! . .

Забойщики опустили на четвереньки и поползли каждый в свой забой.

Сайфетдин поманил Хисматуллу пальцем:

— Идем покажу, что делать. . .

Низко нагнувшись, они вошли в темную дыру забоя.

— Поперечная балка называется огниво, а что такое стойка подхвата, ты знаешь,— озабоченно говорил идущий впереди Сайфетдин,— ты об нее еще в прошлый раз башкой трахнулся. Если земля обваливается, стойка в землю уходит, понял?

Впереди показалась большая лужа, и Сайфетдин, передав лампу Хисматулле, стал тут же рыть отводную канавку в сторону главного штрека, торопливо объясняя:

— Пока воду не отведешь, работы не будет, канавку до штрека довести надо, а там насосом откачают...

— Может, лучше ведром вычерпать? — предложил Хисматулла.

— Ты вычерпаешь, а она через час опять соберется! Так будет себе и будет вытекать потихоньку.

Свалился державшийся каким-то чудом камень, шмякнулся в лужу, обдав Хисматуллу брызгами.

После того как прорыли канавку, освободили забой от старой породы и поставили крепления. Но легче работать не стало — все труднее было дышать, рубаха и штаны скоро промокли насквозь, разбухли, потяжелели от налипшей глины лапти.

По забою метались, точно дразня работающих, их суетливые тени, точно кто-то нарочно повторял каждое их движение, каждый жест.

Хисматулла еле ворочал лопатой, так она отяжелела от налипшей глины, ломило поясницу, но стоило немного отдохнуть, как потом нельзя было выпрямиться без боли.

— Эй, вы, там спайт, что ли? — послышалось со стороны штрека.

— Сам небось сюда не лезет, боится штаны замарать,— тихо засмеялся Сайфетдин.

— Эй, кому я говорайт? — продолжал надрываться Ганс и вдруг резко и пронзительно свистнул.

— Дур-рак! — взорвался Сайфетдин.— А еще десятник называется! Ошалел, что ли, в шахте свистеть?!

— А что не отвечайт? Отвечайт, тогда не свистейт! Вам лишь бы день работайт, а там хоть умирайт! А кто перед хозяином говорайт? Я! — И, размахивая лампой, десятник пошел дальше по штреку.

— А почему нельзя свистеть? — спросил Хисматулла.

— Старики говорят — обвал будет,— мрачно ответил Сайфетдин.— Правда или нет — кто знает, но лучше в шахте не кричать и не свистеть — от беды подальше!

Он присел на корточки, отдохнул немного, поставил поудобнее лампу и, сняв мокрую рубашку, положил ее на большой камень, где уже лежал старый чекмень, и остался в тонком камзоле. При свете лампы казалось, что морщины на лице Сайфетдина стали резче и глубже.

— Как тебе не холодно! — Хисматулла поежился.

— Работа человека греет, — Сайфетдин улыбнулся и показал на рубашку: — Смотри, даже пар идет! — Он прислушался к дальнему, едва заметному стуку кирки в соседних забоях и поплевал на ладони: — Долго канителились, другие уже давно начали...

Он подкопал породу снизу и сразу же стал крушить киркой сверху легко, будто держал в руках игрушку. Большие темные руки его скользили по черенку ловко и быстро; пламя лампы от взмахов киркой заплясало, причудливо освещая забой; под ноги большими комками сыпался оставшийся без опоры верхний грунт.

— Здесь не так сила нужна, как ловкость, — не останавливаясь заметил Сайфетдин. — Видишь, как кирку надо держать? Будешь так держать — меньше устанешь... И еще запомни — никаких лишних движений! И силы сэкономишь, и больше поработаешь, понял? — Он отбросил крупные камни к штреку, подкопнул еще, очистил место для кровли, приставил кирку к стене и, тяжело дыша, сказал: — Идем твой забой посмотрим, а потом крепить начну...

Выйдя к главному штреку, Сайфетдин, подняв лампу, внимательно осмотрел старые, полусгнившие крепления из толстого соснового бревна и желтую глину между ними.

— Твой забой здесь начнем. Видишь, где жила идет? Может, здесь как раз самородки на тебя посыплются с лошадиною головою...

Хисматулла тоже посмотрел на стенку, но не смог различить жилу, о которой говорил Сайфетдин.

— Что толку, — сказал он уклончиво, — все равно не наша шахта и не наше золото!...

Умело орудуя киркой, Сайфетдин вывернул из-под подхватов гнилые стойки, и огнева повисли в воздухе, зацепившись концами за протянутый по всему штреку главный подхват. Выбрав место для нового забоя, он показал, с чего начать, и торопливо ушел; Хисматулла остался один.

Мерно капала вода, слышно было, как работают в соседних забоях, — словно все дятлы леса разом слетелись во вновь открытую шахту Фишера, чтобы выклевывать из глины зерна золота.

Уже после первой огневой у Хисматуллы задрожали руки и колени, потемнело в глазах. Ему казалось, что время идет бесконечно, медленно, и этот день в шахте продлится целый год, а может быть, и больше, и он никогда уже не увидит теплого солнца весны. Внезапно послышался резкий скрип полозьев, и Сайфетдин вытянул из своего забоя груженные породой маленькие сани. Веревка, привязанная к саням, глубоко

врезалась в его жилистые темные ладони. Хисматулла поспешил ему на помощь.

— На сегодня хватит, пожалуй,— сказал стари́к, останавливаясь.— Прежней силы уже нет, да и дыхание не то... Э, да у тебя дело движается! Сколько повесил?

— Одну огневу, а ты?

— Я четыре, для пятой место готовлю. Ничего,— добавил он, заметив, как огорчился парень,— не горюй, тебе для начала хватит!

Свалив породу с саней, Сайфетдин снова, как крот, полез в темную дыру забоя, держа лампу в зубах. За ним, скрипя, поползли сани с корзиной.

Хисматулла вычистил свой забой и подготовил место для второй огневы, руки уже плохо слушались его. При тусклом свете лампы никак нельзя было понять, день еще или уже вечер, и Хисматулле вдруг показалось, что он остался в шахте совершенно один. Он чуть не закричал от страха, но заставил себя сдержаться и почти тотчас уловил стук кайлы где-то глубоко в шахте. Губы то и дело пересыхали, и Хисматулла, взяв кружку, набрал мутной, горьковато-кислой воды из ручейка, который, не переставая, струился по главному штреку. Подождав, пока вода отстоится, он жадно осушил кружку, чувствуя, как скрипит на зубах песок. Когда дали сигнал подъема, Хисматулла еле стоял на ногах...

Дернулся стальной канат, и клетка, груженная старателями, тяжело тронулась с места и медленно потащилась вверх по длинному, темному колодцу. Хисматулле показалось, что сразу стало легче дышать, и действительно, чем выше, тем чище становился воздух, исчез запах копоты и гнили, стало теплее. И чем ближе становилось маленькое оконце неба, сверкавшее наверху драгоценнее всех камней и самородков на свете, тем радостнее сияли глаза парня.

— Что, доволен? — усмехнулся Сайфетдин.

Хисматулла глубоко вздохнул и кивнул головой.

VIII

Поговорив с Хисматуллой, Гульямал так обрадовалась, что всю неделю ходила как во сне. Улыбка не сходила с ее лица, даже если она хотела выглядеть серьезной.

— Чего лыбится? — с недоумением разводил руками ровняльщик.— Словно ей черт знает какое счастье привалило! Эй ты, над кем смеешься? Ты, может, надо мной смеешься?

— Может, и над тобой! — весело отвечала Гульямал и все думала о том, как Хисматулла придет к ней в гости.

«Придет же он мать навестить, не бросит ее! — рассуждала она. — Не сегодня так завтра, а если не завтра — то послезавтра. . . Даже если через неделю придет, какая разница? А если к матери придет, то меня-то не минует! . .»

Вернувшись с прииска в субботу, она принялась чистить и прибирать дом, хотя и была очень усталая. До белизны отскоблила большим ножом некрашенный потолок, пол и нары, вымыла их с песком, побелила чувал, очаг и шесток, выстирала все грязное белье в щелочной воде и застелила нары самотканым красным паласом, на котором разбросала как бы небрежно подушки. Постель она аккуратно сложила на стоящий у степы сундук. Когда же Гульямал украсила косяки окон полотенцами, расшитыми цветным сукном, завесила передний угол комнаты цветастым занавесом и на нем, как бы напоказ, вывесила лучшие свои наряды, комната так свежо заблестела и заиграла чистотой и радостными красками, что можно было встречать любой праздник.

Окончив уборку, Гульямал принесла из подловки ¹ сушеного мяса и повесила его на деревянном гвозде у шестка, и уже через минуту весело и споро застучал в деревянной ступе пестик — молодая женщина готовила толкан из конопляных зерен. Выложив толкан в большую чашку, она сбегала к соседям, одолжила у них кусок сахара, немного топленого масла и разложила все это на подносе. Только закончив все это, она присела отдохнуть на нары, да и то ненадолго: достала из-за чувала маленький, с ладонь, осколок старого зеркала, оглядела себя, быстро скинула будничное платье и надела новое, с разбросанными по белому полю букетиками ярко-синих васильков, а поверх платья — нагрудник, обшитый серебряным позументом, и белый казакин с ярко-зеленой каймой по бортам. Перед тем же маленьким и почерневшим осколком зеркала она расчесала волосы надвое и перевила их длинной монистой и толстыми цветными нитками. Прodelав все это, она спрятала обратно за чувал зеркало и села на нары.

Ей казалось, вот-вот Хисматулла подойдет к дому, и уже через минуту она услышит его шаги во дворе, откроется дверь и. . . Гульямал придирчиво осмотрела комнату — нет, ничем ее не попрекнешь, все чисто и свежо.

«Что же ему сказать? — думала Гульямал. — Здравствуй, Хисмат. Или нет, здравствуй, деверь, что так долго не заходил? Или лучше сказать просто — привет? Ничего, слова сами найдутся, лишь бы шел быстрее. . .»

И когда в сенях послышались чьи-то шаги, Гульямал даже вскочила от волнения, и голова ее закружилась, но тут же, чтобы парень не увидел, как она ждала его, она схватилась за

¹ Чердак, куда выходит труба чувала,

метелку и стала быстро-быстро водить ею по чистому полу. Руки не слушались ее, и метелка выпала из ослабевших пальцев. Она подняла голову и увидела в дверях соседку Мархабу. В одной руке Мархаба держала щипцы, а другой прижимала к груди ребенка.

— Аллах! — воскликнула она. — Что это ты принарядилась, девочка? Гостей, что ли, ждешь?

— Да нет, просто так, — Гульямал потупилась. — Для себя... Все равно жизнь зря проходит, так пусть хоть чистой будет! Зачем же в пыли да грязи жить — ведь завтра праздник...

— Что ты, ты еще совсем молодая, — удивилась соседка. — Да и красивая! Только вот жаль, что достоинство свое теряешь, среди русских болтаешься... Вышла бы лучше замуж, у тебя ведь руки золотые, что бы ни делала — все спорится!

— Что ж такого в том, что я на приiske работаю? — с обидой возразила Гульямал.

— Да разве это бабье дело? Ни один умный мужчина туда работать не пойдет! Я буду лучше без мужа сидеть, голодная, босая и оборванная, а туда и шагу не ступлю! Не позорь себя, Гульямал... Столько настоящих джигитов к тебе сватов посылают, когда ты по улице идешь — ни одного мужчины нету, чтобы на тебя не оглянулся! Не губи свою молодость, девочка! Да если б мне твою красоту, да богатство, да хозяйство, я бы уж давно самого лучшего парня завлекла, хоть бы и женатого! Вон сын Фаткуллы Исламгали уже два года меня упрашивает: «Сосватай мне Гульямал, сосватай мне Гульямал!»

— Да на кой мне твой Исламгали? Сам с вершок, а борода с аршин, разве это мужчина? Я лучше за Хакима пойду, у него одна борода чего стоит!

Не понимая шутки, Мархаба ахнула:

— Милостивый аллах, ну не с ума ли ты сошла? Да что ты нашла хорошего в этом ворчуне?

— Э-э, откуда тебе знать? Может, он самый хороший мужчина в Сакмаеве!

Глаза Мархабы вытаращились так, что казалось, еще чуть-чуть, и они вылетят из орбит.

— Да я не вру, — с серьезным видом продолжала Гульямал. — Все про него говорят: «Хаким старик», а какой же он старик? Это девушки только в семнадцать лет самый сок набирают, а мужчина в силу входит годам к пятидесяти! Знаешь, как говорят? Старый муж с серебром да лаской, а у молодого в руке плеть да нагайка.

— Не бес ли в тебя вселился? Или ты без мужа с ума сходишь? Нет, девочка, покажись-ка ты мулле...

Мархаба опустила сына на пол, и, освободившись от рук матери, ребенок побежал к очагу, шлепая босыми ножками. У очага спокойно дремал большой рыжий кот. Мальчик потянулся к нему ручонками, но Гульямал схватила его в охапку, подняла его и стала целовать в торчащий круглой пуговкой носик:

— Ам-ам! Съем тебя! Съем!..

Ребенок весело засмеялся.

— Не надо, сглазишь,— с испугом сказала Мархаба.— И в прошлый раз ты его сглазила, всю ночь плакал! Иди ко мне, сынок, иди,— Мархаба протянула руки, но ребенок отвернулся от нее и крепко обнял Гульямал за шею.

— Смотри-ка, не идет к тебе,— весело рассмеялась Гульямал.— Знает, у кого лучше.

Она дала мальчику кусок хлеба и стала покачивать его на колене.

— Где же твои штанишки, джигит, а? Над тобой же воробы смеяться будут. Скажи маме, пусть сошьет тебе!

— Что ты, куда ему, даже у старших братьев его штанов нету! Идем, сынок, домой, идем... Скоро из лесу отец вернется, чаю поставим, скажи тетеньке спасибо за хлеб.— Нагнувшись, Мархаба вытерла нос сыну подолом платья, но сделала это так неуклюже, что мальчику стало больно, и он даже зажмурил глаза, но не пикнул.— А я к тебе по делу, девочка, одолжи муки на лапшу, если есть! Как только муж съездит на базар — верну...

Мархаба завернула деревянную чашку с мукой в платок, прихватила щипцами горячий уголь из очага и собралась уходить.

— Давай-ка я провожу тебя, хоть малыша донесу! — накинула платок Гульямал.

Проводив Мархабу, она зашла в землянку старухи Сайдея-мал и, посидев там несколько минут и убедившись, что Хисма-тулла не приходил, отправилась домой.

На улице было темно, даже луна не показалась из-за туч, и только стеклянно стучали, сталкиваясь в вышине, голые ветки деревьев, и где-то на краю поселка протяжно выла чья-то собака.

Дома Гульямал, не раздеваясь, бросилась на нары и заплакала навзрыд, обнимая подушку. «Значит, он был здесь еще на прошлой неделе,— захлебываясь, шептала она.— И даже не подумал ко мне зайти!.. Видно, не судьба! Не может он забыть эту сумасшедшую, не может! И что в ней хорошего? И раньше-то ничего не было, а теперь и подавно!»

Она медленно разделась и легла, все еще всхлипывая, но чувство обиды не проходило, и сон не шел,

«Что же это я, как глупая девчонка, разревелась оттого, что он не пришел тогда? — подумала Гульямал. — Может, в самом деле занят был... Сайдеямал сказала, что времени у него не было! Может, завтра придет? — Гульямал закрыла глаза, но тут же, как наяву, увидела перед собой рассерженное лицо Хисматуллы, с которым он подошел к ней на прииске. — Да чем же хуже Нафисы? Ни на одного из тех, кто ко мне после смерти мужа подбирался, я и взгляда не бросила, никто обо мне плохо сказать не может! Никогда не была я, как она, посмешищем на глазах у всего народа, муж меня из дома не выгонял! И что у меня еще есть на свете, кроме этой любви? Видит аллах, ничего! — Гульямал прерывисто вздохнула и перевернулась на другой бок. — Может, поймет он все-таки...»

Скрипнула калитка, и чьи-то неуверенные шаги послышались во дворе, затихли под окном. Гульямал показалось, что сердце ее остановилось. В дверь тихо постучали.

— Кто там? — спросила Гульямал.

Ей никто не ответил. «Это он», — радостно улыбнулась Гульямал и откинула щеколду. Тотчас сильные жадные руки подняли ее с пола и бросили на постель.

— Хисмат! Сумасшедший!... — весело рассмеялась Гульямал. — Да у тебя руки прямо железные!

Тотчас что-то тяжелое навалилось на нее, и к щеке прижалась жесткая колючая борода, в нос ударил запах винного перегара.

— Кто это, ты кто? — не своим голосом крикнула Гульямал, пытаясь вырваться из непрошенных объятий.

— Тише, невестушка, тише, — зашептала борода. — Чего шумишь?

— Гилман-мулла! — вскрикнула молодая женщина и схватила муллу за бороду, все сильнее задирая ее вверх.

Мулла молча сопел, стараясь стащить с Гульямал одежду.

— Отпусти! Отпусти! — снова истошно закричала Гульямал. — Помоги-ите! Тебе говорят, отпусти!

Наконец, увидев, что у нее нет другого выхода, Гульямал изо всей силы впечилась зубами в ухо муллы так, что сразу почувствовала солоноватый привкус крови.

— Ай-яй! — подскочив, завопил мулла, хватаясь за окровавленную мочку. — Глупая баба, отродье шайтана!

Гульямал схватила толстую железную кочергу:

— А ну, катись отсюда! Чтoб духу не было!

— Да я не буду, не буду, — взмолился мулла, держась за ухо. — Сейчас уйду! Только прошу тебя, невестушка, молчи, не говори никому! Я ведь с пьяных глаз... Нарочно хотел, чтобы испытать тебя!..

— Знаю я, что ты хотел! — не опуская кочерги, спокойно сказала Гульямал. — Ну, долго я тебя ждать буду? Одна нога здесь, другая — там!..

Вернувшись под утро домой, мулла Гилман увидел, что его рябое, как пчелиные соты, лицо вдоль и поперек исполосовано царапинами. «Никакого уважения к моему сану! — с яростью подумал он. — Другая женщина на месте этой потаскушки сама бы за мной бегала, не то что царапаться!»

Он обмазал лицо топленным маслом, чтобы царапины быстрее зажили, вымыл теплой водой больное ухо и велел подать себе чаю.

Прихлебывая с блюдечка янтарно-желтую, крепкую жидкость, он ловил на себе любопытные взгляды прислуживающей ему девушки и все больше мрачнел.

— Чего уставилась? — крикнул он наконец. — Брысь отсюда, отродье шайтана!

Девушка быстро юркнула за дверь, и мулла остался один.

«Черт, теперь по всему поселку разнесется, — с досадой думал он. — А какая все-таки у нее грудь, ай-яй-яй! Что бы такое сделать, чтобы она знала свое место?»

Но прошло несколько дней, а о происшедшем в деревне не было ни слуху ни духу. «Вот это баба! Мало того, что каждая грудь, как спелая дыня, она еще и молчать умеет! — восхитился Гилман. — Да, значит, недаром говорят, что если настоящий мужчина сохранит тайну величиной с оседланного коня, то настоящая женщина может сохранить тайну не меньше люльки с ребенком! И все-таки надо ей как-нибудь отомстить, хоть припугнуть на всякий случай!»

Все эти дни он не говорил о Гульямал, как обычно, ничего плохого, не называл ее дочерью шайтана и старался не попадаться ей на глаза, обходил ее дом стороной, — все боялся, но, увидев, что Гульямал молчит, решил, что просто так этого дела оставить нельзя.

«Вот что — надо у нее обыск устроить, — надумал он наконец. — Все равно они сейчас по всему поселку идут», — и тут же пошел к уряднику.

— У Гульямал хранятся бумаги этого Хисматуллы, что с неверными связался, как же вы ничего не знаете об этом?

Пока полицейские шарили за чувалом, разбрасывая вещи из сундуков и лазили в подловку, Гульямал молча стояла у стены, насмешливо глядя на муллу, устроившегося на нарах, и под этим взглядом мулла ежился и все никак не мог усесться поудобнее, но Гульямал только улыбалась и так ничего и не сказала.

— Наверняка знает, где его бумаги, — сказал Мухаррам, когда они вышли из дома Гульямал, так и не найдя ничего похожего на листовки. — Видел, как она улыбалась? Когда

человек ничего не знает, он так не улыбается, да еще во время обыска!

— Да, да, должно быть, знает,—с радостью подтвердил Гилман. — Вообще опасная женщина, кафыр в юбке, веру свою продала, на прииске работает... Надо бы что-нибудь сделать, чтобы ей юбку прищемить!

IX

Хисматулла старался забыть Нафису, не думать и, чтобы ничто не напоминало ему о ней, из-за нее даже редко навещал родную мать. С тех пор как он поселился на прииске, все в Сакмаеве казалось ему чужим и далеким...

Однако стоило ему забежать в деревню, как ноги сами несли его к дому Хайретдиновых — лишь бы одним глазком поглядеть на любимую.

Но Фатхия не пускала его на порог, гнала прочь и бормотала, что дочь ее законная жена Хажисултана-бая и он не должен порочить ее доброе имя и являться вот так непрошено в их дом.

Вот и сегодня, едва Хисматулла показался во дворе, как Фатхия, которой Зульфья шепнула о его приходе, выскочила на крыльцо и, опираясь на суковатую палку, стояла в дверях, поводя седой и маленькой, как у беркута, головой.

— Опять явился, нечистый?.. Нечего тут тебе делать, иди отсюда. Забуди, как открываются наши ворота!.. Не хочет тебя видеть Нафиса... Не до тебя ей!

Он пытался уговорить злую женщину, говорил тихо и просительно, точно вымаливал, как голодный, кусок хлеба, но старуха была сурова и непреклонна.

Вдохнув, Хисматулла поплелся домой, чувствуя себя усталым и больным...

Мать с утра выглядывала сына на дороге, и, когда увидела, так нежно озарилось улыбкой ее сморщенное, смуглое, как кожура спелого грецкого ореха, лицо, что у Хисматуллы что-то дрогнуло внутри, и он, как в детстве, припал к матери, бережно поддерживая обеими руками ее худенькие плечи.

— Сынок, ты небось голодный? — отстраняясь, спросила Сайдеямал. — Вот тут у меня...

— Нет, нет, потом, — сказал Хисматулла, ласково глядя ее набухшие, скрюченные от стирки пальцы. — Не хочу я, чтобы ты из-за меня опять уставала... Погоди, скоро мы лучше жить станем, потерпи...

На глазах Сайдеямал появились слезы:

— Ладно, сынок, ладно...

— Я правду говорю,— поднял голову Хисматулла.— Будет и на нашей улице праздник, вот увидишь! Хоть в старости будешь счастливой...

— Что ты, сынок, где уже нам о счастье думать? Есть скатерть, а на ней кусок хлеба, и того довольно! Что человеку суждено аллахом, то и будет, никто никогда от своей судьбы уйти не мог... Бай рождается баем, а бедняк — бедняком, а если к кому и пристанет чужое добро, от него только одни несчастья...

— Это неправда, эсей! — горячо возразил Хисматулла. — Так бай и помещики нарочно говорят, чтобы нас опутать!

— Да зачем баю нас опутывать, сынок?

— Чтобы мы на них работали!

Сайдеямал медленно и недоверчиво покачала головой:

— Слышала я уже все это... Вот и товарищам своим, что теперь к тебе по вечерам ходят, ты то же самое говоришь, а я так думаю, что это все не твои слова...

— Не мои? А чьи же?

— Того неверного, что с тобой на прииске работает! Так и мулла мне говорил...

— Правда, мама, одна, ее из чужих слов не составишь!

— Может, оно и верно, сынок, делай, что хочешь, я в твои дела вмешиваться не хочу... Только все-таки поменьше бы ты был с тем неверным, хоть ты и говоришь, что он человек хороший, грамоте тебя учит, а все какой бы ни был — не нашей он веры, сынок...

— Только две веры у людей бывает, эсей, две самые главные, — одни верят в то, что нужно быть хорошим человеком, а другие — в то, что можно прожить и жуликом и бесчестным...

— Боюсь я за тебя, — опять покачала головой мать. — Наживешь ты себе врагов с такими мыслями, и отнимут у меня моего младшенького сыночка, последыша... — Она положила голову сына перед собой на подушку и стала разглаживать его волосы, расправляя короткие рыжеватые завитки.

Они долго сидели молча. Звенел за чувалом сверчок, скреблись под нарами мыши.

— Ты бы поел да ложился — устал ведь... — сказала Сайдеямал, глядя на худое лицо с резко обозначившимися скулами, на едва заметные, только начавшие расти усы и бороду, пробивавшиеся светлым рыжеватым пушком над губой и на подбородке.

— Чуть не забыл! — Хисматулла хлопнул себя ладонью по лбу и вскочил. — Мне же еще в одно место зайти надо!..

«Не буду спрашивать его, куда он идет, — решила про себя Сайдеямал. — Зачем беспокоить пустяками? Захочет — сам скажет... Хорошо бы, сходил к Гульямал, она женщина хорошая, да и я к ней привыкла... И сама к нему тянется, и не чужая,

жалко родную на сторону отпускать,— старушка еще раз оглядела сына, его помятую, в глине, одежду, ввалившиеся глаза.— Женился бы, вот и пошло бы все хорошо, и не болтался бы где попало».

— Ты чего? — заметив, как пристально смотрит на него мать, спросил Хисматулла.

— Я? Да все мои мысли, сынок, у тебя как на ладони,— уклонилась от прямого ответа Сайдеямал.— А как там с твоей работой? Мне вчера сказали, обвал был, два человека погибли... И еще говорят, у вас там драки часто у кабака, могут и убить!

— Что ты, мама! — Хисматулла сделал удивленное лицо. Он не хотел беспокоить мать.— Все хорошо, ничего такого не было!

— Слава аллаху! — облегченно вздохнула Сайдеямал.— А здесь, на зимовье, чего только не брешут! Говорят, людская молва в гроб загонит и гвоздями заколотит...

Едва Хисматулла вышел на улицу, как от завалинки поднялись две темные тени.

— Вы, ребята? — негромко спросил Хисматулла.— Айда отойдем немного подальше!

По небуплыли тяжелые, словно отлитые из темного свипца тучи, изредка месяц показывал свои рога, на деревне ожесточенно перелаивались собаки.

Гайзулла старался шагать в ногу с ребятами, но больная нога мешала ему, и, заметив это, Хисматулла положил руку ему на плечо и сбавил шаг. Дойдя до песчаной косы под крутым берегом, остановились.

— Покамест дела хорошо идут,— не дожидаясь вопроса, затараторил Гайзулла.— Все раздали, ни одного листочка не осталось. Три бумажки, как и в прошлый раз, на ворота урядника наклеили — вот потеха будет! — он весело рассмеялся.

— Я же говорил тебе, что не надо этого! — строго нахмурил брови Хисматулла.— Все по-своему делаешь, самовольничаешь, так из тебя никогда революционера не получится! И говорить тише надо, вдруг тут кто в кустах рядом спит?

Ребята приумолкли, в воздухе сильно пахло расцветающей черемухой.

— На что нам твой ри... рилацинер! Мы покамест сами с усами! — обиженно пробормотал Гайзулла, шмыгая носом.— Пошли, Загит! Покамест и без рилацинера проживем...

— А вот и врешь! — в свою очередь рассмеялся Хисматулла.— Усов у тебя пока нету, разве что сейчас от обиды выросли! Брось дуться, давай о деле лучше поговорим.

— Что говорить-то! — по-прежнему шмыгая носом, но не трогаясь, однако, с места, ответил Гайзулла.— Покамест я и

сам, без вас, богачам отомщу! Камнями в них кидать, а дома все подожжем, петуха красного пустим, правда, Загит?

Загит кивнул головой.

— Ну, бросишь камень один раз, другой, тут тебя и поймают, в тюрьму посадят, а бай все так же будет жить припеваючи! Нет, против баев нужно не так бороться, не в одиночку, а всем народом, понял? И ты не думай о себе, что ты всю землю на руках нести можешь, у тебя на это сил не хватит, а вот если тебе все другие помогут, вот тут баям и крышка! Если дом у бая сгорит — он новый построит, а если его убьют — то вместо него еще другой вырастет, а если сразу всех баев выгнать, вот тут и начнем мы счастливую жизнь, понял?

Жадно слушавший Гайзулла кивнул головой.

— Всех выгнать, и русских тоже? — спросил молчавший до этого времени Загит.

— Всех богачей, по всей земле! — убежденно ответил Хисматулла. — Вот поэтому и вы должны не в одиночку бороться, а сообща, с нами! Знаете, почему мулла нас против русских настраивает? Потому что ему это выгодно! Потому что он боится, что русские и башкирские бедняки вместе, заодно будут и его прогнать, понятно? — Он вынул из-за пазухи листок и передал Гайзулле. — А вот это надо тому парню передать, что вчера на прииск с Кэжэнского завода приехал, только потихоньку, и еще на словах ему скажи, чтобы он то, что в этой бумажке написано, на собрании прочел. . .

— Агай, а откуда ты все знаешь? — осмелев, перебил его Загит.

— Откуда? От одного русского, он и грамоте меня научил. Бесплатно. . .

— И гроша не взял? Не может быть! — недоверчиво сказал Гайзулла. — Так только в сказке бывает! Это, наверно, не русский был, а какой-нибудь дух принял вид русского. . .

— Да нет, самый обыкновенный, нормальный человек, очень добрый, умный, настоящий революционер! — Хисматулла усмехнулся. — Просто он для бедняка души своей не пожалеет, для него все одинаковые — и башкир, и русский, и татарин, понял? У него отец знаешь кто? Очень богатый дворянин! Как ты думаешь, зачем ему было от отца уходить и своими руками на хлеб зарабатывать? Мог ведь как сыр в масле кататься, а работает на прииске, и все потому, что людей любит, хочет их счастливыми сделать. . .

— И против своего отца пойдет? — испуганно спросил Загит.

— И против отца! — убежденно сказал Хисматулла. — Пошли, а то поздно уже, может, еще зайдет кто ко мне сегодня. . .

— А когда мы с прииска шли, навстречу много людей на лошадях проехало! — вдруг сказал Гайзулла. — Мы от них в лесу, в кустах, спрятались, они нас и не заметили!

— И муллу видели! — вставил Загит.

— Погоди, сам расскажу! — досадливо махнул рукой Гайзулла. — Я покамест старше тебя! Так вот, приклеивали мы листовку на ворота муллы, вдруг слышим — стонет кто-то. Смотрим — сам мулла под забором лежит, и кровь на щеке! Как крикнет на нас: «Вон, вон, нечистый дух!» — и сиганул в ворота.

— А он не видел, как вы клеили? — встревоженно спросил Хисматулла.

— Не-ет, он за углом лежал, не у ворот!

Хисматулла задумался, помолчал немного.

— Все-таки книги те перепрячь в другое место, — наконец сказал он. — Вдруг обыск? Надо соблюдать осторожность... Многие знают, что ты часто у меня бываешь, можешь и на мой дом навести. Ну, у меня-то ничёго нет, а у вас листовок больше не осталось?

— Немного еще осталось, — сознался Гайзулла. — Завтра раздам...

Дойдя до задворок, все трое простились и пошли в разные стороны.

Х

Собравшиеся у новой шахты забойщики были молчаливы и угрюмы. То здесь, то там слышалось: «Дай огоньку!», «Одолжи на затычку». Люди сворачивали толстые, с большой палец, самокрутки, как бы желая накуриться на всю жизнь, густой черный дым самосада тяжело поднимался вверх и медленно рассеивался в воздухе. Клетки то поднимались, то опускались вниз, но народу как будто не убавлялось, и даже не заметно было в толпе никакого особенного движения — будто все сговорились сегодня молчать и стоять неподвижно.

Наконец настала очередь Хисматуллы. Вместе с ним в клетку вошел Салимьян, работавший в соседнем забое. Как только клетка поползла вниз, он зажег лампу и сказал:

— Говорят, браток, с этого дня заработную плату вдвое уменьшают, не слыхал, верно или брешут?

— Верно, агай, я же тебе давно уже объяснял — теперь будут опять все уменьшать и уменьшать, а ты меня не слушал, — ответил Хисматулла. — Помнишь, рассердился еще, сказал: «Пустой разговор»?

— Ну так что ж, — смущенно оправдывался Салимьян. — Я ж человек темный, с меня и спросу нет... Да и лампы эти карбидные тогда ввели, правда, не всем достались, но я подумал, что уж раз лампы — там и крепления заменят, и вообще все к лучшему пойдет...

Он повернул винтик карбидной лампы, и вверх из форсунки вырвался длинный белый язычок пламени. Салимьян часто

захлопал тяжелыми веками и вдруг не мигая уставился прямо в глаза Хисматулле:

— Что ж теперь-то делать? Научи, браток, уму-разуму! Вот и тот русский, каторжник, видно, дело мне говорил, я его слова в одно ухо впустил, а в другое выпустил...

Другие шахтеры, вошедшие вместе с ними, придвинулись поближе и внимательно прислушивались к разговору.

— Этот наш новый управляющий Накышев — хитрая бестия, как и все другие богачи и баи, — говорил он. — Раздал нам десяток карбидных ламп, повысил на два месяца зарплату и думает, что купил нас! А чтобы и после двух месяцев не ушли, задаток вперед на полгода выдал, понятно?

— Верно, и мне дали задаток... А у меня лампа «слепая», по старинке... — загудели шахтеры.

Хисматулла поднял руку:

— Тише, товарищи, дайте договорить! Дело не только в заработной плате... Сами видите, в каком состоянии крепление, — вот-вот несчастье случится...

Выйдя из клетки, забойщики все еще продолжали говорить. Из других забоев к стволу спешили по штреку, увидев, что скопился народ, другие шахтеры. Приподнимаясь на носки, толкаясь, они стремились проникнуть на середину круга.

— Что там такое? — спросил высокий, одетый в старый камзол парень, стараясь через головы других увидеть происходящее.

— Еду раздают, — пошутил кто-то.

— Кто раздает? Братцы, и меня не забудьте! — засуетился парень и, работая локтями, стал ожесточенно продираться вперед. — Где моя доля?! У меня семья, братишки, мама, мне тоже оставьте!

Перед парнем расступились, шахта наполнилась гулками волнами хохота.

— Встань и слушай, товарищ, — Хисматулла улыбнулся. — Здесь особая еда раздается, для души, всем хватит, и на твою долю тоже достанется, не волнуйся!

— А ну разойдись! — крикнул спустившийся с очередной партией десятник Ганс. — Что за борище? По местам, по местам!

— Ты что, подслушивал? — спросил кто-то из темноты.

Ганс яростно размахивал новенькой карбидной лампой.

— Ну и что? — сказал Салимьян. — Иди, иди донеси, немчура, тебе как раз за это прибавку к жалованью дадут!

— Пусть только попробует! — один из забойщиков поднял кулак: — А ну, гад, скидавай одежду, поглядим, кто сильнее — немец или русский!

— Не надо, ребята, — спокойно сказал Хисматулла. — Зачем об такую гниль руки пачкать?

— Надо будет — всегда успеем! — поддержал Хисматулла стоящий у него за плечом Михаил.

Немец отступил было, но, увидев, что никто не трогает его, снова замахал лампой:

— Эй, эй, работайт!

Шахтеры неторопливо разошлись. Хисматулла уже почти дошел до своего забоя, когда его догнал Михаил и хлопнул по плечу:

— В десять, в пятом забое!

Хисматулла кивнул головой.

Заброшенный старый забой в конце главного штрека давно уже превратился в место тайных сходов. Шахтеры могли не опасаться того, что сюда заглянет кто-нибудь чужой, — крепления здесь были настолько плохи, что десятник обходил его за десять шагов. Часто пятый забой называли «нашей комнатой» или, в шутку, «нашими апартаментами». Слово это рабочие подхватили у Михаила, и оно прочно закрепилось за этим местом. По всему забою валялись камни и полусгнившие чурбаки, по стенам струилась вода. Многие крепления забойщики поправили здесь сами, отвели воду к главному штреку, натащили старых ящиков, чтобы было на чем сидеть, но дышать в пятом забое было тяжело, и язычок пламени над карбидной лампой то и дело тускнел, принимая зловещий красноватый оттенок.

К десяти часам сюда по многочисленным подземным лабиринтам шахты потянулись мерцающие светлые точки. Их становилось все больше и больше, и скоро в забое не было уже ни одного свободного места. Люди вставали у стен, тихо переговариваясь; Михаил, как всегда, сидел посередине, рядом с ним на ящике стояло несколько зажженных карбидных ламп.

— Что-то Петра Александровича Сумарокова не видеть... — Прищурившись, Михаил оглядел собравшихся.

— Я здесь! — откликнулся низенький, коренастый человек.

— А Хисматулла где?

— Здесь, здесь! — откликнулся Хисматулла.

— Ну, тогда начнем, — Михаил улыбнулся краешками губ и встал: — Товарищи!

В забое стало тихо. Слышно было, как тяжело дышат шахтеры, как звонко падает, разбиваясь о камни, вода и отваливаясь за креплениями комки глины.

— Товарищи! — повторил Михаил. — На днях по распоряжению Рамиева должны снова уменьшить заработную плату... И это не только у нас — везде такое творится! Богатеи совсем обнаглели, всю кровь нашу выпить хотят! На Ленских приисках прошла волна забастовок — вчера я узнал, что там были кровавые побоища, старателей избили казаки, много убитых

и раненых, несколько человек в тюрьме!.. По всей стране сейчас поднимаются на борьбу простые бедняки, такие же, как мы с вами! Я говорил на нашем прииске со многими старателями. Они считают, что, если мы уберем с дорог Лапенкова, хозяина Кэжэнского завода, и нашего управляющего Накышева, жить станет лучше. Это неверно, товарищи! Убийство отдельных людей только вредит делу рабочего класса, делу пролетариата! Я предлагаю присоединиться к рабочим России и в ответ на уменьшение заработной платы объявить забастовку! Ни один человек не должен выйти на работу, пока Накышев не примет наши условия!.. Как ваше мнение, товарищи?

— Мы-то не выйдем, да разве в нас только дело? — сказал из угла низенький, которого Михаил называл Сумароковым. — Другие-то старатели как, те, что несознательные? Это не завод, там все-таки больше единства, легче объяснить и поднять людей на такое дело...

— Правильно говорит, — перебил его стоявший недалеко от входа парень, который еще днем пробился сквозь толпу к Хисматулле, требуя своей доли. — Мы не выйдем, нас и выгонят! А все остальные выйдут и свой кусок хлеба получают... Как говорится, в тесноте, да не в обиде, голоден, да зато душа спокойная. Нет, смута к добру не приведет! — Он надел поглубже малаху и стал пробираться к выходу.

— Куда, продажная душа? — остановили его. — Доносить идешь?

— Очень надо! — оскалился парень. — Хотите с работы вылететь — так вылетайте, а я тут ни при чем!

— Не трогайте его, пусть уходит! — крикнул Михаил.

Еще не успели шаги парня затихнуть, как Михаил снова встал и продолжал говорить спокойно, как будто ничего не случилось:

— Таких людей нам надо остерегаться, они только за свою шкуру дрожат. Если бы их не было, нам уже давно жилось бы лучше! А знаете, как богачи за них держатся? Ого! Кто же им все доложит, как не такие люди?! Мы должны верить в свои силы, пока нас мало, но со временем все бедняки встанут на нашу сторону! Мы не можем больше сидеть и ждать у моря погоды, свободу надо завоевывать своими руками! — Михаил поднял вверх крепкие мускулистые кулаки: — Вот этими! Сейчас, в последние дни перед забастовкой, нужно особенно усилить агитационную работу среди народных масс, это сейчас самая главная и насущная наша задача! Без подготовки забастовка может сорваться...

— А если люди не захотят?

— Захотят, — глухо сказал Сайфетдин. — Сейчас нам так трудно живется, что простой рабочий должен поверить нам...

— Верно,— согласился Михаил.— И еще вот что,—через пару дней соберемся снова и обсудим ход подготовки к забастовке. Есть также у меня к вам еще один вопрос.— Михаил помолчал, внимательно оглядывая шахтеров.— До того как администрация объявит о снижении заработной платы, нам нужно послать туда своих представителей от лица шахтеров нашего прииска. Кого пошлем, товарищи?

— Хисматуллу! Сумарокова! Сайфетдина! — вразнобой закричали забойщики.

— Нужно человек пять, не больше,— вот за эти два дня обсудите все кандидатуры, а потом на следующем собрании решим окончательно. Делегация должна будет предъявить наши требования об увеличении заработной платы, улучшении условий труда в шахте и о лучшем снабжении прииска продуктами питания. Если администрация откажется удовлетворить эти требования, рабочие прииска в тот же день должны бросить работу!

И хотя все было ясно, старатели долго не расходились, а Михаил, окруженный со всех сторон шумно дышавшей толпой, еле успевал отвечать на вопросы рабочих. . .

XI

С утра Загит подошел к прииску, но Гайзуллы еще не было. Стараясь согреться, он стал прыгать между старыми отвалами, изредка попадая ногой в лужицы, подернутые тонкой, хрустящей корочкой льда; корочка с треском надламывалась и тут же уходила под воду. Бледный розовый круг солнца медленно поднимался над горой, бегущая по ней дорога напоминала длинную, развернутую шкурку лаваша, чем выше поднималось солнце, тем теплее становилось вокруг. Разбросанные то здесь, то там березки были покрыты нежной и радостной зеленой дымкой; подойдя поближе, Загит увидел, что за ночь почки лопнули и показались свернутые трубочкой, клейкие острые листья со слабым свежим запахом. Загит сломал веточку, поднес к лицу и в ту же минуту увидел Гайзуллу, который, осторожно обходя ямы и бугорки, вел под руку Фатхию; заметив Загита, он махнул ему свободной рукой.

— Что так долго? Я ж тут бегал, бегал, пока не согрелся. . . Сам же велел пораньше! — обиженно сказал Загит.

— Ток ходил смотреть,— важно ответил Гайзулла.

— Ток?

— Ну да, как глухари токуют. . . Никогда не видел?

— Нет. . .

— Ух, здорово! — Гайзулла хлопнул себя по ноге.— Ходят по поляне, ворчат, оба крылья распустили, а потом как подпрыгнут и ка-а-ак бросятся друг на друга, только перья летят! . .

— А как же они тебя видели и не улетели? — удивленно спросил Загит.

— Э-э, надо знать, как подойти, чтобы не заметили! — хитро улыбнулся Гайзулла, но Фатхия тронула его за рукав, и он, вспомнив, что пришел работать, посерьезнел: — Ну ладно, хватит болтать! Ты, мать, покамест мой в тазу, а мы канаву до того вон отвала пророем, а то тяжело сюда глину таскать... Идем! — кивнул он Загиту.

В канаве росли невысокие, чахлые березки, и Гайзулла, ударив лопатой, срезал кусок коры у одной из них. На свежем срезе тотчас выступили белые капельки сока.

— Черт, — недовольно сказал Гайзулла и продолжал копать. Загит старался поспеть за ним, но не мог.

На дне ямы скоро набралась вода, и работать стало труднее, но лопата все так же ловко мелькала в руках у Гайзуллы, тогда как Загит уже выдыхался. Время от времени Гайзулла бормотал:

— С воз глины наверняка промоем, уж четверть спички золота точно намоем... Понял? Главное, дышать ровно, понял? — Пот градом катился по лицу мальчика, и он то и дело смахивал его рукавом; становилось все жарче; наконец Гайзулла воткнул лопату в землю.

— Ты покамест еще покопай, а я к матери схожу, что-то она там остановилась... — сказал он и, подпрыгивая, захромал к Фатхии.

Фатхия неподвижно сидела на камне, держа на коленях таз, на дне которого мелко блестел песок и плак. Лицо ее было усталым, казалось, почернело от горя, на руках явственно обозначились жилы, даже платок, несмотря на ветер, был неподвижен, — старуха крепко затянула им голову, и, когда Гайзулла подходил, на секунду ему почудилось вдруг, что мать окаменела — так вросла в камень Фатхия с тазом в руках.

— Мама, — окликнул мальчик.

— А, пришел... — тихо отозвалась Фатхия, повернув голову и стараясь на слух определить, где стоит сын. — Посмотри, нет ли золота...

Гайзулла заглянул в таз, помешал рукой песок и покачал головой:

— Покамест нету...

Набрав снова полный таз глины, он поставил его перед матерью и собрался уходить, когда Фатхия вдруг заерзала на камне, сухие руки ее беспокойно задвигались на коленях:

— Куда ты его положил, а? Я не могу найти...

— Кого? — удивился Гайзулла. — Таз возле тебя стоит...

— Куда ты дел золото, спрашиваю?

— Я же сказал, нет золота, — стараясь говорить грубее, как взрослый, ответил Гайзулла. — Ты что, совсем не слышишь?

— Ни одного знака? — недоверчиво переспросила старуха.

— Нет же, нет! А если бы и было, что тогда? Промой еще немного, скоро домой тебя отправлю...

Фатхия, вздохнув, снова окунула таз в талую, желтую от глины воду и стала его трясти, а Гайзулла вышел на дорогу. Он заметил идущую в сторону поселка женщину с вязанкой хвороста на плечах. Женщина согласилась отвести Фатхию домой, и они вместе подошли к старухе.

— Хватит, — ласково сказал Гайзулла, отнимая у матери таз, — я нашел тебе провожатого...

— Я не устала, — покачала головой мать, цепляясь за таз.

— Не спорь, мама! Я же вижу, что устала, да и я не могу все время бегать то к тебе, то к Загиту! — возразил Гайзулла.

— Но я же еще не домыла этот таз! — растерянно пробормотала старуха. — Может быть, там есть что-нибудь?

— Ничего, я сам домою, иди. — Он бережно поднял мать с камня, и, взявшись рукой за подол чужого казакина, Фатхия поплелась за женщиной, несущей хворост. Гайзулла долго смотрел вслед. Мать шла неуверенно, боясь попасть ногой в яму или споткнуться о придорожный камень, один раз она оглянулась и махнула рукой, и, хотя Гайзулла знал, что она не увидит его, он тоже махнул ей вслед, и что-то сжалось в груди. Только когда женщина с вязанкой и державшаяся за нее мать скрылись в лесу, он подошел к Загиту и развернул лежащий на глине узелок с хлебом.

— Покамест отдохни, — сказал он. — Перекусим...

Загит положил лопату и присел рядом с товарищем. От усталости он тяжело дышал, плечи у него ныли, ладони покрылись белыми волдырями. Он молча принялся за еду. Гайзулла ласково посмотрел на него:

— Смотри-ка, до кустарников докопал! Молодец... Эх, нашелся бы ради нашего мученья хоть такой самородок, как тот, что отец баю отдал!

— А если дух рассердится? — испуганно спросил Загит. — Мне говорили, что если песок — еще ничего, а если большой самородок найдешь — беда!

— Мал еще рассуждать о таких вещах, — прервал его Гайзулла. — Сначала до меня дорасти, а потом говори!

— Как же я дорасту? — уныло сказал Загит. — Я дорасту, а ты-то ведь за это время тоже вырастешь...

— Покамест никак не дорастешь, это верно! — рассмеялся Гайзулла. — Да если и дорастешь, все равно, что ты видел? А я с одним курээ весь свет обошел! Он мне и про духов рассказал, что их на самом деле нету, понял?

— А как же? Разве тебе ногу не дух сломал? Ведь ты сам говорил...

— Не ври! — крикнул Гайзулла и покраснел. — Ничего я тебе такого не говорил, что духи есть! Я теперь знаю, их богатые выдумали, чтобы бедные им все золото принесли! Из-за них и я стал хромым, и отец мой погиб, и сестра с ума сошла, понял? Вот подожди, дай мне только вырасти, когда стану, как Хисматулла-агай, Хажисултана зарежу, весь его род вырежу за то, что он с нами сделал, а потом в Оренбург поеду и Галиахмета-бая убью и всех его детей хромыми сделаю! А тот самородок, что отец ему отдал, обратно возьму и лавку построю! — Гайзулла сжал кулаки, глаза его повлажнели от гнева и обиды. — А ты говоришь — духи! Я знаю, кто мне ногу повредил, погоди — и ему тоже за это достанется! Всем отомщу, вот только стану сильнее. . .

— Я не хотел тебя обидеть, — огорченно сказал Загит. — Я и сам такой, как ты, вот только ноги у меня в порядке, но я все равно даже с такими здоровыми ногами так много, как ты, не наработаю. . .

— Ладно, покамест хватит, — махнул рукой Гайзулла, переминаясь с ноги на ногу. — Мне еще сегодня к Хажисултану нужно, да и Хисматулла-агай велел зайти. . . — Гайзулла развязал платочек и протянул Загиту три крупницы золота величинной со спичечную головку. — А это отдай отцу, а то в другой раз не отпустит тебя.

Загит медленно покачал головой.

— Бери, говорю! — рассердился Гайзулла. — Иначе выброшу!

Но Загит не трогался с места. Он знал, как тяжело достались Гайзулле эти крупницы, ведь он должен был кормить всю семью, и мальчику было стыдно. Гайзулла почти силой разжал его руку и вложил в нее золото.

— Взаимы тебе даю, а как начнем мыть — вернешь! Дурачок, — ласково добавил он.

На шестой день канавка была готова, и, когда по ней покатилась, огибая камешки и большие комки глины, мутная вода, Загит даже подпрыгнул от радости. Перегороженная досками речонка бросилась к отвалам, подмывая их снизу и унося с собой глину. Гайзулла, засучив штанины до колен, почти не выходил из ледяной воды и освобождал дорогу воде, когда отвал обрушивался сверху слишком большой глыбой и в канавке образовывалась запруда. Загит, как мог, помогал ему, и отвал постепенно таял, как сугроб. Несмотря на то что работал он уже почти неделю, Загит никак не мог понять, как это происходит, и, подталкивая лопатой крупные камни, удивленно спрашивал:

— Агай, а что толку от того, что песок уйдет с водой?

— Не твое дело! — сердился Гайзулла, которому надоели за эти дни расспросы мальчика. — Покамест копай там, где

тебе сказали! Знаешь, как говорят? «Яйца курицу не учат!» — Но, остыв, начинал спокойно объяснять: — Эта работа называется «бутаром», ее только весной можно делать, понял? То, что талая вода делает за один день, мы и за лето не могли бы сделать!

— Я не понимаю,—жалобно говорил Загит,—а как же мы найдем золото?

— Золото очень тяжелое,—важно отвечал Гайзулла,—такое тяжелое, что его вода унести не может. Камни уходят, песок уходит, а золото на дне оседает, понял? Потерпи немного, сам увидишь!

Солнце давно уже село, и темно-красные, закатные краски неба тихо таяли, расплывались, мутнели. Наступили сумерки, и Гайзулла с размаху воткнул лопату в глину:

— Хватит на сегодня!

Загит от усталости не мог выговорить ни слова. От голода у мальчика кружилась голова, руки ооченели, перед глазами плыли красные круги.

— Давай здесь переночуем,—предложил Гайзулла. Загит обессиленно кивнул головой. Друзья развели костер, постелили тулуп и, прижавшись друг к другу, задремали. Сквозь слипающиеся веки Загит увидел, как маленькая яркая звездочка на самом краю неба хитровато подмигивает ему, и хотел было сказать об этом Гайзулле, но уже в следующую минуту крепко спал, прижавшись к спине старшего товарища.

Загит проснулся от холода. Гайзулла еще спал, положив голову на камень, и Загиту было жалко будить его. Еще даже солнце не показалось на востоке, но уже вовсю щебетали птицы, невдалеке, в редком березняке, щелкал соловей, бешено перекатывала камни Юргашты, а еще дальше, у шахт, стучали кирки и лопаты, от поселка доносилось мычание коров и лай собак.

Загит заметил, как вылезла у опушки на камень небольшая ящерица, в желтом брюшке ее что-то клокотало, и казалось, что ящерица долго бежала, спасаясь от кого-то, и теперь, убежав, никак не может отдышаться. Рядом, в лужице, быстрым зигзагом скользнул водяной жук; внизу, на корнях березы, высыпали жуки-солдатики. . .

— Ты что там делаешь? — хрипло спросил Гайзулла.

Загит обернулся. Гайзулла привстал на тулупе и тер глаза кулаком.

— Поесть надо,—сказал он и вынул платок с последним куском хлеба. Мальчики поели и снова взялись за работу.

Солнце медленно поднималось над горой и скоро повисло посреди неба.

— Долго еще до обеда? Посмотри, что у меня с руками,—пожаловался Загит. Волдыри на его руках лопнули.

— Сейчас промоем бутара и, сколько найдем, обменяем на хлеб. Отведи воду в другую сторону,—с трудом шевеля потрепавшимися губами, сказал Гайзулла.

Когда на дне канавки обнажился песок, мальчики стали на коленях искать золото, ползая по руслу речки. Между песчинками и шлаком блестело несколько крупинок. Гайзулла осторожно взял их в руку:

— Еще немножко должно быть, принеси-ка желоб...

Он поставил сделанный из широкой доски желобок, обложил его внутри ветками, прикрыл решетом. Когда по желобку побежала вода, Гайзулла стал накладывать лопатой песок, а Загит откидывал в сторону пустую породу. Вдруг кто-то тронул Гайзуллу за плечо. Мальчик обернулся.

— Мал еще, зачем ты сюда пришел? — спросил его высокий мужчина в сбитом набок малахае.

— Не твое дело,— буркнул Гайзулла.

— Смотри, сколько промыли!

К отвалу подходили люди, жадно глядя на бутар, где лежал обогащенный золотом песок.

На другой, незанятой части отвала быстро наладилась работа. По камням застучали кирки, засвистели лопаты.

— Вот всегда так,— сердито прошептал Гайзулла Загиту. — Стоит только кому-нибудь задержаться на одном месте, как сразу все туда кидаются! Видишь, этот отвал лет десять никто не трогал, а сейчас сюда весь прииск сбежится!

Он посмотрел на песок, рассыпанный по обеим сторонам нижней части желоба, на людей, копошившихся с другой стороны отвала, отбросил лопату и крикнул:

— А ну, убавь воду!

Мальчики развернули деревянное решето, лежавшее на ветках, Гайзулла оторвал прилипшие к веткам комочки глины, промыл их и, взяв деревянный ровняльник, стал месить в желобе песок. Мелкие камни ушли вместе с водой, а те, что были покрупней, он отодвинул руками вниз по течению. Там, где не было уже песка и шпихтов, поблескивали желтые крупинки, они все больше обнажались.

К ребятам подошли старатели. Они молча стояли за их спинами и смотрели, как Гайзулла по крупнице собирает драгоценную добычу.

— Не знаете, чьи это ребятишки? — спросил один из них.

— Не говорят,— ответил другой.

— Вы что здесь делаете? — спросил первый, подходя ближе. — Это наш отвал, нечего здесь всякой мякюзге копать! Ваше место еще у матери под юбкой!

— Не надо! — схватил его за руку другой, и Гайзулла, увидев, что его поддерживали, нахмурился и крикнул:

— Уходите, уходите отсюда, сглазите! Счастье уходит!

Старатели разошлись, и мальчик облегченно вздохнул. Он велел Загиту добавить воды, выровнял оставшийся в желобе песок и, не ожидая, пока шлихты окажутся в конце желобка, подвинул их обратно к головке.

Кто-то, громко топая, пробежал мимо, но мальчик не поднял головы. Через минуту пробежали еще несколько человек. Люди, бросая кирки и лопаты, мчались со всех сторон к лесу. Гайзулла удивленно покачал головой:

— Что это с ними? — спросил Загит.

— Постой, сейчас узнаю!

Мальчик встал навстречу бегущим, но молодой парень, увидев его, сам схватил Гайзулла за рукав:

— Был там? Сильно их избили?

— Кого избили?

— Как кого? Нашу делегацию!

— Нет, мы ничего не слышали...

— Эх, вы!.. — махнул рукой парень и быстро зашагал к лесу, переступая через маленькие, зазеленевшие кустики мелкого березняка.

Гайзулла и Загит удивленно посмотрели друг на друга.

— Постой! — вдруг хлопнул себя по лбу Гайзулла. — Да ведь там же Хисматулла!..

И, подпрыгивая, помчался за всеми так быстро, что Загит еле поспевал за ним.

Когда Гайзулла с Загитом выбежали на лесную поляну недалеко от прииска, сходка уже началась. Вся поляна была заполнена людьми, а посреди ее на длинной хворостине хлопало на ветру красное полотнище. Рядом с ним, видимо стоя на пне, возвышался Михаил. Он широко размахивал рукой с зажатой в кулаке фуражкой и что-то кричал, но ветер относил его слова в сторону, и стоящие позади не могли ничего разобрать. Народу все прибывало, и скоро мальчишки пробрались вперед, где подныривая под ноги, где толкаясь локтями, а где и просто несомые прибывающим людским потоком.

— Управляющий и слушать нас не захотел! Он еще ответит за арест нашей делегации!.. Демонстрация!.. Они нас боятся... — услышал Гайзулла, пробравшись вперед. Но почти все остальные слова не были ему понятны.

— Кто это? — дернул его за рукав стоящий сзади Загит.

— Это друг Хисматуллы-агая, Михаил...

— А о чем он говорит? Я понял только одно слово...

— Замолчите! — шикнули сзади. — Что вам-то здесь нужно? Только болтаетесь под ногами, слушать не даете!..

Но скоро уже собравшийся народ зашумел так, что нельзя было расслышать ни друг друга, ни оратора. Все размахивали руками, кричали:

— Думают, что мы скоты!...

- Они весь мой род уничтожили!..
- Даешь свободу!..
- Пойдем выбьем окна в конторе!..
- И Накишева прирежем!..

Михаил молча стоял на пне, подняв правую руку, и стоящие впереди стали оборачиваться и кричать в толпу:

- Да замолчите же! Тише! Дайте ему сказать!

Михаил дождался, когда стало потише, опустил руку и снова заговорил:

— Товарищи! Неужели вы думаете, что мы слабее баев и помещиков? Есть у нас одна слабая против них сторона, это верно — если баи и помещики все друг за друга, то мы все — врозь. Поэтому самое главное для нас — научиться стоять против них вместе! Если все бедняки будут заодно, никто эту силу не сокрушит!

— Вот говорит! — прошептал Загиту Гайзулла. — Если бы я так умел!..

— Не боится, правду-матку в глаза режет! — сказал кто-то впереди.

— За это и богачи его ненавидят, — правда, она глаза колет!.. — отозвался усач, стоявший рядом с мальчиками.

Михаил снова поднял руку, но в ту же минуту пронзительный крик, как пуля, вспорол воздух над поляной:

- Солдаты!

В толпе началась давка. Не зная, куда бежать, люди бросались в разные стороны, и Гайзулла скоро потерял из виду Загита. Его стиснули с двух сторон так, что трудно было дышать.

— Товарищи! Успокойтесь, товарищи! — старался перекрычать шум Михаил.

Послышалось резкое конское ржание, и верховые с разных сторон врзались в людскую гущу. Возбужденные кони вставали на дыбы, подминая людей. Страшным эхом отозвались в лесу крики, стоны, плач и ржание коней. Старатели за ноги стаскивали верховых, засвистели камни; осколок больно ударил Гайзулла по плечу. Мальчик увидел, как усач запихнул знамя за пазуху и прикрыл его полой казакина. Пробравшись к концу поляны, он увидел маленького офицера в голубоватом мундире, молоденького, с тонкими ниточками усов над верхней губой. Офицер, как полевой кузнец, крутился в седле, размахивал нагайкой и кричал:

- Вязать! Вязать!

Прямо перед ним, под мордой тонконового гнедого жеребца, перебирающего ногами, стоял Михаил; лоб его пересекала большая красная ссадина, льдистые голубые глаза сверкали гневом и ненавистью. Двое солдат крутили ему руки назад.

— На помощь! — крикнул Гайзулла. — Русского бьют! Нашего, Михаила!

Тотчас один из старателей, подбежав сзади, ударил лопатой по голове одного из солдат, и солдат отлетел в сторону. Офицерик протянул руку, расстегивая кобуру; и почти одновременно с грохотом выстрела старатель качнулся, обхватил руками залитую кровью шею и медленно навзничь упал на землю.

Гайзулла скрипнул зубами. Руки его сами собой напарили камень под ногами, мальчик размахнулся, и камень, рассекая воздух, шлепнул по голове офицерского коня. Конь резко метнулся в сторону и, сбросив седока, поскакал за солдатами, гнавшими старателей. Гайзулла бросился в кусты.

Он явственно слышал за собой топот и крики, но не оглядывался. Наконец впереди мелькнул черный квадрат свежесвырытого шурфа. Гайзулла схватился за жердь, но не успел спуститься на дно, как нога его уперлась во что-то мягкое.

— Эй, ты, поосторожнее! По головам ходишь!

В шурфе сидели несколько старателей, в углу Гайзулла заметил сжавшегося в комок и закрывшего голову руками Загита. Не успел он присесть рядом с товарищем, как наверху зацокали копыта, и кто-то крикнул: «Выходи по одному!»

Старатели испуганно прижались к темным углам.

— Выходи, говорю! Хуже будет!

Пуля, взвизгнув, ударила в стенку шурфа, и Гайзулла услышал, как сильно бьется его сердце.

— Да там нет никого,— сказал все тот же голос наверху.— Поехали!

Послышался удаляющийся топот копыт, и люди в шурфе свободно вздохнули. Гайзулла схватился за жердь и хотел было уже лезть вверх, но чья-то сильная рука схватила его за шиворот и оттащила обратно:

— Сиди спокойно! Ты что, хочешь, чтобы нас всех перестреляли?

— Ой,— сказал Гайзулла,— ты случайно не Кулсубай?

— Я-то Кулсубай, а ты сам кто будешь?

— Да я же Гайзулла!

— Ах, ты, чертенок! — Кулсубай радостно обнял мальчика. — Вот видишь, гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда встретятся! Сажу в этой темнотище и думаю, чьи это ребята?.. Вот где свидеться привелось! А что ты на приiske делал?

— Золото мыл...

— На сходке был? Я только к концу прибежал, так ничего и не понял,— сказал кто-то из угла.

— Михаил же говорил, чего же ты не слушал,— удивился мальчик.

— Да я по-русски ни бельмеса,— смущенно отозвался голос.

— Делегацию нашу избили, Хисматуллу арестовали, — сказал Кулсубай. — И еще нескольких... Говорят, они сейчас в Кэжэнской тюрьме.

— Что же вы их не освободили? — со слезами в голосе спросил Гайзулла. — Они же нас защищали, всех старателей, а вы...

— Оттого и вся эта история началась, — прервал его Кулсубай. — Когда узнали, что их арестовали, окна в конторе разби-ли, искали Накышева, да тот сбежал, падла, на Кэжэнский завод за помощью!..

— Все из-за того русского! Не баламутил бы народ, и беспорядков бы не было, и солдат бы не прислали... — снова сказал голос из угла.

— И не стыдно тебе, Газали? Что ты знаешь об этом русском? Сиди лучше помалкивай, чем говорить пустое! Если б все такими были, как Михаил, давно уже люди по-человечески жили бы! Он же нашу с тобой жизнь, и твою, и его, — Кулсубай показал пальцем на Гайзулла, — и всех бедняков, хочет сделать счастливой, а мы его не ценим, вместе с баями его хаем, как будто они из одного теста сделаны! Эх ты!..

— Да я ничего, я же его не знаю... — пробормотал парень.

— Вот видишь, а я его знал, еще когда у кулака батрачил! Он же всю свою жизнь нам отдал, всегда людям добро делал, на каторге за бедняков побывал, за нашу правду рабочую!.. Вот ты не слышал, а он же нас сегодня предупреждал, что не падо спешить, еще, мол, время не настало для выступления... А мы его не послушались, как заорет кто-то: «Не слушайте русского, он богатых защищает!» — так и пошло!.. Не зря в старину говорили: слушайся умного — худа не будет, если б послушались мы Михаила, ничего бы этого не было!..

— Но ведь он сам здесь был! — возразил голос.

— А что ж ему, дома, что ли, сидеть? Он всегда с бедняками, хоть в рай, хоть в ад, — где мы, там и он!..

Старатели долго еще говорили, и в шурфе уже стало совсем темно, когда Кулсубай сказал:

— Ну, ребята, там уж тихо, разошлись все... Выходи по одному!

По скользкой мокрой жерди подталкиваемый снизу Загит выбрался наверх и сбросил в шурф веревку. По веревке поднялись остальные старатели. Они сели на лежащее возле шурфа бревно, а Гайзулла и Загит побежали к своему бутару.

Вдруг Гайзулла остановился и хлопнул себя по лбу:

— Вот что, я тебя жду возле нашего желоба, а ты покамест мчись домой и принеси мне ту бумагу, что я тебе велел спрятать, понял? Сегодня ночью наклеим!

Загит молча повернулся и побежал в сторону поселка.

На небе уже ярко высыпали звезды, когда Загит подошел к своему дому. Неожиданно левое веко мальчика задергалось. «Ну, вот, дергает, теперь уж точно беда будет», — с досадой подумал мальчик.

И верно, едва он вошел в дом, как увидел, что отец, сидя у очага, рассматривает бумаги, которые Загит на прошлой неделе спрятал в подвале. «Пропал!» — мелькнуло в голове мальчика, колени его задрожали, по спине побежал неприятный холодок.

Хаким поднял голову, и свежевыбритая голова его заблестела. Он мотнул головой, отчего бородка его вздернулась кверху и тут же резко, будто кто-то потянул ее с силой вниз, опустилась.

— Кто пришел? — подслеповато щуря глаза, спросил он.

— Старший брат пришел, — тоненько пискнула сидевшая на полу Гамия.

— Ну-ка, иди сюда поближе! — Брови Хакима сдвинулись, и губы вытянулись в ниточку. Мальчик покорно подошел к отцу, не зная, куда девать забежавшие по стенам глаза. — Где был?

Загит не успел ответить, как Хаким, еще выше задрав бородку и нахмурив брови, протянул сыну листовки:

— Твоих рук дело?

«Не зря левый глаз дергался, точная примета, — с тоской подумал Загит, опуская голову, — вот не резет сегодня, то солдаты, а теперь еще и отец...»

— Что, язык проглотил? Говори, когда отец тебя спрашивает!

«Сейчас врежет», — зажмурился Загит.

Но Хаким вдруг переменил тон и, потянув сына за рукав, сказал ему почти ласково:

— Ну, сынок, чего ты боишься? Я же не чужой тебе... Скажи, кто тебе дал эти бумажки, и я тебя не трону, я ж не враг тебе...

«Может, сказать? — заколебался Загит. — И зачем я только ввязался в это дело? Пусть бы Гайзулла сам их прятал, где хочет, его-то пороть некому!» Он собрался уже во всем признаться отцу, как тот, видя, что мальчик молчит, и приняв это за отказ говорить, размахнулся и ударил сына по щеке:

— Ах ты, паршивец! Молчишь? От отца скрываешься? Ну погоди, вот сведу тебя к уряднику, он тебя заставит разговариваться!..

Мальчик прикусил язык. «Ох, Хисматулла-агай говорил ведь, чтоб никому ни слова, а я чуть было не проболтался», — с испугом подумал он. Дверь скрипнула, и в дом, улыбаясь,

вошел Султангали. Он хотел было поздороваться со старшим братом, но не успел ничего сказать, как заметил на коленях отца листовки, и тут же смекнул, в чем дело.

— Отец, если ты никому не скажешь, — тут же затараторил он, становясь впереди брата и оттирая его в сторону, — я тебе завтра чаю принесу!..

— Чаю? Какого чаю? — недовольно пробурчал Хаким. — Тут такие дела творятся, а он — чаю...

— Хорошего чая, в серебряной обертке!.. — не сдавался Султангали.

Хаким задумался, не спуская глаз с братьев.

— Так... Заодно, значит? Куда старший, туда и младший! Ну ладно, так и быть — уряднику я не скажу... Но нельзя же такое дело от муллы скрывать! Бумага-то неверными написана, грех для мусульманина держать ее у себя в доме!..

Хаким понурил голову, и в тишине стало слышно, как лает в соседнем дворе собака.

— Подумаешь, бумажка какая-то! — снова попытался подладиться к отцу Султангали. — Выбросить ее, и дело с концом! Что в ней такого?

— Беда в ней наша сидит, вот что такое! — вспылил Хаким. — Мне мулла сам говорил, если мусульманин с такой бумагой свяжется — тут же испортится, и болезнь на него найдет, и хворь, и род его угаснет! А ты говоришь — что такое... Да ее и в руках-то держать опасно, за один такой грех в ад попадешь! — Хаким с отвращением сбросил с колена листовки, сплюнул и вытер руки о штаны.

— Но ты же сам говорил, что врагу только на этом свете отомстить можно, а на том уже поздно будет, — тихо сказал Загит.

— Про какого это врага ты там болтаешь?

— Про царя... *

В первую минуту Хаким не мог выговорить ни слова, потом лицо его исказилось от гнева, и борода, как подвязанная на веревочке, быстро запрыгала в разные стороны.

— Ты что, в тюрьму захотел, поганец? Погубить всех хочешь? Через тебя и я за решетку сяду! Сопля ты окаянная! Смотри, если еще хоть одно такое слово от тебя услышу, так отлуплю, что и через месяц не встанешь!

Загит испуганно отступил в глубь комнаты.

— Не такие, как вы, а настоящие джигиты против царя шли, а что из этого получилось? — уже спокойно продолжал Хаким. — И дед покойный, да и я сам, когда молодой был, глупости делал, три года против золотоискателей воевали, а сами золото ищем — вот что вышло! Я от солдат целое лето в лесу прятался, а пока я там был, всю деревню нашу за неповиновение царю расстреляли, и разве только одну нашу!

Да ты знаешь, что за одного тебя все Сакмаево с лица земли смести могут?

— Зачем же тогда дедушка говорил, что лучше погибнуть в бою, чем быть рабом? — растерянно спросил Загит.

— Что ты понимаешь, чтобы судить о взрослых? — Не зная, как ответить сыну, Хаким рассердился еще больше. — Ты мой сын и должен жить по закону аллаха, понял? Если ты погибнешь в бою, с кем останусь я, как я прокормлю всю эту ораву? Я ведь старый уже, мне и до того света недалеко! Да и откуда ты знаешь, что в этих бумагах правда написана? Ты же по-русски и двух слов связать не можешь!

— Я знаю и тебе могу рассказать, — несмело ответил Загит.

Хаким ожесточенно замахал руками:

— Не хочу я слышать слова неверных! И сам ты, видно, от этих бумаг проклятых с ума сошел, раз с отцом споришь и против царя идти хочешь! Ну, ничего, я сумею тебя вылечить!.. — Хаким набросил на себя тулуп и, схватив пачку листовок, направился к двери. У дверей он еще раз обернулся: — К старосте пойду, он свой, мусульманин, плохого не посоветует...

Как только шаги отца затихли во дворе, Загит быстро подобрал разбросанные по полу листовки и выскочил во двор. Запихнув их в щель между досками сарая, он задворками, петляя, вышел к Кэжэн и сел на обрывистом берегу, скрестив ноги.

Сильный ветер резко, словно кто-то кидал его горстями, бросился ему в лицо, река грозно билась о берег темными волнами, все ниже и ниже пригибались к воде одинокие ивы и березки, растущие у обрыва; трава, казалось, совсем легла на землю.

Не прошло и получаса, как Загит продрог так, что зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось крупными мурашками. Мальчик обхватил колени руками, но даже не поворачивал головы в сторону своего дома. «Ну и пусть, — думал он с горечью, — вот заболел, простужусь и умру, сам же плакать будет! Или возьму и утоплюсь, пожалеет тогда меня, скажет, зачем я обидел сына? Только уже поздно будет... И Гайзулла скажет: «Верный был мне друг Загит, не ценил я его при жизни как следует...» И будут они вместе с Гайзуллой ко мне на могилку ходить, а Гамиля плакать будет...»

Ему стало так жалко себя, что слезы невольно навернулись на глаза и потекли по щекам, быстро остывая на ветру. Мальчик закрыл лицо руками и громко зарыдал.

— Мама, мамочка! — кричал он сквозь слезы, и ему казалось, что река повторяет его слова. — Зачем ты меня оставила совсем одного, зачем ты ушла? Возьми меня к себе, мамочка! Зачем я родился таким несчастным, почему все сваливается на

мою голову? Возьми меня к себе, мамочка, я хороший, я тебе все делать буду, помогать, дрова колоть, возьми меня к себе! — Загит открыл глаза, и сквозь слезы ему вдруг показалось, что кто-то белый манит его из реки.

Пронизанный внезапной дрожью, мальчик вскочил на ноги и хотел было закричать от испуга, но выплыть только по-прежнему бились о берег темные волны. «Бисмилла, бисмилла», — быстро прошептал Загит и три раза плюнул, но из реки больше никто не показывался.

«Что это со мной, зачем же я сам на себя смерть кликаю, — успокоившись, но все же на всякий случай отойдя от реки подальше, подумал Загит. — Я же не один на свете, у меня друг есть, Гайзулла! И дядя Хисматулла ко мне тоже хорошо относится. . . А отец у меня темный еще, вот завоюем для всех бедняков общее счастье, тогда он поймет, что к чему, придет ко мне сам и скажет: «А ты у меня, сын, молодец, оказывается! Я-то думал, что ты слабый, а ты у меня самый сильный джигит!»».

В животе противно заныло, и мальчик сразу вспомнил, что съел сегодня всего лишь один кусок хлеба. Руки его внезапно ослабли, в глазах потемнело, во рту стало сухо и горько. «Пойду к Гайзулле, на бутар, а утром вчерашнее золото на хлеб обменяю», — решил он. Ноги болели, спину ломило от холода, будто вся тяжесть этого дня навалилась на Загита.

XIII

Весь день староста, выпитив живот, важно расхаживал по деревне, останавливая чуть ли не каждого, кто попался ему навстречу.

— Ты слышал? Меня вызывают на Кэжэнский завод на счет очень важного дела! — говорил и поглаживал редкую, с проседью, бородку.

— Что за дело? — вежливо спрашивал его односельчанин.

— Да все эти бунтовщики, неверные! На днях я уже отправил туда одного государственного преступника, а сейчас еще двоих отвезу. . . Целую банду поймал, знаешь? А у тебя ничего, случайно, не пропадало? Ну, так я знаю, кто взял! Это старший змееныш плотника Хакима постарался, не иначе! Так что ты можешь тоже идти за мной в Кэжэн, я попрошу, чтобы тебя пустили, а уж там мы заставим его признать!» . .

Пока староста расхаживал по поселку, Султангали и Загит сидели под замком в сарае урядника, Загит то и дело принимался плакать, и Султангали, с презрением морща губы, отворачивался от него в сторону и старался сквозь щели разглядеть, что творится на улице. К вечеру мальчиков вывели из

сарая, связали и положили на дно тарантаса. Спустя некоторое время пришел староста Мухаррам. Он небрежно развалился на сиденье и крикнул сидевшему на козлах работнику:

— Гони!

На ухабах тарантас подбрасывало, и мальчишки то и дело сталкивались друг с другом и ударялись головами о доски.

«Ничего, теперь через мальчишек и главного преступника отыщем,— думал староста.— Может, и медаль дадут за такое дело, кто знает? А что, очень даже может статься, что дадут, мне в прошлый раз сказал этот русский начальник: «Старайся и получишь по заслугам!» У меня служба исправная, чуть что — я тут как тут! Вот и у Хакима ловко я про мальчишек выведал... Получу медаль, повешу на камзол и буду ходить с ней! Вдвое ниже кланяться станут, сразу поймут, с кем дело имеют! Пусть только посмеет тогда меня хоть одна собака «желтой змеей» назвать... Сгною!..»

Два дня братьев держали в темном и сыром подполье, и все это время Султангали ругал старшего брата, почти не переставая:

— Разиня, головотяпа несчастный! Это из-за тебя меня сюда посадили, из-за твоих бумажек проклятых! Если б не я, знаешь, что бы с тобой отец сделал? Он для тебя такую хворостину приготовил, что быка убить можно! А ты стоишь, сопли развесил, будто я тебя старше!.. Я уже вон как прираба-тываю, а ты до сих пор голодный ходишь, как собака, только вшей кормишь... Да если бы мне твою силу, я б таких дел наделал!..

— Каких? — не выдержав, спрашивал Загит.

— Каких, каких! Всяких! Уж я бы всем отомстил — и отцу, и старосте, и уряднику, всем!..

— Нехорошо драться с отцом... Тебе не стыдно, что ты ударил его!

— Ага, значит, ему можно, а мне нельзя! Ничего себе, хорошенькое дело! — возмущался Султангали.

— Но ведь он отец тебе! Разве ты не знаешь, что то место, где отцова рука ударила, в аду не горит?

— Мне до ада далеко еще! — подхохатывал Султангали.— Я еще здесь пожить хочу, понял? А как до ада дойду, уж я там с ними сумею договориться, чтоб мне хорошее местечко досталось! Эх, да что с тобой говорить, с сосунком!..

Султангали замолкал, но через полчаса, не выдержав, снова начинал дразнить брата.

— Трус ты и глупый вдобавок! Зачем Хисмата слушаешь? Он тебя до добра не доведет, вот увидишь! Мне Нигматулла-агай говорил, что с такими, как твой Хисмат, за решетку уго-дить — пара пустяков!

— А когда ты его видел?

— Кого? Нигматуллу-агай? Да я каждый день его вижу, тебе-то какое до этого дело? Нигматулла-агай знаешь какой человек? Во! — Султангали выставлял вперед большой палец руки. — Он меня знает как выучил!

— Чему выучил?

— Чему, чему! Какой ты глупый, настоящий тупица! Как будто непонятно, чему Нигматулла может научить...

В первую ночь Загит долго не мог уснуть и проплакал почти до самого утра, сдерживаясь и стыдясь самого себя. Скоро веки его так опухли от слез, что он не мог раздвинуть их, и благодарил аллаха, что в подвале так темно. «Увидит, еще больше смеяться будет! — думал мальчик. — И как он может? Ведь неизвестно, что с нами завтра случится, — вдруг расстреляют, как отец рассказывал...»

Он скоро уснул, но даже во сне что-то тяжелое давило на него сверху, голова, казалось, была стянута железными обручами, — мальчик беспокойно ворочался и вскрикивал.

— Чего это ты? — сказал Султангали, когда он проснулся. — Не заболел?

Загит обессиленно покачал головой. Веки опухли еще больше и сильно болели.

— Отцу больше верить нельзя, — задумчиво продолжал Султангали. — Я думал, он промолчит все-таки... Это надо же быть таким дураком — самому на своих детей наговаривать!.. Сам же говорил — не давай себя бить, мсти, хватай что попало и дерись до последнего, а то всегда битым будешь! И теперь сам же обижается, что я его послушался!.. Все этой змеюке желтой выложил! Даже то, как я из ихнего балагана хлеб и масло таскал, не постыдился рассказать! А ведь сам же это масло и лопал, и хлеб лопал, и все лопали...

— А с Алсынбаем что там за история была? — устало спросил Загит.

— В амбаре мы у него побывали — я и еще двое ребят, тоже кой-чем поживились!.. Ну, уж если и он сюда свидетелем припрется, не миновать ему от меня «красного петуха»! — мрачно отозвался Султангали.

— Зачем ты так? — поморщился Загит. — И почему ты таким злым вырос?..

— Не скули! Сам размазня и хочешь, чтоб я таким же был? Дудки! Я своего не упущу, что-то, а живот у меня всегда набит едой, не то что твой!

— Дурак, посадят тебя в тюрьму за воровство, и все!

— Это мы посмотрим, кого посадят раньше — меня за воровство или тебя за твои бумажки! — задорно рассмеялся Султангали. — А если и посадят меня, думаешь, я так и буду сидеть? Тут же сбегу! Погоди, дай только из этого подвала выбраться...

Загит промолчал. Султангали подсел к брату, потерся щекой о его плечо и шмыгнул носом.

— Слушай, сказал бы ты им, откуда у тебя эти бумажки... И отпустили бы нас сразу, может, еще и дали бы чего — конфет или хлеба!..

— Нельзя, — твердо сказал Загит. — Не буду я хороших людей продавать, никогда у нас счастливой жизни не наступит, если каждый своего товарища продавать начнет!..

— Какого товарища?

— Неважно какого... А ты что будешь говорить, если спросят?

— Ну, уж я найду, что сказать, — надулся Султангали. — И чего ты важничаешь? Не с чего тебе так важничать, головотяпа ты и размазня!..

Наверху слышались шаги, и слабый свет лампы пробился сквозь щели пола. Крышка откинулась, солдат наклонился над темной дырой:

— Вылезь, хлопцы!

Мальчики один за другим вылезли из подпола и пошли по коридору к дверям, солдат громко топал сзади.

Большая светлая комната была полна людей, пришедших по совету Мухаррама из Сакмаева. За длинным накрытым зеленой скатертью столом сидел сакмаевский урядник, староста Мухаррам и незнакомец в мундире, с тонкими ниточками усов над верхней губой. Заметив вошедших, незнакомец внимательно оглядел их и остановил взгляд холодных серых глаз на Загите. Загит отвернулся к окну, стараясь не глядеть на сидевших за столом, но краешком глаза увидел, как незнакомец вытащил из кобуры пистолет и положил его на стол прямо перед собой. Хаким стоял с другой стороны стола, склонив по обычаю голову набок, отчего со своей острой бородкой был похож на старого козла. Незнакомец повернулся к нему:

— Оба, что ль, твой?

— Мой, мой малайка, — торопливо заговорил Хаким и от волнения смял в руках старую шапку.

— А что у него с ногами? — незнакомец кивнул в сторону Загита.

— Обувка мало, золото мыть, семью кормить, — тихо ответил Хаким, опуская голову.

— Та-ак, — протянул незнакомец и взял со стола пистолет. «Сейчас пристрелит!» — с ужасом подумал мальчик.

— Хуснутдинова Хисматуллу знаешь? — строго спросил незнакомец.

— Зна-аю, — заикаясь, прошептал Загит.

— Он тебе эти бумажки давал? Смотри, будешь врать, посажу обратно в подвал, а скажешь правду — штаны дам, рубашку и сапоги... Ну, давал он тебе что-нибудь?

Загит покраснел и медленно покачал головой:

— Ничего не давал...

— А если не давал, то откуда у тебя эти бумаги и книги?

— Я, дяденька, не умею читать... — захныкал Загит. — Я взял, чтоб картинки посмотреть!...

— Бестолочь! Какие картинки могут быть в книжке Лени-на? Я тебя спрашиваю, не зачем ты их взял, а кто тебе их дал! — заорал незнакомец, нервно крутя в руках пистолет.

— Это вы о тех бумагах и книгах, что вам отец передал? — вдруг выступил вперед Султангали. — Так это мои книги! Это не он, это я их стибрил...

— Что-что? Как ты сказал? — удивился незнакомец.

— Ну, стибрил, украл то есть... Они на копейке у старосты лежали, вот я и прихватил — подумал, купит кто!

Мухаррам побледнел и вскочил. Лицо его стало красным от страха и негодования:

— Не ври, гаденыш! Не верьте ему, господин офицер, он врет, нарочно врет! — Староста сжал кулаки и умоляюще смотрел на незнакомца, который небрежно подкидывал пистолет над столом. — Это поклеп, он нарочно!

Офицер мигнул уряднику, и сидевший до этого с полусонным видом урядник вскочил и гаркнул во всю толтку:

— Мол-ча-ать!

— Но мальчик врет... — растерянно пробормотал староста.

— Староста, мол-ча-ать! — снова гаркнул урядник, и Мухаррам присел на краешек стула.

— Ну-ну, мальчик, расскажи нам все, — ласково сказал офицер.

Султангали отвел глаза от широкой золоченой рамы, в которой висел портрет царя Николая в мундире, в полный рост, махнул рукой перед лицом, отгоняя надоедливую муху, тщательно высморкался и, глядя прямо в глаза офицеру, улыбнулся с независимым видом, показав свои крепкие, белые, похожие на заячьи зубы:

— Вам, что ль, книги нужны? Так я вам достану! Только уговор — за каждую по две конфеты, и чтобы в обертках!...

— Ну, ну, будут тебе конфеты, — подбодрил его офицер. — Говори, где еще такие книги видел?

— Да на чердаке у нашего старосты их знаете сколько? Прошлый раз сам видел, как староста их туда прятал! Хотите, принесу?

Загит вздрогнул. «Аллах, ну и язык у моего брата, — подумал он, — ничего доверить нельзя... Хорошо хоть, не сказал ему, кто мне их давал...»

Офицер кивнул головой уряднику, и тот, щелкнув каблучками, выбежал за дверь.

— Ты что, всегда воруеть? — снова обернулся незнакомец к Султангали.

— Не-е, не всегда, — серьезно сказал мальчик, — я только у тех ворую, на кого отец покажет! И это не воровство называется, а вовсе даже месть за обиду! Мшу, понятно?

Хаким изумленно затряс головой:

— Когда я говорил тебе, чтоб ты воровал? Ты что, на отца пошел, за решетку меня хочешь? — От возмущения все лицо его покрылось красными пятнами, руки задрожали. — Может, амбар Алсынбая тоже я велел обчистить?! А?! Кто обокрал его балаган, кто?

— Ты, — невозмутимо ответил Султангали.

— Да падет гнев аллаха на твою голову, нечестивец! Пусть у тебя выпадут все волосы! Пусть у тебя отнимется язык! — запричитал Хаким, подымая руки к небу.

Собравшиеся в помещении односельчане зашумели.

— Тихо, тихо, разберемся, — сказал офицер, но никто не обращал на него внимания.

— Так вот почему у меня прошлым летом баран пропал! — крикнул кто-то. — Эх ты, Хаким, борода твоя скоро совсем белая будет, а ты такими делами занимаешься!

— Не трогал я твоего барана, клянусь аллахом! — с яростью обернулся к говорившему Хаким.

— Как же не трогал? Целых два дня сыты были, — снова заговорил Султангали.

Собравшиеся рассмеялись.

— Ты еще кости у Кэжэн закопал, помнишь? — посмотрел на отца Султангали. — И все заставлял нас ночью есть, чтоб соседи не видели!

— О аллах, за что ты наказал меня таким сыном? — снова запричитал Хаким, не замечая, что брызгает слюной на свою бородку и сидящего прямо перед ним офицера. — Пусть твое сердце засохнет и упадет, как сучок! Пусть твое собственное ребро заколет тебя изнутри!

— Эй ты, потише! — отодвигаясь в сторону, гневно крикнул офицер, и старик замолк.

Односельчане вразнобой загомонили:

— Верни мне моего барана, сосед!

— Ха-ха! Пойди к Кэжэн, раз он закопал там его кости, там небось уже целое стадо выросло!

— Слушай, а это не ты, случайно, стащил позавчера платье моей жены, что она повесила на плетень сушиться?

Загит не смел поднять голову от стыда. Его уже оттерли в самый угол, пикто не обращал внимания на мальчика, и он старался закрыть рукавом глаза, чтобы никто не видел его слез и красного лица. А Хаким все продолжал кричать, все больше сбиваясь с русского языка на башкирский и мешая слова:

— Ты мне не сын, ты ударил меня! Пусть та рука, которая сделала это, отвалится!

— Не говори неправды,— спокойно отвечал ему Султангали.— Это твоя жена тебя ударила за то, что ты не можешь прокормить ее детей!

— Врешь, проклятый, врешь! Зачем врешь? Знакум, моя малайка буклашка моя давал! — Хаким показал офицеру на свою голову. Офицер недоуменно пожал плечами. Хаким со злостью плюнул в сторону сына, достал из-под полы перетянутого лыком камзола небольшой сверток и, развернув его, положил на стол перед офицером: — Он как кусок, уся карапчит, щенок проклятый! Вот, смотри! Моя борода рвал. . .

— Да не трогал я его бороды! — со смехом отозвался Султангали.— Это не борода вовсе!

— А что же это? — спросил офицер, указывая на сверток, где лежали два клок черных волос.

— Да это он из хвоста кобылы Хажисултана-бая вчера выдрал! В зале стоял громовой хохот.

— Убью! — Хаким затопал ногами, по лицу его, изборожденному морщинами, потекли слезы. — Щенок, своими руками придушу, собака! . . Будь ты проклят, вот тебе мое отцовское благословение, будь ты проклят, ублюдок! . .

Загит отвернулся,— мальчик никогда еще не видел отца плачущим.

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел урядник с кипой книг в руках. Не рассчитав, что в комнате набилось так много народу и дверь, распахнувшись, тут же захлопнется и ударит его по лбу, он с минуту после удара в обалдении стоял на пороге, но, опомнившись, быстрым военным шагом, щелкая каблуками, подскочил к столу, свалил на него книги и, вытянувшись, отрапортовал голосом, похожим на собачий лай:

— Так точно, господин офицер, нашел у старосты в подложке, как мальчик говорил!

— Вот видите! — с торжеством сказал Султангали.

Неожиданная весть осложнила вопрос. Из комнаты удалили посторонних, но и после этого выяснить всех обстоятельств дела не смогли, а только больше запутались. Староста божился и клялся, что в глаза не видел листовок; Султангали уверял, что староста сам прятал их на чердаке; Хаким ругал сына, Загит молчал, а офицер злился и, играя револьвером, вдруг вскакивал и кричал, что если не узнает, откуда взялись листовки, отправит всех по этапу в Сибирь. . .

Только на четвертый день старосту, Хакима и Загита отпустили домой, в Сакмаево.

— А ты пока что у нас посидишь, шутник! — язвительно сказал офицер Султангали.— Может, хоть немного воровать отучишься!

Но уже через месяц Султангали, сбежав из тюрьмы, снова появился в поселке и с тех пор ни на шаг не отставал от Нигматуллы, который становился одним из богачей Сакмаева и строил на площади большую лавку.

XIV

Тюрьма стояла на окраине Кэжэнского поселка, но отовсюду были видны ее почерневшие, будто покрытые копотью, мрачные стены с тремя рядами железных решеток на узких, как бойницы, окнах. У самого подножия стен тянулся глухой, из толстого накатника, забор, опутанный сверху ржавой колючей проволокой. За тюрьмой простирался большой пустырь, заросший крапивой и лопухами...

Хисматулла не раз приезжал на заводской базар, но впервые видел тюрьму так близко. Чем ближе он подходил к ней, подталкиваемый сзади дулом винтовки, тем мрачнее становилось у него на душе, хотя он и старался выглядеть спокойным и невозмутимым.

День был теплый и солнечный. В палисадниках под окнами изб пышными белыми гроздьями цвела черемуха, и нежный аромат ее плыл над поселком. Над черемухой жужжали пчелы, по обочинам густо зеленела трава, кое-где видны были синефиолетовые острые лепестки сон-травы...

Хисматулла с жадностью глядел по сторонам, будто видел все это в последний раз, и, когда тяжелые железные ворота захлопнулись за ним, ему показалось, что захлопнулся сам небосвод, скрыв в глубоком, мощном мелким булыжником дворе солнце. Надзиратель вынул из кармана ключ, отпер дверь и пропустил конвой вперед.

— Этого в сорок шестую,— показал он на Хисматуллу, и солдат снова ткнул его в спину винтовкой так, что он чуть упал, поскользнувшись на холодной, отполированной многими уже ногами железной лестнице.

— Ну ты, осел, пошевеливайся!

— Сильней, сильней вдарь! — крикнул вслед надзиратель. — С размаху, так оно для них понятнее!

— Вы не имеете права! — обернулся Хисматулла. — И так уже били достаточно... Я представитель рабочих!

— Иди, иди, скотина, еще разговаривать будет! — прикрикнул надзиратель, и солдат снова толкнул сзади винтовкой.

По коридору тянулся длинный ряд дверей. На каждой двери на уровне глаз было небольшое круглое отверстие — волчок, над ним черной жирной краской был выведен номер камеры. Солдат остановился перед дверью с номером «46» и подождал надзирателя, идущего следом по коридору и заглядывающего

в глазки. Как только Хисматулла вошел, дверь за ним захлопнулась, и ключ скрипнул в замке.

Хисматулла постоял немного, привыкая к темноте; окно в камере было наглухо забито, только вверх между досками был небольшой просвет, от каменных стен и пола отдавало сыростью и холодом; на полу и нарах, стоящих вдоль стен, сидели и лежали арестанты; в камере нестерпимо, до рези в глазах, воняло.

Арестанты окружили его, и по их грязным, исхудалым, сильно обросшим лицам он понял, что почти все они находятся здесь уже давно.

— Откуда прибыл, браток? За что тебя? Съестного не принес?

— Вот лепешка... — Хисматулла протянул узелок.

— Дай мне! И мне! — загомонили арестанты. Кто-то схватил узелок, и он тут же скрылся в куче барахтающихся на полу тел.

— Ой, вы что там? — крикнул из коридора надзиратель. — Потихше, а то солдат вызову! — Но никто не обращал на это внимания.

Хисматулла растерянно стоял посреди камеры, не зная, что ему делать.

Вдруг с крайних нар поднялся мужчина крепкого, атлетического сложения с мощно выступающими на руках бицепсами. На нем не было никакой одежды, кроме закатанных до колен холщовых штанов, грудь его густо обросла курчавыми черными волосами. Человек быстро и легко раскидал барахтающихся на полу арестантов и, отняв у них узелок, протянул его обратно Хисматулле:

— На, а им больше не давай, самому понадобится!

— Пусть, мне не жалко... — смущенно пробормотал Хисматулла.

— Слушай сюда! Если я сказал — не давай, значит, не давай, понял? Вот здесь располагайся, рядом со мной, и запомни — меня Сафуаном зовут! Ясно?

— Ясно... — тихо ответил парень.

Мужчина снова улегся на нары, но через минуту обернулся и, наклонившись к Хисматулле, прошептал:

— Слушай, я тебя где-то видел, а? Ты, случаем, не из деревни Коткор?

— Нет, я из Сакмаева... — улыбнулся Хисматулла.

— А-а, — протянул Сафуан и снова отвернулся к стене.

«Какой странный, — подумал Хисматулла. — Ведь если бы на моем месте и вправду был кто-нибудь из кудашманцев, наверняка обиделся бы! Мне еще мать рассказывала, как они однажды узнали, что к ним едет разбойник, испугались насмерть, вышли всей деревней на дорогу и стали просить каждо-

го прохожего: «Спаси нас, коткор¹, спаси нас!» Или, может быть, он нарочно надо мной посмеяться хотел?..»

Каждый час в глазок заглядывал надзиратель, и разговоры в камере тотчас затихали. Присмотревшись, Хисматулла понял, что народ здесь собрался самый разношерстный — бродяги, нищие, воры, были среди них и невинно осужденные. Одни отсиживали здесь маленький срок, другие ждали отправки дальше, на север. Почти все арестанты курили, и в камере дышать было нечем. Скоро Хисматулле надоело слушать разговоры о женщинах и воровском искусстве, и, отвернувшись к стене, он стал думать о матери, о том, как она переживает все случившееся, вспоминал советы Михаила, но арестанты разговаривали громко, то и дело ругаясь, и это мешало сосредоточиться.

Вдруг Сафуан, до сих пор не вступавший в общий разговор и по-прежнему неподвижно лежавший на нарах, гаркнул:

— А ну, ворье-воронье, закройте хлебалы, надоело!

— А ты не слушай, раз надоело, — кто-то обиженно возразил ему.

— Я что сказал? — Сафуан приподнялся на локте. — Кто это там на меня голос поднимает, а? Я ведь слов на ветер не бросаю!

— Да мы шутя, не сердись... — сказал низкорослый вертлявый человек, угодливо улыбаясь Сафуану.

— Давно бы так! — Сафуан откинулся на нары.

Арестанты примолкли.

На дворе смеркалось, и скоро в камере уже не было видно ни зги. Арестанты разошлись по нарам, и только слышался изредка глухой шепот, и то здесь, то там вспыхивали красные огоньки папирос. Глаза у Хисматуллы слипались, но не успел он уснуть по-настоящему, как загремела дверь и в светлом проеме показалась фигура надзирателя со связкой ключей в руке:

— Хуснутдинов Хисматулла, на допро-ос! — крикнул он.

... Хисматулла очнулся на холодном полу камеры. Все тело ломило, в голове гудело, лицо вспухло от побоев. С улицы слышались частые выстрелы, в коридоре кто-то, громко топая, пробежал мимо и скатился вниз по лестнице, стуча коваными сапогами.

— Кто там?.. — еле выговорил Хисматулла и, повернув голову, оглядел камеру — она была пуста. В полуоткрытую дверь вливалась слабая, тусклая струя света. Хисматулла попытался приподняться на локте, но голова его закружилась, в глазах потемнело, и он снова потерял сознание. Как будто кто-то

¹ Коткор — спаси нас. Кудашманцев называют коткорцами в насмешку за трусость.

тяжелый навалился на него сверху, давя и горячо дыша в лицо...

— Не надо! — крикнул Хисматулла. — Вы не имеете права! Я делегат!.. Не скажу все равно! Вы за это ответите!..

Кто-то легко и нежно погладил его по голове:

— Тихе, браток, тихе...

Хисматулла открыл глаза и увидел сидящего рядом на полу Сафуана. «Значит, я еще в тюрьме». Хисматулле бросило в жар, и, подняв глаза, он ясно увидел в углу сутуловатую фигуру тюремного следователя, который всю прошлую ночь допрашивал и бил его.

— Что ему здесь надо? — слабо спросил он.

— Мы одни, — удивился Сафуан. — Кроме нас, здесь никого нет... Ты, браток, без памяти тут валялся целых два дня!..

— Без памяти?

— Да, после допроса тебя чуть живого притащили...

— Я, кажется, бредил? Что я говорил? Так голова болит, — пожаловался Хисматулла.

— Вот, вот, — подтвердил Сафуан, — совсем тебе плохо было...

— А где все остальные? Почему мы вдвоем?

Сафуан долго молчал, отвернувшись к стене, потом вывернул карманы, вытряхнул мелкую табачную пыль и, скрутив козью ножку, жадно закурил.

— Почему ты не отвечаешь? — почувствовав недоброе, переспросил Хисматулла.

— Все на том свете... — Сафуан прикрыл глаза рукой и громко закашлялся. — Пока ты тут, как труп, валялся, тут один подговорил надзирателя убрать. Заманили его в камеру, убили, взяли ключи и открыли соседние камеры, — вся тюрьма взбунтовалась! Остальные надзиратели закрылись в свободных камерах, отодрали там доски с окон и стреляли по выходившим на тюремную площадь, но застрелили только одного, у них патроны скоро кончились... Так вот, дверь наши-то сломали, но только-только принялись выскакивать за ворота, как подошли солдаты... — Сафуан покачал головой: — Куда там! Людей уже ничем остановить было нельзя... Большую часть перебили, а те, что остались, сами на солдатские штыки пошли...

— Ты тоже там был? — помолчав, спросил Хисматулла.

— А ты как, пошел бы за ними? — вопросом на вопрос ответил Сафуан и, не ожидая ответа, протянул руку: — Будем знакомы, товарищ! Я ведь тоже Михаила знаю, из-за него тут и сижу... И тебя знаю, вы же заодно, за бедняков — против царя!

Хисматулла недоверчиво посмотрел на Сафуана. Мысли, одна тревожнее другой, мелькали у него в голове: «Михаил

говорил, что в камеры часто провокаторов подсаживают... Нет, нельзя откровенничать», — решил он, а вслух сказал:

— Что ты, агай, я здесь совсем по другому делу... Разве можно идти против царя? Да и не пойму я что-то, о каком Михаиле ты говоришь!

— Ладно, ладно, — хитро прищурился Сафуан, — ты тут, пока валялся да бредил, столько наговорил, что если бы я захотел тебя продать — уже давно бы сделал это!...

Дверь камеры приоткрылась, показался надзиратель, — Сафуана вызывали на допрос.

«Кто же он? Друг или враг? — напряженно думал Хисма-тулла. — Надо будет поосторожней расспросить его, когда вернется, что я тут болтал в беспамятстве...»

Но ни к вечеру, ни на следующий день Сафуан в камеру не вернулся...

XV

Целую неделю Загит помогал отцу готовиться к переезду на джайляу — летнее жилье. Вся деревня походила на растревоженный муравейник. Улицы, как никогда, были полны народу, и каждый бежал, спешил куда-то; крики людей, мычанье и блеянье скота, скрипы повозок, лай собак и ржанье лошадей смешивались в один непрерывный гул. Лесовозная телега уже два дня стояла на дворе Хакима, и он каждый день осматривал ее, похлопывал по бокам, как будто это была не телега, а поровистое упрямое животное. Хажисултан-бай обещал дать ему для переезда саврасую кобылу, и теперь Хаким старался как можно быстрее собраться и двинуться в путь, — не передумал бы Хажисултан, не отдал бы кобылу другому, ведь в эти дни, верно, многие односельчане просят его о том же!

В ночь перед отъездом он почти не мог уснуть от возбуждения и тревоги, не спал и Загит. Еще накануне он просил у отца разрешения остаться на прииске с Гайзуллой, но отец только фыркнул, а когда мальчик решился второй раз попросить его о том же, так раскричался, что в ушах у Загита зазвенело:

— Ты что, сын шайтана, опозорить меня хочешь? Мало мне было позора на Кэжэнском заводе, когда вы с братом сделали из меня посмешище для соседей! Слава аллаху, что меня не посадили по вашей милости за решетку, будьте вы прокляты на том и на этом свете! Нарушать обычай дедов? Да ты рехнулся! Чтoб я больше не слышал от тебя таких слов, иначе и на глаза мне не показывайся!...

Загит понурил голову и не смел больше перечить отцу, однако всю ночь еще надеялся, что Хаким смягчится. «Может быть, пообещать ему отдать все золото, что я намою? — думал

мальчик. — Или попросить Мугуйю — пусть поговорит с ним... Хотя что с нее взять, и так молчит целыми днями, словно воды в рот набрала... Только посмотрит своими глазницами, и сразу ясно, что с нее и спросу нету...»

Едва начало рассветать, как Хаким стал одеваться, чтобы идти к Хажисултану за кобылой. Он затянул шнурки на катах, и Загит, приподнявшись на локте, окликнул его:

— Отец!..

Хаким поглядел на сына. Бледное лицо мальчика в сумерках казалось еще более худым, тонкая шея выступала из ворота рубашки — казалось, стоит лишь дотронуться до нее, чтобы она сломалась, красные заплаканные глаза умоляюще смотрели на него. Хаким нахмурился и отвернулся.

— Сказал же тебе, не отпускаю, — пробормотал он. — Нечего среди неверных околачиваться!.. И больше не приставай ко мне, а то ремня попробуешь...

Он накинул на плечи тулуп и поспешил к Хажисултану, а Загит тоже потихоньку оделся и, выйдя во двор, уселся у телеги на перевернутой вверх дном корзине. На соседнем дворе уже не спали, грузили на повозку домашний скarb.

Загит увидел мальчика лет семи — он молча тащил за руку девочку меньше его ростом; девочка слегка упиралась, крепко прижимала к груди замотанную в тряпки деревянную куколку; губы ее морщились, казалось, она вот-вот заплачет. Привстав на корзине, так что она прогнулась и заскрипела, Загит увидел, что и в остальных дворах соседи тоже встали: одни кормили скот перед дорогой, другие складывали пожитки в мешки и корзины, запирали дома, третьи забивали поперек окон доски, вразнобой стучали молотки и топоры. Еще дальше, на дороге, среди первых, уже отправляющихся в путь повозок Загит увидел отца, довольного и улыбающегося. Хаким горделиво смотрел по сторонам, торопливо здороваясь с соседями и всем своим видом показывая, как он спешит, — за ним, резко взмахивая головой, шагала саврасая кобыла.

Мальчик слез с корзины и, перевернув ее, выправил погнувшееся дно; почти тотчас во двор вышла Мугуйя. Несмотря на то что в небе не было ни единого облачка и день обещал быть солнечным, она была тепло одета, большой живот ее тяжело выпирал из-под платья, оттопыривая снизу камзол, и никак не вязался с ее маленькой, хрупкой фигуркой; бледное, без кровинки, лицо, казалось, было сделано из белого камня. Медленно, как бы ничего не видя, она обвела усталыми глазами двор, потупилась и застыла, сложив руки на животе, — покорная, равнодушная.

Не обращая внимания на сына и застывшую в дверях жену, Хаким запряг кобылу, сложил на дно телеги деревянные вилы, грабли и косы, сунул в угол чашки, привязал сзади ведро.

Проделывал он все это не торопясь, спокойно и с достоинством, уложил последний узел и только тогда обернулся к Мугуйе и стоявшим около нее детям:

— Ну, чего торчите как вкопанные? Залезайте быстро!

Хаким ушел в дом, а Мугуйя, подталкивая Аптрахима, подошла к телеге. Загит подсадил братишку и поставил к нему на колени большой самовар, бока котского еще вчера Гамиля до блеска надраила речным песком. Аптрахим прижал самовар к груди, повернул его так, чтобы не была видна дырка на месте крана, и, полный сознания своей важности, сердито засопел. Загит устроил на узлах Гамилю, помог мачехе сесть поудобней и пристроился сам на край телеги. Вдруг кто-то тихо окликнул его с дороги. Мальчик обернулся — во двор, прихрамывая, входил Гайзулла.

— Ну что, не отпускает? — шепотом спросил он.

Мальчик покачал головой.

— Слушай, ты скажи ему, что я богатое место знаю, — торопливо зашептал Гайзулла, — половину ему отдадим, если тебя отпустит. . . Что там с тебя толку? А здесь, пока нет никого, знаешь какое богатство огрести можно?

— Я уже говорил. . . — огорченно ответил Загит. — И слушать ничего не хочет, говорит, обычай дедов. . .

— Попроси еще раз! — голос Гайзуллы задрожал. — Может, согласится, если узнает, что я такое место нашел? . .

— Боюсь, еще вчера поколотить обещался, — сказал Загит, искоса поглядывая на дверь.

— Давай я попрошу, — предложил Гайзулла, — может, меня послушает?

— Не надо, еще хуже будет! — Загит махнул рукой.

— Да что ты с ним разговариваешь, с головотяпой! — вмешался шныряющий по двору Султангали и звонко плюнул сквозь зубы. — Разве не видишь, у него от страха уже обе штанины полны!

Загит сделал вид, что не слышит брата, а Гайзулла, обернувшись к нему, насмешливо и язвительно прищурился:

— Ну, а ты, герой? Покамест сух еще?

— Ха! — хвастливо выпятил грудь Султангали. — Я сам по себе, надо мной кнута нету! Захочу — останусь, а захочу — поеду. . . Знаешь, почему я домой вернулся? Потому что отец меня умолял, сам ко мне пришел, шапку снял, понял? Э, меня еще не тому Нигматулла-агай научил! Главное — во! — Султангали выставил вперед худую руку с крепко сжатым кулаком. — А если этого нету, то язык еще главней! А у этого болвана и тупицы, которого моим старшим братцем зовут, ни того, ни другого нету — вот он и трусит, хуже зайца! — Султангали снова циркнул сквозь зубы и отошел к плетню, повернувшись к Загиту спиной.

— Ну и брат у тебя растет... — покачал головой Гайзулла. — Если б мой был, столько оплеух от меня получил бы, что вообще язык бы проглотил, не то что так разговаривать!..

Тем временем Хаким снес в подвал оставшиеся в доме вещи, забил окна, большими толстыми гвоздями заколотил дверь и, присев на лежащий посреди двора сосновый чурбак, стал читать молитву. Мальчики замолкли, Мугуйя неподвижными глазами уставилась на мужа, только Гамиля вертелась между узлами, стараясь устроиться поудобнее.

— Она теперь всегда так? — шепнул Гайзулла, показав на Мугуйю.

— Да, как Фарзапу похоронили, словно деревянная стала, может, после родов пройдет, так старухи говорят, — тихо ответил Загит.

Хаким встал, внимательно оглядел дом и двор, провел за чем-то ладонью по дверному косяку и, неторопливо подойдя к телеге, ловко, одним движением уселся спереди и взял в руки вожжи.

— Открывайте ворота! — сердито крикнул он. — Стали как истуканы! И зачем только аллах позволил вам ходить по земле?

Мальчики быстро убрали поперечные жерди, поставленные вместо ворот, и отскочили в сторону.

Взмахивая головой и шлепая грязным жестким хвостом по облепленным мухами бокам, лошадь не спеша тронулась с места. Мальчики снова водрузили жерди на место и пошли следом.

— Провожу вас до Кэзумтау, — сказал Гайзулла.

Он упрямо мотнул головой, от чего черный чуб его взлетел и тут же снова повис над лбом, закрывая левый глаз. На душе у него было скверно — до последнего мгновения мальчик надеялся, что Загит останется с ним, и теперь горький шершавый комок подкатывался к горлу.

— Может, попросить все-таки? Ну, что тебе там делать? А покамест мы здесь столько промыли бы... —

— Не проси, — вздохнул Загит, — не отпустит все равно, только накричит... —

Гайзулла снова тряхнул чубом и, стараясь не показывать, как тяжело ему расставаться с другом, сказал с наигранной веселостью:

— Да, правду говорят — нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет! Был бы жив отец, не надо было бы нам расставаться — и мы переехали бы на джайляу... А так куда ехать, когда на шее слепая мать и больная сестренка?.. Был бы в семье еще хоть один мужчина, тогда другое дело!

— Ну и чудные вы люди! — рассмеялся плетущийся сзади Султангали. — Все спорите, и без толку! А по мне нет лучше,

чем живот набить, лежать на солнышке да по сторонам поплывавать! Вот я за один день, например, столько могу заработать, сколько взрослый и за месяц не заработает! Да еще и отцу помогаю, и тебе, головотяпа! Да если б не я, вы б давно с голоду подохли бы! Думаешь, зря отец меня домой умолял вернуться?

— Что же ты вернулся? — не выдержал Загит. — Ты же говорил, тебе и без нас хорошо живется!

— Молчи уж лучше! Не будь ты моим братом, я б на тебя и не посмотрел бы никогда в жизни! Сказал тебе, отец умолял, по пятам ходил, уж поверь, ради тебя ни за какие коврижки я домой не пришел бы! — Султангали, нахально улыбаясь, посмотрел прямо в глаза брату. — Захочу — хоть сейчас уйду из дома! Пусть только отец попробует ко мне хоть раз придрать-ся, никто меня не удержит!

Молчавший до сих пор Гайзулла сжал кулаки и вдруг резко повернулся к болтающему мальчику.

— Слушай, ты, малайка! — сказал он тихо, но твердо. — Сдается мне, ты покамест еще сошляк, чтобы так со старшими разговаривать, а? Я тебя о чем-нибудь, может быть, спросил? Или твой старший брат заговорил с тобой? Кто тебе велел рот раскрывать, а? Сначала нос утри, понял? И покамест я тут, чтоб я тебя больше не слышал! А если еще что-нибудь выкинешь, не посмотрю, что я не прихожусь тебе родней. . .

Султангали отступил на несколько шагов и пошел сзади. Не зная, на ком выместить злость, и боясь, что Гайзулла в самом деле выполнит свою угрозу, он что-то бормотал себе под нос и кривлялся за спинами Гайзуллы и Загита, потом поднял камень и бросил в сороку, сидевшую на траве близко от дороги. Сорока взлетела, села на березу, склонила голову набок и, крикнув мальчику что-то неодобрительное, снова взлетела и, покружившись, словно нарочно, для того чтобы подразнить Султангали, скрылась в кустарнике.

На гребне горы Гайзулла похлопал товарища по плечу и остановился.

— Хватит, — сказал он устало. — Дальше я не пойду... Стало быть, живи, как Хаким-бабай говорит, а вот вырастешь большой, будешь сам себе хозяин, тогда всегда вместе будем, ладно? А покамест — счастливо!

Он круто повернулся, но не пошел, а остался на месте, и Загит увидел, как дернулось его левое плечо. Острое чувство жалости и любви пронзило мальчика.

— Не сердись, я не могу отца слушаться. . .

— Ладно, ладно, иди, — не поворачиваясь, ответил Гайзулла.

Когда Загит догнал повозку и обернулся, Гайзулла стоял на хребте горы рядом с маленькой искривленной березкой

и махал рукой. Загит поднял руку и помахал в ответ. Гайзулла тотчас повернулся и пошел обратно. Его фигурка, ковыляющая по дороге, странным образом была похожа на тоненький, искривленный ствол березы, рядом с которой он только что стоял...

Скоро телегу, на которой ехали Хаким и его семейство, догнали другие повозки. Обоз растянулся по дороге, лошади шли медленно, размахивая хвостами и отгояя тучи оводов, солнце все сильнее припекало. Иные шли пешком, с узлами и связками вил и граблей за спиной, женщины несли па руках ребятшек, кое-кто приспособил для скарба ручные тележки и тачки. Многие тащили за собой на веревке коров и коз, дети подгоняли скотину хворостинной, то и дело слышались крики:

— Эй, смотри за козой! Шалопай, да ей уже до леса два шага осталось! Ну, погоди у меня!

— Н-но-о, шагай, лентяйка!

— Эй, Хаким-бабай! — весело кричали где-то впереди. — И ты тоже собрался на джайлау?

— А как же! — отвечал Хаким, вскидывая свою острую бородку. — Разве это дело — забывать обычаи предков?

Седой старик, идущий рядом с телегой Хакима, согласно закивал головой:

— Верно говоришь, кустым, нельзя забывать обычаи предков, ведь они родились не сегодня! Только теперь пошли такие дети, что готовы забыть и родного отца... Кто бы поверил в дни нашей молодости, что наши дети будут на службе у шайтана, что они, презирая позор и гибель, которые могут пасть на нашу голову и на головы наших внуков, станут искать презренное золото под самым носом у хозяина горы? ..

— Твоя седина права, — вежливо отвечал ему Хаким. — Наши дети — не то что мы, у них нет ничего святого...

Когда солнце встало прямо над головой, многие повозки свернули с дороги и остановились, чтобы люди могли отдохнуть и перекусить. Душный, густой от пыли воздух обтекал красные усталые лица, бока лошадей потемнели от пота. Отставшие от телеги Султангали и Загит еле волочили ноги, когда впереди за перевалом показался лес — густой, прохладный, зеленый, насквозь просвеченный солнечными лучами. По дороге проскакали двое жеребят — каурый и вороной с белой звездочкой во лбу; играя, они то и дело оборачивались и сталкивались боками, пока не скрылись в лесу. Следом за ними, сильно отставая, размахивая крепко зажатой в руке веревкой и крича что-то неразборчивое, мчался мальчуган, без конца теряя свои сабата ¹ и возвращаясь за ними.

¹ Лапти.

Мальчики вошли в лес, и тотчас у обоих словно прибавилось сил. Густая тень лежала под деревьями, со всех сторон вразнобой кричали, пели и чирикали птицы, скрип повозок и телег стал приглушеннее и в то же время четче, лошади пошли быстрее. Загит часто останавливался, прислушиваясь к птичьим голосам.

«Ку-ку, ку-ку!» — как капли воды, падало в чащу, и тотчас в ответ: «Кли-кли-кли! Кли-кли!»; стучали по сухостой дятлы, трещали сороки, перелетая с ветки на ветку и как бы следуя за людьми, вскрикивали чеглоки. Неожиданно лошади впереди настороженно запрядали ушами, затоптались, и на дорогу выскочил головастый лосенок на длинных тонких ножках. Увидев обоз, он на мгновение остолбенел, но тут же, вздрогнув, бросился назад к матери, которая показалась в соснах, готовая броситься на защиту детеныша; высоко вскидывая длинные ноги, они прыжками скрывались за деревьями.

Загит с изумлением глядел вокруг, впитывая запахи и любясь свежими красками леса, голубыми клочками неба, повисшими на ветвях, густой ласковой травой, местами доходившей до колен. Прогалины и поляны были обрызганы яркими цветами, а воздух был так густо настоян на терпких и пряных запахах, что у мальчика закружилась голова. На душе у него стало так легко и радостно, что даже прощанье с другом больше не омрачало его. Оглядываясь кругом, он жадно дышал, улыбался, обычно бледное лицо его покрылось теперь румянцем, он был готов поделиться своей радостью с кем угодно и, убыстрив шаг, стал нагонять опередившую его телегу. Он обогнал несколько повозок, когда впереди показалась качающаяся, сгорбленная фигура Мугуйи, озорное личико Гамили, выглядывающее из-за мешков и узлов, и неподвижная спина Хакима. Но, поравнявшись с отцом, Загит увидел, что лицо Хакима грустно и озабоченно, что мыслями он где-то далеко, совсем не в этом радостном, дышащем свежестью и прохладой лесу. Мальчик осторожно тронул его за рукав:

— О чем ты думаешь, отец?

Хаким обернулся и, как бы возвращаясь откуда-то издалека, ответил странным, глуховатым голосом, которого никогда раньше не слышал мальчик:

— О чем? Да так, обо всем понемножку... А ты, я гляжу, рад, что все-таки едешь с нами? Не ждал, что здесь так хорошо?

— Рад, — Загит покраснел и отвел глаза. — И правда, но ждал, но все равно жалко было оставлять Гайзуллу...

— Ничего! — усмехнулся в бороду Хаким. — Все бывает... Гайзулла твой — безотцовщина, потому и остался, вот и ты слушайся меня, пока я жив, отец плохого не посоветует!

Целых два дня ты меня упрасивал, а теперь доволен, что я не дал тебе согласия, ведь так?..

— Так,— мотнул головой мальчик.— А ты чего не радуешься?

Хаким помолчал и внимательно посмотрел на сына, как бы не решаясь доверить ему свои сокровенные мысли.

— Бедняк и в дни радости думает о своей бедности,— наконец тихо сказал он.— Для такого человека, как я, жизнь не мать, а злая мачеха... Когда я был такой малай, как ты, тоже радовался, все ждал чего-то хорошего, а теперь перестал. Даже если что-то хорошее на пути встречается, и то думаю, что вот, значит, следом обязательно что-нибудь плохое придет... Да это все пока не для тебя, сынок, может, ты по-другому жить будешь... А если и тебе такая доля выпадет — тяжелая, бедняцкая, с колотушками да подзатыльниками, с ямами да с рытвинами, то радуйся жизни хоть сейчас, пока можешь, пока еще не потерял надежду... — Хаким замолчал и дернул за поводья.

Никогда еще отец не разговаривал с Загитом, как сейчас, и у мальчика сжалось сердце при мысли о том, как беспросветно все, что ждет его впереди. Но вместе с тем, когда он снова отстал от телеги, лес как будто говорил ему совсем другое: косые полосы солнца, как оранжевые ножи, кромсали листву над головой, пели птицы, сзади, на повозке, счастливо и широко улыбалась худенькая девушка в цветастом ярком платке; казалось, со всех сторон лес шепчет ему: «Все будет хорошо», и мальчик скоро забыл о словах отца, вернее, не забыл, а отодвинул их в сторону, как отодвигают рукой ветку, упавшую в ручей, чтобы опустить голову и напиться чистой, прозрачной воды.

Дорога на весеннее джайлау змеилась между гор, одолевая спуски и подъемы, у большой поляны она расходилась в разные стороны, и телеги с этого места тоже стали разъезжаться — каждый род ехал на свое стойбище. Хаким остановился на самом краю стойбища, принадлежавшего роду Кызыр, у небольших, наспех сложенных из неровных сучковатых бревен строений, уже густо заросших лебедой и крапивой. Род Бадерай и Катай остались по эту сторону Юргашты, вдоль которой тянулась широкая и неглубокая балка, покрытая редким лесом, остальные переправились на ту сторону.

Жилище Хакима было сложено из осиновых бревен и наполовину ушло в землю, его окружали высокие тенистые деревья. Открыв закрепленную лыком дверь, Хаким вошел внутрь и ступил на земляной пол, покрытый свежей бледно-зеленой травой — в летнике не было ни одного окна.

— О всемогущий аллах, дай же нам всем прожить здесь эту весну в добром здоровье! — воскликнул он и, проведя руками по лицу, обернулся к домочадцам: — Несите вещи!

Мальчики стали таскать в юрту мешки и узлы, а Хаким, осмотрев чувал, развел огонь, собрав оставшиеся с прошлого года дрова. Чувал задымил, дым вылетал в открытую дверь и просачивался в щели между бревнами. Мугуйя, которая после смерти Фарзаны ни на шаг не отпускала Аптрахима, спустившись с телеги, взяла сына на руки и присела на парях, спокойно ожидая, пока можно будет вскипятить чай. Султангали и Гамиля, перетаскав вещи, побежали наперегонки к реке, а Загит, пока готовилась еда, отправился к дому Хажисултана-бая.

Но не успел он спросить, что ему делать, как мимо пронеслась стайка мальчишек. Они мчались изо всех сил и орали все вместе так, что за их криком не слышно было звуков стойбища:

— Табуны идут! Табуны! . .

Загит обернулся. Из-за гребня горы, стремительно разворачиваясь, лавиной выкатывались табуны. Пыль столбом стояла в воздухе, оглушительно и трепетно звенели колокольчики, было слышно тревожное нетерпеливое ржанье, но пока весь табун выглядел как разноцветная, переливающаяся, текущая с горы масса. Однако при подходе к джайляу вперед выдвинулся тонконогий, стройный жеребец сивой масти — это был вожак. Зло прижав уши, бешено сверкая глазами, жеребец вытянул шею и стал резко поворачивать косяки кобыл в сторону леса. Едва кобылы с жеребятами немного удалились, как он остановился и, согнув шею дугой, храпя, поскакал навстречу другому косяку, где вожаком был гнедой жеребец.

Осторожно, напряженно прижав головы к груди, жеребцы приблизились друг к другу и стали кружиться, взрывая землю передними копытами.

Неожиданно сивый издал громкий клич, и вожаки бросились друг на друга — они кусались и ржали, и видно было, как вокруг них летят клочья шерсти.

Работники Хажисултана-бая, бросив все на свете, не могли оторвать глаз от этого зрелища.

— Как ты думаешь, кто победит? — спросил кто-то за спиной у Загита.

— Сивый!

— Держи карман шире! — рассмеялся работник. — Хил твой сивый, смотри, какая у гнедого грудь.

— Чей гнедой-то жеребец?

— Не знаю чей, зато сразу видно, какой породы. . .

— А сивый нашего Хажисултана-бая!

— Ну, тогда сивый победит!

В это время сивый схватил своего противника за загривок и встал на дыбы. Гнедой резко повернулся и ударил его задними копытами. Оба жеребца так увлеклись боем, что только

в последний момент заметили приближение третьего жеребца — вороной масти, с белой отметиной на груди.

— Смотри-ка, еще один! — загомонили работники. — Интересно, на чью сторону встанет, а?

— А, не понимаешь, так молчи! Это же красавец, ты на масть, на масть посмотри, он же синий, а не вороной, ему первые оба и в подметки не годятся! ..

— Все-таки белый самый красивый! — не замечая, что говорит вслух, сказал Загит. — Он на подснежник похож. .. Хотя и гнедой тоже красивый, вороной просто больше, хотя и он красив. .. Да они все красивые! Зачем только им позволяют драться, они же друг друга покалечат! ..

— Ах вы, скоты жирные, падаль шайтана! — вдруг закричал незаметно подкравшийся сзади Хажисултан-бай, и Загит, вздрогнув от неожиданности, шарахнулся в сторону. — Я, может, для того вас нанял, чтоб вы услаждали свои глаза?! Может, вы никогда не видали, как жеребцы бьются? А ну, живо за работу!

Работники нехотя разошлись по местам, а Хажисултан, выплеснув воду из медного кумгана на площадку перед домом и еще раз горделиво окинув взглядом место, где бились жеребцы, неторопливо повернулся и скрылся за дверью.

XVI

На следующий день Султангали уже устроился помогать табунщику Усмангали, а Загит еще несколько дней не мог найти себе работы. Он бродил вокруг стойбища, стараясь не попадаться на глаза отцу, прислушиваясь к лесным звукам, впитывая запахи цветов и деревьев, любуясь издали табунами.

С утра до вечера звенели на лугах колокольчики. Лежа в густой траве на краю леса, Загит видел, как спокойно и неторопливо возвращаются к стойбищу коровы, и за их гладкими, лоснящимися спинами садилось остывающее к вечеру солнце, как навстречу им выходят на вечернее пастбище козы, днем обычно жарящиеся на солнцепеке.

Мальчику нравилось следить за тем, как делают кумыс; дождавшись, когда жеребят подведут перед дойкой к кобылам, он старался приблизиться к этим головастым, тонконогим, стройным маленьким лошадям, дотронуться до них, но жеребят забрыкивали и отбегали в сторону; затем, когда их опять запирали на стоянке, огороженной жердями, а женщины мешалками взбивали солод в больших деревянных чашах, то и дело пробуя его на вкус и добавляя молока от других кобыл, он снова пытался приблизиться к жеребяткам, тянул руки через изгородь, звал, причмокивая, но жеребятки пугливо теснились

у другого края загородки, кося на мальчика испуганными влажными глазами, перебирая стройными ногами с аккуратными черными копытцами... Когда же ему надоело ходить по стойбищу и лесу, Загит уходил на облюбованную им небольшую полянку с густой высокой травой и редкими вспышками желтых одуванчиков; там он ложился, подложив руки под голову, подставив лицо солнцу, и слушал, как мелодично поет овсянка, как кричит зяблик, шумит листва... Нередко он засыпал на солнышке и просыпался только к вечеру, когда солнце уже садилось, и со стороны стойбища слышно было мычание возвращающихся коров, и где-то далеко в лесу хрипло и монотонно кричал коростель, а в ельнике уже сгущалась темнота. Одуревший от сна, он еще немного лежал на земле, потом вскакивал и быстро шел к стойбищу, чувствуя, как от свежего вечернего ветра ясно становится в голове и на душе, как широко открываются глаза навстречу этому ветру и заходящему солнцу, как тепло ласкают кожу последние красноватые лучи...

Однако не прошло и недели, как эти счастливые дни безделья кончились. Однажды утром, едва он вошел в летник, Хаким набросился на мальчика с руганью и подзатыльниками.

— Щенок! — кричал он. — Ты что о себе думаешь, отродье шайтана? Даже Султангали работает, даже младший сын помогает мне, а ты и пальцем о палец не ударишь, чтобы помочь семье? Разве ты сын бая, чтобы бездельничать? Разве ты не должен мне за хлеб, который ел всю зиму?! — остренькая борodka Хакима гневно тряслась.

Мальчик закрыл голову руками, покорно принимая сыплющиеся на него слова и удары. Он понимал, что виноват, и хотел только, чтобы гнев отца скорее утих.

И действительно, вспыльчивый, но отходчивый Хаким скоро успокоился и сел у очага, хотя и продолжая ворчать на провинившегося сына:

— Не успею проснуться, как его уже нет! Что, спрашиваю, делает, куда ушел? Никто не знает... Может, думаю, пошел наниматься? Как бы не так! Лататы пошел гонять, лодыря праздновать! Вот что он делал целую неделю! И это в самую кумысную пору, когда Хажисултан-бай хоть и прижимает к себе карманы обеими руками, а деньги у него все равно сквозь пальцы текут! Да ведь у него одних только дойных кобыл голов пятьдесят, а тех, что он на летний нагул пускает, вообще не перечесать! А сколько сена ему для рабочих лошадей заготовить на зиму надо, ты знаешь? Ну, погоди, этим летом ты у меня и на сенокосе поработаешь, даю слово, или не я хозяин этого дома, и пусть шайтан тогда заботится о вас! Я понимаю, еще зимой табунщиков много не надо — если лошади за лето жару наберут, и у пастбища перезимовать можно, но сейчас,

летом, когда только и подрабатывать, ты плянешься без дела и не думаешь, что следующей зимой тебе тоже нужно будет есть... Завтра с утра иди к табунщику Сагитулле, я с ним уже договорился о тебе. Ну, что молчишь, язык проглотил?

На следующий день Загит отправился к Сагитулле и стал помощником табунщика. Днем он приводил кобыл на доение, а ночью уходил с табуном на ночные пастбища. Первое время лошади не слушались его, пугались, и самых бойких ему приходилось ловить с помощью лассо, но с кобылами все же легче было управиться, чем с вожакom — буланным жеребцом, который не подпускал мальчика к косяку. Но постепенно и жеребец и кобылы привыкли к Загиту, и буланный стал мальчику верным помощником.

Загит развел под старой сосной костер, разложил кругом большие белые камни кристаллической соли, и, когда лошади собирались у сосны лизать соль, мальчик отдыхал, прислонившись спиной к дереву и полузакрыв глаза. Иногда ему казалось, что не было в его жизни ни прииска, ни тяжелых голодных дней зимы, что это был дурной сон, и вот он прошел, и все опять хорошо.

Чем дольше мальчик жил в лесу, тем смелее он становился. Он привык к одиночеству, иногда ему казалось, что звери добрее людей; Загит сравнивал их с Хажисултаном и муллою Гилманом и думал, что вожаки зверей лучше, чем вожаки людей. «Вот бы всегда жить в лесу,— мечтал он.— Построить себе на поляне теплый зимний дом, приручить зверей... Летом заготавливать дрова и пищу на зиму, а весной выходить из дома и жить, как тебе хочется! Сам себе хозяин, никто не бьет, не обижает...»

В конце лета, когда дойных кобыл перегнали в лес, поближе к сенокосу, в табун приходили лосиха и олень со своими детенышами. Часто они и ночи проводили среди лошадей, так как здесь они чувствовали себя в большей безопасности от волков и медведей. Иногда из-за кустов выскакивали тонконогие большеглазые косули с длинными ушами и маленькими копытцами. Они долго стояли неподвижно, в недоумении глядя на Загита и лошадей, потом, успокоившись, начинали щипать траву. Самые смелые подходили вместе с лошадьми к соли. Когда это случалось, Загит застывал и задерживал дыхание, чтобы не спугнуть их, зачарованно глядя на лесных гостей.

Часто навещали его и другие лесные жители — почти на каждом шагу мальчику встречались маленькие, лопоухие зайчата, с испуганными черными бисеринками глаз. Завидев Загита, они старались спрятаться в сухом хворосте, но как только рядом появлялась зайчиха, пушистые детеныши бросались к ней, забыв об осторожности, и прилипали мордочками к ее животу, опрокидывались на спину, задирая кверху маленькие

мягкие лапки. В такие минуты Загит испытывал столько нежности к этим слабым зверушкам, что слезы выступали на глазах у мальчика.

Часто под маленькими елками на опушках он находил гнезда овсянок с притаившимися слабыми и беззащитными птенцами, которые начинали жалобно и тоненько пищать, когда мальчик обнаруживал маленькую, усталую пухом и волосками ямку, где они лежали. . .

Загит внимательно разглядывал лесные и луговые цветы — белые и красные пушки клевера, колючий шиповник, цветущие метелки ковыля; ему казалось иногда, что цветам больно, если рвешь их или наступаешь ногой на стебель. Не меньше восхищали мальчика необыкновенные узоры на крыльях бабочек, прозрачные крылья стрекоз, переливающаяся всеми цветами спинка майского жука над пышными гроздьями распутившейся сирени и акации. . .

Лес стал Загиту родным домом. Только волков не мог признать мальчик, — часто они бродили около табуна, а однажды ему пришлось познакомиться с ними поближе. Дело было вечером. Загит нежно похлопал вожака по шее, постелил рогожу у потухающего костра и лег спать. Однако не успел он задремать, как ему пришлось проснуться, — вожак, стоя над ним, тербил мальчика за рукав мягкими губами.

— А ну тебя! — сказал недовольно Загит и перевернулся на другой бок, но через минуту вожак снова разбудил его и, фыркая, стал бить землю передними копытами.

Когда мальчик встал, жеребец быстро собрал в кучу кобыл и жеребят и снова подбежал к Загиту. Все больше тревожась, Загит вскочил на коня, оглядывая с высоты кусты. Вдруг лошади, насторожившись, подняли уши и все резко бросились к табунщику. Жеребец выгнул шею и кинулся к кустам. Он бил копытами, фыркал и время от времени злобно кричал, отбивая у волков полурастерзанного жеребенка. Но тут подоспел Загит, и волки отступили. После этого Загит и вожак еще больше подружились.

Но чем жарче становились дни, тем ближе чувствовалась осень, тем беспокойнее было на душе у Загита. Ни ягоды, ни цветы, ни звери, ни птицы не могли больше сделать его счастливым. Наоборот, глядя на всю эту лесную красоту, он все больше тосковал о том, что придется оставить ее, что пройдет лето, и снова за осенью наступит безжалостная, холодная зима с ее морозами, вьюгами и жестоким голодом. Загит стал часто вспоминать своего друга Гайзуллу, их разговоры перед отъездом. «Пойми, — говорил тогда Гайзулла, — мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит вокруг! Раз Хисматулла-агай в тюрьме, мы должны продолжать за него то, что он начал! Ты помнишь, что говорил этот русский, Михаил? Что

революционер никогда не должен забывать о том, что он отвечает за все, что делается вокруг него!»

Загит старался вспомнить Михаила и то, что он говорил на собраниях, где удалось два раза побывать мальчику. Так и не поняв, что такое революционер, хорошо это или плохо, Загит понял только, что русский агай Михаил и есть один из этих революционеров, о которых он так часто говорит. Но кто такой сам Михаил? Хисматулла-агай его хвалил, баи его ненавидят, мулла его проклинает, все говорят о нем разное, и на чьей стороне правда — неизвестно! И тем более непонятно все, что говорит сам Михаил! Как может бедный стать богатым оттого, что говорит этот русский? И какая ему польза от этого дела, от того, что он будоражит всю округу и часто бывает бит, а теперь и вовсе сидит в тюрьме? И почему все так боятся бумажек, которые они с Гайзуллой наклеивали на стенах и воротах? Или вправду, как говорил мулла, их написала рука шайтана? ..

Чем больше Загит думал обо всем этом, тем больше запутывался и никак не мог понять, почему же его все-таки так тянет к этому русскому, и не только его одного, но и Гайзуллу и многих на приiske. Часто мальчик пугался, вспомнив, как однажды отец сказал ему: «Когда наступит конец света, люди все больше будут слушать неверных русских, и каждый слушающий их попадет в ад и будет вечно гореть в огне!» И Загит плевал в разные стороны, чтобы отогнать от себя наваждение, и говорил, подражая взрослым:

— О аллах, не делай из меня неверного! Не отлучи от веры!

Но заклинания эти не помогли мальчику избавиться от мыслей о Михаиле и Хисматулле, о том, кто же прав, — они или баи и царь. От тоски Загит начинал петь, и пел долго и протяжно, прислушиваясь к лесному эху, повторяющему слова его грустных песен. Он чувствовал, что сердце его разрывается от горя, и, когда боль в груди, поднимаясь все выше, останавливалась у горла, мальчик бросался в высокую траву у подножия деревьев и громко плакал, то призывая на помощь аллаха, то умоляя хозяина горы спасти его, оставить навек при себе в этом лесу вместе с птицами и зверями. . .

XVII

Снова погрузив на телеги косы, грабли, деревянные вилы и домашний скarb, люди переехали на сенокос. Опять растянулся по дороге длинный обоз, оводы и слепни тучами взвивались над повозками, лошади размахивали хвостами, испуганно ржали жеребята, плакали маленькие дети.

Те, у кого не было скота, остались жить на старом месте. Хаким со своей семьей тоже не стал переезжать, тем более что их сенокос находился недалеко, а Мугуйя день ото дня чувствовала себя хуже и опять, как зимой, лежала на нарах без движения.

Хажисултан-бай расположился на том и на другом пастбищах. Старшую жену, Хуппинису, часть скота и нескольких работников он оставил на весеннем джайляу, а сам с младшими женами переехал поближе к летнему. Наезжая время от времени на стойбище, он всегда бывал чем-то недоволен и ругал всех подряд — табунщиков, косцов, работниц, доивших кобыл и коров, делающих кумыс, творог и сметану, и прежде всего гнев Хажисултана обрушивался на Хуппинису.

— Куда ты смотрела? — кричал он. — Разве так должна вести себя байбиса, моя старшая жена? О аллах, да ведь это помои, а не кумыс! Двухлетний ребенок и то лучше следил бы за тем, как работают женщины, а ты уже совсем никуда не годишься — только и знаешь, что лежать на нарах и жиреть!..

Хуппиниса молчала, но потом, когда Хажисултан уезжал, сама часто ругала работниц, не зная, на ком сорвать злость, но делалось все это как-то само собой, не нарочно, а отругав одну из женщин так, что у той от стыда начинали гореть уши, она уходила в летник и плакала. «Хоть бы алла взял меня к себе, — думала старая женщина. — Ведь я никому не нужна на этом свете — ни мужу, ни его женам, ни своим детям... Зачем я живу на свете?» Но мысли эти появлялись и исчезали за домашними хлопотами и заботами, — слишком уж много их было в эту летнюю пору...

Наконец наступил день варки — самый большой праздник для детворы. Как воробьи, кучками собирались они возле работниц, кричали и прыгали, носясь с места на место. Даже Мугуйя в этот день отпустила Аптрахима полакомиться, вместе с Аптрахимом увязалась и Гамиля, хотя отец, уходя, строго-настрого запретил ей отлучаться из дому и велел сидеть возле Мугуйи и ухаживать за ней. Но когда из летников вынесли большие деревянные чаши и бочонки с эркет, кислым молоком, много дней копившимся там, и Аптрахим с радостным визгом кинулся навстречу женщинам вместе с другими ребятишками, Гамиля не выдержала. Сложив руки, девочка повернулась к лежавшей на нарах Мугуйе:

— Пожалуйста, отпусти меня на немного! Вот на столечко, — девочка показала матери мизинец. — Я мигом, только посмотрю — и обратно!

Мугуйя ничего не ответила ей, даже не цыпелилась, и девочка, ступая на цыпочках, вышла из юрты, а через минуту уже мчалась со всех ног туда, где варили эркет, где так весело кричали и прыгали ее сверстники и сверстницы.

Вывалив эркет в большие чаны, женщины начали помещивать густую белую массу. Сверху в чанах глыбами всплывала губчатая легкая пена, и ребятишки, набежавшие с ложками, пробовали ее. Когда же сваренный эркет залили в мешочки и повесили на сучья, от детворы совсем не стало отбоя. Разинув рты, они становились под мешками, стараясь поймать струйку сывотки, толкая друг друга, пыхтя и испуская победные вопли, если удавалось хоть на секунду перехватить тоненькую голубоватую струйку губами. Но самое интересное — приготовление курута — было впереди. К середине дня сывотка перестала капать из подвешенных мешков, и женщины, сняв их, принялись месить творог, посыпая его солью. Гамиля подбежала к одной из них:

— Апакай, апакай, дай попробовать немножко курута!

Аптрахим, державшийся возле сестры, тоже заляччил:

— И мне дай попробовать!

Женщина, не обращая внимания на ребятишек, продолжала месить.

— Видишь, апакай, ты сама не пробуешь и нам не дашь,— лукаво продолжала Гамиля.— А вдруг он слишком кислый получится?

— Да, да, а вдруг получится кислый? — как эхо, повторил Аптрахим.

Работница старалась не смотреть на детишек, но они были так настойчивы и неотвязны, что женщина не выдержала и улыбнулась.

— Вот вы какие попрошайки! — сказала она полусердито-полуласково. — Вам бы лишь живот набить, а если байбисэ увидит!

— Ее нет, она в юрту пошла! — заговорщически прошептала Гамиля.— Дай немножечко, всего один кусочек!

— Один кусочек! — повторил за сестрой Аптрахим.

— Идите, идите отсюда! Только мешаете!

— Ах, какая ты жадина! — крикнула Гамиля, отскочив на безопасное расстояние.— Давно бы уже дала, пока байбисэ нет а ты просто жадина! Жадина!

Быстро оглянувшись и увидев, что Хуппинисы действительно нет поблизости, женщина сунула ребятишкам по кусочку сырого курута. Те закричали:

— Спасибо! Спасибо!

— Ладно, бегите отсюда! — замахала руками женщина.— Ремня на вас нету, попрошайки!

Тем временем работницы вывалили в чаны эркет, и Гамиля с Аптрахимом снова побежали пить сывотку. Рядом с мешками уже поставили лаш — высокое, на четырех колыях, решето из жердочек и лучинок, связанных между собой; здесь сушились на солнце приготовленные головки курута.

Один из мальчиков схватил целую головку и побежал в чашу. Почти тотчас из дверей юрты выскочила Хуппиниса с кочергой в руке. Размахивая ею, она побежала вслед за мальчиком, громко крича:

— Разбойник! Ну погоди, поймаю тебя, так уши надеру, что до земли отвиснут! И родителям скажу!

Босые пятки мальчугана замелькали еще быстрее, и Хуппиниса, убедившись, что его не догнать, остановилась, все еще размахивая кочергой и тяжело дыша. Но не успела она отдышаться, как ноги сами понесли ее обратно к юрте: на решете с курутом лакомилась целая стая трясогузок. Помахивая хвостиками, они хватали кусочек побольше и быстро улетали прочь. Охая и кляня крылатых воришек, Хуппиниса села у решета и положила кочергу рядом с собой.

— С места не сойду, — проворчала она. — Что же это будет, если курут станет исчезать прямо у меня на глазах, будто его и не было? Может быть, прикажете над очагом лаш устраивать, несмотря на летнее время?! Кому же тогда, интересно, влетит от моего мужа за то, что курут закоптелый, а? Я спрашиваю, кому?! — Она вздохнула, отвернувшись от ребятишек и тут же вскочила на ноги с громким криком.

Но было поздно. Коршун камнем упал возле изгороди и тотчас взмыл, держа в клюве цыпленка.

— Ты что, ослепла? — обрета дар речи, завопила Хуппиниса на мгновенно съжившуюся работницу. — Ротозейка! Не можешь даже за цыплятами посмотреть! Да я так по миру с вами пойду! — чуть не плача, причитала она. — Ну, что я опять скажу мужу, когда он придет? Что я ему скажу?! ..

Убежав от Хуппинисы, ребятишки снова собрались вместе. Съев последний кусочек курута, Аптрахим слизал прилипшие к ладоням крошки и сказал, поглядев на сестру:

— Теперь на реку пойду, а ты со мной не ходи, мы там купаться будем!

— Почему это мне с тобой нельзя? — запротестовала Гамиля. — Везде можно, а на речку нельзя!

— Нельзя! — повторил Аптрахим, насупившись. — Тебе отец что велел? Дома сидеть, маму сторожить! А мне везде бегать можно, меня отпустили... — И, не выдержав своей важности, Аптрахим высунул язык.

— А вот и пойду! — тоже высунув язык, заявила Гамиля.

— А я на тебя отцу пожалуюсь! — в тон ей ответил Аптрахим. Он боялся, что мальчишки будут дразнить его за то, что он ходит с сестрой; и так уже младший сын Ягуды-агай сказал ему сегодня: «А ты, малай, как всегда, с нянькой?» — и засмеялся так ехидно, что Аптрахим покраснел и скорее спрятался за спины других мальчишек.

— Такой, да? .. — обиженно заныла Гамиля. — Как курут тебе давать — так сестричка, сестричка, а как на речку идти — так отцу пожалуюсь! Ну, погоди, сделаю я тебе что-нибудь в следующий раз... Никогда больше ничего не дам!..

— Ну и не давай! — весело сказал Аптрахим, поняв, что сестра не решится идти с ним. — Не дашь — я отцу на тебя пожалуюсь, сама пожалеешь!

— Ябеда! — презрительно сказала Гамиля и передернула худенькими плечиками, на которых стоймя висело длинное темное платье, перешитое еще из маминого. — Ябеда-беда, козлиная борода! И не подходи ко мне больше, и не проси у меня ничего, понял?

И, круто повернувшись, девочка решительно пошла к стойбищу. И хотя на душе у Аптрахима немножко ныло оттого, что он поссорился с сестрой, и хотелось окликнуть ее, он не стал этого делать, а тоже повернулся и пошел в ту сторону, где собирались мальчики. «Привыкнет — так и будет хвостом ходить, — думал он, стараясь оправдать себя. — Разве женщинам место среди мужчин? ..»

Ребятишки задирали головы, следя за коршунами, которые плавно кружились над верхушками деревьев.

Вдруг один из коршунов упал вниз. Когда он взмыл в воздух, за ним с криком и щебетом взлетело множество маленьких птиц.

— Птенца схватил, — со знанием дела сказал сын Ягуды-агая.

— Вот и не птенца! Вот и не птенца! — закричал Аптрахим, стараясь переспорить его.

Сын Ягуды-агая даже не посмотрел на него и, сплюнув в траву, быстро пошел вперед. Аптрахим подавленно замолчал.

Наконец впереди, в просветах между деревьями, заблестела золотая на солнце вода Юргашты. Мальчики наперегонки побежали к берегу, крича и размахивая руками, и, как ни старался Аптрахим добежать первым, сын Ягуды-агая опередил всех.

Присаживаясь на корточки, ребята подсовывали руки под плоские камни и коряги осторожно, стараясь не спугнуть рыбу. Аптрахим тоже залез в воду, руки мальчика покрылись мурашками от холода, но, видя, что сын Ягуды-агая все еще ищет, он не выходил на берег. Обшаривая очередную корягу, мальчик вдруг ощутил какое-то движение у пальцев, и в следующую минуту руки его уже держали скользкую, вырывающуюся рыбу.

— Нали-им! — что было силы завопил Аптрахим. Ребятишки с криком бросились к нему.

— Так, — прерывисто дыша, сказал сын Ягуды-агая. — Самое главное, держи крепче, понял? Как схватишь, прямо протрусь в жабы пальцы и тащи! Не бойся, я тебе помогу!

— Тут скользко, — вспотев от напряжения, ответил Аптрахим. Он медленно нащупал рукой жабы, но только потянул

налима к себе, как рыба сильно дернулась, и мальчик, поскользнувшись, упал на спину. На мгновение над водой показалась большая серая спина налима, и рыба, тяжело шлепнув по воде хвостом, ушла.

Аптрахим чуть не заплакал от досады. Сын Ягуды-агая, стараясь утешить его, сказал доверительно:

— Это что, вот я в прошлом году знаешь какого налима упустил! Хочешь, завтра вместе пойдем ловить, вдвоем, хочешь?

— Ладно, — буркнул Аптрахим, стараясь скрыть радость. — Когда?

— Да хоть с утра! Отпустят тебя?

— Не отпустят, так я сам себя отпущу! — хвастливо сказал Аптрахим.

Отчаявшись поймать что-либо крупное, мальчики решили глушить пескарей и мальков. Сходясь с разных сторон, они вовсю молотили по воде руками и ногами, пугая рыбу, а затем, когда круг сузился, стали кидать в него камни. Оглушенные рыбешки всплывали вверх.

Ребята сложили большой костер и, собравшись вокруг него, начали поджаривать пескарей, нанизав их сразу по нескольку штук на ветки и держа над огнем. В воздухе так вкусно запахло, что проголодавшийся за день Аптрахим стал в нетерпении приплясывать на месте. Глядя на порозовевшие спинки рыбешек, он даже забыл о сыне Ягуды-агая и завтрашней рыбалке.

Сильный порыв ветра отбрасывал дым костра то в одну, то в другую сторону, и, не успев вовремя отступить, Аптрахим вдруг почувствовал, как что-то больно кольнуло его в глаз. Он потер глаз рукой, но это не помогло, тогда мальчик присел у костра на корточки и быстро-быстро произнес:

— Мне в глаз попала соринка, а старухе — вошь! Выпь, вынь, баба-яга костяная нога!

— Попробуй потри глаз в сторону носа, обязательно выйдет! — уверенно сказал стоявший рядом мальчик. — Моя мама всегда так делает! Этого способа никто, кроме нее и старухи Камар, не знает!..

— Подумаешь, старуха Камар! — возразил его веснушчатый приятель. — Что она знает?

— Кто?! Камар-эби не знает?! Да она, если хочешь, в лягушку тебя превратит!..

Пока ребята спорили, то ли оттого, что Аптрахим долго тер глаза, то ли от дыма, соринка вытекла со слезами, и хотя веко внутри все еще покалывало, но уже не так, как раньше. Аптрахим открыл глаза и вдруг увидел, как коровы, которые до этого спокойно паслись на ближней поляне, вдруг подняли хвосты и гурьбой кинулись к юртам.

— Что это?.. — ошеломленно сказал Аптрахим, и тотчас же, словно в ответ на его вопрос, где-то недалеко в кустах раздался истощенный крик: «Помогите! Медведь! Помогите!»

Испуганные мальчики, побросав ветки с рыбой и кое-как подобрав одежду, вслед за коровами помчались к джайляу, крича по дороге:

— Скорее! Скорее! Медведь!..

Люди выскакивали из юрт навстречу детям и бежали к реке, кто с топором, кто с вилами. Ребята тоже побежали вслед за взрослыми, держась, однако, в некотором отдалении. Обшарив ближние кусты, люди никого не нашли и уже было обвинили ребят в трусости, как из зарослей уремы, растущей у берега, послышался стон.

Насторожившись и подняв топоры, мужчины пошли к уреме и, пройдя совсем немного, увидели среди высокой ковыльной травы полуживого мальчика с распоротым животом, — он был еще жив, слабо стонал и скрипел зубами от боли, но видно было, что он не проживет и получаса.

— Эй вы, не знаете, чей это мальчик? — крикнул один из взрослых, стоявших в отдалении, детям.

Аптрахим сделал несколько шагов вперед и, вскрикнув: «Мама!», закрыл лицо руками, — на траве лежал сын Ягуды-агая...

XVIII

Поразмыслив, Хаким все же переехал на летнее пастбище, поближе к сенокосу. Мугуйя скоро должна была родить, и он решил, что будет лучше, если он в это время окажется поблизости.

Раньше Хаким пропадал на покосе неделями, теперь же уходил только днем, а вечерами сидел дома. Мугуйя не вставала с постели, лежала на нарах, глядя в потолок, и только изредка окидывала юрту взглядом лишь для того, чтобы убедиться, тут ли Аптрахим.

После случая с медведем Мугуйя так переволновалась, узнав, какой опасности подвергался ее сын, что тревога отныне не покидала ее. Аптрахим же, наоборот, стал чаще бегать из дому, целыми днями он бегал где-то с соседскими мальчишками и возвращался только перед приходом отца. Пока его не было, Мугуйя места себе не находила от беспокойства, так что однажды даже пожаловалась на мальчика Хакиму, хотя это и было не в ее правилах.

— Бегаёт с мальчишками? — удивился Хаким. — Ну и что же? А ты хочешь, чтобы он, как девчонка, рос у твоей юбки? Да ведь тогда из него джигита не получится!

— Я так беспокоюсь... — Мугуйя говорила медленно, с трудом. — Ты же знаешь, что на всех моих детях лежит

песчастье... Наш второй сын умер, и Фарзана тоже... Кроме Аптрахима, у меня никого не осталось...

— Ладно, поговорю с ним, — сказал Хаким, смягчившись от слабого, жалобного голоса жены. — Пока не родишь, будет сидеть у твоей юбки, так и быть!

Однако и после разговора с отцом мальчик убежал из дому, и Мугуйя без конца спрашивала Гамилю:

— Выйди погляди, не идет ли Аптрахим?.. Уже темнеет... Может быть, он сидит во дворе?.. Сходи еще разок, ведь это не трудно...

На девочке лежали теперь почти все заботы по хозяйству. Как у всех женщин в стойбище, день ее начинался рано, и Гамиля с завистью смотрела на Аптрахима, который еще спал, когда она вставала. Достав из мешка сваренный в большом котле и просушенный на солнце овес, Гамиля долго толкла его в ступе, пока зерна не отделялись от шелухи, потом провеивала их в неглубоком деревянном корыте и снова толкла в ступе. Лишь когда сухие, жесткие, как камень, зернышки овса размельчались в крупу, девочка засыпала готовую крупу в котел и варила похлебку, а из шелухи приготавливала квас. Если у нее оставалось время, Гамиля делала из оставшейся крупы муку. Сидя на корточках, она старательно, двумя руками вращала жернова, лицо ее блестело от пота, а руки и спина болели не переставая. Иногда она освобождала одну руку и, взяв новую горсть зерен, сыпала их в отверстие жернова. Если Аптрахим сидел дома, он еще в середине дня начинал канючить:

— Дай хлеба, я хочу есть! Ну, скоро ты приготовишь еду?

— Подождешь! — раздраженно отвечала Гамиля, приглаживая рукой растрепавшиеся волосы. — А не хочешь ждать, так помоги мне! Все равно без дела болтаешься... Мне надо успеть сделать все к приходу отца, понял?

Аптрахим умолкал, но через полчаса снова начинал ныть и наконец, не выдержав, шел к реке, чтобы наловить себе рыбы, или в лес — собирать щавель и кислянку. Иногда он вместе с другими ребятишками толкался возле байской юрты, надеясь, что ему перепадет какая-нибудь работа, за которую дадут хлеба или курута. Байские жены искоса поглядывали на стоящих у изгороди бедняцких детей и по очереди пили кумыс из чашки, а дети не спускали с них глаз, переговариваясь шепотом обо всем, что видели.

— Слушай, — толкал Аптрахима в бок кто-нибудь из мальчиков. — У них и юрта не такая, как у нас...

— А какая же? — с интересом и некоторым недоверием спрашивал Аптрахим.

— Мне мать рассказывала, она к ним на днях прибирать ходила, — возбужденно продолжал мальчик. — В передней

половине старые жены с детьми живут, а в горнице — сам бай с одной женой, самой молодой!

— А какая из них самая молодая? — вмешивался в разговор третий мальчик.

— Не знаю, наверно, вон та...

— Нет, я знаю какая, я знаю! Вон слева сидит!

— Может, у них и чувал с дымоходом? — спрашивал Аптрахим.

— Нет, что ты! Чувал у них, как и полагается на джайляу, без дымохода... Разве ты не знаешь, что дым в юрте очищает женщину от грехов? Если бы еще у него жен не было, а у него вон сколько! Как же бай тогда с ними справится, если дыма в юрте не будет? Ведь когда женщина дыма не нюхает, к ней шайтан пристаёт!

— Откуда ты знаешь?

— Мне отец сказал!

Вот и сегодня Аптрахим пришёл к байской юрте, устав смотреть на то, как мелет овсяную крупу сестра. Все было, как обычно, — жены бая сидели на паласе, а младшая невестка Хажисултана прислуживала им. Аптрахим прижался к изгороди.

— Вроде сегодня баба́ должен приехать, ты не слыхала? — спросила у Хуппинисы невестка. — Если приедет, хорошо бы сделать Хамзе обрезание...

— Что ты! Хамза еще маленький, — удивилась Шахарбану.

— Ну и что же, что маленький? Маленькие легче переносят! Ты что, думаешь, что я своего сына хочу неверным воспитать, без обрезания? Да и потом, говорят, у Сабир-бабы́ рука легкая, из ста только один умирает...

Услышав слово «баба́», мальчики, стоявшие у изгороди, попятись и, отойдя потихоньку, чтобы не потерять достоинства, припустили к своим юртам. Аптрахим не замедлил последовать их примеру.

Тем временем байские жены, съев принесенное невесткой мясо, перешли под дерево, в тень, так как солнце стало сильно припекать, и замолчали, жуя кислую серу из лиственничной смолы. Хуппиниса подозвала к себе невестку:

— Ты самовар поставила?

— Поставила...

— А поставила варить суп для моего мужа? Ведь он уже скоро вернется, и ему надо сразу подать еду!..

Молодая женщина кивнула головой.

— Ну тогда вот что, пока твой сын спит, приberi в комнате у моего мужа...

Невестка покорно склонила голову и пошла в юрту. Ее мучило уже от жары и раздражения, но она постояла так с минуту, оглядывая юрту, и успокоилась. Зачем гневить аллаха? Она

живет лучше и сытнее, чем тысячи и тысячи других женщин, ей грех жаловаться на судьбу...

Прибрав в горнице, невестка снова возвратилась во двор и подошла к котлу, в котором кипятили только молоко, разжигая очаг одной берестой. Оглянувшись на палас под деревом и увидев, что жены бая уже уснули после сытного обеда, она протянула ложку и зачерпнула немного сливок.

— Поди сюда,— тотчас окликнула ее Хуппиниса.— Ты убрала в комнате моего мужа?

Невестка кивнула головой.

— Тогда стопи старое масло, а то оно уже начинает портиться...

— Хорошо,— послушно сказала молодая женщина.

Шахарбану, лежавшая рядом с Хуппинисой, заворочалась, приподнялась на локте и, недовольно посмотрев в сторону невестки, пробурчала:

— Только задремала, как опять разбудили... Неужели нельзя потише разговаривать?!

Она поправила подушки, перевернулась на другой бок, и уже через минуту оттуда, где она лежала, донеслось громкое и старательное сопение — Шахарбану наконец удалось уснуть. Хуппиниса вздохнула и тоже закрыла глаза.

XIX

Более полугода просидел в тюрьме Хисматулла. После этого он пытался устроиться работать на приiske, но ему отказали, и старатели, боясь испортить отношения с администрацией, держались с ним осторожно и отчужденно. Даже Кулсубай не захотел с ним разговаривать.

— Иди, иди,— махнул он рукой.— Ты же знаешь, что у меня большая семья, я не могу рисковать...

Только Михаил, недавно выпешедший из заключения, встретил его добро и весело.

— Что, браток, и ты в черный список попал? Ничего, все образуется! Ты пока вот что, езжай-ка в деревню, не мозоль им глаза, а осенью вернешься.

По совету Михаила, вернувшись в Сакмаево, Хисматулла не устраивал больше собраний у себя дома, и сам почти никуда не ходил.

«Видно, поумнел парень,— наблюдая за ним, думал Хажисултан-бай.— Хорошо бы привлечь его на свою сторону...» Через Сайдеямал он пригласил Хисматулла на умэ — сенокосную помощь¹, Хисматулла согласился.

¹ Помощь односельчан за угощение.

В день помочи па джайляу просыпались рано. С вечера отточив косы, не ожидая, когда высохнет роса, затемно выходили гурьбой в поле. Лапти тут же становились мокрыми, от прохладного ветра по спине бежали мурашки, но скоро на востоке вслед за розовыми облаками поднимался ослепительный круг солнца, и луг словно оживал — на траве яркими светлячками блестела роса, тени углублялись и тянулись от сосен и елей и старых берез почти до середины поляны.

Хисматулла пришел на луг одним из первых и остановился на верхнем конце поляны, оглядывая его. Густая высокая трава, покрытая пенными всплесками ромашек, красным клевером, желтыми лютиками и синими глазками лесных присов, тихо покачивалась на ветру, как бы зная, что это последний день ее жизни. Внизу, в густом кустарнике, звонко журчал по камням маленький горный ручей, высоко в небе заливался краснозобый лесной жаворонок, медленно и томно подавала голос из чащи пищуха, то и дело выпархивали с ветки на ветку синички. Изредка в глубине леса скрипуче кричал коростель, и Хисматулле впервые в жизни стало жалко валить эту нетропую девственную красу...

Косари цепью растянулись по поляне. З-з-з-жи! З-з-з-жи! — звонко запели косы. С каждым взмахом рук подкошенная трава падала на землю и укладывалась в ряды.

Хисматулла шел первым, но, уже пройдя половину ряда, почувствовал усталость. Он не оглядывался, но услышал за спиной приближающийся звук чужой косы. Сосед поравнялся с Хисматуллой и крикнул:

— Эй, браток! Отдавай свой ряд, а то ноги отрежу!

Хисматулла уступил ему свой ряд, но не успел сделать и десяти взмахов косой, как сзади снова крикнули:

— Береги пятки!..

Двое, обошедшие Хисматуллу, были самыми ловкими и сильными косарями, поэтому Хисматулла не прекословил им и сразу уступил дорогу.

Хисматулла поднял голову и отер пот с лица и, увидев конец рядов, усмехнулся: «Ну и хитер этот Хажисултан — и здесь приманку повесил!» В тени на ветке дерева болталась большая желтая длинная связка кренделей. Косари, которые кончат ряды первыми, получают эти крендели в придачу к чашке айрана — кислого молока. Тем же, кто придет последним, дадут только айран. Да разве дело в айране? Сколько насмешек выслушает тот, кто придет последним!

К обеду стало сильно припекало. Рубашка Хисматуллы стала мокрой от пота и прилипала к телу, губы стали солеными, в глазах мутилось от усталости, но, несмотря на это, он продолжал ритмично взмахивать косой, не желая отставать от товарищей.

Один лишь Хаким не косил, зато у него было много другой работы — с утра, по указанию бая, он зарезал для угощения косарей яловую кобылу, помог женщинам чистить в ручье потроха и требуху, приготовил таганцы, повесил котлы, привел в порядок все ведра, исправил грабли, заготовил несколько деревянных вил и точил косарям притупившиеся косы. Делая все это, он все время наблюдал за беременной женой, которая, несмотря на уговоры, вышла сегодня на луг.

— Нехорошо сидеть дома в день помочи, — сказала она, улыбаясь бледными, бескровными губами. — Может быть, я помогу совсем немножко, но люди не будут думать, что я ленивая...

Перекусив, косари снова принялись за работу. Хаким взял вилы и стал копнить. Скошенное неделю назад сено было сухое и душистое, пыль от него летала в воздухе, набивалась за воротник, оседала на лице. Мугуйя убирала оставшееся за мужем сено, а пятилетний Аптрахим, сидя верхом на лошади, возил копны к стогу, вцепившись обеими руками в гриву, делая вид, что он нисколько не боится упасть.

Мугуйя с большим, выступающим вперед животом то и дело останавливалась, чтобы передохнуть, и, ласково улыбаясь, глядела на сына. Щеки ее покрылись легким румянцем, волосы выбились из-под платка. Вдруг Аптрахима подбросило на лошади, и он сполз на бок, изо всех сил пытаясь удержаться на ее спине.

— Отец, он упадет! — крикнула Хакиму Мугуйя и, побледнев, опустилась на землю.

— Что ты? — спросил подбежавший Хаким, но Мугуйя только стонала в ответ. Хаким осторожно поднял ее и повел к шалашу. Маленький Аптрахим, соскочив с лошади, помчался вслед за ними.

— Позови старшего брата, — крикнул ему Хаким, — пусть хотя бы он идет на помощь, а то еще дармоедами назовут!..

Загит быстро согнал кобыл в загон, развел дымник, укоротил поводья, привязывавшие жеребят, и, показав отцу на висевшее перед шалашом лассо, побежал к стогам.

Мужчины громко смеялись, но, увидев приближающегося мальчика, затихли, и Загиту стало неудобно и стыдно. «Может, они про меня или про отца?» — подумал мальчик. Не смея взглянуть на вспотевших косарей, он нерешительно приблизился к стогу. Один из работников, воткнув вилы в бок сложенного до половины стога, крикнул ему: «Залезай наверх!», и Загит по длинной ручке вил стал карабкаться на стог. Пока взрослые отдыхали под тенью березы, он плотно утоптал только что сложенное сено и стоял наверху, не зная, что делать дальше.

Отсюда хорошо виден был весь луг, более чем наполовину скошенный, с горбами несметанных стогов, и рубахи косарей,

равномерно удаляющиеся к лесу на другом конце поля, мужчины, пившие айран под деревьями, яркие цветастые платья женщин, убиравших в лесу сухие ряды.

— Эй, идите сюда! — крикнул один из мужчин, сидевших под березой.

— Это еще зачем? — звонко откликнулась одна из женщин.

— Кажись, Гульямал! — косарь толкнул в бок соседа. — Где Хисматулла, там и она, как тень таскается! — Он опять повернул голову в сторону леса и крикнул, сложив ладони ру-пором: — Идите, айраном угощу!

Эхо на разные лады повторило его голос, но женщины больше не откликались.

Тем временем стогующие снова взялись за вилы, и стоящий паверху Загит еле успевал подхватывать граблями охапки сена. Мальчик весь вспотел и крутился на стогу как волчок, но иногда все же не успевал повернуться вовремя, и подброшенное сено, рассыпаясь, летело вниз. Наконец стог из двадцати копен был уложен, и Загит, сложив крест-накрест сверху стога четыре длинные, попарно связанные ветки черемухи, спустился вниз по веревке.

— Молодец, умеешь работать на вершине! — хлопнув его по плечу, сказал один из работников.

— Жаль, что у меня нет дочки, а то взял бы тебя в зятя! — пошутил другой.

Загит покраснел так, что уши его стали малиновыми, но был доволен тем, что взрослые похвалили его. Стогующие перешли на другое место и поставили еще один треножник для стога. Загит, чтобы не оставаться без дела, соорудил поддувало из березовых веток, чтобы сено оставалось всегда сухим.

Когда новый стог был сложен наполовину, Загит опять поднялся наверх. Мужчины больше не стеснялись его и говорили о своих делах так, как если бы мальчика не было поблизости.

— На приiske такая баба живет недалеко от конторы, — начал один из мужиков с реденькой бородкой, бросая вверх охапки сена, — в любое время к ней приди, и получишь все, что хочешь! Всю зиму, чуть что, — к ней бегал! Поссорюсь с женой — бегу, выпить хочется — бегу, а если просто плохое настроение — опять бегу. — Мужики засмеялись.

— Я тоже так однажды к одной бегал, а что получилось? — сказал второй. — Когда я отказался на ней жениться, она пришла к моей матери, и нам пришлось платить за позор! Так возненавидел ее, что после этого даже этот дом стороной обхожу!

— Ну, так твоя только с тобой ведь путалась, а эта со всеми! ..

— Хватит лясы точить! — прервал его седой широкоску-лый работник. — Видите, туча наплывает? Надо торопиться!

Духота стояла такая, что было трудно дышать. Мужчины стали работать еще быстрее, вилы так и летали в воздухе. У Загита даже штаны взмокли от пота. Мальчик тяжело дышал, открыв рот и тревожно поглядывая на северную сторону неба, откуда надвигались на поляну свинцовые тучи.

Вдруг из леса на всем скаку выскочил верховой и резко осадил коня.

— Война! Война! Ерманский царь нашему расейскому царю войну объявил! — выпалил он одним духом и поскакал дальше.

Точно подтверждая его слова, вдалеке загрохотал гром. Сильный ветер, налетев, согнул деревья, листья буйно затрепетали, заскрипели стволы, по полю клочками летело сухое сено.

— На все воля аллаха, — опустив голову, сказал седой старик, и глаза его влажно заблестели. — Опять отнимут у нас наших сыновей, а все потому, что никто уже не чтит аллаха, как раньше. . . Вот он и посылает нам наказания за то, что мы связались с неверными! . . .

Схватив вилы и грабли, работники побежали к лесу. Ветер усиливался с каждой минутой.

Загит уже почти подбежал к шалашу, когда на лицо ему упала первая капля дождя. Грянул гром, небо прочертил ослепительно и грозно яркий зигзаг молнии, и дождь хлынул как из ведра. Перепрыгивая через маленькие ручейки, весь мокрый, Загит добрался до шалаша и, влетев, стал отжимать рубаху и штаны.

XX

Все происходящее казалось Хисматулле сном. Война! Даже мысль о ней казалась дикой и чуждой здравому смыслу, особенно сейчас, во время сенокоса, в эти жаркие дни, полные пряными запахами горных трав, криком птиц, смехом молодых женщин, убирающих сено, солнцем и небом над старыми деревьями, прохладной лесной тенью. Целую неделю не было никаких новых вестей о войне, одни разговоры, и Хисматулле казалось иногда, что кто-то сыграл с людьми злую шутку, объявив им эту горькую весть, чтобы испортить сенокос. . .

Однако когда через несколько дней в Сакмаеве объявили о мобилизации из деревни двадцати двух человек и Хисматулла оказался в их числе, двадцать два дома погрузились в траур: плакали матери, провожая сыновей, плакали жены и невестки. Плакали дети, провожая отцов, плакали Сайдеямал и Гульямал. В день отъезда новобранцев люди бросили сенокос и пастбища, каждый старался подойти к родственнику или соседу, дать совет, сказать на прощанье несколько теплых,

ласковых слов, — кто знает, придется ли еще когда-нибудь свидеться!..

Улица была полна народу, в толпе вокруг телег вертелся староста Мухаррам. У одной из телег возле молоденького, лет восемнадцати, парня, всплескивая руками и отирая набегавшие на глаза слезы, стояла молодая женщина.

— Говорила я тебе, сходи к старшине, сходи! — жалобным голосом говорила она. — Ведь свой человек, помог бы, ох, сынок, сынок, почему ты не слушаешь меня? Ну, хочешь, я с ним поговорю?

— Не надо, мама! — парень густо краснел, оглядываясь на соседей и пожимая плечами: мол, видите, ничего с ней не поделаешь!..

— Ну позволь, я схожу, я уговорю его, — продолжала женщина. — Ведь у тебя еще и годы не вышли, ты и ружья в руках не удержишь!..

— Удержит, как не удержать! — заметил проходивший мимо староста. — Разве он младше моего сына? Ведь и я своего не пожалел для царя и веры, посмотрите-ка на него! Какой мой сын, а? Сокол, настоящий сокол! Вдруг офицером вернется, вот слава будет.

Увидев Хисматуллу, стоявшего рядом с матерью и Гульямал, он важно кивнул ему:

— Присматривай за моим сыном, ведь ты старше его! Да не забудь, брось свои здешние повадки, не забывай о том, кому ты служишь!

— Я-то знаю, кому служу, — спокойно ответил Хисматулла. — А вот ты анаешь ли?

Мухаррам поспешно скрылся в толпе. Когда новобранцы стали грузиться на телеги, шум и крики усилились еще больше. Лошадям как будто передалась тревога людей, они забеспокоились, ржали; курносый парень с опухшими и красными от плача глазами закричал, размахивая войлочной шляпой:

— Прощайте, братцы! Ерманскому царю на пельмени едем!

— Не говори так, дитя мое, — успокаивала его мать. — От своей судьбы никуда не уйдешь!

Народ все прибывал, люди давали отъезжающим хлеб, деньги, нитки, мыло — все, что могли. На задней телеге, куда сел Хисматулла, собрались те, у кого не было родных, или же те, у кого их было мало. Гульямал, еще удерживая слезы, стояла рядом, сжав руки в кулаки так, что они побелели. Сайдеямал не плакала, а только смотрела, не отрываясь, на сына.

— Много горя я тебе принес, мама, — сказал Хисматулла. — Опять ты остаешься одна... Как ты будешь жить?

— Не волнуйся обо мне, сынок, думай о себе, — отвечала Сайдеямал. — В миру и воробей выживет, ничего со мной не случится!..

— Покамест я дома, буду бабушке помогать,— сказал появившийся около телеги Гайзулла.

Хисматулла невесело улыбнулся и погладил мальчика по голове.

— На аллаха вся моя надежда.— Старая Сайдеямал опустила голову, и руки ее бессильно повисли вдоль черного платья.— Днем и ночью буду просить всемогущего, чтобы мой сын вернулся живым и здоровым!

Передняя телега дернулась, и лошадь медленно дотянула ее сквозь толпу. Следом за ней двинулись остальные. Женщины заголосили и бросились вперед, стараясь последний раз дотронуться до родных, кричали вразнобой:

— Возвращайтесь скорее!

— Пусть сам Хызыр, ангел бессмертия, будет вашим спутником!

— Берегите друг друга!

— Да поможет вам аллах победить неверных и вернуться живыми!

Миновав толпу, лошади пошли быстрее. На краю деревни провожающих стало меньше, а когда повозки поднялись по каменистой дороге через березняк на гору, отстали и старая Сайдеямал с Гайзуллой. Одна лишь Гульямал, прикрыв лицо платком, упрямо продолжала шагать за последней подводой и, лишь когда передние телеги скрылись в лесу, подбежала к Хисматулле, быстро обняла его и отпрянула. Кинув ему маленький узелок, она заплакала навзрыд и бросилась в лес.

— Пстой! Обожди! — крикнул Хисматулла, но Гульямал даже не обернулась.— Пстой! — крикнул он снова.

«О-ой!» — отозвалось эхо.

Парень быстро соскочил с телеги, не зная, кричать ли ему или бежать за Гульямал. Потом, хлопнув с досады себя по колену, он догнал телегу.

«Дурак, какой же я дурак! Ни одного слова сй не сказал, а ведь, если бы не она, меня бы, может, уже в живых бы не было!.. Почему я всегда думаю только о себе?» Хисматулла готов был расплакаться. Сидевшие рядом с ним рекруты насмешливо поглядывали на него.

Телеги с шумом и грохотом катились по дороге, то въезжая в березовую чащу, то поднимаясь в гору, то переезжая мелкие ручьи вброд. Скоро кто-то из рекрутов запел тонким, протяжным голосом:

Как за Бишитэк-горою солнышко встает,
Над моей Кэжэн-рекою соловей поет...

Горечь сердца зажигает, грудь теснит тоской,
Тяжко-тяжко расставаться с милой стороной...

Если я в живых останусь — я вернусь, Урал!
А заденет злая пуля — так прощай, Урал...

Остальные рекруты подхватили песню, и она отзывалась эхом в горах. Немного успокоившись, Хисматулла развернул узелок, который бросила ему Гульямал. В кисете, вышитом бисером и цветным сукном, лежала десятирублевка и тщательно свернутый клочок бумаги. «Любимый, прощай, не забывай меня», — прочел Хисматулла, и ему стало еще тоскливее...

К вечеру обоз с рекрутами подошел к поселку Кэжэнского завода. Начал моросить мелкий дождь. Дожидаясь своей очереди во дворе, где находилась медицинская комиссия уезда, Хисматулла продрог. Наконец рекрутов впустили в дом. Первым к столу фельдшера подошел сын бая.

— Кто таков? — спросил фельдшер. — Как зовут?

— Шайахмет, — тихо ответил парень.

Фельдшер поднял голову от бумаг:

— Хажисултанкин сын?

Шайахмет утвердительно кивнул головой.

— Можешь не раздеваться, я тебя еще в прошлый раз проверял, когда ты с отцом приезжал на базар. Езжай домой!

Шайахмет оторопело стоял посреди комнаты. Он хорошо помнил, что никогда не приезжал с отцом на базар и не проходил никаких комиссий. К тому же он был здоров и никогда не болел. «Видно, отец договорился с ним, — сообразил парень, — иначе зачем отец велел бы мне купить чаю на обратном пути?»

— Ты что, глухой? — снова сказал фельдшер. — Или я плохо говорю? Так я могу сказать еще раз — ты больной, к военной службе не годен, понял? Ступай отсюда, не мешайся! Чья очередь!

— Моя, — ответил стоявший у стены худой парень, у которого от волнения дергалось левое веко.

Фельдшер нагнулся над бумагой:

— Фамилия?

— Якшибаев.

— По-русски понимаешь?

— Уруски понимай, фамилия моя уруски Хорошобогатов.

— А кто такой Якшибаев? — пожав плечами, спросил фельдшер.

— Я!

— Почему же у тебя две фамилии?

— Якшибаев — по-башкирски, Хорошобогатов — уруски, — с трудом произнося слова, сказал парень.

Фельдшер и сидящий за столом лысый унтер от души расхохотались.

— Годен!

Якшибаев согнулся, схватившись руками за голый живот:

— Моя болит, ой-ой! Моя армия не пойдет...

Он жалобно заглядывал в глаза фельдшеру, но тот пригласил к столу следующего.

Следующий парень был хромой. Фельдшер постучал кончиками пальцев по его худой груди, приставил к ней свою трубку, послушал и повернулся к лысому унтеру:

— Годен!

— А как же нога? — растерянно спросил парень.

— Иди, иди, там вылечат, — ответил фельдшер.

Из двадцати двух рекрутов лишь сын Хужисултана-бая был признан негодным к военной службе...

На следующий день рекрутов из Сакмаева и других деревень выстроили во дворе, лысый унтер проверил их по списку и повел трактом в Белорецк. Он то и дело останавливал колонну и приказывал не шуметь и держать строй, но как только рекруты трогались с места с мешками на спине, в худой и рваной одежде, в лаптях, строй снова нарушался, и все шло гурьбой, кто как хотел. Они напоминали стадо, которое гонят на убой...

XXI

Еще вчера стояли тихие солнечные дни, в воздухе летала серебристая паутина, порошила багряная листва, вылинявшее за лето небо наливалось осенней синевой; еще вчера летели на юг иволги и стрижи; еще вчера с тоскливым курлыканьем проплывали над лесом треугольники журавлей, как вдруг посыпал мелкий морозящий дождь, и лес будто ушел под воду, сильно похолодало, и стало ясно, что зима уже не за горами.

Семья Хакима дольше других задержалась на летнем пастбище — Хажисултан не все косяки перегнал в Сакмаево.

Загит еще продолжал пасти дойных кобыл, а Хаким почти все время сидел около Мугуйи, которой день ото дня становилось хуже.

Под вечер Загит согнал кобыл за изгородь, закрыл жердями выход и, промокший насквозь, залез в сделанный наспех шалаш возле старой развесистой березы. Чтобы согреться, он натаскал из копны сухого сена и зарылся в него с головой. Он долго дышал на озябшие руки и дрожал, пока сон не сморил его.

В полночь он проснулся от дикого воющего крика и спросонья не сразу догадался, что это кричит мачеха. Не попадая зуб на зуб, он выскочил из шалаша и тут же увидел Мугуйю. Она лежала недалеко от юрты, обхватив ствол старой березы, кричала в крик и царапала кору дерева. Около нее суетился и что-то бормотал Хаким.

— Беги за Карибой-эби! — увидев сына, приказал он. — Но сначала помоги мне занести ее в юрту!.. Она не хотела пугать детей и выползла, когда я задремал...

Загит, едва они с отцом уложили Мугуйю, бросился к дальней, за поляной юрте и скоро вернулся, таща за руку запыхавшуюся повивальную бабку.

Кариба-эби прошептала про себя какую-то молитву, сполоснула руки из кумгана, засучила до локтей рукава и, отодрав колючки репейника с широких штанов, бросила их в огонь. Убрав волосы под платок, она провела руками по лицу и лишь только тогда подошла к роженнице.

— Слава аллаху, пусть он даст вам здоровья и долгих лет жизни! — сказала она. — Когда ты заболела?

— Вчера...

Голос Мугуйи был еле слышен, но стоявшие рядом Гамиля и Аптрахим повторили громко слова матери:

— Вчера!.. Она говорит, что вчера!

— А вы зачем тут торчите? — Хаким обернулся к детям и сердито прикрикнул: — Чтоб духу вашего тут не было!.. Нет с вами никакого лада, с проклятыми!

Дети, а за ними и Загит послушно вышли, но бабка с укоризной и даже с некоторым испугом посмотрела на Хакима.

— Зачем ты так говоришь? А вдруг ангелы в эту минуту скажут «аминь»? — Она покачала седой головой: — Грех так кричать на детей — несчастье в дом накличешь!.. У меня вон их было девятéro, а не осталось ни одного!.. Как подумаю, кто за мной ухаживать будет, кто пить подаст, когда заболею, так страшно делается... Не-ет, дети наша опора, их жалеть надо... Шел бы ты и сам на двор, пока я буду тут возиться с твоей женой!

— Что я, баб не видел, что ли? — рассердился Хаким и, пожалуй, больше всего не на то, что его выставляли, а на то, что зря обидел своих ребят. — Это же моя жена, а не чужая...

— Ладно, сиди, если не стыдно, — согласилась старуха. — Никто твою жену у тебя не отбирает...

Она плюнула на все четыре стороны, подложила под голову Мугуйи старую, рваную подушку и стала неторопливо и бережно раздевать ее.

Хаким отвернулся. Мугуйя так похудела за время болезни, что было непонятно, как в этом худом, костлявом и изможденном теле может еще теплиться новая жизнь.

Кариба-эби провела рукой по большому, вздувшемуся животу Мугуйи, мягко нажала ладонями в нескольких местах и повернулась к Хакиму.

— Ребенка нечистый дух держит, — проговорила она, ставшая вдруг суровой и неприступной. — Неси порох, я заговорю...

Хаким достал из мешка патроны, отсыпал из них дробь, старуха что-то пошептала, сложив ковшиком руки, потом он вставил патрон в ствол и три раза оглушительно выстрелил

почти над самой роженицей. Однако, несмотря на заговоры бабки и старания Хакима, Мугуйе не становилось легче. Она то вскрикивала от боли, то принималась мычать в беспамятстве, то тихо стонала, но перед утром другого дня, когда дети еще спали, а Загит прятался от дождя в своем шалаше, юрту огласил пронзительный, и тонкий и жалобный, крик ребенка.

Кариба-эби подняла на руки маленького, голого, красного человечка со сморщенным личиком.

— Кто? — дрожащим от волнения голосом спросил Хаким.

— А что ты дашь мне за радость, которую я принесла в твой дом? — в свою очередь спросила старуха и улыбнулась беззубым ртом: — Сын у тебя, сын!

— Возьми себе на радость его уши! — ответил шуткой Хаким.

Кариба-эби обмыла младенца, аккуратно перевязала пупок и, запеленав его, осторожно влила ему в рот ложечку топленого масла.

— Мед и масло твоим устам! — сказала она, как повелевал обычай. — Пусть аллах даст тебе много-много счастья! Будь смелым в бою, будь батыром, как Салават!

Хаким принял из рук бабки ребенка, но тот вдруг скривил свое личико и залился истошным криком, точно его чем-то сильно обидели, и Кариба-эби снова начала возиться с младенцем, пока он не притих, положила его рядом с обессиленной Мугуйей. Роженица лежала навзничь на подушках, бледная и потная, казалось, безразличная ко всему — и к плачу ребенка, и к тем, кто ее окружал.

— Значит, нас стало еще больше, — тихо сказал Хаким и, подойдя к жене, провел ладонью по ее щеке. — Только бы ты была здоровой и тогда всем будет хорошо. . .

Мугуйя ничего не ответила, словно у нее не было сил и на то, чтобы произнести хотя бы одно слово, и только большие темные глаза ее не молчали, а говорили о перенесенных страданиях.

— Надо бы попить чайку, — сказал Хаким и обернулся, искал глазами младшую дочь. — Похозайничай, моя умница. . .

Гамиля обрадованно бросилась к самовару, насыпала в трубу углей, живо развела огонь и скоро налила всем по чашке чая.

Кариба-эби тянула чай из блюдца, и бисеринки пота проступали у нее на лбу. Отец пил степенно и как-то отрешенно и задумчиво, словно вокруг него не было детей и жены, а сидел он в одиночестве.

Напившись, все разошлись по своим делам — бабка поплелась к себе домой, отец и Загит ушли к тауну, а Гамиля с Аптрахимом сели играть в кости. И только одна мать по-прежнему была безучастна — лежала на нарах и глядела куда-то

вверх, будто над нею плыли облака и простиралось глубокое, бездонное небо.

Гамиля и Аптрахим так увлеклись игрой, что не сразу слышали слабый, как дыхание, голос матери:

— Доченька, поди сюда...

Гамиля подскочила к нарам, готовая исполнить любое желание, любую просьбу матери, но Мугуйя только взяла ее за руку и вялым движением притянула к себе, коснулась сухими и горячими губами лба.

— Подойди и ты, сыночек...

Аптрахим пошел к нарам боязливо и осторожно, мать положила свою руку на его стриженую голову, но рука ее тут же соскользнула и упала, как плеть, на голые доски. Мугуйя хотела что-то еще сказать детям, но лишь болезненная и вымученная улыбка тронула ее губы. Казалось, она потратила и на эти редкие слова и скупые движения все свои силы и теперь наконец могла позволить себе отдохнуть, отрешиться от многих земных тревог и забот. Она глубоко вздохнула, закрыла восковые полупрозрачные веки и уснула, но так безмятежно и покойно, чтобы больше никогда уже не просыпаться...

Через несколько дней после похорон Мугуйи Загит, несмотря на все уговоры отца, решил уйти на прииск. Он с грустью простился с Гамилей и Аптрахимом, даже зашел в лавку Нигматуллы, где теперь работал его брат Султангали, и, пристроив за спиной мешок, набитый нехитрыми пожитками, зашагал из деревни. Провожал его, как всегда, неизменный и преданный друг Гайзулла.

— А может, зря ты это затеял? — спросил Гайзулла, когда они очутились на краю деревни и наступила минута прощанья.

— А чем мы будем жить тут?.. Я и сам там прокормлюсь и помогу отцу... Надо сестренку и брата поднимать на ноги!

— А Султангали?

— А от него пользы как от козла молока! С тех пор как он связался с Нигматуллой, его не узнать... Стал жадный и злой как черт, — даже не верю, что это мой брат...

Друзья обнялись, оторвались друг от друга, и Загит пошел быстро, будто боялся, что он еще может раздумать и вернуться обратно, а Гайзулла, дождавшись, когда друг скрылся за поворотом дороги, ссутулился и, прихрамывая, медленно побрел в деревню.

XXII

Жизнь на прииске текла серо, буднично, тяжело. Люди жили в постоянном страхе, что их уволят или заберут в армию. Стоило кому-нибудь пороптать, выразить недовольство или обругать мастера, как его тут же отправляли на комиссию, а

оттуда на фронт. А желавших занять свободное место было не мало — безработные старатели с утра до вечера толпились у конторы.

И все-таки бывали дни, когда накопившееся раздражение и злорада на тяжкие условия работы вдруг прорывались, и старатели забывали о всякой осторожности, говорили обо всем, что наболело и рвалось криком из души. Случалось это и в кабаке за бутылкой водки, и в глухом забое, когда они в полумгле разбредались по своим рабочим местам.

Вот и сегодня, когда Сайфетдин и Кулсубай спустились под землю и зашагали по штреку, старый рабочий не выдержал и в сердцах сказал:

— Бежать надо отсюда! Бежать, пока нас не придавило, как мышей в мышеловке!

— А куда? — робко возразил Кулсубай. — Я и так еле получил работу — чуть не целый месяц дежурил у конторы... Да и всюду одно и то же... От судьбы не уйдешь!

— Так-то оно так, а умирать раньше срока не хочется, — Сайфетдин вздохнул и поднял над головой карбидную лампу, освещая забой: — Погляди, все старые крепления совсем сгнили, — неизвестно, как они держатся... Уйдем отсюда! Лучше голодать, чем лишиться жизни...

— Легко тебе рассуждать, а у меня семь душ на шее висят, а восьмого Сара в себе носит...

— Это дети покойного Сагитуллы? — спросил Сайфетдин.

— Раз я живу с ними, значит, мои, — глухо проговорил Кулсубай и отбросил ногой кусок породы. — Они жизнью обижены, и Сара с ними пропала бы, если бы я не оказался рядом... Так уж оно получилось, и, выходит, на роду мне было так написано, чтоб я эти живые души согрел и защитил... А насчет креплений надо самому хозяину сказать, а не с управляющим говорить, который ему глаза замазывает.

— И ты веришь в эти сказки, что хозяин не знает, что тут делается? — Сайфетдин покачал головой: — Эх, Кулсубай, Кулсубай... Неужели ты не понимаешь, что ему все равно — подохнем мы или будем жить? Ему лишь бы золото текло в руки, а на нас он как на рабочую скотину смотрит, — разве мы люди для него?

За разговором они не сразу разобрали, что кто-то кричит из глубины штрека.

— Чьи это огневая? — сердито орал кто-то из старателей. — Почему не убрал никто?

Кулсубай быстро пошел на голос, увидел стоявших у ствола шахтеров, и те зло закричали:

— Ты что — один тут работаешь?

— Почему путаешься у других под ногами и мешаешь всем?

— Ладно, сейчас уберу! — быстро зачастил Кулсубай и стал снимать стойку и подхват с двумя огневами.

Освободившись от груза, длинный канат зашевелился, как разбуженная змея, и, раскачивая на конце железный крюк, медленно пошел вверх. По стволу шахты посыпался песок и мелкая галечка.

— Эй там, осторожнее! — закричали стоящие внизу.

Положив на плечо тяжелое деревянное крепление, Кулсубай, как крот, пополз по длинному и узкому штреку, то и дело задевая головой верх. Ноги его вязли в мокрой глине, и он часто останавливался, чтобы передохнуть и отдышаться. Тусклый свет карбидной лампы, висевшей у него на шее, метался, распугивая темноту. Из соседних забоев доносились тупые удары кирки и лопат, с потолка штрека капала вода, падала иногда за ворот и текла по спине. Иногда впереди отваливались комья незакрепленной породы, и Кулсубай вздрагивал.

В конце забоя он сбросил с плеч тяжелый груз, вытер старой ушанкой пот со лба и прислонился спиной к стенке. Отдохнув, он начал долбить киркой породу, долбил, дыша ровно и привычно, чувствуя, как подступает тепло к рукам и ногам, как наливается силой все тело. Ему даже стало как-то легко и радостно на душе, точно, продвигаясь вперед с киркой и отваливая пласт за пластом, он не только успокаивался, но и начинал верить, что жизнь не так уж безнадежна, как он думал недавно, и он может надеяться, что она изменится к лучшему...

Он так отдался работе, что не заметил, сколько прошло времени, и словно очнулся, увидев перед собой Сайфетдина и двух незнакомых шахтеров.

— Ты примерно представляешь, где находится твой забой? — спросил Сайфетдин.

— У меня об этом голова не болит! — буркнул Кулсубай и снова занес над головой кирку.

— Не упрямься, Кулсубай! — строго сказал Сайфетдин. — Ты работаешь как раз под озером!.. Посмотри, какой идет дальше грунт мягкий... Берегись — не сегодня-завтра твой забой обвалится!

— Хватит меня пугать, я не маленький!

— Тебе дело говорят, браток, — заметил один из шахтеров. — Тебе добра желают, а ты злишься зачем-то. Тут скоро и кирки не надо будет, вода сама станет размывать породу...

— Чему быть, того не миновать, — мрачно отозвался Кулсубай и опять стал долбить породу.

— Видно, не зря ты последнее время к мулле ходишь, — помолчав, сказал Сайфетдин. — Это он научил тебя такому смирению?

— А тебе какое дело? — вскипел Кулсубай. — Ты что — отец мне или брат? Чего ты ко мне пристал? Я звал тебя сюда? Звал?

— Ладно, остынь, — Сайфетдин махнул рукой и вдруг замер, прислушался к тихому поскрипыванию и шороху, точно за креплениями, не переставая, бегали крысы. — Слышите? Это земля движется! .. Бросай свою кирку — и пошли! ..

Он потянул товарища за рукав, но Кулсубай с силой вырвал руку и так толкнул Сайфетдина, что тот ударился спиной о стенку забоя.

— Ты что? Совсем рехнулся?

— Оставьте меня в покое! — крикнул Кулсубай. — Вы заведуете мне, что я хорошо в последние дни зарабатываю, или хотите поссорить меня с хозяином, чтобы он прогнал меня с шахты! ..

— Да что с тобой, Кулсубай? — Потирая ушибленную спину, Сайфетдин выпрямился, с удивлением глядя на товарища. — Тебя кем-то подменили другим! .. А Михаил еще просил меня — передай, мол, ему привет, расспроси его, как ему живется, — доброй души человек! .. Ничего себе добрый! На друга с кулаками лезет! ..

— А что мне твой Михаил? — хрипло дыша, выкрикнул Кулсубай. — Все, что он говорил, оказалось мыльным пузырем — лопнуло, и следа не осталось. Где его свобода, которую он обещал? Где привольная жизнь, чтоб мои муки кончились и я перестал думать о куске хлеба?

— Придет время, и все переменится. ..

— Хватит! Довольно кормить меня баснями! Что ни делай, бедняк — это бедняк, а богач — это богач! ..

— Ты что же, перестал верить Михаилу? — спросил Сайфетдин. — Какая же ему выгода обманывать тебя? Разве последний раз в тюрьме посидеть за таких, как ты!

— Я его туда не прятал — он сам угодил! — неотступно и зло твердил Кулсубай. — Что мне проку от его речей? Может, он и добра мне хотел, да только чем все это кончилось? И всегда так было и будет — у кого в руках плетка, тот и хозяин. ..

Он вдруг как-то обмяк, словно устал спорить, надел казаккин поверх мокрой, прилипшей к телу рубашки и, разбрызгивая лужи под ногами, начал загружать глиной тачку.

— В последний раз прошу тебя, Кулсубай! — повысил голос Сайфетдин. — Подумай о детях! Выходи наверх, пока не случилась беда. С голоду не помрешь, поможем тебе понемногу. ..

— А меня и Шайбекович не оставит в беде, — упрямо стоял на своем Кулсубай. — Он хоть и большой начальник, наш управляющий а все же свой человек, мусульманин. Зашел как-то ко мне в землянку, денег на гостинцы ребятишкам дал. ..

— Ну, тогда понятно,— протянул Сайфетдин.— Если ты дружбу с самим Накышевым водишь...

— Ты что хочешь сказать, что я проданся? — бросив лопату, закричал Кулсубай.— Уходи отсюда, пока цел! Видеть я вас не хочу! Тоже мне радетели!..

— Жалко мне тебя, Кулсубай,— вздохнув, проговорил Сайфетдин и повернулся к своим товарищам: — Пройдем по другим забоям, предупредим всех, а потом я сбегаю в контору к Сабитову и скажу, чтобы он поднимал людей наверх, пока не поздно...

Когда ушли Сайфетдин и его товарищи и шаги их заглохли в глубине штрека, Кулсубай вдруг почувствовал непомерную усталость. Ныла спина, отяжелели руки и ноги, и, казалось, не будет сил, чтобы подняться и взять кирку. Наплывала на глаза какая-то липкая, темная муть, точно застилало их черной слезой.

В забое висела чуткая, до звона, тишина, пробивали ее лишь монотонно и усыпляюще падавшие капли, да изредка откуда-то из дальнего забоя доносились глухие удары, скрежет лопат, потом снова все затягивала тишина.

Отдышавшись немного, Кулсубай растер ладонями бок, повесил на шею карбидную лампу и потянул груженную породой тачку в сторону ствола. Но не успел он сделать несколько шагов, как в глазах у него потемнело, голова пошла кругом, и он сел на землю, не в силах справиться с навалившейся слабостью.

«Может, зря я не послушался Сайфетдина?» — подумал он.

Дышать становилось все тяжелее, и, собрав остатки сил, он упрямо потащился вперед, но в дальнем конце штрека грохнул обвал, пламя лампы метнулось и погасло.

— А-а-ааа! — крикнул Кулсубай.— Помогите-е!

Он сразу задохнулся, точно рот ему заткнули кляпом, и он еле удержался на ногах. Он пробирался ощупью в темноте, спотыкаясь, падая, изредка принимаясь кричать, но опять горло схватывало удушье, подступала тошнота, и он думал, что еще минута-другая — и он свалится и больше не встанет. Но какая-то сила, неподвластная разуму, гнала его вперед.

Штрек весь сотрясаясь от грохота обвалов, и непонятно было, куда он бежал — к выходу, к клетке, или совсем в другую сторону, но он уже не мог остановиться, охваченный страхом и отчаянием. В темноте он наталкивался на шахтеров, тоже метавшихся в поисках выхода, он слышал хрипы, и стоны, и ругательства, кто-то падал, и люди подминали упавшего, волной прокатывались над ним, а откуда-то из глубины шахты плыл мощный гул и грохот, с треском ломались крепления, казалось, сама земля сдвинулась и плыла под ногами. Кулсубай ткнулся вдруг в стену, отшатнулся, упал, споткнувшись

о чье-то тело, пополз на четвереньках, но за спиной точно взорвалось что-то, его окатило градом камней, и он упал. В крошечной тьме надрывно и страшно кричали люди, обезумевшие от ужаса:

— О аллах! Спаси меня!..

— Дети! Мои дети! Кто прокормит их!.. Пожалей их, аллах!

— Стыд и позор на мою голову!.. Зачем я не послушал Сайфетдина, старый осел!..

Над головами трещала кровля, сыпалась порода, толстые столбы, поддерживавшие подхваты, медленно оседали и, как в масло, уходили в землю. Кулсубай это почувствовал, обхватив руками столб, но тут страшный удар опрокинул его навзничь, и он провалился в гудящую пустоту.

...Сайфетдин добежал до конторы и в дверях столкнулся с Сабитовым.

— Я был сейчас там... под землей! — запыхавшись и хватая инженера за руку, быстро заговорил он. — Я старый шахтер, и я чувствую — будет беда!.. Земля скрипит...

— Скрипит, говоришь? — Сабитов смерил его презрительным взглядом и тихо засмеялся: — Скажите, какой специалист выискался! Я знаю, чего ты добиваешься и кто тебя сюда послал! — Он посуровел и угрожающе поднял палец: — Смотри, неверный, достукаешься, если будешь служить на побегушках у русского бунтовщика и смущать тут народ!

— При чем тут русский? — отступая перед инженером и теряясь от его наглой усмешки, сказал Сайфетдин. — Михаил живет и работает на Кэжэнском заводе, а у нас вот-вот случится беда!.. Я слышу, как скрипит земля... Надо поднимать всех наверх, или мы опять будем хоронить своих товарищей, как в тот раз, когда был обвал...

— Уходи и не муди народ! — приказал Сабитов. — Земля весь год скрипит, и ничего, пока, слава богу, мы живы...

— Грех и позор падет на твою голову! — бледнея и меняясь в лице, выдохнул Сайфетдин. — Если ты не скажешь управляющему, то потом будешь жалеть всю жизнь... Пусти меня к нему, я ему сам все скажу!

— Прочь, полоумный! — Сабитов оттолкнул шахтера. — Буду я из-за твоих бредней беспокоить Гарая Шайбековича!..

Спотыкаясь, Сайфетдин сошел с крыльца, медленно побрел к шахте. Но дойти до копера он не успел — лежавшее на пути озеро стало вдруг прогибаться, оседать, на середине его белым султаном вспенилась, закрутилась вода, из-под земли донесся гул. Потом вода закипела, как от ветра, хотя стояла морозная тишь, дно озера разверзлось, как дно гигантской чаши, и вода забурилась, пошла под землю...

«Вот оно!» — подумал Сайфетдин, и в ту же минуту услышал стонущие, тревожные удары рельсового гонга. Сердце его так сжалось от боли, дыхание у него перехватило, что он несколько минут не мог двинуться с места, потом трусдой побежал к шахте.

Набат бил в уши, но, перекрывая гул рельса, кричала и вопила черная толпа у копера — женщины, старики, дети...

Сайфетдин еле пробился сквозь этот рев и плач, расталкивая людей, прыгнул в порожнюю бадью. Следом за ним вскочили еще два шахтера, и бадья качнулась и поплыла в сырой мрак.

Через четверть часа к коперу подбежал насмерть перепуганный Сабитов. Толпа на мгновение притихла, расступилась, и он, боязливо озираясь, точно ожидая удара в спину, пробрался к зияющей темной пасти шахты. Заглянув туда, он хотел было вернуться назад в контору, но толпа сомкнулась, надвинулась, гневно дыша, и Сабитов увидел горящие ненавистью глаза, искаженные плачем лица, понял, что ему не вырваться из этого живого кольца. Стоит ему сделать одно неверное движение, и толпа растерзает его.

— Что вы хотите от меня? — взвизгнул он и попятился. — Я ни в чем не виноват, братцы... Не виноват, видит аллах!

— Полезай сам туда, кровопийца! — выдавил кто-то сквозь зубы. — Сам закопал, сам и вытаскивай!.. Лезь, собака!

Руки инженера тряслись, и он покорно шагнул в бадью и скоро исчез в глубине темного провала.

Он застал забойщиков внизу. Подняв карбидные лампы, они угрюмо разглядывали следы разрушения: все штреки были завалены, и было невозможно пробраться сквозь загромождения породы. Свободным оказалось лишь небольшое пространство, пять-шесть аршин от главного ствола, но и здесь кровля могла обрушиться, стоило ее чуть задеть. Из глубины забоев слабым стоном доносились крики раненых.

— А-а, и ты пожаловал сюда? — Сайфетдин оглянулся на подошедшего инженера. — Теперь не уйдешь от расплаты... Да и что стоит твоя расплата? Разве можно вернуть жизнь людям?

— Братцы, копайте! Копайте скорее! — Сабитов умоляюще смотрел на шахтеров. — Никаких денег не пожалею! Все отдам! Спасайте!

— Ишь нашел родственников! — процедил зло один из шахтеров. — Сразу вспомнил о родне, когда самому петля к горлу подползла! Связать бы вас с Гареем Шайбековичем одной веревкой...

— Вы слышите? — бледнея, спрашивал Сабитов. — Слышите? Они кричат... Что ж вы стоите?

— Убирайся отсюда, пока цел! — бешено закричал Сайфетдин и, схватив лопату, стал откидывать рыхлые пласты породы, чтобы пробиться в забой, откуда просачивались стоны и крик.

Сверху спустились еще несколько шахтеров, и работа закипела, и скоро из-под первой груды показались ноги в холщовых штанах — это был убитый наповал ствольный. Сайфетдин оттащил его в сторону и снова бросился к забою, не обращая внимания на грозившую на каждом шагу опасность, потому что глыбы камня, готовые в любое мгновение сорваться, нависали прямо над головой. Журчавшая по стенам вода все прибывала, и шахтеры уже продвигались вперед по колена в мутной холодной воде, обливаясь потом и задыхаясь в промозглом и спертom воздухе. Откопали еще девять погибших шахтеров и пятерых спасли — одни были оглушены, другие ранены. Среди них оказался и Кулсубай. Сайфетдин подхватил его под руку, подставил спину и поволок к бадье: у него были перебиты ноги.

— Прости меня, дурака... прости, — бормотал Кулсубай, и слезы текли по его запорошенному землей лицу. — Я никогда не забуду, что ты спас меня...

— Говори спасибо аллаху, что остался жив!.. Кости срastутся, но зато и ума прибавится!.. Трогай!

Бадья медленно поползла вверх, к серому просвету неба, туда, откуда неслись стенания и плач, где гудела разноголосая толпа, окружившая копер. Едва голова Кулсубая показалась над землей, как несколько человек выдернули его из бадьи, положили на носилки, и он увидел Сару, услышал ее захлебнувшийся от счастья крик — крик страха и надежды.

— О всемогущий аллах! Ты живой, мой Кулсубай!.. Дети! Ваш отец не оставил вас сиротами!..

Неподалеку, на поляне, на сером брезенте лежали мертвые шахтеры, над ними качались и рыдали обезумевшие от горя женщины, в голос выли ребятишки. Какая-то русая женщина, стоя на коленях перед убитым мужем, раскосмаченная и зареванная, причитала осипшим голосом и ломала руки:

— На кого же ты меня покинул, родимый мой! На кого ты оставил нас, горемычных?..

Кулсубай гладил голову припавшей к его груди Сары, красными, воспаленными глазами обводил толпу. Вдруг он наткнулся взглядом на Накышева, стоявшего на отшибе от толпы, и лицо его окаменело. С минуту он смотрел на управляющего, прерывисто, хрипло дыша, потом поднял руки и крючком согнутого пальца поманил его к себе. Будто привязанный невидимой нитью, Накышев двинулся к нему, еще не понимая, что нужно раненому шахтеру, но не смея на глазах у всех отвернуться от него или сделать вид, что не замечает его зова.

Кулеубай приподнялся на носилках, нашарил в кармане серебряную мелочь и, слабо отведя руку, швырнул эту скупую горсть в лицо управляющему. Тот испуганно отшатнулся, монетки, тускло посверкивая, покатались по земле.

— Возьми назад эти деньги!.. Ты дал мне их на гостинцы...

Видно было, что каждое слово дается ему с трудом, он тут же откинулся на носилки и закрыл глаза.

— А почему я не вижу Сайфетдина? — точно в полузабытьи спросил он. — Он вышел из шахты?

Никто не ответил ему, потому что в суматохе и тревоге все забыли о старике и не знали, что, вытащив на поверхность последнего раненого товарища, он вернулся зачем-то вниз, а когда уже поднимался обратно, — внизу грянул новый обвал. Бадья, успевшая доползти до середины ствола, была подхвачена вырвавшейся снизу водой. Всплеск волны захлестнул ее, и старик ушел вместе с нею в глубину черного клокочущего потока...

XXIII

Через месяц после обвала на фишеровской шахте во двор конторы, стуча по камням, въехала бричка, запряженная парой рысаков, — к управляющему, чтобы выяснить причины катастрофы, прибыла из Оренбурга специальная комиссия во главе с горным инженером.

Уже предупрежденный о неприятном визите, Накышев выбежал на крыльцо и, подобострастно кланяясь и улыбаясь, сразу пригласил гостей к столу. Казалось, он давно и с нетерпением ждал этого часа...

Целую неделю члены комиссии гуляли и пили вместе с управляющим, затем сели в бричку и укатили, даже не побывав на месте обвала. Вслед за этим урядник получил предписание из Оренбурга и арестовал главного инженера Сабитова и старшего штейгера.

— погоди, не волнуйся! Вот остынет народ, пыль уляжется, и я сделаю все, чтобы ты вернулся! — пообещал, прощаясь с ним, Накышев.

Сабитов был не на шутку напуган, но после этих заверений успокоился и даже пригрозил уряднику, что он припомнит ему его грубость и неучтивость, когда тот бесцеремонно ворвался в его дом и не дал даже как следует собраться в дорогу.

Однако все, что случилось на суде, явилось для него полной неожиданностью и ошеломило его. Управляющего будто подменили, и, выступая свидетелем, он обвинил во всем главного инженера. Он говорил, не глядя на Сабитова, нервно поглаживая реденькую бородку, выставляя его главным виновником несчастья, и тогда Сабитов не выдержал — вскочил, дрожа от

гнева и злобы, и стал кричать, что управляющий не чист на руку, что он скупает за бесценок золото у детей. Но на его крики никто не обратил внимания, ему вынесли суровый приговор и с очередной партией отправили по этапу в Сибирь...

Скоро Накышев подыскал себе нового инженера, и все пошло по-старому, разве только стало во много раз тяжелее работать тем, кто каждый день спускался под землю. На прииске не хватало продовольствия, часто обозы с товарами не доходили до поселка, их останавливали в пути и грабили.

Редко кто из сакмаевцев искал теперь работу на шахте. Двое односельчан погибло во время обвала, и мулла Гилман объявил, что аллах по заслугам наказал неверных. Ведь еще когда случилось несчастье с Хайретдином, нужно было прислушаться к голосу разума и понять, что хозяин горы не успокоится до тех пор, пока хоть один мусульманин будет служить шайтану...

В числе немногих, кто остался на прииске, был Загит, хотя отец угрожал, что проклянет его, если он не одумается и не вернется в деревню. Но Загит, с трудом получивший работу на шахте, и не думал возвращаться домой — там было еще голоднее, чем здесь, и он мог, отрывая от себя, что-то изредка посылать отцу. Посылал он деньги и продукты с редкими попутчиками и не всегда был уверен, что они доходят до места. Но раза два на прииск наезжал Гайзулла, и тогда Загит узнавал и все деревенские новости и о том, что делается дома.

— Нигматулла наконец достроил свою лавку, — стал такой важный, не узнать! Султангали у него на побегушках, — рассказывал он и все разглядывал друга, точно не узнавал его.

А Загит и на самом деле сильно изменился — он подрос, на выпуклый лоб свисал темный вихор, над верхней губой появился темный пушок. И одет он был уже по-городскому — на ногах башмаки с самоткаными голенищами, поверх рубахи — почти новый камзол.

— Ну, а как там мои? — нетерпеливо допытывался Загит.

— Живут, — неопределенно отвечал Гайзулла. — Покамест изгородь и сарай на дрова разбирают...

— А сестренка как? Тяжело ей приходится?

— Гамиля? — Друг почему-то отводил в сторону глаза, словно не решался в чем-то признаться. — Она выросла и стала как невеста.

«Наверно, она ему по душе, — обрадованно подумал Загит. — Хорошо бы нам когда-нибудь породниться».

— Отец-то хоть вспоминает обо мне иногда?

— Его мулла все с толку сбивает, говорит, чтоб на порог тебя не пускал, раз ты путаешься с неверными, — Гайзулла ухмылялся и почесывал рукой бритый затылок. — Да ты не тревожься! Он же принимает деньги, которые ты тут

заработал, и еду берет — значит, не такой уж он злой! Он же отец твой, одна кровь... Вот наведаешься погостить в деревню, и он про все обиды забудет...

— Да, надо как-то проведать старика, — соглашался Загит. — Да и по сестренке я соскучился и Аптрахиму...

Однако прошел длинный год, а он так пока и не собрался в деревню. Тягучими зимними вечерами, лежа на нарах в холодном бараке, Загит часто не мог заснуть, так томила его накипевшая на душе тоска по дому. Он вспоминал, как мальчиком он с Гамилей и Аптрахимом собирал весной щавель для похлебки и луковицы саранок, как помогал отцу гнать деготь из бересты, как отец учил его вырезать из дерева красивые круглые чашки. Он уносился мыслями в родное Сакмаево и уже видел себя шагающим рядом с отцом по лесу, чтобы рано утром поставить на высоких лиственницах борти для пчел или закладывал в озерную воду липовую кору для мочала...

За стенами барака, словно голодная собака, завывала метель, и Загит зарывался с головой в тряпье, чтобы поскорее согреться и окунуться в сладкую дрему.

Просыпался он, дрожа от холода, пробивался к железной печке, около которой сбивались в кучу забойщики, наскоро жуя хлеб и запивая водой. Многие, чтобы прийти в себя от стужи и не заболеть, доставали припрятанную в сундучке бутылку водки и прихлебывали прямо из горлышка. Загит тоже теперь часто прикладывался к бутылке, пил, морщась и задыхаясь, но после двух-трех глотков по телу разливалось тепло, и он, повеселев, отправлялся на работу. Но обычно он выпивал немного на ночь, чтобы согреться и заснуть.

В один из буранных вечеров, возвращаясь в барак, Загит увидел что-то темное на снегу. Подойдя ближе, он рассмотрел закутанного, ничком лежавшего в сугробе человека и наклонился над ним.

— Эй, ты что тут развалился? — он потряс лежавшего за плечи. — Ты же замерзнешь...

Человек не отвечал, и тогда Загит, подхватив его под руки, потащил к барaku, распахнул ногой дверь и еле поднял тяжелую ношу на нары. Но когда он увидел серый полушалонок и каты, то задохнулся от волнения и дурного предчувствия. Он стал раскутывать, срывать полушалонок, и едва открыл белое, застывшее лицо, как чуть не потерял сознание.

— Гамиля-я! — закричал он.

На его крик бросились к нарам забойщики.

— Кто это? Кто? Что с тобой? — спрашивали они.

— Сестра моя Гамиля! Сестра моя! — Загит обнял застывшую девушку и заплакал.

Один из старателей, оттолкнув Загита, быстро снял с Гамили тулупчик, старые башмаки, другой принес в пригоршнях

снега, и они начали оттирать ее лицо, ноги и руки. Скоро на лице девушки проступили пятна румянца, она застонала, но в себя не приходила всю ночь...

Загит просидел около нее до утра, не смыкая глаз, и, когда барак опустел, Гамиля открыла глаза, узнала брата и заплакала.

— Зачем ты пошла в такой буран?.. Что-нибудь стряслось у нас дома?.. Как мог отец отпустить тебя?

— Он выгнал меня из дома... — захлебываясь слезами, рассказывала сестра. — Он велел мне идти к Нигматулле-агаю, чтобы я не висела у него на шее... Нигматулла напоил отца и обещал взять меня в жены, а потом погубил меня и прогнал...

— Я убью его, — сказал Загит.

— Не надо! Меня все равно на том свете ждут муки ада...

— Кто тебе сказал про муки ада? Ты чистая, как вода в роднике!.. А его я убью, иначе мне самому всю жизнь мучиться!

— Отец мне сказал, что грех на девочку ложится, как только ей исполнится шесть лет... — Голос Гамили прерывался, она дышала с трудом. — Ты не думай — у меня очень много грехов... Один раз я наядбедничала отцу на мать, потом украла у соседей кусок хлеба со стола...

Она зажала ладонью рот и долго молчала, сдерживая стоны. Загит смотрел на сестру, сжимал кулаки и твердил про себя: «Я никогда не прощу этому бандиту, что он надругался над моей сестрой! Если аллах не желает наказывать тебя, я накажу тебя сам!»

— Я ходила целую неделю по деревне, просила милостыню... Ребятишки бросали в меня камни... Я думала, что ты тоже прогонишь меня... А ты не стыдишься меня, ты один остался у меня на свете...

К вечеру Гамиле стало хуже. Она то металась в бреду, то пыталась приподняться и куда-то бежать, то хватала горячими руками руки брата и просила, чтобы он не оставлял ее, то впадала в глубокое забытие. Руки и ноги ее почернели, она дышала хрипло и тяжело. Загит подавал ей воду, пытался привести ее в чувство, шептал ей ласковые слова, плакал от отчаяния и бессилия, но все было напрасно — на рассвете она вдруг распрямилась, откинула голову, вздохнула глубоко и затихла...

Старатели вырыли в мерзлой земле могилу на приисковом кладбище, помогли Загиту похоронить сестру. Вечером он устроил поминки, выставил несколько бутылок водки, а в ночь, вернувшись из кабака, стал собираться в дорогу.

— Ты куда? — удивился бородатый старатель и присел на нары. — Посмотри, как метет на улице...

— Мне надо в деревню, — ответил Загит.

— Подожди до утра, когда стихнет,— пытался уговорить его старатель.— А то сам за своей сестрой в могилу пойдешь! Не дело ты затеял, одумайся...

Но Загит не хотел никого слушать, будто был не властен над собой. Он крепко затянул веревкой мешок за плечами, попрощался со всеми и, раскрыв дверь, зашагал навстречу яростно гудевшему бурану.

XXIV

Глубокой ночью деревня была разбужена истошными криками.

— Пожа-а-а!.. По-о-жар!..

Над Сакмаевом стояло кровавое зарево, заливало яркими отблесками окна изб.

Люди бежали к площади с баграми и ведрами, спрашивали друг друга:

— Да что горит-то?

— Да вроде лавка Нигматуллы!

— Аллах всемогущий! И за что он его наказывает?

Пламя расплелось в темноте диковинным огромным кустом, вырывалось гигантскими листьями из окон и дверей лавки, треща и разбрызгивая во все стороны горящие искры.

От реки мчались подводы с бочками воды, росла на площади толпа, но люди не решались подступиться к охваченной огнем лавке — такой нестерпимый, пышущий в лицо жар отталкивал всех. Дымились обугленные стены, огонь плескался из пазов, перекидывал свой рыжий хвост на соседний с магазином дом Нигматуллы, сугробы, высившиеся во дворе, растаяли на глазах, растеклись по земле. Вокруг пожара носился, как сумасшедший, сам Нигматулла, прыгал, как кот, наступивший на горячую сковородку, и орал не переставая:

— Вы что встали, как бараны? Тушите!.. Вам же хуже будет, дармоеды!.. Где вы купите то, что брали у меня в долг? Тушите!

— Не надрывай глотку, голос сорвешь! — вдруг крикнул кто-то из толпы. — Скажи спасибо, что сам в живых остался!

— Кто это сказал? Кто? — дернулся назад Нигматулла, распыривая тех, кто попадался ему под руку. — У кого это такой длинный язык?

Из толпы вынырнул урядник, и Нигматулла ухватился за его рукав.

— Когда ты нужен, так тебя нет!..

Лицо урядника, мятое спросонок, не выражало ничего, кроме глупого усердия, и Нигматулла в сердцах махнул рукой и снова заметался перед горящей лавкой.

— Там списки должников — понимаешь? — неизвестно к кому обращаясь, выкрикивал он. — Деньги! Деньги сгорают!.. Кто вытащит — половину отдам, не пожалею!..

Толпа, сбившись в кучу, настороженно и угрюмо молчала, и Нигматулла, точно озверев, посылал проклятья на головы всех:

— Я вам этого век не прощу, гады! Шкуры продажные! В остроге сгною!

Он выдернул из толпы, как морковку из грядки, Султангали и просипел ему в лицо:

— Ты у кого служишь, щенок? У когс?.. Лезь туда, слышишь? Ты думаешь, я не знаю, кто поджег?.. Из-под земли достану, но жить не дам... Лезь!

И Султангали, схватив ведро воды, облив себя с ног до головы, побежал к лавке, а за ним, не выдержав, кинулся сам Нигматулла. Толпа загудела, еще несколько смельчаков подступили к пожару, и вот пошли по рукам ведра и в огонь начали хлестать воду.

Гайзулла, державшийся все время в самой гуще толпы, незаметно выскользнул из нее и, прихрамывая, побежал домой. Он застал Загита в том же темном углу, где оставил его.

— Тебе надо уходить! — срывающимся от волнения голосом прошептал он. — Нигматулла догадывается, кто его поджег! Даже брату твоему грозил! Уходи, а то не миновать тебе тюрьмы!

— А пускай, — равнодушно и устало отозвался Загит. — Я свое сделал, и больше мне ничего не нужно...

— Тогда иди и заяви, что это ты поджег, и сунь сам голову в петлю! — рассердился Гайзулла. — Беги на Кэжэнский завод, там живет одна добрая душа, мы с Кулсубаем у нее жили, она тебя приютит... Скажи, что знаешь меня, и она и спрячет тебя, и защитит, а если что, и на работу устроит... Спроси Наташу-апай...

— Это ты, Гайзулла? — проснувшись, спросила Фатхия. — С кем ты разговариваешь?

— Сам с собой говорю, спи! — сердито ответил Гайзулла.

Но Фатхия села на постели и повернулась в их сторону, вслушиваясь в тишину дома.

— Ты скажи сначала — лавка сгорела? — сдавленным шепотом выдохнул Загит.

— Одни головешки от лавки останутся! Сгорела!

— Аллах, и зачем было поджигать его лавку? — Фатхия вздохнула. — Хорошо хоть, что в деревне есть лавка Хажисултана! А не поймали того, который поджег?

— Ложись, мама! — теряя терпение и боясь вспылить, напрыженно-тихо ответил Гайзулла. — Если что-нибудь узнаю, приду расскажу. Спи...

Он вывел Загита в сени, помог приладить мешок за плечами.

— Я провожу тебя задворками, чтоб никто не увидел... Как будто тебя в Сакмаеве и не было вовсе!

На краю деревни они остановились, глядя на меркнувшее на площади зарево, точно там угасал костер.

— А как ты сам тут жить будешь?

— В шахте мне работать тяжело с моей ногой, ты знаешь... Весной я снова попытаю счастья и стану мыть золото или наведуясь к тебе на завод... Идет?

— Ладно, — Загит вздохнул. — Береги себя...

Они обнялись на прощанье, и Загит пропал в ночной тьме. Он брел по глубокому снегу и, лишь миновав лес, выбрался на дорогу.

Буран стих, дорогу перемело снежными заносами, и Загит часто останавливался, чтобы перевести дух. Потрескивали в ближнем перелеске деревья, скованные морозной тишью.

С перевала Загит еще раз обернулся на родную деревню. Она тонула в ночной мгле, но по-прежнему в центре ее будто тлели угли огромного костра, и Загит с удивлением подумал, что не испытывает никакой радости и удовлетворения от того, что совершил. Странно! Ведь он отомстил за сестру и должен был быть доволен, но ему как-то было все равно, и он не чувствовал ни малейшего облегчения.

В разрывах облаков проглянула луна, и чистый призрачный свет облил сугробы и равнинный простор, лежавший перед ним. Проглянули в вышине звезды, мигнули и снова пропали за облаками, и смутная тень потекла по снежной целине, но там, где прорывался свет луны, на самом краю поля, снег вспыхивал и мердал, как несущаяся по равнине река.

«А Гамиля уже ничего этого никогда не увидит, — подумал Загит и, точно пораженный этой обычной мыслью, застыл на дороге, и сердце его заплось от безысходной тоски и горя. — И зачем она жила на свете? Что видела?.. А зачем живу я сам? И неужели я стал лучше оттого, что отомстил за сестру? Ей уже все равно, и людям тоже ни пользы, ни добра... Ну, сгорела лавка, а дальше что? Нигматулла новую построит, будет еще сильнее обжужливать и грабить, чем раньше. А если не он, так другой найдется, может еще похуже и страшнее. Хотя бы тот же Хажисултан-бай — чем он чище Нигматуллы? Такой же душегуб — свел в могилу Хайретдина, сломал жизнь Нафисе, а сколько еще погубит — неизвестно... Конечно, если бы аллах все зло и всю подлость помещал в одного человека, тогда злодея можно было бы порешить и сделать всех счастливыми, но так не бывает и быть не может... И, выходит, зря я поджигал лавку, потому что ничего не добился. Плохой человек всегда переживает хорошего, а если зверя ранить, он станет еще

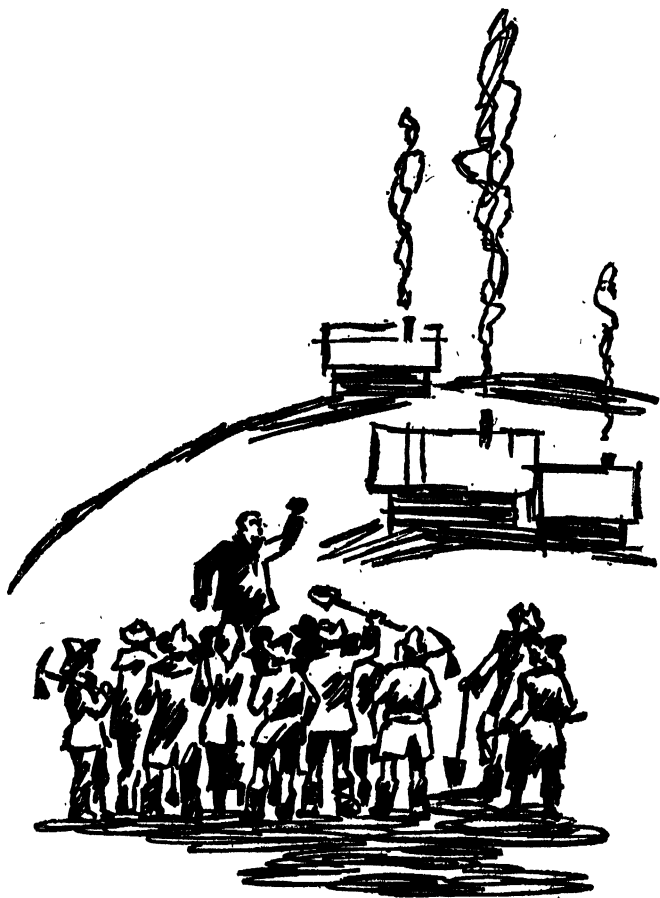
злее и опаснее. Нет, видно, не так все просто в жизни, как мне казалось еще вчера...»

Снег мягко похрустывал под ногами, башмаки покрылись ледяной коркой, и идти становилось все тяжелее. Загит спотыкался, порою падал, но поднимался и упрямо шагал вперед. В косматой глубине перелеска раздался протяжный волчий вой, но Загит не испытал почему-то ни страха, ни волнения, словно какая-то неведомая сила оберегала его теперь от всех бед и напастей.

«Надо бороться за жизнь, и не только потому, что тебе дорога твоя жизнь, но еще и потому, что в тебе нуждаются другие, такие же, как ты, нищие, обездоленные бедняки, и ты не имеешь права не протянуть им руку помощи», — вспомнил он и чуть сбавил шаг, стараясь припомнить, когда и от кого он слышал эти слова, вдруг придавшие ему силы. Может, от того русского, что говорил на сходке в березняке? Или от Хисматуллы?.. Интересно, где он сейчас? Гульямал говорила, что его будто бы опять арестовали, за то, что солдатам раздавал листовки... Да, он настоящий человек, он живет не для себя и никогда бы не стал мстить одному злодею! И Гайзулла не стал бы, потому что все они видят лучше и дальше, чем он, Загит, еще не нашедший свой путь в жизни. Но он найдет его, обязательно найдет, раз он встретил таких людей, которые знают всю правду и ради нее ничего не жалеют, даже своей жизни...

Край неба розовел, когда Загит поднялся на гребень горы и увидел высокие, тихо кутившиеся трубы Кэжэнского завода. За поселком вставало солнце — ослепительное, бившее в глаза, и Загит зажмурился и засмеялся, радуясь началу нового дня. Он вдруг понял и ощутил, что не одинок в этом огромном, залитом светом мире, что где-то его ждут добрые люди и добрые дела, которые он должен совершить в этой жизни.

Он постоял еще немного, любуясь открывшейся ширью, и потом не спеша начал спускаться с горы.



АКМАН
ТОКМАН



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

I

Снег валил третий день, неслышно падая с низкого неба густыми, мохнатыми хлопьями. Ветки елей и пихт, отяжеленные пышными комьями, пригнулись к земле, потрескивали от мороза рыжие сосны. На опушках, в поголубевшем березняке, нахохлившись, цепенели косачи. А снег все шел и шел не переставая, сыпался на крылья неподвижных птиц, заметал следы зверья по свежему насту, наращивал и без того уже высокие сугробы. Казалось, он не остановится, пока не сровняет эти низины и горы, пока не останется на всем широком пространстве только ровная снежная пелена и хмурое небо, пока земля не соединится с облаками...

В сумерки управляющий прииском Накышев долго стоял у окна, глядя, как курятся над землянками синие дымки. Домики приискового поселка, бараки и тепляки, разбросанные по берегу Юргашты, засыпало по самые крыши, отвалы пустой породы превратились в белые холмы.

Не слышно было ни скрипа арбы, ни ржания лошадей, ни ударов лопаты, умолкли все звуки, будоражившие прииск с весны до глубокой осени. Лишь изредка доносились отрывистый лай собак или близкие голоса людей, но они тут же повисали в безветренном воздухе, и тишина, заполнившая все

вокруг, душно и тяжело давила на плечи Накышева, вызывая острую, как после похмелья, тоску...

Все эти дни он глушил ее водкой, но сегодня не помогла и водка, и, проторчав чуть ли не весь вечер у окна, он лег в постель, лишь бы поскорее провалиться в сон, лишь бы не слышать этой хватающей за душу мертвой тишины. Уже погасли в поселке огни, а он все еще грузно ворочался на мягкой перине, кряхтел и покрывался испариной.

Закрыв глаза, он начал считать до тысячи, но сбился со счета, откинул одеяло и, чертыхаясь, свесил ноги с кровати. На ощупь нашел спички на столике, зажег лампу. Прикрутив фитилек, посидел немного, привыкая к свету, кутаясь в одеяло и тупо глядя на свою бархатную, расшитую бисером тюбетейку, свалившуюся со стула. Потом встал, накинул на голые плечи шелковый халат и, ежась, прошлепал по холодному полу. Вынул из шкафа тяжелый граненый штоф, плеснул в стакан, выпил. Захватив с блюдечка щепоть поздrevатых рассыпанных кусочков брынзы, пожевал. Помедлив, перенес штоф вместе с блюдцем и стаканом на столик и уселся на кровати, ощущая, как приятно разливается в теле тепло, как отступает сосущая сердце тоска.

Сделав еще пару глотков, он открыл коробку с папиросами, взял одну, размял в пальцах, закурил. Руки его дрожали, пепел сыпался на простыню, но он ничего не замечал, довольный тем, что ему становится легче...

Неожиданно во дворе послышался лязг цепи и злобный лай собаки. Кто-то осторожно дергал дверь и, убедившись, что она заперта, так же осторожно постучал. Накышев на цыпочках, крадучись, подошел к окну, отодвинул тяжелую штору, вгляделся в темень за окном.

В дверь снова стукнули, теперь уже более настойчиво. Собака захлебывалась лаем. Придерживая руками халат, Накышев вышел в сени, прислушался. Ночной гость топтался на крыльце, поскрипывал снег.

— Кто там? — тихо спросил Накышев.

— Это я, Нигматулла!

— Фу ты, черт, напугал!.. Нашел время по гостям ходить!

Накышев снял железную перекладину, откинул щеколду и, пропуская ночного гостя вперед, запахнул халат.

— Чего это тебя нелегкая носит? — сердито прикрикнул он. — С ума посходили люди! Прутся, когда не лень! Ну что стряслось?

Нигматулла быстро снял пояс, расстегнул тулуп, кинул его на пол у порога, прихлопнул за собой дверь и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на стул. Снег на его нечищенных яловых сапогах тотчас растаял, и на желтом полу заблестела лужица.

— На огонек, Гарей Шайбекович, на огонек,— сказал он, потирая озябшие руки.— Иду себе — вижу, свет у вас горит! Дай, думаю, загляну к хорошему человеку. . .

Накышев с сомнением посмотрел на темные портьеры.

— В щелки пробивается, Гарей Шайбекович, в щелки,— перехватив его взгляд, засмеялся Нигматулла.

— Давай не тани! — Накышев недовольно нахмурился.— Принес ведь, наверное, что-то, как сорока на хвосте?

— Правду говорю — на огонек завернул! Если бы на шахтах была какая заваруха, вы бы раньше меня все узнали!

— Ну ладно,— досадливо махнул рукой Накышев и потянулся к штофу.— Бузы хочешь?

— С мороза не откажусь. . .

«Нет, неспроста он появился,— гадал управляющий, ощущая тревожным взглядом раскрасневшееся, в серой колючей щетине лицо десятника.— Или что-то знает, или что-то хочет вынюхать, лиса хитрая».

— Что на улице делается, Гарей Шайбекович! — Нигматулла вздохнул, скосил узкие глаза на управляющего.— Еще день-два — и весь прииск по макушку засыплет, своего дома не найдешь. . .

— Про погоду я сам знаю,— Накышев усмехнулся одной щекой,— ты лучше Расскажи, что на приiske делается. . .

— Ничего нового, Гарей Шайбекович,— Нигматулла пожал плечами.— Народ как взбесился, вконец испортился. . . Раньше хоть каторги боялись, бога чтили, за работу держались, а теперь им сам черт не страшен! Все бунтовщики и безбожники!

— Чего хоть они хотят-то?

— Да все того же, что и раньше,— лишь бы побольше урвать и поменьше работать! Грозятся на работу не выйти, если, мол, управляющий плату не прибавит!

— Ничего, я их живо тогда успокою. Вызову казаков — и дело с концом! . . Что еще болтают?

Лицо десятника посерьезнело еще больше, рысьи глаза с белесыми ресницами быстро забегали по комнате, словно он не мог найти на стенах что-то виденное им здесь прежде.

— Слух пошел, что наш прииск какой-то русский скупил и вроде уже едет сюда. . . Пожалуемся, мол, на управляющего, и новый хозяин его прогонит. . . Всего и не упомнишь, что язык по ветру носит. . .

— От кого хоть слышал эти новости? — Накышев вскинул помутневшие глаза на десятника.

— Да по всему приisku уже гул идет! Один спяну наплетет, другой подхватит, и пошла гулять брехня по белу свету. Никого за язык не схватишь, к уряднику не сведешь. . .

Накышев помолчал, вылил в стакан остатки водки, глотнул, потом тяжело опустился в кресло, сжал голову руками.

— Ну что ж, это правда... Едет новый хозяин, чтоб ему пусто было! Едет! В любой день и час может на голову нам свалиться... Ума не приложу, что делать!

— Ну и пускай едет! — нимало не удивившись, сказал Нигматулла. — Вам-то какая забота? Долго тут шик-блеск навести, чтоб все заблестело, как новенькое? Бумаги у вас все в порядке, а тепляки отремонтировать, подкрасить, где надо... Главное, чтоб смуты не было! Урядник вот у нас бестолковый...

— Да при чем тут урядник? — Накышев покачал шишковатой, выбритой до блеска головой. — Тошно мне, на душе кошки скребут... Понимаешь, тошно... Да не дыми ты своей махрой!

Он швырнул на колени десятнику коробку с папиросами; коробка раскрылась, и папиросы покатались по полу. Нигматулла не торопясь подобрал их все, выпрямился.

— Не возьму в толк — с какой печали вам тошно? Если на шахте мы наведем порядок, о чем у вас будет голова болеть?

— Как говорится, чужую беду руками разведу, а свою... Одним словом, одурачили меня, понимаешь? Обвели, как мальчишку, вокруг пальца! — Голос Накышева задрожал, казалось, еще немного — и он не выдержит, заплачет. — Я же весь прииск своим считал! Вот он где был у меня! — Он вытянул растопыренную пятерню и сжал ее в кулак. — Вот так!.. И все теперь идет прахом! С прежними наследниками я уж все бумаги обстригал, осталось только подписи скрепить, а тут откуда ни возьмись старик Касьянов со своей мошной — цап! — и перехватил у меня всё!

Накышев помолчал, глядя узловатое колено, щурясь на слабый огонек лампы.

— Не пошло впрок ему мое добро, поперек горла встало! — сказал он вдруг зло, хрипло рассмеялся. — Протянул свои руки, жадюга, к золоту, без которого он и так был богат, и откинулся, приказал долго жить... Остался у него наследничек, единственный сынок, и тот вроде незаконнорожденный, да не в том суть... Оставил ему старик одними деньгами три миллиона, компаньоны его сразу в Петербург вызвали! Я с ним тоже попытался было поторговаться: зачем, дескать, вам этот прииск, продайте! Но путного ответа пока не добился, — посоветуюсь, мол, с компаньонами. И поехал свои прииски осматривать! А они у него и на Урале, и в Сибири... Год, наверное, разъезжает, не может, видимо, сосчитать, сколько их у него. А я вот сижу, свои деньги коплю и жду у моря погоды...

Нигматулла слушал разоткровенничавшегося Накышева с отсутствующим видом, словно все это несколько его не касалось. Спокойно курил, стряхивая пепел в опустевшее блюдце, изредка отхлебывал из стакана.

— А по-моему, зря вы под себя горячие угли бросаете, вам и так жарко,— заметил он, когда управляющий замолчал и снова стал шуриться на огонь.— Если у него приисков как баранов в отаре, то ему ничего не стоит от одного отказаться! Шахты наши на отшибе, придет, поглядит и с рук спустит... Какой ему резон за нее держаться?

— А вдруг передумает или компаньоны его отговорят? Кто откажется, чтоб ему в карман еще с одного прииска золото сыпалось! Да и на рамиевского сынка он не похож, такой же, как его отец-покойничек, хваткий... Богатство только дураки разматывают, а умные его умножают! А он, видать, далеко не дурак и видит, какое ему счастье привалило!.. Есть где вернуться и на всю Россию себя показать!..

— Надо бы вам, Гарей Шайбекович, раньше мне об этом пошептать,— вкрадчиво и, похоже, даже чуть обиженно проговорил Нигматулла.— Может, вместе что и надумали... А вы, как медведь, залезли в свою берлогу и сосете лапу, будто ничего на свете вкуснее нет...

Накышев поднял голову, посмотрел на десятника. Что-то за эти полчаса неуловимо изменилось в лице Нигматуллы — то ли овладели им какие-то посторонние мысли, то ли не было в нем надлежащего подобострастия и уважительности, но лицо это уже решительно не нравилось управляющему.

«Кажется, я свалил дурака и наболтал много лишнего»,— тревожно подумал он, все больше злясь на самого себя и мрачней.

— Может быть, ты считаешь, что я должен каждый день докладывать тебе о своих делах? — Накышев усмехнулся, захлопнул коробку с папиросами, сунул ее в карман.— А что будет, если все другие десятники пристанут ко мне с тем же самым? Один ты, что ли, в десятниках ходишь?

— Зачем обижаете, Гарей Шайбекович? Я к вам со всей душой...

— Знаю я твою душу — в ней можно заблудиться, как в темном лесу! Будет тебе выгодно — ты любое мое слово, что я в сердцах обронил, продашь за золото... Да и язык у тебя не на привязи, один раз рот откроешь — и завтра весь прииск будет трепать мое имя...

— Клянусь аллахом, вернее друга, чем я, у вас нету!

— Сам же рассказывал, что никто обо мне хорошего слова не говорит,— и кормлю плохо, и притесняю штрафами, и плату прикарманиваю! — не слушая Нигматуллу, запальчиво и горячо выговаривал управляющий.— А разве я виноват, что не могу жить, как все, что у меня жена не простая башкирка, а дочь Тарзимана-бая, что я должен содержать большой дом в Оренбурге?

— Вот и я всем о том же толкую! — угодливо подхватил десятник. — У каждого своя жизнь, и Гарей Шайбекович не может жить как голодранец... А тут еще война! Да не будь войны, не надо было бы животы подтягивать!..

— Не нужно сваливать все на войну! Если бы правительство у нас было сильнее, нас никакой войной бы не запугать! — Голос Накышева окреп, звучал увереннее и сильнее. — Распустили все бразды правления, каждый тянет, куда ему вздумается, и получается, как в той русской басне, кто в воду лезет, кто по земле тащится, а кто в небо прыгает. Пока сильная рука не возьмет в руки вожжи, так все и будет катиться под гору и врозь...

— А народ это видит — и тоже кто в лес, кто по дрова! — поддакивал десятник, довольный, что управляющий сменил гнев на милость. — Даже такой смирный человек, как Кулсубай, и тот в бунтовщики, похоже, записался! Так и брызжет слюной — слова ему не скажи! Могут, как на Кэжэнском заводе, забастовку поднять!.. Что тогда будем делать?

— Я же сказал — вызовем казаков, и те живо всех усмирят! — Накышев выскользнул из кожаного кресла, сделал несколько твердых шагов по комнате. — Главное — убрать зачинщиков! Нам не так твой Кулсубай страшен, как этот русский, Михаил! Он им всем головы мутит. Уберем паршивую овечку из стада, и стадо никуда не денется и будет нас слушать...

— Вам лучше знать, Гарей Шайбекович, — согласно кивал Нигматулла, — вы человек ученый...

— Ну ладно, поживем — увидим. — Накышев подавил зевок. — Иди, я еще посиплю малость...

Но Нигматулла не спешил, и в лице его снова появилось что-то странное, загадочное, как будто то, ради чего он явился среди ночи, он хранил под конец встречи и даже теперь не решался высказать. Вздернутая верхняя губа его приподнялась, обнажая желтые, прокуренные зубы, и от этой ослабившейся улыбки веяло жутью.

— Ну, чего вытаращился, не узнаешь? — грубовато одернул его управляющий. — Забыл, где тулуп положил?

— Мудрый вы человек, Гарей Шайбекович, — не сводя пристального взгляда с Накышева, задумчиво тянул десятник. — Вы для меня как отец родной... И я для вас ничего не пожалею, ради вас все сделаю... Будем друг друга держаться, нам и Касыянов не будет помехой!

— Может, деньгами меня ссудишь и я отвалю ему куш покрупнее?

— Если хорошо мозгами пораскинуть, то и деньги не понадобятся, — все так же неприятно скалясь, продолжал Нигматулла. — За две шахты у Гнилого озера мне и жизни не жалко...

— Тебя что, бешеный слепень укусил? За какие такие заслуги я тебе, басурману, должен две шахты отдать?

— Хозяйство у меня теперь, сами знаете, небогатое, все вместе с лавкой сгорело — и деньги, и списки, один фундамент остался, а фундамент грызть не будешь, — словно и не услышав вопроса управляющего, жаловался Нигматулла. — И если уж рисковать, то надо по-крупному... Или на коне, или под конем!

— Да перестань ты канючить про свою лавку, целый год уже ноешь! — опять выходя из себя, раздраженно крикнул Накышев. — Говори ясней: что надумал?

— Душа о сгоревшем добре болит, потому и ною, и плачу. — Десятник помолчал, улыбка сползла с его губ, и лицо как бы подернулось тенью. — Вы вот боитесь, что не сторгуетесь с Касьяновым, верно? Так я этот ваш страх куплю у вас по сходной цене — всего две шахты у Гнилого озера... Слыхали поговорку, что хороший охотник и за пять верст в зверя попадет?

— Так ты хочешь сказать... — начал было Накышев и вдруг задохнулся, на мгновение ему показалось, что пол уходит из-под его ног, но в следующую минуту он бросился к десятнику и яростно затряс его за плечи. — Ты куда толкаешь меня, шкура? Кто тебя подослал? Кто научил?... Да я тебя сейчас уряднику сдам, шайтан проклятый! В остроге сгною!

— Не пугайте меня, Гарей Шайбекович! — Нигматулла легко отодрал с плеч руки управляющего, отошел в сторону. — Я никого не убил и убивать не собираюсь... А несчастье с любым человеком может случиться... Или лошади понесут так, что их не удержишь, или дерево гнилое свалится, когда человек по малой нужде отойдет в кусты, или съест не то, что надо, заснет и не проснется — мало ли что!.. Неужели вы про такие случаи никогда не слыхали?

— Слыхал, слыхал, — осевшим голосом сказал Накышев. Он стоял посреди комнаты, босой, в распахнутом халате, и, крепко сцепив руки, пытался унять бившую его дрожь. — Мне твои услуги не понадобятся, понял? Я и так его уговорю, уломаю...

— А если нет? — Нигматулла сторожко следил за каждым движением управляющего.

— Все равно я руки в чужой крови марать не буду! — Накышев брезгливо поморщился. — Ничего я не стану ремонтировать, обновлять вывеску, а открою старые шахты, в которых уже пять лет ничего не берем, а богатые прикрою... Такой прииск закрывать надо, и может, новый хозяин мне его по дешевке продаст... А люди пусть шумят, хоть камнями кидаются, мне не привыкать... Никуда они отсюда не уедут, и рано или поздно явятся ко мне проситься на работу!

— Я недаром говорил, что вы умный человек, Гарей Шайбекович! — все с той же невозмутимостью сказал Нигматулла и, облизав сухие губы, добавил: — А цена будет все та же...

— За что? — оторопел управляющий.

— А за то, что я новому хозяину глаза не открою и не покажу, где у него богатые шахты, а где бедные. Он же еще молодой, в наших делах не разбирается...

— Ладно, — пожевав губами, тихо, почти неслышно, согласился управляющий. — Если сделка состоится, уступлю я тебе одну шахту.

— А если не сговорится, то две и даром, — быстро подхватил Нигматулла. — На развод и одна годится...

— Рано ты барыши подсчитываешь, — Накышев снова был спокоен и холоден, — у Касьянова могут быть свои наследники... Откуда мы знаем?

Последнее слово оставалось за ним, и на него десятнику уже нечем было ответить.

Проводив ночного гостя, Накышев почувствовал себя смертельно усталым и разбитым. Погасив лампу, он лег, и тишина снова навалилась на него. Он ворочался в постели, стараясь плотнее закутать в одеяло стынувшие ноги, отогнать от себя тревожные и опасные мысли. Но о чем бы он ни думал, перед ним, как в дурном, кошмарном сне, возникало наглое, ухмыляющееся лицо десятника, и на душе у Накышева становилось так мутно и гадко, как не бывало еще никогда в жизни...

II

Нигматулла быстро пересек двор, выбежал на площадь и не останавливаясь размашисто зашагал по улице. Сердце его колотилось, злость удушливыми комками подкатывала к горлу.

«Ишь распыхтелся, горшок мордастый! Дом в Оренбурге! Уряднику сдам! — словно выкрикивая эти слова управляющему, раздраженно думал он. — Пусть только новый хозяин придет, я тебя живо выпотрошу перед ним, одно чучело останется! Посмотрим тогда, кто на коне, а кто под конем! Послушаем, какие ты тогда песни петь будешь!.. Может, я тебя одним плечом спихну и сам на твое место сяду! Золотое дело знаю, со старателями дружку вожу... В грамоте хромаю, так что с того? Где нужно ноль к палочке приставить, и я сумею не хуже тебя!.. А Касьянову пообещаю новую жилу найти, пусть сверху донизу перероют и Бишитэк, и Кармантау, найдут что-нибудь! Так что рано вы, Гарей Шайбекович, об меня ноги вытираете, как бы самому не пришлось у меня в ногах валяться!»

На краю улицы Нигматулла остановился перед высоким бревенчатым домиком с вывеской «Трактир М. А. Фролова»,

помедлил немного, точно не решаясь в такую рань входить в питейное заведение, потом рванул на себя скрипучую дверь.

В трактире было пусто, только половой без фартука, не торопясь, сметал в угол оставшийся еще с вечера мусор.

Нигматулла снял тулуп, сел на лавку поближе к окну, где было посветлее, и посмотрел на полового, который по-прежнему шаркал веником, не обращая на него никакого внимания, и недовольно постучал по столу:

— Максим Андреевич!

За прилавком у буфетной стойки открылась задняя дверь, оттуда высунулась голова хозяина с рыхлым, заспанным лицом. Хозяин увидел Нигматуллу, закивал, заулыбался:

— Извините, он у меня новенький... Тимоха! Ты что, ослеп? Обслужи господина десятника!

Половой быстрой, танцующей походкой прошел за прилавок, перекинул через руку сомнительной чистоты полотенце, той же танцующей походкой приблизился к Нигматулле и застыл перед ним в предупредительной позе. Светлые усики его потешно топорщились над верхней губой.

— Чего изволите-с?

— Казылык¹ есть?

— Не держим-с. Есть говяжья колбаса, двенадцать копеек фунт...

— Стало быть, полфунта колбасы, фунт ситного...

— По три копейки или по пятачку?

— По пятачку. И водки.

— Четверть?

— Шкалик. Чай есть?

— Осьмущечный.

— А конфеты какие-нибудь?

— Карамель-с.

— Вот, значит, еще чаю, и отдельно заверни два фунта ситного по три копейки и фунт карамели.

— Больше ничего?

— Ничего, — махнул рукой Нигматулла, чувствуя, что во рту у него собирается голодная слюна.

Половой быстро принес маленький самовар с горячими сверкающими боками, расставил на столе тарелки с хлебом, колбасой и крупным колотым сахаром. Скоро вышел и хозяин, взял с прилавка счеты и стал щелкать, медленно шевеля губами, изредка поднимая голову и поглядывая на раннего посетителя.

«Надо пустить слушок-другой, — ломая ситный и кусочками отправляя в рот, думал Нигматулла. — И Накышеву нужно как-то глаза отвести, и со старателями мир наладить... С Ми-

¹ К а з ы л ы к — лошадиная колбаса.

хаилом мне, конечно, не сговориться, его вокруг на кривой кобыле не объедешь, а вот Кулсубая за живое задеть можно... Недаром, видно, люди развесивши уши слушают его!»

Наевшись, Нигматулла быстро допил чай, расплатился, натянул потуже шапку с бобровым околышем и, захватив сверток, вышел на крыльцо трактира.

Утренние сумерки разошлись, было уже светло, а когда в облаках проглянуло солнце, глазам стало больно от яркой белизны снега. Перегнувшаяся через чью-то изгородь рябина еще не сбросила ягод, и жаркие ее гроздья краснели, как огоньки, на осыпанных инеем ветках. Снявшись с крыши, тяжело пролетела ворона, по унавоженной дороге ширыряли юркие воробьи.

Не доходя до заброшенной шахты, Нигматулла свернул по тропинке направо и увидел низкие, почти потонувшие в снегах землянки.

Навстречу, еле удерживая в руках большую вязанку хвороста, вышел парнишка лет шести в кургузом кафтанчике и косматой шапке, сползавшей ему на глаза.

— Эй, малый! — окликнул его Нигматулла. — Где тут живет Кулсубай?

Парнишка остановился, приподнял шапку и с удивлением посмотрел на незнакомого дядю.

— Да это же мой новый атай¹!

— Вот здорово! — Нигматулла рассмеялся и потрепал мальчика по плечу. — Веди меня к нему!

Парнишка, который показался Нигматулле приветливым, вдруг заупряился.

— Нет, — сказал он и опустил голову, — не поведу...

— Это почему же так?

— Атай устал, и мамка не велела его будить. Он всю ночь работал и теперь спит... Если разбужу, эсей² надерет мне уши!

— Да брось ты дурака валять! — Нигматулла уже начинал сердиться. — Скажи пожалуйста, барин какой! Ты не скажешь — другие скажут, где он живет!.. Я ему подарок вот несу, видишь? А мать твоя где?

— Эсей в лесу, и старшие братья с ней, дрова на санки нагружают. Вон там, — мальчик махнул рукой в сторону леса.

В это время дверь одной из землянок отворилась и оттуда, потирая кулаком опухшие глаза, выглянул Кулсубай. Парнишка опометью кинулся к нему:

— Атай, атай, тут тебя дяденька спрашивает!

— Хороший парень у тебя! — подходя ближе, похвалил Нигматулла. — Целый час его уговариваю, чтоб тебя разбудил, а он — ни в какую! Понимает...

¹ Атай — отец.

² Эсей — мать.

— Каким ветром занесло? — нахмурился Кулсубай.

— Поговорить с тобой, агай¹, хочу...

— Ну, проходи... Давай-ка сюда хворост, Файзулла.

Кулсубай отнял у мальчика вязанку и первым стал спускаться вниз по скользким, вырубленным в земле ступенькам.

В тесной землянке стоял спертый, кислый запах, от пола несло промозглой сыростью. Маленькое, покрытое льдом окошко почти не пропускало света.

Кулсубай ополоснул лицо из ковша, накинул казакин² поверх темной ситцевой рубахи. Уселся на нарах, едва прикрытых ветхим войлочным ковриком, подложил соломы в каты³, обулся. Встал, притопнул ногами, чтобы умять солому. Снова сел. И только тогда поднял взгляд на все еще стоявшего в дверях десятника:

— Что застыл? Прходи.

Нигматулла снял пояс и не раздеваясь присел на лавку у стены.

— Ты, агай, последнее время что-то сердиться на меня, — тихо начал он. — Как встретимся, ты со мной и поздороваться не хочешь...

— Что ж я, по-твоему, целоваться с тобой должен? — сухо ответил Кулсубай. — С какой радости? Или ты хочешь, чтоб я, как ты, под наkyшевскую дудку плясал, пылинки сдувал с начальства? Да я с голоду помирать буду, а к таким, как ты, на поклон не пойду!

Нигматулла заставил себя улыбнуться, но улыбка эта получилась жалкой и вымученной.

— Не надо так, агай, не горячись. Я тебе добра хочу...

— Как же, жди от тебя добра!

— Не обижай меня, Кулсубай... Я и сам знаю, что кругом виноват. Я теперь по-другому жить хочу. Вину свою исправлю. Будем, как раньше, друзьями, станем помогать друг другу...

— Опомился! — усмехнулся Кулсубай. — О чем же ты прошлой зимой думал, когда мы на одной картошке сидели, и той не хватало? Чуть ноги не протянули... А ведь у тебя тогда лавка от добра ломилась! Так что ты передо мной ягненком не прикидывайся!

— С тех пор много воды утекло, Кулсубай. У меня лавка сгорела, а у тебя вон борода поседела. Вспомни лучше, как мы корешами были, последний кусок хлеба делили пополам. Эх, агай, короткая у тебя память... А как мы барана в лесу ели, забыл?

— Я-то ничего не забыл, — глядя прямо в глаза десятнику, ответил Кулсубай, — и ты меня старым не попрекай, я на эту

¹ Агай — обращение к старшему.

² Казакин — верхняя одежда.

³ Каты — обувь для взрослых.

дорожку больше не встану, завязал — и баста! А вот у тебя, как видно, память дырявая! Забыл, как у голодных детей золотой песок за бесценнок скупал? А сколько ты хороших людей подсидел? Для тебя люди дешевле грибов! В тебе и раньше червоточина была, но я думал — исправиться, выбьешь дурь из головы, человеком станешь. Но теперь вижу — нет у тебя в душе ничего святого... Уходи, Нигмат, не о чем нам с тобой говорить.

Нигматулла опустил голову. Одеяние от тулупа дрожало в его руках. Судя по всему, такого приема он не ожидал.

— Ты неправ, Кулсубай, — наконец с трудом выговорил он, — я уже не тот. Разве ты не знаешь, что меня Накышев с толку сбивал? А теперь я совсем один остался, все от меня отвернулось! Я к тебе как к другу пришел... Если ты мне сейчас руки не протянешь, совсем пропаду. Был бы жив покойный Сайфетдин, он бы так не поступил!

— Прикуси язык! — Кулсубай рванулся и яростно сжал кулаки. — Не трожь Сайфетдина! Не такой он был, чтоб тебе его имя мусолить! И я-то ногтя его не стою, а ты перед ним сорняк, навозная куча! Этот человек всех согревал. Он меня от смерти спас, и я его в обиду не дам!

— А разве я не об этом же говорю? — еле сдерживая себя, повысил голос Нигматулла. — Почему ты мне не веришь? Правду тебе говорю, совсем другим человеком буду! Думаешь, мне людям в глаза смотреть не совестно?

— Да откуда в тебе совесть-то? Если и осталась она в тебе, то на самом донышке, кошка лизнет — и нету!..

Дверь распахнулась, морозный воздух ворвался в землянку.

— Мамка пришла! — радостно крикнул Файзулла, все это время тихо, как мышь, сидевший на корточках у чучала.

В землянку, улыбаясь, вошла немолодая, худенькая женщина с веснушчатым лицом и впалыми щеками. Увидев гостя, она нахмурилась. Следом за ней по лестнице скатилась ватага ребятишек. Сразу стало шумно и весело.

— Ой, атай, какую мы птицу в лесу видели! — подбежала к Кулсубаю веснушчатая, как мать, девочка.

— погоди, дочка, потом расскажешь, дай я сначала матери помогу... Почему ты меня не разбудила? — упрекнул Кулсубай, помогая жене снять тулуп. — Разве это женское дело — за дровами ходить? Я же тебе наказал, чтоб через три часа подняла, вместе пошли бы...

— Пожалела... Так ты сладко спал, как маленький, руку под голову подложил. — Сара вздохнула. — Ты и так устаешь, ни днем, ни ночью глаз не смыкаешь... А ну-ка, быстро раздевайтесь, снимайте каты — и к огню! — И она ловко захопотала над очагом, шурша грубым полотняным платьем, гремя стеклянными цветными бусами. — Файзулла, помоги Азнабаю

расстегнуться, видишь, он сам не может... Халима, доченька, дай мне казанок!

— У вас, кажется, были ребята постарше этих? — заметил Нигматулла.

Сара взглянула на него, словно заметила впервые, поджала губы и, не ответив, продолжала хлопотать.

— Старших мы на Кэжэнский завод отвезли, в ученики, — хмуро повернул голову Кулсубай. — Может, в люди там выйдут...

Десятник с сомнением покачал головой:

— Как бы совсем не испортились, как Хакимов ублюдок Загит. Аллах сохрани, если свяжутся с такими, как Михаил...

— Что тебе Михаил-то худого сделал? — Кулсубай бросил на десятника колючий взгляд. — Боишься, что добро твое отнимет? И что ты за человек, Нигмат!

— Нет у меня теперь никакого добра! Что было, то сплыло, — как бы не слыша последних слов Кулсубая, проговорил Нигматулла. — Мне не себя, мне башкир жалко...

— Прямо похудел от забот, одна шкура осталась! — Кулсубай рассмеялся. — Может, ты для того и доносишь Накышеву на каждого второго башкира?

— Я не хочу, чтоб неверные нашей землей завладели! А твой Михаил неверный. Никому теперь не верю — ни ему, ни управляющему, только самому себе. Оба они одного поля ягода, каждый для себя гребет, только выгода у них разная...

— Эх ты, язык без костей! — снова закипая злостью, выкрикнул Кулсубай. — Какая же Михаилу выгода от того, что он за нас на каторге пробыл да по тюрьмам сидел?! Может, скажешь, он с твоим Накышевым в сговоре?

— Да нет, агай, ты не так меня понял, я тебе про другое... Откуда ты знаешь, за что Михаил на каторге сидел? А что его отец первый богач в одном городе, тебе известно? Эх, Кулсубай, когда ты с неба на землю спустишься?.. Мне не веришь, а этому русскому душу отдашь, не задумаешься! Разве он для башкир старался? Обманывает он тебя! Ему родная кровь дороже, он за одного русского все Сакмаево с головой продаст и глазом не моргнет! Только хитрый больно, скрывает себя...

— Ну, забрехало байское хлебало! — с отвращением сплюнул Кулсубай.

— Клянусь аллахом, не вру! Вот увидишь! Скоро новый хозяин придет, русский, тогда они вместе с Михаилом против башкир пойдут! Кресты на лбу выжигать будут! Всех с нашей земли прогонят!

— Глотку не надорви! — спокойно отрезал Кулсубай. — Меня на крик не возьмешь! Ты для чего сюда пришел? С Михаилом меня поссорить хочешь?

— Да не вру я, чем хочешь клянусь! Все Сакмаево хотят с землей сровнять! Сам слышал, как Михаил говорил!

— Ну, вот что! Долго я тебя слушал, больше невмочь, хватит! Уходи! — вскочив, заорал Кулсубай. Лицо его покраснело от гнева. — Чтoб глаза мои тебя больше не видели! Поганка! Душегуб! Вот ты кто!

Нигматулла неторопливо поднялся, подвязал пояс, пошел к двери. Уже открыв ее, он обернулся и посмотрел прямо в глаза Кулсубаю.

— Ну, ладно, агай... Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Ты, я помню, как-то каялся, что в свое время Сайфетдина не послушал... Попомнишь ты и мои слова! Попомнишь и покаешься! — И десятник вышел, громко хлопнув дверью.

Кулсубай, как-то сразу ослабев, сгорбился, приткнулся к нары. Лицо его все еще было перекошено, руки сжимались в кулаки.

— Зачем ты ему такого наговорил, отец? — Сара не сводила с него тревожного взгляда. — Так и до беды недалеко...

Кулсубай поднял голову, обвел глазами землянку. На лавке у стены лежал оставленный десятником сверток.

— Догоните его и отдайте! — устало махнул рукой Кулсубай.

Ребятишки, присмирившие на время, пока отец ссорился с незнакомым дядей, обрадованно вскочили и вырвались на улицу. Закрыв за ними дверь, Сара медленно подошла к мужу, присела рядом с ним на нарах, опустив в подол платья худые, темные руки.

— Побереги себя, атаки¹. Непокойно мое сердце, боюсь я за тебя...

— А чего ты боишься, глупая? — Кулсубай ласково обнял жену за плечи.

— Ты совсем другой стал, как тебя из фишеровской шахты вытащили... Какие-то чужие люди к тебе ходят, книжки приносят, а потом ты куда-то пропадаешь на целый вечер, а я себе места не нахожу... Не тянись ты за этим русским! Ну как уволят тебя или в тюрьму упрячут, что тогда я буду делать? Ты же весь наружу, тебя ничто не стоит обмануть или надругаться над тобой!.. Ради детей тебя прошу — не вяжись с чужими людьми, остерегись. Погубят они тебя, чует мое сердце...

Кулсубай сидел насупившись, почти не вслушиваясь в голос жены, с тревогой думая о том, зачем приходил к нему Нигматулла. И пугала его не угроза, прозвучавшая в последних сло-

¹ А т а х ы — ласковое обращение к мужу,

вах десятника, а то, что разговор с ним оставил в его душе какой-то мутный осадок и теперь он не знал, кому верить и чем жить.

«А что, если на самом деле Михаил для русских старается? — размышлял он, глядя себе под ноги. — Чужая душа — потемки. Я ведь и Сайфетдину не верил, пока он за меня жизнь не отдал. Потом хоть об стенку головой бейся, а человека не вернешь, не скажешь ему, что правда на его стороне!.. Вот и Сафуан с Михаилом то и дело спорит, хотя богатых так же ненавидит, как и он... И Нигматулла против управляющего говорит, а я считал, что он перед ним на задних лапах ходит! Попробуй поди разберись во всем!»

— Атахи, что с тобой? — Глаза Сары были широко открыты, губы ее дрожали. — Ты что-то скрываешь от меня! Ну о чем ты сейчас думал?

— Ох ты бедная моя! — Кулсубай улыбнулся, положил руку на руку жены. — Не печалься понапрасну, худо-бедно проживем, а там дети подрастут и нас с тобой кормить станут...

Не успел он договорить, как в избу вбежали запыхавшиеся ребятишки, а впереди всех Файзулла со свертком в руках.

— Не взял! Сказал: «Поделите и ешьте...»

Сара начала было разворачивать сверток, но сердитый окрик Кулсубая остановил ее:

— Вы что, с голоду подыхаете?

Сара удивленно смотрела на мужа, потому что никогда еще муж так не кричал ни на нее, ни на детей, которые теперь испуганно, как цыплята около наседки, жались к ней. Самый маленький, Азнабай, готов был зареветь на всю землянку.

— Даже если у вас живот к спине присохнет, и тогда ничего не берите у этого человека, — еле слышно досказал Кулсубай и закрыл лицо руками.

— Может, он заговоренную еду принес? — испуганно спросил Файзулла.

— Атай, я его конфету съела! — заплакала Халима.

— И я! И я! — подхватили другие дети.

Кулсубай притянул всхлипывающую девочку к себе и ладонью вытер ей щеки.

— Ну, съели так съели, никакого греха нет! Ты, мать, хлеб вынеси и спрячь, найдем кому его скормить... Но сами есть эти подачки не будем!

III

У берега Юргашты Нигматулла резко натянул ременные вожжи и с минуту неподвижно сидел в кошевке, как бы раздумывая, куда ехать дальше. Сытый скакун нетерпеливо топтался в оглоблях, грыз удила.

Целый день шнырял десятник по прииску, желтый, приметный тулуп его то мелькал рядом с тепляками, то у магазина, то на окраине поселка, и везде вокруг него собирались небольшие кучки старателей. Когда он выводил со двора конторы лошадь, ноги его гудели, голова кружилась от усталости, но он был доволен, что побывал везде и как бы ненароком, в случайном разговоре, обронил то, что потом должно было дать свои всходы. Теперь ему нужно было повидать Гульямал и с ее помощью подготовить к приезду дорогого гостя свой дом, если он неожиданно объявится на прииске.

Едва Нигматулла ослабил вожжи, как лошадь сорвалась с места и пошла наметом вдоль берега, стуча снежными комьями в передок кошевки. Скоро он обогнал тяжело груженные рудой сани, потом еще одни, но лошадь, которой он дал полную волю, не сбавляла ходу, лишь на подъемах переходила на рысь. Казалось, чем слышнее становились голоса женщин и стук бьющих по камням лопат, тем она сильнее рвалась вперед, с каждым рывком сбрасывая налипший к заиндедевшему брюху снег.

Не доезжая до запруды, Нигматулла резко осадил ее и выпрыгнул из кошевки. Он сразу узнал Гульямал среди женщин, работавших у тепляка. Яркий ее платок, усыпанный огненными листьями, как большой цветок, цвел на белом снегу.

— Э-эй, Гульямал! — сложив ладони, крикнул десятник.

Гульямал, сбрасывавшая крупные глинистые камни на вашгерд, оглянулась. Она вытерла пот с лица, заправила выбившиеся из-под платка волосы и воткнула лопату в снег.

— Иди сюда! — крикнула она. — Или ноги боишься промочить?

Женщины у вашгерда засмеялись, и Нигматулла, привязав к столбу лошадь, двинулся навстречу молодой вдовушке.

— Айхай, какая ты гордая! — Десятник широко улыбался, подмигивал. — Здравствуй, красавица!

— Здравствуй, коли не шутишь! — Черные раскосые глаза Гульямал блестели, как спелые вишни, прядка волос снова вырвалась на свободу из-под платка и прилипла к взмокшему лбу, щеки горели. — С чем пожаловал?

— Дело есть, — тихо, чтобы не слышали другие, сказал Нигматулла. — С глазу на глаз надо...

— Я чужих ушей не боюсь, у меня совесть чистая, — громко отвечала Гульямал и все оглядывалась на своих товарок, стоявших в нескольких шагах от нее. — Уж не влюбился ли ты в меня и при всех стыдишься открыться?

Снизу, из тепляка, раздался визгливый голос ровняльщика:

— Эй, вы что, уснули там? Почему не спускаете подачу?

Женщины засуетились, а Гульямал, сразу посерьезнев, пошла к кошке:

— Ну, выкладывай свои секреты...

— Хочу дней на десять смотаться в Оренбург, — понижая голос до шепота, сказал Нигматулла. — Не смогла бы ты на время присмотреть за моим домом?

— Что это ты надумал? — Гульямал перестала улыбаться. — По-моему, у тебя есть кому за домом присмотреть — и отец и мать на ногах...

— Гостя с собой привезу, угостить его надо. А мать моя стара уже, ей такое не под силу...

— Нет, Нигмат, найди еще кого-нибудь, а у меня ни сил, ни времени не хватит. Сам видишь, как я здесь с утра до ночи выматываюсь, а потом приду домой — и там хлопот полон рот! Пусть твоя мать возьмет себе в помощь какую-нибудь соседку.

— Кто же встретит гостя лучше тебя! — заволновался десятник. — Ведь ты среди наших, сакмаевских, как куколка белая среди чурок! Всем взяла — и одета, и обута, и бишбармак готовишь так, что пальчики оближешь, и по-русски говоришь, даже, я слыхал, в пашки играешь, а посмотришь — будто в сердце выстрелишь!

— Большой убыток терпишь, Нигмат, — еле сдерживаясь от смеха, выговорила Гульямал. — Твоим бы языком ковры плести, а потом на базаре продавать!

— Брось ты, я с тобой не шутки шучу! Мне этого гостя по всем правилам встретить надо. И всего-то он недельку какую-нибудь здесь побудет, тебе и устать не придется!

— Что же это за фон-барон такой?

— Придет время — сама узнаешь, — хитро шурился Нигматулла. — Да разве трудная это работа — снять с человека обувь, полить на руки да постоять, пока он есть будет... Женщина ты незамужняя, если и грех случится, все будет шито-крыто!

— Ну, тогда понятно! — Гульямал не сдержала презрительной ухмылки. — Раз я вдовушка, то, по-твоему, я пригожусь с любым мужиком любовь крутить! На хорошее дело ты меня уговариваешь! А я, дура, с первого слова не могу понять, что за счастье на меня сваливается! Умереть не жалко!

— Ты погоди, не расходись больно! — попытался было остановить ее десятник. — Уважишь мою просьбу — я тебе такой подарок сделаю, что во сне не приснится. Да и гость тоже не поскупится — у него денег и золота куры не клюют... Так что за мной не пропадет... Да и не в подарках дело, я, если хочешь, Хисмата к тебе верну, пусть только живым вернется...

— Может, хватит? А то меня и стошнит от твоей доброты... — Гульямал сделала шаг от кошевки в сторону, но что-то еще удерживало ее около этого глумливого человека. — Не из

того теста Хисмат, чтобы ты мог по своей воле из него состряпать, что тебе будет угодно...

— Да не о том я, дурочка! — все сильнее злясь на упрямую и непонятливую бабу, сказал Нигматулла. — Я и не собираюсь его покупать или задабривать... Он ведь, твой Хисматулла, на Нафису зарится, а Нафисы ему не видать как своих ушей. Хажисултан от нее давно отказался, выкупа за нее никому платить не надо, а мне такая жена как раз впору... Словом, я женюсь на Нафисе, а Хисмат тебе достанется... Раскумекала?

— Не ум у тебя, а помойная яма, — Гульямал уже не скрывала своей насмешки и ненависти, — и мысли у тебя грязные, вонючие! Мало, что ты Райсу на всю жизнь опозорил и бедная девка не знает, куда глаза девать! А что ты опоганил Гамилю, дочь Хакима, ты тоже забыл? Не ты ее в могилу загнал? Не ты, падаль черная? И меня хочешь грязью забросать так, чтоб я потом и отмыться не смогла?.. Катись отсюда подобру-поздорову, и чтоб ты ко мне больше не приставал!

— Говори, да не заговаривайся! — зло сплюнул десятник. — Подумаешь, недотрога какая! Чего ты себе цену набиваешь? Чего ломаешься?.. Чем ты лучше других? Райса та воровкой была, а Гамиля с каждым вторым под кустом лежала, что съела, то и отрыгнулось!.. А если ты мне пакостить вздумаешь, то я тоже тебе хвост прищемлю, не возрадуешься!

— И на том спасибо, что грозить открыто! — чуть побледнев и дрожа от гнева, твердо отвечала Гульямал. — Лавка у тебя сгорела, смотри теперь, как самому в живых остаться!.. И ты не из железа сделан, и тебе хребет можно переломить!..

— Перестарок! Язва! Коза блудливая! — уж позабывшись, как в беспамятстве, выкрикивал Нигматулла. — Доберусь я до тебя, вырву твоё змеинное жало, поганый твой язык! Придет время — наплачешься!..

— Ничего, одна слеза скатилась да назад воротилась! — так же зло и неуступчиво кричала Гульямал. — Еще не родился тот батыр, который мне язык рвать будет! Катись, пока сам цел!

Нигматулла замахнулся на нее кнутом, но, увидев, что женщины у вашгерда, оставив работу, смотрят на него, хлестнул по столбу. Изрыгая хулу и проклятья, он отвязал лошадь, вскочил в кошевку и вихрем рванулся от тепляка. Он гнал, не жалея лошадь, задыхаясь от ярости и бессилия.

— Сволочи! Бунтовщики! Неверные! — выкрикивал он на ветер.

Из-под копыт в лицо ему летели снежные комья, били по плечам и груди, но десятник точно не чувствовал этого — бешено гикал и свистел, размахивал кнутом над головой, сек по крупу лошади, хотя та и так мчалась изо всех сил.

Немного отойдя, он опустился в кошевку на охапки соломы, и лошадь пошла бодрой рысью.

«Все посходили с ума, все будто сговорились и поют одну и ту же песню! — растерянно думал он, отдаваясь во власть беспокойных мыслей. — И Хисматулла из какого-то, видишь ли, другого теста состряпан, чем я! И Кулсубай на меня шипит и слюной брызжет от злобы, словно я ему на горло наступил!.. Ну ладно, этот давно на своей честности помешался, а эта-то что выламывается? Раньше она бы голос подать боялась, а теперь, как кошка, готова в меня вцепиться и глаза мне выпарапать! И выпарапает, если ее не связать по рукам и ногам! Да и кому это под силу, когда вся Россия шатается?.. Или эта непогода скоро кончится и все образумятся и я, дай только мне добраться до места управляющего, наведу тут порядочек!.. Я сумею со всеми поладить, но тем, кто в меня сегодня камни бросает, сроду не прощу и не забуду! И эта потаскушка еще вспомнит меня, еще станет пятки мне лизать... Вообразила о себе невесть что! Будто во всей округе нету больше такой смазливой бабенки, чтобы угодить гостю... Лишь бы не прозевать мне нового хозяина, а сладкое блюдо я всегда смогу приготовить...»

Лошадь была уже в мыле, с рыси перешла на шаг, мотая головой с густой, мохнатой челкой. Впереди виднелось деревенское кладбище, рябивший от света сквозной березняк.

«Я тоже стал как бешеный, — окончательно приходя в себя, подумал Нигматулла. — Так недолго сорваться, упасть, и тебя все затопчут... Нельзя, чтобы люди от меня отвернулись, чтобы я был врагом в их глазах!.. И Накышева тоже без пользы злить не нужно, он и так меня из всех десятников отличает, даже вон шахту обещал. Ему тоже в рот надо поглядывать, нужным человеком для него стать, рано еще палки в колеса ему ставить, рано».

Когда кошевка свернула на деревенскую улицу, Нигматулла был уже спокоен и ровен, то отпуская, то натягивал вожжи, и лошадь хорошо слушалась его.

У остова сгоревшей лавки она остановилась, точно угадывая желание хозяина. Нигматулла окинул беглым взглядом свой дом с железной крышей, уцелевшие от пожара каменные клетки и новые, сделанные на русский манер ворота.

Не успел он подъехать к воротам, как Хаким, будто карауливший, когда появится хозяин, распахнул обе половины. Лицо его под засаленной шапкой вспотело, холщовые штаны намокли, деревянная лопата, которую он держал в руках, была облеплена мокрым снегом.

Выпрыгнув из кошевки, Нигматулла передал вожжи конюху:

— Распрягай да поводи немного. И не опои смотри...

Нигматулла присел на ступеньку крыльца, торопливо скрутил сигарку. Голубоватый дымок быстро потянуло в сторону — ветер дул с приисков. Расслабившись, Нигматулла развалил полы тулупа, чтобы легче было дышать, и лениво следил, как конюх старательно водит лошадь по кругу.

«А что, если определить этого старого дурака в женихи Гульямал? — ухмыльнувшись, подумал он. — Вот и будет ей первая моя плата, чтоб знала край, да не падала!»

— Поздравь меня, агай! — громко, на весь двор, крикнул он. — Скоро женюсь!

— Слава аллаху, пусть пошлет он тебе сыновей для продолжения рода! — привычным приветствием ответил Хаким, но не остановился, не выпустил поводьев из рук.

— Спасибо за доброе слово! — Десятник лукаво щурился из-под белесых ресниц. — А почему бы и тебе не жениться, агай?

— Грешно смеяться над старым человеком...

— И не думал смеяться, агай...

— Мне уже за пятьдесят, двух жен схоронил. — Конюх придержал лошадь и смотрел на хозяина. — Кто же за такого бедняка согласится пойти? Разве такая же несчастная бобылка, как я?

— Ты ничем не хуже других, агай, — посерьезнел Нигматулла, — может, в чем и побольше молодого смыслить. Помнишь, еще года три назад разве ты думал о том, сколько тебе лет, когда под юбку забираешься? Умная женщина старого ястреба на воробья не променяет!

— Нет, прошло мое время, — Хаким махнул рукой. — Да и Аптрахим еще на шее висит...

— А по-моему, есть тут одна как раз для тебя!

— Кто это? — удивился Хаким.

— Гульямал! И калыма за нее платить не надо, и детей она любит, не обидит твоего Аптрахима. Всем взяла, а как за работу примется — любо-дорого смотреть! Прямо жалко, такая баба на дороге валяется и никто не подбирает! — причмокнул Нигматулла. — Но ты, конечно, смотри, агай, если она тебе не нравится, то не надо. Как бы только тебе под старость одному не остаться...

— Гульямал Хисматуллу ждет, ей не до меня, — уныло сказал Хаким.

— Да брось ты! Когда он вернется, да и вернется ли еще, одному аллаху известно. Я слышал, его за смуту в штрафной батальон отправили, а это гиблое дело. Из штрафного если один человек и уцелеет, то без руки или без ноги. Так что не теряй времени! Война еще не кончилась, мужики все на фронте. А такая баба, как Гульямал, разве может без мужика обойтись? У нее сейчас кровь небось разыгралась, как кипяток в самоваре! — захохотал Нигматулла.

Глаза Хакима заблестели, красные от мороза уши, казалось, стали еще краснее.

— Так-то оно так,— смущенно сказал он.— Но разве ты не знаешь, какой у нее язык? Прилепит к тебе слово — и на всю жизнь посмешищем станешь.

— Ну, если ты слова бабьего испугался, тогда о женитьбе и разговор заводить нечего! — Десятник насулился, даже сплюнул в сердцах.— Будет болтать лишнее, сама же себя и опозорит! Она пока, как необъезженная двухлетка, свой поров показать хочет, в оглобли не загонишь! А как только ты ее взнуздаешь, и хомут ей на шею наденешь, и подпругу подтянешь, она живо присмирееет и будет послушной... Тогда хоть паши на ней, хоть пляши! А около такой бабы, как Гульямал, ты никакой заботы знать не будешь: она и обстирает тебя, и в доме будет чистота и порядок, да и спать с ней не будет кушно... Сыт, пьян и нос в табаке!

— Спасибо тебе за добрый совет, только грех мусульманину пить вино,— Хаким сморщился,— да и табака я не курю...

— Ну что ж, чем меньше грехов, тем жить легче,— согласился Нигматулла.— В добре и достатке жить станешь...

— Кто ее знает...— мялся и краснел, как мальчишка, Хаким.— Боязно к такой красавице подступиться, хоть и говорят старые люди — попытать счастья никогда не грех... Не в белку попадешь, так в сучок!

«Вроде дело идет на лад.— Потешаясь в душе над стариком, Нигматулла еле сдерживался, чтобы не расхохотаться.— Как начнет этот осел всюду за нею ходить, все Сакмаево жivoty надорвет!»

— Ты, главное, агай, не спеши,— сказал он.— Не вздумай сразу сватов к ней засылать. Так ты все дело испортишь! Ты издалека начни. Почаще ей на глаза попадайся, заговаривай, хвали ее в глаза, какая она пригожая и что лучше ее во всем свете не найдешь... Бабы — они всякой чепухе верят, лишь бы ты слова для нее не жалел! Станет фыркать — не обращай внимания, не отставай. Баба — она как горшок, что ни влей, все кипит!..

— Спасибо тебе, Нигмат,— Хаким поклонился десятнику в пояс.— Хоть ты и моложе меня, но мудрости у тебя не меньше, чем у муллы, пошли тебе аллах удачи во всяком деле! Много ты для меня добра сделал — и Султангали в люди вывел, и меня к делу определил... Но сколько бы я ни старался для тебя, мою вину я все равно не сниму! Этот шайтан Загит на всю жизнь меня опозорил, я из-за него седой стал...

— Замолчи! — неожиданно резко остановил его Нигматулла.— Не хочу я об этом выродке слышать! Он не только лавку мою сжег, он душу мою отравил! Хорошо, если его на самом деле волки съели... Но если его душа еще на этом свете

прячется, ей несдобровать — рано или поздно попадет твой Загит в капкан!

— Как бы мне мои седины не покрыть новым позором, — Хаким покачал головой. — Слышал, наверное, как я молодым опростоволосился на все Сакмаево?

— Ты же тогда совсем сосунком был! — успокоил десятник и, затоптав окурок, поднялся. — Пойду отдохну, тяжелый был нынче день у меня... А ты все обдумай как следует и не зевай, не проворонь свое счастье!

Хаким завел лошадь в стойло, поставил на место лопату, отжал мокрые штанины и, заперев ворота, вышел на улицу.

Неприятный случай, вспомнившийся ему в конце разговора с Нигматуллой, произошел давно, когда родители Хакима были еще живы, а сам он еще не брился.

Отец не торопился с женитьбой Хакима. «И для свадьбы нужны деньги, и для калыма, где столько возьмешь? — не раз говорил он, сидя вечером у чувала. — Может быть, наступят для нас лучшие времена. Тогда мы сможем взять девушку из хорошего дома, с приданым. Потерпи, сынок, жениться всегда успеешь, никогда не следует торопиться, когда выбираешь невесту...» Сначала рассуждения эти выводили Хакима из себя, потом он просто перестал их слушать и начал приглядываться к местным вдовушкам, а то и к чужим женам. Особенно нравилась ему Салима, молодая жена соседа. Часто он подходил к плетню, отгораживающему их двор от соседского, и, прячась, подглядывал за ней, чувствуя, как начинают пылать щеки, когда молодая женщина, развешивая белье, встает на цыпочки и под легкой рубашкой резко выступает ее полная грудь.

«Что это за муж для такой молодой и красивой женщины? — думал он. — Рябой, да и лет ему уже около сорока! Растерявшаяся утка задом в озеро ныряет, — видно, так и с ней случилось, по нужде, наверно, вышла замуж за такого старого и некрасивого!»

Каждое воскресенье муж Салимы отправлялся на базар, чтобы обменять там лыко и рогожу на муку и картошку. Выезжал он вечером в субботу, а возвращался только на следующий день.

Однажды в сумерках, дождавшись, когда его повозка протарахтела по улице, Хаким перепрыгнул через плетень и, не постучавшись, ворвался в соседский дом.

Салима только что покормила ребенка и теперь укладывала его спать. Увидев Хакима, она улыбнулась и прижала палец к губам — мол, не шуми, сейчас укачаю и поговорим.

Хаким как вошел, так и остался стоять у дверей, не сводя глаз с молодой женщины, любясь каждым ее движением.

Накопец ребенок уснул, и Салима подошла к нему.

— Тебе чего? — шепотом спросила она.

Хаким молчал, не зная, как себя вести.

— Что? Может, тебя мать за мукой прислала? — переспросила Салима.

Хаким сделал два шага вперед и неожиданно выпалил:

— Люблю тебя, Салима-енга!

— Что-о? — Глаза Салимы округлились.

— Люблю тебя. . . — растерянно повторил Хаким.

Около минуты Салима не могла вымолвить ни слова, а опомнившись, схватила скалку и что есть мочи ударила его по голове.

— Ах ты нахал! Опозорить меня пришел? Вот тебе, вот тебе, шайтан проклятый! — и удары попеременно с руганью градом посыпались на Хакима.

Не помня себя, он выскочил из дверей, перемахнул через изгородь и скрылся в сарае. А на другой день односельчане, едва заведев его, начинали смеяться — большой синяк под правым глазом подтверждал все, о чем Салима успела рассказать соседкам. . .

«Правда, больше со мной такого не случалось, — думал Хаким, быстро шагая по узкой, вытоптанной в снегу тропке. — И возраст у меня уже не тот, чтоб Гульямал могла встретить меня подобным образом, но кто их, баб, разберет. . .»

Когда он пришел домой, Аптрахим уже спал. Хаким снял мокрую одежду, развесил ее возле чучала и, накрывшись старым ковриком, лег рядом с сыном.

«Эх, была не была! Да и чего я боюсь, в самом деле? Откажет — так откажет, другую найду, а одному, как говорят, и топиться идти скучно».

IV

Уже в сумерках добралась Гульямал до Сакмаева. Выйдя на пригорок, она расправила подоткнутый подол и огляделась. Хоть и ночь, а вдруг кто-нибудь встретится, неудобно.

Окна низенького домика на окраине села были темны, двор завалило снегом. Проваливаясь в сугробы и высоко поднимая над головой небольшой узелок, Гульямал дошла до крыльца и тихонько постучала.

— Ох, доченька, подожди, сейчас открою, — отозвалась Сайдеямал.

Войдя, Гульямал обессиленно опустилась на покрытые ковриком нары.

— А я думаю: кто же это так поздно? — приговаривала Сайдеямал, разжигая огонь в чучале. — Сейчас обогреешься, доченька, снимай каты, они же у тебя совсем заledenели. . .

И что ты вздумала сегодня идти? Ведь не собиралась, сказала, что на прииске останешься. Или тебе передали, что корова твоя отелилась?

Гульямал покачала головой:

— Нет, никто ничего не передавал.

— Отелилась, кормилица! Весь день с ней просидела, даже не успела зайти к Хуппинисе, взять белье для стирки... Только вернулась, легла, а ты тут как тут. Хотела у тебя остаться, а потом раздумала — привыкла я на своем месте спать. А ты оставайся у меня, сейчас картошки тебе дам, чайку попьем! Телочку я за чувалом пристроила, а корова в хлеву, о них не беспокойся!

Гульямал сняла тулуп, скинула каты и устало откинулась на нарах. Все вещи в этом доме — обструганный сосновый чурбан у чувала, затянутое брюшиной окошко, измятый медный самовар с дырочкой около ручки — были дороги ей, ведь каждой из них касался руками Хисмат. Он сидел на этом чурбане, зажигал лучинки для самовара, она сама не раз разливала по чашкам крепкий чай, ухаживая за ним и свекровью, и теперь все здесь скучало по его рукам.

— Что ты такая скучная? Или грустную муху проглотила? — пошутила Сайдеямал.

— Устала, мама. Скажите лучше, не было ли сегодня письма от кайнеша¹?

— Не было, доченька, — вздохнула Сайдеямал. — Неужели ты думаешь, что я стала бы скрывать от тебя такую радостную весть? Самой-то мочи нет, сердце кровью обливается, как о нем подумаю... И сны нехорошие снятся — то будто он в воду падает, то в какую-то яму проваливается. Это, говорят, к беде.

— Не говори так, — побледнела Гульямал. — Нельзя к беде сны разгадывать, а то сбудутся!

— Нет, нет, — испугалась старушка, — пусть аллах хранит моего сыночка, пусть он будет жив и невредим! Пусть возьмет лучше меня, старую, хватит мне небо коптить... Он же у меня один-единственный, последний мой! Ни минутки не проходит, чтоб я о нем не подумала, и когда ложусь, и когда встаю, только о том и молюсь всемогущему, чтобы скорее вернулся под родную крышу, чтоб увидеть мне его...

Гульямал взяла маленькую подушку, на которой когда-то спал Хисматулла, припала к ней щекой. Слезы душили ее, и, не удержавшись, она вдруг заплакала навзрыд, кинувшись всем телом на нары, закрывая лицо подушкой.

Сайдеямал тихонько подошла, присела рядом и положила руку ей на плечо.

¹ К а й н е ш — брат мужа,

— Не плачь, доченька,— с трудом проговорила она, вытирая подолом катившиеся по щекам слезы.— Не слушай меня, старую... Вот увидишь, он вернется!

— Два месяца, как писем нет,— сквозь всхлипы выговаривала Гульямал.— Говорят, будто его в самое пекло послали!.. Какого-то приказа не выполнил, против царя выступал...

— Если и послали его, то несправедливо,— склонила голову Сайдеямал.— Уж я своего Хисмата знаю, ничего он не мог худого сделать. И ты не горюй, не умножай мою боль, доченька. На свете больше плохих людей, чем хороших, поэтому и у сына моего столько недругов...

— Знаю я, кто эти слухи разносит,— Нигматулла! — сказала Гульямал, все еще прижимая подушку к щекам и всхлипывая.— Мало ему, вору, что он столько людей погубил — и Гамилю, и Шарифуллу, и Райсу,— все неймется!

— Будь он проклят, этот Нигматулла,— посуровело лицо Сайдеямал,— не будет ему прощения перед аллахом! Всю деревню замучил за свою сгоревшую лавку! Неужели нет в нем страха перед высшим судом? Нет, помни мои слова — не суждено злему человеку пользоваться добром, добытым ценою слез!

— Какой там страх! — с болью ответила Гульямал.— Он теперь задумал на Нафисе жениться! Уж и не знаю, как ему помешать...

Сайдеямал промолчала и, как бы не слыша последних слов невестки, захлопотала у чувала. Только сняв казанок с дымящейся картошкой, она снова повернулась к Гульямал:

— Пусть что угодно делает! А ты — знай себя, не вздумай в дела Нафисы вмешиваться!

— Неужели вам не жаль Нафису? — удивилась Гульямал.— Каково ей будет замужем за этим зверем!

— Я потому и говорю тебе это, что жалею ее,— поджала губы Сайдеямал.— Куда уж ей выбирать себе мужа! Хорошо, что хоть этот нашелся, сыта и одета будет.

— Как же, накормит он, разевай шире рот! — горько усмехнулась Гульямал.— Хорошо еще, если с голоду не помрет! Она и нужна-то ему для того, чтоб дрова на ней вместо лошади возить, спины в его доме не разгибать! Райсу он любил, а все равно через три месяца из дома выгнал, да еще опозорил, сказал — деньги воровала, подарки родным делала. Ведь эти подарки он сам, по обычаю, должен был сделать родителям невесты!

— Всех не пережалеешь,— перебила ее Сайдеямал.— А такую, как Нафиса, хоть жалей, хоть не жалей, ничего не изменишь.

— Я не за нее, я за Хисмата переживаю, — глотая слезы, сказала Гульямал. — Что он будет делать, если Нафиса выйдет замуж за другого?

— Хисматулле и без Нафисы жена найдется! — рассердилась старушка. — Или, может, ты его разлюбила?

Гульямал печально посмотрела на свекровь:

— Потому и говорю так, мама, что люблю его больше жизни. Хотя и плохо мне, а мешать ему не стану. . .

— Вот тебе и раз! Что это еще за новости? Или тебе на прииске кто-нибудь понравился? Никогда раньше так не говорила, — огорчилась Сайдеямал.

— Никого у меня в сердце, кроме кайнеша, нет и не будет, — видно, так мне на роду написано, чтоб только он меня за сердце задевал. . . Только даже если он со мной жить начнет, все равно о Нафисе думать будет, места себе от тоски не найдет. Зачем себя обманывать? Я другого хочу — пусть он женится на Нафисе, а меня возьмет старшей женой, если только я ему не противна, — еле слышно закончила Гульямал.

— Да ты с ума сошла! Никогда не будет на это моего согласия, так и знай! — замахала руками Сайдеямал.

— Но почему, мама? Мне хватит и того, что я рядом с ним. Я им в тягость не буду, все домашние дела стану делать, за скотиной смотреть, детей их нянчить. . .

— Смотрю на тебя, доченька, и не могу понять. . . Женщина ты вроде умная, а такие мысли у тебя в голове, будто ты глупее самой глупой овцы в отаре! Грош цена твоей любви, если ты за нее бороться не хочешь! Разве это дело — перед таким теленком, как собака, на брюхе ползать, каждую улыбку, как хлеб в голодное время, выклянчивать?! Да ты любую за пояс заткнешь, если захочешь! Почему ты с другими мужчинами как камень, а с ним как кисель? Распрямись, доченька, веди себя достойно, тогда и плакать не придется! — твердо сказала Сайдеямал. — Послушайся меня, я тебе добра желаю.

— Любую заткну, а Нафису не заткну. . . — Гульямал опустила голову. — Любит он ее, мама, а любовь — она слепая, только и видишь, что любимого, это уж я по себе знаю. . .

— Хватит! Чем ерунду болтать, давай-ка лучше чаю попьем, — отмахнулась Сайдеямал. — Пей, пей! — притворно сердитым голосом продолжала она. — А то ходишь как в воду опущенная, смотреть на тебя тошно!

— Ой, мама, я же вам гостинец принесла! Там, у дверей, в узелке, баранки и сахару немножко, — вспомнила Гульямал.

— Балуеть ты меня, — улыбнулась старушка. — Не горюй, доченька, подыми голову! Ты ж у меня красавица, умница. Вот увидишь — вернется Хисмат, все хорошо будет, уж я-то знаю. Ведь он в каждом письме тебя вспоминает, приветы шлет, что же ты ревешь, как маленькая?

— Может, и правда все хорошо будет,— с надеждой вздохнула Гульямал и, развязав узелок, положила на скатерку сахар и несколько баранок.

— Вот так-то лучше,— одобрила Сайдеямал.— Держись за меня, доченька, а я за тебя держаться буду, и время быстрее пролетит. Дождемся мы Хисмата, я еще детей ваших нянчить буду, пусть пошлет мне аллах на старости лет это утешение!

— Спасибо вам, мама,— улыbnулась Гульямал. Веки ее были еще красные от слез, но на душе стало спокойно и светло.

V

Кулсубай так устал после ночной смены, что еле добрался до землянки. Глаза резало от света, ноги подкашивались, и он вынужден был два раза присесть и отдохнуть по дороге.

Сара напоила его горячим чаем, помогла снять мокрую одежду, развесила ее на деревянной перекладине.

— Ложись, атахи, не тужи,— ласково поглядев на мужа, сказала она.

— А ты долго спать будешь? — спросил его Файзулла.— Ты ведь еще обещал мне ружье из дерева вырезать, не забыл?

— Не забыл, сынок, — улыbnулся Кулсубай. — Вот отдохну и сделаю!

— Хватит, не шумите, не мешайте отцу,— строго сказала Сара.— С вашими игрушками да сказками он совсем спать перестал! Сделает завтра — тоже большой беды не будет. Отец у нас один, его беречь надо.

Кулсубай с удовольствием растянулся на нарах. Спина и плечи его ныли, натруженные руки горели. Он думал, что тотчас уснет, провалится в сон, как в черную глубокую яму, но не успел закрыть воспаленные глаза, как все мысли, не дававшие покоя ни дома, ни на работе, снова вернулись к нему.

«Кажется, раньше все было ясно: надо только бороться — и жизнь изменится к лучшему. А на деле выходит, что это пустые мечты. День за днем, год за годом, а ничего не меняется, течет, как и текло, по обычному руслу. Кажется, не только не уменьшилось нашего горя, а еще и прибавилось. Неужели суждено человеку родиться лишь затем, чтоб в мученьях добывать себе хлеб? Вот уже и Сайфетдин погиб, не дождавшись счастливых времен, и не он один, а мы все еще не теряем надежды. Разве наши деды и отцы не пытались переиначить эту жизнь? Почему же мы думаем, что у нас выйдет то, что не далось им? Конечно, сейчас еще и война виновата в том, как тяжело мы живем. Однако и перед войной не ели хлеба досыта, дырку дыркой латали. Вот Сафуан говорит, что это русские наш народ разорили, но ведь русским не лучше, чем башкирам,

живется. Или баи рождаются для того, чтобы быть баями, а бедняки — чтобы работать на них?.. Не поговорить ли мне еще разок с Михаилом? Может, яснее станет?»

Он поднялся, потер кулаками глаза, делая вид, что только что проснулся, не спеша подошел к перекладине, снял еще не высохшие портянки.

— Куда это ты собрался? — спросила Сара, оторвавшись от прялки.

Кулсубай намотал на ноги портянки, натянул каты, надел тулуп и повернулся к жене:

— Вспомнил — дело у меня одно есть. Скоро вернусь...

На глазах Сары выступили слезы. «Небось опять пошел на-счет своей Маши узнавать, — с горечью подумала она. — Сколько лет прошло, а все никак забыть ее не может... Алла, что будет со мной и моими детьми, если он покинет нас?»

Кулсубай тихонько прикрыл за собой дверь землянки.

День как будто стал теплее, но небо, ясное и чистое утром, снова затянуло серой мглой. Снег пуховыми шапками лежал на ветвях деревьев, дыбился волнами в глубоких падах. Казалось, и горы, и долина плотно укутаны белым ватным одеялом.

Кулсубай вышел к берегу Юргашты, на дорогу, ведущую к большой шахте. Река еще не стала, хотя почти до середины покрылась мутной коркой льда с продолговатыми застывшими пузырьками. Пройдя мимо барачков, за пригорок, где теснился молодой пихтач, Кулсубай свернул на тропинку и очутился в березняке. Здесь он на минуту, как бы в нерешительности, остановился, огляделся по сторонам и, увидев, что никто не идет за ним, быстро зашагал вперед. По мере приближения к обрыву, на склоне которого в заброшенной землянке проводил собрания Михаил, шаг его становился медленнее, словно он преодолевал в себе что-то:

У землянки, прислонившись спиной к березе, стоял Сафуан.

— А где остальные? — спросил Кулсубай.

— Все здесь! — насмешливо ответил Сафуан. — Разве не видишь? Целая толпа собралась, стоять негде! — Он скривил губы и со злостью швырнул в сторону потухший окурок.

Кулсубай заглянул в землянку. Стекло в окошке было разбито, чувад разрушен, провисший потолок кто-то подпер двумя бревнами, на полу лежал снег.

— Ну и холодище! — заметил он, выходя наружу.

Сафуан старательно вытряхивал из кармана табачные крошки. Свернув козью ножку, он глубоко затынулся и процедил сквозь зубы:

— А ты считал, тебе тут рай приготовили? Может, ковры постелить прикажешь, граммофон, как у Накышева, завести? Небось сам не позаботился чувад подправить или хотя бы дров принести!

Кулсубай хотел было ответить грубо, но сдержался.

«Хоть и злой, а говорит справедливо», — подумал он, снова зашел в землянку и начал приводить в порядок чужал.

Постепенно стали подходить и другие старатели. В тулупах и телогрейках, с красными от мороза лицами, они хлопали руками и подпрыгивали, пытаясь согреться.

— Вот хорошо, Кулсубай, что ты явился! — войдя, обнял его за плечи Михаил. — По правде говоря, браток, я уж и не верил, что придешь. Сколько собраний пропустил! Ну-ка, ну-ка, повернись к свету! Вроде с лица спал... Болел, что ли?

— Да нет, дома дела были, — нехотя отвечал Кулсубай.

Переговариваясь, старатели устраивались кто как мог, — Сафуан прислонился к стене, Кулсубай присел на корточки, так как нар в землянке не было, Мутагар и Тайзулла притулились на остатках разрушенного чужала, некоторые сели прямо на земляной пол. Михаил вынул из кармана свернутую вчетверо газету.

— Товарищи, давайте потише, — сказал он. — Вот «Оренбургское слово» за одиннадцатое ноября этого года. Здесь говорится о том, что цены растут не по дням, а по часам, все больше становится спекулянтов. Только те товары, которые они скупают у местных фирм, дают им от пятидесяти до ста процентов барыша. Представляете себе, что это такое? За два-три дня каждый из них зарабатывает больше, чем старатель за целый год! И такое положение не только в Оренбургской губернии, а повсюду...

— А разве это не из-за войны? — спросил Сафуан.

— Конечно, из-за войны, — согласился Михаил. — Но подумайте: кому выгодна эта война? Разве баи, или помещики, или заводчики стали жить от нее хуже? Нет, у них от этой войны карманы вздулись! А мы в это время животы подтягиваем, не только детей, но и самих себя прокормить не можем. Ведь цены увеличились втрое, а где и вчетверо.

— Да и купить-то нечего!

— Их бы самих голодом поморить, знали бы, как к людям относиться, — загомонили старатели.

Михаил поднял руку.

— Должен сказать, что у нас на прииске положение скоро изменится, — уж не знаю, к лучшему или к худшему. У меня есть верные сведения о том, что вот-вот приедет новый хозяин, Касьянов...

— Надо к нему сразу с жалобой идти, — может, хоть от Накышева избавимся, — сказал Мутагар.

— Все богачи одинаковы, — перебил его Сафуан. — Я так думаю, что лучше никуда не ходить. Не сдвинуть нам Накышева с места, а уедет новый хозяин, Накышев нам за эту жалобу отомстит.

Кулсубай впервые с того дня, как случился обвал в шахте, испытывал настоящее волнение, словно проснулась в нем долго дремавшая сила и искала сейчас выхода — он не мог спокойно сидеть на месте, и когда раздался насмешливый голос Сафуана, он не выдержал и вскочил.

— Не шуми, Сафуан! — крикнул он. — Дай человеку доскочать. Михаил больше нас знает. . .

— Будто мы сами не знаем, что жизнь у нас тяжелая, — не унимался Сафуан. — Как соберемся, так одно и то же! Сейчас тяжело, а потом лучше будет!

— Ты зачем сюда явился, Сафуан? Если затем, чтоб мешать, то уходи сразу! — Кулсубай сжал кулаки.

— Я еще не все договорил, товарищи. — Голос Михаила был тих и спокоен. — Накышев тоже готовится к тому свиданию, только по-своему. Первым делом велел богатые золотом шахты закрыть, а теперь собирается снизить заработную плату и увеличить рабочий день.

Старатели снова зашумели, Михаил закашлялся, вынул из кармана платок.

— Тише, тише! — заволновался Кулсубай. — Видите, больной человек, и так еле говорит. . .

— На других приисках и заводах не лучше. Например, на Златоустовском оплата труда ниже, чем у нас на Кэжэнском, а живут так же, как мы, в бараках спят вповалку. На Качкарском золотом прииске все продукты тухлые, дети с голоду пухнут, а не выполнит старатель нормы за день — тут же к расчету, и никаких поблажек. . . — Михаил подавил приступ кашля и, помолчав, добавил: — В ответ на эти притеснения рабочие собираются объявлять забастовки и стачки. Я думаю, что мы не будем отставать от всех!

— А что это такое, стачка? — спросил один из старателей, он всего лишь месяц назад пришел работать на прииск из соседней деревушки.

— Сейчас я тебе объясню, — язвительно ответил Сафуан. — Было у нас тут один раз такое — вот он, Михаил, сказал, что надо всем собраться и на работу не выходить, а вместо этого заявить свои требования, чтобы плату повысили, рабочий день уменьшили, бараки новые построили. А что получилось? Вызвали казаков, половину перебили и по тюрьмам распахали, как вот меня, а вторую половину еле-еле на работу приняли, и то не всех. . . Не дело ты говоришь, Михаил! Зачем только вы, большевики, головы людям сказками забиваете? Стачками ничего не добьешься, только хуже будет. Разве мало здесь безработных шатается? Не выйдем мы, так безработными эту прореху заткнут, а как людям тогда жить? И так голодаем. Нет, я вашими баснями сыт по горло!

— А вы, собственно, кто будете? — Михаил в упор посмотрел на Сафуана.

— Не признал? — Сафуан громко засмеялся. — Я в тот раз, как ты эту самую забастовку устроил, от солдат тебя защитил! Быстро же ты хорошее забываешь!

— Нет, я вас хорошо помню, — спокойно ответил Михаил. — Я о другом вас спрашиваю: сейчас вы к какой партии принадлежите? Чего добиваетесь?

— Я сам по себе! Я для башкир стараюсь, — нагло ухмыльнулся Сафуан. — Я не хочу, чтоб они, поверив русским сказкам, которые ты тут плетешь, бросили работу и снова голодали. Хватит того, что один раз тебя послушались, теперь ученье! Зачем в омут кидаться, если плавать не умеешь? Русские сами по себе, а мы сами по себе. Вы, русские, что хотите, то и делайте. А почему мы, башкиры, из-за вас страдать должны?..

Кулсубай переводил взгляд с Михаила на Сафуана, и никак не мог решить, кто же из них прав. По лицам других старателей было заметно, что и они в таком же замешательстве.

— Пока у вас одни слова, — заметил Михаил. — А где же дело? Каким образом вы намерены сделать башкир счастливыми? У вас нет никакой программы, а значит, и цели!

— А зачем она нам? Мы в своем хозяйстве и сами разберемся!

— Вот в этом и заключается, товарищ, ваша большая ошибка. — Голос Михаила звучал ровно и уверенно. — Вы только кричите с пеной у рта о том, что готовы сделать башкир счастливыми, а как это сделать, не знаете. В то время как у нас есть общая программа: и для башкир, и для русских, и для татар — для всех бедняков на свете. Мы знаем, в чем наша сила — в единстве. Если все бедняки плечом к плечу встанут против баев и помещиков, против царя, против всех притеснителей, им не устоять! Надо только, чтоб мы были как одна семья, где все братья. Задача перед нами одна — установить власть народа, справедливую власть, чтобы ни один человек не смог унижать и притеснять другого!

— А казаки? — спросил из угла Мутагар.

— И казаков в эту семью возьмем! Они такие же люди, как мы с вами. Вы думаете, у них дома нет своих богачей и своих бедняков? Они везде есть, надо только объяснить им нашу программу, и они перейдут на нашу сторону.

— Ну, и что же вы будете делать на этой вашей стороне? — язвительно усмехнулся Сафуан.

— Прежде всего прекратим эту разорительную войну. Потом отнимем землю и имущество у богатых и поделим поровну между бедными, чтобы все были равны и каждый ел досыта.

Товарищи! Наша судьба в наших руках! А если мы, как предлагает он,— Михаил показал рукой на Сафуана,— будем сидеть и ждать у моря погоды, наше положение останется таким же тяжелым, как было до сих пор!

Лицо Сафуана покраснело от злости, на крупных руках выступили голубые вены.

— Что вы его слушаете? — выкрикнул он. — Развесили уши! Он вам еще и не такого наплетет! Когда это русские к нам с добром приходили? Разве не они отняли у нас земли, принадлежавшие еще нашим дедам? Разве не они забирают лучших наших мужчин на войну? Раньше мусульмане не курили и вина не пили, а теперь каждый парень, стоит ему прийти на прииск и увидеть русские порядки, только этим и занимается!

— Не русские отняли у вас земли, а богачи. И не только у вас — у русских тоже все земли кучка богачеев в руках держит! Вот я и хочу, чтоб мы вместе боролись за то, чтобы эти земли, на которых и ваши, и наши деды жили, снова вернулись к нам, к настоящим хозяевам!

— Не верю я тебе! И слушать больше не хочу! А вы,— повернулся Сафуан к старателям,— если ему поверите, опять в дураках останетесь!

— Не хочешь слушать — уходи! — крикнул кто-то из старателей.

Сафуан резко повернулся и, хлопнув дверью, вышел из землянки. Старатели притихли.

— Я вас не заставляю решать сейчас,— прервал наступившую тишину Михаил. — Подумайте, взвесьте все как следует. Конечно, забастовка провалится, если вы послушаете этого человека и решите, что башкиры должны сами зарабатывать себе свободу. Вся наша сила в том, что мы держимся друг за друга. Только при этом условии победа будет на нашей стороне... — Он снова сильно закашлялся и вынул платок.

— Давайте расходиться, товарищи,— сказал Кулсубай. — Только по одному.

Скоро Кулсубай и Михаил остались одни.

— Ну что, браток, задумался? — улыбнулся Михаил.

— Да всякое в голову лезет... — Кулсубай смутился и тяжело вздохнул. — Почти все новенькие. Провалится, по-моему, забастовка...

— Ничего, пусть привыкают. Когда начинали, еще хуже было. А время сейчас самое подходящее, на других приисках тоже к забастовкам готовятся,— ответил Михаил и достал трубку. — Видишь, не курю теперь, так, посасываю. Совсем кашель одолел...

Они вышли из землянки, поднялись по откосу, цепляясь за гибкие березовые ветки.

— Пусть только вернутся с фронта наши старые товарищи: тогда совсем дело на лад пойдет. Ты знал Хисматуллу?

— Знал,— отозвался Кулсубай.— Я вот что тебе хотел сказать: приходил ко мне сегодня Нигматулла, как раз о новом хозяине рассказывал. Говорит, придет он — тогда ты с ним все Сакмаево с лица земли сотрешь, кресты на лбу выжигать станете... Мол, башкирский народ ему жалко, и никому он теперь не верит, и другим человеком хочет стать, — много чего молол. Выгнал я его. Только невдомек мне, зачем он ко мне приходил? Давай, говорит, снова дружбу с тобой заведем... Накрылся, что лиса хвостом,— один пух торчит!

— Да, неспроста он к тебе подмазывается,— приостановившись, задумался Михаил.— Да и Накышев что-то готовит, судя по всему, по ночам в конторе штейгеров да десятников собирает... Думаю, раз Нигматулла такие речи повел, где-то они с Накышевым друг другу поперек горла встали. Держись от него подальше, браток, он человек хитрый, смотри, как бы тебя вокруг пальца не обвел! Не к нашим ли собраниям хочет через тебя подобраться?

— Ну, уж этого он у меня не выведает,— успокоил Михаила Кулсубай.

На опушке Михаил остановился.

— Будь здоров, браток! Я первый пойду, лучше, чтоб нас сейчас вместе не видели. Запомни только: кто бы ни стал хозяином прииска, народу от этого легче не будет. У нас своя дорога, и если мы пойдем по ней прямо, никуда не сворачивая, все бедняки богачами станут, а если свернем, ничего не добьемся. Подумай насчет стачки, подумай. Если ты пойдешь, за тобой и другие пойдут, старатели тебя уважают. Даже с теми силами, что у нас сейчас есть, хоть чего-нибудь, а добьемся, вот увидишь! Нельзя оставлять их в покое, чем спокойней, тем больше жиреют. На одном заводе в Уфе добились повышения заработной платы, это что-нибудь да значит! — И Михаил, крепко пожав Кулсубаю руку, зашагал к конторе.

VI

После разговора с Нигматуллой Хаким потерял покой. Чем бы он ни занимался, куда бы ни шел, он все время думал о Гульямал. Как и советовал ему десятник, он старался как можно чаще попадаться ей на глаза — подрядился даже подвозить руду к тепляку, возле которого она работала, вежливо и церемонно раскланивался при встрече, а по вечерам, как молодой жених, крутился около ее дома.

Но на приiske Гульямал всегда была окружена людьми, возвращалась в Сакмаево не одна, а со своими товарками.

Придя домой, торопилась к свекрови или, наоборот, зазывала ее к себе, и сколько Хаким ни пытался, ему не удавалось поговорить с молодой женщиной с глаза на глаз.

«Шайтан бы тебя забрал, старая хрычовка! — плевался он, застывая в сумерках у окошка и каждый раз натыкаясь глазами на худенькую фигурку Сайдеямал. — Хотя на минуту оставь ты ее в покое, что ты к ней привязалась? Или на самом деле боишься, что не убережешь такую невестку для своего сына?»

Однажды, увидев, что Гульямал сидит на нарах одна, задумчивая и тихая, и что-то чинит при свете керосиновой лампы, Хаким чуть не подпрыгнул от радости. Наконец-то! Сердце его заколотилось, руки стали мелко дрожать. Он шагнул было на крыльцо, но остановился, со страхом чувствуя, что все продуманные и приготовленные заранее слова вылетели у него из головы.

«Что же делать? — потерянно думал он и присел на ступеньку, чтобы прийти в себя. — Что ей сказать, чтобы она не рассердилась и не выгнала меня прочь? Всемогущий аллах, помоги мне! Может, лучше потом зайти? Или сделать вид, что я зашел случайно, а там аллах вернет мне память и все нужные слова!»

— Здравствуй, Хаким, проходи, — приветливо улыбнулась Гульямал, открыв дверь.

Она не очень удивилась, увидев Хакима, усадила гостя на парях, постелила скатерку, разложила на красивом, разрисованном цветочками подносе хлеб и кусочки корота¹ и стала заваривать в чисто вымытом чайнике мятные листья.

Хаким с довольным видом наблюдал за ней. «До чего же проворная баба, все в руках горит — правду мне Нигматулла сказал. А чистота-то какая, ни соринки, все блестит! Клянусь аллахом, такого белого чувала я ни в одном доме не встречал! Лучше, чем замужня, живет, и круглая, как булочка, а одета как нарядно!..»

Гульямал присела напротив Хакима, поджав ноги в мягких сафьяновых сапожках. Камзол ее был расстегнут, и в ворота расшитой шелком сорочки виднелся кусочек смуглой, золотистой кожи.

— Сейчас самовар запоет, — сказала она. — От хорошего чая, говорят, у человека на душе радостней становится. Ты ко мне по делу, агай, или просто так зашел?

— Обычай говорит: сначала гостя чаем напои, а потом уже расспрашивай, — нашелся Хаким.

— Ну что ж, давай тогда по обычаю, — рассмеялась Гульямал. — Раз ты не спешишь, то и мне спешить некуда!

¹ Корот — сухой творог.

— Какая ты красивая, Гульямал,— не отрывая глаз от ее сорочки, продолжал Хаким.— Лучше тебя! у нас в Сакмаеве, пожалуй, и не найдется... Жалко только, что мужа у тебя нет, самой всю работу делать приходится. Вон с левой-то стороны плетень у тебя во дворе заваливается, а починить некому...

— Ничего, зиму так простоит, а весной подправлю,— махнула рукой Гульямал.— Живу — не жалуюсь, покуда, говорят, нога ногу минует, и ладно!

— А что ты никогда к нам в гости не зайдешь? Живем мы рядом, почти соседи, а близкий сосед иногда получше дальней родни бывает...

— Нет у меня времени по гостям ходить,— покачала головой Гульямал.— И за домом смотрю, и на прииске работаю, и свекрови помогаю, хлопот хватает. Подставляй-ка чашку, агай, хоть и не больно много у меня угощения, но уж не посетуй...

Выпив две чашки ароматного мятного чая и съев несколько кусочков корота, Хаким отказался от третьей, расположился поудобнее на подушках и стал жаловаться на свое одиночество.

— Живу бобыль бобылем,— вздыхал он.— Не везет мне, одна беда за другой в ворота стучится. Вечером сидишь один, и поговорить-то не с кем. Сын мой мал еще, чтобы с ним беседы вести, а из соседей никто не заглядывает. С тех пор, как Мугуйя умерла, совсем хозяйство развалилось, дырку заштопать некому...

— Да, мужчине тяжело одному,— сказала Гульямал, вспомнив Хисматуллу.— Кто ему лепешки испечет, кто постирает? А с ребенком, наверно, и того хуже, без женских рук дитя как котенок беспомощный... Тяжело тебе, Хаким, да и работы плотницкой у тебя теперь нет, я слышала. Вот что эта проклятая война наделала, скоро и за хлеб заплатить будет нечем... Может быть, я тебе могу чем-нибудь помочь? Не стесняйся, агай, скажи, я не откажу тебе в просьбе.

— Спасибо, Гульямал! — обрадовался Хаким.— Доброе у тебя сердце, и правду ты говоришь, что нет на свете ничего хуже, когда человек один. Потому и пришел я к тебе сегодня. Я одинокий, ты тоже одна... Что, если нам вместе жить? Ведь тогда и мне, и тебе лучше станет. Люди мы с тобой работающие — я по плотницкому делу, а ты по хозяйству, хорошая у нас жизнь получится. Поживем, денег накопим, может, лошадь свою заведем... Ты мне по душе, никогда тебя ни словом, ни делом не обижу, на руках носить буду...

Щеки Гульямал порозовели от смущения. «Так вот почему я теперь, куда ни пойдю, везде его вижу! Что ж ему сказать-то, чтоб не обидеть? Ведь человек он уже пожилой, одинокий, много горя на своем веку видел...» — с тревогой подумала она.

Хаким понял ее молчание по-своему и продолжал уже смелее:

— Я уже не мальчишка, знаю, что к чему... Если за молодого выйдешь, он дуришь начнет, упрямитесь, с другими заигрывать — только горе тебе принесет. А я тебя у окошка посажу, целыми днями на красу твою любоваться буду, сережки новые куплю! — бормотал он, теряя голову. —

«Видно, так просто не отстанет, — решила Гульямал. — Надо сразу ему показать, что он своего не добьется».

— Нет, дедушка, — твердо сказала она, делая ударение на последнем слове, — поищи себе ровню! Старый муж, говорят, поперек постели лежит, не получится у нас хорошей жизни. Я Хисматуллу, кайнеша своего, жду!

— Так ведь я тебя жалеючи, — сконфузившись, прошептал Хаким. Его остренькая, клинышком, борода вздернулась и затряслась. — Знаю, что ты Хисматуллу ждешь, так он если и вернется, то калекой. А скорее всего не быть ему в живых...

— Типун тебе на язык! Да за что вы все так его ненавидите? Всяк, кому не лень, на него напраслину возводит!

— Да ты не обижайся, — оправдывался Хаким, — не я это говорю — все говорят. Мне тебя жалко, ведь ты смолоду вдовой осталась...

— Была бы шея, а хомут найдется! — отрезала Гульямал. — Стоит мне глазом моргнуть, как у меня тут завтра двадцать мужей объявится!

— Не сердись, Гульямал, давай миром договоримся, — настаивал Хаким. — Мне даже Нигматулла сказал, что у нас с тобой очень хорошая семья получится...

— Ах, вот оно что-о! — протянула Гульямал. — Подожди, — вдруг пробормотала она и скрылась за занавеской в переднем углу. Оттуда слышались какие-то сдавленные стоны и хрипы, не то она плакала, не то смеялась.

«Что это с ней? — забеспокоился Хаким, теребя бородку. — А вдруг она сейчас кочергу или полено вынесет?!»

Но Гульямал вышла из-за занавески с неожиданно серьезным лицом, только глаза у нее блестели ярче обычного.

— Я согласна, — сказала она, подходя к Хакиму, — только с одним условием...

— Все исполню, что прикажешь! — крикнул Хаким, прижимая руки к груди. — Скажи только слово — вмиг сделаю!

— Так вот, — Гульямал строго поджала губы, — если ты в самом деле задумал взять меня в жены, сбрей свою бороду. И усы! — добавила она, заметив, как заматались глаза Хакима. — Терпеть не могу рыжие бороды!

— Какой же мусульманин ходит без бороды? — чуть не плача, возразил Хаким. — Не сошла ли ты с ума? Что скажет

мулла Гилман? Только неверный способен на такое! Ах, Гульямал, ты смеешься надо мной!

— Даже и не думаю. Не сбреешь — не пойду за тебя! — отвернулась Гульямал.

— Все сакмаевцы надо мной смеяться станут! Не выставляй меня на позор, Гульямал, красавица моя, сжался! — надрывался Хаким.

— Нет, нет, или борода, или жена. Что тебе дороже? — капризно выговаривала Гульямал. — А с бородой и на глаза мне показываться не смей.

— Хорошо, я подумаю, — удрученно вздохнул Хаким, видя, что молодая женщина непреклонна.

— Иди, иди думай, — топнула ногой Гульямал. — Ненавижу твою бороду, смотреть на нее не могу!

Едва лишь за Хакимом захлопнулась дверь, как Гульямал села прямо на пол и принялась хохотать, не в силах остановиться, держась руками за живот:

— Ой-ой, не могу! .. — приговаривала она.

Слезы ручьями текли у нее по щекам, в боку кололо, а она все никак не могла побороть себя, мотала головой, охала, смех словно взрывал ее изнутри, и, едва вытерев щеки, она снова принималась тихо смеяться.

Наконец она поднялась, убрала скатерку и стала мыть чашки. Дверь распахнулась.

— Ну вот, белье так и лежит в тазу, — огорчилась, входя, Сайдеямал. — И мне полоскать не дала, и сама не прополоскала, а ведь белье, когда оно так долго лежит, портится. . .

— Ох, мама, мне не до белья было, — улыбнулась Гульямал. — У меня жених в гостях был, видишь, я его чаем поила? Только что из дому вышел. Не встретила ли ты его по дороге?

— Какой жених? — растерялась старушка. — Значит, ты собралась замуж? .. Ах, бедный мой сыночек, одна мать у тебя осталась, бросила тебя эта неверная!

— Что вы, что вы, мама! Я пошутила! — Гульямал, испугавшись, подбежала к свекрови. — Простите меня! ..

— Разве так шутят? Так и умереть недолго. . . Ты же знаешь, только и свету у меня в окошке, что сынок да ты. . .

— Да ведь ко мне на самом деле свататься приходили! И знаете, кто? Старый Хаким! Я уж и не знала, как от него отделаться, так привязался — ножом не отдерешь. . .

— Да, у кого на уме молитва да пост, а у Хакима бабий хвост, — сплюнула Сайдеямал. — Взбесился он, что ли, старый козел?

— Но я его отвадила, теперь и думать о женитьбе забудет, сказала: «Сбрей бороду, тогда соглашусь!» — хохотала Гульямал.

— Нехорошо смеяться над старым человеком,— невольно улыбнувшись, пожурила ее Сайдеямал.

— А пусть не пристаёт! Что же делать, если он слов не понимает? Да, забыла сказать — свататься его Нигматулла подговорил! Один аллах знает, за что он на Хисмата столько зла держит!

— Ну, а если Хаким и в самом деле бороду сбреет, что тогда делать? — вдруг встревожилась старушка.

— Да что вы, мама! Борода ему дороже всего на свете! А сбреет, так я такую потеху над ним в Сакмаеве устрою — на улицу вылезать перестанет!

Сайдеямал смотрела на невестку и горестно покачивала головой.

VII

Каждый день старатели толпились на площади, у конторы, ожидая прибытия нового хозяина. Накышев то и дело посылал урядника разогнать собравшийся народ, но спустя час люди вновь стояли у ворот, курили, с жадным нетерпением ловили каждое слово, надеясь, что вот-вот подкатят по белой дороге сани и человек, сидящий в них, разом разрешит их сомнения и заботы.

— Зря вы тут торчите! Попусту тратите время! — выйдя из конюшни, махнул рукой Зинатулла.

— Без надежды только шайтан обходится, — ответил ему один из старателей, в ветхих, стоптанных лаптях и потертом, залатанном чекмене. — Говорят, новый хозяин хоть и не мусульманин, а человек хороший.

— Да у тебя все сначала хорошие, — посмеиваясь, подхватил другой, в шапке, уши которой торчали вверх, как крылья. — И Галиахмет хороший был, и Аркашка, и Рамиев... Вспомни, что ты про Накышева раньше говорил? Ты у нас всегда все вперед других знаешь, будто на два аршина под землей видишь! А как поживешь с новым недельку — волком взвоешь. Мусульманин, не мусульманин — им до наших печалей дела нету... Что совой об пень, что пнем об сову, а все сове больно!

— Зачем за глаза напраслину возводить? — обиделся первый. — Если б он такой же был, не стал бы с собой столько добра везти.

— Какого добра?

— А ты не слышал? — удивился старатель, пыхтевший большой козьею пошкой. — Подвод двести, говорят, нанял, половина — с мукой, а на остальных и крупа, и конфеты, и ситец разный. Все даром будет раздавать! А сам, говорят, во главе обоза, на паре вороных! — торопливо объяснял он, не замечая,

что у него за спиной, широко расставив ноги и насмешливо улыбаясь, стоит Сафуан Курбанов.

Дождавшись, когда старатель закончит, Сафуан с силой надвинул шапку ему на глаза.

— Сам-то ты долго в обозе у русских плестись собираешься? — спросил он. — Или это тебе твоя баба по ночам такие байки плетет, чтоб не скучно было?

Старатели замолчали. Сафуан, выпятив грудь, обвел собравшихся взглядом:

— Ну, что же вы замолчали? Чему радуетесь, ослы упрямые? Да если здесь вместо мусульманина неверный станет хозяином, ни один башкир на прииске работы не получит! Что тогда жрать будете?

— Не пойму я, куда ты клонишь, Сафуан? Уж не хочешь ли ты сказать, что Накышев нам тут сладкую жизнь устроит? Или ты тоже, как Нигматулла, за пятак ему продался? — крикнул Кулсубай.

— Не меряй на свой-то аршин, — сплюнул Сафуан. — Это ты в свое время Накышеву пятки лизал, как теперь неверным лижешь! Я себя так дешево не ценю, никогда никому не кланялся и кланяться не собираюсь!

Старатели засмеялись.

— Что, Кулсубай, получил? Впредь не задирайся!

— Дергач, говорят, от собственного языка страдает!

— А ну, Кулсубай-агай, покажи ему, где раки зимуют!

Кулсубай опустил голову.

— Был такой грех, — тихо сказал он. — Только зря ты меня сейчас им попрекаешь...

— Старая любовь долго помнится! — рассмеялся Сафуан и, повернувшись к Кулсубаю спиной, показал на него через плечо большим пальцем: — Сколько раз говорил ему — не суйся не в свое дело. Бодливый баран без рогов родится, а овце рога и вовсе не положены!

Кулсубай рванулся к нему, но Гайзулла успел уцепиться за его руки.

— Не связывайся с ним, агай, прошу тебя! Старики говорят: в умной беседе ума прикупишь, а в глупой и свой растереблешь!

— Ах ты хромоногая сорока! — рассвирепел Сафуан. — Себя умным считаешь, а меня дураком?! А ну, иди сюда, я тебе ребра-то пересчитаю! — И, выставив вперед кулаки, двинулся на Гайзулла.

— А это видел? — Кулсубай в свою очередь поднял тяжелые, как гири, кулаки. — Если хоть пальцем Гайзулла тронешь, я тебе всю карточку испорчу!

— Я ж не тебя трогаю, отойди! — недовольно нахмурился Сафуан.

— Что? Как вшей давить, сила есть, а на быка ногтя не хватает? — подзадоривал его Кулсубай. — Ты всегда людей кулаками запугиваешь, так айда, потягаемся! Может, мой-то, рабочее, потяжелей будут?

Старатели притихли и насторожились.

— Да брось ты, Кулсубай, — отступил Сафуан. — От шутки и до драки недалеко!

Лицо Кулсубая покраснело от гнева, руки тряслись. Казалось, вся злость, издавна копившаяся в нем, готова была теперь выплеснуться на одного этого человека, чтобы тот никогда уже не смел с таким высокомерным видом хвастаться своей силой.

— Что, испугался? — хрипло выкрикнул Кулсубай. — Чем на задних лапках перед Накишевым ходить да целый день навоз ногами пинать, с нами в шахте денечек постоял бы! Дармоед! Какое у тебя право других учить, когда ты не из одного котла с нами кашу хлебаешь?

— С утра до ночи неверным задницы лижешь, а на своих тебе наплевать!

— Кто? Я?! — Кулсубай слепо кинулся в толпу, стараясь добраться до обидчика.

— Стой! — крикнул ему вслед незаметно подошедший Михаил. — Куда, горячая голова? Кулсубай!

Кулсубай нехотя обернулся, подоспевший Гайзулла тут же схватил его за плечи.

— Ведете себя как мальчишки! — укоризненно покачал головой Михаил. — Дел по горло, а вы ссоритесь. Кулаки нам еще пригодятся, — знать бы, кого бить, а то ненароком сами себя поколотите! Раз уж собрались, давайте лучше поговорим, как нам дальше жить. . .

Кулсубай удивленно уставился на Михаила: «Что он, с ума сошел? Среди бела дня! И где? У конторы управляющего! . . .»

Михаил поднялся на большой камень у плетня, постоял с минуту, оглядывая оборванных, растерянных и полуголодных людей.

— Товарищи! — Голос его пресекся, но тотчас снова окреп и с силой зазвенел в наступившей тишине. — У каждого из вас сын, брат или отец сейчас на фронте. Многие из них уже сложили свои головы, а война между тем требует все новых и новых жертв. Не проходит дня, чтобы мы не услышали, что еще кого-то забрали в армию, еще чья-то семья получила похоронку. Из чьего же кармана оплачиваются военные расходы? — Михаил помолчал, как бы ожидая ответа на свой вопрос, и резко рубанул воздух рукой. — Из нашего, товарищи! Да, да, не удивляйтесь, мы сами оплачиваем эту войну, и не только кровью наших сыновей и братьев на фронте, но и здесь, на прииске, — трудовым потом! Мало того — администрация

нашего прииска готовится снова снизить заработную плату и увеличить рабочий день, не сегодня-завтра на прииске закроют две самые богатые золотом шахты. Это значит, что многие из нас окажутся на улице!

Старатели зашумели.

— Не поддавайтесь на эту провокацию, товарищи! — крикнул Михаил. — Не работайте на руку войне, которая с каждым днем уносит наших близких, не оплачивайте их смерти! На многих заводах и приисках рабочие устраивают сейчас стачки и забастовки, чтобы не дать богачам возможности продолжать эту разорительную войну за наш счет! Выступим вместе с ними! Не просить, не выклянчивать мы должны, а требовать! — Михаил вынул из кармана лист бумаги. — Вот эти требования, выдвинутые забастовочным комитетом нашего прииска: первое — всем рабочим и служащим повысить заработную плату от одного рубля тридцати копеек до двух рублей; второе — забойщикам, работающим в более тяжелых условиях, повысить плату до трех рублей; третье — добиться восьмичасового рабочего дня, а для забойщиков шестичасового. . .

Накышев, присев на корточки, чтобы его не было видно, наблюдал за происходящим из окна конторы. Лицо его было изжелта-бледным, спина покрылась мурашками. Уже полчаса назад он послал урядника за помощью на Кэжэнский завод, запер изнутри все двери конторы и теперь осторожно выглядывал из окна то на площадь, где толпились старатели, то на дорогу.

«Что он там говорит? И куда этот олух запропастился? — с тревогой думал он. — Надо было кого-нибудь другого послать. Или в Кэжэне тоже беспорядки? . .»

Он видел, как на камень вслед за Михаилом один за другим взбирались другие старатели, говорили что-то, возбужденно размахивая руками. Гул голосов то становился тише, то снова взрывался криками. Последним на камень внять встал Михаил. Он говорил недолго, вынул снова из кармана какую-то бумажку и, видимо, прочитал ее. После этого старатели стали не спеша расходиться.

Скоро площадь опустела. Накышев сел в кожаное кресло у стола, пытаясь успокоиться. Дрожащими руками вынул из коробки папиросу, закурил. Взгляд его по-прежнему не отрывался от окна, он боялся, что старатели снова вернутся, может быть, даже будут вооружены, и тогда ему уже не поздоровится.

«Может, уйти потихоньку?» — подумал он, и в ту же минуту на площадь с гиканьем ворвались казаки. Впереди отряда на резвой буланой кобылке красовался урядник с шашкой наголо.

Не прошло и трех минут, как он вбежал в комнату и, вытянувшись во фрунт, щелкнул каблуками.

— Дурак! — грохнул кулаком по столу Накышев. — Где ты торчал столько времени? Опять этого русского упустили!

— Лошадь оступилась, захромала, Гарей Шайбекович, — оправдывался урядник, подобострастно тараща глаза на начальника. — Полдороги до Кэжэна бегом бежал!

— Вот набыю тебе рыло, а после скажу, что так уж получилось! — передразнил его Накышев. — Тебе бы решетом в реку воду ловить, а не в урядниках расхаживать... Пшел вон, бестолочь! Стой! Куда? Казаков не отпускай, пусть сегодня здесь будут, понял?

— Так точно, ваше благородие! — Урядник снова щелкнул каблуками и вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь.

Накышев забарабанил пальцами по столу. «Если и дальше так пойдет, скоро они у меня в конторе станут собрания устраивать! Подождать, что ли, шахты закрывать? И куда это Нигматулла подевался? Когда я его последний раз видел? Кажется, уже больше недели прошло! Ладно, найдется, не о том я беспокоюсь, — перебил он сам себя. — Хозяина бы надо встретить — юноше небось лестно будет... Эх, знать бы, по какой он дороге едет! Мимо Кэжэна все равно не проедет, вот я и встречу его там. Не беда, если денек-другой подождать придется, — может, за это время и на прииске все уляжется...»

Накышев встал, накинул на себя шубу и выглянул во двор.

— Эй, Зинатулла-а! — крикнул он...

Открыв дверь, Зинатулла в нерешительности топтался на пороге.

— Лошади в порядке?

Зинатулла с изумлением посмотрел на управляющего. Обычно Накышев вызывал к себе конюха по ночам, будучи сильно навеселе, велел запрягать, чтобы промчаться во весь дух по приисковому поселку в кошевке, запряженной парой лошадей, и никогда, ни пьяный, ни тем более трезвый, не спрашивал его, в порядке ли лошади.

— Напоил, накормил их, как положено, — пожав плечами, ответил Зинатулла.

— Болван! Какая мне разница, кормил ты их или нет? Я спрашиваю, готовы ли они в дорогу.

— Сейчас запрягу. — Конюх двинулся было к дверям, но резкий окрик Накышева остановил его:

— Стой, дубина! Разве я отпустил тебя?

— Не-ет... — растерялся Зинатулла.

— Позови ко мне сначала штейгера, главного инженера и десятников, а запрягай к ночи! Да корму захвати, а то, может, дня два там пробудем... Ну, чего встал?

Оставшись один, Накышев отпер ключом маленький шкафчик у стола, взял оттуда графин, отпил несколько глотков прямо из горлышка, передернулся и вытер губы рукавом. «Шайтан их раздери! — думал он, снова опускаясь в кресло и чувствуя, что начинает побаливать сердце. — Один другого тупее, что косях, что урядник. Один я за всех должен отдуваться».

Он прикрыл глаза рукой и попытался было вздремнуть, но тут во дворе забрежали собаки, послышался скрип отворяемых ворот, чьи-то оживленные голоса, ржание лошадей.

Накышев вскинулся, переваливаясь, выбрался из кресла, но не успел подойти к окну, как дверь распахнулась и в комнату вошел человек в черной меховой шапке, черной шубе и пимах. В одной руке он держал трость с серебряным набалдашником, в другой — небольшой саквояж. Следом за ним, улыбаясь и часто моргая белесыми, словно обсыпанными снегом, ресницами, семенил Нигматулла.

— Знакомьтесь! — торжественно сказал он. — Это хозяин нашего золотого прииска, наш уважаемый Петр Тимофеевич Касьянов! А это Накышев, Гарей Шайбекович, управляющий. . .

На минуту Накышев потерял дар речи, но тут же лицо его широко расплылось в любезной улыбке, он шагнул вперед и затряс руку Касьянова.

— Петр Тимофеевич, дорогой, а я вас и не признал сразу! И борода, и усы. . . Думаю: кто же это? Возмужали, возмужали! Вот что значит годы! Вы за это время просто, можно сказать, расцвели, а я совсем сдал! Поясница одолела, да и сердчишко пошаливает. . . Да что же вы стоите? Давайте я помогу вам пальто снять. Хоть бы предупредили, когда будете, я бы вас встретил, — суется вокруг Касьянова, ласково выговаривал управляющий. — Умучились небось по незнакомой дороге-то?

— Минуточку, — буркнул Касьянов. Он открыл саквояж и принялся вытирать полотенцем заиндеветшую бороду и усы.

— Не беспокойтесь, Гарей Шайбекович, я всю дорогу сопровождал Петра Тимофеевича, — ответил за Касьянова Нигматулла.

— На Кэжэнский базар, что ли, ездил?

— Да нет, в Верхнеуральск! — Нигматулла улыбнулся. — Поехал сначала в Оренбург, а там узнал, что Петр Тимофеевич через Верхнеуральск едет, вот и встретил.

— Мог бы и предупредить, — еле сдерживая гнев, процедил Накышев.

— Некогда было, — весело сказал Нигматулла. — Заехал к вам, как собирался, а вас дома не оказалось!

«Ах ты бестия, обошел! — Управляющий побагровел. — За ним глаз да глаз нужен, а я-то, дурень, все свои карты ему

раскрыл! Ну, ничего, с ним я еще рассчитаюсь, он от меня далеко не убежит».

Касьянов расчесал густые светлые волосы, поправил манжеты, воротничок, одернул жилет и с любопытством осмотрелся. Взгляд его ненадолго остановился на висячей лампе, кожаном кресле, затем он сунул обратно в саквояж расческу, закрыл его и повернулся к Нигматулле:

— Ну как, дружище, не пора ли нам поужинать после такой дороги. Ох, и замерз я, до сих пор отогреться не могу!

— Сейчас устроим! — ободрил его десятник. — Гарей Шайбекович, прикажите!

— Ты что, как навоз под хвостом у лошади, застрял? Кто здесь управляющий, ты или я?! — Накышев вдруг осип от злости. — Можно подумать, я без тебя не знаю, что делать!

Касьянов, не понимавший ни слова по-башкирски, встревоженно посмотрел на управляющего:

— Что вы сказали?

— Гарей Шайбекович советуется со мной, что подать к столу, — объяснил Нигматулла.

Касьянов еще раз внимательно посмотрел на управляющего. Вид его явно не вязался со словами десятника.

— Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? — участливо спросил он.

— Нет-нет, — промямлил Накышев, — сейчас все пройдет. — И поспешно вышел в коридор. Скоро оттуда донесся его голос, он крикливо отдавал кому-то распоряжения.

Между тем в комнату один за другим заходили штейгер, главный инженер, десятники. Касьянов здоровался с каждым за руку, знакомился, пытался расспросить их о том, как идут дела на приiske, но люди эти, в свое время умело отобранные Накышевым из числа наиболее верных, мялись, старались скорее закончить разговор и тихо рассаживались на стульях вдоль стены.

Скоро появился сам Накышев, за ним робко шла молоденькая круглолицая девушка в длинном платье с оборками.

— Ужин готов, — смущенно пробормотала она, обращаясь к Касьянову. — Пойдемте, я накрыла в другой комнате.

— Ну вот и славно! — обрадовался Касьянов.

Касьянов двинулся вслед за девушкой, Нигматулла и Накышев не отставали от него. Девушка провела их в соседнюю комнату, посреди которой стоял круглый стол, застланный белоснежной скатертью. На столе высились бутылки с водкой и вином, стояли блюда с бишбармаком, сыром, колбасой, жареным мясом.

— Вот это ужин! — ахнул Касьянов. — Ну, господа, да мы столько и за неделю не съедим! А что, мы только втроем будем ужинать? Здесь, по-моему, на всех хватит! . .

Накышев недовольно поморщился. Он рассчитывал во время ужина взять инициативу в свои руки, поговорить как бы в своем домашнем кругу, и такой поворот дела помешал бы ему.

— Вы же устали, Петр Тимофеевич, а десятники гвалт подымут. Не знаете, что это за народ старатели. Как выпьют, поперек глаза пальца не видят!

— Вот и хорошо! — Касьянов рассмеялся. — Можно будет поближе узнать людей, которые у меня работают. А то они тут тихие какие-то. . . Стесняются, что ли?

— Поди позови, — Накышев кивнул девушке. — Да сначала принеси гостю умыться!

Девушка быстро принесла медный таз и кумган, полила на руки Касьянову.

— Ах, черт, полотенце забыл! — отряхивая ладони над тазом, сказал Касьянов.

Накышев сурово взглянул на девушку, та покраснела и опустила голову.

— Ну ничего! — перехватив этот взгляд, примирительно заметил Касьянов и, вытащив из кармана шелковый платок, вытерся им. Запахло духами. — Да, вот еще что, — продолжал он, усаживаясь за стол, — я водки не пью, у меня там, в саянах, коньяк в ящике. Сходите, пожалуйста, принесите бутылку-две.

— Это можно, — потирая руки, согласился Нигматулла.

— Вы не туда сели, Петр Тимофеевич, — дождавшись, когда десятник выйдет, сказал Накышев. — У нас, по обычаю, гость должен занять самое лучшее, самое почетное место! — и указал на кресло, обитое бархатом.

— Уступаю его вам! — Касьянов шутливо склонил голову. — Вы здесь уже давно, Гарей Шайбекович, так сказать, главное лицо на приiske! Да я, знаете, и не люблю сидеть на мягком.

Накышеву не оставалось ничего другого, как погрузиться в кресло. Десятники, стараясь не шуметь, рассаживались за столом. Каждый — кто прямо, кто тайком — с любопытством наблюдал за новым хозяином.

Касьянов держал себя просто — все время улыбался, шутил, предлагал папиросы из серебряного портсигара. Дождавшись Нигматуллу, он усадил его рядом с собой, откупорил бутылку и, поглядев на маленькие рюмки, обратился к девушке, молчавшо и робко стоявшей у стены:

— Смените-ка нам эти наперстки на что-нибудь более солидное! А то пока до души доберется, скиснет!

Девушка принесла стаканы, и Касьянов, разлив коньяк и улыбнувшись сидевшему напротив Накышеву, встал.

— Господа! — сказал он. — Я очень рад, что познакомился с вами. Этот тост я поднимаю за всех, кто сидит за этим

столом. И пусть все боги — и ваши, и наши — пошлют нам удачи в добыче золота!

Он протянул руку, чокаясь со всеми по очереди, и стоя выпил стакан до дна.

— Вот это по-нашему, по-шахтерски! — одобрительно зашумели десятники.

— Благодарствуем, Петр Тимофеич! Уважили! — пробасил главный инженер.

Не дожидаясь, пока уляжется гомон, Нигматулла вновь наполнил стаканы.

— Пьем за нашего дорогого гостя! — сказал он, высоко подняв свой стакан. — Петр Тимофеич! Будем служить вам верой и правдой, золотые горы намоем!

— На рожон лезешь, — по-башкирски пробормотал Накышев. — Чешись конь с конем, а свинья с углом!..

Нигматулла пропустил его слова мимо ушей, лихо опрокинул стакан и со стуком поставил его на место.

После второго стакана языки у десятников развязались, от смущения и неловкости не осталось и следа. За столом стало шумно, все накладывали на свои тарелки бишбармак, смеялись, переговаривались, уже не стесняясь нового хозяина.

— Запонки видел? — тихонько шепнул штейгер, склонившись к главному инженеру.

— Как же, золотые! — в тон ему ответил главный инженер. — А цепочка на жилете? Небось и часы золотые... Положение его такое, как же, хозяин золота, да вдруг без золота!

— А камень на перстне как блестит! Похоже, брильянт или алмаз?

— Наверняка самый драгоценный, — убедительно кивнул головой главный инженер.

Сам Касьянов только пригубил от второго стакана и, слегка закусив, принялся оживленно беседовать с Нигматуллой.

Накышев не вмешивался в их разговор, молча жевал губами потухшую папиросу, маленькими глотками прихлебывал коньяк и почти не закусывал. На душе у него было скверно, сердце не отпускала ноющая боль. Даже коньяк не подействовал на него, как обычно, голова была ясной и трезвой. Время от времени он поднимал глаза, чтобы разглядеть Касьянова, но каждый раз видел лишь ослабившееся в довольной улыбке лицо Нигматуллы.

«Из кожи вон лезет, подлец! — в бессильном бешенстве думал он. — О чем он там ему нашептывает? Может быть, обо мне несет какой-нибудь вздор? Как бы его отвадить? Прилип, как грязь к колесу, и не отстает! А что, собственно, такого он может ему рассказать? Если всерьез наговорит напраслину, сам себя замазает! Видно, просто подмазывается, хочет лиш-

нюю шахту перекупить! Ничего, я его отважу, покажу я ему, кто здесь настоящий хозяин! — успокоил себя управляющий и снова взглянул в сторону Касьянова: — Бородку-то для солидности отстриг, а сбрить ее — совсем соплик будет!»

Касьянов, видимо, почувствовал на себе пристальный взгляд управляющего и обернулся. Его продолговатое лицо с младенчески розовым румянцем на щеках, высоким лбом, усыпанным веснушками, и голубыми, как бы удивленными глазами и на самом деле выглядело очень молодо.

— Что же ты угощаешь нашего дорогого хозяина одними разговорами? — подчеркнуто сурово сказал управляющий Нигматулле. — Разве можно так утомлять человека после долгой дороги?

Десятники как один прекратили гвалт и повернулись к Накышеву. Касьянов хотел было что-то возразить, но управляющий поднялся со стаканом в руке и облизнул сухие губы.

— Я хочу, по доброму обычаю наших предков, с песней преподнести этот стакан дорогому гостю!

Он откашлялся и запел с хрипотцой, старательно вытягивая мелодию:

Все богатство Азамата —
Белый конь да сталь булата,
Но куда б ни мчал джигит,
Он везде добро творит!¹

— Ай-хай! Он везде добро творит! — подхватили все, сидевшие за столом.

Касьянов поднял стакан, приложил руку к сердцу, низко склонил голову в знак благодарности, слегка пригубил. Накышев выпил коньяк залпом, опрокинул стакан вверх дном и неодобрительно посмотрел на Касьянова:

— Нехорошо, Петр Тимофеевич, по обычаю после такого тоста нельзя оставить в стакане даже капли! . .

— Про таких у нас говорят: всю силу оставил, — поддерживал его Нигматулла. — Пейте, пейте, не хотите же вы заболеть?

— Вставать утром с тяжелой головой я тоже не хочу, — улыбнулся Касьянов.

— Нет, нет! Так не полагается! Пусть выпьет до дна! — закричали наперебой уже изрядно опьяневшие гости.

— Обычай есть обычай, — пробасил главный инженер.

— Спасибо, я уже согрелся, — сухо сказал Касьянов и посмотрел на часы. Он уже устал от шума и разговоров. — Хватит на сегодня! — И поднялся.

Десятники неохотно последовали его примеру. Один из них уже не мог сам встать из-за стола, и двум другим пришлось помочь ему. Когда все ушли, Касьянов вздохнул и снова сел.

¹ Перевод песен в книге П. Мальцевой.

— Гарей Шайбекович, позаботьтесь о постели.— Он зевнул и прикрыл ладонью рот.— Мне хочется завтра встать пораньше и сразу взяться за дела.

«Видно, недоволен чем-то. Это его Нигматулла настроил»,— подумал Накишев.

— Все уже готово. Тут, через два дома,— ответил он.— Сейчас принесу вам шубу, и мы отправимся.

— Вы к себе хотите, Гарей Шайбекович? — удивленно спросил Нигматулла.— У вас же одна кровать, где же вы сами спать будете? Нет, это неудобно, давайте лучше ко мне! Лошади у меня резвые, домчат так, что моргнуть не успеете, Петр Тимофеевич!

— Да нет, что это ты выдумал, на ночь глядя? До твоего Сакмаева полчаса езды, если не больше! Да и устал уже человек, наездился! А у меня ему хорошо будет — его на кровати уложу, сам на диване устроюсь, он у меня широкий, места хватит!

— А здесь у вас дивана не найдется? — спросил Касьянов.

— Как же! Специальная комната есть для гостей,— быстро отозвался управляющий, довольный любой зацепкой, лишь бы хозяин не уехал с десятником.

— Вот и славно! Проводите меня туда, Гарей Шайбекович. А вы, дружище, езжайте домой и выспитесь хорошенько, завтра дел по горло!— Касьянов дотронулся до плеча Нигматуллы.

— Да нет, я тогда тоже здесь побуду,— махнул рукой Нигматулла.— Спокойной вам ночи, Петр Тимофеевич!

Оставшись один, Нигматулла сел в кресло, налил себе полстакана коньяку и выпил. Метель бесшумно лизала темные стекла окон. Нигматулла был доволен собой и сейчас, расслабившись после изнурительного дня, впервые согнал с лица напряженную улыбку. Устало вздохнув, он с наслаждением закурил.

— Коньяк и сыр оставь,— сказал он девушке, убиравшей со стола, пуская дым колечком.

«Эх, поспать бы! — широко зевнул он. — Так нет же, сейчас прикатится эта бочка, набитая бишбармаком, и скоро от нее не отделаешься! Всю душу вымотает своими расспросами и подозрением».

И, словно в ответ, в коридоре слышались тяжелые, шаркающие шаги. Десятник быстро вскочил, на цыпочках обогнул стол и, сев на свое прежнее место, положил голову на руки, желая показать, что он смертельно устал.

Не глядя на него, управляющий прошаркал к столу и опустился в кресло, как бы вскользь заметив:

— Так спишь, что хоть в гроб клади и хорони. . .

— Я еще не сплю.— Нигматулла поднял голову и протер глаза.— Что это вы, Гарей Шайбекович? Радоваться надо — хозяин приехал, а вы туча тучей. . .

— Ладно, не притворяйся! Может быть, я еще благодарить тебя должен, что ты мне такую свинью подложил? — мрачно протянул Накышев.

— Какую свинью? Помилуйте, Гарей Шайбекович, я уже больше недели занимаюсь только вашими делами — бросил дом, сколько в Оренбурге намучился, одних телеграмм за свой счет штук шесть послал, привез вам хозяина, всю дорогу ему о вас рассказывал, уши прожужжал, что вы за человек, а вы еще сердитесь! Не знаю, за каким шайтаном старался!

— Хватит в жмурки играть! — оборвал его управляющий.— До поры до времени сидел, как мышь под венцом, а теперь нате, вылез, показал себя! Уж так юлил перед хозяином, у него небось уши медом заложило от твоего жужжания. . . А вот этого не пробовал? — Управляющий показал Нигматулле кукиш и хрипло рассмеялся.

— А я-то дурак, думал, что вас обрадую! — покачал головой Нигматулла.— Эх, Гарей Шайбекович, зря вы мне не доверяете. . .

— Ври больше! Расскажи лучше, сколько за ужином шахт успел выторговать да что про меня плел!

— Да о вас за столом вообще разговора не было! — глядя прямо в глаза Накышеву, заверил десятник.— Такое всегда придумаете, просто голова кругом идет, честное слово!

— А какой базар ты только что устроил? Чуть не целый час со мной спорил, чтоб его к себе увезти? Да как у тебя вообще язык повернулся мне перечить? — хмурил брови управляющий.

— Гарей Шайбекович, я ж хотел, как лучше! — недоуменно вскричал Нигматулла.— У меня-то дома все устроено, приготовлено, бабу ему специально нашел, угощения — во! — десятник провел ребром ладони под подбородком.— Его ж там обрабатывать в два раза легче! Какие шахты?! У меня на одну-то с грехом пополам хватит, для вас же его охаживаю! И собака, говорят, на того не лает, чей хлеб ест, так неужели вы думаете, что я за вашей спиной посмел бы темные делишки обдeldывать? Эх, Гарей Шайбекович, не понимаете вы моей души, черствое у вас сердце! . .

— Ладно, завтра проверим, в какую сторону твой ветер дует,— заметно смягчившись, сказал Накышев.— Но смотри, если ты опять меня морочить вздумал. . .

В коридоре раздался шум, кто-то ожесточенно забарабанил в дверь кулаками. Накышев схватил со стола лампу и бросился на стук, Нигматулла не отставал от него.

В коридор, дыша морозом и спиртным перегаром, ввалился мужик в тулупе и сапогах.

— Где хозяин прииска? — зычным, раскатистым голосом спросил он.

— Да тише ты! — цыкнул на него Накышев. — Спит он!

— Это мне все равно! — не менее громко заявил мужик. — Ведите меня к нему!

— Да в чем дело? — рассердился Накышев. — И кто ты такой, чтоб требовать?

— Делепеша у меня срочная. Всю ночь коня гнал!

— Ну, так отдай делепешу мне, я его управляющий, и завтра утром, как только он встанет, я ему передам, — сказал Накышев.

— Нельзя, делепеша секретная, сказано — лично в руки!

— Ну, так подожди до утра, вон приляг в той комнате на полу, — посоветовал Нигматулла.

— Не могу я до утра ждать! Если б мог, не примчался бы среди ночи! — повысил голос мужик.

Дверь в конце коридора открылась, и оттуда выглянул Касьянов в длиннополном бархатном халате и мягких шлепанцах.

— Что тут происходит? — сонным голосом спросил он.

— Мне хозяин прииска нужен, а они вот меня не пускают!

— Я вас слушаю.

— А ты кто, Касьянов?

— Ну да, — кивнул Касьянов.

— Петр Тимофеевич?

— Он самый.

— Хозяин прииска?

— Гарей Шайбекович, скажите же ему! — начиная раздражаться, повысил голос Касьянов.

— Мне, понимаете, сам хозяин нужен! — Мужик посмотрел на Накышева.

— Да он перед тобой, дурья башка! — потеряв терпение, крикнул управляющий. — Чего тебе еще надо?!

— Ну, раз так... — пробормотал мужик и, шумно высморкавшись, откинул полу тулупа, достал из-за пазухи бумагу.

Касьянов взял у Накышева лампу, несколько раз пробежал делепешу глазами и, сунув ее в карман халата, объявил:

— Господа! Компаньоны срочно вызывают меня в Петроград. Гарей Шайбекович, прикажите запрягать.

— Останьтесь хоть на денек, Петр Тимофеевич, — изменившись в лице, стал упрашивать его Нигматулла, — вы же еще даже прииска не видели!

— Конечно! — поддержал его Накышев. — Один день ничего не меняет, вы хоть узнали бы, как идут у нас дела, посоветовали бы что-нибудь!..

— Нет, мне нужно спешно ехать, — настойчиво повторил Касьянов. — Быстро закончу дела и тут же вернусь обратно!

Распорядитесь, Гарей Шайбекович, насчет лошадей, а я пойду одеваться.

— Рухнули все наши планы, Гарей Шайбекович,— тихо сказал Нигматулла, когда они остались одни.

— Не каркай раньше времени,— зло оборвал его Накышев.— Не навек уезжает! Может быть, все к лучшему... будет время подумать...

Десятник и управляющий проводили хозяина прииска до самого Кэжэна. Дорога была еще не наезженной, но тройка лошадей оказалась резвой, быстро домчала до заводского поселка.

Вернувшись в контору, Накышев вызвал к себе кассира, и, когда ему доложили, что кассир не может прийти, так как принимает у старателей золото, направился к нему сам. Не отдавая себе отчета, что его толкает на это, Нигматулла тоже последовал за управляющим.

В комнатке кассира было тесно, у стола толпились старатели. Когда вошел Накышев, они расступились, и Нигматулла увидел крупную, высившуюся на столе горку золотого песка. Чуть подальше, за толстой полуоткрытой дверцей сейфа, тоже блестело золото.

«Вот где богатство! — пожирая глазами золотую россыпь, подумал Нигматулла.— Прямо под носом, стоит только руку протянуть — и твое! — Он покосился на железные решетки на окнах, внимательно оглядел дверь с прочным английским замком. — Что там мои жалкие гроши! Касьянову капитал даром достался, он для этого пальцем не пошевелил! Какой толк покупать одну-две шахты? Вот если б весь прииск мой был, чтоб каждая крупинка, что в Юргашты намывается, ко мне в карман ложилась. А зачем в карман? Я б тогда тоже себе такой железный ящик завел... Замочек-то здесь плевый, решетки подпилить можно...»

Накышев переговаривался с кассиром, старатели приходили и уходили. Иногда Нигматулла слышал отдельные слова — «круглым счетом», «реестр», «выручка», — но все, о чем они говорили, доходило до него смутно, как сквозь густую пелену тумана. Так же машинально он вышел вместе с Накышевым на улицу и поплелся за ним к конторе.

— Ну как? — Управляющий неожиданно резко повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза.

— Что как? — не понял Нигматулла.

— Много золота в сейфе?

— Хватает,— тяжело вздохнул Нигматулла, но тут же спохватился и, недобро щуря глаза, спросил: — Вы что же, Гарей Шайбекович, нарочно меня туда водили?

— Я тебя на аркане не тащил! Сам увязался,— пожал плечами управляющий.

— Да...— снова вздохнул Нигматулла.— Тут за каждый целковый дерешься, а он может тыщу выбросить и не заметить! И за что ему такое? Чем он лучше вас или, скажем, меня? Он, по-моему, с этими деньгами не знает, что и делать...

Накышев не ответил. Повернулся к десятнику и размашисто зашагал к конторе.

Вернувшись в контору, управляющий вызвал к себе штейгера и главного инженера. Нигматулла не принимал участия в разговоре, смотрел в окно, курил, делал вид, что внимательно слушает. На самом деле он не слышал ни слова. Перед глазамиплыли решетки на окнах, английский замок, полуоткрытая дверца сейфа и за нею груда тускло блесевшего золота.

VIII

Вернувшись в Петроград, Касьянов зажил на широкую ногу. Он ничего не делал, ни о чем не думал, да и не хотел думать, отталкивая от себя даже мысли о делах и успокаиваясь тем, что дела подождут своей очереди, а он пока немного отдохнет и развлечется. Два года, проведенные им на Урале и в Сибири, казались ему сном, будто и не уезжал он никуда из Петрограда, не осматривал ни рудников, ни приисков, а жил всегда так, как сейчас,— музицировал на вечерах, писал нежные стишки в альбомы дам, играл в вист и на бильярде, рассылал актрисам корзины роз из собственной оранжереи и вел с важными чинами разговоры о политике и будущем России.

В обществе его приняли так, будто он давно был своим, желанным гостем для всех. Слухи о том, что наследство его составляет более двадцати рудников и золотых приисков, а свободный капитал — три с половиной миллиона, сделали ему такую протекцию, о которой он мог только мечтать. Дворянин, богат, молод, умен, хорошо танцует и недурен собой — чего же больше? Где бы он ни появился — в новеньком, только что сшитом у самого модного портного костюме, лакированных ботинках, с неизменной своей открытой улыбкой, — маменьки тотчас начинали оживленно шутиться, девицы кокетничали, стараясь привлечь его внимание, а мужчины увлекали его в свой кружок, чтобы поговорить, поспорить или сыграть партию в вист.

Вставал он поздно, около часа. Камердинер по звонку приносил ему кофе и очередную почту — деловые письма, приглашения на приемы и вечера, билеты на благотворительные концерты, надушенные записочки в маленьких конвертах. Одевшись, позавтракав и сделав распоряжения по дому, он отдавал два-три необходимых, еще с вечера записанных визита, а даль-

ше начиналась обычная, суетная и веселая кутерьма — обеды, приемы, ложа в театре, клуб, кутежи с друзьями, которых становилось у него все больше и больше. Подвыпив, он ехал с ними в ресторан, к цыганам, либо катался на тройках с лентами и бубенцами, щедро угощал всех шампанским.

Будучи сразу принят министром и обласкан вниманием других высокопоставленных лиц, он почувствовал себя на недостижимой высоте. Ему казалось, что так будет всегда — освещенные, устланные коврами лестницы, по которым он поднимался мимо мраморных скульптур и ваз с цветами, мимо прозрачных зеркал, где отражались его светлая борода и отлично сидящий на нем модный коричневый скюртук, а в зале или гостиной его ждали милые, обаятельные люди, которым приятно было видеть его и говорить с ним, — дамы, которые с улыбкой обмахивались веерами после танца, все его старые и новые друзья, с которыми так интересно и весело было проводить время.

Только одно обстоятельство омрачало эту безмятежную жизнь и все время портило ему настроение: начиная с первой встречи, он не мог найти общего языка с компаньонами, вызвавшими его в Петроград. И дело было не только в том, что они отнеслись к молодому Касьянову осторожно и даже недоверчиво, — это как раз было закономерно, так как до этого они вели дела только с отцом, а сына видели всего один раз, перед отъездом в Сибирь, и естественно, не были уверены в деловых качествах начинающего промышленника. Основной вопрос заключался в помещении свободного капитала, тех самых пресловутых трех с половиной миллионов, благодаря которым он стал вхож в лучшие дома и принят высшим обществом с таким радушием и благожелательностью.

Наконец компаньоны пригласили его на Литейную, в старинный особняк, где жил председатель их горнопромышленного акционерного общества, английский миллионер, держатель контрольного пакета акций. Касьянов прибыл на это совещание последним, учтиво поклонился, сел в одно из мягких кресел и с любопытством огляделся вокруг.

Просторный, застланный малиновым ковром кабинет был полон дыма, компаньоны говорили о войне — хвалили генерала Брусилова, критиковали царскую ставку и ее бездарных руководителей, надеялись на усиление Антанты. Высокие, до потолка, застекленные шкафы, тисненные золотом корешки книг, мраморный камин с ажурной решеткой и небрежно прислоненными к ней щипцами, массивная люстра с хрустальными подвесками, резной письменный стол с львиными лапами, посредине которого высилась чернильница старой бронзы с фигурками играющих борзых и столь же аккуратно и симметрично расположенные по бокам от нее серебряные канделябры, две картины

Бенуа одинакового размера и в одинаковых рамах, висевшие слева и справа от стола, — все это было так не похоже на строгий рабочий кабинет отца, что Касьянов, усмехаясь, подумал о том, как редко здесь работают.

— Чему улыбаетесь, господин Касьянов? — прервал его размышления один из компаньонов, круглолицый маленький человек с тонким, певучим голосом.

Он то и дело вертелся в кресле, поворачиваясь то к одному, то к другому собеседнику, машинально поглаживая черные усы и бакенбарды, вопросительно заглядывая в лицо каждому и находясь, по всей видимости, в большом возбуждении.

— Положение при дворе внушает мне серьезнейшее беспокойство, и мне кажется, что пора плакать, а не улыбаться. С тех пор, как убили Распутина, государь совершенно отстранился от дел, все эти парадные смотры — сплошная фальсификация!

— Не горячитесь, князь, — поморщился генерал, сухонький старичок в мундире, с орденом Владимира на шее. Надушенная, сияющая лысина его была похожа на розовый бильярдный шар. — Петр Тимофеевич приехал совсем недавно и, очевидно, не представляет себе в полной мере нависшей над нами опасности.

— Как же не горячиться?! — воскликнул князь, впиваясь в кресло маленькими ручками. — Ведь надо же что-то предпринимать! Мы не можем сидеть сложа руки! Вот-вот произойдет взрыв чудовищной силы, это просто носится в воздухе, посмотрите только на эти очереди за хлебом! Один государь ничего не хочет замечать. Ни для кого не секрет, что он целиком находится под влиянием Александры Федоровны. Я ничего не имею сказать против внучки королевы Виктории, — князь поклонился в сторону англичанина, — это, без сомнения, женщина государственного ума и властности, она сама принимает министров, выслушивает доклады, делает назначения, но ее деятельности явно недостаточно для предотвращения угрозы бунта! Государь просто не представляет себе, что может произойти в результате такой политики, он даже не догадывается о том, в каком ужасном положении находится сейчас армия и что делается в тылу. Ведь, не считая этих прогулок в Могилев, он уже бог знает сколько времени не выезжал из Царского Села! Когда великий князь Александр Михайлович подал ему докладную с точным описанием нынешней обстановки в России, государь просто не дослушал его и ушел раскладывать пасьянс! А большевики пользуются этими обстоятельствами, чтобы устраивать забастовки. Совсем недавно, в прошлом году, в стачке участвовало свыше миллиона рабочих! Как можно после этого ждать, что промышленность будет развиваться нормально? А вы говорите — не горячиться!.. Я не могу не горя-

читься, я с ужасом смотрю вперед и думаю: что же будет?..— Князь устало откинулся в кресле и прикрыл глаза рукой.

Хозяин дома, сухопарый, в свободном сюртуке и затыликом шейном платке, молча мусолил тонкими губами кончик толстой сигары. Его невозмутимое плоское лицо, гладкие, как бы прилизанные, волосы с пробором на боку и голубые выгоревшие глазки за толстыми стеклами очков почему-то вызывали у Касьянова острую неприязнь, и он старался не глядеть на англичанина.

— Вся беда в том, что у нас совершенно не привлекают к государственной деятельности представителей буржуазии,— сказал генерал.— Необходимо, чтобы правительство считалось с нами и хоть в какой-то степени контролировалось думой. Без этого мы не сможем ни подавить волнения внутри страны, ни довести войну до победного конца.

— Да,— вмешался в разговор хозяин дома,— Россия явно стоит на пороге неприятных событий. Судя по отзывам прессы, они назревают везде. Мне нечего скрывать от вас, господа, дела нашей компании тоже, как говорится, оставляют желать лучшего...— Англичанин говорил тихо и лениво, с легкими покровительственными интонациями; ему словно доставляло удовольствие растягивать слова и делать паузы, наблюдая одновременно за растущим столбиком пепла на конце сигары.— Вчера я получил докладную от нашего директора-распорядителя. На Урале и в Сибири беспорядки, на нескольких приисках и заводах были забастовки. Кстати, на одном из ваших рудников, господин Касьянов, рабочие устроили самосуд над штейгером и управляющим. К счастью, полиция вовремя вмешалась в это дело... Мне думается, однако, что события на этот раз захватят не только окраины, но и самый центр России, вы, должно быть, и сами чувствуете это.— Англичанин стряхнул пепел и сделал выразительную паузу.— Нам, промышленникам, следует отнестись к предстоящему бунту с максимальной осторожностью. Все мы, кроме господина Касьянова, держим свободные капиталы в иностранных банках. Что бы ни случилось здесь, в России, там они всегда пребудут в целостности и сохранности. Но этого мало. Лично я намерен в скором времени покинуть Петроград и переехать в Лондон, пока здесь не наступит затишье, свидетельствующее о том, что обстановка переменилась. Вам, господа, я советовал бы сделать то же самое, если только вы не такие большие любители приключений и не надеетесь на то, что непосредственное общение с бунтовщиками доставит вам массу приятных развлечений...— Англичанин вынул сигару изо рта, сдержанно улыбаясь.

Круглое лицо князя пошло красными пятнами. Генерал встал и, заложив руки за спину, подошел к окну. Один Касьянов не придавал словам англичанина никакого значения. На

мгновенье ему показалось, что весь разговор этот заранее продуман компаньонами, чтобы запугать его и заставить принять выгодное им по каким-то причинам решение. Он весело посмотрел на генерала, стоявшего лицом к окну, на съежившегося в кресле князя, перевел взгляд на хладнокровного англичанина и скрестил руки на груди.

— Мне кажется, вы преувеличиваете опасность, — свежливой улыбкой заметил он. — Я был и в Сибири, и на Урале. Уверю вас, ничего особенно страшного там не происходит. Если бы угроза была столь велика, другие акционерные общества и компании без сомнения чувствовали бы это. Между тем и французы, и американцы, и ваши соотечественники, господин председатель, не вывозят, а наоборот — ввозят капиталы в Россию.

— А такие неглупые дельцы, как Рамиевы, продают им предприятия и прииски и срочно вывозят капитал за границу, — холодно отпарировал англичанин, глядя на Касьянова поверх очков. — Все, кто скупает сейчас земли и заводы, просто не понимают сложившейся ситуации. Нельзя сказать, чтобы и вы, господин Касьянов, ориентировались в ней правильно.

— Ну хорошо, взгляните на это хотя бы с точки зрения истории, — не уступал Касьянов. — Сколько раз могущество русского государства бывало поколеблено! Вспомните хотя бы историю пугачевского бунта, вспомните, наконец, что сама Москва была в руках Бонапарта! И что же? Все в конце концов разрешилось благополучно!

— Нет, никогда волнения не принимали такого размаха, — покачал головой князь. — Я удивляюсь вам, господин Касьянов, неужели вы ничего не замечаете?

— Отчего же не замечаю? Замечаю. — Касьянов неторопливо закурил и поудобнее расположился в кресле. — Согласен, положение сложное. Тем не менее, господа, я не намерен поддаваться панике. Войны всегда вызывали в России народные волнения, это естественно. Я считаю, что с моей стороны бесчестно было бы уехать и бросить родину в такое тяжелое для нее время. Напротив, мой гражданский долг и совесть призывают меня остаться, и всем, чем я смогу, помочь России, государю и моему народу.

— Мне совсем не хочется с вами спорить, Петр Тимофеевич, — генерал отошел от окна и снова сел в кресло, — но двадцатилетняя дружба с вашим отцом обязывает меня предупредить вас от плохо продуманного и в корне неверного шага. Вы ничем не сможете помочь сейчас ни России, ни государю. Все происходящее настолько серьезно, что вся страна может на какой-то срок погрузиться в состояние полной анархии, в беспросветный мрак! Вы еще молоды, неопытны в делах. Прошу вас, поверьте мне. Ни государь, ни правительство не пред-

принимают и не намерены предпринимать никаких мер. Князь Голицын махнул на все рукой, одно только назначение Протопопова министром внутренних дел означает провал и бездействие! Надежда на думу, единственную организацию, которая может сделать что-то в этих условиях,— ничтожна! У меня есть точные сведения о том, что государь собирается распустить ее после пасхи. Надвигается катастрофа! Как только все это начнется, наши банки затрещат по швам! А вы закрываете глаза и абсолютно не хотите считаться с фактами! А последняя стачка? Обуховский, Невский судостроительный, Путиловский, Металлический — четыре завода! И вы еще сомневаетесь, что бунт может охватить всю страну? Пока еще есть возможность, положитесь на наше чутье и опыт, уезжайте, забирайте с собою все, что сможете, чтобы потом действительно помочь этой разрушенной чернью России встать на ноги и восстановить здоровую жизнедеятельность!

— Я верю в Россию, господа. Я верю в разум русского народа, он не позволит анархии! — спокойно сказал Касьянов.

— Никто не мешает вам верить в Россию, — вмешался князь. — Я тоже люблю ее не меньше вас. Именно эта любовь и мысли о будущем России заставляют меня в настоящее время держать капитал в Женевском банке.

— Благодарю за совет, господа, — Касьянов поклонился, — но я все же предпочитаю вложить деньги в Златоустовский банк, на развитие наших железных дорог. Я уверен, это поможет России и в настоящее время, хотя бы в стратегическом отношении.

— Вы идеалист, — сказал англичанин.

— Да! — поднял голову Касьянов. — Но я идеалист на практике. У вас все пока слова, а я предпочитаю любить Россию на деле и хочу, чтоб мои капиталы защищали интересы отечества уже теперь, а не в каком-то неизвестном будущем.

Все, кроме хозяина дома, ощутили некоторую неловкость, князь отвернулся.

— Ну что ж, господин Касьянов, мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы предупредить вас и устроить ваше будущее. Надеюсь, вы не отнесетесь к нашим словам легкомысленно и, взвесив все за и против, перемените свое мнение. — Англичанин положил в пепельницу потухшую сигару и поднялся. — Господа, прошу вас разделить со мною мою, так сказать, холостяцкую трапезу. . .

— Отчего же холостяцкую? — заинтересовался Касьянов.

— Моя семья уже в Лондоне. — Англичанин широко улыбнулся, и во рту его сверкнули золотые коронки. — Прощу к столу, господа, все давно готово!

Обитый голубым шелком зал, где был накрыт стол, выглядел несколько мрачновато. Все, начиная от тарелок, столового

серебра, салфеток и кончая лакеем в чулках, панталонах и фраке, неуловимым образом походило на невозмутимое плоское лицо англичанина. Сначала Касьянову стало от этого смешно, ватем неприятно.

Подали кулебяку, рябчиков, посыпанный зеленью ростбиф на горячем блюде. Вашел разговор о положении на фронте, ватем о театре и снова о войне. Лакей усердно подливал ром, венгерское и мадеру в хрустальные бокалы, на каждом из которых красовался вензель хозяина дома.

Касьянов почти не принимал участия в разговоре. Он испытывал довольно противоречивые чувства. Там, в кабинете, все было ему ясно и легко, когда он говорил об интересах отечества, гордость и восторг переполняли его, теперь же это ощущение собственной силы и мужества куда-то ушло и уступило место опасениям, что компаньоны правы если и не во всем, то по крайней мере в большей части своих предсказаний.

«Во всяком случае, пока не улягутся волнения в Петрограде, я могу пожить и на Урале,— думал он, машинально отщипывая виноградины от холодноватой матово-черной грозди.— Да, так будет, пожалуй, вернее всего. Во-первых, поближе познакомлюсь с делами, а во-вторых, если что-нибудь произойдет, смогу сам на месте контролировать события. В конце концов, бунт вряд ли продлится более одного-двух месяцев, а та же самая долина Юргашты красивейший уголок природы, где можно и отдохнуть, и поохотиться...»

Подали шампанское, мороженое. Затем перешли в гостиную, и Касьянов поспешил откланяться.

Когда он вышел, было уже за полночь. Две кариатиды на фронтоне особняка легко, как пушинку, поддерживали балкон за каменные завитушки. Касьянов вспомнил женщин в полушубках, сгружавших руду лопатами, и нахмурился, усаживаясь в темную карету. Кучер тронул поводья, и колеса загромыхали по булыжнику.

Над городом опускался туман. Тих и пустынен был Невский проспект, днем и вечером кишевший людьми, и Дворцовая площадь с окаменевшим у Александровской колонны часовым. Великий Петр перед Исаакиевским собором все так же крепко сидел в седле, удерживая вздыбившегося коня.

«Так всегда укрощали Россию, зря они боятся»,— глядя на Медного всадника, подумал Касьянов.

Карета мягко покачивалась на рессорах, сонно мигали фонари на столбах перед витринами магазинов. Редкие шаги прохожих, окрик городского, и снова все тихо, только доконец копыт и громыханье колес по булыжнику.

Скоро карета остановилась. Кинув пальто на руки подбегавшему швейцару, Касьянов быстро поднялся на второй этаж, зашел зачем-то в бильярдную, повертел в руках кий и,

чувствуя, что вряд ли сможет сейчас уснуть, решительно направились в кабинет отца. Это была уютная комната с простой мебелью, среди которой выделялась только старинная конторка в углу у окна. На стенах висели таблицы и карты, стол и шкаф были завалены папками с делами, на подоконниках стояли стеклянные пробирки с золотосным песком.

Касьянов зажег лампу и присел на диван. Он не заглядывал сюда с тех пор, как приехал, и так как приказал не трогать кабинет, телефон и бумаги, в беспорядке лежавшие на столе, успели покрыться тонким слоем пыли.

«Завтра же займусь делами», — решил он.

Бронзовая ручка двери тихо повернулась, вошел камердинер с подносом. Касьянов распечатал письмо и начал читать.

— Куда прикажете подать ужин? — спросил камердинер.

— Иди, иди, потом! — махнул рукой Касьянов.

Дочитав, он сел за стол и принялся строчить: «Оренбургская губерния, Юргаштинский прииск, управляющему Накышеву. Заработную плату не прибавлять. С забастовщиками переговоры не вести. Скоро приеду. Касьянов». Он еще раз пробежал написанное глазами и, сняв телефонную трубку, принялся энергично крутить ручку.

Отправив телеграмму, Касьянов вышел в гостиную и сел за рояль. Но та же самая веселенькая ария из «Дон-Жуана», которую еще сегодня днем с таким успехом исполнял он вместе с молоденькой княжной под аплодисменты присутствующих, теперь не получалась — пальцы не слушались и деревенели, в висках стучало, он путал клавиши и все больше злился на себя.

Оставив, наконец, рояль, он потушил свет, подошел к окну, и раздвинул шторы. Примыкающий к дому парк, где жили летом птицы и ручные белки, с которыми он так любил играть в детстве, был весь в снегу. Не было видно даже опоясывающей его дорожки. Над парком медленно проплывали похожие на льдины холодные облака.

Постояв немного, Касьянов снова зажег свет, сел на оттоманку и позвонил.

— Коньяку, — коротко приказал он вошедшему камердинеру. — Постой, скажи мне, что делал отец, если ему бывало грустно?

— Ваш батюшка, — серьезно отвечал камердинер, — если бывали не в настроении, обычно гуляли пешком — по набережной или в Летнем саду...

— Неси коньяк, — прервал Касьянов.

Когда камердинер вышел, он прилег на оттоманку. «Что же это такое? Надо взять себя в руки», — подумал он и, чтобы развеяться, попробовал вспомнить подробности вчерашнего бала. Платья из тафты в пышных оборках, запах духов, локоны, белые атласные башмачки... Мысли его мешались, перед гла-

зами почему-то вставала одна и та же картина — лицо государя на портрете в богатой золоченой раме, где Николай Второй был изображен во весь рост, в горностаевой мантии, со скипетром и державой в руках. Его лицо с закрученными кверху усами спокойно взидало со стены на огромный, полный золотого блеска зал, на пары, плавно кружащиеся по фигурному паркету, на самого Касьянова, лежавшего на оттоманке в ожидании коньяка. Вдруг лицо стало темнеть, меркнуть и погасло...

Дверь бесшумно отворилась. Увидев, что Касьянов спит, старый камердинер покачал головой, осторожно, стараясь не шуметь, поставил поднос на стол и бережно укрыл молодого хозяина пледом.

IX

«Не оставляй меня одну, пожалуйста, не надо! Я умру без тебя!» — хватаясь за брата горячими руками, просила Гамиля. «Тише, ты всех разбудишь!» Загит, плача, прижал к себе голову девочки. «Я не хочу умирать, не хочу! Больно!» — не слыша его, кричала Гамиля...

Загит в испуге открыл глаза и приподнял голову.

Белый лунный свет вырезал в окне четкий силуэт фйкуса, тусклым колечком свернулся на колесе ручной швейной машинки, посеребрил шишечку на деревянной спинке кровати и зеленоватыми пятнами расплылся па полу. Перед иконами в правом углу горел малиновый огонек лампадки.

Загит вытер мокрые глаза и снова положил голову на подушку. Сердце все еще колотилось. Гамиля часто снилась ему, и всякий раз после этого он чувствовал себя разбитым.

Загит вздохнул. С тех пор, как он поджег лавку Нигматуллы и, по совету Гайзуллы, добравшись до Кэжэна, разыскал на краю поселка небольшой домик, где жили Голубковы, он долгое время ничего не знал ни о братьях, ни о своем верном друге. Наталья Дмитриевна и Алексей Иванович, выслушав историю Загита, без лишних разговоров поселили его у себя, помогли устроиться на завод, — словом, приняли как родного. Однако не было дня, чтобы Загит не вспомнил отца, его мучило сознание того, что Нигматулла, может быть, мстит семье за его поступок и что сам он, боясь обнаружить свое местопребывание, не может ничем помочь им в эти тяжелые голодные дни.

Тягучий, густой бас заводского гудка прервал его раздумья. Протяжно и одиноко выл гудок, отдаваясь эхом в горах и заставляя дребезжать оконные стекла.

До начала работы оставалось больше двух часов. Обычно Загит после первого гудка позволял себе еще немного вздремнуть, но мысли о доме так взбудоражили его, что он уже не смог заснуть.

Первым знакомым, которого он встретил в Кэжэне, оказался Михаил. Это случилось в самом начале этой зимы, в морозный воскресный день на узкой, ведущей к базару улочке. Увидев Михаила, Загит бросился к нему, не помня себя от радости, схватил его за руки и даже чуть не заплакал. Михаил едва узнал в этом высоком худощавом парне того мальчика с полными губами и свисающим чуть не до глаз чубом, на которого когда-то указал ему Хисматулла, а узнав, рассмеялся и обнял Загита за плечи.

— Ну, здравствуй, здравствуй, пропащая душа! Вот где ты, оказывается, скрываешься! А в Сакмаеве тебя уж давно похоронили, волкам на съедение отдали! Ну и заварил ты там кашу, браток! Этот Нигматулла теперь, как зверюга, по деревне рыщет, по три шкуры с должников дерет!

Загит опустил голову.

— А с отцом ничего не случилось? — с трудом проговорил он.

— Да вроде нет, — поняв, что мучает парня, ответил Михаил. — Ты не волнуйся, завтра я как раз на прииск пойду, спрошу там сакмаевских, может, и разузнаю что-нибудь. Зайди ко мне денька через четыре.

— Спасибо тебе, агай! — Глаза Загита снова наполнились слезами. — Я ж ничего тут о них не слышу, и спросить не у кого...

— Ну-ну, не разводи сырость, — улыбнулся Михаил. — Идем-ка, покажу тебе, где меня найти.

Эти несколько дней превратились для Загита в настоящую пытку. Он не мог спать, почти ничего не ел, похудел, осунулся и на четвертый день едва не попал под тяжелую, груженную рудой вагонетку, за что сразу был оштрафован мастером. Но ни штраф, ни ругань мастера не могли отвлечь Загита от тревожных мыслей. Едва работа кончилась, как он в чем был, весь чумазый и потный, бегом помчался к заводским воротам, мимо площади, церкви и базара, по мосту, на ходу надевая тулуп. Запыхавшись, он ворвался в дом Михаила и еще с порога, не успев поздороваться, выпалил:

— Ну как?

Михаил, сидевший за столом, вздрогнул от неожиданности.

— Да ты что, очумел? Так можно и напугать насмерть. Отдышись сначала, умойся, давай я тебе на руки полью... Да не смотри ты на меня такими глазами! Отец твой здоров, конюхом у Нигматуллы работает. Аптрахим тоже здоров, Султангали на прииске крутятся. Ну, а младшенького вашего отец, по обычаю, каким-то бездетным людям отдал после того, как Фарзана умерла. Ты ведь знаешь об этом?

Загит кивнул.

— Ну вот вроде и все... Да, забыл сказать — идут разговоры, что отец твой жениться собрался!

— Жениться?! — изумился Загит.

— Да, на какой-то вашей, сакмаевской.

— Это хорошо, наверно... — неуверенно протянул Загит. — Только вот добрая ли она, не обидит ли Аптрахима? И где отец калым достал, или она из бедных?

— Уж это я не знаю! — развел руками Михаил.

— А Гайзулла?

— У Гайзуллы дела плохие, браток, — покачал головой Михаил. — Сестру его старшую помнишь, ту, что с Хисматуллой бежала? Так вот, ее теперь Нигматулла сватает.

— И она согласилась? — возмутился Загит.

— В том-то и дело, что нет, — вздохнул Михаил. — Только туго им теперь от этого приходится, Нигматулла им товаров не отпускает, и Хажисултан-бай с ним, видно, в сговоре. Вот и мыкаются. Гайзулла на приiske отвалы моет, тем и кормится, а что он там может намыть? «Летом, говорит, в горы пойду», — надеется золотое место найти... Но я ему пока ничего про тебя не сказал, а то еще слухи пойдут! Да ты не огорчайся, может, обойдется у него! Садись, чайку попьем, потолкуем!..

С тех пор каждый раз, когда Михаил появлялся в Кэжэне, Загит проводил с ним все свободное время. Они говорили о заводе и приiske, Михаил давал Загиту книжки, сам терпеливо разъяснял непонятные места, часто брал с собой на собрания, и рабочие, постоянно видя их вместе, шутливо прозвали Загита «Мишин хвостик». Сначала Михаил боялся за него, но так как Загит настаивал, стал поручать ему даже распространение листовок в цехах.

Теперь Загит смотрел на жизнь другими глазами. Он понимал, что поджог одной лавки ничего не может изменить, что один человек не в силах преодолеть веками копившееся зло. Вот если встанут все заводы, все прииски, все деревни, какие есть на земле, только тогда можно будет уничтожить таких, как Нигматулла и Хажисултан-бай, только тогда жизнь станет счастливой. И за эту правду, которую он узнал, за то, чтоб в нее поверили и сакмаевцы, и старатели, и все бедняки, Загит готов был отдать все...

В сенях негромко звякнули дужки ведер. Дохнув прохладой, отворилась дверь. Наталья Дмитриевна свалила у печки охапку дров, скинула шубейку и, засветив керосиновую лампу, подошла к полатам:

— Захар, сынок вставай! На работу опоздаешь...

Загит зажмурился, делая вид, что еще спит. Все правилось ему в этой женщине — мягкий, ласковый голос, плавные и вместе с тем ловкие движения, простое, доброе лицо, всегда как бы освещенное изнутри светом, льянысы, в два ряда уло-

женные вокруг головы косы. Хотя внешнего сходства не было, Загиту казалось, что она похожа на его мать.

Наталья Дмитриевна привстала на лежанке и легонько взъерошила ему волосы.

— Вставай, вставай! Я же вижу, что не спишь! Ну, права ножка, лева ножка, подымайся понемножку!..

Загит рассмеялся. Наталья Дмитриевна всегда говорила и вела себя с ним как с маленьким, и он охотно подчинялся, так как это доставляло ему радость.

— Сейчас! — отдергивая пятки, хохотал он. — Ой, тетя Наташа, щекотно!

Пока Загит слез с полатей, умылся и сел за стол, Наталья Дмитриевна вынула из печи чугунок с овсянкой, поставила хлеб, чайник и стакан, налила в таз воды и стала готовиться к стирке.

— Теть Наташа! — позвал Загит.

— Аюшки!

— А ты чего же? Я без тебя есть не буду! — Загит отложил в сторону крашеную деревянную ложку.

— Вот ты какой! Вишь, делу меня невпроворот? Ну ладно, чайку с тобой поцью, на-ка, вот у меня еще две конфетки осталось. — И, подперев щеку кулачком, она уселась на лавку возле Загита. — Ешь, ешь, у тебя работа потяжелей, чем у меня, тебе еще расти надо!

— Куда ж дальше? — дую на горячую жидкую кашу, весело спросил Загит. — И так, если б я сейчас в Сакмаеве оказался, пикто меня там и не узнал бы!

— И слава богу! — перекрестилась Наталья Дмитриевна. — Расти на здоровье, хоть выше крыши! — Розовая, тщательно отглаженная сатиновая кофточка ее пахла свежестью и морозом, возле улыбчивых глаз собрались мелкие морщинки. — Сегодня шарф надевай, видишь, как февраль поджаривает? — Она показала па разрисованные инеем окна. — Я уж и то за Алексея Иваныча беспокоюсь. Сказала ему: «Надень еще носки шерстяные», а он — ни в какую! «В одеяло, говорит, меня заверни да неси вместе с лошадей и санями, тогда надену!..»

Выйдя из сеней, Загит сразу начал мерзнуть. Тихий снежок, порошивший вчера весь день, сменился резким ледяным ветром. Из будки, гремя цепью, вылезла старая тощая собака и приветливо замахала хвостом. Голые ветки одинокой березы в саду беззащитно гнулись, прижимаясь к дому.

Загит прикрыл лицо шарфом, натянул потуже шапку, сунул руки в карманы зипуна и вышел на улицу.

Поселок просыпался. Хлопали двери, кричали петухи. Звения ведрами на коромыслах, шли за водой женщины. Обгоняя их, в сторону завода торопливо шагали мужчины.

Выйдя к запруде, Загит на минуту остановился. Ему нравилось это место. Чуткая тишина обнимала уральские горы, горбатились на склонах камни и островерхие скалы, стройные сосны и ели стояли недвижно, словно заворуженные этой величественной красотой.

Над рекой ветер усилился. Он бросался на Загита с разных сторон, сильными, грубыми рывками толкал то в грудь, то в спину, и Загит то и дело тер снегом щеки и лоб, чтобы не отморозить. «Не иначе как акман-токман начинается!» — с тревогой подумал он.

Скоро впереди показалась церковь с голубым куполом, сырые, обомшелые стены завода, день и ночь дымящие трубы. Зазвонили к заутрене медные колокола, тотчас вслед за ними взвыл второй гудок.

«Успею», — решил Загит, но мороз заставил его прибавить шагу, и от запруды в гору он поднимался почти бегом.

Взобравшись наверх, Загит сразу понял — случилось что-то особенное. Толпа у заводских ворот была вдесятеро больше обычного — люди, окончившие смену, не расходились по домам, а вновь прибывшие не спешили занять свои рабочие места. Слышны были крики и свистки городских.

Загит припустил во все лопатки.

Вдруг над толпой взметнулся красный кумач, несколько хриплых голосов нестройно начали:

Сеялось семя веками,
Корни в земле глубоко.
Рубят леса топорами —
Зло вырубать нелегко.

Оглушительно взревел третий гудок, но голосов в ту же минуту как будто стало в тысячу раз больше, и, заглушая гудок, веками призывавший к рабскому труду и покорности, еще громче, еще мощнее грянули:

Нам его с детства привили,
Деды сроднились с ним.
Мертвые в мире почилы,
Дело настало живым!..

Подбежав, Загит схватил за рукав первого попавшегося человека:

— Что случилось? Забастовка?

— Революция! — вытирая слезы и не переставая улыбаться, ответил рабочий. Лицо его дрожало, горечь и радость смешались в нем. — Царя свергли, понимаешь? Наша взяла!..

— Ура-а! — крикнул ошеломленный Загит и, сорвав с головы шапку, подбросил ее вверх.

Люди в толпе обнимались, многие плакали. Кто-то топтал ногами вытащенный из конторы портрет Николая Второго. Гудок задохнулся и смолк.

Слившись в один поток, обе смены рабочих огромной колонной двинулись к базарной площади. Хлопало на ветру красное полотнище. Со всех сторон бежали к колонне женщины. Запели «Варшавянку», «Марсельезу», потом «Колодников»:

Динь-дон, динь-дон — слышно там и тут,
Нашего товарища на каторгу ведут...

Загит пел вместе со всеми. Запрещенные эти слова, которые шепотом, потихоньку пели раньше на сходках, теперь открыто и грозно звенели в морозном воздухе, и казалось, не было на свете такой силы, чтобы заставить людей замолчать.

Загиту стало жарко. Он с радостью чувствовал слева и справа от себя плечи рабочих. «Вот оно, когда все вместе! Вот какая мы силища!» — хотелось крикнуть ему.

Внезапно из-за поворота, чеканя шаг, вышла рота солдат с ружьями наперевес. Сбоку, подпрыгивая и махая обнаженной шашкой, бежал офицер в длиннополой гвардейской шинели.

Песня смолкла. Рабочие пошли медленней. «Неужели начнут стрелять?» — с ужасом подумал Загит. Колонна и вооруженный отряд сближались молча и неумолимо. Слышен был только чеканный шаг солдат, шарканье подошв, скрип снега. Когда до колонны оставалось не более десяти шагов, офицер скомандовал:

— Рота, стой!

Рабочие тоже остановились. Офицер сделал несколько шагов навстречу демонстрантам.

— Разойдись! Если через десять минут не очистите улицу, прикажу стрелять! — крикнул он.

— Не имеете права! Царь свергнут, теперь хозяева сами рабочие! — приблизился к нему Михаил.

— Молча-ать! — рявкнул офицер. — Ложь! Повторяю — через десять минут будет открыт огонь!

— Солдаты! Товарищи! Не слушайте, он вас обманывает! — повернулся к солдатам Михаил. — Не стреляйте в своих!

По команде офицера защелкали затворы, взметнулись штыки винтовок.

«Конец!» — потемнело в глазах у Загита.

Неожиданно из толпы вырвался старик без шапки, с белой, совершенно седой головой. Он скинул на снег полушубок, рванул за ворот темную рубаху и, ударив кулаком в голую грудь, встал перед шеренгой штыков.

— Нател! Колите! Стреляйте! — со слезами в голосе закричал он. — Может, мой родной внук, что в солдатах, тоже сейчас

перед вашими отцами и дедами стоит! Стреляйте, сукины дети! Чью вы кровь проливаете? Отцеубийцы! . .

— По врагам царя и отечества огонь! — скомандовал офицер.

Но солдаты продолжали стоять перед стариком с красными и растерянными лицами. Многие опустили винтовки.

— Под суд захотели? Огонь! — хрипло заорал офицер и, видя, что его никто не слушает, замахнулся пашкой на старика.

Наперерез ему бросились и рабочие и солдаты, в мгновение ока офицер был обезоружен и скручен ремнями. Бледное, потное лицо его исказилось от страха.

— Что с ним делать, дедушка? — спросил один из солдат.

— А ну его к бесу, сынок! — утирая слезы, радостно ответил старик. — Запри куда-нибудь в сарай, а там видно будет! . .

Но толпа, напираящая сзади и не слышавшая уже слов старика, подхватила офицера и, словно на волне, понесла его к обрыву. «Христа ради, пощадите! У меня жена, дети! Люди, братцы! Умоляю!» — истонно вопил он, извиваясь на гребне поднятых рук.

— Зачем? Не надо! . . — крикнул Загит.

— А зачем он заставлял солдат в нас стрелять? — со злобой ответил кто-то рядом. — Собаке собачья смерть! А не изничтожить эту сволочь сейчас, так она потом тебя же исподтишка убьет! . .

Крики смолкли, и Загит понял, что офицера сбросили вниз.

Отхлынув от обрыва, толпа вновь ринулась к базару. Солдаты смешались с рабочими. Осторожно вышли из домов купцы и местные чиновники. Некоторые из них несли портреты Родзянко и других членов думы. Все они, однако, держались особняком с серьезными, без тени улыбки, лицами.

Дойдя до базарной площади, люди остановились. Загит увидел Михаила, взбирающегося на ящики у забора, и хотел было пробраться поближе к нему, но это было невозможно — толпа плотно стиснула его со всех сторон.

— Товарищи! — Михаил взмахнул фуражкой, и гул голов тотчас прекратился.

«Как тогда, на поляне, — подумал Загит. — Эх, видел бы все это сейчас Гайзулла! . .»

— Товарищи, в Петрограде победила революция! Царские министры арестованы! Все учреждения захвачены рабочими, это наша первая большая победа!

— А что дальше-то будет? — выкрикнул какой-то солдат.

— Дальше мы сами выберем себе правительство. Это будет правительство рабочих и крестьян, в нем будут депутаты от каждой губернии! Оно станет защищать интересы народа, каждого простого человека, а не кучки богатеев и их прислужни-

ков!.. Я думаю, в первую очередь оно прекратит войну, заставит каждого заводчика и фабриканта улучшить условия труда, уменьшить рабочий день и платить рабочим настоящую заработную плату, а не жалкие гроши, что они платят теперь! Больше никто не сможет попираť права человека! Перед нами стоит еще задача — взять власть в свои руки на местах по всей России. Конечно, нас ожидает сопротивление! Богачи не захотят так просто отдать накопленное веками... Но я уверен — рабочий класс вместе с крестьянами и солдатами, вернувшись с фронта, одолеют все препятствия на своем пути, и мы начнем новую, счастливую жизнь! Конец богачам! Конец войне! Да здравствует революция!..

Михаил спрыгнул вниз. Толпа одобрительно гудела. Где-то сзади крикнули: «Ура!», но на ящики уже взбирался новый оратор — пожилой рабочий с расчесанной надвое бородой, которого на заводе уважали и побаивались.

— Я вот что скажу, — медленно и степенно начал он. — Революция, депутаты — это все хорошо, а вот войну нам надо до конца довести. У меня у самого два сына на фронте, и сам я в солдатах был, знаю, какая это служба. Но никогда еще русский мундир не был опозорен! Суворова и Кутузова весь мир знает, наши войны по всей земле славятся! Неужели ж мы себя слабаками перед германцами покажем? Нет, революция — это одно, а честь — другое, ее хранить надо, она нам от прадедов из рук в руки передавалась. И работу нам сейчас срывать никак нельзя! Вот мы тут стоим, и работа стоит, а на фронте нашего чугуна не хватает! Потому зову — перетерпим, переможемся пока, но чести своей не уроним! Пойдем на завод, а речи говорить и после работы можно!

— Честь честью, только зачем же честь без ума хранить? — встав на его место, кричал какой-то солдат. — В кого мы стреляем на фронте? В таких же рабочих и крестьян, как мы! Что из того, что они германцы? Они такие же простые люди! У них тоже богачи на фронт не идут! Война выгодна только богатым! Они специально затевают ее, чтобы набить себе карманы на поставке оружия и продовольствия! Кому идут завоеванные земли? Им! Кто получает контрибуцию от побежденной стороны? Они! Долой войну!..

— Неправда это все! Никто царя не свергал! А нам за бунт выволочка завтра будет! — усевшись верхом на заборе, заорал усатый дядька в зипуне.

— Врешь, паскуда! — Кто-то стащил усача за ногу, и у забора началась потасовка.

— Товарищи! Не выйдем на работу, пока не отремонтируют цеха! — надсаживался справа от Загита человек с черным от сажи лицом.

— Ломай завод, громи магазины! Бери, что хошь! Теперь все наше! — тонким голосом визжали слева.

Впереди мелькнуло бледное лицо какой-то женщины.

— Исть нечего! Одни штрафы! Чем детей кормить? — крикнула она.

Мальчишка лет двенадцати, взобравшись на крышу базарного ряда, неистово свистел в четыре пальца. Кто-то выстрелил в воздух.

— Со-звать Уч-ре-ди-тель-ное соб-ра-ние-е! — горланили где-то сзади.

Шагах в пятнадцать от Загита подняли на руки священника в черной рясе, с красными от мороза ушами. Он, беззвучно, как рыба, открыл и закрыл рот, призывая к чему-то, и указывал рукой в сторону церкви.

Люди не знали, кого слушать. Да и невозможно было слышать ни одного отдельного голоса, — казалось, говорили все разом. Загит, пробравшийся к забору, нервно кусал губы, не понимая, что происходит.

Постепенно толпа поредела. Люди собирались в небольшие кучки в разных концах площади, продолжая спорить и обсуждать случившееся. Загит переходил от одной кучки к другой, все более убеждаясь в том, что люди ничего не поняли.

Окончательно разошлись только с наступлением сумерек. Загит отправился к Михаилу, но, увидев на двери замок, пошел домой. На душе у него было горько и тяжело.

«Почему не поняли того, что сказал Михаил? Почему сомневаются, не хотят верить в собственные силы? — думал он, все убыстряя шаг и не чувствуя крепчавшего мороза. — Ведь когда они пели сегодня все вместе, все было так просто и ясно! Да, прав был Михаил, когда сказал мне, что людям еще нужно объяснить их правду, что они настолько привыкли жить рабами, что не могут себе представить, как можно жить иначе. Ничего, они поймут, они поверят! Вот назначат рабочее правительство, и сразу все изменится. Тогда я вернусь в Сакмаево, соберу всех на площади и скажу: «Товарищи! Мы свободны! Революция победила!...»

Х

Касьянову казалось, что едет он уже целую вечность. Бесконечные задержки и остановки поезда, пропускавшего вперед военные эшелоны, весть об отречении Романовых от престола, настигшая его в Москве, частые проверки документов, нищие старухи и дети, подбегавшие к вагонам на полустанках, его сосед по купе, вечно пьяный поручик, с утра до вечера громивший прогрессистов, октябристов, кадетов, социал-

демократов, эсеров, большевиков, почему-то примешивая сюда же евреев, немцев и интеллигенцию, полная растерянность и невозможность уяснить для себя, что же это за партии и чего ждать от так называемого Временного правительства, так издегали и утомили Касьянова, что, доехав до Оренбурга, он в ту же ночь нанял кучера, чтобы только поскорее оказаться на месте и никуда уже больше не двигаться.

От Оренбурга, однако, ехать оказалось гораздо приятней. Кошевка, запряженная парой гладких, упитанных лошадей, легко скользила по укатанной дороге, весело позванивали под дугой медные колокольчики, мерно покачивалась впереди широкая спина неразговорчивого кучера, безмятежно катилось в вышине медленное солнце. Закутанный в тулуп Касьянов с удовольствием рассматривал розовый, в сверкающих искорках снег, синие тени в гуще кустарника, ледяные сосульки, горевшие на ветках кедров и елей, как рождественские свечи. Все это понемногу отвлекло его от неприятных мыслей, и он вполне уверился, что поступил правильно, решив провести несколько месяцев вдали от городских тревог и волнений.

В Верхнеуральске кучер заупрямился.

— Буран будет, барин, нельзя ехать. Подождать надо...

— Какой буран? Да ты посмотри, какое ясное небо! — удивился Касьянов.

— Последний буран, он здесь в марте бывает, — настаивал кучер. — Все говорят, что вот-вот начнется...

— Да брось ты, — отмахнулся Касьянов. — Отсюда до Кэ-жэна рукой подать! — И видя, что кучер все еще колеблется, добавил: — Едем! Красненькую надбавлю!..

Но как ни торопился Касьянов добраться до Юргаштинского прииска, обстоятельства явно были против него. Оказалось, что большая часть дороги занесена снегом, и лошади, утопавшие в нем по самые грудки, фыркали и тянули кошевку невыносимо медленно. К полудню подул резкий встречный ветер. Небо затянулось серыми клочьями облаков, и скоро отчетливая чистая линия горизонта, ясно видная раньше за бескрайней белой равниной, сменилась мрачной смутной мглой.

Касьянов почувствовал, что начинает мерзнуть, достал из саквояжа бутылку коньяку, хлебнул и, тронув кончиком трости плечо кучера, предложил выпить и ему.

— Прибереги лучше, барин, — хмуро отказался кучер. — Вишь, какая непогода, к ночи больше замерзнем...

Мороз усиливался, вместе с ним крепчал и ветер. Швыряя горстями колючую снежную пыль, подвывая на разные голоса, он со злостью ударял то спереди, то сбоку. Кучер то криком, то кнутом что было мочи подгонял усталых лошадей. Белые вихри, раскручиваясь, неслись по равнине. Они росли на глазах, сталкивались, рассыпались и вновь возникали, как из-под

земли, становясь все выше и страшнее. Скоро вся равнина превратилась в огромный кипящий котел. С грохотом и свистом мчалась в нем серая мгла, стало совсем темно.

— Зря ты меня не слушал, барин! — закричал кучер, обернувшись и прикрывая рукавицей лицо. — Вот он, акман-токман-то!

— Что-что? — не расслышав, переспросил Касьянов.

— Да башкиры так этот буран называют — акман-токман! Потому что злой, беспощадный... Вон как буйнит!

— Может, ненадолго? — подняв воротник тулупа, сказал Касьянов.

— Ненадолго? — криво улыбнулся кучер. — Нет, барин, он только начал, здесь еще самые-то черти на кулачках не бились! Башкиры говорят: «Акман-токман шесть дней бесится, и каждый день ужасней того, что был!»

— Целую неделю?! — ахнул Касьянов. — Что же делать? Может, обратно повернуть?

— Поздно! Назад — верная гибель!.. — ответил кучер. — Да ты не трясись, барин, жить-то — оно иной раз страшней, чем помирать! Все на свете творится благостью божьей да глупостью человеческой, — не бойсь, может, не пришла еще за нами коса, а только рядом косит!..

К счастью, дорога свернула влево, к пологой, поросшей густой чащей горе. Въехали в лес. Здесь было немного тише. Ветер, разбиваясь о плотную стену деревьев, с яростью раскачивал старые стволы, шумел в темных верхушках, но уже не был так силен, как на равнине.

— Нет ли здесь поблизости деревни? — спросил Касьянов.

— Да нет, барин, — вздохнул кучер. — На Урале деревни редко попадаются, не то что в степи...

Привстав и заглянув через плечо кучера, Касьянов неожиданно увидел, что лошади стали седыми от инея. На мгновение представилось ему, как медленно и неотвратимо и лошади, и кучер, и сам он в тулупе и с тросточкой превращаются в огромную, отливающую серебром, ледяную статую. Он снова схватился за саквояж, вытащил коньяк и хотел уже отхлебнуть, но, вспомнив, что говорил кучер, тихо чертыхнулся и положил бутылку обратно.

Лошади шли с трудом, рывками, но шли, и хотя продвижение вперед было весьма незначительно, это все же успокаивало Касьянова.

«Акман-токман... Какое странное слово! — подумал Касьянов. — Даже в самом звуке его есть что-то дикое, стихийное, тревожное, как барабанная дробь! Никогда в жизни не думал, что это так страшно...»

Он вспомнил, что кто-то еще в начале зимы, в Оренбурге, рассказывал ему о мартовском буране, вспомнил, что называли

ему и слово «акман-токман», но тогда он не придал ему ни малейшего значения, как не придал значения и совету компаньонов, которые убеждали его как можно быстрее покинуть Петроград, пока не увидел своими глазами того, что компаньоны, тщательно избегая слова «революция», называли волнениями, бунтом, чудовищным взрывом и катастрофой.

Цепи городских и жандармов на Литейному мосту, застрявшие в гуще народа пролетки и трамваи, молоденький солдат, усевшийся на бронзовых плечах статуи Александра III и оравший оттуда: «Братья! Долой царя! Долой войну! Хлеба и мира!», красные полотнища в черной толпе, выбитые стекла витрин, вытащенные на улицу ящики с оружием, быстро разобранные рабочими, град камней и снежков по окнам правительственных зданий, зарево пожаров над полицейскими участками, строчившие с чердаков пулеметы и груды, груды, груды тел убитых и раненых у Троицкого собора, вопли, стоны, крики и, наконец, песни, с которыми шли по городу простые люди, песни, от которых у Касьянова почему-то каждый раз бежали мурашки по спине, а в глазах, сколько он ни крепился, накалились слезы,— все это так подействовало на него, что первые два дня в поезде он чувствовал себя как пьяный или одурманенный наркотиками человек и только в Москве понял, какой опасности он подвергался. Вместе с тем его тянуло в эту опасность, какая-то неведомая сила властно звала его не прятаться, выйти на улицу и быть вместе с ними, может быть даже упасть на колени и просить прощения, или хотя бы спросить, что ему делать, у этих людей с решительными лицами, твердо знающих, куда и зачем они идут... И как ни старался Касьянов забыть, не думать о том, что происходит сейчас в Петрограде, мысли об этом догоняли его, он все больше запутывался и не мог прийти ни к какому ясному мнению.

«Пожалуй, все это чем-то напоминает акман-токман,— подумал он.— Так же величественно и непонятно, так же сметает и крушит все на своем пути... Что же будет, в самом деле? Полная анархия, как предсказывал генерал? Или мне не дано узнать и этого и акман-токман уже готовит мне гибель среди этих гор, как иная стихия положила предел государству Российскому?..»

Кошевка внезапно остановилась посреди поляны.

— Но-о! — щелкнув кнутом, истошно крикнул кучер.— А-а, чтоб вас!..

Он соскочил с кошевки, утопая в снегу, подошел к лошадям, ослабил у коренной чересседельник, снова взмахнул кнутом, но лошади, закусив удила и тревожно фыркая, беспокойно били передними копытами и упорно не хотели двигаться дальше.

— Что такое? — спросил Касьянов.

— С пути сбились,— мрачно ответил кучер.

— Ты ж говорил, что твои лошади всегда дорогу найдут, если их своим ходом пустить... — растерянно возразил Касьянов.

— Не вишь разве, что творится? — сердито перебил кучер. — Глаз открыть нельзя... В такую погоду не то что лошадь, а сам шайтан ихний заблудится!

Ветер с дикой силой выл и тряс верхушки деревьев, снег летел густой плотной массой, и головы лошадей впереди виднелись смутно, как в тумане.

Кучер вытащил из-под сиденья кремневое ружье и, подойдя поближе к Касьянову, прокричал ему в самое ухо:

— Я пойду дорогу поищу! Ты не засни тут, барин, слышь? В тулуп-то не очень кутайся!

— Постой, а ружье зачем? — схватил его за руку Касьянов.

— Не ровен час, волков встрену! Лошадь завсегда волка чует, может, оттого и стоят...

Еще с минуту видно было, как, проваливаясь в снег и поднимая ружье, кучер движется вперед сквозь снежную завесу. Касьянов остался один.

«Надо быть готовым ко всему, вдруг они выскочат прямо на меня!» — подумал он и, освободившись от тулупа, вынул из саквояжа наган, глотнул коньяку и сел, напряженно всматриваясь в серую мглу.

Где-то справа, совсем близко, послышались выстрелы. Тотчас две большие черные тени мелькнули перед его глазами.

Касьянов выпрыгнул из кошевки и два раза выстрелил в воздух. Ответом ему был вой пурги и скрип и гул деревьев. Он шагнул было туда, где, как ему казалось, находился кучер, но мысль о том, что он может заблудиться и не найти потом лошадей, остановила его. Он вернулся в кошевку и сел, накинув тулуп поверх пальто.

«Стрелять больше нельзя,— решил он.— Может быть, там целая стая...»

— Э-э-эй! — крикнул он.

Крик ушел в сторону и тут же заглох.

Кучера все не было. Пытаясь согреться, Касьянов стал тереть лицо руками, стучать черными пимами в дно кошевки и, убедившись, что это не помогает, надел тулуп в рукава, застегнулся, взял поводья и, привстав, резко ударил лошадей кнутом. Лошади рванулись, но тут же снова стали, и сдвинуть их с места не было уже совершенно никакой возможности.

«Это конец»,— подумал Касьянов. Внезапно вспомнились ему бревенчатые стены, зажженная лампадка, бледное лицо матери в черном платке и жаркий шепот ее, заглушавшийся раскатами грома: «Господи Иисусе Христе, матушка-заступни-

ца, пресвятая богородица, батюшка, святитель Христов Никола-угодник! Спаси и помилуй нас, грешных, от бед, от напастей, от напрасной горькой смерти...»

Он расстегнул воротник тулупа и с трудом вытащил за запястье маленький старинный образок в простой медной ризе — единственное, что осталось у него от матери.

— Господи, не губи меня! Я же не сделал ничего дурного! — крикнул Касьянов, всхлипывая и торопливо покрывая образок поцелуями.

Образок с темным ликом Спасителя был холоден и нем. Касьянов некоторое время глядел на него, потом засунул обратно под тулуп и с ужасом огляделся вокруг.

— Э-эй! По-мо-ги-те-е-е! — захлебываясь снегом и не слыша собственного голоса, заорал он. В ту же минуту ему стало легче, и мысль о смерти стала привычной обыденной мыслью, как если бы он думал о ней всегда.

«Идиот! — выругал он себя. — Что ты кричишь? Кому и когда дан был ответ, за что и почему он умирает именно сейчас, а не завтра или вчера? Какой коротенький отрезочек был мне отпущен... И зачем? На что уходило у меня время? Правда, я никому не сделал зла, но ведь и добра я тоже не сделал никому... Вот оно что! Я был бесполезен! Вот почему я умираю!...»

Глаза его слипались, руки и ноги окоченели так, что уже не чувствовали холода. Шум леса, бешеные порывы ветра, назойливый и неровный звон медных колокольчиков все отдалялись, отдалялись куда-то; он вдруг почувствовал, что становится легким, удивительно легким, таким легким, что ветер может сдуть его с кошевки, и, не в силах шевельнуться, медленно закрыл глаза...

Когда усталый кучер, еле передвигая ноги, добрал до кошевки, Касьянов спал. Лицо его было строгим и белым, бородака заиндевела.

Кучер схватил его за воротник тулупа, затормошил, потом нагнулся, обеими руками сгреб снег у кошевки и стал растирать ему лицо. Касьянов только мычал и стонал в ответ.

— Барин, барин, слыш? Вставай, говорю! Замерзнешь! — не переставая трясти его, повторял испуганный кучер.

Видя, что это не действует, он снял с Касьянова пимы, растер снегом его ступни, снова вздернул пимы и, приподняв барина за воротник тулупа, поставил его на ноги. Касьянов шатался и бормотал что-то неразборчивое.

— Двигайся! А ну, живо! — сердито приказывал кучер, вертя его во все стороны. — Бегом! Быстро! — И, схватив его под руку, сам побежал с ним вокруг кошевки.

Наконец Касьянов открыл глаза и сразу же застучал зубами от холода.

— Так,— сказал кучер.— Теперь посиди, глотни спиртного-то, чай осталось еще?

Касьянов мотнул головой, непослушными руками открыл саквояж и, чуть не выронив бутылку, сделал несколько глотков. Кучер тем временем выпряг лошадей и пропал с ними в мутной темени. Не успел Касьянов удивиться его новому исчезновению, как он появился снова.

— Слезай теперь! — потребовал он.

— Зачем?

— Стог нашел, надо кошевку туда укатить,— улыбнулся кучер.

— Что под сеном умереть, что в санях — какая разница? — безнадежно махнул рукой снова начинавший мерзнуть Касьянов.

— По-твоему, барин, может, и нет, а по-нашему, по-мужицки, есть! Бывает, что и воробей на кошку чирикает,— ино горько проглотишь, да сладко выплюнешь!

Касьянов нехотя поднялся с кошевки. Кучер связал оглобли вместе, запрягся в них, обернувшись к Касьянову, крикнул: «Толкай!» — и потянул. Однако провалившиеся в снег полозья стояли крепко, будто смерзли в лед. Кучер бросил оглобли, утоптал снег перед санями и снова потянул. Кошевка подалась. «Толка-ай!» — еще раз крикнул кучер. Касьянов, наступая на полы тулупа, прилачился к задней стенке плечом и всей тяжестью навалился на нее. Кошевка поползла чуть быстрее, черные пимы Касьянова скоро были полны снега, он задыхался, чувствуя в то же время, как ему становится все теплее и страх уходит куда-то, уступая место твердой решимости бороться за жизнь, не сдаваться.

— Уф! Согрелся! — довольно сказал он, когда сани уже были оттащены к стогу, стоявшему на краю поляны.

— Еще бы! Работа, как баня, парит, а кто в лапоть звонит да черных кобелей добела перебивает, тому и в бане холодно!

Касьянов улыбнулся и покачал головой.

Кучер опрокинул кошевку к подветренной стороне стога, подгрел к ней сено, заделал края мокрыми слежавшимися кусками, навалил сверху жерди и обернулся:

— Прошу к нашему шалашу! Ну, барин, мотри, живы будем — с тебя не красненькая, а синенькая причитается!

— Живы будем — я и сотенной не пожалею! — горячо ответил Касьянов.

Кучер накрыл лошадей рогожей.

— А костер не разложим? — спросил Касьянов.

— При таком ветре и думать нечего! Да это не страшно. До рассвета как-нибудь вытерпим, спать по очереди будем.

Только крепко нельзя, иначе на сонный базар отправимся!

— А завтра что?

— Чего ж загадывать, когда черт помрет, если он еще и не хворал? Голова-то нам на что дана? Придумаем что ни то!

Касьянов совсем уже было залез в шалаш, но снова высулся.

— А волки не могут назад вернуться?— с тревогой спросил он.

— Какие там волки! — засмеялся кучер. — Два лося у стога пригрелись, выстрелил я, а они, бедные, и ноги наутек...

Касьянов лег на сено и, едва приклонил голову, тут же провалился в сон. Кучер уселся рядом с ним. Лошади с хрустом жевали сено.

«Ну, кажись, все в порядке, — подумал кучер. — Теперь только не заснуть бы... А барин-то не черствый... Молодой еще, не вошел, видать, во вкус. Поматереет — не лучше других станет! Хоть, может, и зря я так, на сусле пива не угадаешь... Ох, Катька, поди, все глаза выплачет, ежели что!..»

Он представил себе заплаканное лицо жены, которая почему-то так просила его не ехать в этот раз, что он даже заколебался.

«А ведь чуяла, что в беду попаду, — покачал он головой. — Бабий нюх что собачий, как взвоят, добра не жди...»

Руки и ноги его ныли от усталости. Он прикрыл глаза, прислонился к плечу Касьянова и замер без движения.

XI

С тех пор, как на прииск пришла телеграмма от Касьянова, прошло уже около трех недель, а о хозяине не было ни слуху ни духу. Бесплезно прождав его дней семь в Кэжэне, Накышев запросил Оренбург, затем Верхнеуральск, не получив ответа, он вернулся на прииск и наконец, теряясь в догадках и предположениях, отправил на поиски Зинатуллу. Он наказал ему не возвращаться без хозяина или хотя бы без точных сведений о том, что с ним случилось.

В ожидании этих вестей он почти не выходил из конторы, перестал пить и с утра пребывал в скверном настроении — ругал штейгера, главного инженера, подряд штрафовал десятников и кричал на всех, кто попадался под руку. Больше всего его бесила необходимость оставаться трезвым, так как хозяин мог появиться с минуты на минуту.

Мрачный, бледный, в плотно сидящей на голове тюбетейке, он то разбирал бумаги в сейфе, то вдруг резко вставал и

пачинал метаться по комнате, снова садился и отрешенно барабанил пальцами по столу, не зная, чем занять себя.

Сознание его исподволь точила одна въедливая мыслишка, он старался отогнать ее, но она снова исподтишка подбиралась к нему, и тогда кровь начинала стучать в виски тугими молоточками.

«Не может быть,— тут же отвечал он сам себе,— этого просто не может быть!» И опять принимался рыться в бумагах, в сотый раз рассматривал злополучную телеграмму, вызывал к себе десятников, кричал, но мысль не исчезала, а только затаивалась, казалось, ожидая лишь удобный для нападения момент.

Зинатулла приехал неожиданно. Накышев не слышал, как отворились ворота во двор, как проскрипели по снегу полозья, и когда высокая, худая, немного нескладная фигура конюха вслед за робким стуком в дверь возникла на пороге, управляющий вздрогнул, словно увидел не живого человека, а призрак, и на мгновение прикрыл глаза.

— Ассалам агалейкум! ¹ — поздоровался Зинатулла.

— Ты один? — с дрожью в голосе спросил Накышев.

Конюх кивнул и продолжал:

— Большой привет вам от Тарзимана-бая, письмо привез от вашей жены, все здоровы. Давлетхан спрашивал, когда приедете...

— И это все, что ты привез?! — холодея от бешенства, заорал Накышев. — Что я тебя, за приветами посылаю? Где Касьянов?

— Я спрашивал, искал... — Зинатулла растерянно развел руками.

— Да говори скорее, дурак! Где он?

— Из Верхнеуральска выехал прямо перед бураном, а больше никто ничего не знает. Лошади домой, в Оренбург, вернулись...

— Какие лошади?

— Ну, того кучера, что хозяина вез. Баба его плачет, говорит — сам на свою голову поехал, дети плачут...

— Так. А в повозке ничего не было?

— Да они без саней вернулись, распряженные...

— Так, так, значит, так. — Накышев потер подбородок, изо всех сил стараясь не задохнуться от захлестнувшей душу радостной догадки. — Ай-хай, какая беда! Жаль этого русского, хороший был человек, настоящий джигит! Но, видно, так аллах ему судил, хоть и молодой... — Накышев встал из-за стола, подошел к конюху и приветливо похлопал его по плечу. — Молодец, Зинат! Вот что, позови-ка мне срочно Хажигалиева.

¹ Приветствие.

А потом иди на все четыре стороны, три дня полного отдыха тебе даю — что хошь, то и делай!

— Хорошо, сейчас,— быстро ответил конюх и выскользнул за дверь.

«Ну что ж, самое время узнать, что у этого подонка на уме,— думал Накышев. — Да и случай подходящий, чтобы его на место поставить! Больно высоко нос задрал!»

Он заглянул в сейф, вытащил из папки исписанный донизу лист, просмотрел его, с довольным видом положил на место, запер дверцу и, подойдя к окну, увидел пересекавшего площадь Нигматулла. Тот шел быстро, и по походке его можно было заметить, что он слегка пьян.

«Тем лучше»,— подумал Накышев и, сев в кресло, раскрыл перед собой одну из папок.

Нигматулла вошел без стука.

— Садись,— кивнул ему управляющий,— я сейчас.

Он перевернул несколько листов, внимательно вглядываясь и подправляя что-то, потом захлопнул папку и отложил ее в сторону. Нигматулла смотрел ему в лицо внимательно, словно пытаясь угадать каждое новое движение управляющего.

— Что-нибудь стряслось? — спросил он, едва Накышев поднял голову.

— Хочу с тобой посоветоваться. — Управляющий раздвинул в улыбке бледные губы.

— А-а... — облегченно вздохнул Нигматулла. — А я уж думал... Прямо напугал меня наш Зинат: «Иди, говорит, срочно», — даже доест не дал, прямо из трактира вытащил...

— Ладно, потом дожует! Сейчас надо мозгами пораскинуть, что и как... — Накышев напустил на лицо серьезность. — Дело у меня одно горит, вот я и хочу попросить тебя кое о чем...

— Помочь можно, вот только смогу ли я? Если деньгами, так сейчас самому нужны. Но под небольшой процент могу и одолжить.

— Да что ты мне все про деньги! Тут дело другого рода. Помощь мне от тебя нужна маленькая, пустяковая...

— Ну, Гарей Шайбекович, кому же мне еще плечо подставлять, как не вам? Только скажите, что нужно, а цену можно и потом назначить. Сами знаете, я торговаться не люблю...

— Вот и хорошо, что ты настоящий друг. Постой-ка, я только дверь запру. — Накышев вынул из кармана связку ключей.

— Зачем это? — обеспокоился Нигматулла.

— А чтоб не мешали! Разговор у нас, я думаю, будет долгий, а тут начнут еще все эти олухи с докладами ломиться, от них и так с утра до вечера отбою нет,— продолжал управляющий, вылезая из кресла и направляясь к двери. — Потычутся-потычутся и перестанут!..

Он два раза повернул ключ в замке, как бы машинально сунул его в карман и, крихтя, уселся рядом с Нигматуллой.

— Вот, значит, какое дело, дружок. Вроде и секретное, а вроде бы и нет... Смотри с какой стороны к нему подойти. В общем-то не дело даже, а беда моя. Да и не беда даже, а скорее несколько неприятный оборот... По простоте моей все это вышло или по глупости, и сам в толк не возьму...

— Что это вы, Гарей Шайбекович, вокруг да около ходите? — настороженно усмехнулся десятник. — Я человек простой, давайте и вы со мной по-простому, нужно что — так говорите прямо, я то я, пожалуй, и не соображу, о чем речь!

— Прямо так прямо, — согласился Накышев. — Договорились мы, видишь ли, с Касьяновым... Продал он мне прииск!

— Продал? — Глаза десятника округлились и потемнели. — Вам?

— Ну, конечно, мне, кому ж еще!

— Телеграмма, что ли, пришла?

— Да нет, еще в тот раз, когда приезжал.

— Ничего не понимаю, хоть убейте, — помотал головой Нигматулла. — Вы же вроде и двух слов друг другу сказать не успели?

— Ай-хэй, какой ты недоверчивый! — хлопнул рукой по колену Накышев. — А спать я его в приезжей комнате укладывал, забыл? Тогда и сговорились, пока ты тут носом клевал.

— Ну, так и что теперь?

— Да мучаюсь вот, — Накышев потер ладонью лоб, — понять не могу, то ли я на этом деле выиграл, то ли проиграл...

— Дорого запросил, что ли? Может напополам купить, или хоть треть моя будет, неужто вместе не наскребем? Не хватит моих — у Хажисултана займу...

— Не тараторь ты, дослушай сначала, — досадливо поморщился Накышев. — Отдал я ему уже все сполна, мой прииск, весь мой, понятно? Все мои сбережения наличными прямо так из рук в руки передал, ни гроша теперь за душой нету. Тут другая совсем задача, почище долгов будет... Расписку я у него не взял, вот что. Да и опять не в этом дело. Можно было бы и без расписки обойтись, если б я, дурак, догадался эти деньги при свидетелях ему передать. А чтоб это дело узаконить и прииск на мое имя перевести, три свидетеля нужно, понимаешь? Или расписку. Двух свидетелей я уже нашел, мне бы теперь еще одного — и дело в шляпе! Вот об этом и хочу тебя попросить, дружок. Нужна твоя подпись...

— Где?

— Ну, на той бумаге, где сказано, что ты видел, как я ему деньги передал. — Накышев поднял голову и внимательно посмотрел на десятника. — Вот такое простое дело. Может, и не стоило так долго о нем говорить? Я знаю, ты ко мне относишь-

ся хорошо, в просьбе не откажешь, а насчет цены — так я и сам торговаться не люблю, за мной не пропадет! И комар, как говорят, лошадь свалит, если волк пособит, а я твоей помощи не забуду.

— Теперь понятно. — Десятник помрачнел. — Решили, значит, Гарей Шайбекович, без меня обойтись? Воля ваша, своей не навяжешь. Только вот как помочь вам — не знаю. Меня ж при том разговоре не было? Не было. А что вы хозяину деньги давали, я и вовсе не видал!

— Не видал! Эка важность! Да тебя и не спросит никто, видал ты или не видал. Подпиши, и дело с концом! — рассмеялся управляющий.

— Как же я подпишу, что видал, если не видал? Нет, Гарей Шайбекович, здесь дело подсудное, зачем же мне ни за что ни про что в него лезть?

— Брось ты! — Добродушно улыбаясь, Накышев похлопал его по плечу. — Что ты, как девица, ломаешься? Мы с тобой друг друга, слава аллаху, не первый день знаем. Называй цену и ставь подпись.

— Да на что она вам сдалась, эта бумага? Вы ж сами говорили, что Касьянов телеграмму прислал, вот-вот придет. Человек он вроде честный. Зачем же вам свидетели? Если вы ему деньги давали, я думаю, он от этого не откажется?

— Вот и я так думал, потому и расписки не взял...

— Неужели отказался? — удивился Нигматулла.

— Да нет, у него и в мыслях не было... Эх, если б он мог здесь оказаться, разве я сейчас так перед тобой унижался бы? — Накышев тяжело вздохнул и отвел глаза в сторону. — Нет его, нет! Понимаешь? По дороге к нам умер, вот какая беда получилась.

— У-умер?! — подскочил десятник. — Как умер? От чего?

— В акман-токман попал, бедняга, замерз. И он, и кучер — оба как сосульки. Да ты сядь, не волнуйся. — Накышев удрученно посмотрел на десятника и покачал головой. — Все пропало, понимаешь? И сам погиб, и под меня беду подвел...

— Что-то не верится, Гарей Шайбекович, — все еще продолжая стоять, возразил Нигматулла. — С тех пор, как акман-токман был, уже, считай, недели две прошло. Да и не может быть, чтобы он в такую непогоду выехал. Что он, враг самому себе? Ох, Гарей Шайбекович, обманываете вы меня... — Думаете, я про Сабитова не помню? Помню, все помню! Вы-то всегда из воды сухим выйдете, а меня, простака, за решетку! Но я не Сабитов, не на того напали! Как хотите, а бумаги вашей я не подпишу. Мне своя жизнь пока дорога, чтоб в такой капкан лезть!

— Ну и дурак! — спокойно сказал Накышев. — Не веришь? Вот посмотри на телеграммы, убедись! Два запроса послал, а ответы — пустые хлопоты.

Он выдвинул один из ящиков стола, швырнул на колени десятнику две телеграммы и снова опустился в кресло, внимательно наблюдая, как тот читает, медленно шевеля губами.

— Вон оно что-о! — наконец проговорил Нигматулла. — Стой, дай подумать. Так. Все ясно! — Он притушил сигарку о ножку стула, оскалился и захохотал. — Это ты... ты его убил! А денег он от тебя не получил ни копейки! Ну и мудрец ты! Не ожидал, клянусь аллахом, не ожидал! Ловко ты квашню замешал, вот только испечь хлеб трудно будет!

— Выпей воды, — все с тем же спокойствием посоветовал Накышев. — Ты что, свихнулся? Чего ты орешь, как баба! Какой тебе от этого толк?

— Ты, ты убил! — захлебываясь нервическим смехом и тыча пальцем прямо в грудь Накышеву, выкрикивал Нигматулла. Желтые длинные его зубы вылезли из-под губы, и все лицо казалось какой-то оскаленной неживой маской.

— Ну, пораскинь своим убогим умом, — устало сказал Накышев, — был ли хоть день, чтоб ты меня не видел? Даже если б я и хотел, когда я, по-твоему, мог это сделать?

— Ты?! Да ты зайца убить боишься, непонятно, зачем на охоту едешь! Разве я говорю, что ты его сам убил? Да на тебе тогда сейчас не то что лица не было, а штаны бы к задку от страха присохли! Ловкач, ничего не скажешь! Только не думай, что ты всех ловчее! Убил Касьянова, а теперь хочешь прииск к рукам прибрать? А это видел? — Нигматулла, продолжая скалиться, но уже не смеясь, белый как полотно подошел к Накышеву и, сложив кукиш, протянул его прямо к лицу управляющего. — Подохну, а такого не будет! Не отвалится тебе этот кусок! Моя это земля, слышишь? Или напополам, или сделаю так, что на всей земле тебе места не будет, чтоб было где на ней хоть одну ногу поставить!

— Такого бы кипятку да в мой котел, — не шевельнувшись, бесстрастно сказал Накышев, словно не замечая глумливого жеста десятника. — Зря, видно, тебя сегодня из трактира вытащили... Да пойми ты, осел, уж если б я решил его укокошить, то первым делом за тобой бы послал! Ты же сам предлагал свои услуги!

Нигматулла опустился на стул, желтые глаза его растерянно забегали по стенам.

— Кто ж его тогда тюкнул? — недоверчиво пробормотал он.

— Откуда я знаю! — угрюмо отозвался Накышев. — Михаил, говорят, его терпеть не мог. Может, он?

— Говорят? Кто же это говорит? — не отрывая глаз от невозмутимого лица управляющего, фыркнул Нигматулла.

— Да все говорят, весь прииск; — глядя в окно, равнодушно ответил Накышев. — Ничего, комиссия разберется, найдет, кто виноват.

— Не ври! — не помня себя от ярости, вскинулся Нигматулла. — Ты его убил, ты! Некому, кроме тебя, и незачем! Думаешь, я не знаю, что ты уже месяцев пять золото в сейфе держишь и не отправляешь? Все ждал, пока от Касьянова избавишься, потому и не отправлял, а теперь хочешь акман-токманом следы замести!

— Ну, хватит шутки шутить! — Накышев стукнул по столу кулаком. — По какому праву ты, червяк, так со мной говоришь? Сам же предлагал мне осенью от него избавиться, но разве я тогда с тобой согласился? Или, может, это как раз твоих рук дело, оттого и бесишься теперь, что петля по тебе плачет?

— Нет, дудки, на этом меня не поймаете! Шутил тогда, испытать тебя хотел, вот и все, — голос десятника охрип от волнения. — Ты меня не собьешь, все про тебя знаю!

— И что же ты такого знаешь? — деланно рассмеялся управляющий.

— Не беспокойся, все знаю и всем теперь расскажу...

— Что ж ты раньше молчал, коли знал? У тебя что, улики против меня есть? Или, может, свидетели?

— Мне свидетели не нужны, я сам себе свидетель, — насунился десятник.

— Молод ты еще, зелен! Черного от белого днем отличить не можешь. И поучиться у старших не хочешь, хвост задираешь — все я да я! А кто ты есть? Да никто, десятник, пятое колесо в телеге. Завтра свистну, и духу твоего тут не будет! В наше время будь ты сто тысяч раз прав, а без свидетелей правота твоя никому не нужна!

Управляющий медленно встал, задвинул шторы на темнеющих окнах и зажег низко висящую над столом лампу с зеленым абажуром. В комнате стало светло и уютно.

Десятник потер кулаком красные веки.

— Ладно, Гарей Шайбекович, я пошел. Отоспаться надо, завтра поговорим...

Он подошел к двери и дернул за ручку. Дверь не поддавалась. Нигматулла обернулся.

— Подожди, дружок, потерпи немного, — ласково сказал Накышев. — Я тебя сюда не в гости позвал, не чай распивать, а за делом. Вот решим, как нам быть, тогда и спать пойдешь. Всему свое время.

— Считаю, что решили, — усмехнулся десятник. — Я от своих слов не откажусь: или пополам, или ни мне, ни тебе!

— Все сказал? Не передумаешь?

— Нет.

— Ну, тогда пеняй на себя, друг ситный. Думаешь, мне трудно третьего свидетеля найти? Это я не себе, а тебе хотел удружить! Прииск узаконить — дело плевое, уж будь уверен, желаешь ты того или не желаешь, а я его получу. Вот он где у меня! — Накышев похлопал ладонью по толстой дверце сейфа. — Только на меня потом не обижайся.

— Ха, ничего у тебя без меня не выйдет. — Верхняя губа десятника насмешливо вздернулась. — А если б вышло, не уламывал бы ты меня сейчас, как молодуху в кустах. Уж я твои повадки знаю! Мы с тобой не одной веревочкой связаны... Думаешь, так просто — взял и разорвал? И сейчас ты никого так не боишься, как меня... Вот и поделись со мной своим страхом, половина — тебе, половина — мне, чего уж скупиться? Про сейф только не забудь, тоже поровну. Иначе хоть разорвись на месте, не будет тебе моей подписи!

— Ну и пусть не будет, хрен с тобой, иди домой и спи, — вдруг сказал Накышев.

— Не понимаю, чего ты ерепенишься? — наслаждаясь своей властью, продолжал настаивать десятник. — Такое простое дело. Уже давно бы по рукам ударили! Вроде и человек ты умный, должен понимать, что у меня тоже характер есть. Ну, кто, кто к тебе в свидетели пойдет, если не я? Сам же говоришь, что сейчас свидетель — это все. Чего ж мы впустую языками работаем, старую жвачку пережевываем?

— Да в том-то и штука, что хватает мне свидетелей, хоть отбавляй! — Накышев повернулся, открыл сейф, вынул из черной кожаной папки пачку бумаг, потряс ими и хлопнул об стол. — Вот они! Главный инженер, штейгер, десятники — двадцать человек, как один, и все подтверждают! Один ты, пентюх, в затылке чешешь!..

Скуластое лицо Нигматуллы покрылось красными пятнами, насмешливая улыбка сбежала с губ. С минуту он, казалось, не мог найти ни слова в ответ, только глаза его сжались в узкие щелчки и стали еще больше похожи на рысьи.

— А компаньоны? — наконец, с трудом проговорил он. — Вот о ком ты забыл! Без компаньонов такие вещи не решаются, а они — навряд ли глупее тебя будут!

— Фу ты, шайтан! — Накышев досадливо сморщил толстый, приплюснутый, как у зайца, нос. — И за что меня аллах такими тупоголовыми, как ты, наказывает? Говорят тебе, не беспокойся, все в порядке, все документы здесь! — Накышев постучал по черной папке согнутым пальцем. — Мертвые и те тебя умнее. Молчат.

— Врешь! Не можешь ты прииск узаконить! Кто тебе его сейчас узаконит, если царя нет? — в бешенстве крикнул Нигматулла, чувствуя, что пол плывет и качается у него под ногами.

— А Временное правительство? А члены думы? Таких людей, что любят деньги и золото, везде много. Ну что на меня паялишься? Все готово, колеса смазаны, будь уверен — ни одно не скрипнет. Теперь я — хозяин золота!

Внутри у Нигматуллы словно что-то оборвалось. Воротник казакина сдвинул горло, кровь резкими, порывистыми толчками билась в виски, отдаваясь по всему телу глухим, отрешенным гулом. Широкая фигура управляющего, который, уложив бумаги обратно в папку и аккуратно завязав тесемки, укладывал ее обратно в сейф, вдруг словно выступила из тумана, стала невероятно резкой, до боли отчетливой и в то же время какой-то плоской, пустой, почти неживой; с той же резкостью и отчетливостью заново увидел он на мгновение всю комнату до мельчайших деталей, вплоть до трещины на стене — и стулья, и сукно на столе, и низко висящую над ним лампу.

Управляющий ленивыми, замедленными движениями уложил папку в сейф и, повернувшись спиной, так же медленно стал закрывать дверцу.

Одним прыжком Нигматулла оказался возле стола.

— Мое! Не отдам! Нет!.. — закричал он и, не узнав в этом крике своего голоса, со страшной силой выбросил вперед стиснутый в камень кулак.

Но управляющий, словно ожидая этого, невероятно ловко увернулся, и тотчас литая массивная чернильница ударила десятника в плечо.

Нигматулла отлетел назад, затылком в стену, и, не почувствовав ни злости, ни боли, снова бросился вперед.

Накышев, державший в одной руке мраморное пресс-папье, тщетно пытался повернуть ключ в замке. На лбу его жирно блестели капельки пота, шея побагровела. Увидев черные, с остановившимися зрачками глаза десятника, он метнул пресс-папье и попал прямо в живот. В ту же минуту ключ в замке повернулся, и, глядя на скорчившегося десятника, Накышев осторожно стал отступать, выдвигая впереди себя кресло.

Внезапно Нигматулла выпрямился и, крикнув что-то уже совсем невнятное, схватил стул и швырнул его в управляющего. Стул, ударившись об угол сейфа, разлетелся на части. Вылетевшее сиденье сбило тюбетейку с головы Накышева.

Десятник снова согнулся, вытащил из-за голенища охотничий нож и, шумно дыша, пошел на управляющего.

— Брось! Не дури!.. — хрипло сказал Накышев.

Нигматулла словно не слышал его. Бледный, с остановившимися зрачками, с длинным, желто блестящим в правой руке ножом, он шел вперед слепо, как зверь на запах свежей крови. Никогда еще не видел он перед собой с такой ясностью ненавистное ему круглое лицо управляющего, жирные складки на

шее, застывшие мешки век, упруго дергающийся кадык на шее.

— Ключ,—сквозь стиснутые губы выжал Нигматулла, упершись в край стола, на противоположном конце которого, закрывшись наполовину креслом, стоял Накышев с серым лицом и плотно сжатыми меловыми губами.

Связка ключей, чуть не задев десятника по лицу, упала на зеленое сукно. Нигматулла, переложив нож в левую руку, торопливо отыскал в связке нужный ему ключ, открыл сейф и вынул черную папку.

Резко щелкнул взведенный курок.

— Стой! Не оборачивайся, собака! Бросай нож! Ну?!

Нигматулла скосил глаза. Управляющий, присев на корточки, закрылся креслом. Черное дуло маленького револьвера целилось прямо в голову десятника.

«Не достану»,— решил Нигматулла и разжал пальцы.

— Отшвырни нож ногой! Так. Теперь развяжи тесемки.

— Что? — сдавленно пробормотал десятник.

— Тесемки, олух! Папку открой! Ручка от тебя слева, на столе, можешь повернуться... Ставь тамгу¹.

— Где?

— На верхней бумаге, в самом низу.

Нигматулла с трудом вывел начальную букву своей фамилии, приставил к ней хвостик и, выпрямившись, посмотрел на Накышева:

— А теперь что?

— Теперь положи бумагу обратно в папку, закрой сейф и кинь ключи хозяину, вошь! Отойди от стола. Дальше, дальше, к самой двери!

Накышев, держа десятника на прицеле и не спуская с него глаз, осторожно нагнулся, боком поднял с пола ключи и нож, подвинул на место кресло и сел.

Нигматулла потерянно стоял у двери.

— Что молчишь, воды в рот набрал? — управляющий спрятал нож в стол и разгладил редкую бородку.

— А чего говорить-то? Твоя взяла,— буркнул Нигматулла.

— Ага. А ты думал, что один такой о двух головах ходишь? — усмехнулся Накышев, отирая платком лицо и шею. — Ну как, на пользу урок? Доволен?

— На пользу,— низко опустил голову десятник. — Извините, Гарей Шайбекович, шайтан попутал...

— Вот с этого конца тебе бы сразу начать, так теперь и навозную жижу хлебать не пришлось бы! Ну, да ничего, бывает... Запомни только, что хозяин — я, крепко запомни! А нѐ

¹ Тамга — знак, который ставят вместо подписи неграмотные.

запомнишь, я тебя в таком дерьме вываляю, что родной отец не узнает!

— Хорошо, Гарей Шайбекович,— униженно кивнул десятник.— Спасибо вам за науку, в следующий раз не будет такого, обещаю вам.

Лицо его снова стало беспокойно-подобострастным, в голосе появились просительные интонации.

— Следующего раза не будет,— мрачно заметил управляющий.— А коли наука впрок, слава аллаху. Завтра полторы тысячи мне принесешь. Надо начальство подмазать, а то, говорят, сухая ложка рот дерет...

— Что вы, Гарей Шайбекович! Да у меня в жизни таких денег не было! Еще рублей пятьсот мог бы вам в долг наскрести, и то с натяжкой...

— Не в долг, болван! Про шахту у Гнилого озера забыл?

— Сами знаете, все вместе с лавкой сгорело! Ну, где я столько наберу?

— Что ж ты мне тогда голову зря морочил? — нахмурился Накышев.— Сказал бы сразу, я бы эту шахту уже раз двадцать продал бы...

— Без ножа ты меня режешь...— Голос десятника задрожал.

— А ты думал, я тебе ее за красивые глаза подарю? — возмущенно подался вперед Накышев.

— А подпись моя?

— Да ты мне одних нервов рублей на двести тут со своей подписью намотал, скажи спасибо, что за это не требую!

— Семьсот как-нибудь наберу, а больше не получится...— десятник уныло повесил голову.

— Эка загнул, семьсот! Да она у тебя в полгода окупится, зачем тогда мне ее продавать-то? Нет, полторы — и ни копейки меньше!

— Тысячу! Больше вправду не могу, хоть повесьте! — с отчаянием махнул рукой десятник.

Накышев задумался.

— Хорошо, пусть пока будет тысяча,— наконец с недовольным видом согласился он.— Аллах видит, только от доброты своей так с тобой поступаю, другой на моем месте и говорить об уступках не стал бы... Так, это решили. Теперь вот что — учти, про Касьянова пока никто на приiske знать не должен, нам еще нужно его именем кое-какие дела проверить.

— Само собой, Гарей Шайбекович,— молчок. Боюсь только, что тут из другого места болтливый язык протянется...

— Откуда?

— От Михаила. Он ведь и в Кэжэне часто бывает, и в Оренбург иногда ездит, везде у него глаза и уши поставлены. А люди теперь баламутные, чуть что — кидаются, будто

их осы кусают! На днях вроде опять хотят к вам в контору пасчет зарплаты идти.

— Знаю. Вот на этом мы его, голубчика, и сцапаем! — сжал кулаки Накышев. — Куда ж они пойдут без своего главаря? Он ведь у них всегда сам первый на рожон прет!

— Не получится, Гарей Шайбекович, — покачал головой десятник. — Большой шум может выйти.

— Ну об этом нам беспокоиться нечего. Пусть пошумят, заодно всю мошкарку выловим. Я уже договорился с начальником в Кэжэне, не сегодня-завтра он сюда пришлет отряд. Закон всегда на нашей стороне. А о том, что Михаил нового хозяина ненавидит, весь прииск жужжит, так что и платить, я думаю, свидетелям не придется.

— А он что, на самом деле замерз?

— Даже труп не нашли, под снегом где-то лежит...

— А вдруг отыщется? — вскинул глаза десятник.

— Да ведь больше двух недель прошло, как выехал! Был бы жив, давно бы уже дал о себе знать.

— Ну и голова у вас, Гарей Шайбекович! Не голова, а сейф, и главное — каждая вещь на своем месте лежит! — не без зависти отозвался десятник. — И всегда у вас все продумано, каждая нитка с ниткой вяжется... Одна только ниточка выпала.

— Какая еще ниточка?

— Да ведь компаньоны у вас то золото, что у кассира, отберут! Не жалко упускать?

— Ошибаешься, у меня и с этой ниточкой все в порядке, — усмехнулся Накышев. — Только это золото у меня на втором плане стоит, сначала надо прииск узаконить. Учти — там и твоя доля имеется, четвертая часть! Надо это обмозговать хорошенько, поговорим еще, время терпит.

Он отцепил от связки один из ключей и кинул его Нигматулле.

— Можешь идти. Ключ оставишь в замке.

— Зря вы так, Гарей Шайбекович, — подняв ключ, улыбнулся десятник. — Не надо бояться... Я уже протрезвел.

— Иди, иди! Никто тебя не боится...

Едва десятник вышел и в коридоре хлопнула входная дверь, Накышев подошел к двери, запер ее и торопливо зарядил пустую обойму револьвера. После этого он обессиленно рухнул в кресло.

XII

Давно уже пробушевал над Юргашты акман-токман, а зима все не уходила. В редкие дни ненадолго выглядывало из серой хмури неба по-зимнему холодное солнце, но ветер снова соби-

рал над прииском мутные, непроницаемые облака, и, едва появившись, солнце тонуло в грязной наволочи облаков. К ночи начинало подмораживать, опять сыпал снег, закованная в лед река, казалось, промерзшая до самого дна, пряталась в белых глыбах сугробов, хоронилась так глубоко, что и не верилось, что она есть и где-то подо льдом течет невидимая вода.

Дни тянулись медленно, снег на отвалах все не таял, и не было никакой возможности подработать где-то на стороне. Отчаявшиеся люди то и дело приходили в контору, но управляющий только пожимал плечами: ну как можно решать что-то без хозяина?

Все это время Нигматулла как ошпаренный носился по прииску, убеждая людей не торопиться и подождать приезда Касьянова.

— Я знаю,— говорил он,— хозяин согласится повысить плату, вот увидите! А главное—чтоб все тихо было, без шума. Ну зачем лишний раз вызывать недовольство? И к ослу и то нужно приходиться с добром, а то лягаться начнет! Сам, своими глазами, телеграмму видел! Уже выехал Касьянов, вот-вот придет. Так уж лучше набраться терпения и подождать, чем потом себе локти грызть!

Однако измученные, наголодавшиеся люди не могли больше ждать. По предложению Михаила стачечный комитет прииска принял решение выдвинуть во вторник все свои требования и в случае отказа начать забастовку.

В ночь с субботы на воскресенье на прииск прибыл отряд, вызванный Накышевым из Кэжэна. Управляющий разместил людей в конторе, строго-настрого запретив конюху рассказывать кому-либо об этом. Сам он тоже ночевал в конторе,— просто дремал в кресле, закрывшись на замок, просыпаясь от каждого, самого незначительного, шороха. Лицо его похудело, под глазами легли резкие коричневатые тени, веки опухли и покраснели, в сердце то и дело рождалась глухая, ноющая боль. Просыпаясь, он машинально хватался за револьвер, который теперь всегда заряженный лежал на столе.

Наконец наступил понедельник.

Как ни странно, именно в это утро, которого Накышев так ждал и боялся, он заснул так крепко, что Нигматулле пришлось стучаться минут пять.

Сонный, с тяжелой головой, Накышев сунул револьвер в карман камзола и пошел открывать.

— Десять часов, Гарей Шайбекович! — весело доложил Нигматулла, входя в контору.

Следом за ним вошел парнишка лет пятнадцати с нагловатым румяным лицом. Он с любопытством огляделся по сторонам, скользнул взглядом по Накышеву и равнодушно установился в окно. Челюсти его продолжали быстро и ритмично

двигаться, издавая громкие звуки, напоминающие чавканье, с которым голодная собака принимается за еду.

— Кого это ты привел? — протирая глаза, недовольно спросил Накышев.

— Это Султангали. Помните, я вам как-то о нем говорил? Помощник мой. Хороший помощник, настоящий джигит, бойкий, смекалистый, для любого дела годится.

— Кто твой отец? — внимательно разглядывая мальчика, поинтересовался управляющий.

— А зачем? — не переставая чавкать жвачкой, ответил парнишка. — Отец мой дурак и нюня, я родни не признаю. На кой они мне, если у них в голове солома, а в кармане глина? Только и знают, что попрошайничают...

— Ага, понятно, кто ты такой! — весело рассмеялся управляющий. — Что ж, помощник ты, надо думать, неплохой. Может, и мне поможешь?

— Помочь можно, а сколько дадите? — Султангали вынул руки из карманов тулупа и щелкнул пальцами в воздухе.

— Деловой джигит! — Управляющий покачал головой. — Далеко пойдет! Ну, а сколько ж ты сам берешь?

— Смотря за что, — дерзко глядя в глаза управляющему, вскинул голову парнишка. — По коню и корм, а дохлую кобылу и за копейку покупать не стоит!

— Выучил на свою голову, — засмеялся Нигматулла и хлопал Султангали по спине. — Уговор забыл? Что у нас сначала — дело или карман? Так и здесь будет.

— Дело делом, а прежде, чем покупать, о цене договариваются, — не смутился Султангали.

— На, возьми для начала гривенник! Думаю, цена подходящая, — усмехнулся Накышев.

Парнишка ловко поймал монетку в воздухе и тотчас сунул ее за щеку.

— Что делать?

— Знаешь такого Михаила? С трубкой ходит?

— Этот самый?

— Что значит «самый»? — не понял управляющий.

— Я про того, который с Хисматуллой возился, задаром его читать учил! Во дурень! Я б с него за ученье все жилы вытянул!

— Выходит, знаешь? — переспросил Накышев.

— Я всех знаю, — с довольным видом выпятил грудь парнишка. — Я его даже сегодня видел с Гайзуллой, с хромоногим.

— Так вот, надо его найти и сюда привести.

— На аркане, что ль? А если он не пойдет?

— Скажи, хозяин золота зовет, насчет прибавки зарплаты поговорить хочет, — пояснил управляющий.

— А где он? Я хочу па него поглядеть!

— На́ кого? — удивился Накышев.

— На хозяина золота!

Управляющий, задетый дерзостью мальчишки, хотел было прикрикнуть на него, но вовремя заметил, что Нигматулла делает ему какие-то знаки.

— Хозяин золота спит, ночью приехал. Вот приведешь Михаила, тогда и хозяина увидишь. Беги быстро, а то не догонишь, и деньги обратно возвращать придется! Ты что, каждый день по гривеннику получаешь?

— Ладно.— Султангали сдвинул шапку на затылок, направился было к двери, но, дойдя до порога, обернулся: — А если он все равно не пойдет, то я тут ни при чем, гривенник назад не отдам!

— Иди, иди! — махнул рукой управляющий.

На площади было пустынно, от ветра пощипывало лицо, и Султангали, выйдя из конторы, припустил по улице изо всех сил.

«Наверно, у Кулсубая они,— соображал он на бегу.— Где им еще быть? А если не там, то можно и Кулсубаю сказать, он передаст. Во здорово, целый гривенник! Дурак, я бы за такое дело копейки две дал, не больше. Надо, пожалуй, почтаче к нему ходить, щедрый начальник, видно, денег куры не клюют, раз так швыряется. И я осел. Надо было поморщиться,—может, больше бы отвалил. Нигмат совсем жадный стал, ничего не дает. Думает, что я один, без него, не проживу! Не худо бы около этого начальника устроиться!..»

Добежав до низеньких, коптящих слабыми дымками землянок, он свернул влево по знакомой тропинке и, угадав землянку Кулсубая по одинокой березе, стоявшей рядом, открыл дверь. Внизу, на нарах, сидели Кулсубай и Михаил. Сара стирала белье в большом деревянном корыте.

Султангали быстро спустился по ступенькам и выпалил, все еще задыхаясь от бега:

— Скорей иди в контору! Из Оренбурга большой начальник приехал, сам хозяин золота! Тебя зовут! Говорит, всем деньги раздавать будут!

Кулсубай встал. Светлые глаза Михаила удивленно уставились на Султангали.

— Он сказа́л — русского, который главный, а не тебя, агай,— Султангали переминался с ноги на ногу.

— Ты, браток, видно, меня с кем-то спучал,— покачал головой Михаил.— С чего ты взял, что я главный?

— Нет, не спутал! — горячо возразил Султангали.— Они так и сказали: пусть придет Михаил, тот, который трубку курит.

— Мало ли на свете людей, которые курят трубки! По-моему, ты ошибаешься...

— Нет, я знаю, что тебя! — Султангали засмеялся и, выкинув из-за щеки монету, зажал ее в кулаке. — Ты тот самый, который всех баламутит.

— Говорят тебе, не тот это человек! — разозлился Кулсубай. — Разве может у меня быть в гостях кто-то такой, что всех баламутит? Кому кто нужен, пусть сам ищет, а ты ко мне с такими поручениями больше не ходи, а то обратно по лестнице на голову подниматься будешь!

— А что я им скажу? — растерялся Султангали. — Они же велели...

— Кто они?

— Начальники все, в конторе сидят.

— И хозяин золота там?

— Да.

— Ну вот и передай им, что у меня такого человека нет и быть не может! И поторопись, тебя ведь, наверное, ждут обратно?

Но Султангали и не думал уходить, он во все глаза смотрел на Михаила.

— Неужели они не за тобой послали? — наконец с недоумением проговорил он.

— А зачем хозяину золота нужен тот, кого ты ищешь? — полюбопытствовал Кулсубай.

— Откуда я знаю! — Губы Султангали скривились в усмешке. — Разве они мне скажут? Велели — я и побежал! А вы меня обманываете...

— Ну вот, ты уже на нас и сердишься! — рассмеялся Михаил. — Ты чей сам-то будешь?

— Ничей, — нахмурившись, буркнул Султангали.

— Будешь грубить — уши надеру! — грозно пообещал Кулсубай. — Мал еще! Если тебя человек спрашивает, ты что, не можешь ему ответить? Сакмаевский он, — продолжил Кулсубай, повернувшись к Михаилу, — сын Хакима. А Загит ему старшим братом приходится.

— Только я не такой, как он, — с вызовом посмотрел на Кулсубая Султангали. — Он бандит и выродок, и я его братом не считаю!

— Ах ты сопляк! — рассердился Кулсубай.

— Не надо! — остановил его Михаил. — Он же не за этим к нам пришел... Давай-ка лучше подумаем: не можем ли мы ему помочь? Я, пожалуй, знаю того человека, которого ты ищешь, — ласково обратился он к мальчишке. — Если ты скажешь, для чего начальники зовут его в контору, то я за ним схожу, так и быть!

— Я же сказал — не знаю! — вспылил Султангали, но тут же, как бы вспомнив что-то, стукнул себя по лбу ладонью. —

Из-за какой-то бумаги, насчет зарплаты! Это сам начальник сказал. «А если, говорит, не найдешь, то придется еще с этой бумагой ждать, а то хозяин золота ненадолго приехал, вот-вот уезжает...»

— А куда уезжает, не слышал? — внимательно глядя на мальчика, продолжал допытываться Михаил.

— Как будто в Питер, — не сморгнув глазом, приврал Султангали.

— Ладно, я ему передам. Скажи своим начальникам, что придет или придет надежного человека, если сам не сможет.

— Нет! Он велел, чтоб сам Михаил пришел. Говорит: «Если он главный, то с ним я и буду разговаривать...»

— Не беспокойся, все передам, прямо сейчас к нему пойду. А ты беги в контору, — кивнул головой Михаил.

— Надо срочно собрать комитет, — нахмурившись, сказал Кулсубай, едва за Султангали закрылась дверь.

— Не успеем, — подумав, ответил Михаил. — Слышал, что мальчик сказал? Что хозяин прииска вот-вот уедет. Мне кажется, надо рискнуть. Будь что будет, пойду, пожалуй! А ты, Кулсубай, собирай комитет пока.

— Я против, тут явно какой-то подвох, — возразил ему Кулсубай. — И мальчишка мне этот не нравится, дурная о нем слава идет. Я думаю, это ловушка, и нам надо быть похитрее и поосторожнее их, лучше послать туда завтра делегацию, как мы и хотели.

— С одной стороны, верно ты говоришь, а с другой стороны, что, если Касьянов делегацию не примет? Опять ждать? И еще одно: если я не пойду, что люди обо мне скажут? Мол, агитировал-агитировал, а как дошло до дела, нас вперед, а сам в кусты? Так не годится... Самое страшное — потерять доверие у людей...

Кулсубай угрюмо молчал, глядя, как Михаил надевает тулуп. Подпоясавшись, Михаил подошел к нему, поглядел прямо в глаза.

— Если случится что, не оставляй дела на полдороге, браток. Я на тебя надеюсь, смотри не подведи. И забастовку обязательно надо провести, хоть бы и без меня. Бери тогда все в свои руки, ты у нас самый опытный.

— Идем, я тебя провожу, — опустил голову Кулсубай.

Он вышел на улицу, не надев тулупа, без шапки. Минут пять Сара слышала, как тихонько бубнят наверху два голоса, затем Кулсубай снова спустился в землянку и стал торопливо обуваться. Сара подошла к нему и опустилась на колени рядом с нарами.

— Атахи, ради аллаха, прошу, не ходи никуда! Сердце мое чует, беда будет тебе от этого русского! Зачем ты его слушаешь? Ты же обещал мне...

Кулсубай молча надел тулуп, снял с гвоздя шапку.

— Атахы! — плача, с отчаянием вскрикнула Сара.

— Вот что, жена, — твердо сказал Кулсубай. — Если ты так чтить аллаха, слушайся мужа и не проси его о том, в чем сама не смыслишь! Откуда тебе знать, куда я пошел? Что ты по мне причитаешь, будто я уже умер?

— Боюсь. . . — испуганно всхлинула Сара.

— Чего боишься? — смягчаясь, как всегда, при виде слез жены, спросил Кулсубай. — Нечего тебе бояться, сиди дома и жди, когда я вернусь. Думаешь, я для этого русского стараюсь? За тебя, за то, чтоб дети наши были счастливы! И не реви, не распускай нюни, вся землянка наша уже от твоих слез отсырела, спать холодно будет! . . Ну, хватит, хватит, успокойся. — Он с огорчением махнул рукой и вышел из землянки.

Навстречу ему по тропинке, прихрамывая, шел Гайзулла. Его покрытая малахаем голова была низко опущена, по щеке, застывая, бежала блестящая светлая дорожка.

— Ну вот, и ты реवेशь! Сговорились, что ли?

— А я к тебе шел, агай, — поднял голову Гайзулла. — Ты что, торопишься?

— Ну, что у тебя?

— Старика Хакима видел, — с трудом выговорил Гайзулла, — Говорит, что Загита волки загрызли, кости, говорит, нашли, и одну шапку. . .

— Фу ты, я уж думал, в самом деле что-нибудь случилось! — обдеченно вздохнул Кулсубай. — Жив-здоров твой Загит, не горюй! Только пока об этом никому знать нельзя. Сам понимаешь, что с ним Нигматулла учинит, если услышит. . .

— А чьи же это кости были? — удивленно засопел Гайзулла.

— Да мало ли чьи! Может, скотина какая подохла, а может, никаких костей и не было! Ты что, своими глазами их видел?

— Нет. . . — Гайзулла покраснел.

— А раз не видел, то лучше помолчи. Никогда не верь слухам, пока сам не убедишься! — Кулсубай улыбнулся. — А теперь вот что. То, что ты пришел, хорошо, поможешь мне. Давай-ка на самой большой скорости беги к шахтам, в первую и четвертую обязательно загляни, ну, и еще, если успеешь. . . Людей ты наших знаешь, объяснять не надо. Так вот, шепни, кому сможешь, на ушко, что Михаила в контору вызвали, арестовать хотят, понял?

— Понял, — кивнул Гайзулла.

— Ну давай ноги в руки! — хлопнул его по плечу Кулсубай и, не оборачиваясь, быстро зашагал в сторону плоты.

XIII

— Вы с ним поосторожнее, Гарей Шайбекович, он у меня с поровом, заковыристый парнишка! — повернулся к Накышеву Нигматулла. — Если против холки погладить, может при случае такое коленце против тебя выкинуть, что за голову схватишься! А потом спросишь его: «Что ж ты наделал?» А он тебе: «Что ты, то и я, расплатились, стало быть».

— Много воли даешь, — недовольно буркнул Накышев.

— А как не дать, если берет? Парнишка ловкий, в любом деле сгодится, правая рука моя, не смотрите, что мал...

Дверь внезапно открылась, и в комнату вошел худой высокий человек в зипуне поверх черного пальто, с саквояжем в руках. Все лицо его поверх шапки было укутано грубым вязаным шарфом, из-под которого клочками выбивалась русая бородка и усы.

— Здравствуйте! — хрипло и невнятно проговорил он и начал разматывать шарф, поставив саквояж на один из стульев.

— А вы, собственно, кто будете? — обескураженно спросил Накышев.

Незнакомец размотал шарф, скинул зипун, пальто и остался в измятом костюме, который висел на нем мешковато, как с чужого плеча; из-под жилета выглядывал грязноватый воротничок. Он слабо улыбнулся, пригладил ладонью бородку и сел.

— Не признали? Ну, давайте снова знакомиться... У вас там папиросы, кажется? Будьте добры, а то от этой махорки меня просто тошнит...

— Петр Тимофеевич! — изумленно и радостно вскрикнул Нигматулла.

— Я просто глазам не верю... — прохрипел Накышев, бледнея и хватаясь рукой за сердце.

С минуту в комнате стояла такая тишина, что стали слышны звуки с улицы. Лицо управляющего приобрело землистый оттенок, нервно задергалось левое веко. Продолжая держаться рукой за сердце, он прикрыл ладонью глаза, чувствуя, как в горле медленно набухает пухлый, тяжелый ком, который невозможно ни проглотить, ни выплюнуть.

Нигматулла, напротив, как вскочил, так остался стоять с торжествующим и от этого слегка глуповатым лицом, прижав руки к груди и быстро хлопая белесыми ресницами.

Касьянов удивленно переводил взгляд то на одного, то на другого, решительно ничего не понимая.

Затем все разом пришло в движение. Нигматулла, очнувшись, кинулся к столу и дрожащими руками поднес Касьянову коробку с папиросами, не переставая улыбаться и приговаривать:

— Петр Тимофеевич, какая радость! Где ж вы были? Мы ж вас, можно сказать, по всему свету искали, уж и увидеть не чаяли!.. Может быть, чайку вскипятить? Или покрепче чего подать?

— Уф-ф! Напугали! — медленно приходя в себя, с трудом выдавил улыбку Накышев, попробовал было встать, чтобы поздороваться, но тут же снова сел. — Вы уж извините меня, старика, не привык я к таким неожиданностям...

Касьянов вяло прикурил и откинулся на спинку стула. Продолговатое лицо его было очень бледно, на лбу от слабости выступила испарина.

— Да расскажите, что с вами было? — продолжал суетиться десятник. — Мы ведь запросы посылали — и в Оренбург, и в Верхнеуральск, везде говорят — выехал, а куда доехал — неизвестно!

— Чего только не было!.. — покачал головой Касьянов. — Почти все время без памяти лежал, только третьего дня очнулся... Никогда не думал, что такое приключится со мной...

— Так вы в акман-токман попали? — живо выпрашивал Нигматулла.

— Два дня, — тяжело вздохнув и как бы сам не веря собственным словам, сказал Касьянов, голубые глаза его влажно заблестели. — Как во сне... Сначала на равнине началось. Ничего подобного никогда не видел, и не дай бог увидеть ни мне, ни вам... Потом в лес заехали, под стогом ночевали. А утром встал — кучер замерз. Хотел было лошадей запрячь — не смог, отвязал их, они тотчас же и убежали. Надо было, конечно, сначала сесть, а потом отвязывать, да я не догадался, уж больно слаб был. Потом пошел, куда дошел, где упал, сам не знаю... Полз еще... Так бы и замерз, если б не подобрали, но этого я уж не помню. Очнулся в избе, на хуторе, от Кэжэна недалеко, думал сначала — снится. Что же за народ у нас такой удивительный! Двое, старики уже, ну кто я им? А она со мной ночами сидела... Вот и выходили.

— Значит, аллаху так было угодно, — поглаживая бородку, заметил Накышев.

— Ох, Петр Тимофеевич, видно, в рубашке вы родились под счастливой звездой! — перебил Нигматулла. — Надо же так, на волосок от смерти были!

— Я и сейчас еще не совсем здоров, такой упадок сил, просто встаю — и ветром качает, голова кружится...

— А у нас тут дела совсем неважные, Петр Тимофеевич, — выркнув глазами на десятника, глухо сказал управляющий. — Бунтуют, грозят работу бросить... Бумагу мне принесли на счет заработной платы, восьмичасового рабочего дня. Вот, посмотрите...

— Да сейчас везде так, — отмахнулся Касьянов от бумаги. — Вы меня извините, господа, я просто не в состоянии говорить о делах, так что сделайте милость, устройте мне комнату и прислугу, мне надо лечь...

— Может, ко мне? — предложил Нигматулла, вопросительно глядя на управляющего.

— А здесь нельзя? — спросил Касьянов.

— Видите ли, — смутился Накышев, — здесь сейчас все комнаты заняты...

— Кем? — удивился Касьянов.

— Солдатами. Сегодня у нас тут как раз одна акция задумана... Конечно, раз вы тут, хотелось бы еще поговорить об этом с вами, так сказать, получить согласие или хотя бы совет, — но если вы не можете...

— Да, да! Делайте, что хотите... — Касьянов устало закрыл глаза.

— Тогда подождите, посидите здесь, я все устрою, — грузно встал из кресла Накышев. — Все равно, я думаю, им здесь больше ночевать не придется, а к вечеру можно будет перевезти вас ко мне, там вам будет покойно...

Переваливаясь, он пересек комнату, прикрыл за собой дверь, и тотчас увидел штейгера и унтер-офицера, куривших в дальнем конце коридора, у окна. Из двух соседних комнат слышались голоса солдат, шаги, чей-то смех.

— Ну, что у вас там? — спросил, подходя, Накышев.

— Все готово, Гарей Шайбекович. — Унтер-офицер повернулся, слегка щелкнул каблуками и чуть наклонился вперед. — Где же ваш головорез?

— Сейчас будет, с минуты на минуту. Так что вам лучше взять его прямо в коридоре. Боюсь, что он придет не один...

— Это не страшно, Гарей Шайбекович. — Унтер-офицер улыбнулся уголками губ. — Мои молодцы не подведут!

— Тут вот еще какое дело. Надо освободить одну из комнат. — Накышев поморщился. — Хозяин прииска приехал, больной, еле ногами двигает... Как снег на голову свалился! А везти его сейчас в другое место неудобно, мало ли что может случиться по дороге...

— Понимаю, — наклонил голову унтер-офицер.

Он открыл одну из дверей, негромко скомандовал, и в коридор один за другим высыпали солдаты в серых суконных шинелях.

— Врассыпную к дверям...

— А курить можно? — переспросил один из солдат. Круглое курносое лицо его было серьезно, серые глаза смотрели весело и чуть нагло.

— Кури пока, — кивнул унтер-офицер. — Но чтоб настороже! Как только появятся, сразу закрыть вход, чтоб ни одного не выпустить, хоть бы их там была целая дюжина. Ясно?

— Приказ не совсем точный, — продолжая смеяться глазами, ответил солдат. — Живьем их брать или можно и того?.. У меня пуля дура, где ударит, там и дыра!

— Живьем. И хватит бузить, сначала дело сделай! — повысил голос унтер-офицер.

Солдат оглянулся и нехотя пошел к дверям, бормоча что-то себе под нос и вынимая кисет.

— Из двадцати ни одного промаха, — с гордостью шепнул Накышеву унтер-офицер.

— Стрелять — в крайнем случае, — раздумывая, сказал Накышев. — Главное — главаря взять, потом целый год лови — не словишь! И чтоб без особого шума. Сами знаете, сейчас всюду беспорядки, кое-что против нас может обернуться...

— Не волнуйтесь, сработаем, как часы, — успокоил его офицер.

Солдаты по двое, по трое разместились в коридоре. Несколько человек, глядя на курного, закурили.

— Куда эта девка подевалась, чтоб ей пусто было! — раздраженно сказал Накышев, заглянув в опустевшую комнату. — Не могу же я его в такой кавардак вести!

— Да она вроде заглядывала с утра, Гарей Шайбекович, — ответил штейгер. — С веником... Посмотрела, что творится, и ушла. Если хотите, я схожу?

— Сходи, только быстрее, а то он там у меня в кабинете свалится...

— Неужели так плох? — уставился на него штейгер.

— Не то слово! — развел руками Накышев. — Иди, иди, а то я, пожалуй, сам побегу, до того вы меня заморочили...

— Может быть, на всякий случай поставить людей во дворе? — натягивая грязноватые белые перчатки, поинтересовался унтер-офицер.

— Не надо, заметно будет, — покачал головой управляющий. — У него же нюх собачий, боюсь, что и так не придет... Ну, вы постойте тут, я сейчас вернусь.

— А если он как раз и появится?

— Да берите всех подряд, — усмехнулся Накышев, — там разберемся... Вообще-то он в ушанке, вид самый простой, но если что учуял, мог и переодеться.

«Самому бы лечь да отлежаться, — с горечью подумал он, чувствуя, как к горлу снова подступает тошнота. — Сколько я уже не сплю по-человечески? Месяца два, пожалуй... Так и на тот свет недолго отправиться».

— Штейгера только не возьмите! — уже почти дойдя до своего кабинета, обернулся он. — А то он у меня такой джигит, что может сразу от одного испуга копыта откинуть!

Солдаты засмеялись.

В ту же минуту входная дверь распахнулась и в коридор решительными, широкими шагами вошел Михаил. Увидев солдат, он отпрянул было обратно к двери, но дверь уже была плотно захлопнута и курносый с-наглобоватой ухмылочкой придерживал ее носком сапога, небрежно подкидывая револьвер правой рукой.

— Это он! Скорее! Взять! — опомнившись, крикнул Накышев.

В мгновение ока трое повисли на Михаиле сзади, и он ничком упал на пол. Один из солдат прижал его коленом, другой вывернул руки за спину. Щекнули замки наручников.

— Все или еще будут? — лениво спросил курносый.

— Да остальные — неважно! — радостно ответил управляющий. — Главное было этого взять, он тут у нас первый заводи!..

— А ну, поднимите его! — приказал подошедший офицер. — Хоть посмотреть, что за птица.

Лицо Михаила было красным от напряжения, левую бровь пересекала широкая красная ссадина, но глаза смотрели спокойно и даже холодно.

— По какому праву? — сдерживая кашель, сдавленно проговорил он.

— Поговори, поговори у меня про права! — весело ответил офицер.

Курносый, стоявший сзади, ленивым и точным движением согнул ногу в колене и ударил Михаила в спину.

— Стой смирно, шваль! — неторопливо прикрикнул он.

— Эх, браток, против себя воюешь, — кашляя и морщась от боли, повернулся к нему Михаил.

Удар по голове заставил его замолчать.

— Слава аллаху! — облегченно вздохнул Накышев. — Сколько он у меня в печенках сидел, вы себе не представляете! Весь прииск перебаламутил, всех на ноги поднял, что ни день, как петух, с утра орет, а дураки слушают!..

— Ничего, у нас долго не погорланит! Петуху место в кастрюле, Гарей Шайбекович, а в кастрюле, сами понимаете, не запоешь, — со смехом ответил офицер. — Куда его теперь, в Кэжэн?

— А-а, куда хотите! Моя бы воля, прикончил бы на месте, но закон есть закон, и я его уважаю. Глядите только, чтоб не сбежал по дороге, у него уже на этот счет большой опыт имеется!..

— За дорогу ручаюсь, а дальше, сами понимаете, он уже в другую инстанцию перейдет. Но ничего, я там предупрежу, с кем они дело имеют.

— Лучше не валадаться долго, сразу его везти, — обеспокоенно проговорил Накышев. — А то, боюсь, хватятся.

— Сейчас отправимся. . .

— Что, все? — испуганно перебил его управляющий. — Нет, уж вы, будьте добры, отправьте его под конвоем, хоть с этим вашим, который из двадцати ни одного промаха, а сами оставайтесь! Знаете, какая тут может из-за этого каша завариться?

— Можете считать, что уже заварилась! — неожиданно сказал Михаил. — Думаете, от меня избавитесь — и все шитокрыто будет? Плохо ваше дело. . . Ничего у вас не выгорит!

— Заткнись, чахотка! — ткнул его штыком курносый. — Слышь, что сказали? Идем, да смотри у меня! Пошевелишься — не раздумывая всю обойму вкачу! . .

Он схватил Михаила за воротник тулупа, грубо встряхнул и потащил к дверям.

— Васильков и Шушин, с ним! — махнул рукой офицер. — Доставите на место — тут же назад — и, пожалуй, еще сюда подкрепление дня на два. Так, Гарей Шайбекович?

— До чего же вы замечательный человек, умница! — радостно ответил управляющий. — Сколько я офицеров в жизни перевидал, а с таким в первый раз встречаюсь! Был бы я вашим начальником, вы бы у меня уже не в унтерах, а в полковниках бы ходили! И ребята все как на подбор, и без лишних слов. . . Если бы все офицеры были такими, Россия давно уже стала бы первой державой в мире! Я вообще считаю, что государством должна управлять армия, это наилучший вариант из возможных!

Офицер с улыбкой поклонился, прижав руку к груди:

— Столько похвал, Гарей Шайбекович. . .

— Ничего, похвала только глупому глаза застит, а не поблагодарить вас за такую услугу просто грех! — расшаркивался Накышев.

Тем временем Михаил, подталкиваемый сзади курносым, уперся в двери обеими ногами и изо всех сил пытался удержаться в этом положении.

— Откуда только силы взялись! — с удивлением наблюдая за ним, усмехнулся унтер-офицер. — Что ж ты, Рябинкин, где твоя удаль хваленая? Или он такой сильный, что соплей тебя перешибить может?

Курносый со злостью дернул за воротник, и Михаил, вскинув руки, рухнул навзничь, глухо ударившись об пол головой.

— Долго я с тобой возиться буду, гад? — пнул его сапогом курносый. — Вставай!

Михаил перевернулся и продолжал лежать на боку, отчаянно кашля. Ссадина под бровью кровоточила, на лбу рядом с нею появилась шишка, левый глаз начал заплывать.

— Н-не могу. . . — прошептал он, отхаркиваясь.

— Ну, гляди сам, сейчас без зубов останешься! — мрачно предупредил курносый и снова согнул ногу в колене.

— Прекратите! — вскрикнул незаметно вышедший из кабинета Касьянов. — Вы что, с ума сошли! Немедленно прекратите!

Курносый недоуменно посмотрел на унтер-офицера, тот с насмешкой перевел взгляд на растерянного Накышева.

— Что здесь происходит? — гневно глядя на управляющего и нервно кусая губы, продолжал Касьянов.

— Я же вам говорил... — смешался управляющий. — И вы сами же сказали: «Делайте что хотите!»

— А если я вам сейчас скажу, чтоб вы себе ногу отрубили? — покраснев от возмущения, крикнул Касьянов.

— Ну при чем тут нога, Петр Тимофеевич? — вставил вышедший вслед за Касьяновым Нигматулла. — Это же не человек, а зверь! С ним только так и можно! Если б не он, и беспорядков бы на приiske не было...

— Странно, — пожал плечами унтер-офицер. — Перед вами преступник и бандит, а вы его защищаете.

— Я никого не защищаю! Но я против того, чтоб с любым человеком обращались так, как вы... Это насилие! Если он виноват, то есть, в конце концов, другие виды наказаний, предусмотренные законом, а мордобитие еще никогда никого в разум не приводило!... Да поднимите же его, видите, ему плохо!

Курносый, не дожидаясь приказа, схватил Михаила под мышки и поставил на ноги.

— Так это вы хозяин прииска? — с трудом разжал губы Михаил.

— Совершенно верно, — учтиво ответил Касьянов.

— Хороший же у нас с вами разговор получился...

— Какой разговор? — удивился Касьянов.

— Как какой? Вот этот... — Михаил снова закашлялся.

— О чем он? Я не понимаю... — Касьянов вынул из кармана мятый шелковый платок и вытер снова выступившую на лбу испарину. — Мы с вами, кажется, и двух слов не сказали...

— Вот именно, что слов не понадобилось. И без них все оказалось ясно!

— Да что вы с ним цапкаетесь, Петр Тимофеевич! — обеспокоенно сказал Накышев. — Идемте! Комната, правда, еще не совсем устроена, но лечь уже можно.

— Что вы имеете в виду? — не обращая внимания на управляющего, спросил Касьянов.

— Если уж вы действительно вызвали меня для разговора, то уж больно в неравном положении мы находимся, — сказал Михаил.

— Снимите с него наручники! — багровея, приказал Касьянов.

Курносый щелкнул замками. Михаил распрямил плечи и стал растирать отекавшие руки.

— Так, может быть, теперь вы объясните мне, что за преступление я совершил? — спросил он.

— Я, собственно, не знаю... — Касьянов оглянулся на управляющего. — Дело в том, что я только что приехал.

— Да это же главный подстрекатель! Весь прииск на ноги поднял, а теперь спрашивает, в чем виноват! Вешать таких надо без всякого суда! — нетерпеливо пояснил управляющий.

— Да что говорить — бандит! — поддержал Нигматулла.

— Бандит, значит? — вытирая платком кровь на щеке, прищурился Михаил. — А может быть, наоборот — вы-то и есть как раз настоящие бандиты и преступники — все жилы у народа вытянули, в душу наплевали и думаете, что все это вам с рук сойдет?

— Видали, какой он?! — взвизгнул Накышев. — Слышали? И так с утра до вечера, только и знает, что грязью плеваться! Простые люди его развесив уши слушают, особенно молодые старатели, а они потом к нам с разными требованиями идут, вроде тех...

— С какими требованиями?

— Да я ж вам только что в кабинете показывал, а вы сказали, что не можете, — ответил Накышев.

Глаза Михаила посветлели, лицо пошло красными пятнами.

— Вот видите! — упрекнул он Касьянова. — Прибыль подсчитывать у вас всегда времени хватает, а до народа дела нет! А подите встаньте на их место, посмотрите, в какой нищете они живут, как у детей от голода животы пухнут! А если бы вашим детям так жилось? Справедливо это, по-вашему?

— У меня нет детей... — растерянно проговорил Касьянов.

— Какая разница! Не у вас, так у него, — Михаил кивнул на управляющего, — а не у него, так еще у кого-то! Людям все равно, кто хозяин. Сколько ни перебивало тут хозяев, а жизнь у рабочих лучше не стала. Терпение ведь тоже когда-нибудь лопается! И если они еще к вам с требованиями идут, а не с топорами, так это по простоте своей! Все верят, как дети, все ждут: может, вы одумаетесь, может, поймете, что дальше так пельзя!

— Я не понимаю: почему вы говорите все это мне? — горячо возразил Касьянов. — Я как раз и приехал сюда специально для того, чтобы помочь людям! Я не хочу, чтобы они жили в таких условиях, поверьте мне...

Михаил, не отвечая, смотрел на него насмешливо и холодно.

— Почему вы думаете, что для меня нет ничего святого на свете? — все больше возбуждаясь, продолжал Касьянов. — Уверю вас, для меня ничего нет дороже и святее, чем родина! И я все сделаю, чтобы народу стало легче! Но неужели вы не попи-

маете, что сейчас война и трудно всем, не только на моем приiske? И, в конце копцов, то, что делаете вы, не приносило разве народу еще больше бедствий, не вызывало разве каждый раз ужаснейшие кровопролития? Я думаю, что так народу не поможешь!

— А как же вы собираетесь ему помочь?

— Пока я ничего не могу сказать, я еще не видел прииска...

— Вот этим все и кончается — словами! Только обещаете или страшаете, а чтоб легче народу стало, пока палец о палец еще никто не ударил! — возмутился Михаил. — Да что у вас с ним общего? Смогли бы вы сейчас раздать людям свои капиталы и жить, как они, в землянках или бараках, полжизни в шахтах колупаться, чтобы потом выйти оттуда калеками, которые никому не нужны с той минуты, как только не смогут держать в руках кайлу? Что же касается до кровопролития, как вы это называете, так кто, по-вашему, его устраивает — народ? — Михаил окинул взглядом коридор. — Вы хотите быть гуманным, а когда мы идем к вам, как вот я, безоружный, вы меня мордой об пол?! Кто же кровь проливает — мы или вы? Нет, господин Касьянов, вы еще в трех соснах блуждаете, все идеала ищете, а народ, которому вы так стремитесь помочь, уже не может, иссякло терпение, кончилось! — Михаил закашлялся и приложил платок к губам.

Касьянов, не в силах сказать ни слова, прислонился к дверному косяку. Вид его был очень плох — щеки, казалось, еще больше запали, темные круги резко обозначили усталую голубизну глаз.

— Я сейчас, — слабым голосом сказал Касьянов и, держась рукой за стену, медленно пошел в кабинет.

Нигматулла след в след двигался за ним мелкими, крадущимися шажками, готовый в любую минуту поддержать хозяина.

— Что это с ним? — спросил Михаил.

— Какое твое дело! — обрушился на него Накышев. — Наденьте-ка ему наручники и везите скорей от греха подальше! А то, я чувствую, еще час — и он такую веревку тут нам совет, сам шайтан повесится...

— Сами себе веревку вьете, — с ненавистью глядя на Накышева, процедил сквозь зубы Михаил. — Ни чести, ни совести, ни закона у вас нет, одна вывеска, и та уже давно слиняла! Конец вам приходит, вот и забеспокоились, только жаль, что не я вам эту петлю на шею накидываю!

— Ма-а-лчать! — гаркнул офицер.

Курносый выжидательно поглядел на него.

— Иди закладывай, в дороге потешись, — кивнул ему офицер.

Курносый, щелкнув каблуками, исчез за дверью.

— Сколько лет вашему Касьянову? — шепнул офицер, склонившись к управляющему.

— Двадцать с лишком, — пожал плечами Накышев. — Молодой еще, только что дела в руки получил, да еще больной, с дороги... А в общем-то и без дороги, наверно, такой бесхитростный. Быть хозяином — это, знаете ли, талант, не каждому дается! Я бы никому не позволил так с собой разговаривать. Если перед каждой ложкой в кисель превращаться, съедят скоро!

— Верно говорите, Гарей Шайбекович! — заметил офицер, кривя уголки губ. — Им ведь сколько ни дай, всегда будут кланяться и канючить, чем больше даешь, тем хуже!

Дверь распахнулась, и в коридор вбежал запыхавшийся штейгер. Он был без шапки, и темные глаза его так выпучились, что казалось, вот-вот выскочат из орбит. Следом за ним быстро вошел курносый.

— Всё! — выкрикнул штейгер, подбежав к Накышеву. — Со всех сторон, еле пробрался! Вот шапку сняли, кричат: «Не отпустите Михаила — подожжем все к шайтану!»

— Та-ак, — процедил сквозь зубы унтер-офицер. — Ты, Рябинкин, можешь и стрелнуть разок для острастки!

— Никак нет! — запротестовал курносый. — Знаете, сколько народу? Вся площадь черным-черна!

— Это все его рук дело! — дрожа от испуга и ярости, Накышев повернулся к Михаилу. — У-у, шайтан, придушил бы тебя, как собаку! Где ни появишься, везде смута!

— Нет, это как раз дело ваших рук, — спокойно ответил Михаил, глядя прямо в глаза управляющему. — Просто пришла пора расплаты за все.

— Ну что ж, придется просить помощи в Кэжэне, — задумчиво протянул офицер.

— И опять никак невозможно! — вытянулся курносый. — Во-первых, не пройти, а во-вторых, сами знаете, в Кэжэне сейчас своя смута может начаться!..

— Ну, сколько б ни дали!

— Все равно будет капля в море! — уверенно возразил курносый. — Вы в окно вон поглядите! Это ж прорва, три роты проглотит и не почувствует!

— Что же делать? — сложив маленькие ручки под подбородком, спросил штейгер, испуганно переводя взгляд с офицера на управляющего и обратно. — Они же все разнесут! А понасть им сейчас в руки — не приведи господь, ключев не останется!

— Да, веселая картинка! — сказал кто-то из солдат.

— Ма-алчат! — рявкнул офицер. — Если вы еще у меня языки распустите, Сибири на всех не хватит!.. А ты, мразь,

выйди к своим, скажи, пусть лучше расходятся по-хорошему, — повернулся он к Михаилу. — Рябинкин тебя на всякий случай на прицеле из окна подержит, понял? Если не разойдутся — все тут полягут! Или тебе лишняя гирька на совести не помещает? Не пойдешь, так я тебя сейчас сам, своими руками уничтожу! — Он неторопливо расстегнул кобуру, вынул револьвер, щелкнул курком. — Ну?!

— Какая низость! — Михаил с отвращением посмотрел на офицера и сплюнул.

Большие, острые уши унтер-офицера вспыхнули, губы раздвинулись в полуоскале.

— Что скажете, Гарей Шайбекович? — сказал он, не опуская руки. — К стенке его или обождать немного, пока одумается?

Накышев молчал. Реденькая длинная бородка его тряслась, тюбетейка сползла на затылок.

С улицы катился гул голосов, стук в запертые ворота.

Из кабинета, держа в руках лист бумаги, вышел Касьянов, следом за ним, как тень, гнулся Нигматулла.

— Я прочел ваш ультиматум, — сказал Касьянов, обращаясь не то к Михаилу, не то в пустоту. Голос его звучал устало и глухо, но твердо. — К сожалению, вы требуете невозможного. Однако, я думаю, кое-что можно сделать. Во всяком случае, нужно поговорить с людьми, и поговорить по-хорошему, иначе это может привести к самым неприятным последствиям...

— Да, да, вы правы! — поддержал его Накышев. — Такого скопления народа никогда еще не было, и они очень возбуждены!

— Вы лучше знаете, что сказать им, Гарей Шайбекович, я ведь еще не в курсе дел...

— Я?! Я не могу! — Лицо управляющего перекосилось, глаза забегали по стенам. — Извините, Петр Тимофеевич, но выйти сейчас к ним — это все равно что попасть в акман-токман! Я уже старик, мне такое не под силу...

— Чистое безумие! — согласился с ним унтер-офицер. — Они его сейчас, как волки, растерзают! Нет уж, лучше начать отстреливаться. Патронов у нас часа на четыре, а там, я думаю, может быть, помощь из Кэжэна подоспеет...

— Извините, что не знаю вашего имени-отчества, но, может быть, вы поговорите с ними? — Касьянов подошел к Михаилу. — По виду и разговору вы все же человек интеллигентный и не можете не понимать, какой страшной бедой это грозит... Это же анархия!

— Анархия? — Михаил рассмеялся. — Нет, господин Касьянов, это не анархия, а это революция! Вы хотите, чтобы я народ вашими посулами успокоил? А им плевать на ваши

слова, им и жизни не жалко, потому что разницы нету, сегодня от пули помереть или завтра от голода...

— Да как вы это терпите, Петр Тимофеевич? Кто ж здесь хозяин-то? — крикнул Нигматулла.

— К окнам, ребята! — скандовал унтер-офицер. — А тебя, мразь такая, коли ты сам на кулаки лезешь, я сейчас сам успокою!..

— Поберегите нервы! — сурово остановил его Касьянов. — Я не позволю, чтоб здесь, на моем прииске, пролилась кровь! Слышите? Не позволю!

— Но ведь другого выхода нет, Петр Тимофеевич! Мы все погибнем! — Накышев схватился руками за голову.

Словно подтверждая его слова, во дворе что-то затрещало и обвалилось с диким грохотом.

— Ворота... — осевшим голосом прошептал штейгер.

— Повысьте заработную плату, снизьте рабочие часы, дайте людям возможность жить! — горячо сказал Михаил. — Только на этих условиях я обещаю вам полную неприкосновенность!

— А что у вас там, наверху, Гарей Шайбекович? — спросил Касьянов, указывая рукой на лестницу.

— Контора, как и здесь...

— Идемте! Там есть окно?

— Есть. Что вы задумали, Петр Тимофеевич? Не сходите с ума, это же возбудит их еще больше! — Управляющий смотрел на него со страхом.

Не слушая его, Касьянов быстро направился к лестнице. Накышев, задыхаясь, не отставал от него. Остальные с изумлением наблюдали за этой сценой.

Не добравшись и до середины лестницы, Накышев внезапно охнул, схватился за сердце и медленно осел на ступени.

— Петр Тимофеевич!.. — свистящим шепотом проговорил он.

Касьянов даже не оглянулся.

С трудом, чувствуя, как дрожат и подгибаются колени, он пробрался в узкую комнату с низким потолком, под самой крышей конторы, отодвинул в сторону покрытый пылью стул и рванул деревянную дверку, ведущую на уличную сторону.

Внизу, во дворе конторы и на площади, сколько мог охватить его взгляд, толпились старатели. Задние ряды с силой давили на тех, кто стоял во дворе, неся сплошной гул. Люди старались дотянуться до высоких окон конторы, влезали на плечи друг другу, с силой дергали дверь, стараясь сорвать ее с петель.

У Касьянова закружилась голова, и он схватился рукой за край дверки, чтобы не упасть.

А сзади уже накатывало и грохотало:

— Эй, там кто-то по крыше лазает?!

— Багром его оттуда, окаянного!

Все подняли головы вверх, и Касьянов на мгновение почувствовал себя как загнанный на дерево зверек.

— Послушайте! Давайте поговорим по-хорошему!.. — крикнул он в черное колышущееся море голов.

— А ты кто такой? — спросили его снизу.

— Я?.. Я хозяин этого прииска! — споткнувшись почему-то на слове «хозяин», во весь голос ответил Касьянов.

— Говорили уж по-всякому!

— По горло словами сыты!

— Тише, вы, может, и вправду что путное скажет!..

Касьянов молча ждал, пока уляжется шум. Ноги у него подкашивались, в глазах закипали слезы.

— Я болен, не могу говорить громко, — наконец сказал он.

Старатели, стоявшие во дворе, притихли, ожидая. Задние продолжали напирать.

— Я прошу вас разойтись, потому что...

Толпа многоголосо взорвалась:

— Мы тут все больные!

— Ишь какой, «разойдись»!..

— Пусть сначала Михаил выйдет!

— Да что с ним говорить, тащи из конюшни солому, пусть сгорят все со своей конторой!..

— Михаила сюда!

— Может, они его уже там прикончили втихую!..

— Да жив он, ваш Михаил! — собравшись с силами, крикнул Касьянов. — Сейчас договорим, и выйдет! Что ж вы, его вместе с конторой палить будете?!

— Его не будем, а вас всех не мешало бы! — мрачно пообещали внизу. — Мотри, хозяин, чтобы без подвоха! Подождать мы, скажем, подождем, а если Михаила хоть пальцем тронете, гореть вам всем и на том и на этом свете! Соломы хватит!

— Сейчас он выйдет, — повторил Касьянов и, шатаясь от слабости, закрыл дверку.

Шум во дворе начал постепенно стихать.

Касьянов с минуту постоял, закрыв глаза и передыхая, затем стал спускаться, держась за перила и еле передвигая ноги.

— Ну что? — шепотом спросил штейгер.

— За то, что вам были нанесены телесные повреждения, — сказал Касьянов, подходя к Михаилу, — я привлеку к ответственности кого следует. Но нельзя же в отместку за побои позволить пролить кровь...

— Что же я, по-вашему, должен делать? — недоуменно посмотрел на него Михаил. — Я у вас вовсе не компенсации за свои синяки требую, а хочу, чтобы вы по-человечески отнеслись к людям, которые работают на вас!

— Я прошу вас выйти и не допустить погрома конторы и прочих беспорядков. Идите скажите им — пусть приступают к работе.

— Вы думаете, что-нибудь изменится оттого, что я скажу им об этом? Вы же только что говорили с ними! Послушались они вас?

— Они не хотят говорить со мной, пока не увидят вас, — с горечью признался Касьянов. — Кажется, я слишком поздно приехал...

— И вы хотите, чтобы я вышел к ним с пустыми руками? Нет, господин Касьянов, я не выйду, пока вы не дадите мне точного ответа, что вы намерены сделать для улучшения жизни старателей. И, пожалуйста, снимите с меня наручники, а то мы с вами опять говорим не на равных...

Касьянов посмотрел на унтер-офицера, тот кивнул курносом, снова щелкнули замки наручников. Михаил скрестил руки на груди и прислонился к стене.

— Я спрашиваю вас, — сказал он, — прочли вы требования забастовочного комитета? Намерены вы удовлетворить их?

— Я не могу решить этого сейчас, я обязан связаться сначала с компаньонами, — опустив голову, тихо ответил Касьянов. — Пока я сделаю запрос, пройдет не менее трех дней.

— Люди не будут ждать, пока вы договоритесь с компаньонами, — настойчиво повторил Михаил. — Вы же видели, в каком они состоянии. Я должен дать им ответ сейчас, иначе я не могу ручаться за то, что контора и все, кто здесь находится, будут в целости и сохранности.

Касьянов задумался. Как во сне, снова промелькнули перед его глазами выбитые стекла витрин, кипящие в черной гуще красные знамена, страшное побоище у Троицкого собора...

— Пожалуй, вы правы, — наконец сказал он. — Скажите, что пока я могу по своему усмотрению прибавить заработную плату на пятнадцать процентов. И, кроме того, обещаю наладить снабжение прииска продуктами. А пока компаньоны ответят мне, я осмотрю прииск и погляжу, что еще можно сделать...

— Какой позор! — прошептал офицер.

У Накышева был такой вид, словно его опшпарили кипятком. Нигматулла, сам того не замечая, грыз ногти на руках.

— Ну что ж, для начала неплохо, — согласился Михаил.

— А теперь, извините, я все-таки лягу. — Касьянов провел ладонью по лбу. — Надеюсь, все будет в порядке?

— Я постараюсь все объяснить людям, — кивнул головой Михаил. — Я думаю, мы с вами еще увидимся!

— Да, да, конечно. Гарей Шайбекович, проводите меня, если вам нетрудно...

Управляющий, поддерживая Касьянова под руку, повел его по коридору. Михаил, отодвинув курного в сторону, снял задвижки и шагнул на крыльцо. Не успел он сделать это, как тут же оказался в объятиях Кулсубая.

— Миша! — со слезами на глазах крикнул Кулсубай, голос его пресекся.

— Михаил!.. Выпустили!.. — пронеслось над толпой.

Старатели подняли Михаила на руки и вынесли на площадь.

— Да что вы!.. Ребята! Товарищи!.. — вытирая глаза и смеясь от радости, шептал Михаил, а руки все несли его, тянулись, старались дотронуться, прикоснуться, со всех сторон вразнобой кричали: «Ура!», лица людей светились улыбками. Его донесли и поставили на камень у забора.

На площади стало тихо, только поскрипывал под ногами снег. Люди тесным кольцом окружили Михаила, но и те, кому не удалось пробиться ближе, стояли молча, казалось, не дыша, боясь пропустить хотя бы одно слово.

— Товарищи! — поднял голову Михаил. — Это наша с вами первая настоящая победа!.. Горжусь тем, что мы стали, наконец, как одна семья!.. Пусть пока это небольшая победа, но, как говорят, мал золотник, да дорог. Пока мы добились только повышения зарплаты и хорошего снабжения, но если мы и дальше будем идти вместе, в ногу — ничто не устоит перед нами!..

Накышев, штейгер и унтер-офицер, молча стоя у окна в кабинете, наблюдали за происходящим.

— Надо взять его сегодня, как только уляжется шум, — сказал Накышев. — Иначе наш телок пойдет у него на поводу и все полетит в тартарары!

— Будет сделано, Гарей Шайбекович, — не сомневайтесь, — ответил офицер, теребя белые перчатки.

XIV

Весь день Михаил ходил от барака к бараку, объясняя, советуясь, уговаривая людей не бросать дело на полдороге, стоять за свои права до конца. Старатели слушали его жадно, но тем не менее многие готовы были остановиться на достигнутом, боялись, что из Уфы и Оренбурга вышлют на помощь Накышеву казаков и тогда все примет совсем другой оборот — забастовочный комитет будет арестован, самых лучших людей сгноят по тюрьмам, а что толку? Тем, кто останется на приiske, совсем житья не будет. Да и правда ли то, что пообещал молодой хозяин? Может быть, это только приманка, предлог, чтобы оттянуть время, и уже со всех сторон спешат

к Юргашты вооруженные отряды, чтобы отомстить за тот малый кусок хлеба, что вырван сегодня из хозяйского рта?..

Ближе к ночи, чуть не падая от усталости, Михаил зашел в барак возле разрушенной фишеровской шахты, где они договорились встретиться с Кулсубаем. Старатели, тесно забившие барак, тотчас расступились, и Михаил, присев на нары, в который раз терпеливо стал объяснять, как нужно им вести себя дальше. Слова его перемежались частым кашлем, трубка дрожала в руках, но голубые, как весенние льдинки, глаза смотрели весело и спокойно и, казалось, светились изнутри.

Наконец он замолчал и оглядел собравшихся:

— Ну, что скажете, товарищи?

— Я тут все сидел и твои слова в голову себе укладывал, — из угла поднялся один из старых старателей.

Он отложил в сторону надетый на колодку старый лапоть, который пытался починить, и подошел ближе.

— Ну и как, уложил? — Михаил весело рассмеялся.

— Много я про тебя слышал, — без улыбки ответил старатель. — Знаю, что человек правильный нутром, справедливый, за бедных всем сердцем стоишь. И все-таки, по-моему, не прав ты... — Старик сунул руку под шапку и в нерешительности почесал затылок.

— Ну-ну, договаривай! Чего ж ты на полуслове остановился? — подбодрил его Михаил. — Мы ж с тобой не как враги говорим, а как друзья, что нам друг от друга свои мысли скрывать?

— Не прими только моих слов в обиду, — вскинул седые брови старик, — не хочу я, чтоб они тяжестью легли тебе на душу... Только вот, кажется мне, не тот совет ты дал Кулсубаю...

— Да, если б не Кулсубай, одни угли бы сейчас остались от конторы! — поддержал его парень помоложе, кутавшийся в старое шерстяное одеяло. — Один бы пепел над прииском летал!

— Моя бы воля, я б этому Накышеву голову собственными руками свернул! — присоединился к ним третий, с округлой бородкой и полными, словно надутыми, щеками. Глаза его от гнева помутнели, руки сами собой сжались в кулаки.

— Чего их было жалеть? — продолжал старик. Сухое, морщинистое, как кора высохшего дерева, лицо его было неподвижно, но губы дрожали. — Они нас никогда не жалели, сына моего под землей оставили, в этой шахте проклятой, когда озеро провалилось, даже и попрощаться мне с ним не довелось... Чего только не натерпелись от них, толстопузых, всю чашу горькую до дна испили! Так чего ж их, гнид, жалеть, я спрашиваю? Раз уж собрались миром, тут и надо было их всех порешить!

— Ну ладно, предположим, порешил ты их, а дальше что? — спросил Михаил.

— Какая разница! — дерзко ответил парень. — Главное — волков перестрелять, а с собаками уж как-нибудь справимся!

— Ну, горяч мужик! — Михаил рассмеялся. — Смотрю я — с тобой, пожалуй, и целый полк не справится, как зайцы, побегут, а?

Парень густо покраснел.

— Да я не про себя...

— А про кого же?

— Про всех!

— Ну ладно, про всех, так про всех. Скажи, у тебя, к примеру, револьвер есть или ружье?.. Вот видишь, нету. И у других пока нету. А как пойдут они на нас с пулеметами, что ты тогда будешь делать?

— В лес уйду, — мотнул головой парень.

— Так всю жизнь и проживешь в лесу?

— Зачем всю жизнь? Поживу-поживу, а потом снова выйду...

— Ну, а товарищам твоим какая польза оттого, что ты по лесу бегать будешь да от тех же волков, которых перестрелять хотел, прятаться, как заяц? Нет, браток, если мы все по лесам разбежимся, не будет у нас хорошей жизни! Ну, пристрелишь ты Накишева, ну, еще парочку негодяев, а потом что? Приедет на прииск новый хозяин, привезет с собой пулеметы, с чем ты на него пойдешь? Кол из забора вырвешь?

— А что же делать? — растерянно спросил парень.

— Что ни делай, все равно ничего не сделаешь! — глухо пробормотал старик. — Только и осталось доброму человеку, чтоб чести своей не уронить, жизнь за нее выложить! И то — какая ей нынче цена, жизни этой? Хлеба не ешь, света белого не видишь, и за что с утра до вечера пот проливаешь и спину гнешь, неизвестно... Чем такой жизнью жить, лучше хотя бы одного толстопузого уничтожить, а там — хоть грудь под пулю!..

— Эх, дедушка, рано ты помирать собрался, — покачал головой Михаил. — Человек не для смерти на свет рожден. Если мы все себя под пули положим, кто тогда нашим внукам скажет, где правду искать? Думаешь, у тебя одного сын погиб? Да они сейчас сотнями в братские могилы ложатся, так, что и не сыщешь потом... Сам посуди: что получится, если перебьют всех хороших людей? По какому праву мы им эту землю без боя сдавать должны, когда она наша, исконная, дедами засеянная и обжитая? Грудь под пулю и дурак подставить сумеет, а ты сумей выжить да еще и так этих «толстопузых» перехитрить, чтоб верх над ними взять, вот тогда весь народ тебе в ноги поклонится и спасибо скажет!..

— Разве их перехитришь? — безнадежно посмотрел на Михаила старик. — Сам говоришь: если одного убить, другой с пулеметами придет...

— В том-то и дело, что нельзя бороться в одиночку! Они на нас все силы собирают, и мы так же должны! Миллионы не перестреляешь, а наша сила еще только-только народилась, вот и получилось не народное правительство, а Временное. Само за себя говорит — Временное, на время то есть! Я думаю, что если мы будем все вместе выступать, как сегодня, то они не устоят перед нами даже и с пулеметами!

— Может, и так, тебе виднее, ты человек грамотный, ученый, только у нас тоже свои обычаи есть, дедовские, и нам от них отступать негоже, — не сдавался старик.

— Что же это за обычаи? — поинтересовался Михаил.

— Немудреные, — усмехнулся старик. — Вот тебя ведь в конторе били сегодня?

— Били, — согласился Михаил.

— Вот видишь, и фонарь у тебя под глазом.

— Ну и что же?

— А то, что их, собак, убить за такое дело надо было! Деды говорили: «Если аллах забыл наказать кого-то и ты сделаешь это за него, добра на земле больше будет». А ты не дал нам отомстить за себя! Разве это справедливо? Какая же это будет революция, если таких душегубов прощать?

— Вы думаете, они не стали бы защищаться? У них же там все наготове стояло, и патронов на четыре часа, своими ушами слышал! Зачем же мне вас под пули ставить, да еще так бессмысленно? — возразил Михаил.

— Ты расскажи, какая это власть потом будет — народная? — спросил внимательно слушавший Михаила парень. От спора он даже перестал чувствовать холод и не замечал, что одеяло уже давно сползло ему с плеч на колени.

— По правде сказать, браток, я толком ответить на это пока не могу, но есть один человек, который про все это знает и ведет за собой всех... Его зовут Ленин. Ты запомни это имя... Я думаю, от каждой губернии свой представитель будет, а выбирать мы его сами станем — худого не выберем!

— Все равно не будет порядка, — обронил старик.

— Почему? — удивился Михаил.

— В стаде должна быть одна голова, а там, где две или три, уже шайтан ноги об руки ломает. Вот посмотри на лошадиный табун — один у них жеребец, и все остальные его власть знают. И у людей так же. Испокон веков ни отцы наши, ни деды, ни прадеды без хозяина не обходились, в том только беда, что хозяева худые были. А если младший не станет старшего уважать, если сын отца перестанет слушать, если бедняк перед баем, как петух, расхаживать станет, а бабы перед мул-

лой творить, что хотят, что может из этого путного выйти?.. К кому тогда сын за советом придет, на кого отец в старости опираться будет? Кому бедняк зимой кланяться станет, когда вся мука кончится? Нет, стада без головы не бывает...

Не успел старик договорить, как в барак вбежал Кулсубай в расстегнутом тулупе, с бледным лицом.

— Прячься скорей! — крикнул он Михаилу. — Из Кэжэна войска вызвали, уже по всем баракам тебя ищут!.. Через минуту будут здесь!..

— Вот что, — быстро скидывая с себя казакин, заявил старатель с округлой бородкой и пухлыми щеками, — вроде видом мы с тобой схожие, давай сюда шапку и тулуп, а сам иди вон в угол, возьми колодку и сделай вид, что лапоть плетешь! Может, получится? Да малахай покрепче натяни! Эй, ребята, дайте малахай, у кого побольше...

Кулсубай влез на верхние нары и повернулся лицом к стене. Михаил стал ковыряться в лапте, плотно натянутом на колодку. Старик прислонился спиной к стене, закрыл глаза и затянул дребезжащим голосом протяжную старую песню:

Как у нашего стола есть четыре ножки,
Как стоят на нем гурьбой сто четыре чашки,
Сто четыре иль сто пять —
Никому не сосчитать!
Помогите мне, соседи, я запутался опять...

Как во рту лепешки тают,
Что за песни здесь поют!
Все ли люди это знают?
Все ли слышат? Все ль идут?

Пир удался нынче ладный,
Все, кто хочет, заходи!
Может быть, кумыс прохладный
Успокоит жар в груди...

— Красивая песня, — сказал Михаил. — Жалко, слов не знаю. Грустная только! Сколько ни слышал у вас песен, все грустные...

— А с чего нам веселиться? — усмехнулся старик. — Есть у нас и другие песни, про Урал, про батыров наших. Будет время — все тебе спою, только и там песни хоть и храбрые, а на губах горечь выступает...

— Ничего, будут еще у вас веселые песни! — с уверенностью сказал Михаил. — Соловей и в клетке петь будет, а выпусти его, разве в нем душа не зыграет? Вот тогда и песня веселая полется!

За дверью послышались голоса. Старатель, переодевшийся под Михаила, поглубже натянул на лоб стертый до кожи козырек ушанки и сжал трубку в руке.

— Вот он! Держите его! — крикнул курносый, врываясь и указывая на старателя.

Тот, в свою очередь, сделал вид, что пытается бежать, кинулся к дверям, и, споткнувшись о ногу, ловко подставленную курносым, растянулся на пороге.

— От меня не уйдешь! — похохатывал, защелкнув наручники, курносый. — От меня потеха никогда еще не уходила!..

Старатель промывчал что-то неразборчивое, курносый не глядя дернул его за воротник, поднял и подтолкнул к двери. Несколько солдат, вбежавших в барак вместе с ним, взяли их в плотное кольцо и вывели на улицу.

Едва они вышли, как Кулсубай скатился с нар. Михаил отложил в сторону колодку с лаптем.

— Слава аллаху! Обошлось... — облегченно вздохнул старик.

— Быстрее, быстрее! — торопили их старатели. — А то они снова нагрянут!..

— На-ка вот зипун, — сказал парень и принес с дальних пар рванный, потертый зипун.

— Скажи ему за меня спасибо, браток, — кивнул головой Михаил, поднимая валявшуюся у порога трубку. — Если б не он, гнить бы мне по тюрьмам еще года два, а может, и сегодня в живых уже не было бы... Побратались мы с ним, — выходит, я ему ушанку, он мне малахай...

— Да иди ты! — сердито прервал его старик. — Они ведь и по следу пойдут, успеете ли уйти? Дай вам аллах счастья и помощи в трудной дороге! А ты приходи, сынок, когда вернешься...

— Ладно, дедушка, приду обязательно! До свиданья, товарищи! — И, махнув малахаем, исчез в темном провале дверей.

Кулсубай, кивнув, последовал за ним.

Не прошло и нескольких минут, как в барак снова ворвались солдаты. Курносый осмотрел все нары, обшарил углы, грозил, размахивал револьвером, но старатели только пожимали плечами.

— Про что твоя говорит, урус? — латая лапоть, спросил старик. — Ты пришел, схватил, а теперь говоришь, где?

— Ничего, далеко не уйдет! — злобно прошипел курносый и, сделав знак солдатам, выбежал, придерживая рукой болтавшуюся на боку шашку.

XV

Три дня Касьянов провалился в постели, не в силах подняться за дела. С утра он чувствовал слабость, к вечеру у него поднималась температура, и все это время он, кутаясь в одеяло и глядя в окно на чисто убранный двор конторы, где сновали

люди, думал о том, что вел себя как мальчишка и говорил совсем не то, что нужно было сказать, вспоминал насмешливые пскорки в глазах офицера, наглую ухмылку курносого солдата, вытянувшееся лицо Накышева, черную толпу на площади, слова Михаила, решительное выражение его спокойных светлых глаз...

— Принесите мне отчеты за последние годы, — попросил он на четвертый день Накышева, когда тот зашел навестить его.

Спустя полчаса управляющий принес ему целую грудку папок с делами, и Касьянов копался в них до ночи, выписывал в записную книжку отдельные цифры, пытаясь предугадать, насколько возрастет добыча золота в ближайшие годы, и вызывая Накышева по каждому пустяковому делу. Но как ни старался он заглушить в себе неприятные и противоречивые мысли, они не давали ему покоя, да и болезнь брала свое — папки выпадали из рук, и, усталый, он откидывался на подушки либо снова смотрел в окно, то ругая себя, то вдруг начиная горячо оправдывать, словно в нем постоянно жили и спорили два человека с разными характерами.

«Наверно, генерал или князь ипаче вели бы себя на моем месте... — думал он. — Интересно, что они ответят на мою телеграмму? Господи, и телеграмма-то, кажется, ненормальная, я же ничего не соображал, когда писал ее!.. С другой стороны, отчего я так мучаюсь? Я поступил так, как подсказывала мне совесть, я не допустил кровопролития... В любом случае с людьми нужно обращаться по-человечески и договариваться по-хорошему, ипаче ни в каком деле успеха не будет. Если пойти на уступки, они станут лучше работать, а если они станут лучше работать, и добыча повысится. Мое дело — добыча золота и хорошие отношения с рабочими, тогда и эта зараза — политика — их не коснется...»

Он так и уснул, сидя на подушках, с папками в руках, а когда на следующее утро Накышев зашел узнать, как чувствует себя хозяин, Касьянов был уже одет.

— Петр Тимофеевич, зачем же вы? — всплеснул руками управляющий. — Ложитесь сейчас же, вам еще нельзя!..

— Ничего, ничего, я чувствую себя уже вполне прилично, — возразил Касьянов. — Да и время не ждет. Пока нет ответа от компаньонов, я хочу осмотреть прииски.

— Прямо сейчас? — растерялся Накышев.

— Да, пожалуй. Дела я уже проглядел, — Касьянов кивнул на папки, аккуратно сложенные на подоконнике, — теперь пора взглянуть на все своими глазами.

— Вы что, и в шахты будете спускаться? — спросил Накышев, ощущая, как по спине его бежит неприятный холодок, как всегда перед спуском в шахту. — Нет, Петр Тимофеевич,

это немыслимо! Да я вас в таком состоянии просто не могу туда вести! Вы простужены насквозь, а там сырость, мерзлота...

— Там видно будет, спускаться или нет,— нахмурился Касьянов.— Во всяком случае, если не сегодня, то завтра обязательно спустимся. Я хотел бы узнать, в каком они состоянии и что там нужно сделать для улучшения условий работы.

«Значит, не будет продавать,— мелькнуло в голове у Накышева, и лицо его тотчас приняло скучное выражение.— А может, как раз посмотрит и решится? Надо ему самые плохие шахты показать, не станет же он по всем лазить, осмотрит одну-две — и ладно!..»

— Можем пока осмотреть плотину и некоторые тепляки,— сказал он.— Вам надо хорошо одеться, Петр Тимофеевич, а то снова сляжете... У меня как раз две шубы, давайте я вам одну принесу? Широковата будет, но зато спасет от новой простуды...

— Согласен,— кивнул головой Касьянов и, присев на кровать, стал делать какие-то пометки в записной книжке.

— Эй, Зинат! — выбежав на крыльцо, крикнул Накышев.— Зови ко мне штейгера и главного инженера, сейчас поедем с хозяином прииск осматривать! Пусть подождут в кабинете, а я на минутку домой сбегая. И вот еще что — запряги пару самых резвых и сани большие, чтобы мы все четверо уместились!

Не прошло и полчаса, как он, снова постучавшись, вошел к Касьянову.

— Все готово! Лошади запряжены...— сказал он, протягивая хозяину рыжую лисью шубу.

— Лошади? — удивился Касьянов.— А может быть, лучше пешком?

— Нет, Петр Тимофеевич, вы не сможете...— настаивал на своем Накышев.— Вон еще какой бледный...

— Отчего же? Я с удовольствием пройду... А впрочем, вы правы, наверно, да так и быстрее получится.

Он надел поверх пальто шубу, взял записную книжку и двинулся вслед за управляющим.

Во дворе уже стояли наготове просторные розвальни, запряженные парой холеных коней саврасой масти. У розвальней топтались штейгер и главный инженер. Зинатулла раскладывал на соломе теплые подстилки.

— Здравствуйте, Петр Тимофеевич! — пробасил главный инженер.— Рано встать изволили, поторопились, по лицу видеть, что еще не вся болезнь вышла...

— Не обождать ли? — поддакнул штейгер, щуря темные глазки.— Может, завтра?

— Не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня, знаете такую пословицу?

«Да, сейчас нужно обеими руками в него вцепиться, — подумал управляющий. — Главное, чтобы он мне доверял, как самому себе, иначе не только прииск, но и золото из сейфа ушлет...»

— Садитесь, Петр Тимофеевич, давайте я вам ноги как следует укутаю, — пригласил он.

— Помилуйте, Гарей Шайбекович, вы меня уже так укутали, что хоть в сугроб положи, все равно жарко будет! — рассмехался Касьянов.

— Нет уж, извольте слушаться, раз нездоровы! — весело ответил Накышев и, усаживая молодого хозяина, прикрыл его ноги ковриком.

К полудню они осмотрели несколько шурфов и подъехали к тепляку на плотине. Навстречу им, размахивая короткими полными ручками, выбежал ровняльщик.

— Какая честь! Проходите, пожалуйста! Не поскользнитесь, тут место такое... еще две ступенечки!.. — не переставая кланяться и пятясь задом, бормотал он.

Начиная с той самой минуты, как его предупредили, что хозяин хочет осмотреть тепляки, он не давал женщинам ни минуты передышки и, даже когда кончалась поступавшая из шахт порода, заставлял их перемывать заново уже промытые камни.

Поэтому женщины встретили Касьянова молча, некоторые лишь украдкой бросали взгляды на лисью шубу, мешком сидевшую на плечах молодого хозяина, на управляющего и штейгера, выглядывавших у него из-за спины.

— Здравствуйте, — сказал Касьянов.

Женщины нестройно ответили ему, продолжая кидать лопатами руду. Гульямал, стоявшая у ваггерда, на секунду оглянулась, глаза ее озорно сверкнули. Ровняльщик тотчас угрожающе двинулся в ее сторону. Гульямал, прыснув, отвернулась и стала быстро-быстро разбрасывать камни на решетке. Казалось, даже вода в том месте, где она стояла, течет быстрее и говорливее.

— Есть у вас какие-нибудь претензии к администрации, если не считать прибавки к заработной плате и уменьшения рабочих часов? — спросил Касьянов.

Работа приостановилась. Женщины, опершись на лопаты, повернулись к Касьянову.

— А как же! — задорно крикнула Гульямал. — Вон стоит самая большая претензия! — и указала рукой на ровняльщика. — Видали, какой карапуз? Как здесь, у нас, — так прямо бабий царь, роздыху не даст, а как на фронт супротив германца пойти, слабо будет! Конечно, с бабами легче воевать, и патронов не надо, а голосок у него почище всякой пушки будет!

— Опять ты язык распускаешь? — покрывшись красными пятнами, буркнул ровняльщик. — Не забывайся!

— А что ты со мной сделаешь? С работы уволишь? Так тебе же от этого хуже!

— Почему это?

— Я-то себе везде на кусок хлеба заработаю, а тебе тогда придется платок в магазине покупать!

— Не понимаю, что ты там тараторишь? — пожал плечами ровняльщик. — При чем тут платок?

— А при том! Раскинь мозгами: какой тебе мужик пойдет эту гальку мыть? А не пайдешь работницу, придется тебе самому на мое место встать! Вот тогда и наденешь себе на голову бабий платок!.. Самая подходящая корона для бабьего царя!

— Ну, язва! — с ожесточением сплюнул ровняльщик под общий хохот. — И что с тобой делать, не знаю, прямо в кишках ты у меня засела! Только от Михаила избавился, теперь новый Михаил появился, в юбке! Мало того, что меня на позорставляешь перед такими высокими гостями, — всех баб с толку сбила! Вон уже сколько руды накопилось, куда вы смотрите? Руки у вас поотсыхали?

Женщины нехотя взялись за лопаты.

— Значит, у вас нет никаких просьб? — вытирая платком набежавшие от смеха слезы, переспросил Касьянов.

— Наши просьбы дома остались, — с горечью сказала высокая худая женщина в черном платке. — Кто на печке от холода плачет, кто в люльке от голода ревет, а кто по шахтам спины не разгибает. Разве тебе, бариц, понять? Ты лучше в бараки сходи, посмотри, какая у нас жизнь, — тогда и спрашивать не надо будет...

— Правильно, Марья Николаевна! — поддержала ее Гульямал. — Не так, хозяин, спрашиваешь! Постой-ка весь день на вашгерде, а потом иди в эти клоповники да переночуй там, может, тогда небо в овчинку покажется!

— Идемте, Петр Тимофеевич, — управляющий потянул Касьянова за рукав. — Хватит на сегодня.

Касьянов молча вышел и сел в розвальни. Штейгер и главный инженер примостились сбоку.

— Давайте к баракам, — приказал Касьянов.

— Я бы не советовал вам идти туда просто так, — предупредил Накышев.

— Что значит просто так? — удивился Касьянов.

— Я бы взял с собой хоть двух солдат, а то могут быть неприятности. Старатели, знаете, народ горячий...

— А я думаю, что они такие же люди, как и мы с вами, Гарей Шайбекович, — сухо ответил Касьянов. — И мне бы не хотелось говорить с ними, приставив дуло к спине! Больше того, я считаю, что в том и заключается наша беда, что мы

говорили с народом на языке пуль. Я хочу, чтобы у меня на приiske все было по-другому, чтобы люди понимали меня, а я их, и чтобы мы могли взаимно уважать друг друга.

— Боюсь, что не получится у вас такой дружбы, как вы хотите, — усмехнулся Накышев. — Я старательский народ знаю... Вот выстави вы им завтра бочку бузы — горы для вас своротят, щелкни кнутом — пятки лизать начнут, а человеческого языка не понимают, нет! Темный народ, сам не знает, чего хочет.

— Я придерживаюсь иного мнения, — все так же сухо и непримиримо отвечал Касьянов. — Кстати, не слышал пока, чтобы вы с ними говорили по-человечески... И даже если вы правы и все так просто, почему старатели, вместо того чтоб лизать вам пятки, собираются поджечь контору и вас вместе с ней?

Главный инженер и штейгер переглянулись, главный инженер покачал головой.

— Вы у нас, Петр Тимофеевич, человек новый, годами молодой, — пробасил он, откашлявшись в кулак, — не знаете, как раньше бывало. Гарей Шайбекович вам дело советует, не след туда без солдат идти!

— Вы как хотите, а я пойду, — упрямо повторил Касьянов. — Посмотрим, кто из нас окажется прав...

Розвальни остановились у низкого, наполовину ушедшего в землю барака. Касьянов соскочил с розвальней.

— Куда здесь? Показывайте, Гарей Шайбекович! — приказал он.

— Если что, беги к офицеру, — шепнул Накышев главному инженеру.

Тот согласно кивнул головой.

Уже в узком темном коридоре Касьянов начал задыхаться, войдя же в барак, побледнел, прислонившись к дверному косяку, и прижал к носу платок.

В большом, вытянутом в длину помещении тянулись к потолку высокие нары, сработанные по одной мерке, так что человек, взобравшись на них, еле-еле мог вытянуться, а высокому приходилось спать, согнув ноги в коленях. Из трех маленьких заиндевелых окошек сочился слабый, как в предрассветных сумерках, свет. Справа, в дальнем углу, вытянув кверху колено черной от копоти трубы и словно придерживая ее потолок, стояла небольшая железная печка. Сверху на нее в беспорядке были навалены сырые валенки, каты и лапти, от которых валил и стлался по потолку белый пар. На деревянных гвоздях висели зипуны, тулупы и связки копченой рыбы, вокруг которой черными кучками шуршали тараканы. Между нарами протянуты были веревки, где сушились прелые рубахи, штаны и портянки. Справа простоволосая грудастая баба из

ковша поливала над ведром на голову коренастому, широкоплечему мужику, тот фыркал и отплеывался. Чуть подальше, над очагом в казанке кипела вода. По замусоренному земляному полу, усталанному кое-где соломой, бегали полураздетые бо-соногие ребятишки. На ближних нарах, обнявшись, чтобы не упасть, спали двое подростков, огонь от очага бросал на их худые, бледные лица багровый отблеск. Примостившись недалеко от грудастой бабы, на маленьком квадратном коврике сидел, закрыв глаза и поджав ноги, сухощавый старик. Одна щека его распухла и была обвязана грязной тряпкой, жилистая шея была худенькой, как у ребенка. Старик тихонько покачивался из стороны в сторону, бубня себе что-то под нос тоскливо-монотонное.

Вокруг железной печки, толкаясь и ругая друг друга, суетились женщины. Каждая старалась поставить чайник или кастрюлю на более выгодное место.

Их мужья, вернувшиеся после ночной смены, устало и по-нуро сидели на нарах в ожидании еды. Многие так и спали сидя. Некоторые из них чинили лапти, другие молча дымили трубками, третьи торопили жен; на нижних нарах, прикрепив к скрипучим доскам сальную свечу, трое парней, не замечая ничего вокруг, играли в карты: крики, шепот, чей-то затяжной кашель, стук ребячьих ног, храп — все смешалось в назойливый, ровный гул. Запах пота, гнили, прелых портянок, вареной картошки, сырого белья и овчины так шибал в нос, что невозможно было продохнуть, но никто, казалось, не замечал этого, так же как никто не обращал внимания на вошедших.

Касьянов отнял платок от лица.

— Что же это, господи!.. — сдавленным голосом прошептал он.

— Я предупреждал вас, — тихо заметил Накышев.

— Я все же попробую, — сказал Касьянов и, пройдя вперед, остановился у нар, где сидел длиннорукий рябой мужик, показывая на колене девочку лет четырех.

Мужик поднял глаза на Касьянова.

— Разрешите присесть с вами? — спросил Касьянов.

— Садись, пока свободно, — с неприязнью ответил тот. — Что, в своих хоромах места мало, пришел наши занимать?

Касьянов тотчас вспомнил блестящий, зеркальный паркет, бездумно скользящие по нему атласные балльные башмачки, свой дом, ручных белок в парке и покраснел до ушей.

— Мне хочется по-хорошему... Я хотел бы помочь... — сбиваясь и путаясь, стал торопливо объяснять он. — Я хочу спросить вас: почему здесь так грязно?

Мужик посмотрел на Касьянова и недобро рассмеялся:

— Что, не нравится? А не нравится, так возьми да по-чисти!

— Ну зачем ты так, Вась? — схватила его за плечо подбежавшая женщина с круглым, красным от печного жара лицом. — Может, то хороший барин, может, поможет нам? .. — Она с надеждой заглянула в глаза Касьянову. — У нас, барин, беда большая, звона братенник его родной помирает, глянь сюда, на верхние нары, повыше! А у него двое детей! Если помрет, на меня останутся, и своих трое, никак одним не под силу будет! Помоги, ежели не жалко, помоги, кормилец! ..

Баба всхлинула, прижала к глазам край темного передника и вдруг, бросившись на колени, прижалась губами к руке Касьянова.

— Что вы, да что вы! Встаньте, ради бога! — вскакивая, крикнул Касьянов. — Я помогу, я все сделаю, только встаньте! ..

— А ну, Катька, уйди! — злобно проговорил длиннорукий. — Ничего он не сделает! Разве не видишь, какой расфуфыренный пришел! Потешиться над нами захотел, на слезы твои поглазеть, дура!

— Ирод! — набросилась на него Катька. — Ты сколько мне денег приносишь?! Все пропиваешь, скоро меня пропьешь! А чем детей кормить? Ирод ты проклятый, кабак тебе жена, а не я! .. Ой, барин хороший, лиха я с ним хлебнула, ой, хлебнула же! Если ты не поможешь, хоть в петлю полезай. Не нужна мне жисть такая, лучше сдохнуть! .. — И, рыдая, припала снова к ногам Касьянова.

— Я вас умоляю, встаньте, я все сделаю! .. — затравленно озираясь, проговорил Касьянов.

— Катя, не надо! .. Катюша! .. — донесся слабый голос сверху.

Касьянов поднял голову и встретился глазами с братом длиннорукого, который тщетно пытался приподняться на локте.

Заскрипели по углам нары, старатели собирались к месту происшествия, как на представление.

— За что же это ей одной такие милости? — упреков руки в бока, зычно выкрикнула грудастая баба, сжав в руке ковш. — А мы что, хуже, чем она? У меня вон тоже четверо на шее, скоро пятый будет! Ей, значит, золотой каравай, а нам — крошки подбирай?! Ты, Катька, или за всех проси, или я тебе все патлы повыдеру!

Внезапно, вырвавшись из-за чьей-то юбки, подбежала к Касьянову девочка и с размаху ткнула его кулачком раз, другой, третий! ..

— Бисмилла! ¹ — прошептала пожилая башкирка, роняя из рук шитье. — Что ты делаешь?

¹ Бисмилла — заклинание перед молитвой, едой и при страхе.

— Зачем тетя Катя плачет? — с гневом крикнула девочка, снова замахаясь на Касьянова. — Ты нехороший! Уходи!..

Кровь бросилась в лицо Касьянову, он сжал голову руками и присел на краешек нар. Катька, прижав к себе девочку, с испугом смотрела на него. В бараке наступила тишина.

— Вы меня не поняли, — тяжело дыша, сказал Касьянов. — Я не только ей, я всем помочь хочу... Потому и пришел к вам...

— Если хочешь помочь, зачем про грязь спрашиваешь? — сердито прервал его длиннорукий.

— Как зачем? — растерялся Касьянов. — Разве плохо, если чисто? Тесно, конечно, я понимаю, но это ничего, я обещаю, я еще бараки строить буду! Но нельзя же в такой грязи жить! Разве трудно пол подмести, баню истопить?

— Ба-аню? — рассмеялся длиннорукий. — Ты, барин, спросил бы сначала, есть ли баня, а потом уж про грязь говорил бы!

Старатели дружно вторили ему. Со всех сторон смотрели на Касьянова смеющиеся, хохочущие лица. Ничего, кроме насмешки, не было в их глазах.

— Дожить бы до весны, до первой травки, а ты — баня... — с хриплым присвистом прошептал сверху брат длиннорукого.

— Сначала спроси, чем мы живот набиваем! — злобно крикнул старатель в лихо заломленной набок шапке.

— Ты сюда ночью зайди, погляди, как люди вповалку на земле спят! — наступала грудастая.

— Посмотри, в чем ходим! — обнажив голую грудь, распахнул рваный тулуп один из старателей. — Рубашки истлели, штаны сопрели, вошь на клопе сидит и тараканом погоняет!

— Я построю баню, даже две, — пообещал Касьянов, опустив голову. — Не надо так... Я не виноват, что вам так живется...

— Не виноват? — переспросил длиннорукий. — Кто же тогда виноват? Сами мы, что ли? Коль не виноват, так зачем сюда пришел!

— Я хотел узнать, чего вам не хватает... — упавшим голосом сказал Касьянов.

— Всего хватает! — уверил его старатель в заломленной набок шапке. — Вшей хватает, клопов хватает, нужды хватает, только тебя до сих пор не хватало — вот ты и явился!

— Петр Тимофеич! — окликнул его от дверей готовый бежать в любую минуту Накышев.

— Да, да, я иду, — ответил Касьянов, поднимаясь и чувствуя, как к горлу подступает противная, липкая тошнота. — Я еще приду.

— Приходи, гостем будешь! — расхохоталась грудастая.

А хошь, хоть сейчас с нами оставайся — напоим, накормим, узнаешь, почем фунт нашего хлебушка!..

Шатаясь от слабости, Касьянов еле дошел до развальной. Всю дорогу до конторы он молчал, то закрывая глаза, то вновь открывая их, но казалось, он не видит ничего кругом. Дойдя до своей комнаты, он сел на стул и туло уставился в окно.

— Не обращайтесь на них внимания, Петр Тимофеич, не падо,— стараясь успокоить и привести его в себя, суетился Накышев.— Я же вас предупреждал, что народ у нас темный, распущенный, невоспитанный... Сколько я их знаю, они к начальству без всякого уважения относятся...

— А мы? — с горечью прошептал Касьянов.— Мы к ним разве с уважением относимся?

Накышев продолжал молча стоять рядом с хозяином.

— Вы идите, Гарей Шайбекович,— махнул рукой Касьянов.— Не беспокойтесь, я сейчас лягу...

«Пожалуй, ладно, пусть останется один. Может, на пользу пойдет»,— устало подумал управляющий и, попрощавшись, вышел.

Касьянов медленно снял шубу, присел на кровать, вынул свою записную книжку и, еле удерживая карандаш в непослушных пальцах, записал: «Бани — 2. Новые бараки — сейчас 5, а потом еще».

Он провел ладонью по горячему лбу, с трудом поднял выпавший из рук карандаш, дописал: «Полы дощатые» — и не раздеваясь лег на кровать. Голова у него кружилась, спина ныла от усталости, при одном воспоминании о запахе барака к горлу подкатывал тяжелый, удушливый ком.

«Завтра же начну строить»,— подумал Касьянов и провалился в беззвучную, черную тьму...

Пришедший утром Накышев застал его в самом плохом состоянии. Он срочно велел запрягать и под надзором штейгера отправил хозяина в Верхнеуральск, в уездную больницу.

XVI

С тех пор, как началась война и мужчины один за другим стали уходить на фронт, Сакмаево год от года разорялось, словно каждую ночь слетались сюда большие хищные птицы и разносили деревню по колышку, по жердочке.

Почти ни у кого не осталось дворовых построек, сараи разбирали на дрова, некому было подправить кренившиеся набок плетни, починить ветхие крыши. Голые, беззащитные дома еще до середины зимы засыпало снегом под самые окна. Никто уже не убирал, как прежде, сугробов, и лишь узкие, вытоптанные тропинки вели от ворот к дверям, оставляя слева и справа от себя высокие, как стены, снежные заносы.

Акман-токман сорвал несколько старых крыш, свалил и поломал редкие одинокие деревья, и только дымки чувалов говорили еще о том, что здесь живут люди...

Ежась и потирая озябшие уши, Гайзулла еле-еле выбрался на необкатанную дорогу и направился в сторону, где жил мулла Гилман.

Дом муллы находился недалеко от мечети и, как и дом Хажисултана-бая, поглядывал светлыми окнами на деревенскую площадь. Это был один из немногих сохранившихся домов в поселке. Все дворовые постройки его остались целыми, а двор был тщательно убран и подметен. У сарая, перебирая несколько пар вожжей, стоял Ягуда-агай.

— Добрый день! — поздоровался Гайзулла. — Хозяин дома?

— Где ж ему еще быть в такой холод? — с недовольным видом ответил Ягуда-агай.

— Не знаешь, случайно, не нужен ему работник?

— Почему мне знать, может, и нужен, — пробурчал Ягуда-агай. — Только он их, по-моему, задаром нанимает...

— Как это задаром? — не понял Гайзулла.

— А так! Нанять наймет, а платить не платит, словно не дни, а грехи свои ему отработываешь! — объяснил Ягуда-агай и, выбрав нужные ему вожжи, ушел в сарай.

Гайзулла вытер ноги о разноцветный половик в просторных сенях и робко постучался. Не получив ответа, он потянул за ручку и, сдернув малахай, робко переступил порог.

Гилман-мулла сидел на большом красном ковре и, сложив руки, отвечивал длинные поклоны в сторону восточного окна. Рябое лицо его было почти полностью скрыто под белой чалмой, из-под халата торчали мягкие сафьяновые сапожки.

Скрипнула половица. Из-под широкой цветастой занавески показалось на мгновение круглое лицо жены муллы Рамзии. Гайзулла кивнул головой, боясь произнести слово, чтобы не нарушить молитву, и Рамзия снова скрылась за занавеской.

Наконец мулла перестал отвечать поклоны. Еще несколько минут он сидел в молитвенной позе, беззвучно шевеля губами, затем подобрал полы длинного халата, встал и, словно только что заметив гостя, уставился на Гайзуллу неподвижным взглядом.

— Ассалам агалейкум, мулла хэзрет! — чувствуя себя неловко под его испытующим взглядом, вежливо поздоровался Гайзулла.

— Вагалеюкм саям¹, — протяжно, словно пропел мулла. — С чем пришел молодой джигит? Хочет ли он, чтобы я совершил молитву о здравии его родных, или он хочет жениться

¹ Ответное приветствие.

и пришел просить, чтобы я прочитал никах¹ и простер над его домом благословение аллаха?

— Нет,— покраснев, ответил Гайзулла.— Я пришел спросить, нет ли у вас в доме какой-нибудь работы для меня.

— Работы? Ну что ж, садись, давай подумаем... Эй, жена, принеси-ка нам чаю!

Почти тотчас вслед за его словами из-за занавеси вышла Рамзия с кипящим самоваром в руках, словно только и ожидала этого окрика. Она проворно расстелила перед муллой красиво вышитую скатерку, поставила на нее чашки и, снова чуть ли не бегом скрывшись за занавесью, так же быстро вынесла оттуда горячие лепешки на блюде, кувшин кислого молока и деревянные миски.

Мулла неторопливо присел у скатерки, прислонился спиной к подушкам и кивнул Гайзулле:

— Садись, джигит. Поговорим. Язык голову кормит, а голова язык, и это дело, угодное аллаху! Бисмилла!

Он разлил по мискам кислое молоко и помешал в своей миске ложкой. Руки его с длинными, как бы заостренными пальцами были холеными и белыми, как у богатой женщины, и Гайзулла, скромно присевший на краешке ковра, старался, чтобы и его шершавые, обветренные руки выглядели так же уверенно,— взяв ложку, он тоже стал помешивать молоко.

«Аллах, я, пожалуй, и забыл, какого оно вкуса! — неожиданно подумал он.— Но если я покажу это мулле и съем свою чашку раньше, чем он, то он может решить, что я слишком прожорливый, и не возьмет меня... Наверно, он нарочно поставил мне еду, чтобы посмотреть, как я ем!...»

— Какая же пужда заставила тебя прийти просить работы? — снова как бы пропел мулла.— Ведь ты уже работаешь у Хажисултана-бая. Или он мало платит тебе?

— Нет, он платил мне хорошо,— стараясь поднести ложку ко рту так же лениво и говорить так же степенно, ответил Гайзулла.— Но теперь я больше не работаю у него...

— Почему же ты потерял такую выгодную работу? — удивленно сказал мулла, задержав свою ложку на полдороге.— Наверно, ты плохо работал? Или кто-то сказал о тебе неправду Хажисултану-баю и он выгнал тебя, не проверив, на самом ли деле ты виноват? Или он плохо с тобой обращался и ты сам решил найти себе другого хозяина?

— Нет, нет! — торопясь, возразил ему Гайзулла.— Все было не так, мулла хэзрет. Честное слово, я очень старался, когда работал у него, и на обращение тоже пожаловаться не могу! Он меня из-за Нафисы выгнал...

— Из-за Нафисы?..— еще более изумленно проговорил

¹ Н и к а х — молитва при бракосочетании.

мулла.— Ай-хай, не зря говорится в коране, что женщина — нечистая тварь, и все зло — от нее! Кто с женщиной свяжется, тот потеряет голову и сам станет носить юбку. Воистину, обереги нас аллах от такой беды! Что же натворила опять твоя сестра? Что ей, мало того горя и позора, что она уже принесла в родительский дом? Да она у тебя, наверно, просто албасты — злой дух! Где ни пройдет, везде следом несчастье катится... В прошлом месяце, когда меня позвали прочесть никах над твоей сестрой и Нигматуллой, я уж было подумал, что теперь-то она возьмется за ум и будет вести себя так, как положено по шариату! Ведь ей достался в мужья не кто-нибудь, а человек не бедный, уважаемый, дом его — полная чаша, и раз он живет в таком довольстве, значит — аллах чтит благочестие этого человека. На его месте, право, я бы еще подумал, прежде чем брать в жены такую, как твоя сестра... Так расскажи мне, что совершила опять эта неверная?..

— Она ничего не сделала худого, — покачал головой Гайзулла.

— Как же не сделала, если из-за нее тебя выгнали с работы? Зачем ты хочешь скрыть от меня проступок сестры? Даже если ты не расскажешь мне о нем, то аллах на небе видит все ее прегрешения, и она споткнется, не пройдя и шага, когда вступит на мост, что ведет в рай! Каждый из нас получит то, что заслуживает, а у нее уже столько грехов на душе...

— Она не виновата в том, что Хажисултан-бай выгнал меня, — с трудом слушая, как мулла посылает проклятия на голову его сестры, проговорил Гайзулла. — Просто Хажисултан-бай разозлился, что она вышла замуж, вот и выгнал меня...

— Даже если это так, я в это не верю, — не такой человек Хажисултан-бай, чтобы помнить старые обиды, ведь мы с ним соседи, и я знаю, как благочестиво он живет, — вылив в ложку остатки молока, размеренно ответил мулла, — так вот, даже если это так, то я не понимаю, почему же теперешний муж твоей сестры не даст тебе работы? Хозяйство у него большое, и рук в нем, по-моему, не хватает. Или сестра твоя плохо отозвалась о тебе и такой почтенный человек не хочет иметь с тобой никакого дела?

— Нет, Нафиса-апа не могла сказать обо мне ничего плохого, — все так же ровно отвечал Гайзулла. — Но мы бедняки, и ее муж не хочет признавать родства с нами...

— Нет, тут что-то не так, — пристально глядя на Гайзулла, возразил мулла. — Муж твоей сестры уважает обычаи дедов, обычаи дедов говорят нам, что родня — это самое святое, что есть у человека. Не иначе как ты пришел сюда, чтобы обмануть меня... Зачем ты говоришь дурные слова о двух самых достойных людях в поселке? Насколько я знаю, ни один из них не причинил тебе ущерба, а только, наоборот, помогал твоему

дому в трудное время. Нет, ты неблагодарный человек, и, видимо, они долго терпели твою неблагодарность и лень, прежде чем выгнать тебя и отказать в куске хлеба! Но аллах сказал, что всякое доброе дело будет отмечено, и всякое худое — наказано, вот тебя и наказали. Тебе стоило бы прийти ко мне, чтобы молиться об отпущении грехов, а ты оправдываешь собственную лень и клеветнешь на тех, кто были твоими благодетелями. И ты хочешь после этого, чтобы я нанял тебя, как работника?

Он допил чай и с важностью поставил пустую чашку на скатерть. Гайзулла так и сидел с ложкой в руке, низко опустив голову. На дне его миски еще оставалось молоко, и он не знал, можно ли ему после таких слов допить его.

— Хвала аллаху за эту еду, что он послал мне сегодня! — благочестиво подняв глаза, проговорил мулла. — Пусть и дальше будет благословение твое над моим домом, и я всегда буду благодарен тебе за эти крохи, что ты присылаешь своим слугам для поддержания сил!

Гайзулла молча положил ложку на скатерть.

— Эй, жена! — крикнул мулла.

Рамзия унесла самовар и чашки, сложила скатерку и собралась уже было снова уйти за занавеску, но мулла остановил ее.

— Скажи, хватает ли рук у меня в хозяйстве? — кичливо спросил он.

— У тебя в хозяйстве всего хватает, — спрятав руки под передником, смиренно сказала Рамзия. — Но разве жена советчица своему мужу в таких делах? Если тебе кажется, что у тебя в хозяйстве чего-то нет, скажи мне о своем желании, и если аллах поможет мне, я выполню его. . .

Мулла с довольным видом посмотрел на ее полноватую, крепко сбитую фигуру, на аккуратную головную повязку, перехваченные лентами и монистами косы. Рамзия стояла посреди комнаты не шелохнувшись, опустив глаза и ожидая, что прикажет ей муж.

— Ладно, иди! — махнул рукой мулла, и жена тотчас скрылась за занавеской.

Мулла развалился на подушках и все тем же изучающим взглядом посмотрел на Гайзуллу. Гайзулла поежился.

— Ты видел, как должна вести себя женщина, если она уважает обычаи дедов и шариат? Это не то что твоя сестра, у которой под каждой пяткой сидит по злему духу! Если когда-нибудь будешь выбирать себе невесту, посоветуйся со мной — я знаю толк в женщинах и сразу вижу, какого они характера. . .

— Так как же насчет работы? — кашлянув, спросил Гайзулла.

— Насчет работы? Разве тебе еще не ясно? Или, может быть, я уже слишком стар и не умею даже ответить на вопрос человека? — Мулла сердито сдвинул к переносью седые брови.

— Нет, что вы! — испуганно заморгал Гайзулла. — Вы очень хорошо говорите, это просто я, наверно, такой непонятливый...

— Ну что ж, если ты такой непонятливый, я могу объяснить тебе еще раз. Но, по-моему, я ясно сказал, что мне не нужен ленивый работник...

— Я не ленивый, мулла-хэзрет, — робко прошептал Гайзулла. — Пожалуйста, проверьте, как я работаю, я вам докажу!

— Нечего и проверять! Я тебя уже проверил! — отрезал мулла. — Насквозь вижу, какой ты ленивый и неблагодарный человек!

— Как? — опешил Гайзулла. — Вы даже не посмотрели, что я умею делать! Я знаете как быстро работаю? Мулла-хэзрет, возьмите меня, ради аллаха, не дайте пропасть с голоду! Я буду очень, очень стараться, вот увидите! Все же знают, какой вы добрый и благочестивый человек, поэтому я и пришел к вам за помощью... Возьмите меня, век буду вашу долгу помнить! — на глазах Гайзуллы показались слезы.

— Нет, — покачал головой мулла, — зря ты меня уговариваешь... Я ведь уже сказал тебе, что мне нужен работник, а не дармоед.

«Алла, зачем я столько съел? — с отчаянием подумал Гайзулла. — Надо было только отхлебнуть и сразу положить ложку!»

— Я больше не буду так много есть, — вытер ладонью мокрые глаза и взмолился он. — Мулла-хэзрет, если вы меня возьмете, я на вас по гроб жизни работать буду, все буду делать — и двор чистить, и за лошадьми ходить, и за овцами!.. Я не ради себя прошу — мать у меня дома лежит больная, а есть печего и топить нечем... Мулла-хэзрет, сжальтесь, вы же мусульманин!..

— Я-то мусульманин, а вот ты даже не находишь нужным, придя ко мне, выбрить голову и поблагодарить аллаха за еду! — язвительно заметил мулла.

— У меня нет бритвы! — стал оправдываться Гайзулла. — Только возьмите меня, и я куплю... У меня мать больная, пожалейте!

— Какой ты все-таки бестолковый! — недовольно нахмурился мулла, поднимая голову от подушек. — По сто раз тебе пужно одно и то же разжевывать... Какое мне дело до того, что творится у тебя в доме? Ты пришел сюда наниматься, а не милостыню просить, а мне не нужен лепивый работник!

— Но почему вы решили, что я ленивый? — обескураженно воскликнул Гайзулла.

— Потому, что когда человек ест, у него уши должны ходуним ходить, а ложка из руки в руку летать! А ты, когда ел, спал, тебе даже ложку ко рту лень поднести! Какой же из тебя работник?..

— Я думал, это нехорошо! Я думал, наоборот... — попытался объяснить Гайзулла.

— Э, какая мне забота, что ты там думал! — досадливо отмахнулся мулла. — Лучше подумай, что скажут обо мне Хажисултан-бай и Нигматулла-бай, самые почтенные люди в нашем поселке, если я, после того, как они выгнали тебя, стану тебе помогать? Они же решат, что я хочу поссориться с ними и нанести им обиду! Нет уж, раз ты наказан аллахом за свою лень и неблагодарность, выпутывайся из этого сам!

— Мулла-хэзрет!.. — Гайзулла умоляюще посмотрел на муллу.

— Сказали тебе — нет, нет и нет! Надевай малахай и не приходи ко мне больше с такими просьбами! Вот если тебе нужно будет отмолить грехи или жениться, тогда я с радостью помогу тебе!

Гайзулла медленно оделся, продолжая смотреть на муллу все так же просительно, и мулла, чтобы не видеть этого взгляда, поудобнее расположился на подушках и повернулся к нему спиной.

— Ну что, взял? — поинтересовался Ягуда-агай, заметив на крыльце высокую худую фигуру Гайзуллы.

— Нет, не захотел...

— Еще бы! — фыркнул Ягуда-агай. — Работнику ведь платить надо — не деньгами, так едой, где ж такому бедному человеку, как наш мулла, найти столько денег и столько еды! Ему хватает того, что он на двух рабочих, как на десятих, ездит, зачем ему третий!..

Оказавшись за воротами, Гайзулла устало прислонился к плетню, не зная, куда идти. Темно и тоскливо было у него на душе. Деревня словно вымерла, и серое небо над ней тускло светило с холодной своей высоты.

«Аллах, как жестоко ты поступаешь со мной! — поднял глаза вверх Гайзулла. — Зачем ты придумал эту зиму? Почему ты помогаешь всем, кроме бедных людей? Даже птицы зимой находят, чем прокормиться, а мне не к кому идти просить помощи... Хажисултан-бай теперь и близко меня ко двору не подпустит, а Нигматулла в последний раз избил Нафису за то, что я пришел туда... Ведь она, бедная, и замуж-то за этого подлого вышла только, чтобы помочь мне и матери! Как ты допустил это? За какие грехи ты разлучил мою сестру и Хисмата, за что ты покрыл позором их имена, почему они должны так страдать? И почему тебе жалко помочь мне достать сегодня хоть немного еды, чтобы накормить мать? Ведь она уже

второй день ничего не ест... Почему ты не надумишь меня, куда мне пойти, где заработать кусок хлеба? Разве это худое дело?.. Или все это месть хозяина горы за тот несчастный кусок золота, что отец отдал Галиахмету-баю? Но когда же все кончится, неужели несчастье всю жизнь будет преследовать меня?..»

Он начал мерзнуть и, надвинув поглубже малахай, засунув руки в рукава, побрел по улице.

Новый дом Нигматуллы, высокий, с крашеными кружевными наличниками и палисадником, даже издали выделялся среди приземистых домиков Сакмаева.

У тяжелых, словно отлитых из чугуна, темных ворот с навесистым козырьком на русский манер Гайзулла остановился. Он не хотел идти к сестре, но ноги будто сами подвели его сюда, и теперь не оставалось ничего другого, как попытаться счастья здесь.

«Говорят, голод и в ад заведет,— невесело подумал он. — А вдруг самого нету дома и Нафиса вынесет мне кусок хлеба для матерп... А прогонит Нигмат — что ж, от чужого стола не стыдно отойти».

На усадьбе глухо, как из-под земли, залаяла собака. Гайзулла постоял еще с минуту, переминаясь с ноги на ногу, потом надавил плечом на калитку с железной пружиной и проскользнул во двор.

Собака высунулась из конуры, лязгнула цепью, точно раздумывая, лаять ли ей или еще подождать. Длинная проволока тянулась от ее конуры до забора, около сарая высилась куча полузасыпанных снегом свежих стружек, за сараем виднелись спускавшиеся почти до самой реки длинные клетки с тесовыми крышами, двери их были окованы железом, на каждой из дверей в больших петлях висело по два замка.

Собака лениво твякнула, и сразу от одной из клеток отделилась коренастая фигура Нигматуллы.

— Кого там носит? — ищурясь на свет, крикнул он. — Ах, это опять ты, сорока хромоногая! Сколько же тебе нужно говорить, чтоб ты ко мне не являлся? Или ты забыть дорогу не можешь с тех пор, как я тебя прогнал? Будешь упрямиться, как осел, я тебе и вторую ногу сломаю, слышишь? Может, тогда и хромать перестанешь, выровняешься?

— Не выгоняй меня, агай,— жалобно произнес Гайзулла. — Мать совсем свалилась, кашляет целыми днями, а я нигде не могу найти работы... Помогите мне, мы же с тобой теперь родичи!

— Чего ради? — осклабился Нигматулла, показывая свои желтые, прокуренные зубы. — Если я себе десять жен заведу, что же, прикажешь мне тогда даром десять семей кормить? Такого родственника, как ты, мне и вовсе не надо! В тебя

одного, как в бездонную бочку, все без толку провалится!

— Я не прошу тебя помогать мне даром, — низко горбясь, выпрашивал Гайзулла. — Может быть, тебе нужен работник? Ты же знаешь, агай, я все умею делать. Давай я буду твой двор убирать, а ты мне за это будешь давать хоть немного еды, чтобы прокормить мать...

— Без тебя найдется кому убрать! Убирайся сам отсюда! — Нигматулла сплюнул.

— Тогда дай мне хотя бы повидаться с моей сестрой! — со слезами в голосе тянул Гайзулла, не двигаясь с места. — Почему ты такой злой?

— Вот как! Ты еще меня же на моем дворе поносить будешь?

— Нет, агай, нет! — испугался Гайзулла. — Я тебя не ругаю, да пошлет всемогущий аллах добро и радость твоему дому! Но разреши мне повидать сестру... Я не буду в дом входить, пусть она сама ко мне хоть на минутку выйдет. Я хотя бы привет от матери ей передам...

— Ну, уж если тебе так хочется, сейчас я тебе покажу сестру, — Нигматулла усмехнулся и, подойдя к будке, спустил с цепи собаку. — Хес! Взять, Кетмер!..

Гайзулла не успел сделать и шага, как собака, в несколько прыжков оказавшись рядом с ним, прыгнула на него мохнатой рыжей грудью, свалила на землю и, рыча, вцепилась зубами в воротник зипуна. Глаза ее были такими же желтыми и злыми, как у Нигматуллы.

— А-а-а-а!.. — закричал Гайзулла. — Не надо! Убери ее, агай, я больше не приду! Спа-а-сите!

На отчаянный его вопль во двор выбежала Нафиса и, остолбенев на крыльце, что есть силы позвала:

— Кетмер! Кетмер! Нельзя!

Услышав ее голос, собака прижала уши и, виновато виляя хвостом, пошла к будке.

Нафиса подбежала к брату и помогла ему подняться на поги.

— О алла, зачем я появилась на свет! — всхлипнула Нафиса, уткнувшись в плечо Гайзулле. — Лучше бы мне никогда не вылезать из живота моей матери! Лучше бы отец сразу бросил меня в реку!..

— Кто тебе позволил выйти из дому? — заорал Нигматулла.

Нафиса подняла заплаканное лицо, тут же вжала голову в плечи и закрыла ее руками. Подбежавший Нигматулла так дернул ее за косу, что она не удержалась на ногах и упала в снег.

— Шлюха! — волоча ее за косу к высокому крыльцу, кричал Нигматулла. — Мало тебе, что я твой позор на себя взял! Люди и так на меня пальцами показывают! Неблагодарная тварь!

Собака, услышав ругань хозяина, снова рванулась от будки, взвизгнуло, скользая по проволоке, железное кольцо, и Гайзулла сле успел выскочить за ворота. Калитка захлопнулась за ним, точно выстрелила в спину, и, закрыв глаза, он в изнеможении прислонился к забору.

«Убе-ей, убей меня!» — бил ему в уши рыдающий голос сестры, а он стоял, окаменев, у забора, и слезы бессилья душили его.

«Как ты можешь терпеть это зло, аллах? Почему ты не видишь ее мук и не наказываешь этого жестокого человека? Да и человек ли он, если забывает, что грех мусульманину быть таким неразумным и жить одной ненавистью? Почему ты прощаешь ему, когда он забыл, что есть ты, аллах, и что когда-нибудь придет его час страданий, и ты вспомнишь все зло, которое он сотворил на земле? Неужели он одними молитвами отводит от себя все прегрешения и ты не видишь, что он живет обманом и подлостью? — Гайзулла шел и шептал все эти слова, и на душе его становилось легче. Он вытер ладонями начинавшие щипать на морозе щеки и, придерживая одной рукой разорванный воротник, не спеша брел к дому. — Неужели, аллах, тебе трудно, как и нам, разобраться, что делают люди на земле, и отличить праведных от неверных? Вот раньше люди думали, что во всем виноват царь, и кляли его, сейчас царя сбросили, а жизнь все равно, как каторга, а может быть, и хуже... Или каждому написано на роду испытать то, что было известно тебе одному, аллах, еще до того, как все мы появились на свет? Но кому и зачем нужна такая жизнь, если мы должны терпеть только лишения и муки?»

Проходя мимо ворот Хажисултана-бая, Гайзулла вдруг вспомнил, как еще совсем недавно он и его друг Загит, дрожа от каждого шороха, наклеивали на эти ворота листовки, которые им дал Хисматулла.

«А может быть, меня выручит Султангали, брат Загита? — неожиданно подумал он и остановился, оглядываясь по сторонам, будто кто-то шепнул ему эту удачную мысль на ухо. — Расскажу ему о брате, обрадую его, что Загит жив и здоров, и он за это даст мне немного хлеба и картошки! Мне только перебиться день-два, а там я еще что-нибудь придумаю и найду!»

Он заторопился, прихрамывая сильнее, чем обычно, и теперь уже верил, что его ведет удача. На земле тоже посветлело, облака поредели, и иногда сквозь разрывы проглядывало солнце, и снег слепяще вспыхивал на гребнях сугробов.

Он быстро дошел до дома Хакима и, не стяхнув снег в сених, не постучавшись, рванул на себя дверь.

Его удивила царившая в доме тишина. Сумрачный свет еле пробивался через узкие, почти заваленные снегом, оконца, и глаза должны были привыкнуть, чтобы начать что-нибудь различать.

— Эй, есть кто в доме? — громко спросил он и, сделав шаг от порога, увидел Аптрахима.

Мальчик сидел, сжавшись в комочек, в темном углу около холодного чувала, худенькие его плечи были прикрыты ветхим ковриком.

— Ты почему же не отзываешься? — спросил Гайзулла.

Мальчик сидел по-прежнему, сторбившись, не шевелясь, и только большие черные глаза его испуганно стили, как неживые, на бледном лице.

Гайзулла огляделся, и сердце его сжалось от тоски и жалости. Дом выглядел совсем заброшенным и пустым, точно люди давно оставили его, и лишь по какой-то нелепой причине бросили тут одного этого мальчика. Занавеска, отделявшая когда-то мужскую половину от женской, была сорвана, чувал почернел от копоти и дыма, со стен свисали лохмотья паутины. Деревянный пол был так замусорен, словно его не мели целый год. На узких дощатых нарах валялось какое-то тряпье, не было ни одной подушки, половина досок была оторвана, и через проломы виднелся покрытый толстым слоем пыли пол.

«Неужели Хаким стал топить свой дом нарами? — поразился Гайзулла. — А слух прошел, что он собирался жениться? Разве можно приводить молодую жену в такой дом?»

Он присел на корточки и тронул мальчика за плечо:

— Ты знаешь меня? Я Гайзулла, друг твоего брата Загита!

При упоминании о старшем брате лицо мальчика оживилось, но он тут же скривился, словно собирался заплакать.

— Загита волки съели! — мрачно насупившись, сказал он. — Его шайтан на том свете в котел грешников бросил!

— Это кто тебе сказал?

— Отец каждый день его так ругает... Это из-за него мы так плохо живем!

— И ты веришь?

— Как же мне не верить словам отца? Разве я не сын ему?

— Ты должен почитать своего отца, как положено сыну и доброму мусульманину, — подтвердил Гайзулла и, помолчав, добавил: — Однако насчет Загита он ошибается... Он живет на этом свете и скоро ты его увидишь!..

— Зачем ты меня обманываешь? Я уже не маленький! С того света люди не возвращаются!

— А он на том свете не был, он просто долго болел и не мог известить вас, что живой и невредимый. Я тебе правду говорю! — Он потряс мальчика за плечо. — Слышишь? Только ты покамест молчок об этом! А то Нигматулла подкараулит его и убьет!

Аптрахим заплакал в голос и, дернувшись вдруг всем телом, уткнулся в колени Гайзулла.

— Спасибо тебе, агай, — всхлипывая, выговаривал он. — Лучше Загита никого на свете нет! И Гамиля, и мама жалели и любили его, и он их жалел, и еду нам всем приносил, и гостипцы... Они умерли, и у меня никого больше не осталось, кроме Загита!

— Как же никого? А отец? А Султангали?

— У отца я на шее вишу, он мне об этом каждый день говорит... А старшего брата я совсем в глаза не вижу, он живет где-то на стороне! Зачем я ему? Он разбогатеть хочет, как Нигматулла...

— Жалко, что мне тоже нечем пока накормить тебя, — вздохнул Гайзулла. — Но как только я достану хлеба, я тебе принесу, слышишь? Я не оставлю тебя!.. Может быть, скоро Загит придет, тогда тебе будет хорошо... Давай я хотя бы печку затоплю, чтоб в доме не было так холодно...

— Ой, не надо, агай! — Аптрахим схватил его за руку. — Отец побьет меня... Если бы эти дрова были из леса, тогда можно было бы, а от нар ничего скоро не останется...

— Ну, смотри, как знаешь, — Гайзулла в растерянности постоял около мальчика, потом нерешительно двинулся к порогу. — Может, тебе лучше к нам пойти? Все же в тепле будешь сидеть?

— Нет, я буду ждать отца, — мальчик упрямо мотнул головой. — Он обещал принести картошку...

Когда Гайзулла вышел на улицу, его уже ничто не радовало — ни вышедшее из-за облаков солнце, ни залитая светом улица. Но, как ни странно, своя беда уже не казалась рядом с чужим горем такой большой, как прежде.

XVII

Он пробродил по улицам до сумерек, уже не надеясь достать хотя бы кусок хлеба для матери, когда неожиданно за мечетью послышался мальчишеский свист и крики и в ту же минуту из-за ограды высыпала на дорогу целая ватага деревенских ребятшек.

«Опять, паверное, за Шарифуллою гоняются, — подумал он. — И как они могут так издеваться над бедным человеком! Нигматулла разорил его, а они каждый день плюют нищему».

и больному человеку в душу! И аллах не остановит и не накажет их».

И тут он увидел бегущего впереди ватаги Султангали. Вот он вырвался на раскатанную санную дорогу и остановился, поджидая мальчишек.

Гайзулла не сразу догадался, чем он занимается, решил даже, что он играет с ребятишками в какую-то новую игру, но, подойдя ближе, в удивлении замер.

Вынув из карманов холщовых штанов конфеты в бумажной обертке, Султангали разложил их на передках своих кат с суконными голенищами и осторожно, точно идя по натянутой веревке, стал пятиться по санной колее. Ребятишки, согнувшись, чуть не ползли следом за ним, не спуская жадного взгляда с конфет, ожидая, когда хоть одна свалится с ката и упадет в снег. Тогда тот, кто был ловчее всех, хватал ее, а остальные пытались отобрать ее у него, падали в сугроб, визжали, царапали друг друга. За мальчишками, отстав на несколько шагов, мелкой трусцой бежал Шарифулла, весь обвешанный железными погремушками, консервными пустыми банками, сквозь гвалт и крики доносилось дребезжание железок и слабый голос нищего, похожий на мычание. Нечего было и думать, чтобы ему досталась в этой драке хотя бы одна конфета, но он бежал за ребятишками, точно на невидимой привязи.

Внезапно Султангали, подпрыгнув, как козленок, раскидал все конфеты, и вся ватага кинулась на дорогу, и началась потасовка.

— Я первый схватил!

— Отвяжись, а то тресну!

— Ах ты гад! Ты кусаться?

Ребятишки рвали конфеты друг у друга, валялись в снег, ползали по дороге, у кого-то из носу уже текла кровь, кто-то ревел от обиды и боли. А Султангали, отойдя в сторону, весело хохотал и потешался устроенным себе на забаву зрелищем и изредка покрикивал и подзадоривал:

— А ты дай ему подножку!.. Смажь его по сопатке! Вот так, чтоб не зевал!.. Для чего аллах наградил нас кулаками? Чтобы драться и не давать спуску друг другу!

Вытащив из кармана горсть леденцов, он швырнул ее в сугроб, и началась новая свалка, визг, крики и слезы. Шарифулла тоже было кинулся за леденцами, но кто-то подставил ему ногу, и нищий со всего разбега рухнул в сугроб, зарываясь в него головой.

— А ты почему стоишь? — точно только сейчас заметив подошедшего Гайзуллу, насмешливо спросил Султангали. — У тебя своих конфет много? Ха-ха!.. — Он нащупал в кармане конфету и протянул на ладони: — На, бери, я не жадный!.. Я скоро разбогатею, как Нигматулла, и буду всем бедным и нищим

куски бросать, чтоб все знали и говорили: «Вот идет Султанга-ли-бай, богаче его нет человека даже в Кэжэне!»

Подержав конфету, он снова небрежно сунул ее в карман и сплюнул.

— Гордый ты, видать, как мой братец Загит, чтоб ему на том свете жарко было! Слюну проглотить, а хлеба не попросишь!

Тут Гайзулла увидел в его зубах кусочек жвачки, похожей по цвету на темный янтарь, и во рту его на самом деле стало влажно от слюны. Он вспомнил, как еще недавно мать готовила эту жвачку из лиственничной смолы, чуть сдабривая ее маслом, он любил ее жевать, и сейчас, будь у него эта жвачка из смолы или хотя бы та, что делается из молодой березовой коры, он бы мог терпеть даже сильный голод. Когда ее жуешь, то вроде и есть совсем не хочется. . .

— Послушай, кустым¹, — подавляя в себе недоброе чувство к заносчивому и наглому подростку, сказал Гайзулла, — я был у вас дома. . . Почему ты забыл о своем младшем брате? Аптрахим может умереть с голоду, у него уже нет сил, чтобы встать на ноги. . .

— Разве моя мать его родила? — смачно жуя жвачку и поминутно сплевывая, ответил Султангали. — Когда мне было шесть лет, я ни у кого ничего не кланчил, а воровал и был сыт! Пусть каждый живет как умеет. . . Я им не батрак, чтоб на них работать!

— Но если Аптрахим тебе не родной, почему ты не признаешь своего отца и не поможешь ему?

Султангали с презрительным вызовом оглядел Гайзуллу, его залатанный zipун, наполовину оторванный воротник, старый малахай, торчавший, как воронье гнездо, на маленькой голове.

— Ты мог бы и не напоминать мне об этом глупом осле! — сказал он, не скрывая своей издевательской ухмылки. — С тех пор, как он сбрил бороду, он для меня не отец!

— Сбрил бороду? Зачем?

— Так ты не слышал, как он опозорил себя и меня и весь наш род? — удивился Султангали. — Все Сакмаево хохочет над ним, пальцами в него тычет, а он на старости лет с ума сошел и надумал жениться?

— Об этом я слышал. . .

— Тогда зачем просишь за него? Он же из-за этой вертикалки Гульямал сбрил себе бороду, чтобы ей понравиться! Она ему так сказала: «Сбреешь бороду — я за тебя пойду!» Это не баба, а шайтан в юбке! И когда он пришел домой пьяный и без бороды и растерял по дороге свой последний разум, я перестал бывать дома! Хватит с меня и того, что над ним смеется вся

¹ Кустым — обращение к младшему,

деревня!.. И за что аллах наградил меня таким отцом? Пусть они с Аптрахимом подышают, но моей ноги у них больше не будет!.. Мне и так стыдно на глаза людям показываться... «Постой, постой,— говорят все,— это не твой отец лишился из-за бабы своей бороды?» Лучше бы мне провалиться сквозь землю, чем слышать эти слова!..

Шарифулла наконец каким-то образом изловчился и сгреб голой рукой сразу несколько леденцов, кто-то из ребятишек заметил это и крикнул:

— Он набрал больше всех! Ловите его!

Прижав кулак к груди, Шарифулла бросился наутек, и вся ватага, улюлюкая и крича, кинулась следом за ним.

— Послушай, агай,— обращаясь к подростку как к старшему и стараясь этим смягчить и свою неприязнь и вместе с тем как-то задобрить Султангали, сказал Гайзулла,— одолжи, если можешь, два фунта муки... Мне нечем кормить мать.

— А чем будешь отдавать? — Султангали рассмеялся.— Вшами? Или ты, как мой отец-дурак, когда берет в долг, обещает отдать вовремя, а приходит время, он забывает у кого что брал!.. А когда сам кому одолжит и не получит, то сразу идет жаловаться к старосте Мухарраму: помогите, обидели правого верного мусульманина.

— Но почему ты мне не веришь, что я отдам тебе свой долг?

— Почему? — чавкая жвачкой, Султангали уставился на Гайзулла, на его красное от стыда лицо, с выражением покорности и смирения, и смягчился.— Ладно, так и быть, рискну, хоть у тебя и нет ничего за душой! Отдашь не муку, а поможешь мне!.. В это воскресенье все старатели будут сидеть по домам, а мы полезем в тепляки, пошуреем там немного!

— А что мы будем там делать? — Гайзулла побледнел.

— Может быть, люди что забыли там, а мы подберем! — с загадочным видом проговорил Султангали.— Да чего ты задрожал раньше времени? Я не первый раз туда пойду...

— Мать говорит: кто у мусульманина украдет, того на этом свете наказание ждет, а кто у русского, тому и на том свете прощенья не будет...

— А я и не собираюсь ничего воровать! Вот увидишь, что мы и рук своих не замараем, такая чистая работа, но зато прибыльная!

— Боюсь я, кустым...

— Вот слюняй и трус! — хмыкнул Султангали.— Страшно бывает только тому, у кого сердце зайца!.. Знаешь, сколько мы с тобой за вечер заработаем? Сколько один старатель за целый месяц!

— Но мы же возьмем грех на душу.

— Ну ладно, решай сам! — Султангали сделал вид, что ему падоела эта пустая болтовня и он собирается уйти.— Пой-

дешь — дам муки, не пойдешь — ищи другого такого дурака, как я!...

— Хорошо, ради матери я согрешу, пусть простит мне аллах или покарает меня по заслугам...

— Тогда айда!

Султангали велел подождать у ворот дома, где он теперь спимал угол, и Гайзулла уже решил, что он надсмехался над ним, когда после долгого отсутствия тот появился наконец, держа в руках большой каравай хлеба, завернутый в платок.

— Не забудь — в субботу перед заходом солнца... Встретимся у Красного яра!

— Да, да! — радостно бормотал Гайзулла, еще не веря, что в руках у него теплый, будто недавно вынутый из печи, каравай.

Старая Фатхия, присев возле чувала, ощупью набивала в трубу самовара сухие щепки, когда скрипнула дверь и на пороге показался Гайзулла.

— Эсей, я принес хлеб...

— Хлеб? — удивилась мать. — Надеюсь, ты взял его у кого-то взаймы или ты должен будешь отработать за него?

— Я отработаю за него, — потупил голову Гайзулла. — Ты поставь самовар, а я отрежу кусок от каравая и отнесу маленькому Антрахиму, а то с ним будет худо...

— Добрые дела всегда зачтутся аллахом, — Фатхия устало кивнула сыну. — А как поживает Нафиса? Ты был у нее? Здоров ли наш зять?

— Она живет хорошо, эсей, — принимая еще один грех на душу, ответил Гайзулла. — Они оба передавали тебе приемы...

Мать продолжала выпрашивать, как выглядит Нафиса, купил ли ей Нигматулла новую шубу, как обещал, но Гайзулла уже не слушал ее. Отхватив ножом краюху, он сунул ее за пазуху и выскочил из дому.

До самой субботы он жил как бы в предчувствии какой-то беды, не зная толком, чем ему заняться. Если бы была его воля, он ушел бы из Сакмаева, чтобы никогда сюда больше не возвращаться. Но он не мог оставить мать, не мог не выполнить данного им слова, не мог просто покинуть родной дом.

В субботу он проснулся рано, когда в окне лишь начал брезжить немогущий свет утренних сумерек, привез на салазках хворост из лесу, затопил чужал и весь день крутился то в доме, то во дворе, лишь бы не думать о том, что ему предстояло сегодня совершить. Ведь если он потеряет честь, то совсем ничего у него не останется за душой, он будет хуже нищего, хуже любого вора. Он станет неверным, и аллах никогда не простит его!

С тяжелым сердцем он вышел из дома раньше условленного времени и направился к Красному яру.

Солнце еще не садилось, небо было ясным и чистым, розово светились сугробы, покрытые ледяной корочкой. Сугробы уже чуть оседали, из-под них пробивались первые, робкие ручейки. К ночи они застывали, а с восходом солнца опять начинали сверкать и подтачивать рыхлые белые холмы. Пахло талым снегом, дым из труб развеивало ветром, он тянулся понизу, по-весеннему резкий и терпкий.

Лесная тропинка, на которую Гайзулла свернул за деревней, тоже осела, стала глубже, солнце высвечивало здесь каждую ветку на деревьях, в березняке, пестром и ярком до ряби в глазах, стоял птичий щебет и перезвон. Зимняя тишина кончилась, и лес словно готовился к близкой весне, полный, шороха опадающего снега и птичьего пересвиста...

«Как же я вчера не заметил всего этого? — недоумевал Гайзулла. — Или потому, что мне было горько и обидно, я уже ничего не видел и не слышал... Раз появились птицы, значит, скоро весна, скоро пробьются подснежники, а там и щавель, и дикий лук, и борщевник!.. Я буду чуть свет прибегать сюда, парывать полную корзину, и тогда нам ничего не будет стоить прокормиться. Не понадобится столько и хлеба, можно будет жить на одной траве!»

Он не заметил, как дошел до оврага и остановился, услышав звон лопат, допосившийся с берега Юргашты. Он прислонился к березе и долго стоял так, вдыхая влажный ветер весны, стараясь угадать на слух, какая птичка высвистывает высоко на ветке.

— Эй, заснул, что ли?

По узкой скользкой тропинке спускался Султангали, хватаясь за ветки кустов.

— Рановато мы немного пришли, в тепляках еще люди... — Он потопал ногами, стряхивая налипший на каты снег.

— А что же мы там станем делать?

— Не приставай! — отмахнулся от него Султангали. — На месте увидишь!.. И перестань дрожать, как овечий хвост!..

— Да не боюсь я, если дело честное.

— Ну и жуй свою честь вместо хлеба с утра до вечера! — Султангали рассмеялся. — Если ты джигит, ты должен за свою жизнь, как волк, драться... Если не хочешь, чтоб тебя покусали, сам кусай других..

Солнце потонуло за горой, в лесу стало быстро темнеть, из березняка подул холодным ветром. Разом смолкли птицы, и лес будто вымер, лишь где-то в овраге запоздало бормотал ручей, точно жаловался, что заблудился и не находит дорогу в темноте.

— Кажись, ушли,— Султангали дернул Гайзулла за руку.— Топай за мной, да потише...

Впереди показался отвал, окруженный черными стволами деревьев. Какой-то старатель привез последнюю тачку, опрокинул ее, и пустая порода зашуршала вниз, увлекая по пути камни. Раздался тяжелый плеск, и затем все стихло. Было лишь слышно, как хлюпала бежавшая по вашгерду вода. Дымок над трубою тепляка редел, становился прозрачным и скоро иссяк, сквозь щели между бревнами слабо пробивался свет, но и он тоже погас, последние старатели, покинувшие тепляк, стали подниматься в гору, и голоса и шаги их растаяли в вечернем воздухе.

— Теперь пора,— шепнул Султангали.— Не отставай от меня...

Чувствуя, как дрожат его ноги, Гайзулла вскарабкался за Султангали на кучу пустой породы. Они обошли вокруг тепляка, заглядывая во все щели, но не обнаружили ни одной дыры, чтобы можно было пролезть вовнутрь. Все отверстия были заколочены досками, на дверях с кованой щеколдой висел большой замок.

— Придется разуваться, иначе не попадем,— сказал Султангали и, быстро сбросив каты, прошлепал босиком по канаве с ледяной водой к зонту, по которому песок поступал в тепляк.

Расчистив зонт от застрявших там камней, он пробрался вверх по желобу и протиснулся в узкую дырку. Отколотив доску, закрывавшую продолговатое отверстие в стене, он высулся наружу и тихо и жестко приказал:

— Живо сюда! Поддай мне каты!

Гайзулла передал ему каты и боком пролез в тепляк. Султангали, не попадая зуб на зуб, обулся и прислонился коленями к маленькой железной печурке, которая еще не совсем остыла. Немного согревшись, он заслонил дырку доской, достал из кармана свечу и чиркнул спичкой. Жидкое и крохотное пламя заколебалось от тянувшего через тепляк сквозняка, но Султангали прикрыл его листом железа и, накапав на доску воска, закрепил в нем свечу.

— Возьми вон ковш, будешь ковырять вашгерд! — сказал он.

— Чем?

— Найдём чем! — Он сунул руку в карман и вытащил два больших гвоздя с загнутыми концами.— Видал? Теперь вот что будешь делать...

Он поднялся на желоб вашгерда и начал осторожно выковыривать гвоздем застрявшую в щелях песчаную глину. Потом Султангали собрал мокрой тряпкой песок, оставшийся на дне желоба, вытряхнул его в ковш. Прочистив весь желоб, он

спустился к зонту, зачерпнул в ковш воды, размягчил глину и слил воду. После того, как он промыл ковш несколько раз, на дне его блеснули крупинки золота.

— Ой, как много! — ахнул Гайзулла. — Да я за все лето не намыл бы столько в отвалах!

— Разве это много? — фыркнул презрительно Султангали. — Бывает и в десять раз больше! А они, дураки, и не догадываются, сколько у них золота в щелях остается... Тут надо не лопатой, а гвоздем работать!

— Как же это ты додумался? — восхищенно спросил Гайзулла. — Неужели сам догадался?

— Это меня Нигматулла-агай научил... — Султангали зашпунлся и, спохватившись, что сказал лишнее, зашептал со злостью: — Только ты смотри, никому об этом, слышал? И сам сюда один не являйся и другим не выдавай секрета, а то я тебе голову оторву!..

— Да зачем же я...

— Тихо! — Султангали цыкнул и одним дыхом загасил свечу. В напряженной тишине слышно было только их затрудненное дыхание и перестук капель, сочившихся с вашгерда. — Ты слышал что-нибудь?

— Нет, — дрожа от страха и чуть не заикаясь, прошептал Гайзулла.

— Наверное, мне показалось... Пойди выгляни вон в ту дыру и послушай...

Потом Султангали снова зажег свечу, вытащил планку, установленную вдоль головки вашгерда, вычерпал ладонью воду из углубления. Подождав, когда доска немного подсохнет, он стал ловкими и быстрыми движениями прочищать щели, то и дело выковыривая белые крупинки.

Гайзулла просто не верил своим глазам, он теперь держал в руках свечу и, глядя, как растет количество крупинок, уже не чувствовал, как на руку ему падают капли горячего воска.

«Уж не снится ли мне все это? — думал он и, чтобы освободиться от наваждения, мотал головой. — Да я с тех пор, как мою, больше четырех щепотей не собрал, а тут их, пожалуй, не меньше десяти будет... Уж не помогает ли этому дьяволенку сам хозяин горы?»

Словно угадав его мысли, Султангали приподнял голову и тихо приказал:

— Вылезай и жди меня на дороге... Я заделаю все дыры и догоню тебя! Да оставь свечу-то, дурень! Совсем очумел!..

«Ай-хай! В какую беду я снова угодил! — выбравшись из тепляка, затревожился он. — Теперь мне не миновать нового несчастья! Только бы сохранил аллах жизнь моей матери и моей сестры!»

Он нашептывал молитву, упрашивая аллаха смиростивиться и простить его за все, но не успел перечислить все свои прегрешения, когда вынырнул из темноты Султангали и опять властно скомандовал:

— Айда в другой тепляк! Еще успеем...

— Отпусти меня, кустым,— быстро и горячо зашептал Гайзулла,— все равно от меня никакого проку! Я, может, только мешаю тебе... Отпусти!

— Опять за свое? — рассердился Султангали.— Или, может быть, я у тебя брал хлеб, а не ты у меня?

— Я брал, я, но ты уже намыл много золота,— упрашивал Гайзулла.— Не надо гневить аллаха!

— Если бы ты не был таким слюнтяем и умел работать гвоздем, я бы тебе половину отдал, понял? А одному мне нельзя, кто-то должен хотя бы на страже стоять!.. Вернемся домой, я тебе еще муки дам!

— Не пойдет мне впрок мука, добытая таким путем...

— Голодный будешь — и не то сожрешь! — Султангали с издевкой хохотнул в кулак.— Но знай — больше я тебя ни на какое дело не возьму!.. В ногах валяться станешь — и не подумаю тебе помочь! Нужен больно мне такой помощник, который от страха может в штаны наделать... А теперь — топай за мной и помалкивай, чтоб я тебя не слышал!

Он выбрал на этот раз тепляк, стоявший впритык к обрывистому берегу Юргашты, неторопливо обошел его, выглядывая удобный лаз.

— И тут черти законопатели — таракан не пролезет! Придется опять разуваться... Ты стой здесь и карауль. Если заметишь кого — свисти...

Султангали исчез бесшумно, проник в тепляк, как мышь, и Гайзулла остался один в темноте. Он напряженно всматривался в обступивший тепляк лес, прислушивался к каждому шороху и треску и чуть не прозевал человека, появившегося впереди на дороге. Он промелькнул мимо, как тень, и Гайзулла, наклонившись к большой щели в тепляке, где мерцал огонек свечки, сдавленно крикнул:

— Идет кто-то!

— Ну и пусть себе идет,— тихо отозвался Султангали.— Лишь бы он нам не мешал... Не упускай его из виду!

Приблизившись к тепляку, человек вдруг метнулся в кусты, раздался треск, Гайзулле даже показалось, что он слышит; как неизвестный дышит — тяжело, точно загнанный зверь.

— Вылезай, тут кто-то ходит,— испуганно зашептал он в щель.

Свеча погасла, и Гайзулла весь напрягся, будто ожидая удара в спину.

— Быстро брось камень в кусты и кричи: «Держите вора!» — приказал Султангали.

Гайзулла ползком подобрался к куче пустой породы, напирал в темноте камень покрупнее и, швырнув его в кусты, зарорал что было мочи:

— Во-о-ор! .. Дер-жи-те-е во-о-ра-а!

В кустах прошумело, но, не видя за собой погони, человек осмелел и снова приблизился к тепляку.

— Эй, кто там бродит? Отвечай! .. А то будет худо!

Он подошел к двери, подергал замок и, видимо заложив за скобу железный ломик, стал со скрежетом выворачивать ее. Пока он пыхтел и возился, Султангали выскользнул через свой лаз наружу и прыгнул в кусты. Гайзулла припустил за ним, не чувствуя, как хлещут его по глазам ветки, как он больно натыкается в темноте на сучки, спотыкается на тропинке.

Только очутившись далеко от Красного яра, они пошли шагом, но долго не могли отдышаться.

— А здорово я обвел его вокруг пальца, а? — довольно рассмехался Султангали. — Будет теперь знать, как других обманывать, шайтан его задери!

— Про кого это ты? — не понял Гайзулла.

— Да это же твой дорогой зятек, муж твоей сестры Нигматулла! .. Бродит по ночам, как волк, ищет свою добычу, а добычу из-под носа увели! Ха-ха!

— Ты же сам говорил, что уважаешь его! Он же тебя и паучил этому ночному промыслу, а ты его кланешь!

— Я вор честный! Я у бедного человека никогда крошки не возьму! А он, жадюга, заставлял меня ковыряться, а золото к себе в карман прятал. .. Кинет, как подачку, две-три крупинки, и благодари его, как отца родного. .. Вот увидит, что я ему ли одного знака не оставил, может, поймет, что за дырку от кармана никто на него работать не будет, па мужа твоей сестры!

— Какой он ей муж! — зло отозвался Гайзулла. — Хороший хозяин и скотину так не избивает, как он нашу Нафису!

— Разве мулла не прочитал над ними пиках? — удивленно спросил Султангали.

— Ну, если и прочитал, то какая ей польза от этого? Он если что задумает, то и на муллу не посмотрит! А мулла все грехи его покроет, он тоже боится его. .. Да и подарки он получает богатые от Нигматуллы! Посмотрел бы ты, как он недавно таскал ее за косы, а на меня собаку спустил — еле удрал! .. Была бы моя воля, я бы этого зверя на цепь посадил, чтоб он только мог лаять на других, а не кусаться. ..

— Ишь ты, какой храбрый! Как батыр все равно! — Султангали захохотал во все горло. — А сам, ты думаешь, лучше его?

— Я? — растерялся Гайзулла, точно его поймали на чем-то запретном и сейчас пачнут уличать. — Я, конечно, грешный человек, раз с тобой связался и, как вор, по теплякам шарю. Честный человек на это не пошел бы...

— Да ты ногтя его не стоишь! — неожиданно запальчиво, с пскрываемым презрением выдохнул Султангали. — Он вор и всех под себя подминает, потому что хочет стать богатым и сильным! А ты только хнычешь да совесть свою грызешь да аллаха через минуту поминаешь! Все орешь: честь, честь, — а небось как приспичило, обо всем на свете забыл и стал таким же вором, как и я... Лучше быть открытым вором, чем прикрывать свою честь такими лохмотьями!..

— Если бы твоя мать сидела без куска хлеба...

— Ладно, не скули!

До самого дома, где жил Султангали, они не проронили больше ни слова. Султангали молча вынес мешочек с мукой, Гайзулла молча взял его и зашагал прочь.

— Придешь в субботу? — крикнул Султангали. — Если думаешь, так и быть, прощу на первый раз твою трусость!

— Нет, ты меня больше не жди, — оборачиваясь, твердо сказал Гайзулла. — Я и так не знаю, как буду смотреть людям в глаза...

Он шел по темной ночной улице, часто спотыкаясь и передыхая, и словно не замечал, как бегут по его щекам теплые слезы. Он не вытирал их, только судорожно глотал застрявшие в горле мягкие комки, устало переступал ногами, и чем больше думал о том, за что получил муку, тем сильнее охватывали его душу стыд и раскаяние.

«Как же я буду жить дальше? — в слепом отчаянии решал оп. — Если люди узнают, что я стал таким, как Султангали, как Нигматулла, они отвернутся от меня навсегда, и я буду бесчестен до конца дней, проклятый аллахом и людьми!»

XVIII

Всю ночь в доме Хажисултана-бая не прекращалась сутолока и беготня. Хуппиниса сидела на скамеечке у занавеси, ожидая очередного приказания Карибы-эби, повивальной бабки, Шахарбану и Гульмадина бегали с тазами и грели воду, а сам Хажисултан-бай с вечера не выходил из своей комнаты, то ложась в постель, то снова расстилая молитвенный коврик и обращаясь к аллаху с просьбой, чтобы на этот раз все обошлось благополучно.

Наконец к утру на женской половине дома раздался слабый, похожий на мяуканье, плач новорожденного. Хажисултан приподнялся с коврика и прислушался.

Через минуту в дверях появилась Хуппиниса, лицо у нее было усталое и довольное.

— Иди скорей! У тебя родился сын! — улыбаясь, сказала она.

— Слава аллаху! — поднял руки Хажисултан и поспешил па женскую половину.

Бибисара, его четвертая жена, взятая в прошлом году из соседней деревни, простоволосая, с бледным, покрытым испариной лицом, без движения лежала на нарах. Худенькая, маленького росточка, она, казалось, за эту ночь уменьшилась вдвое; руки ее обессиленно лежали поверх покрывала, она не могла даже повернуть голову в сторону Карибы-эби, купавшей ребенка в деревянном тазу. Шахарбану и Гульмадина стояли возле нее с полотенцами и кумганом.

Хажисултан подошел поближе.

— Ну-ка, покажите мне его! — приказал он.

Женщины посторонились, и Кариба-эби, завернув мальчика в полотенце, поднесла его к Хажисултану.

Красное, сморщенное личико малыша скривилось, и он опять слабо и беспомощно захныкал.

— Посмотри, посмотри на отца! — покачивая его, ласково сказала Кариба-эби. — Вырастешь — будешь таким же богатым и славным, как он! Ох, и повезло тебе родиться в хорошем доме, где всего вдоволь. Пусть и дальше будет счастливой та звезда, что зажег над тобой всемогущий аллах, пусть пошлет тебе и твоему отцу удачи во всяком деле и прибыли в каждом начинании, пусть ангелы записывают за тобой одни добрые поступки и благочестивые мысли! . .

Ребенок перестал хныкать, как будто прислушался к словам старухи. Хажисултан улыбнулся.

— Ишь как заслушался! Аж рот открыл! Что, сынок, нравится тебе дом твоего отца? — голос Хажисултана был тихим и непривычно ласковым.

Гульмадина и Шахарбану переглянулись за его спиной.

— Покажите, дайте мне его, — тихо попросила Бибисара.

— Погоди, моя голубка, погоди, — заворковала Кариба-эби. — Надо все сделать по обычаю. . . Не волнуйся, получишь своего сыночка, никто не отнимет. — Она повязала головку мальчика чистой тряпкой, дала ему ложечку меда и масла, продолжая приговаривать: — Ешь, ешь, маленький, всю жизнь будешь сыт и богат, как твой отец. . .

— Пойду сосну, — сказал Хажисултан. — Ты, мать, пригляди тут за всем. . .

— Иди, иди, отец, не беспокойся.

Кариба-эби запеленала мальчика и положила его на постель к матери. Бибисара с трудом повернулась и обняла его.

— Какой слабенький!.. — с жалостью и удивлением сказала она. — И худой!.. На старичка похож.

— Зачем так говорить? — строго одернула ее Кариба-эби. — Грех, так недолго и сглазить! Скажи лучше — какой крепыш!

— Они все такие сначала, — подойдя к постели, успокаивала Бибисару Хуппиниса. — А ты бы лучше поспала немного, всю ночь ведь мучилась!..

— Сын!.. — продолжая удивленно разглядывать мальчика, ни к кому не обращаясь, как бы себе самой сказала Бибисара, и, наклонившись, поцеловала мальчика в лоб. — Хвала аллаху, у меня родился сын!

— Алла, какая ты невоспитанная! — набросилась на нее Кариба-эби. — Разве ты не знаешь, что ты еще не такая чистая, чтобы благодарить аллаха за это счастье? Можно подумать, что ты сама только что родилась на свет! Или твоя мать ничему не учила тебя?..

Бибисара растерянно смотрела то на нее, то на Хуппинису.

— Через пять дней, — кивнула Хуппиниса. — Вот сводим тебя в баню, оденем во все чистое, тогда и ты можешь поблагодарить всемогущего!.. А пока лежи, не вставай, тебе даже нельзя прикасаться руками к нашей пище, а уж поминать аллаха совсем запрещено!.. А ты не сердись, Кариба-эби, это же у нее первенец. Откуда ей знать, как это бывает?

— Да я не сержусь, — смягчаясь, ответила Кариба-эби. — Я только хочу, чтоб все было по обычаю!..

— Поставь чай, Гульмадина, а ты, Шахарбану, накрой. Отца, если не уснул, спроси, может, и он захочет!..

Кариба-эби поправила повязку на седых волосах и важно, переваливаясь с боку на бок, направилась вслед за Хуппинисой.

Пока Шахарбану, не торопясь, расстилала скатерку и ставила чашки, Кариба-эби удобно устроилась на ковре, привела в порядок засученные рукава, сполоснула руки над тазом и одобрительно посмотрела на Хуппинису.

— Садись, — сказала она. — Хватит хлопотать, и так сегодня больше самой роженицы устала!.. Хорошая ты хозяйка, Хуппиниса, повезло твоему мужу. Сколько раз ни была я у вас в доме, все на тебя люблюсь. Если бы все жены были такими, счастье улыбалось бы мужьям каждый день!

— Стара стала, — вздохнула Хуппиниса. — И руки, и ноги уже не те!.. Раньше, бывало, так кручусь весь день, что и присесть некогда, а теперь — лапшу сварю, и прямо хоть ложись и спи до следующего дня!..

— Разве младшие жены не помогают тебе? — сдвинула брови Кариба-эби.

— Помогают, — нехотя отозвалась Хуппиниса. — Особенно маленькая, Бибисара, ловкая девочка. Только последнее время,

сама понимаешь, не могла я ей позволить делать тяжелую работу...

— А помпишь, как я у тебя первенького принимала? Тогда еще и дома этого у вас не было, и хозяйство куда меньше было... Ай-хай, как будто вчера, а на самом деле как давно!

— Верно говоришь,— качнула головой Хуппиниса.— Молодость быстро проходит, не успеешь оглянуться — как у тебя уже морщины на лице, а там и до нашего кладбища недалеко...

— Приедет ли твой старший сын посмотреть на младшего брата? — прихлебывая чай и стараясь отвлечь Хуппинису от грустных мыслей, спросила Кариба-эби.

— Не знаю... Три дня, как за ним послали, сможет — так приедет... — равнодушно ответила Хуппиниса.

— Разве ты не соскучилась по нему? — удивилась Кариба-эби.

— Жаль, не было у меня дочки... — вздохнула Хуппиниса.— Сыновья всегда больше к отцу тянутся, как начнут на девушек смотреть — тут же о матери забывают, а дочь всегда к родному гнезду тянется.

Кариба-эби опрокинула чашку вверх дном и встала.

— Давай провожу тебя,— сказала Хуппиниса.— Там, во дворе, баран для тебя привязан, мой муж дарит его тебе за радость, что ты принесла ему...

— Пусть благословение аллаха всегда будет с вами! — степенно ответила Кариба-эби. Глаза ее вспыхнули от радости.— Твой муж — щедрый человек... Если что, зовите меня, я сразу приду, для таких хороших и щедрых людей ни дня, ни ночи не жалко...

Не успела Кариба-эби выйти за ворота, крепко держа на веревке упирающегося барана, как в дом Хажисултана одна за другой стали собираться женщины. Веселые, улыбчивые, они поздравляли Хажисултана с долгожданной прибылью, и проходили за занавеску, где лежала молодая мать, чтобы посмотреть на новорожденного. Хуппиниса не успевала открывать дверь.

— Иди, тебя зовет муж,— подошла к ней Гульмадина.

— Тогда встречай гостей, а Шахарбану пусть поставит еще чаю, нельзя отпускать людей голодными в такой день.

— Да она уж, поди, легла,— недовольно и обидчиво протянула Гульмадина.

— Ну, так разбуди ее,— спокойно ответила Хуппиниса.— Мне, слава аллаху, побольше будет лет, чем вам обоим, а я хожу, не жалуюсь... И не делай такого лица, а то гости подумают, что ты не радуешься нашему празднику. Не каждую ночь тебе приходится недосыпать, а у тебя такой вид, будто ты только тем и занимаешься, что принимаешь роды!

— А с чего мне радоваться? — пожала плечами Гульмадина. — У меня, что ли, родился сын?

— Нехорошо так говорить, — покачала головой Хуппиниса. — Даже если этот дом был бы чужим для тебя, и тогда стоило бы улыбаться своим соседям, раз к нам в дом пришла радость... Видно, аллах обделил тебя добротой, оттого и нет у тебя своих детей.

— Тебе слишком хорошо говорить! — огрызнулась Гульмадина. — Мало тебя за волосы таскали да плеткой охаживали, все еще не разонравилось?

— Не твое это дело — думать о том, что кому нравится! — отрезала Хуппиниса. — Подумай лучше о том, что скажут о тебе люди, если встретят тебя у порога с таким злым лицом в такой счастливый день!

— А мне все равно, что обо мне скажут! — скривив губы, отвернулась Гульмадина. — Все надоело! Какая разница, что о тебе говорят, если сама о своей жизни ничего, кроме дурного, не скажешь!..

— Эй! Где вы там запропастились? — послышался из дальней комнаты голос Хажисултана, и Хуппиниса, еще раз недобрительно взглянув на сердитое лицо Гульмадины, молча пошла на зов.

— Хоть с утра до ночи кричи, не дозовешься! — возмущенно кричал Хажисултан, сидя на кровати и натягивая сапоги. — Оглохла, что ли?

— У нас же гости...

— Гости, гости! Знаю я этих баб, как начнут болтать, до ночи не кончат!

— Ты же знаешь, так полагается по обычаю...

— Без тебя знаю, что обычай! — Хажисултан притопнул ногой и встал. — Обычай не говорит, что они здесь с утра до вечера торчать должны. Напой чаем, и чтоб, как приду, духу их тут не было! И мальчишку не очень напоказ выставляй — еще сглазят...

— А ты надолго уходишь?

— Как получится, — нахмурился Хажисултан. — К мулле пойду, надо посоветоваться, какое имя дать мальчику, чтобы благословение аллаха не оставило его...

— Ты хочешь уже сегодня дать ему имя? — удивилась Хуппиниса.

— Аллах, сколько глупости у тебя в голове! — разозлился Хажисултан. — Ты что, с дерева свалилась? Или память отшибло? Разве ты не знаешь, что имя ребенку дают на третий день? Я, слава всевышнему, еще ни разу не нарушал обычаев, а тех, кто якшается за неверными и забыл, как отцы и деды жили, ждет кара за каждое прегрешение! Поддай-ка мне лучше пояс, чем попусту языком молоты!

— Наверно, надо зарезать лошадь для угощения? — снимая висящий за чувалом пояс и стараясь говорить как можно мягче, спросила Хуппиниса.

— Что ж, нам для этого в долги влезать не придется, — усмехнулся Хажисултан. — Придет Хаким, скажи ему, чтобы выбрал самую лучшую, самую жирную лошадь из тех, что я поставил на откорм! Для такого праздника ничего не пожалею, всю деревню напою!

— Самый лучший у нас гнедой... Может, не стоит его резать? Такой еще сильный конь... — смущенно отозвалась Хуппиниса.

— Дура! Посчитай, сколько у меня коней и сколько сыновей! Да я не одну, а десять лошадей для такого праздника зарезать могу! Или мне торговаться с аллахом теперь, когда он исполнил мое желание и продолжил мой род?!

— Не сердись, отец, — испуганно оправдывалась Хуппиниса. — Конечно, для такого праздника ничего не жалко, пусть зарежет гнедого...

— Ладно! — махнул рукой Хажисултан. — Я доволен. Но смотри, когда я приду, чтоб ни одной бабы тут не было!

— Хорошо, хорошо, — закивала головой Хуппиниса и, проводив мужа до ворот, вернулась к женщинам.

За занавеской стало тесновато. Уже не только соседки, но и женщины с окраин узнали о случившемся и пришли по обычаю с поздравлениями и подарками.

— Ох, сколько вас тут собралось! — улыбнулась Хуппиниса. — Уж не даром ли вы любуетесь нашим мальчиком?

— Как можно смотреть на такого батыра даром! — ответила Сайдеямал и положила моток разноцветных ниток на край постели около подушки.

— Пусть наши подарки небогаты, но зато от души, — добавила старая Ханифа и положила рядом с нитками кусок мыла.

— Цена по товару! — рассмеялась Гульямал. — Сколько стоит посмотреть на малыша? — Она поправила волосы Бибисары, черной волной лежавшие на подушке. — Я принесла ему кисет, а тебе козьего пуха. Пусть твоя жизнь будет такой же мягкой!

— Спасибо, — благодарно посмотрела на нее Бибисара.

— Хороший товар сам себя хвалит, — пробормотала стоявшая в сторонке Шахарбану. — Пока батыр из теста, чтобы посмотреть на него, достаточно и одной куклы...

— Все батыры рождаются сделанными из теста! — пытаюсь сгладить неловкость, рассмеялась Хуппиниса. — Вот вырастет — будет всем батырам батыр, настоящий бай, всех врагов победит, всех красавиц в себя влюбит, всех коней объездит! Такому джигиту позорно куклу дарить, ему надо девушку со сватать!

— Ничего, сватовство от него не убежит, — улыбнулась Сайдеямал. — Еще не родилась на свет красавица, чтобы была ему под стать!

— Правильно! — поддержала ее Гульямал. — Но раз уж мы заплатили, может, теперь можно посмотреть на батыра?

Гульмадина перепеленала мальчика, повязала ему ручку красной ленточкой, чтобы отвести дурной глаз, вынула из спичечной коробки трех клопов, что оставила Кариба-эби, раздавила их и помазала животик малыша. Скуластое лицо мальчика скривилось, он приоткрыл рот.

— Смотри-ка, смотри, он еще всем нам язык покажет! — засмеялась Хуппиниса.

Гульмадина взяла мальчика на руки и, покачивая, подняла над головой:

— Вот он какой! Вот какой маленький батыр! Выше всех!

Мальчик почмокал губами, таращась по сторонам мутными темными глазками, и заплакал громко и требовательно.

— Ого, какой голос! — одобрительно сказала Сайдеямал. — Пусть будет сильным, как лев, и богатым, как царь!

— Не иначе как муллой станет, когда вырастет, — кивнула головой старая Ханифа. — Счастливым родился, слышите, как громко свое счастье зовет?

— Если б счастье от одного только громкого голоса зависело, рыбы громче всех кричали бы! — возразила Гульямал.

— Как ты можешь так говорить? — одернула ее Сайдеямал. — Разве ты не знаешь, чем громче ребенок кричит, когда рождается, тем быстрее к нему счастье спешит?

— Каждый на свет со своим счастьем рождается. Какая разница, громкое оно или тихое? Пока что над этим мальчиком счастливая звезда, раз он родился в таком доме! — примирительно сказала Ханифа.

— Уже одно то счастье, что он родился на свет человеком, — согласилась Сайдеямал. — Аллах вкладывает жизнь, куда хочет, и я думаю, если выбирать, то лучше все-таки родиться ребенком, а не волком или бараном. Какая бы ни была судьба, а человеку аллах отпустил больше всех . .

Гульмадина снова положила мальчика к матери, и тот, похныкав немного, успокоился.

— Жена муллы пришла, — шепнула на ухо Хуппинисе Шахарбану.

— Ставь скорее самовар, — ответила Хуппиниса и пошла навстречу Рамзини.

— Пусть ваш сын будет богат и счастлив! — приветствовала ее жена муллы. — И пусть аллах пошлет вам радость и утешение от всех горестей!

— Спасибо, что пришла. Идем, я покажу тебе его, — взяла ее под руку Хуппиниса.

— Какой славный! — подойдя к постели Бибисары и наклонившись над мальчиком, воскликнула Рамзия. Она осторожно подправила одеяльце новорожденного и положила рядом мешочек с мукой. — А ты как себя чувствуешь? Это ведь у тебя первый?

— Да, — прикрыла глаза Бибисара.

— Хорошо, что сын, — одобрительно сказала Рамзия. — Значит, аллах благословил тебя, если первым у тебя родился мальчик. Когда настанет время, поблаговари его за это. . .

Шахарбану внесла и поставила на стол большой, начищенный до блеска самовар, Гульмадина следом за ней внесла чашки.

— Садитесь, дорогие гости, — пригласила Хуппиниса. — Говорят, чай по праздникам вдвое душу веселит. . .

Женщины, нашептывая при каждом движении: «Бисмилла, бисмилла», сполоснули руки водой из медного кумгана, принесенного Гульмадиной, и чинно расселись на нарах вокруг стола, где дышал паром самовар. Хуппиниса бросила в большой, разрисованный цветами чайник несколько крупных щепотей чаю, залила их кипятком и, потемнев немного, стала разливать по чашкам. Чай получился крепкий, янтарно-красного цвета, аромат его разнесся по всей комнате.

— Ну и запах у твоего чая! Наверно, самый дорогой! — причмокнула от удовольствия старая Ханифа. — Давно уже я настоящего чая не пила, с тех пор, как война началась — один малиновый лист.

— Пей, пей на здоровье! Налить еще чашечку? — радушно спрашивала Хуппиниса.

Гульмадина поставила на стол миски с медом, сметаной и маслом, большое блюдо с калачами.

— Богатый стол, — тихонько шепнула Сайдеямал, наклонившись к невестке. — Расщедрился сегодня, видно, до смерти рад, что сын родился. . .

— Ничего, ненадолго его хватит, — смеясь, ответила Гульямал. — Десять лет потом вспоминать будет, сколько на смотрины потратил. . .

— Долго ждал наш бай этого дня, — вытирая платком круглое, лоснящееся от чая лицо, сказала жена муллы. — Аллах никогда не оставит просьбы благочестивого человека. . .

— После поста в ночь Казыра, когда открывается небо, он просил дать ему еще семь сыновей! — откликнулась Гульмадина.

— Вот и послал аллах одного из семи, — не переставая разливать чай, улыбнулась Хуппиниса. — Может быть, скоро пошлет и остальных. Шахарбану, обнови-ка самовар, уже кончается. . .

— Ух ты, как много! — рассмеялась Гульямал. — Куда столько? У вас же есть уже три сына, это четвертый, а если шесть — то уже десять будет? Пока родятся, да пока вырастут... Сколько сил надо потратить на семь сыновей!

— Лишь бы здоровые были, — почмокала губами старая Ханифа. — А самое главное, чтобы выросли настоящими мусульманами, благочестивыми и праведными...

— Верно говоришь, — кивнула головой жена муллы. — Вон у Хакима какие дети? Ни один не удался. Султангали совсем отца не признает, а Загит и того хуже — продал себя неверным, сделался разбойником...

— А говорили, что он замерз, что его волки съели? — удивилась Ханифа.

— Был бы он хороший человек, съели бы, а таких порченных и волки не едят! — нахмурилась Шахарбану, ставя на стол новый самовар. — Говорят, на Кэжэнском заводе его видели, сталь варит, на каждом углу свою веру продает...

— Мало того, что сам продает, — и других еще подбивает! — оживилась жена муллы. — Недаром собаку досыта кормить нельзя, — разжиревшая собака и на хозяина бросается! Что плохого этот Загит видел от нашего бая, чем ему Нигматулла-кустым мешал? А теперь он, куда ни придет, везде их дурным словом помипает.

— А ты откуда знаешь? — спросила Гульямал.

— Я знаю, что говорю, мои уши на каждом перекрестке стоят, — довольная собой, откинулась на нары жена муллы.

— А что же Нигматулла его не проучит? — покачала головой Ханифа. — Сам говорил, что за лавку десять шкур с него сдерет, а теперь, выходит, простил он ему такой грех?

— Теперь не прежние времена и законы другие, — с важным видом сказала жена муллы. — А на Кэжэнском заводе, где полно неверных, и вовсе нельзя мусульманину со своим законом прийти — на клочки разорвут, и одной штанины не останется! Ничего, никуда он не денется, даже птицу в те места, где она родилась, словно на веревке тянет, а уж человека — тем более! Вот как встретятся они на нашей земле, на сакмаевской, тогда и поговорят как следует!

— Да, так и не видел Хаким проку от своих детей, — вздохнула Ханифа.

— Значит, не был таким благочестивым, как надо! — рассмеялась Гульямал. — Был бы он настоящим мусульманином, не сбрил бы своей бороды!

— Замолчи, вертихвостка! — сердито одернула ее Ханифа. — Может быть, это только слухи! Зачем ты чужие слова повторяешь, зачем старого человека чернишь? Борода и от старости может выпасть, и от горя, мало ли что на свете бывает!

Женщины за столом переглянулись, усмехаясь.

— Так и в коране написано, что все бывает на свете, — жена муллы с шумом втянула чай с блюда и придвинула чашку к самовару, чтобы Хуппиниса налила ей еще. — А то, что люди портятся и дети перестают слушаться отцов, так об этом еще пророк Мухаммет говорил, что так оно все и будет перед концом света. . .

— А что он говорил? Расскажи нам! — попросила Сайдеямал.

— Шахарбану, налей-ка еще один самовар, — сказала Хуппиниса.

Голоса женщин, как в тумане, доносились до постели, где лежала Бибисара. Под ровный гул их и звяканье чашек она то задремывала, то вновь просыпалась, чувствуя рядом, под правым боком, туго спеленатый комочек. Просыпаясь, она приподнимала голову, чтобы взглянуть на малыша, и, убедившись, что тот спит, успокаивалась.

«Почему мне так долго нельзя вставать? — думала она. — Почему женщина, когда родит, становится нечистой? Такой праздник в доме, все радуются и благодарят аллаха, а я почему-то должна лежать и мне даже некому сказать «спасибо». . . Разве это не мой праздник, разве не я его столько времени в себе вынашивала? Почему же такая несправедливость?.. Как будто мой сын родился не из меня, как будто его нашли в стогу сена, как говорят маленьким детям. . . Значит, мне даже нельзя будет посмотреть, как ему дадут имя?»

Входная дверь громко хлопнула.

— Что, не ушли еще? — раздался голос Хажисултана.

— Чай пьют, — ответила Шахарбану.

Женщины заторопились, стали прощаться. Хуппиниса, по обычаю, раздала им ленточки и цветные нитки, они разложили их перед собой, прочитали молитву и, еще раз пожелав новорожденному всех благ на земле, поспешили уйти. Шахарбану и Гульмадина торопливо собрали со стола.

— Все в порядке? Как там мой сын? — спросил Хажисултан.

— Не беспокойся, все хорошо, — ответила Хуппиниса.

— Хаким не приходил?

— Нет еще. . .

— Надо послать за ним, пора готовиться к празднику.

— Я сейчас пошлю, — надевая шубу, поспешила ответить Хуппиниса.

— Потом зайди ко мне. . .

«Опять ругать будет, что так долго сидели, — подумала Хуппиниса. — А что же делать? Ведь не станешь выгонять гостей, когда они сидят за столом? Тем более таких, как жена муллы. . . Соседи могут обидеться, нехорошо. . .»

Послав за Хакимом, она вернулась и, осторожно постучав, вошла к мужу.

— Договорилась? — лениво, не поворачивая головы, спросил Хажисултан.

— Я послала за Хакимом, — быстро ответила Хуппиниса.

— Как зарежут лошадь, сразу начинайте готовить. Я хочу, чтобы все было по-нашему, по-мусульмански, как учили отцы и деды, чтобы стол ломился и, как пьяный, на ногах стоять не мог!

— Конечно, отец, — довольная, что он не вспоминает о заживевшихся женщинах, сказала Хуппиниса. — Я все сделаю, чтобы это был большой праздник, ты будешь доволен...

— Все должны увидеть, что сила пока что в моих руках, от меня здесь каждая мошка зависит! Слава аллаху, на здоровье жаловаться не приходится, я не какой-нибудь дряхлый старик, и пока я жив, в деревне все как было, так и будет, ничего не изменится!

— До тебя дошли дурные вести? — осторожно осведомилась Хуппиниса.

— Дурные или не дурные, а как я сказал — так и будет! Мое слово здесь закон, а кто не по моему закону живет, тому собачья смерть! — все больше раздражаясь, прошипел сквозь зубы Хажисултан.

— Что случилось? — испугалась Хуппиниса.

— Да вернулся тут с фронта один из оборванцев! Балхизу старую помнишь? Приемный ее, Акназар Ягудин, которого она потом в Кэжэнский приют отдала... А теперь на тебе, явился! Мало того, что сам с голым задом расхаживает, еще и других подбивает: мол, слишком много у бая богатства накопилось, если на всех поделить, то жизнь для всех лучше станет!

— Да что ты?.. — Хуппиниса растерянно зажала рот ладонью.

— Распустились! Думают, совсем я уже пень трухлявый, так и позволю свой дом по бревнышку растащить! Ошибаетесь, я еще крепкий дуб, матерый, сто очков любому вперед дам! — Лицо Хажисултана покраснело от гнева и возбуждения, руки тряслись.

— Не волнуйся, отец, зачем ты себя тревожишь из-за каких-то слухов? Чего только люди не наговорят! Пока что они к тебе с уважением относятся, шапки перед тобой снимают... А если перестанут, то кто же им даст муки в голодное время? Неужели ты думаешь, что они, как разбойники, могут напасть на твой дом и ограбить его?.. Ни один настоящий мусульманин не позволит себе даже думать об этом...

— Ладно, помолчи! Не твоего это ума дело! — проворчал Хажисултан. — Твоя забота — праздник подготовить. Да смот-

ри, запряги как следует этих дармоедов, а то у них от жиру скоро такие животы вырастут, что в двери пролезть не смогут! Что они сейчас делают? Небось опять дрыхнут?

— Мало ли дел в хозяйстве... — отвела глаза Хуппиниса. — Да и ночь была сегодня тяжелая, не спали.

— Ты чего их выгораживаешь? — рассвирепел Хажисултан. — Знаю я, как они работают, все хозяйство на твоём горбу держится! А ну, позови их сюда.

Хуппиниса покорно вышла. Шахарбану и Гульмадина прилегли на нарах и тихонько переговаривались, Бибисара спала. Чашки были вымыты и пол чисто выметен.

— Идите, зовёт, — кивнула Хуппиниса. — Поласковой с ним, у него сегодня плохое настроение...

Шахарбану и Гульмадина быстро застегнули камзолы и пошли вслед за Хуппинисой.

— Что ты такой невеселый, атахи? — улыбнулась с порога Гульмадина. — Ведь сегодня в доме праздник...

— Уж не болит ли у тебя поясница? — всплеснула руками Шахарбану. — Давай я потру, у меня ладони мягкие...

— Ложись, отец, ты ведь тоже ещё не спал сегодня, — ласково сказала Хуппиниса. — Пусть они уложат тебя.

— У меня пока ещё есть силы, чтобы лечь самому! — все больше выходя из себя, заорал Хажисултан. — Или вы тоже считаете, что я прогнил, как старый пенёк?! Лучше скажите, чем вы занимаетесь?

— Посуду мыли, — пожала плечами Гульмадина.

— Гости час назад ушли, а вы все посуду моете? Небось когда жрете, ложка между ртом и миской так и летает, а как посуду вымыть, рук не хватает?.. Поддай-ка мне плетку, Хуппиниса!

— Не надо, отец... Прошу тебя, не бей их, сегодня был такой тяжелый день, — умоляюще посмотрела на мужа Хуппиниса.

— Ах, вот как?! Ты ещё будешь их покрывать? — разъярился Хажисултан и, сорвав плетку со стены, вытянул плетью по спине сначала старшую жену, а потом шагнул к младшим.

— Я не виновата! Не бей меня, атахи! — отступая и закрывая руками лицо, закричали женщины, но Хажисултан без жалости поднял руку и принялся охаживать их плеткой со всех сторон — только свистело в воздухе.

Женщины, опустившись на колени, уткнулись в угол, подставив спины, крича все громче и корчась при каждом ударе. Хуппиниса отвернулась.

— Что я сделала плохого? — выла Гульмадина.

— Алла, за что мне такая тяжелая доля? — всхлипывала Шахарбану.

— Кто какую долю заслужил, тот такую и получает! — отвечал Хажисултан, не переставая работать плеткой. — Кто бы кричал, а вы-то что орете, кобылы бесплодные? Приносили бы мне каждый год по сыну, и плетки не знали бы!..

Неожиданно в проеме дверей встала Бибисара. Простоволосая, в одной рубашке, с белым, бескровным лицом, она шаталась от слабости, по щекам ее текли слезы.

— Зверь! — хрипло крикнула она, схватившись за косяк непослушными руками. — Пусть падет на тебя проклятие аллаха за то, как ты измываешься над нами!.. Нет человека хуже тебя, зверь! Гадюка!..

Ноги ее подкосились, и, никем не поддерживаемая, она соскользнула на пол.

Хажисултан с минуту в ошеломлении смотрел на нее, потом, очнувшись, бросился и потряс молодую женщину за плечи.

— С ума сошла! Что ты делаешь? У тебя же молоко пропадет, ты загубишь моего сына!..

Голова Бибисары бессильно моталась в его руках из стороны в сторону, она была без сознания. Жены застыли, не смея что-либо предпринять. Хажисултан поднял испуганное лицо и грозно посмотрел на них:

— Чего встали, дуры? Отнесите ее в постель — и быстро за Карибой, чтоб тут же была!..

Гульмадина и Шахарбану молча подняли Бибисару и осторожно перенесли ее на нары. Скоро около нее уже хлопотала Кариба-эби с заспанным, опухшим лицом — прикладывала к голове мокрые полотенца, давала какие-то отвары, шептала наговоры.

К вечеру Бибисара пришла в себя, но каждый раз, когда Хажисултан заходил на женскую половину, отворачивала голову и безучастно смотрела в стену. Сколько ни старался он привлечь внимание молодой женщины, какие ни говорил слова, Бибисара упрямо молчала.

— Шайтан в нее, что ли, вселился? — со злостью бормотал Хажисултан, отходя от кровати. — Корова тупая! Если б не сын, я бы ей показал, как со мной в молчанку играть!..

Хуппиниса, Гульмадина и Шахарбану сбились с ног, готовясь к празднеству, им помогала Сайдеямал, но рук все равно не хватало. На второй день приехал из Оренбурга долгожданный старший сын Хажисултана, Шаяхмет, и бай немного смягчился, позабыл свои горести, перестал злиться на жен и заперся с сыном у себя в комнате. Когда Хуппиниса вносила им самовар и еду, они умолкали, и она спешила скорее снова оставить их наедине друг с другом, радуясь, что Хажисултан не мешает ей управляться на кухне, и одновременно печалась, что не успела перемолвиться ни одним словом с сыном.

На третий день гости повалили к дому Хажисултана. Шаяхмет ухаживал за ними, подавал воду из кумгана и полотенца. Старики одобрительно посматривали на старшего сына бая.

— Ай-хай, у хорошего человека и сыновья хорошие рождаются, — хвалил его староста Мухаррам.

— В городе учится, муллой будет, а совсем не гордый, — усмехнулся Нигматулла.

— Сыновья один к одному рождаются, — с горечью сказал Хаким. — Значит, и младший таким же вырастет.

— Все зависит от родителей, — важно добавил мулла Гилман. — Если человек благочестив, и дети у него благочестивые. Пусть же твой младший сын вырастет таким же благочестивым, как ты, Хажисултан-бай, пусть приносит тебе радость, смягчает сердце родителей лаской и послушанием, пусть растет настоящим джигитом!

— Амины! — ответил Хажисултан-бай и провел руками по лицу. — Да сбудутся все слова твоего благого пожелания!..

Мулла Гилман повторил его движение и, вперив в бая неподвижные глаза, спросил по обычаю:

— Зачем ты сегодня позвал нас к себе, Хажисултан, сын Валиахмета?

Хажисултан повернулся к гостям, лицо его выражало важность и довольство.

— Соседи мои и вы, кто пришел сюда с белыми бородами и мудростью прожитой жизни, и ты, благородный мулла Гилман! У меня сегодня радостный день, я хочу дать имя своему сыну по обычаю наших предков, как они завещали, на третий день. На старости лет, когда уже выпал снег на мою бороду и голову, послал мне его аллах, потому что в ночь Казыра я просил всевышнего об этой милости. Благословите же моего сына, пожелайте ему всего того, что есть у меня и сверх того, чтобы он рос счастливым, богатым и благочестивым, чтобы люди уважали его! Амины!

— Амины! — хором повторили за Хажисултаном мулла и гости.

— Пусть аллах услышит твою просьбу! — вежливо сказал Шаяхмет, передавая младенца отцу.

Хажисултан взял мальчика на руки, показывая его старикам. Мулла громко и монотонно запел молитву. Старики, глядя на ребенка, кивали бородами и причмокивали.

— Хороший малыш, крепкий, дай ему аллах здоровья, — приговаривали гости.

— Да наречется тебе имя — Хайбулла, — три раза прошептал мулла, склонившись над мальчиком.

Хажисултан снова передал ребенка Шаяхмету и стал приглашать всех к столу.

Ни при одной женитьбе не было у бая такого стола — и вправду еле на ножках стоял, шатался, как пьяный. Огромные блюда с мясом, миски с тупрэ и сметаной, бишбармак, кувшины со свежим, пощипывающим язык кумысом, корот и городской ароматный сыр, — казалось, не было такого угощения на свете, что не стояло бы на этом столе. Дымились чашки с мясом, из угла в угол переходили деревянные кадушки с медовухой, и у каждого гостя лежала на коленях новая холщовая рубаха — всех одарил Хажисултан в честь своего праздника.

Не остались в долгу и гости, каждый подарил, что смог: мулла Гилман — теленка, староста Мухаррам — жеребенка, Нигматулла — богатое, изукрашенное серебряными бляхами седло, а те, что победнее, — платки, деньги, мыло.

Два дня сидели за байским столом сакмаевцы, прославляя щедрость и великодушие Хажисултана, каждый успел поднять тост за бая, за его сына и будущую славу его, а когда вышли на улицу и вернулись к своим нетопленным, холодным домам, где плакали от голода дети и лежали на нарах не пышные подушки и перины, а ветхие коврики да дерюги, показались им эти два дня несбыточным, не похожим на правду сном...

XIX

Дав имя сыну и справив это событие, Хажисултан слег, как это бывало каждой весной, с ломотой в пояснице. Два дня он стонал, крихтел, жаловался, то заставляя Шахарбану растирать ему спину, то проклиная нерасторопность Гульмадины, которая уже час как должна принести ему еду, то усаживая Шаяхмета развлекать его всяческими историями и байками.

Кариба-эби не выходила из дома, готовя очередное снабдьё для бая, бормоча молитвы над Бибисарой, которая все еще чувствовала себя плохо.

Хуппиниса совсем сбилась с ног и чувствовала себя, паверно, хуже всех, но держалась и не жаловалась никому, так как понимала, что если сляжет и она, заменить ее в хозяйстве будет некому и все пойдет тогда кривь и вкось. Она покорно сносила капризы Хажисултана, старалась приласкать сына и поухаживать за ним, готовила ему его любимые блюда, разнимала Гумальдину и Шахарбану, которые то и дело ссорились, утешала Бибисару, тетёшкалась с маленьким Хайбуллой, помогала Карибе-эби, следила за порядком во дворе, лавке и пристройках. Она спала в эти дни меньше всех, но никто не обращал внимания ни на ее осунувшееся лицо с красными от недосыпания веками, ни на то, как она, потихоньку от всех, уходила

в сени, где просто садилась, закрыв глаза на несколько минут, бледная, с колотящимся сердцем и трясущимися руками, пока в доме снова не раздавался крик: «Хуппиниса! Байбисэ-э¹», — и тогда вставала и шла, шатаясь и чувствуя, что вот-вот упадет. Только Бибисара, несмотря на свою болезнь, иногда с жалостью говорила ей:

— Ты бы прилегла, отдохнула...

— Не волнуйся, деточка, все в порядке! — с улыбкой отвечала Хуппиниса.

Только спустя неделю, когда Хажисултан поднялся, Хуппиниса позволила себе немного отдохнуть, — подав завтрак мужу и Шаяхмету, проводила до ворот Карибу-эби и прилегла на нары. Однако не успела она задремать, как Шахарбану потрепала ее за плечо:

— Байбисэ, проснись! Зовет...

— А?.. Что случилось?.. — не сразу поняв, в чем дело, подняла голову Хуппиниса, но привычка всей жизни заставила ее быстро встать и идти к мужу.

Хажисултан был один и почти одет для того, чтобы выйти на улицу, только шапки не хватало.

Хуппиниса молча остановилась у стены.

— Ну-ка, расскажи мне, о чем там вы с бабами эти дни говорили? — мрачно глядя на нее, спросил Хажисултан.

— Да вроде ни о чем таком... — потерев лоб рукой, растерянно ответила Хуппиниса.

— Ну, а все же о чем?

— Да все о наших домашних делах... Про Хакима говорили, про то, что он бороду из-за Гульямал сбрил, про его детей... Жена муллы, когда приходила, всякие истории из корана рассказывала. О чем всегда говорим, о том и теперь. Ну, еще там о новом платье Мархабы... Про войну говорили...

— А что про войну?

— Про то, что раз хоть один уже вернулся, то скоро и остальные вернутся, наверно...

— Это кто, Акназарка?

Хуппиниса кивнула головой.

— А про прииск ничего не говорили? Про то, как там вся голь взбунтовалась, чуть контору не сожгли?

— Ай-хай, какое несчастье! Но я в первый раз об этом слышу! Может, пустые разговоры?

— Если бы пустые, и я с тобой бы об этом не говорил! — раздраженно ответил Хажисултан. — Ты вот что, походи-ка по своим соседкам, а то давно в гостях не была! А заодно все, что про прииск говорят, в карман складывай и мне приноси...

¹ Байбисэ — старшая жена бая,

— Хорошо, отец, схожу,— кивнула головой Хуппиниса.

— Послушай еще, что про этого Акназара говорят, и сама всем говори, что нехороший он человек, не наш, хоть и вырос тут. Иначе он всю голытьбу перепортит, все с ног на голову перевернет! И что у нас за народ такой? Кто бы откуда ни приехал — старатель какой, или городской человек, или вообще бродяга, может, нет у него ни отца, ни матери, ни корней на всем свете, а вся деревня уже тут как тут, рты разинула! Да мало ли сброда по земле шатается, разве каждого нужно слушать?.. Вот Акназарка этот, кто он есть? Тьфу, плюнуть и растереть, ни мусульманского в нем ничего, ни почтения к обычаям дедов, совсем чужая кровь в жилах течет! Благоспитанный человек что бы сделал в первую очередь? Муллу посетил бы, баю подношение принес, устроил бы чай для соседей! Хороший человек, если домой вернулся, то помнит, как и что ему делать надо, а если не помнит — худой это человек, не будет от него добра!..

— Вот так я им и скажу,— согласилась Хуппиниса. — Я, правда, темная, не умею так красиво говорить, но уж скажу, как смогу...

— Ладно,— прерывая ее, махнул рукой Хажисултан. — Как сможешь, так и скажешь, главное — что ты скажешь, а не как. К кому ты пойдешь сначала?

— Ну, к жене муллы схожу... — нерешительно поглядела на мужа Хуппиниса.

— Нет, к этой не ходи! Все, что она знает, я уже знаю от самого муллы. Ты походи по тем, кто победнее, кому немножко муки отнеси, кому чаю, с кого как бы долг от лавки взыскать, поняла? А я сам к Акназару схожу, послушаю, как он языком треплет...

Он надел шапку, крепко натянул ее на уши и встал.

— Поторопись с этим делом, иди сегодня же,— сказал он уже в дверях. — Да, вот еще что: никому больше об этом ни слова, а то эти толстые дуры невесть что придумают, из комара лошадь сделают, а из лошади гору!

— Хорошо, отец,— как эхо, повторила Хуппиниса.

Дойдя до одиноко стоящего в самом конце улицы домика, Хажисултан сбавил шаг. С тех пор как вернулся Акназар, старый домик Балхизы-инэй¹ с покосившейся крышей и ушедшими в землю желтыми, обмазанными глиной, стенами, зажил новой жизнью. Темные провалы окон были аккуратно и ровно затянуты матовой телячьей брюшиной, стены аккуратно обмазаны глиной, а крыша — заново покрыта жердями и дерном. Мало того — двор, как и в прежние времена, был обнесен плетнем, совсем новеньким, с чистенькими, белыми, только что об-

¹ Инэй — тетка,

струганными жердями, снег со двора тщательно убран, и дорожка от калитки к крыльцу — выложена камнями.

«Ишь ты! Можно подумать, на него тут десять работников старались!» — со злостью подумал Хажисултан и направился к дому, из которого доносился веселый гомон.

Внутри дома все тоже неузнаваемо изменилось — чурбак был заново переложен и побелен, стены и потолок обшиты свежими досками с еще сочащейся смолой, пол чисто выметен, на нарах лежали грубое армейское одеяло и маленькая подушка, весело горел огонь в очаге, пел, насвистывая, отдраенный до зеркального блеска самовар, пахло малиновым листом. На деревянных крюках у дверей висело такое количество одежды, как у Хажисултана по большим праздникам, на нарах не было ни одного свободного местечка, и люди сидели на полу, подстелив под себя зипуны и тулупы, или просто стояли вдоль стен. Как только Хажисултан вошел, гомон немедленно прекратился и наступила тишина.

Акназар, сидевший на чурбаке около очага, повернулся к дверям. На мгновение веселое скуластое лицо его выразило удивление, но оно тут же сменилось радушной улыбкой; он прищурился и кивнул вновь пришедшему:

— Ассалям агалейкум!

— Багалейкум ассалям, — сквозь зубы процедил Хажисултан.

— Присаживайся, — пригласил Акназар, улыбаясь еще шире и показывая ровные, белые, крепкие зубы, как зернышки — один к одному.

Он подвинулся, освобождая место на чурбаке, и, взяв чашку, потянулся к самовару. Бушлат, накинутый поверх тельняшки, соскользнул с правого плеча, и Хажисултан увидел под засученным рукавом ясно выступавшую на коже татуировку — обвитый цепью якорь.

Акназар налил чашку чая и вопросительно посмотрел на бая.

— Я ненадолго и только что от стола, — недовольно сказал Хажисултан.

— Ну что ж, твоя воля и желание для тебя закон, — весело ответил Акназар и протянул чашку Ягуде-агаю, сидевшему на другом конце чурбака. — Кому еще? Всем пока хватает? Ну, а не хватит, так подходите и наливайте сами, у меня уже руки устали!

— Так что ж ты тогда сразу не приехал? — продолжая прерванный разговор, спросил Ягуда-агай. — Не хотелось, что ли?

— Какое там не хотелось! Только о том и мечтал, чтоб сюда вернуться! — охотно откликнулся Акназар. — Так ведь тут как раз война и началась, меня сразу и забрали, с тех пор только и знал, что по свету мотался.

— Акназар-агай, а как ты в моряки-то попал? — с жадным любопытством рассматривая его тельняшку и бушлат, где на каждой пуговице блестел якорь, перебил его Гайзулла.

— А я и сам не знаю! — Акназар расхохотался. — Везли нас, везли, привезли в Оренбург, а там — опять комиссия, да не такая, как в Кэжэне, — все в белых халатах, строгие такие доктора! Взвесили меня, к палке поставили, чтоб рост измерить, молоточками стучали, сердце слушали, целый час возились, никак не меньше. Даже в зубы посмотрели, словно я конь, а они меня купить собираются! Главный их так прищурился и говорит: из таких, мол, как ты, матросскую породу выводить можно! Ну, а мне не все равно, где моя голова под пулей окажется, на земле или на воде? Я так думаю — один шайтан!.. А на море я уж насквозь просолился, даже вон если бушлатик мой на вкус попробовать, сама соль горькая...

— А какое оно, море-то? — допытывался Гайзулла.

— Море? Одна вода кругом, и берега не видать... Вот где оно у меня! — Акназар постучал кулаком в грудь. — Море только когда своими глазами увидишь, то поймешь, что оно такое...

— Может, видел ты где-нибудь сыночка моего? В одно время вас забрали-то, — тихо сказала Сайдеямал. — Если ты столько изъездил, сколько говоришь...

— Нет, — покачал головой Акназар, — не слышал. Да и трудно моряку про солдата услыхать: один — на земле, другой — на воде, разный у них фронт, и война разная... Ни про кого из нашей деревни не слышал, да я, может, и один из всех в моряки попал...

— У меня сын тоже в матросах, — подал голос старик Файзрахман, чинно восседавший на нарах. — Только на юге он, а ты — с севера... Но, может, хоть про корабль его слышал что-нибудь?

— А какое у него название?

— Эс-сминец, кажется... — с трудом выговорил Файзрахман.

— Да разве это название? — Акназар улыбнулся и покачал головой. — Это его, так сказать, суть, вот как, например, лодка или плот... Есть разница? Так и тут. А эсминец, как и лодку, по-разному назвать можно, вот у нас на севере — «Самсон», «Страшный», другие еще...

— Я только это название знаю, — опустил голову Файзрахман.

— Так стой, письма ты от сына получаешь?

— Получаю, а как же!

— И сам ему пишешь?

— Пишу...

— А на какой адрес?

— Да я не сам пишу,— смутился Файзрахман.— Вот до седых волос дожил, а грамоты не знаю...

— Так это неважно! Ты мне принеси письма-то, там, в адресе, должно быть название корабля, обязательно, иначе и письмо не дошло бы! Тогда я тебе прочту, а ежели что знаю про корабль, то и расскажу...

— Хорошо,— довольно закивал головой Файзрахман.— Добрый ты человек...

— Да что ты, агай! — смутился Акназар. Он пригладил черные, коротко стриженные усы и оглядел собравшихся.— Что ж вы чай-то не пьете? Одними разговорами сыт не будешь!

— А ты царя видел? Он тебе медаль не давал? — вдруг вскинулся из дальнего угла Шарифулла.

— Есть одна, «За храбрость», серебряная, только не ношу я ее, ни к чему... Медали при парадной форме надевают, кто ж дома в парадной форме расхаживает?

— А где ж она? — поинтересовался Шарифулла.

— Да вон там,— Акназар нехотя показал на задвинутый под нары сундучок.

— Покажи, пожалуйста,— по-детски попросил Шарифулла.

— Ну, коли охота... — Акназар встал, вытащил из-под партяжий, деревянный сундучок и принялся копать в нем.

— А это что? — спросил Гайзулла, тыная пальцем в картинку, которыми была обклеена внутренняя сторона крышки.

— Это?... Да из журналов вырезал, для красоты! — Акназар приподнял голову.— Вот эта картинка из «Нивы», вишь, пароход двухпалубный, а река Волга называется... Не видел я ее, правда, никогда, но зато слышал. Самая знаменитая у русских река... А это горы, на наши смахивают, поэтому и вырезал... Погляжу — и словно дома побываю...

— А это кто? — спросил Гайзулла, рассматривая портрет узколицей большеглазой женщины в лиловом платье, с веером из черных перьев в руках.

— Да я и сам не помню... Не то какая-то заграничная царица, не то актриса...

— А это? — Гайзулла указал на виньетку от коньяка, наклеенную между картиной и женщиной в лиловом платье.

— Экий ты дотошный! — с любопытством поглядел на парня Акназар.— Хорошо, молодец, так и надо! На-ка медаль, посмотри, небось тоже интересно?

— Мне, мне! — закричал Шарифулла, выбираясь из угла.— Ты же мне пообещал!

— Ладно, все успеете!

Пока он ходил в сени за водой, разводил самовар, заваривал в чайнике листья малины, подкладывая в очаг аккуратные, ровные поленья, медаль переходила из рук в руки. Разгляды-

пали ее внимательно и пристрастно, словно медаль эта была выдана не Акназару, а всей деревне. Хажисултан, так и не решившись сесть, наблюдал за всем происходящим, прислонясь спиной к дверному косяку, не сняв шапки и еле сдерживая готовую вот-вот прорваться ярость.

— Да... — протянул Ягуда-агай, бережно поднеся ладонь с лежащей на ней медалью к огню, чтобы получше разглядеть ее. — Красивая медаль. Наверно, такую дают за очень храбрый поступок...

— Акназар-агай, а за что тебе эту медаль дали? — спросил Гайзулла.

— Балда! Ему сам царь ее дал! — возбужденно выкрикнул снова забравшийся в угол Шарифулла.

— Да нет, не царь. Царь медали и ордена только министрам выдает или там адмиралам, а матросам медали дает командир корабля. Эту медаль мне выдали, когда я на сторожевом катере плавал.

— Значит, не видел ты царя, — разочарованно вздохнул Шарифулла.

— Как не видать? Видел! — кашлянув в кулак и поглядев в сторону Хажисултана, сказал Акпазар.

— А какой он?

— Какой? Да такой же, как все богатые люди, разница только в названии... Вот у нас, например, бай, а там — царь, понял?

— Значит, царь такой же, как бай? — недоверчиво посмотрел на матроса Шарифулла.

— Ну да! — подтвердил Акпазар. — В точности такой, даже потолок нашего Хажисултана будет... Богатые люди всегда лучше бедных едят, оттого их и разносит в ширину...

— Акназар-агай, а ты видел, как его с трона скинули? — спросил Гайзулла.

— Видел! — не сморгнув глазом, ответил Акпазар. — Знаю даже одного такого матроса, что его за ногу из-под трона вытащил! Дружок мой закадычный, Кириллом звать.

— Что ж ты молчал? Расскажи, агай... — стали просить со всех сторон.

Народу в комнате прибавилось, все время кто-то входил, здоровался и устраивался, как мог, в тесной, до отказа набитой людьми комнатке. Под конец люди, не вмещавшиеся в комнате, остались стоять в сенях, а те, кто не нашел места и в сенях, стали заполнять двор и пытались оттуда расслышать, что говорит Акназар.

— Рассказать можно. Сейчас чаю только глотну! — Акназар усмехнулся в усы, выпил залпом две чашки и провел ладонью по широкому обветренному лицу. — Стало быть, служу я... Матрос как матрос, то в кубрике, то в кают-компании, то

палубу драю, то пулеметы разворачиваю, свое матросское дело знаю, а дальше — пусть шайтан разбирается! Ничем таким не отличался, только вот разве медаль, да и ту, по правде сказать, у нас почти все матросы получили, а кто — и по две штуки. Даже и не знаю, за что мне такое выпало — только вызывает меня однажды к себе один большой человек, самый близкий помощник того, кто царя скинул. . .

— А кто царя скинул?

— Да замолчишь ли ты наконец! — возмущился Файзрахман. — Слова человеку не даешь сказать! Разве мы сюда тебя пришли слушать? . .

Гайзулла покраснел, Акназар ободряюще подмигнул ему и продолжал, переворачивая кочергой поленья в очаге и весело поглядывая на Хажисултана:

— Так вот, вызывает меня к себе этот большой человек и говорит: «Посмотри-ка ты, Акназар, вон туда». Смотрю, а он мне на дворец царя показывает. «Вот, говорит, Акназар, какое дело — сидит этот царь у себя во дворце, весь в шелках да в бархате, жрет, сколько влезет, пьет, сколько сможет, вроде ваших баев, а кругом-то него люди голые ходят, и даже кусочка хлеба у них нету. За что же это — царю все, а людям кукиш? Где же тут справедливость?» Задумался я и отвечаю: «Правда, нет в этом деле справедливости, но только что же с этим поделаешь, так уж устроено — у богатей карманы полные, а у бедняков пустые». — «А ты посчитай-ка, — говорит он мне, — сколько на свете богатей и сколько бедняков, кого больше?» Посчитал я, вижу — бедняков больше. «Правильно, — говорит мне этот человек. — А если все богатство, что у богатей, на всех людей поровну разделить, что тогда будет?» Ну, подумал я и говорю, что, мол, будет тогда и бедняку что надеть и что поесть. «Правильно, говорит, так и надо сделать, бери-ка своего дружка Кирилла, бери всех других матросов и гони, говорит, его в шею, царя этого!» — «А почему ж, говорю, я, а не кто-нибудь другой?» — «А кому ж еще-то, — отвечает он, — ты разве не бедняк, ты разве о своем куске хлеба каждый день не думаешь, ты разве не хочешь, чтоб тебе и другим беднякам на свете жилось хорошо? Если вы не пойдете, то кто же тогда на него пойдет? А ну, говорит, выгляни в окно!» Я глянул, а там народу — словно море шумит перед штормом. Ну, думаю, девять баллов, работенка, киль ей в душу! «Это кто ж, спрашиваю, такие?» А он отвечает: «Это твои братья, со всей земли бедняки. Бери-ка ты это войско и ступай прямо на царя!» Ну, я так и сделал. Взял дружка своего Кирилла, и пошли мы на дворец, а за нами — все матросы, а за матросами — бедняцкое войско. Еще до дворца не дошли, а стража, что царя стерегла, вся от испуга разбежалась, министры нас у порога встречают: мол, сдаемся мы тебе и твоему войску, Акназарка,

без всякого сопротивления! А мне не до них, мне самого царя надо! Ищем мы, ищем, по комнатам ходим, а комнаты все такие, что и в сказках таких не бывает, — одна золотая, другая серебряная, а третья вся драгоценными камнями сверкает — прямо глаза разбегаются! Идем-идем по дворцу, а его нигде нет, океанного...

— Вот куда наше золото уходит, — прошептал кто-то.

— Наконец пришли мы с дружкой Кириллом в ту комнату, где трон стоял. Глядим — а трон пустой. Куда ж, думаю, он делся, шайтан? А Кирилл мне и говорит: а чего это, Акназарка, из-под тропа вроде красный сапог торчит? Подошли мы поближе — и вправду, торчит. А ну, говорю, Кирилл, потяни за сапог! Так он его и вытянул! — Акназар захохотал, следом за ним засмеялись и гости, кто открыто, а кто — с опаской поглядывая на бая, и все же не в силах удержаться от смеха. Хажисултан с яростью глядел то на смеющихся, то на свои красные щегольские сапожки.

— Так вот, тянет он царя за ноги, — все больше воодушевляясь, продолжал Акназар, — а царь аж белый весь стал, кричит: «Акназарка! Не предавай меня, я тебя с ног до головы озолочу, первым министром сделаю!» — «Нет уж, — говорю я, — теперь весь твой род, всех богачей изничтожу и богатство твое бедным раздам, чтобы все по справедливости было!» Ну, тут уж ему делать нечего, видит, что дело его плохо, и говорит: «Эх, Акназарка, Акназарка, подрезал ты меня...» Посадил я его в тюрьму, распустил войско, а сам сюда подался посмотреть, все ли у нас тут идет, как надо...

— Выходит, ты сюда порядки наводить приехал? — не выдержал Хажисултан. Он оторвался от стены и выступил вперед, сжимая кулаки. — Ну, давай, принимайся теперь за меня, если сил хватит, голодранец несчастный! Язык без костей! Сидишь тут и лаешь, а про что — сам не знаешь!

— Я тебе что, собака, чтоб лаять? — подняв брови, с угрозой спросил матрос.

— Хуже собаки! — Лицо Хажисултана побагровело, глаза налились бешенством. — Не успел приехать, а уже на меня кидаешься, людей с толку сбиваешь!

— Да я, по-моему, о тебе и слова худого не сказал! — Акназар с веселым недоумением оглядел собравшихся.

— Ты что, за дурака меня считаешь? — заорал Хажисултан. — Думаешь, я не понимаю, на что ты намекал, когда про царя рассказывал? А ты даже не подумал встать и приветствовать меня по обычаю, когда я вошел! Но смотри — это тебе даром не пройдет, я над собой никому еще смеяться не позволял и не позволю! Если мать с отцом тебя обычаем не научили, то я за эту науку возьмусь, бесплатно обучу — голодом

заморю, как последнюю шавку, из деревни выгоню и пепел за тобой следом развею!..

— Руки коротки,— спокойно и насмешливо ответил Акназар.— Врешь ты все, никого ты теперь ниоткуда прогнать не можешь! Скинули царя, и тебя скинут, прошли ваши времена, новые пришли — наши!

— А вы-то хороши! — повернулся к односельчанам Хажисултан.— Рты разинули, уши развесили... Да я вам завтра сто тысяч таких же небылиц наплету! А ну, марш по домам! Если не пойдете, то и ко мне в дверь пусть ни один из вас не стучится, и путь будет проклятие аллаха на вас и на ваших детях до седьмого колена!

— Страхом хочешь взять? — Акназар встал, скинул бушлат одним движением плеч, и сразу стали видны выпиравшие под полосами тельняшки крупные бицепсы на руках и груди.— Иди, иди сюда поближе,— ласково и спокойно поманил он Хажисултана.— Я тебе сейчас так твою морду надраю, что навсегда отсюда чистый уйдешь, в баню ходить не надо будет!.. Ну, чего ж ты встал? Или душа в пятки спряталась?

— Ты мне за это ответишь! — погрозил кулаком Хажисултан и, навалившись всей тяжестью на плотно стоявших людей, стал пробираться к выходу.

Акназар сунул два пальца в рот и по-разбойному засвистал, расхохотался, хлопая себя ладонями по коленям:

— Эй, лупи эту крысу пузатую! В штыки, ребята! Береги, бай, свои красные сапоги, чтоб было за что из-под кровати тащить!

Хажисултан еле вырвался из сеней и, не глядя ни на кого, затрусил к калитке. Голова у него болела, спина и ноги ныли оттого, что он так долго стоял, поясницу снова заломило.

«Если все голозады будут возвращаться такими с фронта, что же тогда будет? — думал он.— Уж лучше бы навеки там оставались. Испортился народ, испортился! Уже и мулла Гилман ничего не может сделать, а над старостой они просто смеются, чуть не в глаза его желтой змеей называют! Нет, тут одних слов мало... И если не придумать — всему конец! Хоть сегодня ложись и помирай!»

Придя домой, он, не заглядывая на женскую половину, отправился к себе и сразу же лег. Шаяхмет помог ему раздеться.

— Вот что, сынок, ты завтра уезжаешь, дам я тебе одно письмо. Сам его отнесешь и передашь прямо из рук в руки, понял? — устало сказал Хажисултан, откинувшись на подушках.

— А кому?

— Оренбургскому мулле-хазрету. Да смотри спрячь конверт подальше, там не только письмо — там еще и деньги будут.

— Деньги? — удивился Шаяхмет.

— И немалые. Пусть он это письмо при тебе прочтет и тут же ответит. Скажи ему: если мало денег, мол, отец еще даст, только чтобы он приехал сюда хоть на денек!

— Ты хочешь, чтобы он приехал к тебе в гости? — еще больше удивился Шаяхмет.

— Я хочу, чтобы он поговорил с людьми во время намаза. Может быть, такой священный и образованный человек сможет наставить их на путь истинный... Ты же сам учишься на муллу и должен понимать, как это важно, когда человек держится своей веры. А я вижу, что она у нас в Сакмаеве с каждым днем все слабее и слабее... Как же я могу смотреть на это равнодушно? Я сделаю все, чтобы люди перестали слушать шайтана, который говорит сейчас устами русских, — это мой долг. Разве не так?

— Да, отец, — склонил голову Шаяхмет, — ты настоящий мусульманин.

XX

Весна хлынула с гор неожиданно-негаданно, казалось, за неделю растопила все снега, и не успели люди оглянуться, как уже зазеленела на склонах трава, показались первые ландыши и лес точно окутался зеленым дымом.

Берега Юргашты стали веселыми и оживленными: копались на отвалах дети, с шумом текла по вашгердам вода, многие начали собираться в горы — кто искать золото, свой счастливый фарт, кто на джайляу.

Вся весна прошла в хлопотах и сборах. В Сакмаеве подправляли на скорую руку изгороди и плетни, заново ремонтировали клетки и сараи. Прииск тоже наполовину опустел, и лишь в одном Кэжэнэ дымили трубы и почти каждый день собирались на митинги — выступали и приезжие ораторы, и свои, и хотя говорили вроде всегда об одном и том же, люди тянулись на эти сборища, жадно слушали всех, чтобы понять, что творится в округе и по всей стране...

Однако в тот час, когда на базарной площади в полдень появился отпущенный на побывку Хисматулла, она показалась ему пустой и безлюдной. Перекинув через руку шинель и поправляя то и дело висевшую за спиной котомку, он обошел базарные ряды в надежде увидеть кого-нибудь из сакмаевцев, но не повстречал никого.

Но это не расстроило и не огорчило солдата, — теперь он был недалеко от дома, и нужно было только набраться терпения, чтобы найти попутную подводку и добраться до родного порога. Пристроившись около забора, он расстегнул воротник

гимнастерки, вынул из котомки небольшой сверток с припасами и разложил на траве. Аккуратно отрезав перочинным ножом кусок черного хлеба, он круто посолил его солью из тряпицы, стал медленно и с наслаждением жевать, поглядывая по сторонам и радуясь каждому повому встречному, птичке, вспорхнувшей с забора на ветку березы, траве под погами, даже чертополоху, глушившему придорожные канавы. Он так истосковался по всему родному, что душа его живо отзывалась на все, что видели глаза и слышали уши. . .

Пока он не торопясь жевал хлеб, на базарной площади что-то изменилось, ровно прибавилось народу, стало шумно, хотя было трудно понять, куда и зачем спешат люди. Он слизнул с загорелой ладони крошки и остановил мчавшегося мимо босоногого мальчишку.

— Эй, малой! — весело позвал он. — У вас что, нынче какой-то праздник?

— Не праздник, а митинг! — на ходу отозвался парнишка. — Может, опять драка будет, как вчера! Потеха!

— Постой, постой! — пытаюсь удержать мальчишку и расспросить его обо всем поподробнее, воскликнул он. — Что за митинг?

Но мальчишки и след простыл. А народ уже бежал на другой конец площади, оттуда, все нарастая, катился возбужденный гомон, смех, там уже кто-то взобрался на телегу и размахивал красным флагом.

Хисматулла торопливо кинул за спину котомку, подхватил шинель и быстро зашагал на край площади. Ему пришлось уже протискиваться через толпу, чтобы быть поближе к телеге, на которой теперь, возвышаясь над всеми, стоял полный, коротконогий человек в городском костюме с жилеткой и размахивал рукой. У него было круглое лицо с рыжей бородкой, в правой руке он мял белый батистовый платок.

— Граждане Кэжэна! Прошу внимания! — одернув жилетку, оратор внушительно прокашлялся, помахал батистовым платком. — Вчера, во время моего выступления, кое у кого возникли сомнения в подлинности моих слов! . . Я рад сегодня документально подтвердить свою правоту! Вот она! В моих руках только что полученная телеграмма, где черным по белому сказано, что большевики изменили революции! — он переждал прокатившийся по площади шум, вынул из кармана хрустящий на ветру листок. — Каждый в любой момент может подойти и прочитать, что здесь написано! А здесь написано то, что сегодня знает уже весь мир, а именно — что большевики по тайному сговору с нашими врагами немцами готовили свержение Временного правительства! . . Тем самым они предавали нашу революцию, наши идеалы! Они предавали Россию, дорогую для каждого из нас. . .

— Кто это говорит? — наклоняясь к стоявшему рядом пожилому усатому человеку с усталым лицом, спросил Хисматулла.

— Да ты что — с неба свалился? — изумился усатый и даже пожал в недоумении плечами и отвернулся. — Неужели ты Комловского не знаешь? Да тут его любимая собака. . .

— Я на самом деле свалился, только не с неба, браток, а с фронта, — тихо ответил Хисматулла. — Из госпиталя вернулся, на побывку. . .

— А-а, тогда дело другое, — усатый доверительно усмехнулся. — Тогда слушай, скоро поймешь, что это за птица и про что она каркает. . . Он купец второй гильдии, а недавно назначен уездным комиссаром Временного правительства! Шишка, да еще не на ровном месте. . .

— Лидер большевиков, известный под кличкой Ленин, с помощью тайных агентов вошел в прямой контакт с Вильгельмом и, надо полагать, получил за это предательство священных интересов России весьма внушительную сумму! Со временем истории станет известна эта сумма, но можете не сомневаться, что наши заклятые враги не поскупились! . . Сейчас Ленин скрывается в подполье, не исключено, что его переправили уже за границу, но ему все равно не уйти от суда народа! . .

«Врешь, паскуда!» — чуть было не выкрикнул Хисматулла, но, взглянув в напряженное, застывшее, как маска, лицо пожилого рабочего, сдержался. Он не знал, кто окружал его в этой толпе, друзья, враги или обманутые этой хитрой ложью доверчивые рабочие люди, потому что с разных концов уже несло:

— Повесить за такие дела мало!

— А чего правительство смотрит? Чего рассусоливать, раз документы на руках!

— К стенке всех врагов отечества! — багровея, кричал неожиданно вынырнувший около телеги офицер, седой, в пенсне. — Шпионам не должно быть никакой пощады!

— Спокойно, граждане! Спокойно! — выбрасывая вперед руку с белым платком, стараясь перекрыть шум толпы, надрылся уездный комиссар. — Мне понятны ваши патриотические чувства! Можете не сомневаться, что никто не уйдет от справедливого возмездия! Большевики себя полностью разоблачили! Их гнусный замысел провалился, и Временное правительство воздаст им по заслугам! . . У нас рука не дрогнет, чтобы наказать изменников и предателей Родины! . .

— Просим от нашего имени передать правительству нашу признательность и благодарность, — снова дернулся офицер, пенсне слетело с его горбатого носа и сверкнуло на солнце, но тут же погасло, повиснув на витом шнурке. — Да здравствует Временное правительство! Ур-р-ра Керенскому! Сла-а-ва!

Толпа нестройно отозвалась на этот крик.

— ...ра-а!

Хисматулла навалился грудью на телегу, качнул ее всем телом, и комиссар, пелепо взмахнув руками, чуть не полетел вниз. Но телега выровнялась, комиссар расставил пошире ноги, подвинулся к самому краю, и Хисматулла нашел этот момент самым удобным, чтобы дернуть его за штанину.

— В чем дело? — насутился комиссар. — Что вы хотите?

— Я тоже хочу два слова...

— От имени кого вы намереваетесь выступать? — снова нацепив пенсне, подозрительно сощурился седой офицер.

— От себя хочу сказать, — кладя на телегу котомку и шинель, сказал Хисматулла. — С фронта иду, после ранения... Может, людям будет интересно послушать?

— Слово просит солдат нашей доблестной армии! — глядя сверху на Хисматуллу, громко объявил уездный комиссар. — Мы приветствуем среди нас защитника родины!

Он первый, скомкав платок, захлопал в ладоши, и вся площадь прошелестела, награждая нового оратора аплодисментами.

Хисматулла вскочил на телегу и оторопел, увидев запруженную людьми площадь. Он так растерялся, что с минуту немо, широко распахнутыми глазами смотрел на это море голов, пестрые бабьи платки и кепки, на пыльный большак за крытыми прилавками базара, на попки ветлы. Он словно оглох на мгновение, хотя над толпой катился ровный, как прибой, шум голосов, крики ребятишек, чей-то плач.

— Давай, солдат, не томи! — крикнули из толпы. — Раз вызвался — говори, что знаешь!

— А я врать и не собираюсь, — нашелся наконец Хисматулла и вздохнул всей грудью. — Вот стоял я там внизу, слушал этого господина, и стало мне обидно...

Шум сразу пошел на убыль, и Хисматулле показалось, что он слышит, как громко колотится в его груди сердце.

— Покормил вшей я в окопах, два раза меня ранило, в штыковые атаки ходил, в госпиталях належаюсь, сейчас домой иду, тут недалеко — может, знаете Сакмаево? Так вот я отсюда... А обидно мне стало потому, что этот господин про меня все говорил и все, как есть, врал!

Раздался смех, чей-то выкрик, но через минуту на площади стыла уже хрупкая, готовая вот-вот сломаться, тишина.

— Не буду от вас скрывать, что я большевик! Настоящий, без подделки, весь на виду перед вами, и скрывать мне от вас нечего, но и напраслину и хулу всякую я тоже терпеть не намерен!

Уездный комиссар наконец, кажется, понял, чем грозит ему это выступление, и схватил Хисматуллу за руку:

— Я лишаю вас слова! Прошу покинуть трибуну! Вы дезертир!

— А может быть, и шпион немецкий! — завопил офицер и попытался сдернуть Хисматулла за ногу с телеги. — Долой!

Хисматулла крепко держался на телеге. Он легко оттолкнул от себя комиссара, лягнул в грудь офицера и крикнул уже во весь голос:

— Видали, как они за правду стоят, эти господа? Видали? Уже в дезертиры определили! В изменники!.. А кому дают в награду вот эти кресты? Кому?

Он потер ладонью георгиевский крест на гимнастерке, чуть подался вперед, чтобы было видно всем, что у него на груди, и толпа зароптала:

— Не затыкайте рот человеку!

— Он же герой!

— Давай, солдат, крой! Не стесняйся!

Хисматулла не заметил, как пробились к телеге и стояли теперь плечо к плечу рядом с усатым рабочим чем-то похожие на него люди, видимо, с Кэжэнского завода, они одобрительно кивали ему, и он понял, что теперь не один, что эти люди, в случае чего, придут на подмогу.

— Я не знаю, откуда вы получили эту телеграмму, — все более воодушевляясь и волнуясь, говорил он. — Но знаю, что все, что там написано, ложь, вранье... Никто никогда не докажет, что самые близкие и преданные народу люди могут стать предателями. Ну разве я могу быть изменником и шпионом? Зачем? Ради кого? Я как был на этой земле, так и останусь здесь, мне только одного хочется, как и всем большевикам, — чтобы поскорее наступил на этой земле мир, чтобы перестала литься кровь, чтобы те, кто не имеет земли, получили ее, а те, перед кем мы вечно гнули шею и на кого работали, не мешали нам строить новую жизнь... А что мы получили от Временного правительства? Войну оно кончать не собирается! Землю не обещает, и по всему видать, будет защищать интересы тех, у кого всего много!.. Вот скажите вы, как наш уездный комиссар, вы хотите, чтоб завтра война кончилась?

— Я жду, чтоб поскорее наступил желанный мир! — с жаром ответил коротконогий и вытер батистовым платком потное разгоряченное лицо. — Но, кроме наших желаний, есть большая политика, есть интересы России...

— Если вы окажетесь под игом иноземца, вы не получите ни земли, ни мира, ничего! — еле сдерживаясь от ярости, поддерживал его офицер. — Надо в первую очередь думать об отечестве, а не о себе!

— Зачем вы позволяете этому большевистскому агитатору разводить свою демагогию? — вырвался кто-то из толпы. — Война до победного конца!

— Не мути воду, солдат!

— Слезай с верхотуры!..

Эти одинокие всплески тонули, однако, в общем все нарастающем гуле, и было пока непонятно, что таила в себе эта неподвластная простым расчетам стихийная сила.

— Вы все сказали, что хотели? — спросил уездный комиссар. — Тогда прошу освободить...

— Не торопитесь, господа хорошие! — раздался спокойнопасмешиливый голос, и не успел Хисматулла ответить Комловскому, как на телегу вскарабкался Михаил и заключил его в крепкие объятия. — Здорово, браток!

— Это опять вы? — скривил губы уездный комиссар. — Хотите, как вчера, организовать новую свалку, довести дело до побоища!

— А это уж как получится! — озорно отозвался Михаил и повернулся лицом к толпе: — Если не возражаете, я могу кое-что добавить к тому, о чем говорил предыдущий оратор!

Лица рабочих, плотно стоящих вокруг телеги, оживились, кто-то из них захлопал в ладоши, и вот уже пошел по рядам, отдаваясь эхом на всю площадь, оживленный говор, и гомон, и стук ладош. Судя по всему, многие хорошо знали Михаила и радовались его появлению.

— Прежде всего я хотел бы получить телеграмму, которую вы тут всем показывали, но которую никто пока не прочитал! Давайте посмотрим, кем она послана, кем подписана, и прочитаем ее народу! Если она для него написана, зачем ее скрывать?

— Вер-на-а! — прокатилось по площади.

— Телеграмма носит личный характер, — вспыхнув, ответил Комловский. — Она адресована мне, как уездному комиссару!

— Зачем же вы тогда размахивали ею? — под взрывы хохота заинтересовался Михаил. — Если она вам послана, то и читайте ее дома, с женой и детьми! А вы морочите людям головы да еще бросаете такие позорные обвинения большевикам! Это печестно и подло!

— Я никого не обманываю! — взвизгнул комиссар. — Извольте!

Он сунул сложенный вчетверо листок Михаилу, и тот, развернув его, быстро пробежал глазами.

— Товарищи, это очередная фальшивка, посланная такими же провокаторами, каким тут сегодня предстал господин Комловский! — размахивая зажатой в руке бумажкой, крикнул Михаил. — Здесь даже есть подписи никому не известных лиц! Это не телеграмма Временного правительства, а телеграмма врагов народа, сфабрикованная в Оренбурге! Можете ее наклеить на столбе вон там, на площади! Пусть все читают эту

грязную подметную бумажонку, и видят, и знают, как защищают наши интересы господа Комловские!

Пущенный по рукам листок, вспорхнул, как гигантская бабочка, и загулял по площади, хотя комиссар надрывался от крика и требовал, чтобы ему вернули его бумагу.

— Это произвол! — кричал, весь трясаясь от бессильной злобы, офицер, но его уже оттеснили от телеги и теперь виднелась только его стриженная под ежик седая голова.

— Судите теперь сами: можно ли после всего этого верить человеку, который способен идти на подлог, на прямой обман, чтобы одурачить доверчивых людей? — отчетливо и громко разносился над площадью голос Михаила. — Давайте подумаем, для чего это делается? От имени народа выступает тут купец второй гильдии или от имени таких же богачей, как он сам, которые только наживаются на войне! . .

Площадь бурлила, отвечала гулом на каждое меткое слово оратора, давно слез с телеги уездный комиссар и пропал в толпе, но люди не расходились, где-то над головами взметывалась белая рука, кто-то о чем-то спрашивал, и снова наступала тишина, и в ней напряженно и сильно звучал голос Михаила.

Хисматулла все время стоял на телеге рядом с товарищем, ноги у него затекли, но он почти не чувствовал этого, радуясь и этой неожиданной встрече с другом, и тому, что решился выступить на таком сборище.

Митинг затянулся допоздна, до самых сумерек. Михаил попрощался с рабочими, которые разошлись последними, и только сейчас, будто впервые увидел Хисматуллу, улыбнулся ему усталой улыбкой.

— Ну что, браток, поработали на славу?

— Да, жарковато было, — согласился Хисматулла. — Вовремя ты подоспел, а то бы они меня смяли!

— А ты молодец! — Михаил похлопал товарища по плечу. — Вот что значит повариться в солдатском котле! . . Пройдем ко мне, попьем чайку, выпьем у меня, а завтра утром отправимся в свое Сакмаево! . .

— Идет!

Солнце уже зашло, от реки веяло прохладой. Далеко, там, где небо соединялось с землей, темнели расплывчатые очертания гор. Улицы были тихи, во многих окнах горел свет. Изредка то в одном, то в другом дворе начинала лаять собака, и снова все стихало. Кирпичные лавки, дома, выстроенные из толстых сосновых бревен, палисадники с цветущей, одуряюще пахнущей липой, белые головки ромашек, притулившиеся у высоких заборов, перевесившаяся через ограды черемуха, неназойливое стрекотание кузнечиков в крапиве, спина Михаила с ровно двигающимися в такт шагам лопатками — все казалось Хисматулле зыбким, нереальным. Он так устал, что еле

поспевал следом. Возбуждение, которое позволяло ему не замечать этой усталости, прошло, и теперь он неловко спотыкался, чувствуя, как с каждым шагом тяжелеет на плечах котомка, как мешает перекинутая через руку шинель.

Перейдя через реку, они свернули в один из узеньких окраинных проулков. Неожиданно от забора отделилось несколько темных фигур, и Михаил, словно ожидавший этого, резко остановился и, взглянув на Хисматулла, сжал ему руку.

Сна как не бывало. Хисматулла скинул котомку и принялся ожесточенно рыться в карманах.

«Хоть бы железку какую! — растерянно подумал он. — Эх, дурак я, надо было револьвер в кармане оставить, а теперь уже не успею даже развязать мешок!»

— Спокойнее, — шепнул ему Михаил.

Людей было пятеро. Хисматулла сразу узнал одного из них — это был тот самый офицер, который старался стащить его с телеги за ногу.

— Что вам надо? — ровным голосом спросил Михаил.

— Сейчас узнаешь, большевистская сволочь! — весело ответил офицер и замахнулся.

Хисматулла схватил его за руку, в ту же секунду кто-то подставил ему ножку, и клубок рычащих, лупящих друг друга тел покатился по земле.

Кто-то, сидя верхом на Хисматулле и взяв его за волосы, стал равномерно бить его головой об землю; Хисматулла зажмурился, сжал зубы и изо всех сил старался выкрутиться, но на ногах у него тоже лежал кто-то тяжелый, а правая рука была заломлена за спину.

— Г-гады!.. — дергаясь, хрипел он сквозь зубы.

— Стой! Стрелять буду! — вдруг раздался высокий, звонкий голос.

Тяжесть на спине и ногах тут же исчезла куда-то, и Хисматулла сел, отплевываясь и протирая глаза.

Михаил уже стоял, кашляя и потирая левую руку.

— Ты как там? — спросил он.

— В порядке! — вставая и отряхиваясь, ответил Хисматулла.

— В порядке! — хохотнул, подходя к нему, высокий плечистый человек в низко надвинутой на лоб кепке. — Не подоспей мы вовремя, несдобровать вам. Уж точно бы кишки повыпустили! Ну, чего молчишь? Не признал, что ли?

Хисматулла внимательно посмотрел на высокого и помотал головой:

— Вроде нет... Хотя лицо и знакомое, не могу вспомнить, где я тебя видел?..

— Эх ты, беспамятный! Камеру сорок шесть помнишь? Здесь же, в тюрьме Кэжэнской, и познакомились! Вспомни,

вспомни, Сафуаном меня зовут, еще после допроса тебя водой отпаивал. . .

— Ой, вот теперь вспомнил! — обрадовался Хисматулла.

— А ты молодец! — похвалил его Сафуан. — Не сдался перед этими кафырами, показал им, какое мужество у джигита!

— Перед какими кафырами? — не понял Хисматулла.

— Да перед теми, кто чуть тебя на тот свет не отправил!

— Не важно, какой нации человек, важно, чтоб он человеком был, — возразил Хисматулла. — Тут не нация главное, а класс. . .

— Вот тут ты как раз ошибаешься, — покачал головой Сафуан. — Мы — башкиры, и никакого другого класса нам не нужно! . .

— Нужно или не нужно, а все равно уже есть — бан и бедняки. У каждой нации эти два класса есть. Зачем нам с русскими бедняками бороться? Нам лучше со своими богачами бороться, а русские нам помогут, и мы им поможем против их богачей идти. . .

— Слышал уже я такие слова! — оборвал его Сафуан.

— Эй, Сафуан! Чего ты там задержался, дружка, что ли, встретил? Так тащи сюда, нечего там по-своему тараторить, давай-ка на одном языке поговорим!

— Пойдешь со мной? — по-русски спросил Сафуан, кивая на своих товарищей.

— Я бы пошел, да устал совсем, и договорился уже к Михаилу. . . Да ничего, еще встретимся!

— Ну, как знаешь. Айда, ребята! — Сафуан мотнул головой в сторону реки и повернулся спиной к Хисматулле.

— Спасибо, товарищи, — сказал Михаил.

— Не за что! В другой раз поосторожней будьте! — крикнул кто-то из рабочих.

— Не советую тебе жить по его указке! — кивнув в сторону Михаила, крикнул по-башкирски Сафуан.

Хисматулла промолчал.

— Ну и денек выдался! — внимательно глядя на него, сказал Михаил. — Это что, приятель твой?

— В одной камере сидели когда-то, только за что он сидел — не знаю.

XXI

Проснулся Хисматулла рано, от звона колоколов. Звонили, видимо, к заутрене, и эти печальные и чуть щемящие звуки мгновенно вернули его к дням детства, и ему захотелось поскорее очутиться дома, в родном Сакмаеве. . .

Стараясь не разбудить Михаила, он на цыпочках пробрался в сени, вышел во двор, сполоснул лицо из ковша холодной колодезной водой, огляделся.

Солнце уже стояло высоко над горами, в палисаднике щебетали птицы, земля приятно холодила ступни босых ног. Хисматулла вдруг вспомнил, как, сидя в сыром окопе или лежа на снегу под обстрелом, он не раз думал, как, вернувшись в родные края, тут же побежит в первый попавшийся лес, и надышится вволю, и наглядится на лесную красоту..

Впереди, за пряслами огородов, туманно зеленел, полого взбираясь в гору, молодой перелесок, и Хисматулла не выдержал. Он открыл калитку в огород, прошел между грядок, чувствуя податливо раздающуюся под босыми ногами землю, перемахнул одним прыжком через прясло и быстро зашагал к лесу.

Тропинка, петлявшая по склону, вывела его к крутому яру. Внизу плескалась и пела прозрачная Кэжэн, переливая с камня на камень чистые струи, с золотыми пляшущими и бегущими по воде бликами. Хисматулла счастливо засмеялся, вскинул руки и вдруг загорланил во всю мочь:

Почему, ах, почему, дайте мне ответ,
До сих пор не упал в речку минарет?
Почему в берегах не вино течет,
Не летят пироги с неба прямо в рот?

Он сел на землю, снова засмеялся, обхватил голову руками и закрыл глаза. Переговаривались о чем-то между собой красношейки и дрозды в кустах, журчала Кэжэн, солнце светило прямо ему в лицо, и даже с закрытыми глазами он чувствовал ласковый его свет и тепло. Где-то неподалеку дятел равномерно долбил полый ствол дерева. Хисматулла отнял руки и снова огляделся.

Те же березки с хрупкими молочными стволами, так же пламенеют на солнце сосны с разлапистыми ветвями, сочная густая трава сгибается под легкими порывами ветерка, все то же небо — высокое, голубое, и те же облака по нему...

«Словно вчера только меня в солдаты проводили», — с горестной нежностью подумал Хисматулла.

Он вскочил, срезал перочинным ножом трубочку для курая, обстругал оба конца, провертел по бокам несколько дырочек и приложил ее к губам.

Пронзительные, светлые звуки разлетелись по всему лесу и впелись в голоса птиц и плеск реки.

Поднесу я к губам твой камыш, Таштугай.
Запоет он, заплачет, как медный курай.
Нет кукушки такой у тебя, Таштугай!
Я вернусь на Урал. Ах, прощай, Таштугай! —

запел он, оторвав трубочку от губ, и гора эхом вторила этой старой песне, словно знала каждый звук ее, и даже трава, казалось, шелестела в такт ей, и чистая Кэжэн журчала прозрачно, отражая в воде каждый перелив мелодии.

Нет кураев таких у тебя, Таштугай,
Чтоб джигиту тоску перелить через край.
Как бы звонко, ни пел твой камыш, Таштугай,
Сердце рвется домой... Ах, прощай, Таштугай!..

Не переставая петь, Хисматулла встал и пошел без тропинки, прямо по бурелому. В лесу было прохладней, и земля здесь не была уже такой теплой, как на берегу. Пахло смолой, мхом и прелыми листьями. Неожиданно почти от самых ног его взвилась вверх по стволу маленькая белка с черными бисерными глазами.

— Ты чего, глупышка? — ласково сказал ей Хисматулла, чувствуя, что пьянеет то ли от запаха хвои, то ли от горькой своей радости. — Ты меня не бойся, я свой! Был бы орешек, дал бы, только вот нету...

Белка беспокойно посмотрела на стоявшего внизу человека и вскарабкалась повыше.

— Дурочка! — махнул рукой Хисматулла. — Ничего ты не понимаешь... Знаешь, что такое канонада? Не знаешь? То-то!

Он погрозил ей пальцем и снова пошел в гору, дурачась, то обнимая молодой дубок, выросший между соснами, то кланяясь пышной черемухе, бормоча нежные и глупые слова. Дойдя до вершины, он вышел на маленькую, покрытую светлыми голубыми колокольчиками поляну, ровно посередине которой росла прямая, как стрела, стройная березка. Солнце просвечивало ее насквозь, и казалось, что каждый листик на ее хрупких ветвях отражает всю голубизну неба, весь блеск этого ясного утра. Она стояла одна, ровно посередине, как будто сама гора нарочно посадила ее тут, и не было в ней никакой одинокости, она вся светилась, играла каждым своим листочком, и кожа ее ствола была белее и прозрачней, чем женские руки. Словно младшая дочь всего леса, стояла она и улыбалась каждой травинке, каждому солнечному блику и небу, и всем большим деревьям, окружившим ее тесным и почтительным кольцом, как невесту на выдаче, и во все стороны протягивала свои тоненькие, еще детские ладони, от которых по всему лесу, как нити, тянулись золотые ослепительные лучи.

Ноги у Хисматуллы подкосились, и он упал на траву и блаженно, сгораящим от стыда и счастья лицом, поцеловал землю.

«Радость, радость! — бессвязно вертелось у него в голове. — Как же я раньше не замечал всего этого? Значит, нужно было три года ползти по снегу, бежать в атаку, слышать, как

свистят рядом с башкой пули, видеть, как людей разносит на куски снарядами, чтобы понять, что такое жизнь и как она дорога человеку! Да ведь нет на свете ничего выше этой радости! И откуда она, откуда? Неужели только от этой тишины, солнца и облаков?»

Хисматулла снова уткнулся лицом в траву, на глаза его набегали слезы. Он потерялся о землю небритой щекой, словно ласкаясь, и притих.

Он не знал, сколько пролежал так — может быть, час, а может — больше. Но когда он поднялся и побежал вниз, как мальчишка, и гимнастерка вздулась у него за спиной, ему показалось, что он намного стал сильнее, чем был.

Михаил уже встал и сидел на крыльце, посасывая свою неизменную трубку.

— Я уж думал, что ты в Сакмаево сбежал, не дождался! Потом смотрю — котомка на месте, сапоги тоже, ремень в сених висит... Что, думаю, за черт? Утащили его, что ли, чтобы калым не платить? Где тебя черти носили?

— По лесу ходил, — улыбаясь, ответил Хисматулла. — А ты все такой же, совсем не изменился, как был задира, так и есть!

— Такой, да не совсем! — погладив поседевшие виски, нахмурился Михаил. — Давай-ка, расскажи лучше, как ты воевал. Слухов тут о тебе всяких много ходило. Говорят, даже в штрафном бывал?

— Было дело, — подтвердил Хисматулла.

— А сейчас что, из госпиталя?

— Да, сначала в Могилеве был, потом в Самару перевели. Как выпустили, так я прямо сюда, до Белорецка, на узкоколейке, а там — чем попадетсЯ, все больше пехотурой...

— Самара... — покачал головой Михаил. — Я ж там родился, там и мать у меня, и сестренка...

— Ну да? — удивился Хисматулла. — Эх, жалко! Знал бы — зашел бы, хоть привет тебе привез...

— Туда, браток, заходить нельзя ни тебе, ни мне, — вздохнул Михаил.

— Как же так, к матери — и нельзя? .. — с изумлением посмотрел на него Хисматулла.

— Да так уж получилось. Поссорились мы с отцом. Давно уже, в девяносто седьмом году...

Хисматулла присвистнул:

— Вот это срок! Неужели так долго сердится?

— Да разве в этом дело? Никто ни на кого не сердится, просто разные мы с ним люди, из разных классов, понял? Я вот из нашего, рабоче-крестьянского, а он из дворянского сословия, только и думает, как карман да голову сберечь, а на остальных ему наплевать... Мне ведь еще пятнадцати лет не

было, как мы разошлись, так и не видел с тех пор. Матери пишу только иногда...

Михаил опустил голову и задумался. Горы, уродливый корпус Кэжэнского завода с дымящими трубами, землянки, обветренные загорелые лица старателей, сосны — как непохоже это все на Самару — тихую, ленивую, с дощатыми тротуарами и пыльной акацией в палисадниках, зданием гимназии с портиком и колоннадой, куда он ходил в форменной курточке и фуражке, каждое воскресенье тщательно начищая мелом блестящие металлические пуговицы и ремennую пряжку. И зубрежка, зубрежка, зубрежка без конца, латинский, немецкий, физика, математика, география, военное дело, профессор греческого языка Аполлоныч с круглыми железными очками, то и дело сползавшими ему на нос, рисование, уроки танцев... А закон божий? Батюшка, с благостным лицом, таскающий гимназистов за уши? И, наконец, Клоп, директор гимназии, которого боялись и ненавидели все, начиная со сторожа и кончая пригоготовишками, — багроволицый, лысенький, толстенький, с пухлыми и короткими, как сосиски, пальцами. «Можете считать, что двери гимназии отныне закрыты перед вами...» Да, так он тогда и сказал, повернулся жирной, почти круглой спиной и скатился вниз по лестнице. А потом — мать с бледным, перепуганным лицом, с белым кружевным платочком у рта, тяжелая дверь отцовского кабинета, и свистящий шепот осенних листьев за окном, и встающий из-за стола отец с неподвижными бакенбардами на неподвижном лице, с остроносым профилем. Наклонился вперед, через стол, посмотрел и снова сел.

— Ну-с, сударь, я жду разъяснений. — Слова холодные, стеклянные и пустые внутри, полые. — Разъясните мне, как вы смели опорочить честное имя нашей семьи, каким образом в моем доме, а именно — в вашей комнате, нашли три нумера тайного альманаха, и, наконец, почему вы поддерживали знакомство с людьми, обличенными в злых умыслах против императорской фамилии? — Все тот же холодный, ровный голос. Словно заранее рассчитывает, где ему точку поставить, где запятую. Как машина.

И — свистящий шепот осенних листьев за окном. И — мать за дверью, с кружевным платочком у рта.

— Или вы тоже имеете что-либо против императорской фамилии? — неподвижные брови вскинулись вверх и застыли.

— Имею! — крикнул он тогда. — Ваш царь подлец! Он в хоромах куропаток ест и слышать не хочет, как Россия захлебывается от крови! — Слова вылетали из горла горячие, огненные, раскаленные, так что горло жгло. И ударились — о стеклянную стену, за которой сидел отец.

— Значит, по-вашему, если государь ест куропаток, то это

является основанием для того, чтобы его убить? А вы сами разве не любите куропаток? — Это по ту сторону стены. Руки лежат на столе, красивые отцовские руки с длинными, изящными пальцами и массивным обручальным кольцом. Белые руки на стекле стола, по ту сторону стеклянной стены.

— Я говорю об идеях, я не говорю о средствах! — Кажется, пар изо рта пойдет, такой холод в комнате. И — мать, за дверью, с платочком.

— Да, несомненно, весьма ценные идеи — грабеж, убийство. — Ровные слова, плотные, ни трещинки. Только полые внутри.

— Какое значение имеет смерть одного человека, даже если он царь, когда в результате целому народу дышать станет легче? Разве в этом значение? Самое главное — это права человека, его свобода, равенство всех граждан!

— Свобода, равенство — как громко! Кто же не любит свободы и равенства? Еще спаситель наш Иисус Христос проповедовал свободу и равенство. Или вы, может быть, не дали себе труда заглянуть в Евангелие?

— Ну и что, спас он вас?! Спас?!

— Я вижу, вы сегодня не в состоянии говорить как нормальный, воспитанный человек. Ну что ж, у нас еще будет время поговорить об этом. Пока что я прошу только об одном — вы должны немедленно извиниться перед директором гимназии за то, что наговорили ему, и честно рассказать мне, откуда у вас взялись три нумера этого несчастного журнала.

Иней на стеклянной стене. Белые руки. Неподвижные бакепбарды. Неподвижные глаза.

— Я не хочу, не буду извиняться, вы не имеете права! Мне за вас... стыдно! Вы печетесь только о собственном спокойствии, вы боитесь правды, потому что она может лишить вас этого дома и вашего имения! Из-за таких, как вы, Россия идет ко дну! — Вдох. Еще вдох. Сердце колотится, а слова летят огненные, красные. Летят и — в стену. И — свистящий шепот осенних листьев за окном. И еще — звуки, за дверью. Похоже на глотки. Плачет...

— Тогда подумайте о том, имеете ли вы право находиться в моем доме. Ведь это и ваш дом. В имение вы каждое лето тоже отдыхать ездите, и каждый раз, как я заметил, с удовольствием. Как же вам вдруг за меня стыдно, а за себя нет? Вдох. Сейчас сердце из горла вылетит.

— Можете больше не считать меня вашим сыном! ..

И — в комнату, к себе. Чемодан на кровати. В чемодане пара белья, книжки. Бах! — копилку об пол. Не много, но на первое время хватит. А в дверях — мать. С платочком.

— Куда ты? Нет, скажи, что ты собираешься делать? Ну, я

прошу тебя, умоляю — не сходи с ума! Ты хочешь, чтобы я умерла? Что ты хочешь сделать?..

— Я хочу сделать жизнь нужною для блага отечества! И, закашлявшись, к дверям.

— Пусти, мама... .

Плачет. В платочек. Глаза жалкие, за слезами глаз не видно. Одной рукой платочек держит, а другой крестит.

— Ну, пусти же, мама!..

И, проскользнув где-то между дверным косяком и черной шелковой юбкой, — вниз. Крыльцо. Улица.

Прямо, прямо! Дальше! Чем дальше, тем лучше. Вдруг — толчок в спину. Обернулся. Мать в окне. С платочком. Стоит, крестит. И, рукой помахав, дальше. Вокзал. Купе. Поехали. И свистящий шепот листьев за окном...

Потом Златоуст, общежитие, работа на железной дороге. Арест. Потом вперемежку — то ссылка, то каторга, то снова арест. Чужие имена, фамилии. Теперь уже четвертая. Как ссылка, так новая. Год за границей. Уфа. Кэжэн. Направлен решением Уфимского комитета РСДРП для проведения агитационной разъяснительной работы среди крестьян и рабочих уральских приисков и деревень. Горы. Уродливый корпус Кэжэнского завода с дымящими трубами. Землянки. Черные от грязи и копоти лица рабочих и шахтеров, обветренные лица старателей...

Михаил поднял голову, посмотрел на Хисматуллу и вздохнул.

— Вот как оно бывает... Ну, да ничего, обо мне в другой раз поговорим. Вот кто изменился на самом деле, так это ты! Это я тебе от души говорю!

— Возмужал, что ли? — спросил Хисматулла.

— Да я не о том, как ты выглядишь, об этом с тобой нечего говорить, молод еще, чтоб на глазах меняться, каждый день по морщине на лбу набавлять! Другая в тебе перемена, гораздо важнее, чем внешняя, произошла. Видно, многому тебя фронт научил, не терял времени даром, молодец! Очень мне твое вчерашнее выступление понравилось. Вот это и есть то, что называется настоящим зрением. Помнишь, как мы совсем давно об этом говорили?

— Помню, — кивнул Хисматулла.

— Вот так и собираются наши силы, золотые крупницы революционного сознания! И знаешь, чему я еще рад? Что теперь таких, как ты, прозревших людей по всей стране тысячи и миллионы! Открывает глаза народ, не хочет больше слепым быть! И не будет! Знаешь, сколько рук из года в год, из века в век его глаза закрывало? А теперь все, ослабели. Не совладать им с нами! Вот ради чего стоит жить! — Глаза Михаила радостно сверкали, голос дрожал от волнения.

— Красивый ты человек, Михаил, — сказал Хисматулла. — Красивее тебя, по-моему, я и не видел никого... Подумаешь, морщины! У кого их не бывает! А вот такое лицо, как у тебя, никогда не встречал.

— Ну вот, совсем ты, видать, от родного воздуха ошалел! То с утра по горам, как влюбленный, шляешься, то мне в чувствах объясняться стал... Не пора ли молодца женить? Давай-ка лучше чайку поъем, одними словами сыт не будешь. И вот что еще — сегодня на заводе собрание будет. Я думаю, что стоит тебе подождать немного, успеешь еще в свое Сакмаево! Надо всем рабочим рассказать то, что ты вчера на площади рассказывал. И поподробнее, как там у вас, на фронте, как с продовольствием, обмундированием — все, что знаешь, расскажи. Согласен?

— Договорились, — кивнул Хисматулла. — А этот комиссар уездный тоже там будет?

— Там не только он, там, я думаю, сегодня все будут, вся инваля, какая тут собралась. Каждый день то здесь, то там агитируют, сволочи, чтобы люди большевикам не верили и на войну работали! Ничего, разберутся, кто друг, кто враг. Ты еще им жару поддашь!

— Поддам! — весело пообещал Хисматулла.

Михаил вынес во двор самовар, чайник и чашки, положил на бумагу хлеб и небольшой кусочек сала. Они устроились в тени, у черемухового куста.

— А что это я, кроме тебя, ни одного знакомого лица не видел? Весь базар вчера исходил, и хоть бы один! — прихлебывая чай, спросил Хисматулла.

— В том-то все и дело, что не осталось на заводе старых кадровых рабочих. Кто на фронте, кто в тюрьме. Нынешние рабочие — это вчерашние крестьяне, в политике совсем не разбираются, полуграмотные, вот этим всякая гниль и пользуется. Недавно, когда с митинга возвращался, даже стреляли в меня. В спину, подлецы!

— Слушай, а может, тебе лучше в другое место перебраться?

— Э, волков бояться — в лес не ходить! А если я каждый день менять квартиру буду, где меня рабочие найдут? Если б революционеры, как тараканы, в щели попрятались, рабочий класс никогда бы свободы не завоевал! Наша жизнь принадлежит партии, вся — от начала до конца.

— Но все-таки можно быть хоть немного поосторожнее! — покачал головой Хисматулла. — Ведь это же глупо, все равно что голову в огонь совать! Партии дорог каждый, поэтому надо себя беречь. Особенно тебе... Отдохнул бы хоть немножко. Слушай, а поехали ко мне в Сакмаево? На недельку, а? Знаешь, как мать будет рада!

— Не время сейчас отдыхать, браток, — Михаил налил себе еще одну чашку. — Думаю, что и тебе отдыхать не придется...

— Я готов! — бодро откликнулся Хисматулла. — Ты мне только скажи, что делать.

— Да все то же самое, что ты на фронте среди солдат делал, — подмигнул Михаил, — только здесь!

— В Кэжэне?

— Да нет, в Кэжэне я уж как-нибудь сам справлюсь, а ты возьмишь-ка за прииск и свое Сакмаево. В деревне ты всех знаешь, на прииске тоже. Держись там Кулсубая, старайся всю работу через него вести, там сейчас у него знаешь какой авторитет? Старатели его прямо как отца родного слушают. Только вот характер у него подкачал, доверчивый больно и горячий, тому же Сафуану взвинтить его ничего не стоит, так что будь осторожен.

— А что Сафуан? По-моему, если с людьми поговорить, они поймут, что он неправ...

— Если б Сафуан один был, и разговора о нем не было бы! В том-то и беда, что здесь целая группа таких людей образовалась и Кулсубай одним ухом их слушает, а другим — нас, понял? Вон дома у меня последние газеты лежат, можешь посмотреть, — Михаил кивнул в сторону крыльца. — Мы — башкирский народ, мы — татарский народ, а такого слова, как рабочий класс, и в помине нету! Так что, браток, обстановочка посложнее, чем ты думаешь... Да и время сейчас трудное, лето. Как стало солнышко пригревать, так и разбежались все кто куда, старатели на фарт подались, а ваши сакмаевцы — на джайляу. Сам понимаешь, в таких условиях еще труднее. Зато зимой, знаешь, какую они тут встряску на прииске устроили? О-го-го! Чуть не пришибли самого хозяина прииска!

— А в Сакмаеве за это время ничего не случилось? — нерешительно спросил Хисматулла.

— На Сакмаево у меня уже сил не хватило, браток, — словно оправдываясь, ответил Михаил. — Там дела такие — Совета нет, представителем Временного правительства все того же старосту поставили, чужих и близко не подпускают. Запуган народ, одним словом. Акназара Ягудина знаешь?

— Как не знать! — встряхнулся Хисматулла. — А что с ним?

— Теперь у вас живет, тоже с фронта вернулся. Люди, конечно, его слушают, но, с другой стороны, боятся. А Хажисултан и Нигматулла против него прямо целую кампанию там организовали, раза два так избивали, что еле, говорит, кости собрал. Но пока держится крепко, вот тебе тоже опора. Да, я

ему еще на днях тут помощника послал, ты его знаешь! — Михаил улыбнулся и с хитрецей посмотрел на Хисматуллу.

— Кого же это? Не Мутагара случайно?

— Загита!

— Загита? Сына Хакима? — удивился Хисматулла. — А он-то здесь как оказался?

— Ну, он там таких дел натворил — лавку Нигматуллы поджег!

— Это мне мать писала, — кивнул Хисматулла.

— Ну вот, а потом сюда сбежал, на заводе работал. Смышленный парнишка, и опыт у него уже не маленький, можешь на него положиться, как на самого себя! То есть, может, и не понимает он пока многого, но линия у него наша, правильная. Знаешь, как он мне тут помогал? Ты сам, я думаю, столько листовок не разбросал, сколько через его руки прошло! И ловко так, целый год на него и тени подозрения не было!

— Ай да Загит! — рассмеялся Хисматулла. — А был такой робкий мальчишка, все краснел, двух слов связать не мог...

«А сам-то ты не такой был? — улыбаясь, подумал Михаил. — Эх, как все быстро меняется».

— Уж как он тут домой рвался, прямо смотреть жалко было! — сказал он. — Да я и сейчас беспокоюсь, что отпустил его. Говорят, этот Нигматулла до сих пор на него зуб имеет. Хоть времени уже много прошло, а вдруг? Но уж больше не мог я его удерживать! Да и Акназар там, вдвоем держаться будут, я ему велел от Акназара не отходить... Поучиться ему, конечно, многому еще надо, но в родном гнезде, как говорят, и воробьи орлами становятся! Да и Акназару одному трудновато. Еще, говорят, мулла там какой-то должен приехать на днях, опять, стало быть, народ пугать собираются... Вот он у меня и взвился. Чего, говорит, мне тут делать? А его с работы полтора месяца как уволили, взяли все-таки на заметку, так он за мной все эти полтора месяца, как хвост, таскался, — отпусти, говорит, а то сам уйду!.. — Михаил передохнул и тут же сильно закашлялся.

Хисматулла быстро налил чаю и подал ему. Михаил отхлебнул, держась рукой за грудь, со слезами на глазах.

— Все-таки надо бы тебе отдохнуть, — озабоченно сказал Хисматулла.

— Брось! Отдыхать потом будем, когда все на место поставим! — отмахнулся Михаил. — Вставай-ка, гудок уже скоро, на собрание пора. Ты подумай, что говорить, а я пойду газетки кой-какие захвачу, понадобится могут.

«Да, здесь тоже жарко, как на фронте, только снаряды не рвутся», — подумал Хисматулла.

Боясь проспать, Загит просыпался в это утро раз десять: сначала — когда перед восходом защебетали птицы, закричали редкие деревенские петухи, потом — когда прошло мимо дома стадо Хажисултана, позвякивая бубенчиками под резкий свист кнута, потом — просто так, неизвестно отчего, и когда, наконец, от площади донесся монотонный, зычный голос муэдзина, призывающий мусульман к утренней молитве, Загит вскочил так быстро, что разбудил всех.

— Ты куда это? — протирая глаза и зевая во весь рот, спросил Гайзулла.

— В мечеть! — прыгая на одной ноге и засовывая другую в штанину, ответил Загит.

— В мече-еть? — удивился Гайзулла. — Зачем?

— Хочу помолиться аллаху, чтоб жизнь у нас стала лучше! — дернув Гайзуллу за волосы, рассмеялся Загит.

— Ты что, с ума сошел? — Глаза Гайзуллы округлились. — Ты ж никогда в мечеть не ходил! Или в Кэжэне научился?

— Ага, — подвывая лапти, кивнул Загит.

— Чего ты мне голову морочишь? — рассердился Гайзулла. — Давай говори, зачем идешь?

— Нехорошо, сынок, мешать человеку, когда он задумал доброе дело! — вмешалась лежавшая на нарах за занавеской Фатхия. — Что ты пристал к нему с глупыми вопросами? Будто сам не знаешь, для чего люди в мечеть ходят! И сам грешешь, и Загита грешить заставляешь...

— Да ведь Загит с Гилманом-муллой дружат хуже, чем кошка с собакой! Их и близко друг к другу подпускать нельзя, оба без глаз останутся! — обернувшись к занавеске, возразил Гайзулла.

— Мулла сам по себе, а намаз — сам по себе, — отозвалась старушка. — Что бы они там друг о друге не думали, а взрослый мужчина должен совершать намаз и утром и вечером, а если он не делает этого, то берет на себя большой грех... Ты, Загит, не слушай моего сына, пусть лучше он тебя слушает. Может, тогда и мне меньше огорчаться придется, что он растет, как сын кафыра...

Фатхия вышла из-за занавески, взяла с шестка кумган и направилась во двор, чтобы совершить омовение перед молитвой.

— Ну?! — сердито глядя на Загита, спросил Гайзулла.

— Мулла вчера из Оренбурга приехал, хочет после намаза всех деревенских собрать.

— Ну и что? — пожал плечами Гайзулла. — Ты-то тут при чем?

— Как это при чем? — нахмурился Загит. — Сорвать надо

все это дело, понятно? А то совсем людей запугает, и так уже к Акназару почти никто не ходит, а ходят — так с оглядкой.

— А как же ты все это сорвешь? — с недоверием спросил Гайзулла.

— Я еще не знаю как, подумать надо, — помотал головой Загит.

— Пойду-ка и я с тобой, раз такие события, — Гайзулла поднялся с нар и стал быстро одеваться.

В дом вошла Фатхия. Она поставила кумган на место и, прислушавшись, обернулась.

— И ты куда-то собираешься? — спросила она Гайзулла.

— Схожу вместе с Загитом, раз уж тебе так хочется, — хмуро сказал Гайзулла.

— Молодец, сынок! — обрадовалась Фатхия. — И тебе, Загит, спасибо, пусть аллах ниспошлет вам обоим свою благодать. Идите, я сейчас тоже намаз прочитаю...

— Не за что! — погрозив Гайзулле кулаком, покачал головой Загит. — Я тут ни при чем, он сам захотел пойти...

Они вышли на улицу и зашагали в сторону площади, где возвышалась мечеть и куда со всех сторон стекался народ. Протяжный голос муэдзина, ходившего по минарету, медленно и ясно растекался в чистом воздухе над сгорбленными, покосившимися деревенскими домами.

Загит поднял голову и посмотрел вверх, туда, где на верхушке минарета красовался полумесяц. Он вспомнил, как в детстве ходил сюда с отцом, вспомнил, как боялся тогда муллу Гилмана, как не мог даже поднять глаз при его приближении, и поежился. Темные деревянные стены мечети, высокое, обращенное на север, крыльцо, торжественный и зычный голос муэдзина, молчаливые люди, собиравшиеся к площади, и небольшая, пристроенная с восточной стороны ниша, где стоял обычно мулла, показались ему вдруг таинственными, исполненными глубокого смысла. Он вспомнил, как когда-то на джайляу молился аллаху о том, чтобы навсегда остаться в лесу, покраснел и оглянулся на Гайзулла.

— Ты чего? Боишься? — тихо спросил Гайзулла.

— Еще чего! — ответил Загит и шагнул вперед.

Он сполоснул руки и лицо из деревянной кадки, стоявшей у входа, снял лапти и, пройдя дальше, встал на колени, прикасаясь то к лицу, то к груди сложенными вместе ладонями и делая вид, что усердно молится. Вокруг него так же стояли на коленях и молились. Справа от Загита расположился Усмангали, которого не взяли в армию из-за того, что у него не было двух пальцев на руке, справа — старик Файзрахман.

«Может, попробовать, как на заводе, от одного к другому, по цепочке?» — подумал Загит, внимательно наблюдая краешком глаза за передней частью мечети.

Наконец мулла Гилман поднялся в нишу по ступенькам и начал читать намаз. Загит, не переставая дотрагиваться ладонями то до головы, то до груди, слегка наклонился вправо и зашептал:

— Сиди тихо, не оглядывайся! Передай дальше, чтоб на собрание после намаза не оставались, понял?

— Какое собрание? — удивился Усмангали.

— Да не поворачивай голову, сиди спокойно! После намаза баи хотят собрание устроить, опять запугивать будут... А если люди уйдут, они ничего не сделают, понял?

— А что они хотят-то?

— Делай, что тебе говорят! — разозлился Загит. — Вон уже мулла в нашу сторону смотрит... Потом скажу, после намаза.

Усмангали переждал немного и осторожно, наклоняясь то вправо, то вперед, передал соседям сообщение Загита. Словно легкий ветерок пробежал по мечети. Мулла сердито глядел на шептавшихся, но прервать молитвы не мог.

Однако, когда после намаза люди вышли из мечети, никто и не подумал идти домой. На душе у Загита стало тоскливо и горько. Он отошел в сторону и прислонился к плетню.

— Ты уже здесь? — похлопал его по плечу подошедший Акназар.

— С самого утра, — ответил Загит. — Что делать будем?

— Как что? То же, что и все, — усмехнулся Акназар, поправляя бескозырку, на которой спереди, через лоб, бежали золотые буквы: «Стремительный».

— То есть как? — удивился Загит. — Ты разве не собираешься выступить?

— Посмотрим, какая обстановка будет, — уклонился от ответа Акназар.

— Удивляюсь я тебе, агай! — вскипел Загит. — Разве не ты здесь такого страху на баев нагнал, когда с фронта вернулся? А теперь какого-то муллы боишься... Михаил на нашем месте не сидел бы сложа руки! Знаешь, как он с кэжэнскими баями схватывается? Одни клочья летят! Главное — верное слово найти, чтоб народ понял, что к чему! Не ты, так я скажу!

— Опять фонарей наставят, — покачал головой Акназар. — Говорю тебе, не та обстановка! И себя, и меня под удар поставишь...

— Эх ты, а еще солдат!.. — махнул рукой Загит. — Не то сейчас время, чтоб тебя за правдивое слово убили! Ты же лучше меня скажешь, я слышал, как ты с людьми говоришь — у меня так не получится...

— Убить не убьют, а избить до полусмерти могут, — серьезно сказал Акназар. — Когда против баев — это одно дело, а когда против муллы — совсем другое, скажут: раз аллаха не

почитаешь, значит, и сам шайтан, — тут тебе и крышка! Всеу свое время, знаешь такую поговорку?

— Если трусить с утра до вечера и ждать, пока у тебя поджатый хвост сам собой распрямится, то такого времени, чтоб правду сказать, вообще не наступит! — продолжал убеждать Загит.

— погоди, чего ты горячишься? Давай послушаем, что они скажут, а потом уже посмотрим, — нахмурился Акназар.

Люди сгрудились вокруг высокого крыльца мечети, где стоял Гилман-мулла, староста Мухаррам и поджарый старик в чалме со строгим и отрешенным лицом.

Староста Мухаррам сделал шаг вперед.

— Мы сегодня созвали вас, так как к нам приехал ишан-хэзрет, мулла из Оренбурга. Он услышал о том, что делается у нас в Сакмаеве, и решил наставить вас на путь истинный, потому что многие из вас отошли от веры, слушая кафыров! — Староста прокашлялся и взглянул на старика, но старик словно не заметил его взгляда и продолжал стоять так же прямо и неподвижно. — Прошу вас, ишан-хэзрет, — вытянув шею, любезнейшим голосом проговорил Мухаррам, изобразив на лице такую улыбку, которой он обычно приветствовал самое высокое начальство.

Старик, не повернув головы, обвел толпу взглядом. Люди притихли.

— Не знаю, верно ли слышали мои уши, но то, что я услышал о вас, повергло меня в смущение и негодование, и я стал молить аллаха о том, чтобы он не оставил вас и не позволил беззаконию завладеть вашими сердцами, — неторопливо начал он.

Голос у него был ровный, спокойный и такой тихий, как будто он говорил не на площади, а в комнате. На площади стало совсем тихо, слышно было даже, как в доме у Хажисултана звякает посуда. Мулла помолчал и начал говорить снова, и оттого, что он стоял так прямо и неподвижно, казалось, что губы у него почти не шевелятся и голос идет откуда-то из желудка.

— Правоверные! Я привез вам привет от мусульман из Оренбурга, они верят, что вы сохраните ислам в чистоте, благочестии и праведности, как и подобает людям нашей веры. Ученики Магомета жизнью своих не жалели за веру аллаха, каждым словом своим боролись против неверных. Тяжелые это были времена, но я думаю, что сейчас не лучше... Судя по всему, конец света близко, может быть, мы увидим его своими глазами. Горе тому, кто в эти последние дни отречется от веры и пойдет за кафырами, поддавшись на их лживые уговоры и обещания! Адский пламень ждет их и вечные муки, тысяча кровожадных зверей будут терзать их клыками и когтями, в огромных

котлах с кипятком будут варить и поджаривать их слуги шайтана, в крови будут плавать они с воплями и слезами, дымом и серой дышать, огонь есть, и не будет им уже никогда ни иной пищи, ни иного воздуха... — Старик закрыл рот и помолчал немного, точно стараясь заглянуть в глаза каждому из стоящих на площади. — Ужели такой жизни вы хотите? Если кто из вас решил так, я не могу противостоять ему, сам аллах великий и всемогущий подарил нам свободу в этой жизни, и каждый вправе выбрать, как ему жить здесь, и каждый знает, чем он расплатится за это там... Мне жаль таких людей, но потом я уже ничем не смогу им помочь, и никто не сможет. Мы будем жить на небе, полные радости и веселья, как ангелы, а они будут томиться под землей без всякой надежды на лучшее. Правоверному, который сумел соблюсти себя в чистой вере, многое простится, а тому, кто пошел против аллаха, не простится ничего. Покайтесь, пока не поздно, пока еще есть время искупить великий грех, который вы можете взять на душу!.. Аллах милостив, он простит того, кто придет к нему с искренним раскаянием, желая искупить свою вину. А больше всего бойтесь большевиков — это неверные из неверных, нет сейчас врагов у мусульман хуже, чем они! Мало того, что они хотят обманом и хитростью обратить вас в свою веру, — теперь они хотят свергнуть Временное правительство и продать всех нас в рабство германскому царю. Они обещают вам землю и еду, одежду и помощь, а на самом деле хотят сделать вас рабами навеки, и тот, кто пойдет за ними, не найдет ничего, кроме цепей. Не поддавайтесь их лживым обещаниям, не подпускайте их к себе! А того, кто пытается совратить вас с истинного пути, истребляйте без всякой жалости и сомнения, изгоняйте их из домов, ибо даже тот, кто перемолвится с ним словом, уже положил пятно на чистоту ислама! И тому, кто слушает кафура хотя бы одним ухом, зачтется этот грех! В последний раз призываю вас — покайтесь, пока не поздно!..

Старик замолчал. Угрюмая тишина повисла над толпой. Люди смотрели вниз, кто-то тяжело вздохнул.

— Ну, разве я не говорил вам того же? — строго спросил мулла Гилман. — Видите, до чего вы дошли в своем грехе, если сам ишан-хэзрет услышал об этом и пришел к вам, чтобы вернуть вас на пути истины! Может быть, вы и после этого будете слушать кого попало?..

— Они могут спросить меня, я отвечу, — сказал ишан-хэзрет.

— Эй, вы! — крикнул мулла Гилман, угодливо кивнув ему. — Вы можете обратиться со своим словом к ишан-хэзрету!..

Никто не ответил ему.

— Я вас спрашиваю: может, кто-нибудь хочет что-то сказать?

Загит оглянулся на Акназара. Акназар покачал головой и отверг глаза в сторону.

— Я хочу сказать! — крикнул Загит и, пройдя между расступившимися перед ним односельчанами, поднялся на крыльцо.

— Кто это? — удивленно спросил Хажисултан-бай.

— Старший сын Хакима, — тихонько шепнул ему староста.

— Ну и паршивец! Мало того, что с кафырами связался, в нем к тому же не осталось никакого почтения к аллаху, раз он так ведет себя! — возмутился кто-то.

— А вдруг что-нибудь дельное скажет? — возразили ему.

Загит посмотрел вниз. Люди, стоявшие у крыльца, угрюмо и напряженно молчали, ожидая его слов. Каждый из них был знаком Загиту, с каждым он не раз говорил, а некоторых знал совсем хорошо, но сейчас все они показались ему совершенно чужими, как будто он видел их в первый раз в жизни. Чаще всего это были люди пожилого возраста, которых уже не могли взять на фронт. Седобородые, в старых, потертых тюбетейках, в залатанных кафтанах и халатах, с темными кругами под глазами, они стояли перед Загитом с выражением неодобрения на лицах, с каким-то враждебным любопытством, старики, уставшие ждать с войны своих сыновей.

Загит растерялся, колени его вдруг мелко и противно задрожали, дрожь эта отдалась во всем теле, и, чтобы скрыть ее, Загит сжал кулаки, больно впившись ногтями в ладони, напрягся всей спиной, но это не помогло.

— А-агайдар! ¹ — сказал он осевшим голосом. — Товарищи!

Внезапно голова у него закружилась, перед глазами с бешеной быстротой завертелись огненно-зеленые круги, и, втягиваясь в них, смазались, и поплыли куда-то стоявшие у крыльца люди, заборы, дом Хажисултана-бая, тюбетейки на головах, черные полосы на тельняшке Акназара.

«Как же Михаил говорил? Надо вспомнить, вспомнить!» — в отчаянии подумал Загит, еще сильнее впиваясь ногтями в ладони и чувствуя, что вот-вот упадет, но ни одно слово не приходило ему в голову.

Фигуры людей внизу мерно качались из стороны в сторону, как деревья под ветром, лица их сливались друг с другом и снова разъединялись, как капли воды на стекле.

— Агайдар... — бледнея, выдавил Загит и снова замолчал.

Лицо его пылало, рубашка под камзолом прилипла к спине, как вторая кожа, он еле стоял на ногах, а нужных слов все не

¹ Агайдар — обращение к старшим,

было, и он почувствовал, что если промолчит еще хотя бы минуту, расплачется, как маленький, на глазах у всех.

Загит набрал в грудь побольше воздуха, зажмурился, но тут же открыл глаза, повернулся в сторону муллы из Оренбурга и, ткнув пальцем чуть ли не в лицо Мухарраму, крикнул:

— Врут они! Обманывают вас! ..

В ту же секунду сердце его заколотилось так сильно, и зеленые круги завертелись с такой быстротой, что он покачнулся. Фигура муллы была неподвижна по-прежнему, только ветер шевелил складки белой чалмы. Староста Мухаррам, вытаращив глаза и надувшись от изумления, так, что стал чуть ли не вдвое толще, смотрел на Загита, полуоткрыв рот.

Внезапно в толпе возникло какое-то движение, и в середине ее показался Нигматулла, который не глядя расталкивал людей в стороны, торопясь к крыльцу. Желтые, рысьи глаза его вцепились в Загита.

— Что ты стоишь? Беги! — крикнул Гайзулла.

«Если люди увидят, что мы прячемся и боимся, они не поверят нам! Нет, браток, теперь такое время, что бежать от опасности нельзя, надо смотреть ей прямо в глаза, надо спорить с ней, надо сопротивляться!» — вспомнил Загит слова Михаила.

— Товарищи! .. — снова крикнул он. — Баи и муллы — это наши враги, если мы сами не защитим себя, некому будет защитить нас перед ними! ..

— Слезай, щенок! — потребовал пробравшийся к крыльцу Нигматулла. — Сопля паршивая, шайтан, я тебе покажу врагов! .. Мало того, что мою лавку поджег, ты еще и нанялся прислуживать кафырам! Отрастил себе волосы, как кафыр, и пришел сюда свои порядки устанавливать! Слезай, говорю, хуже будет! ..

— Я и дом твой еще подожгу! — не помня себя, крикнул Загит. — И не только твой! Ни одного бая в покое не оставлю, всем красного петуха пуцу, если вы будете людей запугивать и последний кусок хлеба у них изо рта вырывать!

— Ах, вот как! — рассвирепел Нигматулла и, подпрыгнув, схватил Загита за ногу.

Загит нелепо взмахнул руками и упал, стукнувшись головой о деревянный настил. Нигматулла стащил его с крыльца, скрутил ему руки за спину, придавил коленом и поднял голову. Люди смотрели то на него, то на муллу из Оренбурга.

— Такой маленький человек с таким большим черным сердцем, где нет ничего, кроме лжи... — глядя вниз, на Загита, сказал ишан-хэзрет. — Как вы допустили такое? Куда смотрел его отец? А если у него нет отца, куда смотрели его соседи? Поглядите на него! Он продал нашу веру кафырам так рано,

что не успел даже отрастить усы! Воистину, кто осудит его, попадет в рай одним из первых... Берегитесь черных сердец, в которых нет ничего, кроме лжи, от них солнце становится черным, и аллах посылает на нас бедствия, голод и мор, когда мы позволяем своим ушам прислушаться к их словам! Зачем вы слушали его? Почему только один из вас сумел ответить ему, как истинный мусульманин? Покайтесь, пока не поздно, если не хотите гореть в адском пламени вечно, пока стоит мир!..

Он замолчал, и люди, словно сорвавшись с цепи, бросились к Загиту. У крыльца образовалась свалка. Нигматулла, встав на спину Загита, бил его по плечам каблуками сапог, кто-то рвал его за волосы, Хажисултан, пыхтя, присел на корточки и выворачивал ему руку, Мухаррам, приподняв голову парня, плевал ему в лицо.

— Все равно! — собравшись с силами, сипел Загит. — Не верьте им!.. Не верьте!..

Хажисултан ударил его по зубам, Загит почувствовал привкус крови во рту и смолк. Ему показалось, сквозь шум и ожесточенные крики, что он слышит рыдающий голос Гайзуллы, но стиснул зубы и закрыл глаза.

— Остановите их! Они убьют его! — отчаянно вопил Гайзулла.

— Так ему и надо! — остервенело приговаривал староста Мухаррам.

«Значит, не доживу я до тех дней, про которые Михаил говорил, — мелькнуло в голове у Загита. — Ничего, может, хоть Аптрахим доживет или Гайзулла...»

— Пре-кра-тить! — вдруг крикнул кто-то высоким резким голосом прямо у него над ухом. — Немедленно прекратить!

Руки, державшие Загита, ослабели, он попытался приподнять голову, но увидел только носки стоптанных, запыленных сапог.

— За что вы его бьете? — строго спросил высокий голос, и Загиту показалось, что он уже где-то слышал его.

— Да это Хисматулла! — вдруг с облегчением сказал староста, и тон его сразу стал вызывающим и наглым. — Какое тебе дело до того, чем мы занимаемся? Тебя никто не звал сюда, убирайся лучше подобра-поздорову, а то и сам получишь!

— Ошибаешься, староста, — холодно ответил Хисматулла и вдруг резко прикрикнул: — Встань, когда с тобой говорит депутат Временного правительства!

Мухаррам вскочил, растерянное лицо его тут же стало жалким, глаза забегали.

— Я спрашиваю: за что вы его бьете? — повторил Хисматулла.

— А у тебя есть документы, что ты в самом деле от Временного правительства? — нахмурился мулла Гилман.

Хисматулла спокойно расстегнул карман гимнастерки, вытащил оттуда сложенную вчетверо бумагу.

Мулла развернул бумагу и, с трудом разбирая русский текст, прочел:

— «Предъявитель сего, солдат товарищ Хисматулла Хуснутдинов, есть действительный революционный депутат Временного правительства от 23 полка Н-ской дивизии Юго-Западного фронта, отпущенный на поправку после тяжелых ранений, полученных во время боев за родину, где он проявил себя как патриот и герой, что и удостоверяется...» А кто это подписывал? — спросил мулла Гилман, пытаюсь разобрать расплывшиеся буквы на круглой фиолетовой печати, наполовину скрывавшей подпись.

— Ты что, читать не умеешь? Полковник наш подписывал, все как полагается! Давай сюда, а то изомнешь! — сердито ответил Хисматулла.

Мулла нехотя протянул бумагу. Хисматулла аккуратно сложил ее, засунул в карман гимнастерки, застегнул пуговицу и, поставив на землю котомку, склонился над Загитом, около которого уже хлопотал Гайзулла.

— Что, худо?

— Ничего, дядя Хисматулла, — сморщив опухшее лицо в ссадинах и кровоподтеках, улыбнулся Загит.

— Иди-ка домой, пусть Гайзулла тебя проводит!

— Не-ет, я останусь, — помотал головой Загит. — Я сейчас встану...

— Ну, хорошо! — Хисматулла поднялся, оглядел застывших в ожидании людей и не торопясь взобрался на крыльцо.

— Ассалям агалейкум, дорогие односельчане! — громко сказал он. — Извините, что встреча наша происходит в такой шумный час.

— Вагалейкум ассалям!.. — послышались ответные приветствия. Кто-то рассмеялся.

Загорелое лицо Хисматуллы, на котором весело и ярко, как омытые дождем ягоды черемухи, блестели глаза, было приветливо и спокойно, над левым карманом гимнастерки сверкал, отражая солнечные лучи, георгиевский крест.

— Привет вам от ваших сыновей и родственников, вместе со мной проливавших кровь на фронте! Твоего сына видел я, Ягуда-агай, герой твой сын, две медали получил! А тебе, Усман, привет от брата, вместе в Самаре в госпитале лежали. Ты не волнуйся, ранение у него легкое, в руку, раньше меня вышел... И про ваших сыновей слышал я, Сагитулла-агай и сосед мой Киньябулат, хорошо о них люди говорят! Дают

немцу жару наши сакмаевцы, скоро до самого германского царя доберутся!

Лица людей помягчели, заулыбались.

— Вижу, заждались вы своих сыновей, — продолжал Хисматулла. — Как-никак четвертый год война, в хозяйстве рук не хватает, да и без хозяйства, как отцу не скучать по сыновьям, по родной своей крови?.. Как матери не волноваться, зная, что сын ее каждый день может быть убит вражеской пулей? Как не плакать женам и невестам, которые одни сейчас тянут на себе все хозяйство?.. А ведь Временное правительство еще весной пообещало, что прекратит войну. Сколько же мы будем ждать?

— Правильно говоришь! — крикнул Ягуда-агай. — Надоело! Одними обещаниями кормят, а мы тут знай сидим, животы подтягиваем!

— Животы, говоришь, подтягиваете? — покачал головой Хисматулла. — Плохо ваше дело. Вот ехал я сюда из госпиталя, много деревень видел, там совсем по-другому дела обстоят.

— Как это по-другому? — осторожно спросил Файзрахман.

— А вот как — бедняки все дела в свои руки взяли, не слушают ни баев, ни кулаков, создали сельские Советы и следят за тем, чтобы все было справедливо. А у вас, я гляжу, трусы здесь одни собрались, что бай ни скажет, все в рот ему смотрят. Вот они сегодня при вас Загита избивали, а вы смотрели. В другом месте никто бы так с человеком обращаться не позволил!

— Врет он все, врёт! — побелев от бешенства, крикнул Нигматулла. — Не слушайте его, его подослали кафыры, большевики!

— Большевики жизни своей для простых людей не жалеют, не то что бай и муллы! — ответил Хисматулла. — Вот ты, Нигматулла, почему не на фронте? Почему у Хажисултана-бая ни один сын военной комиссии не прошел? Видел я, как Шаяхмета осматривали, спросили только, чей сын, и отпустили сразу, — мол, гуляй себе на здоровье! А наши сыновья, дети бедняков, под пули идут, чтоб только байские сыночки как-нибудь не поцарапались! Скажи лучше, Хажисултан, сколько ты за каждого сына тому фельдшеру, что нас осматривал, денег отвалил?

— У Шаяхмета здоровье плохое, — буркнул Хажисултан.

— Видели вы Шаяхмета? — повернулся к односельчанам Хисматулла. — Разве похож он на человека, слабого здоровьем? Да у него же щеки, как арбузы, такой румяный — прямо хоть на площади в пасмурный день выставляй! Небось на сына Ягуды-агая не посмотрели, что он кашляет! А брат Сагитуллы, у которого глаза плохие были? Нет, самого краснощекого отпустили, а все потому, что Хажисултан задницы им золотым

медом подмазал! Нет, баи за своих детей боятся, что уютно готовы сделать — лишь бы те как сыр в масле катались! Это они про бедняков говорят — мол, надо родину защищать, героим быть, а про себя думают: пусть там, на фронте, лучше сын Сагитуллы, или Киньябулата, или Файзрахмана голову сложит, чем мой дорогой сынок! А Шаяхмета этого видел я тоже по дороге сюда, в Верхнеуральске, весь день в кабаке сидит да деньги девкам швыряет — вот у него какая жизнь тяжелая! А ваши сыновья, агаи, в это время умирают за богачей...

— Он все придумал! — покраснев, заорал Хажисултан. — Мой сын в Оренбурге, всем известно, что он на муллу учится! — Мясистые, ленивые, как у кота, складки на его щеках тряслись и подпрыгивали.

— Не знаю, что он делает в Верхнеуральске, если учится в Оренбурге, — усмехнулся Хисматулла. — Я думаю, когда он в Оренбурге гуляет, то и там у него девок хватает!

— Если вы будете слушать этого шайтана, не приходите ко мне за мукой! — пригрозил Нигматулла, обнажая длинные прокуренные зубы.

— И ко мне! — поддержал его Хажисултан.

— К Хисматулле тогда за мукой ходите! — вне себя от ярости крикнул мулла Гилман. — Посмотрим, как он вас прокормит!

— Вот-вот! — непонятно к чему добавил староста.

— Говори, Хисмат! — засмеялся Ягуда-агай. — Мы тебя в обиду не дадим!

— Расскажи, какой такой сельский Совет, — попросил Файзрахман.

Ишан-хазрет и мулла Гилман спустились по ступенькам, и Хисматулла остался на крыльце один. Хажисултан, Нигматулла и староста Мухаррам демонстративно удалились вслед за муллой из Оренбурга. Люди раздвинулись, уступая им дорогу, и снова сомкнулись, еще теснее приблизившись к крыльцу.

— Вот и хорошо, — улыбнулся Хисматулла, — мешать больше некому... А сельский Совет — это самая большая власть в селе. Есть там председатель, его сам народ выбирает, у председателя есть секретарь, который ему помогает. Все вопросы решают сходкой, вот как мы сейчас с вами говорили, а председатель следит, чтоб все по справедливости было, — ясно?

— Может, и нам тогда так сделать? — спросил Ягуда-агай.

— Пусть Акназар будет председателем, — предложил Файзрахман.

— Правильно! А Загит — секретарем! — поддержал его Киньябулат.

— А сможет ли он на таком посту стоять? — с сомнением сказал Сагитулла. — Он же двух слов связать не может. Боюсь, не получится у него...

— Дергач, говорят, от своего языка страдает, вот и Загиту досталось сегодня! — засмеялся кто-то.

— А ты как считаешь, Хисматулла? — спросил Файзрахман.

— Решайте сами, — посмотрев на стоявшего в сторонке Загита, ответил Хисматулла. — Работа очень ответственная, тут такой человек нужен, чтоб за бедняков все силы, всю жизнь готов был отдать! — Он помолчал, оглядывая собравшихся, и прибавил: — По мне, лучше Загита никого вам для такой работы не найти, он и сегодня за вас костей своих не пожалел. . .

Люди молчали.

— Эх вы! Когда избивали человека, стояли молча, будто у всех вода во рту, а теперь разговорились! — не выдержал Гайзулла. — Он из вас самый смелый, один против баев и муллы из Оренбурга пошел, чтобы опять они вас не одурачили, а теперь вы делаете вид, что его не из-за вашей трусости избили! . .

Загит смущенно дернул друга за рукав.

— Ну, так кто же будет секретарем? — спросил Хисматулла.

— Ладно, пусть будет Загит! — махнул рукой Ягудагай. — Он и вправду смелый парень. . .

— И я так думаю, — поддержал его Файзрахман.

— Ну что ж, тогда проголосуем, — сказал Хисматулла.

— Как это? — не понял Файзрахман.

— Кто за то, чтобы Акназар стал председателем сакмаевского сельского Совета, поднимите руку! Кто против, поднимите руку! Единогласно! Кто за то, чтобы Загит стал секретарем? Кто против? Единогласно! Ну что ж, вот теперь и есть у нас свой сельский Совет. Надо только решить, где собираться будем. . .

— Как где? У меня! — откликнулся Акназар. — Айда ко мне, Хисмат! Чайку поьем, с людьми поговорим, а? . .

— Я еще мать не видел, — покачал головой Хисматулла. — Хочешь, собирай у себя людей, а я попозже зайду? . .

— Договорились! — улыбнулся Акназар. — Загит, Гайзулла, мотайте вперед, открывайте пошире дверь! . .

— Есть, товарищ председатель! — бодро отозвался Загит и пропустил вперед по улице.

XXIII

Вот уже целый час глядела Сайдеямал на сына, и все никак не могла поверить собственным глазам, то и дело вытирая тыльной стороной руки бегущие по морщинистым щекам слезы.

— Ну что ты плачешь, мама? — чувствуя тяжелый комок в горле, говорил Хисматулла и подходил к ней, становился на

колени, целовал руки — старые, морщинистые руки с красной, обветренной кожей и разбухшими в суставах пальцами. — Я же вернулся, я живой...

— Не могу остановиться, — прерывисто вздыхая и обнимая сына, отвечала Сайдеямал. — Сами собой бегут, за все время, пока ждала тебя, накопились...

— Посмотри лучше, какой я тебе платок привез, нравится?

— Нравится, сынок, конечно, нравится! Спасибо, что не забыл, и за платок для Гульямал спасибо... Так она ждала тебя, так ждала! Я бы тут без нее давно на том свете была...

— А знаешь, о чем я все это время думал? Вспоминал, как ты улыбаешься, вон ту твою родинку... Помнишь, я, когда маленький был, все тебя просил: «Мама, спрячь родинку!»

Сайдеямал улыбнулась, и черная маленькая, как точка, родинка скрылась в ямочке у нее на щеке.

— погоди, вот Гульямал прибежит, знаешь, сколько радости будет? Давай я самовар поставлю, хоть чаем тебя напою. Да и соседей пригласить надо сегодня, раз у нас такой праздник...

— Мы вроде как договорились у Акназара собраться, — перешептывая сказал Хисматулла.

— Вот и приведешь всех от Акназара сюда, слава аллаху, не зима, и пройтись не грех... — Сайдеямал взъерошила волосы на голове сына и встала с нар. — Сейчас быстро вскипит, раз хозяин домой вернулся, и самовар должен этому радоваться!..

— Да что ты, мама, какой я хозяин...

— А кто же? Конечно, хозяин! погоди, еще женишься, будут у тебя сыновья, один другого краше, станут меня бабушкой называть...

— Не надо, мама, — попросил Хисматулла.

— Алла, неужели не забыл до сих пор свою Нафису? — покачала головой Сайдеямал.

Хисматулла потупил взгляд, лицо у него стало упрямым и суровым.

«Вылитый отец!» — ахнула про себя Сайдеямал.

— Не сердись в такой радостный день, сынок, — сказала она.

— Я не сержусь, я просто не хочу об этом говорить.

В дверь нетерпеливо стукнули раз, другой, и не успел Хисматулла ответить, как на пороге вырос высокий человек в серой войлочной шляпе.

— Хисматулла-агай! — здороваясь, неуверенно позвал он.

— Не признаю я что-то тебя, — взглядываясь в стоявшего перед ним незнакомца, протянул Хисматулла и вдруг вскочил с нар, бросился навстречу: — Неужели это ты, Мутагар?

— Без подделки! — весело отозвался Мутагар, не сводя влюбленного взгляда с товарища. — Сколько мы с тобой не виделись!

— Да, да, — кивал Хисматулла и все никак не мог поверить, что этот рослый и возмужавший человек, раздавшийся в плечах, статный и красивый, и есть тот самый Мутагар, с которым он когда-то пилил дрова в лесу, потому что мальчика никто не брал себе в пару, потому что он был слишком мал, тот самый Мутагар, которого он тащил пьяного из кабака, тот самый, кто клеил первые листовки на воротах и заборах. — Да ты садись, чего как на часах встал?

— Да некогда стоять-то, — таинственно подмигивая товарищу, проговорил Мутагар. — Дело у меня к тебе...

— Дело в лес не убежит, — не замечая его нетерпения и подмигиваний, упрасивал Хисматулла. — Мать, ставь ему чашу побольше!.. Ну, удивил ты меня! И когда ты успел стать богатырем, а?

— Часто под дождем стоял, вот и вытянулся! — смеялся Мутагар, но вдруг снова нахмурился, кивнул на дверь: — Надо тебе сказать несколько слов не для женских ушей...

И только тут Хисматулла понял, что старатель явился к нему неспроста, и затревожился. Накинув на плечи шинель, он вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь. Он увидел у изгороди запряженную в арбу лошадь, торчавшие из арбы клочья соломы.

— Откуда ты прискакал? И что у тебя за секреты, что ты не мог сказать при матери?

— Не хотел ее зря пугать, агай! — Мутагар наклонился и зашептал горячим шепотом: — Собирайся, Хисмат! На приiske началась заваруха!

— Что за заваруха?

— Никто толком понять не может, поэтому меня и послали за тобой! До Кэжэна далеко, а ты поближе!

— Да объясни хоть, что там творится!

— Одни кричат — надо выходить на работу, другие — не пойдем! Давайте, мол, лучше будем лавки грабить!

— Какие лавки?

— Известно какие, хозяйские!.. Сам Накышев куда-то скрылся, Нигматулла тоже не видать, но чувствует мое сердце, что он главный заводила во всем... Даже вроде Кулсубай за то, чтоб лавки грабить!..

— Брось ты! Не такой он темный человек, чтоб не понимать, что это провокация!.. Не понапрасну ли ты шум поднял? Может быть, рабочие решили выступить и тряхнуть как следует хозяев, а ты не разобрался и ударил в колокола!

— Говорю, как знаю, — обидчиво вскинулся Мутагар. — Меня же люди послали к тебе. Они тоже считают, что может быть

большая беда, несчастье, одним словом, если не остановить все вовремя!

— Ну ладно, — помолчав, согласился Хисматулла. — Раз нужно, значит, нужно, ничего не поделаешь... Обожди меня немного...

Он вошел в дом, надел фуражку, стянул с деревянного крючка ремень.

— Ты куда? — встревоженно спросила Сайдеямал.

— Я должен быстро съездить на прииск...

— Неужели ты оставишь меня в такой день, сынок? — Мать смотрела на него с укором и мольбой.

— Меня просят приехать товарищи, эсей, — он старался не встречаться с ее глазами, — мне самому горько уходить, но я не могу отказать людям...

— Не ходи, сынок! — цепляясь за рукав его шинели, чуть не запричитала Сайдеямал. — Неужели люди не могут обойтись без тебя одну ночь?

— Эсей, я же не маленький! — Он полуобнял мать за плечи. — Я постараюсь скоро вернуться...

— Три года ждала тебя, ночей не спала, просила аллаха, чтоб ты живым пришел, — уже всхлипывая, выговаривала мать. — А ты в первый же вечер покидаешь меня...

— Я же не на войну иду, эсей, а на дело! — Лицо его становилось суровым и непреклонным, каким оно бывало в такие минуты у отца, и Сайдеямал поняла, что упрашивать его бесполезно. — Проводи меня до ворот...

Долго, до рези в глазах, провожала Сайдеямал взглядом взбирающуюся в гору арбу. Уже и сама арба скрылась из глаз, а она все еще стояла и смотрела на дорогу. Только когда с вечернего выпаса стали возвращаться коровы и протяжное блеянье овец и коз заполнило улицу, она завязала потуже новый, подаренный сыном кашемировый цветастый платок и, медленно переступая ногами в глубоких резиновых калошах, пошла к дому.

На душе у нее было беспокойно, и хотя котомка Хисматуллы стояла на нарах и лежала рядом его солдатская шинель, дом снова показался ей пустым и осиротевшим. На подносе рядом с котомкой стояли чашки, сипло насвистывал самовар. Сайдеямал присела на нары и закрыла глаза. Хлопнула калитка, и в дом стремительно ворвалась Гульямал.

— Где он?.. — с порога выпалила она. — Или меня обманули? — Но, увидев на нарах котомку и шинель, подпрыгнула и закружилась, как маленькая. — Нет, нет, нет, не обманули! Приехал!.. Ой, что с тобой? — внезапно остановилась она, заметив красные, заплаканные глаза Сайдеямал. — Случилось что-нибудь?

— Что ты, что ты, ничего не случилось! — не желая огорчать невестку, сказала Сайдеямал. — Сейчас он придет, давай пока чаю попьем. . .

— А почему ты плакала? — все еще тревожно выпрашивала Гульямал.

— От радости! Погоди, увидишь — сама заплачешь! . .

— Ой, а может, я успею сбежать домой переодеться? — успокоившись, зашебетала Гульямал. — Как услышала, что он приехал, бросила лопату — и напрямки! Гляди, всю юбку порвала! Думала, сердце разорвется, пока добежу. . . Может, правда, сходить? А то придет и не узнает меня, скажет, что это за грязнуля такая?

— Нет, уж ты попей со мной чаю, а то опять упустишь, он еще к Акназару хотел зайти, — отговорила ее Сайдеямал.

— Ну ладно, я тогда хоть косы переплету. — Гульямал вынула из кармана камзола маленькое круглое зеркальце и, пристроив его на шестке, стала расчесывать длинные тяжелые волосы. — Прямо беда мне с ними, — пожаловалась она. — Как ни поглядишь, опять голова растрепанная. . . Ой, кажется, идет!

Сайдеямал замерла.

— Нет, показалось. . . — разочарованно сказала Гульямал, быстро заплетая косу. — Сейчас доплету и уберусь!

— Совсем мне голову задурила, егоза! — улыбнулась Сайдеямал и, развязав котомку, вынула оттуда точно такой же платок, как у себя. — На, это тебе. . .

— Неужели мне? Правда? — похоже, Гульямал не верила, но она тут же накинула платок на голову и посмотрела в зеркальце. — Идет мне?

— Тебе все идет, даже если ты себе кастрюлю на голову наденешь!

— Значит, думал обо мне, вспоминал, раз подарок привез, — взволнованно расхаживая по комнате и прижимая платок к груди, вышептывала Гульямал. — Теперь это будет у меня самый любимый платок, стану надевать его по самым большим праздникам!

Она снова приткнулась к зеркальцу, доплела вторую косу и повернулась к Сайдеямал.

— А он не сказал, куда пошел?

Старуха словно не слышала ее — молча вылила из самовара воду, вытряхнула из него золу, залила свежей водой и стала щепать ножом тонкие лучинки и бросать их в трубу.

— Ты же сказала, что он скоро придет, а он, похоже, забыл о нас. . . гуляет где-то со своими дружками!

— Не надо его осуждать, — завздыхала Сайдеямал. — Разве ты не знаешь, какой у него характер? Весь в отца! Если что надумал, то не остановишь! . .

— А что он надумал? — Гульямал встревоженно посмотрела на сторбившуюся у самовара старушку. — Только бы не на прииск он собрался!

Сайдеямал вскочила, глядя расширенными от испуга глазами, нож выпал у нее из рук, лучинки посыпались с колен.

— А что там, на приiske? Что ж ты мне сразу не сказала, что у тебя есть дурные вести?

— Я толком не поняла, что там, — торопливо рассказывала Гульямал, — Мне как сказали, что Хисмат вернулся, я бросила все и побежала домой... А по дороге гляжу — мужики с кайлами бегут, бабы за ними, ревмя ревут... У конторы целая толпа, все кричат, а о чем — не разобрать... Да мне и не до того было, мне лишь бы поскорее Хисмата увидеть!

— Аллах, сохрани моего сына! — простонала Сайдеямал. — И зачем я только отпустила его, неразумная! Зачем не легла, как собака, в дверях и не цеплялась за его ноги!.. О горе мне!..

— Так он туда уехал? — крикнула Гульямал.

— Туда, доченька! Будь они прокляты, эти люди, что позвали его на беду!.. Какой-то Мутагар за ним прискакал, я даже не успела поглядеть на моего сыночка!

Старуха охала, прижимала к глазам фартук, раскачивалась, сидя около чувела. Гульямал быстро повязала новый платок, набросила на плечи камзол.

— Не оставляй меня, доченька! Килен!¹ — жалобно запросила Сайдеямал. — Куда же ты? Пожалей хоть ты меня!

— Я не могу бросить Хисмата в беде! — Гульямал пошла к порогу, но тут же вернулась. — Если будут меня искать, скажи, что я побежала к Акназару, в Совет!

XXIV

Лошадь шла крупной рысью, с боков ее летели хлопья пены, арбу мотало из стороны в сторону, но Мутагар, став на колени, щелкал кнутом в воздухе, свистел и покрикивал.

— Загонишь коня, погубишь! — говорил ему трясшийся в арбе Хисматулла.

Но Мутагар не слушал его и знай погонял себе, и скоро мигнули навстречу огни приискового поселка, прошумел мимо лес. На дороге, ведущей к шахте, торчали у отвалов брошенные старателями кайлы и лопаты.

Не успели они домчаться до площади, как их обогнали верховые, с гиканьем и беспашабными криками, будто все были

¹ Килен — невестка,

пьяные, около кофторы слышалась пальба, звон выбитого стекла. Из ближнего переуллка, сгибаясь под тяжестью темных ящиков, бежали какие-то люди.

— Стой! — крикнул, не вылезая из арбы, Хисматулла. — Что у вас тут делается?

— Проспал, солдат! — видимо узнав его, ответил из темноты какой-то старатель. — Явился к шапошному разбору. А то поторопись, — может, и тебе что достанется!..

— Да где достанется-то?

— А в накышевской лавке! Ее, почитай, вчистую растащили! Все полки голые!

— Да ты подойди ближе, расскажи все толком, — попросил Хисматулла. — Не отберу я у тебя твое награбленное добро!

— А ты, солдат, не задирайся! Меня всю жизнь грабили, а я молчал... И не я это первый начал, — не то сердясь, не то оправдываясь, отвечал голос из темноты. — Поначалу, говорят, прибежали какие-то с ружьями, взломали замки, похватили самое добро, а мы уж рожки да ножки...

— Хороши, видать, рожки, если сам под ящиком к земле гнешься! — вспыхнув, зло проговорил Хисматулла. — Потерял рабочую совесть?

— Езжай мимо, солдат! — К старателю подошли на подмогу еще трое и закричали: — Не трогай нас! Мы свое взяли! Мы и сами не знаем, что тащим... Может, битые черепки домой донесем!

Мутагар хлестнул лошадь, и арба загрохотала, выкатилась на площадь, к накышевской лавке, около которой толпились какие-то полуцыганские люди.

— Где же справедливость, братцы? — кричал какой-то старатель и рвал на себе рубаху. — За что страдали? Ежели революция, так надо делить поровну, а не так, кто смел, тот и съел!..

— Не плачь, кореш! — хлопнул его по плечу длинноносый верзила. — Одна, что ль, лавка у нас на прииске? Грабь все подряд! Чтoб ничего не осталось буржуям!.. Айда вон через дорогу! Чем хуже этот магазин накышевской лавки?

— Вер-на-а! — подхватили в загустевшей толпе.

— Круши-и!

— Смерть всем буржуям!

Верзила взмахнул рукой, и толпа двинулась за ним, задыхаясь, и топоча, и матерясь.

— Остановитесь! — встав во весь рост на арбе, закричал Хисматулла. — Вы же не бандиты! Что вы делаете? Опомнитесь! Вас подбивают на грабеж мародеры!.. Вы заплатите за этот обман! Вы же рабочие люди! А рабочий класс должен быть сознательным классом... Не поддавайтесь на эту провокацию!..

— Ты, солдат, нас не пугай! — подскочил к арбе бородатый старатель в заляпанной грязью робе, почти не державшийся на ногах. — Таперь нам свобода, а буржуям разным конец! Хватит, натерпелись!..

Раздался звон стекла, лязг выворачиваемых замков, летели на землю вышибленные рамы, двери, толпа, давясь в проемах, хлынула в магазин. Слышался стук топоров, треск отдираемых досок, в темноте нельзя было разобрать, сколько мечется тут людей, кто тащит кули с мукой и крупой, кто целые тюки товаров, кто посуду в ящиках, кто катит по площади бочки с керосином.

Внезапно площадь озарилась ярким пламенем, и стало светло, как днем.

— Накышевская лавка горит! — сказал Мутагар.

Люди в магазине и на площади на минуту ошеломленно застыли, но, увидев, что им не угрожает опасность, снова бросились растаскивать магазин.

Не выдержав, Хисматулла соскочил с арбы, бегал от горячей лавки к магазину, упрашивал, уговаривал, но голос его тонул в гомоне и гвалте. Плакали брошенные среди улицы чьи-то дети, в дальнем конце площади слышался отчаянный женский вопль: «Убива-ают!.. Помо-ги-и-те!», но вот среди звона, криков и плача возник гулкий топот копыт, и на площадь неожиданно вырвалось около десятка верховых.

— Акназар! — кинулся навстречу верховым Хисматулла. — Как же ты догадался, браток?

— Это Гульямал нас всполошила! — поигрывая плеткой, ответил Ягудин. — А мы уж с Загитом постарались вон какую дружину собрать! Думали, тебя уж в живых не застанем!.. Что тут у вас?

— Не видишь разве? Разбой и грабеж!.. Надо разогнать эту банду!

— Что прикажешь делать?

— Ну, для начала пальните в воздух! Может, кто-нибудь в себя придет! А там посмотрим!..

Акназар тихо скомандовал, и верховые, сняв ружья, дали залп из восьми винтовок. На площади сразу началась паника.

— Солдаты! — сумасшедше заорал кто-то из старателей.

Побросав награбленные вещи, люди бросились врассыпную, сшибая друг друга с ног, крича от страха.

— А ну, грохните еще разок! — попросил Хисматулла.

После второго оглушительного залпа площадь опустела, на ней валялись брошенные вещи, блестел лежавший на боку самовар, белела дорожка рассыпанной муки. Зарево над накышевской лавкой не утихало, и на лицах верховых метались блики пожара.

— Повернем домой? — спросил Акназар.

— Скоро крыша обвалится, — привстав в стременах, сообщил Загит. — И, может быть, я ошибаюсь, но от конторы идут новые грабители...

— Давайте отъедем за сарай, — скомандовал Акназар. — Мутагар, заворачивай тоже свою арбу!

Они успели скрыться в тени сараев, когда на площади показалось несколько старателей и шедший во главе их высокий человек закричал:

— Куда попрятались смелые джигиты, которые стреляют по своим братьям? Мы тоже стрелять умеем! Выходите!

Он дошел почти до середины площади, когда лицо его озябло пламенем пожара, и Хисматулла узнал Кулсубая.

— Здравствуй, агай! — радостно отозвался Хисматулла и, дав команду верховым, выехал навстречу. — Никто тут по своим не стрелял, мы только попугали грабителей. И сейчас тут полный порядок! Если бы не дружина из Сакмаева...

— Кто вам дал право вмешиваться в наши дела? — не дослушав, грубо оборвал его Кулсубай. — Зачем вы прогнали отсюда людей?

— Мы прогнали тех, кто устроил тут этот разбой!

— Я не хочу слушать того, кто против нашей революции! — не отступал от своего Кулсубай, и голос его дышал угрозой. — Убирайтесь в свое Сакмаево и лижите пятки баям, а мы сами знаем, что нам делать со своими богачами и угнетателями!

— Да разве это революция, агай? — Хисматулла отступил на шаг, не узнавая стоявшего перед ним человека. — От тебя ли я это слышу?.. Ты старше меня, больше повидал на своем веку, но я был на войне, я записался в большевики, и я тебе прямо скажу, что если бы мы грабили одних и отдавали другим, да еще с помощью вот такого ночного разбоя, то за нами никогда бы никто не пошел, не поверил бы нам, и это была бы не революция, а один позор!..

— Это мы потом разберемся, а пока идите своей дорогой и не мешайте нам!

Они бы спорили и препирались так еще долго, но тут на площадь выбежал конюх Зинатулла и, весь дрожа и заикаясь от испуга, прохрипел:

— Кулсубай-агай!.. Там нашего кассира убивают!..

— Где убивают? — опешил Кулсубай.

— В конторе... Наверно, хотят унести сейф с золотом...

Кулсубай растерянно оглянулся на Хисматуллу.

— Пока мы тут кричим о своих правах, наши враги не дремлют! — Хисматулла обвел взглядом окружавших его людей. — Сделаем так: Мутагар и Загит останутся с тремя

верховыми здесь, Акназар и остальные — быстро к конторе!.. Садись рядом, Кулсубай!

Кулсубай молча повиновался, прыгнул в арбу, и, сопровождаемые верховыми, они понеслись к конторе. Видимо, топот и шум спугнули грабителей, потому что едва они вырвались к конторе, как ночь прорезал залихватский свист, кто-то вскопчил на коня и помчался во весь опор к лесу.

— Жалко, упустили гада, — процедил сквозь зубы Кулсубай. — Не так бы нам нужно... Тогда бы живьем взяли!

— Окружить дом! — скомандовал Хисматулла. — Акназар, заходи с тыла, а ты, агай, охраняй выходы. Я пойду один!

— Может, не стоит так рисковать? — сказал Кулсубай.

— Я при оружии и буду осторожен...

Он толкнул ногой дверь конторы, постоял в тишине, прислушиваясь к шагам дружины, оцеплявшей контору, сделал несколько шагов по коридору, прижался спиной к стене, передохнул и двинулся дальше. Глубокий, протяжный стон заставил его замереть, потом он пошел на этот стон и распахнул одну из дверей.

— Здесь есть кто живой?

Стон раздался снова, почти рядом, в двух или трех шагах, и, подождав, Хисматулла чиркнул спичкой. На полу в луже крови лежал, подогнув ноги, лысый человек в черных наручниках.

Засветив лампу, Хисматулла осторожно перевернул раненого на спину. Пол под ним был весь мокрый и липкий от крови, на груди темнело расплывшееся пятно.

— Кто тебя? — тихо спросил он.

— Ниг-ма-тулла, — сухими, запекшимися губами выдохнул кассир. — Ключи требовал... Я не дал, и он меня ножом...

— Сейчас мы отвезем тебя в больницу, — зашептал Хисматулла. — Мы спасем тебя... Слышишь?

Кассир приоткрыл глаза и долго смотрел на Хисматулла, точно стараясь что-то вспомнить.

— Да, вам я могу сказать... Они нарочно все устроили... — Он задыхался, в груди его что-то хрипело и булькало... — И поджог, и разбой... Чтобы все растащили, а они взяли бы один сейф...

— Кто они?

— Ну этот, как его... — Кассир глухо застонал. — Я сейчас... Я сейчас...

Хисматулла выбежал из комнаты, крикнул:

— Товарищи!.. Сюда!.. Кулсубай!..

Но было уже поздно. Когда люди, вбежавшие в кабинет Накышева, окружили кассира и подняли его на руки, он уже никого не слышал.

— Отнесите его в арбу, — сказал Хисматулла. — Это был настоящий рабочий человек. Его нельзя было купить ни за какие деньги, ни за какое золото... Мы похороним его со всеми почестями, как героя...

Когда комната опустела, и они с Кулсубаем остались вдвоем, Хисматулла кивнул товарищу и позвал его за собой в другую комнату, выходящую окнами на задний двор. Держа над головой лампу, Хисматулла прошел вперед и показал на сейф. Он лежал у окна, бока его были поцарапаны и помяты, — видно было, кто-то пытался открыть его с помощью кайлы и лома. Они валялись тут же, брошенные впопыхах.

— Ну, теперь, надеюсь, тебе ясно, кто устроил этот погром?

— Какой еще погром? — недовольно буркнул Кулсубай. — Подумаешь, сгорела одна лавка, да какой-то магазинчик разнесли... Есть о чем говорить!

— Да не в лавке дело!

— А в чем же тогда?

— А в том, что вас всех охмурили, толкнули на грабеж, чтобы самим воспользоваться и прикарманить этот сейф! А тут, как сам понимаешь, не одной лавкой пахнет... Тут и богатство народа, и слезы наши, и пот...

— Да что ты меня до печенок пронимаешь? — разозлился не на шутку Кулсубай. — Как ты можешь обвинять меня или других, когда знаешь, сколько мы вынесли за эти годы... Тут и скотина бы не вытерпела, не то что живые люди... Люди просто устали ждать, а тут одна искорка — и все загорелось...

— Что за искорка?

— Хозяин со страху кое-что наобещал старателям, а сам смылся — то ли удрал, то ли в больницу слег, откуда нам знать! А Накышев знай жмет и жмет... Пришли вчера в контору, а его нету! Туда-сюда, будто корова языком слизнула — ни дома, ни в конторе!.. А тут кто-то возьми и скажи: раз, мол, не хотят с нами по-хорошему, не слышат нашу нужду, не дают, что положено, мы сами возьмем... Разнесем первым делом в пух и прах накышевскую лавку... Ну и пошло, закрутилось, тут уж никому не остановить!..

— А кто хоть подбивал-то на это дело?

— Да тут все кричали, я и не помню, кто первый начал. Да и какая разница, кто первый?

— Большая, агай... Этот человек и был наверняка подослан самим Накышевым!

— Да зачем же ему это было нужно, чтоб его собственную лавку подожгли? — Кулсубай недоверчиво покачал головой. — Не пойму я что-то тебя... В какую сторону в твоей башке колеса крутятся?

— Сейчас поймешь! — Хисматулла не сдержал улыбки. — Ты хоть видишь, что сейф с золотом хотел кто-то утащить или взломать и взять все оттуда?

— Да вроде получается так... — неуверенно согласился Кулсубай. — Но на кой он им без ключа?

— За этот ключ они кассира убили, а ради того, что есть в этом сейфе, они могли не только лавками пожертвовать! А главное — устроив погром, они могут теперь все свалить на старателей! И попомни меня, завтра уже начнут людей таскать на допросы...

— Ну, при такой свалке они виноватых не найдут, — задумчиво проговорил Кулсубай и вдруг хлопнул себя по лбу. — Какой же я все-таки серый человек! Злоба меня ослепила, а что к чему, я даже думать не захотел... Но Накышеву этот номер не пройдет, он все равно из наших рук не выйдет сухим!

— Не горячись, агай, — Хисматулла положил товарищу руку на плечо. — Накышев не так прост, чтобы его взять голыми руками!.. Так что повремени, выжди, чтоб если ударить, то наповал!

— Чего ждать-то? Разве теперь не видно всем, кто всю эту бучу затеял? — движением плеча Кулсубай сбросил руку. — И что ты за человек? Так сделаю — неладно, этак поверну — опять нехорошо! Ты хочешь, чтоб я у тебя на поводке ходил, а ты то отпустишь его подлиннее, то укоротишь... Нет, Накышева я должен на чистую воду вывести!

— Да разве я тебя удерживаю? Выводи, пожалуйста, мне не жалко! — снова улыбнулся Хисматулла. — Куда он денется-то? Только сначала о другом подумать надо — о том, чтоб такие вещи, как вчера, больше не повторялись. Если каждый будет делать, что в голову взбредет, один вред принесет революции. Ты же сам знаешь, что главное — это дисциплина и организация. И объяснять надо народу, зачем она нам пужна, чтобы не поддавались люди на такие провокации...

— Это ты верно говоришь, — задумался Кулсубай. — Надо бы нам тоже дружину завести, как у вас...

— И Совет, — подсказал Хисматулла.

— А что? Можно и Совет, — согласился Кулсубай.

— Надо оставить несколько человек сторожить сейф и то, что осталось в магазине. Поставь там своих людей, — сказал Хисматулла. — И вообще, не надо нам порознь друг от друга действовать... Нужна тебе будет наша помощь — присылай в Сакмаево, а нужна будет нам ваша, так мы пришьлем, идет?

— По рукам! — рассмеялся Кулсубай. — Это ты здорово придумал! Вот что, и Совет, и дружину, пожалуй, сегодня организовать надо, а то, говорят, если дело со дня на день откладываться, оно снегом покрывается... Мы им еще покажем!.. — Он вышел в коридор, отдал распоряжения людям, ожидавшим его во дворе, и вернулся к Хисматулле:

— Устал, отдохнуть надо хоть немного... Может, зайдешь ко мне?

— Завтра зайду, — пообещал Хисматулла. — Сегодня мне домой надо, я и мать-то как следует повидать не успел... Только и попадаю из огня да в полымя...

Они вышли на крыльцо, и в глаза им ударило солнце. Оно выкатилось из-за горы огненным шаром, зажгло окна приискowego поселка, бисерно вспыхнула покрытая росой трава, подняли в роще дикий галдеж грачи.

— Вот природе нет дела до наших несчастий, — мечтательно проговорил Кулсубай. — И когда мы сами станем жить и радоваться всему, что есть на земле?

— Скоро, — ответил Хисматулла, он еле шел, веки у него горели и слипались от усталости. — Лишь бы война кончилась, и тогда мы живо наведем порядок...

Они свернули от площади на тропинку и почти выбрели к берегу Юргашты, когда их нагнал запыхавшийся Зинатулла.

— Кулсубай!.. Агай!.. — Он выхватил из кармана связку ключей и протянул ее старателю. — Велели тебе отдать!

— Постой! Что это за ключи?

— Кассир мне их бросил и велел к тебе бежать, — торопливо рассказывал Зинатулла. — Я рядом, в конторе, оказался... Когда грабители въехали во двор, я выпрыгнул в окно и побежал тебя искать! А когда напел, из башки моей просто вышибло, что ключи у меня...

— А тех, что во двор въехали, ты не разглядел? — спросил Хисматулла. — Что это были за люди?

— Я только увидел, что они на лошадях, и чуть раму головой не разбил. Без оглядки гнал!.. Такого страху натерпелся, не приведи аллах!

— Ну ладно, давай сюда ключи. — Кулсубай положил их во внутренний карман пиджака. — Но смотри, о ключах никому ни слова, даже если на огне будут пытать, понял? Это теперь наше добро, народное, и мы должны его беречь пуще глаза.

-XXV

Несмотря на безмерную усталость, Хисматулла не спеша доковылял до деревни. На щеке его кровоточила неизвестно откуда взявшаяся ссадина, руки были перепачканы сажей, ноги ныли, и порою казалось — откажут ему и он упадет и не сделает больше ни шага. Чтобы не напугать мать, он спустился к берегу Юргашты, опустил на колени у воды и плеснул пригоршнями на щеки. Лицо точно обожгло огнем, а он продолжал все плескаться, пока не притерпелся. Потом, стянув гимнастерку, вымылся до пояса, посидел на сером и гладком

камне, подставив спину теплему солнышку. Журчала мимо вода, перемывая разноцветные камушки, высвистывала в кустах какая-то пичуга, качались над головой зеленые ветки, а Хисматулла сидел, и ему было лень шевельнуть рукой и ногой. Но, преодолевая боль в ногах, он поднялся и тропкой выбрел к огородам. На усадьбах рос глухой бурьян, стеной поднималась крапива.

Внезапно перед Хисматуллой, будто выбежав навстречу, возникла развесистая рябина, и он остановился, узнав ее, и долго смотрел на ее побуревшие гроздья.

«Да это огород Нигматуллы,— вспомнил он.— Эта рябина растет тут давно... И где-то рядом, вон за теми клетями, Нафиса, и она не знает, что я тоже стою рядом и думаю о ней! И я не прощу себе никогда, если сейчас же не увижу ее, чего бы это мне ни стоило!»

Он вышел узким переулком на главную улицу и решительно направился к воротам, толкнул калитку. Дремавшая у будки собака рванулась вперед, но цепь отбросила ее назад, и собака яростно залаяла, задыхаясь в крепком ошейнике, разрывая сильными лапами землю.

Дверь в дом бесшумно отворилась, точно ее распахнул ветер, из темного зияющего провала ее неожиданно выступила худенькая, черная, словно сотканная из этой тьмы, фигурка Нафисы,— она была в черном платье, в том единственном черном платье, которое носила с тех пор, как умер ее ребенок; лицо и руки белыми пятнами выделялись из мрака, бескровные, почти прозрачные; глаза смотрели глубоко, без блеска.

— Нафиса... — прошептал Хисматулла, но звука не было, только шевельнулись его губы.

Женщина вздрогнула, в глазах ее появилось выражение испуга, руки сами собой поднялись к лицу, и слезы блестящими светлыми градинами покатались по щекам. Негнущимися, непослушными ногами, не отрывая глаз от ее лица, Хисматулла подошел к крыльцу. Внутри его все тяжело и болезненно набухало, и не было сил, чтобы глотнуть воздуха и сказать хотя бы слово.

Нафиса бессильно кинулась к нему и, наверно, упала бы, не подхватив он ее на руки, легкую, почти невесомую. Спрятав лицо у него на груди, она заплакала тихо и безнадежно, как ребенок наедине с собой. Хисматулла бережно гладил ее по голове, по вздрагивающим плечам.

— Ну, не надо, видишь, все уже кончилось... Не плачь, ведь я пришел... Теперь мы будем вместе... Идем скорее, пока не приехал Нигматулла!... — шептал он, держа ее в руках, словно хрупкий, могущий каждую минуту разбиться драгоценный сосуд.

Нафиса неожиданно отпрянула и, закрыв лицо руками, прислонилась к перилам.

— Поздно ты пришел, Хисмат...

— Почему поздно? О чем ты?

— Поздно, поздно! — мотала головой Нафиса. — Я уже согрешила однажды, и в наказание аллах лишил меня отца!.. Я не хочу больше позорить ни мать, ни брата. Они и так оба несчастные! Да и Нигматулла нам будет мстить...

— Нигматулле нам нечего бояться! — остановил ее торопливый и сбивчивый шепот Хисматуллы. — Теперь другое время, и мы найдем на него управу!

— Он никого не боится — ни закона, ни аллаха! — пятась к дверям, твердила Нафиса. — Ты не знаешь его... Он хуже всякого дикого зверя!.. Лучше уходи, Хисмат, уходи...

— И на зверя мы сделаем облаву, — сказал Хисматулла. — Почему ты гонишь меня? Разве ты уже не любишь меня?

— Ты был отцом моей девочки, как я могу не любить тебя? — простонала Нафиса. — И аллах за мои грехи отнял и ее у меня, мою единственную радость!.. Не будет нам счастья, Хисмат, уходи...

Хисматулле будто кто толкнул в грудь, он отшатнулся, не понимая, ослышался ли он или Нафиса нарочно говорит ему неправду, чтобы он оставил ее.

— Боже мой! Да как же ты можешь говорить такое, если у нас была девочка и мы не уберегли ее? — Он шагнул к мертвенно-бледной женщине и, взяв ее за плечи, старался заглянуть ей в глаза. — Ну, посмотри на меня... Мы должны быть вместе, я не смогу без тебя жить!..

— У меня больше не будет детей, Хисмат... Мертвая я, мертвая... Я ждала тебя, сколько могла, но теперь у меня нет никаких сил... Нельзя идти против воли аллаха! Нас опять привяжут к конскому хвосту и прогонят по улице позора... Я не хочу! Уходи, а то сейчас вернется Нигматулла, и он убьет тебя!..

Схватившись за дверную ручку, она постояла с минуту, как бы не решаясь расстаться с Хисматуллой навсегда, потом бросилась, как в омут, в сумеречную глубину сеней и исчезла. Хисматулла посмотрел ей вслед, будто еще не веря до конца тому, что случилось, будто и не стояла Нафиса только что рядом и не говорила с ним, а привиделась во сне...

Он не помнил, как спустился по ступенькам крыльца, как прошагал залитым солнцем двором, провожаемый гулким лаем собаки, как выбрался за ворота и снова вдруг очутился у реки.

Юргашты бесстрастно и беспечно катила свои волны, играла на перекатах солнечной рябью, ворковала у самых ног, но сейчас он словно не видел и не слышал ничего — ни завораживающего шепота ее струй, ни золотистых бликов, ни пестрых

теней на воде, ни зеленых склонившихся ветвей, заслонивших другой берег.

Сердце его ныло глухой и непроходящей болью, грудь будто сдавила какая-то тяжесть и не отпускала, и не было сил вздохнуть.

«Что же делать? — сжав кулаками виски и глядя в тинистую глубину воды, думал он. — Может быть, нужно просто взять ее за руку и увести силой из этого страшного дома? Но разве я могу поступить так, не считаясь с ее волей и желанием? Я и так немало принес ей горя, она и так настрадалась и намучилась из-за меня, и я не имею права решать за нее... Пока она не поймет, что счастье в ее руках, мы будем оба несчастны!.. Она боится всего на свете — и аллаха, и Нигматуллу, и нового позора, и я не смогу принести ей никакой радости!.. Как все бессмысленно и дико, даже на войне я не чувствовал себя таким бессильным!» Мысли путались, перед глазами в беспорядке мелькали то освещенный жаркими красными всполохами прииск, то лица людей, тащивших тюки из лавки, то худые, разбухшие в суставах руки матери, то темные, без блеска, глаза Нафисы.

«Поздно ты пришел, Хисмат», — звенело в ушах.

Поднялся ветер. Желтые столбики пыли закрутились на тропинке, с зеленой березы упал к ногам Хисматуллы побуревший листок. Не понимая, что он делает, Хисматулла машинально поднял его и сунул в карман гимнастерки.

Ветер подул сильнее, и пыль полетела в глаза. Хисматулла прикрыл их ладонью и тяжело зашагал по крутому берегу. Не успел он свернуть к дому, как сзади послышалось громохканье колес по сухим, выжженным колеям. Его нагонял тарантас, запряженный резвой гнедой кобылкой. На соломе, небрежно пошевеливая вожжами, лежал Нигматулла. Хисматулла было отвернулся, но вдруг внутри у него все снова закипело, и он бешено крикнул:

— Стой!..

Нигматулла резко дернул поводья.

— Чего тебе?

— Поговорить надо, — хрипло ответил Хисматулла.

— О чем нам с тобой разговаривать? — вскинул брови Нигматулла.

— Ты зачем Нафису бьешь, шкура?! — сжимая кулаки и чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, крикнул Хисматулла.

— А тебе какое дело? — Нигматулла лениво пожал плечами. — Она мне жена, захочу — убью, а захочу — приласкаю, — все в моей власти!

— А ну, слезай, контра! — взревел Хисматулла.

— Легче на поворотах! — Нигматулла замахнулся, потом

презрительно сплюнул и неожиданно с силой хлестнул лошадь. — Не жалея, еще найдем место, где поговорить!

Кобылка резко рванула, тарантас громыхнул, обдав Хисматуллу желтой горячей пылью, и он остался стоять на дороге, бессильно сжимая кулаки. «Ну ничего, ты все равно не уйдешь от меня! — думал он, глядя, как летит над дорогой пыльное облако. — Ты прав, мы еще встретимся, и тогда одному из нас уже не жить!» Перед глазами его снова возникли красные круги, и в этих кругах с невероятной отчетливостью проступило безусое, мальчишеское лицо немецкого солдата с растерянными глазами, — секунду он смотрел на Хисматуллу, потом неловко вскинул руки и упал ничком в блеклую и жесткую осеннюю траву... Хисматулла зажмурился. Этот мальчик был первым, кого он убил в атаке, и вот уже три года Хисматулла не мог забыть ни лица его, ни глаз, недоуменно вопрошавших: «А меня-то зачем?»

«Убиваем таких же рабочих, как мы сами, а те, кто пьет из нас кровь, живут рядом и делают с нами, что хотят! Вот в кого нужно стрелять без всякой жалости! Стрелять и стрелять!»

Он шел по дороге, не замечая, что шепчет эти слова, как клятву...

XXVI

Глаза Накышева были полузакрыты, и казалось, что он вообще не слышал того, о чем говорил конюх. Пухлая рука твердо подпирала отвисшие складки подбородка, тень от спинки глубокого кожаного кресла; в котором он сидел, падала на правую щеку, и от этого вся правая сторона его лица казалась худее левой.

— Путано говоришь, — внезапно оборвал он Зинатуллу. — Целый час уже говоришь, а я так и не понял, взяли золото из сейфа или нет.

— Я же говорю, сейф у окна лежит! — Зинатулла довольно рассмеялся. — Если б не я, точно украли бы!..

— Ничего не понимаю, — вздохнув, укоризненно покачал головой управляющий. — При чем тут ты?

— Ключ-то у меня был! — горячо проговорил Зинатулла. — Как такой толстый железный сундук без ключа откроешь? А кассир как послал меня за подмогой, так и ключ отдал! Я еще не хотел брать, а он говорит: бери, а то, мол, у меня найдут... Хороший был человек, верный. Жалко, не успел я...

— Ну хорошо, я все понял, — управляющий не сдержал презрительной усмешки. — Давай сюда ключ!

— Да у меня его уже нету! — Зинатулла растеряннo улыбнулся. — Я его сразу же Кулсубаю-агаю отдал, чтобы не потерялся. Хотите, я сбегаю, чтобы он пришел?

— Кулсуу-у-убаю? .. — вскинулся Накышев. — Да кто тебе велел? Или я уже здесь не хозяин?!

— Да он отдаст к-ключ-чи, — заикаясь, сказал конюх. — А ч-чугунный сундук никто не трогал, там возле него д-дежурят! Я сам д-дежурил...

— Ах, вот как? Ну, тогда ладно, тогда все в порядке. — Управляющий встал с кресла, обогнул стол и вплотную подошел к конюху.

Зинатулла поднял глаза, с ужасом увидел слепой, затуманенный яростью взгляд Накышева и тотчас опустил их.

— Молодец! — ласково сказал управляющий. — Медаль тебе за это полагается, ба-альшой молодец! ..

Он медленно отвел руку назад, сжал пальцы в кулак и ударил конюха в подбородок.

Зинатулла охнул и отлетел к стене.

— За что? — приподнимая голову от пола, спросил он. — Что я плохого сделал?!

— Ты еще разговариваешь! — рассвирепел Накышев и, подойдя, пнул его сапогом в шею. — Выметайся отсюда! Живо! Чтоб глаза мои тебя не видели, олух царя небесного! .. Во-он! ..

Он не сразу успокоился и походил немного по комнате, от окна к двери и обратно, время от времени сплевывая и передергиваясь, потом быстро сел за стол, обмакнул ручку в чернила и принялся составлять телеграмму о событиях на приiske.

Дверь скрипнула, управляющий поднял голову и, быстро отодвинув локтем бумаги, откинулся в кресле.

— Ну и спектакль ты мне устроил! — покачал он головой. — Заставь дурака богу молиться. ..

— Ты не такой уж бог, — недовольно буркнул Нигматулла. — А я не такой уж дурак, чтоб голову под пулю подставлять!

— Видно, правду говорят, что береза черемухи не рожает, — махнул рукой управляющий.

— Легко тебе теперь рассуждать! Сам-то небось смылся, — фыркнул Нигматулла. — А я тут один ворочал! .. Да эти идиоты еще убили зачем-то кассира, когда его просто попутать пужно было. ..

— Ладно, не будем сводить счеты! — Накышев хлопнул ладонью по столу. — Давай лучше подумаем, что нам теперь предпринять.

— А что тут думать? Ключ нужен, вот и все дела! Куда его этот кассир задевал, ума не приложу!

— Конюху отдал, — Накышев ухмыльнулся.

— Так он у тебя? — обрадовался Нигматулла.

— А конюх — Кулсубаю! — досказал управляющий. — Боюсь, проворонили мы золото. . .

— Как это проворонили? Не захочет добром отдать — силой вырвем! Ты, как хотел, возьмешь свою долю и в Оренбург укачишь, а я здесь завод открою, новые шахты выстрою. . .

— Раньше и я так рассчитывал, — вздохнул управляющий. — Но сейчас обстановка совсем другая. Сгоряча можно столько глупостей наворотить, что потом не расхлебашь. . . Старатели сейчас злые, они могут весь прииск по ветру пустить! Пусть малость успокоятся. А пока я хочу сообщить обо всем в Петроград. . .

— Разве Касьянов опять в Петрограде?

— Да нет, это я его компаньонов хочу поставить в известность, — Накышев грузно заворочался в кресле. — Слать телеграммы нашему хозяину пока нет никакого смысла. Во-первых, он еще болеет, лежит в больнице. . . Во-вторых, нам от него помощи все равно не дожидаться, если бы даже он был здоров. Он человек с большими странностями. . . Сегодня он идет на все уступки рабочим, а завтра он может подарить им весь прииск! Он может выкинуть что угодно, этот блаженный! . . На Кэжэн нам тоже теперь надеяться нельзя, там такая же чехарда, гляди, и похуже, чем у нас. . . Вот я и сижу, ломаю голову, как нам выйти из положения, потому что без постоянной охраны нам больше не обойтись. . .

— Мудрые слова, Гарей Шайбекович, — с готовностью согласился Нигматулла.

В коридоре послышались чьи-то громкие голоса, грохот сапог, дверь без стука распахнулась, и в кабинет вошли несколько вооруженных винтовками старателей во главе с Кулсубаем и Хисматуллой.

— Это что еще за новости? — крикнул Накышев и сунул руку в карман, нащупывая револьвер. — Прощу сейчас же покинуть мой кабинет. . . Почему не на работе? Кто вам дал право разгуливать в такое время?

— Не горячитесь, господин управляющий, — снимая кепку и подходя вплотную к столу, сказал Кулсубай, — к вам пришли не бандиты, а представители Совета прииска. . .

— Какого еще Совета? Какого прииска?

— Нашего прииска, Юргаштинского, — спокойно пояснил Хисматулла. — По решению Совета вы будете теперь работать под его контролем и наблюдением!

— Что за неумные выдумки? — то багровея, то покрываясь холодной испариной, проговорил Накышев. — Не знаю никакого Совета и не нуждаюсь ни в чьей помощи! Пока здесь распоряжаюсь всеми делами я, и никто не имеет права вмешиваться в мои обязанности!

— Так было до сегодняшнего дня, а с нынешнего все будет по-другому,— нисколько не смутившись, все так же спокойно и уверенно продолжал Хисматулла.— Советы созданы с разрешения Временного правительства, и мы сейчас здесь его представляем...

— Да при чем тут Временное правительство? — все более выходя из себя, срывался на крик Накышев.— Прииск принадлежит не правительству, и я не буду никому подчиняться, кроме его законных владельцев или его компаньонов...

— Как вам угодно,— сухо остановил его Хисматулла.— Тогда мы отстраним вас от должности и поставим на это место другого человека... У вас еще есть время подумать. Если вы придете к разумному решению, обратитесь к Кулсубаю-агаю, он выбран председателем рабочего контроля...

— Но пока вы не смещены со своего поста, вы будете присутствовать при сдаче золота,— сказал Кулсубай.— Пожалуй, лучше всего мы проведем эту операцию здесь, в вашем кабинете...

Накышев подавленно молчал, лихорадочно соображая, как ему поступить, чтобы не потерять своего достоинства и вместе с тем сохранить за собой какую-то свободу, если все же он вынужден будет смириться с этим неизбежным самоуправством и насилием.

— Я тоже хочу быть при проверке,— подал сильный от волнения голос Нигматулла.— Я старший десятник...

— Обойдемся как-нибудь без тебя! — не оборачиваясь, бросил Хисматулла.— Твой черед отвечать перед людьми наступит, не торопись! — И жестко приказал вооруженным старателям: — Выведите из конторы!

Мельком выглянув в окно, Накышев понял, что контора и вся усадьба охраняются целым отрядом, в дверях тоже застыли вооруженные рабочие, а несколько человек, подложив под сейф гладкие кругляки, вкатывают его в кабинет. Кто-то из них принес и поставил на стол весы, молча появился в кабинете молодой паренек в черных нарукавниках, недавно принятый в помощники кассиру, и Кулсубай, достав из нагрудного кармана ключ, открыл сейф...

Сердце Накышева сжалось, ему чуть не стало дурно, но он кое-как овладел собой и опустился в кресло. Он работал почти машинально, повторяя за пареньком цифры и сверяя их с записями кассира.

«Нашел кому довериться! — не переставал он ругать себя.— Разве может самая изворотливая хитрость заменить настоящий ум? Никогда!.. Он ловкий, когда нужно залезать в чужой карман, но становится дурак дураком, когда нужно действовать в сложных условиях».

Когда все золото было взвешено и заактировано, Кулсубай положил перед управляющим ручку,

— Подпишите этот документ!

— Какое значение имеет моя подпись, если вы насилуете мою волю?

— Этот акт вы были бы обязаны подписать при любых обстоятельствах, как человек, отвечающий за весь прииск, — заметил Хисматулла, все время молча и, казалось, безучастно сидевший у окна.

— Ну, извольте, — как бы уступая нажиму, покорно согласился Накышев.

Рука его мелко и противно дрожала, пока он, как малограмотный, корябая бумагу, выводил свою фамилию. Вот его подпись придавили, промокая, мраморным пресс-папье, и Накышев не сдержал глубокого вздоха.

— Ну вот, теперь полный порядок! — Хисматулла выпрямился у окна. — А сейчас вы должны сказать — будете ли исполнять обязанности управляющего?

«Интересно — отдадут они мне ключи? — подумал Накышев и тут же снова обругал себя: — Ты тоже выжил из ума, старый осел! Тебе чуть ли не надели наручники и не закрыли, как мышь в мышеловке, а ты еще надеешься быть хозяином положения! Какой абсурд!»

— Что ж вы молчите? — повторил свой вопрос Хисматулла. — Будете работать или увольняетесь?

— Хорошо, пока поработаю. — Накышев не смотрел на старателей. — У меня сейчас нет других предложений... А без дела мне сидеть непривычно и тяжело... Но я хотел бы знать условия!

— Условия те же, что и были, никто не собирается вам снижать плату за труд, и никто не собирается командовать вами, когда дело касается ваших хозяйственных распоряжений. — Хисматулла оглянулся на старателей, лица которых сейчас были суровы и вместе с тем значительны, словно само присутствие при этой операции и этом разговоре возлагало на них особую, никогда еще не переживаемую прежде, ответственность. — И не вздумайте играть с нами в прятки! Наступили иные времена, и вы обязаны с ними считаться...

— Я хорошо это усвоил сегодня. — Накышев даже позволил себе разжать в улыбке бледные губы.

— Рабочий контроль не будет вас обижать, господин управляющий, — сказал Кулсубай. — Мы хотим только, чтобы вы в первую очередь отстаивали интересы рабочих... Наше дело — следить за тем, чтобы все было справедливо, все было по-честному!

Сейф снова перетаскивали в другую комнату, где окна уже были заделаны железными решетками, поставили в коридоре старателя с винтовкой, и кабинет вдруг опустел, точно тут и не

толпились целый день люди, точно все это привиделось Накышеву в кошмарном сне...

«Нет, видимо, я что-то не до конца понимаю, — расхаживая из угла в угол по комнате, размышлял он. — Еще год — какое там! — месяц назад эти зимогоры не решились бы без особого разрешения переступить порог моего кабинета, тем более дерзить. А сейчас они даже не дерзят, они просто требуют, командуют, будто наперед знают, как будут развиваться события и на прииске и во всей стране... Может, я старею, и что-то прошло мимо меня, и я не заметил этого, что, вероятно, почувствовал тот же Касьянов. Какой бы он ни был идеалист, он видит, наверное, то, что недоступно мне... Однако поздно меняться, поздно! И пока меня на самом деле не пустили в расход, я должен действовать, и действовать без промедления. Да, рискованно, да, опасно, но у меня нет иного выхода! Я обложен и зафлажен, как волк в лесу, и мне через эти флажки не перескочить, если я не разорву где-то всю цепь... Они считаются сегодня со мной потому, что я им нужен, а кто скажет, как они поступят со мной завтра? Кто?»

Он постоял у открытой форточки, жадно и глубоко дыша, вытащил из ящика стола спасительный штоф, отхлебнул немного, зажег лампу и грузно опустился в кресло.

«Придется звать этого шакала, — раскладывая бумаги, с грустью подумал он. — И верить ему ни в чем нельзя, может продать в любую минуту, лишь бы выгородить себя, но и звать больше некого!.. Один, совсем один!»

Нигматулла не заставил себя долго ждать — прибежал растерянный, жалкий, таким его управляющий еще не видел никогда. Нижняя губа у него отвисла, левый глаз дергало нервным тиком, голос сипел и срывался.

— Я уж думал, что и в живых вас не застаю, Гарей Шайбекович...

— Рано хоронишь, значит, долго жить буду, — сказал Накышев, стараясь держаться все с той же свободой и внушительностью, как и раньше, точно ничего не произошло за этот день. — Однако скрывать от тебя ничего не буду — положение такое, что хоть бросай все и удирай... Мы находимся в полной власти этих голодранцев!

— Да уж взяли волю, страшно подумать, — кивал Нигматулла. — Может, самому поджечь свое добро и сгореть вместе с ним?

— На тот свет мы еще успеем, нужно на этом удержаться и не выпустить вожжи из рук. — Накышев развязал тесемки кожаной папки, подал знак, чтобы десятник придвинулся ближе, и понизил голос до шепота: — Необходимо срочно отправить три депеши, одну Касьянову...

— А этому зачем? Чтоб керосину в огонь подлил?

— Он пока наш хозяин и от должности нас не отстранял, мы не имеем права с ним не считаться,— охладил пыл десятника Накышев.— Мы еще не знаем, какой оборот примет дело, и обязаны учитывать любой поворот в событиях. . .

— Но вы же утром сами сказали, что от него пользы, как от козла молока. . .

— После утра был день, а сейчас вечер,— Накышев многозначительно помолчал.— Касьянов человек неожиданный, и что вы будете делать, если он завтра вдруг появится на приiske и пачнет всем распоряжаться? Вы что, забыли, как мы один раз его уже похоронили, а он свалился нам, как снег на голову. . .

— Все может быть, Гарей Шайбекович. . .

— Вторую — компаньонам в Петроград, чтоб они испугались, что могут потерять весь прииск. Ведь если они не окажут нам военной поддержки, я тогда на самом деле умою руки и сниму с себя ответственность. . .

— А третью? — напомнил Нигматулла.

— Казачьему атаману Дутову, чтобы он прислал свою часть и навел тут порядок, покончил со всякого рода Советами и рабочими контролями. . . Иначе все рухнет! Пропадет и золото, и мы вместе с ним, не говоря уже о том, в чьи руки перейдет власть! Нужен небольшой толчок, чтобы все провалилось в преисподнюю!

— Все так, все так,— понурившись, согласился Нигматулла.— Но где ж взять надежных людей, чтобы отправить эти депеши? Тут нужно до самого Оренбурга гнать. . .

— Вся надежда на тебя,— Накышев даже коснулся своей рукой до руки десятника.— Нашел же ты каких-то охотников, чтоб увезти сейф?

— Мелкие ворюги, карманники базарные! — Нигматулла сплюнул.— Один клялся, что по сейфам большой специалист, а как увидел сейф, давай его ломом бить. . . Не-ет, тут если не подыщу никого, придется самому ехать. . . Страшно только дом оставлять, поджечь каждую ночь могут. . .

— А что тебе дороже — дом или жизнь?

— Да тут выбирать нечего, все ясно,— Нигматулла аккуратно сложил депеши, спрятал за пазуху.— Теперь так — или мы их скрутим, или они нас. . .

— Будь только тысячу раз осторожен,— шептал, провожая его до дверей, Накышев.— Они следят за каждым нашим шагом. . . Ну, удачи тебе!

... Известно кем пущенные, но через два дня по прииску поползли слухи, что скоро в поселок приедут для усмирения казаки атамана Дутова и все, кто грабил и поджигал лавки, кто вступил в дружину и взял в руки оружие, будут жестоко наказаны.

Хисматулла и Кулсубай ходили по баракам и землянкам, как могли, успокаивали старателей, но их мало кто слушал, и лишь немногие соглашались с ними отстаивать прииск всеми силами, готовиться к сражению. А если сил не хватит, сниматься и всем поселком уходить в лес, чтобы переждать лихое время и в случае чего — вступить в бой в горах, где гораздо легче отразить любой натиск карателей. Большинство же рабочих, напуганное предстоящей расплатой, отмалчивались — они чаще слушали своих жен, которые уговаривали их выйти из дружины, но винтовки пока не сдавали, хотя и не являлись на сборы дружины.

Прииск замер, притих, жил затаенной, тревожной жизнью, как перед надвигавшейся страшной грозой...



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

I

Шли частые, холодные дожди. Дорога превратилась в тяжелое месиво, лес высветился, и далеко сквозь темные мокрые ветки видны были кисти рябин и красные ягоды шиповника. Уже выпал один раз снег, но тут же растаял. Раскачиваясь, висели на сережках ольхи маленькие чечетки, мягко свистели синегрудые северные снегири, небольшими стайками взлетали над кустами белогрудые пуночки. В осинниках обгрызали кору величавые лоси, на лугах, у копен сметайного сена, в вечеряющих сумерках рыскали лисицы.

У подножья пологих гор рядом с Юргашты всю ночь горели костры, слышалось звяканье лопат — здесь недавно нашли новую жилу. Даже ночью, не обращая внимания на то, что часть золота в темноте уносило вместе с песком, промывали породу в ледяной воде вашгердов и деревянных желобов промерзшими, красными руками, лишь время от времени подбегая к кострам, чтобы обогреться. Спать тоже ложились поближе к огню. Красные блики горели на усталых лицах старателей, наскоро построенные шалаши не спасали от резкого ветра.

Кулсубай, не спавший уже около двух суток, неподвижно сидел у костра, полузакрыв глаза, подставив лицо наплывающему теплу.

— Зря ты не веришь мне,— говорил присевший рядом на корточки Сафуан.— Зря от своих откалываешься... Посмотри, как красиво горит, а?

— Да, красиво,— как эхо, отозвался Кулсубай.

— Вот так скоро и наши деревни гореть будут.— Не отрывая глаз от огня, Сафуан вздохнул и поплотнее закутался в тулуп.— Заберут они у нас все, как наши праздники забрали, как наши земли, если все башкиры и дальше будут у них на поводу идти...

— Опять ты за свое,— поморщился Кулсубай.— Земли, праздники — это все прошлое и сказки, к настоящему это никакого отношения не имеет. А Михаила я проверил — верный он человек, правдивый. Первому, кто мне про него худое слово скажет, язык вырву и в глаза плюну!

— Да разве я про Михаила тебе говорю? — покачал головой Сафуан.— Михаил, может, и сам не понимает, в какое дело ввязался. У него слова с делом не расходятся. Он вправду, наверно, неплохой человек. Ты лучше на других посмотри. Вон те же старатели на прииске, как они к нам относятся? Искося смотрят, исподлобья, как на чужих!

— А мы на них? — возразил Кулсубай.

— Вот я и говорю! — Сафуан вытянул руки к огню.— Мы тоже должны подальше от них держаться. Чтобы грело, да не жгло!

— Да пойми ты, мы без них ничего не сделаем! — горячо воскликнул Кулсубай.

— А ты пробовал? — Сафуан усмехнулся.— А не пробовал, так сиди и молчи! Сами они для себя еще хорошей жизни не сделали... Думаешь, отдадут они ее нам, если для себя свободы добьются? Как бы не так! Держи карман шире! Не зря они сейчас подговаривают нас в лес идти, если уйдем, по-моему, самая большая наша ошибка будет. Казаков пока не видно что-то, а русских — полно, стоит нам уйти — займут наши дома, и дело с концом!

— Хватит об этом,— попросил Кулсубай.

— Я знаю, почему ты так к русским тянешься.— Сафуан потянулся и зевнул.— Все из-за Маши, которая тебе жизнь отравила. Который год ждешь ее, ищешь и надеешься, что русские тебе помогут...

— Не надо,— снова попросил Кулсубай.

— Ладно, пойду в шалаш, сосну малость,— зевнул Сафуан.— О-ох, только во сне хорошую жизнь и вижу...

Он поднялся и вразвалку зашагал к шалашу.

Кулсубай мрачно посмотрел ему вслед.

«Совсем я запутался,—тяжко вздохнув, подумал он.— С одной стороны, вроде Михаил все правильно говорит, а с другой — и в словах Сафуана своя правда есть... Давно Михаил на приiske не появлялся, наверно, с месяц мы уже не разговаривали... Конечно, это чепуха, что они наши дома займут, но что будет в лесу с детьми и женщинами! Что мы будем есть? Нет, нельзя уходить, нельзя отступать...»

По небу плыли серые тяжелые облака, изредка открывая черно-синие долины с яркими блестящими точками звезд. Ветер то утихал, то с новой силой набрасывался, пробираясь в рукава и за воротник тулупа. Кулсубай подбросил хвороста в костер и зябко поежился.

— Что, замерз? — кто-то хлопнул его по плечу.

Кулсубай обернулся.

— Так и напугать можно,—сердито сказал он.— Ты что это, как кошка, подкрадываешься?

— Это не я подкрадываюсь, а ты так раз мечтался, что хоть вяжи тебя — не заметишь! — рассмеялся Хисматулла. Но лицо его тут же стало серьезным, и он присел на корточки рядом с Кулсубаем.— Есть слухи, казаки близко, мои ребята в лес уходят, все согласны. Я думаю, и тебе надо с людьми поговорить, другого выхода у нас нету — оружия мало, да и сил столько не наберется, чтобы сопротивляться...

— Да я уже говорил,—махнул рукой Кулсубай.— Пустое дело! Ты же знаешь старателей, как найдут жилу — за уши не оттянешь! Никуда они не пойдут...

— Все-таки попробуй еще разок! Они, по-моему, только тебя и слушают, ведь если солдаты придут, разве смогут они спокойно мыть это золото? Только зря кровь прольют!

— Все-таки заячье у тебя сердце, даром что солдат! — вспылil Кулсубай.— И за что ты свою медаль получил? Раньше ты не такой был, по лесам не прятался, сам голову в петлю совал! Я так думаю, что не надо нам никуда уходить, а придется и с казаками столкнуться — найдем оружие!

Хисматулла покраснел и опустил голову. Ему всегда было трудно разговаривать с Кулсубаем, упрямство которого и неожиданные вспышки гнева злили до такой степени, что он еле сдерживался. Однако он каждый раз крепился, вспоминая, что говорил о Кулсубае Михаил, боялся оттолкнуть его от себя ненужной резкостью.

— Хороший ты человек, Кулсубай, только вспыльчивый... Я ведь помню, как ты вел себя после обвала на фишеровской шахте, сколько ты тогда с управляющим ругался!.. Конечно, по тем временам это большой смелостью было, только ведь и смелость должна быть разумной. Рано нам сейчас идти в наступление. Ну, посуди сам: что мы можем сделать с казаками? Против винтовки с топором не пойдешь, люди на приiske

еще по-настоящему пороку не нюхали, с оружием обращаться не умеют. Рассеем все силы, и они нас перебьют поодиночке. . .

— Легко тебе рассуждать! — хмыкнул Кулсубай. — У тебя, кроме матери, никого нет, а у людей — семьи, голодные дети. Так что же, бросить их, по-твоему? Был бы я один, ушел бы, а детей бросать не хочу, и другие не захотят! . .

— Если казаки здесь бойню устроят, еще хуже будет, можешь быть уверен! О дутовцах земля слухом полнится — всех расстреливают, никого не щадят, ни жен, ни стариков, ни детей! А под этот шум и золото из сейфа уплывет. . . Думаешь, почему его до сих пор не отправили? Если б не кассир, его бы уже и в помине не было!

— Ну ладно, уйдем мы в лес, а что мы там жрать будем? — упрямо допытывался Кулсубай.

— А мы сейф с собой прихватим. Пока золото есть, с голоду не умрем. . .

Кулсубай задумался, рассеянно помешивая угольки деревянной палочкой. Хисматулла подкинул в костер несколько веток. Юркие огоньки побежали по ним, с жадностью облизывая каждый сучок.

— Ладно, иди домой, — наконец сказал Кулсубай. — Посоветуюсь еще с людьми, поговорю, послушаю, что скажут. В случае чего я здесь буду. . .

К утру подморозило, и шагать обратно в деревню было уже не так трудно. Ветер бил в лицо, и на открытых местах Хисматулла горбился, пытаясь спрятать голову в воротник шинели.

«Все-таки трудно с ним, какой-то он неустойчивый, то и дело за локоть держать надо, — думал он. — Объясняешь-объясняешь — вроде понял человек, а потом — бац! — опять в сторону пошел, и мотает его, как листок на ветру. . . Эх, не хватает здесь Михаила! У него такие разговоры лучше получаются, как-то умеет он человеку в самую душу заглянуть, самое нутро задеть. . . И вправду на фронте проще было. Главное — сразу ясно, кто друг, кто враг, и думать не надо! . .»

Мать не спала. Хисматулла молча выпил чаю и растянулся на парах. Днем мысли о Нафисе почти не приходили к нему, некогда было, но к вечеру, стоило ему остаться одному, как снова с живостью вставали перед глазами беспомощные, тихо вздрагивающие плечи, безнадежный плач отчаявшейся женщины, и казалось, что никому и никогда не будет хорошо на этом свете, если он не сделает ее счастливой. Он представлял себе, как приходит за ней, берет на руки и несет через березняк все дальше, дальше, и она, успокоенная, засыпает у него на руках, как ребенок, а он идет и идет, не зная усталости, не чувствуя тяжести, на вершину горы, где звенят все лето голубые колокольчики, где бьются грудь в грудь молодые жеребцы весной, где дышится так вольно и легко, и воздух всегда прозрачен. . .

— Эй, Хуснутдинов Хисматулла здесь живет? — послышалось за дверью.

Сайдеямал, крихтя, поднялась с постели.

— Погоди, мама, я сам, — сказал Хисматулла.

— Да я уж встала, — возразила Сайдеямал.

— Говорят тебе, не подходи к двери!..

— А что случилось? — Глаза матери испуганно расширились.

— Тихо! — Хисматулла накинул шинель и подошел к дверям. Сайдеямал осторожно присела, прижав руки к груди.

— Кто здесь? — спросил Хисматулла. — Что нужно?

— Хуснутдинов здесь живет? — повторил человек за дверью.

— А на что он вам?

— Письмо у меня к нему с Кэжэнского завода, от Михаила...

Хисматулла облегченно вздохнул и щелкнул задвижкой. В раннем утреннем свете фигура незнакомца казалась слегка размытой. Хисматулла взгляделся.

— Никак это ты, Зинат?

— Я, — смущенно отозвался конюх.

— А ты разве больше у Накишева не работаешь?

— Давно уже...

Зинатулла снял папаху, вынул из нее помятый конверт и протянул Хисматулле.

— Спасибо, — кивнул Хисматулла. — Садись, выпей чаю.

— Не могу, спешу...

— Ответа не надо?

— Да вроде про ответ разговора не было, — Зинатулла махнул рукой и шагнул к двери.

— Спасибо! — крикнул ему вслед Хисматулла.

Он снова запер дверь, зажег лучинку и в неверном трепетном свете ее распечатал конверт. Сайдеямал сидела тихо, как мышь, глаза ее, не отрываясь, следили за лицом сына.

— Что-нибудь плохое? — наконец не выдержала она.

— Нет, мать! Ничего плохого теперь не будет, запомни мои слова!..

— Ты не обманываешь меня? — все еще тревожилась старушка.

— Да что ты! — Хисматулла подошел к матери, обнял ее и вдруг, хохотнув, поднял и закружил, напевая: — «Ух ты, моя мамочка, ух ты, моя родная!..»

— Ты с ума сошел! — слабо отбивалась Сайдеямал. — У меня голова закружится...

Хисматулла осторожно посадил мать на нары:

— Поспи еще! Я скоро приду.

— Дурной ты у меня, — покачала головой Сайдеямал. — У всех дети как дети, а ты прямо не знаю, в кого вырос.

— В отца да в тебя, в кого же еще? Или, может, я ошибаюсь? — отшутился Хисматулла.

— Дурачок! — смутилась Сайдеямал. — Вечно какую-нибудь чушь придумаешь или скажешь что-нибудь такое, что не знаешь, как тебе и ответить... Куда хоть идешь-то?

— Сказал тебе: спи! — весело ответил Хисматулла, продевая руки в рукава шинели.

На улице уже было совсем светло. Хисматулла почти бегом добежал до дома старосты и, потирая рукой озябшее ухо, забарабанил в дверь.

В окне на мгновение появилось заспанное испуганное лицо старосты. В сенях закрипели половицы.

— Ты что это раньше намаза поднялся? — недовольно проворчал Мухаррам. — Горит, что ли, где?

— Давай собирай людей на сход! — весело сказал Хисматулла.

— В такую рань? — удивился Мухаррам. — Зачем?..

— Делай, что говорят!

Хисматулла неожиданно сделал сердитое лицо и толкнул Мухаррама в грудь.

— Да что с тобой? — опешил Мухаррам. — Или тебя начальником сделали? С какой это стати ты мне приказываешь? — Бородка его тряслась, маленькие глазки напряженно бегали по сторонам.

— Быстро, ноги в руки! — Хисматулла становился все строже. — Точно тебе обещаю: если после намаза сход не соберешь, плохо будет!

— Да что ты меня пугаешь? Что случилось? — совсем растерялся Мухаррам. — Я и не успею так быстро людей собрать.

— Успеешь, попроси Загита и Акназара, они помогут, скажи, что я просил! А что случилось, узнаешь, как и все, на сходе! Понял?

Староста пожал плечами, но Хисматулла уже повернулся и быстро зашагал прочь.

— Эй!.. Хоть что-нибудь скажи! — умоляюще крикнул Мухаррам, но Хисматулла только прибавил шагу.

«Не человек, а шайтан, — подумал староста, тревога все больше охватывала его. — Надо, пожалуй, прежде всего с Хажисултаном посоветоваться...»

Хажисултан выслушал старосту внимательно и как бы равнодушно, пальцы его машинально закручивали кольцами круглую бородку. Камзол его был расстегнут, в прорезь рубахи видна была волосатая грудь.

— Я так и не понял, что же он все-таки сказал? Может, солдаты прибывают?

— Кажется, он сказал, что какой-то большой начальник одет,— староста покраснел и отвел глаза.

— Откуда? Из Оренбурга?

— Кто его знает... — развел руками староста.

— А зачем он приезжает, тоже неизвестно?

— Да он у меня и минуты не пробыл, прибежал, запыхавшись,— и тотчас на прииск, чтобы встречать,— соврал староста.

— Мог бы и спросить,— недовольно проворчал Хажисултан. — Глупая у тебя голова, Мухаррам. И за что тебя старостой выбрали?

— Что же мне теперь делать? — опустил голову Мухаррам. — Может, не стоит людей собирать?

— Собрать — собери, только в первую очередь пусть все наши туда сойдутся. И скажи, чтоб наготове были, а то будут стоять, рты разинув, как в тот раз. Ежели что не так, то это хороший случай, чтобы проучить и Хисмата, и всех этих голопузых!

— Да как же я успею? — чуть не плача, сказал Мухаррам. — Он сказал, чтоб после намаза, у меня же не десять ног, чтоб за это время всю деревню обежать!

— Должен успеть! — усмехнулся Хажисултан, поглаживая бородку. — Впрочем, я могу дать тебе хороший совет. Знаешь, где живет Султангали, сын Хакима? Я думаю, он тебе поможет. Правда, даром он никогда ничего не делает, но и хорошая служба, говорят, дружбой не оплачивается!..

К концу утреннего намаза деревенская площадь была полна народа. Люди стояли кучками, топали ногами, стараясь согреться, тихо переговаривались. Из конца в конец площади метался Загит, спрашивая:

— Не знаете, что стряслось? Может, война кончилась?

— Ну, из-за этого не стали бы собирать,— уныло ответил старик Файзрахман. — Небось опять какой-нибудь налог придумали.

— А может, уже и последних стариков решили на войну забрать! — съязвил Киньябулат.

А Хисматуллы все не было.

— Пора костер развести,— сказал Гайзулла. — Или, может, сбегаем домой, чайку попьем?

— Какой там чаек? Хочешь все пропустить? — оборвал его Загит. — Он передал, чтоб мы были все наготове!

— Уж ты-то ничего не пропустишь, это ясно! — расхохотался Киньябулат. — И вообще не понимаю, зачем мы здесь стоим, кого ждем, когда у нас Загит есть? Давай, джигит, начинай, ты ведь у нас лучше соловья поешь, таких речей, как у тебя, никому из нас и во сне не услышать!

— Айда, Загит, не заставляй людей ждать, — поддержал его Усмангали.

Загит покраснел и уставился в землю. Люди вокруг него смеялись, шутка перелетала, будто несомая ветром.

— Эй, Загит, иди сюда! Хоть словечко вымолви, согрей душу! .. — крикнул кто-то сзади.

— Да кто вы такие, чтоб он к вам подходил? .. — кривлялся Киньябулат.

— Оставьте его в покое! — Акназар обнял Загита за плечи. — Вы что, для этого сюда собрались?

— Едет! — крикнул Ягуда-агай.

Впереди, на дороге, показался быстро приближавшийся всадник.

— Кажется, это Хисматулла, — неуверенно сказал старик Файзрахман.

— Точно, он! А почему у него на рукаве какая-то красная тряпка? — удивился Усмангали.

Подъехав, Хисматулла резко осадил лошадь и спешился.

— А где же начальник? — насупившись, спросил Хажисултан-бай.

— Какой начальник? — удивился Хисматулла.

— Разве мы здесь не начальника ждем? — прищурился Мухаррам, стараясь не глядеть на Хажисултана.

— Ах, вы начальника ждете? — усмехнулся Хисматулла. — Ну, тогда я и есть начальник! Что, не правится?

— Он издевается над нами! — пожал плечами Хажисултан, с недоумением оглядывая стоявших кругом людей. — Собрал всех и держит на морозе! Разве так поступают люди, уважающие обычаи дедов?

— Еще не известно, что это у него за тряпка! Может, он ею шайтана зовет! — поддержал его мулла.

— У Шарифулы-дурачка научился! — фыркнул Султангали. — Тот тоже все цепляет на себя!

Не слушая их, Хисматулла пробрался к крыльцу и поднял руку. Люди притихли.

— Товарищи! В Петрограде революция! — крикнул Хисматулла.

— Как? Опять революция? — изумился Киньябулат. — Сколько же их теперь будет?

— Я думаю, эта — последняя! — твердо сказал Хисматулла. — И война теперь скоро закончится, нет больше Временного правительства, которое ее поддерживало!

— А какое же теперь правительство? — осторожно спросил Ягуда-агай.

— Наше теперь правительство! Вся власть перешла в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов! А во главе нашего правительства стоит человек, который понимает все наши забо-

ты и тревоги, всей душой болеет за бедняков, и зовут его — товарищ Ленин!

— Тот самый, о котором Михаил говорил! — радостно вскрикнул Загит.

— Врет он все! Не слушайте его! — побледнел Хажисултан.

— Я сейчас вам прочитаю телеграмму, специально за ней на прииск ездил, — Хисматулла расстегнул шинель, вытащил небольшой лист бумаги и откашлялся. — «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства, — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян! Военно-Революционный Комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, 25 октября 1917 года в десять часов утра».

— Значит, и вправду кончится теперь война, вернется мой сынок, — вздохнул Файзрахман.

— И не только твой! Все вернутся! — улыбнулся Хисматулла. — И земля теперь наша! И на приiske нам теперь не гроши платить будут, а столько, сколько мы в самом деле зарабатываем! Новое время наступило, наше! Все — наше!..

— Может, и табуны мои — ваши?! — усмехнулся Хажисултан.

— И табуны, — спокойно ответил Хисматулла. — Ты что, не слышал того, что я читал? Или разучился человеческий язык понимать? Все будет общее, все разделим пополам!

— Пусть аллах пошлет тебе тысячу лет жизни за этот праздник, даже если это только слова, — прошептал старик Файзрахман.

— Человеческий язык я понимаю, а ваш, голодранский, мне ни к чему! — взорвался Хажисултан. — Попробуйте только пальцем тронуть мое добро! Вот придут казаки, узнаете тогда, кто здесь хозяин!

Он резко повернулся и зашагал к дому.

— Фью-ю! — засвистел ему вслед Киньябулат. — Видно, скоро нам придется рылом землю копать! Или, может, ты меня вместо пыжа в ружье забьешь?..

Сакмаевцы засмеялись. Староста Мухаррам растерянно глядел то на уходящего Хажисултана, то на Хисматуллу, не зная, в какую сторону податься.

— Да, много слов было сказано с этого крыльца, а такого я еще не слышал, — покачал головой мулла Гилман. — Конец свету, конец свету!..

— Заткнись, жирная ворона! — крикнул Гайзулла. — Не свету конец, а твоему толстому пузу!

Беселье, как опьянение, охватило людей. Они обнимали друг друга, многие побежали домой, чтобы переодеться в праздничные камзолы.

— Выйдем все на улицу! Как не праздновать радости в такой день? — сорвав с рукава Хисматуллы кусок красного полотна и размахивая им над головой, словно гонял голубей, кричал Загит.

— Что ж ты замолчал, Гайзулла! Такому празднику нужна песня, новая песня! — сказал Акназар.

Откуда-то появился курай, его передали появившемуся на ступеньках Зинатулле.

Как вдали Кэжэн прозрачная блестит,
Вскачь несется, плещет светом на заре,
Так сегодня наша улица гудит.
Знамя пляшет, словно ветер на заре.

Льется радость через край.
Ярче солнца, наше знамя, полыхай!
Смейся, ивушка, над вольною рекой!
Пой, соловушка, и, жаворонок, пой!

— Хорошая песня, замечательная песня! — восторженно сказал Хисматулла. — Совсем наша песня! А можно еще раз?

Красное знамя полыхало в руках у Акназара, хлопая на ветру. Зинатулла, Гайзулла и Загит тоже повязали рукава красными полосками, разорвав кусок ткани на ленточки. К площади стали подходить женщины в узорчатых платках и шالях, в камзолах с монистами. Некоторые сакмаевцы подъехали верхом на лошадях.

Мы у баев отобрали нынче власть,
Как же нам теперь не радоваться всласть?
Смейся, ивушка, над вольною рекой!
Пой, соловушка, и, жаворонок, пой!

Казалось, стало теплее и ветер уже не так пронизывает. Даже воды блесневшей невдалеке Кэжэн, отливавшие сталью на осине и прибрежных тальниках, выглядели по-другому. И горы, со всех сторон подступившие к Сакмаеву, казалось, вытянулись вверх и встали неподвижно с торжественными лицами, как солдаты в строю.

Площадь была полна народу. Пели дети, пели старики и женщины. Акназар и Хисматулла, стоя под знаменем, переглянувшись, запели:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!

На дороге, ведущей от прииска, показались люди, они тоже шли со знаменем, красными повязками на руках.

— А это кто? — удивился Загит.

— Это прииск к нам в гости идет, — с гордостью ответил Хисматулла, — братья наши идут, чтобы радоваться вместе с нами. Выйдем к ним навстречу, товарищи!..

Не переставая петь, сакмаевцы медленно пошли навстречу старателям, впереди которых выступал со знаменем Мутагар. На полдороге людские потоки слились — кто-то плакал, лица светились радостью и надеждой.

Кулсубай и Хисматулла обнялись.

— Прости, браток, что я тебя обижал, — растроганно сказал Кулсубай. — И вправду у меня горячая голова!

— Брось ты! — хлопнул его по плечу Хисматулла. — Одно у нас дело, одна общая забота, и не время сейчас ссориться! Знаешь, как сейчас наши враги затаились? Они еще поднимут голову, и нам нужно быть готовыми ко всему...

II

Хуппиниса разложила вымытую посуду для просушки и укоризненно смотрела на Гульмадину и Шахарбану, которые метались от окна к окну.

— Ай-кай, как вы себя ведете? Зачем вы радуете людей, которые нас ненавидят?

— Да нас и не видит никто! — возразила Гульмадина. — Подумаешь, в окно посмотреть нельзя без разрешения!

— А чего вы там не видели? Вздвинулись голодранцы, совсем их, несчастных, шайтан попутал! Дед Шаяхмета, мой покойный свекор, знаете что говорил? Он говорил, что, когда наступит конец света, род человеческий смешается с нечистыми духами, и в этот день они будут ходить по улицам и кричать. Кто будет их слушать — тот оглохнет, а кто будет на них смотреть, у того на лбу рога вырастут!..

Бибисара не вмешивалась в разговор старших жен. С тех пор, как умер ее ребенок, она ходила как во сне, лицо ее стало белым и вытянулось; хрупкая, маленького росточка, она казалась теперь совсем девочкой.

— Нельзя все время думать о горе, доченька, пожалей себя, — уговаривала ее Хуппиниса. — Дети рождаются и умирают, а мир не меняется. Все в воле аллаха...

Но Бибисара молчала, лишь изредка говорила «да», «нет» и снова замыкалась, уходила в свои мысли.

— Опять ты не ела сегодня! — повернулась к ней Хуппиниса. — Посмотри на себя — тебя уже переломить пополам можно... Может быть, хочешь кислого молока?

Бибисара покачала головой.

— Я просила у аллаха, чтобы он вернул тебе покой, — продолжала Хуппиниса, — и чтобы хозяин наш был жив и здоров. Если он будет здоров, аллах пошлет тебе еще тридцать сыновей!..

Гульмадина прыснула в кулак.

— Думаешь, Бибисара из-за ребенка горюет? Как бы не так! Ей сейчас не до ребенка и не до отца Шаяхмета...

— Только похитрей нас будет! Ежели смотрит в окно, то украдкой, — фыркнула Шахарбану.

— Ну и языки у вас! — осуждающе посмотрела на них Хуппиниса. — Наверно, во всей деревне таких злых языков не найдется!

— Языки?! — вскочила Гульмадина. — Думаешь, мы слепые? Ты думаешь, что твоя Бибисара такая уж чистенькая, будто ее белая корова с утра до вечера вылизывает? А нас не проведешь! И нечего так смотреть! Уже все знают, как придет к нам во двор этот недоносок, ворона хромая Гайзулла, так она не то что в окно смотрит, а бежать за ним готова!

— Отчего же не посмотреть на хорошего человека? — сказала Хуппиниса. — Почему у тебя только худые мысли в голове?

— Ты ее всегда защищаешь! — Шахарбану капризно скривила губы.

— И не только на Гайзуллу, на Загита тоже смотрит! — засмеялась Гульмадина. — Заметила, как он часто стал ходить к нам? То какого-то работника нашего ищет, то ему еще что-нибудь нужно, а сам все на Бибисару зыркает, словно у него не два глаза, а целых двадцать!

— Ну, хватит! — рассердилась Хуппиниса. — Что вы на нее напали?

Бибисара, как бы не слушая их, молча сидела на краешке нар. Лицо у нее было чужим и отрешенным. Руки были сложены на коленях, в ушах прозрачными льдинками поблескивали сережки.

— Ишь ты скромница! — взглянув на нее, передернула плечами Гульмадина. — Поглядите на нее! Молчит, словно воды в рот набрала, как будто все это ее не касается! — Гульмадина подбоченилась и грудью пошла на Хуппинису. — И нечего мне рот затыкать! Только на нас баю наушничает, а про нее все скрываешь!

— Хорошо, теперь скажу, — спокойно ответила Хуппиниса. — Про всех скажу и про тебя тоже.

— А что ты можешь про меня сказать? — насторожилась Гульмадина.

— Тебе лучше знать, — усмехнулась Хуппиниса. — Дума-

ешь, у меня глаза за тобой не смотрят? Я уже давно заметила, что с тобой бывает, когда ты мимо Совета идешь!..

— Заткнись, надоело! — грубо оборвала ее Гульмадина. — Только и знаешь, что ссориться! А еще старшая жена! Нет чтобы поговорить с нами по-хорошему...

— И вправду, можно и по-хорошему, — согласилась Хуппиниса. — Поумнеть только тебе для этого надо...

Гульмадина подседа к Шахарбану и больше не возражала. Хуппиниса расстелила коврик на нарах и стала готовиться к полуденному намазу.

Мысли о Бибисаре не оставляли ее.

«Бедная, бедная, погубили ее молодость, как и мою, — думала она. — Нет, аллах несправедлив к женщинам... Маленькая еще, совсем несмышлениш... Умру я — совсем загрызут ее эти ленивые бабы, весь дом тащить на себе придется». Она вздохнула и принялась читать намаз.

На улице между тем не смолкали песни и смех. Кто-то с силой застучал в тяжелые ворота.

— Эй! Выходите! Или вы не люди, что у вас сегодня праздника нет? Выходи, старый козел! — слышался веселый голос Киньябулата.

— Аллах, покарай его за такие слова, — прошептала Хуппиниса.

Шахарбану и Гульмадина снова приникли к окну.

— Ой, сколько народу! — удивилась Гульмадина.

— Это приисковые пришли, — отозвалась Шахарбану. — Видишь вон того, что красную тряпку держит? Помнишь, он у нас когда-то в знахарях ходил?

— И вправду... Ой, посмотри-ка, в нашу сторону кулаком грозятся!

— А ну, отойдите от окна! Все скажу отцу Шаяхмета! — пригрозила Хуппиниса, но в голосе ее было больше страха, чем строгости.

Гульмадина покачала головой:

— Кому он теперь нужен, отец Шаяхмета, если его даже голодранцы не боятся...

Неожиданно Бибисара, тихо сидевшая в углу, поднялась и стала торопливо одеваться. Отрешенное лицо ее было спокойно, тень улыбки впервые после смерти сына показалась на нем.

— Ты куда это? — опешила Хуппиниса.

— Праздник на улице, — просто ответила Бибисара. — Пойду хоть посмотрю, как люди радуются...

— И не думай! — вздрогнула Хуппиниса. — Если узнает об этом отец Шаяхмета, живого места не оставит!..

— Ну и пусть, — равнодушно сказала Бибисара. — Мне теперь все равно...

— Ты что, с ума сошла? — Глаза Гульмадины стали темными от злости. — Не понимаешь, что он заодно и нас при-
бьет?

— Мало он нас из-за тебя лупил да из-за твоего выроodka! Попробуй только сделай шаг, все глаза выцарапаю! — пообещала Шахарбану.

Бибисара накинула на голову платок.

— Не ходи, доченька, — умоляюще взглянула на нее Хуппиниса. — Пожалей меня. . .

— Да что с ней церемониться! — крикнула Гульмадина и сорвала платок с Бибисары. — Не пушу, и все тут!

По щекам Бибисары покатились слезы.

— Вы что, белены объелись, что так орете? — внезапно раздался из-за занавески голос Хажисултана-бая. — Что тут у вас случилось? — Он вошел и грозно посмотрел на притихших жен.

— Ничего, отец, ничего, — забормотала Хуппиниса. — Это все наши бабские дела.

— Какие там бабские! — зло прищурилась Шахарбану. — Эта дура собралась на улицу идти, с голодранцами гулять! Осрамить тебя хочет! . .

— Ах ты сука неблагодарная! Я тебя с одной козой взял, обул, одел, каждую минуту аллаха за такую жизнь благодарить должна, а ты вон как хочешь отплатить за мою доброту?! А ну, мать, где моя плетка? Сейчас я покажу этой пигалице, что бывает с непослушными женами!

— Ничего я тебе не должна! — с ненавистью крикнула Бибисара. — Мерзкий, не будет тебе прощения от аллаха за твою злость! Люди с собаками лучше обращаются, чем ты с нами!

В первую минуту Хажисултан онемел от удивления, глаза его сузились, жирные щеки затряслись.

— Ах ты подлюга! Позор на мою голову! — наконец выговорил он и пошел на Бибисару с кулаками.

Глаза Бибисары сверкнули, лицо покраснело. Она отступила назад, растерянно оглянулась и, неожиданно схватив палку, которой Хуппиниса сбивала масло, подняла ее над головой.

— Не подходи! Убью! — закричала она страшным, чужим голосом.

Хажисултан побледнел и, схватившись за сердце, стал оседать на пол.

— Мать. . . — прохрипел он.

— Что же вы стоите? — подбежала к нему Хуппиниса. — Отец, отец! . . Вот видите, что ты наделала. . .

Бибисара, прижавшись к стене, сухими глазами смотрела на происходящее, не двигаясь с места.

— Закрой дверь на замок и никого не выпускай, — прошептал Хажисултан.

Шахарбану и Гульмадина помогли уложить его в кровать и оставили одного. Сердце у Хажисултана колотилось и подпрыгивало, затылок прокалывало маленькими горячими иголочками.

«Какой позор, — подумал он, — что за время наступило! Можно подумать, что деньги уже не имеют силы на этом свете! Где это видано, чтобы жена поднимала руку на мужа? Но ничего, ничего! Вот придут казаки, сразу все на свое место встанет! Уснуть надо, уснуть, а то совсем разболеюсь...»

Но песни и крики, звучавшие под самым окном, не дали ему даже задремать.

«И кто выдумал эти слова? — бессильно сжал кулаки Хажисултан. — Не иначе такой же голозадый, как Хисматулла! С тех пор как он появился, все словно с ума сошли... Люди, которые снимали передо мной шапки даже в самый лютый мороз, нос задирают, а у женщин и вовсе разум помутился. Эх, жаль, не нашлось для него пули на этой войне! А разве мало я ему добра сделал? Разве мало я помогал его матери? Нет, правильно говорили в старину: вырастишь теленка — рот будет в масле, а вырастишь сироту — в крови...»

Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
А паразиты — никогда!..

Песня, казалось, гремела в самой голове у Хажисултан. Он зажал уши пальцами и стал раскачиваться из стороны в сторону, потом попытался молиться, но не смог. Гнев с каждой минутой охватывал его все больше и больше. Не выдержав, он вскочил и, повернувшись к западному окну, в сторону Мекки, подняв над головой руки, закричал:

— Чтоб он сдох, выродок, да падет на него гнев аллаха! Да не увидит он больше ни одного счастливого дня! Помоги, всемогущий, помоги мне!..

— Что с тобой, отец? — испуганно прошептала прибежавшая на крик Хуппиниса.

— Не твоего бабьего ума дело! Иди занимайся чем положено! — сердито ответил Хажисултан. — А что, Шаяхмет не появлялся?

— Пришел, — кивнула Хуппиниса.

— А почему не заходит?

— Я не велела, — растерянно сказала Хуппиниса. — Думала, тебе плохо...

— Еще бы не плохо! — раздраженно выдохнул Хажисултан. — Отчего мне должно быть хорошо? Разве ты не видишь, что творится?

— Вижу, вижу,— торопливо согласилась Хуппиниса.— Так прислать тебе Шаяхмета?

— Пришли,— отвернулся к стене Хажисултан.

Шаяхмет вошел к отцу с грустным лицом.

— Дела плохие,— сказал он с порога.— В Кэжэне еще хуже, чем у нас. Народ на улицах кишмя кишит... Всех урядников и жандармов кончают, купцы в погребах попрятались, хозяина завода ищут...

— Да-а,— протянул Хажисултан,— первый раз в жизни не знаю, что делать. Все удирают, хозяин прииска удрал, царя убрали... Только нам с тобой, сынок, удирать некуда. Здесь наша земля, и придется нам все эти испытания на своих плечах нести... Я уже стар, по-настоящему хозяин этого дома ты, ты и должен бороться против черных сердец, о которых говорил мулла из Оренбурга! Вся надежда моя на тебя, будь достойным имени, доставшимся тебе от меня, а мне — от отцов и дедов нашего рода. Если ты не сохранишь нашего корня, кто же тогда сохранит его? Сам знаешь, я был тебе хорошим отцом и сделал все, что мог, чтобы ты стал ученым человеком. Не многие баи могут похвастаться тем, что их сыновья учатся в Оренбурге. В свое время я заплатил достаточно, чтобы тебя не взяли на фронт, но сегодня ты должен взять в руки оружие. Потому что, если не ты, кто защитит этот дом и наше богатство?

Шаяхмет взглянул на отца. Никогда раньше не приходилось ему видеть его таким жалким и бессильным.

— Скажи, что нужно делать, отец! — горячо сказал он.— Если нужно, головы не пожалею.

— Я верю в тебя, сынок,— попытался ободряюще улыбнуться Хажисултан.— Погоди, все еще будет хорошо! Пройдет тяжелое время, и ты будешь здесь самым уважаемым человеком! Тогда найдем тебе невесту из самой лучшей семьи. Уж я в этом толк знаю, можешь на меня положиться, щиколотки у твоей невесты будут тонки, как у жеребенка азазиловской породы, и волосы до пят! Такой дом тебе выстрою, не дом, а дворец! Все будут говорить: смотрите, как счастлив, богат и умен Шаяхмет, сын Хажисултана!..— Хажисултан причмокнул и задумался.

— Я не понял, отец, что надо делать,— робко сказал Шаяхмет.

— Завтра же скачи в Оренбург, посмотри, что там делается. Поговори, посоветуйся со знакомыми людьми. Как следует слушай, что говорить будут, загляни к знакомым офицерам, в кадетский корпус зайдй... Я тебе письма дам. Пусть помогут нам, скажи, я любые деньги заплачу, пусть пришлют побольше солдат, чтобы уничтожить всю эту пададь!..

В дверь, робко постучавшись, вошла Гульмадина с медным кумганом и тазиком для умывания.

— Ужинать будешь, отец? — не поднимая глаз, спросила она.

Хажисултан молча протянул руки. Гульмадина поставила тазик и, наклонив кумган, тонкой, прозрачной струйкой стала лить подогретую воду на руки мужа.

III

Замерзла быстрая Кэжэн, дни стали короткими и тусклыми. Ветер крутил над дорогой снежные вихри, с лиственниц и сосен падала старая хвоя, тряслись, как в ознобе, березки. В лесу на пороше отчетливо были видны путанные следы зайцев и горностаев.

Загит то, подпрыгивая, мчался по дороге, то шел по еще неглубокому лесному снегу, где ветер был тише. Кое-где под деревьями валялись обгрызенные стержни и сухие чешуйки шишек, сыпал небольшой снежок.

Не доходя до деревни, Загит свернул в лес и сквозь голый кустарник пробрался на знакомую поляну, где возвышался березовый пенёк с широким, потемневшим от дождей срезом.

Загит приходил сюда почти каждый день. С тех пор как он вернулся в Сакмаево, односельчане не переставали шутить над его первым, неудачным выступлением. Стоило ему показаться на улице, как люди начинали смеяться.

— Ну-ка, Загит, покажи язык! Говорят, ты проглотил его от страха, когда оренбургского муллу увидел!

— Ничего, Загит, языком капусту шинкуют! Ты в следующий раз, как говорить соберешься, капусту заранее принеси!

Шутки эти выводили Загита из себя. Больше всего его обидело то, что даже полоумный Шарифулла не обошел его своим вниманием. На одном из людных собраний он подошел к нему и схватил за полу рубахи:

— Ну-ка, скажи мне: почему тебя все теперь дураком зовут? Разве мы с тобой родня? Разве я виноват, что ты со своим языком справиться не можешь? Нет, ты скажи им, что ты тут ни при чем! Я не хочу, чтобы из-за тебя люди над моим добрым именем смеялись...

Загит молча повернулся и ушел, подгоняемый смехом и свистом.

«Как же так? — с горечью думал он. — Все умеют говорить, а я нет? В Кэжэне люди ко мне по-другому относились, там я был нужен, даже Михаил меня хвалил! А тут дразнят, как маленького...»

— Не огорчайся ты, не обращай на них внимания, — говорил ему Акназар. — Научись! Да это ж совсем легко! Посмотри, как я говорю! Слова как из пулемета летят! Ты, главное, не думай, чтобы какое особое слово сказать, говори все, что душа просит, а слова сами найдутся...

Поляну окружали тонкие березы с хрупкими, надломленными ветвями. Загит постоял немного, вслушиваясь в тишину, и, встав на пень, огляделся по сторонам.

Тихо в безветрии сыпал снег, слышно было, как на одном из деревьев шелушит шишки белка. Загит откашлялся и, подражая Михаилу, рубанул воздух рукой.

— Товарищи!

Чистый и звонкий голос его далеко разнесся по лесу и заглох за кустарником, в овраге. Деревья внимательно слушали.

«Вот, опять, — смущенно улыбнулся Загит, — сказал одно слово, а что дальше — не знаю... А может, сказать про себя?..»

— Товарищи! — снова начал он. — Я раньше думал, что звери добрее людей, и просил аллаха, чтобы он позволил мне жить в лесу одному. Это было давно, на джайляу. Я уже слышал тогда, что есть такие люди — революционеры, но не знал, хорошие они или плохие. Все говорили разное — мулла таких людей проклинал, баи — ненавидели, а Хисматулла — хвалил... И больше всего боялись богачи листовок, этих небольших белых бумажек, которых я тогда даже не умел прочесть. Мулла говорил, что их написала рука шайтана, баи говорили, что их выдумали каторжники и убийцы, а староста возил в Кэжэн на допрос каждого, у кого находили такую листовку... Теперь я понимаю, почему они так боялись их, почему они ненавидели это слово — революция. Потому что революционеры несли нам правду, которой мы не понимали, они звали нас к свободе, к борьбе за эту свободу, они хотели счастья для каждого человека, а не только для таких, как Нигматулла и Хажисултан-бай!..

Голос Загита дрожал, ему казалось, что он стоит не на поляне, перед сбросившими листву деревьями, а перед огромной толпой людей. Речь его лилась свободно, слова приходили сами, он раскраснелся и кричал все громче и громче:

— Будем бороться, не дадим им пить нашу кровь! Око за око, зуб за зуб! Бедняки всех стран, соединяйтесь! Будем биться до последней капли крови за то, чтобы все узнали нашу правду!..

Он замолчал, и, словно в ответ, зашумели вершинами деревья, гуще повалил снег. Только теперь он заметил, как замерзли у него ноги, улыбнулся, сошел с пня и медленно двинулся к дороге. В горле першило и саднило.

Выбравшись из кустарника, он увидел Хисматуллу, который стоял, прислонившись спиной к толстому сосновому стволу. Загит вспыхнул, как девушка, и готов был провалиться сквозь землю.

— Что ты здесь делаешь? — как можно небрежнее спросил он.

— А ты что здесь делаешь? — весело ответил Хисматулла.

— Я... я с работы иду! — с вызовом посмотрел Загит.

— С каких это пор прииск в лес перебрался? — Хисматулла, посмеиваясь, подошел к нему. — Молодец! Хорошо сегодня говорил!

— Не стыдно было подслушивать?

— Да разве я нарочно? — удивился Хисматулла. — Шел по дороге, вдруг слышу — кто-то кричит, вот и свернул к поляне. Да ты не сердись! У тебя правда хорошо получается, недаром говорят, что старательный человек и в камень гвоздь вобьет! Только торопишься очень, горячишься, а когда человек горячится, он не успевает сказать все, что хочет...

— Так я же не на собрании, — опуская голову, сказал Загит.

— Вот и плохо, что не на собрании! Я думаю, люди с удовольствием тебя послушают, хватит делать доклады для деревьев. — Он задумался и неожиданно предложил: — Вот что, сегодня вечером у нас как раз собрание будет. Может, выступишь?

— Да я, наверно, не смогу... Одно дело — тут, а другое — там, — растерялся Загит.

— Ничего, сможешь! — Хисматулла дружески похлопал его по плечу. — Не надо бояться, все мы когда-то с этого начинали! Ну что, согласен?

Загит неопределенно пожал плечами.

До деревни дошли молча, снегопад усиливался, в лицо дул резкий встречный ветер.

— Не забудь, вечером жду тебя, — напомнил, прощаясь, Хисматулла.

Когда Загит подошел к дому Акназара, где теперь располагался Совет, было уже совсем темно. Дом был до отказа набит людьми, красные блики от очага тревожно скользили по их лицам. На чурбаке возле чувала сидели Хисматулла, Акназар и Ягуда-агай.

— Пришел? — первым заметил его Хисматулла. — Ну давай сюда! Товарищи, Загит на днях был в Кэжэне, сейчас он нам расскажет о последних новостях...

— Ну, держись, братва! — хохотнул Киньябулат. — Лучше сразу уши зажать, ведь у этого джигита язык длиннее дороги, когда заговорит, то и собаке слово вставить некуда!

— Помолчи! Дай человеку сказать! — одернул его Акназар.

— У тебя у самого-то язык, что жернов — что ни попадет, все перемелет!.. — вступился за товарища Гайзулла.

Загит на негнущихся ногах прошел вперед и прислонился к чувалу. Сердце колотилось, уши пылали. На мгновение ему показалось, что сейчас он снова не сможет сказать ничего путного; он закрыл глаза и попытался представить, что стоит не у чувала, а в лесу, на пне.

— Товарищи! Новостей много. Вы знаете, что красные освободили Оренбург? Теперь там снова восстановлен губернский Совет. Теперь Советы организуются везде, но везде есть люди, которые мешают этому, всякие кадеты и эсеры. В Уфе, например, чиновники устроили саботаж, в Златоусте и Белорецке Советами командуют эсеры, так что там все на руку богачам, — голос Загита постепенно окреп, и насмешливые улыбки стали исчезать с лиц. — В аулах баи делают все для того, чтобы помешать нам строить новую жизнь. Особенно уверенно они чувствуют себя там, где получают поддержку со стороны атамана Дутова. В Кэжэне говорят, что скоро казаки будут и у нас, поэтому нам надо быть настороже... Вот, пожалуй, и все. — Загит открыл глаза. Страх куда-то ушел, на душе у него стало радостно и спокойно.

— Да, наступает тяжелое время, — сказал Хисматулла. — Чем ближе к весне, тем хуже. Знаете почему? — Хисматулла обвел глазами сакмаевцев. — Потому что мы живем среди гор и лесов, наши места слишком отдаленны, а вот те, кто в степи живет, на них сейчас такой ветер дует!..

— Какой ветер? — спросил старик Файзрахман.

— Весенний сев у них как раз, а сеять будут на тех землях, что у помещиков отобрали, поэтому баи сейчас против них все свои силы собирают.

— А нам-то до них какое дело? — сказал Усмангали. — Пусть себе дерутся у себя в степи.

— Как это — какое дело? — вскочил Гайзулла. — А Фи-дулка, Нугуш, Карьян, а другие хутора? Забыл, сколько там полей? Ведь это все земли наших дедов!

— Не в этом дело, — покачал головой Хисматулла. — Если мы так рассуждать будем, ничего у нас не получится! Нам должно быть дело до всех бедняков на свете!..

— Все эти хутора — жалкие клочки, это не земля! — не успокаивался Усмангали.

— Ну, и что же? Хоть и клочки, а все равно земля, — подал голос Султангали. — Надо ее на покос пустить!

— Мало у нас покосов? Пасти только некого — ни коров, ни лошадей... Мы же не баи! — засмеялся Киньябулат.

— Все теперь будем бай! — весело возразил ему Акназар. — Отберем скот у Хажисултана, поделим его, вот и покосы попадобятся!..

— Вот хорошо будет! — мечтательно сказал Гайзулла. — Давайте прямо завтра отберем и поделим!

— Ишь ты какой скорый! — Хисматулла рассмеялся.

— А чего нам ждать? — глаза Гайзуллы блестели. — Раз мы теперь хозяева?

— А что? Он правду говорит!.. — загудели сакмаевцы. — И не только у Хажисултана отобрать надо, у его сынков тоже, и у муллы Гилмана! И у Нигматуллы!..

— Какое там богатство у Нигматуллы? — лениво сказал из угла Файзрахман. — Три лошади да две коровы..

— А деньги? — сощурился Гайзулла.

— Подождите, товарищи, сейчас еще рано говорить об этом! Богатство у баев мы и так отберем, а сейчас нам нужно прежде всего подготовиться к приходу дутовцев. Если мы этого не сделаем, то и с баями никогда не справимся! Вы думаете, зря Хажисултан-бай в Оренбург ездил? Зря к нему по ночам гонцы приезжают? Зря он дружит теперь с Нигматуллой, которого раньше терпеть не мог? Дутовцы близко, они могут нагрянуть в любой момент и совершенно неожиданно. Поэтому прежде всего нам нужно организовать военную дружину для защиты деревни, как на приiske.

— А как же быть с оружием? — спросил Ягуда-агай.

— Я достану, — ответил Хисматулла.

— Вот здорово! — крикнул Загит, давно мечтавший о винтовке.

— Вот ты и поедешь за винтовками! — сказал ему Хисматулла. — В Белорецк, а если там нет — в Стерлитамак... Дружина будет добровольная, товарищи. Кто хочет, может записаться...

Один за другим, все стали подходить к столу, стоявшему у чучала, и Загит начал аккуратно записывать имена.

— Хисматулла-агай, вас там спрашивают! — крикнул Султан-гали.

— Где?

— В сенях!..

Хисматулла пробрался к дверям. На крыльце в морозном лунном свете стоял Нигматулла.

— Давай отойдем, — быстро сказал он. — Дело у меня есть.

Хисматулла вернулся, накинул шинель и вышел на улицу. Снег давно перестал, свежо поскрипывал под ногами.

— Я знаю, ты на меня из-за Нафисы зло держишь, — нерешительно начал Нигматулла.

— Ты меня за этим и звал? — насупился Хисматулла.

— Не горячись, не посыпай язык перцем. — Видно было, что Нигматулла запасся большим терпением и выдержкой для

этого разговора, говорил и уважительно и спокойно, хотя это, судя по всему, давалось ему не легко.— Так мы с тобой ни до чего не договоримся, а только расплываемся и пойдем по домам...

— Ну, хорошо, не тани, ближе к делу, меня люди ждут...

Но Нигматулла не спешил, он словно нарочно испытывал терпение Хисматуллы, свернул не торопясь сигарку, чиркнул спичкой, пустил дым из ноздрей.

— Накышев сбежал с прииска,— небрежно, как бы между прочим, сказал он.

— Ну и скатертью дорожка!..

— Тебе первому хотел сообщить,— сделав глубокую затяжку, проговорил Нигматулла.— Ты же теперь у нас главная власть!

— Не я, а Совет...

— Ты меня не обманешь, я вижу, кто тут всеми делами заправляет! — Нигматулла усмехнулся, бросил недокуренную сигарку в снег, растоптал сапогом.— И напрасно ты на меня нож точишь, людей против меня натравляешь... Я такой же башкир, как и ты, может, только жил всегда лучше тебя, но так всегда было и так будет, люди никогда не сравняются и не станут жить одинаково...

— Давай не разводи эту старую байку,— по-прежнему не понимая, зачем с такой таинственностью его вызвал этот хитрый и ненавистный ему человек.— Я это слышал, и это не для моих ушей, найди, кто поглупее... Скоро ты увидишь, как мы тебя уравнием вместе со всеми...

— Я хотел с тобой по-хорошему,— наклоняясь к нему, горячо, скороговоркой зачастил Нигматулла.— Во всем Сакмаеве и в Юргашты осталось два сильных человека, у которых хватит ума для себя и для других... Это ты, Хисматулла-агай, и я!.. Мы все можем повернуть, как захотим, верно?.. Мы можем разделить пополам все, что лежит в сейфе... Ты достанешь мне ключ, я забираю свою часть, а тебе приношу твою... И все шито-крыто, всем собакам нюх отшибем...

— Ты или больной, или с ума сошел! — отшатнулся от него Хисматулла.— Тебя нужно сейчас же арестовать и посадить!

— Не отталкивай меня, агай, пожалеешь! — как в горячем бреду, вышептывал Нигматулла.— Хочешь, я Нафису тебе отдам, я же вижу, что она по тебе сохнет, а ты не можешь тоже жить без нее... Я себе и другую бабу найду, но такого случая, как сейчас, у меня никогда больше не будет... Ударим по рукам, а там кто куда! Я тебе мозолить глаза не буду!..

— Ах ты скотина!.. Ах ты подлая душа! — задыхаясь от ярости и гнева, выкрикивал Хисматулла.— Да как ты можешь?

Уходи, пока я тебя не пристрелил!.. Чтоб я тебя больше не видел!

— А Нафиса на самом деле думала, что ты ее любишь и ради нее ничего не пожалеешь!.. Приду домой и скажу, что ты велел ее отстегать плеткой! Кто-то должен за все это платить или не должен?

Хисматулла развернулся и наотмашь ударил Нигматуллу так, что тот не устоял на ногах и упал навзничь в снег. Боясь захлестнувшей всю душу ненависти, боясь, что он может избить этого человека до полусмерти, он повернулся и торопливо побежал к крыльцу.

IV

Кто-то, случайно махнув рукой, разбил колпак от лампы, и теперь она сильно чадила. Акназар почистил фитиль, огонек загорелся ровно и весело, отбрасывая лохматые тени на стены. Акназар вздохнул и разложил на столе бумаги и книги, придвинул скамейку.

Сбоку, на небольшом листке бумаги, где был отпечатан алфавит, расплылось пятнышко от керосина, да и сам листок был уже сильно измят, бумага на сгибах вытерлась, и некоторые буквы потеряли свои очертания. Акназар аккуратно разгладил листок, раскрыл тетрадь, взял карандаш и стал аккуратно выписывать букву за буквой, всей грудью наваливаясь на стол и закусив губу от старания.

Однако в тетради буквы выглядели совсем не так, как на листке,— они кренились набок, сползали то вверх, то вниз, округлые бока их выходили ломкими и некрасивыми.

«Как курица лапой,— подумал Акназар и снова вздохнул.— Дурак я, дурак... Почему не учился тогда, когда был жив отец? И отец ругал, и мулла коленками на горох ставил, а потом встанешь с гороха и бежишь купаться, и плевать тебе на грамоту! Легко Хисматулле говорить: учись, учись, учись!.. Все могу: плетень поставить, дерево срубить, а эти буквы проклятые нарисовать не умею...»

Он вспомнил, как после смерти отца никто из родственников не хотел брать его к себе, как наконец сжалилась над ним старая Балхиза-инэй, вспомнил ночи в горах под открытым небом, когда он пас стадо бая,— мерцающую звездную россыпь над головой, блеянье овец, песни, которые он придумывал сам и сам же пел, и эхо, повторявшее каждое слово.

Я стою высоко-высоко на горе,
Бело стадо мое, словно снег в январе.
Я пастух, я под небом скитаться привык,

Слушать беличий, волчий и птичий язык,
Спорить с эхом, костры по ночам зажигать,
Первый солнечный луч на рассвете встречать!..

Долгими, зимними вечерами, когда собирались у Балхизы молодые девушки, старушка, устав рассказывать сказки и байки, просила мальчика:

— Спой, Акназарка, у тебя в песнях душа поет!.. Погоди, соберусь я когда-нибудь и куплю тебе настоящий курай!..

И он пел, старательно вытягивая каждый звук, выдумывал на ходу все новые и новые слова, — пел про коней, что щиплют траву мягкими губами, про колодцы и родники, где джигиты высматривают любимых девушек, про то, как несут воды Кэжэн желтые осенние листья вдаль, по прозрачной журчащей дороге, в неизвестные края...

И покачивала головой, улыбаясь, старая Балхиза, и лица девушек становились задумчивыми, и даже огонь в очаге, казалось, старался гореть, тихо и смиренно, чтобы не нарушить волшебства песни.

Пел он и потом, в Кэжэнском приюте, но редко, только когда оставался один, и песни выходили у него тогда грустными и тоскливыми. Пел он и на корабле, и в землянках, и в госпитале, но это были уже другие песни — они звали в бой, будоражили кровь.

А в памяти остались только те вечера — морщинистое, задумчивое лицо Балхизы, грустные лица девушек, притихший огонь в очаге.

Акназар послунил кончик карандаша и принялся снова выводить буквы в тетради.

«Алеп, бей, тей, сей...¹ — повторял он про себя. — Может, и научусь... Даже медвежонка можно выучить танцевать, а человеку дано больше. Стыдно, вот и в Совет меня выбрали, стал я сейчас большим человеком, а грамоты не знаю. Ну, если не читать, надо научиться хотя бы подпись ставить...»

В дверь тихо постучали. Акназар быстро спрятал тетрадки и пошел открывать.

На пороге, прикрыв лицо платком, стояла Гульмадина. Глаза ее лихорадочно блестели в темноте.

— Ты совсем свихнулась! — обнимая ее, прошептал Акназар. — Что ж подумают люди, если увидят тебя? Разве ты никого не боишься?

— Никого! — Гульмадина закрыла глаза и прижалась к нему. — Весь день хожу и думаю про тебя. И как пойду к тебе ночью...

— Да, с тобой как в трюме корабля — не знаешь, на что наткнешься, — Акназар засмеялся. — Раздевайся, раз пришла!

¹ Буква алфавита.

Гульмадина сняла полушубок, скинула цветастую шаль и повесила на гвоздь у двери. Иссиня-черные косы ее рассыпались по плечам.

Акназар отвернул глаза от ее высокой груди, вздохнул.

— Я же сказал тебе — не надо нам больше встречаться! И себя погубишь, и меня перед людьми на позор выставишь...

— Ну и что? — Гульмадина прижала руки к пылающим щекам, глаза ее заблестели еще ярче. — Лишь бы ты любил меня, а что люди скажут — ветер унесет... Ну что я могу сделать, если я без тебя не могу?..

— Жила же ты раньше без меня и теперь проживешь! — глухо обронил Акназар. — Я тебе не бухта, где можно шторм переждать... Так что лучше давай поднимай якоря и отчаливай, и меня не подводи, и на себя собак не натравливай!.. Некогда мне с тобой обниматься, я ответственный человек... Я революцию делаю, а когда ты приходишь, я как чумной делаюсь!.. Чтоб ты забыла дорогу ко мне — слышишь?

— В одно ухо слышу, а в другое выгоняю! — Гульмадина подошла к столу,дохнула на лампу, и в темноте зашелестел, задрожал ее колдовской шепот и смех. — Иди ко мне, Акназар-ка! Неужели ты за три дня не соскучился обо мне?

— Чертова баба! — опрокинув по дороге скамью, пробормотал Акназар.

— Как же я могу без тебя? Я без тебя не могу... — горячо шептала Гульмадина. — Я с тобой все на свете забываю — ни мужа нет у меня, ни дома, ни всего белого света нету, один ты, вот обнимешь меня, и я вся твоя, каждая жилочка во мне дрожит... Послушай, как сердце бьется, слышишь, что говорит? «Ак-на-зар-ка, Ак-на-зар-ка...»

— А если Хажисултан узнает? Ты хоть понимаешь, что с тобой тогда будет?.. — покачал головой Акназар.

— Не бойся, мой миленький, никто не узнает... Хажисултана дома нет, он с Шаяхметом в Оренбург укатил, а я на своих нарах тряпья навалила, никто не узнает.

— Вот как — в Оренбург? Не знаешь, зачем?

— Да разве он когда-нибудь говорит? !.. Не думай об этом, поцелуй меня.

— Ты вот что: приедет — узнай, зачем ездил. Баба ты хитрая, у тебя получится!

— Хорошо, хорошо, узнаю. Поцелуй меня, — нетерпеливо просила Гульмадина. — Чуть прикоснешься — голова кругом идет...

Неожиданно в дверь забарабанили кулаками. Гульмадина вздрогнула и прижалась к Акназару. Акназар прижал палец к ее губам и подошел к дверям.

— Кто там? — спросил он, деланно позевывая,

— Открой, Акназар, дело есть!

— Ой, Хажисултан,— испуганно прошептала Гульмадина. — Не открывай, он меня убьет...

— Это я, Хажисултан! — послышалось из-за двери. — Открой, чего ты боишься?

— Сейчас, оденусь только!

Он дернул за кольцо в полу и открыл тяжелую западную подполья.

— Полежай!.. Не оступись, здесь ступеньки скользкие.

Акназар засветил лампу, кинул в погреб полшубок и платок Гульмадины, закрыл западную, придвинул на нее сосновый чурбак.

— Ну, что такое? — потирая кулаком глаза, как будто только что встал, спросил он. — Нельзя было подождать до утра?

Хажисултан и узколицый худощавый человек, вошедший вслед за ним, щурясь, оглядывались по сторонам.

— Значит, дело не терпит. — Хажисултан был мрачен и суров. — Может, пригласишь сесть?

Акназар подтолкнул ближе чурбак:

— Садись!

— Буду говорить прямо, — сняв шапку и расстегнув тулуп, сказал Хажисултан. — Вот видишь, со мной человек — это большой начальник из Оренбурга, если что, он подтвердит мои слова... Сюда тоже скоро придут казаки, сам атаман Дутов обещал. Может, они даже не так далеко, как я думаю... В Оренбурге твоя власть кончилась, с большевиками и кафырами разделились. Скоро у нас будет свое, башкирское, правительство — пусть приезжий начальник скажет, что я не вру!.. Если бы ты был глупый человек, я бы к тебе не пришел, но я тебя уважаю и не хочу, чтобы тебя повесили вместе с другими... Если ты хочешь жить, собери народ и скажи им все, что я сказал тебе, они тебе поверят!..

— А на себя, выходит, ты уже не надеешься?

— Вы им головы замутили, вы и должны эти головы прочищать! А за то, что ты слушаешь меня и сделаешь, как надо, я для тебя ничего не пожалею... Можешь сам назначить любую цену!

— Какой дорогой гость! — удивленно вскрикнул Акназар. — Жалко, заранее угощение не приготовил, ах, как жалко! Досада берет. Я бы уж постарался — поставил бы бочку, развел в ней навоз пожиже и накормил бы тебя досыта!

— Ах ты пес шелудивый! — Хажисултан вскочил и затрясся от злости. — Я с тобой как с человеком, а ты смеяться надо мной вздумал? Тогда не проси пощады!.. Прежде чем вздернуть тебя на виселицу, сдерут с тебя семь шкур!

— А если она у меня всего одна, тогда как? — насмешливо спросил Акназар. — Катись отсюда, бурдюк вонючий, а то я

сейчас людей позову, и они разделают тебя, как бог черепаху!

Хажисултан нахлобучил шапку и чуть не вышиб головой дверь. Начальник из Оренбурга, сгорбившись, рванулся за ним.

Акназар отодвинул чурбак, открыл западную и склонился над черной дырой.

— Ушел? — испуганно спросила Гульмадина. — Ну, натерпелась я страху! Думала, что он за мной. . .

Акназар подал ей руку, помог выбраться из подполья. Юбка Гульмадины была вся в сырых пятнах, на волосах висели клочки паутины.

— Топай, и чтоб духу твоего больше тут не было! — напуская на себя строгость, сказал Акназар. — Я не имею права из-за тебя рисковать своим авторитетом! Он мне дороже твоей юбки!

— Ты же меня не за одну юбку любишь! — даже не обиравшись на него, смеясь, ответила Гульмадина. — Если бы это было так, я и сама к тебе сроду не пришла! . . Не обманывай, Акназарка, ни себя, ни меня! И жди завтра или послезавтра, как только бай отлучится куда-нибудь! Потеряла я голову из-за тебя, морячок ты мой!

— Полундра! — процедил сквозь зубы Акназар. — Что делает со мной эта баба! . .

Гульмадина торопливо набросила на плечи полушубок, обожгла горячим дыханием, задохнулась в поцелуе и, толкнув дверь, выбежала в ночную темень.

Акназар покачал головой, присел на скамью, зажег лампу и снова вытащил тетрадь и карандаш.

Не успел он написать и двух букв, как в дверь снова постучали.

— Кто там? — раздраженно крикнул он.

Тихий стук повторился.

— Язык, что ли, отнялся? — Акназар сердито толкнул дверь.

Гульямал быстро шагнула вперед, лицо ее было бледно, изпод платка выбилась черная прядь.

«Что за черт! Бабы, как снаряды, посыпались! . .» — подумал Акназар.

— Разве ты один? Здесь нет Хисматуллы? — оглядевшись, спросила Гульямал.

— Не-ет, все вы, бабы, сумасшедшие! Знаешь, когда он отсюда ушел? На улице еще светло было!

— А я думала, Гульмадина к нему приходила, — слегка по-розовев, сказала Гульямал.

— Какая еще Гульмадина? . . — смутился Акназар.

— Известно, какая, — жена Хажисултана!

— Я же говорю — полоумные! — сплюнул Акназар. — То ей чудится, что Хисматулла сюда заходил, то Гульмадина выходила... И разве это женское дело — по ночам за мужиком бегать?

— А если я его люблю, если я без него жить не могу? — чуть не плача, выкрикнула Гульямал.

— Даже слова одни и те же! — Акназар расхохотался. — Гульмадина говорит, что тоже любит меня. А там — шайтан вас разберет. Только ты уж молчи, не выдавай меня...

— За кого ты меня принимаешь? — обиделась Гульямал. — Мне чужие тайны не нужны, я не из тех, кто язык распускает! — Гульямал поправила платок. — Успокоилась моя душа. Я ведь думала, она к Хисматулле бежит...

— Я же говорю — свихнулась! — повторил Акназар.

Он закрыл дверь, присел к столу и снова вынул тетрадку. Но глаза уже слипались и карандаш ходил вкривь и вкось.

«Довели, проклятые бабы! Ладно, с утра, на свежую голову, займусь!..»

На нарах было жестко, из-под двери тянуло холодом. Акназар закрыл глаза. «Потеряла я голову из-за тебя, морячок ты мой!» — вспомнилось ему. Он улыбнулся, перевернулся на другой бок и накрыл бушлатом голову.

V

— Ну что? — встревоженно спросила Сайдеямал, едва Гульямал переступила порог дома.

— Нет его там. Наверно, на прииск ушел.

Она устало стянула платок с головы и присела на табуретку у чувала.

— Вот видишь! Я же сказала тебе, зря ты на моего сына напраслину возводишь, не станет он по чужим домам с байскими женами путаться!

— Устала я, мама, устала ждать. — Гульямал закрыла лицо руками и уткнулась в колени. — Для чего я его ждала? Четыре месяца, как вернулся, а мы ни разу и не поговорили толком... То в свой Совет бежит, то на прииск, то людей на сход собирает, а я все жду, пол подметаю, самовар грею, косы переплетаю, — наверно, так и состарюсь... Пока он на фронте был, думала: стоит ему вернуться — и все по-другому пойдет, а он и не смотрит на меня, словно я чужая ему...

Сайдеямал подошла к невестке, обняла ее и, как малого ребенка, погладила по голове.

— Неправильно ты себя ведешь, доченька, — сказала она. — И думаешь неправильно. Женщина только тогда нужна мужчине, когда он на нее опереться может, когда она ему лучше

самого близкого друга станет! А ты и знать не хочешь про его дела, у тебя на уме совсем другое...

— Как другое?! — подняла Гульямал залитое слезами лицо. — Только о нем и думаю с утра до вечера, еду таскаю, от каждого пороха дрожу!.. А он мне только «спасибо» да «до свиданья»! Если б он попросил ему в его делах помочь, разве я отказалась бы?

— А ты не жди, когда попросит! — мягко улыбнулась Сайдеямал. — Отец его, Хуснутдин, такой же был, никогда ни о чем не просил, только мне его просьб не надо было, я и без просьб все понимала...

— Если бы знать, как! — вздохнула Гульямал.

— Если любишь, сердце подскажет, как, — тихо ответила Сайдеямал.

Гульямал молча разделась и снова села у чувала.

«И вправду совсем замучилась, одни глаза остались, — глядя на нее, подумала Сайдеямал. — И сказать ничего путного не скажешь, и посоветовать не посоветуешь... Разве у моего мужа такие дела были, как у моего сына? Правду люди говорят, совсем другое время наступило...»

— Может, поешь, доченька? — спросила она.

— Не хочется, мама. Я, пожалуй, лучше схожу на прииск, еду Хисмату снесу... С утра ведь не ел небось...

— Ну, сходи, сходи, — согласно кивнула Сайдеямал.

Гульямал быстро собрала узелок с едой, оделась и выбежала на улицу. В доме стало тихо и пусто.

«Ох, летают мои птенцы весь день, и не вижу я их совсем, — с тоской думала Сайдеямал. — Лишь бы дал им всемогущий счастья!.. Как я хочу, чтобы свили они гнездо у меня под крыльями, уж я бы за внучатами с утра до вечера ходила, сказки бы им рассказывала... Скучно в доме, совсем скучно, весь день сижу одна-одинешенька, словно нет у меня никого на всем белом свете. Раньше хоть эта егоза каждый час забегала, а теперь и ее не видно, все за Хисматом поспеть старается... Да разве поспеешь за ним? Уйдет и неделями пропадет!.. А то сидели бы внучата черноглазенькие, бегали бы, и было бы весело. Неужели я не доживу до таких дней?»

Затих тоненько посвистывающий самовар, только равномерно и одиноко капала вода из дырочки возле ручки самовара да подвывал за окном темный ветер.

Сайдеямал стряхнула и сложила скатерть, убрала чашки и в слабом свете догорающих в очаге поленьев легла на нары.

«Может, сходить к старой Карибе, чтоб наворожила? — пришло ей в голову. — Когда Хуснутдин не в духе был, я ему всегда заговорные лепешки давала. Иногда помогало. Может, и тут дело быстрее пойдет? Ладно, завтра схожу... И чего ему, в самом деле, не хватает? Уж краше и милей, чем Гульямал,

никого у нас в деревне нет. Чего ему еще надо? Или все по-может Нафису забыть? Люди говорят — виделись они у проруби, будто два слова она ему сказала и отошла... Не приведи аллах, снова о чем-нибудь сговорятся, не пережить мне такого позора второй раз!.. Завтра же схожу, заговорю хлеб...»

Она не заметила, как задремала, и проснулась поздно. Солнце стояло уже высоко, окно, затянутое брюшиной, просвечивало сквозь замерзший иней желтоватым светом.

Не успела Сайдеямал поставить самовар, как дверь распахнулась.

— Это мы! — радостно сказала Гульямал, переступая порог. — Уже встали, мама? А я сахару на прииске купила, вот... — Она положила на нары несколько белых кирпичиков. — Давайте я чашки поставлю!..

— Вы попейте без меня, а я должна в одно место пойти... —

Она посмотрела на сына, лицо его было, как всегда, спокойно и непроницаемо.

«Пусть поговорят, пусть побудут одни, — решила она. — Да и Карибы, пожалуй, не застанешь, если позже пойти...»

— Что-то ты больно спешешь. Не случилось ли чего? — спросил Хисматулла.

— Что могло случиться? Все в порядке — кони в стойле, тарантас не украли!.. — рассмеялась Сайдеямал. — Спешу потому, что обещала пойти пораньше и все на свете проспала!..

Она застегнула тулуп, потуже укутала голову платком.

— Что, холодно сегодня?

— Да вроде нет, — рассеянно ответил Хисматулла.

— Мне было не холодно. — Гульямал бросила пристальный взгляд на Сайдеямал. — Не знаю, как Хисмату... —

«Неужели она не может оставить нас хотя бы на час вдвоем? — подумала она. — Ну что за бестолковая старуха!»

Она снова посмотрела на нее, уже досадуя и злясь, и Сайдеямал, лукаво усмехнувшись, кажется, наконец, догадалась, о чем умоляет ее взгляд невестки.

— Нет, я все-таки должна сходить проведать соседку. — Она заторопилась, накидывая на плечи теплую вязаную шаль. — Раз обещала, нужно держать свое слово. Вы уж тут хозяйничайте без меня — картошка в чугушке, самовар скоро вскипит... —

Гульямал помогла ей одеться, проводила до порога, она так радовалась уходу старухи, что в душе ее все пело. Но она сдержала в себе это тайное ликование и, чтобы не выдать себя, начала хлопотать около чужала — подогрела картошку, заварила малиновый лист и лишь тогда присела на нары, рядом с Хисматуллой.

— Ну, что же ты не ешь? — упрекнула она. — Для кого я старалась?

— Сейчас, сейчас,— думая о чем-то своем, отозвался Хисматулла и отломил корочку от краюхи хлеба.— А ты сама почему ни к чему не притрагиваешься?

— А мне довольно, что ты рядом,— сама поражаясь своей смелости, сказала Гульямал.— Я бы могла прожить одним этим... Не веришь?

— Ты скажешь...

На язык ее просились другие слова, и больше всего ей хотелось узнать, любит ли он Нафису, хранит ли ей верность, но что-то удержало ее от этого порыва, который мог все испортить. Да и как она будет жить, если он скажет ей горькую правду? Нет, лучше пока помолчать... И она спросила о том, о чем меньше всего думала:

— Скажи, вот этот ваш Совет... он может всем заменить и Хажисултана, и старосту, и муллу?

— При чем тут Хажисултан и мулла? — удивился Хисматулла.— Ну, староста — туда-сюда, какая ни на есть, но власть... Но у нас все совсем по-другому! Мы — народная власть, люди нас поставили, они могут нас и убрать, и в этом наша сила — понимаешь? — Он поймал, видимо, слишком откровенный взгляд Гульямал, смотревшей на него с такой нескрываемой нежностью и обожанием, что смутился.— Тебе на самом деле это интересно?

— Мне все интересно, что касается тебя... — придвигаясь ближе, сказала Гульямал.— Что ты думаешь, о чем думаешь... Я хотела бы жить в твоей голове и все знать про тебя...

— В го-ло-ве? — Хисматулла усмехнулся.

— И в сердце,— досказала Гульямал и порывисто, одним рывком, прижалась к груди Хисматуллы и, закрыв глаза, зашептала, как в бреду: — Я только о тебе и думаю день и ночь... Ходила бы следом за тобой, смотрела на тебя и ловила бы твои слова... Но ты только и знаешь, что свой Совет...

Почувствовав ее жаркое дыхание, ласковую волну волос у самого лица, отдававшую ароматом сухой травы, он вдруг странно заволновался, испытал необъяснимый прилив нежности и жалости и только хотел протянуть руку и обнять, как дверь распахнулась и на пороге показался Акназар.

— Ассалям агалейкум! — выпалил он и тут же попятился назад.— Эге, я, кажется, не вовремя?

— Заходи, заходи! — вспыхнув, крикнул Хисматулла.— Мы тут с енге¹ чай пьем!

— Я могу и позже зайти,— смущенно забормотал Акназар.

— Раз порог переступил, нечего обратно бежать! — словно довольная тем, что ее увидели в объятиях Хисматуллы, сказала Гульямал.— Садись, гостем будешь...

¹ Енге — жена старшего брата.

Акназар топтался у дверей, точно по-прежнему не был уверен, что ему делать — остаться или тут же исчезнуть, чтобы не мешать людям в их сердечных делах.

— Да не строй ты из себя девку на выданье! — справившись с неловкостью, проговорил Хисматулла. — Лучше доложи: зачем к тебе Хажисултан-бай являлся ночью? Уж не в заговор ли ты с ним вступал?

— Еще немного — и вступил бы, в цене не сошлись! — Посмеиваясь, Акназар присел на нары, принял из рук Гульямал чашку и тут же помрачнел, веселости на его лице как не бывало. — Смешного тут мало... Привел с собой какого-то человека из Оренбурга, уговаривал, чтобы я людей собрал и объявил, что большевикам пришел конец, что русских с нашей земли теперь погонят, а у нас будет свое, башкирское, правительство... Немалые деньги за то, что я скажу об этом, сулил!

— Вот видишь, как вырос авторитет твоей власти, нашего Совета! — уже без улыбки заметил Хисматулла. — На себя, выходит, не надеется, на старосту тоже и даже на муллу не может опереться... Ну и что же ты ответил на его условия?

— Может, и не так поступил, как надо, но я его вытолкал в шею! — запальчиво и горячо продолжал Акназар. — Мне бы, дураку, надо бы выведать у него все, поводить его за нос, взять на буксир и травить, сколько можно, а я сгоряча пришибить его мог!.. А когда он ушел, я стал думать: а, может, это не так уж и плохо, если у нас будет свое правительство, а?

— Не верю я что-то в это правительство, — помолчав, ответил Хисматулла. — Когда праздник затеяли в Оренбурге, кого на него пригласили! Одного нашего бая да этого заросшего салом муллу! Почему же они сразу о всех бедняках забыли? Или, может быть, у нас их в Сакмаеве нету?.. Недолго, как говорится, птичка пела, один раз каркнула, и все увидели, что это поганая ворона... Так и это правительство...

— Ну, праздник — это одно дело, да мы и не знаем, кто его устраивал! — несмело возразил Акназар. — В правительство-то люди всех будут выбирать, и наши бедняки туда попадут!.. Чем мы хуже русских? Почему мы не можем иметь свое правительство?

— Чудак ты человек! — с укоризной поглядел на него Хисматулла. — Столько по всему белу свету ездил и до сих пор не можешь понять, что между русскими богачами и башкирскими никакой разницы нет и не будет!.. Дай нашим баям в руки власть — и они все обзаведутся плетками и живо всех заставят плясать под их дудку! Так что разговоры про башкирское правительство — для отвода глаз, чтобы оторвать нас от русских бедняков и скрутить нас всех по отдельности, понял?..

— Значит, ты против башкирского правительства?

— Нет, я за такое правительство, но сейчас власть в пем могут только захватить баи и муллы и те, кто охраняет их богатства!.. Вот когда придет к власти наш класс, мы сможем брать и создать такой Совет, какой захотим... Может быть, от нашего Сакмаева ты будешь там заседать или тот же Загит!

— Обо мне и собаки во дворах не брешут! — Акназар сокрушенно вздохнул. — Не дается мне проклятая грамота, будто не мозги у меня там, а камни лежат..

— А может, тебе еще что-то мешает? — пытливо поглядел на друга Хисматулла. — Ты когда занимаешься-то? Ночью? И никто тебе не мешает?

— Ну и вредная ты баба, Гульямал! — покраснев, в сердцах проговорил Акназар. — Принесла все-таки на хвосте? Не вытерпела? А еще клялась!

— Скажи спасибо ей, что мне одному рассказала, а не выдала тебя Хажисултану! — посмеиваясь, сказал Хисматулла. — Когда-нибудь ты можешь вот так крепко подвести Советскую власть!.. Да не смотри ты на нее так, будто хочешь ее на куски разорвать! Лучше в ножки ей поклонись... Ты представляешь, что было бы, если бы сегодня все Сакмаево узнало, что ночью к тебе приходит Хажисултан, ты ведешь с ним опасные переговоры, а в это время одна из его жен сидит у тебя в подполье ни жива ни мертва? Больше стали бы люди тебе после этого верить или вовсе перестали бы слушать тебя?

Акназар подавленно молчал, отставив в сторону чашку и ни на кого не глядя.

— Шайтан попутал, баба в юбке, — пробормотал он наконец, но когда поднял голову, лицо его было не таким растерянным, как ожидала Гульямал. — Я живой человек, как все, Хисмат... И Гульмадина не виновата, что ее отдали в жены баю... А она неплохой человек, может, она любит меня так же, как тебя Гульямал.

Настала очередь снова смутиться Хисматулле, и он не сразу нашел, что ответить, и облегченно вздохнул, когда услышал голос Гульямал:

— Ты не стал бы прятать в подполье старую Хуппинису, если бы она к тебе пришла? Не стал? И не потому, что Гульмадина молодая. А потому, что сердце у тебя к ней лежит... Вот и слушайся своего сердца, оно тебя не обманет... Хватит смелости и сил, уведи Гульмадину от бая, она побежит за тобой на край света, раз любит тебя... И люди тебя поймут и осуждать не будут, и Совет твой дегтем не вымажут, а скорее в новую краску покрасят. Не за авторитет свой бойся, а за свою любовь!..

Похоже, они оба, и Хисматулла и Акназар, слушали ее боясь проронить хотя бы одно слово, лишь изредка удивленно поглядывая друг на друга.

Ревком находился в центре поселка, на главной улице. Это был дом бывшего управляющего Кэжэнским заводом — каменный, двухэтажный, с широким подъездом, каменной лестницей, высокими готическими окнами.

В свое время управляющий не жалел средств для его отделки — каждую весну вокруг дома появлялись строительные леса, дом перекрашивали, расширяли, простые стекла на верандах заменялись цветными, сад за ажурной чугунной оградой разрастался все гуще.

Летом сюда наезжало немало гостей, иногда бывал даже губернатор, из Оренбурга выписывали духовой оркестр, и тогда тут собиралась вся местная знать. Вдыхали трубы оркестра, хлопали пробки из-под шампанского, в специально выстроенной беседке, увешанной китайскими фонариками, кружились пары — белые платья и голубые офицерские мундиры. Слуги, не чуя под собою ног, носились по дому и в саду, несли корзины с фруктами и ящики с вином. Изредка в углу сада раздавались сухие щелчки выстрелов — господа упражнялись в тире.

Когда управляющий скрылся, по слухам — даже бежал за границу, дом долгое время пустовал, пока его не заняли под ревком. На крыше его водрузили красный флаг, с утра до позднего вечера не закрывались двери, люди ехали сюда из всех отдаленных сел, деревень и поселков.

Дом сразу потерял свой праздничный вид, стал рабочим и деловым, дорогую мебель вынесли и заменили простыми столами, шкафами и стульями, на стенах развесили карикатуры на буржуев, толстопуzych, с цепями на жилетках и в черных цилиндрах, и яркие плакаты, на которых этих буржуев красноармейцы и крестьяне прокалывали насквозь штыками.

Хисматулла здесь был впервые и, поднимаясь по мраморной лестнице, с живым интересом разглядывал эти картинки. Для него все было внове. Мимо него вверх и вниз торопились люди — старики в рваных зипунах, солдаты в расстегнутых шинелях и красными лентами на рукавах, мальчишки с визгом катались по мраморным перилам, и никто почему-то не останавливал их. И хотя все двери были распахнуты, в коридорах толпились люди, стоял ровный гул голосов, стрекотала где-то пишущая машинка.

— Не знаете, где мне найти тут Трофимова? — спросил Хисматулла у пробежавшего мимо озабоченного служащего с парусиновой сумкой под мышкой.

— Председателя ревкома? — не останавливаясь, на бегу, ответил служащий. — Прямо по коридору, вторая дверь направо...

Хисматулла придержал шаг перед двустворчатыми дверьми с бронзовыми ручками, внимательно взгляделся в желтый квадрат из картона с четко выведенными на нем черными буквами: «Председатель ревкома Н. К. Трофимов».

Постояв с минуту, он нерешительно стукнул, а потом потянул на себя дверь. Большая комната с высоким лепным потолком выглядела пустой, но светлой. На окнах были поднятые белые шелковые шторы, на одном окне шнурок запутался и штора висела косо. Дорогая люстра с хрустальными подвесками щедро разбрызгивала по белым стенам солнечные зайчики.

У канцелярского стола, напротив Михаила, сидел высоколобый человек в сюртуке с русой бородкой.

— Вот не ожидал! — Михаил вскочил из-за стола и обнял Хисматулла за плечи: — Молодец, что пришел! — Он кивнул головой на человека в сюртуке: — Знаком?

— Первый раз вижу, — отрицательно покачал головой Хисматулла.

— Так познакомясь! Это господин Касьянов, Петр Тимофеевич, бывший хозяин Юргаштинского прииска.

— Хозяин прииска? — недоуменно переспросил Хисматулла.

— Он самый! — весело ответил Михаил. — Давай-ка садись, послушаем, зачем он к нам пожаловал... Продолжайте, господин Касьянов.

— Не надо, Николай Константинович, зачем вы меня так зовете?

— А как же? — прищурившись, спросил Михаил. — Не могу же я называть вас товарищем.

— Зовите Петром Тимофеевичем, — сказал Касьянов.

Лицо его было растерянно и бледно, веснушки ярко выступили на лбу.

— Вы закончили на том, что Касьянов взял вас из приюта и усыновил, — Михаил снова сел к столу и внимательно, с еле заметной хитринкой взглянул на Касьянова. — Вы хотите сказать, что, родившись в крестьянской семье, а потом воспитываясь так, как только может воспитываться ребенок в семье богатого золотопромышленника, вы остались вместе с народом? Должен вам сказать, что я лично этого не заметил! Уже хотя бы по тому, как вы вели себя на Юргаштинском прииске, — наобещали старателям улучшить им жизнь, повысить заработки, построить бани, новые бараки, а сами скрылись, и все осталось по-прежнему... Пожалели, как говорят, на час! Правда, потом Накышев, боясь расплаты за все свои издевательства над рабочими, сделал небольшую прибавку, но и это было, как ложка меда в бочке дегтя!.. Теперь мы уже сами хозяева вашего прииска, и старатели, наконец, вздохнут свободно и станут получать за свой тяжкий труд то, что положено...

— Но я же тогда заболел, — пунцовая в скулах, торопливо заговорил Касьянов. — Я просто не в состоянии был следить за событиями... Я не знал, останусь ли вообще жив... И, кроме того, я вынужден был считаться с компаньонами, которые давили на меня и требовали и ставили жесткие условия!..

— В общем — пошла баба в огород, а навстречу ей медведь с зубами...

— Что? — не понял Касьянов, но догадываясь, что в словах председателя ревкома звучит какая-то явная издевка, и от этого еще больше краснея.

— Так, присловье такое бытует, — согнав с лица тенью пабежавшую улыбку, сказал Михаил. — Я просто хочу понять вас, ваши мотивы... Может быть, вы сами по себе и способны совершить доброе дело, но доброта человека, который должен капитулировать перед обстоятельствами, ничего общего не имеет с тем, когда человек действительно хочет облегчить участь народа и исторически видит, что неизбежен крах той системы, которой он служит... Нашей партии иногда оказывали помощь люди весьма состоятельные, и вы, надеюсь, понимаете, что они иначе оценивали свою доброту...

— Я совсем не хочу сказать, что я ни в чем не виноват, — Касьянов выбил из пачки папиросу, нервно помял ее в пальцах. — Иногда я жалею, что воскрес из мертвых... Неужели меня ждет только одно унижение?.. Впрочем, поступайте, как вам будет угодно — хотите — отправляйте в Сибирь, хотите — расстреливайте!..

— Здесь не суд и не трибунал, Петр Тимофеевич, — успокоил Касьянова Михаил и даже зажег спичку, чтобы тот мог закурить, потому что он бесцельно продолжал катать в пальцах папиросу, и крошки табака сыпались ему на колени. — Вы пришли в ревком — не так ли? Пришли, чтобы вас выслушали и что-то посоветовали?

— Да, я явился потому, что не представляю, как мне жить дальше... Если вы мне скажете, что я никому не нужен и должен уйти из этой жизни, у меня хватит мужества покончить счеты с этим жалким прозябанием, на которое я обречен теперь...

Он наконец прикурил, затянулся, и бледное лицо его окрасилось неровным румянцем.

— Скажите, Петр Тимофеевич, а вы не раскаиваетесь, что не уехали за границу вместе с компаньонами? — качнувшись вместе со стулом, стараясь поймать взгляд Касьянова, спросил Хисматулла.

— Нет, об этом я не жалею. — Касьянов повернулся к нему, будто только затем, чтобы лучше разглядеть его и запомнить. — Я русский человек, зачем же мне бежать из

России? Растительного существования ради? Нет, это не по мне... Если у человека нет родины, его жизнь теряет всякий смысл...

— Что бы вы хотели услышать от нас? — поинтересовался Михаил.

— Я подумал, что, может быть, могу быть полезен чем-то, — неопределенно протянул Касьянов. — Я в свое время недолго учился в Берлине, в горном институте. Диплома я не имею, но горное дело знаю не плохо... Если доверите, я постараюсь сделать все, что в моих силах...

— Ну что ж, попытаемся вам помочь. — Михаил переглянулся с Хисматуллой, точно ища у него одобрения своему решению. — Подыщем вам такую работу, чтобы вы смогли с пользой применить свои знания... Специалистов горного дела у нас не так много, и вы можете оказаться весьма к месту!

— Я этого никогда не забуду... Признателен до глубины души, — потерянно и счастливо бормотал Касьянов. — Вы не можете поверить, но вы будто окропили меня живой водой... Может быть, я на самом деле воскресну для дела, для людей?.. А что может быть выше?.. Меня направил сюда к вам бог! Когда я вышел на улицу, мне точно кто сказал — иди туда, где горит вот этот красный флаг!

— Бог тут ни при чем, конечно! — заулыбался Михаил и вышел из-за стола. — А уж соединять его с красным флагом совсем не стоит!

— Простите, но я немного мистик, я верю в некое предзнаменование, в судьбу... Сегодня меня услышали и поняли, и в этой неразберихе это не так мало! Я скажу вам больше — это счастье! Спасибо вам за все, а то раньше, куда бы я ни приходил, на меня смотрели только как на капиталиста и врага!.. Значит, завтра я могу прийти к вам за назначением?

— Да, но не с самого утра, а чуть позже. Я должен узнать, на каком участке нужен такой специалист...

Касьянов сделал глубокий поклон, на какое-то мгновение он даже заколебался, словно собирался протянуть руку председателю ревкома, но почему-то не решился на этот поступок и, еще раз кивнув, твердой походкой направился к двери, опираясь правой рукой на гнутую трость.

С минуту Михаил и Хисматулла сидели молча, прислушиваясь к стуку трости в коридоре, потом разом повернулись друг к другу.

— Ну? — спросил Михаил.

— Что ну?

— Что ты обо всем этом думаешь?

— Я в его шкуре никогда не был, он в моей тоже, — помолчав немного, сказал Хисматулла. — Придет ли он к людям, а

они к нему — не знаю... Веры ему будет мало... Как ни говори, но все-таки буржуй...

— Но разве к нам не приходят военные спецы и другие люди? Мы должны их гнать от себя или давать им жить и работать на пользу общества?.. Мы не для того берем власть, чтобы мстить тем, кто жил до этого по-другому! Одно дело — когда человек поднимает на нас оружие, а другое — когда он хочет встать в один ряд с нами и помогать нам...

— Я с тобой и не спорю! Что ты меня убеждаешь? — Хисматулла рассмеялся. — По-моему, ты правильно сделал, что протянул этому человеку руку...

Они оба встали и расхаживали по комнате от окна к двери и обратно. За светлыми окнами кружились хлопья снега, и ветви деревьев в саду будто одевались в пушистый белый мех.

— Портится погода, как бы акман-токман не начался, — сказал Михаил.

— Меня этот акман-токман меньше пугает, чем тот, который могут люди сотворить, — кладя руку на плечо товарища и останавливаясь у окна, хмуро бросил Хисматулла. — Все Сакмаево говорит о башкирском правительстве, как будто оно принесет людям райскую жизнь... И никто не хочет понять, что это страшнее акман-токмана будет... Даже самые надежные люди и то поддаются всяким слухам, ничего им нельзя доказать...

— А на приiske как? Ты Кулсубая давно видел?

— Там, может, немного лучше, но что касается Кулсубая, то на него тоже положиться целиком нельзя! Сегодня одну песню поет, вроде с тобой заодно, а завтра другую... Беда с ним!

— Да, пока мы радовались нашей революции, националисты не дремали. — Михаил сунул трубку в кисет, набил ее табаком, поднес горящую спичку и всосал жиденькое пламя. — У них на каждом углу свой человек сидит, а мы собираем верных людей в Совете и агитируем друг друга, вместо того чтобы ходить по домам и разъяснять людям нашу политику, разбивать в пух и прах их слухи... Большую промашку мы сделали!

— Но разве ее нельзя исправить?

— Можно, конечно, но не так легко, как нам кажется! — Михаил глубоко затянулся, поковырял спичкой в трубке. — Раньше, когда мы боролись против Временного правительства, у нас были в руках козыри сильные — и то, что оно войну не кончает и не решает ни один вопрос, — а теперь, если что не так, это уже против нас оборачивается, и объяснить людям наши трудности не так просто...

Снег за окном усиливался, летел косо, подгоняемый сильными порывами ветра, на сугробах, как предвестники бурана, крутились легкие смерчи.

— Я хочу, чтобы ты кое-что почитал по национальному вопросу, это тебе многое прояснит и поможет, когда ты будешь спорить! — Михаил открыл стеклянный шкаф у стены, достал несколько книг и брошюр, стал перелистывать. — Первым делом познакомься с работами Владимира Ильича, в них ты найдешь ответы почти на все свои вопросы. . .

— А как быть с золотом? — спросил Хисматулла. — Сейф держать на прииске уже опасно, могут в любую ночь произвести налет и увести и передать тому же башкирскому правительству, если оно вдруг возникнет. . .

— Боюсь, если мы сами решим его увести, тоже разнюхают, и могут по дороге ограбить. — Михаил завернул в газету отобранные книги и брошюры. — Я уже говорил с товарищами в губкоме. Они тоже считают, что хранить золото в Юргашты сейчас рискованно, но пока другого выхода нет. Нужно только увеличить охрану, пока они смогут прислать из Уфы специальный отряд.

— А если не успеют?

— Постарайтесь временно как-то замаскировать место, перебросить сейф из конторы в более надежный тайник, лучше вооружить дружину!

— Да у нас обыкновенных винтовок не хватает, хоть палками отбивайся, если кто нападет!

— Винтовок мы вам выделим и патронов тоже, но этого мало, чтобы отразить серьезное нападение. — Михаил закашлялся надсадно, до слез. — Вот проклятье! Никак не могу бросить. . . Так о чем я? Вам еще нужно связаться с коммунистами из всех окрестных сел и деревень, держать постоянную связь с нами, поручи это дело Загиту, он толковый парень, не подведет. . .

— У меня еще один вопрос, Николай Константинович. . .

— И ты меня стал так величать? — Михаил усмехнулся. — Отвык я от этого имени, не отзываюсь даже, а стоит кому на улице крикнуть: «Михаил!» — как я оборачиваюсь. . .

— Как ты считаешь, не арестовать ли нам для страховки тех, кто сейчас путает все наши карты, кто может пойти в открытую против нас?

— Ты имеешь в виду Хажисултана, муллу и Нигматуллу — эту святую троицу?

— Подпевал их можно пока не трогать, а этих взять, по моему, самое время.

— Ну что ж. . . — Михаил сделал несколько медлительных шагов, задержался у окна, глядя на усиливающийся буран,

потом, словно вспомнив, что он не один в комнате, обернулся к Хисматулле: — Береженого, говорят, бог бережет. Берите и отправляйте их в Кэжэн, мы их тут немного поддержим, а там, если будет все спокойно, и выпустим... Мы не можем их арестовывать за одни слова, которые они говорят против нас, и держать их в заключении без суда тоже не имеем права. Вот если они возьмутся за оружие, тогда мы с ними считаться не будем!

Старинные часы на стене зашипели, точно внутри их что-то испортилось, потом раздался мелодичный и чистый звон.

— Надеюсь, ты у меня остановишься и переночуешь? — спросил Михаил.

— Я хотел бы не задерживаться и ехать домой, мало ли что там может случиться...

— Все равно, винтовки ты сможешь получить только завтра, да и посмотри, что на улице делается!

Они снова задержались у окна и с тревогой смотрели, как раскручиваются на сугробах белые спирали вихрей, как летит по дороге поток поземки, а ветер сбрасывает с ветвей сада пушистый мех и закрывает сплошной белизной всю округу.

VII

Хисматулла сумел выехать из Кэжэна только через три дня, дожидаясь, когда стихнет акман-токман, но так и не дождался и в бурную ночь, стояло чуть ослабеть ветру, двинулся в Сакмаево. Завалив соломой винтовки, он залез в косматый тулуп и, выехав за город, отдался на волю лошади.

Она тащила сани медленно, изредка останавливалась и передыхала, потом без всяких понуканий трогалась дальше. На рассвете она остановилась у ворот, и Хисматулла, расклеив смерзшиеся веки, с трудом узнал занесенный чуть не под самую крышу свой дом.

Деревня еще вся спала, не было видно ни одного дымка над крышами, поэтому они с Гульямал смогли незаметно перетаскать все винтовки и сложить их пока под нарами. Хисматулла бил озноб, и, выпив горячего чая, он завалился спать и проснулся уже в сумерках. Он начал было одеваться, но Гульямал вцепилась в полу его пиджака:

— Не пуцу, Хисмат!.. Ты так заболеешь!.. У тебя лоб горячий. Не пуцу!..

— Был кто у нас?

— Прибегал Акназар, но, увидев, как ты спишь, сам не велел тебя будить. Ничего там за эту ночь в твоём Совете не случится!..

Хисматулла подчинился ей во всем, как маленький, позволил снять камзол, выпить круто заваренного малинового чаю, вымыть в горячей воде ноги.

Он снова провалился в сон, спал глубоко, пока кто-то грубо не встряхнул его за плечо:

— А ну, поднимайся, георгиевский кавалер!..

Около нар, нацелив в него револьвер, стояли незнакомый человек в полушубке. У дверей, щелкая затворами, подпирали косяки еще двое, тоже не сакмаевские, не здешние.

— В чем дело? — спросил Хисматулла.

— Вопросы будешь задавать потом, а пока собирайся! — командовал человек в полушубке. — Не обуешься быстро, босиком побежишь..

«Как глупая мышь, сам залез в мышеловку! — подумал Хисматулла. — И зачем я только послушал Гульямал?»

Она сидела на корточках около чувала, одеревенев, зажав ладонью рот, точно боялась закричать, большие раскосые глаза ее были расширены, как у безумной.

— Куда вы уводите моего сына? — не вытерпев, закричала Сайдеямал, и Хисматулла только сейчас увидел мать, которую не пускал к нему дюжий дядька, державший наперевес винтовку. — Что он сделал вам дурного? Он никого не убил и не ограбил! Он воевал за вас...

— Помолчи, старая! — крикнул человек в полушубке. — У нас есть свой счет к твоему сыну..

— Не надо, мать, — тихо попросил Хисматулла. — Эти люди не поймут тебя. Они говорят на другом языке, на языке беззакония и ненависти!..

— Может, ты тоже заткнешься, большевистская сволочь? — заорал человек в полушубке. — Я ведь могу тебя и без всякого суда и следствия пришить, как собаку. И никто с меня за тебя не спросит!.. Моли бога, что ты пока не в моей власти, что ты еще кому-то нужен, как главарь и заводила!..

Хисматулла молча натянул сапоги, снял с гвоздя шинель, тянул зачем-то время, словно надеялся на какое-то чудо — вот сейчас распахнется дверь и ворвутся пришедшие на помощь товарищи. Но, видимо, ждать было некого, раз его захватили врасплох, вряд ли кому удалось уйти... Странно, но он не испытывал страха, а только ноющую боль в груди и легкий озноб, охватывающий спину.

«Жалко, что приходится расплачиваться за собственную глупость! — стучало в виски. — Вот что значит — «промедление — смерти подобно»! Дом полон оружия, а я стою с пустыми руками под чужим дулом!..»

— Руки назад, и выходи! И не вздумай бежать — сразу получишь пулю в затылок!

Захлебнулась в истощном крике мать, крикнула, как подстреленная птица, Гульямал, но дверь захлопнулась, и Хисматулла шагнул в ночную темень и теперь только слышал скрип снега под сапогами тех, кто шел у него за спиной, их угрожающее молчание.

Буря стихала, лишь слабо курились поземкой сугробы, и столбы заборов надели косматые папахи.

«Куда они меня ведут? — лихорадочно соображал Хисматулла. — Если сразу не поставят к стенке, задешево я им свою жизнь не отдам!»

Когда сквозь слабо мельтепивший снег проступил остов сгоревшей лавки Нигматуллы, он понял, что сейчас его толкнут в один из сохранившихся погребов, откуда ему уже не выбраться.

У полуразвалившегося, обугленного сарая, откуда вел ход в погреб, их поджидали еще несколько вооруженных человек, во дворе были привязаны лошади под седлом.

— Взяли голубчика? — спросил кто-то из темноты. — Прервали золотой сон?

— Да, теперь полный Совет в сборе! — Человек в полушубке засмеялся. — Они могут перед смертью поговорить по душам и устроить свой последний большевистский митинг!

— Пошевеливайся! — Дуло винтовки уперлось Хисматулле в спину. — Полезай к своим друзьям-приятелям... Помолись своему богу! Если есть верующие, можем муллу пригласить...

Хисматулла нащупал в открывшейся черной дыре ступеньку, но другая его нога повисла в воздухе, потому что его ударили в спину, и он упал в яму, грохоча сапогами по лестнице.

Когда он открыл глаза и пришел в себя, кто-то провел рукою по его щеке и спросил:

— Жив, Хисмат?

— Это ты, Акназар?

— Я... Мы все в этом капкане... И Ягуда-агай, и Файзрахман, и Зинатулла, и даже Гайзулла...

— А он-то как попал вместе с вами?

— А они нас в Совете взяли, мы как раз говорили, как землю делить будем... Ну, а там, где спор, без Гайзуллы не обойтись — ему до всего дело, все интересно...

— Гайзулла! — тихо позвал Хисматулла. — Иди сюда, дружок!

Ему почему-то казалось, что в эти минуты, может быть последние в их жизни, больше всего нуждалась в утешении и поддержке молодая, еще неокрепшая душа.

— Я рядом, Хисматулла-агай...

Хисматулла нашел в темноте его руку, притянул Гайзуллу к себе.

— Ну как ты?

— Я не боюсь их, агай! — вдруг иступленно и страстно зашептал Гайзулла. — Я умру, если надо, за революцию!..

В погребе наступила напряженная тишина, и в ней слышался лишь срывающийся от волнения, почти слезный голос Гайзуллы:

— Я умру, если надо...

В погребе было холодно и сыро, пахло плесенью, прелью, с верхних балок свисали лохмотья паутины, изредка срывались ледяные капли, было трудно дышать гнилым, застоявшимся воздухом.

— О всемогущий аллах! Почему я не послушался своей разумной жены? — запричитал Файзрахман. — Зачем я полез в дело молодых?

— Стыдись, старый! — остановил его Ягуда-агай. — Нам стыдно за тебя. Неужели ты не слышал слов молодого джигита?

— Хорошо вам, — ныл, не утихая, старик. — У всех у вас пи кола, ни двора, ни семьи... А у меня полные нары ребятишек. Что с ними будет, если я уйду на тот свет?

С грохотом отвалилась крышка погреба, и вниз рухнуло еще чье-то тело. Все кинулись к лестнице, чтобы принять удар на себя, чтобы человек не разбился, и все получили садины и кровоподтеки.

— Сволочи... Негодяи... — простонал упавший.

— Кулсубай, ты? — спросил Хисматулла. — Значит, и на приiske хватать начали?

— Сафуан как-то ускользнул, а я не успел...

— А Загит где?

— Он сегодня в карауле, золото охраняет... Когда меня сюда вели, там такая пальба шла, что нельзя было ничего разобратить, кто в кого стреляет... Но он парень такой, он живым им не попадется!..

— Не башкирское ли правительство пришло к власти? — раздумчиво, как бы ни к кому не обращаясь, спросил Хисматулла. — Тогда нас пустят в расход по закону. Не какая-то там банда или казаки Дутова, а родное правительство... Как-то легче на душе будет...

— Перестань! — властно оборвал Кулсубай. — Нашел время бросать камень в мой огород!

— Да, если бы мы послушали Хисматуллу-агая, когда он уговаривал нас арестовать всю эту байскую шайку, мы бы тут не сидели и не гадали — будем ли мы живы или нет! — сказал Акназар. — Кто же позвал сюда этих карателей?.. Больно мы

жалеем всех, кто нами помыкает всю жизнь... Все-таки свой бай, родной, есть к кому на поклон бегать и спину гнуть...

Неожиданно наверху, где беспрестанно топали сапоги и раздавались голоса, кто-то отчаянно вскрикнул, тишину ночи раскололи выстрелы.

— Тихо! — сказал Хисматулла и поднялся, чувствуя резкую боль в ноге. — Мне кажется, что на улице идет бой...

Он поднялся по лестнице, уперся спиной в крышку, пытаясь отвалить ее, но она была завалена чем-то тяжелым.

— Пахнет дымом, — приюхиваясь, сказал Гайзулла. — Может, там пожар?

— Давайте крикнем все вместе, а то люди могут и не знать, где мы, — предложил Хисматулла. — Помо-о-ги-те-е!..

Они кричали и разом, и по отдельности, до хрипоты и головокружения, но, казалось, их крики глохнут в погребе, как в глухой норе.

Но вот сквозь нарастающие залпы, которые все приближались, они различили топот ног, человеческие голоса, наверху снова загрохотали, отодвигая что-то тяжелое с крышки погреба, и вдруг в его глубину хлынул утренний свет.

— Есть здесь кто? — наклоняясь над черным провалом, закричала Гульямал. — Выходите!

Щурясь от света и отряхивая с себя паутину и землю, все начали по очереди подниматься наверх и тут попадали в объятия Гульямал, которая, плача, обнимала каждого. Тут же стояли и улыбались дружинники, подоспевшие на помощь из Кэжэна.

— Кто из вас Хисматулла? — спросил выпешший вперед светловолосый парень. — Меня послал к вам Михаил, а на полпути мы вот ее встретили, говорите ей спасибо!.. Мы и сами бы могли попасть в засаду, а она нас провела задами, и мы ударили им в тыл...

— А как на приiske? — спросил Хисматулла.

— А мы на два отряда разбились, — тряхнул чубом светловолосый. — Жалко, что самая контра от нас ушла... На лыжи встали и в горы, а лошади там сейчас не пройдут, по грудки тонут. Но ничего, мы по следу за ними пойдем... Лыжи бы вот где раздобыть...

— Найдем! — успокоил его Хисматулла.

В конце улицы показалась окруженная верховыми подвода. По обе стороны ее, держась за разводья развальней, молча вышагивали ребятишки.

Хисматулла вздрогнул, чуть подался вперед — что-то тревожное было в этой медленно движущейся подводе, в неторопливости верховых, в угрюмом шествии мальчишек.

— Кого-то убили, — сказал он, страхась додумать до конца и назвать имя человека, о котором в это мгновение, наверное,

вспомнил не только он один. — Неужели к нему не поспели?

Первым кинулся к подводе Гайзулла, загребая покалеченной ногой снег, за ним маленький и худой Аптрахим, уже кричавший отчаянно и дико:

Уби-и-или! . . Братку убили!

Подскачив к розвальням, Хисматулла откинул тулуп и увидел лежавшего навзничь на соломе Загита — лицо его было серым и бескровным, на плече алело кровавое пятно. Неожиданно он открыл глаза, пошевелил губами.

— Живой! — бросился на колени Акназар. — Браточек мой, живой!

— Гульямал, тащи чистые тряпки, его надо перевязать! — быстро приказывал Хисматулла. — Сейчас же повезем его в Кэжэн, в больницу! .

— Мировой парень! — сказал светловолосый. — Всю ночь один против целой банды бился! И откуда в нем такая сила? Он сейфом дверь прикрыл. Они все изрешетили, а войти не смогли! Он там несколько человек уложил. . . Когда мы ворвались, он уже без сознания лежал, а они все врассыпную! . .

— Так никого и не взяли? — спросил Хисматулла.

— А этого не узнаете бандита? — кивнул светловолосый на человека в полушубке, стоявшего за верховыми с закрученными за спину руками.

— Отдайте его нам, мы над ним свой суд устроим, — сжав кулаки, прохрипел старый Файзрахман.

— Нет, агай, Советская власть никому мстить не будет! — удержав старика за полу камзола, сказал Хисматулла. — Он получит все, что заслужил, без всякого самосуда! . .

VIII

Султангали с трудом расклеил веки и огляделся. Девушки, которая вчера легла с ним рядом в постель, не было, в голове шумело, в горле пересохло.

Морщась, он глотнул кислого кваса из стоявшей на столике кружки, откинулся на подушки и закрыл глаза. Голова кружилась, и он с отвращением вспомнил о вчерашней попойке, о девке, которая не слезала с его колен, пьяные песни, дым, облаком висевший под потолком кабака.

«Крепко, видать, перебрал», — пожевывая, подумал он и привычным движением засунул руку под рубашку. Он тут же вскочил, точно его подбросило пружиной, сел в кровати, выпучив глаза и шаря вокруг себя. Но мешочка с золотом, всегда висевшего на груди, на витом шнурке, не было. Чуть не плача,

жалобно мыча, он обшаривал постель, заглянул под кровать, перерыл все в комнате, но ничего не нашел.

Голова по-прежнему кружилась, толчками подступала тошнота, и, натянув штаны и камзол, он снова хлебнул из кружки, чтобы сдержать дурноту и немного прийти в себя.

Вот уже полгода, как кожаный мешочек, с каждым днем прибавляя в весе, кочевал с ним из дома в дом как в деревне, так и на прииске. Крепкий шнурок, на котором он держался, Султангали сам свил из конского волоса и каждый вечер проверял, не протирается ли кожа, не перетерся ли шнурок. На всякий случай он вдел кожаный мешочек в полотняный, но и это не уменьшило его беспокойства, — чем тяжелее становился мешочек, тем больше боялся Султангали. Пару раз он закапывал его в навозной куче за отцовским домом, но где бы он ни оказывался в конце дня, тревога, что мешочек найдут, начинала так грызть Султангали, что он возвращался в деревню, откапывал свое сокровище и снова прятал на груди.

Когда в мешочке собралось около трех с половиной фунтов, Султангали стали сниться сны: то неведомо откуда появлялись бандиты на лошадях и увозили его мешочек в горы, то Нигматулла, оскалив желтые зубы, одним движением руки срывал мешочек с его шеи и засовывал к себе в карман, то вдруг пропадала огромная навозная куча за домом отца — пропадала бесследно, вместе с мешочком, и Султангали просыпался в жаркой испарине, с дико колотящимся сердцем, весь дрожа, и сразу хватался за шнурок. . .

Султангали стиснул зубы, поднялся и, пошатываясь, держась руками за стены, вышел из комнаты.

Половой Тимоха с остроносом, птичьим личиком и всклокоченными волосами протирал столы мокрой тряпкой.

— Проснулся? — не оборачиваясь, сказал он.

— Где девка? — с трудом выговорил Султангали и облизнул пересохшие губы.

— Какая девка? — деланно удивился половой.

— Как какая? Ты что, не знаешь, что меня вчера хозяйин с девкой свел? — разозлился Султангали.

— Откуда мне знать? — Половой распрямился и, поглаживая усики, затянул потуже широкий пояс. — Наше дело на столы кушанья подавать, а не девок!

— А где хозяйин? — дрожа то ли от злости, то ли от дурноты и стуча зубами, наступал на него Султангали.

— Спит еще, — сухо сказал половой и плеснул из кружки на стол. — Вишь, не оттирается. . .

— Разбуди! — потребовал Султангали.

— Не велели-с, — еще строже ответил половой.

— Разбуди, говорят! — сорвавшись на крик, замахнулся Султангали.

— Видать, лишку хватил парень... — Половой попятился. — Максим Андреич! Максим Андреич, выдь! Тут вас клиент добивается!..

Не в силах стоять, Султангали опустился на лавку и молча устался на дверь. Голова гудела, разламывалась от боли, в глазахплыли зеленые круги.

— Чего тебе? — потягиваясь и сердито буравя «клиента» острыми глазками, отозвался хозяин кабака. Он был одет и чисто выбрит и, по всей видимости, не спал уже давно, несмотря на уверения Тимохи.

— Где мешочек? Где девка? — подымаясь навстречу ему, сжал кулаки Султангали.

— Какой мешочек? О чем ты болтаешь? — пожал плечами Максим Андреич, проходя за стойку и вынимая счеты. — Или не проснулся еще?

— Так вы заодно? Вот как! Ну что ж, тогда я иду прямо к дружинникам или в участок! Отдай сейчас же, не то хуже будет! — захлебываясь от гнева, крикнул Султангали.

— Рехнулся! — спокойно поглядел на него Максим Андреич. — Ничего, бывает... Особо, если накануне от стола к столу походить, еще и не то получится! Иди-ка ты, парень, отсюда подобра-поздорову, пока не выставили!

— Ну, смотри, я отсюда прямо в участок! Так и скажу, что ты нарочно мне девку подсунул, чтоб золото украсть! — задохнулся Султангали.

— Да откуда у тебя, у голодранца, золото? И когда ты здесь каких девок видел? — нахмурился Максим Андреич. — Обсмеют тебя, вот и все дела...

— Отдай!.. — Султангали рванулся и, схватив с конторки счеты, кинул их в кабатчика. — Отдай, шайтан!..

Счеты грохнулись об стену, треснули, и круглые костяшки покатались по полу.

— Тимоха! Зови!.. — сдавленно крикнул Максим Андреич.

Из дверей, ведущих на хозяйскую половицу, тотчас выбежали еще один половой и сын Максима Андреича, худосочный подросток с бледным, угрыстым лицом.

— Уматывайся, пока цел! — прошипел он, поднося кулак к самому носу Султангали, пока половые закручивали ему руки за спину. — Чтoб духу твоего за три версты не было, а то костей не соберешь, голь перекатная!..

Султангали не успел опомниться, как его выкинули из кабака и он зарылся головой в хлипкую весеннюю грязь.

Плача и отплеываясь, размазывая по лицу желтую глину, Султангали погрозил кулаком в сторону кабака и, подняв из лужицы брошенный ему вслед казакин, медленно побрел к площади.

Улицы уже развезло, но по сторонам, у заборов, еще не растаяли рыжие, словно заржавленные, сугробы. Юргашты вскрылась, и треск сталкивающихся, ломающихся, налезавших друг на друга льдин слышен был в любом уголке поселка. На березе неподалеку от конторы суетился возле скворечни юркий скворец — он то влезал внутрь своего домика, то прыгал вокруг него, склоняя голову и внимательно рассматривая, годится ли прежнее жилье для новой жизни.

Султангали поднял с дороги черный, измазанный глиной камень и запустил в птицу. Скворец метнулся от скворечни и закачался на высокой ветке другой березы. Султангали погрозил кулаком, пнул в бок пробежавшую мимо собаку, и та рванулась от него наутек. Султангали засвистел, вложив два пальца в рот, но тут же сплюнул от досады и обиды.

— Ну погодите! Погодите! — неизвестно кому грозя, цедил он сквозь зубы. — Вы еще меня узнаете!

Залитая утренним солнцем площадь была пустынна, лишь во дворе конторы виднелась распахнутая настежь дверь и по-нуро стоявшая у крыльца худая сивая лошадь. Крадучись пройдя вдоль забора, Султангали прошмыгнул к конторе и, полусогнувшись, замер под окнами.

— Дела, как видишь, плохи, — донесся до него из открытой форточки голос Хисматуллы. — Все сбежали, ни инженеров, ни десатников, ни штейгеров — ни одного специалиста! Хотели найти расчетные книги о залежах, все шкафы перерыли, — так черта с два! Лучшие шахты водой затопило, в третьей и восьмой шахтах на той неделе вредители оборудование взорвали, — словом, ничего не налаживается! О продуктах я уж не говорю — два раза за мукой подводы посылали, и каждый раз осечка, бандиты раньше нас поспевают. . . Люди изголодались, ничего не могут понять, никого не хотят слушать. Уже несколько раз приходили и требовали разделить золото. . .

— Да, нелегко вам тут приходилось, пока я отлеживался, — отозвался высокий молодой голос, и голос этот показался Султангали знакомым. Он привстал на цыпочки и осторожно заглянул в окно.

За столом, боком к нему, в кожаном напышевском кресле сидел Хисматулла; напротив него примостился на стуле Загит.

Султангали присел под окном и, внимательно поглядывая на площадь — не идет ли кто, продолжал слушать.

— Рука болит еще? — спросил Хисматулла.

— Так, пустяки! — небрежно ответил Загит.

— Я потому тебя спрашиваю, что хочу тебе одно дело поручить. Серьезное дело, ответственное. И не от своего имени, а от имени Кэжэнского ревкома. . . Хотел было дать тебе отдохнуть, да вот не выходит — Михаил говорит, что надежнее тебя человека нет. . .

Султангали насторожился, стараясь не пропустить ни слова.

— Опасное? — спросил Загит.

— Да, очень опасное.

— Что надо делать?

— Увезти отсюда золото из сейфа и сдать в Уфимский государственный банк. Там пока наши стоят. Пробирайтесь горами и лесом, на большую дорогу не выходить, в деревнях не останавливаться, ну, и, конечно, никому ни слова. До Кэжэна отсюда дам тебе трех проводников, а там ревком даст отряд дружинников.

— Когда ехать? — Голос Загита был ровным и спокойным.

— Чем быстрее, тем лучше, — вздохнул Хисматулла. — Сам понимаешь, положение сейчас у Советской власти тяжелое, англичане и американцы все еще в Мурманске, на Дальнем Востоке японцы наступают, на местах свои банды, а каждая крупинка золота — это винтовка или хлеб... Эх, прииск стал! Я бы сейчас эту землю проклятую своими руками бы рыл!..

— Одними руками не много нароешь, — рассмеялся Загит. — Да подожди, может, еще наладится... Вот сойдет лед, и все в порядке будет, увидишь!

— Зря ты так думаешь, — покачал головой Хисматулла. — Наоборот, прибавится заботы...

— Почему? — удивился Загит.

— Разбредутся все, на золотые места пойдут...

— Вот и хорошо! Добудут золото — нам сдавать станут, — уверенно сказал Загит.

— Нам сдавать? — В голосе Хисматуллы послышалась горькая усмешка. — Нет, они свое золотишко каждый по отдельности на хлеб и одежду менять будут! Нам-то сейчас им продавать нечего, вот какая штука! Да и сил меньше станет, когда старатели разойдутся, боюсь, что даже дружинники на заработки пойдут, — жрать-то нечего! Вот тут и заявятся гости — и Нигматулла, и Хажисултан, прилетят стервятники, свистеть не надо!

— А сейчас они где?

— Да я слышал, возле Верхнеуральска стоят, а может, и ближе... Так ты когда двинешься, завтра, послезавтра?

— Чего там завтра, лучше сейчас! — ответил Загит.

— Ай, молодец! — обрадовался Хисматулла. — Так я побегу, скажу Зинатулле, чтоб арбу запрягал!..

Султангали тихо, на цыпочках, отошел от окна и, выйдя за ворота, опрометью бросился обратно к кабаку, возле которого уже кучками толпились старатели.

— Грабят! — что есть мочи орал он, хватаясь то за одного, то за другого старателя. — Золото из железного ящика увезти хотят! Скорее, а то уже грузят!..

— Кто грузит? — схватил его за плечи коренастый рыжебородый мужик.

— Кто-кто! — шмыгнул носом Султангали. — Хисматулла, вот кто!..

— Хисматулла? Хуснутдинов? Да ты не врешь ли?

— Не веришь — поди погляди, говорю, грузят уже!.. — обиженно скривился Султангали.

Ворота конторы неожиданно оказались заперты изнутри. Подбежавшие старатели стали изо всех сил колотить кулаками по доскам.

— Вот видите! Что я сказал? Зачем им иначе запирается? — торжествующе кричал Султангали.

Народу прибавлялось. Заслышав шум, от шахт и вашгердов сбегались люди — кто с кайлой, кто с лопатой.

— Да чего там цацкаться! Ломай ворота! — крикнул рыжебородый.

Затрещали под ударами толстые доски. Старатели били по воротам с размаху, сильно и зло, с мрачными, решительными лицами.

— Слева вдарь! Слева, там уже поддается! — подзадоривал Султангали.

— Совсем с ума посходили! — закричал подоспевший Кулсубай. — Нельзя разве перелезть через забор и открыть?

— Окружить надо, чтоб не сбежали, — подал голос Сафуан.

Султангали перемахнул через забор, ворота распахнулись, и старатели толпой ворвались во двор. У крыльца стояла пустая арба, запряженная сивой лошадкой, возле нее, устилая дно соломой, топтался Зинатулла. На крыльце, прислонившись к перилам, стоял Хисматулла.

Старатели молча окружили высокое крыльцо.

— Что же вы? Хватайте его! — указывая на Хисматуллу пальцем, истошно вопил Султангали. — Там еще с ним этот выродок Загит, они вместе хотели золото украсть!..

— Вот почему ты нам разделить его не давал, хотел все себе прикарманить! — шагнул вперед рыжебородый.

Толпа загудела.

— Постой, — Кулсубай положил руку на плечо рыжебородому. — Тут надо разобраться...

— Чего там разбираться? — пожал плечами Сафуан. — Дело ясное! Мы сидим голодные, а он только болтает — все для бедняков, все для бедняков, а сам решил золото русским отдать!

Рыжебородый рванулся вперед, но из-за спины Хисматуллы тотчас выступили дружинники и, загородив его собой, выставили вперед винтовки.

Люди притихли, попятились. Маленькие темные дула винтовок выглядели внушительно.

— Вот как, в своих стрелять хочешь? — насмешливо глядя на Хисматуллу, протянул Сафуан. — Где же твое хваленое равенство? Как захотелось самому золотом попользоваться, так, значит, враз и о бедняцких нуждах забыл?

— Я не знаю, кто вас опять сбил с толку, но вряд ли это друг Советской власти, — тихо сказал Хисматулла. — Я никому из вас ничего, кроме добра, не хочу...

— Хватит говорить; вот где у меня уже твоя болтовня сидит! — показал на горло рыжебородый. — Дели золото!..

— Эх, была бы у меня винтовка, он бы у меня сейчас навсегда заткнулся! — злобно прошипел Султангали.

— Дели золото! Дели на всех! Одни обещания!.. — зашумели старатели.

— Поделить всегда успеем, дайте сказать человеку! — выступил вперед Кулсубай. — То, что он золото для себя украсть хотел, — вранье и ничего больше! Я его знаю, ему хоть силой давай — не возьмет, не такой человек! Небось в Совет хотел сдать. Если хочет, пусть говорит! Все равно он у нас в руках, не отвертится!

— Ты прав, Кулсубай, мне золото ни к чему, — кивнул Хисматулла. — Золото Советской власти нужно, поэтому раздать его вам я тоже не имею никакого права. Если мы его сейчас разбазарим, значит, Красная Армия, которая сейчас воюет за счастье всех бедняков — и русских, и башкирских, — останется без оружия и продовольствия, значит, баям и буржуям будет легче справиться с нашими силами! Нельзя думать только о себе... Вы думаете, мне не хочется хлеба или хорошей одежды? Вы думаете, большевики и коммунисты не такие люди, как вы? А ведь они не жалуются, только животы подтягивают. Надо думать не только о прииске, но обо всей стране, потому что если мы по всей стране врага не победим, то и на прииске установятся старые порядки, а может даже и хуже, чем раньше... Неужели вы этого не понимаете? Давно уже пора знать, кто враг, кто друг, а вы то одних, то других слушаете, из стороны в сторону кидаетесь! — В голосе Хисматуллы звучала горечь, усталые глаза медленно скользили по лицам старателей.

— Да кто вас всех разберет, — смущаясь, неопределенно махнул рукой рыжебородый. — Прискакал этот парнишка, кричит: «Грабят...»

— Вот видите, вас может сбить с толку любой мелкий ворюшка и жулик!

— Я не жулик! — взвизгнул Султангали. — Я к тебе в карман не лазил... Сам вор, если наше золото хотел увезти!..

— Золото башкирскому правительству сдать надо! — крикнул Сафуан. — У нас должно быть свое правительство, и золото принадлежит ему!..

— Решайте сами,— вздохнул Хисматулла.— Хотите, чтоб бая снова вам поперек глотки стояли — айда, хоть делите, хоть отправляйте... Кому только? Правительство это буржуйское разбежалось, по лесам с бандами кочует. Хотите бандам золото передать, чтоб они потом за счет этого же золота в нас стреляли,— передавайте. Я хотел, как лучше, не только для вас, а для всех...

— Чего ж тогда тайком убежать хотел? — насмешливо прищурился Сафуан.

— Не хотел я никуда бежать,— мотнул головой Хисматулла,— Что бы ни случилось, я буду тут, вместе с вами, как поставил меня ревком...

— Что ж делать будем, братцы? — растерянно сказал рыжебородый.— Ты как думаешь, Кулсубай-агай?

— Я думаю, подождем,— ответил Кулсубай.— Золото пока пусть на прииске остается, нечего его сдавать. Подождем, посмотрим, время само покажет, что с ним делать!..

— Правильно! — поддержал его худой оборванный старатель.— Пока никому доверять нельзя, пусть здесь лежит. И охрану назначим свою, а то он,— старатель показал на Хисматулла,— пожалуй, все украдет для этой своей Советской власти...

Охрану назначили в тот же день. Человек двадцать старателей собрались во дворе конторы с вилами, топорами и дубинами. Дружинники охраняли сейф с золотом, старатели — дружинников.

IX

Хисматулла вышел во двор и прищурился — солнце слепило глаза и парило всюду. Ветер клубил пыль по дороге. Перевешиваясь через плетень, тяжело махал цветущими ветками куст жимолости.

— Слышь, как пахнет? — обернулся Хисматулла.

— Что? — не расслышала Сайдеямал.

— Жимолость, говорю, пахнет!

— К дождю,— покачала головой Сайдеямал.— И то хорошо — огород польет... Ты что сегодня, опять на прииск?

— Наверно,— неопределенно ответил Хисматулла.

Он свернул сигарку и присел на крыльце. Солнце припекало голову и плечи. Хисматулла растянул выгоревшую гимнастерку и затынулся. День обещал быть хорошим.

Далеко впереди, на дороге, ведущей от прииска, показалось желтое облачко пыли.

«Кто же это так скачет?» — повернувшись и подставив солнцу спину, подумал Хисматулла.

Все последние дни он жил беспокойно, хотя мог бы быть доволен, что сумел наконец выполнить указание ревкома и переправить приискковое золото в Кэжэн. Он ждал почти три месяца, ждал, когда старателям надоест держать охрану и они снимут ее, чтобы можно было погрузить все золото в кожаные мешки, а около пустого сейфа по-прежнему с утра до ночи держать часового. Вернувшийся вчера из Кэжэна Гайзулла рассказал, что Загит довез мешки благополучно и что ревком выделил ему восемь дружинников для охраны, и Хисматулла вздохнул с облегчением. Конечно, ему предстояло, если вдруг обнаружится пропажа, объясняться с Кулсубаем и старателями, но это уже не страшило его. Хранить золото на прииске с каждым днем и часом становилось опаснее...

Облачко стремительно приближалось, уже виден был пригнувшийся в седле всадник, слышен дробный перестук копыт по закаменевшей от жары дороге. Что-то знакомое почудилось Хисматулле в этой клонившейся к луке седла фигуре, и, привстав на крылечке, он уже знал, что этот верховой мчится к нему. Так мог гнать коня только тот, кто спешил с тревожной вестью...

Это был Зинатулла, и Хисматулла рванулся навстречу, едва тот свернул к воротам.

— Из Кэжэна пришлось срочно бежать! — хрипло выдохнул Зинатулла, лишь осадив коня и не вылезая из седла. — Там казаки!..

— А где же Загит со своим грузом?

— Ревком велел ему скрываться, и мы отошли пока в лес. Вот он и прислал меня, чтобы вы знали, что он думает податься на Бишитэк... Меня он будет ждать у хутора Федулки!

— Никто за вами не следил? Хвост за собой не водите?

— Да там, по всему видать, не до нас, и пока не хватятся, что золота в сейфе нет, никакой погони не будет... Лишь бы мы верное место нашли... Сюда тоже казаки идут, вам уходить надо! Я лесной тропой пробирался, а они прямо по дороге прут... Песни орут, пьяные, наверно...

— Так. — Хисматулла задержал взгляд на потном и красном лице Зинатуллы, чувствуя, как все начинает дрожать в нем от волнения. — Значит, так... Передай Загиту, чтобы на хутор не заходили, а шли через Бишитэк... Я соберу всех наших, и мы выйдем навстречу, держаться будем речки...

— В случае чего — выдели связного, пусть он ищет нас...

— Хорошо, трогай! Будь осторожен... Смотри, сам не попадись казакам!

Зинатулла чуть привстал на стременах, покрутил ременной плеткой, и конь пошел наметом вдоль улицы, скрылся в облаке пыли.

Солнце припекало все сильнее, все так же одуряюще пахло жимолостью, словно за эти несколько минут ничего не произошло — не приезжал Зинатулла, и не нужно было торопиться и уходить из родной деревни.

Хисматулла прошел в дом, снял с деревянного крюка винтовку, подумал, решительно вытащил из-под нар котомку, нацепил на пояс кобуру с пистолетом, достал две круглые, в шестигранных дольках гранаты, подержал, словно взвешивая, в руках, сунул в широкие карманы.

Сайдеямал усердно хлопотала над самоваром и даже не обратила внимания на его сборы.

— Я пойду, мать,— сказал Хисматулла.

— Куда это ты собрался? — Сайдеямал подняла глаза, и лицо ее тотчас застыло в тревоге.

— Дутовцы идут, мама! Только не говори пока никому!

— Хорошо, сынок,— сжав руки на груди, прошептала Сайдеямал.— В лес?

Хисматулла кивнул и вышел. Во дворе навстречу ему метнулся Аптрахим:

— Солдаты идут!.. Уже на прииске! — Лицо мальчика было бледно, он задыхался от беге, на лбу выступили крупные капли пота.

— Много?

— Много... — Аптрахим задумался.— Если три Сакмаева вместе сложить, то, наверно, столько будет... И Нигматулла-агай с ними!..

— Слушай-ка, парень! — Хисматулла взял его за плечи.— Дуй отсюда к Акназару, пусть все дружинники бегут на площадь, прямо с винтовками... И харч с собой прихватят!

— Ладно.— Парнишка мотнул головой, но продолжал стоять.— Хисматулла-агай, возьмите меня с собой...

— Куда?

— В лес... Я вас не подведу, я буду делать все... Вы не пожалеете, или пусть меня накажет аллах!

— Нет, это будет тебе не под силу,— Хисматулла покачал головой.— Мы еще сами не знаем, куда и как мы будем пробираться... Давай в другой раз...

— Вот и Загит тоже всегда говорит — потом... А я тут жить не буду! Не буду! — крикнул Аптрахим и, чуть не сбив с ног входившую во двор Гульямал, во всю прыть припустил по улице.

Гульямал подходила к крыльцу, и по ее глазам Хисматулла понял, что она уже все знает.

— Скорее! Скорее!.. — задыхаясь, проговорила она.— Шахмет привел на прииск человек двести... Куда вы сейчас?

— Пока мы отступим в лес.— Хисматулла обнял мать и,

взяв Гульямал за руку, вышел за ворота. — Ты останешься пока здесь...

— Зачем? Я лучше пойду с тобой... Мне с вами будет легче!

— Ты должна остаться хотя бы до ночи тут. — Он почти бежал к площади, и она торопливо ловила на ходу его слова. — Ты женщина, и они тебя не тронут... Если не явится связной, тогда ты уйдешь к Загиту и передашь, куда пошли мы... Он до утра простоят на хуторе Федулки...

Не успела Гульямал опомниться, как Хисматулла порывисто притянул ее к себе, прямо чуть ли не на глазах собравшейся на площади дружины, и поцеловал.

— Береги себя... И помни — я буду тревожиться за тебя!.. Я ведь такой женщины, как ты, еще не встречал...

Она смотрела ему вслед, и в глазах ее стыли слезы.

... А через час легким аллюром в Сакмаево въезжали казаки. Покачивались черные папахи, звякали стремяна и уздечки, маячили дула винтовок, эхом отзывался в горах глухой топот копыт, точно гнали через деревню тысячный табун диких лошадей.

Площадь быстро опустела, люди попрятались по домам, и если бы не мулла, встречавший у мечети казаков низким поклоном, могло показаться, что деревня навсегда брошена ее жителями...

Казаки спешили у дома Хажисултана, живо рассыпались по дворам, и сразу послышались сухие щелчки выстрелов, заревела выведенная из сараев и клетей скотина, в голос завывали бабы, тоненько и обиженно заплакали дети. Плач, грохот, звон разбиваемого стекла, мычание скотины, испуганное блеяние коз и овец, крики — все слилось в один истошный стон насилия и беды...

Из каждого дома одного за другим выволакивали мужчин, не щадили даже древних стариков, которые не могли идти уже сами, их хлестали нагайками, разбивали в кровь им лица, а потом ставили связанных у плетней. За мужчинами, надрывно рыдая, бежали женщины, хватали карателей за руки, молили о пощаде, но их грубо отпихивали и пинали сапогами, и они падали в пыль дороги, молодые и старые, с растрепанными косами.

Вдоль улицы на вороном жеребце, вглядываясь в лица однопосельчан, медленно ехал Нигматулла в офицерском кителе, с нагайкой в руке. Время от времени он указывал на кого-нибудь, и обреченного, подталкивая прикладами, тотчас вели к его дому.

— Файзрахмана взяли, — охнула Бибисара, прижавшись к Гульямалу. — Не могу я, не могу на это смотреть...

Гульямал приподняла голову и осторожно взглянула поверх обмозанного глиной плетня.

На площади сбились в кучу коровы и овцы, тревожно ржали лошади. В пыли у крыльца мечети узлами лежало награбленное добро. Не обращая внимания ни на что, молодой казак с густыми черными, сросшимися у переносья бровями, улыбаясь, тащил за собой упиравшуюся девушку.

Гульямал снова пригнулась и обняла плачущую Биби-сару.

Ближе к вечеру стрельба и крики затихли, только безутешно плакали и причитали по дворам женщины. Гульямал задумавшись вышла к реке и осторожно, вдоль плетней, стала пробираться к лесу.

— Стой! — резко окликнул ее чей-то голос.

Гульямал, не оглядываясь, побежала.

— Стой, стрелять буду! — крикнули снова.

Щелкнул затвор винтовки. Гульямал упала в траву и попыталась было пролезть в дыру под плетнем, но казак потянул ее за ногу и, встряхнув, поставил перед собой.

— Куда бежишь? — строго спросил он. — Почему бежишь? Ну-ка, идем к начальнику, там разберутся, что ты за птица!

Гульямал покорно пошла впереди.

«Дура, зачем я ночи не дождалась!..» — ругала она себя.

Свернув на улицу, она увидела кучку солдат, в центре которой, держась рукой за разбитую голову, стоял Киньябулат. Невдалеке скорчился над травой бледный как полотно Аптрахим — его тошнило.

— А ну, расступись! — крикнул Шаяхмет, раздвигая казаков. — Сейчас я покажу, как я метко стреляю!

Он отошел на несколько шагов и вскинул винтовку.

— Не надо! — хрипло вскрикнул Аптрахим.

Шаяхмет, не опуская винтовки, пошатнулся и, прислонившись спиной к забору, выстрелил. Киньябулат пошатнулся и беззвучно, как мешок, ткнулся в пыль.

— Зве-ерь! Зверю-юга!.. — зарыдал Аптрахим.

— Замолчи, шавка! — лениво опустил винтовку Шаяхмет. — Кто там следующий?

Гульямал шла прямо на него, но он не замечал этого, напряженно следя, как выволакивают из сарая очередную жертву.

— Лучше бы тебе не родиться! — остановившись, громко сказала Гульямал и плюнула прямо в глаза Шаяхмету.

— А ну, ставь ее! — завопил Шаяхмет, отирая лицо. — Хотя стой, просто убить — это для нее, пожалуй, мало, да и Нигматулла-агай небось не против с ней поговорить! — вдруг рас-

хохотался он. — Ты куда ее ведешь? Веди прямо к Нигматулле, он тебе за эту суку мешок золота отвалит, не меньше! .. Или нам сначала с ней в сарае побаловаться?

— Не смей! — кинулся на него Аптрахим. — Слышишь? Если ты это сделаешь, я тебя убью! ..

— Щенок! Молчи, когда говорят старшие! — оттолкнул его Шаяхмет. — На тебя, щенка, и патрона истратить жалко, а то бы ты у меня уже не пищал! .. — Он задумался на мгновение и махнул рукой: — Ладно, веди сначала к Нигматулле!

Во дворе у Нигматуллы сидели рядом на бревне Хажисултан и Хажигали.

— Поймали? — Увидев Гульямал, Нигматулла поднялся и подошел к ней. — Где Хисматулла?

— Не знаю. . .

— погоди, я тебя заставлю говорить! — Он ударил ее ладонью по лицу. — Ведите ее пока в погреб, я попозже допрошу ее. . .

Едва Гульямал вышла за ворота, как к ней бросился заплаканный, дрожащий Аптрахим.

— Отпустили? — спросил он.

— Нет, в погреб ведут, — вытирая кровь с разбитой губы, тихо ответила Гульямал.

— Я тоже с тобой! — схватив ее за руку, сказал Аптрахим.

— Ты с ума сошел! Иди сейчас же домой!

— Да пусть идет, если хочется! — хохоча, подтолкнул ее казак.

Погреб, куда собрали жен всех дружинников, был тот самый, где когда-то дожидался своей участи Хисматулла и его товарищи. Он был так набит, что едва можно было найти место, чтобы присесть. Аптрахим опустился рядом с Гульямал, положил голову ей на колени и тут же уснул. Справа от Гульямал, монотонно раскачиваясь и вглядываясь в темноту сухими, блестящими, неподвижными глазами, сидела дочь Файзрахмана Сабира. Камзол на ней был разорван, на лице и руках виднелись ссадины и кровоподтеки.

— Поплачь, — тихо тронула ее за плечо Гульямал. — Поплачь, легче будет. . .

Девушка, не слыша ее, продолжала так же монотонно раскачиваться.

Во дворе то и дело слышались выстрелы. Время от времени крышка погреба открывалась, и вниз сталкивали новых арестованных.

Поздно ночью крышка снова открылась, и вниз спустили ведро воды и буханку хлеба. На мгновение при слабом свете лампы женщины увидели мальчишеское, безусое лицо под папавой.

— Только никому ни слова! — прошептал казак. — Если узнают — хана мне!

— А ты откуда сам будешь, сынок? — ласково спросила Сайдеямал.

— Меня на соседнем хуторе взяли, — помедлив, ответил казак.

— Дай аллах здоровья твоей матери и всем твоим близким! — поблагодарила его Сайдеямал. — Много грехов тебе простится за это...

— Ладно! — махнул рукой казак. — Утром, если смогу, еще достану!..

Крышка снова захлопнулась. Всю ночь Гульямал просидела почти неподвижно, на одном месте, дрожа от холода и сырости, несколько раз принималась плакать, прощаясь то с Хисматуллой, то со всем белым светом. Кашляла во сне Сайдеямал, все так же раскачивалась Сабира, вздрагивал Аптрахим, как тяжелобольные, стонали и вскрикивали женщины, плакали дети.

Утром, едва в щелях между досками пола забрезжил свет, крышка открылась.

— Где там Гульямал? — наклонившись, крикнул Султангали. — Казаки девок просят!

— Это ты брось! — ответил ему резкий, ломающийся голос казака, стоявшего на посту у погребка. — Нечего над бабами измываться!

— Да ты знаешь, кто меня за ней послал? Сам Нигматулла-агай!

— Он еще вчера на прииск уехал, что ты врешь? — возразил казак.

— На прииск ее и поведут! — сердито сказал Султангали. — Эй, шлюха, долго я тебя ждать буду?

Гульямал побледнела.

— Храни тебя аллах, доченька! — прошептала Сайдеямал, обняв ее.

Аптрахим молча вылез вслед за Гульямал.

— А ты здесь откуда? — удивился Султангали. — Или, может, ты уже такой взрослый, что стал за бабьи юбки хвататься?

— Я с ней пойду, — утрюмо отозвался Аптрахим.

— Видали теленка? — усмехнулся Султангали. — Иди, иди, сосунок, увидишь, что с твоей Гульямал сделают!

— Много ума не надо, чтобы с бабами воевать! — сплюнул казак. — Ты сам еще сосунок, а туда же...

— Да разве это баба? Даже мулла говорит, что она оборотень, шайтан в юбке! — Султангали рассмеялся. — Таких баб раньше каленым железом жгли да в реках топили. А ну, пошла! — Он вскинул винтовку и ткнул дулом в спину Гульямал. — От меня не сбежишь, гадюка, даже не думай!

По всей деревне видны были следы погрома. Прямо на улице валялись деревянные миски, тряпье, самовар с отломанным краном. У дома Файзрахмана лежала на спине седая женщина с остекленевшими, мертвыми глазами, крепко сжимая в руке пучок выдернутой с корнем травы.

— Тетя Халима, ее вчера днем убили, — отвернувшись, сказал Аптрахим.

— Иди, не разговаривай! — прикрикнул Султангали.

— Ага, бессовестная! — выскочив за ворота и потрясая кулаками, заорала жена муллы. — Допрыгалась? Будешь знать, как неверным ляжки показывать и порочить Хажисултана и моего Гилмана!.. Будешь теперь на том свете в смоле гореть за свой длинный язык!

Гульямал даже не повернула головы, чтобы бросить взгляд на Рамзию, словно не ее, а кого-то другого позорила жена муллы, и та опешила от такого бесстыдства и попятилась за калитку.

Султангали не успел вывести Гульямал и Аптрахима на дорогу, ведущую на прииск, они добрались только до кладбища, когда в деревне вдруг застрочил пулемет, и отсюда, со взгорья, было видно, как прыгали в седла казаки и покидали Сакмаево.

— А ну поворачивай назад! — испуганно скомандовал Султангали. — Живо! Кому говорят?

Всю дорогу до деревни опторпил Гульямал и Аптрахима, чуть ли не бежал, только у окраинных домиков шаг его стал осторожней и медленней.

И улица, и площадь у мечети были пустынные.

— Странно, — сам себе сказал Султангали.

Он сделал еще несколько шагов в сторону дома Нигматуллы.

— Стой, не ходи! — отчаянно махая руками, закричал высунувший голову из-за плетня казак.

В ту же минуту из-под крыши дома Нигматуллы снова застрочил пулемет. Пули взрыли пыль у самых ног Султангали.

Гульямал метнулась в сторону и прижалась к забору, таща за собой Аптрахима. Султангали, бросив винтовку, побежал к мечети. Пулемет умолк.

Солнце безмятежно плыло в вышине, терпко пахло жимолостью. С минуту в деревне стояла тишина, потом послышался вдали бешеный конский топот, и казаки с винтовками наперевес ворвались на площадь. Впереди, размахивая нагайкой, мчался Нигматулла.

Пулемет застучал опять. Пулеметчик явно метил в Нигматуллу, но пули только взрывали вокруг желтую пыль.

— Окружить дом! — приказал Нигматулла.

Солдаты в обход пробрались во двор, но приблизиться к крыше, где засел пулеметчик, никто не решался. В доме от окна к окну металось белое лицо Нафисы.

— Сдавайтесь! — крикнул Нигматулла. — Все равно долго вы там не продержитесь! Я же знаю, там у меня патронов — раз-два, и обчелся!..

В ответ на это из-под крыши раздался одинокий винтовочный выстрел, и казак, неосторожно выглянувший из-за плетня, застонав, повалился на землю.

— Что ж, придется ждать, пока не кончатся патроны, — с досадой сказал Нигматулла.

Неожиданно на крыше дома появился человек. Бросив винтовку вниз, он стал быстро спускаться по лесенке во двор.

— Да это Шарифулла! — ахнул Нигматулла.

Волосы Шарифуллы были всклокочены, сквозь лохмотья просвечивали голые руки; на груди, позвякивая, по-прежнему висели жестяные побрякушки.

Старик не добрался до земли, когда во двор на всем скаку влетел Нигматулла и схватил Шарифуллу за волосы. Но тот каким-то чудом удержался на лестнице, сделал рывок вверх и прыгнул, как рысь, на Нигматуллу, и они покатались вниз, на землю. Никто не вмешивался в эту драку, словно люди давали возможность Нигматулле самому отомстить старику за все. Неожиданно Шарифулла вывернулся из-под грузного десятичника и в руке его сверкнул нож. Он всадил его в ногу Нигматулле и прохрипел:

— Вор!.. Ты обокрал меня! Вор!..

Не целясь Нигматулла выстрелил из нагана, и старик упал на колени, покачался мгновение, как на молитве, и упал навзничь, разбросав руки, словно хотел обнять землю.

— Не та собака, которая лает, — морщась от боли, сказал Нигматулла, — а та, которая дожидается своего часа, чтобы укусить тебя... Нафиса!

Жена выскочила на крыльцо, рвала на ленты белую простыню, чтобы перевязать рану.

— Где Султангали? — спросил Нигматулла. — Пусть приведут ко мне Гульямал, как я велел!..

Однако ни Гульямал, ни Султангали не нашли, хотя обегали и обшарили всю деревню.

Бледнее от бешенства и бессилия, Нигматулла гонял всех от хутора к хутору, от прииска до деревни, выставил на больших дорогах дозоры и посты, но все было безуспешно. Поиски ни к чему не привели — не удалось напасть на след Загита, скрывшегося с мешками золота, ни отыскать отряд Кулсубая, покинувшего прииск перед приходом дутовцев, ни дружину Хисматуллы. Они словно провалились сквозь землю.

Небо затянуло серыми тучами, стало быстро темнеть. Судорожно вспыхивали белые молнии, гулким эхом отдавались в горах раскаты грома.

На лоб Хисматулле упала капля, другая, он поежился и зашагал быстрее.

— Может, малость передохнем? — догнав его, спросил Акназар.

— Чуть подальше, вон у той скалы, — не оборачиваясь ответил Хисматулла. — А то здесь очень открыто. . .

Капли забрызгали чаще, застучали по листьям, и вдруг зашумел в ветвях дождь, по усталым грязным лицам потекли струйки воды, сапоги и лапти начали хлюпать.

Уже пять дней продвигался в лесу маленький отряд. Время от времени останавливались на короткую передышку, высылали вперед разведчиков, чтобы не натолкнуться на засаду, и шли дальше. Хисматулла вел отряд, минуя большую дорогу, обходя стороной хутора и деревни, держась около болот, топей и густых зарослей. Наспех захваченной еды хватило дня на три, на четвертый Акназару удалось подстрелить двух уток, а ночью Гайзулла принес полмешка свежей картошки, пробравшись в огород одного хутора. Ели ягоду, жевали щавель, выкапывали луковицы сараны, но с каждым днем слабели и чуть не падали от изнурения и усталости. Но никто не роптал и не жаловался, потому что все хорошо знали, что в Верхнеуральске стояли дуповцы, железная дорога была захвачена чехами. Обсуждая на привалах свое положение и споря о том, куда им идти дальше, в конце концов решили пробиваться на Белорецк. На этом пути можно было соединиться с каким-нибудь другим отрядом или случайно связаться с Кулсубаем, отряд которого тоже плутал где-то в этих же лесах.

Шли днем и ночью, под уханье филинов и монотонное рыдание сов. Измученные люди старались не поддаваться сну и усталости. Хуже всего приходилось Гайзулле — нога у него сильно болела, на привалах он растирал ее, но хотя хромал с каждым днем все больше и больше, отказывался сесть на одну из трех лошадей, прихваченных дружинниками из Сакмаева.

— Раз все идут своими ногами, чем я лучше других? Покамест обойдусь, — говорил он, упрямо мотая головой.

Дойдя до скалы, остановились. Гроза прошла, но небо не очистилось, и мелкий дождь продолжал моросить до самого вечера. Посланный в разведку Ягуда-агай все не возвращался, и Хисматулла уже начал беспокоиться. Люди, кое-как пристроившись на мокрой, скользкой траве, старались подремать хоть несколько минут,

— Опять пророк за шайтанами гоняется, — вздохнул, глядя на дальние всполохи, Усмангали.

— Как это? — заинтересовался Гайзулла.

— А так, очень просто — сидит в арбу и гоняется, пока не пзлупит всех до одного! Когда гром — это его арба по камням стучит, а когда молния — это он плеткой взмахивает. . .

— Какие же там камни, в небе? Почему они тогда вниз не падают? — удивился Гайзулла.

— Дурак ты, тебе и рассказывать ничего не стоит, — обиделся Усмангали. — На небе камни легче воздуха, понял?

— А почему же тогда молния не в шайтана попадает, а в человека или в дерево? — продолжал допытываться Гайзулла.

— Потому, что шайтан от плетки обычно в пустом дупле прячется, а иногда, не разобравшись, если какой-нибудь шалопай, вроде тебя, рот сдуру раскроет, в человека забирается, понял? Так что смотри, зря рта не разевай! — Усмангали расмеялся.

Приближалась ночь.

Послышался треск веток, вспорхнула с куста черноголовая синичка.

— Кто идет? — вскинул винтовку Усмангали.

— Свои! — откликнулся Ягуда-агай.

— Наконец-то! — вздохнул Хисматулла. — Я уж подумал, не заблудился ли ты, часом. . .

— Еще чего! Что я, малайка¹ какой-нибудь? — сердито отозвался Ягуда-агай. — Поднимай людей, я отряд Кулсубая нашел!

— Правда?! — обрадовался Хисматулла. — Много там людей?

— Человек двести, пожалуй, — подумав, ответил Ягуда-агай.

Обогнув покрытую лиственницами гору, спустились к небольшой речушке, перешли ее и снова углубились в лес. Дождь перестал, однако ночь не стала светлее, а в лесу стояла такая темень, что люди шли почти ощупью.

— Далеко еще? — спросил Хисматулла.

— Я вас в обход, мимо деревни, веду, — пояснил Ягуда-агай. — А то, знаешь, как говорят: вода близко, да гора склизка!

Скоро в воздухе запахло дымом.

— Неосторожно себя ведут. . . — затревожился Хисматулла.

— Да в такую ночь даже филин спит, ни зги не видно! — отозвался Ягуда-агай.

¹ М а л а й к а — мальчишка,

Впереди, на самом краю оврага, открылся костер и копошащиеся возле него черные фигурки людей. Красные отсветы падали на стволы деревьев.

— Стой! — крикнул внезапно выросший из кустов часовой.

— Да это мы, сакмаевские! — рассмеялся Ягуда-агай. — Встречайте гостей!

Старатели повскакали с мест и с радостными возгласами окружили сакмаевцев.

— А где Кулсубай? — спросил Хисматулла.

— Лошадей кормит! — ответил часовой. — Вон там...

Хисматулла оставил своих и пошел туда, где на полянке стояли стреноженные лошади. Кулсубай привязывал одной из них торбочку с овсом.

— Здравствуй, агай! — хлопнул его по плечу Хисматулла. — Как я рад, что мы вас нашли! Вместе легче будет, правда? ..

Кулсубай, не глядя на него, передернул плечами и перешел к другой лошади.

— Ты что, сердился? — удивился Хисматулла.

— Ни стыда у человека, ни совести! — как бы ни к кому не обращаясь, процедил Кулсубай. — Увел у меня из-под носа золото, а теперь спрашивает, сержусь ли я? Я сержусь, что мне людей кормить скоро будет нечем! .. И все из-за тебя!

— Мне тоже людей кормить нечем, — тихо ответил Хисматулла. — Ты же знаешь, я это золото не для себя берег...

— Знаю, знаю! — раздраженно крикнул Кулсубай. — Что мне толку, что я это знаю? Что ты ходишь вокруг меня, что ты мне зубы заговариваешь, как курээ¹? Обвел вокруг пальца, а теперь насмехаешься?!

— Я не для себя это сделал, агай, — повторил Хисматулла.

— Какая мне разница, для кого? — повернулся к нему Кулсубай. — Разве ты не обещал, что без нашего согласия не притронешься к золоту?!

— Медлить больше было нельзя, — объяснил Хисматулла. — Сам подумай, если б я его не отправил, оно сейчас было бы в руках у дутовцев!

— А я еще не знаю, что лучше — твоя Советская власть или дутовцы! — заносчиво вздернул голову Кулсубай. — Мне говорят, что дутовцы за наше башкирское правительство стоят, а твоя Советская власть — за одних русских!

— Кто тебе такого наговорил? — тоже начиная злиться, повысил голос Хисматулла. — Неужели ты не знаешь, что делают дутовцы в наших деревнях? Что они не щадят ни женщин, ни стариков, ни детей? ..

¹ Курээ — знахарь,

— Я с тобой не про это, я с тобой про золото из сейфа говорю! — все больше распалялся Кулсубай. — Если б оно сейчас с нами было, мы, по крайней мере, не голодали бы! . .

— Пока патроны есть, можно дичь стрелять, — не сдавался Хисматулла. — Я думаю, найдем как-нибудь, чем прокормить, лето все-таки. . .

— Он думает! — язвительно усмехнулся Кулсубай. — Кто это найдет, ты, что ли?

— И я, и ты, — спокойно ответил Хисматулла.

— Ты сперва о своих дружинниках позаботься, а потом уже о моем отряде думай!

— Ты что, не хочешь быть вместе с нами? — схватив его за руку и стараясь заглянуть ему в глаза, спросил Хисматулла.

— А на кой вы мне нужны? — вырвался Кулсубай. — Что ты меня лапаешь, как девку? На кой, говорю, вы мне нужны — лишние рты да еще и воры в придачу!

— Эх, Кулсубай, Кулсубай! — вздохнул Хисматулла. — Не узнаю тебя, будто подменили. . .

— Это тебя твои русские подменили, — буркнул Кулсубай.

— Вместе легче идти будет, подумай! — уже не надеясь, что Кулсубай смягчится, сказал Хисматулла.

— А откуда ты знаешь, что нам по пути? Мы, может, еще па прииск вернемся. . . — прищурился Кулсубай.

— Вас там просто перестреляют, как собак! — заволновался Хисматулла. — Послушай меня, я все-таки бывалый солдат. . .

— Ладно, хватит болтать! — грубо оборвал его Кулсубай. — Пока что я твоих дружинников да и тебя тоже к себе в отряд брать не хочу, понятно?

Хисматулла попробовал было возразить, но Кулсубай снова перебил его:

— Я одно и то же два раза повторять не люблю. Сказал — не хочу, значит, не хочу!

Он подвязал последней лошади торбу с овсом и пошел к костру. Хисматулла уныло поплелся за ним.

— От Михаила никаких вестей не было?

— Слыхали, — нехотя, не оборачиваясь, ответил Кулсубай. — Ревком ваш разгромили, от завода рожки да ножки остались. . .

— А с Михаилом что?

— В лес ушел, — всем своим видом показывая, что не желает больше разговаривать, сказал Кулсубай. Он поднял из-под куста свой чекмень, встряхнул его, завернулся и улегся на траву, не обращая внимания на Хисматулла.

Хисматулла постоял немного и подсел к угасавшему костру. Утомленные тяжелым переходом, люди спали, только неподвижные фигуры часовых виднелись у обрыва и за деревьями.

Хисматулла сгреб головешки в кучу. Обгорелые березовые полешки задымались и вдруг вспыхнули ярким белым пламенем.

«Что же делать? — в отчаянии думал Хисматулла. — Вот уперся! Это надо же быть таким бестолковым! И что на него опять нашло? Неужели это потому, что ревком разгромили?.. И с Сакмаевым связи нет... Я думаю, женщин они не тронут все-таки. А Гульямал уже должна была бы появиться...»

Кто-то осторожно тронул его за плечо.

— Чего тебе, Гайзулла? Погреться хочешь? — спросил, обернувшись, Хисматулла.

— Вот, в траве нашел, — Гайзулла протянул ему листок бумаги.

— Да это листовка башкирского правительства! — удивленно свистнул Хисматулла, пробежав листок глазами.

— Тут много таких валяется, — сказал Гайзулла.

— Сволочи! — поднеся листок поближе к огню, сжал кулаки Хисматулла. — Против большевиков пишут! Все — вранье сплошное! Теперь понятно, почему Кулсубай так упрямится...

— Принести другие? — спросил Гайзулла.

— Спасибо, мне и этого хватит! — с горечью ответил Хисматулла. — Иди спать, а то завтра опять идти весь день...

Огонь лениво облизывал почерневшую кору. Внизу, под головешками, красным жаром мерцала земля.

Хисматулла сунул листок в карман и, завернувшись в шинель, прилег.

От земли шел сырой, промозглый холод, бледно розовел восток. Зазеленела трава, изумрудно заблестели мокрые листья кустов. Внизу, под обрывом, белыми хлопьями поднимался от реки утренний туман и, поднимаясь, становился все легче, все прозрачнее и таял. Приветствуя восход, на разные голоса защебетали птицы.

Костер угас. Люди один за другим стали поднимать головы. Чувствуя, что ему не уснуть, Хисматулла сел и потер кулаками зудящие, воспаленные веки.

«Надо попробовать еще раз поговорить с Кулсубаем», — решил он.

Кулсубай спал, как ребенок, поджав ноги и подложив под голову сомкнутые ладони. Лицо его и во сне было озабоченным и сердитым, в густой черной бороде блестели капельки росы.

— Агай, — тихонько потряс его Хисматулла.

Лицо Кулсубая стало еще более озабоченным и недовольным, он тяжело заворочался и сел.

— Уже пора? — зевнув, спросил он хриплым, срывающимся голосом, потер лицо ладонями и открыл глаза.

— Поговорить надо, — сказал Хисматулла.

— Нет, с тобой каши не сварить! — окончательно проснувшись, затряс головой Кулсубай. — Тебе что, дня мало для разговоров?

— Не сердись, агай, я с тобой хотел поговорить, пока все спят, — присел на корточки Хисматулла.

— С каких это пор ты людей боишься? — нахмурился Кулсубай. — Не буду я с тобой говорить! Вот проснутся все, тогда поговорим! — он снова завернулся в чекмень и повернулся к Хисматулле спиной.

— Ладно, агай, тогда не обижайся, если какое слово поперек горла встанет! — разозлился Хисматулла.

— Вот и лады, — буркнул Кулсубай. — Народ рассудит, кто из нас прав!..

Через час лагерь проснулся. Развели два костра без дыма, наскоро попили кипятку с хлебом из жестяных кружек.

— Сейчас бы чего погорячее! — заметил Мутагар, выпивая вторую кружку. — А то только в животе бурчит!..

— Ну что, не расхотел говорить? — спросил Хисматулла подошедший Кулсубай.

— Почему же? Давай поговорим, — ответил Хисматулла.

Кулсубай собрал людей под березой и прыгнул на пенек.

— Джигиты! Вот тут надо ответ дать Хисматулле, — с насмешкой сказал он. — За что вы хотите кровь проливать — как деды наши, за земли предков, за Урал, или за русских, что всю жизнь с нас по три шкуры снимали?

Люди притихли.

— Ну, что же вы молчите? — нахмурился Кулсубай.

— Постой, зачем ты так? — попробовал остановить его Хисматулла.

— Я не тебя, я их спрашиваю! — резко ответил Кулсубай. — Что скажете?

— Да вроде вчера еще договорились... — нерешительно сказал Мутагар.

— Что договорились? — повысил голос Кулсубай. — Ты говори яснее, чтоб каждый слышал?

— Что вернемся! — ободрившись, ответил чей-то голос.

— Там же дутовцы, товарищи! Если вы вернетесь, это верная гибель! — горячо возразил Хисматулла.

— Дутовцы за нас, за башкир! — осмелев, сказал молодой юркий паренек в сползавшем на лоб большом картузе.

— Вас обманули враги! — крикнул Хисматулла. — Вспомните, что говорил Михаил: победим, только если вместе будем!..

— Слепой ты человек! — зычно сказал Кулсубай. — Хвостом за своими русскими ходишь и не видишь, что они только и стараются, чтоб все башкиры друг друга перебили! Не слушайте его! — повернулся он к старателям. — Если мы оста-

пемся здесь, наши жены и дети погибли с голоду, а мы сами намучаемся, бродя по лесу да по болотам, а ничего не добьемся!..

Старатели зашумели. Люди постарше, знавшие Михаила и давно работавшие на шахтах, требовали, чтобы Хисматулле дали слово, однако многие поддерживали Кулсубая.

Кулсубай и Хисматулла яростно заспорили между собой, и в общем шуме скоро ничего нельзя было понять.

— Не знаю я, кого слушать! — кричал Мутагар, вертя головой по сторонам. — Решайте сами, как все решат — так и я!..

— Ты мне правду скажи, правду! — схватив Гайзуллу за рукав, настаивал долговязый парень.

— Царя скинули, а жизнь все такая же, — качал головой седой загорелый старик.

— Нет, ты мне скажи: чем тебе, башкиру, башкирское правительство не нравится? Или тебе хочется, чтобы мы всегда у русских под пяткой сидели? — орал долговязый.

— Знаю я твоих дутовцев, сукины дети — и все! Под Верхнеуральском целый хутор сожгли, никого не пожалели — сам, своими глазами видел! Нет, на прииск меня и мешком золота не заманишь! — орал рыжебородый старатель.

— Наш мулла говорил, что все большевики шайтану продались, у них поэтому сердце черное, — горячо доказывал паренек в сползавшем картузе.

— Так мы ни до чего не договоримся! — махал руками Хисматулла, но никто не слушал его.

Даже часовые подошли поближе, стараясь понять, о чем идет речь.

Внезапно из кустов верхом на лошади вылетел Сафуан.

— Ассалам агайлейкум! — крикнул он и, сорвав с головы тюбетейку, подбросил ее в воздухе. — Вот вы где! А я вас ищу, ищу, совсем с ног сбился!.. Кулсубай, браток, у меня к тебе дело есть!

— Говори!

— Отойдем в сторонку, это дело только нас касается, — спешившись, ответил Сафуан.

Они отошли подальше к кустам. Старатели, переговариваясь, поглядывали в их сторону.

— Давай скорей, — поморщился Кулсубай.

— Радость у меня для тебя, — улынулся Сафуан. — Маша твоя, Муслима приехала, сам видел!

Кулсубай задохнулся от неожиданности, не в силах сказать ни слова.

— Сказала, только о тебе и думает! всю жизнь, говорит, отдам, лишь бы на него хоть одним глазком поглядеть, — внимательно наблюдая за Кулсубаем, продолжал Сафуан.

— Ты сам с ней говорил? — прошептал Кулсубай.
— Сам! — кивнул головой Сафуан.
— А что в Кэжэне?
— А что там может быть? — пожал плечами Сафуан. — Все то же, что и раньше, — кто золото моет, кто водку пьет...
— А дутовцы?
— Что, дутовцы?
— Не ищут нас?
— На что вы им? У них своих забот хватает! — засмеялся Сафуан. — Ты лучше скажи, что Маше твоей передать, она там небось все глаза просмотрела, на дорогу глядя!..
— Спасибо тебе, друг! — На глаза Кулсубая навернулись слезы. — Если смогу, отплачу тебе когда-нибудь такой же услугой!..
— Да брось ты! Что мы, не свои люди?
— Возвращаемся — вот мое слово, джигиты! — сказал Кулсубай, снова подходя к березе. — Я под дудку большевиков плясать не собираюсь! Кто башкир, кто сын нашей земли, за мной! На Кэжэн!..

Он вскочил в седло, выхватил из ножен саблю и помахал ею:

— Вперед, арсланы!¹..

Половина отряда бросилась к лошадям, остальные продолжали в нерешительности топтаться на поляне.

— Подожди! Что ты делаешь?! — крикнул Хисматулла, но Кулсубай уже не слышал его.

Ветер свистел у него в ушах, ветки били по лицу, стегал ноги кустарник. «Ма-ша, — выстукивала копытами лошадь. — Ма-ша, Ма-ша, Му-сли-ма...» Кулсубай видел каждую травинку, каждый камешек на тропе, ему не нужно было ни плетки, ни окрика, словно лошадь сама понимала, куда он торопится, и летела вперед, не сдерживая ни одной жилки, не утаивая ни капли молодой силы.

Какой длинной была дорога от прииска и какой короткой показалась она теперь! Кулсубай обернулся и крикнул:

— Айда, теперь можно и на большую дорогу!..

— Подожди хоть меня! — отозвался оставший Сафуан.

Но Кулсубай только прищипорил лошадь. Вылетев на дорогу, она помчалась еще быстрее, так что земля внизу слилась в бешено несущуюся, желтую ленту. Только у реки она перешла на рысь и вошла в воду, тяжело дыша взмокшими, темными от пота боками. Кулсубай слышал, как фыркали сзади другие лошади. Он наклонился и ополоснул разгоревшееся лицо ледяной, обжигающей водой.

¹ Арсланы — герои, львы,

Лошадь, встряхиваясь и дергая кожей, вышла на берег. Кулсубай оглянулся. Уменьшившийся наполовину его отряд растянулся: одни еще были на том берегу и только подходили к воде, другие плыли посредине реки, третьи выбирались следом за ним на этот берег.

— Назад! — крикнул вдруг один из старателей и повернул коня.

Что-то тяжелое ударило Кулсубая сзади, в глазах потемнело.

«Джигиты!..» — хотел крикнуть он, но не успел и упал вниз, запутавшись в стремях ног.

Выскочившие из кустов казаки окружили отряд. Перестрелка была недолгой. Когда Кулсубай очнулся, люди были обездвижены и связаны.

— Предатель! Ты обманул меня! — с ненавистью глядя на Сафуана, спокойно стоявшего рядом с каким-то офицером, крикнул Кулсубай.

— Отпустите его, это наш человек! — насмешливо глядя на Кулсубая, сказал Сафуан. — Вон твоя лошадь, можешь ехать в Кэжэн, только не знаю, какую ты там Машу найдешь — ту, которая тебе нужна, или другую!..

Подбежавший казак перерезал саблей веревку, связывающую руки Кулсубая, и он встал. Старатели расступились.

— Вот ты какой оказался, — протянул паренек в картузе. — Предатель!..

— Я не виноват, честное слово, не виноват! Это все он! — показал на Сафуана Кулсубай. — Он меня обманул!

— Я тебя обманул? — рассмеялся Сафуан. — Ну и здоров ты враты!.. Ладно, сам потом отчитаешься, почему только половину отряда привел!

Казаки окружили старателей и повели их в сторону прииска.

— Вон твоя лошадь, можешь потом еще одну взять! — помахав на прощанье рукой, крикнул Сафуан.

С минуту Кулсубай стоял неподвижно, затем вскочил в седло и пустил лошадь вслед за арестованными старателями. Болел затылок, ныла вывернутая в стремях нога, на сердце с каждой минутой становилось все тяжелее. В горле у него стоял горький удушливый ком, и невозможно было ни остановиться, ни подъехать ближе.

Он ехал медленно, не обгоняя казаков, мимо берез, склонившихся над небольшим озером, по дороге, тянувшейся вверх по склону горы и снова вниз, мимо полей, окруженных изгородью, мимо ивовых зарослей, ехал, не поднимая головы. Казаки смеялись чему-то, подгоняли старателей, щелкали нагайками. То и дело доносился громкий голос Сафуана.

Так они и въехали в приисковый поселок — впереди казаки, следом за ними, в отдалении — Кулсубай. Потянулись дома, палисадники, одинокие деревья с пыльной листвой, каменные клетки, кабак.

Старателей вели прямо к площади, где напротив конторы высились столбы с перекладинами, на которых болтались петли из пеньковой веревки.

Скоро некоторых старателей отпустили; Кулсубай, подъехав, попробовал заговорить с ними, но люди не отвечали ему и даже не глядели на него, словно перед ними был столб, а не человек. Наконец, отчаявшись, Кулсубай повернул обратно к конторе.

Едва в воротах показалась дюжая фигура Сафуана, как он замахнулся, но не рассчитал, сабля царапнула плечо Сафуана.

— Держи его! — отскакивая во двор, заорал Сафуан.

Кулсубай, пригнувшись к седлу, как ветер, промчался по улице поселка, свернул к реке. Сзади слышались крики и выстрелы.

Перейдя реку, он пустил лошадь рысью, все дальше углубляясь в лес. Начинало смеркаться, и скоро совсем стало темно.

Всю ночь Кулсубай ехал, то подгоняя лошадь, то давая ей отдохнуть, старательно обходя все селения, и только перед рассветом оказался у того места, где покинул своих товарищей.

Чернели на поляне подпалыны от костра, шелестела листвой старая береза, на траве виднелись окурки, лошадиный навоз. Тоненько зудели комары.

Все больше волнуясь, Кулсубай обыскал все окрестности, стараясь поймать в нагревающемся, уже душном воздухе запах дыма или ржание лошадей, но все было напрасно.

Выехав к озеру, блестящему у подножия горы, в березняке, Кулсубай спустился в овраг, чтобы напоить лошадь, и вдруг вскрикнул — трава на берегу была утоптана копытами, везде валялись пустые гильзы, обломки прикладов; провалившись колесом в яму, торчала брошенная арба; невдалеке от нее лежали две убитых лошади. Кулсубай поднял глаза выше, — перед молодым березняком, в ряд стояло семь свежих могильных холмиков. Земля на них еще не успела просохнуть; на каждом холмике лежал пучок голубых, выдернутых наспех, вместе с травой, колокольчиков.

Кулсубай слез с коня, хромая, подошел к могилам и встал на колени. Ему стало так тяжело, что казалось — сердце его сейчас разорвется, он упадет и больше не встанет.

— Это я... — хрипло сказал Кулсубай. — Это я виноват!.. Братки мои... Нет мне прощения!.. Что я скажу вашим детям? Как посмотрю в глаза вашим женам и матерям?..

Он припал к земле и зарыдал, завыв в голос, почти без слез.

Все так же шелестела листва, припекало солнце.

Перестав плакать, Кулсубай поднялся с красным опухшим лицом. В голове шумело, оводы и комарье кучками висели над ветвями.

«Куда идти?.. — в отчаянии думал он. — Хисмату теперь и на глаза нельзя показаться... Никого у меня не осталось! Что изменится, если я убью Сафуана? Все равно я не понимаю, на чьей стороне правда, тогда какое я имею право сбивать людей с толку, если я сам темный человек и бреду наугад? Семь человек! Может, Мутагар, а может, Гайзулла или Акназар... Но Сафуана я убью все равно, иначе не стоит мне жить на свете!»

Дойдя до вершины, он вскочил в седло и повернул лошадь в сторону прииска. Добравшись до Кэжэна, переждал, когда наступят сумерки, и, осторожно переправившись через реку, задами пробрался к поселку.

Слабо светились в землянках окна, где-то в стороне кабака надсадно лаяла собака. Кулсубай спешил к своей землянке, привязал лошадь к одинокой березе и уже толкнул было дверь, но внезапно острая боль будто пронзила его с головы до ног.

«Как будут смотреть на меня дети, если им скажут, что я предатель? — подумал он. — А что, если им уже сказали обо всем?»

Он отступил было от двери, но в глубине землянки послышался голос Сары, и он замер, не в силах двинуться дальше. Слов не было слышно, но в голосе была такая ласка и нежность и обещание покоя, что он не выдержал и, рванув на себя дверь, стал медленно спускаться по земляным ступенькам.

— Папка! — испуганно и вместе с тем восторженно завопил маленький Азнабай.

— Ты вернулся? — удивился старший, Файзулла. — Но тебя сейчас же схватят... В деревне одни казаки!

Сара, сидевшая на корточках у чувала, выпрямилась, и веснущатое доброе лицо ее, испещренное морщинками, дрогнуло, на губах задрожала слабая и жалкая улыбка.

— Это ты, Кулсубай? — спросила она и шагнула к нему, и стеклянные бусы звякнули на ее шее.

— Жена! Жена! — свистящим шепотом выдавил Кулсубай и, закрыв лицо руками, упал перед ней на колени.

XI

Уже седьмые сутки отряд кружил по лесам. Рождалось и умирало солнце, утро сменялось полднем, вечер сырой ночью, бледнели и угасали звезды, а люди шли и шли, шатаясь от усталости, еле передвигая ногами. Конина давно уже

кончилась, и голод на привалах был мучительнее и сильнее, чем желание сна. Собирали по дороге грибы и травы, разоряли птичьи гнезда, но голод не проходил. Люди совсем пали духом, и Хисматулла уже не знал, что им говорить, чтобы как-то подбодрить и успокоить их...

На седьмой вечер, когда одолели очередной подъем в гору, неожиданно открылась равнинная ширь — внизу лежала долина, за кучами деревьев блестела река. Небо было чистым и ясным, только что народившийся месяц медленно плыл над лесом, слабо светились в траве зеленые светлячки, шелестел листвою налетавший порывами ветер, свежо и чисто белели в сумраке стволы берез.

— Какая красота! — вздохнул Гайзулла. — Будто и войны никакой нету, и до дома три шага...

— Такая же быстрая, как наша Кэжэн, — тихо ответил Ягуда-агай.

Послышалось булькающее журчание воды — в кустах из-под камня бил невидимый родничок.

— Привал! — устало объявил Хисматулла и повалился на траву.

Старатели быстро отыскивали родничок, бросались на колени, с жадностью пили, споласкивали лица, наполняли фляги.

— Расставь часовых, — подозвав Акназара, сказал Хисматулла. — Поспим часа четыре, больше нельзя...

У него болела раненная в последней перестрелке нога, но он не стал ее перевязывать — так смертельно хотелось спать. Стоило ему лечь, вытянуть поудобнее ногу, как он тут же заснул...

Пробудился он от тревожного шепота Акназара:

— Хисмат, вставай! В отряде буза!...

С трудом разгибая спину, он сел, не сразу приходя в себя после тяжелого сна:

— Что случилось?...

— Явились два человека — один с прииска, зовет всех домой и обещает всем прощение, а другой от Загита... Да вот он сюда идет, ты его знаешь!

— Зинатулла? — удивленно вскрикнул Хисматулла. — Какими судьбами?

Зинатулла подошел и тут же опустился на траву, словно его не держали уже ноги.

— Не чаял, что и найду... — Лицо его было чугунно-тяжелым и черным от усталости и пыли. — Мы попали в ловушку, Хисмат... Пока, правда, подошли только передовые силы, но вот-вот нас возьмут в кольцо, и тогда хана всему — и нашему отряду, и золоту...

— Сколько до вас ходу?

— Если кружным путем, то день, а если напрямки, через перевал, то часов за шесть одолеем...

— Поднимай отряд! — кивнув Акназару, приказал Хисматулла.

— Я же тебе сказал, что в отряде заваруха! — оглядываясь по сторонам, зашептал Акназар. — Все хотят домой идти...

— А ну, пошли!

Он встал, опираясь на суковатую палку, и захромал по высокой росной траве, оставляя темный волнистый след. На небольшой поляне, около берез толпились старатели, кричали, размахивали руками.

— Что за шум, а драки нет? — подходя, спросил Хисматулла.

Голоса сразу пошли на убыль, но тут же выскочил вперед низкорослый мужик, хмурия густые, сросшиеся у переносья брови.

— Домой желаем!.. Лучше уж казакам на милость, чем тут с голоду подыхать!

— Так, — каменея в скулах, сказал Хисматулла. — Еще кто домой просится?

Он только сейчас увидел скрывшегося за спины старателей Султангали, который быстро рассовывал по карманам белые листки.

— А я не знал, что у нас новый дружинник в отряде! — и вдруг резко и властно скомандовал: — А ну, шаг вперед, Султангали! И покажи, что ты там прячешь!

Кто-то подтолкнул парня в спину, и он, бледный и напуганный окриком, оказался почти перед строем. Хисматулла вырвал у него из рук один из листков, пробежал глазами и, скомкав бумажку, бросил на траву.

— Значит, так: кто в эту неделю вернется, тому полное прощение и рай земной? — спросил он. — И вы поверили этому вранью?

— Там же написано... — свел кустистые брови старатель. — Я что, лиходей своим детям? Не вернусь — меня потом шлепнут, да и семью под корень изведут!

— Кто тебя подослал? — пытаюсь поймать бегающий, трусливый взгляд Султангали, спросил Хисматулла.

— Я сам пришел...

— Второй раз явишься — пустим в расход...

Он обвел грозным, насупившимся взглядом старателей, и голос его задрожал от обиды и гнева!

— Все, что написано в этой бумажке, брехня!.. Может, те, кто будет лизать пятки баям и Нигматулле, как вот этот прохвост, будут прощены, а остальных не помилуют... Да разве только в этом дело? Как вы могли забыть о тех, кто за вас головы сложил? Вы жалкие и презренные трусы... Вы

не стойте этой святой крови, которую пролили за вас ваши братья!

— Ты сам ничего не стоишь! — закричал старатель. — Кто дал тебе право распоряжаться нашей кровью?

Он отскочил к березе, схватил винтовку, вскинул ее на Хисматуллу, но не успел выстрелить — выстрел Акназара опередил его, и старатель, охнув, стал оседать на траву.

— Вот вы кого слушали! — презрительно сказал Хисматулла. — Хотите идти домой — идите, силой никого держать не будем! Советской власти нужны верные солдаты и бойцы, а не предатели! У нас один выход — идти на помощь своим товарищам, выполнять приказ ревкома!

— Отпустите, агай! — захныкал Султангали, кидаясь то к одному, то к другому старателю. — Клянусь аллахом, я больше не буду слушать этого подлого убийцу и вора Нигматуллу! Это он меня подговорил, золото обещал...

— Раздавить бы такую гниду надо! — сплюнув, сказал Зинатулла. — Но ради брата простим последний раз!.. Но чтоб духу твоего здесь не было!..

Старатели загомонили, кто-то дал пинка Султангали, и он метнулся в кусты и пропал, точно его и не было на поляне.

— Веди нас, Зинатулла! — сказал Хисматулла. — Акназар, будешь замыкающим!..

Дружинники молча собрались, побросали на плечи тощие мешки, взяли винтовки и двинулись цепочкой по узкой тропе на перевал.

Хисматулла шел вторым, изредка оглядываясь и осматривая взбирающихся в гору людей. Гимнастерка на нем взмокла, раненая нога так разболелась, что один раз он чуть не вскрикнул от боли, но переждал темноту в глазах и зашагал дальше, стиснув зубы и задыхаясь. Он продирался сквозь дикий малинник, утопал ногами во влажном мху, хватался руками за стволы, но упрямо лез через перевал. Пот заливал ему глаза, но он, смахнув рукавом крупные капли, шел и приговаривал сквозь зубы: «Только бы успеть, только бы успеть!..»

За перевалом сделали короткий передых у небольшого горного озера. Было странно увидеть здесь, на такой высоте, эту каменную чашу, полную воды, заросшую камышом и осокой, с белыми кувшинками на зеркальной глади.

— Теперь уже недалеко, — подбадривая всех, сказал Зинатулла. — Тут где-то должен быть первый пост...

Солнце стояло уже высоко, лошади, отмахиваясь хвостами от оводов, жались к воде, внизу, в уреме, тревожно стрекотала сорока.

— Не к добру, — заметил Ягуда-агай. — Значит, тут кто-то ходит поблизости.

— Может, какой зверь? — спросил Гайзулла. — Ведь сороке только дай потрещать...

Но вместо поста они вдруг увидели среди деревьев, внизу нескольких солдат. Они бежали по склону, таща за собой пулемет.

— Надо их отсечь и взять пулемет, — сказал Хисматулла. — Акназар, отвлекая их на себя, а мы ударим с тыла...

Короткий бросок был столь неожиданным, что, услышав выстрелы, солдаты бросили пулемет и ящики с лентами и кинулись врассыпную.

— Теперь нам нужно поскорее добраться вон до той опушки! — Зинатулла протянул руку, и хотя Хисматулла внимательно поглядел в ту сторону, он ничего не увидел, кроме зеленой стены леса. — Давайте поднажмем, а то нам несдобровать... Сейчас сюда придет подкрепление, и мы не выберемся...

Старатели бежали из последних сил, падая от изнеможения, поднимаясь и снова устремляясь вперед. Зинатулла и Ягудаагай тащили, впрягшись в ремни, брошенный солдатами пулемет.

Не успели они добежать до опушки, как из-за серого валуна, раздвигая кусты, выбежал Загит. Он был небритым до черноты, точно закопченным, но больше всего поразили Хисматулла его глаза, лихорадочно и тревожно горевшие на исхудалом лице.

— Вы напрасно открыли пальбу, — хватая Хисматулла за руку, торопливо сказал он. — Мы и так почти в полном окружении, а теперь еще вызвали огонь на себя...

— Где золото? — отведя его в сторонку, спросил Хисматулла. — Надежно ты его спрятал?

— Думаю, что надежно. Давай посмотрим вместе...

Когда через несколько минут они вернулись к отряду, все старатели, несмотря на невыносимую усталость, были уже на ногах. Они отошли за деревья и молча наблюдали, как по травянистому склону двигались вперемежку солдаты. Они то приседали в траве, то прятались за серые валуны, то скрывались за кустарником.

— Заходят к нам в тыл, — сказал Загит. — Давайте решать: что будем делать?

Он взглянул на Хисматулла, и тот не заставил себя ждать.

— Мне кажется, что у нас нет иного выбора, как принять этот бой!... — Хисматулла обвел взглядом настороженные лица старателей. — Ты, Загит, отходи с отрядом на перевал, мимо озера, Акназар со своей группой будет прикрывать вас слева, а я с пулеметом задержу их здесь...

— Это неразумно, — сказал Ягудаагай. — Отряд не должен оставаться без головы...

— Меня пока заменят и Загит и Акназар,— настаивал на своем Хисматулла.— Я был на войне и хорошо знаю этот пулемет...

— Я тоже знаю! — выступил вперед Мутагар.— В Кэжэне Михаил обучал меня...

— Хорошо, тогда мы остаемся пока вдвоем,— согласился Хисматулла.— Мы догоним вас, когда увидим, что вы уже вне опасности... Выполнять приказ!

— Есть выполнять! — негромко отозвался Загит и, махнув рукой, быстро шагнул в глубину подлеска.— За мной!

— Не рискуйте только зря! — бросил на прощанье Ягуда-агай.— Ты пригляди за ним, Мутагар! Вот вам еще граната на всякий случай!...

Мутагар выбрал место поудобнее, так чтобы просматривались и склон, и опушка, и половина горы, вставил ленту и лег. Гранату он сунул в карман штанов и затих. Зудел над ухом комар, и прерывисто и тяжело дышал за спиной Хисматулла.

Солдаты приближались. Сначала они шли осторожно, чуть ли не хоронясь за каждый кустик, перебегая с места на место и падая в траву, потом, не слыша ни одного выстрела, двинулись, слегка пригибаясь, иногда в полный рост. Кто-то из молоденьких то и дело нагибался за земляникой. Но вот выскочил вперед маленький кривоногий офицер, замахал наганом, и солдаты снова задвигались цепочкой, короткими перебежками.

— Может, дать одну очередь? — тихо спросил Мутагар.

— Подпусти поближе,— выдохнул за спиной Хисматулла.— Еще успеешь...

Сначала, когда Мутагар лег у пулемета и стал смотреть на эти выпрыгивающие как из зеленой воды фигурки, руки его были страшно напряжены, каждая жилка в нем дрожала, но чем ближе подходили солдаты, тем он становился нетерпеливее, и если бы не свистящий шепоток Хисматуллы, он бы давно не выдержал.

— Они совсем близко, Хисматулла-агай, они сейчас окружают нас,— вдруг зашептал он.

— Собери свою душу в кулак,— уговаривал Хисматулла.— Это тебе не на площади, когда магазин грабили... Еще немножко.

«Досчитаю до двадцати... нет, до десяти, и тогда...» — решил Мутагар.

— Вот теперь, пожалуй, можешь начинать,— как сквозь глухую стену донесся до него голос Хисматуллы.

— Сейчас, сейчас...

Раз, два, три... Вон молоденький солдат снова нагнулся за земляникой. Офицер прикрикнул на него. Четыре, пять... Кто-то спотыкнулся, рассмеялся. Шесть, семь... «Стреляй, стреляй же, черт тебя побери!» — шепчет Хисматулла. Восемь... Ствол

пулемета — холодный, серый, высунулся из кустов. Как они не видят его? Офицер опять кричит. «Сумасшедший! Сказали тебе, не рискуй?!» — чуть ли не орет Хисматулла. Девять... Интересно, далеко успели наши уйти? Десять!.. Нет, еще чуть-чуть. Раз, два... И что он все ест землянику, не кормят их, что ли? Три, четыре... Офицер, видно, сам с гор, иначе не был бы таким кривоногим... Пять. Пожалуй, хватит, в самый раз.

— Огонь! — сам себе скомандовал Мутагар, и пулемет застрочил.

Сто метров до солдат. Упал офицер. Упал тот, что ел землянику. Еще пятеро. Как косой.

— Огонь!..

— Молодец, Мутагар, так их, так их, гадов!..

— Отцепись от моего плеча, мешаешь ведь...

— Огонь!..

Ух, как строчит! Ага, побежали.

— Ленту!..

Теперь подождать. Пусть соберутся.

— Надо на новое место переползти, — шепчет Хисматулла.

Локтями, локтями. Какой тяжеленный! Вся рожа небось в земле. Притни, притни голову ниже. Наши вроде уже спустились... Вон там самое удобное место. Ну и парит, прямо пекло. А пулемет холодный совсем. Возвращаются, гады. Ага, уже не до земляники!.. Только головы над травой. Ползите, голубчики, старайтесь.

— Ленту!.. Огонь!..

Поднимаются.

— Огонь!..

Ну, и как вам моя земляника? Сладко?.. Что там, Хисматулла, наши далеко ушли?

— Ленту!..

— Побереги патроны, мало осталось... — говорит Хисматулла.

— Ленту!..

Переползти еще раз, пожалуй, не получится. Окружают, сволочи. Левей, левей, так. Молодец, максим! Хороший ты товарищ, надежный.

— Ленту!..

Вся трава в землянике. Нател!

Со всех сторон бегут, гады. Сколько же их тут? Ты, Хисматулла, уходи, я тебя прикрою. Не, я тут останусь, какой смысл вдвоем? Вместе жить, а не умирать надо.

— Последний раз говорю, идем! — хрипит Хисматулла.

Чего-то у него лицо такое странное. Иди, говорю тебе, тикай, пока не поздно, я прикрою. Наши-то ушли, а?

— Ленту!..

Ну и косит! Будете знать, гады. Моя здесь земля, никому не отдам! Черт бы тебя побрал, Хисмат! Шайтан ты, только под ногами путаешься! Уходи! Ради аллаха!

— Ленту!..

Как это последняя? Не может быть! Уже расстрелял? Ладно, разберусь. Счета им, гадам, нету. Не могли больше патронов оставить, сволочи. Ладно, ладно, иди, Хисмат, ты же видишь, что я ранен и мне уже до своих не добраться.

Ага, Хисмат пополз, наконец. Прямо над ухом свистят пули. Нажрались земляники, сволочи, напились нашей крови. Ух ты, прямо по максимке! Кому те лошади достались, что мы в березняке отпустили? Ну и свистят! Всю землю продырявили.

Нет, нет, еще подождать. Лента ведь последняя, больше не будет. Кажется, Хисматулле заметили. Давай, максимка, давай! Подсыпь им землянички! Ишь ты, гранатами шпарят... Хоть бы ты полз быстрее, может уползешь, Хисмат!

Стоп. Пол-ленты всего осталось. Наши, кажется, ушли, а? Надо потом пулемет разобрать, чтоб не достался. Эх, не хватило на всех вас, гадов!

Неужели не уйдет Хисмат? Совсем рядом бухнуло. Погодите, у меня тоже граната есть. Эх, еще хоть одну бы ленту!.. Гашетка до отказа. Ну что ж ты, максимка? А, черт! Кончилась.

Успеть бы. Ага, ствол под корни зачихну. Колесики вниз с горы, вниз с горы. Ближе уже. Успеть бы...

Кажется, еще раз в ногу угодили, сволочи. Ничего, еще граната есть. Спасибо Ягуде-агаю. Ниже, ниже голову.

Так. Граната в руке. Все хорошо.

Что там кричат? Ага, гады, думают, подстрелили. Врешь, сволочуга, живым не дамся! Подорвусь, когда рядом будут...

Ишь, бегут, торопятся.

До трех. Раз, два...

А наши-то ушли, а?

Пора.

XII

В дверь постучали. Нигматулла торопливо схватил карандаш и уткнулся в бумаги.

С тех пор как он занял кожаное кресло в кабинете управляющего, Нигматулла целыми днями пропадал в конторе.

Собственно говоря, в кресле делать ему было совершенно нечего, но сознание того, что он сидит здесь как полноправный хозяин, только что заведенные, новенькие папки с делами, грудой лежащие у него на столе, шкафчик, где он, как и Накышев, держал теперь графин с водкой, бархатные портьеры на окнах и, наконец, весь вид кабинета — светлый, просторный

и явно начальственный,— вызывали у него такое довольство собой и своим положением, что вставать из кресла не хотелось.

Он почти перестал ездить в Сакмаево и ночевал теперь в доме бывшего управляющего — надевал, приходя из конторы, шелковый тонкий халат и курил городские папиросы, каждое утро вынимая из нақышевского запаса одну пачку и аккуратно размещая их в серебряном, нақышевском же, портсигаре. По вечерам он приглашал к себе офицеров, обильно угощая их вином и водкой из нақышевского погреба, и тогда до поздней ночи орал в открытые окна граммофон, слышались песни, выстрелы, смех. Султангали носился от дома к кабаку и обратно — то с закусками, то ведя за собой разряженных в пух и прах, размалеванных девок...

— Ассалям агалейкум! — поздоровался Сафуан. — Ты что, не слышал, как я стучал?

Нигматулла вскинул голову, но не ответил, только нахмурил узкий лоб, в упор разглядывая раннего посетителя.

— Слушай, почему ты упрямисься? — без особого почтения обратился к нему Сафуан. — Давай все-таки попробуем вызвать Кулсубай!

— Нечего время тратить на чепуху, расстрелять его, собаку, чтоб не таявкал, вот и все, — Нигматулла махнул рукой и с видом человека, занятого чем-то безумно важным, снова уткнулся в бумаги.

— Так нельзя, Нигматулла-агай, — нахмурился Сафуан. — Я, как представитель башкирского правительства...

— Ха, представитель! — рассмеялся Нигматулла. — Что ты сможешь сделать, если я не захочу? Ни-че-го! Вот тебе и представитель... Я хозяин, понял? Моя земля! Здесь мои отцы и деды из века в век пахали, а ты кто такой? Все здесь мое!

— Так башкирское правительство как раз и воюет за то, чтоб такие хозяйничали джигиты, как ты! Но если мы сумеем договориться с Кулсубаем, то и тебе лучше будет, вот увидишь!

— От него пользы ни на копейку! — все еще раздраженно ответил Нигматулла.

— Зря ты так. Если б не Кулсубай, мы б сейчас еще по лесу мотались и ничего бы не нашли!

— Как будто мы могли что-нибудь сделать без солдат, — презрительно прищурился Нигматулла. — Все дело в силе! Есть сила, — значит, считай, все у тебя в руках!...

— А что солдаты? Они с тобой, пока ты офицерам платишь, а завтра перестанешь платить, они на другую сторону перейдут, может, и против тебя станут воевать. А было бы это паше башкирское войско, никуда бы Загит не ушел! Неужели ты не понимаешь, что нам нужна своя армия, из башкир? Иначе мы ничего не добьемся...

— С этим я согласен, — Нигматулла погладил бородку. — Только при чем тут Кулсубай?

— Разве ты не знаешь, как к нему старатели относятся? Недаром же он у них был за главного!..

— Знаю я этого Кулсубая! Все равно не будет от него никакого толку, — возразил Нигматулла. — Чистая баба — чуть пожалеет кого, и сам себя обдурить готов! Только мешать нам будет или опять подумает-подумает, да к большевикам пристроится...

— Не пойдет он к большевикам, — усмехнулся Сафуан. — Ему теперь туда дорожка заказана. Шутка ли сказать — половину отряда увел, а остальных под пули подставил!

— Что ты его защищаешь, не понимаю! — Нигматулла поковырял в зубах ногтем и отложил в сторону карандаш. — Как будто, кроме Кулсубая, башкиров на свете не останется! Тюкнуть его, и никаких хлопот, а за башкирское правительство агитировать — другого найдем, поумнее!..

— Ты пойми, я ж его на нашу сторону переманил, — не отступал Сафуан. — Разве ты сам не обещал старателям, что тех, кто на нашу сторону перейдет, пальцем не тронут? Если мы Кулсубая расстреляем, люди нам сразу верить перестанут, а то еще и шум поднимут, об этом ты подумал? А если на свою сторону привлечем, нам от этого только выгода: во-первых, поможет людей уговорить, чтобы к нам в армию шли, а во-вторых, если Хисматулла у нас на допросах молчит, то, может, ему скажет, где золото спрятано...

— Ладно, давай попробуем, — нехотя согласился Нигматулла. — Только сам с ним говори, у тебя язык хитрее!..

Кулсубай явился только к вечеру. Не стучась, он пунул дверь ногой так, что та с треском отлетела и ударилась об стену.

— Ты что, пьян? — крикнул Нигматулла, засовывая руку в карман, где лежал наган.

— Нет, не пьян, — недобро усмехнулся Кулсубай. — Если и пьян, то не от вина, а от горя! — но, видно, он и в самом деле выпил, прежде чем идти в контору: лицо его было красно, мутные глаза косили. — Зачем звали?

— Да вот думаем: то ли арестовать тебя, то ли образумиться... — озабоченно посмотрел на него Сафуан.

— Нате! Арестуйте! Расстреляйте! — рванул рубаху Кулсубай, на глазах его показались слезы. — Я самый подлый человек, своих товарищей предал! Может, хоть смерть с меня этот позор смое! Вяжите, вешайте! А не то я сам вас, сволочей!.. — Голос его пресекся, Кулсубай закрыл лицо руками и рухнул на стул.

Нигматулла, сжимавший рукоять нагана и готовый в любую минуту выстрелить, ослабил руку и сел поспокойнее. Са-

фуан подошел к Кулсубаю и положил руку ему на плечо, но Кулсубай, брезгливо дернувшись, скинул ее.

— Что с тобой, агай? — спросил Сафуан. — Может, горе какое? Так ты скажи, поделись с нами. Всего горя на свете не переплачешь, глядишь, может поможем тебе...

— Ты мне уже помог! — ответил Кулсубай. — Век твоей помощи не забуду! Лучше б пристрелили меня тогда, чем такую помощь... Как мне теперь на людей смотреть? Днем на улицу боюсь выйти! Жить не хочется...

— Эх ты! И не стыдно тебе? — перебил его Сафуан. — Сейчас, можно сказать, судьба всего нашего народа решается, а ты только о себе и думаешь! Иначе разве помчался бы ты сломя голову за какой-то бабой?

Кулсубай покраснел и опустил голову.

— Вот видишь, — уже спокойнее сказал Сафуан. — Жить надо, а не умирать. За народ жить, за правду, за то, чтоб каждый башкир хозяином этой земли был! А ты до сих пор понять не можешь, что большевики нам только мешают...

— Не верю я тебе! — Кулсубай в сердцах стукнул кулаком по столу. — Если ты так за башкир страдаешь, почему тогда тех, кто в лес ушел, как зверей, гоните? Разве не твои солдаты старателей расстреляли?

— Кто их гонит? — рассердился Сафуан. — Кто хотел, с тобой вернулся, сам знаешь, ничего мы с ними не сделали, только поугали, остальные в горы ушли, а те семь человек, что у озера, во-первых, наполовину русские, из Кэжэна, а во-вторых, что нам иначе с ними было делать? Мы думали, что они везут наше золото отсюда, с прииска, а нам сейчас, знаешь, сколько золота надо? А твои большевики хотят над нами верх иметь, потому они и против башкирского правительства...

— А зачем башкирское правительство с дутовцами связалось? От них плач по всей земле стоит...

— А что делать, какой еще выход? Своей-то армии у нас пока нету...

— Почему же мы свою армию не собираем?

— Армию-то кормить надо, вооружить, одевать, лошадей купить, седла! — быстро ответил ожидавший этого вопроса Сафуан. — А твои большевики, вместо того чтобы помочь нам, изпод носа золото увозят! Ничего, если войско создадим, ни перед кем головы клонить не будем! И перед Дутовым тоже... На башкирской земле хозяином башкир будет. Или, может, это тебе не нравится?

— Почему не нравится? Нравится, — Кулсубай нерешительно пожал плечами. — Только я хочу, чтоб все справедливо было, чтоб над нами баи не стояли!

— Так оно и будет, агай, если все башкиры поймут, что надо самим за свою землю драться и никого не слушать! — кивнул головой Сафуан и незаметно подмигнул Нигматулле. — Нам нужны верные люди. Знаешь, для чего мы тебя звали?

— Для чего? — насторожился Кулсубай.

— Хотели просить тебя помочь нам... Поговори с Хисматуллой, может, он скажет тебе, где они золото спрятали. Если узнаешь, можем тогда хоть завтра свою армию собирать!

— Раз вам не сказал, мне и подавно не скажет...

— А ты попробуй сначала! Вдруг получится?

— Нет, нет, не хочу я в это дело ввязываться! — решительно отказался Кулсубай.

— Ну что ж, придется тогда Хисматуллу расстрелять... — со вздохом сказал Сафуан. — Другого выхода нет, верно, Нигматулла?

Нигматулла важно кивнул головой. Он уже совсем успокоился и теперь с любопытством следил за разговором.

— А если скажет, не расстреляете? — задумавшись, спросил Кулсубай.

— А зачем тогда его расстреливать? Тогда он как бы на нашей стороне будет, — уверенно ответил Сафуан. — Ты бы все-таки попробовал, жалко парня. Совсем его большевики в своей паутине запутали... Если согласен, я скажу, чтоб его привели.

— Ладно, попытка не пытка, — поднялся со стула Кулсубай.

В соседней комнате стояли стол, несколько стульев и диван. На диване лежала нагайка с тяжелой свинчаткой на конце.

Кулсубай брезгливо бросил нагайку в ящик стола и присел на один из стульев.

Скоро часовой ввел Хисматуллу и, щелкнув каблуками, остался за дверью, — видимо, Сафуан приказал ему сторожить арестованного.

В первую минуту Кулсубай не узнал бывшего товарища: обросшее жесткой черной щетиной лицо Хисматуллы распухло и было покрыто синяками и кровоподтеками, лоб разбит, сплывшиеся волосы свисали вниз грязными, всклокоченными космами, одежда была изорвана; левая нога, кое-как обмотанная грязным, окровавленным тряпьем, волочилась по полу — он едва мог устоять и, войдя, сразу прислонился к стене.

— Садись, — хрипло сказал Кулсубай, но Хисматулла остался у стены.

— Мне сказали, чтобы я поговорил с тобой, — стараясь не глядеть на него, продолжал Кулсубай. — Если ты не скажешь, где золото, тебя расстреляют!..

Хисматулла смотрел на Кулсубая в упор — не гневно и не сердито, а с каким-то странным сожалением. Кулсубай отвернулся.

— Ты думаешь, что это меня взяли в плен, а не тебя, — помолчав, заговорил он снова, все больше ежась и смущаясь под этим сожалеющим взглядом. — Если б это золото было у нас в руках, у нас была бы своя армия, тогда и Дутов не был бы нужен... По-моему, лучше тебе сказать, и для тебя лучше, и для нас...

— Для кого это «для нас»? Для вас с Сафуаном? Или для вас с Нигматуллой? — без раздражения спросил Хисматулла. — Опять тебя, Кулсубай, вокруг пальца обводят. Ничему тебя жизнь не учит, прямо смотреть страшно. Даже смерть товарищей не стала для тебя уроком...

— Значит, не скажешь? — с трудом проговорил Кулсубай.

Хисматулла отрицательно помотал головой.

— Эй, кто там? Уведите его! — торопливо крикнул Кулсубай.

Долго слышны были по коридору шаркающие шаги Хисматуллы, потом все стихло. Кулсубай подошел к окну. Окна домов светились слабым, желтым светом, где-то у кабака слышались пьяные выкрики. И горько, и стыдно было ему, но хуже всего оттого, что готов был стать и на сторону Хисматуллы, и на сторону Сафуана, и никак не мог разобраться, кто же прав и кто действительно желает счастливой и справедливой жизни.

— Ну что? — заглянул в комнату Сафуан. — Не признался?

— Не поручай мне больше таких дел, — тяжело вздохнул Кулсубай. — Ничего он не скажет ни вам, ни мне...

— Та-ак, — протянул Сафуан. — Что ж, придется расстрелять!

— Я думаю, может, завтра скажет, — помедлив, сказал Кулсубай.

— Ну, попробуй, попробуй, я не тороплю, — согласился Сафуан.

Чуть свет Кулсубай снова явился в контору. Он явно был взволнован чем-то и без конца приглаживал длинную спутанную бороду.

— Надо его припугнуть! — сказал он с порога, встретив Сафуана в коридоре.

— Пугали уже, — разочарованно вздохнул Сафуан.

— Значит, не так пугали, — настаивал Кулсубай. — Что он, дурак, не понимает, что нужен вам? Надо его к шахтам повести, чтоб он уже точно знал, что на расстрел ведут!

— Смотри-ка, а ведь ты, пожалуй, и прав. Погоди, я сейчас с Нигматуллой посоветуюсь. — Сафуан скрылся в кабинете и через несколько минут появился снова. — Давай! Только смотри, мы за тобой следить будем! Если хитрость какую задумал, сразу тебе говорю, что не выйдет.

— Какая там хитрость! Боюсь только, что старатели узнают...

— А ты, как скажет, тут же винтовку и разряди,— посоветовал Сафуан.— Мертвые не болтают...

Покрикивая и грубо толкая Хисматуллу прикладом, Кулсубай вывел его со двора конторы и торопливо повел в сторону заброшенной шахты.

Нигматулла и Сафуан, а с ними несколько солдат залегли на холме и с тревогой наблюдали за происходящим.

Кулсубай остановился у старой березы, велел Хисматулле отойти к краю шахты и зарядил винтовку. Издали было видно, как он медленно поднял ее, потом опустил и, видимо, стал говорить что-то, опершись рукой о ствол. Неожиданно Хисматулла бросился вперед, в ту же минуту Кулсубай вскинул винтовку и выстрелил. Хисматулла упал, а Кулсубай продолжал стрелять в мертвое тело, пока не вышли все патроны, потом пнул неподвижное тело ногой, и оно, перевернувшись, упало в шахту.

— Хорошо, что он сам его убил! — шепнул Сафуан. — Теперь он в наших руках, большевики ему никогда не поверят...

Он вскочил и побежал в сторону шахты. Завидев его, Кулсубай пошел навстречу.

— Прямо в сердце,— сказал он, качая головой.— Видели, как он на меня бросился?

— Где золото? — спросил подошедший Нигматулла.

— Не сказал он...

— Как не сказал? — Верхняя губа Нигматуллы вздернулась, обнажив длинные желтые зубы.— Ты что, за нос нас водил? — Он схватил Кулсубая за ворот рубахи и бешено затряс его.— Зачем же ты тогда убил его?! Ты все врешь, он тебе сказал, а теперь ты хочешь скрыть это от нас! Не выйдет! Говори! Не скажешь — самого убью!..

— Да ты что, не видел, как он на меня кинулся? Я и опомниться не успел! — оправдывался Кулсубай.

— Оставь, не трожь его,— успокаивал Нигматуллу Сафуан.— Он не стал бы от нас скрывать, он же знает, что это золото для армии...

— Убью, если не найдется золото! — с налитыми кровью глазами прохрипел Нигматулла.

— Да успокойся, куда оно денется? Надо в лесу поискать,— нахмурился Сафуан.— Прямо как малый ребенок... Все равно ничего бы он не сказал. Сам еще вчера говорил, что расстрелять его надо...

Нигматулла отпустил Кулсубая, но все еще никак не мог прийти в себя и дышал тяжело и шумно.

— Надо бы завалить шахту,— сказал Кулсубай.— Если не завалим, запах будет, да и люди могут узнать...

— Потом, потом! — махнул рукой Сафуан. — Ночью пошлю, и завалят.

Кулсубай медленно шагал к конторе следом за Нигматуллой и Сафуаном. На душе у него впервые с того времени, как он оставил в лесу половину отряда, было легко и отрадно.

XIII

Теплая летняя ночь тихо опустилась на землю. Монотонно верещали кузнечики в крапиве, бдючи заблудившиеся овцы, где-то прокричал не ко времени петух, гасли окна, и деревня погружалась в глубокий сон.

И, может быть, во всем Сакмаеве только к одной Гульямал не шел сон. С тех пор как она вернулась, проблуждав несколько дней по лесу, не найдя Загита, она не знала покоя ни ночью ни днем. Больше всего мучило и терзало ее душу то, что она ничего не слышала о Хисматулле. Слухов было много, но она уже ничему и никому не верила. Одни говорили, что он был вместе с Кулсубаем, пока того не заманили хитростью на прииск, другие рассказывали, что он пробирается с каким-то отрядом на Белорецк, а третьи испуганно нашептывали, что его взяли в плен в каком-то тяжелом бою за перевалом, когда прикрывавший отход старателей пулеметчик взорвал себя гранатой. Передавали даже под особым секретом, что Хисматулла держат в подвале конторы, каждую ночь истязают на допросах, но сколько Гульямал ни крутилась на прииске, сколько ни заговаривала с казаками, она так и не смогла ничего разведать...

Нигматулла, допросив ее, отпустил и больше не трогал. Сайдеямал и другие женщины тоже вернулись домой, и жизнь в деревне потекла своим чередом. Почти половина сакмаевцев отправилась на джайляу, в летники, оставшиеся старались выходить на улицу как можно реже, чтобы не попасться на глаза казакам, которых оставил в деревне Нигматулла.

Во дворе слышались какие-то шорохи, и Гульямал насто-рожилась.

«Почудилось», — решила она. Но шорох повторился, похоже было, что где-то скулит собака или тихо плачет человек. Гульямал свесила ноги и потянулась за казакином. Сердце ее тревожно забилося.

Осторожно приоткрыв дверь, она заметила лежащего посредине двора человека.

— Аллах! — вскрикнула она, угадав сердцем, что это Хисматулла, прежде чем увидела его. — Да кто же тебя так, маленький? Какой зверь?

— Звери людей не обижают... — стараясь улыбнуться, растянул опухшие губы Хисматулла. — Ой, осторожнее, нога!..

Гульямал быстро согрела воду, помогла Хисматулле вымыться, натерла его топленным барсучьим салом, перевязала ногу чистыми тряпками, уложила на нарах.

Хисматулла старался не шевелиться — каждое движение причиняло ему боль.

— Где же мне тебя спрятать? — гадала она. — Ты с прииска сбежал? Ну вот, значит, не пройдет и дня, как тебя искать начнут.

— погоди, не спеши, — Хисматулла слабо шевельнул рукой и поморщился. — У тебя есть карандаш и листок бумаги?

— Карандаш есть, а вот бумаги, паверно, нету...

— Ну, тогда найди кусочек бересты или дай белую тряпку.

Гульямал открыла деревянный сундук, окованный блестящими железными лентами, и, порывшись в нём, вытащила оттуда белую тряпку и огрызок карандаша. Морщась и кривя губы от боли, Хисматулла приподнялся и, положив тряпку на доску, стал что-то чертить. От старания и напряжения на лбу у него выступили капли пота, лицо побледнело.

— Вот здесь, — показал он Гульямал и откинулся на подушки. — Спрячь тряпку в надежное место. Если что со мной случится, отдай ее Михаилу. В общем, самому надежному человеку отдай, самому преданному...

— А что это такое? — удивленно спросила Гульямал.

— Это план места, где спрятано золото. Загит знает... А если не будет Загита, пусть ищут у подножия горы, где наш отряд принял бой. В пещерке там, мы ее камнями завалили. Мне, видно, не придется там побывать...

— Не надо, не говори так! Я тебя выхожу!... — с отчаянием сказала Гульямал, голос ее дрожал, но она не заплакала.

— Разве ты не понимаешь, что мне далеко не уйти?.. И вот еще что — скажи людям, что пытали меня Сафуан и Нигматулла... А спас меня Кулсубай.

— Кулсубай?! — ахнула Гульямал. — А говорили, что он к дутовцам перешел...

— Обманули его, он, пока меня к шахте вел, все рассказывал...

— К шахте? Зачем?

— Для допроса. Привел к шахте и говорит: «Нападай на меня и скатывайся в шахту». Ну, я и кинулся... Он выстрелил, я упал — и на четвереньках к шахте, а он меня кругом обстреливал, а потом ногой подтолкнул. Потом я по срубам вниз спустился, долго лежал там, пока не стемнело...

— Аллах, как же у тебя хватило сил до дома добраться? — всплеснула руками Гульямал.

— Помог мне один старатель, его Кулсубай прислал... А потом, у человека в такие минуты десять лишних сил появляется.

— А в ногу тебя Кулсубай ранил?

— Нет, Кулсубай стрелял холостыми. Ногу мне в бою зацепило, еще до того, как меня оглушило взрывом... А то бы я им живым не дался!

Хисматулла замолчал, прикрыв глаза рукой.

— Я посплю малость, а ты сходи поищи верного человека. Пусть поможет мне уйти в лес... Искать меня с утра начнут, а то и раньше...

— Куда ж ты пойдешь такой? Если бы лошадь была!

— Не знаю. Здесь мне оставаться нельзя, сама понимаешь.

— Ладно, сейчас схожу.— Гульямал накинула платок и сняла с крючка большой амбарный замок.— Я тебя запру, ладно? Если кто придет, пусть думают, что нет никого...

— Ладно, ладно,— прошептал он, засыпая.

Гульямал вытащила из-под нар лапти, еще раз взглянула в лицо Хисматуллы — худое, обросшее, беспокойное. «Сдал, совсем сдал,— с горечью и жалостью думала она.— Раньше подковы гнуть мог! Что жизнь делает с человеком... Не дожидаться от нее ни ласки, ни пощады... Видно, не слышит аллах человека, не видит дел его».

Она кончиком платка отерла набухшие от слез глаза и осторожно, на цыпочках, вышла за дверь.

Уже пала на траву утренняя роса, и лапти сразу намокли. Из-за реки доносился звон колокольчиков. Недалеко от дороги, рассевшись на ветках березы, кричали грачи. Пахло полынью.

Гульямал шла мимо домов с забитыми окнами, мимо заросших травой и сорняком дворов, и сердце ее сжималось от боли и тревоги. Дойдя до мечети, она неожиданно остановилась и постучала в ворота Нигматуллы. Загремела цепь; злобно и хрипло залаяла собака. Послышались легкие, быстрые шаги.

— Кто там?

— Это я, Гульямал. Открой скорее.

— Муж не велел никого пускать,— растерянно ответила Нафиса.— Может, придешь, когда он вернется?

— Зачем он мне? Я с тобой поговорить хочу, а не с ним,— рассердилась Гульямал.— Открой, не съем же я тебя, в самом деле!

— Не сердись, Гульямал, не могу я, раз он не велел,— упрямилась Нафиса.

— Ну ладно, раз ты так со мной,— крикнула Гульямал,— то я сегодня же скажу твоему Нигмату, что видела, как от тебя выходил чужой мужчина!

С визгливым скрежетом отодвинулся засов, и Нафиса, открыв калитку, со страхом посмотрела на Гульямал.

— За что ты мне мстишь, что я тебе сделала? — плача, спросила она.— Ради аллаха, прошу тебя, уходи... Прибьет он меня, если узнает, что я его не послушала...

— Да не вернется твой Нигмат так быстро, чего ты боишься? Раз золото есть, ему и жена теперь ни к чему...

— Говори скорее, зачем пришла? — дрожа, спросила Нафиса.

— Скажи, ты еще любишь Хисматуллу?

— Нет... — вздрогнув, ответила Нафиса, заикаясь от смущения. — У меня... муж есть, мне никого любить нельзя. Ничего мне больше не нужно...

— Значит, не любишь? — допытывалась Гульямал.

— Уходи, ради аллаха, не сбивай меня с толку, — жалобно попросила Нафиса.

— Его так избили, что живого места нет, — сказала Гульямал. — И нога ранена...

Нафиса зажала рот ладонью, расширившиеся глаза ее были полны страха.

«Значит, любит, — похолодев, подумала Гульямал. — Что ж я делаю? Сама себя гублю, отдаю самое дорогое, что у меня есть. А не отдам — все потеряю!..»

— Ваш дом не будут обыскивать, спрячь его у себя хоть на несколько дней! — сказала она. — Иначе ему не уйти живым...

— Да ты что? О чем ты говоришь? — отшатнулась Нафиса. — Где же я его спрячу?

— А хоть в сарае или на чердаке! Разве я пришла бы к тебе, если б могла спрятать у себя? Хоть на два дня, ради аллаха!..

— Убьют, — помотала головой Нафиса. — И его, и меня! Не могу я такого греха на душу взять!.. Мне его и кормить-то нечем, Нигматулла как уезжает, ключи с собой берет. Чашку муки на шесть дней оставляет. Боится, что я матери буду помогать...

— Еду каждый день носить буду! — замахала руками Гульямал. — Только место нужно. А если найдут, скажи, что не знала ничего, на меня все свали, я-то никого не боюсь...

— Нет, нет! — вскрикнула Нафиса.

— Ну что ж, на нет и суда нет, — угасшим голосом сказала Гульямал. — Хочешь, совет тебе дам? Как вернется Нигмат, шепни ему, что я приходила, а заодно — что Хисмата у себя прячу... Угоди своему мужу, может, он тебе за это платок купит или сережки, а не купит — хоть меньше бить будет!..

— Зачем ты глумишься надо мной? — Нафиса заплакала. — Зачем ты считаешь меня такой подлой?..

— Так и знай, — гневно выкрикнула Гульямал, — найдут его и убьют, пусть это будет на твоей совести!

— Не уходи! — схватила ее за руку Нафиса. — Будь что будет, пусть лучше убьют меня!

Задами и огородами, пугаясь каждого шороха, Гульямал провела Хисматуллу к дому Нигматуллы, помогла ему забраться на сеновал, бросила на сено дерюгу и вернулась в опустевший дом.

Давно погас огонь в чувале, остыл самовар, тяжело давила на плечи гнетущая тишина. Гульямал собрала и закопала на огороде окровавленные тряпки и одежду, застелила нары, разогрела огонь под казанком с салмой, которой еще недавно кормила Хисматуллу.

«Теперь их уже никто не разлучит,— думала она, и слезы снова набежали, закапали на доски, на расшитый цветными нитками казакин.— Может, лучше нам было умереть вместе, как ведется исстари, когда джигит и любимая погибают вместе, чтоб не разлучаться... Тогда бы моя могила была бы рядом с его могилой, как могила Зухры рядом с могилой Тагира!..»¹

Она убрала со стола, вымыла чашку и вдруг увидела на полу белый лоскуток с планом, что начертил Хисматулла.

«Ай-хай, какая же я глупая!» — упрекнула она себя, пряча тряпку за пазуху.

— Где же ты была? — спросила Сайдеямал, открывая дверь.— Пришла утром с джайляу, гляжу — на двери замок!

— Ты что, эсей, не хочешь больше у Хажисултана работать?

— Отпросилась, подоила пораньше кобылиц и ушла. Думала, может, пришли какие вести от сына...

Гульямал молча покачала головой.

— Всю неделю сердце ноет,— пожаловалась Сайдеямал.— Не сплю почти, руки болят. Все думаю: как он?.. Мало кто через эти горы проходил...

С улицы донесся конский топот, Гульямал съежилась и побледнела.

— Ты что? — испугалась Сайдеямал.— Думаешь, опять Нигматулла за тобой?

Во дворе послышались голоса, и через минуту в дом вбежал загорелый усатый офицер в фуражке с кокардой и четверо солдат. Офицер повертел головой и гаркнул:

— Обыскать!

Солдаты заглянули под нары, за чувал, открыли сундук, залезли на чердак, потом снова выбежали во двор, обшарили сарай и заросли конопли за домом.

— Что вы ищете? — спросила вышедшая вслед за ними Гульямал.

— Не твое дело! — крутанув ус, буркнул офицер.— Не вмешивайся в мужские дела!

Он вскочил на лошадь и, огрев ее плетью, поскакал по улице.

¹ Зухра и Тагир — герои эпического сказания,

— Кого они ищут опять, природы? — запричитала Сайдея-мал. — Мало им того, что половину деревни истребили!

— Может, кто скотину украл... — вздохнув, сказала Гульямал. — Не волнуйтесь, кэйнэ¹, обошли нас стороной и хорошо...

XIV

Вернувшись с прииска, Нигматулла с удивлением отметил, что Нафиса очень похорошела, даже ходить стала иначе — плавно, легко, словно и земли не касалась, и все улыбалась чему-то: наложит еды в чашку, стоит рядом и улыбается.

— Что это ты? Чему, дура, радуешься? — спросил он ее за обедом, и лицо женщины сразу сделалось испуганным и виноватым.

— Я... так, вспомнила, как маленькая была, — растерянно сказала она.

— А-а, — лениво протянул Нигматулла. — Ты бы лучше не забывала, что по хозяйству делать!

— Да вроде я все делаю, как надо, — робко ответила Нафиса.

— Смотри у меня! Если что не так, живого места не оставлю, — пригрозил Нигматулла и, увидев, как побледнело лицо жены, успокоился.

«Разжирела, слишком много еды ей оставляю, — решил он. — Или, может, ключ стащила? Да нет, на такое ей никогда не решиться... Ничего, вот освобожусь немного, я ей этот жир враз сгоню!»

— Приготовь мне чистое белье и запряги лошадь, — приказал он.

— Ты опять на прииск? Надолго?

— Не твое дело! Сколько надо, столько и буду! — прикрикнул Нигматулла. — В дом никого не пускай, поняла? Мука у тебя осталась еще?

— Нет...

— Полчашики оставляю, пока хватит. Иди открывай ворота!

Не успел тарантас мужа скрыться из глаз, как Нафиса слила в чашку оставшееся молоко, положила сверху две белые лепешки и осторожно поднялась вверх по лестнице, приставленной к конюшне.

За день под крышей нагрелось, и было душно. Вместо досок потолок в конюшне был покрыт круглыми осиновыми жердями, и Нафиса чуть не поскользнулась на них, но удержалась, больше всего испугавшись, что прольет молоко. Подойдя к туго взбитой копне сена в самом углу, она присела на корточки, тихо позвала:

¹ Кэйнэ — свекровь.

— Где ты там? Я тебе есть принесла. . .

Сено зашевелилось, и оттуда высунулась встрепанная голова Хисматуллы.

— Уф, ну и баня! — стряхивая с головы приставшие травинки, пожаловался он. — Хоть бы похолодало немного. . . Уехал?

Нафиса кивнула головой.

Хисматулла вытянул из-под сена раненую ногу, потом здоровую.

— Поешь, — протянула ему чашку Нафиса, но Хисматулла, отставив чашку в сторону, притянул ее к себе и обнял.

— Постой, я калитку не заперла, — шепнула Нафиса.

— Ну и пусть, все равно никто не придет. — Не слушая, Хисматулла целовал ее в щеки и шею, обнимая все крепче, и Нафиса, закрыв глаза и улыбаясь, гладила его по обросшему затылку и щекам и чувствовала, слабея, как блаженно кружится голова и шатается настил под ногами.

— Я же тебя целый день не видел, — задыхаясь, шептал Хисматулла. — Родная моя, любовь моя. . . Все у нас будет — и дом, и дети, все, что ты захочешь! Скажи, скажи: чего ты хочешь?

— Только одного — быть с тобой. . .

— И больше ничего?

— Ничего. . .

Потом они долго лежали рядом на сене, и Хисматулла ласково и осторожно вытаскивал травинки, застрявшие в косах Нафисы. Где-то протяжно и монотонно кричал заблудившийся теленок, кричали игравшие на площади дети.

— Вот кто не знает горя, — тихо сказала Нафиса. — И я когда-то была маленькая, счастливая была. . .

— А теперь? — ревниво спросил Хисматулла.

— И теперь счастливая, только не так. . . То счастье беззаботное было, все меня любили — и мать, и отец. . . Ни о чем не надо было думать, все было ясно.

— Но так же нельзя — всю жизнь жить и не думать. Кто же за тебя все дела решать будет? — возразил Хисматулла.

— Я знаю. . . — Нафиса вздохнула. — Потому и говорю, что то время было самое счастливое. Сейчас мне каждый час, каждая минута всей жизни дороже, желаннее всего на свете. . . Земля как будто совсем другая стала, даже сено не так пахнет, как раньше. А вон видишь, как солнце сквозь дранку пробивается, вон щелочки в крыше. . . Я как будто родилась заново, потому что никогда не замечала, как это красиво. . . —

Во дворе заскрипели ворота, и Нафиса, не договорив, вскочила и бросилась к лестнице.

— Отец моего мужа! — побледнев, тихо вскрикнула она. — Сюда идет!

Хисматулла схватил железные вилы и припал к щели в полу.

— Эй, сноха! Нафиса! — встав посреди двора, крикнул Хажигали.

Не получив ответа, он прошел в дом, но почти тут же вышел и направился прямо к конюшне.

«Кто-то выдал», — мелькнуло в голове у Хисматуллы. Он спрятался за сено и держал вилы наготове.

— Сноха-а! — еще раз крикнул Хажигали, щурясь и прикрывая глаза ладонью, потом стал взбираться вверх по лестнице.

«Надо успеть до того, как выстрелит, — дрожа, думал Хисматулла. — Все равно живым не сдамся!»

Сердце его колотилось так, что стук, как ему казалось, слышен был на всю конюшню. Нафиса, прижав руки к груди, стояла не шелохнувшись, даже дыхания ее не было слышно, только шевелились губы: «Спаси нас, всевышний, о аллах, спаси нас от беды...»

Достигнув середины лестницы, Хажигали повернулся к крыше спиной и, закрывшись от солнца ладонью, поглядел на огороды и клети, спускающиеся от дома к реке.

— На-фи-и-са! — еще раз крикнул он и, помедлив, стал спускаться.

Все еще не веря тому, что опасность миновала, Хисматулла продолжал до боли в руке сжимать железные вилы.

Тем временем Хажигали подошел к собаке, вылезшей из конуры и глядевшей на него высунув язык и свесив голову набок.

— Что, жарко? — наклонился Хажигали.

Пес лизнул ему руку и повалился на спину, задрав вверх толстые рыжие лапы.

— Ладно, ладно, нечего! — недовольно проворчал Хажигали и, оглядев двор, вышел за ворота.

— Пойду коров подою, — дрожащим голосом сказала Нафиса.

Хисматулла молча полез в копну.

Солнце уже клонилось к западу, когда, плотно закрыв ворота и калитку, Нафиса снова поднялась на крышу конюшни. Хисматулла сидел на сене, оглядывая двор сквозь щели в дранке. Нафиса села рядом с ним и обняла его.

— О чем ты думал? — ласково спросила она.

— Уходить мне надо, нога уже почти зажила, — стараясь не глядеть на Нафису, сказал он.

— Как уходить? — Глаза Нафисы расширились, на секунду ей показалось, что настил проваливается вниз, и она вцепилась обеими руками в плечо Хисматуллы. — Куда? ..

— К своим, на Белорецк...

— А как же я? Нет, нет, я тебя не пушу! — Нафиса как безумная судорожно обнимала его, губы ее дрожали. — Я не могу, не могу без тебя! Если ты любишь меня, не уходи, не оставляй меня одну!.. Я умру без тебя, умру!.. Пожалей меня, ведь и я человек!

— Хорошо, идем со мной, — сказал Хисматулла.

— Как же я пойду? — Нафиса расплакалась. — Я и дороги до Кэжэна не осилю... Я боюсь! Аллах опять накажет нас...

— На руках тебя понесу, если устанешь!

Когда Хисматулла осторожно спустился по лестнице, уже начинало смеркаться. Оглядываясь и держась поближе к клетям, он стал пробираться вниз, к реке, но вдруг увидел Хажигали, стоящего посреди огорода, и прижался к стене.

Хажигали наклонился над грядкой, потом присел на корточки и стал что-то рассматривать.

Хисматулла осторожно лег и пополз обратно в сторону дома. Нафису, стоявшую во дворе, трясло от страха. Она заперла Хисматуллу в сарае и вышла на огород.

— А, Нафиса! Где ты была? Я заходил час назад, кричал... Доила, что ли?

— Да, — как можно спокойнее ответила Нафиса.

— Не знаешь, мой сын не собирается на покос приехать?

— Не знаю... Он ничего не говорил.

— Ну ладно, — Хажигали встал и пошел к калитке, — передай ему, если будет время, пусть приезжает, дело есть.

— Хорошо, передам, — ответила Нафиса, закрывая калитку на засов.

— По-моему, он ничего не заметил, выходи, — шепнула она в темноту сарая, открыв скрипучую дверь. — Иначе не вел бы себя так... Может, останешься еще на день? Боюсь, что пути не будет, раз ты вернулся...

— И что он все бродит, старый шайтан? — вылезая из-за поленницы, раздраженно сказал Хисматулла. — Калитка-то была на запоре?

— Через заднюю прошел, — вздохнула Нафиса. — Если хоть два раза в день клетки, амбары и огород не осмотрит, у него прямо душа не на месте... Может, еще денечек поживешь, чтоб нога окрепла?

— Нет, я и так чувствую себя как на горячей сковородке, больше терпеть нельзя, могут схватить в любой час. — Хисматулла помолчал, глядя через полуоткрытую дверь на пустой двор. — Значит, условимся так... Я буду ждать тебя на том берегу, у заводи, там можно хорошо спрятаться... Не сумеешь выбраться рано утром, приходи в обед...

— Давай я тебя хоть до реки провожу, — робко попросила Нафиса.

— Не надо, могут заметить. — Хисматулла рывком прижал ее к себе и не оглядываясь пошел к огороду.

Быстро темнело, плескала в прибрежных тальниках река, ветер шелестел травой, за заводью кричала выпь тоскливо и тревожно. Спустившись задрами к реке, Хисматулла дождался полной темноты и лишь тогда переправился через Кэжэн.

Раненую ногу заломило от холодной воды, и он долго не мог согреться, то растирая ее, то принимаясь ходить, то пытаясь прилечь в кустах и уснуть. Лес шумел мрачно и отчужденно, рвались на ветру тонкие ветки березы, словно хотели улечь.

«Все должно быть хорошо, — уговаривал сам себя Хисматулла. — Нигмат вряд ли сегодня придет, раз вчера был... А что, если Нафиса раздумает?»

К утру он совсем продрог, съел одну из лепешек, что дала ему с собой Нафиса, и стал ходить, чтобы согреться. Скоро посыпал мелкий, как из частого сита, дождик.

Низко над землей плыли серые, грязные облака, ровный мертвенный свет сочился с неба и блестел на реке, скупо высвечивая острые обломки скал и темные кроны деревьев. У переправы никто не показывался.

Тяжело махая крыльями, пролетел прямо над головой Хисматуллы и сел на ветку взъерошенный косач, но, заметив человека, тут же снялся и улетел. Невдалеке каркнула ворона, стайка воробьев высыпала на прибрежные кусты. Хисматулла снова сел и, вздохнув, прислонился к березовому стволу.

Долго сидел он так, то прислушиваясь, то вскакивая, то снова начиная ходить, молясь неизвестно кому, чтобы Нафиса поторопилась. А серый день тянулся и тянулся, — лениво накрапывал дождик, налетал ветер, доносилось из деревни ржанье лошадей.

К вечеру стало ясно, что Нафиса не придет.

Внутри у Хисматуллы стало вдруг тихо и пусто, и он понял, что эту пустоту уже нечем будет заполнить.

«Что ж, раз она так решила... — думал Хисматулла. — Значит, страх у нее сильнее любви, значит, не так меня любит, как я ее...»

В лесу становилось все темнее и холоднее, но потерявший надежду Хисматулла все не мог почему-то уйти и сидел неподвижно, уже почти не чувствуя холода.

Только поздней ночью он двинулся в путь, еле передвигая занемевшие ноги, прямо сквозь кусты, не раздвигая бьющих по лицу веток. На рассвете он съел вторую лепешку, поспал немного и, обойдя большое болото, покрытое высокой травой, снова взял направление на восток, заставляя себя не думать ни

о Нафисе, ни о раненой поге, ступать на которую было уже почти невозможно. В сумерках он добрал до скошенной луговины и, оглядевшись, вышел к низеньким, стоявшим в ряд шалашам. Это были русские, из Кэжэна, одного из них, Алексей, Хисматулла встречал в Кэжэне. Тот сразу узнал его, накормил и уложил спать в шалаше.

— Партизаны недавно прошли на Стерлитамак, — рассказывал наутро Алексей. — Так что зря ты в Белорецк спешишь. Блюхер ими вроде командует...

— Ну что ж, тогда и мне на Стерлитамак, — не раздумывая решил Хисматулла.

— А если я тебе двух товарищей дам, проведешь? — хитро прищурился Алексей.

— А кто такие?

— Один — сын мой, другой — его товарищ, с фронта бежали, — объяснил Алексей. — Коня вам дам, еды. У них есть оружие, а ты, так уж и быть, возьми мою берданку!..

— Спасибо, агай, — поблагодарил Хисматулла.

— Эй, Тимка, зови Андрюху! — обернувшись к русоволосому мальчику, который сидел на арбе, болтая ногами, и смотрел, как отбивают косу, крикнул Алексей. — Да гнедого, скажи, пусть ведет!..

Тимка нырнул в густой тальник у шалаша и скоро вернулся. За ним шли двое парней в рубахах и солдатских штанах.

Привели гнедого. Алексей подал Хисматулле берданку.

— Спасибо, агай! — снова поблагодарил Хисматулла.

— Не за что, — ответил старик, приторачивая к седлу гнедого сумку с едой. — Ты здесь небось все тропки знаешь, а они и леса-то как следует не нюхали...

Хисматулла медленно ехал впереди, за ним шагали два его новых товарища. Выглянуло из-за туч солнце, осветив землю ярким блеском, ожил лес, многоцветно светились на листьях капли дождя, косые лучи, преломляясь в листве, падали на порозовевшие стволы берез, светлыми пятнами растекались по земле.

«Может быть, так и надо, — думал Хисматулла. — Настоящему революционеру нельзя иметь семью, и она для него обуза...»

Но сколько он ни убеждал себя, сердце ему говорило другое.

XV

С утра Нигматуллу преследовали одни неприятности.

Началось с того, что он, против обыкновения, вылез из конторы, чтобы посмотреть, как работают на Юргашты приисковые артели. Людей было мало, золота тоже, и, объездив почти

все тепляки, ругая десятников и кроя на чем свет стоит бегавшего за ним старшего штейгера, он отправился к центральной шахте, откуда выкачивали воду. Однако не успели они проехать и половины пути, как сзади раздался топот босых ребячьих ног.

— Агай! Агай! Хозяин приехал, в контору зовет! — запыхавшись, сообщил мальчишка.

— Какой еще хозяин? — побелел Нигматулла.

— Как какой? Накышев!

— Вот оно что... — протянул Нигматулла. Желтые рысьи глаза его сузились, он огрел жеребца нагайкой, и тот рванулся вперед, не разбирая дороги.

«Явился не запыхался! — со злостью сплюнул Нигматулла и снова взмахнул нагайкой: — Лишь бы чужими руками жар загребать! Как беспорядки были, небось носу не показывал, а как тихо стало, тут как тут! Ну, мы еще посмотрим, кто здесь хозяин!..»

— Нигматулла Хажигалиевич, обождите! — кричал оставший штейгер, но Нигматулла не слышал его. Лишь въехав на узкую, петляющую между балаганами и землянками улочку, он придержал коня и, стараясь успокоиться, пустил его шагом.

«Тише, тише! — уговаривал он себя. — Чего я петушусь? С Накышевым надо не сгоряча говорить, не орать, а просто показать ему, что он тут не ко двору, как говорится! Тоже мне, холостого патрона испугался! — усмехнулся он. — Пока у меня в руках сила и прииск мой!»

— Найди того самого офицера, что у меня в гостях вчера был, скажи — пусть придет, — приказал он догнавшему его штейгеру. — И Султангали, если увидишь, тоже чтоб сюда бежал!..

В кабинете было полно народу. Накышев, сложив руки на животе, чинно восседал за столом в кожаном кресле. На стульях вдоль стены сидели десятники.

— А, Нигмат! Садись, — пригласил он.

Но Нигматулла будто и не заметил его присутствия. Он вышел на середину комнаты, недовольно оглядел собравшихся.

— Придется всех оштрафовать, — сказал он.

— За что? — нахмурился один из десятников.

— Как за что? Что вы делаете здесь в рабочее время? Или вы думаете, я вас даром кормить буду, за здорово живешь?!

Брови управляющего поползли вверх, редкая бородачка затряслась.

— Ты что это? Что это ты себе позволяешь? — ошарашенно спросил он.

— А ну-ка, быстро расходитесь! — приказал Нигматулла, по-прежнему не замечая Накышева. — С ума сошли! Работа горит, а они языками чешут!..

— Забыл, перед кем стоишь! — грохнул кулаком по столу Накышев. — Или нализался? Вон отсюда!

— А перед кем я стою? — нагло подбоченясь, повернулся к Накышеву Нигматулла. — Кто ты есть? Бывший управляющий! Бывший, ясно? Был да сплыл, жил бы — не помер!..

Десятники мялись, не зная, кого слушать. Некоторые встали, но, не решаясь уйти, топтались у дверей.

— По местам, по местам! — торопил Нигматулла.

— Ни с места! — орал Накышев. — Я здесь хозяин, а он десятник! Десятник!..

— Какой ты хозяин? Удрал, все большевикам оставил, только пятки сверкали! А я боролся, кровь проливал, я не из тех, кто веру свою продает! — Нигматулла ударил себя в грудь кулаком и распрямился. — Да у тебя даже прав сюда приходить нету, заячья твоя душонка! Поворачивай оглобли, пока не поздно!

— Да ты соображаешь, что говоришь? — побагровев, встал из-за стола Накышев.

— Я-то все соображаю, а вот ты, видать, совсем ум потерял, раз сюда явился! — не отступал Нигматулла.

Десятники посторонились. Казалось, что Накышев и Нигматулла сейчас, не выдержав, бросятся друг на друга, и начнется драка, но не успели противники сойтись, как в комнату ворвались штейгер и офицер с четырьмя солдатами.

— Что здесь такое? А ну, разойдись! — гаркнул офицер.

— По местам, по местам! — добавил Нигматулла, весело взглянув на Накышева, упавшего обратно в кресло.

Десятники вышли. Офицер подошел к Нигматулле и коснулся двумя пальцами козырька казацкой фуражки с синим околышем:

— Слушаю, господин Хажигалиев!

— Да вот бывший управляющий заявился, — процедил сквозь зубы Нигматулла. — Все золото большевикам раздарил и сбежал, а теперь делает вид, что он все время в этом кресле сидел! Все беспорядки с него начались, мы больше месяца их расхлебывали, не удивлюсь, если узнаю, что он тайно большевикам помогал... Очень опасный человек!

— Чтоб у тебя язык отсох! — Накышев вскочил. — Не слушайте его, господин офицер, он все врет! Ты забыл, кто тебя человеком сделал?..

— По его вине здесь обвалились десять шахт, много рабочих погибло, — не глядя на Накышева, так же осуждающе продолжал Нигматулла. — Все на других сваливал, а сам сухим из воды вылезал. Двух человек безвинно в тюрьму посадил, на каторгу отправил! Очень опасный человек! Боюсь, раз он появился, опять у нас беспорядки начнутся...

— Все вранье, все ложь! — Накышев подбежал к офицеру. — Я на этом прииске управляющий, вот посмотрите мои документы!..

— Ты свою долю с лихвой получил! — ничуть не смущаясь, сказал Нигматулла. — Иди туда, откуда пришел, не путайся под ногами, по-хорошему говорю!

— Согласен на половину прииска, — тяжело дыша, ответил Накышев.

— Даже одной шахты тебе не дам! — вскинул голову Нигматулла. — Я здесь хозяин!

— Ты же в делах не смыслишь ничего, — просяще глядел на него Накышев. — Вместе будет легче работать...

— Как-нибудь обойдусь! — фыркнул Нигматулла.

— Да что вы с ним говорите, Нигматулла Хажигалиевич? — удивился офицер. — Не хочет по-хорошему — посмотрим, как по-другому зайдет!.. Разрешите убрать его?

— Берите, — махнул рукой Нигматулла.

— Осрамить меня хочешь? — выкатывая глаза, прохрипел Накышев. — Вы... не имеете права! Я пожалуюсь в Оренбург! У меня дед был членом думы! Знаете, что вам за это будет?

— А может, не стоит возиться с ним? — лениво спросил офицер. — Пустить в расход, и делу конец!

— Не стоит руки марать! — брезгливо дернулся Нигматулла. — Штейгер, вытолкни отсюда это толстое брюхо, а то оно само, без чужой помощи, не пролезет!

— Погоди, Нигмат! Когда-нибудь ты поймешь, что жизнь как колесо, в разные стороны вертится! — уходя, пригрозил Накышев.

— Пропустите! — приказал офицер солдатам.

— Сколько? — спросил Нигматулла, когда они остались вдвоем.

— Пятьсот, — небрежно ответил офицер.

— Это же золото, а не какие-нибудь керенки! — мучительно, как от зубной боли, скривился Нигматулла. — Да и услуга-то маленькая, подумаешь — безоружного человека из двери вытолкали!..

— А документы? — хитро прищурился офицер. — Фактически-то прииском он должен управлять, или я не так понял, Нигматулла Хажигалиевич?

— Много, — покачал головой Нигматулла. — Сто.

— Нет, так не пойдет, цену я пазначаю, а твое дело отсчитывать правильно.

Нигматулла вынул из нагрудного кармана толстый кожаный бумажник, тщательно отсчитал триста рублей и протянул офицеру.

— Двух сотен не хватает, — сказал офицер. — Доставай, доставай, не торгуйся! Или считать разучился? Так я помогу!

— Еще сотню и магарыч с меня,— предложил Нигматулла.

— Черт с тобой, сквалыга! Только чтоб коньяк был, а не эта ваша буза, я ею уже по горло сыт. И девок достань, а то какая же выпивка без девок?

— Все будет! — успокоил его Нигматулла.

Прибежавший из кабака половой быстро накрыл стол в соседней комнате. Проголодавшийся Нигматулла опрокинул стакан коньяку и с жадностью набросился на еду. Офицер насмешливо следил за ним.

— Вилка же рядом лежит, Нигматулла Хажигалиевич, зачем же руками? — заметил он наконец.

— Руками вкуснее! — засмеялся Нигматулла. — Да и привычка, с детства... У нас здесь все руками едят. — Он потянулся за бутылкой, налил себе еще полстакана, выпил и снова схватил кусок мяса.

— Интересно, что вы будете делать с такими деньгами? — попивая маленькими глоточками коньяк, спросил офицер.

— Э, были бы деньги, а куда девать, найдется! — Нигматулла взялся за куриную ножку.

— Ну, все-таки?

— Есть хозяйева, у которых по десять — пятнадцать приисков, и то не горюют! — Нигматулла отбросил кость и снова плеснул себе коньяку. — Чем я хуже их? Выстрою себе дом в Оренбурге, да не такой, как раньше строили, а всем домам дом, такой высокий, чтоб отовсюду видно было, выше самой главной мечети! На все свои прииски людей подберу, таких штейгеров, десятников, инженеров, чтоб из камней золото делали. Комбинат построю медный на Карматау, а между Бишп-тэк и Харыл — чугунолитейный завод. Еще года три — и мое имя весь Урал знать будет, вот увидишь!

Сначала офицер слушал Нигматуллу равнодушно, считая, что тот просто болтает попусту, но скоро забыл даже о панировке, и та потухла в его руках.

«Вот это хватка! — с восхищением думал он. — А с виду вроде совсем простоват мужик, никогда не скажешь, что у него каждый шаг продуман и рассчитан! А впрочем, вряд ли у него что выйдет, уж больно темен и дик».

— Учиться начну,— словно угадав его мысли, сказал Нигматулла. — Вот только придет все в порядок помаленьку, и обязательно начну!

Дверь приоткрылась, и показалось круглое улыбающееся лицо штейгера.

— Заходи, заходи! — пригласил его Нигматулла и широко взмахнул рукой. — Садись!

Штейгер присел на краешке стула. Нигматулла придвинул к нему стакан, вылил туда остатки из бутылки и раскупорил новую.

— Ну как там Накышев?

— Шахту заставил его чистить, — угодливо улыбнулся штейгер. — Ну, злится, ну, пыхтит!

— Небось пузо мешает? — расхохотался Нигматулла. — Ничего, пусть дня три поработает, я его отважу сюда нос со-
вать! А Султангали не нашел? А то некому за бабами сходить...

— Давайте я сбегаяю, Нигматулла Хажигалиевич, — вскочил штейгер.

— Русских только, для меня и для офицера, — уставившись на штейгера мутными осоловевшими глазами, проговорил Нигматулла.

— Да выбери получше, помоложе! — заулыбавшись, добавил офицер. — А то в прошлый раз Султангали такую привел, что смотреть тошно!...

— Конечно, конечно! — кланяясь и жмуря глазки, заверил штейгер. — Что он там понимает в бабах, этот Султангали? Мальчишка еще, сопляк! Для него — что одна, что другая — лишь бы платок на голове был...

— Давай торопись! — еле ворочая языком, приказал Нигматулла.

Штейгер ринулся к дверям, чуть не столкнулся с входящим в комнату Хажигали.

— Что тебе? — строго свел брови Нигматулла. — Опять насчет покоса? Сказал — не дам лошадей, — значит, не дам! Дня не хватает, по ночам уже ходишь!

— Дело есть, сынок, потому и пришел, — обиженно сказал Хажигали.

— Какие дела в такое время?

— Хисматулла у тебя на огороде прячется, вот какие дела! — скосив глаза на офицера, ответил Хажигали. — Бери скорей лошадь, солдат, а то уйдет!

— Хис-ма-тул-ла-а? — икая и давась, захохотал Нигматулла. — Ой, уморил! Видно, у тебя к старости ум помутился! Твоего Хисматуллы и на свете-то нет! Может, ты найтана у меня на огороде видел — тогда другое дело! Только я шайтанов не боюсь, они мне беспорядков на прииске не устраивают!...

— Может, ты тогда тоже шайтан, а не мой сын? — разозлился Хажигали. — Да я Хисматуллу с закрытыми глазами узнаю!

— Я слышал, что его расстреляли, — махнул рукой Нигматулла. — Что ты мне голову морочишь?

— А ты проверь, проверь лучше! — посоветовал Хажигали.

— Проверить? Это можно! — посерьезнел Нигматулла. — Поди скажи, чтоб Сафуана позвали!

Не прошло и получаса, как Нигматулла мчался к деревне, ведя за собою отряд казаков.

Добравшись до окраины, он приказал солдатам оцепить деревню и, оставив при себе несколько казаков, поскакал к дому. Хажигали настежь раскрыл перед ним ворота, Нигматулла с разлету влетел в них, стегнул нагайкой выбежавшую на крыльцо Нафису и, сделав круг по двору, спешился.

Обшарили дом, осмотрели заросли у амбаров, потом оцепили конюшню и сарай.

— Эй, Хисматулла, выходи! — отступив на безопасное расстояние, крикнул Нигматулла. — Сдашься добровольно — в живых оставлю! Уйти тебе все равно некуда, кругом солдаты!

Нежно и тихо плескала река за огородом, ветер шелестел листьями. Кто-то из казаков кашлянул.

— Выходи, тебе говорят! Все равно достанем! — снова крикнул Нигматулла и, видя, что никто не отвечает, приказал солдатам лезть наверх.

Потыкали вилами сено под крышей конюшни, еще раз обыскали клетки и лавку. Хажигали готов был заплакать от досады. Не переставая, лаяла до хрипа сидевшая на короткой цепи собака. Нигматулла пнул ее ногой, и она, замолчав, уползла в будку.

Вслед за клетями обыскали дом Гульямал, потом поочередно все дома в деревне. Часть солдат отправили на джайляу, где Сайдеямал доила кобыл Хажисултана-бая.

Нигматулла долго ходил по двору, стегая нагайкой по изгороди, потом присел на крыльце, подумал немного, решительно встал и вошел в дом.

Нафиса сидела на чурбаке у чувала, у ног ее лежал маленький узелок, свернутый из старой, привезенной еще из дому шали. Увидев Нигматулла, она поднялась.

— Ты куда это? — хмуро спросил Нигматулла.

— Домой, — тихо ответила Нафиса. — Не могу я больше тут жить, отпусти меня, ради аллаха...

— Вот оно что, — протянул Нигматулла. — Значит, даром тут Хисматулла побывал, хорошо без меня поработал! Говори, куда он пошел?

— Ничего я не знаю, никого не видела... Отпусти меня, ради аллаха, не держи, — повторила Нафиса.

— Люди с голодудохнут, а ты с жиру бесишься! Что есть будешь, не подумала? — Нигматулла щелкнул нагайкой, присел на нары и пристально уставился на жену.

— Проживу как-нибудь, все стерплю, что аллах на мою долю пошлет, — склонила голову Нафиса. — Живут же люди еще беднее меня и не умирают... Не могу я больше, дай мне уйти домой...

— Ладно, так и быть, я тебя отпущу, но только с одним условием, — узкие глаза Нигматуллы сверкнули, верхняя губа

вздернулась.— Скажи мне, куда пошел Хисматулла, и я тебя тут же отпущу!

Нафиса молча помотала головой.

— Хочешь, поедem со мной завтра на прииск, шаль тебе новую куплю? Или сережки? Только скажи, куда он пошел, и я куплю тебе все, что захочешь! — предложил Нигматулла.— В бархате ходить будешь, лучше, чем жена муллы!

— Мне ничего не надо, я не знаю, где Хисматулла, не пытай меня... — умоляюще посмотрела на него Нафиса.— Отпусти, мать меня ждет... Я же не нужна тебе... Смилуйся надо мной, ради аллаха, скажи мне: «Талак, талак...»¹

— Клянусь тебе аллахом, я его пальцем не трону! — продолжал уговаривать Нигматулла.— Живой останется, пусть только скажет, где золото спрятано. Башкирскому правительству золото нужно, понимаешь? Иначе меня с прииска прогонят! Так оно в земле лежит, а так — всем пользу принесет! И тебя отпущу, и дом ему выстрою, товаров накуплю... Будет жить, как захочет! Все будет, только скажи мне, где он?

— Не знаю я, куда он пошел, зря ты меня спрашиваешь...

— А, значит, ты все-таки видела его? — оживился Нигматулла.— Ну, теперь-то уж я выбью из тебя ответ! — Он толкнул Нафису, она упала на нары, стукнувшись о доски головой.— Говори, а то живого места не останется!...

Нафиса молчала, закрыв лицо руками, всем телом прижавшись к нарам.

— Скажешь? Скажешь или нет? — цедил сквозь зубы Нигматулла, поднимая нагайку при каждом вопросе.— Где Хисматулла?

Неожиданно Нафиса перестала плакать и подняла голову, глаза ее горели ненавистью, лицо исказилось.

— Бей! Убивай! — крикнула она.— Ничего тебе не скажу, ничего! Не человек ты, а мразь! Не боюсь тебя!...

— Вон ты как заговорила! — рассвирепел Нигматулла.— Ну ладно, придется мне научить тебя, как должна жена вести себя при муже! Вставай, сука!

Он схватил Нафису за косы, вытащил во двор и силой посадил в тарантас.

— Отпусти, отпусти, ради аллаха! Что ты задумал? — молила Нафиса, но Нигматулла даже не смотрел на нее. Он сам запряг в тарантас лошадь и, гикнув, хлестнул поводьями по крупу.

Подскакивая на рытвинах, тарантас с грохотом промчался по улице, комья грязи и мелкие камешки летели из-под колес, с испуганным кудахтаньем разбегались куры. Нафиса закрыла глаза.

¹ Слова, которые говорит муж при разводе,

«Убьет,— решила она и от этой мысли сразу перестала плакать.— Что ж, было у меня в жизни несколько счастливых дней... Не зря говорят, что человек за все расплачивается. А за эти дни можно отдать и жизнь».

Заплескала под копытами вода, Нигматулла крикнул. Выйдя на берег, лошадь встряхнулась и бодрой рысью потрусила дальше, по лесной дороге.

«В глушь везет»,— почти равнодушно отметила Нафиса, когда они миновали старое русло и тарантас закрипел, подымаясь в гору.

Дорога кончилась. Мрачно шумели над головой верхушки сосен. Нигматулла уже больше не погонял лошадь, и она шла шагом, лениво взмахивая хвостом. Было уже почти светло, когда впереди показалась небольшая полянка, и Нигматулла, дернув поводья, остановил лошадь.

— Слезай,— угрожающе сказал Нигматулла.

Нафиса встала рядом с тарантасом, с ужасом глядя на мужа. Нигматулла отошел на несколько шагов, зарядил винтовку и поднял ее:

— Последний раз спрашиваю, где Хисматулла? Не скажешь — застрелю, как собаку!

Колени у Нафисы задрожали, она схватилась рукой за тарантас, чтобы не упасть, но сжала губы еще крепче, не проронила ни звука. Нигматулла молча целился. Нафиса подняла глаза и обвела взглядом лес. Светлое облачко неподвижно висело над соснами, казалось, все смолкло и птицы, и ветер, и даже шорох травы под ногами. «Дождь пойдет, а я его уже не увижу,— подумала Нафиса.— Тихо как... Даже птицы ничего не хотят сказать мне на прощанье...»

— Что же ты не стреляешь? — устало сказала она.— А то рука устанет все время так ружье держать...

— Не-ет,— еле удержавшись, чтобы не нажать на курок, скрипнул зубами Нигматулла.— Просто убить тебя — это мало! Раздевайся!..

— А, тебе одежду жалко? — понимающе качнула головой Нафиса.— Хорошо...

Она скинула шаль, покорно сняла старенький камзол с потертым позументом и бросила все это под ноги Нигматулле.

— Мне ничего твоего не нужно,— пробормотала она.— Подаришь той, на которой теперь женишься...

— Все снимай! И платье, и сапожки! — крикнул Нигматулла.

Нафиса покорно стянула платье, оставшись в одной рубашке. Движенья ее были вялы и медленны, какое-то время ей казалось, что все это происходит во сне, но она видела так ясно и четко, что ощущение это скоро пропало. Холодила босые

ступни утренняя роса, травинки мягко лежали под ногами, было свежо.

— И рубашку! — потребовал Нигматулла.

Нафиса выполнила и это приказание и стояла совершенно пагая на траве, прикрывая грудь руками.

— Становись вот сюда! — хрипло указал Нигматулла.

— Ах, вот что, — усмехнулась одними губами Нафиса, — вот что ты задумал, зверь... Душегуб!..

Нигматулла схватил ее и привязал косами к дереву, поставив ногами в рыхлый, темный от росы муравейник, вернулся к тарантасу и, достав из-под сена веревку, привязал еще крепче.

Муравьи сразу пришли в движение. Не прошло и десяти минут, как они покрыли все тело Нафисы, которая не могла пошевелить ни рукой, ни ногой.

— И теперь не скажешь?

— Нет! — крикнула Нафиса. — Нет, никогда!

Нигматулла в ярости сломал несколько веток черемухи и стал с силой хлестать ее по плечам и лицу.

— А-а! — дико закричала Нафиса. — Спа-асите!..

— Никто тебя не услышит, сука! — замахиваясь снова и снова, ответил Нигматулла. — Говори, где Хисмат?

— Нет, — бессильно мотала головой Нафиса.

— Ничего, еще покаешься! — уверенно отвечал Нигматулла. — Это тебе за то, что мужа не почитала! Это за то, что на чужих смотрела! А это за то, что не говоришь, где золото спрятано!..

Охрипнув от крика, Нафиса только сглатывала набежавшую слюну и тяжело дышала. Тело ее превратилось в сплошную кровоточащую рану, ветки черемухи излохматились, а она все смотрела и смотрела прямо на Нигматулла, и глаза ее были полны ненависти.

Обессилев, Нигматулла повалился на траву, полежал немного, потом встал и разрезал веревки.

Нафиса с глухим стоном упала на землю.

— Вставай! — пнул ее ногой Нигматулла.

Нафиса не отвечала.

Нигматулла взвалил ее на тарантас, прикрыл сеном и погнал лошадь обратно в деревню.

— Идите занесите ее! — приказал он матери и отцу, пившим чай у чувала. — Да смотрите, чтоб не сбегала. И никого к ней не пускайте!

— Ай-хай, бедная, что с тобой сделали! — запричитала мать Нигматуллы, подойдя к тарантасу.

Она помогла уложить невестку на нары, смазала ее раны топленым салом и села рядом, поглаживая Нафису по косам и плача.

— К вечеру буду,— заглянув за занавеску, сказал Нигматулла.— А ты не торчи около нее, нечего баловать! Вела бы себя как надо — учить не пришлось бы!..

— Баньку... баньку истопить бы... — прошептала Нафиса.

— Хорошо, хорошо, истоплю сейчас, — заторопилась свекровь.

— Баньку ей... Ладно уж, истопи, а я вечером приеду — еще одну истоплю! — проворчал Нигматулла и вышел, хлопнув дверью.

До самого прииска он с бешенством гнал жеребца и, войдя в контору, зверем поглядел на Сафуана, уже сидевшего у дверей кабинета.

— Все ты! — заорал он с порога. — Сколько я тебе говорил, что нельзя Кулсубаю доверять! Немедля расстрелять его, собаку!

— Опоздали, — виновато развел руками Сафуан. — Как говорится, ум к дураку после обеда приходит...

— Как опоздали? — вскинулся Нигматулла.

— Повестка ему пришла из Оренбурга... Вчера и уехал, — вздохнул Сафуан.

— Какая еще повестка?! Что ты мелешь? — затрясся от ярости Нигматулла.

— Из военного отдела. Велено явиться в Оренбург, в штаб башкирского корпуса. Так что теперь он не в нашей власти... Да не расстраивайся ты из-за пустяков, никуда не денется ни золото, ни Хисматулла этот! Уже три наших башкирских полка против красных выступили, четвертый — в Оренбурге собирают, так что большевикам скоро конец, считанные дни остались!.. — старался успокоить его Сафуан.

— Для тебя все пустяки! — не унимался Нигматулла. — И свалить большевиков — пустяки! И золото — пустяки! Только что-то пока никто с этими пустяками справиться не может!

— Не горячись, не горячись попусту!

Но не успел Сафуан договорить, как в комнату вбежал запыхавшийся Султангали с выпученными глазами. Он схватил со стола графин, поднял его и стал пить из горлышка, не отрываясь.

— Да что это сегодня? словно с ума все походили! — закричал Нигматулла и, выхватив графин из рук Султангали, с грохотом поставил его обратно на стол. — Ты что, из горящего дома примчался?

— Выследил я их, как ты велел! Выследил! — с трудом переводя дыхание, выпалил Султангали. — Но нету больше золота, нету!.. Место я нашел, а золота нету! Гульямал раньше меня туда поспела!

— Идиот! Что ты болтаешь? — побелел Нигматулла.

— Прямо к той скале, где бой был, привела она партизан, — торопливо и горячо досказал Султангали. — Они все погрузили на арбу и увезли! Я за ними по пятам до самого озера крался, а потом след потерял. . . Разве один угонишься?

— Без ножа ты зарезал меня, бандит! — Нигматулла оттолкнул Султангали, распахнул дверь, намереваясь вызвать солдат и организовать погоню.

На пороге стоял Хажигали. Седая борода его торчала в разные стороны, губы дрожали. Он беспомощно огляделся по сторонам, как-то боком вошел в комнату, махнул рукой и сел на стул.

— Жена твоя. . . — сказал он и замолчал.

— Что еще? — раздраженно спросил Нигматулла.

— В бане сгорела. . . Облила себя керосином и сгорела, — покачал головой старик. Он, видимо, все еще никак не мог прийти в себя от того, что произошло почти на его глазах.

Сафуан отвернулся к окну, Султангали испуганно смотрел на старика.

— И баня сгорела, и сарай. . . — монотонно бубнил старик. — Сказала, баню ей истопить, твоя мать истопила, а там керосин был. . . Вот она и подожгла. . .

— Да замолчишь ли ты! — вне себя крикнул Нигматулла. — Сгорела и сгорела! Другую найду! Завтра же женюсь, чтоб вас шайтан побрал с вашими плохими известиями! Мне сейчас о золоте думать надо, ясно?!

Он захлопнул за собой дверь, но не смог пройти и двух шагов — голова его закружилась, ноги ослабели, пол ходуном заходил под ногами, и он прислонился к стене, чтобы не упасть.

«Что это со мной? — хватаясь за сердце, подумал он. — А, второй день не сплю. . . Ничего, пройдет! Надо устроить погоню! . . . Может, еще успеем перехватить в горах. . .»

Он оторвался от стены и вышел во двор. В воздухе чувствовалось приближение грозы, тревожно блеяли овцы. Ветер тряс старую березу под окном конторы, взметал на дороге пыль, грохотал, ударяясь в крышу.

Нигматулла послал за офицером и присел на крыльце.

Неожиданно он вспомнил, как когда-то давно, в лесу, на него напали волки и он швырял горящие головни, чувствуя, что звери вот-вот нападут и ему не спастись.

«Ничего! Уцелел тогда, уцелею и теперь! — со злостью подумал он, вдавливая в землю окурки. Но горящие ненавистью, черные глаза Нафисы неотступно следовали за ним, выглядывали из кустов, прятались за низкими заборами, то приближаясь, то отступая. — Да что это я? . . . Не с ума ли я схожу?»

«Сгинь, сгинь, албасты¹», — сказал про себя Нигматулла и, сплюнув, три раза повернулся вокруг себя.

¹ Албасты — злой дух,

Сверкнула совсем близко молния, осветив поселок ярким голубоватым светом; листья кустов и березы стали синими; прокатал гром, и крупные, как горошины, капли со звоном забарабанили по земле. Дребезжали стекла кофторы, по двору с шумом побежала вода, и стало еще темнее. Дождь все усиливался.

Нигматулла вскочил, закружился по двору и вдруг засмеялся, протягивая руки под секущие струи дождя, смеялся все громче, не в силах остановиться...

XVI

Кусты на опушке леса неожиданно зашевелились. В первую минуту Загиту показалось, что глаза обманывают его, он помотал головой и взгляделся пристальнее.

Кусты явственно ошетинились штыками.

— Ложись! — крикнул Загит и упал на траву.

— Может, свои? — шепнул, подбравшись к нему, Акназар.

— Откуда я знаю, — досадливо ответил Загит.

Противник молчал. Старатели тоже затаились.

— Что ж, так и будем лежать? — спросил Акназар.

— А что делать?

— Хоть разведку послать, — хмыкнул он. — Давай я схожу... До Белорецка рукой подать, а мы застряли!..

— Нет, давай попробуем по-другому, — Загит подполз к дереву и крикнул: — Эй, вы кто?

— А ты сам кто? — немедленно отозвались в кустах.

— Я из Сакмаева!

— Партизан?

— Партизан, — помедлив, ответил Загит.

— Так иди сюда! Чего прячешься? — навстречу вышел рослый бородач. — Братцы, тревога отменяется!

Бородач опустил винтовку. На груди у него, с левой стороны, алел рядом с георгиевским крестом красный кумачовый бант.

— Вставай, ребята! Свои! — радостно крикнул Загит.

Казавшаяся такой мирной, поляна была изрыта окопами и траншеями, в нескольких местах из траншей торчали навстречу лесу стволы пушек.

— Ого, здорово окопались! — уважительно сказал Загит.

— А ты думал! — усмехнулся бородач. — Это тебе не отряд, а партизанская республика!..

Впереди, за деревьями, виднелись в сумерках дома Белорецка, дымящие трубы завода, церковь на холме, спокойная гладь пруда. Поселок был окружен со всех сторон высокими лесистыми горами, то здесь, то там вспыхивали на окнах красные блики, поднимались вверх клубы дыма.

— Горит, что ли? — не понимая, спросил Загит.

— Еду готовят, — объяснил бородач. — Ты, хлопец, ступай в штаб, доложись, что отряд привел.

— Мне одного человека найти надо, Михаилом зовут...

— Там найдешь, — кивнул бородач.

Улицы Белорецка напомнили Загиту Кэжэн и базарные дни. Во дворах одноэтажных деревянных домов, у заборов и палисадов горело множество костров, в воздухе стоял запах пригорелого супа. Стояли поперек дороги груженные скарбом арбы, вповалку спали на земле люди, накрывшись шинелями и тряпьем. Торчали кверху оглобли телег. На одной из них сидела молодая простоволосая женщина с босыми ногами, на руках ее захлебывался плачем ребенок.

— А-а-а... Баю-бай... — тянула она, прижимая ребенка к себе и качаясь из стороны в сторону. — Горе мое, когда ж ты заснешь, окаянный! Вот придет из лесу волк, унесет тебя, если спать не будешь! А-а-а, баю-бай...

— Эй, поосторожней! Не видишь, спит человек? — огрызнулся на Загита старик, лежащий у арбы. — Бродят-бродят по ночам... Ночью спать надо!

— Я не хотел... — растерялся Загит.

— Проходи, проходи! — досадливо махнул рукой старик и, потянув на голову лоскутное одеяло, снова привалился к колесу.

— А-а-а... Ба-а-ай... — устало причитала женщина.

Старатели с трудом пробирались вслед за Загитом по запруженной улице.

— Откуда прибыли? — спрашивали их почти у каждого костра. — А мы из Миасса... Из Киги! Из Тукана!.. Оставайтесь у нас, места хватит!

— Нам к штабу надо, — отказывался Загит.

— Тю! К штабу — так вы не так идете! Вон тем переулочком, там дальше налево, через пруд, дом бывшего управляющего знаете? Хотя откуда вам знать... Может, проводить?

— Ничего, сами найдем, — улыбался Загит.

Где-то во тьме призывно ржала кобыла, время от времени ей отвечал жеребенок, между арбами бегали козы и овцы, жалась к забору. На улицах становилось все многолюднее и шумнее. Тяжело дышали невидимые заводские трубы, уже близко слышался плеск падающей воды у Агидельской запруды.

У базарных рядов навстречу им вышли дружинники с красными повязками на руках.

— Документы! — потребовал один из них, на околыше его фуражки была пришита красная лента с надписью: «Умрем, но не будем рабами!»

— Какие документы? У меня ничего нет, — опешил Загит. — Да вот же люди со мной, подтвердят, что мы из Сакмаева...

— А сами они откуда? — строго посмотрел на Загита дружинник.

— Из Сакмаева и с Юргаштинского прииска. . .

— Да оставь ты парня, — дернул его за рукав пожилой дружинник. — Видишь, только что пришли люди, еле на ногах стоят. Вы что ищете?

— Штаб, — пояснил Загит. — Мне надо одного человека найти, Михаилом звать, а настоящее имя Николай Константинович.

— А фамилия? — поинтересовался дружинник.

— Фамилии я не помню. . .

— Эх ты! Как же ты его найдешь? Знаешь, сколько у нас тут Михайлов и Николаев?

— Он у нас председателем ревкома был!

— Тогда, может, и найдешь, такие люди у нас при штабе, — согласился дружинник. — Только зачем ты за собой всю ораву ведешь? Оставь людей отдыхать, всем туда идти ни к чему. . .

Загит разместил людей в одном из переулков и направился дальше один. У пруда скопилось много народу — женщины несли воду на коромыслах, партизаны наполняли фляжки, кто-то, раздевшись, с шумом и криком пырлял недалеко от берега, приговаривал:

— Ух, хорошо! Ух, здорово, з-зараза! . .

Парень в майке и закатанных до колен штанах, прислонившись к сосне, перебирал лады гармошки; раздуваясь, вздыхали мехи. Стоявшая рядом с ним женщина, придерживая руками концы платка, напевадала вполголоса:

Будь джигитом на деле! —
Говаривал дед. —
Все богатство его
Только конь да бешмет.

Горы — дом его крепкий,
Седло — колыбель.
И вином его поит
Река Агидель. . .

Чистый голос ее как-то незаметно перекрывал все разговоры и шумы и соединялся с тихим плеском воды. Костры, отражаясь в пруду, вспыхивали на водной глади красными языками, темное небо над головой дышало глубиной, туманилось звездной россыпью. Будто, чтобы послушать песню, выступили на берег ели и сосны.

Для джигита и песня,
И мать дорога,
Но дороже всего —
Пуля в сердце врага. . .

Женщина умолкла и, сев рядом с парнем, положила голову ему на плечо. Загит вздохнул и пошел дальше вдоль берега.

— Э, когда Пугачев и Салават Юлаев здесь воевали, знаешь, какой акман-токман был! — размахивая руками, говорил широкоплечий усач в шинели. — Весь завод спалили, ни цепки не осталось! Запруду они тоже строили. Я в этих местах с детства каждый кустик облазил. Здесь мой дед робил, крепостным был у купца Твердышева. . .

— Не скажешь, где штаб найти? — спросил Загит.

— Не только скажу, а и провожатого дам! — быстро ответил усач.

— Да я сам, — помялся Загит.

— А какая тебе разница? Мы сами только что с Баймака прибыли, пятьсот человек, как один! Все равно по дороге. . . Ваня, давай, хватит чаи гонять!

От костра поднялся человек в шинели внакидку. Потное, усталое лицо его было бледно, волосы слиплись.

— А ты откуда? — спросил он.

— Из Сакмаева. . .

— Где это?

— Рядом с Юргаштинским прииском, через гору перевалить.

— Золото привезли?

— Нет. . .

— Оружие?

Загит молча покачал головой.

— А мы привезли, неизвестно только пока, кому сдавать. Шестьдесят лошадей, патроны, винтовки и восемнадцать пудов золота.

— Вот это да! — удивился Загит.

— Уральскими горами шли?

— Через Бишитек. . .

— И мы тоже горами. . . Ты сам кто будешь?

— Да пока за командира, — смущенно пожал плечами Загит.

— Ишь ты! А с виду не скажешь, — удивился его спутник. — А я председатель старательской дружины Баймакского прииска.

Двухэтажный дом управляющего, в котором размещался штаб, был окружен со всех сторон садом, ажурная чугунная решетка с завитушками отделяла сад от хвойного леса, ворота были распахнуты настежь.

— Красиво, — сказал Загит, постучав ногтем по решетке.

Дом был каменный, с широкой лестницей, на которой толпились люди. Все время хлопали двери.

В огромном вестибюле не протолкнуться, не продохнуть от дыма.

— Значит, им по пять патронов, а нам по три? Нет, так дело не пойдет! — кричал кто-то в конце коридора. — Раз написано, давай все!

Озабоченно спешили мимо солдаты в шинелях, мужик в пестрой рубахе с трудом стаскивал впиз по лестнице тяжелый ящик.

— Ну и неразбериха! — пробормотал баймакский председатель.

Он шагнул вперед и остановил человека в гимнастерке с левой рукой на белой перевязи:

— Нам бы командира...

— Какого?

— Да лучше самого главного! — выпалил Загит.

— Его пока нет, — улыбнулся человек в гимнастерке. — Может, я могу вам чем-нибудь помочь?

— Я с Баймака, у нас пятьсот человек, а он вот — с Юргашты, у них человек сто будет, только что пришли. Пробирались горами, больше недели хлеба не видели, стало быть, первая задача — как накормить людей... А вторая — кому сдать восемнадцать пудов золота?

— Молодцы, товарищи! — Голубые глаза человека в гимнастерке радостно заблестели. — Идемте за мной!

Он провел их на второй этаж и, остановившись у одной из дверей, где толпились люди, написал записку.

— Вот, здесь получите продукты, а потом спуститесь ко мне вниз, в шестнадцатую комнату. Договорились?

— Кто это? — шепотом спросил Загит, когда человек в гимнастерке, придерживая раненую руку, пошел дальше по коридору.

— Это, брат, сам Николай Дмитриевич, — с важностью ответил мужик, стоявший перед ними в очереди и сосредоточенно дымивший п cigarкой.

— Какой Николай Дмитриевич? — переспросил Загит.

— Томин! Что, не слышал никогда? Эх ты! Это ж первый рубака, лихой человек! Давал он жизни Дутову!

— С таким командиром не пропадешь, — вмешался в разговор плосколицый парень с узкими глазами. — У него в отряде все интернационалисты! — Он еле выговорил трудное слово и, как бы устав, прислонился к стене.

— А кто такие интернационалисты? — поинтересовался Загит.

— Ты даже этого не знаешь? Ну и темный человек, — пожал плечами плосколицый.

— Чем смеяться, лучше объясни, — нахмурился Загит.

— Это значит, что в отряде люди всех национальностей — татары, башкиры, и русские, и всякие другие, понял? — сказал баймакский председатель.

В противоположном конце коридора вдруг оживленно за-
двигались, зашумели.

— Комиссар идет! — услышал Загит.

Он вытянул шею и увидел быстро идущего по коридору
Михаила. Следом за ним шло двое солдат с красными бантами
на гимнастерках.

— Дядя Михаил! Товарищ Трофимов! — неожиданно вспо-
мнив фамилию, крикнул Загит и бросился навстречу Михаилу.

— Загит! Вот так встреча! — Михаил заключил парня в
крепкие объятия. — Наконец-то!.. А то мы не знали, что и
думать, пропал целый отряд — и ни слуху ни духу!..

— А мы на одной заимке в горах больше двух недель отси-
живались, — рассказывал Загит. — Раненых было несколько че-
ловек, вот мы их и выхаживали, и сами сил набрались... Жал-
ко, Хисматуллу потеряли... В последнем бою он с Мутагаром
прикрывал наш отход. Или убили их, или в плен взяли!

— Жив твой Хисматулла! Жив! — тряся парня за плечи,
сообщил Михаил. — Недавно в наш партизанский край добрал-
ся с двумя фронтовиками... Сейчас он ушел с ними в раз-
ведку...

— Вот порадовал! Вот порадовал! — чуть не плача, гово-
рил Загит. — А Мутагар?

— Мутагар погиб, как герой... Когда его уже хотели
схватить, он взорвал гранату и еще четырех солдат уложил...

— Красивый был человек! — помолчав, скорбно вздохнул
Загит. — Такому нужно памятник поставить, чтоб люди о нем
никогда не забывали!..

К Михаилу протиснулся какой-то шустрый белобрысый па-
ренок с бумажкой:

— Товарищ комиссар, подпишите...

Подписав еще несколько бумаг и направив баймакского
председателя к Томину, Михаил повел Загита в свою комнату,
которая служила ему и кабинетом и спальней. Рядом с пись-
менным столом, почти вплоты к нему стояла кушетка, при-
крытая солдатской шинелью.

— По нашим данным, где-то бродит по лесам Гульямал
с небольшой группой партизан, вот-вот должна показаться
в нашем партизанском крае, — говорил Михаил, по-отечески
ласково разглядывая сидящего перед ним парня, которого он
не раз направлял в трудных случаях жизни и гордился в душе
тем, что Загит оправдал его надежды. — Мы послали ей на под-
могу отборных ребят!.. Золото теперь будет в наших руках...

— Большая сила тут собирается, — восхищенно глядя на
Михаила, проговорил Загит. — Целая армия...

— До армии еще далеко, но партизан набралось тысяч во-
семь. Беда вот только, что оружия маловато — всего сорок
шесть пулеметов и тринадцать орудий... Но еще хуже с бое-

припасами, по десять патронов на человека... И очень большой обоз, женщины, дети, которых не бросишь... В общем, положение у нас довольно тяжелое. С Красной Армией связи пока никакой, здесь оставаться нельзя, потому что нас могут взять в кольцо и истребить... Поэтому мы через три дня выступаем...

— А куда?

— Это будет сегодня решаться на совещании в штабе, — понизив голос, доверительно сказал Михаил и склонился над картой, которая была расстелена у него на столе. — Вот посмотри сюда...

— А что это?

— Карта. Вот это горы, тут течет речка, а это мост — ты должен научиться читать карту, иначе тяжело будет воевать! В бою все нужно видеть и понимать, нельзя быть слепым. — Михаил взял карандаш. — С севера идут белочехи, шестой корпус генерала Войцеховского, здесь вот ведет своих казаков генерал Колонин... Вероятнее всего, у нас будет один путь — в сторону Стерлитамака и дальше к Архангельску... Мы и тут можем понести большие потери, но этот маршрут наиболее выгодный — на пути два завода, Богоявленский и Архангельский, поддержат нас и башкиры, которые живут в деревнях и поселках. Да и места тут хорошие — горы, леса, есть где занять хорошую оборону и спрятаться на худой конец... Понял обстановочку?

— Ид-а... — протянул Загит, довольный тем, что Михаил посвящает его в такие сложные дела, и вместе с тем стыдясь того, что он обо всем этом слышит впервые и не решается сказать об этом своему другу открыто. — А ты-то здесь кем будешь?

— Я комиссар в отряде Томина.

— А куда мы денемся, сакмаевские и юргаштинские?

— Я думаю, что вы можете влиться в наш отряд, — помолчав, сказал Михаил. — Я сегодня поговорю с Томиным... Иди к ребятам, завтра все устроится!

На улице было еще темно, но, похоже, короткая летняя ночь была уже на исходе. Все переулки и улочки, забитые людьми, арбами, будто погрузились в короткое забытие, и Загиту не верилось, что еще недавно он пробирался здесь среди многолюдья и шума. Он мог бы свалиться в любую придорожную канаву, заросшую лопухами и крапивой, или приткнуться где-нибудь у забора и тут же мертвецки заснуть, но он шел к своим землякам, которые ждали в переулке своего командира, шел с хорошими вестями, определив их судьбу, встретив Михаила, узнав про все на свете, и душа его была полна тихой радости.

Под вечер атака белых захлебнулась, и они откатились на исходные позиции, к лесу.

Загит упал ничком на мягкий, пружинистый мох, чтобы прийти в себя и отдышаться. От пота щипало глаза, толчками билась в виски кровь, ноги и руки были как чужие.

Сумерки заволакивали горы и склон, где лежал Загит, и отсюда он видел и равнинную ширь внизу, где тускло отсвечивала река, и опушку леса, где засели в траншеях белые, и за рекой край деревни с редкими уцелевшими избами.

Загит облизнул пересохшие губы, оглянулся назад, на цепочку партизан, залегших в высокой траве, и утомленно закрыл глаза. До утра можно было надеяться, что белые не пойдут в атаку, измотанные за этот долгий день, оставившие на опушке и склоне горы и у самой реки не меньше сотни трупов.

Уже больше недели продвигалась вперед партизанская армия. Вслед за строевыми колоннами с верстовым разрывом, медленно ползли растянувшиеся по всему пыльному тракту обозы, скрипели арбы, то и дело наезжая друг на друга, мычали привязанные за рога коровы, блеяли овцы, которых гнали в самом конце обоза. Над трактом не оседаая висела удушливая желтая пыль, забивавшая глотки, не стихал детский рев, крики отчаявшихся женщин. Несколько раз снаряды попадали в середину обоза, разметывая арбы, и коров, и людей, все бросались врассыпную, потом собирались, чтобы отголосить по погибшим, и обоз снова приходил в движение.

Остались позади Богоявленский и Архангельский заводы, горная речушка Усолка с ледяной прозрачной водой, что бурлила у невысокой плотины, прокладывая себе путь среди старых домиков и балаганов, башкирские деревни, где женщины встречали их как освободителей и гостей чашками, полными мяса, испеченными в золе лепешками, сметаной, маслом и яйцами,— казалось, весь народ старался помочь им пройти через эти скалистые, поросшие густым лесом горы. Но на пути армии вставали не только горы и крутые перевалы, иногда вдруг, как это случилось два дня назад, перед Загитом распахнулось пшеничное поле, и он, проживший все годы в приисковой деревушке, смотрел как на чудо, как ветер гонит вдаль атласные волны хлебов, слушал, как шелестят, нашептывая ему что-то, спелые колосья.

«Вот где богатство,— думал он, не отрывая восхищенного взгляда от того, что открылось ему.— Лучше любого золота!.. Хлеб! Хлебушко наш, что дает нам силу и жизнь! Ведь каждый бедняк в Сакмаеве мечтает хоть раз поесть его вволю. А тут не на одно Сакмаево его хватит, можно весь прииск накормить!»

— Загита и Акназара к командиру! — перекатилось неожиданно по цепи. — Загита и Акназара!..

Загит будто очнулся и, отозвавшись на голоса, пополз по траве, под склоном столкнулся с Акназаром.

— Ты что-нибудь понял? — спросил тот. — В штаб нас, что ли, зовут? Ты знаешь, в какой избе командир?

— Да вроде вон в той, к речке поближе. . .

Они не успели свернуть к крайней, за цветущим плетнем, избе, когда мимо прокатил тарантас. В плетенке из черемуховых прутьев сидел, нахохлившись под черной буркой, высокий человек, по бокам тарантаса выплясывали верховые.

— Кажись, сам главком проехал, — сказал Акназар.

— Блюхер?

— А кто же еще!

Тарантас, а за ним и верховые подъехали к избе, где жил командир Томин, спешились, задымили сигарками. Загит и Акназар подошли к крылечку и хотели уж было подняться по ступенькам, тут их остановил часовой.

— Пойдите, джигиты! Куда вы?

— Нас командир позвал. . . — неуверенно было начал Загит, по увидел шагнувшего из сеней человека и замер с открытым ртом. — Хисматулла-агай?

— Он самый, — неприветливо и мрачно ответил Хисматулла и повернулся к часовому. — Их Томин вызвал, это наши ребята из Сакмаева. . . Но сейчас там главком, и пока нельзя. Допрашивают «языка», которого я им притащил. . . Тяжелый, дьявол, попался, сто потов с меня сошло, покуда допер. . .

Загит слушал стоявшего перед ним человека и не узнавал его — он говорил голосом Хисматуллы и обличем был схож с односельчанином, но вместе с тем это был как будто и другой человек, и трудно было сразу понять, что же в нем было чужим, что в нем настораживало.

— Ты сказал «язык», — робко произнес Акназар, который, видимо, тоже не мог привыкнуть к тому, что изменилось в Хисматулле. — Это пленный, что ли?

— Да, ходил в тыл к белым и, кажется, поймал крупную птицу. . .

Он замолчал и стал скручивать козью ножку, зачерпнул из кисета табак и также осторожно ссыпал с ладони табачные крошки.

— Говорят, сюда скоро должна прийти Гульямал? — стараясь как-то смягчить суровость товарища, поинтересовался Загит. — Наверно, тогда мы будем знать все новости из Сакмаева?

— Она уже здесь, в лазарете, — так же холодно и спокойно ответил Хисматулла.

— Она ранена?

— Нет, просто напоролa ногу и должна немного подлечиться, началось небольшое загноение,— пояснил Хисматулла и, казалось, снова погрузился в долгое молчание. Потом он словно очнулся от глубокого забытья и досказал с усталой отрешенностью: — Нафиса сожгла себя в бане... Облила керосином и сгорела вместе с баней...

«Вон оно что! — чуть не вскрикнул Загит, испытывая щемящее чувство жалости к человеку, который еще минуту назад казался ему чужим, неспособным обрадоваться даже встрече с земляками. — От такого горя можно превратиться в камень и перестать всех замечать...»

— Бедная... — только и нашелся что сказать Акназар, однако, помолчав, спросил о том, о чем сам, наверное, думал с тех пор, как покинул Сакмаево. — А про Гульмадину Гульямал ничего не говорила?

— Нет, — сухо бросил Хисматулла.

«И зачем он лезет к человеку со своими глупыми делами? — возмутился в душе Загит. — Для него, может, свет погас, половина жизни ушла, а он про свою Гульмадину пытается! Что с ней сделается? Проживет как-нибудь за байской спиной!»

Двери в сени распахнулись, на пол упала полоса света, а Загит узнал голос Михаила:

— Хисмат! Пришли сакмаевцы?

— Здесь, товарищ комиссар!

— Давайте сюда!

Щурясь от яркого после темноты света керосиновой лампы, Загит шагнул через порог и не сразу разглядел всех, сидевших за длинным голым столом. На нем была развернута большая карта, над которой склонились три головы — одна знакомая, Михаила, другая, чубатая, Томина, а третью, бритую и гладкую, он видел впервые.

«Так это же Блюхер! — вспыхнул Загит, восторженно глядя на бритоголового и лишь краем глаза видя еще одного человека, сидевшего в тени, в стороне от стола, в расстегнутом кителе, с опущенной седой головой. — Офицера взял! Да еще, похоже, не какого-нибудь, а не меньше, чем подполковника!»

— Пленного можно увести, — поднимая голову, глуховато, но твердо проговорил Блюхер.

— Вы обещали мне сохранить жизнь! — вскинулся офицер и начал суетливо застегивать пуговицы на кителе.

— Вы будете отпущены на свободу, но с тем условием, о котором мы договорились, — так же ровно и тихо досказал Блюхер. — Вы больше не возьмете в руки оружие!

Когда конвойные вместе с пленным вышли из избы, главным будто только теперь увидел дожидавшихся его приказа партизан.

— Здравствуйте, товарищи!.. Это все твои земляки, сакмаевцы, товарищ Трофимов?

— Да, братки мои... Многие годы их знаю... Во многих переделках был с ними!

Блюхер кивнул, пряча улыбку в усах, потом быстро скинул старую кожанку, надетую поверх гимнастерки.

— От имени командования объявляю вам, товарищ Хуснутдинов, благодарности! — торжественным, приподнятым тоном провозгласил он и, сделав шаг от стола, крепко пожал руку Хисматулле. — Теперь мы знаем замыслы противника и можем действовать более уверенно!..

Поскрипывая сапогами, он снова прошел к столу и склонился над картой.

— Значит, так... — задумчиво сказал он. — На западе — Адигель, на севере — Сим, на юге — Большой Инзер... С востока нас прикрывают Уральские горы... Противник собирается разрезать нашу армию пополам, каждую часть взять в кольцо и по отдельности уничтожать... Но мы спутаем его карты и зайдем ему в тыл и первыми нанесем удар вот здесь! — В тишине карандаш застучал в одну точку. — Именно здесь...

— Трудно будет, Василий Константинович. — Томин довел свой палец до той точки, где стоял карандаш. — В этом месте река довольно глубокая, нет ни парома, ни лодок... Не представляю, как мы переправим столько людей и орудия...

— Будем строить мост, — как нечто давно созревшее и решенное сообщил Блюхер и, не дожидаясь возражений Томина, добавил: — А для чего я, по-твоему, просил позвать старателей и партизан? Пусть они скажут, можно ли за одну ночь построить мост... Для отвода глаз мы начнем сосредоточивать свои силы в другом месте, чтобы они думали, что мы собираемся перейти Адигель вот тут, а сами ударим отсюда!.. Ну как, комиссар? Осилит ли эта операция с мостом?

— Народ надо поднять на это дело, товарищ главком. — Михаил встал, одергивая гимнастерку. — Сейчас разошлем всех местных, отберем тех, кто умеет держать в руках топор!.. Как считаете, братки, по плечу нам это дело?

— Русские так говорят, я слышал, — сказал, выступая вперед, Загит. — Глаза страшатся, руки делают... Почему не попробовать?

— Поручаем эту операцию вам, товарищ Томин! У вас много старателей, мастеровых людей... А такие богатыри, как Хуснутдинов, могут не только таскать офицеров с кляпом во рту, но и обыкновенные бревна... *

Все дружно рассмеялись, Михаил сделал знак сакмаевцам и, накинув на плечи шинель, первым шагнул в темные сени.

По пизине от реки поднимался туман, затягивая склон и опушку леса, где притаились вражеские траншеи. На деревне лаяли собаки, потом и они стихли, и лишь где-то неподалеку раздавалось журчание курая и чей-то голос, может быть, той девушки, что пела на площади в Белорецке, вплетался в негромкую мелодию.

Бесстрашно гнезда охраняют
Орлы в отчизне голубой,
Родные горы защищают
Батыры, вышедшие в бой...

— До чего люблю наши песни,— тихо сказал Хисматулла.— Иногда глаза бы ни на что не глядели, жить не хочется, а вот послушаешь, и уже легче на душе...

«Вот сейчас Хисмат похож на самого себя,— растроганно подумал Загит.— Все заживет на человеке, лишь бы была у него свобода и родина!»

— Будем действовать так,— прервал его раздумья Михаил.— Мы с Акназаром пойдем отбирать людей в частях, а вы, Хисмат с Загитом, идите по домам, будите потихоньку всех, кто только может ходить и пронести хотя бы доску в руках или жердь, и всех к реке с топорами и пилами...

Минуты через три Загит расстался с Хисматуллой и остался один в темноте, постоял немного в нерешительности и, подойдя к первой избе, легонько постучал в окно. Никто не ответил, и тогда он снова забарабанил пальцами по стеклу. Наконец его услышали, и к окну приныкло смутно забелевшее в темноте лицо.

— Что надо?

— Открой, мать...

В избе его встретила старуха и проснувшаяся от шума невестка.

— Давайте, что у вас есть,— сказал Загит шепотом, хотя мог говорить и погромче.— Топор, пилу, будем мост строить...

— Какой мост? — запричитала старуха.— И так весь день в погребе просидели, пока вы тут стреляли... Курицу вон убили! И когда эта война проклятая кончится?.. Не надоело вам друг друга крошить?

— Я же на смерть иду, чтоб вам потом хорошо было,— торопливо и сбивчиво пояснял Загит.— А если сюда белые придут, они ни одного в живых не оставят... Не одну вашу курицу пристрелят!

— Иди, Катька, в сарай, дай, что у нас есть,— подобрела старуха.— Да и сама поди помоги...

Загит ходил от избы к избе, уговаривал, а где и угрожал, и вот уже задвигались по улице люди, потащили бревна, жер-

ди, разбирали сараи и клетки. Раскатали по бревнышку дом сбежавшего купца, откуда-то, должно быть припрятанные до времени, появились на берегу лодки, стали сбивать легкие плиты, натянули канат, и на другой берег, еще до того, как стали строить мост, переправились первые части, окопались и залегли в наспех вырытых окопчиках с пулеметами.

Хлюпала вода, раздавались тихие голоса, ночь наполнилась шепотом и таинственными шорохами, стуком топоров, вжиканьем пил, и Загит, носивший теперь бревна с Акназаром и Зинатуллой и Ягуда-агаем, испытывал такое чувство, что он работает в родной деревне. Конечно, ему не приходилось никогда работать в такую ночь, в тумане и тьме, но эта ночь и движущиеся во всех направлениях люди — все это рождало в нем ощущение не виданной и не испытанной прежде силы и красоты и еще чего-то неведомого, чему он пока не знал названия, но что жило в нем и соединяло со всеми людьми. Сгибаясь под тяжестью бревна, обливаясь потом, он не чувствовал усталости, еще недавно валившей его с ног, словно боялся, что стоит ему забыться на минуту-другую в легкой дремоте — и он что-то прозевает такое, что определит его жизнь на многие годы вперед. Он не хотел ничего упустить, и хотя бежал только от деревни к реке, ему казалось, что он видит и тех, кто забивает сваи в дно реки и делает настил моста, и тех, кто залег в траншеях и ждет своего часа, чтобы по первому сигналу встать и пойти в атаку, и даже избу на краю деревни, где склонился над картой бритоголовый человек в кожанке. Может, это был ветер победы, предчувствие близкой радости, и не потому ли так хотелось Загиту, чтобы в эти часы и минуты с ним были все сакмаевцы, чтобы они чувствовали и переживали, что и он, Загит. . . Уже одно сознание, что они здесь где-то, поблизости, и трудятся, и не жалеют своих сил, делало его счастливым. . .

Переправа началась на рассвете, когда на мост вкатили первое орудие и протащили его на другой берег, за ним потянулись упряжки со снарядами, с ящиками патронов, а там уже трудно было разобрать, кто пробивался к мосту, нарушая очередь, кто вообще мог бы обойтись без моста и перебраться на другой берег на легком пароме, кто лез напролом, не слушая ни команды, ни окриков. Стоял неумолчный грохот и гвалт, и было непонятно, почему белые до сих пор не обнаружили переправу и не начали бить по ней. Может быть, им еще мешал туман, паривший и над рекой и закрывавший склон горы.

Но едва пробилось солнце и растаял туман, как белые опомнились и стали строчить из пулеметов, бить из тяжелых орудий. Несколько снарядов разорвалось около свай, подняв столбы воды, взрыло берег и часть скошенной луговины, взме-

тывая в воздух град камней, куски дерна, фонтаны земли и грязи. Пулеметы срезали под корень поле ржи, тянувшееся к реке, и пыль застилала все вокруг. Загит стоял недалеко от переправы, держа в поводу двух коней и дожидаясь Михаила, который в эту ночь определил его к себе в адъютанты.

С бугра Загит видел, как вползала на мост очередная арба и, грохоча, перекатывалась на другой берег, как перебирались вплавь через реку конники, сносимые течением, и был в полной растерянности, потому что уже не видел своего комиссара. Он был вместе с Томиным и Блюхером у самой переправы и пытался навести там порядок. Изредка Загит угадывал в этой сумятице то скачущего на гнедом иноходце Блюхера, то ловил вскинутую над головой шашку Томина, она слепяще вспыхивала на солнце и гасла, как короткая молния.

Но батарея белых пристрелялась, и тяжелый снаряд угодил в середину моста, и толстые бревна взлетели в воздух, как спички, запылали в деревне две крыши, но никто не гасил их. Они горели ярко, как копны сена, устремляя огненные крылья к небу. Когда схлынула вода, поднятая взрывом моста, и он рухнул, увлекая за собой опрокинутую арбу и лошадь, и осело облако пыли, Загит увидел бегущего к нему Михаила.

— По коням! — кричал он, хотя непонятно было, кому он дает эту команду. — Наши части почти все перебегались на тот берег, и Блюхер приказал нам прикрывать отход!

Мимо проскакал на взмыленном коне Томин, за ним — его конники, следом устремились Михаил и Загит. Они мчались в сторону того склона, откуда вчера вечером Загита вызвали в штаб.

Не успели они доскакать до первых траншей, как с опушки застучал пулемет и белые снова пошли в атаку. Видимо, они разгадали замысел партизан отрезать их от реки и от тех частей, которые оказались на другой стороне, и теперь решили прорваться через огненное кольцо. Впереди с шашками наголо мчались казаки, чтобы навести страх на засевших в окопах партизан, но шквальный прицельный огонь первой цепи заставил их повернуть обратно. Тогда, повинувшись новой команде, перестраиваясь на ходу, они стали обтекать окопы с правой стороны, и шашки снова засверкали в их руках, точно раскаленные добела под слепящим солнцем.

Оставив коня за деревом, Загит прыгнул в свежий окопчик, увидел рядом застывшие в тревожном ожидании лица партизан. Они прижались к темным бугоркам земли в траншеях, шедших ломаной линией по склону, целясь куда-то через траву, но еще не стреляя.

И когда на опушке встали и пошли, чуть пригибаясь, серые ряды солдат, Загит понял, что наступила та решающая минута боя, которую все ждали.

— Вперед! — крикнул кто-то, как ему показалось, у него пад ухом, и его выбросило словно взрывной волной из траншеи, и он побежал навстречу серым шинелям. Но откуда-то со стороны прорвались несколько казаков, должно быть не сумевших обойти траншею справа, и Загит выстрелил в первого всадника, готового вот-вот подмять его под себя. Казак завалился на спину, сполз с седла, но запутался в стремянах, и лошадь несла вскачь это мертвое тело, волочившееся уже по земле.

Загит споткнулся, упал, но тут же вскочил и побежал дальше, стреляя неизвестно куда и в кого, пока не стал различать как бы увиденные сквозь мутное стекло, чуть размытые пятна чужих лиц.

— Ур-ра-а-а!.. Ур-ра-а-а!.. — покатилося мощной волной по склону, и Загит тоже закричал что было мочи, видя, как все, кто сидел в траншеях, тоже вырвались на свободу склона и неудержимо неслись навстречу смерти. — Ур-ра-а-а!..

Спину Загита окатил жаркий озноб, все в нем дрожало, голова была как в огне, но он все бежал и бежал, то падая, то вновь поднимаясь, пока сильный толчок не отбросил его навзничь и он не упал в траву.

Еще не сознавая, что он ранен, он снова вскочил, пробежал несколько шагов, и вдруг резкая боль точно подкосила его, и он опять свалился в траву.

Он вскинул винтовку на травянистый бугор и теперь уже стрелял, целясь, беря на мушку то одно пятно, то другое. Но лица стали постепенно как бы расплываться, потом пропали совсем, и он понял, что атака белых захлебнулась. Теперь они бежали к лесу, преследуемые партизанами, оставляя на склоне убитых и раненых. Он увидел, как, опережая цепи партизан, пошли наперерез из леса конники Томина и белые в панике начали отступать к реке.

— Вперед! Вперед! — сипел охрипший от крика Загит. — Не уйти вам, гады! Не уйти!

Он уже не мог больше стрелять, потому что отказала рука и под рубашкой текла теплая кровь, он схватился за плечо, и ладонь его стала мокрой и красной.

И в ту же минуту увидел мчавшегося впереди конников партизана с трепещущим на древке знаменем. Оно билось у него за спиной и было того же цвета, что и кровь на руке Загита...

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛОТО СОБИРАЕТСЯ КРУПИЦАМИ

Часть первая	7
Часть вторая	193

АКМАН-ТОКМАН

Часть первая	333
Часть вторая	551

Яныбай Хамматович Хамматов

ЗОЛОТО СОБИРАЕТСЯ КРУПИЦАМИ АКМАН-ТОКМАН

М., «Советский писатель», 1975, 672 стр. План выпуска 1975 г. № 255. Художник И. П. Борисов. Редактор А. О. Амиптов. Худож. редактор Д. С. Мухин. Техн. редактор В. Г. Комм. Корректор Р. Г. Рагимова. Сдано в набор 26/VII 1974 г. Подписано в печать 18/VI 1975 г. А02300. Бумага 60×90¹/₁₆. № 2. Печ. л. 42,0. Уч.-изд. л. 44,53. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1613. Цена 1 р. 43 к. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград П-136, Гатчинская ул., 26.

1р.43к.



Яныбай Хамматов

